ИЛЬЯ
ЭРЕНБУРГ

3

ИЛЬЯ
ЭРЕНБУРГ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

СОЧИНЕНИЯ

В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ
ТРЕТИЙ

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ

РОМАН

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1953

1

— Я вам скажу откровенно, теперь мы знаем друг друга, но когда Мэри написала, что нашла в Швейцарии французского поэта, я буквально слег. Две недели я не мог проглотить даже яйцо всмятку. Пожалуйста, не обижайтесь, все поэты — шелопаи. Француз не умеет делать деньги из хорошей идеи, француз не умеет делать деньги даже из денег, француз умеет делать деньги только из женщин. Для меня Мэри — идеал, но я понимаю, что это не звезда из Голливуда, ее нужно узнать — у нее золотое сердце. Пожалуйста, не обижайтесь, мне шестьдесят шесть лет, я пригляделся к людям, вы рассчитывали на наследство. Вы умный человек, но это было глупостью — мы, южане, не торопимся умирать. Еще неизвестно, кто кого похоронит. Но я вам скажу откровенно, вы не прогадали, вы даже выиграли. Наследник — это хвост, а вы — умный человек, вы — голова. Теперь вы сможете вернуться в вашу Францию как директор «Трансока».

Сенатор Лоу дружески похлопал зятя по плечу; при этом он зацепил рукавом бокал; смеясь, он стал сыпать на скатерть соль. Бледнооранжевое пятно напомнило Нивелю жену. «Рыжая роза Миссисипи»... Хорошо, что ее нет! Эта мысль на минуту обрадовала Нивеля. Он может отдохнуть, развлечься, воскресить те одинокие ночи, когда, волнуясь, он писал о похищенной Прозерпине. Но тотчас он вспомнил: тесть, «Трансок», через десять дней появится Мэри, они вместе поедут в Париж. До чего все это скучно! Никто не хочет понять, что я создан для другого, что мои

стихи хвалил Поль Валери. Этот рыжий американец надо мной издевается. Поэт для него — сутенер. И я не могу крикнуть: «Дикарь, замолчи!» Странно, почему он не седеет? Рыжий, как дочка. А глаза новорожденного. Ему бы соску. Нет, у него «Трансок», сенат, высокая политика.

Нивелю стало невыразимо тоскливо; хотелось громко зевнуть или, швырнув салфетку, встать, уйти. Он сдерживался, уныло клевал виноград. А Лоу, смеясь, повторял: «Пожалуйста, не обижайтесь...» Он снова хлопнул Нивеля по плечу:

— Я вам скажу откровенно, сначала я боялся за Мэри: француз — это француз,— но вы оказались вполне порядочным мужем. Три года или четыре — это солидный стаж, особенно для человека, который сочиняет стихи.

Нивель чувствовал, как в нем растут тоска, злоба, отвращение. Три года терпеть подобные разговоры — это действительно стаж. Луч солнца, пробившись сквозь гардины, осветил жесткие огненные волосы сенатора. Лоу сжал в руке спелый персик, засунул его в рот и весь облился соком. Нивель не выдержал, на его бледном, тусклом лице проступила гримаса. Лоу участливо спросил:

— Опять печенка?

Нивель смутился, как будто его уличили в преступлении. Он едва выговорил:

— Очень жарко...

— Это хорошо, что жарко,— вся гадость выходит наружу. Когда человек основательно вспотеет, он чист перед богом и перед людьми. А вам пора бы привыкнуть. Вы ведь здесь три года. Три или четыре?

Нивель вытер салфеткой лоб; салфетка стала черной от сажи; залпом он выпил стакан ледяной воды; наконец, собравшись с силами, ответил:

— Три. Мы приехали, когда кончилась война.

Сенатор захохотал еще громче:

— Кто вам сказал, что война кончилась? Конечно, для ваших французов война вообще не начиналась. Майор Смидл мне рассказывал, что французы глядели на наши танки, как корова на поезд. Пожалуйста, не обижайтесь, я знаю, что у вас был Наполеон. Но это давно. А теперь вы стали... поэтами... Война не кончилась, война только

начинается. Я знаю, что красные — крепкий орех. Они фаталисты. Для русского жизнь не ценность, а случайность. Конечно, их много, их слишком много. Но мы все-таки выиграем. Вы здесь четыре года или три, это все равно, вы могли заметить, что мы, американцы, доводим дело до конца. Мы медленно начинаем, это правда, мы прикидываем, подсчитываем, но потом — как на конвейере. Я еще выпью с вами бутылку вашего шампанского, когда мы доконаем красных.

Нивель успел притти в себя; он превратился в того любезного, слегка скептического собеседника, которого ценили не только снобы Нью-Йорка, но и многие приятели сенатора. Чуть улыбаясь, он сказал:

— А вы убеждены, что у русских нет бомбы?

Лоу рассердился:

— При чем тут бомба? Пожалуйста, не обижайтесь, но это не стихи для Мэри. Вчера вы мне зачем-то доказывали, что с «Юнайтед» нелегко конкурировать, как будто я собираюсь на этом делать деньги. Для денег у меня хлопок. А «Трансок» — мой долг, это для бога и для Америки. Я не француз и не поэт, у меня есть идеалы. Нужно спасать религию, семью, культуру. Полковник Робертс — настоящий человек, он очень скромен, но к его голосу прислушиваются. А он придает «Трансоку» огромное значение. Представляю себе, сколько работы у вас будет в Париже! Нельзя, чтобы такой человек, как вы, оставался в стороне. Ну, и отхлестали вы дурачков из государственного департамента! Я вами горжусь, вы для меня теперь не француз. Я вам скажу откровенно, вы для меня настоящий американец. Главное — проникнуть по ту сторону железного занавеса. В Прагу можно послать Билла Костера. Это не штука. А вот в Москву... Робертс рассчитывает на вас. Французу пролезть куда легче. Подыщите человека с головой, не красного, а розового, и дайте ему пачку хороших зеленых бумажек. Социалисты любят такой гарнир. Робертс говорит, что там можно многое сделать.

Нивель насмешливо приподнял брови:

— Я давно сомневаюсь в умственных способностях людей из Пентагона. Все-таки я не ожидал, что полковник Робертс настолько наивен. Вы никогда не сделаете из

французского социалиста порядочного шпиона, это кидать деньги на ветер.

— При чем тут шпионы? Когда Робертсу нужно собрать информацию, он не спросит об этом ни вас, ни меня, для этого у него свои люди. Вы напрасно считаете, что Робертс занимается только разведкой. С ним встречаются очень крупные люди. Недавно он был у президента. Меня вообще не интересуют военные дела, это менее всего актуально. Неужели вы думаете, что русские действительно хотят воевать?

— Нет, этого я не думаю. Конечно, они начнут, но не теперь, лет через десять — пятнадцать, когда основательно подготовятся. Эти господа признают только беспроигрышную лотерею. А вот за другую сторону я не поручусь. Ваш Робертс рвется в бой. Да и вы вчера мне сказали, что придется воевать.

— Не помню. Если я это сказал, значит я увлекся. Мне шестьдесят шесть лет, но я еще увлекаюсь. А с Робертсом мы всегда спорим. Он умный человек, он понимает, что мир выгодней войны, но он — военный, а все военные хотят воевать, это понятно — когда нет войны, военные выглядят глупо. Робертс считает, что красные обязательно начнут и что нужно их опередить. Он — идеалист, принимает мечты за действительность. А я рассуждаю трезво. Красных можно доконать без войны. Если человек вам мешает, конечно, вы его уберете. Но как? Убить не всегда удобно, иногда удобнее разорить. Я читал докладную записку Смитса, война их здорово потрепала. Мы должны стоять над ними, как мой Берри над перепелкой. Пусть вооружаются и пусть ходят без штанов. Я вам скажу откровенно, еще в писании сказано — нужно быть мудрым, как змий...

Нивель больше не слушал; он давно научился выключать собеседника, как приемник; смолкал голос, и далекие, почти бессвязные звуки заполняли голову. В такие минуты ему казалось, что он у себя в парижской комнате пишет стихи. Второй, иллюзорный мир был убежищем — Нивель прятался от жены, от болтливого самодовольного тестя, от Америки. Он не мог привыкнуть ни к этому сырому, душному зною, ни к небоскребам, нависающим над человеком, ни к разговорам о делах, прибылях, банкротствах.

Все в этой стране было огромным и неуютным; грозы пугали, как в детстве; дожди казались киноинсценировкой потопа; под окном его кабинета росла трава, как будто перенесенная из библии, она разъедала руки. Давно — это было вскоре после его приезда в Америку — он видел пожар: горела большая гостиница. В окне семнадцатого этажа металась женщина, потом она бросилась вниз. Нивелю часто мерещилась эта сцена; почему-то он думал, что женщина была француженкой; в полусне она ему казалась то заплаканной Персефоной, то музой давних лет. Он мог бы стать большим поэтом. Все вышло иначе. Зачем-то он поверил в благородство немцев, зачем-то связался с рыжей идиоткой, теперь снова лезет в огонь. Это — не его жизнь, это — пожар, он высоко, лестницы нет, а прыгнуть страшно. Он мог бы застрелиться в Париже, утонуть в Женевском озере, все было бы лучше...

Первый год он прожил с женой в Нью-Йорке, потом Мэри заболела, они уехали на Юг, там застряли. Ох, этот Юг! Жара, глупая, прилипчивая женщина, вечером оглушающее радио, спирт с мятой, нищие, запуганные негры. Нивель часто говорил жене, что ему противны американцы,— деление людей на белых и цветных недостойно цивилизованного человека. Он умалчивал о другом: ему были противны и негры, их страх, яркобелые зубы, способность веселиться, несмотря на нищету, грубые танцы. «Я был человеком, а меня поселили в зоологическом парке»,— сказал он как-то жене. Мэри засмеялась: «Значит, Смидл тебя убедил, что негры — звери? Милый, ты был поэтом, а стал плантатором. Только плантации у тебя нет». Он рассердился, но промолчал: считал унизительным спорить с дурой, притом истеричной. Нью-Йорк ему представлялся потерянным раем. Мэри там развлекалась с какими-то грязными, взлохмаченными художниками, а он бродил по длинным улицам среди огней и тумана, пил коньяк и вспоминал змеиную чешую Сены, рыболовов, букинистов, влюбленных. Тогда он еще писал стихи — о Франции, о каштанах в цвету, похожих на семисвечники, о тихом сплине Старого Света. Теперь нельзя и забыться: рыжий чорт завлек его в омут.

Нивель становился все более и более раздражительным; окружающие приписывали это болезни печени, а он

считал тестя причиной всех бед. Однако в редкие минуты душевного спокойствия, задумываясь над своей судьбой, он признавал, что Лоу не лишен ни ума, ни сердца. Сенатор принял в свой дом чужестранца без денег, без положения, без родины. Теперь он дает Нивелю возможность вернуться в Париж не бедняком с подмоченной репутацией, а директором «Трансока». Перед Нивелем будут заискивать даже крупные писатели, один уже прислал льстивое письмо — он преклоняется «перед своеобразным гением автора «Маски Цирцеи». Кто осмелится попрекнуть Нивеля? Уж не Самба ли, этот озлобленный неудачник? В моей жизни,— говорил себе Нивель,— есть своя линия: не случайно в сорок первом я взял сторону Геркулеса, укрощающего Антея. Конечно, я ошибся — чванливого сумасшедшего тевтона я принял за полубога, дорога была плохой, но цель безупречна: отстоять Прозерпину, поэзию, Европу. Сорок первый продолжается; теперь против коммунистов двинута страшная сила — Америка. Значит, я никому и ничему не изменил — ни Франции, ни искусству, ни себе. Так он пытался себя утешить, а час спустя, увидев Мэри, безвкусно одетую, прыгающую, как девчонка, по саду, или выдержав очередной разговор с сенатором,— «пожалуйста, не обижайтесь»,— он снова терял спокойствие. Он записывал в дневник (это все, что у него осталось от старых привычек): «Я не думаю, что можно пасть ниже, любой марсельский сутенер счастливее во сто крат. Боюсь призвать на помощь музу, она здесь не проживет и дня. Конечно, единственный шанс на спасение всего, что мне дорого,— это их бомба. Я должен их благословлять, а я их ненавижу. По сравнению с Робертсом или с другими здешними выскочками Ширке — воистину Ницше. Без шуток, немцы были куда тоньше. Никто в Европе не способен представить себе, до какого умственного упрощения можно довести человека. Мэри стала нестерпимой, это возраст, хорошо известный психиатрам (ей исполнилось сорок три, хотя она говорит, что тридцать девять). Она абсолютно не знает, что с собой делать, ездила в Техас на петушиные бои, которые, кстати, там запрещены и происходят нелегально, как собрания красных, потом увлеклась романами Миллера, говорила, что любит «неприкрашенную правду», а Миллер — это

эротика для пожилых гиппопотамов. Теперь у нее новая мания — нашла негра-любителя и заставляет его писать натюрморты — белые лилии, уверяет, что это — новый Руссо. Глаза у нее блудливые, а рот, как пропасть. Противно! Все противно. Сейчас я встал — и вижу мокрое пятно на стуле от пота. Какая мерзость! Меня тошнит от них, от самого себя, от каждого слова, каждого жеста».

Через месяц он увидит Францию. Помнят ли о нем? Три года тому назад он получил кипу газетных вырезок: друзья Лежана писали, что Нивель — предатель, требовали суда. Конечно, многое с тех пор изменилось. Ему не придется каяться, оправдываться — все теперь говорят о предстоящей войне. Он сможет сказать: «Я это предвидел, когда вы братались с коммунистами». Да, господин Лежан, мы еще посмотрим, кто кого будет судить!

Все же, думая о возвращении в Париж, он волновался. Лансье, наверное, разыгрывает патриота — боится, как бы не выплыли его делишки с немцами. Самба туп и зол. Газеты писали, что Дюма собирается в Америку. Старик выжил из ума — выступает на митингах, подписывает какие-то воззвания. Значит, и с ним нельзя тихо поужинать, вспомнить вечера в «Корбей», кулинарные восторги глупого Мориса, споры о выставках «диких» или о духовном поединке Аполлона и Марсия. Нет, нужно глядеть правде в глаза — довоенного Парижа больше нет, Нивель найдет новый, незнакомый город.

Волнение мешало ему насладиться отсутствием жены. Он плохо спал, даже снотворное не помогало. На длинном зеленоватом лице лихорадочно блестели глаза. Сейчас, после скучного обеда с тестем, он сидел в полузабытьи и смутно думал: когда-то я мечтал о перевоплощении — начать вторую жизнь, а теперь не хочу: знаю заранее и вторую и сотую. Неинтересно...

— Но вы меня не слушаете! — воскликнул Лоу.— А это самое важное: Робертс утверждает, что там существует скрытая оппозиция. Нужно только организовать... Робертс не первый встречный, с ним советуется Гарриман. Его ценят многие республиканцы, я знаю, что с ним разговаривал Даллес. Я сказал Робертсу — экономней обойтись без войны. Но, конечно, если можно решить все этой бомбой, я замолкаю...

Он действительно вдруг замолк. За последнее время он начал сдавать: неожиданно среди оживленного разговора им овладевал сон. Он считал, что дело не в годах, как уверяют врачи, просто его утомляет столица. Полвека он прожил у себя в штате Миссисипи, в старом доме с белыми колоннами, выращивал цветы, баловал Мэри и под вечер глядел, как чернела большая желтая река. С неграми он был суров, но справедлив; провинившихся тотчас выселял, а трудолюбивым и послушным в сочельник раздавал подарки. Он говорил Нивелю: «Северяне любят заступаться за черных, но вы им не верьте; северянин, даже красный, брезгует неграми. А я пойду на их свадьбу, поиграю с детенышами, для меня они как-никак люди». Незадолго до войны друзьям Лоу удалось привлечь его к политике. Он понимал, что Мэри больше не нуждается в его опеке, и, будучи человеком набожным, сказал себе, что не может уклониться от ответственности перед богом и перед людьми. Он занялся делами своего штата; потом его послали в сенат. Просторная вилла на окраине Вашингтона показалась ему тесной, люди — чопорными; однако он вкладывал в работу сердце, часто выступал в комиссиях, а недавно организовал «Трансок». Он был краснолицым, крепко скроенным, громко говорил, громко смеялся; все думали, что он счастлив, но он тосковал о желтой реке, о доме с колоннами, о спокойствии; жаловался на головные боли, на одышку, повторял: «Боюсь, что зять меня все-таки переживет».

Он задремал в кресле. Нивель попрежнему сидел у обеденного стола; казалось, он о чем-то сосредоточенно думает; на самом деле он отсутствовал; разорванные картины — старая ярмарка Франции, женщина в окне горящего дома, полянка с яркокрасными анемонами — маячили перед его глазами. Он не слышал, как вошла горничная. Сенатор проснулся:

— Телеграмма?

Он вскрикнул и выронил листок. Нивель прочитал: «На Мэри вчера совершено покушение. Вседержитель печется о своих детях, и Мэри невредима. Телеграфируйте, приедет ли господин Нивель, в противном случае я советую, чтобы Мэри ускорила свой отъезд. Преступник задержан, это цветной Гаррисон, работавший у вас. Следствие про-

должается. Все мы возмущены и сердцем с вами. Комитет штата просил поздравить вас с успехом вашей блистательной речи. Ваша декларация о ближайших целях «Трансока» опубликована в местной печати и нашла горячий отклик. Преданный вам майор Смидл».

— Какой ужас! — наконец выговорил Лоу.— Бедная девочка!.. Подумайте, я поселил этого мерзавца в хорошеньком домике у Плауэра. Я вам скажу откровенно, это не люди. Поднять руку на Мэри! Она в жизни никого не обидела. Ужасно, что я не могу уехать,— послезавтра мой доклад в комиссии...

Нивелю не улыбалась поездка в Миссисипи, но он знал, что с тестем нельзя ссориться, а сенатор простит все, только не безразличие к судьбе его дочери. Нивель метался по комнате, подносил платок к глазам, что-то выкрикивал. Час спустя, когда Лоу несколько успокоился, Нивель сказал:

— Я хочу сейчас же вылететь. Но, может быть, лучше, чтобы Мэри приехала сюда? Ей нужно переменить обстановку. Если я сейчас позвоню Смидлу, она сможет выехать из Джексона завтра утром. Я хочу, чтобы вы поскорее ее обняли.

Нивель шел один по улице; стемнело, но зной не спал. Он задыхался от горячей сырости, от запаха бензина. Передышка кончена: то же плюс Мэри. Странно, почему негры хотели ее убить,— она ведь их защищала?.. Впрочем, ничего тут нет странного, Мэри подвернулась под руку, а негров они довели до отчаяния. Наверно, Лоу обидел этого Гаррисона, он выпил лишний стаканчик, ну, и решил расквитаться, это легко понять.

Промчалась машина; два рыжих глаза долго светились в темноте. Нивель остановился. Но почему он ее не убил?..

Нивель вырос в семье, где о боге вспоминали только шутя: отец любил легкомысленные стишки, посвященные библейским событиям. Боги и богини, которых узнал молодой поэт, были белыми статуями или тенями среди лавровых рощ. Но сейчас он вдруг протянул руку вверх и злобно выкрикнул: «Почему ты ее не убил?» Его слова были обращены не к бедному негру из Миссисипи, а к тому вседержителю, о котором упомянул в своей телеграмме майор Смидл.

Он понял, что теряет рассудок, усмехнулся, пошел дальше. В окне он увидел: девушка задумчиво причесывалась перед длинным зеркалом, мать укладывала ребенка. На веранде сидел пожилой человек, курил трубку. Кто-то поливал цветы из лейки. У них своя жизнь, подумал Нивель, им нет дела ни до «Трансока», ни до коммунистов, ни до меня. Наверно, здесь есть и влюбленные и поэты. Какая-нибудь женщина сейчас рожает. Я помню, как в Блуа нотариус Жаннэ поливал вечером белые левкои. Может быть, и в России?.. Если не нотариус, то бухгалтер или инженер... И женщины там тоже рожают, кормят грудью, укладывают детей. У всех своя жизнь, только я остался в стороне. Сидит у зеркала, мечтает... Для нее существуют тишина, вечер, мир. Почему же я должен засылать куда-то французов, давать глупые коммюнике, шуметь, науськивать? Через три дня приедет Мэри, скажет: «Ты не понимаешь моих порывов». Сенатор загрохочет: «Пожалуйста, не обижайтесь»... Потом папки, доклады, доносы, «Трансок». Кажется, Робертс прав: бомба — это самое чистое...

2

Все газеты штата Миссисипи писали о покушении на госпожу Мэри Нивель, совершенном негром Дэвидом Гаррисоном; газеты указывали, что помимо низких инстинктов, присущих многим цветным, преступником, видимо, владели политические страсти: он хотел отомстить «достоуважаемому сенатору Лоу, который свято охраняет традиции, завещанные южанам Джефферсоном Дэвисом». Политический характер дела подчеркивался тем, что злоумышленник был задержан благодаря хладнокровию и находчивости майора Смидла.

Мало кто из жителей южных штатов не знал опоры демократической партии майора Смидла. Человек кипучей энергии, Смидл интересовался решительно всем. Он состоял в церковном совете, был председателем клуба «Неунывающие», организовывал сельскохозяйственные конкурсы, писал в газетах Нью-Орлеана, Джексона, Бэрмингема. Именно он уговорил Лоу выставить свою кандидатуру в сенат. Майор был на семнадцать лет моложе Лоу,

и сенатор шутя называл его «мальчиком», но ценил его ум и частенько прибегал к его советам.

С войны майор привез две медали и сотню историй, показывающих доблесть южан; послушав его, можно было подумать, что, не будь на свете Луизианы и Миссисипи, американцы никогда не высадились бы в Нормандии и не дошли бы до Эльбы. Говоря о себе, он старался быть скромным и только невзначай упоминал, что на головном танке одним из первых вошел в Кельн. За годы войны он поседел, это придавало особенную привлекательность его моложавому лицу, обожженному солнцем.

Конечно, у столь заметного человека было немало врагов. Адвокат Кларк, которого в Джексоне называли «красным», говорил, что майор Смидл играет крупную роль в Ку-клукс-клане. Узнав об этом, майор заявил: «Ку-клукс-клан — патриотическая организация, и я горжусь дружбой со многими из ее участников. Но я в ней не состою. Я с детства привык уважать букву закона — мой отец был судьей, одиннадцать лет я занимался адвокатской практикой. У меня и у куклуксклановцев та же цель — сохранить дух Юга, но они жаждут подвигов, жертв, а я стою на страже закона». Недоброжелатели уверяли, что майор Смидл отстаивал в Миссисипи сухой закон, потому что ему принадлежало питейное заведение на границе соседнего «мокрого» штата, охотно посещаемое жителями Джексона; говорили даже, будто майор покрывал шайку контрабандиста Джо, до последнего времени снабжавшую штат крепкими напитками. Это вряд ли соответствовало действительности; что же касается ресторана «Мокрый рай», то Смидл не отрицал, что является одним из его владельцев; он говорил, что ничего не имеет против виски и сухой закон поддерживает только потому, что свыше половины населения штата — цветные, которых алкоголь может толкнуть на преступление.

Были и другие толки: майора, например, обвиняли в том, что он изнасиловал студентку-негритянку, приехавшую на каникулы из Чикаго; говорили, будто за два часа до бракосочетания со вдовой Фармер, узнав, что невеста переписала часть своих плантаций на имя брата, Смидл исчез; рассказывали, что он привез из Европы изумрудное ожерелье, отобранное у немки, с которой сожительство-

вал. Никто не знал, насколько справедливы эти рассказы, но всех удивляло, почему человек с положением, с романтической внешностью остался холостяком. У женщин он пользовался успехом. Лет пятнадцать тому назад в него влюбилась даже Мэри, считавшая, что в доме ее отца бывают только невежественные провинциалы. Она не стала скрывать свои чувства. Смидл ей тогда сказал: «Я недостоин вас. Я ничего не понимаю в искусстве. А в семейной жизни я буду невозможным деспотом. Дочь Лоу заслуживает человека получше».

Он сохранил с Мэри дружеские отношения, называл себя ее рыцарем, старался расположить к себе заносчивого Нивеля. Узнав, что преступника, покушавшегося на Мэри, задержал майор Смидл, Лоу сказал зятю: «Пожалуйста, не обижайтесь, но этот мальчик любит Мэри больше, чем вы».

Сенатор не знал, что за последнее время отношения между Мэри и майором испортились. Смидл готов был примириться с Нивелем, хотя и презирал его: «Дармоед, кривляка — словом, француз». Рассказывая о походе, Смидл признавался, что враги были ему куда симпатичнее, нежели друзья. Он отдавал должное опрятности и благоустройству немецких городов, восторгался выносливостью немецких солдат, а доходя до описания немецких женщин, мечтательно вздыхал. Франция его возмутила грязью, распущенностью нравов, легкомыслием. «Белые негры,— говорил он о французах,— да и не совсем белые — трудно отличить марсельца от цветного, все перемешалось, нет ни традиций, ни порядка, ровно ничего». Хотя Нивель ругал коммунистов и не скрывал, что первое время сотрудничал с немцами, майор ему не верил: зять сенатора, наверно, сочувствует красным. Смидл не знал, чему приписать перемены, происшедшие в Мэри,— длительному пребыванию в Европе или влиянию мужа. Мэри смеялась над страхом майора перед коммунистами, говорила, что не мешало бы перевернуть все вверх дном, поселить в Белом Доме сюрреалистов, разрешить всем свободно разводиться и перестать при каждом удобном случае поминать господа бога. Смидл понимал, что Мэри его дразнит, и все же возмущался: как может дочка Лоу, да еще в такое время, позволять себе подобные шутки?

Он стерпел бы это, не начни Мэри все чаще и чаще заговаривать о положении цветных. Нахваталась дурацких мыслей в Европе, говорил себе Смидл; это объясняло, но не оправдывало поведения Мэри. У нее был своевольный характер; ухватившись за что-либо, она начинала с упорством балованого ребенка повторять запретное. Если Нивель ограничивался сдержанными замечаниями о том, что многое ему в Америке непонятно, то Мэри кричала, что Смидл, наверно, прятался за спину черных солдат, что негритянская скульптура нравится всем знатокам, даже Пикассо, что негры изумительно сложены. Выведенный из себя, майор однажды сказал ей: «Если бы у вас была дочь, согласились бы вы, чтобы она привела к вам черного мужа?» Мэри в ответ захохотала: «Я бы ей позавидовала. Я убеждена, что черные — замечательные мужья».

Майор боялся, как бы разговоры Мэри не получили огласки. Тогда конец карьере сенатора, да и Смидл, выдвинувший кандидатуру Лоу, потеряет доверие. А что, если она разоткровенничается перед каким-нибудь черным? Негры обнаглели. Им позволили в Европе убивать белых, вот они и вошли во вкус. После немцев им хочется перейти на американцев. Выступая на собраниях, майор говорил, что красные могут найти в неграх союзников. Он напоминал сенатору Лоу о своей встрече с русским офицером: «Вы не можете себе представить, что он говорил! Причем это был майор с орденами. Для него шофер-негр выше нас с вами. Вы понимаете этот шахматный ход? Они хотят натравить на нас черных. Тогда они получат ключевые позиции, смогут высадиться где-нибудь в Мексиканском заливе и двинуться на север. Неужели в Вашингтоне не раскусили их игры?..» Смидл считал, что неграм нельзя давать поблажки. Будучи приверженцем законности, он в одной из своих статей высказался против суда Линча; но когда куклуксклановцы повесили черного, который осмелился надерзить председателю торговой палаты, Смидл радовался: может быть, теперь они образумятся.

Накануне того дня, когда произошло событие, потрясшее весь штат, майор получил длинное письмо от сенатора Лоу, посвященное задачам «Трансока». В конце письма сенатор просил Смидла: «Не забывайте Мэри, она теперь

почти вдова — «Трансок» приковывает Нивеля к столице. Недели через три она приедет сюда, потом они двинутся в Европу». У Смидла было много дел; только на следующий вечер он решил навестить Мэри. Он оставил машину возле ворот и пошел по аллее, обсаженной азалиями. Он был настроен миролюбиво, говорил себе, что не станет отвечать на злые шутки Мэри,— у нее доброе сердце, это — дочь Лоу. Подойдя к дому — еще было светло,— он увидел нечто страшное. Из окна комнаты на втором этаже, где жила Мэри, выскочил огромный негр и стал спускаться по водосточной трубе. Майор закричал: «Стой!» Негр спрыгнул и бросился бежать; видимо, он ушибся: его сразу нагнал шофер; потом прибежали садовник, рабочие. Шофер ударил черного по голове рукояткой садового ножа. Смидл был настолько потрясен, что не мог ничего сказать. Выбежала Мэри, она была в японском кимоно, истерически вопила: «Он ничего не взял! Вы слышите? Это не вор!» Придя в себя, Смидл сухо сказал: «Судья разберет. Мой долг — ограждать вас и дом господина Лоу». Он приказал рабочим запереть преступника в сарае и сдать полицейским, которых он пришлет из города.

Ночь упала сразу. При свете фар кактусы вдоль дороги казались толпами уродов. Потом взошла большая желтая луна. Смидл не мог успокоиться. Конечно, у нее доброе сердце, но голова у нее червивая. Женщина из рода Лоу заступается за черного убийцу — это ли не позор?..

Судья Гильмор принял его у себя:

— Стаканчик виски?..

Смидл отказался: горло сжимала судорога. Он рассказал о преступлении. Судья повторял: «Кошмар!.. Я вам говорю, настоящий кошмар!..» Они долго сидели молча.

— Может быть, он покушался на честь госпожи Нивель? — спросил вдруг судья.

Майор не ответил. Перед его глазами кривлялись розовые цапли с кимоно Мэри. Где-то закричал младенец. Судья улыбнулся:

— Моей кухарки... Тоже черная, но очень смирная, а готовит восхитительно.

На следующее утро выяснилось, что оружия у негра не было. Личность преступника легко установили: вернувшись с войны, он сразу попал на плантации Лоу. Он отрицал свою вину, говорил: «Это госпожа позвала меня к себе». На вопрос, почему он выпрыгнул из окна, негр ответил: «Я услышал гудки машины и перепугался».

Судья поехал к Мэри. Она его не хотела принимать; он прождал свыше часа. Наконец она вышла и сразу стала кричать:

— Какое вы имеете право меня допрашивать? Я пожалуюсь отцу. Что вы от меня хотите? Я сто раз говорила — это не вор, он ничего не украл.

Судья растерялся:

— Простите, я понимаю, что на вас это произвело угнетающее впечатление. Я вас не допрашиваю, я приехал, чтобы вам выразить мое соболезнование. Этот негодяй не хочет объяснить, зачем он ворвался в ваш дом. Я не знаю, было ли это с целью грабежа, или хуже... Он мог замыслить покушение на вашу жизнь...

Мэри вдруг истерически захохотала:

— А если он влюблен в меня? Или, вы думаете, что в меня уже нельзя влюбиться?..

Прикрыв плотно дверь, судья шопотом говорил майору Смидлу:

— Я боюсь, что госпожа Нивель не в своем уме. Она вообще со странностями, а тут такой нервный шок... Она плачет, смеется, говорит бог знает что... Я не знаю, как я от нее выбрался.

— Что же, он намеревался ее убить? — спросил майор, предпочитая не продолжать разговора о Мэри.

— Не думаю... В общем я был прав — негодяй покушался на честь госпожи Нивель. Она дала мне это понять... Не знаю, что скажет сенатор... По-моему, лучше сказать репортерам, что преступник хотел ее убить,— это как-то пристойней. Кошмар, я вам говорю, настоящий кошмар! Может быть, посоветоваться с губернатором? Как вы думаете?

Майор ответил не сразу, он был подавлен словами судьи. Снова перед ним кривлялись цапли, а Мэри цеплялась за шею огромного страшного негра. Может быть,

этот черный и не врет. От такой истерички следует ожидать всего. Главное, чтобы она не болтала.

— Вы правы,— сказал он,— важно, что он напал на госпожу Нивель, а все остальное — детали. Газеты любят скабрезные описания, но это не какая-нибудь актриса, это дочь сенатора. Так или иначе...

Смидл не договорил. Судья ухмыльнулся:

— Так или иначе, он сядет на электрический стул.

Негр Дэвид Гаррисон, с рассеченной губой, с закрывшимся глазом, лежал на липком полу камеры. За дверью два тюремщика до одурения повторяли: «десятка, туз», «туз, десятка». Дэвид Гаррисон ни о чем не думал; он не испытывал больше ни страха, ни боли. Но вдруг он вспомнил: Дженни ждет его у железнодорожного моста. Тогда тюрьму потряс громкий судорожный вопль.

3

Лоу был человеком на редкость упрямым, эту черту его характера унаследовала Мэри. Будучи впечатлительной, она легко увлекалась всем — книгой, человеком, очередным «измом», даже забавой; все это принимало у нее характер мании. Прожив одиннадцать лет в Европе, она многое увидела, но осталась по-детски непосредственной. Свое образование она начала с конца, знала только то, чем восхищались ее знакомые: произведения искусства, научные проблемы, борьба идей были для нее калейдоскопом с яркими, сменяющими одна другую картинами. Можно сказать, что Европа ее искалечила: не воспитав вкуса, приучила к ужасу перед безвкусьем и, не открыв идеала, восстановила против Америки.

Нивеля она полюбила страстно и мучительно, обременяя его своей требовательностью. Она верила в его гений; как ребенок, радовалась, что деньги Лоу позволят ему отдаться поэзии; подсовывала альбомы, переплетенные во флорентийскую кожу, и час спустя спрашивала: «Написал?» Он скрывал от нее многое из своего прошлого, говорил, что ему пришлось покинуть Францию, потому что он не мог ужиться с оккупантами. Однажды (это было еще в Женеве незадолго до их отъезда), сидя в парик-

махерской, она взяла забытую кем-то газету и вся побелела: в газете говорилось, что Нивель (автор статьи называл его «искусным стихоплетом») во время оккупации сотрудничал с немцами и, заведуя паспортным отделом префектуры, не только не помогал патриотам, но предавал их в руки гестапо. Она прибежала к мужу потрясенная, не могла вымолвить слово, молча протянула газету. Нивель поморщился: «Коммунистический листок. Сводят счеты. Ложь, клевета, грязная политика». Это не удовлетворило Мэри, и Нивелю пришлось долго объяснять, что можно быть патриотом, ненавидя коммунистов, что в префектуре он продолжал служить только потому, что у него нет отца-плантатора, что он никого не выдавал, а многим задержанным оказывал помощь и что вообще это мало его интересует, ибо «две строчки Поля Валери важнее всей политики». Мэри тогда еще верила мужу, но какая-то горечь осталась — ей было обидно, что ее муж служил в полиции и что все об этом знают. Три года спустя (это было уже в поместье Лоу), поссорившись с мужем, Мэри вдруг сказала: «Между прочим, я верю, что ты выдавал французов,— у тебя всегда высокие идеи и никакой порядочности».

После возвращения в Америку — три или четыре месяца — Мэри не отходила от мужа: он казался ей единственным близким человеком — в своей стране она чувствовала себя чужой. Она понимала, что раздражает Нивеля, но не могла с собой справиться. Нивель все же ухитрялся убегать; несколько ночей он не ночевал дома, объяснял, что засиделся у знакомых, что он должен искать вдохновения, он не только муж Мэри, он поэт. Она ревновала, ходила с лицом, распухшим от слез, называла себя дурой, мещанкой, помешанной. Как-то в минуту отчаяния она поехала к художнику-сюрреалисту, с которым познакомилась в Париже. Он показал ей новые картины: мертвец, лежа в гробу, курил трубку; две альпийские коровы играли на мандолинах. Потом они много пили. Художник спросил: «Вам не пора?» Она засмеялась и стала раздеваться. Домой она вернулась утром. Она начала много пить, вела беспорядочный образ жизни; знала, что муж ей изменяет, и спокойно изменяла ему. Почему она с ним не разошлась? Все упиралось в сенатора. Если

Мэри кого-нибудь и любила настоящей, большой любовью, то только отца. Мать умерла, когда она была маленькой, вырастил ее отец. Она любила в нем все, даже его слабости, прощала ему честолюбие, увлечение политикой, дела, которые ей казались скучными, а порой и неопрятными; никогда с ним не спорила, не рассказывала о своих увлечениях и чудачествах. Она знала, что люди Миссисипи не одобряют разводов, и считала, что не вправе нанести отцу такой удар; говорила себе: я выбрала мужа, не посоветовавшись с отцом, значит, нужно терпеть... От тоски, от виски, от шумных и беспокойных ночей она заболела; отец потребовал, чтобы они переехали на юг. Полтора года она провела с Нивелем в поместье на берегу Миссисипи; это было самое трудное время, и предстоящему переезду в Париж она обрадовалась, как освобождению: там она сможет делать все, что ей вздумается, не рискуя бросить тень на репутацию сенатора. Она сама предложила мужу, что останется на юге, пока он будет договариваться в Вашингтоне о своих новых функциях. Она больше не любила Нивеля и рада была остаться без него, хотя жизнь в поместье ее тяготила. Конечно, не будь она дочерью сенатора, она нашла бы и в захолустном Джексоне партнеров для кутежей, для тех коротких развлечений, которых требовала ее натура. Но ей приходилось все время думать о добром имени Лоу, и она вела себя примерно; скучая, она пыталась, как могла, убить время — читала романы Пруста, собирала гербариум, занималась благотворительностью — раздавала негритянкам на плантациях детскую одежду, лекарства, шоколад.

Так произошло ее знакомство с Дэвидом Гаррисоном, который жил у старика Плауэра. Как-то, придя в воскресенье после церковной службы к Плауэру, внуков которого Мэри потчевала витаминами, она увидела молодого негра; он рисовал девочку. Ей понравился рисунок выразительностью, строгостью линий. Дэвид сказал, что любит рисовать, и в следующее воскресенье она принесла ему набор школьных красок. Это было еще до отъезда Нивеля, который успел поиздеваться над очередным увлечением взбалмошной супруги. Мэри продолжала встречаться с негром, приносила ему альбомы, краски, монографии знаменитых художников. Хотя Дэвид мог отда-

ваться живописи только по воскресеньям, он делал успехи, и Мэри была убеждена, что открыла большого художника. Не раз она ему говорила, что он должен уехать на Север: «В Нью-Йорке вас оценят. Там много известных актеров-негров, с одним я провела вечер. Они живут в Гарлеме, но играют повсюду, и какой успех! Вашу выставку можно устроить в хорошей галлерее, я поеду в Нью-Йорк и сама этим займусь». Дэвид каждый раз отвечал: «Спасибо, но я не могу уехать».

Как-то, расставшись с негром, Мэри вдруг засмеялась: ничего не поделаешь, я влюбилась в этого черного!.. Она стала мечтать о свидании — они ведь встречались на людях, у Плауэра; иногда Дэвид провожал ее до дороги. Она нервничала, глотала лекарства, лишилась сна; днем и ночью ей мерещился негр с печальными, мечтательными глазами. Хоть бы раз поцеловал!.. Она готова была на безрассудный поступок, сжимала руку Дэвида, шептала: «Я, кажется, схожу с ума». Он был, как прежде, почтителен и сдержан; только иногда, отворачиваясь, вздыхал; подметив это, Мэри говорила себе: он тоже терзается.

— Сегодня вечером,— сказала она,— вы придете ко мне. Я покажу вам картины замечательных художников.

— Это невозможно,— ответил Дэвид.

— Но почему? Я буду вас ждать у ворот. Вас никто не увидит, я отошлю горничную. Если мы встретим садовника, я скажу ему, что вы должны починить мой секретер, вы ведь говорили, что работали столяром. Но мы не встретим садовника...

— Это невозможно,— повторил Дэвид.

Мэри рассердилась; на ее щеках проступили яркокрасные пятна. Не помня, что говорит, она крикнула:

— Я вам приказываю! Лучше не спорьте со мной, вам будет хуже. Вы боитесь садовника, а я могу оказаться куда опасней...

Дэвид пришел. Она действительно начала ему показывать картины; ее коллекция была пестрой и случайной; рядом с полотнами сюрреалистов висели рисунки Родэна и прекрасный натюрморт Матисса. Дэвид им залюбовался; он даже перестал испытывать смущение, заговорил о живописи. Мэри вдруг поняла, что любит в нем горение, его восторг перед искусством. Она подумала, что

готова отказаться от объятий; в Париже она сможет легко забыться с каким-нибудь неприкаянным, похожим на нее, а Дэвид — художник, его нужно беречь.

— Сколько вам лет? — спросила она.

— Двадцать пять.

Мэри скрывала свой возраст, но сейчас она сказала:

— А мне сорок три, я гожусь вам в матери. Слушайте, Дэвид, почему вы не хотите уехать в Нью-Йорк? Не думайте о деньгах: я куплю ваши акварели. Вы художник, здесь вы погибнете.

Раздался гудок машины. Мэри выглянула:

— Смидл!

Тогда Дэвид выпрыгнул из окна.

4

Дженни не ждала Дэвида у железнодорожного моста: страшная весть быстро облетела черные кварталы. «Это работа Смидла»,— говорили старые негры. Женщины, всхлипывая, прижимали к себе детей. Ждали погрома, и в окнах исчезали огни, дома слепли один за другим, а горячий ветер кружил пыль на черных улицах мертвого города.

Дженни шила розовую блузку, когда прибежал ее брат; он едва успел выговорить «Дэвид», как она поняла все.

Это было год назад в такой же знойный вечер; они шли к лесу. Они давно знали друг друга, и только час спустя они поняли, что до этого вечера они друг друга не знали. В лесу пахло мхом, забытой весной, счастьем. Лианы страстно обнимались. Возле полуразвалившегося домика стояли два кактуса; ласково они передразнивали влюбленных. Он заговорил первым, и как потом Дженни ни пыталась вспомнить, что он ей сказал, не могла. Ей казалось, что это было длинным признанием, но, может быть, он только назвал ее по имени, а остальное договорили деревья, птицы, руки, губы.

Когда они шли назад, Дженни подняла глаза и вздрогнула. «Что с тобой?» — спросил Дэвид. Она не ответила; она с трудом шла; потом остановилась, тихо выговорила:

«Мне страшно». Он пытался ее успокоить, говорил, что никто не узнает их тайны. Она кивнула головой. Как могла она рассказать, что ее пугают не толки? Поглядев на черное небо, она увидела большую зеленую звезду. Никогда раньше не видала она такой звезды — одна, печальная, обреченная. Дженни подумала: вот она, наша любовь...

Есть звезда счастья. Не о ней ли поют в церкви: она вызволила измученных пастухов, ее призывают игроки, когда отчаяние обходит сизые от дыма притоны. Дэвид привез с войны маленькую красную звездочку, подарок русского; он всем ее показывал, говорил: «Эта должна принести счастье». Другой была звезда, которую увидела Дженни: она сулила беду. Полгода спустя, когда над ними уже нависла тень разлуки, Дженни сказала Дэвиду:

— Я не суеверная, можешь спросить маму, я не верю в приметы, но я уж тогда знала, что будет несчастье. Только ты не думай, что я жалею. Я такая счастливая! Когда ты целуешь, нет меня счастливей на свете! Но я уже тогда знала, что счастье отнимут. Если бы ты видел, какая она была зеленая и печальная...

Он горько улыбнулся:

— Дженни, разве может быть счастье у черных?

Шли неделя за неделей — они встречались по воскресеньям. Шли дни — понедельник, вторник, среда... Она шила; он стругал дерево, собирал хлопок, водил грузовики. Она шила блузки — розовые и голубые, цвета фиалки и цвета граната; земля была черной, хлопок белым; по городу ходил майор Смидл; а зеленая звезда показалась, чтобы зайти, рассыпаться, исчезнуть.

— Ты не должна столько работать, Дженни.

— Почему? Я сильная. Посмотри на мои руки.

— Не знаю, но мне кажется, что ты слабая, нет, не слабая, а хрупкая.

Она отвернулась: вспомнила зеленую звезду, а потом целовала, целовала...

Дженни любила петь, она пела про любовь, про мальчика на облаке, про два цветка, много других песен. Дэвид как-то сказал ей шутя:

— Почему ты не поешь про зеленую звезду?

Она не ответила. Они заговорили о другом, и вдруг Дженни запела:

Он звал, ему не поверили,
Боялись за него заступиться.
Он висит на высоком дереве,
И клюют глаза его птицы.

— Это о Чарли,— сказал Дэвид.— Я помню, как в Бельгии капитан струсил, он залез в блиндаж и кричал: «Все кончено!» У него сделался понос, вот что. Мы давно отогнали немцев, а он не верил, сидел на корточках и целовал куклу, такой у него был талисман. Я тебе правду говорю, над ним все смеялись. Да, тогда мы были нужны. А кто повесил Чарли? Франк. Он был дезертиром, это не тайна, и еще двое белых, поганые трусы, я их знаю, они всю войну провалялись в госпитале.

Дэвид рассказывал:

— Я вел грузовик. У переправы нас встретили русские. У них нет бороды, это неправда, и они очень веселые. С нами было трое белых, конечно, они накинулись на русских, выпрашивали пуговицы, автографы, сувениры. Я и Чарли стояли в стороне. Вдруг к нам подошел русский. И ты знаешь, кем он был? Полковником. Он подал нам руку, это все видели. Он что-то сказал, я не понял, но, наверное, он сказал хорошее, потому что русские улыбались. Да, он крепко пожал руку Чарли. У Чарли была медаль, как у меня. Но мне повезло, я выбрался живой, а Чарли на войне оставил руку. Я знаю Франка, это дезертир, и он повесил Чарли. Нет, Дженни, нам с ними не жить.

Она отвечала:

— Ты должен уехать на Север. В Нью-Йорке тебе будет хорошо. Может быть, в России еще лучше, я не знаю, но это очень далеко, ты туда не доберешься. А до Нью-Йорка ты можешь доехать, я буду копить деньги на билет. Ты должен отсюда уехать.

— Нет, Дженни, я не уеду. Неужели я нашел тебя, чтобы потерять? Я часто думаю, как трудно было тебя открыть, это куда труднее, чем открыть остров или звезду: там можно высчитать,— а с любовью не то: она приходит или нет. Я открыл мое счастье, Дженни.

— Дэвид, оно такое хрупкое...

— Нас в штате больше, чем белых. Если черные поумнеют, можно будет жить. Я вчера сказал нашим: «Почему вы не хотите думать? Чарли повесили дезертиры, а русский полковник пожал мне руку». Они убежали, Дженни. Они боятся думать. Ты знаешь, что мне сказал старый Плауэр? «Бог лучше людей, и, наверно, рай для черных не хуже, чем рай для белых». Ты понимаешь, он считает, что у бога два рая, ведь нельзя заставить сенатора Лоу сидеть на одном облаке с негром Плауэром. Я тебе говорю, они боятся даже подумать...

— Я тоже боюсь, Дэвид. Когда ты так говоришь, мне весело и страшно. Я боюсь, что тебя могут услышать...

— Кто? Ангелы?

— Нет. Смидл.

Когда Дэвид рассказал впервые про визит Мэри, Дженни огорчилась. Конечно, хорошо, что он рисует, даже белая признала, что он умеет рисовать. Я это давно говорила, но он думал, что я так говорю, потому что влюблена. Ему нужно уехать в Нью-Йорк. Но лучше не разговаривать с дочкой сенатора, такие вещи плохо кончаются.

— Ты ее больше не встречал, Дэвид?

— Она снова приходила сегодня. Принесла краски.

Дженни поняла: эта белая нравится Дэвиду. Должно быть, она очень умная, много ездила по свету. Дженни приревновала; она даже решила не приходить на свидание, но спохватилась и прибежала. Когда он ее обнял, она спросила:

— Зачем? У тебя теперь другая...

Он усмехнулся:

— Я не знаю, как от нее избавиться. Я ее просил, чтобы она не приходила к Плауэру, а она рассердилась.

— Ты не хочешь, чтобы она сердилась? Значит, ты все-таки ее любишь...

— Я ее боюсь — вот что. Если бы ты ее видела! Такая способна на все.

Он прибежал к Дженни в неурочный час, сам не свой:

— Она сошла с ума. Ты знаешь, что она придумала? Я должен притти к ней вечером. Да, да, в дом сенатора. Я ей сказал, что это невозможно, но она стала кричать. Она грозилась, сказала, что добьется своего.

— Ты не должен итти, Дэвид. Это ловушка, они тебя убьют.

— Если я не пойду, она мне отомстит. Беда в том, что она влюбилась, понимаешь, она мне прямо сказала. Она может натравить на меня Смидла.

— Ты должен уехать на Север. Завтра. Сегодня.

— Не говори глупостей, я не уеду без тебя. Мы должны достать деньги на два билета. Если я уеду один, я сойду с ума. Я не могу без тебя, это просто, как то, что я негр Дэвид Гаррисон. Если я к ней пойду, я ей скажу прямо...

— Ты к ней не пойдешь, я тебя умоляю...

— Завтра у моста, хорошо? Я тебя люблю, Дженни!

Когда он ушел, она разбила фарфоровую копилку; на копилке было золотое сердце и два голубка. Дженни с весны копила на билет Дэвиду. Она сосчитала крохотные серебряные монеты. Кажется, хватит. Я заставлю его уехать. Завтра он даст мне слово, что уедет. Мы простимся в нашем лесу.

Она шила розовую блузку, эту не для других — для себя, ей хотелось принарядиться, пусть она останется в памяти Дэвида красивой. Она больше не волновалась, не плакала, не думала о зеленой звезде: она знала, что завтра они расстанутся. Дэвид, наверно, скажет: «Я скоро приеду»,— так всегда говорят, когда расстаются. Но разве может негр вернуться с Севера? У него будет в Нью-Йорке жена; он пойдет с ней в кино по широкой светлой улице; может быть, на минуту загрустит — вспомнит Дженни.

Она шила розовую блузку, когда прибежал брат. Она не вскрикнула, не заплакала, молча вышла на улицу. Ночь была очень темная. Налетел ветер и обдал ее горячей пылью. Она села на землю. Не было ни огней, ни звезд — ничего. Прижавшись лицом к земле, она тихо сказала: «Дэвид!..»

5

Два дня Мэри не могла притти в себя. Майор Смидл приехал к ней после телефонного разговора с Нивелем — хотел узнать, когда она предполагает выехать. Она не

стала с ним разговаривать, сославшись на головную боль. Час спустя она поехала к нему в город. Он скрыл удивление, был очень любезен, сказал, что виноват перед нею: нужно щадить ее нервы; впрочем, через неделю все это забудется. Мэри его прервала:

— Я вам не стану говорить, что он большой художник, вам наплевать на искусство. Но я вас предупреждаю: я заявлю на суде, что я его позвала к себе. Ясно?

Майор усмехнулся:

— Вам никто не поверит. Я ведь видел, как он выпрыгнул из окна. Если бы он пришел с честными намерениями, он не стал бы спасаться, как преступник.

— Тогда я скажу...

Она встала и, густо покраснев, выкрикнула:

— Я скажу, что я в него влюблена, можете негодовать, смеяться, мне наплевать!..

Она думала, что Смидл растеряется, будет кричать, стыдить ее, но он спокойно ответил:

— Предположим, что вы действительно это скажете. Негра вы не спасете. Напротив... Будьте уверены, его сейчас же повесят на дереве или сожгут: таких вещей у нас не прощают. Я не стану говорить о том, что ждет лично вас, это — ваше дело. Но подумали ли вы, как это отразится на вашем отце? Неужели вы хотите погубить и его? Сейчас он занимает в Вашингтоне одно из первых мест, он гордость Америки. Если вы признаетесь, что жили с негром, сенатора засмеют, выгонят. Я хорошо знаю господина Лоу, такого позора он не переживет.

Мэри понимала, что Смидл прав. Ее душили слезы — от злобы, от бессилия, от стыда. Она пошла к двери и вдруг повернулась лицом к Смидлу:

— Вы очень низкий человек. Не знаю, как это кончится, все равно я буду вас ненавидеть всю жизнь, да, да, всю жизнь!

Он не потерял спокойствия, даже улыбнулся:

— Я хорошо помню, госпожа Нивель, как вы мне сказали о ваших чувствах. Я тогда ответил, что недостоин вашей любви. Я рядовой человек, не поэт и не художник, я только друг вашего отца. Теперь я вам скажу, что я недостоин и вашей ненависти.

На следующее утро Мэри поехала к адвокату Кларку, которого назначили защитником Дэвида. В городе Кларка называли не иначе, как «красным»: он восстановил против себя влиятельных людей и тем, что охотно защищал черных, и тем, что не одобрял майора Смидла; ко всему он имел неосторожность на завтраке клуба «Ротари» сказать, что, по его мнению, «русские хотят мира», после чего получил полсотни анонимных писем: ему предлагали убраться кто в Москву, кто в Нью-Йорк, а кто и в Либерию.

Мэри постаралась как можно лучше объяснить то, что она называла «трагическим недоразумением», сказала, что «наделала глупостей» — позвала к себе негра, талантливого художника, он не хотел приходить, но она настояла, а негр, увидев, что приехал майор Смидл, испугался и «тоже наделал глупостей» — выпрыгнул в окно.

— Как же теперь быть? — спросила она.

Адвокат ответил не сразу: он, видимо, обдумывал, курил, роняя на себя пепел; наконец сказал:

— Он должен признаться, что хотел вас ограбить. Это самый лучший выход.

Мэри возмутилась; она начала рассказывать о таланте Дэвида, об его скромности: он не хотел брать у нее краски,— снова объяснила, что если кто-нибудь и виноват, то она. Послать в каторжную тюрьму невинного? Она этого не допустит! Она готова выступить на суде, она скажет, что насильно затащила его в дом.

Адвокат покачал головой:

— В лучшем случае вас сочтут душевнобольной. Чем больше вы будете настаивать, тем хуже будет для моего подзащитного. Вам лучше вообще не вмешиваться. Я постараюсь уговорить его. У вас были кольца, часы. Он скажет, что его довела до этого нужда. Конечно, на снисхождение трудно рассчитывать, но повторяю: это лучший выход. Прокурор считает, что он хотел вас убить, да и судья так думает. Тюрьма не веселое место, но тюрьма лучше, чем электрический стул.

Мэри снова возмутилась:

— Как они смеют говорить об убийстве? Это Смидл их подговорил. Они делают свою политику, а здесь гиб-

нет человек, художник. Я им не позволю выдумывать! Я скажу, что увлеклась Гаррисоном, ничего в этом нет страшного. Кстати, он был ко мне совершенно равнодушен, вот как! Если я все это скажу на суде, им придется его выпустить.

Кларк снова покачал головой:

— Вас привлекут к ответственности: вы нарушили закон. Может быть, и не привлекут: как-никак вы дочь сенатора. Скажут, что после пережитого вы лишились рассудка, запрут в клинике.

— Но его оправдают?

— Ни в коем случае. Да и не нужно, чтобы его оправдали. Электрический стул — и то лучше. Если вы скажете, что были неравнодушны к черному, его вытащат из тюрьмы и повесят.

— Вы говорите, как Смидл... Никогда я не поверю, чтобы нельзя было спасти невинного! Зачем же тогда правосудие?.. Я ничего не понимаю...

Кларк грустно улыбнулся. Это был высокий костистый человек лет шестидесяти; седые свисавшие брови придавали его лицу суровость; только когда он улыбался, было видно, что в нем много сердечности и доброты.

— Вы слишком долго жили за границей. Отвыкли... Я сам иногда себя спрашиваю, где я — уж не в сумасшедшем ли доме? Такой у нас штат. Вот не угодно ли, почитайте — только что принесли.

Он дал Мэри письмо: «Красная обезьяна! Не думай, что тебе все сойдет с рук. Ты хочешь спасти поганых негров, лучше подумай о своей шкуре и убирайся прочь. Мы не позволим, чтобы в Джексоне сидел коммунист. Ты получил от русских шесть тысяч долларов и за это стараешься. Нам не нужен твой мир, русских ты не спасешь от бомбы, а для тебя всегда найдется маленькая пуля». Вместо подписи стояло: «Хорошие американцы».

— Мерзость,— сказала Мэри.— Кто это сочинил? Смидл?

— Не знаю. Их много... Вы не понимаете, как можно осудить невинного негра, а это вы понимаете? Поглядите на меня — разве я похож на красного? Я хожу в церковь. У меня дом. У меня дочь. Да я сам боюсь коммунизма. Шесть тысяч долларов от русских! Я никогда не видел ни

одного русского, вот только приезжали сюда казаки, выступали в цирке, но ведь это не красные. Скажите, разве преступление, что я хочу мира? Помните Фреда? Хороший был мальчик, способный... Я знаю, что значит потерять сына. Русские далеко, я о них не думаю. Но почему должны погибнуть товарищи Фреда? На моем доме написали: «Смерть защитнику негров!» Но ведь я адвокат. А если негра судят, кто-нибудь должен его защищать. Вы думаете, что я люблю негров? Ничего подобного. Для меня они... Ну, дети, словом, недоразвитые. Но я за справедливость. Негров у нас в штате больше половины. Что же, прикажете всех повесить?.. Эти люди называют себя «хорошими американцами», а, по-моему, они плохие американцы, они нас доведут до беды, до страшной беды...

Он встал, прошелся по кабинету:

— Простите, я увлекся. Это политика, а у нас с вами дело. Вот видите, как все складывается... Я давно забыл о принципах, стараюсь помочь, чем могу, и только... Поверьте мне, вам не нужно вмешиваться — вы все испортите. Есть только один выход — попытка грабежа. Он был на войне, медаль... Я сделаю все, чтобы добиться снисхождения. А он еще молод — выкарабкается...

Прощаясь, он крепко пожал ее руку:

— Вы хорошая женщина, жаль, что таких немного...

Мэри понимала, что не в силах помочь Дэвиду, но не могла с этим примириться. Сейчас Кларк говорит: «Признайся — ты хотел ее ограбить...» Как все это страшно!

Дома ее ждала телеграмма: отец сообщал, что если она задержится, он бросит все дела и вылетит. Мэри испугалась: только этого недостает! Она быстро собралась. В поезде она думала о Дэвиде, ночью даже всплакнула; решила посоветоваться с мужем: Нивель хитер, он что-нибудь придумает...

К счастью, отца не было дома. Она заперлась с Нивелем и рассказала ему все, умолчала только о своем визите к Смидлу. Желая объяснить, почему она позвала негра, она деланно улыбнулась: «С моей стороны это был маленький флирт — и только, а он мною совсем не интересовался. Он вообще не интересуется женщинами, это прежде всего художник». Нивель внимательно слушал, не

пытался шутить. Он сразу понял серьезность положения: на этом может поскользнуться сенатор, а их судьбы теперь сплетены. Нужно во что бы то ни стало успокоить эту истеричку.

— Адвокат прав, ты можешь его погубить. Ничего не поделаешь, это твоя Америка...

— Почему «моя»? Я не виновата, что здесь родилась. Другое дело — ты. Ты, конечно, скажешь, что я ничего не понимаю в политике, это правда, но даже я понимаю, что твой «Трансок» — американское дело.

— Я, милая, француз. Если хочешь знать, меня интересует только Франция. Кстати, у нас не может произойти такого с негром... А «Трансок» не американское дело, в этом заинтересованы все. Ты представляешь себе, что сделают большевики с твоими сюрреалистами? Я не за американцев, я против русских. В Париже во время войны я встречал одного промышленника: человек грубый, но не лишенный юмора. Я его как-то спросил, почему американцы любезничают с русскими, он засмеялся: «Союзников не выбирают»...

Мэри его не слушала. Она вздрогнула, когда Нивель заговорил об отце:

— Его ни в коем случае нельзя волновать.

— Он болен? Скажи мне правду.

— Возраст. Склероз. Врачи говорят: повышенное давление, нельзя волноваться. Он великолепно держится, энергии хоть отбавляй. Сегодня снова выступает в сенате. Он очень ждал тебя...

Мэри улыбнулась, а через минуту снова нахмурилась:

— Но как быть с этим негром?

— Не понимаю, почему ты так волнуешься? Он — мальчишка, что для него два-три года? Да им и на воле не слаще... А когда его выпустят, ты сможешь ему помочь деньгами, уедет на Север, там все-таки неграм легче...

— Конечно, я буду ему помогать, это само собой...

Нивель понял, что опасность миновала. Он заговорил о другом:

— Ты знаешь, через неделю мы должны двигаться. У меня в Нью-Йорке много дел, придется там задержаться. Надеюсь, ты не будешь возражать, тебе полезно

после Миссисипи немного проветриться. Кстати, для тебя письмо.

Художник-сюрреалист спрашивал, когда Мэри приедет в Нью-Йорк: у него выставка. Прочитав письмо, она улыбнулась: значит, не забыл... Она вспомнила про Дэвида, но он как-то сразу отдалился, стал смутным прошлым. Может быть, правда, я преувеличиваю? Не так это страшно — два-три года. Он действительно молод. А мне сорок три, и меня два года продержали под замком. Конечно, Дэвида жалко, он очень способный, но, наверно, в тюрьме им позволяют работать. Нужно только постараться, чтобы он не получил слишком много...

Она долго рылась в чемодане среди шалей, кремов, клипсов, наконец нашла дорожный бювар. Она написала Кларку, что поняла, насколько он был прав. «Я надеюсь, что Гаррисон отделается двумя-тремя годами». Она просила сказать Дэвиду, что будет каждый месяц посылать в тюрьму деньги — «на сигареты и на краски». К письму она приложила чек: нужно заинтересовать адвоката; когда они хотят, они умеют выгородить человека. Эта мысль ее окончательно успокоила. Она едва успела заклеить конверт, как позвонил советник французского посольства, с которым она встречалась в Нью-Йорке: пригласил на гарден-парти. Мэри взволновалась: у нее нет модной шляпы, в Миссисипи можно действительно одичать. Она поехала к модистке. Чинный, тихий Вашингтон показался ей шумным. Она купила билеты на концерт венского скрипача; возле кассы стоял молодой человек, похожий на мексиканца, он ей улыбнулся. В окне цветочного магазина извивались лиловые орхидеи. Мэри снова подумала о художнике-сюрреалисте, и улыбка долго не сходила с ее лица.

Отца она увидела только поздно вечером. Он крепко обнял ее:

— Бедная девочка! Этот негодяй хотел тебя убить?

Она засмеялась:

— Совсем не так... Просто у него не было денег, и он думал что-нибудь стащить. Я надеюсь, что его простят или дадут ему два-три года...

— Вы видите, какое у нее сердце,— сказал сенатор, обращаясь к Нивелю, и Нивель одобрительно хмыкнул.

6

— Я только что был у Робертса. Мы, конечно, поспорили — это романтик, всегда горячится, кипит. Я вам скажу откровенно, я хотел для начала «Трансока» дать что-нибудь из ряда вон выходящее — «тайны Кремля», или интервью с папой, или шпионаж красных в Южной Америке. Но Робертс меня убедил... Мы должны начать с этого француза. Робертс говорит, что он куда опаснее, чем я думал.

Нивель усмехнулся:

— Кстати, этому сверхопасному французу семьдесят три года.

— Что вы хотите этим сказать? — Лоу покраснел от раздражения.— Пожалуйста, не обижайтесь, но вы рассуждаете, как пижон. Можно подумать, что вам двадцать лет. Может быть, вы считаете, что мы, американцы, неучи? Я вам скажу откровенно: мы знаем немного больше, чем ваши хваленые французы. Вы сами признались, что до приезда в Америку не слышали про Джефферсона Дэвиса, а я вот знаю, что у вас был Клемансо. Он у вас был до того, как вы окончательно выродились. Он не писал стихов, он делал дело. Скажите, пожалуйста, сколько ему было лет, когда он расколотил немцев? Может быть, двадцать? Или сорок? Он был на пять лет старше этого профессора...

— Клемансо — исключение. Притом он всю жизнь занимался политикой. А Дюма — ученый, до войны он сидел над книгами — и только. Он меня раз спросил, какая разница между социалистами и радикал-социалистами и кто из них радикальнее...

Сенатор недоверчиво оглядел зятя, как будто увидел его впервые:

— Вы с ним встречались? Майор Смидл давно говорит, что вы на приятельской ноге со всеми красными. Я ему не верил, но теперь я вижу, что у него есть нюх. Пожалуйста, не обижайтесь, может быть у вас во Франции так принято, но теперь вы не просто француз, вы мой зять, вы директор «Трансока».

— Не понимаю, что вы видите в этом странного? Меня знали во Франции как поэта, естественно, что я встре-

чался с видными людьми. Я думаю, никто не станет отрицать, что Дюма — мировое имя. Вы видели, кстати, что о нем говорит Адамс? Это сегодня в «Геральд трибюн»...

— Может быть, Адамс — большой ученый, но к тому же он большой дурак. В прошлом году он громогласно заявил, что его работы принадлежат не одной Америке, а всему миру. Хорошо еще, что он занят формой черепов, а не тем, как эти черепа расквасить. Любой русский может окрутить такого разиню. Робертс не бросает слов на ветер, а он мне прямо сказал, что Дюма опасен для Америки. Вы слышите: не для Робертса, не для меня — для Америки! Мы должны сегодня же снабдить все газеты материалами. Нужно показать, что под маской ученого скрывается аферист, преступник. Я вам скажу откровенно: мы, американцы, слишком доверчивы. Адамс устраивает прием в честь этого француза. Неслыханно! Преступно! Я понимаю, что приходится считаться даже с таким дураком, как Адамс,— это действительно знаменитость. Но скажите, пожалуйста, кто знает вашего Дюма?

— Конечно, антропология не кино и не бокс, но тот же Адамс называет Дюма своим учителем...

Лоу вышел из себя; крупные капли пота показались на лбу, на подбородке. Он закричал:

— Адамс по старой привычке расшаркивается перед каждым французом. Я знаю, что вы были великой нацией, но нельзя жить прошлым. Теперь вы маленькая нация. Вы зависите от плана Маршалла. Мы вас кормим не для того, чтобы вы нас учили.

— Я говорил не о плане Маршалла, а о Дюма.

— Пожалуйста, не обижайтесь, но если вы с этим не справитесь, я найду для «Трансока» другого. Да, я люблю Мэри. Да, вы ее муж, следовательно вы до некоторой степени мой сын. Но если встанет выбор между вами и Америкой, я выберу Америку. Мой дед погиб у стен Ричмонда. Если встанет выбор между детьми и богом, я выберу бога. Авраам не колебался...

Нивель понял, что возражать бесполезно. Когда сенатор несколько успокоился, он сказал:

— Хорошо, начнем с Дюма. Но не кажется ли вам, что это почти невыполнимая задача? Господа из государственного департамента знают, какое у Дюма имя, они

не посмели отказать в визе. Робертс хочет исправить дело и добиться высылки. Все это понятно. Но что может сделать пресса да еще в такой короткий срок? Я этого не вижу...

— Интересно, что вы видите? Стишки? Голых парижанок? А Билл Костер? Вы, может быть, забыли, что существует Билл Костер? Я уже сказал Робертсу: лучшего мы не отыщем, он не пишет, он режет пером. Потом он два года проторчал в Париже, знает всю подноготную. Сейчас же свяжитесь с ним. Если он заупрямится, скажите, что от этого многое зависит: мы хотим его послать в Варшаву или в Прагу. Это великолепная кандидатура. Но, пожалуйста, поторопитесь. Робертс сказал, что нельзя терять ни минуты. Этот француз собирается выступить в Мэдисон-скуэр. Значит, нужно завтра и, по меньшей мере, пятьсот слов...

Нивель хотел было вызвать Костера по телефону, но передумал: этот газетный пачкун заважничал. Придется съездить в Нью-Йорк.

В вагоне он выпил стакан виски и уснул. Ему снились противные сны: рыжий сенатор, нарядившись котом, сидел на стойке бара и злобно мяукал. Потом за Нивелем пришли санитары, положили его на носилки, он отбивался, одного укусил, но его все-таки притащили на мельницу, кричали, что нужно перемолоть. Он вырвался, убежал, и вот снова рыжий мяукает... Нивель проснулся. За мутным стеклом мелькали пригороды Нью-Йорка.

Билл Костер считался одним из крупнейших журналистов Америки. Он составил себе имя сначала на корреспонденциях из Москвы, из Парижа, из Германии, а потом на разоблачениях политических деятелей, связанных с покойным президентом, которых он называл «красными хамелеонами». Ежедневно сто сорок шесть газет, выходящих в разных штатах, печатали короткие статьи, украшенные его портретами. На фотографии он весело скалил зубы. Статьи были полны желчи. На самом деле он не улыбался и не злился. Исчез прежний Билл, веселый, обожавший славу, деньги, хорошеньких женщин. Казалось, он мог бы наслаждаться жизнью, он получил все: почет, доллары, красивую жену. А он ходил мрачный, с утра пил виски и, охмелев, начинал бубнить о смерти. Жена

вызвала знаменитого невропатолога. Билл ему сказал: «Бессонница, головные боли. Но это мелочь. Если вы, как каждый уважающий себя врач, спросите, на что я жалуюсь, я вам отвечу: ни на что. Вы не можете себе представить, до чего мне наплевать на все, даже на самого себя!»

Он приобрел небольшой особняк в центре города; для ньюйоркца это было роскошью, мотовством; и Нивель обиженно подумал: можно ли сравнить судьбу поэта с судьбой вульгарного пасквилянта?.. В большом светлом холле стояли боги ацтеков, скульптура сюрреалистов, старинные итальянские вазы. На стене Нивель увидел пейзаж Утрилло: грустную уличку парижской окраины.

— Вы любите Утрилло?

Билл пожал плечами:

— Фантазии госпожи Костер. Вы не представляете себе, что может выдумать американка, когда у ее мужа несколько лишних долларов. Откровенно говоря, я ничего не люблю. Но все-таки мы с вами выпьем. Что вы предпочитаете? Коньяк? Виски? Коктейль?

Нивель всполошился: о Костере говорили, что он много пьет. Если он надерется, он не сможет написать, а рыжий требует завтра... Едва пригубив стакан, Нивель заговорил о статье. Билл молча пил. Когда Нивель замолк, он сказал:

— Мне в Париже рассказывали, что вы пишете стихи. Это правда?

— Писал.

— А теперь?

— Редко: нет ни времени, ни настроения.

— Жаль. Я хотел вас спросить, что вы чувствуете, когда пишете стихи? Это, наверно, здорово отвлекает. Вроде виски. Я никогда не пробовал. Вообще я многого не пробовал. Я, например, ни разу не курил опиума, собирался, но как-то не получалось. Ольдсберг охотился на тигров, он уверяет, что это захватывает, не знаю, не пробовал. Я не летал на реактивном самолете. Это мелочь, а вот посерьезней: я никогда не увлекался политикой. У меня есть приятель, он хотел отравиться после того, как на выборах побили республиканцев. Смешно? Да и с женщинами у меня не было ничего забавного. Список

длинный, а в общем механика. Теперь я редко этим занимаюсь: как вы сказали, нет ни времени, ни настроения.

Нивель брезгливо поморщился: до чего они развязны! Я этого Костера почти не знаю, пришел по делу, а он раздевается... Дикари! Но нужно получить от него статью. И Нивель участливо сказал:

— Это драма нашего поколения. Наши отцы старились по-другому: они сохраняли жар сердца, не боялись показаться смешными. Подагрические сенаторы в Люксембурге не давали проходу девчонке, а в монмартрских кабаре полуслепые ловеласы пожирали глазами красоток. Теперь другие времена... Мы с вами слишком много видели, можно сказать, что мы заглянули в глаза медузе. Мы еще все можем, но уже ничего не хотим.

Билл кивнул головой и опорожнил стакан. Нивель подумал: нужно торопиться, не то он свалится.

— Дорогой господин Костер, мне очень хотелось бы побеседовать с вами о скуке, это благородная тема. Я — поэт, и я вас понимаю. Но сейчас я вынужден вернуться к делу. Статья должна появиться завтра. Сенатор Лоу...

Билл не дал ему договорить:

— Рыжий? Знаю. Он слишком много о себе думает. Конечно, в сенате большинство дураков, но Лоу даже среди них выделяется. Это, кажется, ваш родственник? Не огорчайтесь, мой тесть не сенатор, но он тоже большой дурак. Неужели вы думаете, что мне хочется сейчас диктовать? Я уже сегодня свое отработал — про стачку в Питтсбурге. Теперь я предпочитаю пить виски.

— Сенатор считает, что это — начало нашей совместной работы. Как я вам говорил, «Трансок»...

— Говорили — значит, нечего повторять. В Европу я, может быть, поеду. Там, конечно, тоже скучища, но мне надоела одна американка, а именно госпожа Костер. Понятно? Могу поехать от вашего «Трансока», могу от «Юнайтед», вопрос цифры. Так и скажите вашему тестю. А писать об этом французе мне не хочется.

— Господин Костер...

— Я уже слышал.

— Я вас очень прошу...

— Разве что ради вас. Но одно условие: мы сначала прикончим эту бутылку, и вы мне продекламируете ваши стихи. Что-нибудь посмешнее, ну, про медузу...

Нивель пробовал возражать: ему было противно читать стихи этому зазнавшемуся хаму; к тому же он боялся, что Костер, опьянев, не сможет продиктовать и ста слов. Билл, однако, настаивал, и Нивелю пришлось подчиниться.

Билл взял трубку телефона:

— Джесси? Через четверть часа я буду диктовать. Подготовьте досье французского ученого Дюма. Понятно? Предупредите Смайльса, что вместо Питтсбурга будет новая...

Он налил себе и Нивелю:

— Начинайте.

Нивель злобно поглядел на него, на ацтекских богов, на бутылку и начал читать. Он старался припомнить давние стихи, светлые и холодные,— о причудах Дианы, о безлесных холмах осиротевшей Эллады. Билл прервал его:

— Где медуза? Не жульничайте! Я хочу, чтобы с чувством... Понятно?

Нервная гримаса перекосила лицо Нивеля. До чего он опустился! Можно ли так жить?.. Он вдруг забыл, что перед ним Костер, что все это — недостойная комедия. Он говорил вслух с самим собой. Он прочитал стихи, написанные два года назад на Юге, когда он впервые понял, что попал в лапы рыжего и что тот его не выпустит:

У маленькой речушки на закате,
закинув удочку, сидел мечтатель
и, отдыхая от своих тревог,
глядел на неподвижный поплавок.
Он смутно думал: «Тонет луг в тумане,
быть может, завтра и меня не станет,
но будет снова тот же летний день,
и та же рябь воды, и та же лень».
О вечности он думал смутно, вяло.
А рядом на песочке трепетала
им пойманная рыба. Где вода?
Ее не будет больше никогда.
Она дышать пыталась. Слишком поздно —
не для нее сухой и грозный воздух.
Вздымались жабры. Белый жег песок.
Мечтатель все глядел на поплавок.

Он сидел в изнеможении, еще не смея вернуться к действительности. А Билл прошел к окну и неожиданно выругался:

— Сволочь! Он о вечности думает, а я должен сдохнуть? Нет, это у вас почище виски! Завидую. Я как-то собирался повеситься, но прибежал Смайльс, рассказывает...

Вошла хорошенькая девушка, похожая на киноактрису.

— Господин Костер, вы будете диктовать или сначала посмотрите досье?

Билл снова выругался. Девушка отвернулась, а Нивель, придя в себя, всполошился: пьян, не напишет!

— Господин Костер, вы обещали...

Билл усмехнулся:

— Вы меня не знаете. Через полчаса будет готово. Выпейте пока, я откупорил новую...

Он ушел с девушкой наверх, а полчаса спустя швырнул Нивелю тонкие листочки. Статья называлась «Красный сатир». Костер писал, что Дюма, которого «наивные американские ученые принимают за коллегу,— на самом деле самозванец, плагиатор и темная личность. Мы готовы увенчать лаврами проходимца, которого во Франции презирает каждый школьник». Вслед за этим Билл дал волю фантазии; он рассказал, что Дюма до войны был «мелким агентом красных», что он «похитил атамана белых казаков и отравил племянницу Чан Кай-ши», что он участвовал в ограблении банка «Сосьете Юниверсель», что весной сорокового года он «помог Гитлеру овладеть тайнами французского генерального штаба и получил за это сто тысяч марок», наконец, что он «истязал злосчастных узников». «Однако отличительной чертой красного получеловека,— писал Костер,— является необузданная похотливость. Несмотря на свой возраст, Дюма преследует всех женщин, особенно малолетних. Его квартира в Париже — настоящий вертеп с секретными выходами и с «комнатой пыток». Каждая американская мать скажет вместе с нами: «Вон из Америки красного сатира!»

— Здорово? — спросил Костер.— Ваш тесть оближет пальчики.

Упрашивая Костера написать статью, Нивель, конечно,

понимал, что пасквилянт сочинит какую-нибудь пакость; все же он растерялся. Он вспомнил вечера в «Корбей», споры о Флобере, добродушный смех Дюма; вспомнил, как Дюма арестовали. Нивель хотел тогда вступиться и ничего не сделал, говорил себе, ему это не поможет, а мне немцы припомнят. Дюма оказался крепким, как старое французское дерево, вышел из лагеря смерти. А теперь этот мерзавец пишет, что Дюма истязал заключенных. Низость, страшная низость! Завтра это напечатают. Дюма прочитает. Ему могут насплетничать: «Нивель приложил к этому руку»... Пусть они занимаются гнусными делишками, но при чем тут я? Я — поэт. Разве этот газетчик может понять, как умирает душа, отрешенная от родной стихии?

Его мысли прервал Билл:

— Пейте! Спирт здорово очищает. Мне вот сейчас нужно по меньшей мере три стакана виски. Говорят, этот француз — хороший человек. Мне о нем рассказывали в Париже. Один дурак, сейчас вспомню... Лансье. Кажется, не спутал. А впрочем, если он — красный, то и жалеть нечего. Я был в Москве. Я предпочитаю пить виски, а не быть идейнообязанным. Понятно?

Нивель почувствовал облегчение. Оказывается, этот дикарь думает... Конечно, Дюма — хороший человек и крупный ученый. Но теперь он — враг. Он хочет, чтобы повсюду было, как в России, чтобы я писал о чугуне или о свекле.

Билл, прощаясь, сказал:

— Насчет «Трансока» я подумаю. Скажите рыжему, что это вопрос цифры. Мне наплевать, но госпожа Костер любит доллары. Понятно? А написали вы здорово. Как она, проклятая, задыхается! Это почище, чем виски. Да вы не огорчайтесь, все мы сдохнем. Жму ваши жабры.

7

Сенатор Лоу простодушно думал, что спорит с полковником Робертсом, что у него своя линия, на самом деле он выполнял все, что ему говорил Робертс. Полковник был мягок и походил скорее на кабинетного ученого,

чем на военного. Ему было сорок шесть лет. Женившись на дочери чикагского финансиста, он унаследовал часть богатства своего тестя и мог бы жить широко, но жил скромно, скромнее, чем многие из его сослуживцев; дочь Эллу любил, воспитывал, однако, строго; не собирал ни картин, ни фарфора, ни других раритетов; не устраивал приемов; каждое воскресенье ходил в церковь и охотно поддерживал различные благотворительные начинания. Таким его знали жена, дочь, несколько интимных друзей.

Однако в этом добродетельном и скромнейшем человеке таились большие страсти. Он увлекался политикой. Весной 1943 года он изумил одного из сослуживцев, сказав: «С русскими нам придется воевать и, вероятно, скоро». Он начал доказывать самому себе, что красные хотят войны. Вначале это казалось ему смутной догадкой, потом он себя убедил, и это стало для него азбучной истиной. Он пришел к заключению, что есть один выход: напасть на русских.

Как-то жена, показав ему на Эллу, тихо спросила: «Неужели нельзя избежать войны? Ведь они прилетят сюда...» Он ласково, но твердо ответил: «Ты думаешь, я не понимаю, сколько горя впереди? Нужно уметь жертвовать. Даже самым дорогим... Если мы будем оттягивать, мы погибнем».

Он встретился с Гарриманом. Они старались друг друга очаровать: Гарриман потому, что он любил всех очаровывать, Робертс потому, что хотел заручиться поддержкой человека с положением. Гарриман потом рассказывал: «Полковник Робертс — олицетворение честности, он верит в то, что делает. Такие люди нам нужны». А Робертс, вспоминая беседу с Гарриманом, думал: конечно, это делец, но я не хочу быть партизаном, нужно иметь опору, а Гарримана можно использовать.

Сослуживцы считали, что полковник хорошо справляется со своими обязанностями. Деятельность Робертса была, однако, куда более сложной и многосторонней. Он интересовался прессой, уделял внимание пропаганде за границей, следил за настроениями конгрессменов. Он хотел объединить южных демократов и воинствующих республиканцев. Одновременно он пытался скомпрометировать круги, склонявшиеся к идее компромисса, называл

сторонников переговоров «пораженцами» или даже «предателями». Он никогда не выступал на передний план, не искал славы и радовался, когда другие выдавали его мысли за свои. Имя Робертса иногда называли в политических салонах, в кулуарах сената, но широкая публика не подозревала, что скромный полковник играет крупную политическую роль.

Однажды в «Дейли уоркер» была напечатана статья, в которой говорилось: «Среди закулисных персонажей необходимо назвать полковника Робертса, одного из связных военной партии». Никаких данных, подтверждавших это, газета не приводила. Начальник Робертса, прочитав статью, рассмеялся: «У красных мания преследования. Вы знаете, кого они возвели в фигуру? Нашего бедного Робертса».

Выступив на собрании демократической партии в штате Северная Каролина, Робертс возмущенно сказал, что никогда не был сторонником превентивной войны и что все свои силы отдает защите мира: он понимал, что люди слабы и боятся ответственности. Беседуя с Лоу, он неизменно добавлял: «Может быть, вы правы и нам удастся избежать войны»,— хотел успокоить сенатора. В свои планы Робертс мало кого посвящал. Был у него верный человек, некто Дуббельт, дальний родственник жены, коммерсант, не вышедший в люди. Дуббельт добросовестно выполнял наиболее деликатные поручения полковника, но и он не знал, чего именно хочет Робертс. Для Дуббельта все, что он делал, было службой. Он мог бы столь же ревностно служить в министерстве или в банке. Робертс иногда с усмешкой думал, что, сложись обстоятельства иначе, Дуббельт работал бы даже на красных. А для Робертса политика была страстью, призванием. Он верил, что наступил век Америки, что нужно спасти человечество от коммунизма, и себя причислял к тем смелым американцам, которые понимают, какая на них лежит миссия.

Избегая репортеров и фотографов, Робертс оставался общительным; он обладал способностью очаровывать собеседника и поддерживал дружеские отношения с людьми различных кругов. Как бы ни был он занят, он находил время, чтобы посещать концерты, выставки, знакомиться

с новинками литературы. Его считали человеком с широким горизонтом. Он высказался против преследования красных киноактеров; об Эйнштейне говорил: «Я снимаю шляпу перед гением, мне только обидно, что великий ученый, рассуждая о политике, превращается в ребенка». Когда Робертсу предложили подписать протест против пацифистских тирад профессора Адамса, он не только ответил отказом, но послал ученому письмо, в котором говорил о своем глубоком к нему уважении.

Приезд Дюма не на шутку встревожил Робертса: для красных это большая подмога. Крупное имя, шумиха... Судя по всему, Дюма умен, а главное — это человек западной культуры, способный расположить к себе интеллигенцию. Зачем его впустили? Эти бескостные дипломаты не доведут нас до добра!

Дюма нельзя оставить: он будет выступать на митингах, разъезжать по университетам, соблазнять американцев миром. А выслать его трудно — запротестуют ученые. Статейка Костера рассчитана на галерку. Конечно, уличная демонстрация покажет, что Америка не постоялый двор для красных. Но необходимо восстановить против Дюма людей с авторитетом. Профессор Грай, бесспорно, согласится... А другие? Адамс устраивает прием, значит, Дюма сможет очаровать дюжину простофиль с громкими именами...

После некоторых колебаний Робертс решился на рискованный шаг: он поедет к Адамсу и поговорит с ним до приема. Профессор наивен, он способен принять коршуна за голубку мира. Все же это настоящий американец, он не раз говорил, что он — враг диктатуры, что он не верит красным. Нужно ему прямо сказать, что Дюма приехал сюда не как ученый, а как агитатор. Это может быть решающим: профессор не выносит политики. Конечно, следует быть осмотрительным, Робертс должен выступить, как друг Адамса,— и только...

В поезде у полковника было достаточно времени, он обдумал резоны, возможные возражения, и все же, войдя в большой, неуютный кабинет Адамса, он растерялся. А между тем он бывал здесь не раз, они знакомы больше десяти лет. Он очень постарел за год,— подумал Робертс. У Адамса было длинное костистое лицо с желтоватой

кожей, на которой выделялась черная оправа очков; он походил на древнего китайца. Сдержанный, даже суховатый, он принял Робертса любезно, расспрашивал о дочери полковника, которая училась в колледже. Робертс в свою очередь спросил о внуке Адамса. Потом они замолкли: разговор не клеился. Робертсу пришлось перейти к сути; туманно, но горячо он начал говорить о той опасности, которую представляют русские для всей западной цивилизации. Адамс слушал, иногда кивал головой. Робертс почувствовал себя увереннее.

— Я думаю, что вы со мной согласны, это не политика, это вопрос о нашем существовании, о праве спорить, мыслить, творить. Ведь победа коммунизма — конец не только нашего общественного строя, это конец науки.

Адамс улыбнулся, и грустная улыбка оживила его бесстрастное лицо.

— Политика, снова политика! Вы настолько ею увлечены, что не замечаете, а она в каждом вашем слове. Я не знаю, как живут русские, и не берусь об этом судить. Профессор Гайнс мне говорил, что у них большие успехи в науке, но профессору Гайнсу их жизнь не пришлась по вкусу. Это понятно. У меня есть ученик, он родом из Калькутты. Он мне рассказывал много интереснейшего — страна с древней культурой. Я понимаю, что они не хотят жить по-английски. А я не хотел бы жить в Индии. Я не хотел бы жить и в России, хотя там тоже много интересного. В области морфологии я ценю труды профессора Бунака. Но, повторяю, я не хотел бы там работать. Недавно мне прислали отчет о дискуссии биологов. Много очень важных наблюдений, но я не понимаю, как можно установить непогрешимость одной научной гипотезы и объявить другие ошибочными. Может быть, это не мешает профессору Бунаку, но я не мог бы работать в таких условиях. Погодите, погодите!.. Я еще не закончил своей мысли. Вероятно, русский ученый не мог бы работать в наших условиях: мир многообразен. А война — это прием дикаря. Русские не смогут мне доказать оружием, что теория Лысенко правильная, не так ли? Между людьми науки должна существовать известная солидарность. Я не хочу, чтобы политика вторгалась в наш мир. Перед тем,

как вы пришли, мне дали газету, там статья о профессоре Дюма. Мерзость! Не знаю, видели ли вы?..

Робертс рассмеялся:

— Кто же обращает внимание на Костера? Бульварный журналист, к тому же нечистоплотный. Но поскольку вы заговорили о профессоре Дюма, я хочу сказать, что он не сохранил достоинства ученого, он сам опустился до того, что вы называете «политикой».

— Знаю. И не одобряю. Но журналист, о котором вы говорите,— невежественный человек, он пишет, что Дюма — самозванец. Все мои студенты знакомы с трудами профессора Дюма. У меня узкая специальность, я краниолог, но я многим обязан профессору Дюма.

— Я читал в «Геральд трибюн» ваше благородное заявление. Неужели вы думаете, что кто-нибудь поверит Костеру? Я — профан, но даже я знаю, что Дюма — крупный ученый. Тем более обидно, что он приехал к нам не с научными целями, а в качестве политического агитатора.

— Согласен. Я так и сказал профессору Дюма, хотя это было трудно. Он, к сожалению, ослеплен политическими страстями. Я заехал к нему в гостиницу, мы разговаривали полчаса, и я понял, что мы говорим на разных языках. Он мне доказывал, что русские не хотят воевать. В этом он, вероятно, прав, то же самое я слышал от профессора Гайнса. Но Дюма ошибается в другом — политики его убедили, что войны хотят некоторые американцы. Вот это уже нелепость, я так ему и сказал. Я абсолютно убежден, что у нас нет ни одного человека, который хотел бы нового кровопролития.

— Ни одного,— поддержал Робертс.— Вероятно, американцы — самый мирный народ, у нас ведь нет ни военных традиций, ни колоний. Мы хотим только, чтобы нас оставили в покое.

Профессор кивнул головой:

— Дюма этого не понимает. Я надеюсь, что, повидав американцев, он изменит свои суждения.

— Не думаю, он теперь в руках коммунистов. На все у него один ответ — виновата Америка. Вы, наверно, читали его заявление?

— Не читал и не хочу читать. Предпочитаю с ним поговорить об его работах. Завтра мы увидимся, я устраиваю в его честь небольшой прием.

— Вы не считаете, господин Адамс, что такое чествование идет вразрез с вашими убеждениями? Ведь Дюма приехал...

Адамс перебил:

— Я знаю, что он приехал не ко мне. Да и не к науке. Но я принимаю у себя антрополога Дюма, и можете мне верить, у меня митинга не будет. Когда он выступил с политическим заявлением, я хотел было отменить встречу, но после этой гнусной статейки я считаю своим долгом подчеркнуть, что я уважаю большого ученого.

Робертс понял, что настаивать нельзя, и, посидев для приличия еще несколько минут, откланялся.

Он не возвратился в Вашингтон — у него были дела. Он сидел в маленьком баре и пил лимонад. Его охватила печаль. До чего люди слепы! Этот Адамс не хочет понять, что красные не засидятся у себя, они уже проглотили десяток стран, двинутся дальше. Их можно уничтожить теперь, пока они не встали на ноги, пока бомба только у нас. Если им дать десять лет, они нас осилят. Ужасно, что люди не хотят этого понять! Доброта, совестливость? Нет, попросту трусость. Трудно зрячему жить среди слепых...

Его вывел из раздумий Дуббельт, с плаща которого стекали струи.

— Дождь? — удивился Робертс.

— Потоп.

Значит, я здесь долго сижу, ведь было солнце... Дуббельт не мог опоздать. Ну да, я пришел до срока, хотел отдохнуть...

Разговор с Адамсом его доконал. Он едва собрался с мыслями, спросил Дуббельта, как здоровье его сына, болевшего малярией. Полковнику не хотелось говорить о делах. Дуббельт сам начал:

— С Дюма все подготовили. По-моему, будет внушительно. Эндерс спрашивает, когда?..

— Не сегодня, видимо, и не завтра. Я передам Эндерсу. Слушайте, Фред, меня тревожит другое — вы договорились с портным? Что это за тип?

— Маккорн — славный парень, я с ним познакомился в Европе, он был капитаном. Но не думайте, что он обрадовался. Я еле его уломал.

— Уж не путается ли он с красными?

— Куда ему! Трус, каких мало! Пришлось припугнуть Федеральным бюро.

— Надеюсь, вы ничего лишнего не сказали?

— Мы с вами не вчера познакомились. Дайте документы — сегодня примерка.

Засунув в брючный карман измятый конверт, Дуббельт поднялся.

— Погодите, может быть дождь перейдет. Вы где поставили машину?

— Возле сквера. Добегу. Я боюсь опоздать на примерку.

Дуббельт ушел. Робертс посмотрел на часы: половина пятого. К Диккеру еще рано... Дождь не слабел. Улица текла, как большая желтая река.

Если бы Адамс знал... Конечно, он осудил бы: мошенничество, провокация. Не только Адамс, все осудили бы. Жена сказала бы: «Я не думала, что ты на это способен!». Скучно доказывать свою правоту. Разве я виноват, что они слепые? Красные готовятся напасть врасплох, как японцы, а люди не видят, не хотят видеть. Нужно им раскрыть глаза, взять на себя ответственность, спасти такого Адамса, даже если он не понимает, что тонет. Но трудно это, очень трудно... В общем я одинок. Элла считает, что я — тиран, потому что я хочу, чтобы она читала Ирвинга, а не смотрела дурацкие фильмы. Жена вчера сказала, что со мной невыносимо жить,— я слишком многого требую. А я ничего от нее не требую, просто она чувствует, что не может встать на цыпочки и заглянуть в мои мысли. Какой-то автор сказал, не помню кто: «Тирания — это слишком большая любовь к людям и недостаточная вера в них». Может быть, не знаю. Я людей люблю, во всяком случае американцев. Но как доверять такому Адамсу? В чем он разбирается? Разве что в форме черепа — и только. Это ребенок. Детей берут за руку и ведут, куда нужно...

Он подозвал официанта: пора к Диккеру.

Стемнело. Огни метались на сиреневой мостовой. Он ехал по набережной. Тревожно кричали пароходы. Светящиеся небоскребы казались горными селениями. Один огонек мерцал выше других, как большая звезда. А дождь все лил и лил.

8

Дуббельт обычно метко определял людей, и Робертс ценил в нем эту способность. Трудно сказать, почему, говоря о портном Маккорне, он назвал его малодушным. Начав свой жизненный путь с нищеты, с поисков случайного заработка, Маккорн быстро выплыл, не раз падал, пережил два банкротства, скитался из города в город, но никогда не отчаивался.

Незадолго до войны он придумал новый способ обработки ткани для непромокаемых пальто и должен был на этом разбогатеть. Тогда же он влюбился в дочь судьи, девятнадцатилетнюю красавицу. За девушкой ухаживал Грайтон; будучи на пятнадцать лет моложе Маккорна, он обладал и другим козырем: его отцу принадлежал большой нефтеочистительный завод, с которым не могла тягаться мастерская непромокаемых пальто. Девушка отказала Маккорну, но он не отступил. Ему удалось понемногу приручить красотку. После одной из автомобильных прогулок в горах, после петлистых дорог, ветра и виски девушка забыла материнские наставления. На следующий день Маккорн торжественно объявил судье: «Нас повенчал господь бог, остается закрепить это на бумаге».

На фронте Маккорн слыл одним из наиболее храбрых офицеров. В Эльзасе его батальон встретил сильное сопротивление немцев, которые пошли в контратаку и окружили американцев. Маккорн с десятком солдат вырвался из кольца. В те времена он был весел, шумлив, много пил; восхищенный, осматривал старинные города Европы; волочился за любой бабенкой; он увидел смерть вплотную, похоронил своего лучшего друга Джека; пел песни, проклинал войну, кричал, что «генерал Паттон ни черта не понимает», что «господа из Вашингтона загребают жар чужими руками», «вот притащить бы их в это пекло»,— словом, вел себя, как все.

Он думал, что после войны он удесятерит обороты своей мастерской, купит хорошенький домик в горах или на взморье и, наконец-то, узнает счастье быть отцом. Случилось иначе: фортуна к нему охладела. Неудачи он знавал и прежде, но до войны он умел с ними бороться, теперь он растерялся. Он как-то сказал приятелю: «В Эльзасе меня не ранили — повезло, но в общем меня разрезали, а зашить не зашили. Одна половинка — до войны, вторая — теперь, и, говоря откровенно, вторая не получается».

Пока он освобождал французские города, его мастерская захирела. Некто Керзон нашел новый способ делать ткани водонепроницаемыми, и марка с изображением сирены, которой Маккорн так гордился, никого больше не соблазняла.

Жена встретила его ласково, но почему-то у него сразу защемило сердце. До войны она любила проводить вечера с мужем, мечтала о ребенке, казалась созданной для семейного счастья. Ее будто подменили; она часто уезжала на вечеринки; появились вертлявые подруги, которых судья не пустил бы в свой дом; они говорили о нарядах, о пикниках, о кавалерах, а на Маккорна глядели жалостливо и насмешливо. Он покричал, сказал жене несколько крепких солдатских слов и вдруг почувствовал, что ему все равно, куда она бегает и с кем видится. Он не испытывал ни ревности, ни обиды.

Мастерскую пришлось закрыть. Маккорн купил магазин электроприборов; говорили, что это — золотое дно; действительно, в течение года дела шли хорошо, потом покупатели исчезли. Он продал магазин за полцены и начал работать в конторе световых реклам. Ему положили приличный оклад; он себя оправдал — у него была фантазия, он умел ошеломить публику. На беду он повздорил с директором, пришлось уйти. Жена плакала, а он был спокоен: нет, так нет. Ни жена, ни работа, ни забавы его больше не увлекали. Он объяснял себе это тем, что жизнь в Америке за годы войны изменилась. Он не видел, что изменился и он.

Он веселел, встречаясь с товарищами по фронту; они понимали друг друга с полуслова, вместе пили, вспоминали бурные происшествия, девушек, погибших однополчан, ругали тех, что укрывались в тылу; иногда они фило-

софствовали, говорили, что слишком много мошенников, что люди, разбогатевшие на войне, не хотят потесниться и дать место ветеранам, что политики красиво декламируют, только нельзя им верить, что если будет новая война, как пишут газеты, пусть теперь повоюют господа, которые любят произносить речи, а их, фронтовиков, не заманишь. Маккорн кричал, пожалуй, громче всех, ругал то президента, то подлеца Керзона с его патентом, то англичан, то красных и, конечно же, конгрессменов, которых называл не иначе, как «наше жулье».

Нужно было все же подумать о заработке. В дни молодости Маккорн работал подмастерьем у хорошего портного. Теперь ему предложили купить задешево портновскую мастерскую — хозяин умер, а вдова намеревалась уехать в Канаду. Маккорн поддался уговорам, хотя знал, что это — мертвое дело: для богатых клиентов нужно иметь имя, знакомства, потратить пять тысяч долларов на рекламу; а люди поскромнее не станут шить на заказ, они покупают готовое платье, как сам Маккорн. Он нашел старого закройщика, двух подмастерьев, переменил дощечку на двери и стал, громко позевывая, ждать немыслимых клиентов. Лучше бы бегать весь день под проливным дождем: его изводило бездействие. Тут-то пришла удача, единственная за послевоенные годы: неожиданно позвонил заказчик, притом диковинный — русский, приехавший недавно из Москвы.

Размышляя ночью о происшедшем, Маккорн вспомнил, что недалеко от его мастерской находится торговая миссия красных. Когда заказчик пришел на примерку, Маккорн его угостил кофе и завел беседу. Он узнал, что красные не хотят покупать конфекционных изделий: готовые костюмы в Америке делают из дешевого материала, и они слишком быстро изнашиваются. Маккорн сшил русскому два костюма из первосортного английского шевиота, взял дешево и попросил: «Вы окажете мне большую услугу, если дадите мой адрес вашим соотечественникам. Я на фронте встречал русских, это веселые люди. Мне наплевать на политику, мошенников всюду много. А я хочу шить — и только».

Несколько дней спустя его первый клиент привел двух новых. Маккорн изучил вкусы русских, он узнал, что они

любят солидный материал и скромную раскраску, костюмы из синего бостона, коверкотовые пальто, черный драп. Клиентов было немного, но все же Маккорн не сидел без работы. Усмехаясь, он сказал жене: «Судьба шутит со мной. До войны я продавал пальто главным образом черным, теперь я одеваю красных».

Маккорна поражало, что русские клиенты хмурились, неохотно разговаривали. Он говорил себе: они тоже изменились: я видел на Эльбе русских, они смеялись, пили с нами водку, рассказывали, как били немцев. Он просиял, когда к нему пришел красный заказчик, который улыбался и шутил.

— Вот вы настоящий русский,— сказал ему Маккорн.— Вы смеетесь. У меня побывало много ваших соотечественников, они остались довольны моей работой, благодарили, но, поверьте, ни один ни разу не улыбнулся.

Заказчик засмеялся:

— Видите ли, у нас здесь нет особых причин, чтобы радоваться. Что касается меня, то у меня глупый характер: я всегда шучу, когда мне тошно.

— Простите нескромный вопрос... Неужели вам так уж не нравится в Америке?

— Почему? Кое-что мне нравится. У вас, например, хорошие дороги.

— Это правда, дороги у нас замечательные, в прошлое воскресенье я делал сто миль в час. Я разговаривал с одним русским майором, это было возле Эльбы, мы приехали с поручением, но я у него просидел весь день. Он мне рассказывал, что у вас имеются очень плохие дороги. Им иногда приходилось рубить лес и класть деревья на дорогу, иначе машина не прошла бы.

Маккорн смутился: не огорчил ли он заказчика? Но тот продолжал посмеиваться.

— Я тоже воевал. Дороги бывали разные... Можно класть деревья вдоль дороги, от этого человек только бледнеет. А можно класть поперек, тогда душа вон из тела просится.

Маккорн вежливо вздохнул, а потом не вытерпел, спросил:

— Как же вы можете мириться с такими дорогами?

Русский снова засмеялся:

— Я недавно встретил вашего соотечественника. Прежде всего я увидел, что он — дурак, потом пришлось убедиться, что он — плут, наконец мне сказали, что он — сенатор. По-моему, лучше проехать сто миль по поперечному настилу, чем иметь такого сенатора. Причем мы знаем, что у нас много поганых дорог, а вы, кажется, не догадываетесь, что у вас много поганых сенаторов.

Теперь рассмеялся Маккорн:

— Жулье! Им никто не верит, их выбирают, потому что нужно кого-нибудь выбрать. Я очень рад, что с вами познакомился. Я часто вспоминаю русского майора, это был очень симпатичный человек и деловой, наверно он теперь хорошо зарабатывает. Можно вам задать еще один вопрос? Я не понимаю, почему красные хотят снова воевать? Вы ведь были на фронте, знаете, что это за музыка. Возьмешь утром газету — и жить не хочется. Каждый день какая-нибудь сенсация...

— Фантазия определяется аппетитом. А журналист — тоже человек, ему хочется не только позавтракать, но даже пообедать. Я здесь третий месяц, и я все не могу понять, почему у вас столько говорят о войне? Может быть, потому, что вы не навоевались? Я помню, как я сидел на одном курганчике... Вы, конечно, не знаете, что такое курганчик, это холмик, мелочь. Зато вы, наверно, знаете, что такое Сталинград. Так вот, я сидел на курганчике возле Сталинграда и все думал, когда же американцы начнут воевать? Но у вас тогда были, видимо, другие заботы. Так и не дождался... Ну, а теперь война давно кончилась, нужно заниматься делом, а не кричать: «Война, война!» Никто на вас нападать не собирается. Мы хотим не воевать с вами, а торговать.

Как только ушел русский, позвонили. Маккорн привскочил: неужели еще один клиент? Нет, это пришел Фред Дуббельт. Маккорн с ним подружился в Страсбурге. Дуббельт тогда служил в штабе армии и был начинен слухами, сплетнями, стратегическими планами, а Маккорн обожал сенсации. После войны они изредка встречались, выпивали стаканчик, вспоминая прошлое.

Дуббельт был чем-то озабочен:

— Джим, у вас сейчас был очень подозрительный человек.

— Почему же подозрительный? Он заказал синий костюм, две пары брюк и оставил задаток.

— Я не о том говорю. Это очень опасный человек. Вы знаете, зачем он приехал в Америку?

— Я знаю, зачем он пришел ко мне,— синий костюм, две пары брюк. А зачем он приехал в Америку, это меня не касается. Наверно, чтобы торговать, он дал мне адрес их торговой миссии.

— Я всегда говорил, что вы чересчур доверчивы. Хотите знать, зачем он приехал? В газетах вы этого не прочитаете. Это настоящая сенсация. Красные решили взорвать атомные заводы Теннесси.

— Знаете, Фред, я перестал верить в сенсации. Этот красный сказал мне, что он недавно познакомился с одним сенатором. Значит, он человек с положением. Такой не пойдет взрывать... Вы что-то путаете.

— Я ничего не путаю, а вот вы, Джим, немного запутались. Вы теперь часто встречаетесь с красными и повторяете все, что они говорят.

— Они вообще ничего не говорят или просят: «Выпустите брюки», «Подымите плечи». Разве я виноват, что я обшиваю красных? У меня не было другого выхода. Это дурацкие шутки судьбы.

— Я знаю, что вы порядочный человек, но не все вам поверят. Этот негодяй может вас погубить. Нужно действовать...

— Конечно, мне обидно потерять заказ, но если это нужно, я ему отошлю задаток.

— Этим вы себя не спасете. На когда вы назначили примерку?

— На среду, в пять часов.

— Я приду. Вы всех отошлете, а я проверю его пиджак.

— Вы с ума сошли, Фред! Да если он действительно крупный преступник, разве он даст залезть себе в карманы?

— Вы меня смешите, Джим. Вы думаете, он носит свои тайны в кармане? Я хочу прощупать, что у него зашито в левом борту пиджака.

— Я не понимаю, зачем вам это, Фред? Конечно, красные — мошенники. Но я не хочу в это путаться. Да и вам не советую: это пахнет тюрьмой.

— Я пришел к вам, как друг, предупредить. Вы знаете, что я теперь работаю в секции пропаганды. Я там встречаюсь с одним человеком из Федерального бюро. Вчера он мне сказал: «Маккорн спутался с красными». Они хотели устроить у вас мышеловку. Я его едва уговорил. Я обещал, что проверю, зашито ли... Если нужно, они его задержат, но не у вас. Он обещал, что вас они даже не вызовут. Я вас выручил, Джим, а вы меня спрашиваете, зачем я этим занимаюсь!

— Я уже ничего не спрашиваю. Я не струсил, когда нас окружили немцы, а теперь я готов залезть под кровать. Я ведь знаю, что меня не оставят в покое. Зачем я только купил эту проклятую мастерскую? Лучше было бы уехать в Техас, мне предлагали торговать фруктовыми консервами. Фред, помните, как была ночная тревога и вы выскочили в одних трусиках? Я тогда вам дал штаны. А Джека убили... Это было замечательное время. Я тогда не думал, что придется залезать в чужие карманы...

Маккорн долго проклинал судьбу. Дуббельт дал ему выговориться, а, уходя, сказал: «Значит, в среду».

Настала среда. Маккорн отослал закройщика, рабочих. Дуббельт подавал булавки. Вдруг русский попросил:

— Пришейте, пожалуйста, пуговку, второй раз, проклятая, отлетает...

Дуббельт взял пиджак; он предупредительно попросил русского вынуть все из карманов:

— Можно обронить крохотную бумажку, а потом оказывается, что там нужный адрес...

Он ушел с пиджаком за перегородку. Маккорн злобно усмехнулся: пусть мошенник помучается! Наверно, он не умеет даже продеть нитку... Эти штабные герои провоевали, сидя в гостиницах с полным комфортом. «Секция пропаганды»... Какая же это пропаганда — залезать в чужие карманы? Я думал, что он просто мошенник, а он — полицейская собака...

Маккорн решил занять клиента разговором:

— Простите, если мы вас задержим. Это не мой рабочий, он замещает товарища. За пуговицу я не отвечаю. А пиджаком вы останетесь довольны. Все русские меня благодарили. Газеты пишут, что мы с вами в плохих отношениях, а я лично ничего не имею против русских. Когда

я был в гостях у красного майора, я попросил его расписаться на долларе. Это мой талисман, посмотрите...

Он протянул ассигнацию.

— «Осип Альпер». Вы были у майора Альпера? Удивительно!..

— Значит, вы его тоже знаете?

— Немного. Мы с ним сидели на одном курганчике, загадывали: будут американцы воевать или не будут?

Дуббельт, наконец-то, принес пиджак:

— Пожалуйста. Сто лет не оторвется...

Маккорн, прощаясь, заглянул в конторскую книгу: русские фамилии ему давались с трудом.

— До свиданья, господин... Минаев. Попрошу вас на следующую примерку в понедельник.

9

Маккорн не мог опомниться. Домой он не пошел, а сидел у стойки бара, пил виски, болтал ожесточенно ногами и про себя ругался. Ругал он всех — Дуббельта, русского шутника, президента, красных, жену, самого себя. Вот так история! Газетчик дал бы за это тысячу долларов. Но я не газетчик, меня тошнит. Может быть, я отравился? Сосиски были тухлые...

Дуббельт, уходя, сказал: «Джим, никому ни слова. Мы с вами не зря поработали — я прощупал...» Маккорн пытался представить себе, как красный ползет со взрывчаткой. Он то недоверчиво усмехался, то ежился от страха.

Он вынул из бумажника заветный доллар. Этот мошенник — приятель майора. Нас тогда чудесно угостили. Смидл сначала задавался, не хотел пить. Индюк, он всегда задается. Потом и Смидл напился. А Гайрстон танцовал с русскими. Я правильно сказал Дуббельту: это было замечательное время. Конечно, могли убить, как Джека, но тогда я по крайней мере знал, кто враг. Теперь все перепуталось. Разве я могу положиться на Дуббельта? Мне он говорит одно, в Федеральном бюро — другое. Он должен губить людей, такая у него работа. Я шью, а он доносит. Конечно, они должны меня благодарить, а они начнут допрашивать: кто, что, почему?..

Как быстро все переменилось! Русские тогда нас встретили, как друзей. Наверно, этот шутник тоже обнимал американцев. А теперь его послали взорвать завод. Чорт знает что! Я залез в паршивое дело. Но если поглядеть со стороны, это неслыханная сенсация.

Маккорну захотелось кому-нибудь рассказать: к портному приходит заказчик, синий костюм, две пары брюк, шутит, смеется, а потом оказывается, что это преступник номер один: красные поручили ему взорвать город. Разве не поразительно? Маккорн знал его лучшего друга. Вот доллар с автографом... Глупо, что нельзя рассказать об этом хозяину бара, он посмеялся бы.

Выпив еще стакан виски, Маккорн решил позвонить Гайрстону. Полтора года они не виделись: город большой, у каждого своя жизнь. В последний раз они встретились, когда Хилл их позвал на свою свадьбу. Это был чудесный вечер; они вспоминали, как Хилл стащил у немца поросенка, как Маккорну дали медаль, как они ездили к русским. Маккорн так и не собрался повидаться с Гайрстоном. Он и Хилла не видал с того вечера. Может быть, у них прибавление семейства?.. А Гайрстон тогда сдавал экзамены. Адвокат, наверно, хорошо зарабатывает. С ним можно разговаривать: умный парень. Потом он был у красного майора, его взяли как переводчика, он ведь наполовину русский. Он поймет, что̀ это за сенсация...

Маккорну повезло — Гайрстон оказался дома.

— Слушай, Джо, я в том баре у Таймс-скуэр, где мы часто встречались. Помнишь? Приходи, я тебе хочу что-то рассказать. Помнишь, мы ездили к русским? Так вот, ответный визит... Настоящая сенсация!

Гайрстон позвал Маккорна к себе. Правда, это далеко, но раз зашел разговор о русских, он угостит Маккорна водкой, стоит приехать.

Маккорн долго ловил такси — был час пик. На каждом перекрестке приходилось стоять. А путь был действительно большой. Маккорн снова почувствовал тошноту и снова не понял: отравился он сосисками или нервничает? Он вдруг напустился на себя: зачем я к нему еду? Это не мой друг. Мало ли кто был в полку? Дуббельт сказал: «Никому ни слова». Откуда я знаю, что Гайрстон не служит в

полиции? Расскажу, а потом меня прихлопнут. Очень просто — они не любят лишних свидетелей.

Он поглядел по сторонам. Он как будто попал в чужой город. Истбродвей. После войны он здесь ни разу не был. Да и зачем сюда ходить, здесь живут только евреи. На окнах вместо букв какие-то завитушки... Маккорн вспомнил, что Гайрстон — еврей. Совсем глупо — ведь евреи за красных. Может быть, Гайрстон — коммунист? Расскажет, что я работаю в полиции. Они хотели взорвать завод, что им стоит меня прикончить?..

Он решил ничего не говорить Гайрстону; если тот пристанет: «Какая сенсация?» — скажет, что пошутил, просто захотелось провести вечер с приятелем.

Гайрстон жил один. Прямо с лестницы Маккорн вошел в комнату, заставленную книгами. За ширмой стояла кровать. Не богато живет, подумал Маккорн, и оригинальничает — вместо книг мог бы потратиться на обстановку. Он спросил, где Гайрстон работает.

— Год проработал в страховом обществе «Феникс».

— Юрисконсультом?

Гайрстон рассмеялся:

— Обивал пороги. Сначала меня гнали те, кого страхуют, а потом прогнал тот, кто страхует.

— Погоди... Ты ведь сдавал экзамены...

— Сдал. Мало ли я делал в жизни глупостей? Может быть, завтра я буду раздавать на улицах рекламы крема красоты. Вполне солидное занятие, но римского права для этого не требуется. О чем тут говорить, лучше выпьем.

— Откуда у тебя водка?

— Можешь спокойно пить, не красная, делают здесь, на сто двадцать шестой улице.

Они опорожнили бутылку. Гайрстон был в ударе, передразнивал майора Смидла, Хилла, рассказал анекдот про зебру. Маккорн ждал, когда же он спросит, где сенсация, но Гайрстон не спрашивал. Они вспомнили, как возле Касселя попали под минометный огонь.

— Замечательное было время! — вздохнул Маккорн.— А теперь чорт знает что. Они, кажется, забыли, кто защищал Америку. Юрист должен бегать, высунув язык. Ты думаешь, что я хорошо живу? Отвратительно! Шью штаны красным. До войны я продавал пальто черным. Конечно,

это тоже противно. Но что такое черный? Чистильщик сапог, которого хорошенько наваксили. На фронте они были приличными шоферами. А вот с красными лучше не знаться. Это такая компания...

— Ты веришь газетам?

— При чем тут газеты? Я помню, как погиб Джек. Я не хочу, чтобы убивали американцев. Скажи мне: кто хочет воевать? Ни ты и ни я. Красные.

Гайрстон улыбнулся, это вывело Маккорна из себя:

— Напрасно ты думаешь, что Маккорн — мальчишка, которого можно обвести вокруг пальца! Красные хотят воевать, это не в газетах, это сущая правда. Ты сейчас перестанешь смеяться. Я тебе покажу, как тебя водят за нос. Помнишь, мы ездили к русским?

— Я даже помню, как звали майора,— Альпер.

— Так вот, его приятель пришел ко мне, заказал костюм, говорил, что он в миссии, приехал торговать, знаком с сенатором. Я, дурак, старался: «Костюм будет замечательный, мистер Майноу». А ты знаешь, кто он? Преступник номер один! Он хочет взорвать целый город. Хорошо, что он напал на меня. Конечно, я не философ, у меня нет столько книг, как у тебя. Ты думаешь: что может понимать портной? А я кое-что понимаю. Я могу посмотреть, что у красного в пиджаке, очень просто. Мне наплевать на политику, это — мошенничество. Но я не хочу, чтобы взрывали американские города. Меня должны благодарить. А кто сидит в Федеральном бюро? Мошенники. Они меня не оставят в покое. Я тебя спрашиваю, кто дал право смеяться над Маккорном?..

Гайрстон не пытался его успокоить: знал, что стоит добродушному Маккорну выпить лишний стакан, как он расходится.

Маккорн взял книжку с полки, посмотрел заглавие и напустился на Гайрстона:

— Сержант американской армии читает такую пакость! Я как пришел к тебе, подумал: зачем ему столько книг? Теперь я понимаю... Ты, милый мой, на книгах споткнулся. Скажи мне прямо, откуда у тебя водка?

— Из магазина. Можешь купить, если тебе нравится.

— Я не желторотый птенец, Джо. Меня трудно провести. Мы вместе защищали Америку. А теперь ты за крас-

ных. Я мирный человек, но я не трус, я пойду бить русских!..

Чем больше он кричал, тем сильнее злоба сжимала его сердце. Ему казалось теперь, что во всем виноваты красные. Это они отобрали у него патент «Сирена», подменили жену, всю жизнь подменили. Разве прежде кто-нибудь думал о войне? Жили по-человечески, зарабатывали доллары, ходили на матчи. А теперь чорт знает что! В ярости он крикнул: «Ты мне скажи прямо — ты американец или красный?» И, не дожидаясь ответа, выбежал на лестницу.

Стоял душный вечер. С ненавистью Маккорн глядел на жалкие лавчонки — сундуки, бочки с капустой, медные подсвечники. Чорт знает что, живут в Америке и не хотят жить по-американски! Здесь каждый дом — гнездо красных. Могут взорвать и Нью-Йорк, очень просто...

Потом он испугался: зачем я ему рассказал? Он натравит на меня красных. Попросить Дуббельта, чтобы они меня охраняли? Рассмеется. Зачем им меня охранять? Я не сенатор. Они не лучше красных, такие же мошенники. А меня никто не выручит. Пропадай, Маккорн: в Америке можно быть жуликом, но не дураком. Дураков убивают...

Он долго стоял на углу двух темных улиц под тусклым фонарем. Его веснушчатое, пестрое лицо лоснилось от пота. Кто-то на верхнем этаже кричал: «Да я его, подлеца, зарежу!..» И Маккорн видел, как густая черная кровь каплет на землю — хлюп-хлюп. Это, кажется, режут меня, подумал он и тоскливо зевнул.

10

Гайрстон шагал по узкой, длинной комнате, похожей на коридор, и не знал, что ему делать. Эта история с пиджаком плохо пахнет. Маккорн прежде смеялся над газетами; они его обработали. Все-таки нужно быть дураком, чтобы поверить в такую чушь... Ясно, что полиция хочет выкрасть какие-то документы. Необходимо предупредить. Пойти в торговую миссию, сказать: «Пусть мистер Майноу не ходит больше к портному»? Они подумают, что я из полиции. Может быть, Бетти знает какого-нибудь русского? Она говорила, что бывает в американо-советском институте. По-

звонить Бетти? Сейчас половина двенадцатого. Может быть, она уже спит? Да, но это очень важно, нельзя отложить до завтра. А вдруг к телефону подойдет ее муж? Я не знаю, какие у них отношения. Она сказала: «У него другие идеи...» Значит, она не сможет объяснить, почему я ей позвонил. Может быть, он ее ревнует?.. Главное, она не поймет, зачем я хочу с ней сейчас встретиться. Не будь последнего разговора, все было бы проще, а теперь она подумает, что я хочу говорить о своих чувствах. Может ответить резко, положить трубку... Все это так, но нужно что-то сделать. Маккорн теперь в руках у полиции. Если сказать, этот русский будет осторожней...

Гайрстон терзался, а время шло. Так с ним всегда бывало: человек смелый и прямой, он страдал нерешительностью. Он слишком много думал. Маккорн одной фразой его задел: «Ты на книгах споткнулся...» Книги были любовью и ненавистью Гайрстона. Порой он в отчаянии говорил себе: книги великолепно уживаются на полке, а в голове они воюют, они не дополняют, они исключают одна другую. Неужели на свете столько же истин, сколько книг?..

Пока шла война, он был спокоен: понимал, что нужно разбить нацистов. Но в первый же мирный день пришли сомнения. Он хорошо помнит, как он ездил к русским с Маккорном и Смидлом. Все пили за мир, а его грызла тоска: американцы подозрительно допрашивали русского майора. На обратном пути майор Смидл сказал: «Красные зазнались, придется их проучить»... Гайрстон понял, что война продолжается. Но теперь он не знал, кого нужно разбить — красных или своих? Вернувшись в Нью-Йорк, он засел за прерванное учение. Он то и дело менял свои оценки. Он говорил себе: все-таки американская система лучше. Нельзя жить, когда все думают одинаково. Неделю спустя он издевался над собой: что из того, что у нас две партии? Они похожи одна на другую, как два яйца. Разве я могу отличить республиканца от демократа? Правда, у нас есть коммунисты, но их мало, я их не знаю. Они не могут никого убедить, потому что у них нет денег. Он читал все вперемежку — Маркса и Бергсона, Джемса и Толстого, книги о советских колхозах и новеллы модных авторов. Он возненавидел газету, которую покупал каждый

день, не верил больше ни речам конгрессменов, ни радиокомментаторам. Воздух казался ему пропитанным ложью, а книги не помогали — каждая советовала другое.

Он сдал экзамены. Для того, чтобы заняться адвокатской практикой, нужны были деньги. Он хотел стать юрисконсультом. В одном банке ему сказали, что у него нет стажа, в другом,— что им нужен адвокат с именем. Он чуть было не устроился в правление заводов «Уайт энд Краузер», но дело сорвалось: мистер Краузер не выносил евреев. Пришлось стать агентом страхового общества. Он стыдился своей работы: доказывать женам, что их мужья могут завтра умереть. Его прогнали, как бездельника. Он не рассказал Маккорну, что два месяца проработал посыльным в типографии, потом мыл стекла магазинов, потом продавал газеты. Иногда перепадало десять долларов, он хорошо обедал, покупал новую книгу; иногда не было и десяти центов. Он легко переносил и унижения и голод; он страдал только от того, что не мог понять, где же истина.

Он начал читать по нескольку газет в день, ходил на лекции, на собрания религиозных обществ, на митинги; он все еще смутно надеялся, что узнает самое важное. С Бетти он познакомился на лекции одного профессора, побывавшего в Москве. Профессор похвалил советские яблоки, а потом обрушился на какого-то красного агронома, которого называл «лжеученым». Рядом с Гайрстоном сидела молодая женщина в бежевом костюме; она была смуглая, походила на итальянку или на испанку, а глаза у нее были большие и очень светлые. Она сразу поразила Гайрстона, он плохо слушал лектора — глядел на соседку. Вдруг, повернувшись к нему, она сказала: «Понятно, что он защищает морганизм, это ведь сотрудник «Таймс»...» Гайрстон поспешил согласиться. Хоть бы она еще что-нибудь сказала! Но она слушала, записывала. Они вышли вместе. Гайрстон решился, заговорил, она улыбнулась; он проводил ее до дому, узнал, что ее зовут Бетти Кайнс, что она изучает биологию, что она замужем, ее муж — искусствовед.

Гайрстон хотел позвонить ей на следующий день, но удержался: что он ей скажет? Он ведь с трудом поддерживал разговор о генах. Он прочитал четыре статьи четырех биологов; в трех доказывалось, что морганизм,

который Бетти осуждала,— единственно подлинная научная теория, в четвертой говорилось обратное. Гайрстон не знал, кто прав, но он твердо знал, что согласен во всем с Бетти. Неделю спустя он позвонил ей, спросил, не будет ли она на какой-нибудь лекции: он хотел бы продолжить беседу о морганизме. Бетти отвечала приветливо, предложила пойти на митинг, посвященный событиям в Греции. Он напрасно прочитал четыре статьи: Бетти не возвращалась к морганизму. После митинга они долго гуляли, беседовали, все о политике. Бетти сказала: «Вы должны знать, что я — коммунистка. Это вас удивляет?» Он искренне ответил: «Ничуть». Когда они расстались, он подумал: теперь я понимаю, отчего в ней сила убеждения. Русский майор тоже знал, как нужно жить. А я не знаю. Конечно, коммунисты симпатичнее, чем наши политики. Но, наверно, и коммунисты ошибаются. Все непонятно... Понятно одно: я не могу быть без Бетти. Мне тридцать два года, а я, как школьник, считаю, сколько часов до встречи. Зачем я ей? У нее политика, биология. Потом у нее муж. Отец когда-то говорил: «Нужен им я, как собаке пятая нога»... Я ответил Бетти: «Ничуть»; это неправда, я до сих пор не могу опомниться. Конечно, я ездил к русскому майору. В типографии был корректор, я сразу догадался, что он — коммунист, но мы с ним почти не разговаривали. Можно сказать, что я не знал коммунистов. Бетти — дочь крупного инженера, выросла в довольстве, ее муж написал книгу о живописи. Почему она коммунистка? Значит, можно жить чем-то одним?..

Он думал, что когда они встретятся, она снова заговорит о политике; а она была рассеянна, несколько раз отвечала невпопад; потом вдруг стала декламировать:

> Облака, как белые платочки расставания,
> ими размахивает путник-ветер,
> и сердце ветра колотится
> над молчаньем нашей любви.

День был ветреный, и Гайрстону стало страшно — от стихов, от близости Бетти, от того, что они молча шли навстречу ветру.

Они теперь часто встречались, говорили то о политике, то об искусстве, то о пустяках, которые сразу становились

необычайно важными. Никогда они не говорили о том, почему встречаются: они суеверно обходили все, что могло бы привести к объяснению.

Дела Гайрстона неожиданно поправились: один литератор, с которым он познакомился у Хилла, предложил ему написать новеллу для детского журнала: литератор был ленив, и за него работали другие. Порывшись в книгах, Гайрстон сочинил трогательный рассказ из жизни выдр и получил двести долларов.

Они решили провести воскресный день вместе. У Бетти была машина; поехали в горы. На перевале они попали в облако, их охватила горячая сырость; потом было солнце, беседка, лиловые анемоны. Бетти положила свою руку на широкую ладонь Гайрстона. Руки рассказывали, объяснялись, клялись. Гайрстон не выдержал, заговорил:

— Бетти, это, как облако, я не могу без этого жить... Без вас, Бетти...

Она отдернула руку, встала.

— Никогда не говорите мне об этом, вы слышите,— никогда!

Они молча вернулись в город, простились, не глядя друг другу в глаза. Это было в воскресенье, а три дня спустя к Гайрстону пришел Маккорн.

Она подумает, что я настаиваю, хочу объясниться,— говорил себе Гайрстон, шагая по длинной комнате.— Четверть первого. Это безумие... Все же он позвонил.

— Бетти, простите, что так поздно...

Он с трудом говорил от волнения.

— Я ждала, что вы мне позвоните.

— Бетти, поверьте, это очень важно. Я никогда не посмел бы, но это действительно очень важно. Я не могу сказать по телефону, мне нужно вас увидеть, как можно скорее, сейчас...

Она сказала, что через полчаса выйдет из дому, будет ждать его на углу.

Встретившись, они не сказали друг другу ничего, даже не поздоровались. Они быстро шагали, не думая о том, куда идут.

— Бетти, это очень важно. Полиция готовит ужасную пакость. Может быть, вы знаете какого-нибудь русского? Необходимо сейчас же предупредить. Его фамилия,

кажется, Майнау. Он не должен итти к портному, этот портной связан с Федеральным бюро...

Он рассказал все, что выболтал Маккорн.

— Теперь вы понимаете, что я должен был позвонить?

— Завтра утром я увижу Берни, он бывает у русских. Вы хорошо сделали, Джо. Какая гадость! Они готовы на все. Кровь, бомбы, пустыня, лишь бы взять свое... Джо, мне иногда страшно, столько лжи, грязи, злобы! Нет, я не то хотела сказать... Берни утром предупредит. Сейчас ничего нельзя сделать. Но он не пойдет ночью к портному... Вы хорошо сделали, Джо.

Она крепко сжала его руку. Он подумал, что она прощается.

— Я вас провожу.

— Вы торопитесь, Джо? Сейчас хорошо, посвежело, а день был тяжелый...

На светлой, яркой площади они остановились. Женщина протянула Гайрстону букетик полузавядших роз. По фасадам сновали огненные буквы, карлики, акробаты. Бетти, прислонившись в стене дома, очень тихо сказала:

— Джо, я должна вам сказать...

Может быть, он не расслышал, или она не договорила. Они увидели пачки утренних газет, разложенные на ступеньке подъезда. Крупный заголовок: «Красный шпион задержан!»

Гайрстон схватил газету. «Вчера представителями Федерального бюро задержан служащий торговой миссии красных г. Минаев. На нем обнаружены документы, свидетельствующие о том, что красный «дипломат» не только собирал секретные данные, касающиеся производства атомных бомб, но и подготовлял покушение на американские заводы. В Государственном департаменте заявляют, что г. Минаев не пользуется правами дипломатического иммунитета и подлежит суду, как иностранец, нарушивший законы Соединенных Штатов».

Он скомкал газетный лист.

Они повернули назад, дошли до дома Бетти. Гайрстон робко спросил:

— Вы хотели что-то сказать? До того, как прочитали...

Она ответила не сразу, взяла руку Гайрстона, отпустила ее.

— Нет, Джо. Я ничего не хотела сказать... Не нужно об этом думать... Вы не знаете, что нас ждет. Они будут травить коммунистов, уничтожать. Нужно много сил, Джо, очень много... Я знаю, что вы — добрый друг, но теперь этого мало. Проверять будут железом, тоской, кровью. Прощайте, Джо!

Он долго стоял на улице; высоко в окне вспыхнул свет, потом погас; а он все стоял. Наконец он ушел; брел наугад, почему-то попал на Бродвей, предутренний, опустевший. Изредка встречались прохожие. Кто-то пел. Два матроса переругивались. Девушка под фонарем стоя дремала. Световые рекламы кружились на синем асфальте, взбирались на тридцатые этажи, полоскались в грязнорозовом небе. Гайрстон вспомнил короткий ночной бой возле Рейна. Значит, снова?.. А где же Бетти? Где жизнь? Все отнимут. Ракета. Тревога. Бомба. Вот сюда, в сердце... Проклятые!

Он громко выкрикнул: «Проклятые!» Прохожие не удивились: кому же ходить в такой час по Бродвею, как не пьяному горемыке?

11

Незадолго до отъезда в Нью-Йорк Дюма встретил Лансье. Они редко видались: Лансье переживал тяжелый период, фирме «Рош-эне» снова грозила гибель, а прежних сил у него не было; по целым дням он сидел в полутемной комнате, закрыв ставни, и что-то бормотал. Марта уговорила его в хороший весенний день выйти погулять. Он шел, задумавшись, сгорбленный, постаревший, когда его окликнул Дюма. Они сели на террасе маленького кафе, не зная, о чем начать разговор. Лансье попытался вспомнить вечера в «Корбей» — и замолк: нет Марселины, нет Лео, нет Луи...

Месяц назад умер и доктор Морило. Он умер, как жил, с печальной усмешкой. Профессору, который пытался его обнадежить, он сказал: «Я еще кое-что помню, мой прогноз — не больше двух недель... Только не подумайте, что я огорчаюсь. Засиделся, пора честь знать. Смешно признаться: полжизни я прожил без электричества, без паспорта, даже без джаза. В кафе исполняли вальсы, на

границе искали, не припрятан ли пакет табака, вечером я зажигал лампу и восхищался — до чего ярко горит! Я был в лицее, когда хоронили Гюго... Я — человек другой эпохи. Для Пино я зловредный коммунист; спросите товарищей Пьера, они скажут, что я сторонник монополистического капитала. А я всего-навсего заурядный врач, лечил от тысячи одной болезни. Когда-то говорили «катар», потом «инфлуэнца», потом «грипп», ну, а больные все равно чихали. Когда я был мальчишкой, отец рассуждал, что воевать больше нельзя, потому что изобрели ужасное оружье — пулемет. А дожил я до атомной бомбы. Значит, можно спокойно умереть...»

Да, умер и Морило. Лансье вспомнил, как он приходил к Марселине, усмешкой скрывая тоску; нельзя было понять, что у него на сердце.

— Мы с вами гуляем по кладбищу,— сказал Лансье.— Лучше поговорим о другом.

Дюма спросил его, как он живет.

— Отвратительно. «Рош-эне» доживает последние дни. Но это неважно. Хуже другое: у меня отобрали радость. Зачем мне жить? Только не спорьте, я знаю, что у вас другие идеи, я устал, я не хочу спорить. Мадо теперь с вами, я ее давно не видел, она даже не пришла спросить, что со мной... Может быть, вы правы, может быть, вы победите, но я вам не завидую. Я родился не в Москве, а в Ниоре, департамент Дэ-Севр. А французам сейчас нечему радоваться. Вы довольны, что русские строят какие-то заводы. Пино счастлив, что у американцев бомба. А чему мне радоваться? Франции больше нет. Мы были великой державой, а что мы теперь? Монако... Пино говорит, что американцы сильнее русских. Может быть. Мне от этого не легче. Если будет война, уничтожат не Москву и не Нью-Йорк, а Францию. «Корбей» — это все, что у меня осталось. Там я был счастлив... Я убежден, что они уничтожат «Корбей». Когда американцы нас освободили, я радовался, я им верил. Я думал, это культурные люди, а это хамы. Для них пакостный небоскреб выше Нотр-Дам. Да что говорить об искусстве, разве они могут по-человечески сесть за стол? Я вас уверяю, дорогой друг, они не едят, они питаются.

Дюма рассмеялся:

— Не говорите этого Пино. Он вас запишет в коммунисты. У американцев мерзкая политика: они хотят, чтобы все жили, как они. Но против американцев в Америке я ничего не имею. Конечно, они грубоваты — их недоделали. Но народ способный. Недавно я прочитал американский роман, и, знаете, понравилось — откровенно, живо. Ведь наши писатели умничают — им нужно разрезать каждый волос на четыре части... Покойный доктор Морило говорил: «Склероз в вашем возрасте — явление естественное, но противное». У американцев одно преимущество — молодость.

— Вы меня не убедили,— ответил Лансье.— Вы видите, я пью минеральную воду, врачи меня посадили на ужасную диету, а Марта — диктатор. Но я все-таки помню, что вино нужно выдержать, молодое ничего не говорит ни небу, ни носу, ни сердцу, от него только пучит живот. Вам нравятся романы этих дикарей? Я не хочу спорить, но я предпочитаю старика Франса.

Этот разговор Дюма вспомнил в Нью-Йорке. Он усмехнулся: я думал, что в них много непосредственности, нет, здесь свой ритуал, свои условности, свои суеверия. Конечно, они молоды, летоисчисление начинается с того, что основана такая-то фирма. Но и смелости мысли нет, тысячи предрассудков, ходи так, а не этак, все предписано. Тоже склероз, но в молодости, а это не только противно, но и противоестественно.

Доктор Морило зимой заехал к Дюма. Профессор сказал ему, что собирается в Америку. Морило возмутился: «Это значит второй инфаркт. Поберегите себя! Вчера вы снова выступали. На митингах может кричать любой горлодер, а другого Дюма у нас нет. Куда вы поедете? В таком состоянии люди лежат, а не летают». Дюма виновато улыбнулся: «Вам тоже нужно лежать, а вы вот бегаете, меня лечите. Может быть, я смогу урезонить хоть одного американца... Вы читали последнюю речь Трумэна? Дело идет к войне. Мы с вами пожили, но я не хочу, чтобы убивали молодых».

Он попрежнему много ходил, но вдруг останавливался — задыхался. Под живыми черными глазами лиловели большие отеки. Он, однако, сохранял молодость, непримиримость, глубокое веселье, поражавшее всех. Профессор

Адамс рассказывал жене: «Ему никак нельзя дать его лет, а ведь он сидел в «лагере смерти», там и молодые не выдерживали». Дюма все время был чем-либо занят: готовился к лекциям, выступал на собраниях, писал книгу, не забывая при этом пошутить с Мари или развеселить приунывшего студента.

Его злоключения начались еще в самолете. Он любовался городами на побережье, сверху они казались каменными рощами, когда стюардесса дала ему листок: «Пожалуйста, заполните анкету». Дюма тщательно выписал свое имя, место и дату рождения, подданство; следовала рубрика «Раса». Он усмехнулся и написал целый трактат о произвольном пользовании понятием расы. Потом он скомкал бумажку. Для кого я стараюсь? Прочитает полуграмотный сыщик. Смущенно он попросил у девушки другой листок: «Я поставил кляксу»... Он заполнил все параграфы, а на вопрос о расе не ответил. На аэродроме его продержали два часа: полицейские гадали, почему француз не хочет сказать, белый он или черный, пока начальник не разъяснил: «Это — красный. Перетряхните еще раз его багаж, за ним нужно смотреть в оба».

На аэродроме Дюма встретили два американца. Он подумал, что это молодые ученые, заговорил о работах профессора Мюллера. Они рассмеялись: один оказался журналистом, другой — секретарем союза скорняков. Дюма сказал:

— А меня ведь приглашали коллеги...

Журналист смутился:

— Профессор Адамс хворает, но завтра утром он к вам заедет.

Скорняк еле заметно улыбнулся:

— Газеты начали против вас кампанию, пишут, что вы — коммунист, а у профессора Адамса, так сказать, официальное положение. Вас, кажется, удивляет, что я вас встречаю? Я — один из организаторов «Лиги друзей мира». Мы хотим, чтобы вы выступили в Нью-Йорке. Мэдисон-скуэр — самое большое помещение, но вы увидите, мы его заполним. Профессор Адамс держится в стороне, но в нашей «Лиге» профессор химии Миклей, несколько священников, учителя, врачи. Дело не в политике, люди хотят мира.

Когда журналист на минуту отошел в сторону, скорняк шопотом сказал:

— Я тоже коммунист. У нас очень трудно... Можно пожать вашу руку?

Профессор Адамс действительно приехал в гостиницу. Дюма вспомнил про злосчастную анкету; они вместе посмеялись. Адамс сказал:

— Невежественные люди! Могли бы знать ваше имя. Я сегодня ответил репортерам, что ваш приезд — честь для Америки.

— Ну, это вы перехватили. А вот насчет негров я чего-то не понимаю. Похоже на немцев... Интересно, чем вы объясняете такое отношение?

— Трудно ответить — слишком сложный вопрос. Обычно это объясняют низким культурным уровнем негритянского населения.

— Но ведь этот уровень поддерживается искусственно. Вы не хуже меня знаете, что дело не в черепе негра, а в социальном неравенстве.

— Лично я с вами согласен, но у каждого народа свои слабости, нелегко развеять предубеждение... Когда вы присмотритесь к нашей жизни, вы увидите, что наука у нас пользуется многими привилегиями: дают деньги, и большие; я не пожалуюсь на условия: прекрасные аудитории, библиотеки, специальные институты, но нас не всегда слушают...

Дюма провел вечер у профессора Гайнса в интереснейшей беседе об антропогенезе; восхищался — сколько они понаделали! Там он встретил молодого биолога из Нашвилла, который расспрашивал его о работах французов. Когда они оставили серьезные разговоры, за чаем биолог сказал:

— Я могу вас развеселить, как иностранца: по законам нашего штата, мы не имеем права излагать студентам теорию эволюции. Узаконены только Адам и Ева, а за питекантропа можно попасть в тюрьму...

Придя в свой номер, Дюма долго не мог уснуть. Вдруг он услышал крики. Накинув халат, он выглянул. Полицейские вели молодого человека, женщину в пижаме. Вспыхивали яркие лампочки, суетились фотографы. Дюма подумал, что это киносъемка, но один из фотогра-

фов объяснил: «Очередная облава. У них нет брачного свидетельства... Хорошо, что не поздно — поспеет в газету...»

Дюма у себя громыхал: ну и безобразие! Они еще философствуют о свободе. Залезают в постель — кто с кем спит. В головы залезают. Не угодно ли объяснить происхождение человека эзоповым языком! Причем оболванили всех. Конечно, профессор Адамс — интересный краниолог. Но разве он думает о чем-либо, кроме своей работы? Я спросил, какие у них писатели, он говорит: «Может быть, моя жена знает, я не читаю романов». Профессор Гайнс изъездил всю Европу, два месяца прожил во Франции. А что он заметил? Когда я ему сказал, что план Маршалла — помощь не Европе, а самой Америке, он изумился: «В первый раз слышу»... Каждый знает только свою специальность; этот торгует шнурками для ботинок, значит сапожная мазь его не касается. Говорят, «Новый Свет». Что тут нового? Собрали все предрассудки Европы и думают, что вправе учить других...

На следующее утро, когда он работал у себя в номере, пришел скорняк, тот, что был на аэродроме, принес газету со статьей Билла Костера. Дюма, читая, дивился; его белые лохматые брови то и дело приподымались. Потом он оглушил американца хохотом:

— Ну, знаете... Молодец! Ведь нужно придумать...

Отложив газету, он спросил:

— А кто у вас этому верит?

— К сожалению, многие. Вы еще не знаете, в каких условиях мы работаем. Эта статья может испугать людей. Негде опровергнуть: у «Дейли уоркер» маленький тираж. Мы очень рады, что завтра вы будете у Адамса. Такие вещи быстро становятся известными. Адамс — человек с положением, люди поймут: если он устраивает прием в вашу честь, значит это выдумки. Наш друг, профессор Миклей, тоже будет у Адамса. Статья Костера — провокация, они хотят сорвать митинг. Но это им не удастся.

Он долго рассказывал о трудностях, которые приходится преодолевать его друзьям. Дюма рассеянно улыбался: он представлял себя то шпионом, похищающим секретные документы, то гестаповцем, то сатиром, преследующим в Булонском лесу парижанок.

— Профессор Адамс сможет посмеяться, он ведь был у меня, понимает, что для роли сатира я несколько староват.

Профессор Адамс, однако, не смеялся. Он сказал правду Робертсу: статья его возмутила, особенно то, что Костер обозвал Дюма самозванцем. Но он не рассказал Робертсу, что госпожа Адамс, прочитав статью, заявила мужу: «Ты должен отменить прием. Он, может быть, и знаменитый ученый, но нельзя впустить в семейный дом человека с такой репутацией». Адамс рассердился: «Этот дурак пишет, что Дюма — самозванец, а в моей книге я несколько раз ссылаюсь на его работы. Почему ты веришь всему, что в газете?» «Не знаю, может быть, это и преувеличено, но говорят, что он пристает к женщинам... А ты его приглашаешь». Адамс усмехнулся: «Ты знаешь, сколько ему лет?» «Ты сам говорил, что он очень молод для своего возраста. Я не настаиваю, это твои дела. Но я к нему не выйду. Можешь сказать, что я нездорова. Хорошо, что ты пригласил всех без жен. Госпожа Гайнс собиралась притти, она любопытна, как обезьяна, но я ей позвоню, что я заболела».

Для профессора Адамса предстоящий прием был подлинным испытанием. Дюма ему не понравился. Только что приехал — и говорит о неграх, как будто все знает. Это очень сложный вопрос, нельзя судить с кондачка. А то, что он сказал о планах Америки, попросту глупо. Как можно утверждать, что американцы хотят войны? У кого самая сильная армия? Не у нас, у русских. И нечего французам прикидываться ягнятами, всю свою историю они воевали... Противно, что ученый такого калибра занимается политикой. Сейчас очень напряженное положение, я не хочу, чтобы меня приняли за сторонника красных. Но отменить прием нельзя. Дюма — крупный ученый, мы его пригласили на годичную сессию. Никто, конечно, не предполагал, что он здесь будет агитировать... Он ведет себя недостойно. Но наши газеты не лучше, они хотят смешать его с грязью. Все вместе — это неприглядное зрелище. Я покажу им, как должен поступать человек науки, я выше политических дрязг...

На следующее утро газеты сообщили о сенсационном аресте советского дипломата. Адамс был потрясен. Это уж

не предположения полковника Робертса, не выкладки того или иного министра, карты Москвы раскрыты. Я спорил с Робертсом, а он был прав, русские действительно готовятся к войне. Конечно, это — безумие, но разве у одержимых может быть логика? Профессор Гайнс, когда он был в Москве, не заметил главного. Понятно — иностранцам они показывают мирный фасад... Интересно, что скажет теперь Дюма? Впрочем, я знаю, что он скажет, это фанатик, он постарается оправдать русских. Кажется, Робертс и в этом был прав: нужно было отменить прием. Но теперь поздно. Я сделаю все, чтобы никто не заговорил о политике, это будет встречей ученых — и только.

В последнюю минуту шестеро приглашенных сообщили, что не смогут притти. Одни оправдывались болезнью, другие работой, семейными обстоятельствами. Пришли профессор Гайнс, крупный специалист по остеологии профессор Барт, биолог Кремер, химик Миклей и молодой, но уже пользующийся солидной репутацией палеоантрополог Хенусси. Все они любезно расспрашивали Дюма о его работе. Профессор Адамс сказал:

— Мы ждем с нетерпением появления вашего труда. Из статьи в журнале «Ревю антроположик» явствует, что вы перевернули основы антропометрии.

Дюма, увлекшись, рассказывал о работе советского ученого Ярхо:

— Интереснейшие данные. Они показывают, как осторожно нужно относиться к индексам. Меня удивила статья одного коллеги, профессора Колумбийского университета, он возвращается к старым заблуждениям — пытается доказать отсталость негров, исходя из данных черепных измерений. А чего стоят разговоры о весе мозга! Я думал, что такие предрассудки давно позабыты. Этот коллега ссылается на Кювье — его мозг весил две тысячи граммов. Очень хорошо, но почему он не вспомнит, что мозг Анатоля Франса весил всего-навсего тысячу сто граммов? Если верить таким благоглупостям, Анатоль Франс принадлежит к другой расе, нежели Кювье, а, между прочим, оба были не только французами, но и членами Французской академии. Вот такой подлог в Советском Союзе немыслим, там никто не заинтересован в искажении данных...

Профессор Хенусси прервал его:

— Может быть, вы скажете, что дискуссия по биологии не искажение данных? Я ознакомился с отчетом, трудно себе представить большее подчинение науки политической указке.

— Не нахожу,— спокойно ответил Дюма.— Конечно, у них стиль разговора другой. Я готов понять, что некоторые выражения вас коробят. Но на дискуссии был поставлен вопрос первостепенной важности...

— Для коммунистов! — воскликнул профессор Хенусси.— В конечном счете это не научная дискуссия, а пропаганда. Завтра мы, может быть, прочитаем, что Дарвин был коренным русским...

Дюма пожал плечами:

— Это, простите, неостроумно. Трудно поверить, что такие вещи говорит ученый, а не газетчик...

Профессор Миклей подлил масла в огонь:

— Профессор Хенусси позавчера напечатал в «Таймс» статью, вас она может заинтересовать. Он утверждает, что атомная бомба защищает культуру Запада.

— Это несколько утрировано,— сказал профессор Хенусси.— Но я действительно считаю, что красный империализм грозит нашей цивилизации и что русских удерживает только страх перед бомбой...

Профессор Адамс попытался спасти положение:

— Может быть, мы вернемся к работам профессора Ярхо?..

На минуту все замолкли; потом Дюма, глядя на профессора Хенусси, сказал:

— Если вы считаете, что русские хотят войны,— это заблуждение. Они заняты другим...

Молчавший все время профессор Барт деланно засмеялся:

— Именно другим. Мы сегодня об этом прочитали... Они увлечены, дорогой профессор, не столько методами антропометрии, сколько заводами Теннесси.

Дюма развел руками:

— И вы этому верите? Удивительно! Может быть, вы принимаете меня за сатира? Нет, будем говорить серьезно, неужели вы не видите, что вся эта история сфабрикована в Федеральном бюро?

Профессор Адамс снова вмешался:

— Я хотел бы прекратить этот неуместный спор. Мы все ценим работы профессора Дюма, мы рады встретиться с видным французским ученым. Право же, политические воззрения господина Дюма нас не касаются. Мы воспитаны в духе терпимости. Я хочу сказать вам одно, дорогой господин Дюма. Мы с презрением отвергаем невежественную и грубую статью, посвященную вам. Однако вы напрасно приравниваете к пасквилю опубликованное сегодня сообщение. Мне не хотелось бы, чтобы в моем доме порочили наши государственные учреждения... Можно вам предложить чашку чаю, дорогой господин Дюма?

— Благодарствую. Если вы разрешите, я пойду домой. Устал, а завтра выступаю на митинге.

Он поклонился и вышел.

На лестнице его нагнал профессор Миклей.

— Теперь вы видели наших ученых? Минутами меня берет отчаяние. Хенусси — типичный расист, его превозносят — «светило американской науки», а даже Адамс сказал недавно: «Профессор Хенусси ровно ничего не сделал, он живет в кредит». Барт потерял голову от страха, повсюду ему мерещатся красные. Они мне не простят, что я ушел с вами. Возьмите Адамса... Крупный ученый, да и человек незаурядный, и что же? Верит любой газетной утке... Завтра я буду говорить на митинге, мне поручили представить вас, это для меня огромная честь. Мы впервые выступаем перед широкой аудиторией. Я должен вам прямо сказать: я не коммунист; наверно, мы во многом расходимся, но я не хочу войны. Мне противна эта болтовня о бомбе. Таких, как я, много, но люди растеряны, сбиты с толку, не знают, что делать...

Он проводил Дюма до гостиницы.

Дюма увидел, что на столике перегорела лампочка, позвонил. Молоденькая горничная приоткрыла дверь и тотчас ее захлопнула. Минуту спустя она пришла с другой горничной. Дюма хотел помочь ей, но, увидев, что он идет к столику, она вскрикнула. Он понял: прочитала и боится. Он добродушно засмеялся:

— Оставьте, я сам сделаю. Спокойной ночи!

Он ввинтил лампочку. Ну и дура! Не забыть бы рассказать Мари, она посмеется. Устал...

Он прилег на диван. Ноги немели, трудно было дышать. Он достал из саквояжа бутылочку с лекарством, кусок сахара; капая, громко считал: «Шесть, семь, восемь...» Снова лег. Все путалось: горничная, оскал Хенусси, черепа негров.

На потолке метались отсветы. Нужно бы опустить штору... Почему-то он вспомнил эсэсовца с дубинкой. «Человек — это мыслящий тростник...» Я выжил только потому, что думал... Завтра митинг, а я не подготовился... Он напрягся, встал, начал медленно расшнуровывать ботинки. «Начну так: «Нужно думать. Паскаль хорошо сказал: нужно быть мыслящим тростником, тогда не страшны никакие бури. Они говорят о бомбе, но разум сильнее всех бомб...» Только бы поспать несколько часов, набраться сил!..»

12

Еще не было полдня, но невыносимая жара уже загнала жителей Джексона в дома. На площади, возле памятника южанам, погибшим в боях против Севера, стоял полицейский. Он обливался пòтом, но мужественно подымал руку, пропуская редкую машину, белую от пыли; тогда он казался точной копией бронзового солдата, вздымавшего длань к светлому небу. На мостовой сидел старик и, желая всучить прохожему утреннюю газету, хрипло выкрикивал: «Последняя сенсация! Красный шпион упирается...» Две негритянки ждали у остановки трамвая.

В баре «Виктория» было темно и прохладно. Бар называли оазисом: это было единственное место в городе, где знакомым клиентам подавали крепкие напитки. Говорили, что хозяин бара жертвует ежегодно крупную сумму майору Смидлу на благотворительные нужды. У стойки сидел молодой человек и пил ром с мятой. Он сказал бармену:

— Питер, если хочешь, сыграем в кости. Мне чертовски не везет. Вчера я проиграл Кеслеру три стакана рома. Говорят, если не везет в игре, везет в любви, но это глупо. Помнишь Мэг? У нее были шикарные бедра. Она спуталась с Галлупом — у него новенький «бюик», он ее возит,

в Нью-Орлеанс. Отец говорит, что я должен жениться, но это глупо. Зачем жениться, если через год война? На войне сколько угодно баб. А я не хочу, чтобы моя жена, пока я буду бить красных, путалась с Галлупом.

Он проиграл. Бармен налил два стакана.

— Почему ты думаешь, что через год война? Я весной обзавелся домом. Откровенно говоря, я не хочу воевать.

— Никто не хочет. Но ты увидишь — через год все пойдут. Это глупо, но это так. Ты читал, чтó сказал президент? Он не хватает звезд с неба, он говорит только то, что знают все. Я тебе не говорю, что я хочу воевать, я тебе говорю, что я буду воевать. Тогда зачем мне жениться? Пусть меня кокнут, но я не хочу, чтобы у меня отрезали ногу, как у Джемса, это слишком глупо.

Майор Смидл готовился к завтраку клуба «Неунывающие». Члены клуба собирались каждую среду в банкетном зале гостиницы «Пласа». Смидл должен был выступить с речью; он волновался — среди членов клуба были виднейшие люди города: экспортеры хлопка, крупные коммерсанты, владелец газеты, директор банка, судья Гильмор. А у Смидла болела голова: вчера он был на «парти», они много пили. Ночью, когда все расходились, в машине Смидла оказалась жена доктора Хеллица, Рита, женщина лет тридцати, считавшаяся самой красивой и самой неприступной дамой Джексона. Она была пьяна и все время, смеясь, взвизгивала. Смидл свернул с шоссе, погасил фары и обнял Риту. Она еще громче взвизгнула. Он сказал: «Без шума, это — первое условие». Тогда она притихла. Домой он вернулся усталый; не удалось выспаться. Даже холодный душ его не оживил; он пил содовую воду и хватался за голову — боль не утихала.

Он пришел, однако, во-время и сел за почетный стол — на трибуне. Рядом сидели экспортер хлопка и владелец газеты. Остальные завтракали за маленькими столиками внизу. У каждого члена клуба на груди красовалась бирка с указанием, владельцем какой фирмы он является. Это было, пожалуй, не нужным — все хорошо знали друг друга, но жители Джексона любили традиции. Зал украшали изображения огромной улыбающейся

луны — таков был герб «Неунывающих». После того как все расселись, Смидл ударил по столу деревянным молотком:

— Дорогие неунывающие, я предлагаю принять в члены клуба доктора Хеллица. Мы его знаем, как никогда не унывающего эскулапа. Он хороший парень и настоящий американец. Я смогу поклясться, что он пройдет ночью десять миль, чтобы спасти пациента. Этого мало, скажете вы. Хорошо, я продолжу список его заслуг: он никогда не лечил ни одного черного. Мало? Продолжим. Он не будет лечить красных, напротив, он поможет нам отправить побольше обезьян на тот свет.

Раздался дружный гогот; некоторые зааплодировали. Смидл продолжал:

— Итак, мы принимаем в среду «Неунывающих» доктора Хеллица. Новобранец, встаньте, поклонитесь неунывающим и скажите: какое имя вы хотите носить в нашем клубе?

Доктор Хеллиц, лысый, щуплый человек лет пятидесяти, громко выкрикнул:

— Ураган.

Все принялись за еду. Речи полагалось произносить после закуски, до курицы, чтобы оставить время для деловых разговоров: на завтраках заключались крупные сделки. Смидл выпил стакан воды, пососал кусочек льда и сердито подумал: супруга доктора Хеллица меня, кажется, подведет, я плохо соображаю...

Он напрасно волновался — владелец газеты назвал его речь «блистательной».

— Красные хотят захватить мир, повсюду устроить рай без штанов, как у Адама с Евой. К счастью, есть на свете Америка. Великая плотина остановила красный поток. Они рассчитывали нанести удар исподтишка. Во Франции они устраивали одну забастовку за другой. Не будь нас, они захватили бы Италию. Они плетут очень хитрые интриги, меня не удивит, если выяснится, что некоторые английские министры получают деньги из Кремля...

Раздались смех, аплодисменты.

— Перейду к языку цифр. Весной прошлого года экспорт хлопка достигал сорока четырех миллионов долларов. В августе он катастрофично упал. Вы помните это

время? Экспорт едва доходил до двух миллионов. Осенью положение несколько поправилось благодаря кредитам, отпущенным Японии. Мы провели зиму в ожидании и весну в надежде, как надлежит добрым христианам. Теперь положение изменилось. Мы можем посмеяться над красными. После того как конгресс принял план Маршалла, хлопок вновь взошел на престол. Белые хлопья становятся золотом. Мы можем порой осуждать нерешительность президента, колебания федерального правительства. Все же наша демократическая партия начинает обретать потерянные традиции. Времена Рузвельта не возвратятся...

Почти все зааплодировали.

— С тех пор, как президент заявил о необходимости всеобщей военной подготовки, дела оживились. Мы приближаемся снова к благоденствию. Что из этого следует, дорогие друзья? Красные нас хотели разорить. Для этого они устроили переворот в Чехословакии, поддерживали греческих мятежников, двинули банды против законного китайского правительства. Но они нас не разорили, напротив, они нас поддержали. Мы оправдали наше гордое наименование: мы не унывали и в те дни, когда европейские вороны каркали: «Кризис!» Они нас испугали ровно настолько, насколько нам было нужно. Теперь мы вооружаемся и вооружаем других, мы будем одевать солдат, снабжать их оружием, провиантом. Мы идем к развязке, с каждым шагом богатея. Нас ведет всевышний и радостная луна нашего любимого Юга.

Смидл вытер салфеткой лоб и сел, а в зале еще долго не смолкали аплодисменты, возгласы, смех удовлетворения.

Смидл возвращался домой в чудесном настроении; он даже подумал: когда будет снова «парти», нужно посмотреть, чтобы в машину не проскользнула другая бабенка, для нашего города Рита — это рекорд.

Его ожидало письмо от сенатора Лоу. Рассказав о положении в Вашингтоне, о подготовке к предвыборной кампании, о чудачествах «диких» демократов, сенатор переходил к сути:

«Я слежу за нашими газетами и всегда с удовольствием читаю ваши статьи. Но не думайте, что только

блеск вашего пера заставляет меня обратиться к вам с просьбой поехать в Германию от «Трансока». Вы, конечно, знаете, что положение в Берлине с каждым днем обостряется, это в полном смысле слова театр военных действий. Мы должны послать туда умных и энергичных людей. Вы провели полтора года в Германии, знаете немцев, главное, вы — настоящий американец, умеете быстро принимать решения. Я говорил полковнику Робертсу о вашей деятельности на Юге, и он горячо поддерживает мою идею. Постарайтесь поскорее закончить дела в Джексоне и приезжайте. Я расскажу вам то, о чем писать не вполне удобно».

Смидл торжествовал: он выходит на большую дорогу. Он подошел к зеркалу, поправил галстук, улыбнулся: госпожа Хеллиц, вам придется подыскать другого партнера, причем я вам советую не привередничать — второго Смидла вы все равно не найдете... Потом он вспомнил, что нужно готовиться к отъезду, и стал разбирать письма.

Электрический вентилятор чуть приподымал седые волосы адвоката Кларка. Он только что вернулся из тюрьмы. Пекло, настоящее пекло!.. К тому же разговор с подзащитным его утомил. Еще раз он попытался убедить упрямого негра. Это просто, как дважды два четыре,— Дэвид Гаррисон должен сознаться. Есть только один шанс спасти его жизнь — свести дело к вульгарному ограблению. Конечно, это нелегко — прокурор говорит о покушении на жизнь госпожи Нивель. Смидл публично заявил: «Я не хочу обвинять всех негров, среди них есть честные люди, но многие цветные после войны распустились. Достаточно напомнить о покушении на дочь сенатора Лоу. Нужно обуздать кучку выродков, сочетающих черную кожу с красными идеями». Версия о покушении, таким образом, поддерживается влиятельными людьми. Судья — неплохой человек, но тряпка, он не посмеет выступить против Смидла. Я сказал этому негру: «Признайтесь, что вы хотели стащить кольцо или брошку». А он разыгрывает мелодраму: «Я не запятнаю честь черного!» Может быть, это и хорошо для театра в Нью-Йорке, но в Джексоне за это сажают на стул. Конечно, он невинен, но как его спасти, если он упирается? Я понимаю, что ему нелегко

выдать себя за воришку. Но почему он не хочет понять, что мы живем в Миссисипи? Нельзя искать правду там, где ее нет... Вентилятор не помогает, сегодня особенно жарко. Прежде я лучше выносил жару. Ничего не поделаешь — старею...

В кабинет вошла жена. Он поглядел на нее и сразу понял: что-то приключилось. Он привык к скверным сюрпризам: то приносят анонимное письмо с бранью, то жена рассказывает, что на двери дома написали: «Смерть приятелю черных!», то приходит заплаканная кухарка — ей сказали, что красным не хотят продавать.

— Что случилось, Анна?

— Я не хотела тебе говорить, у тебя и без того достаточно волнений. Но девочка сходит с ума... Люис написал, что между ними все кончено.

Неделю назад скрепя сердце Кларк согласился на помолвку Беллы. Люис ему не нравился: бездельник. Теперь он швыряет деньгами, но кто поручится, что так будет всегда? Хлопок — это лотерея, разный урожай — разные цены. А трудиться он не способен. Его убедила Анна: «Пойми — они любят друг друга». Она сказала: «Помнишь, как отец тебя выгнал из дому?» Он уступил. И вот теперь этот шелопай бросает Беллу...

— Я ничего не понимаю, Анна.

— Белла мне показала письмо. Люис пишет, что он в отчаянии. Его заставили... Отец ему сказал, он приводит точно его слова: «Я тебя выгоню из дому, если ты посмеешь жениться на дочке красного». У него нет характера, это еще мальчик... Я боюсь за Беллу, она заперлась, не отвечает...

Кларк вдруг приподнялся, сказал:

— Я знаю этих мальчиков. Завтра он будет писать не письма Белле, а пакостные статьи. Ты увидишь — он еще напишет что-нибудь на нашей двери. Мне страшно, Анна... Страшно за Америку.

Смеркалось, когда в тюрьме Джексона приключилось нечто неслыханное. Конечно, у негра были сообщники, но они действовали осторожно, никто не узнал, откуда Дэвид Гаррисон раздобыл шелковый шнур. Подойдя к волчку, тюремщик вскрикнул. Десять минут спустя вся тюрьма знала, что негр, который хотел задушить дочь сенатора,

повесился. Вбежав в камеру, начальник тюрьмы выругался: «Убийца!» Двенадцать лет он занимал свой пост, и ни разу не приключалось такого безобразия, не было ни бунтов, ни побегов, тюрьма слыла образцовой. Выпадали, конечно, горячие дни, когда куклуксклановцы врывались в тюрьму и вытаскивали негра. Но тогда начальник бывал спокоен: не все ли равно, сожгут преступника или посадят на стул? А этот негодяй перехитрил всех — убежал, и так убежал, что нельзя поймать. Начальнику казалось, что негр, высунув язык, издевается: «Эх ты, простофиля!»

Судья Гильмор позвонил майору Смидлу:

— Может быть, вы напишете сенатору... Кошмар, настоящий кошмар! Помните негра, которого вы задержали? Ужасная неприятность — этот негодяй повесился. Где он только раздобыл шнур? Не могу притти в себя... Что скажет сенатор?

— Вы спрашиваете, что он скажет? Я не хотел бы при этом присутствовать. Не понимаю, как вы прозевали... Это — дело государственной важности,— черные распустились, процесс мог бы их обуздать. А теперь...

— Я сам ужасно расстроен. Я вас прошу передать сенатору мои соболезнования. Мы постараемся найти сообщников...

— Стоп! Вы знаете, кто ему дал шнур? Кларк, ручаюсь. С ним слишком долго церемонились. После его выступления в Чикаго надо было сразу принять меры...

— Вы меня надоумили. Конечно, Кларк. Начальник тюрьмы говорит, что он приходил к негру за два часа до происшествия. Сейчас же позвоню прокурору...

У судьи была прислуга, молодая веселая негритянка. Она прекрасно готовила, и, когда судья бывал в настроении, он ей говорил: «Помойся. Я сегодня добренький». Закончив неприятный разговор с майором, судья увидел, что негритянка плачет. У него было доброе сердце, он не выносил слез.

— Чего ты ревешь?

— Жалко Дэвида.

— Дура, его нечего жалеть! Его хотели посадить на стул, а он выкрутился. Ты знаешь, сколько мучился Джон-

сон на стуле? Восемь минут. А этот мошенник отпихнул табуретку — и был таков. Лучше пожалей меня, у меня теперь будут большие неприятности. Сенатор никогда мне этого не простит.

Дженни сидела неподвижно. Кругом валялись блузки — розовые, голубые, зеленые. Она сжимала в руке записку:

«Моя любовь, мое счастье, прости! Они не хотят, чтобы я жил. Я не убийца, я ничего не украл, но я негр. Русский полковник мне пожал руку, я сейчас целую ее. Зеленая звезда тебя не обманула. Дженни, уезжай на Север, ты мне сказала, что у тебя есть деньги на билет. Я тебе не скажу — будь счастливой, но я тебя умоляю — будь гордой, прости им только тогда, когда они будут валяться у тебя в ногах. Дженни, остались минуты, я с тобой, как в нашем лесу — твои губы, твои руки, наша радость. Я тебя люблю, Дженни, это говорит человек, которому незачем лгать ни другим, ни себе. Люблю, целую, молю — прости!

Дэвид Гаррисон».

Часы пробили полночь. Спал майор. Уснула заплаканная дочь адвоката. Прошел в каморку служанки судья. Дженни сидела неподвижно. Она глядела на яркую лампочку. Перед ней был Дэвид, и она не могла понять, что Дэвида нет.

В баре «Виктория» было людно. Полуночники пили виски, смеялись. Молодой человек говорил бармену:

— Слушай, Питер, я сегодня много пил, но я еще могу выпить. Сыграем в кости. Мне не везет, это глупо, но это так.

13

Мэри захотела ехать на «Куин Элизабет» — они должны отдохнуть перед Парижем. Нивель не возражал — конечно, самолетом скорее, но у них много багажа, да и спешить некуда. Возвращение на родину его пугало.

Последние недели прошли в суете, в сборах; все же он не раз задумывался — хотел представить себе Францию. Кого из прежних друзей он встретит? Где они поселятся? Сохранился ли домик в Мэдоне, где он написал свои лучшие стихи?

Дел в Нью-Йорке было много. За три дня до отъезда Нивель, наконец, договорился с Костером. Сенатор колебался, говорил то о Варшаве, то о Будапеште; на Праге настоял Нивель — чехи хорошо помнят Запад, после февральского переворота там неспокойно, да и самое слово «Прага» звучит для американского читателя — страна как-никак цивилизованная. Лоу раскошелился, и Билл, для вида поворчав, согласился. Чтобы закрепить дружбу между Костером и «Трансоком», Нивель пригласил Билла с женой во французский ресторан на Третьей Авеню.

Мэри два часа занималась туалетом; особенно долго она трудилась над своими длинными, но белесыми ресницами. Когда она вышла к Нивелю в сиреневом платье с большим декольте, он не выдержал, отвернулся. До чего она безвкусна! Ведьма, да еще с ярмарки...

Мэри казалась особенно уродливой рядом с женой Костера. Виктория слыла одной из самых красивых женщин Нью-Йорка; она умела полуулыбаться и так прищуривать зеленые глаза, что мужчины с завистью думали: «Ну и везет этому Биллу!..» Одета она была в длинное черное платье, на шее стальное ожерелье извивалось и слегка позванивало. Она объяснила Нивелю: «Это работа известного скульптора — гремучая змея плачет». Костер усмехнулся: «Восемьсот долларов. Так что плакать должен я. Понятно?»

Нивель выбрал один из лучших ресторанов Нью-Йорка; здесь можно получить настоящий страсбургский паштет и такое бургундское, какого не найдешь даже в Париже. За соседним столиком сидели актеры; среди них был мулат. Нивель забеспокоился: не стеснит ли это Костера?

— Здесь неплохая кухня, но, как видите, публика разношерстная...

Костер добродушно засмеялся:

— А мне этот чумазый не мешает. Он даже придает колорит. Я, например, верю, что это — замечательное вино. Я ведь мало понимаю в тонкостях, но раз говорят,

что самое лучшее вино французское, значит это так, а раз здесь негр, значит мы с вами в Париже.

Нивель старался развлечь супругу Костера: вспомнив пейзажи Утрилло, он заговорил о живописи. Виктория улыбнулась:

— Утрилло я выкинула. Устарело. Потом в этом любовании грязными уличками привкус мещанства. Сальвадор Дали куда интереснее. Я вообще думаю, что будущее за сюрреалистами.

Вмешался Костер все с тем же добродушным, но грубоватым смехом:

— Сюрреалистов мы уже купили. Три штуки. Причем сюрреалисты любят реальность, а именно, чековую книжку. Этот Сальвадор влетел в восемь тысяч долларов.

Виктория чуть прищурила глаза:

— Билл притворяется, что не любит искусства, на самом деле он превосходно разбирается... Он мне рассказал, что вы пишете очень оригинальные стихи. Жалко, что я не владею французским языком... Вы тоже сюрреалист, не правда ли?

— Нет, я скорее дикий.

— Как Матисс? Я безумно увлекалась Матиссом. Но вы не находите, что это немного устарело? Вчера у нас ужинал Кэйль. Он доказывает, что и сюрреалисты устарели, на смену идет абстрактное искусство. Может быть, он прав. Мне нравится, когда на картине ничего не изображено. Кэйль говорит, что некоторые поэты пишут абстрактно — у них звуки, но нет слов. Кто знает, не восторжествует ли абстрактное искусство?

— Боюсь, что восторжествует,— проворчал Билл, отрываясь от лангуста.— Это значит, что Сальвадора за восемь тысяч мы отправим в кладовку и купим картину, на которой ровно ничего не изображено. А такая штуковина должна стоить не менее шестнадцати тысяч, потому что, если они живут абстракцией, значит и дерут вдвое.

— Билл, ты сегодня несносен.

Виктория смягчила упрек загадочной полуулыбкой. Один из актеров, сидевших за соседним столиком, вздохнул:

— Посмотри, какая красотка!

Приятель ответил:

— Я ее знаю. Можешь не заглядываться. Костер за одну неделю зарабатывает больше, чем ты за год.

Нивель подумал: она, кажется, еще глупее, чем Мэри. Все-таки хорошо, что я возвращаюсь во Францию. Я помню простых парижских потаскух. Право же, они не только умнее, они привлекательнее этой дуры. Наверно, если ее обнять, она скажет: «А вы не думаете, что это немного устарело?» Счастье, что я уезжаю из Америки!

Он обратился к Костеру:

— В Праге теперь интересно — положение напряженное.

— По-моему, скучища. Скажем, что у них было, как в Париже, а теперь они устраивают, как в Москве. Что же тут интересного? Я, слава богу, был и в Москве и в Париже. Вот если бы меня схватили и устроили процесс, это было бы интересно. Побоятся. Разве что вышлют, а это тоже скучно.

— Не думаю, чтобы они вас выслали. Но вы сможете многое сделать. Вы говорили, что любите сильные ощущения, а это азартная игра.

— Не люблю никаких игр. В Монте-Карло люди с ума сходят, стреляются, а я там зевал, как баран на панихиде. Мне смертельно надоела политика. Конечно, красных нужно уничтожить, не то нам крышка. Но это тоже скучно. Почему я не умею писать стихи? О рыбах...

Нивель поморщился: вспомнил глупую комедию в доме Костера. Он решил поговорить с журналистом о последних событиях: как приняли республиканцы послание Трумэна. Помешал газетчик. Билл развернул «Таймс»:

— Посмотрим, что говорит этот шпион...

Он сидел рядом с Мэри. Она машинально заглянула в газету и вскрикнула:

— Повесился!

Билл, желая быть любезным, начал читать вслух телеграмму из Джексона. Он не видел, что Мэри плачет. Ее ресницы полиняли, и черные желобки прошли по густо напудренным щекам. Нивель шептал:

— Перестань! На тебя смотрят!..

Мэри, однако, продолжала плакать. Костер поглядел на нее и удивленно спросил:

— Что это с вами?

Она молчала. Ответил Нивель:

— Мэри все последнее время нервничает... А этот негр был арестован в доме ее отца.

— Вам обидно, что его не посадили на стул? — спросил Костер.

Мэри не выдержала, истерически всхлипнула. Нивель попытался ее успокоить, но она выкрикнула:

— Он ни в чем не виноват, я им говорила!.. Из него мог выйти большой художник!

Виктория улыбнулась:

— Вы правы, среди негров очень много одаренных.

Мэри теперь плакала навзрыд. Нивель вышел из себя:

—Перестань! Глупо в ресторане закатывать истерику.

— А я вас понимаю,— сказал Костер, обращаясь к Мэри.— Вам его жалко, вот и все. Я помню, как в Москве я увидел раненых. Конечно, я знал, что это красные, но я вас уверяю, мне их стало жалко. Все-таки мы люди, а не абстракция. Почему не пожалеть такого негра? Может быть, он действительно ни в чем не виноват. А если он и хотел ограбить сенатора? Он ведь повесился — значит мы с ним квиты. Вот красных я больше не пожалею. Вы только посмотрите: этот негодяй валяет дурака. Хотел взорвать заводы, а послушать его — агнец... Они все такие. Я их видел в сорок первом. Если их не перебить, они нас перебьют. Понятно?

Он начал читать отчет о деле Минаева. Мэри, воспользовавшись тем, что о ней забыли, убежала в уборную. Костер отложил газету:

— Я писал сто раз, что они собираются на нас напасть, но, откровенно говоря, я в это не очень-то верил. Оказывается, правда. Чорт знает что! Значит, через год или два нам крышка. Если мы не налетим, они налетят. Понятно?

— По-вашему, у них есть бомба? — спросил Нивель.

— Конечно. Говорят, что у нас больше. Может быть. Не знаю, не считал. Но чтобы подохнуть, не нужно ста бомб, достаточно одной.

Они пили кофе, коньяк. Мэри вернулась, спокойная, с черными ресницами. Виктория говорила о «чувстве ритма», Нивель вежливо слушал. Костер курил сигару и улыбался.

— Что тебя смешит, мой друг? — спросила его Виктория.

— Ничего. Я стараюсь улыбаться абстрактно...

Он выпил еще коньяку и вдруг рассмеялся:

— Я ни разу не испытал, что такое атомная бомба. Это, наверно, сильная музыка, еще почище стихов. Пожалуй, пора спать.

Мэри сказала, что хочет немного подышать: у нее болит голова. Как только Костеры уехали, она остановила такси и сказала мужу:

— Милый, я хочу немного развлечься. Я звонила Аньес, она с мужем в «Сосайти». Спокойной ночи!

Она поехала не в «Сосайти», а к художнику-сюрреалисту. Он не удивился, поставил на стол бутылку джина. Они молча пили. Потом Мэри сказала:

— Говорят, что сюрреалистов забивают абстрактники.

— Не знаю. У меня никто ничего не покупал уже полгода.

— А тебе нравится Сальвадор Дали?

— Дешевка. Я уже полгода ничего не делаю, все опротивело.

— Кто же, по-твоему, лучше? Абстрактники?

— Рафаэль. И пятьсот долларов в месяц. Точка. Я посмотрел на свою выставку — дешевка. Нужно работать иначе.

— Как?

— Не знаю. Может быть, через год пойму. А если не пойму, выпью за твое здоровье. Точка.

— Говорят, что через год налетят красные.

— Может быть. Лучше бомба, чем это свинство.

— Ты что, за красных?

— Не знаю. Чего это ты так разрядилась? Надеюсь, не для меня — подметать шлейфом прошлогодние окурки...

— Я обедала с Костерами. Тоже свинство. Но погоди, неужели тебе нравится живопись красных?

— Нет, дешевка.

— Сальвадор Дали лучше?

— Нет. Я тебе сказал, кто лучше: Рафаэль. Но ты знаешь, сколько прошло времени от того, когда проживала Мария, до того, как Рафаэль ее изобразил? Тысяча

пятьсот лет. А ты сама сказала, что через год нас расквасят. Зачем же я должен ломать голову? Точка.

— Ты знаешь, почему я к тебе приехала?

— Догадываюсь, но хочу быть вежливым даже после джина.

— Вот и не угадал. Два часа назад я хотела повеситься. Вышла гадость... Я влюбилась в негра. Кстати, он был большим художником. Лучше, чем ты. Я его затащила к себе, а они его накрыли. Это у отца, в Миссисипи. Можешь себе представить? Одним словом, он повесился.

Художник вдруг рассмеялся:

— Ты собиралась повеситься, а повесился он? Я тебе говорю: свинство, настоящее свинство! Здесь живет один парень. Он не пишет картин, он служит в банке. Утром он говорит: «Чудесная погода». А я ему отвечаю: «Свинство». Конечно, я не Рафаэль, я делаю дешевку, но все-таки я художник. Через год и этот парень поймет, что у нас не погода, а свинство. Весь вопрос: до бомбы или после? Завидую твоему негру. Точка.

Мэри вернулась домой утром с пустой головой; смутно думала: как будто я была тяжело больна и выздоровела. Художник — милый. Конечно, здесь он не выкарабкается, ему нужно в Париж. А в Париж еду я. Все очень глупо устроено... Может быть, Кэйль прав — лучше, когда ничего не изображено,— смотришь и ни о чем не думаешь... Но художник говорит, что нужно думать. Все ругают красных, а он нет. Почему? Он говорит, что у нас свинство. Наверно, он прав. Почему они убили Дэвида? Разве это не свинство? Нужно послать адвокату деньги. Дэвид ничего не говорил, но я убеждена, что у него была любовница или невеста. Поэтому он не хотел уехать. Пошлю побольше, адвокат ей даст. Все-таки это с моей стороны свинство. Хорошо, что я уезжаю. В Париже можно ни о чем не думать. Сяду на террасе кафе, буду смотреть: идут, смеются, целуются...

Днем приехал сенатор: хотел проводить дочь. Он долго разговаривал с Нивелем о политике. Мэри не слушала. Он засмеялся:

— Тебе скучно с нами? Но я тебе скажу откровенно, положение такое, что я не знаю, на сколько мы расстаемся. Робертс говорит, что красные готовятся во-всю. Доста-

точно почитать, что́ нашли у этого шпиона... Может быть, скоро начнется война.

Мэри вспомнила, как в Женеву привезли раненых. У одного была забинтованная голова. Ей сказали: «А лица нет, ни глаз, ни носа». Ужас! Неужели снова война?.. Она обняла отца и по-детски сказала:

— Я не хочу войны. Слышишь?

Сенатор умилился:

— Вот вам простая американская женщина!.. Успокойся, детка, мы им не позволим!.. Видишь, как я выгляжу? Четыре ночных заседания. В случае чего вы должны сейчас же вылететь. Поедете домой, в Миссисипи. Что станет с Европой, я не знаю, но в Америку мы войну не пустим.

14

Оля хорошо знала, что Минаев балагурит, когда у него кошки скребут на сердце. Прокурор Моррэй этого не знал, и поведение арестованного его ошеломило. Прочитав предъявленный ему документ, Минаев рассмеялся:

— Нельзя преуспевать во всем. Я говорил вашему портному, что вы хорошо прокладываете дороги. Но есть у вас и слабые стороны...

— При чем тут дороги? — спросил прокурор.

— Абсолютно ни при чем. Но портные при чем — они работают замечательно. Вы только подумайте — унес пиджак, чтобы пришить одну пуговку, а пришил целое сочинение. Такому артисту ваши полицейские могут поставить памятник.

— Я попрошу вас переменить тон и говорить по существу этой инструкции.

— Я уже сказал — нельзя преуспевать во всем, портные у вас работают лучше, чем литераторы. Я не стану говорить о содержании этого документа. Действительно, если я вам скажу, что мы заняты восстановлением заводов в Сталинграде, а не уничтожением заводов в Теннесси, вы не поверите — в Сталинграде вы, вероятно, не были, а ежедневно читаете «Таймс» или «Геральд». Но я осмелюсь обратить ваше внимание на форму лежащего перед вами произведения. Автор пишет, что мне на подмогу

прибудет «политический комиссар Быков». Быков, конечно,— фамилия распространенная, но политических комиссаров у нас давно нет. Если этот курьез кажется вам неубедительным, я попрошу вас заглянуть в последний абзац. Русский текст гласит: «Донесение направить дивизионному генералу Пучковскому». Я так и не знаю, кому я должен доложить о несостоявшемся взрыве,— дивизионных генералов у нас тоже нет.

— Меня интересуют не звания в вашей армии, а то, чем вы занимались в Соединенных Штатах,— сказал прокурор.

— Я готов удовлетворить вашу любознательность. Я пробыл в вашей стране ровно четыре месяца как юрисконсульт торгового представительства. Мы заключили два договора, один расторгли ввиду невыполнения фирмой заказа. Помимо работы, я продолжал изучать английский язык, но, как вы могли убедиться, еще далек от совершенства. Иногда ходил в кино. Имел глупость заказать костюм.

— Я вас должен остановить, господин Минаев. Вы задержаны с поличным. Если вы действительно юрист, вы можете понять, что́ вас ожидает. Сейчас не время для шуток.

— Я с вами согласен, это не шутки, это очень печальная история. Она печальна для меня — я не люблю сидеть взаперти. Она печальна и для ваших соотечественников — можно быть марксистом, или прагматистом, или баптистом, но нельзя быть мошенником...

В начале беседы прокурор иронически улыбался, постукивал карандашом по столу; теперь он потерял терпение; даже его шея побагровела и набухла, сдавленная тесным воротничком:

— Я вам запрещаю оскорблять нацию, на территории которой вы находитесь!

— Я никого не хочу оскорблять. Я действительно юрист, и я понимаю, в какое неловкое положение вас ставят эти... портные. Они обязательно хотят натравить американцев на нас... Я не знаю, что вы делали в годы войны, а я был у Сталинграда. Помню, как я встретил первого американца — в апреле сорок пятого. Мы освободили лагерь военнопленных. Он обнимал меня, смеялся: «Здорово,

что вы пришли!..» Разве тогда я мог подумать, что американцы меня посадят в тюрьму? Дело, конечно, не во мне. Я маленький человек. Но неужели вы не понимаете, зачем они подкидывают такие бумажонки? Мне могут не нравиться ваши порядки, вам — наши, но ведь бомбы бьют не по порядкам — по детям...

Прокурор, возмущенный, его прервал:

— Здесь не митинг. Вы можете быть счастливы, что вы в Америке. У нас действительно передовое судопроизводство, и эти ваши слова не будут запротоколированы. Но я вам советую хорошенько подумать до того, как я передам ваше дело в суд.

Очередную статью Билл Костер начал так: «Советский шпион паясничает или агитирует, но мы ему покажем, что наша страна не балаган и не подмостки для ярмарочного шарлатана. Трико арлекина и тогу красного Цицерона ему придется сменить на полосатый халат каторжника».

В камере Минаев почувствовал, до чего он устал. Три недели назад мамуля и Оля его поздравили с тридцатилетием; а полицейский, который его задержал, рассказывал: «Ему лет за сорок, седой, но лицо молодое, симпатичный, даже не скажешь, что красный...»

Минаев вдруг улыбнулся и как-то сразу помолодел. Мамуля смеялась, что я люблю пофрантить, говорила: «Хоть дурень, да фигурен». Ну зачем мне понадобился синий костюм? Не мог проходить в сереньком? Вот и результаты... Прокурор подозрителен на апоплексию. Как бы его не хватил удар... Скажут, что красный прикончил... Представляю себе, что они сейчас пишут! В общем препротивная история. Ясно, что это смастерили не дилетанты. Значит, те, кто за войну, берут у них верх. Не могу понять — в делах они соображают, продукция хорошая, вообще голова есть, а чуть что выше — полный туман. Что, они о Гитлере забыли? Недоросли, право же! Мамуля в последнем письме писала: «Читаю газеты и все думаю: как им не стыдно? Давид Григорьевич до самой смерти не мог забыть Гришу, а эти воевать надумали...» Страшно за мамулю, растревожится: ее Митенька — и вдруг в тюрьме. А ей шестьдесят девять. Оля писала — врач сказал: «Главное — спокойствие». Сказать легко,

только спокойствие теперь дефицитный товар. Интересно, что сейчас Оленька делает? В Москве два часа ночи. Спит, подложила руку под щеку... Будильник поставила на семь. Увидеть бы, как проснется! Когда она заспанная, у нее личико особенно милое, как будто не может понять, что за чудеса на свете. В восемь пойдет в институт. На Гоголевском бульваре весело, мамаши с выводками, студенты, а девчонки фыркают. Вот здесь почему-то не фыркают. Может быть, не принято?.. Ох, как далеко до Москвы! Летишь — земля, облака, океан, кажется жизнь перелетаешь. Плохо, что нельзя написать Оленьке, она узнает и забеспокоится. Зря, ничего они со мной не поделают. Но неужели они надумали воевать?.. Возле того курганчика, где мы сидели с Осипом, отстроили МТС. Удивительно!.. И трава там, и детишки... Они здесь помешались на бомбе, честное слово! Конечно, если нападут, мы выстоим, обидно только: строишь, строишь — и к чорту... Сенатор говорил: «Наши дизели лучше... наши элеваторы лучше... наши пылесосы лучше...» А он сам — дурак и мошенник... Я спросил одного инженера, хочется ли ему повидать Европу, он ответил: «У меня нет времени, чтобы мечтать, я делаю доллары». Если человек привык думать, ему здесь трудно. Расскажу — наши не поймут, кто-нибудь обязательно выскочит: «Погоди, форды-то у них хорошие»... Этого не расскажешь, нужно пережить, пройти по длиннющей улице между небоскребов — толчея, грохот, крики, гудки — и ни души, торичеллиева пустота... Когда меня посылали, Грибачевский завидовал: «Исключительно интересно». В преисподней еще интересней, сковородки, правда, там примитивные, зато этому сенатору далеко до Вельзевула... Могли, кстати, послать Грибачевского, язык не знает... Почему я сел за английский? Китс, Шелли, Байрон. Скажите, пожалуйста, не мог обойтись переводами!.. Чем только я не увлекался? Удивляюсь, что не изучал португальских поэтов и не разводил кактусов! Теперь мне тридцать, возраст солидный, образование, кажется, есть, профессия тоже, а мне вот хочется писать и не что-нибудь — роман. Наверно ничего не выйдет, но чертовски хочется... Мамуля говорит: «Ты у меня ветрогон». Оленька как-то обиделась: «Неправда, вовсе он не ветреный». Но у Оленьки свои резоны...

Минаев снова улыбнулся. Он больше ни о чем не думал, он был с Олей, и глубокое счастье переполняло его душу.

Пять лет прошло с того дня, когда на крутом берегу Десны насмешливый капитан испугал своим признанием робкую связистку; а им казалось, что они только вчера встретились, не успели всласть поговорить, насмотреться друг на друга, нацеловаться. Оля похорошела, и Минаеву иногда говорили: «Она у тебя красавица». (Он радовался и в то же время огорчался, как будто у него хотели отобрать его открытие.) Оля, однако, сохраняла детское выражение изумления, которое иные принимали за растерянность или страх. Минаев посмеивался: «Ты все не можешь привыкнуть, что живешь». Как-то он ей сказал: «Я тоже не могу привыкнуть — как это мы нашли друг друга? Лицо только у меня неподходящее, я тоже удивляюсь, а кажется, будто иронизирую».

Любовь к Оле помогла ему войти в будни мира; это было нелегко — после жизни в тесном соседстве со смертью, после приподнятости, боевой дружбы нужно было сесть за международное право, сдавать экзамены, сталкиваться с равнодушием, выслушивать ссоры соседей по квартире. Минаев усмехался: «Когда я был маленький, меня учили, это было просто, а теперь меня приручают. Может быть, мы с тобой, Оля, на том курганчике вправду одичали?..» Осип писал редко и скупо, он все еще был в Германии. Однажды пришла телеграмма от Леонидзе: поздравлял с Октябрьскими праздниками, приглашал в Тбилиси. Вдова Терешковича разыскала Минаева, просила рассказать, при каких обстоятельствах погиб ее муж. Это были напоминания о том, что в течение четырех лет составляло жизнь Минаева. Не будь Оли, он замкнулся бы. Они редко говорили о прошлом, но он знал, что Оля все помнит, поймет его с полуслова.

Прошлым летом он поехал на неделю в Сталинград: хотел повидать свой курганчик. Оля осталась в Москве: сдавала экзамены. Когда он вернулся, она спросила: «Как?..» Он рассказал, что отстроили МТС, что будет хороший урожай, что ничего нельзя узнать: «То — и не то. Наверно, я зря ездил... Вот только нашел могилу Зарубина...»

Оля училась в педагогическом институте; у нее были новые интересы, новые подруги. Одна из них, Женя Железнова, как и Оля, кончала институт с запозданием — войну проработала на танковом заводе. Она вышла замуж девчонкой перед самой войной. Муж уцелел и не разлюбил, вернулся. Она как-то призналась Оле: «Я с ним очень счастлива. Только, бывает, он сидит, ни слова не скажет, это когда вспомнит фронт. Наверно, думает, что я не могу понять...» Оля неожиданно для себя сказала: «Не можешь... Но ты, Женя, не огорчайся, это сглаживается, я по себе знаю». Оля часто думала: у Мити от меня нет тайн...

Она ошибалась: никогда Минаев не говорил ей, что хочет написать книгу, не показывал густо исписанных листков, вырванных из тетрадки. Он писал без плана, отрывками, многое сразу уничтожал, десятки раз пытался описать, как сухой, скрипучий Осип под минометным огнем увидел цветочек — иван-да-марью — и не хотел показать, что растроган, и как Иван Шаповалов вспоминал свою Машеньку, и как они все верили в глубокий мир первого послевоенного дня. Почему писатели так чудно́ пишут о войне, спрашивал он себя, в раздражении закрывая книжку журнала. Может, не воевали? Или так полагается? Все как будто правда, и все не так... Конечно, Осип умел выступать с докладами, но даже Осип в сорок втором примолк. Читаешь — все произносят речи. А у Сталинграда было тихо, то есть грохот адский, но люди ругались или молчали. Разговаривать начали в сорок третьем...

Может, не браться? Ведь не писатель. Меня первый встречный критик зарежет. Они только и ждут, на кого кинуться...

Я сказал Осипу, что, может быть, когда-нибудь напишу роман ни о чем — только о людях. Но это напишут другие — при коммунизме. А мы беспокойно начали, вероятно так и кончим. Потом будут гадать: как они выдержали? Может быть, и людьми не были? Ведь один поэт говорил, что из них хорошо делать гвозди. А разве мы железные? Закричит паровоз, и вдруг такая тоска, что кажется, сердце из груди выпрыгнет... Хорошо бы показать Осипа, Зарубина, Магарадзе, Лину — именно такие

и выдержали — с печалями, с анекдотами, с ревностью, с обыкновенной сердечной чепухой.

В записной книжке, которую полицейские отобрали при аресте Минаева, было несколько коротких записей:

«Стараясь припомнить последние минуты перед атакой, майор отчетливо слышал трели жаворонка, и, пожалуй, это было самым страшным. Самсонов сказал: «Жаворонок к теплу». Потом они побежали. Самсонов вскрикнул, схватился руками за живот и упал».

«Левей бери, здесь яблонька»,— с виноватой улыбкой сказал майор. Все понимали, что деревцо не уцелеет под минометным огнем. Ростовцев долго ругался, потом сел под яблоню и успокоился: «Завтра обязательно получу письмо».

«Костя чувствовал, что от страха он не может шелохнуться. Отнялись ноги, руки, а в голове ничего не было, кроме одной мысли: не крикнуть. Два часа спустя майор его поздравлял. Он все еще не мог притти в себя. Услышав слово «медаль», он вздрогнул: «Это меня чорт пронес, товарищ майор».

«Когда майор крикнул: «Коммунисты, вперед!» — первым побежал сержант Белкин. Потом он оправдывался: «Я-то беспартийный, но он, гад, идет...»

«Очень голая у нас любовь,— сказала Вера,— если убьют, ничего, а если выживем, нужно будет что-нибудь придумать».

Прокурор Моррэй спросил Минаева, что означают эти заметки. Минаев, охотно отвечавший на все вопросы, вдруг насупился:

— Это — мое частное дело.

Прокурор насторожился: может быть, это шифр? Газеты, которые должны были каждый день давать что-нибудь новое о сенсационном деле, поспешили сообщить, что записная книжка Минаева представляет исключительный интерес для следствия. Одна из газет (редактор ее был шурином прокурора Моррэя) писала: «Вся сеть советского шпионажа под ударом. Полиция разыскивает лиц, носящих клички: «Костя», «Вера», «Самсонов».

Ночью Минаев не спал: он сочинял письмо, которое никогда не отправит, да и не напишет:

«Дорогая моя Оленька!

Ты, наверно, знаешь, что со мной случилась маленькая неприятность. По капризу судьбы, или, точнее, Федерального бюро, судьба штата Теннесси оказалась у меня в кармане. Как ты сама понимаешь, в международный обзор я попал не потому, что я гордый, а потому, что для местных щей срочно понадобился кур. Есть в этом и моя вина: четыре года я провоевал, а продеть нитку в ушко — для меня все еще рекорд ловкости. Именно поэтому я попросил одного из ревнителей американского образа жизни пришить мне пуговку. Олечка, за меня не тревожься: я с ними держусь как следует. Прокурор похож на бешеного бегемота. Я пытаюсь его приобщить к азам политграмоты, но безуспешно. Успокой мамулю, скажи ей, что я скоро вернусь и что моя дипломатическая карьера, наверно, кончится на отлетевшей пуговке.

В общем я отдыхаю. После отъезда Азабекова было очень много работы, а здесь ни телефона, ни радио, ни посетителей, сплошной мертвый час. Сижу и мечтаю: ты то смеешься, то озабоченно морщишь лоб, то удивляешься.

Я не хотел тебе говорить, но ты этого никогда не прочитаешь, значит можно сказать: я хочу написать книгу — о курганчике и вообще о жизни. Не помню, рассказывал ли я тебе об одной встрече. Это было во время боев за Орел. К Осипу приезжал майор из саперной части. Я тогда же сказал Осипу, что он похож на Пушкина. Он стоял возле разбитого танка, откинув назад голову, чуть прищурясь, а говорил вдохновенно, я не помню о чем, может быть что дорогу еще не разминировали, но действительно вдохновенно. Вот об этом я и хочу написать — о поэзии.

Милая моя любовь, мое открытие, ты и здесь со мной! Сколько мы с тобой прожили? День? Вечность? Не знаю. Знаю, что впереди много бурь, много мук, много счастья».

Тюремщик подошел к волчку, поглядел и отошел растревоженный: человек, который собирался взорвать целый город, улыбался. Почему он то и дело улыбается? — спрашивал себя тюремщик. Ему было неспокойно, он проверял сложную систему сигнализации.

А Минаев все улыбался.

15

Дуббельт предупреждал Эндерса: «Никакой огласки». Если Эндерс даст объявления в газетах или начнет раздавать листовки, это будет очередной политической демонстрацией и только. Дуббельт повторял: «У нас в Америке любят непосредственность...» Конечно, нужно привести сотню-другую легионеров, сказать, чтобы преподобный Мунд мобилизовал своих психопаток, но главное — привлечь праздношатающихся, которых в этот час более чем достаточно. Пусть все выглядит, как вспышка народного негодования.

Утром в день демонстрации Эндерс известил газеты. Он был лаконичен: «Пришлите сотрудника в шесть часов в гостиницу «Виктория». Материал исключительный...»

К шести — до того как пришли легионеры — репортеры и фотографы уже были на посту. Никто в точности не знал, что должно произойти. Эндерс в баре пил пиво. Это был высокий, плотный человек с рубцом на щеке; он все время жевал погасшую сигару. Журналистам, которые спрашивали, зачем их собрали, он многозначительно отвечал: «Скоро увидите...» Ходили разные слухи, говорили, что полиция решила накрыть владельца большой пароходной компании, который развратничает с племянницей сенатора-республиканца, что беглый чехословацкий дипломат устраивает пресс-конференцию, что в гостинице скрывается сообщник Минаева, канадец, носящий кличку «Костя».

Репортер «Нью-Йорк пост» Дженкинс, у которого были приятели в легионе, все же что-то пронюхал. Дженкинсу было наплевать на идеи, он часто говорил: «Я за одну партию — за свою собственную». Но характер у него был прескверный, ему нравилось все расстраивать — свадьбу, сделку, политическую махинацию. Он решил насолить Эндерсу и позвонил организаторам митинга; не назвавшись, он сказал: «Легионеры собираются к шести у «Виктории», так что будьте на-чеку...»

Профессор Миклей увидел в вестибюле «Виктории» кинооператоров. Он спросил лифтера, что приключилось. Лифтер полушопотом ответил: «Приехал какой-то важный

грек». Дюма профессор нашел погруженным в чтение газет.

— Они решили сорвать митинг.

Дюма кивнул головой:

— Естественно. Или вы, может быть, думали, что они будут вам аплодировать? Вы только почитайте, что они пишут: «Нужно послать дюжину летающих крепостей с атомными бомбами». Это не просто сорванец, это член конгресса. А вот смотрите: «Мы теперь можем уничтожить жизнь людей, животных и растений на любой территории». Адмирал Захариас. Хотите еще?.. «После войны мы сможем создать нечто, похожее на цивилизацию». Теперь ясно, почему они хотят уничтожить Европу. Развалины, трупы — это и есть цивилизация. Подписано: «Менкен». Выродок, а?

Миклей улыбнулся:

— Конечно. Только таких довольно много. Между прочим, он приятель профессора Хенусси.

Миклей начал рассказывать о том, как Менкен пел дифирамбы Хенусси, и вдруг спохватился:

— Мы должны выбраться заранее... Когда я пришел к вам, никого не было, кроме кинооператоров, но они решили притащить легионеров...

Дюма засуетился, сунул в карман трубку, очки, лекарство, взял палку с костяным набалдашником и, смеясь, сказал:

— Будем пробиваться из окружения.

За четверть часа картина успела измениться: холл был заполнен молодыми людьми спортивного вида; кинооператор проверял свет. Эндерс, не выпуская изо рта сигары, сказал Дюма:

— Господин профессор, а вы не ошиблись адресом?

Дюма не ответил. Эндерс дернул его за рукав:

— Я вам говорю, что вы ошиблись. Вам нужно было в Москву, а вы попали в Нью-Йорк.

Молодые люди загоготали. Кто-то крикнул: «Сатира вон из Америки!» Пожилой человек в дымчатых очках вопил: «Красный шпион! Красный шпион!» С трудом Дюма выбрался на улицу. Двести или триста человек, стоявшие перед гостиницей, заулюлюкали. Дюма сделал несколько шагов и, ошеломленный, остановился: посередине мосто-

вой на коленях стояли женщины. Одна, с отекшим мучнистым лицом, выкрикивала: «Господи, спаси Америку от красного сатира! Господи, спаси Америку!..» Дюма не выдержал:

— До этого даже нацисты не доходили... Лечить их нужно, вот что!

Легионер, стоявший рядом с женщиной, которая вопила, бросился на Дюма:

— Лягушатник, ты смеешь оскорблять американских женщин!

Он вырвал из руки Дюма палку, замахнулся ею, но ударить не успел: кто-то сбил его с ног. Началась драка. Человек, который заступился за Дюма, теперь отбивался от нескольких легионеров; лицо у него было в крови. Никто больше не обращал внимания на Дюма; профессор Миклей его вывел из толпы; они завернули за угол и остановили такси.

Гайрстон оказался в толпе случайно. Он должен был в семь часов встретиться с Бетти, чтобы вместе пойти на митинг. С утра он только и делал, что думал о предстоящей встрече. Из дому он вышел в пять и старался убить время. Увидев толпу перед гостиницей «Виктория», он начал расспрашивать, что происходит. Одного легионера он узнал: они были вместе в Касселе. Легионер объяснил, что они ждут красного шпиона. Гайрстон рассмеялся: «На фронте ты выглядел умнее. Тебе, может быть, подсыпали в мозги песку?» Легионер хотел было подраться, но вспомнил, как в Касселе Гайрстон отдубасил Джима, и промолчал.

Гайрстон ушел, купил газету, постоял у метро и снова вернулся к гостинице. Он глядел то на часы, то на истеричек, которые выли и всхлипывали. Раньше семи Бетти не придет. Противно стоять среди этого сброда... Жить все труднее. Денег нет. Работы нет. А кругом мерзость... В семь Бетти обязательно придет; она говорила, что это важный митинг. Можно ли что-нибудь изменить речами? Бетти говорит, что можно. Не знаю...

Увидев Дюма, он сразу понял: это тот «красный», о котором говорил легионер. Хорошее у него лицо,— подумал Гайрстон. Ему захотелось подойти к ученому, сказать: «Не обращайте внимания на этот сброд. Право же, здесь не вся

Америка...» Он протиснулся вперед и вдруг увидел, что один из легионеров грозит Дюма. Гайрстон его повалил. Подбежали другие. Гайрстона били по лицу; одна женщина в него плюнула. Наконец пришли полицейские.

— Что здесь происходит?

Женщина ответила:

— Это красный, он напал на инвалида.

Полицейские увели Гайрстона. Он думал об одном: Бетти ждет. Болела голова. Правый глаз закрылся. Полицейский угрюмо наставлял:

— Когда люди заняты делом, нечего постороннему соваться.

Ночью Гайрстона отпустили.

Бетти прождала до восьми. Все последнее время она думала о Гайрстоне, думала то с радостью, то с испугом, суеверно боялась его потерять. Ей казалось, что Джо ее избегает; она путалась в догадках, ревновала. Многого она ждала от этого вечера. Они пойдут после митинга по пустой, тихой улице. Она скажет: «Вы не знаете, Джо...» Он ответит: «Знаю».

Гайрстон не пришел. Бетти говорила себе: нужно опомниться, я теряю голову. Я сама ему сказала, что теперь не до чувств. Джо никогда не будет с нами: он слишком много рассуждает, а нужно бороться. Может быть, он когда-нибудь и поймет... Я не должна мечтать о счастье. Он может стать настоящим товарищем, но меня он не любит. Боже, восемь, я опоздаю на митинг!..

Когда она вошла в зал, говорил профессор Миклей:

— Какой-то негодяй напал на нашего уважаемого гостя. Тогда из толпы выбежал простой американец и защитил профессора Дюма.

Раздались крики: «Молодец!» Забыв о своих невзгодах, Бетти тоже крикнула: «Молодец!»

— Мне стыдно за Америку,— говорил Миклей.— Я люблю мою страну, ее горы и реки, города и маленькие фермы, люблю простодушие, честность, смелость простых людей Америки. Кто же выдает себя за представителей нашего народа? Кучка невежественных и свирепых людей. Неправда, народ здесь...

Огромный амфитеатр удовлетворенно засвистел, зашумел: «Правильно!»

— Я не коммунист, не прогрессист, я всегда держался в стороне от политики. Но войну я ненавижу. Что нас сегодня привело сюда? Мы не хотим воевать и не будем воевать. Мы не верим мошенникам, какие бы посты они ни занимали. Мы верим народу, его сердцу, разуму.

На трибуну поднялся негр. Он по-детски улыбался, а лицо сверкало от пота.

— Во время войны нам говорили, что мы добрые американцы, теперь нас травят, линчуют, уничтожают. В Джексоне повесился негр Дэвид Гаррисон. Они теперь ведут следствие: кто дал ему в тюрьму веревку? Почему они не спрашивают: кто его довел до петли? Сенатор Лоу говорит, что мы должны воевать за свободу! А где же рабство, если не у нас в Америке? Нам нужна не война, нам нужна справедливость...

Потом выступал пастор Макгил. Он говорил уверенно, как опытный проповедник:

— Вы знаете, сколько внимания уделяют газеты делу о взрыве в Теннесси. Люди взрослые, казалось бы, рассудительные, охвачены безумием. Никто не задумывается, могли ли русские составить столь компрометирующий их документ. Когда человека посылают взорвать завод, ему не дают длиннейшего трактата о том, у кого он должен получать деньги, с кем встретиться и кому докладывать. Я прочитал вчера в одной газете, что автор инструкции, которую нашли в пиджаке русского,— «недалекий человек». Это мягко сказано: автор этой инструкции — круглый дурак. Вряд ли это для нас лестно: инструкцию ведь составили не русские, а наши соотечественники...

Зал заревел: «Провокаторы! Негодяи!»

— Я был с армией на Эльбе, встречал русских. Это такие же люди, как мы. Конечно, у них другие идеи, но разве это резон для ужаснейшей войны? Христианин, я знаю: можно умереть за свою веру, нельзя убить другого за то, что у него иная вера. Дорогие братья и сестры, спасем не только наши города, наших детей, спасем также наши души!

Последним говорил Дюма:

— Я не книжная крыса, но я много лет просидел над книгами. Моя специальность — происхождение человека. Эволюционисты установили, что наши предки когда-то

жили на деревьях, они не умели ходить на двух ногах. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что есть прогресс, нельзя людей загнать снова на деревья. Прогресс — это не только небоскребы, лифты, автомобили... Прогресс связан с разумом, с умением думать. Сегодня я видел больных женщин, они стояли на коленях посередине улицы и молились богу, чтобы он их спас от меня. Не думайте, что их отправили в лечебницу. Нет, ведь тогда пришлось бы отправить многих. Сенаторов, адмирала Захариаса... господина Менкена. Он предлагает уничтожить все, чтобы была цивилизация. Мне семьдесят три года, я кое-что написал, сорок лет учил студентов. Теперь я вижу, как прогрессу грозят умалишенные. Неужели мало нам Гитлера? Я видал нацистов, они называли себя «сверхчеловеками», а на самом деле они напоминали тех отдаленных предков, которые жили на деревьях... Выродки хотят обмануть своих соотечественников, они, например, говорят, что французы пойдут за них воевать. Я Францию знаю: это моя страна. Французы будут воевать, только не против русских, а против войны. Помню, как нацисты в Париже служили панихиду по своим; говорили: это «европейские защитники Сталинграда». Я не хочу, чтобы через год или через пять лет в Нью-Йорке служили панихиду по американским защитникам Парижа. Как француз, как ученый, как старый человек, я хочу мира — мира для молодых, мира для всех — для американцев, для русских, для французов... настоящего мира.

Люди кинулись к Дюма, совали ему цветы, жали руку. Старый негр сказал:

— Я — простой человек, носильщик. Разрешите мне вас обнять? У меня был один сын, он не вернулся с войны...

Женщина, высоко подняв ребенка, кричала: «Я его не отдам!»

Дюма почувствовал, как человеческое тепло входит в его сердце, сжимает горло, подступает к глазам. Он обнял старого негра, пробормотал:

— Вот мы и договорились...

Утренние газеты вскользь упоминали о митинге; зато много места было уделено демонстрации перед гостиницей «Виктория»; ее называли «внушительной», «гранди-

озной», даже «невиданной». В одной из передовиц говорилось: «Политическая деятельность, которую развил здесь профессор Дюма, возмутила людей самых различных взглядов. Американцы не хотят, чтобы иностранец, злоупотребляя своим авторитетом, вмешивался в их дела».

Полковник Робертс был в прекрасном настроении, он даже шутил с дочкой, что делал очень редко. Конечно, Эндерс грубоват, но у него есть люди. Теперь последние возражения против высылки Дюма отпали: наши чистоплюи могут спрятаться за спину «человека с улицы»...

Робертс позвонил редактору «Вашингтон стар». Он хочет дать интервью в связи с делом Дюма: «Я вообще противник подобных демонстраций, они идут вразрез с нашими принципами гостеприимства. Когда г. Дюма прибыл в Нью-Йорк, я с глубоким удовлетворением прочитал благородные слова профессора Адамса, которые еще раз показали, что для американского ученого наука выше политики. Незачем говорить, что просоветские выступления г. Дюма встречают единодушное осуждение всех американцев. Я не думаю, однако, что следует предоставить возбужденной толпе разрешение вопроса о пребывании в нашей стране того или иного иностранца».

Первые выпуски вечерних газет сообщили, что ввиду накалившейся обстановки профессору Дюма предложено покинуть Соединенные Штаты.

Когда Дюма выходил из гостиницы, ему дали письмо:

«Дорогой господин Дюма!

Мне только что сообщили о Вашем отъезде. Я очень опечален, что болезнь не позволяет мне Вас проводить. Еще более огорчают меня обстоятельства, ускорившие Ваш отъезд из Америки. Верьте мне, я бессилен что-либо изменить. Мы живем в трудное время, иногда мне кажется, что человечество, достигнув в научной области невиданных успехов, одновременно утратило простой здравый смысл. Я надеюсь, что мы с Вами снова встретимся при лучших обстоятельствах, когда улягутся мелкие политические страсти.

Прошу Вас верить в мое глубочайшее уважение и преданность.

Д. Адамс».

Дюма скомкал листок: «Трус!» И тотчас спохватился: напрасно я его ругаю. Толковый краниолог, в черепах разбирается, а все остальное ему кажется чем-то низменным. Мало ли я встречал таких в Париже? Испугался, тоже можно понять — нравы здесь дикие. Совесть у него все-таки побаливает. Это не Хенусси, такой может опомниться...

На аэродроме Дюма провожали профессор Миклей, скорняк и Бетти, которая принесла темнокрасные розы. Скорняк сказал:

— Мы вам так благодарны! Вы даже не представляете, что вы сделали вашим приездом...

Миклей поддержал:

— Ваша высылка — победа. Они испугались после митинга. Вы знаете, сколько позавчера было народу? Двадцать тысяч. Теперь мы устроим собрание в Бостоне, в Чикаго, в Сан-Франциско. Вы нас всколыхнули...

В оконце самолета Дюма видел: молодая смуглая женщина, скорняк, Миклей с его растерянной доброй улыбкой. А кругом много чужих — веселых, шумливых. Дюма вдруг стало жалко этих троих: до чего им трудно!.. Митинг, правда, был хороший. Они довольны, что собрали двадцать тысяч. Но сколько людей в этом страшном городе?.. Конечно, народ и здесь, только когда он проснется?.. Почему-то вспомнилась Анна. Приходила, говорила об одиночестве. Ее замучили гестаповцы... Жалко даже этих — улыбающихся. Они улыбаются и то деловито, как будто рекламируют зубную пасту. Сколько им еще толкаться, мучиться, прежде чем они станут людьми? Жалко Америку... Такая большая, такая богатая и такая неразумная...

Розы на длинных стеблях раскрывались, чернели, опадали.

Самолет поднялся очень высоко. Внизу были облака, пышные, вздутые, то теплые розовые, то бледносиреневые, как умирающий снег. Облака казались землей, невиданным пейзажем, чужой планетой. Глядя на них, Дюма забывал Нью-Йорк, улыбку Миклея, истеричек, митинг, небоскребы. Он уже не был в Америке и еще не чувствовал возвращения домой: он был где-то вне жизни, живой, полный нежности, печали, скрытого душевного

веселья. Он видел быстро сменяющиеся картины прошлого, век его молодости, девушку в соломенной шляпке, похожей на капор, бородатых профессоров, бумажные фонарики карнавала, первый велосипед, молодого Жореса на трибуне, дрейфусаров, Золя... Как быстро меняется внешность — моды, словечки, быт! А если вспомнить мечты, клятвы, веру,— ни смешного нет, ни мертвого. Я хочу найти ошибку... Может быть, мы слишком полагались на логику, на последовательность событий? А путь сложнее, длиннее...

Сколько мы уже летим? Нужно переставить часы, здесь еще ночь, а в Париже утро. Далеко...

Ребенку плыть и плыть по облакам бы,
Не облететь на карте белый свет,
Как он велик при свете детской лампы,
И тесен как на склоне наших лет!

Кто это написал? Кажется, Бодлер... Нет, мир не тесен. Он велик и для меня: можно открыть в Нью-Йорке старого негра, можно изумиться, увидав, как умирают эти розы, можно блуждать, надеяться, жить...

Он спокойно долго спал. Потом были снова облака, длинные, как жизнь, и мысли, легкие, призрачные, похожие на облака. А потом вдруг зашумело в ушах, качнулись холмы, земля перекосилась, и Дюма увидел старые, дымчатые дома парижского предместья. Приехали... Мари удивится: «Что же вы так быстро?..»

Выйдя из самолета, Дюма растерялся: его встречала огромная толпа: здесь были знакомые и незнакомые, рабочие, студенты, несколько профессоров, сотрудники «Юманите», Рено Морило, какие-то девочки с цветами, Лежан, писатели, делегация с заводов Берти. Дюма разволновался; он бормотал: «Ну к чему это?..» Лежан крепко пожал его руку. Дюма хотел поблагодарить, сказать, что растроган, счастлив, но вместо этого почему-то сказал: «Хорошо, что у вас дождик, а то я в Америке замучился от жары...»

Когда он садился в машину, подбежала молодая женщина в светлом плаще, протянула букетик — васильки, маки, ромашки. Он недоумевающе поглядел на нее и вдруг выскочил из машины:

— Вот это замечательно, что ты пришла! Теперь я чувствую, что я действительно дома...

Он крепко обнял Мадо.

16

Будучи в Америке, Нивель часто гадал, как он встретится со своими старыми друзьями; почему-то неизменно вставала перед ним «Корбей», где он провел столько чудесных вечеров среди поэтов, художников, ученых.

С горечью он сказал Мэри:

— Я даже в Париже не могу выбраться из твоей проклятой Америки: Нильс просит нас завтра к обеду. Твой отец его известил о нашем приезде. Сенатор говорил мне, что Нильс пользуется огромным влиянием. Придется пойти: я ведь теперь должен думать о «Трансоке». Все же обидно — один из первых вечеров в Париже провести у американца. Я предпочел бы посидеть в маленьком кафе с кем-нибудь из старых друзей...

Он про себя усмехнулся: а где они, эти старые друзья? Да и были ли?.. Если я встречу кого-либо из знакомых, первым я руку не протяну,— наверно, здесь еще водятся сумасшедшие вроде Самба.

Мэри, крутясь у зеркала, занимавшего половину номера, сказала:

— Я не пойду. Что я там буду делать? Вы начнете говорить о политике, а я больше не могу этого слышать. Я уже сговорилась с Хуанитой, мы пообедаем на Монпарнасе, потом пойдем в погребок экзистенциалистов. Говорят, что там бывает Сартр. Я не в восторге от его романов, но все-таки это интересней, чем твой Нильс.

Нивелю очень хотелось выругаться, он удержался — и так много неприятностей. Зачем портить себе кровь?

Нильс пользовался репутацией человека не только влиятельного, но и приятного. Даже Лансье, ругавший всех американцев, говорил: «Это белая ворона. Я обедал у него в сорок шестом, и я вас уверяю: он накормил меня, как настоящий француз. Потом он любит живопись и не хлопает гостей по плечу. Даже забываешь, что это американец...»

Офицер генерального штаба Нильс приехал во Францию осенью 1944 года. Когда война кончилась, он вернулся в Америку, пробыл там полгода и вновь оказался в Париже, как турист. Он снял небольшой особняк в районе Булонского леса и стал принимать цвет парижского общества. Все знали, что он один из акционеров «Алкоа», что он — интимный друг Гарримана, что посол с ним часто советуется. Что касается причин пребывания Нильса в Париже, то о них ходили самые противоречивые слухи: говорили, что он покинул Америку, желая избежать скандального процесса, которым ему грозила жена, что он занят делами — скупает через подставных лиц алюминиевые заводы, что он—опытный разведчик и направлен во Францию полковником Доуневэном. Входя впервые в дом Нильса, гости настораживались, но хозяин умел быстро разбить лед, и полчаса спустя приглашенные держали себя непринужденно.

Нильс не любил модернизма. Он снял дом разорившегося биржевика, обставленный старинной мебелью; повесил в кабинете цветные английские гравюры, а столовую украсил палермской майоликой. Особенно он гордился коллекцией старых табакерок.

Мэри поступила благоразумно, отклонив приглашение,— она была бы единственной дамой. Кроме Нивеля, Нильс пригласил товарища министра Бедье, промышленника Пино, Дюмона — одного из виднейших журналистов Франции — и адвоката Гарси, который работал над сближением старых парламентских партий с голлистами.

Нивель во время оккупации встречался с Пино у Лансье; видимо, воспоминание об этих встречах не обрадовало ни одного из них — они не показали вида, что знакомы. Адвокат Гарси, напротив, обрадовался Нивелю, как старому другу:

— Хорошо, что вы вернулись,— нам нехватало Нивеля. Америка была Ноевым ковчегом, она спасла лучших...

Нивель удовлетворенно подумал: Гарси не случайно забыл про оккупацию — об этом теперь не принято вспоминать. В общем не все ли равно, когда я уехал в Америку: в сороковом или сорок пятом? Важно, что я приехал из Америки.

Нильс осветил роль Нивеля:

— Мы все ждали вашего приезда. Я понимаю, что вам, как большому поэту, должна претить журналистика. Но наше грозное время требует от каждого жертв. Когда сенатор Лоу написал мне об идее «Трансока», я его горячо поздравил. У вас благороднейшее задание — перекинуть духовный мост через океан. Судьбы Америки и Западной Европы тесно связаны. Но сколько еще взаимного недоверия! Нужно объяснить европейцам, что Америка не ростовщик и не опекун, а добрый друг. Вы жили у нас, знаете, что там говорят, да и пишут про Францию: «лень, неблагодарность, эгоизм, малодушие». Все это вздор, нужно показать американцам подлинную Францию... В семье обычно прислушиваются к старшим. Мы — младшие, и если мы призваны теперь помочь Европе, то только потому, что океан нас оградил от ужасов войны. Нельзя выдавать удачу за добродетель.

Что могло больше расположить гостей к хозяину, чем эти слова? Все сели за стол в прекрасном настроении. Гарси напомнил Нивелю, что они встречались в «Корбей».

— Вы ведь были близким другом Лансье, не правда ли? Он очень сдал, наш бедный Морис. Говорят, что у него финансовые затруднения...

— Не удивительно,— хмыкнул Пино.— Лансье умеет готовить утку по-руански и сажать розы, а руководить серьезным делом он не может. Я пробовал его выручить, но ничего из этого не вышло.

Нильс заступился за Лансье:

— Я его встречал, исключительно обаятельный человек. В нем как бы сконцентрированы качества старой Франции. Может быть, он и не приспособлен для нашего жестокого времени, но это делает ему честь. Притом он слишком много перенес... Если я не ошибаюсь, его сын погиб на фронте, а дочь старается запятнать его имя.

— Он очень мучительно это переживает,— сказал Гарси.— Разумеется, для него Мадо — жертва. Он даже пытался мне доказать, что коммунисты ей вспрыснули какое-то дурманящее вещество.

Бедье улыбнулся:

— Меньше всего она похожа на жертву. Это очень опасная фигура. До чего, однако, французы сентиментальны! На простых людей действует, что она выросла

в богатой семье, застрелила мужа, была в маки́, словом романтика. Вообще мы недооцениваем значения легенд, а коммунисты умеют этим пользоваться. Поглядите, какой шум они подняли вокруг Дюма...

— В Америке они тоже попытались представить его, как героя,— сказал Нивель.— Конечно, у него есть имя в научном мире, потом производит впечатление, что он сидел в Бухенвальде. Он выглядит добродушным чудаком. Я его знаю, это ограниченный человек и фанатик. Американцы хорошо сделали, что его выслали.

Нильс вздохнул:

— Очень неприятно прибегать к таким мерам, но у нас не было выбора. Вчера один ученый мне сказал, что нельзя было третировать Дюма, как вульгарного агитатора. Наши французские друзья не всегда дают себе отчет в том, что война уже началась. Французы — прежде всего рыцари, это их украшает, и это может их погубить. Я знаю, что Дюма — видный антрополог. Вероятно, он честный человек. Но если идеи, которыми он живет, восторжествуют, это будет гибель Франции. Между тем Дюма не только пользуется общим уважением, ему великодушно предоставляют отравлять сознание юношей. Возьмите другой пример, о котором говорил господин Бедье. Недавно в Лимузине открыли памятник героям освобождения. Я поехал; там ведь немало американских могил. Кого же я увидел на трибуне рядом с должностными лицами? Дочь господина Лансье. Не спорю, внешность у нее привлекательная. Тем опасней... Префект делает рекламу женщине, которая беспрекословно выполняет приказы Москвы... После этого нечего удивляться наглости коммунистов, когда они публично клянутся, что не будут воевать против русских. Я знаю, господин Дюмон, какую роль играет в вашей стране печать. Не кажется ли вам, что и вы грешите избытком благородства,— вы хотите сразить идею, щадя отдельных людей? Между тем простые люди идут не за абстрактными понятиями, а за живыми героями. Лучше облить грязью двести или триста коммунистов, чем ждать, пока они зальют кровью всю Францию.

— Пожалуй, вы преувеличиваете роль газет,— ответил Дюмон.— Француз воспитан на недоверии к печатному слову. Если я завтра скажу, что в Америке хороший уро-

жай, читатель подумает: значит, урожай в Америке плохой, это срывает план Маршалла, а кабинет хочет получить вотум доверия. Если я напишу, что в Америке плохой урожай, читатель решит, что в Америке великолепный урожай, что пшеница падает в цене, русские устраивают демпинг и необходимо все скрыть до очередной дипломатической конференции.

Все рассмеялись. Потом разговор перешел на авиапромышленность. Гарси сказал:

— Многие смотрят на это узко, не понимают, что план Маршалла — прежде всего план. Нельзя судить обо всем мире с точки зрения своей деревни. Меня порой поражает провинциальность моих соотечественников.

Нильс покачал головой:

— Французы боятся потерять независимость, это естественно. Им нужно объяснить, что Францию можно спасти, только отказавшись от прежних понятий о суверенитете. В вопросе об авиационной промышленности американцы пошли бы на уступки. Каждый здравомыслящий человек поймет, что разумнее покупать американские авиамоторы, а ресурсы Франции использовать иначе. Но, повторяю, мы могли бы договориться, если бы вопрос касался только экономики. Между тем дело идет о стратегии. Мы не можем положиться на линию Эльбы или Рейна. Нужно предвидеть худшее: Франция может подвергнуться нашествию. Было бы преступлением предоставить неприятелю заново оборудованные авиазаводы. Это может понять даже ребенок...

— Но не наши министры,— проворчал Пино и печально высморкался.— Они все время косятся на коммунистов. Мы, промышленники, готовы на жертвы. Если нужно свернуть ту или иную отрасль, мы не станем спорить. Я понимаю, что если я проиграю на моторе, я отыграюсь на чем-нибудь другом. А наши правители боятся демагогов. Нужно снабдить нашу авиацию американскими моторами? Нужно. А что скажут господа коммунисты? Нужно договориться с немецкими промышленниками? Нужно. А как на это посмотрит господин Торез?

— Вы правы,— поддержал Гарси.— Многие политики до сих пор не поняли, что Франции грозят красные казаки, а не генерал де Голль. Они называют себя «третьей силой». Разве это не абсурд — соблюдать нейтралитет в

войне между патриотами и предателями? Может быть, завтра они выдвинут идею нейтралитета между Америкой и Россией? Вы говорили, господин Нильс, о напряженном положении в авиационной промышленности. Спросите господина Бедье, кто стоит во главе заводов Берти. Один из опаснейших коммунистов. Я встречал Лежана в годы сопротивления, не знаю человека более тупого и более озлобленного. Когда коммунисты были в правительстве, они знали, кого куда посадить. Лежана назначил Тийон. Коммунистов из правительства давно выгнали, а хвосты остались. Лежан — директор...

— Зимой,— сказал Пино,— этот Лежан организовал забастовку. Кажется, можно было выгнать. Нет, что скажет на это господин Сайян?..

— Старая парламентская кухня. Католики спрашивают социалистов, социалисты ссылаются на радикалов, а Бидо клянется, что все зависит от господа бога...

Бедье засмеялся:

— Случай с Лежаном — действительно парадокс. Но господин Гарси хорошо сделает, если объяснит генералу де Голлю, что не всегда разумно бить в лоб. Коммунисты во Франции — реальная сила. Их можно оттеснить, блокировать, взять измором, но прибегнуть к хирургии было бы слишком рискованно...

— Ждать хорошо,— сказал Нильс,— когда можно ждать. Я не знаю, вправе ли мы позволить себе эту роскошь? Блокада Берлина в любой день может привести к открытой войне.

Нивель внимательно поглядел на Нильса:

— Полковник Робертс не думает, чтобы красные сейчас начали.

— Я и не сказал, что они начнут. Вопрос сложнее: они могут поставить нас в такое положение, что мы будем вынуждены начать. Я не считаю, что нужно обязательно предоставить противнику все преимущества, связанные с инициативой...

Это было в конце обеда, за кофе. Гарси вдруг задумался: неужели снова война? Сирены, сырой подвал, потом придут русские, начнется игра в сотрудничество, американцы станут бомбить. Боже, до чего это противно!.. Есть вещи, которые нельзя пережить вторично. Сладкий

кофе показался ему горьким, как полынь. Он часто говорил, что война неизбежна, что русские ненасытны, что спасение в атомной бомбе, но только сейчас он понял, что война может действительно начаться... Ему нужно было сказать что-либо очень решительное, поддержать самого себя, и он неожиданно громко выкрикнул:

— После Праги мы не колеблемся. Лучше погибнуть, чем стать «народной демократией».

Все замолкли. Потом хозяин заговорил о театре:

— Иногда полезно успокоить нервы. Я вам советую, господин Нивель, посмотреть «Сто семь минут». Тема не очень-то новая: треугольник — он, она и другая. Но автор, Стив Пассер, придумал много неожиданных ходов.

Нивель усмехнулся: был Гитлер, и нет Гитлера. Американцы подносили русским благодарственные адреса, теперь они собираются поднести им атомную бомбу. Только «треугольник» на месте. Это хорошо,— значит есть что-то вечное....

Он ушел первым. Был теплый вечер ранней осени; только что прошел дождик, и тихие улицы пахли мокрыми листьями. Загадочно поблескивали отражения фонарей на фиолетовом асфальте. Париж был прекрасен, и его красота томила Нивеля. Он зашел в пустой бар, выпил у стойки две рюмки коньяку, но сердечная боль не утихала. Он с отвращением думал о проведенном вечере. Марионетки... А Нильс — это местный Робертс. Стоило ли пересечь океан, чтобы увидеть то же самое? Мизерно, унизительно, главное — скучно. Кто дал право этому американцу учить нас уму-разуму? До Стива Пассера был Корнель. У него тоже были «треугольники», только посерьезней. Тогда у нас был Людовик XIV, а у них бизоны...

— Дружок...

Нивель удивленно поглядел на девушку. Ее лицо при свете фонаря казалось лиловым, круглые глаза блестели. Он хотел пройти мимо, но почему-то остановился. Она взяла его под руку, привела в неопрятный номер маленькой гостиницы. Он сидел, не глядя на нее, курил.

— Дружок, может быть, ты ляжешь? Я уже разделась.

Он попрежнему сидел не двигаясь. Вдруг он сказал:

— А ты знаешь, кто я?

— Не знаю, это не мое дело. Ложись, дружок...

— Погоди, я с тобой говорю серьезно. Ты видела в газете: на бульваре Себастополь в гостинице зарезали двух девушек? Это я.

— Зачем ты меня разыгрываешь? Такой, как ты, не станет резать. Достаточно поглядеть на твой костюм...

— У меня не только хороший костюм, у меня много денег. Вот тебе десять тысяч, держи. А я не разыгрываю: девушек это я зарезал. Ту, что постарше, пришлось связать, она кричала, как кошка, но я ей засунул в рот полотенце. Я ее долго резал, больше часа: очень жилистая шея, вроде твоей. А другую...

Девушка не вытерпела, завопила. Тогда Нивель надел шляпу, церемонно простился и вышел. Он больше ни о чем не думал; он чувствовал непомерную усталость, как будто таскал кули или рубил лес. Только засыпая, он вспомнил девушку. Зачем я ее напугал? Не знаю. Пусть визжит...

Когда гости разошлись, Нильс долго сидел в кресле с трубкой. Спать не хотелось, и он начал перебирать табакерки. Он дошел до любимицы; это была крохотная фарфоровая коробочка с маркой Севра; на ней были изображены два голубя, золотом было написано: «Мы любили. Прости, Фернанд!» Нильса восхищала тонкость рисунка. Он часто думал, что означает надпись. Ему казалось, что это признание прелестной и ветреной женщины, которая, умирая, подарила табакерку обманутому ею Фернанду. Восхитительная вещица!..

Вдруг он подумал: табакерку тоже уничтожат. Если начнется война, уничтожат все... Ему было жалко не людей, даже не себя, только маленькую фарфоровую коробочку. Может быть, и не будет войны, обойдется? Глупо, я начинаю рассуждать, как эти расслабленные французики. Война обязательно будет — мы не отступим. Но жалко табакерки — такой больше не сделают.

17

После смерти Морило Лансье пользовал молодой врач Лешеналь. Это был хороший врач, внимательно следивший за всеми новшествами, но Лансье ему не верил и, говоря с Мартой, называл его не иначе, как «очковтира-

телем». Лансье чувствовал себя отвратительно, с трудом ходил, ночью страдал от бессонницы, а днем, сидя, вдруг засыпал. Доктор Лешеналь мучил его анализами, просвечиванием и, наконец, установил не менее десяти болезней. Лансье рассеянно слушал, потом сказал:

— Вы забыли, дорогой доктор, еще две болезни. Одна связана с состоянием «Рош-энэ». Если прибегать к любимой вами латыни, ее можно назвать «vae victis» — «горе побежденным». Морис Лансье, родившийся в тысячу восемьсот восемьдесят шестом году в городе Ниор, бездарный поэт и еще более бездарный предприниматель, побежден новыми временами. Пилюли тут не помогут. Есть и вторая болезнь: «taedium vitae» — «отвращение к жизни». Покойный доктор Морило любил утверждать, что одна болезнь вытекает из другой, он сказал бы, что я разлюбил жизнь, потому что жизнь разлюбила меня. Может быть. Когда дела шли хорошо, я мог не заниматься делами. Таким вы меня не видели. Все называли «Корбей» раем. Это было до войны, когда Франция еще была Францией. Но теперь, даже если бы «Рош-энэ» выжила, я не смог бы помириться с жизнью. Мне противно, что люди огрубели. Пойдите в «Салон» или возьмите новый роман — искусство выдохлось. Все помешаны на какой-то бомбе. Американцы хозяйничают у нас, как будто Франция — Оклахома, а коммунисты хотят, чтобы вместо американцев командовали русские. Право же, все это неинтересно. Вы можете запретить мне есть рагу по-тулузски, но заставить меня переварить нашу эпоху вы не можете.

Марта его молила:

— Пойди к директору банка, объясни ему все.

Он кротко отвечал:

— Директор — человек Пино. Что я могу ему сказать? Что мне не улыбается быть съеденным? Он это знает. Но он знает, что у Пино дьявольский аппетит.

— Скажи, что это несправедливо.

— Когда пескаря бросают в кипящее масло, он, наверно, тоже негодует — почему шеф не руководится диалогами Платона?..

В сорок пятом году «Рош-энэ» процветала: заказы были распределены с расчетом, что война затянется. Лансье продолжал над ними работать и после победы.

Он набрал новых рабочих, увеличил ставки. Потом картина изменилась; говорили даже о крахе. Но Лансье повезло: он получил заказ от небольшой велосипедной фирмы. Осенью сорок седьмого, когда начались повсюду забастовки, он умолял рабочих: «Погодите! Может быть, я встану на ноги...» Завод работал два-три дня в неделю; попытки получить кредиты остались безрезультатными.

Четыре года Лансье проработал с Пино и все же не мог привыкнуть к мертвой хватке этого человека. Пино не нервничал, не увлекался, спокойно, уверенно он шел в гору. До войны его мало знали: он начал скромно, а расти ему мешали старые, солидные фирмы. Война оказалась золотым дождем. Завод, изготовлявший минометы, работал в три смены — сначала на французов, потом на немцев, потом на союзников. Пино за гроши купил большую типографию и доходный дом, принадлежавшие еврею. Он умел держаться с немцами; Ширке считал его человеком грубоватым, но хитрым. После победы, неожиданно для многих, его объявили героем сопротивления — помог зять, который в годы войны работал с английской разведкой. Генерал де Голль во время одной из церемоний обратился к Пино с такими словами: «Вы не отвернулись в тяжелое время от Франции, и Франция этого не забудет». Пино сумел расположить к себе и американцев; он был с ними сдержан, но любезен, никогда не намекал на духовное превосходство Старого Света, горячо поддерживал план Маршалла. Он много сделал, чтобы сломить забастовки сорок седьмого года; при этом он проглотил фирму «Антреприз дю нор». Нильс говорил послу: «В гостиной с ним скучно, но за рабочим столом он незаменим. Пожалуй, он лучше других французов понимает дух времени, на него можно положиться».

Три месяца Лансье ждал развязки. Иногда он пытался себя утешить: в Пино заговорила совесть. Час спустя он впадал в отчаяние: Пино играет со мной, как кошка с мышкой. На самом деле Пино был занят другим: он скупал предприятия в Лотарингии. «Рош-энэ» была для него мелочью, и он никак не мог удосужиться поговорить с Лансье.

Наконец решительное объяснение состоялось. Пино спокойно выслушал Лансье, который начал с обвинений,

а кончил приниженной просьбой повременить. Пино печально высморкался, как он всегда делал в серьезные минуты, и сказал:

— Кредитов вам не дадут, никто не хочет кидать деньги на ветер. Но если вы уйдете, я возьму на себя всю задолженность «Рош-энэ». Кроме того, я вам уплачу полтора миллиона франков. Конечно, это не много, но при некоторой экономии вы продержитесь пять лет. А заглядывать дальше глупо — через пять лет от нас, вероятно, не останется даже атома. Я вам советую, как друг, принять мое предложение. Если вы откажетесь, вас ждет банкротство, вы потеряете не только «Рош-энэ», но и «Корбей».

Лансье вскипел; он наговорил Пино резкостей, требовал кредитов, грозил самоубийством. Пино был непреклонен:

— Я вам предложил больше, чем мог. «Рош-энэ» мне не нужна, я иду на жертву, чтобы спасти ваше имя от позора.

Лансье вскочил, он не помнил себя:

— Моего тестя звали Рош. Он был отцом Марселины. Никогда я не допущу, чтобы вам досталось имя Роша. Вы знаете, что я не герой, я тоже работал на немцев. Но я себя не выдаю за Жанну д'Арк. Я — жалкий банкрот, но я вас презираю. В «Рош-энэ» вы не войдете. Или вы перешагнете через мой труп.

Величественно он вышел из кабинета, кивнул головой секретарше, сошел вниз и, только пройдя сотню шагов, опустился на скамью бульвара, закрыл руками лицо и так просидел несколько часов.

Он крепился — ничего не говорил Марте. Она осторожно спросила, не собирается ли он поговорить о кредитах. Тогда он сказал:

— Все кончено, можно больше не волноваться. Ты знаешь, что он мне предложил? Уйти из «Рош-энэ». За это он дает полтора миллиона.

— Ты должен подумать, Морис. Конечно, это маленькая сумма. Но мы можем скромно прожить два-три года...

— Ты забываешь, что фирма носит имя отца Марселины.

Марта заплакала. Она знала, как боготворит Морис память первой жены, и пуще всего боялась оскорбить его чувство.

Больше она не заговаривала о судьбе «Рош-энэ». Неделю спустя Лансье ей сказал:

— Тебе придется подыскать маленькую квартиру. Пусть это будет две комнаты, только где-нибудь на тихой улице. Автомобили меня сводят с ума... Мы должны будем скоро переехать. В пятницу я устраиваю прощальный обед.

— Кого ты хочешь позвать, Морис?

Он не ответил.

Он написал Дюма:

«Дорогой друг!

Не стану вас посвящать в детали, но «Корбей» скоро продадут с торгов. Я вас очень прошу пообедать с нами в пятницу. Не будет никого, кто мог бы омрачить нашу встречу. Забудьте на один вечер политику, ведь это последняя встреча в «Корбей», где витает тень Марселины. Помните стихи Овидия:

Счастлив ты — каждый зовет тебя другом.
Тучи найдут — будешь тогда одинок.

Тучи надвинулись, но я верю, что у меня остался один друг».

Войдя в столовую Лансье, Дюма смутился. На столе было восемь приборов, а никого, кроме хозяев и Дюма, не было. Лансье сказал:

— Мы можем обедать... Они не придут.

Дюма увидел карточки, разложенные возле приборов: «Марселина Лансье», «Луи Лансье», «Доктор Морило», «Лео Альпер», «Леонтина Альпер». Дюма стало не по себе: действительно, как на кладбище... Но Лансье был весел, вспоминал старые времена, шутил. Он приготовил чудесный обед, как ребенок, обрадовался, когда Дюма попросил еще одну зразу с трюфелями. Потом он принес деревянного божка:

— Дорогой друг, возьмите его себе. Он из Конго, мне говорили, что такого нет ни в одном музее. Мне некуда его деть... Я увезу с собой только картины Мадо, семей-

ные фотографии и вот эту акварель... Не узнаете? Это суданский козел, я им очень гордился... Вы помните, мы его съели во время оккупации. Тогда еще был Нивель... Я читал, что он вернулся, но он меня не интересует. Овидий был тоже в изгнании, но Овидий был настоящим поэтом...

В конце обеда Дюма налил бургундского Марте, Лансье, себе и сказал:

— Выпьем, Морис, за здоровье Мадо. У вас замечательная дочь. Я не хочу с вами спорить... Но верьте мне, это необыкновенная женщина.

Марта, с опаской поглядывая на мужа, сказала:

— Я с вами вполне согласна.

— Откуда ты знаешь? Сколько раз ты ее видела?

— Не волнуйся, Морис, ты обещал, что ты не будешь сегодня волноваться. Мадо иногда заходит ко мне, спрашивает, как твое здоровье...

Она ждала, что Морис рассердится, но он задумался.

— Почему она приходит к тебе? Кто ее отец? Я ничего не понимаю... Я охотно выпью за ее здоровье, я хочу ей добра. Я воспитан на принципах терпимости. Я знаю, дорогой друг, что вы — коммунист, но вы все-таки пришли ко мне. Мы с вами родились в девятнадцатом веке, мы знаем, что такое дружба. А Мадо ничего не хочет знать, кроме своих коммунистов. Я встретил ее весной на выставке, сказал: «Ты, может быть, хочешь, чтобы здесь было, как в Праге?» Она мне ответила: «Да». Это фанатики, я не знаю, что они сделали с Мадо... Не будем об этом говорить, я все-таки француз и в этом не уступлю. У меня была дочь, теперь ее нет...

Желая отвлечь его от печальных мыслей, Дюма стал рассказывать про Америку, рассказал, как горничная его испугалась. Лансье не улыбнулся. Когда Дюма замолк, он сказал:

— Может быть, коммунисты и правы, я теперь сомневаюсь во всем. Это, наверно, признак старости... Я завидую Луи, он погиб за Францию и не знал, за какую, не думал об этом, не мог даже загадывать. Может быть, ему были бы противны и американцы и коммунисты, не знаю. Я знаю, что он погиб в небе, и это замечательно. Выпьем за Францию, она ведь останется, если только они не кинут

свои бомбы, останутся петушки на колокольнях, каштаны, виноградники, девушки, язык. За это и выпьем...

Он много пил. Марта встревожилась. Но он лег, уснул и проснулся утром бодрый, пошел к антиквару — хотел, чтобы оценили мебель гостиной; купил Марте цветы; потом разбирал старые письма. Вечером он лег на кушетку, и, сколько ни спрашивала Марта, что с ним, он не отвечал.

Доктор Лешеналь сказал:

— Кровоизлияние... Не убивайтесь, госпожа Лансье, он может выкарабкаться, в нем огромная жизнеспособность...

18

Нильс знал, кого пригласить: имя Бедье можно было услышать повсюду — в деловых кругах, в кулуарах парламента, даже в провинциальных кафе, где любители пофилософствовать и поспорить обсуждают министерские комбинации. Во время очередного правительственного кризиса, кому бы ни доверили составить кабинет, кандидат в премьеры первым делом советовался с Бедье, желая проверить свои шансы.

До войны мало кто знал Бедье. Молодой энергичный администратор одного из солидных, но второстепенных банков, он не занимался политикой и, казалось, не обладал амбицией. Когда началась война, ему было тридцать четыре года; он проделал с армией отступление, во-время переоделся в гражданское платье и поселился у своей тетки в городе Брив. К немцам он чувствовал уважение, как к победителям, но в душе надеялся, что союзники возьмут верх. В самом начале 1944 года к нему приехал двоюродный брат Паж, налоговый инспектор и один из руководителей организации сопротивления. Паж пробеседовал с Бедье всю ночь, говорил, что дни Гитлера сочтены. Доводы его звучали убедительно, а жизнь в Брив для человека, привыкшего к деятельности, была невыносимо скучной, и на следующее утро Бедье сказал Пажу, что решил войти в организацию. Он показал себя смелым, энергичным, главное, умел ладить с людьми. В районе была сильная группа ФТП. Бедье удалось с ней догово-

риться. Коммунисты говорили: «Бедье не из старых политиков, у него нет шор...»

После победы Бедье назначили префектом; его выбрали в парламент; генерал де Голль предложил ему портфель товарища министра. Он участвовал в различных кабинетах. Его влияние росло; говорили, что, занимая скромное место, он определяет политику кабинета; объясняли это тем, что у него своя линия и, ловко лавируя, он умеет всегда поставить на своем. В действительности у Бедье не было никакой линии; с необычайной быстротой он менял суждения, отрицал сегодня то, что превозносил вчера, и делал это настолько искренне, что никому не приходило в голову заподозрить его в лицемерии. Политика его увлекала не потому, что ему хотелось достигнуть той или иной цели, ему нравилась сама игра, закулисные переговоры, риск голосований, когда правительство ставит вопрос о доверии, лихорадочные ночи кризисов. До весны 1947 года он поддерживал прекрасные отношения с коммунистами, когда же выяснилось, что коммунистов придется удалить из кабинета, начал их страстно обличать. Он был депутатом католической партии МРП, хотя никогда не интересовался религией и терпеть не мог священников,— он примкнул к этой партии, потому что она показалась ему солидной. Со времен сопротивления он привык почтительно отзываться о генерале де Голле, и хотя генерал был ему неприятен сухостью, напыщенностью, замашками провинциального аристократа, три года он говорил о нем, как о «спасителе Франции». Настал день, когда нужно было выбрать между честолюбивым генералом и старыми, испытанными политиками; Бедье произнес одну из своих лучших речей — о верности республике, о демократии, о «третьей силе», которая спасет Францию от новых потрясений. Он не любил американцев, считал их людьми невежественными и заносчивыми, но знал, что Америка — сила, и горячо защищал все, что исходит из Вашингтона.

У него были свои выраженные вкусы, пристрастья, но это не относилось к его работе. Примерный семьянин, он никогда не надоедал жене разговорами о политике, нянчился с маленькой дочуркой, поливал в саду цветы, обсуждал, какими обоями лучше оклеить столовую; обожал

рыбную ловлю; умел хорошо поесть и выпить. Иногда он признавался одному из старых приятелей: «Политика — паскудное занятие, но ничего не поделаешь, это — игра, втягиваешься...»

Он понимал, что смешно теперь говорить о суверенитете Франции. С грустью он думал: были Клемансо, Бриан, Барту, они диктовали, а не писали под диктовку; жаль, что я слишком поздно родился... Однако довольствоваться меланхоличными раздумьями он не мог, ему нужно было действовать, и час спустя он отстаивал последнее предложение Нильса с такой горячностью, как будто речь шла об его сокровенных мечтах.

Жена его была манерной, изображала из себя мадонну, он ее обожал, но всегда имел любовниц, веселых и простеньких. Как-то жена узнала о существовании одной из соперниц; она поднесла к глазам кружевной платочек и тихо промолвила: «Я не знала, что ты можешь так лгать...» Он вспомнил эти слова несколько дней спустя на заседании кабинета и усмехнулся: Полина не знает, какая у меня работа. Разве я мог бы продержаться день, если бы не умел лгать? Говорят, что ложь — это нечто низкое. Хорошо, но почему люди лгут? Не от избытка фантазии. Ложь — инстинкт самосохранения.

Лгал он легко, порой не только потому, что ему нужно было провести собеседника, лгал, чтобы понравиться: любил очаровывать. Он говорил одно Нильсу, другое Мейеру, третье голлистам. Нападая на коммунистов, он пытался сохранить с некоторыми из них добрые отношения, говорил: «Я сегодня, кажется, перешел границы... Не обижайтесь, такова обстановка. Я знаю коммунистов по сопротивлению, можно с ними не соглашаться, но нельзя их отделять от нации...»

Коммунисты внесли в парламент запрос о положении авиационной промышленности. Начались прения. После многих ораторов взял слово Бедье:

— Я протестую против отвратительной демагогии сторонников Москвы. Господа коммунисты в роли сверхпатриотов попросту смешны. В чем слабость нашей авиационной промышленности? В низком уровне тех администраторов и специалистов, которых коммунисты рассовали повсюду за время своего хозяйничания. Мы принимаем

теперь все меры для того, чтобы поднять на должную высоту одну из важнейших отраслей нашей индустрии. Страна Блерио гордится не только своими летчиками, но и своими конструкторами. Пусть нас пытаются ужалить змеи коммунизма, в небо им не подняться...

Бедье аплодировали католики, социалисты; Гарси крепко пожал его руку:

— Приятно слышать слова настоящего француза.

На следующий день Бедье беседовал с директором авиационной компании «Эр Франс». Бедье сокрушенно говорил:

— Мы стремимся всеми силами поддержать национальную промышленность, но нужно считаться с общественным мнением. Я не знаю, чем руководствуются газеты, выступая против моторов «14-Н». Статья Дюмона произвела огромное впечатление: публика плохо разбирается в специальных терминах, а он нашел верный ход — так расписал несчастный случай над Альпами, что пассажиры теперь не сядут в самолет с нашим мотором. Мне тяжело это говорить как французу, но вы поступите правильно, если для «Лангедок-161» остановитесь на американских моторах.

Бедье, разумеется, не рассказал, что на прошлой неделе он завтракал с Дюмоном в маленькой гостинице у Марны. Они долго говорили о прелести французской природы, о том, как приятно после разговоров о кризисе, об атомной бомбе сесть на берегу Марны и закинуть удочку. Упомянув о воздушной катастрофе над Альпами, Бедье сказал:

— Вас считают совестью Франции, вы должны откровенно сказать читателям, что со времен Пьера Кота наша авиапромышленность находится в ужасном состоянии. У каждого народа есть сильные и слабые стороны. Американцы изготовляют скверные духи, и они это признают. Почему бы нам не признать, что мы изготовляем скверные моторы?

Заводы, принадлежавшие Берти и после победы национализированные, выполнили заказ для Аргентины: десять самолетов. Нильс был, как всегда, деликатен, он сказал Бедье: «Аргентинцы — это тартарены Америки. Перон хочет изобразить из себя мировую фигуру, каприз-

ничает, как ребенок. В конечном счете его право покупать, что ему вздумается, как право французов продавать каждому. Я только не думаю, что десять самолетов — гиря на чаше весов. Расчет Перона прост: он хочет нажать на Вашингтон, но французы могут добиться одного — усилить наших изоляционистов. Они продадут десять самолетов и окажутся в одиночестве, отнюдь не блестящем...»

Бедье позвонил министру иностранных дел: «Вы собирались дать лицензию на десять самолетов в Аргентину? Нильс решительно против. Право же, игра не стоит свеч».

Лежан, желая добиться лицензии, побывал повсюду; наконец он решил обратиться к Бедье, хотя не был с ним знаком.

— Волокита с лицензией ставит заводы в отвратительное положение. Нам не только отказывают в кредитах, нам мешают выполнить заказ.

— Я разделяю ваше возмущение,— ответил Бедье.— Не думаю, чтобы за этим скрывалась злая воля, просто на набережной д'Орсэ привыкли к черепашьим темпам. Сегодня же скажу министру...

Лежан хотел откланяться, но Бедье его удержал: разговор вышел слишком сухим. К переговорам о лицензии он отнесся, как к неприятной обязанности, а сейчас ему захотелось очаровать человека, который слыл непримиримым.

— Поскольку судьба нас столкнула, я должен вам сказать, господин Лежан, что я восхищен вашей работой. Вы спасли заводы Берти от разрухи. Мне особенно приятно признать заслуги политического противника. Недавно я видел в американском журнале «Флайт» статью, посвященную вам; американцы пишут, что вы не только крупный организатор, но и блестящий конструктор. Тем обиднее видеть в наших газетах грубые выпады против вас. Вот до чего может довести партийное ослепление! Даже такой серьезный журналист, как Дюмон, не способен объективно подойти к вопросу... Откуда такая озлобленность? Ведь дело идет о суверенитете нашей страны. Я буду с вами откровенен, я не понимаю, как могут ваши единомышленники утверждать, что правительство хочет задушить нашу авиапромышленность? Нельзя даже в пылу битвы прибегать к подобным аргу-

ментам. Не далее как вчера министр говорил мне, что мы должны поддержать авиационные заводы. Конечно, мы связаны планом Маршалла — кредиты отпускаются на покупку американских моторов,— но я убежден, что можно совместить соблюдение международных обязательств с защитой нашей промышленности.

Лежан не возражал; он любезно улыбался, а уходя спросил:

— Значит, мы можем рассчитывать на лицензию?

— Я сделаю все, что в моих возможностях.

Главный инженер заводов Морэн спросил Лежана:

— Что же мы будем делать с самолетами для Аргентины?..

— Я был у Бедье. Он сказал, что это обычная канцелярская волокита. Обещал поговорить. Так что лицензию мы, очевидно, получим.

Лежан думал: Бедье очень хитер. Почему он ругал газеты, отпускал мне комплименты? Это неспроста. Может быть, они решили поддержать заводы? Наверно, у них с американцами не все гладко, пробуют шантажировать, добиться подачки... А может быть, в кабинете разногласия? Говорят, будто некоторые промышленники настроены против военного пакта... Препротивный субъект этот Бедье, скользкий, как угорь... Но лицензию они дадут, сейчас это — главное...

Когда Лежан ушел, Бедье позвал секретаря:

— Присмотрите, чтобы лицензию ни в коем случае не дали...

Он подошел к окну. Накрапывал мелкий дождик, вечерело. Огни уже посвечивали бледно и мечтательно. Он вдруг улыбнулся: дурацкая игра, но, слов нет, увлекательная. А разве не все игры дурацкие?..

19

Лежана назначили директором заводов Берти весной 1945 года. Часть цехов была разрушена союзной авиацией. Инженеры, работавшие с немцами, насмешливо улыбались, говорили, что ничего нельзя сделать: оборудование износилось, нет сырья, нет топлива. Рабочие

мерзли, недоедали. Лежан проводил на заводах дни и ночи; налаживал производство, сидел над чертежами конструкторов, выслушивал претензии рабочих. Некоторые из них говорили: «Товарищ Лежан, на кого мы должны работать? На генерала? Посмотри, что делается: спекулянты зарабатывают миллионы, а нам нехватает даже на картошку». Он отвечал: «Это правда, делается чорт знает что! Но нужно отстроить Францию, не то мы попадем в лапы к американцам...»

На заводах работал мастер Лепикар, называвший себя «синдикалистом». При немцах он держался, тихо говорил: «Пусть лезут на рожон маменькины сынки или политиканы, рабочему человеку все равно, какой флаг висит». Осенью сорок пятого Лепикар стал подбивать рабочих на забастовку: «Коммунисты держатся за министерские портфели, им наплевать, что мы дохнем с голоду. Лежан живодер почище Берти...» На собрании рабочих выступил Лежан: «Мы должны победить разруху, иначе Франции конец!» Лепикар говорил полтора часа, бил себя в грудь, кричал, что дети умирают с голоду, под конец даже всплакнул. Рабочие проголосовали против забастовки.

До войны Лежан говорил о национальных интересах, но эти слова ему самому казались отвлеченными. Только в годы сопротивления он понял, что такое Франция, когда сколачивал партизанские отряды, нападал на немецкие посты, прятался от гестаповцев. Идея родины облеклась в кровь и плоть, о Франции он теперь думал по-хозяйски, как о своем доме.

Он никогда не строил иллюзий, в сорок третьем году говорил товарищам: «Сейчас мы им нужны, но что будет через пять лет? Самое трудное впереди». Говоря так, он все же считал, что возврата к прошлому нет, страшная буря очистит воздух. События показали иное: сороковой год ничему не научил жадных и недалеких дельцов. С легким сердцем они отреклись от Франции, угодливо смотрели на Нильса или на другого попечителя. Вчерашние вишисты, обслуживавшие немцев, были обелены; их обнимали люди, которых они еще недавно величали «террористами» или «бандитами».

Осенью 1947 года в стране было неспокойно; миллионы людей помнили маки́, партизан, парижское восста-

ние; они не могли примириться с тем, что победу у них похитили. Начались забастовки, охватившие всю страну. Правительство послало против рабочих отряды со слезоточивыми газами, с пулеметами.

Пережив несколько дней страха, Пино торжествовал: «Я давно говорил, что коммунисты понимают только язык силы!..» Бедье был занят расколом рабочих союзов, и Лепикар с утра до ночи вопил: «Из-за коммунистов голодать? Дудки! «Рабочая сила» — вот что нам нужно, никакой политики!» Нильс отправил полковнику Робертсу подробное описание событий, которое заканчивалось словами: «Наконец-то разгромлены силы, пытавшиеся воспрепятствовать сотрудничеству Франции с Америкой».

В январе на заседании совета министров был поднят вопрос о Лежане. Бедье насторожился: у Лежана имя, его знают и как героя сопротивления и как превосходного инженера, он пользуется любовью рабочих. Лучше повременить. И Бедье сказал: «Очищать Францию нужно постепенно. Рабочие и без того нервничают, зачем давать агитаторам лишний довод?.. Пусть пресса подготовит почву. Дюмон может нам в этом помочь. А когда дерево подпилено, повалить его — не штука».

Чуть ли не каждый день в «Орор», в «Фигаро», в «Эпок» можно было найти имя Лежана. Газеты писали, что он садист, что во время сопротивления он сводил личные счеты с соперниками и расстреливал честных французов, что он превратил конструкторское бюро заводов Берти в богадельню для невежественных коммунистов, что на него падает вина за авиационные катастрофы, что, будучи фанатиком, он в то же время любит широко жить и в его карманах застревает часть тех огромных сумм, которые налогоплательщики расходуют на самую шаткую отрасль индустрии.

До войны крупные предприниматели опасались Лежана как коммуниста; ему пришлось удовольствоваться местом в «Рош-энэ». Однако в те годы у него было немало приятелей среди инженеров — радикалы, католики, даже один роялист; люди различных воззрений еще встречались, спорили, ходили друг к другу в гости. Теперь страна как будто распалась надвое. Многие инженеры, работавшие на заводах Берти, ненавидели Лежана только потому, что он —

коммунист. Напрасно он пытался наладить с ними товарищеские отношения. Недавно он просидел весь день над чертежами с Морэном. Когда они вышли вместе с завода, Лежан предложил зайти в кафе. Морэн ответил: «Я вынужден с вами работать, господин Лежан, не требуйте от меня большего... Вы были в маки́, не правда ли? Так вот, когда русские вторгнутся во Францию, я уйду в маки́, и я буду горд, если смогу застрелить вас».

Рабочие верили Лежану. Как-то Лепикар попытался повторить одну из небылиц, напечатанных в «Орор»:

— Говорят, Лежан здорово нажился при Тийоне. Купил виллу в Ницце...

Рабочие молчали. Когда смена уходила, Лепикар пошел в умывальную. Там его обступили; он отбивался, но на него нацепили желтую тряпку, привязали к тачке со шлаком и под общее улюлюканье вывезли за ворота.

— Если придешь в цех, убьем,— сказал пожилой рабочий.

— Я не понимаю, за что,— бормотал Лепикар.

— За то, что ты — гад.

Лежана рабочие звали по имени — «Анри сказал»,— этих слов было достаточно, чтобы люди работали сверх силы. Все знали, что Лежан потерял при немцах жену и детей. Рабочие его приглашали на семейные празднества. Когда механик Габэн вернулся из отпуска, он сказал жене:

— Хорошо, что мы привезли несколько бутылок. Позовем Анри, пусть пообедает у нас, посидит. Ведь семьи у него нет...

Жена Габэна долго колдовала над сложнейшим рагу из баранины. Габэн был уверен в своих бутылках:

— Такого вина, как у нас в Сансерре, нигде нет. Есть, конечно, дороже, а такого нет, букет особенный...

Шестилетний сын и четырехлетняя дочка вначале сидели смирно, глядели на гостя, потом расшалились. Лежан с ними играл, ползал по полу, прятался за креслом.

Он просидел долго; детей давно уложили; говорили о положении на заводах, о политике, Габэн рассказывал, как настроены люди в деревне:

— Не думай, Анри, что они верят газетам. Они прямо говорят: американцы прицениваются к пушечному мясу, только мы не пойдем, не маленькие...

Уборщица на свои деньги покупала скромные цветы — то фиалки, то левкои, то астры — и ставила в кабинет Лежана. Как Габэн, она говорила себе: жены у него нет, некому его порадовать...

Лежан не забыл Жозет, и всякий раз, когда выпадал свободный вечер, мучительно вспоминал мелочи давней жизни. Он как-то подумал: работать могу, могу бороться, а вот отдыхать без Жозет нет сил... Перед ним вставали крошка Мими, Поль — застенчивый неуклюжий школьник, который до срока вырос, стал героем. Лежан никогда не пытался уйти от воспоминаний, горе его приподымало, помогало видеть, бороться, жить.

Газеты называли коммунистов «партией расстрелянных»; эти слова для Лежана были полны значения. На партийных собраниях он видел вдов заложников, людей, у которых погибли отец, брат, близкий друг. Ему казалось, что рядом с живыми мертвые, они тоже спорят, волнуются, бастуют, идут под пули.

Врач госпиталя, где лежал Поль перед тем, как его замучили гестаповцы, рассказал Лежану:

— Ваш мальчик держал себя, как герой... Да разве не геройство напасть на немецких офицеров в самом центре города? И это в марте сорок третьего, задолго до высадки... Я подошел к нему, слышу, он повторяет стихи:

И розы вдоль всего пути
Опровергали ветер смерти...

Лежан часто вспоминал эти строки, глядя на товарищей, на детей в серо-зеленом заводском сквере, на цветы, которые приносила уборщица. Нет, ветер смерти нас не повалит!

После вечера у Нильса Бедье понял, что дольше ждать нельзя; он решил поставить вопрос об увольнении Лежана. Гарси его опередил; выступить в Национальном собрании он не решился: все знают, что он связан с голлистами, зачем восстанавливать рабочих против генерала? Гарси предложил внести интерпелляцию одному из социалистов, а именно депутату департамента Тарн, бывшему нотариусу Леглану. В начале оккупации Леглан был петэновцем, потом связался с представителями Лондона; газеты писали о нем как об одном из руководителей сопротивления.

Вскоре после окончания войны на митинге Леглан кинулся к Лежану: «Я счастлив, что вижу Люка, героя парижского восстания!.. Я буду выступать от нашего города. Мы ведь поднялись за месяц до Парижа, но немцы нас подавили». Лежан сухо ответил: «Знаю. Если уже пошло на воспоминания, оживите в вашей памяти июльскую ночь. К вам пришла представительница ФТП. У вас было много оружия, она просила дать это оружие шахтерам. Вы отказали. Шахтерам пришлось очистить город. При отходе женщину убили. Это была моя жена, господин Леглан». Леглан молча отошел, но затаил обиду; Гарси не пришлось его долго уговаривать.

Заседание было бурным. Когда Леглан сказал, что «Лежан — дутая фигура», коммунисты прервали его криками: «Лгун! Трус!» Леглан, поддержанный аплодисментами социалистов и католиков, продолжал: «На этом человеке кровь погибших при воздушной катастрофе над Альпами. Он сделал из национализированных заводов кормушку для коммунистов!..» Крики, стук пюпитров его прервали. Председатель объявил перерыв.

Когда заседание возобновилось, Леглану удалось закончить речь. Он требовал положить конец анархии, царящей в авиационной промышленности. На трибуну поднялся Бедье:

— Я считаю необходимым заявить, что сегодня утром подписан приказ об увольнении господина Лежана, показавшего неумение справиться с поставленной перед ним задачей.

Бедье знал, что это первый шаг. Конечно, Лежана надо было убрать: у него авторитет, он может подбить рабочих на отчаянную выходку. Но главное впереди: если американцы хотят нам продавать моторы, глупо поддерживать заводы Берти. Конечно, американский мотор обходится втрое дороже, но ведь американцы не только берут, они и дают. Зачем с ними ссориться из-за пустяков?..

Две недели спустя министр подписал приказ о реорганизации заводов Берти. Половина рабочих должна быть рассчитана. Шестерых инженеров постигнет судьба Лежана. Директором назначается Морэн. Заводы больше не будут изготовлять моторы для рейсовых самолетов, они должны монтировать военные аппараты «Вампир».

У Нильса был хороший день: утром он нашел в небольшом антикварном магазине на улице Сен-Пер изумительную табакерку с толедской чернью по золоту; потом он беседовал с радикалом Кэем, которого называли кандидатом в премьеры, и убедился, что тот понимает необходимость включения Западной Германии в европейское объединение; наконец под вечер он узнал о реорганизации заводов Берти. Нильс полюбовался табакеркой, а потом стал диктовать письмо Робертсу: «Только теперь я вижу, как важно было убрать Лежана: наследство Тийона окончательно ликвидировано. Ни Мок, ни Мейер, ни Бедье не возражают против постепенного свертывания авиационной промышленности и перевода оставшихся рабочих на сборку и ремонт наших моторов».

Проснувшись на следующее утро, Нильс услышал: «Забастовка у Берти». С этим прибежал взволнованный секретарь. Беспрерывно звонил телефон: положение обострялось. Выяснилось, что рабочие, узнав о приказе министра, единодушно проголосовали за забастовку. Морэн пытался их урезонить, говорил, что безумие следовать призывам агитаторов и обрекать семьи на голод. Морэна освистали. Приехал отряд «CRS» — начали вытеснять рабочих из заводов. К шести часам все корпуса и дворы были очищены.

Вечером состоялось собрание рабочих. Сотрудник полиции, работавший на заводе как бухгалтер, категорически заявил, что Лежана на собрании не было, но он же в рапорте писал, что выступавшие рабочие заканчивали свои речи словами: «Товарищ Лежан, клянемся тебе, что не отступим!..»

На следующее утро шесть тысяч рабочих двинулись к заводам. Офицер «CRS» нервничал, то и дело вытирал крохотным носовым платком виски. «Назад!» — крикнул он и махнул платочком. Раздался залп. Упал на землю один из самых старых рабочих — Сюшар. Люди, однако, продолжали итти к воротам. В одном из первых рядов шел Лежан; он попросил у рабочих разрешения быть в это утро с ними. Он шел спокойно, чуть улыбался, а в голове звучали слова, которые повторял, умирая, Поль:

И розы вдоль всего пути
Опровергали ветер смерти...

20

Лежан встретил Мадо на похоронах Сюшара. Это были необычайные похороны; пришли не только рабочие Берти, пришли делегаты от всех парижских заводов, коммунисты, бывшие партизаны, инвалиды, люди, пережившие «лагеря смерти» (они шли в полосатой каторжной одежде, которую хранили, как реликвию). Сюшар был коммунистом с 1923 года; он дважды сидел в тюрьме Сантэ, а потом узнал немецкий концлагерь. За гробом шла его жена; она вела восьмилетнего внука — дочь Сюшара убили в гестапо, ее муж погиб в немецком плену. Мальчик сурово поглядывал на полицейских; в руке у него был красный флажок.

Был хороший осенний день с небом чересчур ясным, отчужденным, которое наводит на раздумья; но тридцать тысяч человек, шедшие за гробом Сюшара, дышали воздухом боя. Забастовка на заводах Берти продолжалась. Накануне полиция арестовала стачечный комитет. Газеты сообщали, что правительство намеревается объявить рабочих военнообязанными. Дюмон писал, что необходимо арестовать Лежана, как агента иностранной разведки. Бастовавшие послали Лежану приветствие и постановили продолжать борьбу.

Тревога охватила Францию. Третью неделю бастуют горняки Севера. Мок послал туда своих любимцев «CRS», марокканцев, танки. Может быть, сейчас там строчат пулеметы и судьбу Сюшара разделяют другие?..

Ему было пятьдесят шесть лет, папаше Сюшару, а выглядел он куда моложе. Товарищи вспоминали, как весной он танцовал на празднике «Юма». Кто-то рассказывал: «Идем к заводу, а «CRS» перерезали улицу. Папаша Сюшар им крикнул: «Вы хоть бы научились кричать «хераус», как эсэсовцы!..»

«Он был большим человеком, папаша Сюшар,— сказал представитель заводов Берти,— у него было сердце из воска, а голова из железа».

Борьба повсюду разгоралась, как год назад. Нильс и его французские друзья преждевременно радовались: море может казаться усмиренным, похожим на огромный пруд, но стоит подняться ветру — и вскипает стихия,

растут валы, идут на приступ. Все говорило о буре: глаза людей, отряды республиканской гвардии, спрятанные в боковых улицах, флажок внука Сюшара, даже цветы, яркие, беспокойные цветы осени — астры, георгины, хризантемы.

Мадо спросила Лежана:

— Как у Берти? Продержатся?..

— Думаю, да. Завтра у них собрание. Там будут и делегации. Хорошо, если ты выступишь от федерации женщин.

— Не могу,— меня посылают на Север: нужно организовать отправку детей горняков.

Он улыбнулся: ясно, что Мадо должна быть теперь на Севере... Он как-то ей сказал: «Знаешь, с тобой я не чувствую, что война кончилась. У всех был какой-то разрыв, люди мучительно переходили к новой жизни, многие в сорок пятом растерялись, скажу прямо, раскисли. А когда я с тобой, мне кажется, что ты — Франс, я — Люк и что мы встречаемся, может быть, в последний раз... Ты живешь, как в маки́...»

Лежан ошибался, думая, что Мадо легко дался переход от войны к миру. Ее приподнятая, страстная натура нашла себе выход в суровой жизни маки́, в опасностях подполья, в повседневном риске. Мягкая, полная печального обаяния, она облегчала жизнь боевых товарищей, оторванных от своих семей, и, расставаясь с ней, помрачнели и Медведь, и Деде, и Чех, и Маноло, и Живе. А она, прощаясь с ними, едва сдерживала слезы. Медведь прислал как-то коротенькое письмо: рассказывал, что уезжает на Север строить заполярный город. Чех уехал в Прагу, Мадо получила открытку с видом старой башни и с надписью: «На память от скромного друга». Деде она видела, когда была в Лиможе; он потолстел, обрюзг; а в душе все тот же и так же выпячивает возмущенно нижнюю губу; учительствует; говорил, что у него много неприятностей, новый префект его ненавидит, идет травля коммунистов: «Сижу с детишками — ничего, объясняю, увлекаюсь, а вечером тоска берет — за что мы воевали?..» Маноло в Тулузе, мечтает о своей Испании. Иногда она видит Живе, он работает на заводе «Гном э Рон», такой

же вихрастый, веселый и непримиримый. Мадо знает, что связана на всю жизнь с этими людьми, с Лежаном.

От боев нужно было перейти к новому дню, а утро было серым, неприветливым. Мадо видела кругом измену, малодушие, несправедливость. Люди, которые во время оккупации заискивали перед немцами, богатели, трусливо отворачивались, встречая на улице неблагонадежного приятеля, теперь кричали о своем патриотизме, чернили коммунистов. Мадо часто вспоминала, как Мики пел перед смертью:

Другие встретят солнце,
и будут петь и пить
и, может быть, не вспомнят,
как нам хотелось жить.

Да, эти и пьют, и поют, радуются, что можно снова уехать на каникулы в Савойю или в Лимузин. Что́ им память о погибших? Они говорят, что в Опере выступает опять Лифарь, что скоро поступят в продажу американские сигареты, что в «Тур д'аржан» кормят, как до войны...

Была минута, когда Мадо растерялась; ее спасло то душевное горение, которое в самые страшные дни вывело ее из дома Берти. Она работала с такой же страстью, с таким же ожесточением, как воевала; работала в разных местах, делала все, что ей говорили,— в министерстве труда (ее пригласил туда министр Круаза), потом в Иври (там она устраивала ясли), в «Юманите»; организовывала женские комитеты, собирала деньги для семей стачечников, выступала на митингах. Ее роль была неприметной, но ее знали, и на митингах редко кто так потрясал сердца, как эта скромная женщина; а она волновалась перед каждым выступлением, как в школе перед экзаменами.

Знали ее и враги; может быть, они преувеличивали ее роль; может быть, их возмущало, что эта женщина вышла из их среды, была дочерью сибарита Лансье, женой Берти, но ее ненавидели. Нильс не случайно заговорил о ней: для людей, с ним связанных, она была пугалом, «новой керосинщицей».

И врагам и друзьям она казалась спокойной, уверенной в своей силе. Никто не знал, как трудно ей даются бодрость, приветливая улыбка, слова ласки и надежды.

Все устроились в этой призрачной и все же подлинной жизни, нашли своих близких или обзавелись семьями. Товарищи часто говорили о женах, подругах, детях. По вечерам тенистые бульвары Араго или Пор-Рояль были заполнены шопотом влюбленных. На площади Итали вертелись карусели, лихо и печально всхлипывала шарманка, девушка сжимала руку любимого. Только в эти годы мира Мадо поняла, как она любила Сергея, кажется все ему отдала, больше ничего не будет, не может ничего больше быть...

Она подружилась с Пьером Годэ; это был молодой талантливый историк; он писал иногда в «Юманите». Мадо было с ним легко; он хорошо рассказывал о макѝ — он воевал в Савойе, говорил о литературе, высмеивал модных авторов. Чем-то он напоминал ей Сергея. Может быть, сочетанием взволнованности с легкой, почти незаметной усмешкой? Они часто встречались, вместе ходили на собрания, сидели в маленьких кафе, спорили, вспоминали, толковали о будущем.

Мадо заметила, что Пьер слишком часто, слишком настойчиво смотрит на нее. Она хотела объясниться. Он ее опередил. Они шли вечером по набережной; на барже кто-то печально пел; пахло сырыми листьями, осенью; Пьер не выдержал, обнял ее. Она отстранилась и ласково, но с необычайной убежденностью сказала: «Не нужно, Пьер... Я люблю другого».

Потом она подумала: но ведь Сергея нет... И все же Сергей был, он жил в ее сердце, напоминал о себе и теми мыслями, которые ее приподымали, и площадью Сталинграда, где она бывала почти каждый день, и тысячами дорогих ей мелочей. Ни разу не решилась она сесть на скамейку под каштаном, где они сказали друг другу столько горьких и нежных слов, но всякий раз, проходя мимо, она улыбалась, видела — сидят двое, он ее целует, а она, счастливая на всю жизнь, шепчет: «Сергей... Мой Сергей...»

Мадо уехала вечером, после похорон Сюшара. Тот же Северный вокзал — здесь она проводила Сергея... Люди возвращались с каникул. Какая-то женщина смеялась: «Андрэ скажет — приехала мулатка, так я загорела...» Мадо провожал Клод, он говорил: «Будь осторожней,

Мадо, эти бандиты потеряли голову...» Потом тоскливо вскрикнул паровоз.

Она приехала в шахтерский поселок рано утром. Все кругом было черным — и грустные кирпичные дома, и канал, который дрожал под мелким непрерывным дождем, и сам дождь, и небо. Мадо спросила, как пройти к мэрии. Старая женщина сказала:

— Направо. Только вы не пройдете... Господи боже, и кто это придумал — воевать против своих?..

Пустая длинная улица; изредка выглянет из черного закопченного дома ребенок, светловолосый, светлоглазый, с лицом, не по возрасту озабоченным, и тотчас скроется. Закрыты наглухо почта, кафе, лавчонки; поселок как будто вымер. Мадо завернула за угол и остановилась. Конечно, она читала газеты, видала в «Юманите» фотографии, все же этого она не могла себе представить. Несколько тысяч горняков перегородили баррикадой широкую улицу, которая вела к шахтам. Навалены бочки, ящики, мешки, телеграфные столбы, рухлядь. На баррикаду идут «CRS» с автоматами. А у рабочих только камни...

Шахтеры ждут молча. У некоторых на лицах черные жилки, они напоминают, что эти люди прожили полжизни под землей, с отрочества привыкли к взрывам, запалам, смерти.

Старый шахтер взобрался на верх баррикады. У него суровое темное лицо, а усы седые.

— Вы бы в шахты спустились, дармоеды...

Все произошло настолько быстро, что Мадо не успела опомниться; была минута, когда ей показалось, что она в маки́, рядом Деде, Медведь, Мики... Старый шахтер схватился за грудь и рухнул. Полетели камни. Жандармы бросали ручные гранаты. Не помня себя, Мадо кинулась к баррикаде, взобралась наверх, туда, где стоял старый шахтер, крикнула:

— Стойте!..

Снова раздалась очередь автомата. Потом сразу все смолкло. Жандармы не решились итти дальше; офицер позвонил в Бетюн: «Пришлите броневики...»

Черные дома, черный дождь, черное небо. Мадо в пустой холодной комнате перевязывает раненых; она часто

делала это в маки́, и ее руки ловко управляют бинтами. Ласково спрашивает она седоусого горняка:

— Болит?

Он качает головой:

— Нет. Дышать трудно... А ты видишь — они не прошли.

21

Мадо работала с утра до поздней ночи: рабочие организации, муниципалитеты сообщали, сколько детей они могут приютить; из Парижа, из Лилля, из Брюсселя приезжали мужчины и женщины, просили дать им на время стачки мальчика или девочку; это были рабочие, служащие, учителя, люди, которым жилось не сладко; они говорили: «Как-нибудь управимся...» Мадо распределяла детей, снаряжала, утешала: «Завтра ты увидишь море, большое и синее. В Марселе теперь тепло, как летом. А у дяди мальчик. На рождество вернешься к маме». Малыши быстро успокаивались; дети постарше уезжали с тяжелым сердцем: недалеко от поселка стояли танки, а дома было тихо, отец вместе с товарищами охранял шахты, мать, закусив губу, молчала; пустой буфет, пустые тарелки... Мадо провожала детей, и здесь же, на вокзале, ее останавливали приехавшие: «Мы за детьми».

Разные люди, Дюма и рабочие заводов Берти, Деде и Самба, Лежан и Маноло каждое утро в волнении разворачивали газету: держатся ли горняки? Забастовка, начавшаяся с требования повысить ставки, стала делом всех. На черных, закопченных домах Мадо видела написанные мелом слова: «Хлеб. Свобода. Мир». В комитет, где она работала, каждый день поступали деньги, собранные в разных городах Франции; люди отдавали половину получки, сбережения, отложенные на черный день, обручальные кольца, столовое серебро. К комитету подъезжали грузовики, украшенные флагами,— это крестьяне Прованса, Лимузина, Босс слали муку́, картошку, масло. Триста тысяч безоружных шахтеров сражались против армии с броневиками, с газами, с танками. Старый горняк Лакост говорил Мадо:

— В Монсо-Ля-Мин наши выкинули «CRS» из шахты, взяли в плен эскадрон с офицерами... У нас тоже неплохо, позавчера «CRS» захватили шахты в Денен, вчера их выбили. В сороковом эти господа улепетывали, теперь им хочется отыграться, воюют против рабочих... Посмотрим, чья возьмет.

В начале забастовки Нильс написал полковнику Робертсу, что больше двух недель стачечники не продержатся — так ему сказал Бедье. Шла пятая неделя... Бедье, приехав к Нильсу, завел разговор об Атлантическом пакте. Нильс рисовал на листочке бумаги елки, вдруг он прервал Бедье: «Вы настаиваете на линии Эльбы, а сами не можете справиться с безоружными шахтерами»...

Мадо жила странной жизнью — среди детского гомона и грохота танков, среди сдержанных слез и очередей пулемета. Вывешивали сводки: «Шестнадцать шахт захвачены Моком, сто семь в наших руках. Вчера в Викуань «CRS» прорвали нашу оборону, два товарища убиты, семь ранены. В районе Денен атаки марокканцев отбиты». Чуть ли не каждый день хоронили погибших. На окраине поселка стоял отряд «CRS», там ночью пили, пели, и рев солдат врывался в тихие черные дома. Мадо знала, что людям легче бороться, если их дети спасены от голода, и все же ей было трудно — кругом шли бои, а она не могла в них участвовать.

Было несколько беспокойных дней: «CRS» удалось захватить шахты. Поползли слухи: «Везут желтых»... Лакост сказал Мадо:

— Вечером собираем народ. Люди приуныли. Понятно — шестая неделя... Ты умеешь говорить, скажи им несколько слов, нужно приподнять людей...

В начале забастовки на собраниях бывало шумно, люди кричали, пели. Теперь они стояли молчаливые, хмурые. Говорил сначала Лакост:

— Тридцать четыре года я работаю внизу. Я пережил много забастовок, а такой не видел. Весь народ с нами, это их бесит. Я вам скажу, кто прислал Моку газы — американцы. Шарль Ледюк ослеп, это — страшное преступление. Я у него утром был, он лежит с повязкой на глазах. Он мне сказал: «Я и без глаз вижу, чья это работа»... Они хотят нас уничтожить, знают, что мы не пойдем воевать.

Бандиты Мока разрушают шахты. Это мы бережем добро, а им наплевать... Мок думает, что он нас запугает. А разве танки дадут стране уголь? Дармоеды, лучше бы спустились вниз, взяли отбойный молоток... Вчера возле меня разорвалась граната. Мне пятьдесят девять лет, конечно я свое прожил, а умирать и мне не хочется, но уж лучше умереть по-французски, чем жить по-американски...

Из Анзена приехал шахтер Андрэ, который был в маки́ с Мадо; он ее представил:

— Четыре месяца я с ней воевал в одном отряде. Она ходила на все операции, мост с нами взрывала, когда брали Лимож, шла впереди. Я такой смелой не встречал. Когда мне сказали, что Франс здесь, вывозит детей, я подумал — вот как о нас заботятся... Ее звали в маки́ Франс, хорошее имя, она для меня — Франция...

Мадо очень волновалась, вначале едва могла говорить:

— Вчера мы отправили еще сто двадцать детей в Ниццу. Я читала много писем, их принимают, как своих, балуют... Когда мы были в маки́, Андрэ часто рассказывал про Север, но я только теперь поняла, какие здесь люди. Жизнь прожить в темноте, чтобы другим было светло... Все это понимают. Вчера мы получили письмо от одной старой женщины из Дуарненэ. У нее три сына погибли в сопротивлении. Она вложила в конверт пятьсот франков, все, что у нее было, пишет: «Тревожусь за шахтеров, как за моих детей...» Разве кто-нибудь напишет такое Моку? Нам шлют в комитет деньги из Бельгии, из Шотландии, из Италии, из России. Андрэ знает Медведя, это русский, он с нами сражался в маки́. Он рассказывал, как трудно было русским в сорок первом, в сорок втором. Но они выдержали... Сейчас люди сражаются в Греции. Вчера китайцы освободили еще один город. Нас много, очень много, теперь нас нельзя раздавить... Нужно только выдержать...

Когда Мадо кончила, кто-то крикнул:

— Прошу слова для предложения.

Лакост недоверчиво поглядел: уж не скажет ли, что пора кончать забастовку?.. Коренастый угрюмый человек прошел вперед и тихо, но отчетливо сказал:

— Вношу предложение — держаться.

Лакост обнял Мадо:

— Хорошо сказала, просто, а трогает... Погоди, почему у тебя глаза мокрые?

Она смутилась:

— Это тебе показалось.

Мадо себя потом упрекала: не могу научиться говорить, волнуюсь, ничего не получается... Она не знала, что ее слова тронули людей. Она выразила то, о чем они смутно думали: эти шахты — маленький участок фронта, а идет большое сражение, нужно только продержаться...

Возле шахт стояли жандармы; но на работу никто не вышел. Настроение у всех поднялось.

Неожиданно газеты занялись Мадо — нужно было отвлечь внимание читателей от зверств «CRS». Газеты писали, что Мадо послали на Север для диверсий, что она натравливает шахтеров на солдат, грозит колеблющимся. «Эклерер дю нор» поместила ее фотографию с подписью: «У этой женщины на совести сотни жизней». Превзошел всех Дюмон: «Нам говорили, будто эта особа убила своего мужа, руководствуясь политическими мотивами. Я не стану сейчас разбирать ошибки Берти — у мертвых есть право на молчание. Однако настало время громко сказать, что красная Магдалина интересовалась куда больше капиталами своего супруга, чем его политическими воззрениями. Корыстное преступление коммунисты пытались выдать за геройство. Сейчас эта лжепатриотка промышляет на Севере. Я надеюсь, что следственные органы вскоре установят, сколько русского золота она получила за то, что нанесла огромный ущерб нашей промышленности и лишила миллионы французов куска хлеба».

Статьи, посвященные Мадо, вырезывал и прятал Поль Мартэн, сын полицейского комиссара Мартэна, который был расстрелян в декабре 1944 года за то, что выдал гестаповцам голлистскую группу «Жанна д'Арк». Вдова Мартэн носила глубокий траур; ее можно было всегда увидеть в магазине надгробных памятников, который ей достался по наследству от отца. С нею жил Поль. Весной он сдал экзамены на аттестат зрелости; мать хотела, чтобы он поступил на юридический факультет, но он отвечал, что учатся только бараны, а он хочет жить настоящей жизнью. Почти каждый вечер он отправлялся в кино; гангстеры убивали богатых ротозеев, беззаботный шелопай

соблазнял красоток, среди гор Калифорнии шла охота на красных шпионов. Поль злился: в Америке люди завоевывают счастье, а в Лансе можно только корпеть и сдохнуть. Хорошо бы ограбить ювелирный магазин или познакомиться с дочкой миллионера... Он с ненавистью глядел в зеркало: на вид ему нельзя дать его девятнадцати лет, да и прыщи отвратительные... Он выклянчивал у матери деньги, шел в бар «Селект» и пил коктейли. Там он познакомился с молодыми людьми, которые, как и он, презирали «баранов»; но они увлекались не только кино, а и политикой. Поль Мартэн стал голлистом. Не раз он спрашивал себя: может ли сын полицейского комиссара, пренебрежительно отзывавшегося о генерале де Голле и за это заплатившего своей жизнью, пойти с теми, против кого боролся его отец? Он поделился своими сомнениями с одним из новых друзей, который ответил: «Зачем вытаскивать прошлое? Твой отец прежде всего ненавидел коммунистов, а кто может справиться с этим сбродом, если не генерал?» Поль успокоился: теперь я расквитаюсь с коммунистами, отомщу за отца. Стоило при нем заговорить о Москве, о Торезе, о забастовках, как его глаза, мягкие и растерянные, твердели. Вдова Мартэн как-то спросила сына, почему он зачастил в «Селект». Поль ответил: «Там наш штаб. Мы составляем списки коммунистов — нужно их убрать до того, как сюда придут русские». Он раздобыл револьвер и носил его в кармане.

Он не посвятил никого в свои планы: такие вещи делают, а говорят о них потом... Он долго глядел на фотографию Мадо. Убила сотни французов и улыбается!.. Случайно не она застрелила отца, но сколько друзей покойного комиссара пали от ее руки? Это враг номер один...

Поздно вечером Мадо шла из комитета по пустой длинной улице поселка. Раздался выстрел. Никто не выглянул из окна: подвыпившие жандармы теперь часто стреляли ночью, чтобы себя приободрить. Мадо не вскрикнула; только потом она почувствовала боль в левой руке. Поль целился в сердце, но стрелять он не умел. Пуля не задела кости. Выстрелив, он бросился бежать. В ста шагах нашли брошенный им револьвер.

Поль, не раздевшись, упал на кровать; всю ночь он не спал, а утром сказал матери: «Я поеду в Индо-Китай. Там

меня могут ухлопать, это не самое страшное, здесь я попросту сдохну, и ты поставишь на моей могиле ангелочка. Лучше дай мне пятьдесят тысяч».

Мадо вернулась в комитет; там ей перевязали руку. Прибежал Лакост:

— Как мы не досмотрели?.. Негодяи, стреляют из-за угла!.. Сейчас приедет хирург...

— Зачем? Это царапина... Я думаю о другом — у нас осталось всего восемнадцать тысяч, а завтра суббота, нужно раздать муку, кофе, сахар...

Приходили люди, возмущались, обнимали Мадо. Она была спокойна, даже весела, говорила о работе.

Только под утро, когда она осталась одна, ей стало не по себе. Она ходила по комнате, открывала и снова закрывала ставни, то и дело глядела на часы. Она сердилась на себя. Стыдно так нервничать. Ну что тут особенного? Какой-то фашист поцарапал руку. Мало ли было такого в маки́?.. В гестапо вела себя хорошо, а сейчас из-за какой-то ерунды расстраиваюсь... Может быть, тогда было легче, потому что Сергей жил? Это нехорошо, по-женски...

Она стала вспоминать, как мечтала в маки́, о Сергее, как встретилась с Медведем; он рассказал, что они воевали вместе... Она села к столику и на листочке, вырванном из конторской книги, начала письмо Воронову:

«Дорогой мой Медведь,

я тебе очень долго не писала, больше года, не знаю, где ты, как строишь твой город. У вас, наверное, уже холодно, снег, но ты — медведь, тебе это не страшно. Тебе ничего не страшно, я тебя знаю, ты мне помог понять, почему у русских все получается. Я пишу тебе из шахтерского поселка, у нас большая забастовка, партия поручила мне организовать эвакуацию детей. Наверно, ты знаешь из газет, что здесь вроде как в маки́ карательные отряды, даже танки. Горняки держатся замечательно, если ты прочитаешь, что правительство победило, не суди слишком строго товарищей, у нас тяжелая обстановка. Сейчас деньги кончаются, а осталось все же много детей, это драмы в каждом доме. Мок прислал марокканцев, идут бои. Не думай, что я — прежняя Франс, я здесь зани-

маюсь самыми мирными делами, прежде отсылала детей, а теперь устраиваю питательные пункты.

Как бы я хотела поглядеть на тебя, Медведь! Я часто мечтаю о твоей стране, может быть повезет и увижу Москву. Если ты переписываешься с матерью Сергея, напиши ей, что я о ней много думаю. Медведь, помнишь, как Мики пел: «Умрем с тобой мы рано, задолго до зари»?.. Его убили. Иногда я спрашиваю себя: а где заря? Кругом очень темно. Но это не так, достаточно поглядеть на шахтеров, я не преувеличиваю — они крепкие, как твои русские. Сейчас вся Франция приподнялась. Когда Торез сказал, что мы никогда не будем воевать против русских, люди почувствовали облегчение, говорили — это правильно, повторяли, как клятву. Вспомни, Медведь, Францию, ты видал здесь много дурного, но народ настоящий, правда?

Напиши мне про твой город. Сейчас поздняя осень, а мне почему-то он представляется светлым — в мае, когда там и ночи нет»...

Она отложила перо, вспомнила мастерскую Самба, встречу с Сергеем. Она тогда сказала, что хорошо жить на севере, где белые ночи. Он откинул голову назад, прищурился: «А зимой там круглые сутки ночь»...

Мадо подошла к окну, открыла ставни. Темно... Долго она стояла в оцепенении и вдруг вспомнила молоденького Вернье, как он кричал: «Да кто ему позволил стрелять?.. Да я за тебя их всех разнесу!.. Да разве они могут нас запугать!..» Ей стало легко. Она видела теперь и старика Лакоста, и Лежана, и Медведя. Сергей стоял в углу, он курил папиросу за папиросой. Она улыбнулась ему и уснула.

22

Рене Морило бросил на пол пустой пакетик от сигарет. Неужели он выкурил за вечер двадцать штук? Безобразие!.. Завтра нужно встать в семь, а он не ложится, знает, что не уснет, боится томительного полубодрствования, когда сон играет в прятки, подходит, путает мысли, туманит глаза и тотчас скрывается.

Утром Рене принимал в детском диспансере; больных было больше обычного. Он долго осматривал щуплую девочку, которая закусывала губы, чтобы не расплакаться; объяснял матери: необходимо изменить режим. Женщина кивала головой, потом сказала: «Муж работает два дня в неделю»... Диспансер помещался в рабочем пригороде, и дети, которых туда приводили, напоминали чахлые, искривленные растения, выросшие наперекор всему в глубоких, темных дворах. Рене все время чувствовал свое бесссилие: он не мог дать этим детям ни еды, ни солнца.

Из диспансера он пошел в лабораторию; он работал над морскими свинками, лечил искусственно вызываемый рахит. Как обычно, он записал в тетрадь данные. Подошел директор лаборатории, профессор Брюнель, и поздравил Рене с результатами. Профессор слыл человеком суровым, но отзывчивым. Рене сказал:

— Мы собираем на детей шахтеров. Там действительно отчаянное положение... Может быть, вы согласитесь что-нибудь пожертвовать?

Брюнель отодвинул лист:

— Они меня не спрашивали, когда начали забастовку. Пусть теперь выпутываются. А вам я не советую заниматься здесь политикой. Я это говорю, потому что вы ценный сотрудник. По-моему, вы можете опубликовать некоторые итоги — это позволит выпустить препараты. Мы приближаемся к полной победе над детским рахитом.

Кончив работу и наспех пообедав в маленьком ресторане, Рене пошел на собрание, организованное студенческой группой «Либерте». Предстоял доклад доцента Бюссара «Ценности Запада». Рене знал, что собрание будет бурным. «Либерте» создали голлисты, которые говорили, что они против вмешательства политики в академическую жизнь.

Бюссар начал туманно — о превосходстве Ариэля над Калибаном, о том, что «искусство — это особые приметы, которые озадачивают неопытного паспортиста», о том, что Франция сохранила дух Аттики. Он говорил тихо, иногда закрывал глаза, иногда выбрасывал вперед руки, как будто отталкивал низменного Калибана; когда он цитировал Валери, голос его дрожал, казалось, еще минута —

и он разрыдается. Но он стал говорить громче, отчетливей:

— Нашей цивилизации грозит Восток, подменивший идею ценности человека статистикой неисчислимых муравейников. Если Запад издавна провозгласил принципы терпимости, то Восток по своей природе фанатичен и деспотичен. Люди, населяющие Европу от Одера до Жиронды, с младенческих лет восприняли культ многообразия как идей, так и личностей, и вот на них надвигается грандиозная инфузория, оснащенная прекраснейшей техникой. Если мы не воспитаем в себе мужества, не приготовимся к отпору, придут советские гунны, и наша древняя Европа превратится в пустыню.

Докладчику аплодировали: в зале было много голлистов. Председатель дал слово Рене.

— К сожалению, я не понял, почему господин Бюссар говорит о терпимости Запада и нетерпимости Востока. Мне кажется, что инквизицию изобрели не русские и, насколько я помню, Гитлер не уроженец Москвы. Что касается инфузории, оснащенной техникой, то она существует. Достаточно вспомнить президента Америки, который произносит проповеди, рассчитанные на детей дошкольного возраста, и при этом кладет на кафедру атомную бомбу. Я согласен с господином Бюссаром, когда он говорит, что война превратит Европу в пустыню. Но господин Бюссар, занятый аттическим духом, не удосужился нам сказать, кто именно хочет этой войны...

Голлисты начали кричать, скандируя: «В Москву! В Москву!» Некоторые зацыкали: «Тише!» Бюссар неожиданно громко взвизгнул:

— Господин Морило, вы не на коммунистическом митинге. Разве стачка шахтеров — это не подготовка войны? Вы получили приказ из Москвы — дезорганизовать оборону Франции...

У Рене был зычный голос:

— Сейчас говорю я. То, что происходит на Севере,— действительно подготовка войны: американцы приказали Моку усмирить французов...

Несколько голлистов бросились на Рене; он их оттолкнул. Началась потасовка. Кто-то схватил стул и стукнул им соседа. Повалили пюпитр. Председатель попробовал

успокоить страсти, потом махнул рукой и ушел. Коммунисты окружили Рене; толпой они двинулись к выходу. На улице их ждали полицейские: «Разойтись!..» Одного студента полицейские уволокли. Рене сказал:

— Всегда так — начинают с Аттики, а кончают каталажкой...

Придя домой, он сел за работу — нужно было закончить статью о культуре Вьетнама.

До семи оставалось три часа, он не попробовал уснуть, говорил себе, что переработался, нужно меньше курить. Он не хотел признаться, что в беспокойстве, овладевшем им с лета, повинна Ивонн. Он мог о ней не думать и все же непрестанно ощущал ее присутствие; она и сейчас была в этой комнате, глядела на него, непонятно и мучительно молчала.

Он не был ни малодушным, ни слабым; покойный доктор Морило однажды ему сказал: «Если забыть анатомию, то у тебя вокруг сердца хорошие железные обручи»... Когда мать умерла, Рене было девять лет, брату Пьеру шесть. Доктор Морило разговаривал с сыновьями, как с равными, рассказывал им все, что может знать об изнанке жизни старый районный врач. Он возмущался несправедливостью, низостью, но, когда Рене спрашивал, как это изменить, отвечал: «Чем больше все меняют, тем больше все остается по-старому». Еще будучи подростком, Рене понял, что отец за иронией скрывает боль; он старался не обидеть старика, относился к нему покровительственно, усмехнувшись, как-то подумал: к отцу у меня отцовские чувства...

Братья жили дружно. Рене обожал Пьера, впечатлительного и хрупкого. Они были неразлучны до самой войны. Пьер умер в плену, и Рене до сих пор не мог поверить, что брата нет — отрубили часть его самого.

Рене тоже попал в плен, но убежал из лагеря. В Марселе он стал коммунистом, писал листовки, подделывал немецкие пропуска, участвовал в нападении на посты. В той же группе была двадцатилетняя девушка Николь, она перевозила листовки, а иногда оружие. Дни тревоги, засад, выстрелов сменялись затишьем; южное море тогда казалось особенно беспечным, и Рене не мог без волнения

глядеть на Николь. Она была смуглой, с синими глазами, с губами маленькими и пухлыми. Он не выдержал, сказал: «Мне нужно с тобой поговорить». Она улыбнулась: «Завтра у нас ничего нет, хочешь, пойдем вместе купаться?» Она не пришла в условленный час: ночью ее взяли гестаповцы. Ее пытали, загоняли иголки под ногти, кидали в ледяную воду, она молчала. Потом ее отправили в Равенсбрук; там она умерла. Одна женщина, которая после войны разыскала Рене, сказала: «Николь просила тебе передать, что жалела только об одном: почему ее не взяли на день позже».

Рене арестовали, отправили в концлагерь; его освободили русские. Вернувшись в Париж, он сдал экзамен, стал детским врачом. Он отдыхал на рабочих собраниях — ему приходилось каждый день встречаться с людьми, которые его ненавидели только за то, что он — коммунист. Доктор Лезанж ему сказал: «Я знаю, что вы мечтаете, как бы устроить здесь вашу «народную демократию». Лучше война, бомба, смерть, только не это»...

С Ивонн Рене познакомился случайно — в пригородном поезде; она поразила его своим видом. Ивонн часто обращала на себя внимание; было в ней что-то привлекательное и необычное — тонкая, бледная, с большими темными глазами, выдававшими изумление,— казалось, она не видит собеседника, а смотрит куда-то сквозь него. Она читала «Пармский монастырь». Рене заговорил о Стендале, это был его любимый автор. Ему казалось, что девушка его не слушает, смотрит не на него; потом она сказала:

— А мне страшно, когда я читаю такие книги... В детстве я была у бабушки, это в Савойе — маленькая деревушка, кругом горы. Я часто плакала от страха — такие они высокие, а я маленькая... Неужели бывают такие чувства, как у Стендаля?..

Поезд остановился. Она растерянно улыбнулась и затерялась среди толпы.

Рене часто вспоминал девушку, с которой ехал из Шантийи; мечтал ее встретить снова, вглядывался в лица женщин на улице; он не думал, что она окажется среди печальных посетительниц диспансера — она привела шестилетнего мальчугана. Рене его осмотрел:

— Ничего страшного, обыкновенная свинка... Неужели это ваш сын?

Она улыбнулась:

— Нет, братишка. Но у меня мог быть такой сын — мне двадцать шесть лет.

Они изредка встречались. Ивонн работала в архитектурной мастерской, время от времени Рене ей звонил — предлагал пойти в театр или посидеть в кафе. Она оказалась не призрачной, как ему почудилось в поезде, много работала, умела шутить, смеяться, своими будто невидящими глазами подмечала любую мелочь жизни. Рене узнал, что отец ее был учителем; когда немцы забрали двух еврейских мальчиков, он сказал: «Вы не люди»; его отправили в Бухенвальд, оттуда он не вернулся. Ивонн содержала больную мать и брата. Он узнал также, что она любит математику и очень непрактична, кокетлива, но в душе считает, что не может никому понравиться. Он говорил себе: удивительно, почему я не могу понять — говорит она всерьез или шутит? Она сказала мне, что завидует своим сверстницам, которые участвовали в сопротивлении: «Я была еще глупая, ничего не соображала»,— сказала искренне, чуть ли не со слезами. А вчера я заметил на ее правой руке выше локтя большой шрам. Она сначала не хотела объяснить, потом сказала: «Это глупость. Когда были немцы, один знакомый попросил меня спрятать ящик, я не знала, что там. Пришли из гестапо, они хотели узнать, кто мне это дал, я не могла сказать... В общем пустяки». Она со мной часто спорила, говорила, «у коммунистов все разлиновано — черное или белое, а в жизни не так». Спрашивала, почему мы в сороковом были за пакт, в сорок пятом — против забастовок. Мне казалось, что она не с нами. А когда была демонстрация, она пошла со мной, полицейские разгоняли, и она бросилась на одного — он хотел ударить старика...

Думая об Ивонн, Рене возвращался к одному: почему она не замечает моих чувств? Может быть, у нее есть другой? Она смотрит ласково, но стоит мне дотронуться рукой до ее руки, как она становится далекой, даже суровой.

Они шли вечером по холодному пыльному бульвару окраины. Рене неожиданно для себя сказал:

— Ивонн, вы думаете иногда о счастье?

— Не знаю... Помните картину Жерико «На плоту «Медузы»? После крушения. Эти спаслись... А как было на «Медузе» за час до шторма? Наверно, девушка глядела на море, улыбалась. Человек стоял рядом, говорил про счастье...

— А разве нельзя быть счастливыми в бурю?

— Вы очень сильный, Рене.

— Есть сердце, чувства...

— В книгах.

Он почувствовал острую боль: оттолкнула... Холодный ветер кружил клочки бумаги, пыль.

— Не только в книгах. Я это знаю...

Его голос прозвучал сухо, почти враждебно. Она простилась, исчезла в темной дыре метро. Он шел назад по тем же неприветливым бульварам и уныло, навязчиво думал: вот и объяснились. Теперь по крайней мере все ясно: не любит.

Ивонн жила за городом. В полутемном вагоне она отворачивалась от соседей; ей казалось, что глаза ее выдают, все видят, до чего она несчастна. Почему она придумала, что нравится Рене? Глупо. Просто он добрый, увидел, что она к нему тянется, не захотел обидеть. А сегодня признался: любит другую. Наверно, она сильная, как он. С нею он счастлив и в бурю...

Дома Ивонн разговаривала с матерью, зашила курточку брата, помыла посуду, потом погасила свет. Ей казалось, что она не живет, а разговаривает, работает, раздевается уже мертвая.

На следующий день она все-таки ждала — вдруг он позвонит?

Он не позвонил. Он был зол на себя: нужно с этим покончить. Почему я все время о ней думаю? Я не школьник, мне тридцать два года. Есть работа, партия, друзья. Мы встречались четыре месяца, мог бы понять, что никогда она меня не полюбит, а я себя обманывал, это — ребячество. Вот и сейчас хочется позвонить. Ни за что не позвоню!..

Из лаборатории он поехал на митинг. Делегаты горняков говорили, что настроение хорошее, но нужна помощь — семьи забастовщиков голодают. Рене вместе со

всеми аплодировал, свистел Моку, волновался. Возвращаясь домой, он подумал: могу без нее. Кажется, я от этого освободился... Ночью он все же не спал: Ивонн глядела на него ласково и отчужденно.

Она все ждала, что он ей позвонит. Прошла неделя. Она снова ехала в темном поезде и вдруг всполошилась: что, если я его не поняла? Может быть, он сказал это про меня?.. Всю ночь она металась, то радовалась возможной ошибке, то издевалась над собой: опять придумываю. Два дня она проходила как в лихорадке, наконец не выдержала, написала Рене:

«Я ничего не понимаю, делаю сейчас, кажется, самую большую глупость. Ведь так не поступают, все равно я должна это сказать. Я самая обыкновенная девушка, может быть немного глупее других, но я хочу счастья. Если это вас обидит или если это вам неприятно, бросьте письмо. Я вас все-таки поблагодарю за то, что вы были хорошим, за то, что вы существуете, это очень много. Вы мне не позвонили, наверно так надо, а я все время ждала, не сердитесь или побраните меня, я не могу иначе.

Ваша Ивонн».

Рене должен был встать в семь. Под утро он задремал и проснулся от шороха — под дверь просунули письмо. Он читал, перечитывал, проводил рукой по листку,— может быть проверял, не спит ли он, может быть гладил тонкую руку Ивонн.

Он развернул газету. Железнодорожники проголосовали за двадцатичетырехчасовую забастовку солидарности. Правительство заявляет, что транспорт будет действовать бесперебойно. Отряды «CRS» заняли Северный вокзал. Были стычки с желтыми и с полицией. Рене сиял: какие у нас люди! В прошлом году говорили, что рабочие раздавлены, все будет, как те хотят. Что они теперь скажут?.. С такими людьми никакие американцы не справятся... Он пришел в диспансер веселый. Доктор Лезанж сказал:

— Радуетесь? Видно, ваши московские друзья решили похоронить Францию...

Рене подумал: может быть, Ивонн добралась на машине? Он позвонил в мастерскую; ответили, что ее нет.

Нужно подождать до завтра... Но, кончив работу, он пошел к товарищу, у которого был маленький «ситроэн»: «Дай мне машину на вечер...»

Он долго искал дом на пустой, плохо освещенной улице. Наконец показалась какая-то женщина, объяснила: «Идите прямо, увидите большой корпус». Волнуясь, он подымался по винтовой лестнице. Дом был громким: детвора, кошки, радио.

Открыла дверь Ивонн, попросила подождать на лестнице. Радио хрипело:

Говорит ему Тонетт:
Не надейся — шансов нет...

Ивонн повязала голову платочком.

— Пойдемте — здесь мы не сумеем поговорить.

— У меня машина, можно поехать в Париж.

— Не могу — мама заболела, я должна скоро вернуться. Пройдемся немного... Хорошо, что вы приехали... Рене, я должна тебе все сказать...

На улице было темно и холодно. Они вышли из поселка. Ветер бил голые костистые деревья. Показалась мутная луна и быстро исчезла. Они перешли полотно; у моста стояли солдаты в шлемах; один крикнул вдогонку: «Нашли время гулять...»

Они шли по тропинке вдоль железнодорожного пути. Ивонн говорила о забастовке: с утра привезли солдат, в поселке неспокойно, боятся столкновений. Потом они замолчали. Вдруг Ивонн остановилась и, выбросив вперед руки, обняла Рене. Крикнул вдали паровоз. Показался красный, воспаленный глаз семафора. Она целовала Рене порывисто, поспешно, как будто боялась, минута — и его не станет.

23

Гарси спросил Нильса, как он смотрит на политическое положение. Нильс был осторожен, он знал, что самоуверенный тон его соотечественников зачастую шокирует французов.

— Правительство выиграло битву — забастовка выдыхается, это было последнее эхо прошлогодней грозы.

Коммунисты недаром нервничают, сейчас можно многое сделать...

Он не договорил, предложил сигару (они пили кофе после завтрака). Гарси взволновался: если Нильс скажет ему то, чего не сказал ни Бедье, ни Шуману, можно будет блеснуть в Бурбонском дворце...

— Вы не только знаете нашу страну, дорогой господин Нильс: вы ее лучше понимаете, чем мы. Ваши советы для меня особенно ценны...

— Что вы, господин Гарси! Разве я осмелюсь давать советы вам. Я просто делюсь впечатлениями, увы, поверхностными. Мне кажется, что коммунисты потерпели поражение. Не знаю, смогут ли силы порядка реализовать победу...

— Вы имеете в виду роспуск коммунистической партии?

— Нет, я не сторонник поспешных мер. Слишком много честных рабочих еще верят Торезу. Нужно им раскрыть глаза. Если хотите, я имею в виду шаги не столько запретительные, сколько просветительные. Я, например, не могу понять, почему газеты замалчивают преступления коммунистов? Представляю себе, что они натворили на Севере, ведь их излюбленные приемы — это террор и диверсия. Цель для них оправдывает средства, они не останавливаются перед убийством стариков или детей, если это может им помочь в игре...

Гарси подумал: партия Тореза им стала поперек горла, это хорошо, довольно они дрожали над кредитами...

Он закашлялся:

— Для того чтобы курить сигары, нужно спокойствие. До войны я защищал убийц, которым грозила гильотина. Жена тогда говорила, что я не человек, а клубок нервов. Что же сказать теперь, когда приходится защищать Францию от коммунистических убийц? Здесь вместо нервов нужны канаты.

Гарси ушел от Нильса несколько разочарованный. У него было свидание с журналистом Пелисье. Они сидели в кафе на Елисейских полях и вяло беседовали о событиях.

— Забастовка доживает последние дни,— сказал Пелисье.— Но говорят, что железнодорожники хотят

выступить, так называемая «солидарность». Это ничего им не даст, только немного замедлит восстановление...

— Игра Москвы,— вздохнул Гарси.— Мы не можем пойти на увеличение заработной платы: цены повысятся, и никто от этого не выиграет.

К их столику подошел Фабр. Его знали как одного из героев сопротивления; думали, что он выставит свою кандидатуру в парламент; но он отказался: «Я люблю дело, а не махинации». Он был директором крупной экспортной фирмы, встречался с депутатами, журналистами, как говорил Пелисье, «вертелся возле политики». Одни его называли «романтиком», другие «авантюристом».

— Как дела, Фабр? — спросил Гарси.

— Спасибо... Говорят, что американцы не очень-то нами довольны.

— Я сегодня завтракал с Нильсом,— сказал Гарси,— он понимает нашу позицию в русском вопросе. Его смущает другое... Все время он возвращался в разговоре к коммунистам.

Пелисье насторожился:

— Интересно, что думают американцы о запрещении партии?

— Нильс считает это преждевременным, он говорит, что нужно их скомпрометировать, показать, на что они способны.

Пелисье усмехнулся:

— Это мы знаем и без него.

Фабр внимательно выслушал рассказ Гарси, но не проронил ни слова.

Сын кадрового офицера, Фабр в молодости был летчиком; потом он женился на дочке крупного бразильского плантатора и вышел в отставку. Тесть сулил ему золотые горы, но Фабр не захотел покинуть Францию: чувствовал ответственность за ее судьбу. К власти пришел Народный фронт; рабочие захватывали заводы; премьер жал руку Кашену, франк падал, а депутаты пили аперитивы и перебранивались. Фабр решил, что время споров и голосований миновало. Он подбирал людей, обдумывал план захвата правительственных зданий. Попытать счастья он не успел: началась война.

Он пережил отступление, разгром. Он считал, что

Франция расплачивается за свои грехи, и все же не мог примириться с происшедшим. Его звали в Виши; он сказал жене: «Лучше сажать фасоль или разводить кроликов». Свыше года он провел в мучительном бездействии; потом он разыскал давнего сослуживца майора де Шантрона. Майор был связан с Лондоном. Он сказал Фабру:

— Сейчас самое важное — создать крепкие группы. Мы не будем нападать на немцев, нужно беречь силы, ждать высадки. Тогда мы сможем сесть за круглый стол, как равные...

Фабр поделился с майором своими сомнениями:

— Я давно бы связался с вами, меня останавливала мысль, что сопротивление наруку коммунистам.

— Конечно, они попытаются захватить власть, но нас освободят не русские. Если нам удастся создать крепкое ядро, их песенка спета.

Фабр договорился с майором и стал «Шатле» — одним из представителей лондонского БОА.

Когда война кончилась, Фабр занялся делами; многие полагали, что он охладел к политике. Но он продолжал думать о судьбе Франции. Он не вошел в РПФ, говорил, что голлисты — обыкновенная политическая партия, демагоги и комбинаторы. Положение представлялось Фабру угрожающим: правда, коммунистов выгнали из правительства, но за годы сопротивления они окрепли, это — государство в государстве. Фабр попрежнему считал, что важнее набрать кучку смелых людей, чем добиться победы на выборах. Картина, однако, была иной, чем десять лет назад: шла война против коммунистов. Фабр больше не мечтал о перевороте. Хотя он презирал людей, стоящих у власти, он готов был помочь им совладать с коммунистами; он понимал, что министры связаны конституцией, традициями, предрассудками. Фабр организовал четыре группы; участники одной не подозревали о существовании других.

Группа «Лютеция», наиболее крупная, боролась против забастовок. «Восьмерка» следила за лидерами красных и в случае надобности принимала соответствующие меры. Группа «Шатобриан» состояла из людей, которые могут полемизировать, выступать: ей было поручено обрабатывать перебежчиков, составлять разоблачительные доку-

менты, устраивать процессы. Четвертую группу окрестили идиллически — «Василек» (Фабр про себя называл ее «босяцкой»); она выполняла поручения, о которых Фабр предпочитал не рассказывать даже своей жене.

К группе «Василек» принадлежал Люшер, в прошлом владелец небольшого парфюмерного магазина. Это был человек лет сорока, с лысиной, которую он тщательно прикрывал жидкими прядями золотистых волос. Он казался воплощением благообразия и добропорядочности, но у него была азартная натура; накануне войны он увлекся политикой и стал рьяным приверженцем Дорио. Фабр знал, что Люшер отправился с «легионом» в Россию и едва спасся при отступлении от Борисова. Он как-то сказал Фабру:

— Конечно, это было глупо. Вы оказались куда дальновиднее. Мне нехватает политического образования... Но совесть моя чиста: я не убил ни одного француза, если не считать двух коммунистов. Зато я отправил на тот свет не меньше сотни русских. Там партизанили даже дети, так что в деревнях у нас хватало работы...

Люшер не вернулся к парфюмерии, его прельстил «черный рынок», он перепродавал американские автомобили, спекулировал на валюте, в первое время не брезгал даже такой мелочью, как сигареты. Он женился на миловидной, испуганной жизнью девушке, которая родила слепого сына. Он был хорошим мужем и утешал жену: «Он может стать знаменитым музыкантом, для этого не нужно глаз». Люди, знавшие его как коммерсанта, не могли себе представить, что есть у него скрытая страсть: он мечтал о подпольных организациях, об убийствах, взрывах, заговорах. Когда один из клиентов, купивший у него запасные части для «шевроле», познакомил его с Фабром, он понял, что нашел свое счастье. Он стал душой «босяцкой» группы.

Когда Гарси рассказали, что Фабр руководит тайной организацией, он рассмеялся:

— Чепуха! Наверно, это придумали коммунисты... Теперь не время кагуляров, детские игры кончены. Конечно, Фабр — романтик, но он серьезный человек, а не мальчишка. Я помню Шатле в годы сопротивления, через его руки проходило все лондонское оружие. Он сейчас

занят бразильским кофе, а не повторением «синих заговоров»...

После разговора с Гарси Фабр задумался. Нильс прав. Пелисье и Гарси не понимают, о чем он говорит. Они протухли со своими комбинациями. Мало подавить забастовку: нужно восстановить людей против зачинщиков. А что происходит? «CRS» стреляют в рабочих. Похороны, вдовы, слезы. Коммунисты зарабатывают ореол мучеников. Так мы их не уничтожим...

Фабр поехал к Люшеру, изложил ему свой план.

— Возьмите Гастона или Покарди.

— Лучше Гастона: он был в маки́.

— «Масло» есть?

— В порядке.

— Я сейчас справился, они набрали желтых, но мало — пойдут всего четыре поезда. Конечно, нужно пригнать к последнему. Это пассажирский на Компьен, он отходит в ноль двадцать. Листовки вам привезет Поль. Теперь скажите мне откровенно: справитесь?

— Можете не беспокоиться. Я вам говорил — мне нехватает политического образования, но работать я умею.

Люшер был уверен в успехе, он знал Гастона: этот не подведет. Все же он спросил:

— Можешь?

Гастон рассмеялся:

— Я, когда нам парашютистов сбросили, три состава искрошил. Там было труднее: повсюду посты. А это ерунда...

Ночь была ветреной, холодной, но Люшер от волнения вспотел. Нужно торопиться: до поезда сорок минут. Работал Гастон. Люшер следил, чтобы не накрыли: в поселке полно солдат. Он вдруг вспомнил, как пристрелил двух русских,— он поймал их возле полотна. Странная вещь — жизнь: чем только не приходится заниматься!..

— Ну что, готово?

— Минутку,— ответил Гастон.

Люшер подумал: хорошо, что одну листовку я наклеил в поселке, а то ветер — никто их не найдет...

Листовку написал Жарье из группы «Шатобриан»: «Мы протестуем против покушения на свободу забастовок. Правительство, пуская поезда с желтыми, совершает

преступление. Если жертвами станут невинные, то кровь их падет на Мока. Мы, коммунисты, снимаем с себя ответственность. Мы клянемся: ни один поезд не пройдет, пока продолжается забастовка солидарности. Да здравствует рабочий класс Франции! Смерть врагам народа!»

Люшер вздрогнул: ему показалось, что вдоль пути идут люди. Кажется, мужчина и женщина. Он хотел предупредить Гастона, но того уже не было. Люшер побежал. Кто-то крикнул: «Стой!» Тогда Люшер два раза выстрелил и побежал еще быстрее. Возле поселка, там, где они оставили машину, он увидел Гастона. Они помчались в Париж. Люшер был подавлен: он провалил все. Выстрелы, сбежались люди... Что он скажет Фабру? Его бесил Гастон, который, глупо улыбаясь, бормотал:

— Бывает... В маки́ тоже не всякий раз получалось. Это, как лотерея,— или да, или нет...

В редакции «Дерньер нувелль» царило оживление. Пелисье кричал:

— Переверстать первую полосу. Крупным шрифтом: «Неслыханное злодеяние коммунистов!»

Он диктовал стенографистке:

«Сегодня в 2 часа 25 минут пополуночи в районе Шантийи произошла страшная драма. Коммунисты привели свои угрозы в исполнение и положили на железнодорожный путь магнитную бомбу. Пассажирский поезд № 17 шел на Компьен. 218 пассажиров, среди которых были дети, должны были погибнуть от руки злодеев. Преступление было предотвращено скромной французской женщиной Ивонн Дешелле, которая проживает со своей семьей в поселке Прэ-де-Буа, в трех километрах от места происшествия. По словам матери, Ивонн Дешелле пошла в аптеку и неожиданно задержалась. Очевидно, она заметила злоумышленников и попыталась их задержать. Один из них выстрелил из револьвера. Пуля попала в грудь героини, которая сейчас находится в госпитале Шантийи в бессознательном состоянии. Владелица молочной госпожа Лебон, проживающая в Прэ-де-Буа, утверждает, что она видела, как человек пробежал мимо ее дома. Один преступник задержан на месте преступления, это врач Рене Морило, известный в XX округе Парижа как коммунистический агитатор. Он отрицает свою вину.

Отметим, что комитет коммунистической партии, а также союз железнодорожников, контролируемый партией Тореза, в свою очередь заявляют, что не имеют никакого отношения к покушению. Состояние Ивонн Дешелле внушает опасения. Драма в Шантийи вызвала огромное волнение. Каждый француз, каждая француженка спрашивают, когда будет положен конец черным действиям агентов Коминформа».

Гарси был потрясен: неужели они на это способны? А Рене Морило!.. Я знал доктора Морило, он был добрейшим человеком. Кто бы мог подумать, что его сын станет убийцей? И как может врач пойти на взрыв поезда с детьми?.. Их действительно нужно изолировать.

Нильс отчеркнул красным карандашом сообщение в газете и сказал секретарю:

— Передайте по телеграфу в первую очередь.

24

Еще находясь в Америке, Нивель часто говорил себе: вернуться с черного хода я не могу, но есть ли у меня шансы на успех? Найдутся люди, которые скажут: «А что господин Нивель делал в годы оккупации?..» Конечно, когда пришли немцы, я остался на своем посту. Но разве это — преступление? Я никого не выдавал, напротив — многих я спас. У адвоката Ложье нашли лондонские листовки, я воспользовался тем, что он попал в префектуру, листовки сжег, а его отпустил. Теперь он — депутат... Фабриканта Розена должны были отправить в Освенцим, мне удалось его вычеркнуть из списков. Я спас по крайней мере двадцать человек. Я не поручился за внука госпожи де Портай: она пришла в неудачный день, но я все-таки попросил полковника фон Галленберга учесть возраст мальчишки. Я не виноват, что они его убили. Впрочем, никто не знает, что я говорил фон Галленбергу... Против меня одно: я написал статью в «Эвр». Правда, я выступал только против большевиков, не затрагивал ни союзников, ни голлистов, но это было глупо. Что я могу сказать в свое оправдание? Статья написана весной 1942 года, тогда многое еще было неясным. Я поэт, а не политик. Потом

я раскусил немцев, удрал от них в Швейцарию. Кто сможет доказать, что немцы меня выпустили? Полковник фон Галленберг убит, а пропуск я сразу уничтожил. Я сказал тогда же журналистам, что я французский патриот и жду спасения Франции от победы Запада. Можно посмотреть книгу стихов, которую я выпустил в Париже, там нет ни слова о политике. Говоря откровенно, я переоценивал силы Гитлера, это ошибка, но не преступление...

Пробыв в Париже две недели, осмотревшись, Нивель успокоился. Правда, в «Се суар» поместили статью «Вороны слетаются»; автор ее говорил, что Нивель — «вульгарный предатель», что в Америке он «перекрасил своего пегаса», что он «называл гестаповцев полубогами, а теперь произвел в боги своего тестя». Нивель, возмущенный, отбросил газету: он не понимал, что эта статья сослужит ему службу: никто больше не интересовался годами оккупации, а нападки коммунистов показывали, что Нивель — крупная фигура. В фойе Оперы он встретил одного из министров, с которым был знаком до войны. Министр горячо пожал его руку: «Я читал, что пишут о вас коммунисты. Это вас только украшает. Что им наша культура? Их приводит в восхищение лепет албанского чабана».

Устроившись, Нивель пригласил к себе нескольких писателей, двух депутатов, Дюмона, Гарси. Он боялся, что приглашенные найдут предлог для отказа. Все, однако, пришли. Мэри любила швырять деньгами, и гости, привыкшие к крохотным сэндвичам и посредственному портвейну, были приятно поражены пышным ужином. Это помогло дому Нивеля стать модным.

Нивель принимал по четвергам; политические деятели у него встречались с поэтами-леттристами, читавшими стихи на заумном языке, рядом с художниками, адептами абстрактной живописи, можно было увидеть солиднейших финансистов. Салон Нивеля нравился не только пестротой общества, но и царившей в нем свободой суждений. При всяком удобном случае Мэри обличала Америку. Хозяин, чуть улыбаясь, говорил, что его жена преувеличивает, что нельзя судить обо всех американцах по плантаторам Миссисипи, но в свою очередь рассказывал смешные истории, показывавшие, до чего примитивны и безвкусны люди

Нового Света. Среди приглашенных всякий раз бывали соотечественники Мэри; поддаваясь стилю дома, они тоже высмеивали нравы Америки. Даже Нильс, который в один из четвергов заехал к Нивелю, добрый час поносил американское искусство. Уходя от Нивеля, французы испытывали удовлетворение: как-никак мы сохранили свободу мысли. Может быть, у нас и плохая армия, но пусть американцы знают, что мы умеем пользоваться нашим оружием — иронией...

Для Нивеля четверги были не забавой, а делом: он понимал, что вопросы, связанные с «Трансоком», легче разрешить за ужином, в непринужденной беседе, нежели в чересчур торжественном кабинете на улице Пирамид, где обосновалось его агентство. Нивель быстро организовал размещение статей об Америке в больших французских газетах. Но, думая о затее тестя послать француза в Москву, он зло морщился: право же, только сидя в Вашингтоне, можно придумать этакую глупость! Русские не пустят к себе человека, который выступал против красных,— это понятно. Да и марка «Трансок» — вряд ли рекомендация для Москвы... Лоу говорил о «розовом» французе; может быть, такие и были в девятнадцатом веке,— эта порода давно вывелась. Социалисты ненавидят большевиков, пожалуй, больше, чем сторонники генерала. Но даже если я найду журналиста, которого русские впустят, как ему сказать о планах сенатора? Ведь рыжему мало статей, он жаждет завести в Москве знакомства. Очевидно, полковник Робертс не очень-то доволен своей агентурой... А какой журналист, если он в своем уме, согласится выполнять поручения американской разведки?..

Сенатор слал письма: налажено ли дело с Москвой? Нивель был в скверном настроении; на очередном четверге он ни разу не улыбнулся, хотя приехал редкий гость — Бедье.

Бедье много говорил — о забастовке, которая подходит к концу, о драме в Шантийи:

— Для меня это все-таки загадочная история. Может быть, это — дело не партии, а отдельных фанатиков?.. Мне говорили, что Морило производил хорошее впечатление. Вот до чего доводит людей изуверство!..

Потом он перешел на переговоры с американцами: они предлагали линию Пиренеев, теперь они говорят о линии Рейна — это лучше, но и это опасно. Необходимо остановиться на линии Эльбы. Нивель слушал рассеянно, он думал о своем: рыжий решит, что я саботирую...

Бедье обратился к нему:

— Ваш «Трансок» может получить нечто сенсационное. Вы ведь знаете, что Саблон после войны не написал ни одной статьи о политике. Это сложная натура... Но коммунисты вывели из себя даже Саблона. Я его вчера встретил, вы не можете себе представить, в каком он состоянии. Он мне сказал, что русские хотят сделать из Франции еще одну «народную демократию» и что он пойдет воевать против красных, как воевал против немцев. Я убежден, что он согласится написать громовую статью. Его знают и в Америке, а для Франции это — бомба...

Нивель взволновался: он, кажется, нашел то, что нужно... Хорошо, что сегодня нет ни одного журналиста. И Нивель сказал Бедье:

— Это прекрасная идея. Я встречал до войны Саблона, по-моему, он не только блистательный эссеист: он смелый человек... Я вас попрошу об одном: не говорите ничего журналистам, пусть приоритет останется за «Трансоком».

Когда гости разошлись, Нивель начал обдумывать, как уговорить Саблона. Это человек с трудным характером. Он участвовал в сопротивлении, может отнестись ко мне недоверчиво... Потом он не жаден, деньгами его не возьмешь. Может быть, пощупать почву, подослать Шартье или Дево? Опасно терять время: если он напишет статью против красных, его не впустят в Москву...

После долгих раздумий Нивель решил рискнуть. На следующее утро он позвонил Саблону, попросил о встрече, не сказав, в чем дело. Саблон был вежлив, но сдержан и предложил Нивелю заехать к нему в пять часов.

В самую последнюю минуту Нивель вдруг похолодел от ужаса: что, если Бедье все придумал? Ведь врет он артистически... Но отступать было поздно, и Нивель поехал к Саблону.

У Саблона была репутация человека оригинального и независимого. В редакциях говорили: «Он пишет блестяще, но лучше с ним не связываться: такое отколет, что

от газеты ничего не останется»... Саблон впервые заставил о себе говорить в 1935 году, когда напечатал ряд корреспонденций из Африки; он показал, как колонизаторы эксплуатируют и уничтожают негров. Об этих статьях говорили повсюду, и правительству пришлось отозвать несколько крупных администраторов. Левые газеты хотели привлечь к себе Саблона: шла борьба Народного фронта против фашистов. Саблон, однако, увлекся проблемой самоубийств; его книга о последних часах отчаявшихся имела успех среди читателей, увлекавшихся модным тогда фрейдизмом. В начале 1937 года большая парижская газета предложила Саблону поехать в Бургос и показать читателям фигуры испанских националистов. Он согласился, но статьи его не были напечатаны: газета поддерживала Франко, а Саблон описал зверства фалангистов, разгул невежественной военщины, руководящую роль немцев. Накануне войны он опубликовал книгу о тюрьмах для малолетних преступников, взволновавшую сотни тысяч читателей.

Сержант армии, Саблон чуть было не попал в плен; его спрятала крестьянка. Он застрял в южной зоне и там примкнул к группе «Ля патри». Он выпускал подпольную газету; его арестовали случайно: искали людей, похитивших продуктовые карточки. У Саблона нашли недописанную статью для газеты. Гестаповцы его пытали четверо суток, он никого не выдал. Его отправили в Освенцим, чудом он выжил.

Очерки Саблона о лагерях смерти имели шумный успех; их перевели на разные языки; в Нью-Йорке ему присудили крупную литературную премию. Его начали зазывать все большие газеты, но он отвечал, что статей не пишет. Он работал над книгой об особенностях национальной культуры.

Одни подозревали его в скрытых симпатиях к коммунизму, другие говорили, что он фашист особого толка, третьи удовлетворялись ссылкой на его скверный характер. В действительности Саблон представлял собой помесь анархиста с либералом прошлого столетия (хотя ему было всего сорок четыре года), он говорил: «Мне нравится режим, когда его не чувствуешь, как разношенные ботинки...»

Нивель оглядел небольшую комнату, заваленную книгами, различными сувенирами, привезенными Саблоном из Африки, из Китая, из Южной Америки. Хозяин что-то писал. У него было красное, обветренное лицо, седые волосы бобриком; изо рта он не выпускал коротенькой трубки.

Нивель не знал, с чего начать. Если Бедье выдумал, он меня выкинет...

— Вы недавно из Америки? — спросил Саблон.

— Полтора месяца...

— Ну, что там говорят?.. О войне?

— Американцы не любят нюансов, они прямолинейны, они считают, что война неизбежна.

— Они правы. Меня сводит с ума беспечность французов. Неужели после Праги, после блокады Берлина, после военных приготовлений Москвы кто-нибудь может сомневаться в том, что русские нападут?..

Нивель облегченно вздохнул: Бедье не выдумал.

До войны Саблону часто предлагали выступить против большевиков; он отвечал: «Я в Москве не был. Судя по всему, советское государство — левиафан. Мне это не нравится. Но никто меня не заставляет жить в Москве. Я предпочитаю протестовать против пакостей, которые делаются в нашей стране или по нашей указке...»

Теперь он писал статью о русской опасности. В перемене, которая с ним произошла, сыграл немалую роль один из участников группы «Ля патри», инженер Баннелье, при каждой встрече говоривший Саблону о замыслах русских. Баннелье привел к Саблону старого пражского профессора, и тот весь вечер рассказывал, как коммунисты захватили власть: «Теперь вы не достанете в Праге вашей книги о самоубийцах. Читать ее — государственное преступление: ведь психоанализ — это оружие Уолл-стрита». Тот же Баннелье показал Саблону секретное донесение Второго бюро, в котором говорилось о дислокации советских танковых дивизий для быстрейшего продвижения к Атлантическому побережью. Баннелье сказал: «Это уж не предположения, а номера дивизий». И Саблон воскликнул: «Но что думают наши? Мы должны готовиться к отпору!..»

Незадолго до разговора с Нивелем Саблон пережил бурный вечер: он поссорился с молодым биологом Гаро,

также участником «Ля патри». Гаро недавно вступил в коммунистическую партию и был охвачен страстью прозелита: он доказывал Саблону, что существование нескольких партий несовместимо с моральным единством народа, что надклассовой науки нет и не было, что французское искусство выродилось. Гаро был уверен, что Саблон, побежденный его доводами, станет коммунистом. А Саблон вдруг вскипел:

— В общем я не вижу большой разницы между тобой и нацистами.

Гаро возмутился, обозвал Саблона «фашистом», сказал:

— Ты что же, хочешь воевать за американцев?

— Я вообще не хочу воевать. Но если русские нападут, я не опоздаю на призывной пункт. Я уже пережил Мюнхен, второго мне не нужно. А вот Торез сказал, что вы не будете воевать против русских...

— Не будем.

— Даже если русские придут сюда?

— Русские на нас никогда не нападут. Если они придут сюда, то только как освободители...

— Вы — изменники, пятая колонна.

Бедье на этот раз не солгал: Саблон готов был приветствовать американцев.

Нивель коротко сказал о задачах «Трансока»: помочь людям разных стран узнать друг друга, превратить союз штабов в союз народов.

— Вы сами понимаете, как трудно узнать, что делается в Советской России. Железный занавес — не слова, они действительно отгородились от мира. Только вы можете пробить стену. Вы никогда не выступали против большевиков, больше того: вы обрушились на нашу колониальную политику, на Франко... Они не осмелятся отказать вам в визе. Вы посмотрите, а потом опишете, что увидели.

Нивель ждал отказа, в лучшем случае долгих переговоров. Саблон сказал:

— Резонно. Сначала нужно посмотреть, а потом описать. Когда вы пришли, я сидел и писал открытое письмо всем миролюбивым людям, я говорил, что Москва грозит миру непоправимой катастрофой. Вы видите: я бросаю

эту статью в корзину. Будет во сто раз убедительней, если я скажу то же самое, побывав в Москве...

Нивель удовлетворенно улыбнулся и тотчас нахмурился: самое трудное впереди. Рыжий спросит: какие вы ему дали инструкции? А Саблон не Костер, одним словом можно все испортить... Нивель решил: скажу вкратце о затее рыжего, не стоит сейчас посвящать его в детали, это сделает де Шомон.

— Нет ни одного яркого описания Советского Союза, общие места. Понятно: приезжает иностранный журналист, кого он видит в Москве? Дипломатов и переводчиц, а переводчицы состоят на полицейской службе. У вас будут другие возможности. Они перевели вашу книгу о детских тюрьмах. В Москве знают, что вы не желтый репортер и не агент разведки. Вы сможете встретиться с представителями интеллигенции. Наше посольство обладает большими материалами... В России есть люди мыслящие, они хотят договориться с Америкой. Вы сможете их расположить к себе, узнать, что они думают. Разве это не долг каждого честного писателя?.. В нашем посольстве есть очень любезный секретарь де Шомон, он в Москве три года, он вам поможет... Нужно только быть очень осторожным. Зачем подвергать риску русских, которые нам сочувствуют? Хорошо будет, если, поговорив по душам с человеком, который возмущен, как мы с вами, подготовкой войны, вы расскажете об этом де Шомону. Он сможет проследить, не приключилось ли чего-нибудь с вашим собеседником.

— Что же, и это резонно,— ответил Саблон.

Нивель был счастлив; он наговорил Саблону множество любезностей и хотел откланяться, когда хозяин сказал:

— Я буду с вами совершенно откровенен. Помню, когда мы были в подполье, кто-то сказал, что поэт Нивель работает с немцами. Я тогда подумал: его следует убить. Потом мне попалась в руки ваша книга, и я понял, что вас оклеветали. Я не понимаю вашей поэзии, но это к делу не относится, вы — поэт и вправе писать, как вам нравится. В сорок третьем я думал, что между нами пропасть, а вот мы беседуем, понимаем друг друга, решили вместе работать... Политика — низкая вещь. Меня назы-

вали коммунистом, а я попросту не хотел, чтобы поганый делец убивал негров... Я не могу притти в себя от этой истории с поездом. Если все это правда, то с коммунистами нельзя больше разговаривать. Месяца два назад я был на одном докладе, там выступал Морило. Он говорил спокойно; мне показалось, что это хороший человек. Неужели никому нельзя верить?.. Я был в Освенциме, и меня освободили русские. Я не мог им ничего сказать: они не понимали по-французски, но я обнял одного солдата. У него было чудесное лицо... Разве я мог тогда подумать, что три года спустя русские составят план захвата Европы?.. Как можно после такой ужасной войны готовить новую? Иногда мне кажется, что все сошли с ума. Стихии разбушевались...

Нивель крепко пожал его руку:

— Попытаемся их унять.

Вечером Нивель написал сенатору: «Для Москвы я нашел Саблона. Это не Дюмон, о котором вы писали. Дюмона здесь расценивают, как в Америке Костера. Что касается Саблона, то это лучший журналист Франции и человек с незапятнанной репутацией. Он согласился проверить настроения в различных кругах. Вы можете сказать полковнику Робертсу, что Саблон будет в постоянном контакте с секретарем нашего посольства де Шомоном. «Трансок» сегодня одержал крупную победу...»

Кончив письмо, Нивель задумался: все-таки это дурацкая затея. Допустим, что Саблон нападет в России на недовольного, даже на десяток. Какой от этого толк?.. Если американцы решили воевать, глупо играть в бирюльки. Зачем возиться с несуществующей оппозицией, когда есть вполне реальная бомба?..

25

Валуа, торговавший картинами, произносил имя Самба с явным удовольствием: он купил до войны за бесценок свыше сорока его холстов, а теперь Самба достиг признания, и американцы платили за его картины большие деньги. Вышло несколько монографий, ему

посвященных; его картины можно было увидеть в музее современного искусства.

Первые годы после войны Самба много работал. Он редко вспоминал ту ночь, когда, глядя на Париж, отпраздновавший победу, он мучительно думал о судьбе искусства. Он не мог ни размышляя работать, ни работая размышлять. Он писал жадно и непосредственно, как дышал, пил, смеялся.

Он бродил по городу, еще не оправившемуся после тяжелой болезни. Ему нравились стыдливая бедность витрин, где выдумка заменяла товары, модницы в соломенных туфельках, тускло освещенные провинциальные улицы, на которых влюбленные спокойно целовались. Иногда он заходил в маленькие бары, слушал песни, ругань, слова веры. Ему казалось, что грозные дни, когда он строил баррикады или стрелял с крыш, продолжаются; город не смирился, он живет, работает, борется, и зимой в нетопленных комнатах людей согревает большая надежда.

В те годы Самба написал много пейзажей. Париж на его картинах был таким же, каким он знал его с детства, сине-сизым, лиловым, дымчато-оранжевым, с теми же морщинистыми домами, узкими, загадочными улицами и призрачной рекой. Но было в его Париже и новое; Лежан, поглядев на эти пейзажи, сказал:

— Странно, у тебя почти нет людей, а мне кажется, что это — Париж того августа. Раньше ты не так писал...

Самба перестал работать сразу: вдруг почувствовал неприязнь к окружавшим его холстам, повернул мольберт с начатой работой к стене и в тоске подумал: не то...

Жить вне работы он не умел, им овладела хандра. Это было летом 1947 года. Кругом говорили, что жизнь налаживается: больше товаров в магазинах, больше автомобилей на улицах, можно уехать к морю. Люди посолиднее добавляли, что полегчало от того, что из правительства убрали коммунистов, что американцы помогут Франции встать на ноги, что скоро все будет, как до войны. В рабочих барах люди угрюмо повторяли, что цены растут, что народ надули, что товарищи умирали не за такую Францию.

Самба как-то зашел к профессору Дюма и позавидовал: ему на двадцать лет больше, чем мне, а какой он молодой! Почему я не могу увлечься политикой, ходить на митинги, произносить речи? Это, наверно, помогает — дает человеку тепло. А у меня только моя работа... Искусство может стать всем, но для этого оно должно быть очень большим, оно заменяет жизнь, когда может изменить жизнь. Так писали Микель-Анджело, Гойя, Курбэ. А другое — это подделка, игра, милая, но пустая, хмель, за которым неизбежно приходит похмелье.

Самба поехал в Бретань: его пригласил инженер Бризар, страстный любитель живописи, у которого был домик на берегу океана. В первые дни Самба радовался ветру, огромным валам, которые шли на приступ, рыбакам в рыжих брезентовых костюмах, голубой паутине сетей. Потом он попробовал написать пейзаж, ничего не вышло; он сердито подумал: на море можно смотреть всю жизнь — не надоест, а изобразить его нельзя. Вероятно, писать можно только то, что неподвижно, а мы живем в эпоху, когда все вертится, несется, меняется...

К Бризару приехала его сестра Аннет, которую брат и друзья звали Ноно. Еще до ее приезда Бризар рассказал Самба, что она необычайно привлекательна, ее жизнь сложилась печально: она вышла замуж за инженера, который оказался грубым дельцом, она разошлась с мужем и почти нигде не бывает, пишет изумительные письма — она могла бы стать писательницей, это глубокая и страстная натура. Самба равнодушно слушал: после Мадо он не увлекся ни одной женщиной.

Увидев Ноно, Самба подумал: если бы я был настоящим художником, я ее написал бы. Чудесная модель... Ноно была невысокой, тонкой, с нежнорозовой кожей и золотыми, чуть рыжеватыми волосами. Все в ней было смутным и теплым, как летний день. Самба сказал:

— Вас мог бы написать Ренуар.

Она не ответила. Он подымил трубкой и ушел к морю.

Несколько дней он почти с нею не разговаривал; он даже не прислушивался к ее словам: она рассказывала брату о себе, о подругах, о каком-то домике со стеной, обвитой глициниями, на которой в жаркий полдень дрем-

лют ящерицы. Он усмехался: верещит,— но к морю больше не уходил.

Они договорились с рыбаком: поедут на паруснике. Бризар пил коньяк из фляжки, дурачился, рассказывал марсельские анекдоты. Ноно сидела спиной к Самба. Вдруг все потемнело, начался шторм. Парусник швыряло. Они накрылись брезентом, но волна его смыла. Бризар попробовал пошутить и замолк: его лицо перекосила гримаса страха. Старик рыбак поцеловал ладанку и крикнул: «Плохо...» Самба поглядел на Ноно: лицо ее было мокрым, как будто она плакала. Она ему улыбнулась и, прижавшись губами к его уху, сказала:

— Я сегодня счастливая...

Когда они вернулись домой, Бризар сказал, что плохо себя чувствует, и ушел к себе. Самба и Ноно обедали вдвоем на террасе. Он начал говорить о живописи, но сразу замолк. После обеда они пошли на скалы. Море еще судорожно металось, но ветер стих, показались звезды. Ноно сказала:

— Зачем я сюда приехала? Это ужасно...

Он ее обнял и начал целовать — жадно и просто, как он делал все в жизни.

Потом он спрашивал себя: чем она меня увлекла? Три недели казались ему одним часом, когда парусник метался среди валов, а маленькая женщина смутно улыбалась. Очарование исчезло так же внезапно, как пришло. Он вдруг увидел, что ее волнуют наряды подруг или их любовные похождения, что она говорит об искусстве, ничего в нем не понимая, путает Ван-Гога с Ван-Донгеном, что она себя считает умной, красивой и доброй, что рассуждает она, как его консьержка: «Когда же заставят наших рабочих работать?» Или: «Не будь Америки, коммунисты давно бы всех перестреляли». Он поглядел на нее с любопытством, как будто увидел ее впервые. Она не поняла его взгляда, шепнула:

— Я тебя буду ждать вечером.

Он замотал своей большой кудлатой головой:

— Не могу, письмо написать нужно... Да и вообще это кончено. Обидно, что я тебя не написал. Какой был бы портрет!..

Вернувшись в Париж, он оглядел свою мастерскую

и понял, что работать не сможет. Он и прежде бывал не в ладах с искусством, но никогда разрыв не был таким глубоким. Он говорил себе: можно написать хуже или лучше, ничего от этого не изменится. Газеты сообщали, что приехал Нивель. Говорят, что он крупный поэт, может быть, но он подлец, притом мелкий. У соловья по-особому устроено горло. Но почему он свищет? Хочет есть, или наелся, или зовет соловьиху, или она ему надоела? Когда я строил баррикаду и меня звали «гиппопотамом», я верил: все будет иначе, а ничего не изменилось. Пожалуй, стало тусклее и грубее: до войны был Лансье, теперь — Пино. А на десерт обещают атомную бомбу. Отвратительно! И я ничего не могу сделать. Могу написать еще десять пейзажей, их купят, отошлют в Нью-Йорк, какой-нибудь мерзавец умилится: «Очень тонкая живопись». А потом он начнет считать, сколько заработал на уране или на другой погани. Некоторые думают, что если изобразить Дюма, когда он выступает в «Вельдиве», люди опомнятся и вышвырнут американцев. Вряд ли. Дюма — замечательный человек, он умеет и заниматься антропологией и говорить речи. Но ведь Пино он громит на митингах, а не тогда, когда изучает своего питекантропа. Если я изображу бастующих горняков, забастовки, они от этого не выиграют, станет одной плохой картиной больше — и только.

Самба все мрачнел и мрачнел. Он начал много пить; утром забегал в бар и опрокидывал стаканчик коньяку; тогда он переставал думать об искусстве и, ласково поглядывая на встречных, гадал: этот, наверно, коммивояжер, обходит лавки, предлагает машинку, чтобы гофрировать морковь, никто не берет, но он насвистывает, не унывает, а та старушка на скамейке вспоминает, как полвека назад бегала на свиданье с кучером омнибуса: он ее катал на империале...

Он прожил год в глубоком оцепенении; даже внешне он сдал: обрюзг, поседел. В холодный январский день он встретил на улице Мадо. Она его не видала почти два года.

— Самба, милый, вы не больны?

— Меня изводит мое здоровье. Я мог бы работать, а вот не могу... Впрочем, это неинтересно... Мадо, зайдите ко мне, я ведь так рад, что вас вижу...

Мадо сразу согласилась. В мастерской она начала смотреть его работы. Он ничего не говорил, глядел на нее. Она сидела на высоком табурете, и Самба вдруг понял, что она — одна и всегда такая же: и когда писала о падучей звезде, и когда прибежала на свидание с русским, и когда стала партизанкой, и теперь. Он глядел на нее с восхищением; поймав на себе его взгляд, она смутилась.

— Самба, я уж не та Мадо...

Он почти крикнул:

— Неправда, та самая!

Взволнованный, он отошел в угол. Перед ним встала вся его жизнь — большая и несчастная любовь, работа, несколько знойных дней на улицах ощерившегося Парижа, год сомнений, немоты, отчаяния.

Неожиданно для себя он по-детски попросил:

— Мадо, посидите так... Недолго. Я вас очень прошу. Я должен вас написать — сейчас, обязательно сейчас.

Ему казалось, что он не сможет работать, он давно не держал в руке кистей; но он работал страстно, вдохновенно; иногда приговаривал: «Скоро кончу... Погодите...» Мадо думала о своем: о встрече с Сергеем, о ромашках, по которым гадают в начале жизни, о солдате, провоевавшем десять лет. Какое счастье я узнала в жизни, говорила себе Мадо, и отсвет давней, но живой любви придавал ее лицу особое выражение, потрясавшее Самба. Такой я ее никогда не видел, думал он, такой прекрасной и необычной. Если я не смогу этого передать, нужно отрубить мне руки...

Когда он кончил работать, он повернул холст к Мадо. Она тихо сказала:

— Я не знаю, похоже ли... Но это очень хорошо, Самба. Это замечательно...

Он поцеловал ее руку. Она уж собралась уходить, когда он сказал:

— Я никому не отдам этого портрета. Даже вам... Не думайте, что я хочу его запрятать. Я его пошлю в Москву, вашему русскому другу: я ведь думал о нем, когда работал. Вы, наверно, знаете, где он, а если нет, Лежан знает... Хорошо?

Ранние сумерки заполнили мастерскую. Самба не глядел на Мадо, он не видел, в каком смятении она ушла от него. Он просидел еще час перед портретом, а когда совсем стемнело, спустился вниз, зашел в бар и печально сказал:

— Госпожа Лябри, дайте мне двойной стакан коньяку. У меня сегодня большой праздник...

26

Узнав, что Пино едет в Дортмунд, Нильс подумал: этот обскачет всех. Стоит заговорить с Бедье или с Гарси о немцах, как они теряют чувство реальности. Французы не видят, что все на свете переменилось. Чем они сейчас заняты? Обороной? Нет, финансовыми скандалами: кто кому дал чек... Посылают нам ноты протеста: им, видите ли, не нравится, что предприятия Рура будут возвращены законным владельцам. Они не понимают, что им не к лицу привередничать. Умные люди, со вкусом, но выдохлись. Мы живем в удивительное время: последние становятся первыми. Этот Пино — грубый торгаш: он не способен отличить грошовую шкатулку, купленную в «Бон-марше», от старой лиможской земли; его супруга напоминает скрипучий деревенский шкап, набитый мукой и топленым салом; провести с ним вечер — пытка; но, право же, он лучше понимает положение, чем все их министры...

Хотя Пино сказал журналистам, что его поездка носит частный характер, никто этому не поверил. Дюмон поручил журналисту Лессеру сопровождать Пино:

— Конечно, подслушать, о чем они будут говорить, вам не удастся, но опишите обстановку, настроения, побеседуйте с обыкновенными немцами. Мы должны подготовить читателей к соглашению...

Лессер был худ, прожорлив и похотлив. Он считал себя писателем, вынужденным заниматься низким делом, хотя ничего, кроме газетных статей, не писал. Из кабинета редактора он вышел в минорном настроении: Дюмон снова ему подсунул неблагодарную работу. Пино не фигура, чтобы публика интересовалась, с кем он ужинает и какой на нем костюм. Все говорят, что кормят в Герма-

нии отвратительно. Остается одно утешение — немки, Бернар рассказывал, что попадаются довольно забавные...

Перед отъездом Лессер явился к Пино:

— Я надеюсь, что смогу как следует осветить вашу поездку, показать ее значение для Франции.

Пино посмотрел на журналиста, на его рыжие усики, зеленый галстук, пиджак в талию: кобель, честное слово, кобель, он у каждого фонаря подымет лапу и за это еще получит в кассе... Он сказал:

— Не забывайте, что я еду, как турист. Ничего серьезного. Вокруг да около, пожалуйста, я ведь знаю, что публика любит тары-бары.

Укладывая вещи мужа, госпожа Пино сказала:

— Тебе, наверно, неприятно разговаривать с немцами...

Пино обычно не замечал присутствия жены, хотя она весила девяносто два кило и обладала громким, скрипучим голосом. Ему казалось, что она — его продолжение. Он удивился:

— Почему неприятно? Конечно, когда они были здесь, я предпочитал с ними меньше разговаривать. Я помню, как Ширке старался залезть мне в душу, а он еще был лучше других... Но теперь положение изменилось. Я не собираюсь разыгрывать победителя, я хочу с ними поговорить по-деловому: когда лошади тащат вместе воз, глупо лягаться...

Приехав во Франкфурт, Пино огорчился: он не выносил зрелища развалин, невольно прикидывал: какие это убытки! Он успокоился, увидев на Ринге нарядную публику, а в витринах дорогие товары. Американцы заставят даже мертвеца покупать и продавать, это деловые люди. Он встретился с одним адвокатом, о котором говорили, что он должен войти в правительство. Адвокат — то ли потому, что не обладал темпераментом, то ли потому, что уже чувствовал себя министром,— отвечал коротко, загадочными вздохами или междометиями. Пино вернулся в гостиницу, прогнал Лессера, который крутился вокруг, и на следующее утро поехал в Дортмунд, где должен был встретиться с крупным промышленником фон Мальтцем.

Фон Мальтцу было шестьдесят два года, но ему нельзя было дать его лет; худощавый, подвижный, с иро-

нической усмешкой, он куда больше походил на француза, чем грузный, апоплектический Пино. В сорок пятом фон Мальтц пережил тревожные дни: его арестовали, хотели предать суду. Он всегда относился к Гитлеру сдержанно, считал его чересчур азартным и самонадеянным, но, разумеется, поддерживал нацистов: в его глазах они были порукой порядка. К правящей партии он охладел весной 1944 года, когда увидел, что крах неминуем. Он встретился с адмиралом Канарисом; они друг друга остерегались; но фон Мальтц понял из слов собеседника, что хорошо было бы договориться с союзниками и что Гитлер для этого не подходит. Фон Мальтц в свою очередь намекнул адмиралу, что следует торопиться, пока русские не подошли к границам Германии. Об этой беседе он рассказал английскому полковнику, который его допрашивал. Вскоре фон Мальтца освободили. Он считался авторитетным лицом и часто ездил во Франкфурт: с ним советовался генерал Даус.

Фон Мальтц был тонким гурманом, он пригласил Пино в загородный ресторан, известный немногим знатокам, угостил свежей лососиной, зайцем в сметане, вином Рюдесхейм 1921 года, которое хозяину удалось скрыть от англичан.

В конце обеда Пино сказал:

— По-моему, нам выгоднее договориться самим — до того, как нас заставят договориться. Мы — соседи, а все время ссоримся. Я не историк, я, как вы, деловой человек, я не знаю, кто виноват, но с этим пора кончать. Прежде мы могли себе позволить роскошь воевать между собой: тогда не было коммунистов. Вы видали последние телеграммы из Китая? Это катастрофа. Пока мы обсуждали и голосовали, они отхватили больше половины Китая. Вы знаете, что такое войны между Францией и Германией? Это междоусобные войны. А теперь у нас общий враг — русские...

Фон Мальтц улыбался, и Пино не понимал, одобряет он его или издевается.

— Видите ли, дорогой господин Пино, вы очень хорошо говорите, но не далее как в ноябре ваше правительство протестовало против возвращения рурских шахт и заводов их владельцам.

— Не нужно это принимать всерьез. Правительство вынуждено считаться с настроениями. Я знаю, что вы не одобряли политики Гитлера, вам легко понять, какие следы оставила у нас оккупация. Демагоги стараются на этом сыграть. Вы находитесь в лучшем положении: у вас коммунистов не так уж много, а во Франции каждый третий человек голосует за Москву. Однако я могу вас заверить, что наше правительство стоит за соглашение. Перед отъездом я говорил с Бедье, он мне прямо сказал: «Пока мы не договоримся с немцами, смешно рассуждать о единой Европе».

— А Саарский бассейн?

— Какая это мелочь, если поставить рядом Силезию, Померанию, Восточную Пруссию! Мы готовы вам помочь на Востоке...

— Я буду с вами откровенен: наш народ устал, разорен, он больше не верит посулам. Мы должны его приподнять, а вы нам в этом мешаете. Вы хотите получить наш уголь без нас, получить немецких солдат без немецких генералов. Вы плохо знаете немцев. Вас обманывают вежливые улыбки коммерсантов, пассивность уличной толпы, угодливость политических прощелыг. Послушайте, что говорят обыкновенные люди... Я вырос в Дортмунде, меня здесь знает каждый. Я могу сказать, что выражаю мнение простых немцев. Мы не хотим быть подопечными Америки, и, если вы действительно желаете с нами договориться, вы должны это сделать прямо, без посредников.

Пино поднял бокал из бледнозеленого хрусталя:

— Я с этого начал... Вы не Огайо, а мы не Флорида, мы старые европейцы. Выпьем за союз наших двух государств.

Они долго говорили о руде, об угле, о возможности создать большой франко-германский концерн, о том, что у американцев нужно брать деньги, но нельзя позволить им хозяйничать в чужих странах. Расстались они друзьями, и, увидев снова улыбку фон Мальтца, Пино подумал: нет, не издевается, просто у него такая манера...

Пино решил провести несколько дней в Дортмунде: осмотреть заводы, поговорить с инженерами. А фон Мальтц сразу после обеда с французом уехал во Франкфурт.

Генерал Даус был великаном с лицом обиженного ребенка; у него были бледноголубые, наивные глаза. Полковник Робертс говорил о нем: «Он неумен, но хитер, я его предпочитаю многим другим, которые любят пофилософствовать, но попадают на удочку русских. Внешность обманчива: генерал Даус — опытный плу́т».

Даус встретил фон Мальтца звонким переливчатым смехом: он всегда смеялся неожиданно и очень громко:

— Помните, как осенью русские сомневались в прочности «воздушного моста»? Скоро уж весна... Генерал Клей рассказывал, что берлинцы окончательно успокоились, ждут конца блокады.

Фон Мальтц усмехнулся:

— Берлину повезло, там вы показали куда больше решительности, чем здесь.

— Вы не правы, остановка теперь за немцами: нужно создать крепкое правительство.

— А для этого нужна ясность. У ваших друзей в Вашингтоне своеобразный слух: они не слышат голоса немецкого народа, доведенного до отчаяния, зато их волнует любой выкрик парижского краснобая. Ко мне приезжал Пино, хотел прощупать почву. Вы знаете, что он мне предложил? Заключить соглашение за вашей спиной.

Даус расхохотался:

— Вы меня простите, господин фон Мальтц, но это — ребячество. Что вам могут дать французы? Они сами давно перешли на роль просителей. А когда нищему не подают, он пробует шантажировать.

— Вы говорите, что французы ничего не могут дать нам. Это мы знаем. Но позвольте спросить, что они могут дать вам? Пино мне сказал, что, если теперь объявить мобилизацию, треть призванных охотно пойдет воевать — только не против Москвы, а за Москву. Вы скажете, остаются две трети. Вспомните, как в сороковом они распахнули двери перед нами. Если начнется война, они распахнут двери перед русскими. Они слишком любят жить, чтобы пойти на жертвы. Вы хотите их обязательно сохранить как союзников, хотя это бездонная бочка и армия дезертиров. Желая угодить Франции, вы восстанавливаете против себя Германию. Это плохой расчет.

В душе генерал был согласен с фон Мальтцем; он не раз писал Робертсу, что Западная Германия сможет выставить больше боеспособных дивизий, чем Франция и Англия вместе взятые. Полковник Робертс считал Дауса человеком немецкой ориентации. Но сейчас Даус рассердился: почему я должен выслушивать нотации фон Мальтца? Ясно, что он приехал ко мне не по своей инициативе: немцы торгуются и запрашивают. Если я не поставлю его на место, они еще больше обнаглеют. И Даус сказал:

— Ваши друзья каждый день приходят с новыми претензиями. То им нужно наше заявление о восточной границе. То они требуют Саарский бассейн. Мюллер вчера заявил, что не может войти в правительство, если не будет пересмотрен вопрос об ответственности Германии за начало прошлой войны. Все это, простите меня, неумно. Мы сделали для немцев больше, чем могли. Мы приняли решение о Руре против воли французов, настояли на создании Федеральной республики. Мы спасли от русских Западный Берлин. Вспомните, что здесь было четыре года назад... Я не хочу бередить старые раны, но одним росчерком пера прошлого не перечеркнешь...

Фон Мальтц улыбнулся. Даус злится, это неплохо. Пусть он сообщит в Вашингтон, что мы — плохие партнеры. В этой игре хуже всего оказаться хорошим партнером. Но злить генерала дольше не стоит: он умнее своих коллег, с ним нужно поддерживать дружеские отношения. Фон Мальтц перевел разговор на другую тему: Рур может стать арсеналом вновь созданной «европейской армии». Даус успокоился и, когда фон Мальтц сказал, что реактивное оружие важнее талантов Монтгомери, добродушно рассмеялся.

Фон Мальтц возвращался домой в машине. Он чувствовал усталость, лениво о чем-то думал и никак не мог понять, о чем именно. Неожиданно для себя он усмехнулся: я слишком давно родился. Я помню, какой простодушной и легкой была жизнь в конце века. Германия казалась прочной, как земля или как луна. Молодой кайзер приехал в Дортмунд, ему поднесли букет незабудок. В тот год дочка Келлера хотела утопиться, потому что не понравилась какому-то лейтенантику. Ее вытащили из воды,

а спасителю поднесли большой ореховый торт. Разве это не идиллия?..

Фон Мальтц стряхнул с себя полусон и поглядел в окошко: они ехали вдоль Рейна. С детских лет фон Мальтц знал, что Рейн не просто река, это руины замков, легенды, колдовство, святая святых Германии. Фрейлейн Келлер хотела утопиться от несчастной любви... А потом на берегу Рейна кричали сенегальцы. Теперь здесь Даус. Этот зазнавшийся хам распоряжается, как у себя дома. Ищут немцев для правительства, когда-то так искали управляющих или метрдотелей. Он вспомнил, как в школе пел:

Великий Рейн, немецкий Рейн,
Его себе вы не возьмете...

Взяли... Фон Мальтц тоскливо зевнул и снова припал к окошку. На глухой стене надпись: «Американцы, убирайтесь домой!» Рядом — серп и молот. Какая гадость, подумал фон Мальтц. Десять лет назад я верил, что Гитлер очистил страну от коммунистов. Он и в этом нас надул... Конечно, противно выслушивать наставления Дауса. Это все-таки лучше, чем получить русских... Кому же достался Рейн? Никому. На него покушалась фрейлейн Келлер, но и у нее ничего не вышло. Напрасно Даус радуется: политика — пена, кипение на поверхности, а в глубине — тишина. Не все ли равно, кого они возьмут в правительство и где оно будет заседать — во Франкфурте, в Бонне, на Курфюрстендамме? Я устал от дурацких разговоров. А о предложении Пино стоит подумать. Идея концерна неплохая... У фрейлейн Келлер была маленькая белая собачонка, она кинулась в реку за хозяйкой, но ее не вытащили...

Фон Мальтц закрыл глаза и уснул.

27

Пино вдруг вспомнил: а где же газетчик? Лессер ему не был нужен, но он любил порядок: раз человека послали, чтобы он вертелся возле меня, должен вертеться...

Приехав в Германию, Лессер убедился, что разговоры о немецкой кухне были справедливыми, он с отвращением

ел мясо, залитое клейким соусом, отварную картошку и яблочное пюре. К этому он был подготовлен, а вот Бернар его надул: конечно, среди немок были смазливые, но в первый же день одна брюнетка с выщипанными бровями, с карминовыми губами, четкими, как мишень, прочла ему длинную лекцию о том, что в Германии после войны установились строгие нравы. Что я здесь буду делать целую неделю? — спрашивал себя Лессер. В кафе он заметил девиц легкого поведения, но у него были твердые принципы: он считал недопустимым расходовать деньги на женщин. Ему приходилось часто ездить: газета его посылала в Италию, в Грецию, в Финляндию: повсюду он находил дам из общества, неспособных перед ним устоять. Он проклинал Дортмунд. В кондитерской он попробовал заговорить с миловидной блондинкой, которая кокетливо на него поглядывала, она ответила: «Сударь, вы забываете, что перед вами порядочная женщина». Лессер вспомнил, как его сорокалетней тетке, никогда не выезжавшей из Безансона, врач прописал морские купания. Лессер был тогда мальчиком; тетка взяла его с собой в Нормандию. Она обошла все магазины — искала купальный костюм, в котором выглядела бы вполне одетой, а потом заплакала: «Я предпочитаю умереть. Доктор Гримм забывает, что я — порядочная женщина».

Лессер, мрачный, беседовал с жителями Дортмунда, спрашивая, что они думают о блокаде Берлина, о Сартре, о большевиках, о Пино.

Он сидел в кабинете инженера Вильгельма Зейера и записывал в блокнот скучные цифры: Зейер говорил о восстановлении заводов. Вдруг в кабинет вошла элегантно одетая женщина с ласковыми и туманными глазами.

— Госпожа Ирма Зейер, моя жена.

Лессер сразу почувствовал: эта не монашка.... Пока инженер разыскивал папку с отчетами, он сунул Ирме записочку: назначил ей свидание в городском парке. На этот раз он не ошибся: Ирма пришла и оказалась восхитительной. Они проболтали два часа. На следующий день Зейер уехал в Дюссельдорф, и Лессер провел ночь с Ирмой.

Ирма его пленяла откровенностью. Она говорила: «Не думай, что я легкомысленная, с тобой — это в первый раз»... А час спустя она начинала рассказывать о предшественниках Лессера, и он про себя считал, какой же он по счету — семнадцатый или девятнадцатый? Ей было двадцать лет, когда она вышла замуж. Вилли считался талантливым инженером. Он обожал Ирму, три года они были счастливы, а в сорок втором Вилли призвали. Ирма плакала. Она решила взять себя в руки и влюбилась в пожилого, но интересного профессора, потом в офицера, которого почему-то звали «Бум-бум», потом в солдата-отпускника. Он был очень милым, но говорил грубости. Начались ужасные бомбежки, Ирма пила валерьянку и все время плакала. Пришлось уехать к сестре в Гейдельберг. Там было очень скучно, у Герты был муж, профессор, его убили возле Сталинграда, все только и делали, что рассказывали ужасы, Ирма глотала люминал — и все-таки не спала. Пришли американцы, в доме Герты поселился лейтенант Харпер, он угощал Ирму шоколадом, она с ним много разговаривала: хотела вспомнить английский язык, который учила в школе. Конечно, она не могла быть слишком строгой: война — это война. Он был очень привлекательным, но американцы грубоваты, всегда торопятся... Вернулся Вилли. Возле Либавы его тяжело ранили, он перестал быть мужчиной. Ирма была вне себя, пришлось вызвать специалиста-невропатолога. Она его обожает попрежнему, но ей тридцать лет, она хочет жить... В Дортмунде много англичан, они лучше воспитаны, чем американцы, но они медленно соображают. За Ирмой ухаживал один офицер, не сводил с нее глаз, а когда они остались вдвоем, он убежал... Впрочем, все это мимолетные увлечения, не стоит вспоминать, дважды в жизни она действительно потеряла голову — когда-то с Вилли и теперь с Лессером.

— Значит, твой муж — это собака на сене? — сказал Лессер.

Она заплакала:

— Не нужно так говорить. Он пострадал за Германию...

Ирма рассказала Лессеру, что Вилли никогда не был в душе нацистом, он сражался против русских, но они —

коммунисты, значит, он был прав. Его очень ценит фон Мальтц. Вилли часто говорит: «Фон Мальтц — умница. Он понимает, как использовать положение. Германия должна снова стать великой державой». Когда к Ирме приезжал брат, он подружился с Вилли...

— А что делает твой брат?

— Фриц был лейтенантом. Он старше меня на четыре года. Он очень хороший... Теперь он в американской зоне. Он работает в каком-то союзе офицеров. Знаешь, что меня удивило? Когда он был здесь, он говорил, что будет снова война, и скоро. Вилли его поддерживал. Они считают, что это выход.... А по-моему, это — сумасшествие. Когда я вспоминаю, как бомбили Дортмунд, мне хочется умереть до первой бомбы. Я так и сказала Вилли, он мне ответил, что я ничего не понимаю в политике, нужно отбросить русских в Азию; раз американцы решили, значит они это сделают. Муж Герты тоже так говорит...

— Ты же сказала, что его убили русские?

— Убили Иоганна, он был очень милым, не обращал внимания на женщин, типичный ученый. Герта заболела от горя. Потом она вышла замуж за одного экономиста, то есть он заведовал выдачей продуктовых карточек. Откровенно говоря, я считала, что это мезальянс, но теперь Гюнтер вышел в люди. У них какая-то партия вроде наци, они устроили съезд, и он был делегатом от Гейдельберга. Герта за него ужасно боялась, потому что он был нацистом, а теперь, они говорят, что нюрнбергский процесс — это свинство, нужно все пересмотреть. Герта мне сказала, что американцы могут арестовать Гюнтера. Это было прошлой весной, а на рождество Гюнтер приезжал сюда, они просидели с Вилли целый вечер запершись, не знаю, о чем они говорили, но я потом спросила Вилли, какое положение у Гюнтера, может быть он приехал в Дортмунд потому, что американцы хотят его посадить. Вилли надо мной долго смеялся. Можешь себе представить, оказывается, американцы дают им деньги. Это такая головоломка — политика, но я рада за Герту...

Лессер глядел на Ирму с признательностью: она не только скрасила его пребывание в Дортмунде, она помогла ему многое понять.

Накануне отъезда он еще раз посетил инженера Зейера:

— То, что вы рассказали мне при нашей первой встрече, позволит мне осветить экономическую сторону проблемы, но широкая публика требует общих характеристик. Двадцать пять лет назад вы были подростком...

— Студентом.

— Еще лучше: значит, вы помните то время. Скажите мне, в чем основное отличие теперешней Германии от Германии после первой мировой войны?

— Тогда здесь было гнездо коммунистов. Я помню, как один фанатик запустил камнем в господина фон Мальтца... Не скажу, что теперь у нас нет коммунистов, это заразная болезнь, и нельзя установить карантин. Но теперь у нас коммунистов куда меньше, чем во Франции или в Италии, об этом вы должны написать. Потом, в начале двадцатых годов, были модны пацифистские тирады, говорили, что нет ничего страшнее войны, что жизнь молодого человека важнее, чем все духовные ценности Германии. Сейчас я не замечаю таких настроений, хотя мы пострадали гораздо больше... Конечно, немцы за мир, но за такой, который оградит Германию от врагов европейской цивилизации. Наконец, после первой мировой войны у нас замечалось падение нравов, в киосках продавали бесстыдные журналы, процветал разврат, ну а теперь, как вы, наверно, смогли убедиться, здесь царит культ семьи...

Лессер записал в блокнот все, что сказал ему Зейер, и вежливо простился:

— Передайте мое глубокое уважение вашей супруге.

Пино он увидел за час до отхода поезда.

— Ага, это вы,— сказал Пино.— Я думал, что вы уже в Париже.

— Я был очень занят, собирал материал... Надеюсь, вы мне скажете несколько слов для газеты.

— Пишите: «Я здесь был, как турист, хотел посмотреть жизнь соседней страны. Я встретился с деловыми людьми, видел повсюду большие успехи. С помощью наших заатлантических друзей новая Германия поднялась на ноги, и недалек тот час, когда она войдет в европейскую семью». Все.

Пино снова остановился на несколько часов во Франкфурте: хотел поговорить с Даусом. Генерал его принял любезно.

— Из всех европейских стран я больше всего люблю Францию, там я действительно отдыхаю душой... Мне много говорил о вас Нильс, я знаю, что вы — наш искренний друг. Когда мне сказали, что вы в Германии, я обрадовался. Сейчас самое важное — найти пути к соглашению. Конечно, здесь еще не все в порядке, много пережитков. Но есть немцы, которые поняли, что нужно отказаться от старых представлений. Если вы их поддержите, будет сделан большой шаг в сторону мира.

Пино торжественно высморкался.

— Золотые слова! Мы рассчитываем на вас, вы должны показать немцам выход из тупика. Я видел в Дортмунде фон Мальтца, он умный человек, но он живет прошлым. Если послушать его, можно подумать, что теперь погоду делают не американцы, а солдаты Бисмарка. Немцы всегда видели в раздоре свое спасение: натравливали итальянцев на нас, царя на Англию. Теперь у фон Мальтца безумный план: он хочет поссорить нас с американцами. Отрыжка прошлого...

— Я хорошо знаю фон Мальтца, ценю его энергию, опыт, но, конечно, он рассуждает, как старый пруссак. Жаль, что вы не побывали в Баварии, там много интересного. На прошлой неделе я разговаривал с одним майором, он играет в Мюнхене крупную роль. Я никогда не видел немца, который так бы знал и любил Францию, как майор Ширке...

Пино хотел сказать, что знает Ширке, но раздумал. Он поговорил о будущем Рура и ушел довольный: Даус, видимо, понимает положение, готов учесть наши претензии.

Ночью в поезде Пино вдруг вспомнил: Ширке... Поразительно, как люди выплывают! Я думал, что его убили в России. Конечно, Ширке знает Францию, три года он нас стриг, как овец. Со стороны американцев это все же бесцеремонно — он занимал в Париже слишком заметное положение. Представляю себе, какой крик подымут коммунисты. Впрочем, они кричат и без этого. Раз мы носимся с Нивелем, почему не принять Ширке? Нивель был

с врагами, а у Ширке есть оправдание: он немец. Да и смешно подходить к этим делам с моралью. В личной жизни нужно быть честным: подписал вексель — значит плати. А в политике все обманывают друг друга, кто выиграл, тот прав. Ширке? Пусть будет Ширке...

28

Дюмон знал, что Нильс не бросает слов на ветер; если он заговорил о Дюма, значит американцы решили его доконать, и Дюмон решил выступить; в очередной статье он написал: «Мы против сектантов, которые вносят в торжественную тишину аудиторий злобу дня. Не кажется ли почтенному профессору Дюма, что, повернувшись лицом к Москве, он тем самым повернулся спиной к науке?» Статья Дюмона была сигналом: в ряде газет появились фельетоны, заметки, посвященные Дюма. Журналисты плохо разбирались в вопросах антропологии и не знали, какие грехи приписать профессору; один уверял, будто Дюма «по приказу Коминформа пересмотрел генетику, убрал из своего кабинета портрет Дарвина и повесил портрет Лысенко»; другой, вдохновившись статьей Билла Костера, поместил в бульварном листке заметку: «Почему выслали знаменитого ученого Д...а из Соединенных Штатов? Мы узнали, что политика тут ни при чем. Профессор Д....а, несмотря на свой почтенный возраст, не излечился от грехов молодости. Он соблазнил пятнадцатилетнюю девочку, дочь почтенного пастора Н...с». Большинство газет ограничивалось рассуждениями о несовместимости чистой науки с политическим фанатизмом.

Прочитав одну из статеек, посвященных ему, Дюма засмеялся: дуралеи, совсем потеряли голову! Забастовки, жизнь дорожает, ничего не клеится, затеяли войну во Вьетнаме — словом, катастрофа, а они занимаются мной... Можно ли ругать американских молокососов, если старики французы способны дойти до такой глупости?..

Кампания против Дюма протекала вяло. Журналисты с именем под разными предлогами отказывались принять в ней участие. Все испытывали некоторое стеснение: Дюма пользовался репутацией не только ученого

с мировым именем, но и чистейшего человека. Люди, не имевшие никакого представления об антропометрии, знали, что он мужественно вел себя в годы оккупации и был отправлен в немецкий «лагерь смерти». Личных врагов у Дюма не было; да и возраст, казалось, должен был оградить его от нападок — старики вспоминали, что Дюма был среди дрейфусаров, что его можно было встретить в доме Кюри, что о нем лестно отзывался Анатоль Франс.

Встретив Дюмона, Гарси сказал:

— На вашем месте я оставил бы Дюма в покое. Конечно, обидно, что коммунисты его обвели вокруг пальца, но как-никак Дюма — национальная гордость...

Дюмон обиделся:

— Что значит «на вашем месте»? У нас с вами, кажется, одно место... Вы были у Нильса, когда он заговорил о Дюма. Картина довольно ясная... Американцы выслали Дюма. Если мы ничего против него не предпримем, мы тем самым дезавуируем американцев. На войне как на войне...

Бедье понимал, что одними газетными статьями дело не ограничится. Однако, когда он заговорил о Дюма на заседании кабинета, никто его не поддержал, и он поспешил добавить, что, по его мнению, административные меры преждевременны. Он подумал: это препротивная история, Нильс не понимает, что у нас есть общественное мнение. Остается одно — тянуть. Может быть, американцы не будут настаивать. Мало ли у них других забот?..

Газеты давно забыли про Дюма и занялись очередными сенсациями. Кончилась забастовка горняков; шли процессы — судили шахтеров; начались новые забастовки; в парламенте депутаты нервничали — вскрылись грязные аферы; поговаривали об отставке министра юстиции. Ветер с моря напоминал о близости весны.

Нильс мимоходом сказал Бедье:

— Ваш климат обладает чудодейственными свойствами. Посмотрите на профессора Дюма, ему можно позавидовать... Директор института — и чуть ли не каждую неделю выступает на митингах...

Бедье вздохнул: не забыл... Нужно будет что-то предпринять.

Дюма удивился, увидев профессора Рише. Они не были друзьями и встречались редко — на официальных торжествах. Рише был всегда озабочен сложными интригами. Высокого положения в научном мире он достиг отнюдь не своими работами. Во время оккупации ему удалось убедить немцев, что он — крупнейший ученый и что нельзя реквизировать дом его внучатного племянника. Он представлял Францию на международных научных конференциях и работал в *Юнеско*. О нем говорили: «Одна четверть химии, три четверти дипломатии».

Зачем он пришел? — гадал Дюма. А Рише хитрил, петлял, говорил о своем преклонении перед Дюма, о том, что наш век войдет в историю под названием «века-антропофага», об ответственности ученых за наследие прошлого, о развращающей роли печати, которая позволяет себе нападать на большого ученого. Дюма долго пытался понять, куда он клонит, наконец не выдержал:

— Вот вы осуждаете газетные статейки. А скажите, коллега, вы повторили бы то же самое при свидетелях, хотя бы при студентах?

— Я не занимался и не намерен заниматься политикой. Как вы знаете, у меня узкая специальность — органическая химия. Но повторяю — газетные статьи о вас оскорбляют каждого деятеля науки. Разрешите мне говорить откровенно? Я — человек вашего поколения, если не ошибаюсь, я моложе вас всего на пять или шесть лет. Я понимаю, что вы можете сочувствовать одной политической партии и не сочувствовать другим. Но вы не рядовой гражданин, вы большой ученый, вы принадлежите всей нации. Почему же вы стали мишенью? Статьи, о которых я говорил, не украшают нашей печати, но есть в этом доля вашей вины. Имя Дюма не должно служить ширмой для политических махинаций...

Дюма рассердился, но сдержал себя. Прежде, когда он сердился, он начинал свирепо дуть в трубку. Недавно он бросил курить — на этом настояли врачи, и теперь он только тяжело дышал, как будто подымался по лестнице.

— Не понимаю, почему я не могу быть коммунистом, если, по-моему, в этом будущее Франции? Когда-то

армию называли «великой немой», считалось, что военные не имеют права высказывать свои убеждения. Конечно, это было лицемерием, потому что, когда начиналась стачка, военные стреляли не в хозяев, а в рабочих. Но вы, коллега, идете дальше, по-вашему и наука должна онеметь. Может быть, вы решили объявить всю Францию «великой немой», а говорить будут только Бидо, Мок или Бедье?..

Рише попытался улыбнуться. Чересчур ровные белые зубы выдвинулись вперед и потом не попали под губу; казалось, что он скалится.

— Дорогой профессор Дюма, вы хотите обязательно перевести разговор на политику, а я в этом профан. Я ни разу в жизни не голосовал и, скажу прямо, горжусь этим. Мне все равно, какая партия вас приобрела, но я не хочу, чтобы вас потеряла наука. Страсти разгорелись. Люди, которые стоят у власти,— политики, вам легче их понять, чем мне. Они могут оказаться перед необходимостью занять позицию... Зачем доводить дело до этого? Все знают, каковы ваши идеи, и никому не приходит в голову, что вы от них отречетесь. Но почему вы должны выступать на политических сборищах? Вряд ли это необходимо той партии, которой вы хотите помочь: у коммунистов немало профессиональных ораторов. Но вы даете вашим политическим противникам повод отстранить вас от научной деятельности...

Дюма задышал еще тяжелее:

— Понял. Нечто вроде ультиматума... Я вам не стану отвечать — вы сказали, что вы почти мой ровесник, с этим приходится считаться... Кофе пьете, или вам тоже запретили?.. Мари приготовит чашечку. А с дипломатией кончим. Я не для того пришел к коммунизму, чтобы торговаться — выгонят меня или не выгонят. Буду работать — здесь, в кабинете. Вы сказали, что мы принадлежим народу, это правда, от народа нельзя отступиться. Я и в гестапо это сказал... Вполне возможно, что меня прогонят — о науке они меньше всего думают. После Америки меня ничем не удивишь: каков хозяин, таков и слуга. А вы, коллега, напрасно беретесь за такие поручения, это тоже политика, и самая неказистая... Вы им скажите, что я собираюсь дожить до того дня, когда их повыгоняют — не из института — из Франции...

В один из первых весенних дней Бедье завтракал с Нильсом; он повез американца в загородный ресторан «Золотая улитка». Нильс восторгался и кухней и пейзажем — нежная зелень казалась пухом; он говорил о весне, о своей коллекции, о красоте замков на Луаре. Все же, когда со стола убрали цесарку и принесли деревянное блюдо с двадцатью различными сырами, Бедье тоскливо подумал: что Нильс сейчас скажет?.. Он часто завтракал с американцем, и всякий раз в те минуты, которые серьезные люди называют «между сыром и грушей», Нильс подносил Бедье очередную неприятность. Так случилось и теперь; похвалив козий сыр из Шавиньоля, Нильс сказал:

— Атмосфера накаляется. Русские не могут переварить Атлантического пакта. Вроцлав был черновой репетицией. Судя по всему, они готовятся к грандиозной кампании. Сейчас нужно быть особенно осторожным... Коммунисты хотят использовать людей с именем. Вы знаете, как я уважаю профессора Дюма. Все это очень неприятно, но должна быть известная солидарность. Нам пришлось попросить Дюма покинуть Соединенные Штаты, а он продолжает быть директором государственного института...

Возвращаясь в Париж, Бедье подумал: вышло, как я боялся... Нильс стоит на своем, а профессор Рише говорит, что Дюма упрям, как старый мул. Ситуация отвратительная. Легче посадить в тюрьму сотню коммунистов, чем уволить Дюма. Но не ссориться же из-за этого с американцами?.. Почему Нильс бережет все пакости для меня? Мог бы сказать то же самое Кэю или Шуману. Конечно, это подымает мое положение: Бидо видит, что американцы мне доверяют. Все-таки противно... Меркурий считался вестником богов, но он приносил не только дурные вести... Дождусь ли я от Нильса какой-нибудь приятной новости?.. Мысли путались: в ресторане «Золотая улитка» был чудесный «шамбертен». Бедье вдруг улыбнулся: Меркурий был богом воров, но пусть депутаты, замешанные в историю с чеками, не рассчитывают, что я их покрою. Я должен беречь свою репутацию...

На следующий день он заехал к профессору Брюану, который был в дружеских отношениях с Дюма. Бедье

полчаса проговорил о кредитах на устройство лаборатории — профессор недавно поставил этот вопрос. Политика Брюана не интересовала, и с ним было легко разговаривать. В конце беседы Бедье сказал:

— Когда увидите профессора Дюма, скажите ему, что в моем лице он имеет горячего поклонника. Я восхищаюсь и его научной деятельностью и его личностью. Когда я был в сопротивлении, меня вдохновлял его пример. Что бы ни приключилось, профессор Дюма должен знать, что я тут ни при чем...

Брюан насторожился:

— Разве что-нибудь грозит профессору Дюма? Мне говорили, что о нем были глупые статьи, но мало ли что пишут журналисты. Не думаю, чтобы кто-нибудь решился отстранить профессора Дюма от руководства институтом.

Бедье поспешил его успокоить:

— Об этом не может быть речи. Я просто хотел сказать, что не понимаю, как могут безответственные люди нападать на ученого такого калибра.

Два дня спустя профессор Дюма был освобожден от руководства институтом.

Дюма был подготовлен к развязке и встретил известие спокойно. Он внимательно дочитал газету, а потом сел к столу, начал работать. Вдруг он задумался: завтра я должен пойти в институт и не пойду. Странно... Привык к институту, но дело не в этом; обидно, что не смогу там работать. Ганеле начал интересные опыты, а ему нужно руководство. Особенно обидно, что отобрали студентов. Конечно, есть среди них разные — карьеристы, лентяи, равнодушные, но есть и такие, как Дюпон, этот буквально горит...

Дюма вспомнил, как его привели в тюрьму Френ. Он тогда прислушался: в окошко передавали новости. Ему крикнули, что его приветствует Жорж, он — студент, слушал лекции Дюма, его приговорили к расстрелу. Дюма так и не узнал, кто скрывался за именем «Жорж», но он часто о нем думал. Жоржа расстреляли, а сколько осталось ничтожных, малодушных?..

Из года в год Дюма видел в аудиториях молодые лица, глаза, напряженные или пустые, восторженные или насмешливые; знал — не все поймут, но кто-нибудь обя-

зательно вдохновится, будет ночами сидеть над книгами, через десять или двадцать лет додумается, исправит, продолжит. Может быть, в этом бессмертие — передать другим толику своего волнения? Теперь его этого лишили...

Я сказал Рише, что доживу до того, как их всех выгонят. Нет, не доживу — нужно еще много бороться, а я начал сдавать. Мысли, чувства можно себе подчинить. Когда меня бил эсэсовец, я знал, что не закричу. А вот сердце не слушается... Хочу дожить, хочу увидеть, как начнется настоящая Франция, но горючее на исходе. Врачи говорят — не работать, не выступать, не волноваться. А тогда и жить не стоит. Теперь нужно работать вдвойне, показать, что я не поддался... Нужно работать, а я сижу и философствую, безобразие какое!..

Он начал писать и забыл обиду.

Мари не могла успокоиться, она кричала в булочной, у консьержки, на лестнице:

— Вы только подумайте — эти мошенники посмели уволить профессора! А он получает письма из всех стран мира. Недавно у нас был один ученый, англичанин, старик — старше моего. Плохо говорит по-французски, но все-таки говорит; он, когда уходил, сказал: «Берегите профессора, это большой человек». Никогда я не забуду, как его в тюрьму увели. Так тогда немцы были, а теперь свои...

Мари как-то спросила кюре, кто из святых покровитель ученых. Кюре задумался, потом ответил: «Святой апостол Фома». Мари пошла в церковь, поставила свечку апостолу, молилась: «Заступись! Сделай так, чтобы господь бог покарал тех, кто не верит, что он — праведный человек. Помоги старику!»

Пришел молодой коммунист Гозар, ему поручили передать Дюма, что партия возмущена решением правительства. Завтра в «Юманите» будет большая статья. Дюма замахал руками:

— Ну зачем это?.. Скажи лучше, что в Гренобле? Держатся?

Мари не давали покоя: приносили телеграммы, цветы, приходили делегации.

Под вечер пришел профессор Брюан:

— Я знаю, кто к этому приложил руку. Бедье недавно ко мне приезжал, говорил, что он ни при чем. Теперь я понимаю, почему он старался... Жить трудно, столько кругом низости! Вы знаете, я никогда не участвовал в политических манифестациях. Сегодня мне принесли протест. Я не ребенок, я знаю, что завтра меня объявят коммунистом, но я, не задумываясь, подписал...

Когда он ушел, Дюма прилег — думал, на четверть часа, а пролежал до восьми — не мог встать. Нужно на собрание, я сказал, что приду, это насчет Конгресса мира. Ноги не повинуются, что за горе!.. Наконец он встал, принял лекарство и медленно начал спускаться по винтовой лестнице. Наверх подымалась Мадо — она за ним приехала. Она ничего не сказала, обняла Дюма. Он растрогался — он знал ее девочкой, сажал на колени, приносил переводные картинки, она их любила, радовалась: «Роза какая красная и кораблик...»

Мадо заметила, что Дюма с трудом идет, всполошилась:

— Не нужно ходить.

— Обязательно нужно. Если я теперь слягу, я уж не подымусь. Ноги дурят, забыли, что я им хозяин... Посижу там позади, послушаю. Это большое дело — Конгресс мира...

Когда они вошли в зал, кто-то крикнул: «Профессор Дюма!» Все встали, начали аплодировать. Дюма махал рукой: хватит! Люди аплодировали еще сильнее, кричали, махали платочками, кепками. Потом на трибуну поднялся молодой рабочий:

— Я хочу передать профессору Дюма нашу любовь. Я не умею говорить, я механик, учился в начальной школе. Теперь я занимаюсь на вечерних курсах, но мне еще далеко до того, чтобы понять работы профессора Дюма. Я знаю, что он писал о происхождении человека, как было в прошлом. Это большой вопрос, мы будем учиться, поймем. Но профессор Дюма писал не только о прошлом, он писал и о будущем. Я вырезал его статью, ношу на сердце. Он хочет, чтобы мы жили лучше, справедливее, чтобы нас не погнали на войну, хочет всем счастья. От имени рабочих тринадцатого округа Парижа я предлагаю выбрать профессора Дюма делегатом на Конгресс мира...

Дюма хотел поблагодарить, что-то сказать, но не смог — слишком разволновался. Он только пожал руку молодому рабочему. Хорошо сказал, и чувствуется — горит, как Дюпон. Думали отобрать у меня молодых, не вышло... Дюма вынул из кармана платок, начал протирать очки: все затуманилось. Рядом стояла Мадо. Поглядев на нее, Дюма улыбнулся: та самая — с переводными картинками...

А пять тысяч человек неистово аплодировали, как будто хотели шумом, грохотом передать то волнение, которое переполняло их сердца.

29

Когда Рене Морило привели к следователю, он спросил:

— Что с ней?

Следователь пожал плечами:

— Врачи отказываются дать заключение.

Рене отвечал невпопад, не слышал вопросов следователя, прерывал его, снова и снова спрашивал: «Что с ней?»

Пюшар считался опытным следователем. Год назад ему удалось уличить человека, который убил жену, тщательно подготовив свое алиби. Убийца был владельцем скаковых конюшен, вращался в светском обществе, и Пюшар приобрел известность. Это был человек низкого роста, с брюшком, с плешью, походивший на заурядного коммерсанта; но глаза у него были неморгающие, настойчивые, и он часто думал: у меня глаза настоящего следователя. Свое дело он любил, преступление казалось ему кроссвордом, который он должен во что бы то ни стало решить. Узнав, что ему поручили дело, которое газеты называли «драмой в Шантийи», Пюшар обрадовался: здесь он себя покажет. Он читал «Фигаро», не любил коммунистов, жалел, что во Франции нет второго Петэна, но политика его не увлекала. Конечно, он понимал, что дело, которое ему доверили, сугубо политическое, но для него оно было прежде всего преступлением, которое он должен распутать.

После первого допроса Пюшар решил, что преступник недолго будет отпираться: это субъект с идеями фанатика, но с нервами девчонки. Он хотел убить несколько сот человек, но, увидев одну жертву, испытывает угрызения совести.

Рене думал об одном: что с Ивонн? Ночью он не спал, глядел на яркую лампочку, видел рельсы, кровь, свет фар. Как тогда на полотне, он прислушивался, бьется ли ее сердце. Тюрьма молчала. Он звал Ивонн, умолял ее жить. На щеке он еще чувствовал тепло ее дыхания. Он разговаривал с ней, рассказывал, как в детстве шептал брату Пьеру: «Я построю большой самолет, и мы улетим на луну!» — как он обрадовался, увидев возле барака концлагеря чахлый одуванчик, как встретил веселого русского, который печально улыбался, как годами он ждал Ивонн — не знал, что она живет в Прэ-де-Буа, ездит в пригородном поезде, читает Стендаля,— он полюбил ее до того, как встретил. Можно ли с таким трудом найти счастье и сразу его потерять?..

Вдруг он подумал: дело не во мне, это чудовищная провокация — они хотят бросить тень на партию. Я должен быть твердым, бороться.

На втором допросе Пюшар не узнал Морило: правда, Рене снова спросил, что с жертвой, но связно, спокойно изложил свою версию. Он познакомился с мадмуазель Дешелле в августе. Они изредка встречались. Он давно ее не видел, решил навестить. Журналист Валуа дал ему свой «ситроэн» — железнодорожное сообщение было нарушено забастовкой. Ивонн сказала, что ее мать больна, предложила погулять. Они шли по тропинке вдоль пути. Рене увидел двух людей и заподозрил недоброе. Люди побежали. Он крикнул: «Стой!» Тогда один остановился и выстрелил.

Пюшар слушал, чуть усмехаясь. Преступник, оказывается, не такой уж слабонервный: он взял себя в руки, придумал линию защиты. Все же это дилетант, и его нетрудно загнать в тупик. Глядя на Рене своими острыми глазами, Пюшар сказал:

— Вы утверждаете, что мадмуазель Дешелле была вашей любовницей?

— Нет, я этого не говорил. Ни разу до той ночи я не был у нее, и никогда она не была у меня. Мы встречались в кафе.

— Вы не деревенский парень, наверно вы прочитали в жизни не один детективный роман, вы могли бы придумать нечто более правдоподобное. Мадмуазель Дешелле — серьезная девушка, сослуживцы и соседи говорят, что она вела скромный образ жизни. Ее мать показала, что никогда не слышала вашего имени. Вспомните ту ночь — она была на редкость холодной, ветер сбивал с ног. Жители поселка были испуганы событиями: сидели по домам. Неужели это подходящее время для прогулки с посторонним человеком — не с женихом и не с любовником? Вот что произошло на самом деле. Мадмуазель Дешелле сказала матери, что пойдет в аптеку за лекарством. Она направилась в Шантийи. На железнодорожном пути она увидела трех злоумышленников. Она вскрикнула. Один из ваших соучастников, убегая, выстрелил. Вы не успели скрыться... Вот ваши листовки, жандармы их подобрали. Не отпирайтесь, это только отягчит вашу участь.

Рене продолжал отрицать свою вину:

— Листовки — грубая фальшивка. Каждый грамотный человек понимает, что это не язык коммунистов...

Когда Рене увели, Пюшар подумал: это будет труднее, чем я рассчитывал,— я забыл, что имею дело с коммунистом. Их по-особому воспитывают. Он знает, что при любых обстоятельствах должен отнекиваться. Пожалуй, он боится своих больше, чем гильотины. Придется с ним повозиться...

В камере Рене задумался. У него нет доказательств. Со времени сопротивления он привык уничтожать все письма. Никто не знает, что он встречался с Ивонн. Все же теперь не времена гестапо. Партия докажет, что коммунисты не взрывают поездов с невинными людьми, это гнусная выдумка. Они зарвались и плохо кончат.

Только бы Ивонн жила! Она будет жить, она сильная... Рене вспомнил шрам на ее правой руке — пытали, а она не сказала, кто ей дал ящик. Он целовал ее руки, заглядывал в глаза, полные изумления. Они шли по тропинке, и вместо голых, костистых деревьев зеленел апрель, свистел, щебетал.

Имя Рене Морило не сходило со столбцов газет, Журналисты описывали геройство мадмуазель Дешелле, цинизм преступников, которые хотели загубить сотни жизней, фанатическое упорство молодого врача, пытающегося отрицать свою вину. Одни газеты писали, что преступление было совершено «по приказу Коминформа, разработавшего план массовых убийств»; другие, более осторожные, высказывали предположение, что попытка взорвать поезд была предпринята «небольшой фракцией изуверов, принадлежащих к левому крылу коммунистической партии и недовольных медлительностью ее лидеров». Строились догадки относительно двух преступников, которым удалось скрыться; газета Дюмона утверждала, что это поляки, с которыми Морило часто беседовал на собраниях «Общества франко-польской дружбы».

Фабр был в приподнятом настроении. Министры произносят речи о коммунистической опасности, газеты каждый день пишут, что агенты Москвы покушаются на существование Франции; люди слушают, читают и продолжают спокойно заниматься своими делами — рядовой француз объелся политикой. За одну ночь Фабр сделал больше, чем все краснобаи за два года. Теперь рядовой француз ежится: он мог бы оказаться в этом поезде... Это уж не политические разговоры, это своя шкура... Притом все сложилось на редкость удачно. Фабр не был человеком сентиментальным, но, отдав приказ Люшеру, он взволновался: погибнут невинные пассажиры пригородного поезда... Он успокаивал себя: что значит двести или триста жертв по сравнению с катастрофой, которая грозит Франции, если мы не уничтожим коммунистов? Все же ему было не по себе, он плохо спал. Теперь он радовался: обошлось без жертв. Девушка, видимо, не выживет, но ее не приходится жалеть,— ясно, что́ это за особа. Вышло лучше, чем я думал: коммунисты могли бы отрицать авторство листовок, а отрицать, что Морило — член их партии, они не могут. Конечно, они протестуют против «провокации», но это звучит беспомощно, улики против них. Можно поздравить, если не «босяцкую группу», то судьбу...

Газеты писали, что продолжаются поиски двух скрывшихся преступников. Гастон злился: за такое дело ему

мало заплатили. До войны Гастон был официантом в кабачке «Эдем» и торговал кокаином. Когда пришли немцы, он устроился истопником в гестапо города Труа. Он стащил у одной арестованной золотые часики. Немцы об этом узнали, но он успел скрыться. Четыре месяца он пробыл в маки́. Он убил богатого крестьянина и забрал припрятанные драгоценности; товарищам он сказал, что застрелил предателя. Партизаны начали его подозревать в темных делах, он во-время удрал. Когда кончилась война, он оставил политику, воровал, ограбил часовщика, торговал кокаином — словом, жил мирно, пока не встретил Люшера, который завербовал его в группу «Василек». Гастону было все равно, на кого он работает, но теперь он понял, что его надули. Для Люшера такие дела — удовольствие, он обожает политику, а для Гастона это заработок. Он пошел к Люшеру:

— За мной слежка. Если я не уеду, я засыплюсь. Дай мне тридцать тысяч.

— Ты свое получил,— ответил Люшер.— А хозяин больше не даст.

— Я тебе говорю, что за мной слежка. Я больной человек; когда у меня припадок, я не знаю, что я говорю. Я хочу уехать, чтобы не потопить тебя. Ведь стрелял ты...

— Перестань трепаться. Я могу уложить не только девчонку...

— Зачем тебе убивать меня? Это может выйти, может и не выйти. Лучше дай мне тридцать тысяч.

— Я тебе сказал, что хозяин больше не даст.

— Я не знаю никакого хозяина, я договаривался с тобой. Я сделал все, как нужно, но теперь за мной слежка. Дай мне тридцать тысяч, и ты меня больше не увидишь, я уеду в Алжир.

Люшер поглядел на его острую, хитрую физиономию и вынул бумажник.

На одиннадцатый день Пюшар сказал Рене:

— Мадмуазель Дешелле вне опасности.

Рене вскочил. Он улыбался следователю, тени на белой стене, Ивонн.

А Пюшар был в отвратительном настроении. Вчера, допросив Дешелле, он понял, что ему подбросили мертвое дело. Десять дней газеты кричали, что Дешелле —

новая Жанна д'Арк, что она дочь патриота, что она геройски вела себя в гестапо. Нельзя же вдруг объявить ее коммунисткой!.. Морило, следовательно, ни при чем. А когда я сказал Гарнье, что остается разыскать двух скрывшихся, он засмеялся: «Это банда почище кагуляров, у таких людей высокие покровители. Лучше не путайтесь...» Пюшар утром, бреясь, вдруг подумал: глаза у меня не следователя, а начинающего адвоката...

Пюшару не хотелось показать Морило, что он проиграл партию, он сухо сказал:

— Сядьте. Почему вы отрицали, что мадмуазель Дешелле — ваша любовница?

— Потому что это неправда.

— Вы хотите сказать, что мадмуазель Дешелле лжет? Вчера она мне заявила, что была с вами в интимных отношениях... Мы выясним, кто сказал правду. Я допускаю, что мадмуазель Дешелле желает запутать следы и что она была вашей сообщницей в попытке взорвать поезд.

Рене возмутился:

— Кто же тогда в нее выстрелил?

— Третий. Или четвертый. У него могли быть нелады с нею или с вами.

Пюшар теперь был убежден, что Морило не виновен. Будь это обыкновенным уголовным делом, он попросту отпустил бы его и признал бы свою ошибку. Но здесь замешана политика. Гарнье говорит, что можно испортить карьеру... Пюшар изложил суть дела в обстоятельной записке. На следующий день его вызвал Байи.

— Глупейшее дело,— сказал Байи.— Нужно было сразу замять...

— Мне сказали, что я должен добиться от Морило признания...

— Хорошо, не будем говорить о прошлом. Я думаю, что Морило придется освободить. Но нельзя дать коммунистам предлог для иллюминации. Вы возьмете у меня подписку о невыезде, дело, таким образом, официально продолжается...

— Вы не считаете, господин Байи, что есть шансы задержать тех двух?

— Не думаю. Прошли две недели, а это не пескари... Да и какой интерес их искать? Они могут оказаться

людьми другой политической крайности. Тогда у коммунистов будет повод обвинить правительство в пристрастии. Лучше подождать, пока публика перестанет интересоваться этим делом, и поставить на нем крест.

Еще накануне газеты посвятили немало места «драме у Шантийи»: «Сенсационное признание! Доктора Морило сопровождала его любовница! Ивонн Дешелле входила в коммунистическую банду! В мадмуазель Дешелле выстрелил поляк Ян, боясь, что она выдаст своих сообщников!» Неожиданно «драма у Шантийи» исчезла с газетных листов, ее место заняли другие происшествия.

Рене прямо из тюрьмы поехал в госпиталь, где находилась Ивонн. Старший врач Пелисье рассказал ему, что в первые дни он опасался за исход. Операция прошла хорошо, но он не позволял следователю допрашивать мадмуазель Дешелле — она была чересчур слаба.

— Она очень измучена допросом. Я вас попрошу ее не утомлять.

Ивонн поглядела на Рене изумленно, чуть улыбнулась. Он сказал, что здоров, весел, будет ее навещать. Он старался не взволновать ее словами любви. Когда он уходил, она сказала:

— Вы очень добрый, Рене...

Доктор Пелисье позвал Рене к себе в кабинет:

— Скажите, вы не сын доктора Шарля Морило?

— Да.

— Подумайте, какое стечение обстоятельств! Я учился с вашим отцом вместе, мы были на одном курсе. Его тогда считали чрезвычайно одаренным... Значит, вы пошли по дороге отца. Это — благородное дело. Я его не променяю на профессию хотя бы того же следователя... Я с первой минуты подумал, что это судебная ошибка. Какой шум они подняли! Ваши портреты, портреты мадмуазель Дешелле, убийство, взрыв поезда, бог знает что! Я ничего не понимаю ни в юриспруденции, ни в политике, но меня, откровенно говоря, тошнило от этой пакости. Нет, лучше облегчать страдания людей, даже чувствуя свое бессилие, чем множить эти страдания!.. Кто же, по-вашему, мог положить эту мину?

— Они.

— Простите, я вас не понял...

— Я говорю, что мину положили те самые люди, которые обвиняли в этом меня. Конечно, не буквально — у них разделение труда...

Доктор Пелисье удивился:

— Значит, вы коммунист? Я ведь не верю тому, что они пишут, думал, что и это на вас возвели... Политика не мой конек, не берусь судить, правы ли вы... Но радуюсь, что сын Шарля Морило — детский врач. Право же, во сто крат благороднее спасти одного ребенка от скарлатины или дифтерии, чем ради политических интересов погубить миллионы детей.

Доктор Лезанж сказал старшей сестре:

— Это неслыханно — они выпустили Морило. У коммунистов повсюду свои люди. Мы должны работать рядом с убийцей!..

Старшая сестра обрадовалась, увидев Рене:

— Я с первой минуты поняла, что это провокация. Бессовестные люди, они ни перед чем не останавливаются! Наверно, доктор Лезанж из их банды...

В лаборатории профессор Брюнель сухо поздоровался с Рене. Он далеко не был уверен в невинности доктора Морило: кто знает, на что́ способны коммунисты? Достаточно прочитать о венгерском кардинале... Профессор сдержался и сказал Рене:

— Я не хочу вмешиваться в вопросы правосудия, но я рад, что вы сможете продолжать ваши опыты.

Вечером Рене пошел на партийное собрание. Его обнимали, он почувствовал, что вернулся домой, что у него есть близкие. Он должен был каждому рассказать о том, как вели следствие, и каждый восклицал: «Подлецы, они еще за это заплатят!..»

На следующий день Рене поехал навестить профессора Дюма. Это было в начале кампании, которую подняли газеты против ученого. Дюма обрадовался:

— Ты неплохо выглядишь. Ну как в тюрьме? Скучно? Я тоже, когда сидел, сердился — как медведь в клетке. Здорово они оскандалились!.. В общем это хорошо: когда люди идут на такие дела, значит им скоро крышка...

Рене вспомнил профессора Брюнеля, доктора Лезанжа:

— Плохо, что Франция распалась на две части...

— Иначе и быть не может. Ты думаешь, в России, когда началось, все были за Ленина? Плохо не то, что Франция распалась на две части, плохо, что они провели границу, а наши часто смотрят и говорят: «Это по ту сторону». Две части... А ты знаешь, сколько людей между этими частями? Добрая половина французов. Они, может быть, поверили, что ты хотел взорвать поезд, но если они узнают, что это поклеп, они рассердятся на тех, кто затеял такую грязную историю. Оттолкнуть человека легко, скажи ему «ты не наш», и готово. А нам нужно привлечь людей, раскрыть им глаза. Мало ли таких, как твой отец? Замечательный был человек. Когда он в чем-нибудь сомневался, он и это делал с душой. Я такого сомневающегося ставлю выше, чем вышколенного тупицу, который на все отвечает «да», а когда дело дойдет до крови, как в августе сорок четвертого, залезет под кровать. Мы, французы, любим покритиковать, посмеяться, ничего тут нет плохого. Это как соль, без соли обеда ты не изготовишь. Твой отец надо мной посмеивался, что я стал коммунистом, а он и сам к этому пришел, только не хотел признаться... Война, по-твоему, будет?

Рене улыбнулся — таким неожиданным был вопрос.

— Не знаю... Они готовятся.

— Это понятно, что они готовятся. Только мы тоже существуем... Товарищи говорили, что весной собирают Конгресс мира. Это замечательно придумано. Конечно, американцы хотят воевать. Я говорю об их политиках. Обыкновенные люди там боятся войны. Но какой-нибудь Даллес понимает, что, если оставить людей в покое, люди призадумаются. А тогда жуликам конец. Они-то хотят воевать, только мы им не позволим... Читал, что́ про меня пишут? Удивляюсь, как это меня с миной не поймали?

Он громко засмеялся. Рене подумал: что за чудесный человек! И ничто его не берет!..

Выздоровление Ивонн шло медленно. Рене ездил в Шантийи каждое воскресенье. Он рассказывал Ивонн о себе, о друзьях, о событиях. Он не решался заговорить о своих чувствах. Ивонн думала: он очень добрый, он и тогда приехал, потому что пожалел меня. Но он меня не любит... И она старалась скрыть свое чувство, была с Рене спокойной, приветливой; как-то сказала, что нет

ничего лучше дружбы и что она постарается оправдать его доверие.

К Рене вернулись прежние сомнения. Внешнее спокойствие Ивонн казалось ему равнодушием, а слова о дружбе довели его до отчаяния. Он говорил себе: в тот вечер она поддалась минутному настроению, а теперь одумалась... Он боялся встревожить ее неосторожным словом. Их беседы становились все более и более натянутыми.

Прошел капризный февраль то с теплым солнцем, то с холодами, прошел и ветреный, тревожный март. Весна была ранней, первые дни апреля напоминали май; все вокруг было зеленым, густым, горячим. В один из таких ярких, шумных дней Ивонн оставила госпиталь. Рене об этом не знал, она его не предупредила. Она провела два дня с матерью, на третий поехала в Париж, в мастерскую. Оттуда она позвонила Рене. Он вскрикнул:

— Ивонн!

Она издали ему улыбнулась. Это слово «Ивонн» ее сразу успокоило: столько в нем было радости, волнения, любви.

— Где мы встретимся? — спросил Рене.

Она ответила:

— Я заеду к вам. Когда вы кончаете работу?

Он провел день в лихорадке, то радовался счастью — ведь сказала, что придет ко мне, то мрачнел — она считает, что нам теперь неудобно встречаться в кафе...

Он едва успел прибрать комнату (он ушел утром, торопясь), как позвонили. Ивонн вошла и, не говоря ни слова, его обняла.

Он вдруг всполошился:

— Нам нужно ехать, через сорок минут последний поезд...

— Я проводила утром маму с братишкой — они поехали в Мулен к тете. Если ты меня не прогонишь, я останусь здесь...

Утром, когда она варила кофе, он вдруг спросил:

— Почему ты сказала следователю, что у нас все... вот так?

— Он не верил, что я могла пойти ночью с чужим.

Она его обняла, тихо сказала:

— Знаешь, когда я поняла, что я твоя? Давно — в поезде...

Улица была по-летнему горячей, пыльной; только каштаны в цвету напоминали, что это апрель. Ивонн остановилась:

— Какой красивый плакат!

— Это голубка Пикассо. Через две недели конгресс. Профессор Дюма говорит...

Она его прервала:

— Какая она белая!.. И беззащитная...

Он улыбнулся:

— Нужно ее защитить.

30

Маленький Жано с каждым годом становился все более похожим на отца. Это находила не только Мари, это признавали все соседки, даже Лежан недавно сказал: «Вылитый Пепе»... Как отец, Жано был смуглым, худым и непоседливым. Особенно умиляло Мари, что мальчик часто повторяет: «Понимаешь?» Так и Жано говорил... Мари спрашивала себя, как передалась маленькому Жано такая привычка?.. Она не давала себе отчета в том, что сама научила Жано этому слову: когда он был еще совсем маленьким, сдерживая слезы, она шептала: «Нет, Жано, он не придет, он очень далеко, понимаешь?..» И теперь Жано, прибегая из школы, весело рассказывал: «Учительница говорила, что земля совсем круглая, как яблоко, понимаешь?.. А на втором уроке мы устроили кошачий концерт. Пьеро хотел наябедничать, но я ему сказал, что я его поколочу, понимаешь?» Как отец, Жано любил мастерить, и Мари решила купить ему в игрушечном магазине набор слесарных инструментов — через четыре дня Жано исполнится восемь лет.

Мари жилось нелегко. Она работала брошировщицей. Три года назад работы было много. Тогда магазины с одеждой, с утварью пустовали — не было товаров. Может быть, поэтому люди охотно покупали книги? А может быть, потому, что еще жило в сердцах волнение тех лет, когда смельчаки выпускали подпольные газеты, перепи-

сывали запретные стихи, нападали на фашистские посты, прокладывали путь к свободе? Теперь издатели жаловались на кризис, и Мари работала четыре дня в неделю. А Жано сказочно быстро снашивал обувь. (Мари, и горюя, радовалась: как отец!)

Мари было двадцать девять лет. У нее были большие печальные глаза, эти глаза оставались печальными и тогда, когда Мари смеялась; а смеялась она так заразительно, что даже незнакомые на улице, услышав ее смех, улыбались. Было большое обаяние в этом сплаве веселья и неизжитой печали. За ней часто ухаживали, приглашали танцовать — она нравилась мужчинам. Но вторично замуж она не вышла. Ей хотелось тепла, ласки; не одну бессонную ночь провела она... Была она по природе страстной, и эта черта ее связывала, когда она думала о людях, которые искали ее взаимности: слишком сильно она любила Жано, слишком много отдала ему, слишком часто вспоминала о нем не как о призраке,— как о живом муже: сжимала в объятьях, целовала. Особенно часто видела она его в их последнюю ночь. Это было под Новый год. На следующий день Пепе застрелил гестаповца Шеллера. Они ночевали в доме доктора Ваше. Мари его называла «Синей Бородой». Там была очень большая кровать с бронзовыми амурами. Один амур целился, хотел выстрелить из лука, а у другого лук был опущен и глаза завязаны. Жано тогда сказал: «Глупый, пусть побережет боеприпасы, мы уже ранены. Вот тот, другой, не решается даже на нас поглядеть...»

Соседка, бабушка Жоржетт, сказала Мари:

— Что-то Реми пропал... А я думала, будем свадьбу справлять. Ведь сколько прошло, как Жан погиб? Больше восьми лет... Мальчику тоже лучше, когда в доме мужчина, не то он разбалуется... Ты что, обет дала?

Мари улыбнулась:

— Нет, я неверующая... Просто душа не лежит.

Все свободное время, а теперь его стало больше, Мари отдавала партии. Она не пропускала ни одного собрания, собирала деньги на стачечников, уговаривала колеблющихся. У нее был большой авторитет, не только потому, что люди помнили о подвиге Пепе (его предсмертное письмо сохранилось и было напечатано), но и потому, что

Мари все годы сопротивления проработала с Лежаном: переносила оружие, разбрасывала листовки, была связной, а в дни восстания подожгла немецкий танк. Когда выбирали делегатов на Конгресс сторонников мира, имя Мари Миле было названо одним из первых.

Мари приоделась: она шла на Конгресс, как на очень большой праздник. Уходя, она попросила бабушку Жоржетт накормить Жано, когда он вернется из школы.

Войдя в зал, Мари вскрикнула, восхищенная. Конечно, все говорили, что Конгресс будет большим, но такого она не ожидала. Здесь были люди отовсюду: французские крестьянки в черных платьях и американцы, русские («прямо из Москвы!») и негры, много негров, об одном Мари сказали, что он большой поэт, девушки из Индии, закутанные в красивые цветные шали, с золотыми мушками на лбу, греки, поляки, священники, один в огромной белой шапке, китайцы — словом, все. На стенах надписи на разных языках, даже по-китайски, с красивыми, загадочными буквами. Мари увидала людей, которых знала только по имени. Ей показывали: «Вот на трибуне, видишь, худой, сейчас читает, надел очки — это Жолио-Кюри... А старый с бровями — профессор Дюма... Налево стоит Арагон... А этот смуглый, седой, примеряет наушники, это Пикассо, который сделал голубку...» Мари жадно оглядывала зал. Там наши, я их знаю — из Бельвилля, потом с заводов Берти, вот Морило... А об этом говорят, что он — генерал. Кюре, у него доброе лицо, он улыбается. Рядом с Мари — Мадо. Она говорит: «Гляди, Мари, это вьетнамцы»... Приехали из Вьетнама, там «грязная война», французы их усмиряют, но они знают, что на Конгрессе нет ни Мока, ни Бедье... Старый вьетнамец крепко жмет руку парнишке с завода «Гном э Рон»... Сколько людей! Никто не хочет войны. Пусть придет сюда Трумэн, пусть посмотрит, какая у нас сила!

В перерыве между двумя заседаниями к Мари подошла молодая женщина с лицом усталым, но красивым, сказала:

— Вы не Мари Миле?

— Да.

— Вашего мужа звали Пепе?

Мари кивнула головой. Тогда молодая женщина порывисто ее обняла. Мари не понимала: почему она говорит

«вы»? Значит, не наша. Откуда же она меня знает? Пепе, конечно, все знают, но она сказала: «Мари Миле». И вид у нее странный. Не наш.

— Я должна с вами поговорить,— сказала молодая женщина.— Я вас давно ищу, а только что мне сказали, что вы на Конгрессе. Мы можем выйти — до начала заседания час. Меня зовут Люси Ришар, это вам ничего не скажет, но меня судили вместе с вашим мужем...

Они сидели в маленьком пустом кафе. Люси, волнуясь, рассказывала Мари о себе. Ей было девятнадцать лет, когда началась война. Она дочь генерала в отставке. С детства она слышала, что есть только одна настоящая страна — Франция, «любимая дочь бога и церкви». Конечно, и во Франции много плохого. Почему позволяют рабочим бездельничать? Демонстрации нужно разгонять... Люси не задумывалась, прав ли отец: ей казалось, что все его рассуждения — это скучные, но бесспорные вещи. Когда отец узнал о капитуляции, он заплакал, а потом сказал, что Петэн прав, приходится платить за грехи, лучше немцы, чем коммунисты. Люси впервые усомнилась в правоте отца. Полгода спустя она познакомилась со студентом-медиком. Его звали Робер Ренан. Они подружились. Робер вскоре открыл ей, что входит в тайную организацию: нужно освободить Францию. Она вспомнила слова отца и спросила: «А если победят коммунисты?» Он долго над нею смеялся, говорил, что так рассуждают политиканы, которые довели Францию до разгрома, что он никогда не интересовался экономикой и не знает, осуществимы ли идеи коммунистов, но ведут они себя геройски. Люси поняла, что он прав. Она вошла в «Группу непримиримых». Они мало что успели сделать: оттиснули на ротаторе воззвание к студентам, перевезли два ящика с автоматами, сброшенные англичанами. Эти ящики попали к Леблану, который выдал всех. Люси знала, что полюбила Робера, но не смела ему признаться. Это было вечером у Жемино. Жемино оставил их вдвоем, он в соседней комнате писал статью. Робер вдруг обнял Люси, она вскрикнула от радости. Он засмеялся и показал на стенку: тише... Вдруг Жемино крикнул: «Кто там?» Пришли гестаповцы. Жемино стрелял, одного немца ранил. Жемино застрелили. Робера и Люси увели в гестапо.

Там Люси пытали, содрали ногти с рук. Она встретила Робера у Грейзера. Это был палач, он пытал и Пепе. У Робера была рассеченная губа... Он никого не назвал. Люси тоже молчала... Она видела Пепе в кабинете Грейзера. Он держался как герой. И на суде... Его взяли случайно на квартире Формиже и обвинили в убийстве Леблана. Он не сказал, что он — коммунист: не хотел подвести Робера и Люси. Она только потом узнала, что он — герой, застрелил гестаповца. Его приговорили к расстрелу. Роберу дали двадцать лет, Люси — десять. Они простились на суде, больше она не видала Робера: он умер в тюрьме. Люси была в Равенсбруке и вернулась. Поступила в университет. Мать умерла, отец одряхлел, но повторял то же самое: «Лучше атомная бомба, чем коммунисты...» В Люси влюбился инженер Робинэ. Он ей нравился, она говорила себе: такого, как с Робером, все равно больше не будет, нужно жить... В сорок седьмом она вышла замуж. Очень скоро она поняла, что не любит мужа. Робинэ говорил, что главное — деньги, смеялся над Люси, называл ее «идеалисткой», рассердившись, сказал: «Не изображай из себя мученицу. Ты играла в сопротивление, как девчонки играют в прятки. Теперь тебе тридцать лет, пора кончать эти игры...» Она старалась его не замечать, готовилась к экзаменам. Муж был занят делами. Однажды он пришел веселый, где-то хорошо позавтракал, хвалил арманьяк, которым его угощали, потом начал говорить, что назначен главным инженером на завод, там будут ремонтировать военные американские самолеты, значит у него блестящие перспективы. Люси вспомнила беженцев на дорогах, бомбежки, убитых детей, крикнула: «Как ты можешь это говорить? Ты не человек!..» Он засмеялся: «Человек. Мужчина, притом достаточно привлекательный, чтобы понравиться такой «идеалистке», как ты». Он обозвал Люси дурой, сказал, что лучше сто бомбежек, чем один день народной демократии, и что коммунистов надо перебить, как прокаженных. Люси в тот же вечер уехала от него. Университет ей пришлось бросить, она служит в мэрии. Она не знает, почему ее выбрали делегаткой на Конгресс. Может быть, потому, что она была в «лагере смерти»... Она не коммунистка, но она ненавидит людей, которые хотят войны. В Равенсбруке на ее

руках умерла Клодин, она была коммунисткой, она говорила Люси: «Ты увидишь, что после войны все будет по-другому — чище». А Люси после войны увидала много низости. Она хотела встретиться с Мари, потому что у нее нет никого на свете, она помнит Пепе на суде. Он перед ней, как совесть...

Мари вернулась в зал, когда говорил английский юрист. Мадо ее спросила:

— Что-нибудь случилось?

Только тогда Мари поняла, что она плачет. Она быстро вытерла глаза:

— Ничего... Эта женщина знала Пепе, их вместе судили...

Потом выступал русский, о нем говорили, что он был летчиком, показал необыкновенный героизм. У него был скромный вид, аплодисменты его смущали, он не знал, куда деть руки. Мадо сняла наушники: Медведь так и не научил ее как следует писать по-русски, но она понимала почти все слова. Она не могла сидеть, часто привставала и, аплодируя, выбрасывала руки вперед, как будто хотела дотянуться до русского. Потом она сказала Мари:

— Он очень хорошо говорил. Про Сталинград... Сколько они вытерпели... Сказал, что они сильные, а войны не хотят... Да ты ведь слушала, как переводили, а я тебе зачем-то рассказываю... Он произносит «р» совсем, как Медведь...

(Она подумала: и как Сергей, но не сказала.)

Мадо и Мари были вместе и на демонстрации, они шли в колонне женщин; над ними вздымалось большое трехцветное полотнище: «Никогда народ Даниэли Казанова не будет воевать против народа Зои».

Огромный стадион Буффало был набит людьми. На трибунах сидели делегаты Конгресса, а сотни тысяч мужчин и женщин проходили мимо. Шли горняки с шахтерскими лампочками, участники недавних сражений. Мадо узнавала друзей, издали с ними здоровалась; они приехали сюда из своих черных поселков, а несли они белую голубку. Сколько было этих голубок, крохотных и больших — из живых цветов, из дерева, из стекла, из бумаги! Потом выпустили стаю живых голубей. Мари подумала: жалко, что нельзя было взять Жано...

Профессора Дюма звали на трибуну, он отказался — шел с бывшими узниками «лагерей смерти», тяжело опираясь на палку, но глаза у него были веселые и молодые; видя его, люди кричали: «Мир! Мир! Мир!»

Было нестерпимо жарко, как бывает порой в августе. Небо казалось чересчур светлым и пустым, все чувствовали, что надвигается гроза. Прошел Лежан с колонной рабочих Берти. Он окликнул Мадо: «Здравствуй, Франс!..» Мадо искала глазами делегатов департамента. От Вьенн — наверно, Деде приехал... Вокруг стадиона стояли толпы, а на окрестных улицах вырастали новые и новые колонны. Казалось, вся Франция пришла сюда, она клялась, что не будет больше ни воя сирен, ни дорог с беженцами, ни застенков. Два года подряд люди, читая газеты, томились, не смели заглянуть в будущее, и вот сегодня они поняли, что их много, что они — сила, что можно остановить войну, спасти Францию.

На трибунах сидели делегаты из всех стран мира. Девушки бросали цветы грекам: им трудно, они истекают кровью, одни в далеких горах, но и к ним придет счастье. Шумно приветствовали китайцев: борются, идут, побеждают. Когда Мадо и Мари проходили мимо трибуны, на которой сидели русские, они остановились. Все цветы Франции окружали советских делегатов: скромные ландыши, звезды нарциссов, яркие гвоздики, розы, чайные, белые, пунцовые, сирень, анемоны, левкои, лиловые глицинии, тюльпаны.

Мари предложила:

— Мадо, добежим до них, ты ведь говоришь по-русски...

Сквозь толпу они пробились к тому летчику, который выступал на Конгрессе. Мари ему сказала:

— Мы на вас надеемся...

Он сконфуженно улыбнулся, а улыбка у него была детская.

— Я не понимаю по-французски...

Мари не выдержала, обняла его. Летчик еще сильнее смутился. Мадо сказала:

— У нее был друг, он убил фашиста, его расстреляли.

— Вы говорите по-русски? — удивился летчик.

— Немного. В нашем отряде был русский — Медведь. Я знала еще одного русского. Его убили на войне... Можно, я вас поцелую?

Когда они вернулись в колонну, Мари спросила:

— Что ты ему сказала?

— Про Пепе. И что я — коммунистка...

Ей казалось, что она сказала именно это.

31

Саблон сидел в ресторане «Метрополь» с американским журналистом Смайлсом и сердито пил водку.

— Икра хорошая, но работать здесь нельзя. Я в Москве одиннадцать дней. С кем из русских я разговаривал? С чиновником министерства да с девушкой из «Интуриста» — о комнате. Чорт знает что!..

Смайлс рассмеялся, блеснув золотом зубов. Когда он смеялся, он становился похожим на старого японца; он это знал и при первом знакомстве обязательно говорил, что ему тридцать четыре года и что его предки приехали в Америку из графства Кент.

— Я здесь полтора года,— сказал он,— и могу сосчитать по пальцам русских, с которыми мне удалось поговорить. Я пробовал брать уроки, говорю немного по-русски, но это ни к чему. Если спросить, как пройти на такую-то улицу, человек объяснит, может даже дойти до угла — покажет, но стоит с ним заговорить о чем-нибудь серьезном, как он теряет дар речи. Я спрашивал людей, что они думают о Германии, будет ли война, они либо молчали, либо отделывались газетными фразами. Никто к вам не придет в гости, даже запойный пьяница не станет с вами пить. Говорят: «Железный занавес», «Китайская стена» — все это преуменьшения, Россия — стратосфера, человек с Запада здесь буквально задыхается. Они полны самомнения, каждый школьник считает, что он — великан, а Трумэн — букашка. Может быть, это лицемерие? Я не раз видел, с каким восхищением прохожие разглядывали мою машину. Если они так смотрят на мой «шевроле», можно себе представить, как бы они были подавлены моим духовным миром, а я ведь обыкновенный американец...

Саблон с любопытством рассматривал обедавших. За соседним столиком сидели молодой человек и девушка. Саблон сразу понял, что это влюбленные. Когда девушка смотрела в сторону, молодой человек восторженно ею любовался, а потом поспешно опускал глаза. Девушка стеснялась. Им, наверно, хотелось есть, но ели они как бы нехотя, показывая свое равнодушие к такому низменному делу. Глядя на них, Саблон тихо посмеивался, как будто он был с ними в заговоре. Он сказал Смайлсу:

— Интересно, о чем говорят эти влюбленные?

Смайлс снова блеснул золотыми зубами:

— Вы еще не знаете здешних нравов. Это агенты ГБ, они за нами следят. Влюбленных здесь вообще нет: люди договариваются — есть ли у него или у нее «жилплощадь», так они называют комнату, и начинают плодить детей.

Саблон недоверчиво покачал головой.

— А по-моему, это влюбленные. Я знаю, что русские — хорошие актеры, но так никто не сможет сыграть...

Он выпил еще водки и проворчал:

— Может быть, вы правы. Когда я приехал в Африку, я сначала ничего не понимал. Нужно разобраться. А разобраться нельзя... Я обещал моему агентству пробыть здесь полгода, боюсь, что больше недели не выдержу...

В Париже Саблон избегал журналистов, говорил, что для него это — неинтересные люди: они живут отраженной жизнью, постепенно утрачивая способность волноваться, радоваться, негодовать; когда они говорят, это не голос, а эхо. Здесь он оказался в обществе американских журналистов: он был общительным человеком, а других собеседников у него не было. Он угрюмо думал: может быть, русские — роботы, но, право же, такой Смайлс не лучше.

Журналисты, в среду которых попал Саблон, жили скучно. Несколько раз в месяц выпадали развлечения: прием в каком-нибудь посольстве. Журналисты волновались: пригласят ли их? На приемах они говорили с дипломатами о том, что в Москве невозможно работать; каждая миловидная женщина — агент ГБ; лучше попасть в Португалию или даже в Исландию; не о чем писать — глупо ведь ездить в Ясную Поляну, когда нельзя остановиться

в Туле, где большие оружейные заводы... Дипломаты им вторили. Пили сначала коктейли, потом в тесном кругу — виски и водку: кто за свой скорейший отъезд из Москвы, кто за победу над русскими. Были среди журналистов старожилы, рассказывавшие, как хорошо жилось им в годы войны: Вышинский устраивал пресс-конференции, на приемах бывало много советских, русские девушки иногда танцовали с иностранцами. Жизнь изобиловала событиями: однажды корреспондент «Ассошиэйтед пресс» проколол покрышки на машине своего коллеги из «Юнайтед», чтобы тот не смог во-время передать отчет о пресс-конференции; несколько журналистов в помещении министерства до крови избили своего сотоварища за то, что он любезничал с русскими; это были героические времена. А теперь Москва — ссылка, приходится передавать только то, что уже напечатано в газетах, выдвинуться здесь нельзя.

Журналисты смеялись, когда Саблон говорил, что хочет описать, как русские готовятся к войне. Томсон ему сказал:

— Что вы увидите, кроме парадов на Красной площади? Если вы будете очень настаивать, месяца через три вам, может быть, покажут детские ясли, специально устроенные для посещения иностранцев; туда принесут детей за полчаса до вашего визита, чтобы они не загадили помещения. Пейте виски и не портите себе крови. Вернувшись в Париж, вы напишете все, что думаете, а тот факт, что вы побывали в Москве, придаст вашим статьям вес.

Саблон позвонил секретарю французского посольства де Шомону, о котором ему говорил Нивель. Де Шомон обрадовался, угостил Саблона прекрасным завтраком. Это был эстет; в молодости он писал стихи, подражая Нивелю. После американских журналистов он показался Саблону необычайно умным и тонким собеседником. Однако, когда зашел разговор о русских, де Шомон подтвердил все, что говорили американцы.

— Не пытайтесь заговорить с незнакомым человеком — вас немедленно вышлют. Пишите восторженные корреспонденции. Я передам шифром, чтобы их не печатали. Здесь вы сможете сказать, что агентство мешает вам работать, но что, вернувшись в Париж, вы расскажете

правду. За вами начнут ухаживать, вы увидите немногочисленных русских, которым поручено разговаривать с иностранцами. Не верьте тому, что они будут говорить, но слушайте внимательно — иногда эти люди проговариваются.

— Нивель мне сказал, что здесь есть... недовольные?

Де Шомон усмехнулся:

— Может быть, он основывался на моих депешах. Я об этом сообщаю — нужно поддержать дух... Вы, наверно, слышали, что здесь увлекаются селекцией. Мне как-то принесли жасмин, который пахнет земляникой, его вывели в Мичуринске. Не знаю, кому это нужно, ведь запах жасмина куда тоньше, я вам говорю — они помешаны на селекции. Они вывели новую разновидность людей, которые думают точно так, как написано в газете. Люди, созданные этим режимом, естественно, ему преданы, но так как они не привыкли самостоятельно думать, если умело поговорить, можно напасть на такого, который кое-что выболтает. Если вам это удастся, у вас будет ключ к советской двери...

Госпожа де Шомон считалась одной из наиболее эффектных дам дипломатического корпуса. Пока ее муж и Саблон говорили о политике, она разглядывала модный журнал, время от времени улыбаясь гостю: улыбка ей шла, и она переставала улыбаться только ночью, когда снимала кремом румяна. Саблон начал расспрашивать о русских нравах. Де Шомон, смеясь, сказал:

— Не вздумайте ухаживать за москвичками — они этого не оценят, а вас могут попросить убраться...

Госпожа де Шомон улыбнулась:

— Вряд ли господину Саблону захочется ухаживать за русскими. Я не скажу, что они все уродки, но они ужасно одеты, моды сюда доходят с опозданием на десять лет. Потом здесь женщины не привыкли, чтобы за ними ухаживали. Они работают, как мужчины. Когда я гляжу, мне становится нехорошо...

Саблон усмехнулся:

— Один американский журналист мне сказал, что здесь вообще не влюбляются, но я видел в «Метрополе» двух влюбленных...

— Может быть, это были иностранцы, — сказала госпожа де Шомон. — Если нет, вам повезло — вы увидели белых ворон. Молодые люди здесь даже не знают, что такое любовь. В романах они читают, как нужно обращаться с машинами. Пойдите в кино — война или строительство. Я не видела ни одного советского фильма, где актеры хоть бы раз поцеловались...

Саблон снова усмехнулся: он слышал одним ухом, что госпожа де Шомон артистически наставляет супругу рога, и подумал: здесь ей, видимо, негде развернуться...

Прошло еще несколько недель. Саблон все более мрачнел. Он не жаждал ни любовных похождений, ни газетных сенсаций, он хотел найти живые примеры, подтверждающие, что Советский Союз грозит миру. Он часто думал: если бы я увидел что-нибудь, опровергающее мои опасения, я охотно признал бы свою ошибку, но стена, которая как бы отделяет меня от русских, подтверждает все, что говорят люди, предсказывающие близкую войну.

Саблон все же не решался уехать: он любил честно выполнять работу. Он вспоминал свои поездки в Африку, в Мексику, в Испанию — повсюду он заводил знакомства, беседовал с людьми разных кругов; умея расположить к себе собеседника, он выслушивал ежедневно десятки исповедей; он много думал над тем, что видел и слышал, прежде чем сделать выводы. Здесь же вокруг него было молчание.

Он говорил себе: город как будто живет мирной жизнью. В скверах мамаши с малышами; много беременных женщин. Театры переполнены; девушки приодеваются, кажется — прогулки в фойе их увлекают не меньше, чем спектакль. Что бы ни говорила госпожа де Шомон, но в Сокольниках можно увидеть сотни влюбленных парочек, они ведут себя, как все влюбленные мира. В воскресенье прохожие выглядят добрее, веселее; на улице Горького продают цветы, там что-то вроде гуляний. Военных немного, они не бросаются в глаза. Люди кажутся спокойными, они волнуются только в переполненном троллейбусе или в магазинах, когда не могут протолкнуться к прилавку. Да, Москва на вид куда спокойней Парижа. Но что это — миролюбие или уверенность в своей силе?..

Де Шомон показал Саблону газетные вырезки; в них не было призывов к войне, но Саблона возмутила статья, напечатанная в вечерней газете, в которой с иронией говорилось о французской живописи. В других газетах были выражения, показавшиеся ему высокомерными. Он думал: они вырастили молодежь, которая нас презирает. Это и есть подготовка к захвату всего мира. Не станут же они прогуливать по улице Горького свои танковые дивизии или выставлять на площадях реактивные самолеты!

На приеме в ВОКСе Саблон познакомился с молоденькой девушкой. У нее были голубые наивные глаза. Она хорошо говорила по-французски, сказала, что работает переводчицей. Саблон закидал ее вопросами. Она ему объяснила, как происходят выборы, как организовано производство, как работает суд, сколько денег расходует государство на здравоохранение и народное образование. Каждую фразу она начинала словами: «В отличие от капиталистических стран» и кончала: «Конечно, во Франции нет ничего подобного». Саблон внимательно слушал, и девушке казалось, что она убедила недоверчивого француза. Когда она замолкла, он спросил:

— Ну, а какие-нибудь слабые стороны у вас есть? Скажем, возможны у вас судебные ошибки?

— Вы забываете, что у нас нет классового суда.

— А бывает, что директор завода — тупица или, того хуже, вор?

— Почему вам приходят в голову такие вопросы? Директорами назначают самых одаренных и честных.

Саблон засмеялся:

— Понял. Могу даже продолжить... Наверно, у вас не бывает засухи, потому что вы ведете плановое хозяйство. Надо полагать, что семейные драмы у вас невозможны: сознательный гражданин выбирает подходящую жену, а гражданка — безупречного мужа. Ну, а рак вы, бесспорно, отменили, поскольку он связан с капиталистической разрухой.

Он собрался было уехать: ему хотелось поскорее написать об угрозе с Востока. Он все же решил провести в Москве еще месяц: набрать побольше доказательств. Он сказал сотруднику отдела печати, что хотел бы осмотреть школы, клубы, больницы; усмехаясь, он добавил:

— Разумеется, если это не военная тайна.

Он побывал в школах, в рабочих клубах; вечер просидел в библиотеке; познакомился с молодой учительницей французского языка, которая краснела от того, что у нее по-французски плохое произношение. Эта учительница его подкупила своей скромностью; да и то, что он видел, скорее ему понравилось: в школе дети усердно занимались, а на переменках проказничали; в клубе была лекция, потом молодежь танцовала, танцы его рассмешили, он подумал — так, наверно, танцовала моя мама, но было весело. Он посмотрел, какие книги берут в библиотеке: читали советских авторов, но спрашивали много и старых писателей, которых Саблон знал, — Толстого, Тургенева, Чехова; один подросток попросил «Отверженных», девушка унесла томик Мопассана. Саблон, однако, записывал все, что вызывало в нем недоверие: «Почему у них мальчики учатся отдельно от девочек? Ответы педагогов сбивчивы. Может быть, это связано с военной подготовкой? Когда лектор говорил о миролюбии рядового американца, аплодировали куда меньше, чем когда он упомянул о победах в Китае. Учительница рассказала об уроках политической грамоты,— видимо, это и есть моральная мобилизация. Когда я ей сказал про нацизм, она ответила, что это — прошлое, а теперь место нацистов заняли американцы. В библиотеке я видел на стене фотографии парижской «зоны» с подписью: «Так живут труженики Франции», — ясно, к чему ведет такая пропаганда».

Саблон зашел еще в одну больницу: ему сказали, что старший врач — депутат, человек немолодой, конечно коммунист, говорит по-английски. Врач ему понравился: умница и объясняет по-деловому. Седой, лицо усталое, отеки, ему, наверно, не меньше шестидесяти, но глаза живые, да и держится моложаво. Хорошо бы с ним поговорить не только о больнице. Наверно, скажет, что нет времени, а если и согласится, будет отвечать, как та переводчица... Саблон все же решил попробовать:

— У вас не найдется несколько свободных минут? Я хочу с вами поговорить не как с врачом, даже не как с депутатом, просто как с человеком.

Врач посмотрел на часы:

— Хорошо. Выкрою целый час. Выкладывайте: что у вас?

— Скажите, доктор, в вашей стране возможны судебные ошибки?

— А что, мы боги, по-вашему? Бывает, народный суд не разберется, кассация, а областной суд подтвердит приговор. Я зимой, как депутат, пытался одно дело распутать. Засудили фактически невинного, все улики против него, а я вижу — честнейший человек, просто попал в дурацкую ситуацию. Обратился в Верховный Суд РСФСР. И представьте, снова подтверждают приговор — причин для пересмотра нет, точка. Я не успокоился. Вот вы сказали, что хотите поговорить со мной не как с депутатом, а как с человеком. Не понимаю: что у вас за разделение? Конечно, можно быть замечательным человеком, а в депутаты не попасть, это понятно, но если уж ты депутат, должен быть человеком... Так вот поехал я в Прокуратуру Союза, выложил все. Позавчера получил письмо: дело пересмотрели, человек этот уже у себя дома, в гости зовет... Суд у нас правильный, а ошибки — дело человеческое. Вы что же, вступиться за кого-нибудь желаете?

— Что вы! Я ведь здесь никого не знаю. Приехал повидать людей, а вижу только американских журналистов в «Метрополе».

— Да, это компания, так сказать, малопочтенная. Я одного видел во время войны. Каждый час операция, положение отвратительное — немцы, что называется, под самой Москвой, а он за сенсациями прикатил... Так какое же у вас ко мне дело?

— Дела никакого. Если вы позволите, я задам вам еще два или три вопроса. Я знаю, что вы — коммунист, значит вам нравится ваш строй больше нашего. Я, кстати, наш строй вовсе не защищаю... Скажите, у вас может быть директор завода неподходящий, ну, недостаточно опытный, несведущий?

— Вы меня простите: сколько вам лет?

— Сорок четыре.

— Вот видите, не ребенок, а вопросы задаете прямотаки детские. Мы что, по-вашему, — люди или ангелы? Я вам скажу прямо: мы здесь строим новое общество, стараемся избавиться от безобразий. Многое мы уже

сделали; если вы порядочный человек, могли заметить... А многое еще остается сделать. Дом строят не с крыши. Переменить власть — это дело самое важное, но и самое быстрое. Экономику изменить куда дольше — здесь считают не минуты, а годы. Ну, а всего дольше — перестроить сознание. Вы спрашиваете, имеются ли у нас еще неучи. Имеются. Попадаются и жулики. Посмотрите наши газеты — то по идиоту бабахнут, то разоблачат мошенника. Мы, знаете, смотрим: если дурак не на свое место сел, значит проморгали, нужно его осадить. Может жулик пролезть, что называется, на ответственное место? Конечно, может — на то он и жулик. Но вот я в газете читал, вы меня поправите, если я перепутал, у вас всплыла грязнейшая афера с чеками — и жулики продолжают заседать в парламенте. Так это или не так?

Саблон улыбнулся:

— В общем так...

— Вот видите. Конечно, у нас жулик может маскироваться, если он с головой, его не сразу раскусят, но рано или поздно он сорвется. А таких у нас по головке не гладят...

Врач все больше и больше нравился Саблону — грубоватостью, под которой чувствовалась душевная доброта, искренностью ответов, живостью тона.

— Еще одно... Я вам повторил те вопросы, которые я задал одной девушке, переводчице. Но она мне ответила совсем по-другому: ни судебных ошибок, ни жуликов, рай на земле. Откуда такое, скажу прямо, самомнение?

— В людях она, наверно, не разбирается. Мне в будущем году исполнится шестьдесят, радоваться, конечно, нечему, но опыт кое-какой есть. Меня предупредили: придет французский журналист от какого-то паршивого агентства. Саблон... Что-то у меня в голове зашевелилось, спрашиваю: а это не тот, что книгу написал, как детей мучают? Подтвердили: тот самый. Конечно, с тех пор прошло десять лет. Люди меняются... Я вас встретил не очень-то ласково — думаю, в мире творится чорт знает что, а от кого он приехал? Говорят, это агентство полуфранцузское, полуамериканское и уж, наверно, стопроцентно вражеское. А вот вы мне понравились: по-моему, вы порядочный

человек. Я с вами и говорил, как с человеком. Если бы сюда приехал снова тот американец, я бы ему отвечал, как ваша переводчица. Разве с такими можно по-человечески разговаривать? Девушка узнала, от кого вы приехали, откуда ей в людях разобраться, наверно полтора человека в жизни видала, ну и отвечала формально. Я ее не виню. Если уж кого-нибудь винить, так вас: зачем вы с такими агентствами путаетесь?

Саблон не ответил; помолчав, он сказал:

— Хорошо, оставим эту девушку. Я здесь два месяца, пытался заговорить не раз... Люди или не понимают языка, или не хотят разговаривать.

— Естественно. Насчет языка — это еще полбеды... Хотя языки знают недостаточно, это правда. Я когда-то учил французский в гимназии, читать могу, а говорить — не получается. Английский — это я потом одолел, тоже, как видите, слабовато, практики нет, только что слежу за научной литературой. Дочь у меня французский учила, кажется могла бы поговорить, но после войны женская делегация приехала, она встретила француженку и стесняется, отвечает: «Не могу»... Я прошлым летом в деревне был, двести километров от Москвы, там десятилетка, язык у них французский, так ребятишки не стесняются, я их спрашивал, что-то по-французски лопочут... Вам бы тоже следовало на это дело налечь, литература у нас богатая, потом государство, так сказать, новое, есть чему поучиться... А я вот не думаю, чтобы во французской деревне была школа, где изучали бы русский язык... Это все не так существенно. Я хочу вам объяснить, почему наши люди с вами неохотно разговаривают. Вот только времени у меня мало. Сейчас позвоню, — может быть, у них заседание начнется попозже. Это у нас слабое место: бывает, скажут в два, а придут к трем...

Он позвонил по телефону, что-то сердито проворчал, потом сказал Саблону:

— Хорошо, что проверил, — не раньше трех, а написали, что в два... Значит, время есть. Вы говорите, что русские вас недоверчиво встретили? Естественно. Пожалуйста, призадумайтесь, как это получилось. Воевали мы страшно, вспоминаешь — и то сердце щемит...

Саблон его прервал:

— Я был в сопротивлении. Мы выпускали подпольную газету. Когда меня взяли гестаповцы, у меня нашли статью «Свет Сталинграда»... Я больше года просидел в Освенциме, освободили меня ваши...

— Вот видите, значит вы не американский щелкунчик, можете кое-что понять. Когда вас освободили русские, наверно никто на вас с недоверием не смотрел, обнимали, угощали водкой — так или не так? Я в Освенциме не был, мы из Познани на Бреславль пошли, но я видел лагери... Освобождали французов, да и других — англичан раз выпустили человек триста... Никто тогда вас не остерегался... На Эльбе мы встретились с американцами, наши говорили: «Хорошие ребята!» — танцовали, песни пели... Наташа, это дочка моя, рассказывала — девятого мая двух американских летчиков на Красной площади качали. Народ у нас не злопамятный: рассердится, а отходит быстро. Ведь сколько наших погибло от того, что они второй фронт во-время не открыли, пуговки пришивали! Но победа — так победа, зачем старое вспоминать и прочее, — словом, никакой злобы тогда не было. Девятого мая все радовались, а десятого проснулись утром и увидели — большущие города в развалинах, люди за войну обнищали, я, знаете, по Белоруссии проходил, зайдешь в хату — чашки нету, воду пили из консервных жестянок. Я уж не говорю, сколько мы людей потеряли!.. Горько было, но люди поняли: придется своим пóтом склеить, воевали одни, одни будем и отстраивать. В сорок шестом засуха ударила. Словом, несчастий было по горло. Но, знаете, народ у нас крепкий. Конечно, людям после войны хотелось отдохнуть. Я как врач знаю, болеть начали — пока война шла, не болели, держали себя на привязи, а здесь и гипертония, и общее истощение, и нервная система... Но увидали: отдыхать — не время. Чудеса понаделали, честное слово! Вы город какой-нибудь посмотрите из разрушенных, если Сталинград далеко, Минск, что ли. Там у меня зять работает. Можете с ним поговорить, интересный человек и французским владеет... Подняли. И вот — это в сорок шестом было, я только-только из Германии вернулся — сижу я у радио, верчу — музыку послушать захотелось, слышу, кто-то по-английски проповедует. Я послушал. Передавали обзор американской печати. Как будто это вчера

было, запомнил: один негодяй предлагал сейчас же сбросить на нас атомную бомбу, так и говорил: «Пока они не встали на ноги»... Народ рассердился. Люди говорят: «У нас близкие умирали, города горели, а они за морем отсиживались и теперь еще на нас налететь хотят!»... А вы удивляетесь, откуда недоверие. Отсюда — прямо из сердца. Может быть, вы скажете: «Я француз, значит ни при чем». Слишком много у вас таких, которые при том. Только наши знают, что французы бывают разные. Когда зимой ваши шахтеры бастовали, пришла ко мне уборщица, Паша, принесла десять рублей, хотела, чтобы я во Францию отослал. А вы понимаете, что́ для нее десять рублей, когда она получает триста восемьдесят? Вас остерегаются потому, что не знают, кто вы. Я и сам не знаю: впечатление благоприятное, книжку когда-то написали хорошую, а насчет агентства так вы мне и не объяснили...

Саблон снова не ответил, — он был поглощен своими мыслями: восхищался ответами врача, и одновременно все в нем протестовало — он цеплялся за свои старые доводы.

— Но почему вы держите такую сильную армию?

— Вы что, хотите, чтобы американцы устраивали военные базы, каждый день грозились бомбой, а мы бы и не подумали, как себя защитить? Вы — журналист, значит газеты читаете, вот и скажите, кто́ предлагал общее сокращение вооружений?

— Это не означает, что вы не готовитесь к войне. Вы знаете, почему мы вас боимся? Потому, что вы слишком убеждены в правоте ваших идей.

— Нелогично, скажу больше — глупо. Конечно, мы убеждены в том, что наш строй разумнее, справедливее. Мы, так сказать, верим в прогресс. Мы считаем, что если не разрушать целые страны, не истреблять молодежь, то другие народы дойдут до наших идей. Нам война не нужна. А вот американцы слишком сомневаются в прочности своих порядков, хотят нас разорить, чтобы рабочим на Западе не было повадно. Декарта любите? Не забывайте тогда о логике. Форрестол на вас произвел впечатление? На меня огромное. Сумасшедшие, конечно, повсюду есть, только чтобы военный министр прямо со

своего поста угодил в клинику для душевнобольных,— это, знаете, симптоматично...

Врач посмотрел на часы:

— Теперь уж пора... Если захотите еще поговорить, прошу. Позвоните только раньше, это вы сегодня удачно попали — день у меня с прорехами, а так кручусь как белка в колесе. Спросите доктора Крылова. Зовут меня Дмитрий Алексеевич. Отчества у французов нет, так что это вам трудно запомнить, да и Дмитрия нет, а у нас в каждой деревне обязательно найдется свой Митя. Ну, всего вам доброго! А про агентство так вы мне и не ответили...

Саблон вышел из больницы в смятении. Впервые он усомнился во всем. Что, если этот доктор прав? Он попытался отогнать эту мысль: она лишала его душевного покоя. Он вспомнил, что доктор несколько раз спрашивал про «Трансок». Что я мог ему ответить? Возможно, это — грязное дело. Нивель — умный человек, но у него в душе закоулки, положиться на него трудно. Впрочем, все газеты плохо пахнут, лучше не принюхиваться... Конечно, над словами доктора нужно подумать, но смешно от того, что я встретил одного симпатичного коммуниста, менять решительно все... Я не подросток, меня не так-то легко переубедить...

Он поехал в посольство — условился с де Шомоном, что заедет за газетами. Де Шомон иронически спросил:

— В прошлый раз вы говорили, что были в школе, наверно сегодня вы посетили ясли. Что говорят грудные младенцы об Атлантическом пакте?

Саблон не улыбнулся:

— Я сегодня два часа проговорил с одним советским врачом. Умный человек и признает, что на солнце есть пятна. Но в основном, конечно, непоколебим — коммунист.

— Он что-либо критиковал?

— Нет, но он допускал, что у них могут быть, например, судебные ошибки.

Де Шомон насторожился:

— Это находка. Скажите — как его зовут?

Саблон нахмурился:

— Не знаю, не спросил. Мы с ним познакомились случайно в кафе «Метрополь».

Он неожиданно поднялся:

— Если разрешите, я возьму газеты и откланяюсь — я собираюсь сегодня в районный театр, там какая-то самодеятельность. Пожалуйста, передайте мое почтение госпоже де Шомон.

32

Когда Дмитрий Алексеевич сказал Саблону, что у него «день с прорехами», он не подумал, что собирался пообедать, ведь с заседания придется вернуться в клинику, а в восемь — доклад, да еще в «Центросоюз» нужно заехать. Он посмотрел на часы: обед, так сказать, отменяется, забегу в буфет, там быстро... Он смешно дул на горячий чай и с наслаждением ел бутерброд. Говорят, что вареная колбаса — грубая штука, а по-моему, удивительно вкусно... Он сказал буфетчице: «Леля, колбаса у вас потрясающая!» — и бледная, усталая женщина заулыбалась. Дмитрий Алексеевич подумал: два часа ухлопал на француза. Кто его знает, что это за личность? Может быть, заслали, а может быть, порядочный, трудно сказать. Глаза у него совестливые, и говорит не по шпаргалке, чувствуется, что человек расстроен. Это хорошо, что я ему все выложил, пусть призадумается, ведь они чорт знает что читают, откуда ему знать?.. Если порядочный, в конце концов поймет, а нет, пусть брешет, мало ли до него брехали, не страшно, не рассыплемся... А вот второго стакана, Дмитрий Алексеевич, не будет, пора на заседание!

Он с трудом вошел в переполненный автобус, улыбнулся парнишке, который стоял, расставив крепкие ноги, посредине прохода: «Я вас, кажется, прищемил?» Парнишка растерялся, сказал: «Ни в коем случае» — и потеснился, даже воздух в себя вобрал. На площади Маяковского автобус долго простоял. Крылов поглядел на часы: успею, от остановки в три минуты добегу... А все-таки здорово — сколько машин! Прошлым летом таких заторов не было, это за год повыпускали.

Полчаса спустя он уже слушал профессора Вайсблата, который докладывал о новых методах обезболивания. Рядом с Крыловым сидел доктор Борщевский, худой и язви-

тельный; лицо его выражало глубокое недоверие; он постукивал карандашом по столу и бормотал: «Требует проверки... Требует тщательной проверки...» А Крылов что-то записывал в книжечку и, восхищенный, улыбался: вы посмотрите, что придумали!.. В своей практике он был осторожен, говорил: «Ну, хорошо, нос я ей вылечу, а она, может быть, от этой штуковины запаршивеет? На себе, что ли, попробовать?» Но сообщения о новых приемах или о новых препаратах приводили его в восторг: приятно, что человек до чего-то додумался... Прослушав доклад, он сказал доктору Борщевскому:

— Это вы правы — нужно сначала проверить, но идея, так сказать, замечательная...

Он засунул в карман потрепанную записную книжку и поехал в «Центросоюз». Его принял заведующий управлением Орловский. Крылов сразу загрохотал:

— Это насчет машины для колхоза «Путь Ильича», я вам еще в феврале писал.

Орловский, выслушав, ответил:

— Мы выделили для области двести сорок машин, больше не можем...

— Вы думаете, я в облисполком не обращался? Первым делом. Они эти машины распределили еще до того, как вы им выделили, так сказать, в порядке очереди. Видите, какая история, а колхоз исключительный, я там был, знаю. Если им дать машину, отличатся. А без машины это одни разговоры... Посевная на носу, придется вам одну выделить...

Он говорил еще минут десять; его голос становился все громче и громче. Орловский посмотрел на его большое красное лицо с темными, настойчивыми глазами, под которыми лиловели отеки, и вдруг понял: без машины он не уйдет... У Орловского были двадцать две машины, не включенные в разверстку, как он говорил себе, про черный день. Он прервал Крылова, который рассказывал о талантах какой-то звеньевой:

— Ладно, отпустим.

Крылов вышел сияющий. Представляю себе, как они там обрадуются! Нужно фамилию записать, отзывчивый человек, в следующий раз прямо к нему пойду... Только как его зовут? Крылов попрежнему не мог запомнить ни

одной фамилии. Он записал в книжечке «Ястребцов» и сразу усомнился: кажется, напутал...

Он рассчитывал, что просидит в «Центросоюзе» не меньше часа, а сделал все за двадцать минут. Замечательный день — все время прорехи. Пожалуй, успею заехать насчет певуньи...

Профессора консерватории Звягинцева Крылов не раз пользовал и без долгих предисловий загремел:

— Я к вам насчет одной девушки! Поразительное сопрано, специалисты слушали, восхищаются. Девушка, можно сказать, пропадает. Мать умерла, отец — инвалид второй группы, замечательный человек, герой, но после контузии сдал... Он Машеньку, Маша ее зовут, взял да сунул в институт торговли. Голос у нее редкий, а голова не очень-то работает, медленно соображает — «Папаша сказал», — и так далее, — словом, пошла, куда приняли. Вышло чорт знает что: соловей — и куда ее прочат? За прилавок...

— Родственница ваша?

— Нет, зачем...

Профессор Звягинцев улыбнулся:

— Простите, я и не подумал, что вы, как депутат...

— Да это и не моя избирательница. Просто отец очухался, меня просит, как бы ее к вам перевести, — девушка заскучала. Я с отцом ее воевал, вместе из окружения выходили, он и тогда с виду был мямлей, но, знаете, отличился — прорвались мы, это в сорок первом, в самое поганое время. Капитан... Вот не могу вспомнить его фамилии. Кажется, Зубарин... Сейчас посмотрю.

Крылов начал поспешно листать книжечку, наконец нашел:

— Зуйкин, ну, конечно, Зуйкин. Мария Михайловна Зуйкина, год рождения тридцатый...

В больнице Крылов обошел больных; все было благополучно. Он сказал доктору Семушкину: «Нехорошо, что Мамиконьян температурит, не полагается, надо завтра его обследовать». Студентку Зайцеву он обрадовал:

— Завтра выпишем. Я говорил вам, операция пустяковая, кончатся теперь все ваши ангины. Вы на каком факультете?

— Филологическом. Я готовлю дипломную работу.

— Это о чем?

— Творчество Ромэна Роллана.

— Хорошо выбрали. По правде сказать, я «Жан-Кристофа» не одолел, но вот «Кола Брюньон» три раза перечитал, так и кажется, что не бумага перед тобой, а люди, правда?

На доклад Крылов пришел во-время; он сел позади и чуть наклонил голову налево, как бы подставляя правое ухо поближе к кафедре. Доклад должен был сделать биолог Шебаршин, который давно работал над проблемой лесонасаждений. Крылов слышал о нем от Наташи — Шебаршин помогал ей, когда она писала дипломную работу, посвященную влиянию микоризы на молодые всходы дуба. Наташа рассказывала отцу: «Он замечательный теоретик, его книга перевернула многое в биологии, но если бы ты его видел, когда он возится в траншее с желудями! Он и летает высоко и крепко стоит на земле. Если я смогу что-либо сделать, то прежде всего я обязана ему».

В соседнем ряду сидел профессор Пашков, он радостно поздоровался с Крыловым:

— Дмитрий Алексеевич, и вы здесь? Я ведь вас с осени не видел... Для вас, наверно, вдвойне интересно — мне говорили, что Наташа работает на лесозащитной станции, да, по-моему, вы сами мне это рассказывали.

— В сентябре уехала. Недавно письмо получил, пишет, что ей некогда писать, — горячая пора. Чувствую, увлеклась моя Наташа... Понятно, начинание грандиозное, вступаем, так сказать, в поединок с природой. Наташа пишет, что у них на станции один старичок сказал: «Скоро мы этот суховей приберем к рукам»...

Дмитрий Алексеевич слушал жадно; его волновали и рассказ о том, как профессор Яблоков вывел новый сорт быстрорастущей осины, и описание посева дубов, и сухие цифры — за первые месяцы свыше девяноста пяти тысяч гектаров... Дмитрий Алексеевич видел, как оживают желтые, едкие степи, зеленеют, свежеют, колышутся. Этот француз говорил, что они нас боятся, заключают военные союзы, посадили в Фонтенебло Монтгомери. А вот не угодно ли: мы повели наступление — только не на них — на засуху...

Когда доклад кончился, возле вешалки Крылов вдруг увидел профессора Михеева. Оба рассмеялись. Сорок два года назад они вместе стояли в большом актовом зале московской Первой гимназии. Встречались они очень редко, но всякий раз, встречаясь, радовались: вспоминали гимназические годы, проказы, учителей, сверстников; по старой привычке они друг друга тыкали, но говорили «Дмитрий Алексеевич» и «Иван Васильевич».

Они вместе вышли. Потеплело, в воздухе чувствовалось то первое дыхание апреля, от которого начинают набухать почки, птицы спешат на север, а девушки беспокойно прислушиваются к звукам пианино в соседней квартире, к ветру, к дождю, к шагам на темной лестнице.

— Зашел бы ты ко мне, Дмитрий Алексеевич, посмотришь, как я живу, посидим часок. Я ведь с сорок шестого тебя не видел...

Крылов сразу согласился.

Михеев жил недалеко от Пушкинской площади в новом доме. Лифт не работал, написано было: «Остановлен на ремонт». Михеев усмехнулся:

— Ты уж прости, я тебя не предупредил. Он у нас частенько на ремонте, а цифры во внимание не принимаются.

— Какие цифры? — удивился Крылов.

— Очень просто — мне шестьдесят второй пошел, а живу на восьмом этаже.

Он подымался медленно, подолгу стоял на каждой площадке. Крылову тоже было трудно подыматься, но он старался этого не показывать. Михеев строго сказал:

— Не беги, Дмитрий Алексеевич, мы с тобой не спортсмены, я ведь слышу, дышишь, как паровоз...

Крылов впервые был у Михеева. Он с любопытством оглядел маленькую квартиру. В одной комнате стояли большой письменный стол, заваленный книгами, рукописями, газетами, диван, на котором спал Михеев, и узенькая кровать его сына — студента-первокурсника. В другой комнате помещалась жена Михеева, тут же стояли обеденный стол и буфет, все здесь было прибрано, на окне цветы, на буфете вазы.

— Жена на партсобрании, а Миша в кино пошел. Живем, что называется, в тесноте, да не в обиде.

— Очень хорошо у тебя, Иван Васильевич. Уютно... Вот у меня была лишняя комната — Наташа там жила, — так я ее одному студенту отдал...

Он с грустью подумал о своем одиночестве, но это не сказалось ни в выражении его лица, ни в голосе.

— Много книг у тебя, Иван Васильевич.

— Слишком много — вытесняют, Мише развернуться негде. Он в другую сторону смотрит: отец занимается допетровской Русью, а сын поступил в строительный институт.

— Я помню, ты мечтал, что будешь актером...

— Я историю тогда ненавидел. У меня был двоюродный брат, он поступил на исторический факультет, я ему говорил: «Охота тебе возиться с фараонами? Старьевщик, шурумбурумщик...» Я пошел на юридический, а потом передумал, увлекся историей... Помнишь нашего историка, он мне говорил: «Ну, Михеев-Ротозеев, получай кол».

Они начали вспоминать товарищей. Селезнев часто хныкал, его так и звали «девчонкой», а погиб геройски — замучили в Архангельске англичане. Чебышев удрал в Турцию; говорили, что он там показывал дрессированных блох, а потом умер с голоду. Ковалевский стал журналистом, он на войне погиб — попал в окружение...

— Дмитрий Алексеевич, ты «Чижика» помнишь? Шевелева? Он всегда стригся ежиком... Помнишь, он купил в Столешниковом чихательный порошок и принес на урок немецкого? Карл Фридрихович весь час прочихал. Шевелева выгнать собирались... Он геологом стал, в сорок шестом получил Сталинскую премию. Вчера мне рассказали, что он умер в Ташкенте. В общем мало нас осталось...

— Да, снаряды ложатся близко, — сказал Дмитрий Алексеевич.

Минуту спустя он загрохотал:

— Я вспомнил, как ты ухаживал за гимназисткой и купил себе необычайную фуражку — бледносинюю, широчайшую. У тебя было свидание в сквере напротив гим-

назии. А я взял и сел на фуражку, она расплющилась, ты на меня с ремнем кинулся. Помнишь?

Они припоминали старую Москву: конку, которая с криками, с гиком подымались вверх по Пречистенке; извозчиков, их нескончаемые разговоры о том, что овес подорожал; крохотные деревянные домики Хамовников, Дорогомилова, Пресни, каланчи, пожары, на которые народ сбегался, как на праздник; вербный базар, где продавали «морских жителей» и «тещин язык»; Охотный ряд, лабазников, казаков с нагайками, с серьгой в ухе; чаепития, сонный, оцепеневший мир их бурных отроческих лет.

— Показали бы нам тогда сегодняшнюю Москву, — сказал Крылов, — не поверили бы. Ты подумай только, сколько понастроили! Я недавно поехал на Владимирское шоссе — там хибарки были, огороды, — гляжу, большущий город, не знаю, куда пройти. В замечательное время мы живем, умирать не хочется: подсмотреть бы, что будет лет через двадцать...

Он вдруг встал, засуетился:

— У тебя листок бумаги найдется и конверт? Опять забыл... Это, понимаешь, по депутатской линии. Построили у нас завод. Хороший, я два раза осматривал, можно сказать гордость города. Отпустили им средства на постройку жилых домов, а они взяли и новый цех построили. Директор — человек толковый, только очень честолюбив, можно сказать косит: двумя глазами на начальство смотрит, а для рабочих у него и глаза нет. Многие устроились в городе, ну, а другие — в общежитии. Вот мне написал один, у меня письмо в кармане, фамилия восточная... Алибеков. Он в общежитии, жена в общежитии, а она, как теперь говорят, в декретном отпуску. Счастье есть, комнаты нет. Напишу сейчас секретарю райкома, он у нас отзывчивый. А то опять засуну в карман и забуду. Третий день ношу, этакое безобразие!..

Пока Крылов писал, пришла жена Михеева; накрыла на стол. Михеев сказал:

— Дмитрий Алексеевич, чаю попьем, перекусим.

Крылов ел с аппетитом и вдруг смутился:

— Вы, Евгения Ивановна, не удивляйтесь, что я, так

сказать, все поглощаю, — не обедал сегодня, как-то не получилось.

— Сейчас «последние известия», я включу, — сказала жена Михеева.

«Из Челябинска сообщают, что рабочие Тракторного завода взяли обязательство... В Алма-Ате состоялось торжественное открытие нового клуба... Ширится производственный подъем... Рабочие рижской табачной фабрики готовятся встретить Первомай новыми успехами... Пленум Измаильского обкома отметил, что сев ранних колосовых произведен на высоком уровне...»

Крылов проворчал:

— Говорят они скучно. Дела замечательные, а слушать не хочется. Я иногда включу и ругаюсь... Все меняется, не успел оглянуться, вырос город, да что там города — люди растут, а они, как пономари, заладили за здравие и долбят...

«Переходим к сообщениям из-за границы».

Михеев улыбнулся:

— Сейчас будет за упокой.

«Газета «Дейли ньюс» отмечает, что в связи с последним выступлением президента Трумэна акции военных предприятий поднялись... Голландская газета «Де Ваархейд» сообщает, что голландские вооруженные силы, подчиненные маршалу Монтгомери, будут увеличены... В Италии число безработных за истекший месяц увеличилось на сто семьдесят тысяч...»

— Что ты об этом думаешь, Дмитрий Алексеевич?

Крылов засмеялся:

— Тебе виднее, ты — историк, я ведь больше насчет носа и глотки. Интересно — как это все выглядит с высот истории?

— Подгнивший строй часто пускается на авантюры. Я уже не говорю о далеком прошлом, но, пожалуйста, вспомни: Наполеон третий, кайзер, наш Николай. Я не исключаю возможности...

— Ну, тогда они просто дураки. Что они, забыли, как мы гитлеровских жеребчиков стукнули? Кажется, не при царе Горохе было, могли бы призадуматься... Ты посмотри: кричат, шумят, грозятся, а мы все-таки свое дело делаем. Я, когда Шебаршина слушал, подумал: ну за-

чем они надрываются? Мы, например, вековые дубы сажаем... Помню, читал я в американском журнале про ураган в Техасе. С восторгом расписывали — сенсация. Налетел ураган и сорвал весь верхний покров земли, так, что сотни тысяч остались без куска хлеба. Сажали бы у себя деревья; кажется, и деньги есть и специалисты. А они: бомба и бомба. У нас писали, что один американский специалист работает над тем, как уничтожить всякую растительность. Чорт знает что, не верится даже, что это люди... Сегодня ко мне в больницу приходил французский журналист, закидал меня вопросами — не о больных — так, взгляд и нечто... Он мне сказал, что на Западе нервничают, говорят о новой войне, причем вбили себе в голову, что мы собираемся на них напасть. Вот и получается: хотели запугать нас, а запугали самих себя.

Пришел сын Михеева Миша, долговязый юноша, стеснительный и поэтому кажущийся порой развязным, с чересчур длинными руками и голосом, переходящим неожиданно с баса на дискант. Он поздоровался с Крыловым и стал поспешно глотать холодные котлеты.

— Ты что так поздно, Миша? — спросила Евгения Ивановна.

— Ты же знаешь, что я должен был проводить Надю, а оттуда на троллейбусе почти час, — ответил он не то сконфуженно, не то раздраженно.

Потом он рассказал Крылову, что профессор их института участвовал в разработке проектов высотных зданий. Крылов с интересом слушал, кивал головой. Миша, довольный, что нашел благодарного слушателя, увлекся:

— Университет будет по содержанию и по форме первым зданием, выражающим идею коммунизма...

— Естественно, — сказал Крылов и вдруг поглядел на часы: — Не угодно ли, четверть третьего! Простите, Евгения Ивановна, замучил я вас. Вот что называется встретиться со школьным товарищем...

На улице было еще теплее, чем вечером: южный ветер поспешно нес Москве весну. Крылов пошел домой пешком. Он ни о чем не думал, но жадно вдыхал острый, тревожный воздух.

Когда он вошел в переднюю, его восторженно встретил Томка. Крылов в позапрошлом году подобрал брошенную собаку. Это была старая дворняжка, с умными, лукавыми глазами, с сединой на черной морде и с короткими кривыми лапами; Крылов говорил: «Помесь лягаша и таксы, так сказать новая порода...» Он объяснял знакомым, что завел собаку потому, что любит охоту, а Томка — настоящий охотничий пес. На самом деле он взял собаку потому, что его угнетало одиночество; он радовался, что Томка его шумно приветствует, ночью ворочается, храпит, иногда тявкает со сна... Сейчас Томка неистово кружился по комнате, пока не свалился, тяжело дыша и высунув большой красный язык. «Ведешь себя, как щенок», — пожурил его Дмитрий Алексеевич и подумал: вроде меня, не соображает, что пришла старость. В этом вся беда: сердце не стареет, ходишь, мечешься, а сил прежних нет.

Студента, который жил в комнате Наташи, не было дома. Крылов усмехнулся: наверно, провожает какую-нибудь Надю или Машу. Да разве молодой усидит в такую ночь?

Он вывел Томку, а потом сел читать: спать не хотелось.

Читая роман, который увлекал его, Крылов часто спорил — не с автором, а с героями. Так было и теперь; он вдруг снял очки и начал про себя возражать: нет, товарищ Листопад, это не дело... Мамаша у вас чудесная, могли бы у нее поучиться. Покойную жену вы не поняли... Конечно, человека понять труднее, чем машину, но вы ведь коммунист, это к чему-нибудь да обязывает...

Он отложил книгу и подошел к окну. Светало. Перед ним была Москва, большие новые здания, а между ними домишки его детства и вдали — он скорее угадывал, чем видел, — река, мост, кремлевская башня. Он вспомнил, что часто стоял у этого окна с женой. Варя говорила: «Квартирка тесная, зато вид у нас чудесный». Он подумал о Варваре Ильиничне с такой нежностью, что на минуту Москва затуманилась и пропала. Он чувствовал, что Варя рядом, гладил ее тонкую руку. На безымянном пальце она всегда носила колечко с бирюзой, подарок

матери. Милая моя Варенька, какую чудесную жизнь прожили мы с тобой!..

Поеду в отпуск к Наташе. Наверно, и Вася туда приедет... На минуту Крылов загрустил: не до меня им будет... Наташа теперь взрослая, в субботу день ее рождения, не забыть бы послать телеграмму — двадцать девять лет. Хорошая она... Это не потому, что она моя дочь, у нее большое сердце. Если бы Листопад напал на такую, она бы его научила. Это не Нонна, не формула. Наташа живая, горячая, если полюбила, так уж не скупится на чувства, не меряет по граммам... Васька, кажется, тоже будет отчаянным. Очень хочется повидать Ваську. Полгода, как они уехали...

Дмитрий Алексеевич обожал внука; ему казалось, что Васенька — это он сам, только «в улучшенном издании». Мальчик был живой, непоседливый, спрашивал непрестанно: «А почему?», считался первым в классе проказником, а учился хорошо — быстро все воспринимал. Он любил рисовать и всегда изображал корабли. Может быть, моряком станет, думал Крылов. Вот и недавно он прислал письмо. «Дедушка, пришли мне краски и крючки для удочки», а под этим изобразил разбушевавшееся море, скалы и на гребне высокой волны корабль с красным флагом. Откуда он берет это? — дивился Дмитрий Алексеевич. Видел пруд с утками, а рисует обязательно море...

Под окном показались первые прохожие. Солнце светилось в окнах, как зарево пожара. Москва была розовой и теплой... Нужно часа два поспать, завтра много работы. Какое там завтра — сегодня...

Он подумал о том, что предстоит большой, трудный, интересный день: две операции, лекция, собрание служащих больницы. Впереди, может быть, сотни таких дней... Он знал, что болен, не должен переутомляться. Так говорят врачи, об этом пишет Наташа. Только не время теперь отдыхать... Да стоит мне попасть в санаторий — и развинчусь. Нужно, Дмитрий Алексеевич, держать себя строго, кончить, как начал, — в полный голос...

Засыпая, он вспомнил француза, вспомнил и пожалел. Хорошие у него глаза, а живет отвратительно. Агентство, американские журналисты, мысли о войне. Чув-

ствуется, что человек задыхается. Какое-то бесплодное кипение. Разве можно так жить? Немного бы ему этого мира — розового и теплого...

Он недодумал: уснул.

33

Профессор Шебаршин с собрания поехал домой. Он радовался, что сможет провести остаток вечера с женой. Сейчас еще рано — половина одиннадцатого... Ему казалось, что он должен рассказать Леле что-то очень важное, но он ее обнял, сказал: «Знаешь, Леля...» — и замолк. Он был счастлив, что она рядом, что не нужно спешить ни в академию, ни на аэродром. Он глядел на ее лицо, как бы освещенное изнутри — большие серо-синие глаза светились, — и думал: какое у меня счастье!..

— Ты помнишь, как мы встретились в Новосибирске? Ты подошла и сказала: «Профессор Лобов просил передать вам, что, несмотря на все трудности, он продолжает работать над проблемой лесонасаждений. Я ведь вчера приехала из Ленинграда...» Ровно семь лет назад... Я не помню, говорил я тебе, что нашли рукопись Лобова? Многое из того, о чем он писал, теперь осуществляется. У него была удивительная сила воли, он умер от дистрофии, а последние записи сделаны за четыре дня до смерти...

Зазвонил телефон.

— Тебя...

Он подошел к аппарату.

— Хорошо, буду через двадцать минут.

Он обнял жену.

— Ты меня не жди — это надолго... Может быть, в воскресенье поедем на дачу. Если только не придется куда-нибудь вылететь...

Профессор Шебаршин женился в 1942 году на студентке, эвакуированной из Ленинграда. Ему было тогда сорок пять лет, а Леле двадцать четыре. Он считал разницу в возрасте неодолимым препятствием, старался подавить в себе чувство, два месяца не встречался с Лелей. Никогда прежде он не знал сердечных бурь и от поздно нагрянувшей любви страдал, как от тяжелой, незаживаю-

щей раны. Он говорил себе, что не вправе связать судьбу молоденькой девушки со своей, что его страсть смешна, если не преступна. Однажды вечером Леля его разыскала. Она вошла в комнату молча. Он начал ее уговаривать: он занят, им вообще лучше не встречаться, он просит ее уйти, умоляет. Она молчала. Он подошел к ней и увидел, что она плачет; сказал: «Не сердитесь, если я вас обидел». Она тихо ответила: «Я не могу без тебя». Год спустя у них родился сын, которого назвали Константином и которого отец звал Куксой. Леля кончила институт и работала в лаборатории. Она все больше и больше влюблялась в мужа, а он ее любил с нежностью и суеверной страстью немолодого человека. Жизнь сложилась так, что им редко удавалось бывать вместе: профессор порой оставался утром дома, но Леля рано уходила на работу. Они радовались, как подарку, вечеру, часу.

Профессор Гайнс, когда он в 1946 году посетил Москву, захотел повидать Шебаршина, с которым познакомился годом раньше в Бостоне. Они разговаривали дружески, но понять друг друга не могли, хотя Шебаршин свободно объяснялся по-английски. Профессор Гайнс напоминал того абстрактного ученого, честного, рассеянного, пугающегося всего расположенного за пределами его кабинета, которого часто описывают и который умиляет читателей своей житейской беспомощностью. Шебаршин, когда был в Америке, встречал ученых, похожих на Гайнса. Биологи охотно беседовали с Шебаршиным о наследственности, о генах, о том, что его книга чрезвычайно интересна, хотя в ней много спорного. Когда же Шебаршин пытался выяснить, как они представляют себе практическое применение биологии, они отвечали, что это не их область. Вопросами, которые его волновали, занимались практики с чрезвычайно ограниченными познаниями. Когда Шебаршин спрашивал такого практика, что он думает о межвидовой и внутривидовой борьбе в растительном мире, тот недоуменно разводил руками. Шебаршин потом рассказывал жене: «Прекрасные университеты, лаборатории замечательно оборудованы, это бесспорно, но биологи сидят у себя в кабинете, а люди, занятые живым делом, мало что смыслят в научных проблемах...» Профессор Гайнс был крупным антропологом, и Шебаршину пришлось говорить.

с ним об антропогенезе — ничем другим Гайнс не интересовался. Американца изумило, что советский агробиолог проявил недюжинные познания в антропологии, что он разбирается в искусстве, в экономике. Придя к Шебаршину, он удивился: «Как вы можете здесь работать?» Шебаршин рассмеялся: «Привык». Он жил на улице Горького, и Москва, как огромное человеческое море, с утра до ночи билась, шумела, грохотала под его окнами. Шебаршин угостил Гайнса обедом; было много закусок, дичь, душистое абхазское вино. Во время обеда Шебаршина то и дело беспокоили: звонил телефон, приносили пакеты. Он объяснил Гайнсу, что у него много обязанностей, не связанных с его научной работой: он — депутат, входит в Комитет по Сталинским премиям, иногда пишет в газете. После обеда Шебаршин посоветовал гостю пойти в Большой театр — сегодня «Жизель» с Улановой. Гайнс еще раз удивился: Шебаршин обожал балет. «Я бы с вами пошел, — сказал Шебаршин,— но не могу — вечером уезжаю в Ленинград». Гайнс спросил Шебаршина, часто ли ему приходится отлучаться; тот ответил: «Сейчас подсчитаю. За год я два раза был в Ленинграде, ездил в Румынию, потом в Одессу, в Саратов, в Омск, в Астрахань. Кажется, все...»— «Я слышал, что вы готовите к печати новую работу, — сказал Гайнс, — когда же вы пишете?» Шебаршин засмеялся: «Когда передо мной стол и несколько свободных часов. Впрочем, можно и без стола... Летом я летал в Омск, и в самолете удалось кое-что сделать...» Рассказывая Адамсу о своих впечатлениях от России, профессор Гайнс вспомнил Шебаршина: «Не берусь судить, что такое «агробиология» — это слишком далеко от моей специальности, может быть шаг вперед, а может быть только модное новшество для пропаганды. Так или иначе, у них много талантливых людей и поле деятельности огромное. Однако лично я не хотел бы там работать».

А Шебаршин ни за что не променял бы своей беспокойной жизни на тихий кабинет профессора Гайнса. Он видел, как над полезащитными полосами работает весь народ — ученые, колхозники, министры, агрономы, трактористы; была прямая связь между научными трудами Шебаршина и посевом леса. То, о чем мечтали его предшественники — Докучаев, Костычев, Тимирязев, Вильямс, — стало осуще-

ствимым. Родилось государство, способное посягнуть на незыблемость природы. От ночей у письменного стола, от листков рукописи, от наблюдений, опытов, раздумий дорога шла к необозримым степям, выжженным солнцем, занесенным песками пустынь, поросшим пыреем и острецом, к тем степям, которые завтра, отгороженные зеленой стеной от суховея, станут житницей мира.

Он не мог забыть того дня, когда его вызвали в Кремль. Готовясь к докладу, он нервничал: нужно быть очень кратким. В тот самый день он прочитал телеграмму о проекте военного союза: Трумэн предлагал вооружить Западную Европу, послать оружие Греции и Турции, настаивал на борьбе против коммунизма, говорил, что страны, не принимающие американского образа жизни, представляют собой угрозу для цивилизации. Шебаршин спрашивал себя: можно ли отвлекать людей, которые стоят во главе государства, разговорами о методах посева? Он волновался и начал несвязно. Сталин сказал: «Не торопитесь, товарищ Шебаршин. Это очень важный вопрос». Тогда Шебаршин заговорил о значении дуба, о благодетельном соседстве некоторых древесных пород и кустарников, о том, что для песков лучше всего сосна. Его прерывали вопросами. Шебаршину хотелось как можно лучше рассмотреть Сталина, но он увлекся объяснениями. Потом Сталин показал на карте восемь крупных полос: его рука прошла от Камышина к Сталинграду, от Сталинграда к Черкесску. Шебаршин не отрывал глаз от этой руки, в голове пронеслось: наверно, так он показывал линию обороны... А Сталин сказал: «Пятнадцать лет — срок достаточный, нужно только энергичней взяться». Шебаршин подумал: какая сила и какое спокойствие!

Он вспомнил тот вечер и сейчас, торопясь на совещание. Предстоит подвести итоги зимней подготовки. Посев кое-где начался, но есть опасность, что в ряде областей приступят слишком поздно. По метеопрогнозам весна предстоит засушливая, дожди обещают только в июне. Если пропустить сроки, всходы могут свариться...

Москва еще не затихала: ранняя весна растревожила улицы. Светились окна высоких домов, и Шебаршин подумал: сколько разных людей! Не спят, читают или спорят, кто-нибудь смеется, кто-нибудь вздыхает... Он почувство-

вал величину города, его пестроту, сложность. А там дальше — поля, леса, степи. Зеленая полоса... Пять тысяч триста километров — больше, чем отсюда до Лондона... До чего большая страна, это чувствуешь, когда летишь в Иркутск или в Ташкент, конца не видно. В такой стране можно блуждать, ошибаться, а вот мелочности здесь не может быть — другой размах. Жизни, и то нехватит... Вчера Кукса спросил: «Папа, а ты тоже будешь расти или ты вырос?» Через двадцать лет Кукса будет ехать по Красной площади, и будут эти же башни, Василий Блаженный, звезды. А леса уже вырастут...

Четверть часа спустя он говорил: «Одесский институт заканчивает посев — это сто пятьдесят пять гектаров... Ростов следует поторопить... Не на всех МТС понимают важность задания...»

Когда он вернулся домой, он увидел в столовой свет. Странно, почему Леля не спит? Третий час...

— Не спится, — сказала она, — читала... Хочешь, я подогрею чаю?

Он кивнул головой: ему хотелось побыть с Лелей. Он глядел на ее лицо, она то хмурилась, то улыбалась. Он мог часами на нее глядеть, а оставаясь один, мучительно пытался ее представить. У нее было лицо, необычайно быстро менявшееся. Ему казалось, что у нее много разных лиц. Может быть, поэтому ее нельзя было узнать на фотографиях. Одни ее находили красивой, другие пожимали плечами: какая же она красивая? Шебаршин видел ее такой, какой ее никогда не видели другие, и все же он думал, что он ее не знает и не узнает никогда.

Легкая тень легла на лицо Лели; он почувствовал, что она чем-то озабочена.

— Как Кукса?

Она приоткрыла дверь в детскую. Кукса спал на спине, чуть свесив голову: из-под одеяла высовывалась нога. Он походил на мать, и Шебаршин улыбнулся: вот еще лицо Лели...

Леля сказала правду: ей не спалось, она решила подождать, может быть Алеша вернется не слишком поздно. Взяла «Новый мир», прочитала два рассказа и сейчас же забыла их содержание; потом начала работать, выписывала в тетрадку данные о гетерозисе вегетативных гибри-

дов. Случайно она отвлеклась, увидала «Правду». Оказалось, что газета вчерашняя, она ее сложила и вдруг стала читать корреспонденцию из Нью-Йорка, в ней цитировалась речь сенатора Лоу: «Вполне возможно, что, несмотря на наше миролюбие, мы будем вынуждены сбросить некоторое число атомных бомб на крупные советские города...» Леля отложила газету и снова взялась за тетрадку, но ей трудно было сосредоточиться. Зачем они это говорят? Неужели не понимают, что если начнут, война обязательно к ним вернется?... Она вспомнила Ленинград, из которого ее вывезли весной 1942 года. Когда она пришла перед отъездом к профессору Лобову, у него было темно, холодно, а на столе среди бумаг лежал кусочек мокрого хлеба — паек. Его жена умерла за два месяца до этого: на столе стояла ее фотография. Профессор не захотел уехать, говорил, что нужно спасти молодых, кто-то должен остаться, а он великолепно все перенесет. Он знал, что долго не протянет, но продолжал работать. Разве может этот Лоу представить себе такие муки и такую силу?.. Леля начала вспоминать военные годы, нетопленные дома, голодных детей, «граждане, воздушная тревога», эвакуацию, как ждали почту, серый, заклеенный грубым клеем конверт — письмо от командира: брат Лели погиб у Керчи.

Ей стало не по себе. Она пошла в детскую, долго глядела на Куксу; он проснулся от света и сразу же уснул. Она заставила себя сесть за работу. Потом пришел Алеша.

Она не сказала ему о своих мыслях. Он рассказывал про совещание. Вероятно, придется съездить в Ростов... Вдруг он улыбнулся:

— Знаешь, Леля, я сегодня, когда ехал, размечтался— Кукса через двадцать лет... Наверно, он удивится, подумав, чем я занимался, будет читать о засухе, как мы читаем о чуме.

Леля нахмурилась:

— Зато рассказы об атомной бомбе или о бактериологической войне ему покажутся будничными, как нам о том, что у бандита оказался нож или револьвер... Я иногда думаю, что наука приносит людям и хорошее и плохое, и теперь плохого, кажется, больше...

— Виновата не наука. Любое открытие может попасть в руки негодяя. Вряд ли Гутенберг предвидел Геббельса... Я очень люблю миф о Прометее. Он похитил у богов огонь и передал его людям. Его за это приковали к скале, и коршун рвал его печень. Ну, как ты думаешь, что должен был чувствовать Прометей, когда он узнал, может быть от того же коршуна, что сумасшедший честолюбец Герострат поджег храм Дианы или что Ксеркс спалил Афины? То же самое должны теперь чувствовать ученые, которые работали над проблемой расщепления атома...

— Алеша, ты думаешь, что они посмеют?..

— По-моему, американцы — хорошие люди, мне они понравились. В них много детскости, они часто заставляли меня улыбаться. Как Кукса... Конечно, там много гадости, хотя бы с неграми, но народ добродушный, непосредственный. Они и доверчивы, как дети. Этим пользуются... Я думаю, что все дело в возрасте. Они не росли постепенно, а как-то сразу из горемык, убежавших за океан искать счастья, превратились в огромную нацию. Успели построить небоскребы, создать высокую технику, комфорт, о котором в Европе и не мечтают, изготовили бомбу для Хиросимы, а о том, что культура — это не только «искусственный климат» или самолет с баром, они не подозревают. Там многие плоды крупнее, эффектней, чем в Европе, а нет ни вкуса, ни аромата — слишком быстро поспевают. Так и они — слишком быстро поспели...

— Тогда их легко подбить...

— Конечно. И все-таки я не думаю, что удастся... Я встречал там честных людей с головой. Народ воевать не хочет. Да и какой народ хочет воевать?.. Потом, легко грозиться, труднее полезть в драку...

— Алеша, это тебе не мешает работать?

Он вспомнил руку на карте и улыбнулся:

— Помнишь, я тебе рассказывал прошлой осенью, как нас вызвали в Кремль? Это было в тот самый день, когда на Западе все слушали радио — Трумэн объявил о своей «доктрине». Он говорил о базах, о вооружении, об угрозе войны. А мы сидели и обсуждали, какие деревья лучше подойдут для намеченных районов...

— Я, когда тебя не было, думала о профессоре Лобове. Ты мне сам напомнил... Он говорил: «Обстановка неподходящая, но продолжаю работать. Война кончится, а вопрос о лесонасаждениях обязательно встанет...»

— Вот именно. Допустим, что их не остановят ни Европа, ни разумные люди в самой Америке, ни наша сила; допустим, что они начнут. Кончим-то мы. Значит, нужно вырастить леса для Куксы... Ты сказала о Лобове. Это человек старого поколения, он был старше меня на девять лет. Но разве молодые хуже? У меня была научная сотрудница, девчонка твоих лет. Осенью нужно было послать человека на самую паршивую лесостанцию. Глушь — шестьдесят километров от железной дороги, людей мало, приезжал оттуда лесовод, прямо-таки зубр. Одним словом, представляешь себе, какая там жизнь... Я ее как-то встретил на концерте, ты тогда была в командировке, исполняли восьмую симфонию Шостаковича. Раздирающая вещь — война... В антракте мы с ней разговорились, чувствуется огромная культура, любит музыку, поэзию... И что же, она не только согласилась — просияла, когда я ей предложил. Сегодня говорили, что она прекрасно работает, подготовили большую площадь, в колхозах кругом тоже убедили... Да разве могли бы мы это начать, не будь у нас таких людей? Дерево вырастить очень трудно, я это знаю, но людей вырастить было еще труднее.

Он долго говорил о своих друзьях, о работниках, которых встречал, о студентах. Вдруг он увидел, что Леля спит. Ее лицо сейчас было детским, как у Куксы. Он глядел на нее, боясь ее разбудить, счастливый, что может всласть ею налюбоваться. На одну минуту печаль сжала его сердце; он вспомнил, что ему пятьдесят два года, что у него грудная жаба, Леля об этом не знает — припадок был в Одессе, он не рассказал. Но печаль быстро отошла: он не мог до конца поверить ни в свою болезнь, ни в свой возраст. Он подумал о том, что влюблен в Лелю, как мальчишка, что сил у него еще много — можно поработать. К весне подготовились хорошо. Вот только придется слетать в Ростов. Милая, она устала, а скоро ей в лабораторию. Он стал перед ней на колени, большой, неуклюжий, с седой взлохмаченной головой, и начал целовать ее

тонкие маленькие руки. Он целовал их так бережно, что Леля не раскрыла глаз, не вздрогнула, только улыбнулась — во сне.

34

О болезни Васеньки Наташа не написала ни мужу, ни отцу. Она себя упрекала, что не досмотрела — была занята с утра до вечера: то распределяла участки, то справлялась о машинах, то проверяла, наклюнулись ли жолуди. В трех километрах от станции был маленький прудок, который летом высыхал. На его берегу валялась дырявая бочка; она давно прельщала Васю. Из школы он повел десяток мальчишек к пруду, говоря, что переплывет его на самодельном корабле. Он сразу оказался по голову в ледяной воде, но не закричал, не заплакал, стойко сказал: «Кораблекрушение». Наташи дома не было. Марфа Игнатьевна переодела Васю во все сухое. Вечером он слег. Наташа его бранила; он отвечал: «А так на воде всегда бывает. Ты не сердись, я ведь не затонул...» Наташа натерла его салом, дала ему кальцекс, тепло укрыла. На следующий день врач определил воспаление легких; мальчика увезли в больницу.

Наташа перепугалась, но не подала виду: начинался посев желудей, никто ее заменить не мог. Всю зиму Никитин говорил, что сеять здесь дубы — бред, это хорошо только на бумаге. Наташа пыталась его убедить, повторяла все, что слышала; он иронически улыбался, а как-то, рассердившись, сказал: «Вам бы тюльпаны сажать, Наталья Дмитриевна, а не лес...» Наташа настаивала, она помнила, как профессор Шебаршин говорил: «Трудности будут большие. Но вы не уступайте...» Наташу поддержал Горленко. Секретарь райкома, выслушав обе стороны, пробурчал: «Дело, что называется, сложное». Больше ничего не захотел добавить. Неделю спустя он приехал на станцию, собрал руководство и сказал: «Так что надо сеять дубы, очень просто».

Теперь предстояло испытание. Еще накануне Никитин сказал Наташе: «Подчиняюсь в порядке дисциплины, только ничего хорошего не выйдет». Наташа знала, что на

него нельзя положиться; она должна сама наблюдать за посевом. Она пыталась себя успокоить: в больнице за Васей ухаживают, но ей было нестерпимо тяжело. Она проработала до темноты, потом на грузовой поехала в больницу. Она не решилась спросить доктора, что с Васей. Он тоже молчал, наконец уныло выговорил: «Положение серьезное. А вы не волнуйтесь...» Наташа была вся в пыли; она долго мылась, надела белый халат и прошла в палату. Вася не то дремал, не то был в забытьи. Он часто открывал глаза, но не узнавал матери, просил пить. Наташа просидела у него до пяти, выпила кружку молока и, не заходя домой, поехала в Безымянку, где шла работа.

Так прожила она четыре дня: днем сеяла жолуди, ночью сидела над Васей. Когда она пришла на третий вечер, он ей обрадовался, взволновался, говорил, что он не виноват, в бочке дыра, а была буря, ласково повторял «мамочка», потом начал бредить.

Из совхоза обещали прислать тридцать рабочих и не прислали. Звеньевая Шура, на которую Наташа особенно рассчитывала, поранила себе руку. Никитин говорил, что нельзя было брать такую большую площадь: восемьдесят гектаров они, может быть, и осилили бы, а двести восемьдесят — это хорошо только на бумаге. Наташа должна была успокаивать, обнадеживать, подгонять, а на сердце у нее лежал камень. Даже в те далекие дни, когда она думала, что Вася-большой погиб и украдкой беседовала с крохотным Васькой, она не могла себе представить, что так полюбит сына. Тогда он был надеждой, порой оправданием ее жизни, теперь он стал человеком, Васей, или, как она его называла в минуты большой нежности, Василием Васильевичем, с характером, со страстями, со множеством забавных и трогательных историй, с меткими определениями, которые смешили или озадачивали Наташу. Такая беда, такая ужасная беда, говорила она себе, когда выпадала свободная минута, и тотчас возвращалась к работе: «Видите, где маркировано».

На четвертый день к вечеру посев закончили; это было в субботу, и весь воскресный день Наташа просидела в больнице. Ей казалось, что Вася крепко спит, она несколько раз приводила к нему врача, с надеждой спраши-

вала: «По-вашему, ему не лучше? Он ведь ни разу так не спал — прошлую ночь метался, открывал глаза...» Доктор хмуро отвечал: «А вы не волнуйтесь. Завтра или послезавтра все выяснится...»

Ночью Наташа сидя уснула. Когда она раскрыла глаза, увидела, что Вася на нее смотрит. Он улыбнулся, сказал:

— Ты почему не на кроватке спишь? Вон там пустая — ложись...

Врач был по природе человеком мрачным; он либо говорил больному: «Ерунда, прослабит — и все», либо считал, что пациент умрет. Но теперь он сказал Наташе:

— Поезжайте-ка вы домой, разденьтесь, поспите. Выскочил ваш Вася...

Наташа вдруг села на табурет и заплакала. Доктор нахмурился:

— Я же вам говорю: через неделю он прыгать будет, снова в воду залезет... Это у вас нервы, ерунда. Выпейте валерьянки — и все.

Через неделю Наташа привезла Васю домой.

Она с тревогой ждала всходов. После того как Вася выздоровел, она думала только об одном: взойдут ли дубки? Никитин уверял, что жолуди были плохие. Наташа знала, что это не так, и все же волновалась. Посев закончили 21 апреля, а первые всходы показались 9 мая. Наташа сияла. Вася прибежал к ней с криком: «Мама, дубочек вылез!.. А когда он будет, как я?» Она засмеялась: «Скоро. Ты еще за ним не угонишься...»

Почему Никитин всердцах сказал ей, что она больше подходит для выращивания цветов, чем для работы на лесной станции? Она не боялась тяжелого труда. Все прошлое лето она провела на практике в Каменной степи. Осенью Вася-большой приехал из Минска в Москву и, увидев Наташу, замахал руками: «Да ты негритянкой стала». Это очень понравилось Васе-маленькому, и он долго потом называл мать не иначе, как негритянкой. Загар так и не сошел за зиму. Ничем она, кажется, не заслужила иронии Никитина. Просто у него были свои понятия: он, например, считал, что женщина может хорошо работать в поле, но лесовода из нее никогда не выйдет, говорил: «Если девушка, она думает, как бы ей замуж выскочить, а за-

мужняя еще хуже — дети, хозяйство, то, другое...» Наташа его сразу раздражила: москвичка, зачем-то училась в академии, есть муж, кажется могла бы спокойно жить, а ее принесло в эти треклятые места. Он умел хорошо работать и, хотя ругал станцию, называя ее «треклятой», свое дело любил. Но он не доверял новшествам, говорил: «Мало ли что на бумаге хорошо? Мне сорок шесть лет, кое-что могу вспомнить. Женились по десяти раз? Женились, даже хвастали, говорили, что покончили с буржуазной моралью. А попробуй теперь разведись... Все деньги потратишь, время, здоровье, и потом тебе скажут, что резонов нет. Кроликов предлагали разводить? Я сам за ними ухаживал, пока они, черти, не сдохли. А кто теперь помнит о кроликах? Другое дело — заяц: взял ружьишко — и жаркое на столе. Сейчас они сеять дубы придумали, а дерево не человек, оно в этой степи и дня не выдержит. Влахова затвердила свое и долбит, как дятел. Ничего не поделаешь, мо-да...» Слово «мода» он произносил нараспев и, желая подчеркнуть нелюбовь к модным новшествам, проводил ладонью по широкому, одутловатому лицу. В январе Наташа организовала лекции для колхозников о лесонасаждениях. Никитин и к этому отнесся с недоверием: «Зря вы время тратите, Наталья Дмитриевна. Научить их вы не научите. Это дело доверено нашему коллективу. А колхозник, хорошо если он хлеб сдаст».

Однажды Никитин пришел к Наташе домой. Они долго разговаривали о качестве желудей, о том, как подвезти землю с микоризой. Никитин собрался уж уходить, как вдруг сказал:

— Книг у вас очень много, прочитать времени нехватит. Почему вы их возите туда-сюда?

Наташа засмеялась:

— А я не собираюсь отсюда уезжать. Книги здесь разные — есть по специальности и беллетристика. Если хотите, возьмите почитать.

Никитин взял со стола книгу, раскрыл:

Утихает светлый ветер,
Наступает серый вечер,
Ворон канул на сосну,
Тронул сонную струну...

— Это что? — спросил Никитин.

— Стихи Блока.

— Не знаю. Пушкина читал, Некрасова, Маяковского, Лермонтова. А Блока не знаю. И нравится вам это?

— Очень.

Никитин провел ладонью по лицу, но ничего не сказал.

Вечером он замучил агронома Горленко, с которым жил в одном доме:

— Я не спорю, работает она хорошо. Только не женское это дело — сегодня здесь, завтра там. Ты мне скажи, зачем она такую чепуху читает? Понять нельзя, набор слов.

— Ничего плохого не вижу, — ответил Горленко. — Муж у нее далеко, здесь жизнь, сам знаешь, какая, вот и скучает...

— Дело не в муже. Ты погляди на нее, делает все в точку, а глаза какие-то.... неясные...

Никитин сам не мог понять, что в Наташе его сердило. Может быть, то тихое, но глубокое восхищение миром, которое чувствовалось в каждом ее слове? Она была доверчива, и это доверие обязывало людей. А Никитин прожил нелегкую жизнь, в молодости он бедствовал; женился на женщине не злой, но суматошной и крикливой; ребенок умер от менингита; в доме было шумно и неуютно; на войне Никитин получил тяжелую контузию и страдал приступами головной боли. Он подозрительно относился ко всем людям, а особенно к женщинам, которых делил на несколько категорий: «трясогузки», «балаболки», «тряпичницы», «занозы»; ни одно из этих определений не подходило к Наташе, и он придумал для нее новое прозвище: «философка» — потому ли, что она привезла много книг, потому ли, что сохранила детскую привычку, думая смешно морщить лоб, потому ли, что посев дубов в степи он считал затеей умников и часто приговаривал: «А филозо́ф без огурцов».

Вася Никитину нравился, он говорил: «Сорванец, а хороший мальчишка. Такой — одно из двух: или станет знаменитостью, или под суд попадет...» Когда Вася заболел, Горленко сказал Никитину:

— Ты погляди, как она работает! А ведь всю ночь в больнице просидела — мне Марфа Игнатьевна рассказывала...

Впервые Никитин подумал о Наташе благожелательно. Ему хотелось подойти к ней, спросить, как Вася, но он не решился. Вечером он побрел к Марфе Игнатьевне.

— Беда-то какая... Сколько у него температуры?.. Я вот лимончик принес, привезли из Москвы... Правда, сухой он... Вы не говорите Наталье Дмитриевне, что я принес, скажете, у кого-нибудь купили...

Он продолжал ворчать, что ничего путного из посева не выйдет, но как только светало, спешил в Безымянку, смотрел, не показались ли всходы. Он ждал их с тревогой и с надеждой: ему хотелось, чтобы Влахова оказалась права.

Наконец он пришел к Наташе:

— Зря я насчет желудей боялся. Вы поглядите, какой корень дал! Конечно, я моего возражения не снимаю: посмотрим, не будет ли одно деревцо душить другое. Но всхожесть исключительная, я сейчас проверил на участке Синицыной — восемьдесят шесть процентов... Так что можно, Наталья Дмитриевна, нас поздравить.

(Он хотел сказать «вас поздравить», но не смог.)

Наташа крепко пожала его руку.

— Александр Егорович, я ведь знаю, сколько вы за эти дубки болели... Всходы, правда, чудесные... Вы бы теперь отдохнули дня два — вид у вас усталый.

Он отошел от нее и вытер рукой лицо. Хорошо еще, что про лимон не сказала!..

А Наташа задумалась: почему так трудно понять людей? Сколько раз Никитин доводил ее до отчаяния. Месяц назад, незадолго до болезни Васи, она еле сдержалась, чтобы не расплакаться. Он при всех сказал: «Жолуди легкие, их, наверно, собрали слишком рано, в начале сентября для осеннего посева они годились бы, а теперь не прорастут. Прошу прощения у Натальи Дмитриевны, если я затронул, как ворон, ее сонную струну...» Никто не понял последних слов, кроме Наташи. Она вспыхнула от обиды, но сдержалась, начала доказывать, что вес желудей нормальный, собраны они в зрелом виде именно для перезимовки. Вечером у себя она думала: почему он меня

ненавидит, что я ему сделала? А вот теперь пришел, поздравил... Папа говорит: легче Америку открыть, чем понять соседа...

Наташа вспомнила, сколько было вокруг недоверия. Люди говорили: бессмысленная затея, конечно нужно сажать лес, только не здесь. Законами и приказами почву не изменишь. Какие же тут могут вырасти деревья?.. Наташе приходилось часами объяснять, и она чувствовала, что ее слушают с усмешкой. А вот теперь те же люди волнуются, как выдержат всходы лето, с нежностью говорят «наши дубочки»...

В колхозе «Красный луч» не хотели сеять жолуди вместе с яровыми, говорили: «Где дерево, хлеба не будет, дерево картошку, и ту глушит». Наташа много раз ездила в колхоз, привозила фотографии — хлеба в Каменной степи, посеянные вместе с лесными насаждениями. Председатель колхоза, бывший старшина, лукаво на нее поглядывал, не спорил, напротив, все время вставлял «натурально», а под конец неизменно говорил: «Вы, Наталья Дмитриевна, у себя на станции попробуйте, тогда люди увидят... Я хорошо понимаю, только народ сопротивляется...» Наташа не хотела примириться: как можно терять целый год? Она попросила Горбачева созвать общее собрание; говорила она несвязно, но горячо. Потом встала Анисимова, женщина властная и суровая. (Она сказала фотографу, приехавшему от саратовской газеты: «Ты сними меня рядом с мужем, пусть все видят, что у меня орден, а у него ничего нет, лодырь он несчастный...») Наташа замерла: если и она против, нечего надеяться... Анисимова сказала:

— Девушка-то говорит, что лучше будет. Может, попробуем?.. А то прошлый год все пожгло, хуже и быть не может. Девушка-то говорит, что своими глазами видала, это не то, чтобы инструкция...

Это было еще зимой... Теперь Наташа успокоилась. Правда, всходам грозили многие опасности: степные травы с их хваткими корнями, болезни, сухое, грозное лето. Но Наташе казалось, что самое трудное позади. Она, улыбаясь, думала: ну что такое суслик или мучнистая роса после того, как и начинать не хотели?..

Она ходила веселая; голая степь казалась ей прекрасной, она следила за легким лётом случайного облачка, разглядывала первые травинки. Весной здесь удивительно красиво. Жалко, что Вася не может теперь приехать, он пишет, что у них после зимы строительная горячка.

Васеньке пошел уже восьмой год, а Наташа и Вася все еще напоминали влюбленных, которые не могут вдоволь наговориться и досыта нацеловаться. Как-то Наташа подсчитала: если сложить все вместе — отпуск после победы, Москву до его отъезда в Минск, мое пребывание в Минске в сорок седьмом, осень прошлого года,— то получится пять с половиной месяцев... Она так и не успела к нему привыкнуть; любила его страстно, порывисто, смущаясь, суеверно страшась, что он может исчезнуть, по ночам разговаривая с его тенью, а днем отсылая ему коротенькие, ничего не значащие письма. Когда они встретились в последний раз, Наташа изумилась: он как-то изменился. Он был спокойным, а стал резким в движениях, горячим. Нина Георгиевна тоже это заметила, сказала Наташе: «Васе тридцать семь исполнилось, кажется, в этом возрасте люди уж не меняются, а я его минутами не узнаю. Ты знаешь, Наташа, он становится похожим на Сережу». Две недели прошли слишком быстро, Наташа не успела разгадать, что произошло в сердце Васи, она только поняла, что полюбила его еще сильнее, и в поезде поймала себя на детском поступке: выйдя в коридор, пальцем выводила на запотевшем стекле: «Вася, Вася»,— как будто хотела еще раз окликнуть любимого.

В горячий майский день приехал Недоконев. Горленко не раз писал в Саратов, просил прислать лектора по международным вопросам. Приезд Недоконева был событием. Все принарядились. Даже Васька присмирел. Чай пили у Наташи. Никитин, увидев на столе самовар и пирог, проворчал: «Водки почему нет?» Недоконев вежливо улыбнулся: «Спасибо, не пью... Разве что после лекции...» На Марфу Игнатьевну произвело сильное впечатление, когда приезжий сказал, что он — член Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Она шепнула Наташе на ухо: «Может быть, он отдохнет с

дороги, я сейчас застелю...» Наташа сказала гостю: «Вы не представляете, как мы рады вашему приезду. Успеваешь только просмотреть газету. Все это время мы были заняты работой, от всего оторваны, не знаем, что делается на свете... Но вы потом расскажете. Марфа Игнатьевна права: вам нужно отдохнуть перед лекцией».

Недоконев считался опытным лектором, он не увлекался, не фантазировал, умел сложными фразами или многозначительными паузами создать впечатление, что он знает куда больше, чем говорит, только связан дипломатическими соображениями.

Люди приехали из колхозов за шестьдесят, за восемьдесят километров; разумеется, пришли все рабочие станции. Вася обиделся, когда Наташа сказала, что он останется дома. Впрочем, он вскоре утешился: начал рисовать, конечно, корабль и, конечно, в бурю.

Недоконев рассказал о перспективах парижского совещания министров иностранных дел, о борьбе французского народа против ратификации Атлантического пакта, о громадном впечатлении, которое произвел повсюду Конгресс сторонников мира.

— Конечно, нужно оставаться бдительными. Американские поджигатели войны не побеждены, они готовятся к новым попыткам развязать катастрофу. Большая нью-йоркская газета пишет: «Деловые круги Америки боятся мира», ей вторят другие органы печати; вот что говорит газета, выходящая в Филадельфии: «При некоторых обстоятельствах война может оказаться наилучшим исходом...»

Он кончил лекцию словами о миролюбии Советского Союза и о надеждах, которые возлагают на него трудящиеся всех стран.

Его закидали вопросами: много ли в Америке сторонников мира, что происходит в Китае, каково положение в Греции, где сейчас Поль Робсон, как живут французские рабочие? Недоконев отвечал обстоятельно, но часто поглядывал на часы: поужинать, видимо, не удастся... Наконец Горленко, который председательствовал, сказал: «Нельзя так утомлять лектора... Я предлагаю выразить товарищу Недоконеву нашу горячую благодарность». Все шумно зааплодировали.

Никитин сказал:

— А теперь прошу в наш шалаш, что называется, на стакан чаю.

— Не могу,— ответил Недоконев,— нужно сейчас же ехать, иначе опоздаю к поезду.

Уговорить его не удалось. Никитин разлил водку в чайные стаканы и сказал Горленко:

— Жалко, что не остался... Он, наверно, кое-что знает, только на собрании неудобно сказать. Дипломатия... Ну, Степан Алексеевич, выпьем с тобой за мир. Достаточно мы навоевались... А если американцам не терпится, пусть они между собой воюют — и шумно и другим спокойно...

Наташа не сразу уснула. Она лежала и думала о войне. Неужели снова?.. Она вспомнила Минск в огне, дорогу с беженцами, эвакуацию, госпитали. Тяжело пережить такое во второй раз... «Война — наилучший исход»... Да они с ума сошли в своей Америке! Каждый понимает, что нас не разбить. Ужасно только, что людям придется снова страдать. Ведь какое это счастье — мир! Сеять дубки... Она подумала о муже: три года она не знала, жив ли он... Вася редко говорит о том, как партизанил, но я знаю, что ему было очень тяжело. Он рассказывал, что в его отряде была тоже Наташа, она полюбила Аванесяна, и обоих убили... Неужели и Васе-маленькому придется это пережить?..

Она встала, подошла к кровати сына. Он спокойно спал, выпятив вперед губы; это придавало ему сердитый вид. Наташа подумала: до чего похож на дедушку,— и улыбнулась. Она снова легла и уснула.

Она проспала не больше часа, проснулась от ветра. Вот уж восемь месяцев, как она здесь, но такого ветра еще не было... Казалось, он сейчас сорвет дом. У Наташи сильно билось сердце, ей стало страшно, она сама не понимала почему. Снова она вспомнила слова лектора, прикрикнула на себя: стыдно так распускаться!..

Проснулся Вася, она его накормила и решила пораньше пойти на участок. Открыв дверь, она сейчас же ее захлопнула: ветер обдал ее едкой пылью. Пришлось надеть большие очки, которые привезла из Москвы. Вася закричал: «Мама, ты в очках, как дедушка!»

Ветер не ослабевал. Казалось, он хочет содрать с земли покров, показать ее жесткое бесплодное нутро. Не доходя до Безымянки, Наташа встретила Череватых. Это был молчаливый, угрюмый человек, лицо его обросло жесткими седыми с желтизной волосами; он напоминал лесного жителя, да и на самом деле он долго был лесником, сюда его выписал после войны зять. Череватых хорошо знал деревья, и Наташа часто с ним советовалась.

— Ну как, выдержат? — спросила она.

— А я за них не беспокоюсь. Сеяли наклюнувшиеся, значит корень крепкий. Приживутся... Ну и суховей сегодня!..

У него был такой спокойный голос, что Наташа сразу почувствовала облегчение. Они вместе осматривали всходы. Наташа звала Череватых, как все, «дедушкой». Она вдруг спросила:

— Дедушка, сколько вам лет?

Он усмехнулся:

— Шестьдесят восемь. Думал на покой итти, но говорят — лес сажать. Раз такое дело, еще годик поработаю,— пока дубки не приживутся. Хорошее дерево! Приедете сюда лет через двадцать, не узнаете. Дуб сначала не торопится — силу набирает, а потом как пойдет...

Череватых заулыбался, и, глядя на его улыбку, Наташа подумала: как я могла встревожиться? Это — малодушие. Вот дедушка говорит: «через двадцать лет»... Значит, ему неважно, что его не будет,— земля будет, лес, народ. Если хорошенько задуматься, смерти нет,— другие живут, продолжают то, что ты начал. Разве не в этом счастье?

Вечером она написала Васе:

«Дорогой мой, любимый!

У меня все благополучно. Вася проказничает. Дубки растут. Начался сильный суховей, здешние говорят, что с запозданием. Вчера слушали доклад о международном положении. Вася, почему они не понимают, что народ нельзя убить? Но, наверно, там есть люди с головой, они их образумят. Все думаю о тебе, не успела тебе всего сказать, когда-нибудь скажу, а если и не скажу, ты сам знаешь. Сейчас лягу, прошлую ночь плохо спала от ветра. Спокойной ночи, любимый!»

35

Перед отъездом Минаева в коммунальной квартире, где проживали Мария Михайловна и он с Олей, приключилась очередная неприятность: с потолка кухни текло. Мария Михайловна винила управдома:

— Ты только, Митенька, на него посмотри, сразу видно — мошенник.

Минаев ее успокаивал:

— На управдомов вообще не стоит смотреть, лучше разглядывать звезды или анютины глазки. Напрасно ты горячишься, до войны был другой управдом — и тоже текло, я ведь тогда сказал, что это не квартира, а ковчег. Ты только подумай, мамуля, немцы побывали на Волге, мы пришли на Эльбу, Митя Минаев успел жениться, кончил юридический институт, а с потолка как текло, так и течет. По-моему, это даже лестно — наш ковчег может претендовать на вечность.

Мария Михайловна прожила в этой квартире свыше двадцати пяти лет: когда она сюда переехала, Митенька еще под столом ходил. Она часто задумывалась над судьбой обитателей ковчега. Ей рассказали, что до революции здесь жил присяжный поверенный Ладыгин с женой; детей у них не было. В девятнадцатом к нему вселили Пеструшовых; они поставили в роскошном кабинете буржуйку, пекли картофельные оладьи, и Ладыгин проклял жизнь. В двадцать первом он оптировал литовское гражданство и уехал с женой в Париж. Минаевы въехали в квартиру вместе с Кацманами. Пеструшов умер, а многочисленная его семья вернулась к себе в Ставрополь. Въехали молодожены Коваленковы; потом Паршин, он женился, пошли дети; у Коваленковых тоже было двое ребят. Умер муж Марии Михайловны, умер Коваленков. У Ирины Петровны отобрали одну комнату, дали ее Шурочке, она вышла замуж. Накануне войны в квартире проживало пять семейств, а всего четырнадцать душ.

Гриша Кацман погиб весной сорок второго у Сухиничей. Паршина убили за два дня до конца войны возле Праги. Прошлой весной умер Давид Григорьевич. Незадолго до смерти он сказал Марии Михайловне: «Почему

убили Гришу? Лучше бы убили меня — я свое прожил, а Грише хотелось жить. Он перед войной влюбился, я потом нашел ее письма... Когда убивают молодых, старым очень трудно...» Он был тяжело болен и знал, что долго не протянет, просил Марию Михайловну заглядывать к его жене: «Она одна на свете, была у нее сестра в Киеве, и ее убили». Елена Александровна Паршина, после того как потеряла мужа, стала неузнаваемой, похудела, постарела. Она попрежнему работала в химической лаборатории, часто возвращалась домой поздно. Мария Михайловна кормила восьмилетнего Сашу. Старшая дочь Паршиной, Леля, училась в энергетическом институте; ей было двадцать лет. Как-то вечером она привела с собой долговязого стеснительного юношу и сказала матери: «Познакомьтесь. Это Михаил Константинович Долгов. Одним словом, я выхожу за него замуж». Паршина не выдержала и заплакала. Потом она отвела в сторону дочь и робко спросила, чем занимается молодой человек и сколько ему лет,— на вид ему было не больше восемнадцати. Леля объяснила, что Миша учится в литературном институте, что у него редкий талант — «скоро он перекроет Симонова» — и что ему двадцать три года. Поплакав, Паршина начала набивать занавеску, чтобы разделить бывшую столовую Ладыгина — Леля сказала, что жить они будут здесь. Паршина с тревогой думала: скоро и Катя влюбится... Катя училась в девятом классе.

Война пощадила семью Коваленковых: Вася служил во флоте, участвовал в боях и остался невредим. Он недолго пробыл дома: его тянуло к морю, и он вернулся в Таллин. Наташа во время войны вышла замуж и уехала к мужу в Краснодар. В сорок шестом она неожиданно приехала с грудным ребенком. Из комнаты Коваленковых доносились крики младенца и приглушенный женский плач. Наташа рассказала Марии Михайловне, что у ее мужа оказалась другая семья; он терзался, не знал, что́ ему делать, дошел до нервного расстройства. Тогда Наташа решила уехать, она — хороший чертежник, даже если муж не будет платить алименты, она сможет поставить сына на ноги.

Первый год после конца войны Шурочка Волкова часто уходила на завод заплаканная: ее муж, которому на

войне ампутировали ногу, говорил, что ему незачем жить: «Не человек я, а пугало». Шурочка своей любовью помогла ему вернуться к жизни. Он был механиком, нашел работу. Они хорошо зарабатывали, обзавелись новой мебелью, купили большой приемник, который доводил Ирину Петровну до отчаяния. В прошлом году у Шурочки родилась дочь.

К Коваленковым приехала тетка из Кирсанова, сказала: «На недельку». Тетка застряла и начала хлопотать о постоянной прописке. Ирина Петровна попечалилась, но быстро смирилась: действительно, тетке в Кирсанове одной скучно, а комната у нас большая. Потом она сможет присматривать за мальчиком, Наташе будет спокойней.

Иногда происходили ссоры. Паршина кричала Шурочке: «Вы хоть бы прикрутили!.. Одиннадцать часов вечера, и опять хор Пятницкого, можно сойти с ума, я уже пирамидон приняла, и не помогает!..» Или на кухне Ирина Петровна отпускала колкое замечание по адресу Наташи, а та не оставалась в долгу. Мария Михайловна ни с кем не ссорилась, никто от нее не слышал дурного слова; к ней приходили поговорить, делились с нею сердечными тайнами, спрашивали житейского совета. Минаев смеялся: «Ты, мамуля, капитан ковчега».

Мария Михайловна порой вздыхала, что у нее нет внуков, но ничего об этом не говорила ни сыну, ни Оле. Она нянчилась с мальчиком Наташи, с дочкой Шурочки, ласково поглядывала на Лелю: наверно, и у нее скоро пойдут... Ковчег не опустел, в его пяти комнатах снова помещалось четырнадцать душ. Не работали только младенцы да Мария Михайловна: у нее ослабло зрение, и врач запретил ей шить; через месяц ей должно было исполниться семьдесят лет. Все другие обитатели ковчега с утра уходили кто на завод, кто в школу или в институт. По ночам Анна Борисовна Кацман плакала — вспоминала веселого чубастого Гришу, и Мария Михайловна, которая часто у нее засиживалась, видела перед собой одинокую, беспомощную женщину. Утром Анна Борисовна шла в школу; она была высокого роста и держалась очень прямо; длинные седые волосы зачесывала наверх; в школе дивились ее ровному характеру, приветливости, терпению. Наташа

над чертежами высотных зданий забывала о пережитой ею сердечной драме. Волков, выступив недавно на заводском собрании, сказал, что он счастлив; он не лицемерил, он потерял ногу, но у него была Шурочка и работа, которая его настолько увлекала, что среди ночи он начинал рассказывать жене, как ему удалось переделать фрезерный станок.

Война постепенно уходила в тень прошлого. У всех были новые радости, новые заботы. Паршиной дали ордер на квартиру в новом доме возле «Сокола», и Елена Александровна мечтала: вечером смогу спокойно почитать, никто мне не помешает... Леля готовилась к выпускным экзаменам, говорила: «Поджилки трясутся». Миша целую неделю ходил именинником: его стихотворение было напечатано в журнале «Смена». Ирина Петровна с марта начала хлопотать о путевке в Кемери. Сынишка Наташи болел дизентерией, и квартира три дня волновалась; все почувствовали облегчение, когда врач сказал, что опасность миновала. Волков пришел, сияющий, к Марии Михайловне: «У нас в клубе Ботвинник давал сеанс одновременной игры, шестнадцать партий выиграл, а две сыграл вничью, и вы себе представьте, Мария Михайловна, со мной он сделал ничью...» У дочери Шурочки начали прорезаться зубы, она стала беспокойной; слыша ее крик, Мария Михайловна улыбалась: ковчег жил.

Когда Митя сказал матери, что его посылают в Америку, она огорчилась: очень это далеко... Потом она подумала, что люди уважают Митеньку, поэтому и посылают его в такую беспокойную страну. С гордостью она говорила Наташе, Волкову, другим обитателям ковчега: «Митю моего посылают к забиякам, он с ними сможет поговорить — вы ведь знаете, какой у него характер, другой давно закричал бы, а он улыбнется — и все». Перед отъездом она сказала сыну: «Посиди, Митя, путь далекий, да и люди там непонятные. Ты мне пиши, как с войны писал. Я понимаю, у тебя другие заботы, а ты все-таки помни — мать письма ждет...»

Оля приняла известие об отъезде мужа спокойно, как будто речь шла о командировке в Горький или Воронеж. Про себя она взволновалась. Еще будучи в Германии, она не раз видела американцев, которые злобно поглядывали

на русских. Уже тогда кое-кто поговаривал о новой войне. Оля понимала, что Минаеву будет трудно: чужая страна, недоверие, страх, недоброжелательство. Поехать с ним она не могла: оставался год, потом выпускные экзамены. Работа, к которой она готовилась, ее увлекала. Мария Михайловна говорила: «Вот пошлют за тридевять земель, что ты тогда скажешь?» Оля отвечала: «А там, наверно, школы не хуже, чем в Москве».

Минаев видел Олю каждый день, ему трудно было заметить, насколько она изменилась; ему казалось, что перед ним та молоденькая, застенчивая связистка, которую он напугал в Чернигове неожиданным признанием. Оля сохранила мягкость движений, робость в разговоре с людьми, которые ей нравились, выражение, не то испуганное, не то изумленное, пленявшее Минаева; но из подростка она стала женщиной, страстной, сдержанной и сильной. На фронте она научилась распознавать людей, увидела высокие и низменные чувства. Этот опыт она осознала потом, когда фронтовые будни стали для нее воспоминанием. Она перечитала много книг, которые впервые прочла в школе, и по-новому поняла героев, их страсти, заблуждения, подвиги, сложную, запутанную жизнь. Она сказала Минаеву, когда они заговорили как-то о Толстом: «Знаешь, я только теперь поняла «Войну и мир». Когда она думала о своем будущем, ей казалось, что она сумеет передать подросткам душевное волнение, любовь к людям, преклонение перед искусством. Не раз она говорила Минаеву, что ненавидит равнодушие, холод, ту хату, что всегда с краю. Чапыгин отказал Варе в путевке, у Вари туберкулез, и тот же Чапыгин на следующий день преспокойно выдал две путевки — племяннице декана и какой-то «фифке». Как ему это сошло? Корейко — карьерист, он понадергал цитат из лекций Евгения Борисовича, а потом выступил против него на партсобрании, и его не оборвали. Велепнева кончила институт, ее направили в Челябинск, она побежала к своему дяде, он — член коллегии, и ее оставили в аспирантуре. А все знают, что она не подходит для научной работы... «Конечно, на фронте тоже такие были, но они стушевывались, все жили напряженно, — бои, смерть... А сейчас такие видны. По-моему, нельзя распускаться, обстановка теперь, как на войне. Если

думать только о себе, где же тогда коммунизм?..» Минаев подтрунивал над ее взыскательностью, но в душе ею гордился.

Последний московский вечер Минаев провел с Олей; они говорили о пустяках, боялись выдать грусть. Вдруг Минаев сказал:

— Вот и расстаемся... Мне все кажется, что мы вчера познакомились, а мы скоро сможем отпраздновать серебряную свадьбу...

Она крепко его обняла:

— Митя, я и там с тобой буду. Ты это помни!..

Минаев писал часто, много рассказывал про Америку. Оля смеялась: «Пишет, как в газету, — печатать можно»... В письмах к Оле он приписывал: «Помню» или: «Я с тобой, как на курганчике», — но никогда не жаловался на одиночество.

Известие о том, что американская полиция арестовала Митю, застало Марию Михайловну врасплох: как раз накануне пришло письмо от сына, он писал, что был у сенатора, который накормил его сначала компотом с майонезом, а потом ветчиной с жженым сахаром. Мария Михайловна посмеялась: невкусно там кушают, но желудок у Митеньки крепкий... Хорошо, что он говорил с сенатором, наверно сказал ему, что пора им успокоиться: нельзя же все время грозиться бомбой...

Мария Михайловна постучалась к Ирине Петровне, но дома оказалась только старенькая тетка, которую Мария Михайловна сочла неподходящей собеседницей. Не было ни Анны Борисовны, ни Паршиных. Мария Михайловна вспомнила: Шурочка вчера говорила, что муж простудился, бюллетенит. Мария Михайловна показала Волкову газету:

— Вот почитайте...

Волков внимательно прочитал короткую телеграмму на последней странице.

— Понятно.

Мария Михайловна всплеснула руками:

— Как же «понятно»? Не смеют они этого делать, Митенька не откуда-нибудь взялся, из Москвы его послали, он — юрисконсульт, вчера только письмо пришло — разговаривал с сенатором...

— Я говорю, понятно, чья это работа. Видите, Мария Михайловна, так и напечатано: «Новая антисоветская провокация». Это каждый понимает, что нет у них права... Да вы не волнуйтесь, наши за него заступятся...

Мария Михайловна вернулась к себе, села, вынула очки, попробовала вязать жилет Мите, — хотела успокоиться, — но спицы выпали из рук, все помутнело, она заплакала. Митенька — и в тюрьме!.. Да ведь это злодеи, Оля рассказывала — они с неграми бог знает что делают. Как немцы у нас... Пока наши заступятся, Митеньку могут загубить...

Оля застала ее плачущей. Оля уже знала о том, что́ приключилось с Минаевым. Она начала говорить, что скоро все распутается, наши никогда не оставят Митю, через несколько дней его выпустят, он вернется домой, американцам еще придется принести извинения и наказать, хотя бы для вида, виновников. Она говорила с такой убежденностью, что Мария Михайловна немного успокоилась, пошла на кухню готовить ужин. Ей казалось, что сейчас позвонят, принесут телеграмму — Митя возвращается...

Оля ушла за перегородку — там стояла ее кровать. Она долго сидела, глядя на фотографию Мити. Он снялся перед отъездом, фотограф наставлял: «Волосики пригладьте, а головку направо», — и Митя улыбнулся — он всегда так улыбается, когда ему не по себе. Оле было тревожно, хотелось куда-то побежать, спросить, есть ли вести. Она корила себя: почему я не поехала? Были бы сейчас вместе, как на курганчике... Там иногда было очень страшно, но я и тогда думала: кто остался в тылу у немцев — вот это герой. Легко держаться, когда вокруг свои. А Митя сейчас один, ни одного дружеского взгляда, никто ему не скажет ни слова по-русски... Ужасно!

Вошла Мария Михайловна. Оля вздрогнула, как будто она делала что-то дурное, поспешно заулыбалась.

— Оленька, я тебе котлеты разогрела. Садись... Не могу я успокоиться...

— Скоро приедет Митя, увидишь.

— Погоди, я не о том... Я понимаю, что они должны его выпустить, у него ведь паспорт в порядке... Но если они на такие дела идут, значит они воевать надумали. Как Гитлер... Что, у них матерей нет? Убить человека

просто: раз — два — и нет. А попробуй роди, выкорми, выходи. Звери этакие!..

Пришла Анна Борисовна, сказала: «Это им не сойдет с рук. Наверно, и в Америке народ возмутится...» Ирина Петровна негодовала: «Безобразие, завтра же пусть Ольга Григорьевна пойдет в министерство! Вот посадят здесь какого-нибудь американца, тогда они опомнятся...» Шурочка кричала: «Проклятые, только-только жить начали, а им лишь бы доллары загребать!»... Катя два раза входила, уходила, наконец решилась и важно, как на экзамене, сказала: «Мария Михайловна, ваш сын — герой».

Всю ночь Оля думала о Минаеве. Она боялась повернуться, вздохнуть — знала, что Мария Михайловна не спит, прислушивается. У Оли был такой характер, что она не могла открыться, поплакать вместе с Марией Михайловной. Она вспоминала Минаева, отступление, Сталинград, длинный путь до Берлина. Ей казалось, что она сидит у полевого телефона и повторяет: «Я — Двина, дай Ласточку»... Рвутся мины, снаряды, Минаев кричит: «Передайте Альперу — держимся!»... А ведь, правда, выдержали, в Берлин пришли...

Рассвело. Она умылась, приготовила чай. Мария Михайловна испытующе ее оглядела:

— Ты что бледная? Не спала?

— Почему?.. Спала. Знаешь что, войны не будет.

— Думаешь, уговорят их?

— Не знаю. Может быть, их и нельзя уговорить. Только войны не будет. Я ночью подумала: какая у нас сила — в каждом человеке! Никогда они не посмеют!..

36

Дело Минаева, которое в сентябре 1948 года занимало американские газеты, вскоре было всеми забыто; оно продолжало, однако, в течение восьми месяцев волновать людей, непосредственно с ним связанных: самого Минаева, Марию Михайловну, Олю, советника посольства Данилевского, полковника Робертса, сотрудника государственного департамента Бернсона и, наконец, прокурора Моррэя. Прокурор потом говорил: «Врачи меня сажали на голод-

ную диету, заставляли заниматься гимнастикой, а помог мне этот мерзавец — я потерял за зиму одиннадцать фунтов».

Минаев напрасно обвинял авторов инструкции в невежестве: Робертс умел подделывать документы; однако на этот раз он не стал себя утруждать — он думал не о судебном процессе, а о кратковременном эффектном скандале. Инструкцию о взрыве заводов в Теннесси он сочинил в один присест, заботясь не столько о правдоподобии, сколько о нагромождении ужасов, способном потрясти американцев; перевел инструкцию некто Романенко, сотрудник журнала «Америка», удравший из Киева тридцать лет назад и позабывший русский язык. Робертс понимал, что дело Минаева поставит государственный департамент в затруднительное положение, и это его радовало: он считал, что дипломатические чистоплюи недооценивают роль Америки и ведут слишком мелкую игру.

Когда полиция арестовала Минаева, советский посол был в отъезде, его замещал советник Данилевский. Это был высокий широкоплечий человек лет пятидесяти, с седыми волосами, подстриженными ежиком, неизменно улыбавшийся. Улыбался он только для того, чтобы не выдать своих чувств; улыбка как бы входила в его гардероб дипломата, исчезая, когда Данилевский оставался один. В ранней молодости он сражался против англичан у Архангельска, потом учился, был на партийной работе, стал начальником крупного строительства в Сибири. Он тогда громко, заразительно смеялся, работал до одурения, а когда выпадал свободный день, уезжал в тайгу — был он страстным охотником. Никто не сказал бы, что из него выйдет дипломат. Он женился на скромной, малоприметной машинистке; она пленила его душевной чистотой и беспомощностью. У них была дочка Маруся. Неожиданно для Данилевского перед войной его послали в Лондон. Марусе было девять лет, она училась, и ее пришлось оставить в интернате. Данилевский быстро овладел английским языком; посол находил, что он хорошо справляется с новой для него работой. Весной 1942 года кружным путем, через Даккар, Каир и Багдад, он вернулся в Москву. Он мечтал попасть на фронт, но его продержали год в министерстве, а потом направили в Канаду.

В Оттаве он провел четыре года, там-то он научился улыбаться невеселой улыбкой. Канадцы встретили его приветливо, говорили, что русские — герои, Сталинград восхитил мир, но что, конечно, справиться с Гитлером смогут только американцы. Данилевский получал письма, полные симпатии, иногда в конвертах лежали чеки: многие канадцы охотно жертвовали на госпитали или на сиротские дома. Когда советские армии подошли к границам Польши, отношение изменилось; Данилевского поздравляли, говорили ему о дружбе, о плодах совместной победы, но за этими словами чувствовался плохо скрываемый страх. Вскоре после окончания войны вражда прорвалась. Данилевский пережил громкие процессы, основанные на показаниях подкупленного полицией шифровальщика. Газеты называли советское посольство «гнездом шпионажа». Один профессор, встретив Данилевского, поспешно перешел на другую сторону улицы. Несколько истеричек простояли весь вечер перед домом, где жил Данилевский, и выкрикивали: «Шпион! Шпион!»

В тот год Данилевского постигло большое горе: жена его заболела раком и, промучавшись несколько месяцев, умерла. Он мечтал, что его вызовут в Москву и что он будет жить с дочкой, которую обожал. Маруся была похожа на мать, и ему казалось, что она вернет ему немного потерянного счастья. Случилось иначе: его перевели в Вашингтон.

Осмотревшись, он увидел, что чиновничий, скучный Вашингтон мало чем отличается от Оттавы: те же провинциальные нравы, та же помесь комфорта с невежеством, то же лицемерие. Ежедневно Данилевский читал газетные корреспонденции, в которых говорилось, что русские танки движутся на Тегеран, что у берегов Венецуэлы замечены советские подводные лодки, что над Соединенными Штатами кружатся таинственные «летающие блюдечки», что на заседаниях Коминформа обсуждались планы захвата Парижа и Лондона, что в подвалах советского посольства изнывают закованные в цепи узники. Вражда с каждым днем возрастала. За Данилевским по пятам ходили сыщики; они сидели у окон дома, расположенного напротив посольства, и фотографировали людей, которые осмеливались притти к «красным». Иногда устраивались

демонстрации: парни Эндерса собирались вокруг посольства и кричали, однажды камнями разбили стекла. Полиция нехотя разгоняла хулиганов, а газеты писали о «взрыве народных чувств». Когда Данилевский съездил в Нью-Йорк, он увидел, что многие американцы не верят газетам: к нему подходили различные люди — врачи, рабочие, актеры, коммерсанты,— жали руки, говорили, что они помнят Сталинград и не хотят новой войны. Были такие люди и в чинном, бюрократическом Вашингтоне, однако полиция делала все, чтобы ни Данилевский, ни другие русские с ними не встретились: посольство казалось осажденной крепостью.

Небольшая советская колония жила, как живут зимовщики, отрезанные от всего мира. Иногда собирались вечером, смотрели советские фильмы, устраивали лекции или доклады. Данилевский, когда у него бывал свободный час, включал Москву; он слушал, что приходилось,— концерт по заявкам, беседу о том, как уберечься от желудочных заболеваний, последние известия или спектакль. Ему казалось, что то же самое слушает сейчас Маруся, что он с нею, и это смягчало тоску. Он говорил себе: они нас осаждают, значит нужно делать вылазки. Он встречался с политическими деятелями, с журналистами, с членами дипломатического корпуса; знал о закулисной борьбе между людьми разных кланов, о неладах между президентом и военными, о том, что Пентагон недолюбливает государственный департамент, о том, что полковник Робертс играет важную роль; знал также, что английский посол обижен на американцев за их покровительственный тон, что советник французского посольства, будучи племянником крупного промышленника, считает, что спасение Франции в нейтралитете, что мексиканцы возмущены поведением Маршалла. Он старался использовать вражду различных групп конгрессменов, борьбу между республиканцами и демократами, конкуренцию газет, чтобы прорвать блокаду. Несколько раз ему удавалось напечатать в той или иной газете опровержение очередной клеветы, дать информацию о подлинных намерениях Советского Союза. Он боролся, как мог. Газеты называли его «человеком, который всегда улыбается», никто не подозревал, что ночью, когда Данилевский писал письма Марусе или

сидел, глядя на фотографию жены, лицо его выражало обыкновенную человеческую печаль.

Арест Минаева не удивил Данилевского: он давно чувствовал, что готовится новая провокация. Посол был в отпуску. Данилевский решил, что нужно действовать немедленно, и стал составлять ноту протеста. Он настаивал не только на освобождении юрисконсульта торговой миссии, но и на примерном наказании виновников. Его принял один из заместителей государственного секретаря — Бойдж. Данилевский осведомился о здоровье господина Бойджа, потом, отвечая на вопрос, сказал, что он тоже хорошо себя чувствует, хотя он северянин и не привык к такому зною; вслед за этим он вручил Бойджу ноту и на словах изложил ее содержание. Бойдж был настроен отвратительно, он сердился, что разведка не согласовала с ним вопроса о Минаеве, находил «инструкцию» нелепой, или, как он выразился в разговоре с государственным секретарем, «недоработанной» и предвидел всяческие неприятности. Данилевскому он сказал, что господин Минаев не пользовался дипломатическим иммунитетом, что он был арестован, потому что оскорбил на улице какую-то даму, что на нем нашли документы, сильно его компрометирующие, и что теперь правосудие должно разрешить вопрос об его виновности. Данилевский возразил: Минаев покрыт дипломатическим иммунитетом, история о том, что он оскорбил на улице даму, неправдоподобна, к тому же она впервые приводится — газеты пишут, что Минаев был задержан после длительного наблюдения, инструкция составлена настолько грубо, что господин Бойдж, ознакомившись с нею, бесспорно должен был улыбнуться. Данилевский далее потребовал, чтобы ему была предоставлена возможность посетить Минаева. Бойдж ответил, что это зависит от прокурора. Данилевский улыбнулся и сказал:

— Хочу думать, что вы в ближайшие дни изучите ноту и перемените вашу точку зрения. Прошу простить, что я вас обеспокоил. Где вы намереваетесь провести воскресный день?

— В моем домике у моря. Я надеюсь, господин Данилевский, что вы меня когда-нибудь осчастливите посещением.

— Благодарю за честь и пожелаю вам всего лучшего.

Бойдж после этого разговора отправился к государственному секретарю:

— Поверенный в делах вручил ноту... Надо сказать, что господа из Пентагона превзошли себя. Инструкция производит самое невыгодное впечатление... Не думаете ли вы, что лучше всего выслать этого негодяя и замять дело?

Государственный секретарь обещал подумать, посоветоваться, поговорить с юристами. Дело затягивалось. Газеты столько о нем писали, что трудно было сразу все приостановить. Бойдж продолжал считать, что Минаева следует выслать, однако ему сказали, что это невозможно: на карту поставлен престиж Соединенных Штатов. Теперь несущественно, плохо или хорошо была составлена инструкция: необходимо доказать, что Минаев действительно виновен.

Бойдж вызвал Бернсона:

— Откровенно говоря, это — вонючее дело. Я попытался его потушить. Но мы опоздали: пресса его слишком раздула. Москва требует наказания виновных. Если мы теперь освободим Минаева, все примут это за победу красных. У вас много серьезных сотрудников. Они разбираются в махинациях красных лучше, чем бравые вояки из Пентагона. Я поручаю это дело вам. Поговорите с прокурором Моррэем. Порасспросите русских, которые вам помогают. Подумайте... Когда машина застревает в болоте, нужно ее вытащить. А ругать болото будем потом...

Бернсон просиял; он был честолюбив и решил, что на Минаеве сделает карьеру. До войны он готовился к работе разведчика, изучил языки русский и польский. В 1942 году его послали в Куйбышев. Ему удалось завести в России некоторые знакомства. Вернувшись после победы в Америку, он стал обыкновенным чиновником: работал в государственном департаменте, где считался знатоком России. Работа была скучная: он должен был читать советские газеты и составлять сводку. На этом трудно было выдвинуться, а он считал себя рожденным для больших дел. Ему было тридцать шесть лет; роста он был низкого и походил на бухгалтера или кассира; носил большие очки в темной оправе, волнуясь, начинал заикаться. Жена его,

высокая, полногрудая блондинка, говорила ему: «Крошка, ты ужасный фантазер, будь осторожней». Он отвечал: «Не рискуя, нельзя выиграть. Если бы я не решился тобой овладеть, ты никогда не вышла бы за меня замуж. Так всегда бывает...» Выслушав Бойджа, Бернсон решил во что бы то ни стало довести дело до конца. Пусть Маршалл знает, кто на этот раз спас престиж Америки...

Прошло два месяца. Данилевский посетил Минаева, сообщил ему, что Мария Михайловна и Оля здоровы, надеются скоро его увидеть. Заключение на Минаеве никак не отразилось, он успокаивал Данилевского: «Конечно, это не Сочи, но отдохнуть здесь можно»...

Моррэй не мог спокойно слышать имя Минаева: такой субъект способен не только взорвать город, он способен уничтожить все человечество, это изверг, но с юридической точки зрения улики недостаточны — одна «инструкция», причем защита будет играть на некоторых несуразностях в тексте... Эти господа вспугнули птичку, его следовало взять позднее. Сейчас наша позиция уязвима... Именно так сказал прокурор Бернсону. Имя Минаева исчезло из газет, и Данилевский считал, что прокурор откажется от обвинения.

В ноябре, однако, газеты сообщили о новом сенсационном повороте в деле советского юриста: некто Хлопченко, бывший советский гражданин из так называемых перемещенных лиц, которому в 1947 году был разрешен въезд в Соединенные Штаты и который работал пожарным на одном из крупных заводов штата Теннесси, явился в полицию и заявил, что он должен был принять участие в готовившемся злодеянии. Хлопченко объяснил, что он ненавидит советский строй, но у него в Житомире парализованная мать и его мучили угрызения совести: он оставил мать без поддержки. Он решил вернуться на родину. Приехав в августе в Нью-Йорк, он стал разыскивать советское представительство и попал в торговую миссию. Его принял русский, фамилии которого он не знает; выслушав Хлопченко, он познакомил его с Минаевым. Хлопченко имел с Минаевым трехчасовой разговор. Он откровенно сказал, что хотел бы вернуться в Житомир, но боится, что его задержат. Минаев обещал выяснить вопрос в течение двух дней. Когда Хлопченко пришел за ответом, Минаев

ошеломил его неожиданным предложением: Хлопченко должен заложить бомбу с часовым механизмом в цехе ОМ завода, на котором работает. Это можно сделать безнаказанно, так как бомба малого калибра и пронести ее легко. Вслед за этим Хлопченко должен явиться в Нью-Йорк к Минаеву, который отправит его домой. Он не только не будет наказан за то, что убежал с немцами, но получит две тысячи долларов, на которые сможет купить все, что ему вздумается, а приобретенное взять с собой. Хлопченко должен завтра вечером притти в бар Джонсона на 126-й улице; там Минаев передаст ему бомбу и четыреста долларов авансом. Хлопченко заявил, что, ответив Минаеву утвердительно, он тотчас решил в бар не приходить и на родину не возвращаться. На допросе Хлопченко описал характер бомбы и манипуляцию с нею, которые вполне соответствовали неопубликованным пунктам инструкции. Допрошенный судьей владелец бара Джонсон опознал Минаева: «Он иногда приходил ко мне с другим человеком, у которого на щеке был шрам. Я помню жаркий вечер в конце лета, когда он пришел один. Он выпил два стакана виски с содовой, нервничал — глядел на дверь, явно кого-то ждал. В баре никого не было, и я невольно за ним следил. Он просидел больше часа, потом ушел».

Прочитав газету, Робертс изумился: кто же мог найти этого Хлопченко? Дуббельт несколько дней рыскал, наконец пришел с туманным ответом: «Единственное, что мне удалось установить,— это что Хлопченко, когда его привезли из Германии, прожил шесть дней в Вашингтоне и что его принял Бернсон».

Прокурор приказал задержать Хлопченко, но два дня спустя судья освободил его под имущественное поручительство; ему было предъявлено обвинение в том, что он не сообщил полиции о готовящемся злодеянии; однако печать подчеркивала, что Хлопченко запуган советской разведкой, что у него «искривленная психика» и что вряд ли он заслуживает наказания.

Моррэй торжествовал: теперь против Минаева имелись веские показания. Правда, его несколько разочаровало поведение обвиняемого: он думал, что, увидя своего соотечественника, Минаев покается. Минаев, однако, спокойно выслушал Хлопченко, а потом сказал:

— Этого гражданина я вижу впервые, но подобных ему я видел во время наступления. Наверно, он был бургомистром, не правда ли?

Когда же выступил с показаниями владелец бара Джонсон, Минаев рассмеялся:

— В названном питейном заведении я никогда не был вообще, к сожалению я не был в Нью-Йорке ни в одном баре. Что касается виски с содовой, то, по-моему, это пахнет аптекой, я предпочитаю водку или коньяк. Я знал, что у федерального бюро имеются портные, один из них зашил в мой пиджак дурацкую «инструкцию». Теперь я вижу, что у названного учреждения имеются также свои трактирщики...

Судья прервал его:

— Я вас попрошу не забывать, что вы на судебном разбирательстве.

— Хорошо. Поскольку вам не нравятся шутки, я буду говорить серьезно. Организована чудовищная провокация: ваша охранка хочет доказать рядовым американцам, что Советский Союз готовится к войне. Вы обманываете своих сограждан, но уже Линкольн сказал, что можно обманывать недолго всех или долго некоторых, но нельзя долго обманывать всех. Я, простой советский гражданин, заявляю...

Судья вышел из себя:

— Сейчас же замолчите! Это не митинг. Я прикажу вас удалить из зала суда...

Прокурор сказал, что необходимо отложить судебное разбирательство: другие свидетели подтвердят показания Хлопченко.

Газеты писали о «неслыханном цинизме красного изверга». Однако в «Дейли уоркер» впервые заговорили о портном, у которого Минаев примерял костюм.

Данилевский сообщил в Москву, что американцы нашли подставных свидетелей и пытаются поддержать обвинение. Это связано с политической обстановкой: выборы не за горами; новая, прогрессивная партия смущает правительство; в марте должен собраться конгресс деятелей культуры, посвященный защите мира; среди рабочих растет недовольство. Сторонники доктрины Трумэна схвати-

лись за дело Минаева: они хотят убедить американцев, что Советский Союз грозит их существованию.

Прошло несколько недель. Многие читатели газет успели позабыть о существовании Хлопченко, когда в Детройте произошло событие, потрясшее прокурора и сильно отразившееся на карьере Бернсона. Собственно говоря, трудно назвать событием то, что Хлопченко в течение одного часа опорожнил бутылку джина. Он любил выпить, но знал меру, а на этот раз перехватил. Напился он с горя: Бернсон его снова надул. Когда Хлопченко предложили уехать в Соединенные Штаты, он рассчитывал на приличное место — он мог бы лучше многих других выступать по радио или писать статьи,— как-никак у него незаконченное высшее образование, он работал в Комитете по делам искусств. Между тем Бернсон, выжав из него немало полезных указаний, дал ему двести долларов и сказал:

— Вы — крепкий парень, вам незачем наживать геморой в какой-нибудь конторе. Я вас устрою пожарным на одном заводе. Если угодно, это политическая работа — при случае нужно обдать красных из шланга. Вы с этим справитесь...

Вторично Бернсон надул Хлопченко, когда понадобились свидетельские показания: сначала он обещал, что устроит его в журнале «Америка», а потом дал пятьсот долларов и посоветовал уехать в Детройт:

— Там много украинцев и русских, вы будете в своей среде. А за ними нужно присматривать... Я договорился — вас возьмут на завод Студебекера начальником пожарной команды.

Три месяца Хлопченко крепился, а на четвертый не выдержал. Пил он в кабачке, который содержал выходец из Польши Домбовский. Хлопченко кричал:

— Все мерзавцы — и красные, и немцы, и американцы! Я хочу жить, а меня выжимают, как лимон, и швыряют на мостовую. Я у большевиков в Житомире занимался репертуаром, я сам поправил одну пьесу, чорт бы их побрал! А они в тридцать восьмом меня сократили, и я должен был сидеть в газетном киоске, как старая баба. Когда пришли немцы, я им был нужен — «герр Хлопченко»,— просили стать редактором газеты. А когда они удирали,

они меня бросили. Хорошо, что я нашел шофера: я дал ему золотые часы, и он меня вывез. Вы думаете, ваши американцы лучше? Из Мюнхена я выступал четыре раза по радио, я написал мировую статью, а они меня сделали пожарным. Я мог бы заведовать русскими делами лучше, чем этот плюгавый Бернсон...

Сидевший за соседним столом старик Моушенстон сказал:

— Не понимаю, почему вы шумите? Я уехал из России сорок два года назад. Я привык к Америке, это страна, как страна. А вы не привыкли, потому что вы здесь два года. Через сорок лет вы тоже привыкнете. Вы, кажется, неплохо зарабатываете, чего же вам нужно? Но если вы хотите обязательно вернуться в Россию, никто вас не держит. Вы уже ходили в Нью-Йорк к красным, пойдите еще разок, и они вас впустят. Вы сможете опять исправлять их пьесы...

Хлопченко вышел из себя. Конечно, он мог бы попросту обругать старика, но он был пьян и не соображал, что говорит.

— Вы думаете, я ходил к красным? Что я, сумасшедший? Вы удрали из России при царях, вы ничего не знаете... Бернсон попросил меня выручить ваших американцев. Это тонкая ситуация... Я никогда в жизни не видал Минаева до того, как меня вызвали в суд, но мне незачем было на него глядеть, я знаю, что если его послали за границу, значит он из ГБ... Вы приехали сюда за долларами, а я идеалист... Бернсон обещал, что он меня за это устроит редактором журнала, но он не дипломат, он жулик...

Хлопченко, покричав еще четверть часа, ушел. А Моушенстон поспорил со своим сверстником и земляком Левиным. Моушенстон говорил, что скверно повсюду, но в Америке все-таки лучше:

— Ты думаешь, я не знаю, что они на мне наживаются? Я не пятилетний мальчик, я это понимаю. Ты говоришь, что они эксплоататоры, ну и что же? Мне в Детройте с эксплоататорами все-таки лучше, чем им в Бобруйске без эксплоататоров.

Левин возмущался:

— Так может рассуждать лакей у богатого барина, а я не лакей, я рабочий. Лучше жить в нужде, чем

терпеть этакую пакость. Ты слышал, что он рассказывал? Они его подкупили, это ясно. Они пойдут на самое ужасное преступление, только чтобы натравить нас на русских...

Они спорили, пока Домбовский не сказал, что пора запирать бар.

Два дня спустя в «Дейли уоркер» была напечатана маленькая, но ядовитая статья, озаглавленная «Чем занимается господин Бернсон?», написал ее старый корреспондент этой газеты Джо Левин. «Дело Минаева продолжает волновать всех сторонников мира, — говорилось в статье, — и мы не можем не отметить, что единственный свидетель обвинения, г-н Хлопченко, публично заявил, что он далеко не уверен в том, что был в советской торговой миссии и разговаривал с Минаевым. Г-н Хлопченко не скрыл, что показания он дал по совету сотрудника государственного департамента г-на Бернсона. Конечно, мы знаем, что г-н Бернсон является одним из вдохновителей антисоветской политики, но, признаться, мы не ожидали, что государственный департамент прельстится сомнительными лаврами Федерального бюро и различных отделов Пентагона. Мы вправе поставить вопрос: чем, собственно говоря, занимается г-н Бернсон?»

Полковник Робертс, прочитав эту статейку, рассмеялся: Бернсон здорово осрамился. Нельзя быть дилетантом. Представляю себе, какой переполох царит в государственном департаменте... Это им урок. Могли бы посоветоваться со мной... Потом Робертс задумался: дипломатов проучили, но нельзя дать красным восторжествовать. Минаева рано или поздно придется выслать. А такой Хлопченко опасен, он может шантажировать... И Робертс срочно вызвал Дуббельта.

Прокурор Моррэй, потрясая газетой, кричал своей супруге:

— Зачем мне подкинули это дело? Они ставят меня в дурацкое положение. Бернсон сказал мне, что Хлопченко — честный человек, не более, не менее. Но все русские — негодяи, а Бернсон — первый осел Америки. Мне пятьдесят восемь лет, я не хочу, чтобы надо мной смеялись, как над сопливым мальчишкой!

Жена умоляла:

— Не волнуйся. Ты ведь знаешь, что тебе нельзя волноваться. Откажись от этого дела — и все. Я убеждена, что давление у тебя повысилось именно от этого...

Бернсон был подавлен: он понял, что играл и зарвался. Он выставил свидетеля, ни с кем не посоветовавшись. Глупо было положиться на Хлопченко. Человек, который так легко предал свою страну, еще легче предаст чужую. Мне этого не простят. Умоют руки — скажут: «виноват какой-то Бернсон»... Придется пойти в контору и выписывать накладные... Бернсон сидел, как убитый. Пришел секретарь, спросил, есть ли что-нибудь интересное в «Литературной газете», — нужно перевести для Бойджа. Бернсон поглядел на него пустыми глазами и, заикаясь, еле выговорил: «У-у-убирайтесь!»

Два дня спустя детройтская газета опубликовала письмо в редакцию: Хлопченко возмущался «недостойной инсинуацией коммунистического листка» и подтверждал, что все, сказанное им на суде, является чистейшей правдой. Бернсон был изумлен; приободрившись, он сказал жене: «Этот процесс все-таки прогремит...» Жена ответила: «Крошка, будь осторожней...» Прокурор распорядился вызвать Хлопченко для дополнительных показаний. Хлопченко, однако, не прибыл. Газеты сообщили, что в ночь с четвертого на пятое апреля убийца, еще не найденный полицией, застрелил Хлопченко, когда тот возвращался из бара Домбовского домой. Газеты говорили, что Хлопченко убили красные, желая устранить опасного свидетеля. «Дейли уоркер» поместила еще одну статью Джо Левина, который утверждал, что Хлопченко сделал свои признания в присутствии шести свидетелей, что письма в редакцию он написать не мог, так как всю неделю пил запоем, и что убийцу Хлопченко ищут не там, где нужно, — «нити ведут к тому же Бернсону».

Бернсон кричал: «У-у-убью этого клеветника!»... Что касается прокурора Моррэя, то он от волнений слег.

Восьмого апреля Данилевский встретился на приеме с республиканцем, владельцем крупной газеты Доулиттлом. Они сидели в курительном салоне и пили херес. Данилевский знал, что Доулиттл ненавидит государственный департамент. Неделю назад он писал в своей газете: «Мы заняты тем, как спасти несколько кварталов

Берлина, а тем временем китайские коммунисты, захватившие половину Китая, подходят к Нанкину. Мы с серьезным видом вооружаем армию Люксембурга, а тем временем китайские коммунисты отбирают у солдат Чан Кай-ши прекрасное американское вооружение. Наши дипломаты забывают, что Азия для нас не менее важна, чем Европа». Была у Доулиттла и личная причина для ненависти: его брат, состоявший на дипломатической службе в течение четырнадцати лет, недавно был отстранен, на его место поставили молоденького демократа, ставленника Бойджа.

Сначала они говорили о пустяках, Доулиттл заинтересовался, что курят русские — сигареты, сигары или трубку. Когда Данилевский объяснил, что такое папиросы, Доулиттл рассмеялся:

— Это не для меня, я и без того жую бумагу...

Данилевский, улыбаясь, спросил:

— Как вам понравились, господин Доулиттл, последние сенсации, связанные с делом советского юрисконсульта?

Доулиттл насторожился; он хотел не говорить, а слушать:

— Я не вполне в курсе... Может быть, вы мне расскажете?..

Данилевский коротко изложил сущность дела; он отметил и неправдоподобный характер «инструкции», и личность Хлопченко, сотрудничавшего с немцами, и ту таинственность, которой окружено его убийство.

— Нельзя, — говорил Данилевский, — искать выхода из берлинского тупика и одновременно допускать такую трагикомедию... Вы говорите об «открытых дверях», о необходимости общения, а происходит полное попрание всех норм международного права. Что вы скажете, если мы ответим тем же?

Доулиттл усмехнулся:

— Я скажу то, что я уже говорил сотни раз, — мы не умеем вести нашу внешнюю политику. Вы знаете, что я не поклонник вашей системы, я считаю, что ваш режим невозможен, понимаете меня, абсолютно невозможен. В частности, меня очень беспокоят события в Азии... Вполне вероятно, что в один далеко не прекрасный день нам придется с вами воевать... Но пока нет войны, нужно

организовать мир. Самое худшее из всего, что изобрели наши дипломаты, это полумир-полувойна. Благодарю вас за интересный разговор, господин Данилевский. А папирос я не смог бы курить...

Данилевский был удовлетворен беседой. Действительно, день спустя газета, принадлежащая Доулиттлу, упомянув о ряде странных обстоятельств, связанных с делом о взрыве в Теннесси, обрушилась на государственный департамент.

Бойдж вызвал Бернсона:

— Вы наделали тысячу глупостей. Кто вам дал право заниматься авантюрами? Я уж не спрашиваю, откуда вы взяли Хлопченко, но что вы с ним сделали?

— Я знаю об этом не больше вас... Я его привлек как свидетеля, это правда. Вы сами мне сказали, что нужно доказать виновность Минаева...

— Я говорил, чтобы вы посоветовались с русскими, доставили прокурору документацию. А чем вы занялись? Убийствами? Почитайте, что пишет Доулиттл... Ваше счастье, что я не могу вас сразу уволить, я не хочу, чтобы красные праздновали победу. Вы получите отпуск, но сюда вы больше не вернетесь.

Когда Минаеву сообщили, что он будет выслан из Америки, он улыбнулся:

— В общем это резонно — нельзя так долго засиживаться в гостях. Мне только жаль прокурора — я боюсь, что он не переживет разлуки...

Провожал Минаева Данилевский. Он вдруг вспомнил:

— Вам пришло письмо на адрес миссии. Забыл взять... Пишет какая-то женщина, кажется уборщица, просит вас не думать, что в Америке только мерзавцы, желает счастливой дороги... Очень трогательное письмо... Газеты писали, что у вас нашли какие-то черновики. Вы пишете?

Минаев смутился:

— Пустяки. Старые фронтовые впечатления...

— Ну, теперь у вас много новых впечатлений, сможете написать целый роман... Скоро увидите Москву, ваших... У меня к вам большая просьба: позвоните дочке. Запишите: В, Кировская, один сорок девять два нуля. Спро-

сите Марусю. Скажите, что, надеюсь, летом отпустят... Ну, и целую крепко. Да вы сами знаете...

Вернувшись домой, Данилевский включил радио. В Москве уже полночь. Бой часов, гудки, тишина... Через три недели Марусе исполнится восемнадцать лет, кончает десятилетку. Наверно, теперь волнения — скоро экзамены... Может быть, уже влюблена. А я здесь сижу и ничего не знаю. Разговариваю с каким-то Доулиттлом... Конечно, это нужно, я понимаю, но очень хочется поглядеть на Марусю... Может быть, она была в театре, идет сейчас домой на Якиманку. Весна, лед уже прошел, холодный синий месяц, мост, фонари... Кто-то в подворотне смеется...

Он вздрогнул и сел за работу.

Москва готовилась к Первому мая. На улицах вывешивали флаги, портреты. В домах шла уборка, мыли окна, натирали полы. Мария Михайловна была на кухне, ставила тесто, когда она услышала в передней голос сына. Она усомнилась: может быть, это ей почудилось, ведь так бывало не раз... Но в комнату вошел Митя. Она обняла его, а руки у нее были в тесте, прижалась к нему, худая, маленькая.

— Митенька, что они с тобой сделали?..

— Мошенник, пришил пуговку, говорил, что она всю жизнь продержится, а она через неделю отлетела...

Пришла Оля. За перегородкой он ее обнял, ничего не мог сказать. Молчала и Оля. Потом он начал рассказывать:

— Ты понимаешь, как им трудно было выкрутиться? Портные у них хорошие, а насчет юриспруденции слабовато... Я теперь знаю...

Она шепнула «погоди» — боялась, что он начнет дурачиться. Но он сказал:

— Я теперь знаю, что ничего не знал, не знал, что значишь ты, не знал, какой у нас народ, говорил, а не понимал....

Он сказал это с таким не присущим ему волнением, что Оля не выдержала и заплакала.

37

Обычно почта приходила вечером, но в тот день областную газету привезли раньше, и Кранц успел прочитать ее в столовой. Он начинал всегда со второй страницы, там бывали интересные статьи о новых методах работы, данные о продукции различных предприятий, там могло неожиданно появиться что-либо хорошее или плохое о заводе, изготовляющем сельскохозяйственные машины, где работал Кранц. Он внимательно прочитал статью о непорядках на часовой фабрике, просмотрел сообщения о посеве озимых и перешел к четвертой странице. В Греции, в районе горы Граммос, продолжаются ожесточенные бои. В Америке преданы суду двенадцать руководителей компартии. Во Франции начались забастовки шахтеров. Кранц собирался отложить газету, когда его внимание привлекло короткое сообщение о новом произволе американских властей: в Нью-Йорке задержан юрисконсульт советской торговой миссии. Кранц сказал громко, хотя никого рядом не было: «Ну, знаете!..» Потом приподнял брови, что он всегда делал, когда чему-нибудь удивлялся. А не тот ли это Минаев?..

Он вспомнил невыносимо жаркий день, степь, едкую пыль. С утра бомбили — один заход за другим. Кранца вызвали на КП: привели «языка», нужен переводчик. Допрашивал пленного капитан Минаев. Кранц его знал — они как-то проговорили целый вечер о стихах Гейне. У капитана была смешная собачонка, низколапая и визгливая, он прозвал ее Геббельсом. Собачка тоже присутствовала на допросе. Капитан сказал немцу: «Вот вы дошли до Волги, а здесь топчетесь на месте. Почему? Что вам говорят ваши офицеры?» Пленный долго мялся, потом ответил: «Офицеры говорят, что у русских здесь особый батальон, составленный из сумасшедших». Кранц еле удержался, чтобы не рассмеяться. А Минаев серьезно сказал: «Переведите ему, что с их точки зрения у нас повсюду сумасшедшие. Сто восемьдесят миллионов сумасшедших. А когда дойдем до Берлина, будет вдвое больше». Неужели это тот Минаев? Капитан говорил, что он юрист... Не может быть! Какой же он дипломат? Такого не пошлют... Мало ли Минаевых? Кажется, даже был

поэт Минаев... Кранц все же не мог успокоиться: почему-то ему казалось, что это тот самый капитан. Он сидел и заново переживал годы войны.

— Александр Ильич, вас директор просит.

Кранц вздрогнул и вернулся к действительности.

Директор сказал, что нужно поехать в совхоз 816,— там уверяют, что молотилки не работают. Кранц усмехнулся:

— Мозги у них не работают. Хорошо, сейчас поеду.

Он пошел к себе. Рабочие исправляли дорогу. Некоторые работали, другие сидели на теплом осеннем солнце и курили. Кранц сказал Патрикееву:

— Плохо у вас получается.

— Это, Александр Ильич, перекурка.

— Нужно поднять дорогу, а вы что делаете? Весной все начнется сначала. Большой завод, а в мае ни одна трехтонка не могла пройти, скандал...

Когда Кранц ушел, Патрикеев сказал:

— Это Игрец правильно говорит, если не поднять, опять ее, проклятую, развезет. Скандал...

Год назад Кранц приехал на завод, не мог разыскать директора и попал в бухгалтерию. Нина Костылева, увидав молодого человека с тонким смуглым лицом, одетого по-московски, решила, что это чтец из Пензы — вечером был назначен в клубе концерт. Нина обожала искусство и восторженно вскрикнула: «Вы ведь чтец, правда?» Приезжий засмеялся: «Откровенно говоря, я — инженер, приехал на место работы, ищу директора. Зовут меня Александр Ильич Кранц. Но, если угодно, я и чтец, и швец, и жнец, и на дуде игрец». В бухгалтерии было много народу, все рассмеялись; за Кранцем укрепилось прозвище Игреца.

Вскоре все убедились что, отрекомендовавшись в рифму, Кранц не соврал. Он принадлежал к тем людям, о которых говорят, что у них золотые руки: все у него получалось. Он смастерил подъемник из кухни в столовую, где обедали рабочие: подавальщицам не приходилось больше бегать по лестнице, и еда всегда была горячая. Он развел большой сквер, удивил всех тем, что не только знал названия цветов, но умел с ними

обращаться — окучивал, рыхлил, подкармливал. А когда Первого мая в заводском клубе был вечер самодеятельности, оказалось, что Игрец великолепно играет, только не на дуде, а на рояле.

В десятилетке Саша Кранц мечтал о филологическом факультете; тогда он увлекался литературой; овладел немецким языком; писал тайком стихи и читал их девушкам, говоря: «это произведения одного товарища». Мать хотела, чтобы он занимался музыкой: у него находили недюжинные способности. Он быстро загорался, все его увлекало. К матери пришел знакомый архитектор, рассказал о плане реконструкции Москвы, и Саша решил стать архитектором. Это было зимой. В апреле он провел с двумя товарищами день в машиностроительном институте. Домой он вернулся возбужденный и сказал матери: «Решено. Подаю в машиностроительный. Во-первых, это — теперь самое важное. Потом чертовски увлекательно, можно сконструировать решительно все»... Никогда он не раскаивался в сделанном выборе, жизнь казалась ему пестрой и соблазнительной — куда ни погляди, все интересно.

Кранцу было двадцать два года, когда началась война. На фронт он попал весной сорок второго, командовал саперным взводом. Он прошел путь от Харькова до Сталинграда. Полковник Игнатов, узнав, что есть лейтенант, который знает немецкий, стал часто вызывать его: Кранц помогал допрашивать пленных, переводил захваченные документы. Его направили в седьмой отдел, он кричал в громкоговоритель: уговаривал немцев сдаваться. Возле Житомира он был ранен осколком снаряда. Хирург колебался, стоит ли оперировать,— все равно не выживет. Кранц выжил и возвратился в свою часть за два месяца до конца войны.

Когда его демобилизовали, он вернулся в институт. Кругом были девушки или юнцы, не повидавшие войны. Кранц почувствовал себя одиноким, даже приуныл — слишком свежи были воспоминания, но быстро совладал с собой и налег на учение. Его нельзя было назвать веселым или разговорчивым, хотя он любил бывать с людьми. Он часто подолгу молчал, слушал, о чем говорят другие, и при этом чуть улыбался. Трудно сказать, что

выражала эта улыбка — радовался он тому, что слышал, или, слушая, продолжал думать о чем-то своем. Внешность у него была привлекательная, он обращал на себя внимание бронзовым цветом кожи и необычайно черными, горячими глазами. Можно было подумать, что он родился не на Ордынке, а где-нибудь в африканском оазисе. Девушкам он нравился; нравились и ему девушки, но по-настоящему он не влюблялся; может быть, не встретил такую, которую мог бы полюбить, может быть отвлекали работа, товарищи, книги.

Завод, на который он попал, находился в глуши, в местах, где, побродив, еще можно было увидеть и пестрые самодельные сарафаны, и курные избы, и стариков, лечивших зубную боль заговорами. Область была живописной, и люди здесь были одаренные. Кранц не мог ничего видеть, не мечтая, как бы это переделать и улучшить. Здесь ему пришлось столкнуться с силой инерции. Завод эвакуировали в начале войны из Запорожья; он разросся на пустыре. Среди рабочих были и опытные металлисты и люди случайные, привыкшие кочевать. Хорошие рабочие, разбиравшиеся в тайнах станка, придумывали хитроумнейшие способы ускорить производство; к своим находкам они относились ревниво; нелегко было уговорить их, чтобы они поделились опытом с новичками. Кранц был молод и нетерпелив; минутами на него находило отчаяние, ему казалась слишком большой дистанция между высокими идеями, одушевлявшими страну, и косностью Дрожжина, который, хитро ухмыляясь, говорил: «Понимаешь, колесо заело. А мое дело маленькое...» Он отходил душой, когда Харламов приносил сложные чертежи — «Станок-то можно приспособить, чтобы сразу делал несколько операций, это огромная экономия»,— или когда Белкин приходил в цех первым и уходил последним, холил машину, как любимое существо, или когда шестидесятилетний мастер Ясинский говорил: «На нас, можно сказать, весь мир смотрит, а ты что, хочешь план сорвать?..» Человеческий лес был пестрым и неровным, одни росли быстро, другие отставали, были и такие, которые, казалось, чахнут, не приживаются, но лес с каждым днем рос и Кранц любил свой завод, как можно любить жизнь, которая далась с трудом и поэтому вдвойне дорога.

Приехав в совхоз 816, Кранц сразу увидел, что не ошибся: машины были в исправности, просто их не сумели наладить. Кранц ужинал с агрономом Глазковым. Говорили об урожае, о плане лесонасаждений. Глазков сказал:

— Великое это дело, ведь у нас все пожгло, а мы еще в хорошем положении — качаем из речки... С колхозниками не говорите, беда... Сена нет, некоторые коров режут. Вот когда будут здесь леса, кончится эта игра в орлянку. Завтра увидите — сеем свежими семенами, такой посев имеет свои преимущества...

Потом разговор перешел на мировые события. Глазков говорил:

— Удивительное дело, я думал, что американцы — мирные люди, земли у них много, и земля хорошая. Какая их муха укусила? Читали сегодня? Советского юриста задержали... Чорт знает что! Неужели снова воевать придется?

Кранц приподнял брови:

— Мне кажется, я знаю этого Минаева. Вместе воевали... Вы говорите «американцы», а я не думаю, что обыкновенный человек там хочет обязательно воевать. Это махинации кучки негодяев. Наверно, им выгодней делать минометы, чем молотилки... А воевать они вряд ли решатся — кому охота повторить Гитлера?..

Утром Кранц задержался: решил посмотреть, как происходит посев. Сеяли вручную; нехватало рабочих, все суетились, ругались. Глазков был так взволнован, что, когда Кранц пришел к нему проститься, сказал:

— Вы что здесь мотаетесь?.. — Узнав Кранца, он смутился. — Простите, совсем очумел. Нужно кончить в пять дней — это самое позднее, а людей нет...

Возвращаясь на завод, Кранц все время думал: неужели нельзя усовершенствовать? Меняем природу, а сеем, как сто лет назад... Он начал ночами работать. К февралю он сконструировал модель однорядной ручной сеялки и принес ее директору завода.

Николай Степанович Кошарев был человеком неглупым, честным, трудолюбивым. Завод неизменно выполнял план. Однако была у Николая Степановича слабость: он боялся что-либо изменить в существующем порядке вещей.

Нерешительностью страдал он и в частной жизни; даже женился не на той девушке, на которой хотел,— два года откладывал объяснение, девушка уехала в Ленинград и там вышла замуж, а рядом с Николаем Степановичем оказалась ее подруга, не очень привлекательная, но энергичная. Она решила выйти за Кошарева, он обрадовался: ему не нужно было ничего решать. Он боялся новых знакомств, перед любой поездкой, даже в областной центр, волновался, не спал ночь, сердился, когда жена переставляла мебель или выкидывала его старую просаленную шляпу, говоря: «Купишь новую». В сорок шестом Кошарев пережил крупную неприятность: инженер Костицкий уговорил его перейти на новую модель молотилки; завод выпустил первую партию; посыпались жалобы. Кошарева вызвали в Москву. Вернувшись оттуда, он четыре дня пролежал больной, никому не рассказал, что там приключилось, только признался жене: «Он мне сказал: «А ведь вы не мальчик, могли подумать». Понимаешь? Костицкому наплевать, он уже устроился в Свердловске. А взыскивают с меня». Он решил быть вдвойне осторожным.

Кранц, волнуясь, объяснял ему преимущества своей модели:

— Две тысячи погонных метров в час. Это экономней в десять раз, чем они теперь сеют...

Кошарев кивал головой:

— Очень интересно. Исключительно интересно... Могу вас поздравить. Не удивлюсь, если получите Сталинскую премию...

Потом он стал говорить Кранцу, что такие сеялки могут изготовлять лесостанции собственными средствами; забыв свои же слова, десять минут спустя заявил, что подобное начинание нужно предоставить заводу большего калибра; наконец, вытерев платком потное лицо, сказал:

— Пошлите проект в Москву. А завод тут ни при чем...

Когда Кранц ушел, Николай Степанович облегченно вздохнул: хороший инженер и человек симпатичный, но сорвется — хочет за год сделать то, что другие делают за десять лет...

В марте на завод приехал секретарь обкома Гусев. Это был круглый лысый человек лет сорока, с острыми, даже колючими глазами. Он три часа отчитывал секретаря парторганизации: «Где же политическое воспитание кадров?..» Потом он убил Николая Степановича: «Клуб у вас похож на конюшню». Он долго ходил по цехам, сказал, что хорошо бы поставить рядом с опытными рабочими молодых и установить ответственность за передачу опыта; поздравил старика Ясинского. Все это так понравилось Кранцу, что он решил показать Гусеву свою сеялку. Тот просидел над моделью два часа, выслушал все объяснения, а потом сказал: «Идея хорошая. Но вот что — барашек болта должен двигаться, видите... Тогда можно будет сеять на разную глубину. А сосна не липа и липа не лиственница, у каждого дерева свои нравы». Кранц был поражен: секретарь обкома не только знал лесоводство, он разбирался в механике — мигом сообразил, как изменить глубину погружения сошника.

— Откуда вы это знаете? Учились?

Гусев засмеялся:

— Область большая, каждый день учусь.

Кранц усовершенствовал сеялку, послал проект с подробной запиской в Москву и по совету Гусева решил проверить модель в питомнике во время весеннего посева. Кошарев, пожелав ему успеха, подумал: все-таки хорошо, что я не клюнул. Если Гусев сразу нашел недочеты, можно себе представить, что скажут в Москве специалисты... Как бы наш Игрец не проигрался.

Пришел май с теплыми, звонкими дождями, и в жизни Кранца произошли два события. Первого он ждал с нетерпением: совхоз 816 посеял четырнадцать гектаров лесных питомников с помощью его сеялки. Глазков говорил: «Подождем, конечно, всходов, но глубина правильная — четыре-пять сантиметров, да и количество при поверке подтвердилось...»

Другое событие было для Кранца неожиданным. Он поехал в село Пеструшкино, находившееся поблизости от совхоза: его заинтересовало лесоводство, а книг в совхозе не было, Глазков сказал, что в школе есть хороший сборник о лесонасаждениях. Кранц приехал под вечер. Двух-

этажный кирпичный дом школы выделялся среди изб. Кранц постучал, покричал; никого не было. К его удивлению, дверь оказалась открытой. Он осмотрел классы, поднялся на второй этаж. В пустой комнате на подоконнике сидела девушка; волосы вокруг загоревшего лица казались белыми. Девушка глядела на светлозеленое поле. Ее лицо было сосредоточенно. Вдруг она оглянулась, увидела Кранца и, вскрикнув, убежала.

Несколько минут спустя она догнала Кранца в садике перед школой.

— Простите,— сказала она,— я вела себя очень глупо, но я задумалась, а вы меня напугали. Вы, наверно, ищете директора или завуча?

Он поглядел на нее и с той дерзостью, которая порой рождается душевным смятением, ответил:

— Вас.

Она удивилась:

— Меня?.. Что же вам нужно?..

Он высоко приподнял брови:

— Не знаю.

Она возмущенно поглядела на него и ушла. Он долго ходил по садику — думал, что она вернется. Но девушка не вернулась. Пришла старая учительница математики, которая заведовала библиотекой. Кранц получил книгу и, смущаясь, спросил, кого он встретил в школе,— он постарался как можно скромнее описать девушку.

— Ах, это Вера Николаевна. Фамилия ее Трубникова, она у нас первый год, преподает литературу. У нее с квартирой плохо, вот она и приходит заниматься в школу, ей директор разрешил...

Всю дорогу Кранц думал о Вере. Он не мог забыть ее лицо, огонь глаз, порывистость и робость. Дикарка, говорил он себе, и это слово звучало для него, как признание. Он приехал домой, работал, спорил с Николаем Степановичем, беседовал с Ясинским, читал о лесонасаждениях, и, что бы он ни делал, он думал о Вере. Он ждал, что семена в питомнике взойдут,— сеялка себя оправдает. Через десять дней он съездит в совхоз. Он заедет, конечно, и в Пеструшкино — нужно вернуть книгу. Он не ждал встречи с Верой, но только этого он и ждал.

38

Почему Нине Георгиевне казалось, что Вася начинает походить на Сергея? Хотела ли она себя утешить, смягчить жестокую потерю? Или, может быть, после смерти Сергея она лучше присмотрелась к младшему сыну, нашла в нем дотоле неизвестные ей черты? Наташа тоже находила, что Вася изменился, спрашивала себя: может быть, с ним что-нибудь случилось? Когда Наташа познакомилась с Васей, он удивил ее своим спокойствием. У него была веселая, добродушная улыбка, и Наташа, смеясь, говорила: «Ну, Кот-Мурлыка, улыбнись»... Теперь он часто загорался, говорил поспешно, как будто боялся, что не успеет досказать, и вдруг замолкал. Порой он признавался и матери и Наташе, что многого не понимает; тогда на его лице показывалась легкая улыбка стеснения и притаившейся страсти; эта улыбка больше всего напоминала Нине Георгиевне Сергея.

Вася провел две недели с Наташей до ее отъезда на лесостанцию, он удивил ее пылкостью, которой она в нем раньше не замечала; впервые он говорил ей, не стыдясь, слова любви; рассказывал о своей работе то с восторгом, то с горечью; в этих рассказах проспекты Минска смешивались с дорогами жизни, с воспоминаниями военных лет, с мыслями о будущем — о свете новых городов, о глубокой перемене человеческих чувств, о том, как можно вдохнуть жизнь в камень, в пустыню, в толщи подсознания. Минутами Наташе слышалась в его голосе тревога, может быть за дома в Минске или за сон Васеньки, за жизнь крепкую и ломкую. Он внезапно обрывал себя, чуть улыбаясь, говорил: «Успеть бы!..» Наташа спрашивала: «Что?» Он отвечал, уже веселый, как будто успокоенный: «Все. Вырастить Ваську. Посадить леса. Достроить Минск. Нет, погоди,— построить коммунизм...»

Однажды Наташа, отложив газету, спросила:

— Вася, что они задумали?..

Он засмеялся:

— Я не медиум и не знаю, о чем думает Трумэн. Если он вообще думает... Вероятно, о нехорошем. Наташа, помнишь, когда мы познакомились, я тебе рассказал про гипнотизера, у которого в цирке стянули часы? Ты засме-

ялась, и я сразу понял, какая ты чудесная... Вот я и сбился... Ты спрашиваешь, что они задумали? Ясно что — уничтожить нас. Только это они задумали давно, лет тридцать назад, и все не выходит: коротки руки. Меня сейчас другое мучает — сколько нам нужно еще сделать! Иногда зло берет, отчего в сутках всего двадцать четыре часа? Так люди, кажется, еще никогда не жили — за десять лет сделать больше, чем делали веками. А иначе нельзя: если мы не доделаем, все рассыплется. Ты только себе представь, что можно сделать с атомной энергией и что они делают! Не будь нас, они передрались бы между собой, все бы уничтожили. Мы должны спасти жизнь, ни больше ни меньше. И нужно торопиться...

Он замолк, долго сидел задумавшись. Стемнело. Вдруг он подошел, обнял Наташу, начал ее целовать:

— Наташенька, мы ведь с тобой и не видались по-настоящему. Помнишь ту короткую ночь? А жизнь тоже коротенькая — не в меру любви...

— Вася, ты ничего от меня не скрываешь?

Он задумался.

— Кажется, нет. Почему ты спрашиваешь?..

— Мне иногда страшно... Мама правду говорит — ты как-то изменился.

Он улыбнулся:

— Знаешь что, Наташа, я попросту вырос. С опозданием... До войны мы были детьми. Конечно, я тогда думал, что я старею — мне ведь было двадцать семь. Наверно, я был отсталым — все мне казалось ясным, как проекты, которые мы чертили в институте. На войне пришлось многое увидеть, только не было времени задуматься. Мама говорит, что прежде я был спокойней. Я тогда не видел людей, да и себя не видел. Это такой клубок... Вот и выходит глупо — считается, что с возрастом становишься степенным, а я в тридцать шесть кипячусь, как мальчишка...

— Нет, Вася, это не мальчишество. Наоборот... Я это хорошо понимаю. Молодость кончилась, вот что. Теперь у нас с тобой не весна, а горячее лето, самый разгар...

Вася ничего не скрывал от Наташи. Прошлой осенью он много ей рассказывал о том, как ему интересно и

трудно работать: ночью над чертежами, днем на строительстве, одно дело — план, другое — люди, живешь в постоянной лихорадке, то ругаешься с Зуевым, то нужно бежать к Одинцову, Савельев дурит, Ершов спрашивает, когда сдадим, а сухой штукатурки не доставили, радиаторы не тех номеров, проект двухэтажных домов маринуют... Это было его жизнью.

В светлый майский вечер после трудного дня он долго глядел сверху на Минск. Он знал каждое здание, каждый пустырь, но сейчас недостроенные площади, Советская улица, разлившаяся, как река в половодье, заречные кварталы с их большими корпусами среди кривых деревянных домишек показались ему чем-то новым и диковинным. До войны он работал в мастерской над планом реконструкции. Вот здесь должны были пройти три кольцевых магистрали... Вася видел здания, которых больше нет,— их разбомбили, взорвали, сожгли. Вон там стояли дома, которые он показывал Наташе за час до того, как они услышали речь Молотова... Когда партизанский отряд вошел в Минск, Вася увидел развалины.

Кончилась война, они снова работали, спорили, чертили — родился новый план. Он начинает проступать в облике города; еще далеко до конца, но это уже не макет, это настоящие улицы, по ним ходят люди.

До войны Вася думал о строительстве абстрактно, порой, как старательный ученик, порой, как мечтатель. Конечно, и тогда он знал, что приходится считаться с действительностью,— объяснял Наташе, что нельзя настаивать на строгости формы, когда нет хорошего материала. Но мысли о работе не связывались с тем, что у Фомина на двенадцати квадратных метрах жена, трое детей и теща, что Головко переживает драму — женился, а комнаты нет, что люди хотят жить, жить сейчас же. Он не отказался от своих мечтаний, он часто видел города будущего, полные света и зелени. Но теперь он твердо знал, что жизнь — не чертеж. Конечно, пришлось бороться с различными учреждениями, которые хотели строить, где и как придется, лишь бы поскорей. Он терзался: перед ним была судьба людей, ютившихся в подвалах, в бараках, и судьба Минска. (Слово «Минск» он произносил особенно нежно: здесь он начал работать, здесь все решилось

с Наташей, здесь он увидел победу, когда он, командир партизанского отряда, въехал в город на коне майора Шильтеса.) Софонов готов был уступить: «Зачем связываться с такими застройщиками? У них есть резоны, и потом ты не знаешь, с кем они согласовали. Можно нарваться...» Вася не сдавался: дело шло о судьбе города; он отстаивал план. Слов нет, этот план то растягивался, то суживался; он принимал в себя и старые хибарки и кривые улички прошлого века и не на месте выросший дом. Вон там и еще там... Когда кто-то сказал, «почему же вы допускаете отклонения», Вася усмехнулся. Люди торопятся жить, а это не выставка, это город.

Вася все еще глядел на Минск, но теперь он думал не об архитектуре — о жизни, сложной и запутанной. Конечно, его работа связана с расчетом, вдохновение приходится проверять циркулем, мечты сообразовывать с возможностями Главминскстроя. Это не жалобы, напротив, настоящая работа, когда перед тобой не формулы, а люди, с их силой, с их слабостями, с их спорными вкусами и бесспорным правом жить. Он вспомнил, как рождался партизанский отряд: люди, вчера еще малодушно прятавшиеся по избам, казалось разбитые, выпрямлялись, становились героями; они ругались: то не так, и это плохо, а потом молча шли на смерть.

Высокие идеи были и раньше, но их клали на книжные полки, запирали в музеях; они считались достоянием философов или поэтов; а кругом шла жизнь, темная, сонная, бестолковая. Вася подумал о Сталине: до чего он знает людей, самое нутро человека, сплав страстей! Поэтому и смог построить такое государство... С ним не страшно — это главное. Он как будто проникает в сотни миллионов сердец, так что, когда он говорит, люди удивляются: и за меня сказал... Наверно, и в Пекине так думают и в Париже. Он не одинок — где-то наверху, нет, он среди нас, чертит планы с Четвериковым, кладет с Якушко кирпичи, сейчас стоит рядом и думает о жизни. Он, должно быть, очень много думает о жизни, в этом его сила.

Хорошо бы поглядеть на Минск, когда все будет достроено! Еще мало сделали, нужно торопиться... Не знаю, почему Сергей погиб, а я уцелел? Это несправедливо, он был куда лучше. Сколько погибло — и всё замечательные

люди! Аванесян, Наташа Головинская, Шумов, Овсеенко, Иван... Софонов недавно сказал, что незачем вспоминать погибших, это «размагничивает». Неправда, могилы приподымают, требуют, стыдят. Я должен теперь работать не только за себя: за них. Если мы на минуту забудемся, разнежимся, те накинутся. А разве я вправе отдать то, за что погиб Аванесян? Я тогда ему поклялся. Конечно, теперь мир, но клятва в силе...

Вон там был дом, где я жил, туда приехала Наташа. Теперь разбили сквер, молоденькие липы. Они хорошо перезимовали—зеленеют... Наташа далеко. А может быть, и нет — здесь рядом. Это правда, что у любви крылья, все время судьба нас разлучает и не может разлучить. Наташа сказала, что весна позади. Наверно, это так... Но какое же у нас грозовое лето! Это необычайное счастье — жить вот так, в недостроенном городе, в недостроенном мире, не доживать, даже не обживать — строить. Полжизни позади, война, горе, победа. Наверно, это перевал... А что впереди? Не знаю. Знаю, что жизнь.

Из раздумий его вывел Савченко:

— Василий Петрович, придется сходить к Одинцову: опять у них с штукатуркой ерунда, получается, что мы план срываем...

На следующее утро Вася сидел у Одинцова и бушевал. Одинцов время от времени говорил «понятно». Это был тучный человек в косоворотке, с живыми, пытливыми глазами. Когда Вася кончил, он сказал:

— Понятно. Так мы их возьмем в оборот. А вы тоже жмите...

Зазвонил телефон. Одинцов взял трубку и несколько раз повторил «понятно», потом сказал Васе:

— Здесь вот какая история: приехал иностранный журналист, как будто француз, а представляет американское агентство, наверно махровый... Так он вас требует. Я понимаю, что вам не до этого, нужно сдавать вторую очередь, но Ершов говорит, из Москвы просили: покажите и все прочее. Вы уж с ним поговорите и, знаете, помягче. Ершов просит, вот какая история...

Вася усмехнулся:

— Какой же я дипломат? Я в Германии поговорил с одним англичанином, что называется, по душам, так он

из себя вышел, перекусить — и то не захотел... Хорошо, если Ершов настаивает, поговорю...

Саблон после встречи с Крыловым потерял душевное равновесие, как-то размяк. Правда, он еще съездил в колхоз, побывал на текстильной фабрике, но расспрашивал вяло, ничего больше не записывал. Напрасно де Шомон звонил ему, приглашал в посольство; он отклонял приглашения, не стараясь даже придумать предлог. Он избегал общества других журналистов, бродил один по улицам, заходил в маленькие рестораны или в пивные, глядел на людей доброжелательно, но отчужденно. Иногда он заказывал пол-литра водки, пил один, молча, радовался, что путаются мысли, что он не может понять, где он — с женой в маленьком бретонском домике, в Москве, или, может быть, в Шанхае. Пришла телеграмма от Нивеля, он спрашивал, когда агентство может рассчитывать на первую статью. Саблон написал: «вернусь через десять дней»; потом скомкал листок и решил не отвечать. В Минск он поехал потому, что оттягивал возвращение домой; ему казалось, что как только он сядет в самолет, придется задуматься над всем, что он увидел, многое пересмотреть. Он сказал переводчице, кудрявой и неизменно улыбавшейся, что хочет посмотреть, как восстанавливают Минск. Он убедил себя, что это ему необходимо, и неделю волновался, разрешат ли, а взглянув на минский аэродром, насупился: зачем я сюда приехал? Весь день он ходил по городу с переводчицей, которую про себя называл «херувимом»; увидел, что повсюду строят, что девушки в сквере сидят с учебниками, что тюльпаны такие же, как во Франции, что на улицах много народу, что в ресторане нужно ждать полчаса, пока официант притащит котлету. Еще один город... В записной книжке Саблона стояло: «Архитектор Влахов, зять симпатичного доктора». Саблона спросили, что он хочет — пойти в оперный театр, встретиться с белорусскими писателями, осмотреть дома, сдаваемые в эксплоатацию; он покачал головой: «Я хочу поговорить с архитектором Влаховым».

Вася старался не разглядывать гостя: ему казалось, что так будет вежливее, и первые четверть часа он даже не видел, с кем разговаривает. Он объяснял французу, в чем состоит план реконструкции. Саблон слушал плохо:

его никогда не интересовали проблемы урбанизма; зато он разглядывал русского. Забавно, как он увлекается, рассказывая. Кажется, славный парень...

— Вы, наверно, здесь родились? Чувствуется, что это ваш родной город.

Вася засмеялся:

— Нет, я родился в Париже: мои родители жили там до революции. Я не помню, конечно, Франции: мне было четыре года, когда меня привезли в Москву. Языку меня научила мать, она до сих пор преподает французский... А Минск я действительно люблю.

Он продолжал рассказывать о строительных работах: через пять лет Минск нельзя будет узнать... Саблон снова его прервал:

— Скажите, где вы были во время войны: на фронте или в тылу?

— В тылу... У немцев. Я попал в окружение — сразу, недалеко от Минска. Был в партизанском отряде...

— Значит, мы с вами почти товарищи: я участвовал в сопротивлении. Наша группа выпускала подпольную газету, мы взорвали два моста... Потом меня арестовали, я был в Освенциме.

Вася посмотрел на Саблона: перед ним сидел толстый косматый человек с умными и печальными глазами; он походил на портрет Бальзака, который висел в комнате Нины Георгиевны.

Вася начал расспрашивать, как боролись французские партизаны. Саблон охотно рассказывал, потом вдруг помрачнел, замолк.

Вася сказал:

— Я читал, что у вас теперь партизаны не в почете. А вот Петэн чуть ли не объявлен национальным героем.

Саблон проворчал:

— Ну, это преувеличено... Скажите, какие у вас отношения с бывшими товарищами по отряду? Вы их встречаете?

— Многие погибли. Некоторых встречаю. Был в отряде агроном Челищев, его почему-то прозвали «Миша лютый», хотя он добрейший человек. Недавно он приезжал в Минск, рассказывал, что работает в районе, у них много интересного — осваивают новые культуры. Была Лия

Коган, минчанка, она в прошлом году кончила педагогический институт, учительствует. Иван Шелега, я его чуть ли не каждый день встречаю — он строит дома. Это мой друг. Замечательный человек, если хотите, я вам его покажу. Он придумал новый метод: раньше работали двойкой или тройкой, а он предложил перейти на пятерки. Они за один час укладывают две тысячи кирпичей...

Саблон вышел из себя:

— Я вас не о кирпичах спрашиваю. Вы с ним спорите о политике?

— Нет. Мы ведь вместе воевали, вместе работаем...

— Вы хотите сказать, что вы вообще не занимаетесь политикой?

— Почему? Отстроить Минск — это тоже политика, и большая.

— Не знаю, должен ли я вам завидовать. Может быть, мы ниже вас, а может быть, выше, во всяком случае мы подходим к этому иначе. У меня был товарищ по сопротивлению. Коммунист. Мы с ним вместе выпускали подпольную газету. Недавно мы поссорились. Я люблю Францию, а он, по-моему, не француз: он думает об одном, как итти с вами в ногу.

— А разве итти с нами в ногу — это значит не быть французом?

Саблону не хотелось спорить, но вдруг он вспомнил, зачем приехал в Россию. Прежде он мечтал поговорить откровенно с каким-нибудь русским, понять, что скрыто за «железным занавесом». Доктор — человек старого поколения, а вот этот архитектор вырос в советское время; притом он знает французский, с ним можно поговорить без переводчицы. И Саблон начал возражать только для того, чтобы заставить русского говорить не о плане Минска, а о главном: собираются ли они воевать. Он повторял доводы Баннелье, нападки газет.

— Я в России не первый день, я многое успел заметить. Вы чванливы, на все один ответ: «Русские открыли, русские изобрели». Вы — архитектор, не знаю, что вы мне ответите, если я вас спрошу, кто построил Эйфелеву башню — Эйфель или Иванов?

Вася засмеялся:

— Эйфель. Это так же бесспорно, как то, что первое социалистическое государство построили русские.

— Вы действительно убеждены в превосходстве вашего строя?

— Конечно.

— И вы хотите, чтобы такой строй был повсюду?

— Да.

— Но тогда американцы правы: вы хотите заставить весь мир жить по-вашему.

— Нет, мы считаем, что другие последуют нашему примеру. Одно дело — вдохновлять, другое — завоевывать. Кто грозит сбросить атомную бомбу?

— Почему вы говорите только об атомной бомбе? У вас самая сильная армия на свете, вы можете в две недели занять Париж. Мы, французы, считаем, что атомная бомба обеспечивает нашу независимость.

Вася забыл и просьбу Ершова и то, что он намеревался как можно скорее отделаться от непрошенного гостя.

— Вы сами только что сказали, что разошлись с товарищем по сопротивлению, потому что он — коммунист и не верит в благодетельные свойства атомной бомбы. Значит, есть разные французы. Наверно, у «Юманите» имеются тоже корреспонденты. А вы, если не ошибаюсь, работаете для американского агентства. Когда я был в партизанском отряде, мы столкнулись с французами из «легиона» Дорио. Они были в немецкой форме, французские кокарды на рукавах. Грабили крестьян... Они тоже выдавали себя за настоящих французов. Вы рассказывали, что были на юге Франции и что вас травили не только немцы, но и петэновцы. А теперь, пожалуй, Петэн вам ближе, чем Торез. Когда с одними ссорятся, с другими мирятся, не так ли? В моем отряде воевал француз, парижанин, его фамилия Карнэ. До войны он работал на заводе «Гном э Рон», немцы его взяли на работы, а он убежал. Я не удивлюсь, если в вашей Франции его объявят изменником: он ведь не для того воевал против фашистов, чтобы стать верноподданным Трумэна...

Саблон закрыл глаза: у него были тяжелые лиловые веки. Он больше не слушал русского. Почему-то он вспомнил длинное бледное лицо Нивеля, его вкрадчивый голос, тонкую руку с перстнем: ему стало не по себе. Он

вдруг вынул бумажник, достал из него фотографию — девочка с теннисной ракеткой:

— Это моя дочь. Ей четырнадцать лет... Самое страшное, что я не знаю, что с ней станет. Можно спорить, если хочется спорить, но не нужно воевать... Вы не женаты?

— Женат. У меня сын, ему семь лет. И, вот видите, я знаю, что его ждет: он будет жить на советской земле.

Саблон сердито швырнул окурок.

— Вы, русские, вообще все знаете... Ваша семья, конечно, с вами?

— Нет. Моя жена — по специальности агроном, сейчас она работает в Саратовской области на лесозащитной станции.

Саблон внимательно поглядел на русского. Значит, и у них не все гладко в семейной жизни... Интересно, он ее бросил или она его?

Вася сказал:

— Это, конечно, неудобно, но я не могу оторваться от Минска, вы сами видели, сколько нам еще нужно сделать. А у жены тоже интересная работа. Наверно, вы читали про лесонасаждения?..

Саблон снова поглядел на собеседника и тихо проворчал:

— Вы странные люди. Да, да, очень странные...

— Но воевать мы не хотим...

Саблон встал:

— Знаю, сейчас вы скажете, что у американцев базы, что Вышинский предлагал разоружение, что в Париже был конгресс ваших единомышленников... Все это так. И не так. Об этом можно спорить, но только не нужно воевать...

Он спрятал фотографию и протянул русскому широкую, большую руку. Было в его фигуре столько растерянности и печали, что Вася почувствовал к нему жалость; желая смягчить резкость разговора, он сказал:

— Как зовут вашу дочь?

— Мадлен, Мадо...

Вася смутно улыбнулся:

— Красивое имя... А это вы запомните: воевать мы не хотим. Счастливой дороги и передайте вашей дочке привет от советского архитектора.

На следующий день Саблон уехал из Минска. Он сидел один в купе и старался ни о чем не думать. Он заставил себя прочитать дурацкий роман. Потом он решил кроссворд в старом номере «Монд». Потом пил чай и считал, сколько по пути будок стрелочников. Стемнело. Дорога шла мимо лесов. Иногда мелькали огни. Поезд долго стоял на каком-то разъезде. Саблон глядел на освещенное окно одинокого домика — женщина укладывала ребенка. Он вспомнил архитектора. Иногда мне кажется, что это такие же люди, как мы, но нет, это существа с другой планеты. Разве не так же смеются девушки в парижских скверах? А если с ними заговорить, все окажется непонятным. Почему этот русский отпустил свою жену куда-то на Волгу? Будь это француз, я знал бы: хочет отделаться. А здесь я ничего не понимаю. Он говорил о жене точь-в-точь как о кладке кирпича. Ничего нельзя понять. Как много стран — и все непохожие! Я был в Конго, в Китае, в Мексике — всюду я ходил разинув рот, но такой непонятной страны я еще не видел. А ведь отсюда до Парижа всего девять или десять летных часов... Наверно, в таком лесу неуютно, особенно ночью. Здесь были немцы... Теперь я понимаю, что они пережили, когда их начали гнать. Чужим здесь нечего делать, это не Швейцария... Дело не в границах, не в визах,— в сознании. Когда я говорил с архитектором, между нами был настоящий железный занавес, даже два — его и мой... А Ниведя я зря пустил к себе, все-таки это предатель. Коммунистов ненавидит и Баннелье, но он был в сопротивлении. Впрочем, Баннелье мне говорил, что он уважает Ниведя. Тоже неразбериха. Наверно, можно разобраться, но как-то не хочется... Я очень глупо жил, исколесил полсвета, писал о самоубийцах, а не успел подумать о самом главном... Ну, зачем я приехал в Россию?.. Агентство нужно послать к чорту. Да и вообще не стоит писать. Лучше залезть в Кемперле, не читать газет, не знать, что сказал вчера Трумэн и где завтра объявят мобилизацию. Можно развести огород, жена давно собиралась, по крайней мере это — честное дело, морковь не кусается, а горошком никого нельзя убить... Неужели Мадлен придется убегать из Парижа, прятаться в убежище, ходить в комендатуру?.. Сколько у них лесов! И сколько людей!..

Саблон тоскливо зевнул. Он поглядел на часы: еще рано; если лечь, не усну... Он растерянно оглянулся по сторонам и пошел в соседнее купе к переводчице:

— Вы умеете играть в карты? Нет? Ну что ж, тогда учите меня русскому языку. Как по-русски «лес»? А как «беда»?

Вася описал Наташе визит француза: «Это довольно странный человек. Он был в Москве у Дмитрия Алексеевича, они проговорили два часа, не знаю о чем. Мне он говорил отвратительные вещи, но почему-то мне кажется, что он не такой уж «махровый», как думает Одинцов. Он показал мне фотографию своей дочки и сказал, что не знает, что ее ждет. Я ему ответил...» — Вася отложил ручку, чуть улыбнулся и старательно зачеркнул три последних слова. «Через несколько дней мы сдаем вторую очередь, но со школой будет задержка: нет штукатурки. Напиши, как Васька? Как твои дубки? А я по тебе тоскую, хочется тебя обнять, милая моя, потерянная, возвращенная, улетевшая, вечная моя радость!»

39

Прошлой осенью Ольга провела отпуск в Москве. Ей хотелось после двух лет, прожитых безвыездно в маленьком эстонском городке, повидать улицу Горького, походить по театрам, встретить друзей молодости, приодеться — словом, как она говорила, «привести себя в норму». Да и Нина Георгиевна в каждом письме упрашивала Ольгу приехать с Мусенькой: тосковала по внучке. Месяц прошел быстро; уезжая, Ольга жаловалась, что была только раз во МХАТе, не успела обойти все комиссионки, не повидалась даже с Казаковым, который издавна считался ее верным поклонником. Нина Георгиевна глядела на внучку влюбленными глазами, покупала ей игрушки, водила в зоопарк. Девочка была тихая, понятливая и, как казалось Нине Георгиевне, «беззащитная»; она так и сказала Ольге, но та пожала плечами: «В четыре года все беззащитные, а Муся уже умеет сама раздеться; я хочу, чтобы она была самостоятельной».

Нина Георгиевна сильно постарела за последние годы. Зимой, когда она хворала гриппом, врач сказал: «Не по-

нимаю, как вы с таким сердцем работаете. Вам нужно по крайней мере полдня лежать». Нина Георгиевна не рассказала об этом дочери, но Ольга сама заметила, что мать с трудом ходит. Она уговаривала, настаивала, требовала: «Брось ты школу. Пенсия плюс то, что я буду присылать и Вася, и ты сможешь вполне просуществовать». Нина Георгиевна как будто пропускала эти слова мимо ушей, только раз не выдержала: «Я, Олечка, хочу не существовать, а жить. Ты ведь знаешь, что школа для меня — все. Не делай из меня инвалида, мне всего шестьдесят три года. Александре Петровне шестьдесят семь, и у нее больше часов». Ольга знала, что мать не переубедишь; она постаралась использовать свое пребывание в Москве, чтобы облегчить жизнь Нины Георгиевны, договорилась с работницей соседей: будет ей посылать сто рублей ежемесячно, чтобы та готовила обед; купила матери теплое одеяло, вязаную кофточку, новый кофейник. Она заботилась о Нине Георгиевне, как о Мусе, сердилась: «Ну зачем ты купила еще одну куклу? У девочки уже четыре, а ты посмотри, какой у тебя матрац. Разве можно на этом спать, да еще в твоем возрасте?..»

Нина Георгиевна напрасно пыталась узнать, счастлива ли Олечка. В сорок шестом году Синяков демобилизовался; он пробыл в Москве две недели, потом Ольга достала путевку, и они уехали в Пярну, оставив бабушке годовалую Мусеньку. Синяков устроился на работу в Эстонии. Ольга вернулась в Москву, собрала вещи, взяла дочку и уехала к мужу. Синяков показался Нине Георгиевне скромным, честным, но она не знала, о чем с ним говорить: он оживал, когда разговор касался пчеловодства, все остальное его, видимо, не занимало. Он побывал в Румынии, в Чехословакии, но когда Нина Георгиевна спросила, что он там видел, ответил, что румыны не умеют бороться с гнильцами и пчелиный расплод страдает, а чехи умеют, и что в Татрах замечательные медоносные луга. Ольга заботилась о нем, говорила, «он хороший человек», но Нина Георгиевна так и не поняла, любит ли она мужа. Она теперь знала, что у Ольги под внешним спокойствием скрыты и воля и страсть. Не случилось бы как с Лабазовым, теперь будет труднее: у Оли Мусенька...

Когда Нина Георгиевна расспрашивала дочь, та говорила про все, только не про свои сердечные тайны, жаловалась на скуку, хвалила квартиру, целыми часами рассказывала о том, что в Эстонии чисто, двери и окна хорошо закрываются, на рынке порядок, молочные продукты доступны. Нина Георгиевна ее прерывала: «Но как тебе там? Не тоскливо ли?» Ольга отвечала: «Тоскливо. Мало знакомых и скорей неинтересные. Работы у меня много, и мне теперь поручают ответственные дела. Но выдвинуться там трудно. У Григория такая специальность, что он должен сидеть в какой-нибудь дыре. Не в этой, так в в другой. Можешь себе представить: летом я его вообще почти не вижу, он все время в районе. Конечно, я могла бы найти интересную работу в Москве, но ему здесь нечего делать, а жить на два дома глупо, да и Мусе лучше, когда она видит отца. Это заколдованный круг. Ты только не думай, что я жалуюсь. В общем я довольна. Надя Корабельникова уехала на Сахалин, это похуже... Я иногда езжу в Таллин, там русский театр. Григорий научился говорить по-эстонски, но это подвиг, есть слова только из гласных... У нас клуб, показывают фильмы, иногда танцуем. У меня даже поклонники есть — инженер и районный прокурор, довольно культурный». Нина Георгиевна посмотрела на Ольгу: она похорошела — глаза стали живее. Конечно, она может нравиться... Но ведь она любит мужа... Нина Георгиевна удивлялась, что Ольга способна часами говорить о нарядах: файдешин, клеш, жоржет, плечики... Ольга, смеясь, признавалась: «Я, мамочка, ужасная тряпичница. Разве это так плохо? Спроси моего начальника, он тебе скажет, что я умею работать. Когда в сорок шестом к нам понаехали псковские колхозники, нужно было провести разъяснительную кампанию, поручили это мне. Ничего, справилась. Неужели, по-твоему, молодая женщина не должна следить за своей внешностью?» Нина Георгиевна отвечала: «Конечно, Олечка»,— а про себя думала: никогда я ее не пойму, прямо наказание: родная дочь, а она для меня загадка, знаю, что она настоящий человек, и все-таки не могу ее понять.

За день до отъезда Ольги приехал Вася. Нина Георгиевна устроила семейный ужин. Ольга была веселая, смешно рассказывала о своих сослуживцах. Вася и

Наташа, встретившись после долгой разлуки, выглядели, как влюбленные, и Ольга подтрунивала над братом: «Оказывается, ты умеешь ворковать...» Нина Георгиевна все время улыбалась, но минутами ей хотелось заплакать: почему-то весь вечер она думала о Сергее.

На следующий день проводили Ольгу. Возвращаясь с вокзала, Нина Георгиевна спросила сына: «Как ты нашел Олечку?» Он улыбнулся: «Цветет. И деловая... Я хотел бы иметь такую секретаршу». Нина Георгиевна не вытерпела: «А такую жену?» Вася задумался и не ответил.

Ольга вернулась домой в приподнятом настроении: Москва ее взволновала, она вспомнила школьные годы, проказы, мечты. Увидев чистенький тихий городок, мужа, занятого тем, чтобы пчелы хорошо перезимовали, сухого, желчного начальника, она приуныла. Все-таки трудно так жить. Конечно, у меня Муся, это большая поддержка. Григорий — хороший человек, я не могу его ни в чем упрекнуть, мы прожили вместе несколько лет, и не было ни одной сцены, да и на работу нельзя пожаловаться: есть возможность инициативы, чувствуешь, что делаешь что-то нужное. Но тоскливо... Ольга быстро взяла себя в руки, на службу пришла, как всегда, веселая, мужа обрадовала подарками, вечером начала набивать новые занавески, и комната сразу стала веселее. Ольга была хозяйственной, умела создать уют; Синяков, приезжая из района, всегда находил и вкусный ужин, и теплую воду, и чистое белье. Он рассказывал товарищам, что у него необыкновенная жена, да и Ольге говорил: «Ты у меня фея...»

Ольга была скрытной, она никогда не раскрывалась перед матерью; но если бы она и захотела быть откровенной, она не смогла бы ответить на тот вопрос, который мучил Нину Георгиевну: она сама не знала, любит ли Синякова. В ранней молодости она несколько раз влюблялась, целовалась с мальчишками — в Сокольниках или на темной лестнице,— а неделю спустя дивилась, как ей мог понравиться Миша или Шувалов. Лабазов был настойчив, и она уступила, говорила себе: я не девочка, в этом возрасте все сходятся, а Семен может быть хорошим мужем. Любовь, о которой говорила Нина Георгиевна, казалась ей книжной романтикой: мама всегда витает в облаках. Ольга бросила Лабазова, когда увидела, что

он мелкий и скверный человек. В Куйбышеве с ней познакомился раненый лейтенант; он был одинок и застенчив. Он в нее влюбился; каждый день она видела его глаза, жадные и виноватые. Она была с ним ласкова, и то, что она может быть настолько ласковой с мужчиной, ее обрадовало: вот я и нашла человека, которого смогу полюбить. Синяков сиял от счастья; он даже внешне изменился: больше не сутулился, глаза стали живее. Все приключившееся казалось ему чудом: когда он шел по улице с Ольгой, на нее засматривались. Потом он привык к Ольге, и то, что она его любит, стало ему казаться естественным. Он считал, что ему повезло: у него жена, красивая, умная и заботливая, дочка, значит он может целиком отдаться работе. Свое дело он любил, знал нравы различных пчел, следил за литературой и так поставил дело на опытной станции, что к нему приезжали пчеловоды из других республик. Мир для него был ограничен его работой, и он очень удивился, когда Ольга сказала, что из деревьев ей больше всего нравится клен,— для него первым деревом была, разумеется, липа. У него было широкое, скуластое лицо с добрыми, несколько близорукими глазами; он ходил в косоворотке и, отдыхая, либо вырезал из бумаги для Мусеньки пчел, либо набивал папиросы, роняя на пол обрезки бумаги и табак, что сердило Ольгу.

Она привыкла к Синякову, ей казалось, что именно таким должен быть муж. Однако бывали минуты, когда она начинала тосковать о сердечных бурях, о неизведанном чувстве, о герое — таком, как его видишь на сцене. Она быстро справлялась с собой; театр — одно, а жизнь — другое. Григорий не дурит, не ревнует, не обманывает меня, значит я должна быть хорошей женой. За нею ухаживали инженер Тамм и районный прокурор Крымов. Тамм был в нее влюблен. Высокая, с русыми волосами, с глазами туманными, как будто влажными, она не походила на женщин городка, светлоглазых, светловолосых и знакомых Тамму с детства. Ольга казалась ему загадочной. Глаза ее, которые в годы девичества были спокойными, даже сонными, теперь выдавали скрытую страсть, и Тамм как-то ей сказал: «У вас глаза, как водоворот». Ольге нравилось, что он с нею держится так, как никогда не держались ни Синяков, ни Лабазов, ни московские

мальчики. Он играл для нее на рояле, подносил ей цветы, встречаясь, почтительно целовал руку. Во сне она иногда видела Тамма, они сидели на берегу моря и целовались; в действительности все ограничивалось вздохами. Крымов забавлял Ольгу тем, что рассказывал ей о своем бурном прошлом. Он говорил, что, будучи студентом, влюбился в замужнюю ленинградку, они убежали в Крым, потом она хотела утопиться, но он ее спас. Ольга считала, что Крымов — фантазер и хвастун, но его рассказы ее увлекали; послушав его, она чувствовала себя спокойней, как будто убежала в Крым не какая-то выдуманная ленинградка, а она, Ольга Синякова.

Встречи с инженером и с Крымовым были редкими событиями: Ольга днем работала в райисполкоме, а вечерами нянчилась с Мусей, обшивала ее, занималась хозяйством. Дочь она обожала, хотя и старалась это скрыть от Нины Георгиевны. Иногда она думала о будущем Муси: больше не будет войны, страна разбогатеет, жить будет легко, Муся выберет интересную профессию, и муж у нее будет порядочный, как Григорий, но красивее и с широким кругозором. Может быть, как Тамм.

В июне 1949 года на опытную станцию приехал профессор Раудсепп, крупный специалист, о котором Синяков говорил: «Второго такого нет ни у нас, ни в Америке». Профессор Раудсепп был эстонцем, в молодости он уехал в Москву. Он часто приезжал в Эстонию, где им гордились, как ученым с мировым именем. После войны его выбрали депутатом в Верховный Совет. Ольга читала статью Раудсеппа в газете «Советская Эстония», где он высмеивал предателей, убежавших за границу. Приезд Раудсеппа взволновал городок. Ольга, узнав, что он собирается прожить на станции две недели, приготовила для него флигелек, который когда-то служил бильярдной немецкому помещику, а потом пустовал — четыре года обсуждали, устроить ли там научный кабинет, или передать горсовету. Ольга перенесла туда часть своей мебели; из горсовета прислали большую новую кровать, и комната получилась такой нарядной, что Синяков вздохнул: «Вот бы где нам жить...»

Профессору Раудсеппу было под шестьдесят; высокий, костистый, с белой шапкой волос, он походил на лютеран-

ского пастора. В обращении он был суховат, говорил мало, с утра уходил на луга — собирал различные медоносные травы. Синяков показал ему построенную им мастерскую для изготовления искусственной вощины. Профессор сказал: «Это у нас практикуется... Но вас можно поздравить». Ольга, случайно услышавшая эти слова, про себя вздохнула: она не была фантазеркой, но иногда и она мечтала: а вдруг Григорию дадут Сталинскую премию за эту вощину?..

Раудсепп пугал Ольгу своей строгостью; но она часто думала: он тоже специалист, Григорий по сравнению с ним мальчишка, неуч, а вот профессор всем интересуется, вчера он сказал, что видел в МХАТе какую-то новую пьесу и что ему обидно за актеров, которые должны повторять такие глупые монологи, с Таммом он говорил о сланцах, и Тамм мне потом сказал: «Удивительно, Раудсепп знает методы производства», — ну а в политике профессор разбирается, как государственный деятель, достаточно вспомнить его статью...

Приехал сотрудник «Советской Эстонии», он пришел к Ольге и попросил представить его профессору Раудсеппу: «Мне поручили организовать статью об американских интригах, в связи с Прибалтикой...». Ольге было приятно, что она заботится о большом человеке, работа которого нужна всем.

Синякова вызвали в район. Ольга осталась одна. Утром она принесла профессору завтрак, обедал и ужинал он в городе. Весь вечер она занималась гардеробом мужа: подшивала изодранные брюки, штопала носки. Иногда она поглядывала на флигелек — окно светилось. Ночь была летняя, светлая. Ольга подумала, что напрасно отпустили Тигане: некому будет завтра проводить профессора в поле... Ей казалось, что у нее болит голова, потом она решила, что это от усталости — переработалась. В голову лезли вздорные мысли: она могла бы пойти в энергетический институт, это интересная специальность. Могла бы стать архитектором, как Вася. Могла бы раньше встретить Тамма — до Синякова... Она вышла в палисадник. Было два часа, чуть светало. Она пошла в сторону флигеля и вдруг увидела человека, который, пригнувшись к земле, шел туда же. Она притаилась: наверно, граби-

тель... Она всегда боялась бандитов; как-то в Сокольниках (это было еще до войны) Миша сказал ей: «Ну пойдем немного в сторону, на аллее нельзя даже поцеловаться». Она ответила: «Ты с ума сошел, там могут раздеть...» Ольга увидела, что человек хочет забраться в окно. Она бросилась на него. Он упал, потом вскочил и два раза ударил Ольгу. Она вскрикнула. Прибежали две работницы, старик директор, маленький сын Тигане. Грабитель успел скрыться. Профессор Раудсепп распорядился положить Ольгу во флигель и пойти в город за врачом. Ольга на минуту пришла в себя: болит голова, от этого и не могла уснуть, может быть тиф? Да нет, он хотел влезть в окно... Она снова погрузилась в забытье.

На следующий день пограничники задержали в рыбацком поселке подозрительного человека. Документов у него не оказалось, в кармане у него нашли триста сорок рублей и восемь шведских крон. Он рассказал, что зовут его Августом Эриксоном, он уроженец Таллина, до войны был комендантом правительственных дач, потом служил в эсэсовском корпусе, удрал в Швецию. Три недели назад его привезли из Швеции на моторной лодке. Послал его некто Якоб, которого называют «Рыжим», хотя он темный шатен. Говорят, что до войны Якоб служил в министерстве иностранных дел. Он сказал Эриксону, что нужно убить видного русского или эстонца, который продался русским. Якоб дал ему адрес Сарапа, по профессии краснодеревца: Сарап поможет найти русского, которого стоит убить, а потом отправит Эриксона назад в Швецию. Сарап сказал, что в Таллине ничего не удастся сделать, лучше подождать оказии. Эриксон прождал две недели, потом Сарап сказал, что нужно поехать на опытную станцию и ликвидировать Раудсеппа. Эриксон пришел на станцию днем, разговаривал со сторожем Тигане, говорил, что он — садовник, ищет работы. Он узнал, что профессор живет во флигеле, что Тигане и русский завтра уедут. Он просидел в лесу еще один день. Револьвер ему дал Якоб, а финку он взял у Сарапа, который сказал: «Финкой лучше — легче уйти». Когда Эриксона спросили, что он знает о деятельности Якоба, он ответил, что Якоб — председатель организации «Братьев», они иногда собираются, поют псалмы и песни, Якоб говорит о страданиях

Эстонии. У них большой дом возле Стокгольма по дороге в Сальтшёбаден, больше он ничего не знает.

Август Эриксон действительно ничего больше не знал. Сарапа не нашли: он успел скрыться. Но и Сарап не знал толком, почему Якоб, он же «Рыжий», требует, чтобы убивали людей. Сарап понимал, что ничего от этого не изменится, труднее только будет скрываться; правда, он обзавелся хорошими документами, никто не знает, что до войны он был полицейским в Тарту; но если убивать ни с того ни с сего людей, начнутся проверки, можно засыпаться.... Хорошо им в Швеции придумывать фокусы, вот приехал бы этот Якоб сюда!..

Якоб тоже не знал, почему он должен посылать преданных людей на гибель; он считал, что людей надо беречь для войны, которая не за горами: но Миллс, служивший в американском посольстве и занимавший там маленькое место начальника гаража, сказал, что если в Эстонии не будет совершено до осени, по меньшей мере, трех операций, то денег он больше не отпустит. Миллс как-то задумался: имеет ли смысл убить инженера, или даже директора завода? Людей там много... Но Миллс был человеком, привыкшим к дисциплине, и он ответил себе: в Вашингтоне знают, что делают.

В Вашингтоне у полковника Робертса был сослуживец майор Братт, которого Робертс очень ценил. Майор Братт занимался Прибалтикой. Он представил Робертсу хорошо разработанный план, который в разговоре они называли «теорией комариного укуса». По мнению Братта, неожиданные покушения в различных местах должны вызвать нервозность, помешать восстановлению. «Чем бессмысленней выбран объект, тем лучше,— говорил майор Братт,— пусть они теряются в догадках, пусть ищут виновников повсюду, это нам наруку». Робертс горячо поддержал «теорию комариного укуса», и на это дело были отпущены большие суммы. Братт радовался: в Риге убили двух шоферов, в Литве подожгли мельницу, теперь нужно предпринять что-нибудь в Эстонии.

Рана, нанесенная Ольге, оказалась легкой, нож скользнул и только задел щеку. Рана быстро заживала, но Ольгу мучила мысль, что останется шрам, который ее обезобразит. Она спросила врача. Он ответил, что, по

всей вероятности, маленький след останется, но можно потом «пересадить кусок кожи». Эти слова еще больше расстроили Ольгу. Несколько дней она погоревала, потом примирилась с судьбой. Все ее поздравляли, приехал даже заместитель министра. Синяков говорил: «Видите, какая она у меня,— это настоящая героиня». Ольга написала о происшествии матери. Она написала вскользь и не думала, что Нина Георгиевна взволнуется, а Нина Георгиевна, как только кончились экзамены, приехала к Ольге.

Ольга сразу спросила: «Как ты меня находишь в таком виде? Очень безобразная?» Нина Георгиевна ее утешала: «Глупенькая, ну что тут безобразного, маленький шрам. Разве это уродует? Потом все знают, что ты сделала...» Ольга пожала плечами: «Ничего особенного я не сделала. Григория не было, вообще мужчин не было, кроме директора, а это развалина. Потом, если бы я крикнула, он успел бы выстрелить, у него, оказывается, был револьвер. А ты понимаешь, какая фигура профессор Раудсепп? Ведь это была бы огромная потеря... Я убеждена, что на моем месте каждый поступил бы так же, гордиться здесь нечем...» Нина Георгиевна поняла, что Ольга не рисуется, и еще раз подумала: какая это сложная натура, я не могу ее понять.

Ночью Нина Георгиевна говорила себе: я очень постарела. Все мне кажется таким, каким было в моей молодости, а люди теперь другие. Сколько раз Оленька меня обескураживала своей практичностью, я считала, что в ней нет романтики, а когда дошло до дела, она показала, на что способна. Важно даже не то, что она кинулась на злодея, а то, как она об этом говорит: просто, без всякой гордости, будто выполнила обычную работу. Разве это не удивительно? Вот я иногда думаю, почему столько сухих цифр, «перевыполнили норму», «сдали в срок», «стахановцы», «поточный метод»? А может быть, здесь за каждой фразой скрыт настоящий героизм? Меняются формы, а благородство сердца пленяет во все эпохи, нужно только уметь увидеть...

Потом Нина Георгиевна вспомнила Сергея. Конечно, он мне ближе... Может быть, в нем было что-то от прежнего? Нет, он вырос в советское время, был всегда в гуще жизни. Другая натура... Кто-то недавно сказал: «Обидно,

что он погиб в Югославии, таких не стоило и освобождать...» Неправда! Народ всюду народ, а теперь многие в том городе думают: нас спас русский. Сережа напоминает — нельзя изменить... Если бы он сейчас был жив!.. Воронов мне написал, какая у него была во Франции любовь. Я все дала бы, чтобы ее увидеть! Валя не знает, да ей и не нужно знать. Я боюсь за Валю: у нее и талант и сердце, а чего-то недостает, наверно силы. Вот у Олечки силы много. Странно, она выросла и осталась девочкой, теперь ее изводит этот шрам. Наверно, все остаются в чем-то детьми... Но Ольга крепкая, иногда мне страшно ее спросить, пожмет плечами: «Мама, да ведь это ребячество»...

Ольга спала рядом. Ей снился инженер Тамм, он говорил: «Ты теперь еще прекрасней: у тебя на щеке звезда. Мы убежим в Крым, ты там утопишься, но я тебя спасу»... И Ольга во сне улыбалась.

40

Валя уехала из Москвы осенью сорок седьмого года. С тех пор Нина Георгиевна ее не видела; прошлым летом она звала Валю, но та ответила, что не сможет приехать. Письма Вали были бодрыми, она рассказывала о спектаклях, о новых ролях, о знакомых, писала: «Ты напрасно обо мне тревожишься — я теперь крепко стою на ногах»... Нина Георгиевна недоверчиво вздыхала. На улице, где она жила, прошлой осенью посадили липы, деревья принялись, кроме одного, которое не засыхало, но никак не могло зазеленеть; глядя на него, Нина Георгиевна всякий раз думала о Вале. Она сказала Ольге: «Валя пишет, что довольна жизнью, а тон писем какой-то печальный». Ольга пожала плечами: «Ничего тут нет удивительного, она должна быть трагичной, даже когда ей хорошо,— не забывай, что это актриса с головы до ног».

В Москве Валя часто прибегала к Нине Георгиевне, казалась веселой, болтала о пустяках, а в душе ждала, когда Нина Георгиевна начнет вспоминать Сережу. Сама она никогда не заговаривала о Сергее ни с Ниной Георгиевной, ни с Наташей. Многие считали, что она утеши-

лась. На самом деле она жила смутным отсветом Сергея, его словами, улыбкой. Когда она это поняла, ей стало страшно. Можно ли цепляться за прошлое? Кругом меня живые люди, я стараюсь передать на сцене надежды, волнения, страсть, кто-то плачет или смеется, а я всех обманываю... Забыть Сергея я не в силах, да это и не нужно, но я должна жить.

Она решила уехать из Москвы. Ее направили в небольшой областной центр. Говорили, что там плохой театр; Валя думала: тем лучше — ей хотелось быть скромной, неприметной, затеряться в жизни. Она выбрала псевдоним, чтобы больше не было ни Стешенко, ни Влаховой. Когда ее спросили, какое имя поставить на афише, она ответила первое, что пришло ей в голову,— Демидова: в школе она сидела на одной парте с Клавой Демидовой.

Театр действительно оказался плохим. Была в труппе актриса Першина, не очень способная, но привлекательная; ей завидовала другая актриса, Померанцева, муж которой, старый актер Баженов, пил с худруком. Худрук Лебедкин четверть века назад был помощником режиссера в одном из московских театров, слывшем передовым. Иногда, выпив, он по-актерски громким шопотом говорил Баженову: «Разве я теперь могу развернуться? Я люблю постановку в вертикали... Но забудем об этом и выпьем еще по одной». В трезвом виде это был тусклый человек, который всего боялся, бормотал: «Довольно меня прорабатывали...» Когда Любимов, считавшийся лучшим актером театра, попробовал спасти неудачную пьесу, Лебедкин рассердился: «Почему вы говорите, как будто вас кто-то душит? Это отсебятина. С вас как с гуся вода, а отвечать буду я... Это пьеса о транспорте, нечего контрабандой протаскивать разные страсти-мордасти»...

Валя играла маленькие роли, имя Демидовой неизменно стояло внизу афиши. Она поселилась у ворчливой, но доброй старушки, которая приносила ей то оладьи, то кисель и начинала длинные разговоры о том, что, конечно, лучше бы выйти замуж, но что, конечно, мужа теперь найти нелегко и что Валя не такая уж молодая, а тогда, конечно, грех жаловаться — на шестьсот рублей можно прожить... Валю не обижали эти разговоры, она считала,

что выполняет маленькую, но полезную работу, а мечты лучше оставить — она им не по росту.

Год назад Лебедкин прочитал в местной газете едкую статью о театре; критик писал: «Пора понять тов. Лебедкину, что наш зритель жаждет увидеть советскую пьесу, найти на сцене себя, а не тени прошлого». Лебедкин тотчас снял с репертуара всю классику. Когда он успокоился, газета напечатала новую статью того же критика: «Тов. Лебедкин, видимо, не понимает, с какой любовью наш зритель относится к наследию великих классиков. За год мы ни разу не нашли на афише имени Островского». Лебедкин напился и бубнил: «Они решили меня съесть, все равно под каким соусом...» Баженов его успокаивал: «Никто тебя не хочет съесть. Это, батенька, диалектика... Поставь «Грозу» — и все успокоятся. А Померанцева будет замечательной Катериной».

Лебедкин послушался и начал работать над «Грозой». На беду за десять дней до премьеры Померанцева заболела, врач сказал, что ей придется пролежать два месяца. Лебедкин был убит, он сказал Баженову: «Мне действительно не везет... Придется выпустить Першину, а ей нужен месяц, чтобы выучить роль». Баженов закричал: «Ни в коем случае! Я уж не говорю, что это верный провал, но Першина начнет кривляться, и тебе пришьют формализм. Пусть лучше будет серенькая Катерина. Возьми Демидову, она, кстати, очень мила, когда улыбается. Конечно, это не Померанцева, но на афише — я, Любимов. Как-нибудь вытянем...» Лебедкин решил, что Баженов прав, и сказал Вале: «Будете играть Катерину. Посмотрим, может ли из вас что-нибудь выйти».

Валя на премьере сыграла очень хорошо. Ее много раз вызывали. Московский архитектор, приехавший в город, чтобы дать заключение о проекте рабочего поселка, сказал Лебедкину: «Чудесная Катерина! Такой спектакль можно выставить на Сталинскую премию». В газете была статья о постановке «Грозы», и целый абзац был посвящен Демидовой. Валю все поздравляли, а Померанцева закатила Баженову сцену: «Ты это нарочно сделал, чтобы меня убить...» Вале дали большую роль в пьесе молодого автора «Дорога к счастью». Квартирная хозяйка принесла ей блинчики с творогом и сказала: «Конечно, когда муж

рядом, спокойней, а то сегодня хорошо, завтра плохо, только мужа, конечно, теперь не найдешь, а вам теперь обязательно набавят, так что сможете откладывать на черный день»...

Успех не вскружил голову Вале, она знавала в прошлом удачи и провалы. В киноинституте профессора говорили, что у нее нет таланта, один режиссер, которого она очень уважала, ей прямо сказал: «Выберите себе лучше другую профессию». Два года спустя в Молотове, когда она на вечере прочитала стихи, актер Орловский говорил: «Настоящий талант. Нужно учиться...» Потом, когда Сергей приехал и она играла в дурацкой пьесе, она сыграла так хорошо, что режиссер городского театра предложил ей войти в труппу. В Москве, в Вахтанговском училище, одни говорили, что она бездарна, другие, напротив, восхищались ее игрой. Вспоминая это, Валя думала: какая-то лотерея. Дело не в том, что хвалят или ругают, я сама не могу на себя положиться: один вечер выходит, другой нет, иногда зависит от роли, иногда от партнера, от настроения, от пустяка. Значит, настоящей актрисы из меня не выйдет...

В «Дороге к счастью» она сыграла плохо, ее побранили в газете. Ей дали еще одну роль — она должна была сыграть комсомолку, которая обличает профессора, преклоняющегося перед Западом. Она снова провалилась. Померанцева успокоилась; она выздоровела и заняла свое место. О Демидовой говорили: «Дутая величина». Валя думала: они правы, мне лучше исполнять маленькие роли, тогда я не рискую провалить спектакль... Внешне она оставалась спокойной, но минутами ей бывало невыносимо тяжело. Она говорила себе: я стараюсь, делаю, что могу, а жизни у меня все-таки нет. Когда я работала на заводе, я знала, что делаю нужное дело. Тогда была война, все жили, как на бивуаке... Может быть, не следовало возвращаться к искусству? Ужасно, что мне тридцать четыре года, а я еще не нашла себе места. Нет никого близкого, кроме Нины Георгиевны, а ей я не могу даже написать, что у меня на сердце,— ее нельзя волновать.

Один человек чувствовал, что Вале тяжело, и старался ее утешить, это был Любимов. Он говорил ей: «Только не поддавайтесь настроению... Когда есть талант,

можно плохо сыграть, это бывает. Я видел два раза Леонидова, один раз он меня потряс, а другой раз играл попросту плохо. Но вот без таланта сыграть Катерину, как вы ее сыграли, нельзя. Вы — большая актриса»... Когда они оставались вдвоем, он ей читал стихи, пытался ее развлечь, передразнивал других актеров, рассказывал забавные истории о театрах, где играл прежде, приносил сирень или розы, был нежен, никогда от нее ничего не требовал. Он был хорошим актером, вдохновенно повторял даже монолог о преимуществах механической заправки тракторов. Вот что значит настоящее искусство, думала Валя, ведь я готова поверить, что все дело в этой заправке...

Был июльский вечер, сырой и теплый. Любимов предложил Вале после спектакля пойти в Гагаринский парк; это было самое красивое место в городе; с обрыва виднелись охваченные туманом молочно-голубые луга. Пахло свежим сеном. Они долго молчали. Потом Любимов сказал:

— Я четырнадцать лет играю, привык произносить громкие слова. А сейчас у меня нет слов. Я дал бы все, чтобы вы меня поняли...

Вале стало тревожно, она сказала:

— Может быть, мы вернемся? Поздно...

— Пройдем до памятника... Мне сегодня что-то очень грустно...

Ей захотелось его утешить:

— Вы сегодня очень хорошо играли.

Он усмехнулся:

— Вы актриса, вы знаете — важно не то, как сыграл, а как завтра встать, жить... Когда я играю, вы мне верите, а когда я говорю простые человеческие слова, вы не хотите меня понять...

Он ее обнял, поцеловал. У нее были холодные губы. Она не отвечала на поцелуи и не отталкивала его; ей казалось, что еще минута — и она упадет. Он взял ее под руку и повел к себе.

Первые недели она прожила, как в полусне. Когда она бывала с Любимовым, ей казалось, что она счастлива,— он заражал ее своим чувством, он был влюблен в нее, гордился ею, говорил: «Ты не похожа на других». Впервые он встретил женщину, смутную, вдохновенную

и несчастную, которая могла сыграть замечательно или очень плохо, казалась то красавицей, то дурнушкой, была нежной и отсутствующей.

Оставаясь одна, Валя думала: я, кажется, совсем запуталась, может быть он и хороший, но я его не люблю, это главное... Потом она начинала корить себя: такого, как с Сережей, больше не будет, два раза это не случается... Любимов говорит, что он со мною счастлив, чего же я терзаюсь? Хорошо, если я могу порадовать хоть кого-нибудь на свете.

Вскоре она разглядела Любимова. Он был неплохим человеком, способным, отзывчивым, но очень легкомысленным. Недаром Померанцева его называла «птичкой божьей». Ко всему он относился несерьезно, смеялся, когда рассказывали, что его игра волнует зрителей, говорил Вале: «Мы с тобой на кухне, знаем, как это изготовляется»... Ни о чем у него не было своего мнения; он ругал пьесу, потом Лебедкин говорил, что пьеса превосходная, и он сразу соглашался. Валя вначале удивлялась: «Почему ты говоришь не то, что думаешь?» Он сердился: «А пьеса, правда, хорошая». Теперь он не читал Вале стихов, не говорил об искусстве, а сплетничал или ворчал: «Писателям хорошо, они могут повсюду выйти в люди, а с нашим братом иначе: попал на периферию — и крышка...» До Вали он знал много женщин, он быстро зажигался (причем всякий раз ему казалось, что это настоящая первая любовь) и так же быстро охладевал. Валю возмущало, когда он говорил: «Померанцеву, откровенно говоря, я подбросил Баженову. Для старика это находка, а я не мог больше,— каждую ночь она устраивала сцены с валерьянкой...»

Они разошлись так же случайно, как сошлись. Любимов увлекся студенткой, приехавшей на каникулы из Москвы; неделю он не приходил к Вале, потом спохватился и, встретив ее в театре, сказал: «Пожалуйста, не ревнуй, это несерьезно, какая-то блажь, и вообще она уезжает. Сегодня после спектакля я приду, хорошо?» Она неожиданно для себя ответила: «Нет. Не думай только, что я ревную. Просто нужно кончать». Он для вида надулся, но понял, что Валя права, и в душе был ей благодарен.

Квартирная хозяйка огорчилась, заметив, что Любимов перестал приходить: «Конечно, лучше, когда инженер или учитель, спокойней, только теперь выбирать не приходится, а вдвоем, конечно, легче, но вы погодите — он еще прибежит...»

Валя не думала о Любимове: все происшедшее казалось ей дурным сном, но с еще большей силой она почувствовала одиночество. Прошел месяц, она играла старательно и плохо, в часы, свободные от репетиций и спектаклей, сидела у себя, иногда писала Нине Георгиевне длинные путаные письма, полные тоски и отчаяния, рвала их и отсылала другие — писала, что довольна своей судьбой. Она больше ни о чем не мечтала, ничего не ждала. Другие живут, а я бездарно ломаюсь на сцене. Никому это не нужно. Если задуматься хорошенько, и жить не стоит. Таких, как я, следует выпалывать — это сорняк...

Она сидела в оцепенении, когда постучалась квартирная хозяйка:

— Вас одна гражданочка спрашивает.

Вошла седая женщина с усталыми глазами. Валя недоуменно на нее поглядела и вдруг вскрикнула:

— Хохотуша!

Галочка засмеялась и сразу стала похожей на хохотушу, которую Валя знала в дни ранней молодости.

Валя начала расспрашивать, как живется Галочке, та пробовала что-то рассказать, но всякий раз сбивалась: они невольно возвращались к далекому прошлому, вспоминали «Пиквикский клуб», маленькую Раю с длинными ресницами, Зину, Бориса. Они не говорили об их судьбе, о геройстве, о подвигах, нет, они перебирали маленькие события школьных лет, как будто все это случилось на прошлой неделе.

— Помнишь, как мы ночевали на даче в Святошине и Рая говорила, что боится воров? Юра привязал к стулу веревку и ночью дернул, Рая проснулась, закричала: «Воры!..» Потом ее все дразнили, а она говорила: «Конечно, я трусиха, ну и что же? У каждого свои слабости».

— Я сейчас вспомнила, как на немецком Зина попросила, чтобы ей подсказали. Я сидела в первом ряду,

кричу «шиссгевер, шиссгевер», а она плохо расслышала и машинально повторяет «кавалер». Сергей Анатольевич говорит: «Вам, что же, кавалеры повсюду мерещатся?» Зина не выдержала и расплакалась, еле ее успокоили...

— А ты помнишь, Валечка, как Боря тебе написал стихи в альбом? Он тогда только начинал писать?.. Я до сих пор помню начало: «Большое счастье мне дано, оно, как дождь, стучит в окно». Ты сказала: «А почему дождь?» Я, конечно, фыркнула, он очень обиделся...

Потом они замолкли; сидели, разглядывали друг друга. Галочка находила, что Валя мало изменилась, так же морщит лоб, и улыбка та же. Ничего у нее нет от актрисы... В первую минуту Вале показалось, что Галочка очень постарела; может быть, она привыкла к Галочке, может быть та, вспомнив молодость, оживилась, но Валя думала: волосы седые, а лицо еще молодое, ей эти волосы очень идут, она стала как-то значительней...

Галочка рассказала, что получила весной письмо от Осипа из Германии, он все еще в армии.

— Не женился? — спросила Валя.

— Нет... Он писал, что когда был в Киеве, ходил в Бабий Яр...

От этих слов им сразу стало тяжело. Галочка отвернулась, подошла к окну.

— Вид у тебя хороший...

Хозяйка принесла самовар, варенье. Валя суетилась; можно было ни о чем не говорить... Она чувствовала себя усталой: как-то все всколыхнулось... Галочка ее спрашивала, довольна ли она своей жизнью. Ей не хотелось лицемерить, и она не могла сказать правду.

— Трудно ответить, Галочка. Минутами я испытываю удовлетворение, только очень редко... Конечно, мне не следовало итти в театр, теперь поздно менять, таланта у меня вот столько, а амбиция большая... Но не стоит об этом говорить, ты же знаешь, что я всегда дурила, хотела жить с запросом, а жить нужно иначе, теперь я понимаю, только не всегда выходит... Расскажи про себя, Галочка, я ведь знаю только, что тебя увезли в Германию, кто-то из киевлян рассказывал, что ты вернулась в сорок пятом... Ты одна живешь?..

— Нет, с мужем... Не знаю, с чего начать. Я про Германию рассказывать не буду, не хочу сама вспоминать... Первый год было очень трудно — не могла вернуться к жизни, хожу, разговариваю, работаю — с осени меня взяли на работу, а самой кажется, что все это нарочно — не такая я, как все... Пробовала я тогда рассказывать про штрафной лагерь, охали, но я чувствовала, что никому неохота слушать, да и трудно это понять, если сам не пережил... У меня мама была верующая, я еще девочкой была,— она рассказывала... Не помню, святой, что ли, или чудо, одним словом, человек лежал в гробу и воскрес, ходил среди людей, и все его боялись, хотя он снова был обыкновенным человеком, не мог он объяснить, как лежал в гробу... Так и со мной было... Потом отошло, втянулась в работу, работа у меня сейчас интересная — я ведь курсы кончила,— работаю библиотекарем... Много самой читать приходится, с людьми разговаривать. Если книга человека растревожит, ему хочется что-то сказать, иногда всю душу выкладывает... Куда он пойдет? Конечно, к библиотекарю... В сорок седьмом познакомилась я с Кульженко... Это моя фамилия теперь, я и не сказала...

Она вдруг весело и беспричинно рассмеялась, как в былые годы; засмеялась и Валя, обняла Галочку:

— Хохотуша... Как хорошо, что ты приехала, ты даже не знаешь, как это хорошо!..

— Я с делом приехала. Поручение есть... Но это потом... Муж у меня инженер, работает на фабрике стандартных домов в Кущине. Это отсюда восемьдесят километров. А познакомилась я с ним в Киеве, он тоже киевлянин, его сюда прошлой зимой перевели... Инвалид второй группы, ранение в живот с последствиями, потом еще был контужен, одним словом — настоящий инвалид, работать может, но нужен постоянный уход. Я ни минуты не жалею, что за него вышла, ты познакомишься, поймешь, какой он человек и настоящий друг, он старше меня на одиннадцать лет, ему теперь сорок пять... Он сам работает с азартом и меня увлек. Работа, правда, интересная — у нас изготовляют домики для Донбасса. Как в сказке — видишь деревья и потом готовый домик, садись пей чай... Валечка, ты знаешь, как я тебя нашла?

Здесь живет один киевлянин, Токарев, Жорж, ты, может быть, не помнишь, он за мной ухаживал в то лето, когда мы школу кончили... Мы с ним иногда переписываемся, он мне написал, что был в театре, видел «Грозу» и что ты играла потрясающе, он так и написал — потрясающе, написал, что ты теперь Демидова. Я, когда приехала, спрашиваю твою хозяйку, кто Демидов, она смеется, говорит, что это ты в театре Демидова, а мужа нет. Почему ты придумала — Демидова?

— Клаву помнишь?

— Рыженькую? Ее за косичку мальчики дергали, а она мяукала...

Галочка весело засмеялась.

— А прислали меня с поручением, секретарь парторганизации просит... Ты подумай, огромное предприятие, настоящий комбинат, а никто к нам еще не приезжал... Мне говорят: если ты с ней хорошо знакома, попробуй через нее. Мы хотим весь театр пригласить хотя бы на два спектакля, и обязательно «Грозу»...

Теперь засмеялась Валя:

— Ты думаешь, от меня что-нибудь зависит? Я самая что ни на есть маленькая актриса... Я тебя завтра познакомлю с Лебедкиным, потом тебе нужно пойти в облисполком...

— Увидишь всех наших. И Кульженко... Я когда оставляю его одного, как-то неспокойно, конечно, ничего трагичного, но я тебе говорила, за ним нужен уход...

Галочка не рассказала Вале всей правды о своей семейной жизни. Когда она познакомилась с Кульженко, он находился в глубокой апатии, говорил, что он калека, никому не нужен, что ему незачем жить. До войны он был женат, у него была дочка. В первые дни войны возле Бреста он попал в окружение, три года партизанил. Один однополчанин, которому удалось перейти линию фронта, рассказал жене Кульженко, что ее муж погиб под Брестом. Она два года проплакала, а в сорок четвертом вышла замуж. Кульженко вернулся в Киев искалеченный и там узнал, что у него больше нет семьи. Галочка за ним ухаживала, как за ребенком. Как-то, печально улыбаясь, он ей сказал: «Мне кажется, что у тебя и легкие, и сердце, и голова работают за нас двоих»... Начальница

штрафного лагеря недаром ненавидела Галочку: была в ней необычайная сила жизни, которой она заражала всех. Ей удалось совершить чудо: Кульженко воскрес. Он был весел, хорошо работал, товарищи не подозревали о пережитой им трагедии. Порой, однако, он покрывался пóтом, начинал плохо слышать, страдал от приступов головной боли, тогда им снова овладевало отчаяние. Галочка была все время на-чеку, она умела его исцелять, он жил ее душевным весельем, как тяжелобольной живет кислородом.

Ночевала Галочка у Вали; они уже несколько раз решали спать и снова начинали говорить.

— Ты не спишь, Валя?.. Я хочу тебе рассказать одну историю. Это связано с лагерем, но не про лагерь. Там был француз Пьер. Конечно, трудно себе это представить в такой обстановке, но, ты понимаешь, была настоящая любовь, хотя мы и не поцеловались ни разу. Он умер в лагере от туберкулеза. Я до сих пор слышу, как он мне говорил: «Гальошка... Миляя...» Он научился по-русски, только не мог выговаривать некоторых букв... Мы с ним много разговаривали... Я про любовь тебе не сказала бы... Ну, все равно, Пьер умер... Но вот ты говорила, что театр плохой, не знаешь, зачем тебе играть... Я до войны была девчонкой, хохотуша и только... Я многого не могла рассказать Пьеру — не знала, он куда больше читал, думал... Я ему сказала раз: «Ты куда больше знаешь»,— а он мне ответил: «Зато ты знаешь что-то большее»... Я этих слов не забыла. Ты не можешь себе представить, как он слушал все о нашей стране!.. Я только там поняла, как на нас смотрят. Ты актриса, Токарев писал, что ты замечательно играешь. А возьми меня... Я до войны работала в Главхлоппроме, теперь библиотекарша, это уж действительно, как в газетах пишут, «колесико». Но я теперь знаю, как это выглядит, если посмотреть со стороны... У нас домики делают, наверно и в Америке делают, может быть даже лучше, но у нас в таком домике будут жить люди, понимаешь?.. Я ведь видела в Германии — город, дома, ванные, чисто, удобно. А что они с людьми делали?.. Нас из лагеря освободили американцы, так, знаешь, один негр шофер подбежал ко мне, дал мне плитку шоколада, а офицер на него закричал...

Нет, нам нужно обязательно жить, много жить и работать, чтобы можно было дышать... Я когда вспомню Пьера, плакать хочется, такой он был хороший...

Почему-то Вале вспомнился Сергей; она сама не знала, что общего между ним и рассказом Галочки, но давно уж Сережа не казался ей таким живым и близким, как сейчас. Она сказала:

— Галочка, как хорошо, что ты приехала!.. Это — кажется, мое счастье...

Три недели спустя театр поехал на комбинат. Валя очень волновалась перед спектаклем, ей казалось, что она сыграет на редкость плохо, но сыграла она хорошо. Публика была благодарная, и старая драма несчастной любви потрясла людей.

На следующее утро Галочка повела ее в цеха, знакомила с людьми. Все поздравляли Валю, благодарили, а она смущалась, как девчонка. Галочка говорила:

— Посмотри, какие чудесные дома!.. Мне нравится, как лесенка сделана, правда?.. Мы все детали поставляем, даже печурку...

Она гадала, кто будет жить в этих домах.

— Конечно, молодожены... А потом войдет бабушка с котенком. Для меня ничего нет уютней, чем бабушка с котенком. Молодожены могут рассориться, а бабушка с котенком никогда...

Валя думала, что Кульженко — больной старик, но он оказался нестарым и привлекательным. Он крепко пожал руку Вале:

— Спасибо, что побаловали. Я давно в театре не был, отдохнул душой. Очень хорошо вы играли...

Галочка с мужем жили в крохотной комнате, и Валя подумала: столько домов делают, а у самих нет квартиры, может быть так и надо — для других...

Валя испытывала не только удовлетворение — сыграла, кажется, хорошо,— но и незнакомую ей радость — никогда прежде она не заглядывала в обыкновенную жизнь людей, которые сидят в зрительном зале, смотрят, волнуются, аплодируют, а здесь она провела с ними два дня.

После второго спектакля все актеры собрались на сцене, директор завода и представители от рабочих

выступили с речами, поднесли цветы. Лебедкин умилился и вместо ответной речи высморкался, а потом стал всем пожимать руки. Когда Валя сходила со сцены, пожилой человек дал ей запечатанное письмо, сказал: «После прочтете, на досуге»...

Они пошли в столовую, там был устроен ужин, снова говорили речи, пили. Галочка сидела напротив Вали и часто заразительно смеялась. Валя не знала, почему Галочка смеется, но тоже смеялась. Разошлись после часа ночи. Валя разделась, легла и вдруг вспомнила про письмо. Она нашла его, распечатала. Вот что в нем было.

«Милая моя актриса!

Не знаю Вашего имени и отчества, поэтому решаюсь так обратиться. Пишет неизвестный Вам человек, и я не подписываю, чтобы Вам не пришлось отвечать. Я не восторженный юноша, и это не признание влюбленного, мне пятьдесят один год, по профессии я чертежник. Скажу несколько слов о себе, чтобы Вы могли представить, кто Вам пишет. Я прожил жизнь скорее трудную, во время войны потерял в Ленинграде жену и сына, провоевал до конца, никакими талантами не обладаю, словом, обыкновенный гражданин. Пишу я Вам только, чтобы сказать, что Вы, сами не зная, очень помогли мне. Когда я пришел домой со спектакля, я сразу решил, что подойду и поблагодарю, но потом подумал, что это нескромно, лучше написать. В жизни моей много всякого, о чем рассказывать незачем, и вот, когда я увидел, как Вы передавали человеческое страдание, мне стало легче, я как будто крылья от Вас получил. Разрешите мне за это Вас просто от чистого сердца поблагодарить».

Несколько раз перечитала Валя письмо. Ее сердце часто билось, она лежала и думала о неизвестном ей человеке. Как она могла ему помочь?.. Вдруг она вспомнила Сергея — он говорил, что любил мечту. Значит, мечта нужна всем. И этому старому чертежнику... Но тогда Валя, как другие,— всем бывает трудно, и мечтают все... Может быть, она и вправду нужна, она тоже делает домики для других. С лесенкой...

Она уснула, не выпуская из рук письма, как будто сжимала самое ценное: пропуск в жизнь.

41

Глазков встретил Кранца веселый:

— Крестники ваши в замечательном виде. Как бы нам эту сеялку прикрепить к совхозу? Я подсчитал — экономия огромная... Погодите, пообедаем, вот жена говорит, что у нее вареники.

Он поглядел на Кранца:

— Вид у вас больной. Может, простыли? Погода обманчивая, днем жарища, а сегодня опять были заморозки. Водочки вам надо, вот что...

Кранц чуть улыбался. Он думал, как бы поскорее выбраться в Пеструшкино. Но Глазков его не отпустил. После обеда Глазков пожаловался, что насос плохо работает. Кранц снял пиджак, засучил рукава рубашки и начал исправлять насос.

— Что, ваш механик стихи пишет?

Глазков удивился:

— Это вы почему?..

— Я говорю, если он стихи пишет, то еще простительно. Молотилки не умел наладить. А насос... Нет, вы поглядите, да он всегда будет отказывать, засоряется, естественно... Сейчас я его пригоню.

Он продолжал думать о Пеструшкине, но не мог оставить начатую работу. С насосом пришлось повозиться, и в Пеструшкино он попал только к вечеру.

Он спросил, где живет Вера: решил передать ей книгу — это хороший предлог, чтобы поговорить с ней; но две женщины, которых он остановил, не знали Трубниковой. Подошел старик и тоже недоуменно поглядел на Кранца:

— Трубникова?.. Такой у нас нет...

— Учительница... Вера Николаевна...

— Так бы и сказали... Вера Николаевна? Знаю... Она у нас недавно — с прошлой осени... Вот видите ветлы, там домик... Глыбачевой, у нее она живет...

Вера выбежала на крыльцо, вскрикнула «это вы» и улыбнулась. Кранц просиял. Он неловко протянул ей книгу:

— Я в вашей библиотеке взял...

Он не знал, что еще сказать; он готовился к этой ми-

нуте неделю, у него был тщательно продуманный план: скажет, что интересуется школьной программой по литературе,— с этого легко начать разговор; но сейчас он забыл про все, стоял и растерянно глядел на Веру. Вера продолжала улыбаться. Наконец он сказал:

— Я хотел приехать на следующий день, в тот же вечер...

Он спохватился: вот этого и не следовало говорить, сейчас она убежит, как в тот раз...

— Я хотел сказать, что задержал книгу, это нехорошо, но не с кем было переслать. А сегодня я был в совхозе и решил сам завезти.

Вера больше не улыбалась. Она попросила его войти в дом. Он увидел большой щербатый стол, на котором были разбросаны школьные тетрадки; хотел взять с полки книгу — посмотреть, что Вера читает, но не решился; подумал: нужно что-то сказать, глупо — стою и молчу... Он начал говорить о книге, которую вернул, потом рассказал, как чинил насос, потом вспомнил старую учительницу математики. Он не понимал, зачем все это говорит, но боялся замолчать — тогда придется уйти. Вера отвечала коротко, нехотя, чувствовалось, что мысли ее далеко. Он старался не глядеть на нее и все же глядел; его глаза выражали печаль, страсть, в них был тот тревожный блеск, который Глазков принял за признак болезни. Вера смотрела в сторону; она сидела на кончике стула, казалось, еще минута — и она убежит. Он вдруг замолк: говорю глупости, а ей неинтересно...

— Мне пора.

Он смутно надеялся, что она его удержит. Но Вера ничего не ответила; прощаясь, не посмотрела на него. Он вышел из дому и быстро пошел к машине. Пройдя сто шагов, он оглянулся. Вера стояла на крыльце и глядела ему вслед. Он остановился: может быть, вернуться?.. Но Вера исчезла.

Домой он вернулся мрачный: я вел себя на редкость глупо, теперь и встретиться нельзя. А впрочем, к чему встречаться?.. Довольно строить карточные домики... Как в старых романах, даже неловко, видел два раза — и все время о ней думаю... А ей смешно. Может быть, и неприятно. Достаточно было на нее посмотреть — она думала

о другом. Я обрадовался, как мальчишка, что она меня хорошо встретила, а она просто хотела сгладить впечатление от первого раза, когда я ее испугал. Нужно выкинуть из головы эту блажь.

Несколько дней спустя Кранца вызвал секретарь обкома. Гусев сказал, что все время следил за сеялкой, результаты хорошие, в Москве проект мариновали, но теперь дело двинулось, нужно ждать в самом близком будущем ответа. Кранц просидел у Гусева два часа: все время звонили, приходили люди. Кранц узнал, что в колхозе «Двадцатилетие Октября» овца весит девяносто кило и дает в год четыре кило шерсти, что редактор областной газеты напрасно не поместил корреспонденции о непорядках на часовой фабрике — зажимают критику, что на строительстве рабочего поселка машиностроительного завода два дня простой — не доставили цемента, что завуч десятилетки в Горбачеве — формалист и несправедливо оговорил преподавателя истории, что на сталелитейном заводе с июня пускают новый цех, что текстильному техникуму нужно еще восемьдесят кроватных мест, что на Кировской улице сданы в эксплоатацию три новых дома, что секретаря райкома Котова хотят послать в партшколу, Журавлев говорит, что справится... Кранц дивился: Гусев во всем разбирался, отвечал точно, коротко и умно.

Потом Гусев сказал Кранцу, что молотилки, которые выпускает завод, устарели. Модель Костицкого сама по себе неплоха, только выполнили плохо. Хорошо будет, если Кранц посидит над молотилкой... Когда они кончили говорить о деле, Гусев сказал:

— В «Правде» сегодня интересная корреспонденция из Парижа. Подписали Атлантический пакт, а народ, видимо, не соглашается. Генералов у них много, солдат что-то не видно... Я думаю, что Парижский конгресс всех взбудоражил... А потом, на нас так просто не наскочишь — сила...

Он хотел еще что-то сказать, но пришел директор завода имени Куйбышева: выпускают новые прессформы для производства макарон...

Кранц бродил по городу, пыльному, горбатому, запутанному. В центре было много старых домов; особняки, построенные когда-то помещиками, провинциальными са-

новниками или купцами, одряхлели, покрылись пятнами, морщинами, некоторые едва стояли. Среди них зеленели парки, где студентки готовились к экзаменам, а детвора играла. На окраинах высились заводы, окруженные новыми, большими домами. Город походил на вековое дерево, расщепленное молнией, обломанное временем, у которого разрослись мощные боковые ветви. С одним таким городом сколько хлопот, подумал Кранц, а у Гусева целая область: пойдут дожди или нет, выпустят ли к сроку генераторы, смогут ли разместить студентов... Но Гусев не унывает, с виду он круглый, а глаза острые... Он сказал, что его отец был чабаном. Удивительно, ведь всего тридцать лет прошло — и выросли новые люди. Гусев прав: это сила, дело не в территории, не в цифре — в людях...

Кранц вспомнил, что Гусев говорил о молотилке. Надо действительно над этим посидеть. Вот только с Кошаревым горе — напугали его раз и навсегда...

Какой здесь чудесный парк! Много сирени... Он вдруг остановился и поймал себя на вздорной мысли: что если за тем кустом Вера?.. Ведь я решил о ней не думать, а сто раз в день вспоминаю, что за наваждение!..

Гусев знал, что говорил: Москва утвердила проект сеялки. Сообщил об этом Кранцу Кошарев, причем Кошарев искренно радовался, он забыл все, что говорил прежде, и ему казалось, что он всегда отстаивал проект.

— Вот это, Александр Ильич, удача. Нам с вами повезло. Теперь можно пускать в производство...

Он предложил Кранцу вместе поужинать, тот согласился. Кошарев рассказывал, как во время войны ему приходилось принимать смелые решения. Кранц чуть улыбался и не слушал — он знал все, что скажет Кошарев: у директора было несколько историй, которые он всякий раз рассказывал. Кранцу не хотелось итти к себе: снова будет думать о Вере.

Прошел месяц. Отцвела сирень. Лето стояло жаркое, сухое. Зелень быстро потемнела, потом начала желтеть. Одинокие легкие облака плыли по небу. Кранц работал над проектом молотилки, а ночью томился в жаркой комнате: он видел Веру, она улыбалась; глаза у нее были страстные и угрюмые. Он говорил, «милая моя дикарка», тогда она убегала.

У Веры кончились экзамены. Она должна была поехать к матери в Куйбышев и не уезжала, придумывала все новые и новые причины, почему задерживается. Не уезжала она потому, что ждала Кранца. Он поразил ее сразу, когда вошел в класс, поразил своим обликом, порывистостью, волей, нежным взглядом, от которого становится не по себе. Мать давно знала, что Вера — мечтательница, или, как она говорила, «сумасбродка». Девочкой Вера читала наизусть «Мцыри», мечтала о каком-то таинственном герое, часами сидела у речки или в темном углу комнаты, вдруг начинала рассказывать вздорные истории о том, что она обуза для родителей, что она хочет уехать в Заполярье, что «нужно уметь сгореть». Ее отец был тихим, аккуратным человеком, мама работала счетоводом, отличалась скромностью и хозяйственностью, ее пугали разговоры Веры, внезапные приступы веселья, сменявшиеся меланхолией, она убивалась, что у дочери нет подруг — Вера пробовала дружить с девочками, но она была слишком требовательной, и дружба неизменно кончалась разрывом. Мама вздыхала: вот уж поистине не в мать, не в отца, а в проезжего молодца... Когда началась война, Вере было пятнадцать лет. Она послала в военкомат заявление, прибавила себе два года и просила, чтобы ее отправили на фронт. Потом Вера образумилась — так по крайней мере казалось ее матери. Кончив школу, она поступила в пединститут, а прошлой осенью уехала в Пеструшкино. Когда она еще училась, ей показалось, что она влюблена в студента Крапивникова. Она считала, что любовь — это огонь, от нее больно и страшно. Крапивников говорил: «Вера, пошли в парк целоваться». Она отвечала: «Оставь меня...» Тогда он кричал вдогонку: «Кривляка!» Теперь, вспоминая это увлечение, она усмехалась: ребячество. Кранц может говорить все, что он хочет, я знаю одно: без него я схожу с ума... Неужели он приехал только для того, чтобы отдать книгу? Не может быть! Он сказал, что хотел вернуться в первый вечер... Но любить меня он не любит, просто подумал: одинокая девушка, рядом с совхозом, можно развлечься. Наверно, ему скучно на заводе, он ведь жил в Москве... Ну, а увидел, какая, и уехал. Если он теперь приедет, я его не отпущу. Может говорить все,

что хочет, может смеяться надо мной, все равно, скажу, что люблю, не могу без него...

Но Кранц не приехал. Он думал, что Вера его презирает, что ее сердце занято другим, что с ним стряслась беда: в тридцать лет он впервые узнал любовь, и эта любовь оказалась несчастной.

Было жаркое летнее воскресенье. Кошарев уехал удить рыбу. Инженеры, рабочие разъехались, разбрелись — в пяти километрах от завода начинался хороший лес, там было много малины, грибы. Кранц сидел у себя в комнате и читал «В окопах Сталинграда». Перед ним вставали далекие дни: зной, тишина между двумя бомбежками, запах степи и смерти... Его окликнул вахтер:

— Александр Ильич, вас спрашивают.

Увидев Веру, Кранц едва сдержался, чтобы не обнять ее. Он взял ее за руки:

— Пойдем ко мне... Знаете, я ведь думал, что вы приедете...

(Он действительно однажды подумал: вдруг она приедет, войдет в комнату, улыбнется?..)

Вера покраснела, высвободила руки.

— Я сейчас вам все объясню... Я со школьной экскурсией, мы едем в Тарханы, то есть в Лермонтово. Я была в совхозе, спросила Глазкова, не нужно ли вам что-нибудь передать, я ведь знала, что мы поедем мимо. Он сказал, чтобы я обязательно заехала. Они ждут от вас ответа насчет сеялки. Вот и все. А теперь я побегу...

Как он ее ни уговаривал, она ни за что не хотела остаться, говорила, что ее ждут. Тогда Кранц сказал:

— Я тоже поеду в Тарханы. Я там никогда не был...

На дороге стоял грузовик, но экскурсантов не было. Вера объяснила:

— Они поехали утром. А я в совхоз заезжала, у меня там дело было... Я их нагоню в Лермонтове. Это попутная машина, я сговорилась...

Они стояли в кузове, взявшись за руки, качались, падали на ухабах. Вера, смеясь, сказала:

— Лучше пешком...

— А разве дошли бы?

— Конечно. От нас до станции тридцать два километра. Зимой мне в театр захотелось, машина была до

станции. А назад — никого... Ждать нельзя, у меня с утра уроки. Я пошла. Метель была... Не доходя Пеструшкина, волка встретила...

— Испугались?

— Испугалась. Только не очень. Я другого боюсь...

— Чего?

Она не ответила.

Когда они приехали в Лермонтово, Вера начала разыскивать своих. Ей сказали, что была экскурсия, но все уехали. Она сказала Кранцу:

— Глупо как вышло. Теперь они в Чембаре... Мне придется вас оставить. Так и не увижу Тархан...

Он упросил ее не уезжать сразу — посмотреть музей. Она согласилась. Задумчивая ходила она по комнатам лермонтовского дома; казалось, что она вернулась на знакомое место, что-то вспоминает. На некоторые экспонаты она не смотрела, возле других подолгу стояла. Под стеклом лежала маленькая трубка с изгрызанным мундштуком. Вера тихо сказала:

— Его трубка...

Они вышли в парк. Поднялся ветер. Шумели большие дубы. Пруд покрылся рябью. Они пошли в склеп. Внизу было темно и холодно. Сторож дал им огарок. Кранц посветил, в темноте что-то блеснуло, это был цинковый гроб. С потолка капала вода. Когда они вышли наверх, они долго молчали.

Они снова пошли к пруду, сели на берег. Вера сказала:

— Почему вы такой темный? Вы родились, наверно, на Кавказе...

— Нет, в Москве.

Он любовался ею. Она была тонка, а лицо казалось неуловимым, выражение дикости, угрюмости сменялось легкой, почти незаметной улыбкой.

— Вы должны любить Лермонтова, правда? — спросил Кранц.

Она не ответила.

Стемнело. Небо было черно-лиловое; нашли тучи, собиралась гроза. Кранц предложил пойти в село до дождя. Вера сказала, что хочет еще посидеть. Он радовался, что она не торопится в Чембар. Может быть, я ошибся? Может быть, она приехала ко мне?..

— Вера Николаевна, когда в тот раз вы вышли на крыльцо...

Она встала:

— Не говорите об этом...

Они снова сидели молча. В темноте бились огоньки села.

— Вы знаете, о чем я думаю? — сказала Вера.— Как Мартынов мог выстрелить? Кажется, проживу всю жизнь, а этого не пойму.

Она заразила его волнением. Он лихорадочно вспоминал свою молодость, войну:

— Со мной в полку был Зайченко, он хорошо пел, учился в консерватории. Мы с ним сидели, вот как сейчас... Это было на Днепре. Он говорил, что получил письмо от Людмилы... Его убили в ту самую ночь... Не знаю, почему я его вспомнил, ведь многих убили. Может быть, потому, что он пел «Ангела». «И звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой...» Со мной на фронте был один офицер. Мы говорили о Гейне, он сказал: «Романтическая ирония — это от чувствительности. Вероятно; у дикобраза сердце нежнее, чем у райской птицы...» Он всегда смеялся... Минаев... Его американцы арестовали, вы, наверно, читали — было в газете,— теперь выпустили... Вера, вы думаете о будущем?

— Редко... Раньше думала больше.

— А я думаю. Странное теперь время, человек дошел до того, что может не только все объяснить, но и все предвидеть. А вместе с тем все внезапно.... Гусев мне сказал, что у нас сила, это правда. На войне все гадали, какая броня у «тигра»: пробьет ли снаряд? А возьмите сердце нашего человека, он может огорчиться от малости, оттого, что девушка не так посмотрела, а броня такая, что никакой металл не пробьет...

Дождя не было, но на мгновение все вспыхнуло от молнии. Загремело. Кранц снова предложил пойти в село, и Вера снова отказалась.

Они любили друг друга так долго и нежно...

Он не выдержал:

— Вера, а вы любили?..

Тихо она ответила:

— Нет.

Он хотел поглядеть на ее лицо, но ничего не было видно. Вдруг Вера подошла к нему, нагнулась и крепко поцеловала его в губы. Он не успел ни обнять ее, ни сказать что-либо, как она исчезла. Он искал ее в парке, кричал: «Вера!..» Никто не отвечал.

Гроза была сильной. То и дело все освещалось молнией: стволы деревьев, стены лермонтовского дома, небо. Он спотыкался в темноте, падал, обошел весь пруд, потом вышел на дорогу. Полил сильный дождь. Никого не было. Он не знал, куда ему итти: в село, к станции или в Чембар? Он пробродил до утра.

В Чембаре он нашел ту самую учительницу математики, которая рассказала ему о Вере. Она объясняла школьникам, как Белинский любил Лермонтова. Волнуясь, Кранц спросил:

— Вера Николаевна не с вами?

— Нет, мы ее ждали вчера в Лермонтове, а она не приехала, наверно передумала...

Кранцем овладела тревога. Куда же она могла уйти?.. После ночной грозы мир был светлым и радостным, все зеленело, дрожало на солнце, светилось. А у него на сердце была вчерашняя темнота.

Он не помнил, как добрался до Пеструшкина, приехал туда в одиннадцать часов вечера. К счастью, хозяйка еще не спала. Срывающимся от волнения голосом он спросил:

— Вера Николаевна?

— У себя она... Пройдите.

Вера лежала, уткнувшись головой в подушку. Увидев Кранца, она вскочила, подошла к нему, обняла его голову двумя руками и сказала:

— Что хочешь говори... И все равно, что будет... Люблю... Так люблю!.. Не смейся — на всю жизнь.

42

Мадо не знала, где теперь Медведь, и написала ему на старый адрес; письмо долго блуждало, Воронов получил его только в июне. Был один из первых дней северной весны; солнце пригревало. Стоя у окна, Воронов гля-

дел на картину, которая потрясала его, хотя он видел ее каждый день: огромная гора, местами покрытая снегом, озеро черное, как будто в нем не вода, а тушь, крохотные, игрушечные домики, экскаваторы, кирпичи, цемент... Две женщины возились на огороде; земля казалась жидкой. Был воскресный день; свирепо ревело радио; мальчики пускали змея. Прошла нарядно одетая девушка и остановилась на углу, повернула назад; она долго ходила по улице; наконец прибежал молодой человек в непомерно большой кепке; девушка, видимо, его бранила, он оправдывался, забавно разводил руками. Воронов усмехнулся. Потом он вспомнил, что сегодня общегородское собрание, посвященное борьбе за мир, на котором он должен выступить. Нужно написать. Не умею я говорить, да и непонятно — что тут сказать?.. Ясно, что все за мир... Он снова стал смотреть в окно. Девушка и молодой человек помирились, смеясь они пошли дальше. На огороде женщины продолжали вязнуть в черном месиве. Интересно, что они здесь посадят? Наверно, картошку...

— Николай Платонович, вам письмо — международное... Марки какие интересные. Может, дадите? У меня сынок собирает...

Воронов посмотрел на конверт и улыбнулся, как будто поздоровался с ним; осторожно отодрал марки, дал их Дуняше; потом закрыл дверь и снова улыбнулся конверту. Ему казалось, что в комнату вошла Франс, говорит: «Лимож освободили, теперь Париж»... Деде сидит над картой: «Медведь, как ты считаешь, можно ударить по ним справа?..» А сейчас прибежит веселый Мики, принесет лесной малины и грустно запоет:

Умрем с тобой мы рано,
Задолго до зари.
На то мы партизаны
И первые в цепи...

Он читал письмо Мадо, и улыбка не сходила с его лица. Он старался себе представить черный шахтерский поселок, туман, огоньки, а в толпе — Мадо... Никогда я не встречал такой девушки! Я понимаю, что Сергей о ней все время думал. У Сергея была необыкновенная способность: он как-то видел все заранее. В июле сорок второго

мы ждали десанта союзников, а он усмехался: «Они нас не любят, зачем же им торопиться?..» Он познакомился в Париже с девушкой, дочкой промышленника, она мне рассказывала, как она тогда рассуждала, а он сразу понял, какое у нее сердце...

Письмо растревожило Воронова; встали прошлые годы. Сергей не раз вспоминал, как Воронов сказал ему: «Когда будем итти назад, мост лучше навести не здесь, на триста метров ниже»... Это было перед тем, как Шулепов доложил: «Потеряли лейтенанта Воронова». Сергей погиб, а Воронов весной 1945 года вернулся в Ленинград. Волнуясь, он спешил с вокзала на Кировский: в самые тяжкие дни его поддерживала мысль о встрече с Ниной. Соседка по квартире, увидев его, заплакала: «В декабре сорок второго, семнадцатого числа... Знаете сами, как мы здесь жили. Нина Павловна с осени не вставала... Я подошла, думаю спит, а она не дышит... Письмо она вам написала...» Воронов стоял, чересчур большой для маленькой комнаты, ничего не говорил, не спрашивал. Ему казалось, что жизнь из него выходит, сейчас он упадет и кончится мука. Письмо он прочитал много дней спустя. Нина писала: «Милый мой, любимый, от тебя нет вестей с лета, но я знаю, что все хорошо. Я с тобой хочу проститься, крепко обнять, сказать, что ты должен жить, должен быть счастлив, очень счастлив, это говорит моя любовь, все, что во мне осталось живого,— если еще дышу — тобой. Прощай, моя жизнь!» Он увидел улыбку Нины, ее крохотные руки и не выдержал, заплакал.

Он говорил Сергею, где нужно будет навести мост, а теперь понял, что у него нет моста к жизни. Прошлое стояло вокруг него, как густой туман,— Кельнская яма, где люди умирали от голода, рудники, оскорбления, смерть, пустота — нет Мишки, нет Нины. Кругом были чужие люди, которым он не хотел, да и не мог рассказать о пережитом. Он поехал в Москву, чтобы передать письмо, которое ему дала Мадо. Нина Георгиевна ему сказала: «Сергея нет...» Так он узнал о смерти Влахова. Он оказался одиноким, как будто вырубили лес и случайно оставили одно дерево.

Ему предложили работу в Ленинграде, он попросил, чтобы его отправили на север: ему казалось, что там

много пришлых, не успевших обжиться, и что среди них ему будет легче.

Он родился и провел детство на Северной Двине. Север представлялся ему белым и зеленым, с тихой широкой рекой, с нескончаемыми лесами. Он увидел другой север — черный и тревожный. Он долго глядел на большую гору, ему сказали: «Это апатиты...» Название горы было трудно выговорить: Кукисвумчорр. Еще труднее было освоить новую жизнь. Воронов строил мосты, заводы, дома. Рабочие монтировали шаровые мельницы, классификаторы, барабанные фильтры. Воронов как-то поехал за город и увидел оленьи упряжки. Все здесь казалось бесконечно древним, доисторическим, и все было необычайно новым. Люди приехали сюда отовсюду: были среди них и земляки Воронова, и орловцы, и украинцы. Город рос с каждым месяцем, однако он походил на строительную выставку; пахло известкой, краской; все было необжитым; а люди влюблялись, рожали, умирали; и хотя город был много моложе Воронова, в нем уже были старожилы, дети которых говорили: «Мы тутошние»... Работа не оставляла Воронову времени для воспоминаний; едва заканчивая одно, он приступал к другому; он строил и в бураны, и в летние ночи, когда воздух кишел мошкарой, и в заполярную черную зиму. Его вызвали в Москву, в Совет Министров; едва успел он забежать к Нине Георгиевне: он был захвачен той лихорадкой работы, которая спасла его от гибели.

Он привязался к пятилетней Мусе. Это была дочь машинистки Лены Колосовой. Увидев впервые Лену с девочкой, Воронов не поверил, что это мать и дочь: Лене давали не больше восемнадцати лет, а было ей двадцать девять. Годы войны она прожила в Ленинграде. Муж ее работал на Кировском заводе, он умер в 1944 году, когда девочке не было и года. Лена была очень застенчивой; когда к ней обращались, густо краснела. Ее удивляло, что главный инженер возится с Мусей, носит ей игрушки, конфеты. Воронов умел играть с детьми, ему для этого не требовалось приспособляться: в нем было много ребяческого. Может быть, Муся напоминала ему Мишку, может быть ему было необходимо с кем-нибудь нянчиться, но он все чаще и чаще приходил к Колосовой. Вдруг он

заметил, что мать Муси плохо выглядит. Он заставил Лену пойти к врачу, у нее нашли начало белокровия, прописали отдых, усиленное питание. Воронов теперь ухаживал и за Леной. В нем было столько заботливости, что Лена, не избалованная жизнью, как-то не выдержала и заплакала. Он стал ее утешать, обнял, неожиданно для себя сказал: «Нужно жить вместе, легче будет обоим. И Муся обрадуется...»

С того дня прошел год. Лену нельзя было узнать, она похорошела, душевно раскрылась; оказалось, что она может увлекаться, спорить, дурачиться. Она сама дивилась: «Ты меня разбудил. Как в сказке...»

Он работал со страстью, с исступлением, не мог отделить себя от неуютного диковинного города, выросшего на краю земли. Он им восхищался и в белые ночи, когда при свете двух зорь все вокруг было розовым, призрачным, и зимой, когда прожекторы, пламя заводов, огненные ожерелья улиц боролись с вечной темнотой. Он вцепился в жесткую, суровую землю, врос в нее и, усмехаясь, думал, что теперь он тоже «тутошний». Его волновало не только то, как строят и достроят ли к сроку, с жаром следил он за ростом апатитовой промышленности, за упрямым трудом огородников, за техникумом, за дорогами, за буднями города.

Он никогда не думал, что приехал сюда всего четыре года назад, что Муся не его дочь; скажи ему кто-нибудь об этом, он рассердился бы, как рассердился бы, если бы Лене пришло в голову, что женился он на ней случайно — от тоски и одиночества. Он теперь твердо знал, что обожает Лену, что Мусенька — их дочь, что она будет жить в этом непонятном городе и вместе с ним расти.

Ничто не напоминало ему о прошлом, кроме писем Мадо. Писала она редко, и, получая письмо от нее, Воронов запирался, часами вглядывался в свое прошлое, заново переживал и смерть Нины, и потерю Мишки, и гибель Сергея, и Кельнскую яму, и маки́. Так было и сейчас: он хотел подготовить свое выступление, а вместо этого сидел и думал о Мадо.

Он видел лес в Лимузэне; весна, много цветов, среди них есть знакомые — лютики, ромашки, колокольчики, есть и другие; он их прежде не видел, не знает, как они

называются. Пятое июня. Никогда он не забудет того вечера: они взорвали ночью мост, и Мики не вернулся... Он сидел с Франс на поляне, рассказывал про лето сорок второго... Он удивился, почему она так взволновалась, когда он произнес имя Сергея. Только потом он понял... А может быть, и не понял — такой большой была их любовь и такой неуловимой, хрупкой: Сергей уехал, и все сразу порвалось — и, кажется, самой крепкой из всего, что Воронов видел... Какое счастье, что Мадо жива, что она может передать другим страсть тех лет, рассказать, за что умер веселый Мики! Мики пел в тот вечер:

Мы жить с тобой бы рады,
Но наш удел таков,
Что умереть нам надо
До первых петухов...

Воронов вздрогнул: вошла Лена.

— Николай, позвонили, тебя ждут в театре...

Она изучила его лицо, сразу поняла, что он вспомнил другую, первую жизнь, и ничего больше не сказала. Он встал, большой, неуклюжий, тряхнул тяжелой головой, на которой ерошились густые седые волосы, и осторожно, будто боясь задушить, обнял Лену.

В театре было много народу. Доклад делал Рудников; он читал по тетрадке, а голос у него был глухой и скучный: «Империалисты и акулы с Уолл-стрита просчитались в своих расчетах... Теперь подняли свой мощный голос представители шестидесяти семи стран, выражающие твердую волю свыше одного миллиарда людей... Разные черчилли и маршаллы напрасно пытаются повернуть колесницу истории...»

Вначале все слушали, потом глаза людей потускнели, каждый думал о своем. Когда Рудников кончил, все встрепенулись, поаплодировали. Председатель сказал:

— Слово предоставляется главному инженеру товарищу Воронову.

Воронов прошел к кафедре и в томлении подумал: не знаю, что говорить... Даже плана нет...

— Я хочу сказать о борьбе за мир, только придется сказать несколько слов о себе, а то не будет понятно. Меня фашисты подобрали в тылу раненым. Наши

думали, что я убит, взяли все документы. В городе Кельн нас мучили жаждой, поставят ведро с водой, а кто подойдет, в того стреляют. Нас было семьсот, а выжило не больше двадцати. Меня отправили во Францию, я должен был работать в рудниках. Я убил фашиста и убежал, постучал в крестьянский дом, сказал «я — русский». Девушка там была, она знала партизан. Я попал в отряд. Я, товарищи, знаю людей, которые теперь борются за мир. Сегодня я получил письмо от француженки, ее звали в отряде «Франс», я участвовал в нападении на тюрьму, когда ее освободили... Ее пытали в гестапо, а она молчала... Я хочу сказать, что тогда во Франции не всякий смел раскрыть рот. А коммунисты говорили во весь голос. Только, когда их пытали в гестапо, они молчали... Мадо — ее настоящее имя Мадо — ходила с нами на все операции... Письмо долго шло, она писала во время забастовки шахтеров, ее туда партия послала вывезти детей. Она пишет, что там, как на войне, в них стреляют, даже танки привезли, а горняки держатся. Я знаю, что в этом зале немало горняков, я хочу им сказать, что у них во Франции хорошие друзья, умеют стоять насмерть. У нас был в отряде старик винодел. Его ранили, он умирал и сказал мне за час до конца, чтобы я передал товарищу Сталину, что старик Дезире бросил свой виноградник и ушел к партизанам и что он шлет привет Сталину. Вы меня простите: я нескладно говорю, волнуюсь... Когда шлют привет товарищу Сталину, это всем нам... Дезире погиб, Шарль остался, шахтер Андре, он отчаянный, достал из шахты динамит, Живе, парижанин, работал на заводе,— да разве о всех расскажешь? Там не только французы были. Был часовщик из Праги, его так и звали Чехом. Может быть, он теперь у себя, не знаю. Испанцы были, Хосе погиб, а Маноло выжил, шофер из Барселоны. Наверно, его сейчас французские власти травят, но я вас уверяю, такой не смирится... Я был простым лейтенантом, много ли я понимал, а они сразу сказали: «Покажи, что нам делать,— ты ведь русский». Наш город далеко, за границей его и на карте нет, но вы подумайте: сейчас на нас все смотрят, глаз с нас не сводят, верят нам, любят... Они знали и тогда, кто настоящий друг, а кто прикидывается. Вы думаете, американцы и англи-

чане давали партизанам оружие? Ни в коем случае. Я помню, как сдался немецкий гарнизон в Лиможе. Город освободили партизаны, а откуда ни возьмись, появился представитель союзного командования, английский майор. Он заявил, что переговоры о капитуляции будут происходить у швейцарского консула. Там был командир нашего отряда, учитель, мы его звали Деде, он рассказал, что английский майор расшаркивался перед эсэсовцами. Деде говорил: «С ними мы еще хлебнем горя... Они теперь боятся не немцев, а партизан»... Я знаю, что Мадо сейчас борется за мир, и Деде, и горняк Андре, и Маноло, и много других — в Италии, в Мексике, в Греции, в Индии — повсюду... Мы с ними, как были с ними, когда валили фашизм. Тогда ведь тоже одни хитрили, а другие шли на смерть... Вот сейчас очень далеко от нас, где-нибудь в Греции, сражаются люди. Сто храбрецов на пустынной горе... Они смотрят, товарищи, на наш город. Мы делаем здесь большое дело. Слово странное — «апатиты», а значит оно: «жизнь для земли». Если добудем много апатитов, будет хороший урожай свеклы, значит у всех детей будет сахар. А жизнь должна быть сладкой... Если будет много апатитов, будет много хлопка, девушки приоденутся... Еще сильнее будет наша страна, значит еще сильней будет лагерь мира. Мы сейчас помогаем и грекам, и француженке Мадо, и горнякам, о которых она пишет, и неграм в Америке, и Китаю. Конечно, они не знают, как зовут каждого из нас, не знают, что эта гора — Кукисвумчорр, не знают даже, что есть на свете такой город, но они знают, что мы сражаемся за мир вместе с ними... Многие из наших не вернулись с войны. Мы о них помним. Мы отвечаем перед матерями погибших, перед детьми. Мы победили на войне, а теперь мы должны победить войну...

Никогда прежде Воронов не рассказывал товарищам о своем прошлом; даже Лена мало знала про его жизнь в военные годы. Сейчас, сказав вслух о том, что его томило и приподнимало, когда он заглядывал в прошлое, он почувствовал изнеможение. Он долго сидел не двигаясь. Когда собрание кончилось, он сошел с трибуны, растерянно оглядел зал, нашел Лену и тихо сказал:

— Пойдем домой, Мусенька, наверно, ждет...

В дверях его остановил старик Павлов. Его знали в городе: когда-то он сражался против интервентов и потерял один глаз. Павлов крепко пожал руку Воронову:

— Когда будете писать вашей француженке, не забудьте поклониться от нас: все товарищи просят, и от меня лично поклонитесь, так и напишите: «кланяется старый партизан Галактион Захарович Павлов». Она поймет...

43

Настало жаркое лето, а Саблон все еще сидел в Москве. Он говорил себе, что оставаться дольше глупо,— он осмотрел все, что мог, да и жена ждет, пишет, что не уезжает в Бретань, а у дочки уже начались каникулы; но почему-то он откладывал отъезд; провел день в пионерлагере, ездил в Ясную Поляну, побывал в Киеве. Когда-то недоброжелатели называли его «авантюристом» — его жизнь была сменой далеких путешествий, неожиданных увлечений, смелых, подчас опасных поступков. Теперь им овладела апатия. Он боялся возвращения в Париж, встречи с Нивелем, разговоров с Баннелье, с Бедье, с людьми, которых до поездки в Россию считал своими единомышленниками. Душная комната в «Метрополе» казалась ему обителью, там он скрывался от жизни. Он начал писать книгу о своем детстве; оглядываясь назад, он видел путаный и непонятный путь, только начало этого пути было ему близко — игры, изумление, первые обиды ребенка. Он писал не потому, что ему хотелось написать еще одну книгу: погружаясь в воспоминания, он забывал о том, что ему мешало жить.

Он продолжал много ходить по Москве, пыльной и разморенной зноем, сидел подолгу в скверах, ел мороженое. Он научился кое-как говорить по-русски и порой заговаривал с людьми, не от любопытства, как в первые недели, а от печали и одиночества. Он давно понял, что русских ему не разгадать — они прожили тридцать лет не так, как французы или англичане, у них свои понятия, свои радости, свое горе. Он ни о чем не спрашивал и радовался, когда люди говорили с ним об обыкновенных

вещах — о погоде, о своих детях или о том, что в чужой стране трудно. Он чувствовал в их словах доброжелательство, порой интерес к человеку из другого мира, порой некоторую жалость.

Однажды в Измайловском парке он разговаривал с благообразным старичком, который знал немного французский язык. Старичок рассказал, что был до революции адвокатом в Тамбове, хорошо зарабатывал, в 1912 году побывал в Ницце, видел там карнавал. Теперь он живет у сына — крупного специалиста. Саблон понял, что его собеседнику советские порядки не по душе, и подумал: если бы я его встретил, когда приехал, я, наверно, обрадовался бы — о таких мечтал Нивель... Как бы угадывая его мысли, старичок сказал:

— Когда началась революция, мне было сорок два года, в таком возрасте человеку трудно измениться... Вот сыну было тогда восемнадцать лет — я рано женился,— и он рассуждает иначе. Он говорит, что у него огромные возможности для работы.... А внуки, те просто считают, что иначе жить нельзя; когда я им рассказываю о том, как я жил до революции, они смеются или сердятся. Старший кончил весной школу, он мне прямо сказал: «Дедушка, все это пора забыть...»

Саблон насупился:

— Мне кажется, я не мог бы здесь жить...

Старичок улыбнулся:

— Это потому, что вы смотрите со стороны... Я вам не говорю, что я этого хотел, зачем мне лгать в моем возрасте?.. Мне до революции жилось хорошо... Но ведь были и другие, решил народ. Некоторые убежали, может быть вы встречали их в Париже. Там один тамбовский адвокат, говорят, шашлыки подавал на саблях... А я не уехал. Если память мне не изменяет, это ваш соотечественник сказал, тоже во время революции: «Нельзя унести с собой родину на подошвах башмаков». Когда немцы на Москву налетали, я на крыше дежурил, говорили, что староват, но я настоял... Я тогда об одном мечтал — чтобы их прогнали... Слушал я недавно «Голос Америки», выступал какой-то дезертир, говорил, что в Америке лучше, у него хорошая квартира, американцы хотят нам помочь. Я уж не говорю, что это нечестно, но как это

глупо! Разве от войны кому-нибудь может стать лучше? Никто их не просит о нас беспокоиться... Вот вы — француз, человек оттуда, интересно: что вы об этом думаете?

Саблон ответил через силу:

— Я? Я ничего не думаю... Я ненавижу войну. Если бы мне сказали, что война неизбежна, я, кажется, покончил бы с собой.

Саблон получил несколько телеграмм от Нивеля, ни на одну из них он не ответил. Нивель попросил министерство иностранных дел навести справки. Де Шомон напрасно звонил в гостиницу: Саблон не подходил к телефону. Наконец де Шомон решил поехать в «Метрополь». Саблон сидел в турецком халате и писал о том, как восьмилетним мальчиком он пережил смерть младшего брата. Увидев де Шомона, он нахмурился.

— Вы, может быть, решили, что русские меня арестовали? Как видите, все в порядке. Пишу...

Де Шомон начал журить Саблона: можно ли забывать друзей, да еще на чужбине? Госпожа де Шомон очень огорчена. В Париже все волнуются...

Саблон прервал его:

— Я пишу каждую неделю жене и от нее получаю письма. Вчера получил телеграмму — жена решила меня не дожидаться, уехала с дочкой в Кемперле. Там у нас маленький домик. Вы бывали в тех краях?

Де Шомон ответил, что не знает южной части Бретани, но слышал много хорошего о Кемперле. Помолчав, он вернулся к цели своего посещения:

— Наш общий друг Нивель просит напомнить вам, что агентство ждет не дождется ваших статей. Нивель тревожится, не расхворались ли вы...

Слова «наш общий друг» рассердили Саблона, но он сдержался, ответил, что не хочет ничего писать до возвращения в Париж, а вернется он, по всей вероятности, скоро — хочет отдохнуть с семьей.

Де Шомон попробовал продолжать разговор, спросил, над чем работает Саблон, как ему понравился дом Толстого, рассказал, что во Франции всех продолжает волновать германская проблема. Саблон угрюмо молчал.

В тот же вечер де Шомон отправил шифрованную телеграмму. Он сообщал, что Саблон не хочет посещать

посольство, не встречается с иностранными журналистами, за исключением одного поляка-коммуниста, со Смайлсом он разругался на политической почве, причем Смайлс категорически утверждает, что Саблон решил перекинуться к большевикам и остаться в Москве. От себя де Шомон добавил, что не убежден в точности информации, полученной от Смайлса, но что Саблон произвел на него удручающее впечатление.

Нивель был настолько подавлен этим известием, что, обычно сдержанный, он вышел из себя и обозвал Мэри «рыжей потаскухой». Он понимал, что на Саблоне может погибнуть. Сенатор предоставил мне выбор, и я послал в Москву Саблона. Конечно, это было глупо: Саблон обожает клоунаду, он уже подвел однажды свою газету с Франко... Но виноват прежде всего Лоу: мог понять, что русские не младенцы и не впустят человека, который уже выступал против них. Мне не оставалось ничего другого, как просить Саблона. Он говорил мне, что возмущен политикой русских. Кто мог предположить, что они его обольстят? Все это можно объяснить разумному человеку, но не рыжему дикарю. Он убежден, что весь мир — это его Миссисипи... Смайлс уверяет, что Саблон договорился с русскими. Он может выступить с разоблачениями, это модно. Конечно, я с ним разговаривал достаточно туманно, но, кто знает, не посвятил ли его де Шомон в суть дела? Если Саблон знает о затее рыжего, это провал всего «Трансока». Костер сейчас в Праге, Грейзен в Варшаве. Коммунисты способны инсценировать процесс. Я предстану в отвратительной роли. Разве кто-нибудь вспомнит, что все это меня мало интересует, что я поэт, что мои стихи ценил Поль Валери?..

Несколько успокоившись, Нивель решил, что хуже всего — оказаться застигнутым врасплох. Он сообщил сенатору, что русские пытаются подкупить Саблона. По некоторым данным, они ничего не добились. Конечно, есть опасность: Саблон — блестящий журналист, но человек со слабостями, он далеко не равнодушен к деньгам, можно ожидать всего...

Лоу пришел в ярость, он проклинал и Саблона, и зятя, и всех французов: продажные твари! Маршалл никогда не сможет мне объяснить, почему мы должны помогать

такой бесчестной нации. Нужно прогнать Нивеля, он ни на что не способен. Я буду посылать деньги Мэри, она сможет его содержать, если захочет. Он, кстати, обрадуется: каждый француз мечтает быть на содержании у женщины... Сейчас, однако, Нивеля нельзя трогать — пусть распутает эту историю. Лоу продиктовал ответ: «Получил ваше письмо, и скажу откровенно, поражен вашим легкомыслием. Очевидно, вы относитесь к серьезным делам, как к поэзии. Впрочем, обо всем этом мы поговорим потом. Постарайтесь узнать, что предлагают Саблону русские, можете ему предложить ту же сумму, даже на десять — двадцать процентов больше. Одновременно подготовьте все, чтобы смешать его с грязью, в случае если ваши опасения подтвердятся. Подберите компрометирующие документы. Если вы не способны это сделать, вызовите из Праги Билла Костера. Не жалейте средств — пусть весь мир видит, что это за грязное существо». Задумавшись, Лоу добавил: «Не нужно сейчас кого-либо в это посвящать, даже Билла. Материал подберите сами, причем действуйте осторожно. Подготовьте бичующую статью с фактами. Я предлагаю вам пока что молчать в надежде, что сведения не подтвердятся, я об этом молюсь и верю в торжество правды».

Нивель, прочитав письмо Лоу, засмеялся: он представил себе рыжего, который молится за спасение души Саблона. А впрочем, ничего веселого нет, по письму видно, что Лоу взбешен. Мне не сдобровать...

Нивель написал статью, стараясь приблизиться к тону Костера. Статью агентство разошлет, если Смайлс окажется прав. Разумеется, своего имени Нивель не даст — это не его жанр... Нивель писал, что Саблон, которого многие считали неподкупным,— на самом деле алчный человек, способный ради денег предать даже свою семью. За статьи, направленные против Франко, он получил от испанских анархистов две картины Веласкеса, которые продал через подставное лицо в Бразилию. Во время сопротивления он вошел в группу «Ля патри» и давал информацию гестапо; немцы переводили на его имя в Женеву ежемесячно шесть тысяч швейцарских франков. Статья кончалась так: «Никого не удивит, что этот предатель не устоял перед тридцатью серебрениками

Кремля. Но то, что Москва прибегает к помощи подобного субъекта, показывает, что твердая политика, проводимая Вашингтоном, дает свои плоды. Красным больше не на кого опереться, и они покупают проходимца, которому не поверят даже наивные читатели «Дейли уоркер», «Юманите» и «Унита».

Саблон все еще находился в Москве. Зарядили дожди, он теперь редко выходил; писать расхотелось; он не знал, как убить время. Пришло письмо от жены, она сообщала, что в Бретани чудесно. Мадлен часто ездит к морю, купается, загорела, играет в теннис, очень ждет отца. В садике распустились его любимые цветы — анемоны. Никого из знакомых нет, приходил только рыбак Жерве, спрашивал, когда приедет Саблон,— хочет повезти на ловлю омаров... Прочитав письмо, Саблон позвонил переводчице: «Узнайте, пожалуйста, когда идет самолет на Прагу, я хочу уехать как можно скорее».

Вдруг он подумал: куда я тороплюсь? Он хотел было снова отложить отъезд, но ему стало стыдно перед переводчицей. Он решил задержаться хотя бы на день: нужно проститься с доктором. Он позвонил в больницу. Крылов ответил: «Хорошо, приходите завтра в три».

Крылов был в мрачном настроении, что с ним случалось очень редко. Причин на то было много. Вчера на партсобрании Кулагин несправедливо обрушился на доктора Цвибеля; правда, Черемисов его одернул, но остался неприятный осадок. Только что Крылов получил отказ от жилотдела — он просил комнату для своей пациентки, у которой трое детей. Пришло письмо от Наташи, она пишет, что собирается в Крым и Вася туда приедет; Дмитрию Алексеевичу хотелось провести отпуск с внуком, но он решил в Крым не ехать — зачем стеснять молодых? Ночью у него был сердечный припадок, он боялся, что не сможет встать, но утром вышел на работу; ноги, однако, отымались, с трудом он обошел палаты; он сердито думал, что сдает, теперь и нитроглицерин не всегда помогает, ну, а нового сердца никто ему не вставит...

Когда Саблон вошел в кабинет, Крылов все же улыбнулся — нечего на людях распускаться... Он поглядел на француза:

— Вы что плохо выглядите? Может, хвораете? Тогда лечиться нужно... Наверно, не отдыхали, а Москва летом — чистое мучение, зелени еще мало...

— Я завтра уезжаю. Пришел проститься. В Бретань еду — к своим.

— Вот и хорошо! Там, наверно, воздух замечательный, океан, так сказать, иод. Ну, как вам жилось у нас? Осмотрелись?

— Откровенно говоря, жилось плохо. Я здесь много растерял, а найти ничего не нашел.

Крылов недоверчиво оглядел собеседника:

— Что же вы тут потеряли? Может быть, ваше агентство?

— Себя.

Саблон сразу спохватился: зачем я это сказал? Он будет смеяться. Но Крылов не рассмеялся.

— У меня мамаша была богомольная, в детстве мне евангелие читала. Там есть красивый образ: зерно умирает, чтобы прорасти. Может быть, и с вами так?.. На что я живуч, и я пережил нечто подобное — давно, лет сорок назад. Умирать собрался...

— Кто же вас спас?

— Люди... Познакомился с одним студентом, он меня повел к товарищу, там было человек десять... Я до того думал о себе. В чем истина? Если умрешь, а умрешь обязательно, значит вообще все бесполезно, ну, и так далее,— репертуар вам, наверно, знакомый. А там я увидел людей, которые думали не о себе. Понял: нашел...

— Что?

— Народ нашел. Себя. Медицина теперь увлечена проблемой продления жизни. Конечно, это очень существенно. Но сколько бы человек ни жил, останется сознание неизбежности смерти, оно может все искривить. А ведь есть бессмертие...

— Так, наверно, рассуждала ваша мать.

— Нет, она верила, а я знаю. Бессмертие в людях, в жизни, в ее осмысленности, в том, что твою мысль кто-то продолжит в эстафете поколений. Недавно я читал о Гераклите. Интереснейшая личность! Так вот, есть прямая связь между его трудами и всем, над чем мы работаем. А прошло ни много ни мало двадцать пять веков.

Саблон усмехнулся:

— Я читал воспоминания Горького о Чехове. Горький вспоминает, как он подошел тихонько к Чехову, тот не видел. Чехов сидел на скамейке и старался поймать в шляпу солнечный зайчик. Это человечно, мы все это делаем... А вы — счастливый человек, вам кажется, что вы поймали этот зайчик. Для вас существует только одна правда. Даже сейчас вы остались верны принципам — сослались на Гераклита, а не на Пиррона. Ну, а по-моему, у каждого своя правда...

— Напрасно вы меня записываете в догматики. Есть сумма достигнутых знаний, они не только пополняются, они обновляются. Приходит Павлов или Эйнштейн, и все видят, что некоторые аксиомы покоились на заблуждениях. Это и к социологии относится. Если я считаю, что социалистическое хозяйство разумней капиталистического, это не значит, что социализм для меня — завершение.

— Но вы же не станете отрицать, что ваш идеал — общество, в котором все думают и чувствуют одинаково?

— Вот уж не так! Обидно даже, прожили здесь полгода, а говорите такие несуразности. Идеал — освободить человека, чтобы он мог развиваться по-своему. Вы усмехаетесь?.. Скажите, а вы подумали, кто нас заставляет ограничивать самих себя? Вы. То есть не вы лично, а хозяева вашего агентства,— одним словом, люди, которые хотят, чтобы мы отказались от всего, чего достигли. Помню, в прошлый раз вы жаловались на девушку, которая не хотела признать, что есть и у нас непорядки. Я вам тогда объяснил, почему она так говорит. Может быть, она даже так думает, только не потому, что мы воспитываем в ней фанатизм, а потому, что вы заставляете ее так думать. Тридцать два года стоите за углом, прикидываете, как бы нас зарезать, а потом приходите и спрашиваете, почему мы не заняты, так сказать, тонкостями. Вы мне говорили, что участвовали в сопротивлении. Надеюсь, вы там не в бирюльки играли... Так вот, представьте себе — пришел бы к вам тогда какой-нибудь швейцарец и сказал бы: «Почему вы защищаете Францию, свободу, достоинство? Это, во-первых, примитивно, во-вторых, спорно, а в-третьих, суета сует. Разбредитесь-ка лучше по

кустам и проанализируйте оттенки ваших переживаний». Интересно, что бы вы ему ответили?

Саблон поднялся, грузный и печальный:

— Вылечить вы меня не вылечили. Но спасибо вам за все...

— Я вас и не собирался лечить. Жизнь вас, может быть, вылечит, это — дело другое... Значит, завтра улетаете?.. Никогда я не был в Париже, только по книгам знаю, чувствуется — город удивительный. Белинский когда-то писал, что парижский народ может от горя вылечить, столько у него душевного веселья... Ну, счастливой вам дороги. А вот агентство ваше бросьте — сразу повеселеете.

Выйдя из больницы, Саблон подумал: все-таки хорошо, что я уезжаю. Есть в них какая-то убежденность, это заражает... А коммунистом я не стану. Может быть, они и правы, но это не по мне. Рассказывали, что в Мичуринске делали опыты, привили к вишне что-то неподходящее, кажется акацию (может быть, другое дерево, не помню), и плоды получились ядовитые. Так было бы и со мной... Пора отсюда убираться.

На аэродроме оказался де Шомон. Саблон удивился:

— Кто вам сказал, что я уезжаю?

Де Шомон улыбнулся:

— Почему вы меня не предупредили? Мой долг — проводить соотечественника. Госпожа де Шомон просила передать вам сердечный привет... Вечером вы увидите Париж. Остается вам позавидовать...

Саблон злился. Кто ему рассказал, что я уезжаю? Прикатил в этакую рань!..

— Откуда вы знаете, что я еду в Париж? Может быть, я еду в Прагу на тайное совещание Коминформа?

Де Шомон заставил себя улыбнуться. Он замолк, то и дело поглядывал на часы и облегченно вздохнул, когда девушка предложила отлетающим занять места в самолете.

Он больше не сомневался: Смайлс прав. Теперь я понимаю, почему Саблон скрывался, не предупредил меня, что уезжает. Эта дурацкая шутка с Коминформом показывает, как он настроен. Де Шомон тотчас сообщил

в Париж, что Саблон вылетел, неизвестно, проследует ли он дальше, или останется в Праге. Есть основания полагать, что он сговорился с русскими. Необходимо предупредить Нивеля.

В самолете Саблон сидел, закрыв глаза; можно было подумать, что он спит, а он мучительно думал. Неужели вечером Париж?.. Придется сесть за стол и писать статьи. Нивель обещал принять все, что я напишу. Но он может не сдержать слова. У меня нет сил, чтобы ходить по редакциям, навязываться... Глупо писать в корзину. Да и что я могу написать о России? Пожалуй, я видел больше, чем Смайлс, но этого мало. Сказать, что русские не хотят войны? Конечно, это важно, миллионы людей думают, как я думал до поездки, что не сегодня завтра советские танки окажутся на Елисейских полях. Однако мало сказать, что русские не хотят войны, нужно объяснить почему, рассказать, чем они живут. Разве я это знаю? Я видел, как они строят дома, как делают ситец, как танцуют, разговаривал с некоторыми, все это очень интересно и абсолютно непонятно. Я мог бы написать роман о переживаниях француза в Москве, но написать о том, чем живут русские, я не в состоянии. Если я скажу, что люди, с которыми я разговаривал, хотят мира, мне возразят: «Конечно. Но не Кремль...» Я теперь знаю, что разговоры об оппозиции — вздор, но доказать не могу. Это очень сложно, политика у них переплетается с личной жизнью. Почему тот архитектор не живет с женой? Я их не понимаю. Как же я могу о них писать?

На пражском аэродроме его спросили, нужно ли задержать место: самолет через два часа улетает в Париж. Он ответил: «Ни в коем случае, я хочу отдохнуть». Он радовался, как школьник, своему решению, гулял весь день по улицам Праги. Его глаза отдыхали на чем-то знакомом и понятном; он не сразу догадался, почему ему так легко: Прага походила на старый французский город, где он провел детство,— там тоже были статуи святых, раскинувших широко руки, каменные стены, обвитые краснеющими листьями винограда, улички, такие узкие, что даже робкие влюбленные невольно прижимались друг к другу.

На следующее утро он сказал представителю министерства информации, что хотел бы провести в Праге несколько дней. Тот осведомился, что́ именно он желает осмотреть. Саблон ответил:

— Ровно ничего. Если это не покажется вам предосудительным, я буду ходить по улицам или сидеть у себя в номере.

Он вспомнил пражского профессора, которого приводил Баннелье. Ну да, у них все приключилось недавно, раньше они жили, как мы. Естественно, что есть недовольные. Есть, конечно, и другие — чтобы все перевернуть, мало было Москвы, потребовалось желание самих чехов. Франция тоже раскололась. Я убежден, что Баннелье хочет посадить в тюрьму Гаро. А если коммунисты возьмут верх, Гаро не оставит Баннелье в покое. Все это понятно, непонятно только, зачем я залез на «ничью землю» — по ней стреляют с двух сторон. До чехов мне вообще нет никакого дела, хватит с меня русских...

Он провел день спокойно; ему казалось, что он турист. Он старался не замечать ни портретов на фасадах, ни флагов. Он долго бродил по городу, заходил в длинные, запутанные дворы; там люди сидели, о чем-то мирно разговаривали; дети играли в обыкновенные детские игры; кричал котенок с пятнистой, как будто перепачканной мордой. Саблон зашел в музей. Его поразили картины одного старого художника, особенно семейный портрет. Лица детей были написаны с необычайной силой, они передавали ту нежную трагичность, которая бывает у человека в самом начале жизни, а потом исчезает. Саблон посмотрел в каталоге — «Пуркине». Странно, никогда он не слышал этого имени... Он вернулся в гостиницу умиротворенный. У него есть жена, дочь. Он не будет ничего писать. До конца школьных каникул еще далеко. Можно поехать с Жерве на ловлю омаров, возиться в саду, гулять с Мадлен...

После ужина он сидел в холле гостиницы, разглядывал публику. Вот это швейцарцы, коммерсанты, они приехали по делам и пугливо косятся на плакаты. Эти двое — французские коммунисты, судя по выговору, южане, они рассказывают белесому чеху о том, как борются докеры. Там советские, Саблон с ними летел, они сидят чинно,

тихо между собой разговаривают. Англичанин пьет виски, вероятно дипломат. Недалеко от него негр и белая женщина, негр доволен, весело скалит зубы. Саблон усмехнулся: ноев ковчег с чистыми и нечистыми. Можно итти спать.

Утром он позавтракал у себя в номере. Зазвонил телефон: его ждет внизу господин Отфей, пресс-атташе французского посольства. Саблон вышел из себя: ну зачем он прилез? Кажется, я — не официальное лицо... Может быть, это Нивель старается? Он нарочно долго брился; закончив туалет, сел в кресло, выкурил трубку: пусть подождет...

Отфей был очень худ; он всегда казался чем-то удрученным; поздоровавшись с Саблоном, он попробовал улыбнуться, но от этого лицо его стало еще печальней.

— Нам сообщили из Парижа, что вы предполагаете остановиться на несколько дней в Праге. Посол просит вас с ним пообедать. Я в свою очередь буду счастлив, если смогу вам помочь. Вас, наверно, интересует политическая обстановка...

Саблон неожиданно засмеялся:

— Поблагодарите посла за любезность, к сожалению, я вынужден отказаться — я решил похудеть и сижу на голодной диете. Что касается вас... Право, не знаю, чем вы можете мне помочь? Я решил поближе познакомиться с Пуркине...

— Это очень легко,— ответил Отфей,— я только должен справиться в нашей картотеке. Он журналист или общественный деятель?

Саблон снова засмеялся:

— Он умер, дорогой господин Отфей, вот в чем загвоздка. Так что ваша помощь мне не понадобится. Но я очень вам благодарен. Приятно было познакомиться и увидеть, что в наших посольствах работают такие замечательные люди. А теперь вы меня простите... У меня множество дел....

Отфей был возмущен, все же он любезно спросил:

— Вы здесь еще задержитесь?

— Ненадолго: может быть, на год-другой...

Он в третий раз обидно засмеялся, протянул Отфею руку и вышел из гостиницы.

Отфей слышал, что у Саблона несносный характер, но ничего подобного он не ожидал. Правда, посол сказал, что нужно быть на-чеку,— есть сведения, что Саблон переметнулся. Но все же... Я разговаривал два раза с Дюкло, он был вежлив. А этот перебежчик — больше католик, чем сам папа... Интересно, что́ он будет делать в Праге? Прашек говорил, что они хотят устроить мощную радиостанцию с передачами на французском языке. Возможно, что это поручат Саблону...

Отфей обладал недюжинной фантазией, причем он тотчас начинал верить во все, что придумывал. Он доложил послу:

— Саблон притти отказался, вообще дёржал себя вызывающе... Оказывается, его прислали сюда надолго, он сказал — на два года. Он должен организовать радиопередачи для Франции.

Нивель вытирал шелковым платочком лоб: этакая гадина! Страшное время, ни на кого нельзя положиться, нет ни верности, ни чести. Он перечитал свою статью о Саблоне и приписал: «Эта мерзкая сирена собирается соблазнять французов, сидя у пражского микрофона. Вокруг него падают благородные люди, священники, офицеры, студенты, расстреливаемые коммунистами, а господин Саблон будет нам рассказывать о том, как блаженствуют люди в советском раю. Мы не верим пражской сирене, мы знаем, что если коммунистов не обуздать силой, завтра обыкновенные сирены завоют на улицах Парижа, предупреждая о налете красных хищников». Он хотел дать статью для рассылки, но в последнюю минуту подумал: нужно быть хладнокровным. Пусть Саблон раскроет рот, и через час статья будет во всех редакциях.

Саблон тем временем ходил по Праге. Разговор с Отфеем испортил ему настроение. Он сердился на всех. Нивель не хочет оставить меня в покое. Конечно, они дали мне крупный аванс. Но нельзя же так приставать!.. Семнадцать лет я занимаюсь журналистикой, а такого нахальства еще не видел. С деньгами плохо... Жена еще перед моим отъездом говорила, что на текущем счету осталось немного... Придется написать. Нивель должен заплатить, даже если не примет... Я напишу, что русские хотят мира, это бесспорно. Самое смешное, что меня причислят к ком-

мунистам. А мне это все не нравится. Зачем у них повсюду плакаты, даже в трактирах? В витринах портретов больше, чем товаров. Я не мог бы здесь жить...

Когда он вернулся в гостиницу, в холле сидели французские коммунисты, которых он видел накануне. Один из них рассказывал: «Саблону американцы здорово заплатили, теперь он...» Увидев Саблона, говоривший это замолк, сделал вид, что читает газету. Саблон про себя выругался и поднялся в номер.

Он сидел мрачный и не знал, что ему делать. Может быть, поужинать? Есть не хочется, но на это уйдет час, даже полтора... Вдруг постучали. Он спокойно открыл дверь, думал — горничная. В комнату ввалился незнакомый человек и радостно крикнул:

— Хелло, мосье Саблон! Вот мы с вами и встретились в этой проклятой Праге!..

У Билла Костера была изумительная память. Пять лет назад, вскоре после освобождения Парижа, он провел вечер с Саблоном, они выпили вместе бутылку виски. Потом еще раз или два он встретил Саблона на улице. Он его хорошо запомнил и считал своим другом: друзьями он считал всех, с кем встречался, за исключением людей, которые пытались стать ему поперек дороги. Узнав, что Саблон в Праге, Костер обрадовался. Видимо, он успел выпить рюмку-другую, потому что держал себя еще развязнее, чем обычно. Он хлопнул Саблона по плечу:

— Ну, как работенка? У нас ведь теперь один «босс»... Я пришел к вам с предложением... Наш «босс» сочиняет стишки. Он мне читал... Одно с занозой. Понимаете, пойманная рыбка издыхает на песке, а какая-то сволочь сидит и думает о вечности. Здорово?.. Я вот вижу, что вы в меланхолии. Наверно, жабры просохли. У меня есть водичка...

Он вытащил из большого кармана яркорыжего пиджака бутылку и поставил ее на письменный стол:

— «Уайт хорс», самая лучшая марка. Внизу дрянь или сливовица. Давайте-ка нырнем в виски, нечего задыхаться на песке. Идет?

Саблону был противен Костер, но он не знал, как убить время, и ответил:

— Идет.

44

С Саблоном Нивель был осторожен, рассказал ему о планах Лоу чрезвычайно туманно, и Саблон считал, что агентство «Трансок» — обычное газетное предприятие, с темными деньгами, с погоней за сенсациями, не лучше и не хуже других. Иначе обстояло дело с Костером: Нивель откровенно сказал ему о затее сенатора. Почему Костер все же согласился? Он часто ставил себе этот вопрос и отвечал, что, когда имеешь такую жену, как Виктория, приходится итти на все. Слов нет, госпожа Костер умела, как никто, тратить деньги, а дела Билла за последний год пошатнулись. Нивель предложил ему крупную сумму, Костер знал, что такие деньги на мостовой не валяются. Все же он мог выкарабкаться, не пускаясь на рискованные авантюры. Предложение Нивеля его соблазнило, потому что ему опротивела жизнь, которую он вел в Нью-Йорке. Нельзя же каждый день диктовать скандальные статейки, слушать, как Виктория рассуждает об абстрактной живописи, лезть из кожи вон, чтобы заработать тысячу долларов, а потом в одиночку дуть виски! Он не рисовался, говоря Нивелю, что жаждет сильных ощущений. Ольдсберг охотился на тигров. Почему бы не устроить за железным занавесом такой фейерверк, чтобы красные в страхе заметались?..

Прага сначала его расхолодила: она никак не походила на джунгли. Люди были одеты аккуратно, переходили улицы, соблюдая правила, рано ложились, рано вставали, в каждой мелочи чувствовалось, что они любят порядок. Костер понял, что завязать нужные ему знакомства будет нелегко, но отступать было поздно: он взял в «Трансоке» солидный аванс. Он начал рассказывать повсюду, что был в Москве в самое трудное время, когда немцы подходили к городу, и писал тогда о геройстве русских; подчеркивал, что уважает мужество и трудолюбие чехов, восхищался музыкой Сметаны, никогда не осуждал новых порядков. Изредка он посылал в агентство статьи, живописные и безобидные,— о кукольном театре, о красотах Кутной Горы, о спорте. Он говорил чехам, что «Трансок» — мерзкое место, но что, вернувшись на родину, он напишет о Чехословакии книгу: «Надо рассеять туман

лжи». Вскоре он создал себе репутацию прогрессивного журналиста; в министерстве информации говорили: «Вот если бы все иностранные корреспонденты были, как Костер!..»

Костер приехал в Прагу осенью, а к Новому году он уже обзавелся кое-какими знакомствами. В американском посольстве он бывал редко; в планы «Трансока» был посвящен только служащий консульства Добжек, американец чешского происхождения, который должен был снабжать Костера деньгами и передавать в Вашингтон его донесения. В марте Костер сообщил Лоу, что «создана организация «Крестоносцы свободы», объединяющая сторонников подлинной демократии», и что, согласно инструкции сенатора, он выдал Зейде восемьдесят тысяч долларов.

Зейда до войны был мелким репортером. Популярность он приобрел в годы протектората, когда сочинял памфлеты, высмеивавшие немцев. Рассказывали, как он прятался у крестьян, как обманывал полицейских, ходивших за ним по пятам, как выпрыгнул из поезда на ходу, когда его опознал гестаповец. Он обладал привлекательной внешностью, походил на поэта или на скрипача: мягкие локоны, мечтательные глаза, галстук, завязанный бантом. Работал он в коммунистической газете — писал статьи, в которых бичевал художников, не желающих изображать трудовые процессы. Он объяснил Костеру: «Статейки мои им не помогут, зато у меня теперь есть возможность действовать...» Коммунистов он ненавидел, говорил: «Мне живется лучше, чем до войны, но разве в этом дело? Самое важное — свобода духа...» Костер считал его романтиком; вскоре он, однако, убедился, что Зейда — человек деловой.

Накануне майских праздников «крестоносцы» добились первых успехов: нанесли удар Карелу Гобзе, директору крупного металлургического завода, и одновременно вовлекли в свою организацию его отца, Юлиуса Гобзу, пользовавшегося репутацией честнейшего человека.

Юлиус Гобза до войны был видным чиновником министерства народного просвещения; политикой он не интересовался, растил сына, летом часто уезжал с семьей во Францию, обзавелся хорошеньким домом в Южной

Чехии,— словом, жил, как он теперь выражался, «тихо и приятно». Сын его Карел был тогда студентом, увлекался альпинизмом. В 1938 году Карела мобилизовали. Отец, видя, что над родиной нависла угроза, явился на призывной пункт и потребовал, чтобы и его зачислили в армию. Узнав о мюнхенском решении, Юлиус Гобза не выдержал и заплакал; он сказал сыну: «Мне пятьдесят три года, я могу скоро умереть, дай мне слово, что ты никогда не забудешь, как нас предали». Пришли немцы. Юлиус Гобза уехал в свой домик и занялся огородом; он жил плохо, но каждый вечер, ложась спать, радовался, что ничем не помогает врагам родины. Карел остался в Праге; как-то он приехал к отцу, рассказал, что работает в подпольной группе; они печатают листовки; одного из участников организации гестаповцы схватили и отправили в Терезен. Юлиус Гобза понял, что его сыну грозит гибель, но ответил: «Ты правильно делаешь». После победы Карел сдал экзамены и начал работать на заводе; он оказался прекрасным инженером. Что касается Юлиуса Гобзы, то он вернулся в свое министерство. Встречаясь, отец и сын постоянно спорили. Юлиус Гобза говорил, что все должно быть, как было до войны, лучше не придумаешь. Конечно, русские — славяне, и они помогли чехам, но их порядки нам не подходят. Карел возражал: «Я надеюсь, что теперь все переменится. Ты сам мне говорил, что нельзя забыть Мюнхен... Я верю русским, они одни устояли перед нацистами». Они спорили, но, поспорив, дружески расставались. Драма произошла весной 1948 года. Юлиус Гобза был возмущен событиями, говорил, что «коммунисты не лучше немцев» и что он никогда не будет служить «узурпаторам». Узнав, что Карел поддерживает новое правительство и что его назначили директором завода, Юлиус Гобза написал сыну: «Ты знаешь, как я тебя люблю, но ты опозорил имя Гобзы».

Зейда сказал Костеру, что Карел Гобза пользуется огромным авторитетом и что его следует убрать. Конечно, его легко убить,— он часто бродит один по горам, но это может оттолкнуть людей от «крестоносцев». Хотя Карел Гобза вошел в коммунистическую партию, для обывателей он не политик, а хороший инженер. Нужно сделать так, чтобы его убрали сами коммунисты.

— Как же вы собираетесь это сделать? — спросил Костер.

— Очень просто. Методом Сатурна...

(Зейда любил щеголять латинскими пословицами и мифологическими образами.) Костер рассердился:

— Что вы мне ерунду рассказываете!..

Зейда был невозмутим:

— Сатурн, как вам, наверно, известно, пожирал своих детей. Это очень старый бог, но его опыт может оказаться полезным для молодой Америки. Нужно, чтобы коммунисты сожрали Карела Гобзу. У нас есть человек, который работает на заводе. Он говорил, что из кабинета директора можно вынести все, что угодно. В будущую среду Гобза забудет свой портфель в гардеробе ресторана. С гардеробщицей я договорился... В портфеле будут письма, счета — словом, хлам, который валяется у него на столе, и письмецо. Вы его составите. Вроде вопросника, который вы мне показывали... А я напишу черновик рапорта Гобзы... Гардеробщица доставит портфель в полицию, скажет, что не помнит, кто его оставил. Из американского посольства должны звонить и спрашивать, не захворал ли господин Гобза. Я убежден в успехе...

Когда они снова встретились, Зейда сказал:

— Как вам нравится последняя сенсация? Карел Гобза оказался агентом американской разведки. Кто бы мог подумать! Нашли чудовищные документы...

Он улыбнулся, и его мечтательные глаза на минуту заблестели:

— Теперь поговорим о серьезных вещах. Отец Карела Гобзы — весьма почтенный человек. Он ненавидит коммунистов, я еще весной предложил ему примкнуть к нашей организации, но он ответил, что «нельзя решать вопрос силой», что «правда все равно восторжествует», — одним словом, либеральничал. После истории с сыном он явился ко мне, сказал, что чаша переполнилась... Он хочет с вами встретиться — у него есть некоторые вопросы. Это фигура первой величины, я хочу его сделать моим заместителем.

Юлиус Гобза сказал Костеру:

— Я добивался встречи с вами, чтобы выяснить один вопрос. Вы любите Америку?

Билл смутился: он никогда не думал о том, любит ли он Америку. Там здорово скучно. Зато там можно делать доллары. И уж, конечно, жизнь там во сто раз удобней, чем в Европе. Он ответил:

— Ну, люблю...

— Тогда вы меня поймете. Моя родина меньше вашей, но это хорошая страна. Зейда сказал, что вы поможете нам освободиться от коммунистов. Это с вашей стороны очень благородно. Но почему вы дружите с судетскими немцами? Неужели президент Трумэн забыл о Генлейне? Ведь они хотели нас уничтожить, призвали сюда Гитлера. А теперь американцы их вооружают. Они грозят, что вернутся... Вы должны объяснить вашему правительству, что это мешает многим чехам выступить против коммунистов.

Костер про себя усмехнулся: старик думает, что я вхож в Белый Дом. Наверно, и рыжий не знает, в чем здесь дело. Наши хотят сразу заполучить и волка, и козу, и капусту. А я должен расхлебывать!..

Он ответил Гобзе:

— Дело в соотношении сил. Если ваша организация добьется успеха, американцы смогут отказаться от немецкой помощи.

Костер познакомился еще с двумя членами организации: с бывшим владельцем большого кафе Гроссом и с адвокатом Зрубецким.

О чем бы Гросс ни рассуждал, он неизменно возвращался к судьбе своего кафе. Он и Костеру сказал:

— Коммунисты уверяют, что осчастливили народ, но посмотрите на кафе, которое мне принадлежало. С утра до ночи не было ни одного свободного столика. Подавали кофе со взбитыми сливками. У входа лежали газеты — десять, двадцать — всех направлений. Я выписывал даже «Руде право». Они отобрали у меня кафе. Я вас прошу — зайдите и посмотрите, что там делается. Разве это прежнее кафе? Вместо газет палки, на которые когда-то нацепляли газеты. Важно не то, что я разорился, важно, что мне даже не хочется пойти в мое кафе...

Адвокат Зрубецкий был англоманом: он считал все происходящее грубым нарушением конституционных норм; кроме того, он лишился практики и жил тем, что

продавал накопленное добро. Костер смутил его своей грубостью; однако он вежливо сказал:

— Поскольку вы — союзники наших союзников, вы — наши союзники. Я убежден, что после свержения коммунистов наше правительство примкнет к Северо-Атлантическому оборонительному союзу...

Лоу несколько раз запрашивал, что делает организация. В историю с Карелом Гобзой он не поверил, сказал Робертсу: «Костер — прекрасный журналист, но он фантазирует. Я вам скажу откровенно, это напоминает роман...»

Костер сказал Зейде:

— Американские друзья не понимают, на что́ вы ухлопали деньги. Вы показали мне троих. Я не спорю, что Гобза — почтенный человек, но это развалина. Гросс думает об одном: как бы заполучить свое кафе обратно. Неужели вы считаете, что он пойдет на какое-нибудь рискованное дело? А Зрубецкий — жулик. Я не доверил бы такому адвокату даже мелкой кляузы. С марта прошло пять месяцев, и никто не знает о существовании вашей организации, это чорт знает что! Если вы надеетесь получить еще доллары, вы должны заявить о себе. И громко...

Вскоре после этого разговора в Моравии был убит старый коммунист Ружичка, организатор курсов для рабочей молодежи. Его застрелили на глухой, темной улице. Преступники успели скрыться, они оставили «смертный приговор» с подписью: «Крестоносцы свободы».

Убийство Ружички возмутило всех. Юлиус Гобза сказал Зейде:

— Когда я вошел в организацию, вы говорили, что выпускаете листовки, готовитесь к восстанию. Но вы не говорили, что собираетесь убивать людей из-за угла. Конечно, Ружичка — коммунист. Я знаю, что он прожил девять лет в Москве... Но есть честные коммунисты, как мой бедный Карел...

Зейда усмехнулся:

— Я его слишком хорошо знаю. Он погубил сотни невинных... Он причастен к аресту вашего сына.

Сотрудники государственной безопасности начали искать убийц Ружички; заговорили о «крестоносцах». Костер считал, что Лоу успокоится, но сенатор требовал

дальнейших действий. Зейда говорил, что Зрубецкий подготовляет нападение на аэродром. Гросс в Плзене — ему поручено сколотить там группу «крестоносцев». Вскоре Зейда рассказал:

— Они напали на след Гросса, ему пришлось удрать в Баварию. Конечно, хорошо, что он перехитрил коммунистов, но обидно, что с нами больше нет Гросса...

Костер рассмеялся:

— Вы увидите, что он откроет кафе в Мюнхене. Я еще выпью у него кофе со взбитыми сливками. Я вас спрашиваю: когда кончатся эти детские игры? Один Ружичка не стоит и двух тысяч долларов...

С нападением на аэродром получился конфуз. Зейда не знал, как рассказать об этом Костеру. Было условлено, что Зрубецкий с группой «крестоносцев» проникнет на маленький аэродром возле Брно и подожжет находящиеся там самолеты. Зрубецкий сказал, что для этого необходимо подкупить летчика, и Зейда дал ему деньги. Эти деньги Зрубецкий действительно отдал летчику, который согласился перелететь с ним в Нюрнберг.

— Я вам говорил, что это жулик,— сказал Зейде Костер.— Хорошо, что он украл у коммунистов самолет, а не у меня вечную ручку. Самолет, впрочем, придется вернуть, а нахлебников у нас достаточно без Зрубецкого. Даже если газеты подымут шум, это не стоит и тысячи долларов...

Зейда ответил, что организация подготовляет покушение на видных государственных деятелей. Это будет нечто потрясающее... Мимоходом он упомянул, что занят небольшим, но серьезным делом: необходимо поджечь «осиное гнездо». Костер с усмешкой спросил, что́ именно Зейда собирается спалить: бывшее кафе Гросса или папки с делами Зрубецкого? Зейда пожал плечами, но ничего не ответил. Да и как он мог объяснить Костеру, что необходимо сжечь школу в небольшом моравском городке?

В этой школе проживала молодая учительница Мария Гонзаткова. Она кончила педагогическое училище в прошлом году и к работе своей относилась с душевным трепетом; ей казалось, что каждая орфографическая ошибка, сделанная учеником, бросает тень на ее школу. Отец ее тридцать лет проработал на заводах Бати в Злине;

коммунистом он стал давно, еще до того, как Мария родилась, и два раза сидел в тюрьме. Теперь он помолодел на двадцать лет. Он говорил дочери: «Мы боролись за то, чтобы у нас был дом, ты будешь строить этот дом, а твои ученики будут в нем жить». Марии было двадцать два года; она улыбалась от счастья и леденела от сознания своей ответственности.

Была темная августовская ночь. Голова Марии была занята не работами учеников, но сердечными делами: в тысячный раз она спрашивала себя, как ей быть с Иозефом. Она с ним познакомилась весной. Он был электромехаником, посещал вечерние курсы, писал стихи, одно стихотворение о Москве было напечатано в «Творбе». Несколько раз, когда они встречались вечером, он начинал ее целовать, она говорила: «Оставь». Ей хотелось с ним целоваться, но она боялась, что это не настоящая любовь. Она перебирала в памяти прочитанные ею романы, во всех герой и героиня мучались. А Иозеф всегда был весел, да и она, думая о нем, радовалась. Это, должно быть, не любовь, говорила она себе, а что-то очень низкое... Почему Иозеф не рассказывает мне о своих чувствах, а только хочет целоваться?.. Лучше о нем не думать! Это решение не так-то легко было выполнить. Она начала думать об Иозефе вечером, раздеваясь, и не смогла уснуть — все время думала. Она зажгла свет, посмотрела на часы: три часа. Она поняла, что не уснет, оделась, раскрыла курс методики языка, но ничего не могла понять. В комнате было жарко (а может быть, это ей казалось); она решила выйти в сад. В саду было очень темно, на минуту ей стало страшно, хотя она знала каждое дерево. Она забралась под старую липу и, сидя на холодной каменной скамейке, продолжала думать об Иозефе. Вдруг она почувствовала облегчение: она страдает — значит это настоящая любовь. Даже если Иозеф ее не любит, она может с ним целоваться. Завтра вечером они должны встретиться. Когда он ее обнимет, она не скажет «оставь», она первая поцелует его в губы.

Она встала и пошла к дому. Навстречу ей метнулись две тени. Она отчаянно вскрикнула. Позади раздался треск сухих веток. Она продолжала кричать. Школа помещалась на окраине города, никого поблизости не было,

Она увидела огонь; тогда она побежала изо всех сил к ближайшему дому: там жил ветеринар. Она звонила, стучала в ставни, кричала. У ветеринара был телефон; вызвали пожарных. С огнем быстро справились.

На следующий вечер Мария сказала Иозефу: «Ты спас школу, то есть не ты, а любовь». Он ее обнял, и она первая его поцеловала в губы.

На очередное свидание с Костером Зейда не пришел. Костер встревожился: уж не удрал ли он, как те двое? Плакали тогда денежки!.. Пожалуй, рыжий начнет требовать с меня. Беда, что я договаривался с Нивелем, а распоряжается Лоу. Нивель — ведь только директор европейского отдела. Конечно, Чехословакия — это Европа, но Билл Костер — американец. Я, кажется, сглупил, согласившись. Впрочем, жалеть теперь поздно. Зейда не может удрать, это честный человек, если он чем-нибудь грешит, то излишком романтики. Просто он задержался или у него грипп, мало ли почему человек может не притти на свидание...

Костер сел за машинку и написал очередную статью для «Трансока» — о чешских мультипликационных фильмах. Неожиданно пришел Гобза. Костер сразу понял — что-то приключилось, ведь было условлено, что никто не должен приходить к нему в гостиницу.

— Зачем вы пришли? Это неосторожно...

Гобза был так взволнован, что не мог ответить. Он просидел несколько минут молча, громко дышал. Костер налил в стакан воду:

— Выпейте.

Гобза покачал головой:

— Не нужно. Уже все прошло. Я слишком быстро шел... Теперь незачем думать об осторожности. Вы знаете, кем оказался Зейда? Он работал в гестапо.

Костер не понял:

— При чем тут гестапо?

— Я вам говорю, что он работал в гестапо. Он выдал тридцать шесть человек... Нашли архив, немцы не успели сжечь. Он был спрятан в доме, где помещалось гестапо. Теперь там школа... Вы понимаете, какой это позор!..

Костер рассердился. Немцы действительно — подлецы: не могли сжечь свои бумажонки!.. Зейда способен рас-

сказать обо мне, наверно расскажет — ему терять нечего. Я ничего не имею против процесса, все равно чехам придется меня выпустить. Но сидеть рядом с гестаповцем — это не марка. Сенатор взбесится, ведь за это ухватятся республиканцы. Начнутся разговоры, кто субсидирует «Трансок». Одним словом, пакость!..

Костер вдруг вспомнил, что перед ним Гобза. Старик попрежнему сидел согнувшись и тяжело дышал. Костер спросил:

— Когда его арестовали?

Гобза даже выпрямился от возмущения:

— Он удрал... Он мне сказал в прошлую пятницу, что должен уехать на неделю в Мюнхен, получить директивы. Я поверил, я ведь не знал, какой это негодяй. Он меня обнял прощаясь... Разве такого поймают? Это не мой бедный Карел!.. Я вас спрашиваю: почему Зейда убил Ружичку? Это — возмутительное убийство, это не имеет ничего общего с идеалами Массарика... Наверно, Ружичка догадывался о прошлом Зейды. Этот мерзавец, уезжая, сказал мне, что я буду руководить организацией. Но я честный человек, я не хочу руководить убийцами, мерзавцами, гестаповцами. Вы должны сказать президенту Трумэну, что нельзя опираться на такой сброд. Правда всегда восторжествует. Зачем же убивать людей из-за угла?..

Он долго говорил. Костер еле его выпроводил.

Оставшись один, Костер задумался. В общем все кончилось сравнительно благополучно. Честь «Трансока» спасена. Но делать здесь больше нечего. Начинать сначала за те же деньги я не собираюсь. Да и дай мне рыжий вдвое, все равно я больше не игрок. Этот болван мне торжественно объявил, что он «распускает организацию». А что тут распускать? Остатки денег Зейда, наверно, прихватил с собой. Он один знает всех этих «крестоносцев». Гобза может только болтать о принципах Массарика. Нужно уезжать, и чем быстрей, тем лучше. Еще неизвестно, что́ может выболтать Гобза, он совсем спятил... Наградных от рыжего я, конечно, не получу, но у него не может быть ко мне никаких претензий. Зейда в нашей зоне, пусть требует с него... Я лично сделал все, что мог. Охота на тигров кончена. Напишу теперь книгу о Праге.

Это может быть сенсацией, я ведь просидел здесь почти год. Чехам не поздоровится... На этом можно здорово заработать. Но интересно, сколько долгов успела понаделать Виктория?..

45

Костер покидал Прагу в прескверном настроении. Он сидел в баре гостиницы «Алькрон» мрачный и пил сливовицу, когда ему сказали, что в Праге Саблон. Он обрадовался: вот с кем можно выпить. Он страдал от отсутствия собутыльников: с американцами из посольства он старался встречаться пореже, журналистов было мало и как назло непьющие — один трезвенник, у другого больная печень, третий — скупердяй, а с чехами пить он боялся: какая может быть дипломатия после бутылки виски?

Он налил себе и Саблону:

— Надеюсь, без воды? Вода только портит дело... Проездом?

— Еще не знаю. Может быть, посижу здесь.

— Не рекомендую. Кормят отвратительно. От сливовицы изжога. Я уж не говорю о режиме... Впрочем, вы из Москвы, так что вам объяснять нечего. Представляю себе, какая у вас там была каторга! Рыжий затеял неслыханную пакость...

Саблон подумал: неужели он так пьян, что Нивель ему кажется рыжим? Но он решил не разговаривать, а пить — так будет лучше. А Костер пил и говорил безумолку:

— Нивель, конечно, разыгрывает персону, заказал визитные карточки «Директор европейского отдела» и наслаждается. Но если бы вы его видели в Нью-Йорке!.. Он приходил ко мне, клянчил статью о Дюма. Он мне прямо сказал, что не может уйти без моей статьи,— тесть его сживет со света. Вы почему так на меня смотрите? Вы что, Нивеля не знаете?

— Я его видел всего два раза.

— Вот как. Ну, тогда я объясню. Он женат на уродке, это дочка сенатора Лоу. Стихи стихами, но деньги человеку нужны. А у рыжего порядочное состояние. Так что у нашего «босса» есть свой «босс»...

Билл выпил еще стакан и размяк, ему захотелось пофилософствовать:

— Забавная штука — один сидит на спине у другого, а все прикидываются независимыми. Вы думаете, Лоу сам решает эти махинации с «Трансоком»? Ничего подобного. В Вашингтоне все знают, что он на поводке у Робертса. Ну, а Робертс, что он, господь бог? Тоже на побегушках. Я никому не завидую... Разве что какой-нибудь букашке: ползет по траве и ни о чем не думает... А вы пейте, сразу станет приятней, к букашке приблизитесь, правда... Наверно, в Москве переработались?

— Нет, я еще ничего не написал.

— Ну, это понятно. Я, правда, отмахал для виду десяток статей, но вздор — о куклах. Я не про статьи говорю. Рыжий действительно придумал пакость. Нивель мне сказал перед отъездом: «Вам будет легко — у них девять десятых против». Ерунда! Конечно, на мой взгляд, живут они плохо. Будь на их месте американцы, они действительно были бы против. Но вы не знаете чехов — это самые упрямые люди на свете. Они вбили себе в голову, что так лучше, и ничего не хотят слышать. Конечно, они ворчат, у них привычка ворчать. Или скалить зубы. Я здесь прочитал одну книжку про солдата. Еще когда Австро-Венгрия была... Этот солдат над всем решительно издевается. Очень смешно написано, я читал ночью и так гоготал, что соседи жаловались... Можно сказать, национальный герой... Я когда приехал, их не понимал. Мне расскажет кто-нибудь анекдот о коммунистах, я думаю: «Этот подходит». А он, оказывается, самый что ни на есть правоверный. Ну, как, по-вашему, здесь можно что-нибудь сделать?

Саблон удивленно поглядел на Костера:

— Что сделать?

— Фейерверк или, как Нивель говорит, «сколотить оппозицию».

— Не знаю. Я ведь здесь всего два дня. Откровенно говоря, меня это не интересует. В Париже у меня был один чех, профессор, жаловался на переворот. А здесь люди, как будто ничего, ходят по улицам, смеются...

— Ах, у вас был в Париже человек отсюда? Вот в этом-то вся история. Есть здесь, конечно, недовольные —

ясно, если у человека было кафе, а потом его национализировали, радоваться ему нечего. Но они, мерзавцы, удирают, как ваш профессор... Вы говорите, что это вас не интересует? Ясно. Вы думаете, я раньше интересовался чехами? Учил в школе, что есть такие, и всё. Пришлось заинтересоваться... Вы мне лучше скажите, вам в Москве удалось что-нибудь выкинуть? Ну, стукнуть кого-нибудь или спалить?..

— Я думал, что вы лучше пьете,— сказал раздраженно Саблон.— Или вы давно начали?..

Костер рассердился:

— То есть как это я плохо пью? Я могу еще бутылку хлопнуть. Вы думаете, что я пьян? Ничего подобного. Я с вами разговариваю без дипломатии. Нечего разыгрывать барышню, работа у нас, кажется, одна. Я даже знаю, сколько вы взяли у Нивеля, он мне жаловался, что они разорились. Ну, может быть, вам было труднее, согласен, в России эта штуковина не два года, а тридцать два. Вас куда Нивель направил? К нашим или к французам?

— К секретарю французского посольства.

— Значит, к своим. Ну, и много вы людей подцепили?..

Саблон пожал плечами:

— Я журналист, а не шпион.

Билл расхохотался:

— Вот это школа!.. Значит, и со мной боитесь говорить? Ну ладно, пейте. А я вас не боюсь. Я здесь на тигров охотился. Это называется «Крестоносцы свободы», в общем дерьмо, но одного стукнули... Теперь приеду, напишу книжонку. За нее можно получить тысяч пятьдесят...

Он начал вслух прикидывать, с каким издательством лучше всего договориться.

Саблон его не слушал, был поглощен своими мыслями. Конечно, Костер пьян. Но он говорит всерьез. Теперь я понимаю, почему де Шомон настаивал на именах, спрашивал, не нужны ли мне деньги, говорил: «Наш долг — поддержать недовольных». Мерзость!.. Это не газетное агентство, это контора по найму убийц. Сенатор Лоу, какой-то Робертс... Вот куда я попал!.. Ясно, почему прибегал Отфей,— боятся, что выскользну... Но я ведь честный человек... Хорошо, я взял аванс. Большой, это правда. Я виноват, что не задумался, почему они столько платят.

Но можно продать домик, все продать и вернуть аванс. Я всегда жил честно. Попал даже в Освенцим... Неужели для того, чтобы так кончить? Я должен что-то сделать, сказать, что я ни при чем!..

Он выпил залпом стакан и почувствовал, что хмелеет; хотелось говорить, но трудно было ворочать языком. Да и с кем говорить? Разве это человек? Это Билл Костер. Вся Америка знает, что он грязный пасквилянт... Он вдруг сказал вслух:

— Разве вы человек? Вы Билл Костер...

Сейчас он меня трахнет, подумал Саблон, ну ничего, я его тоже трахну, будет драка, в гостинице перепугаются... Но Костер добродушно засмеялся:

— Это правда. Я жене так говорю, когда нужно диктовать: был человек, а стал Билл Костер. Мне не нравится только, что вы мрачный. Пейте, у меня в портфеле еще бутылка. Есть чем промочить жабры... Может, вы к коньяку привыкли, здесь есть и французский, это они еще признают... Мой вам совет: когда разделаетесь с Нивелем, напишите книгу о России. Это поинтересней, чем Прага. Можно заработать бешеные деньги. Обстановку вы теперь знаете, а остальное — дело недели, придумаете что-нибудь пикантное. Например, вы познакомились с ученым, который изготовляет атомные бомбы. Его сына красные сослали в Сибирь. Он колеблется, вы с ним говорите по душам, ну и так далее, вам-то объяснять нечего, вы сами журналист. Хотите, я поговорю в Америке с издательством?..

Саблон не вытерпел:

— Я человек, а не Билл Костер. Я такой мерзостью не занимаюсь.

На этот раз Костер действительно рассвирепел, но он не ударил Саблона, он только закричал:

— Ах, вы благородный? Ясно, с «Трансока» вы содрали вдвое, это я точно знаю. Интересно, сколько вы еще прихватили в посольстве?..

Саблон крикнул:

— Да я брошу эти деньги в физиономию Нивеля! Я думал, это газетная работа, а это грязь. Для таких, как вы... Завтра же крикну. На весь мир. Поняли? И убирайтесь! Вся комната вами провоняла. Живо!..

Костер неожиданно протрезвел. Он спокойно взял портфель, сказал:

— Вас нужно бы смять в лепешку. Я, кстати, изучил «джиу-джитсу», могу справиться с человеком посильнее. Но я вас сам споил, это будет нечестно. Желаю вам выспаться.

Когда Костер ушел, Саблон повалился на диван в изнеможении. Зачем я столько пил? Нужно сейчас же протрезветь! Я должен вылететь завтра утром. Который сейчас час? Половина второго... Значит, через несколько часов. Я напишу правду, я не знал, зачем меня послали. Если не напечатает «Монд», отнесу в «Юманите». Пусть говорят, что я коммунист. Я не хочу, чтобы меня считали Костером. Я не Костер, я человек...

Комната закачалась. Саблону казалось, что он летит в Париж. Они попали в грозовую тучу. Ну и болтает!.. Сейчас прилечу. Нужно написать сразу. Назову «Исповедь обманутого». Нет, это глупо — как обманутая любовником белошвейка... Нивель, наверно, обманывает свою уродку... Мысли путались. Он уснул.

Костер, пройдя в свой номер, задумался. Конечно, Саблон надрался, но он не прикидывался. Я сделал ужасную глупость — нельзя было с ним говорить откровенно. Но откуда я мог знать, что они его водят за нос? Нивель мне сказал: «Саблон согласился работать в Москве. Это самая важная точка — нужно объединить оппозицию...» Я говорил с ним, как с товарищем, а он хотел на меня броситься. Такой может выступить с разоблачениями. За это, говорят, здорово платят. Сошлется на меня. Тогда мне конец: такого никто не простит. Я боялся поскользнуться на Зейде, а Саблон куда опасней... Нужно сейчас же предупредить Нивеля.

Он вызвал такси. Пожалуй, слишком рано. Но спокойнее ждать на аэродроме. Какая все-таки поганая история!

Саблон проснулся поздно с тяжелой головой. Он попробовал закурить и сразу бросил сигарету: вспомнил Костера. Нужно ехать... Он посмотрел на часы и выругался: проспал. Он сошел вниз, портье ему сказал:

— Самолет на Париж будет только завтра утром. Господин Костер сегодня поехал на аэродром очень рано, он просил вам передать, что он вас очень благодарит...

46

Костер не был трусом; во время войны ему не раз приходилось попадать в переделку, ради газетной сенсации он готов был полезть под огонь. Почему же он так нервничал, сидя в пустом буфете аэродрома? Может быть, сказались события последних дней: бегство Зейды, позорный финал «крестоносцев», оскорбления, нанесенные ему Саблоном? Или просто он недопил? В голову лезли вздорные мысли. Вдруг Гобза рассказал какому-нибудь негодяю, что Зейда ходил за инструкциями к Костеру? Он ясно представил себе старого дурака, который кается перед первым встречным: «Убийство Ружички не вяжется с принципами Массарика...» А Саблон взбесился. Кто знает, не побежал ли он с пьяных глаз в полицию? И Костер вздрагивал, когда кто-нибудь входил в буфет.

В самолете он сразу успокоился, даже пришел в хорошее настроение; жадно выпил кофе, которое принесла стюардесса, попросил рюмку коньяку. Было чудесное утро. Костер глядел в оконце: холмы, города, дороги, тоненькие, как линии на чертеже, а по ним движутся точки — машины. Германия или еще Чехословакия? Сверху все страны удивительно похожи одна на другую, все кажется милым и ничтожным. Говорят: «С птичьего полета»... Да, у крохотной пичуги есть возможность посмотреть сверху на целые государства, она должна чувствовать, как Билл, спокойствие, смешанное с некоторым презрением к людям. В общем он и на земле чем-то выше других. Конечно, он ухлопал почти год на дурацких «крестоносцев» — он договорился с Нивелем, получил деньги, а он честный человек. Но ему наплевать, какой строй у чехов. Он вмешался в их жизнь не как заинтересованное лицо, а как судьба. Если бог существует, богу все равно, кто победит. Он решает это наугад. Решил в последнюю войну: пусть победят союзники. Бомб ведь хватает на всех, а лавры он должен швырнуть кому-нибудь одному. Все это лотерея. Воевать, конечно, придется: нельзя так долго готовиться к войне, а потом переменить пластинку, это слишком глупо. Впрочем, воевать — тоже глупо: сначала десять лет строят, потом в десять секунд

уничтожают. Конечно, Костер предпочитает, чтобы побили русских: как-никак он — американец. Но он далеко не убежден, что американцы правы. Это как с двумя Гобзами, трудно сказать, который из них прав, ясно только, что они рассорились. Зейда работал в гестапо, потом с американцами, ухитрялся писать в газете у красных. Это, конечно,— свинство, но, может быть, Зейда прав: живет человек недолго и в общем довольно скучно, политика треплет нервы, а деньги нужны — без денег совсем ерунда. За книгу о Чехословакии много не заплатят — Прага не Москва. Но все-таки можно вырвать тысяч тридцать...

Костер заснул, и стюардессе пришлось долго его трясти, когда самолет пошел на посадку.

Билл решил сразу поехать в агентство. Не осталось и следа недавнего благодушия; он злобно думал, что за жалкие деньги подвергся ужасному риску. Его могли арестовать, убить. А Нивель тем временем спокойно писал бы стишки. Разве это не пакость? Теперь рыжий начнет приставать, на что ушли деньги, где хвосты «крестоносцев», с кем связаться для дальнейшей работы. А Зейда сбежал... Конечно, у Костера козырь: он опередил Саблона, спас «Трансок». За одно это ему следует дать по меньшей мере двадцать тысяч. Но рыжий скуп, как крыса...

Войдя в просторный кабинет Нивеля, Костер возмущенно воскликнул:

— Ну знаете!..

Нивель позеленел. Мало ему истории с Саблоном!..

— У вас какие-нибудь неприятности?

Билл зло рассмеялся:

— Вы называете это неприятностями? Меня чуть было не пристрелили. Я вам давно говорил, что ваш тесть — дурак. Впрочем, и вы хороши!.. Интересно, где ваши «девять десятых против»? Там чертовски трудно работать. И все-таки я не уехал бы... Но случилась неслыханная пакость — вы хотели разыграть Саблона, а он теперь собирается разыграть вас. Как вы могли ему рассказать о планах рыжего?

— Я с ним был очень осторожен. Может быть, секретарь нашего посольства в Москве сказал ему что-нибудь лишнее.

— Не рассказывайте мне чепухи! Как может француз в Москве знать, чем я занимаюсь в Праге? Саблон в курсе всего. Он сказал мне, что собирается «крикнуть на весь мир». Вы понимаете, чем это пахнет? Я бросил все, чтобы опередить его хотя бы на день.

Костер рассчитывал, что его слова произведут сильное впечатление; но Нивель не только не взволновался, он даже успокоился: по крайней мере с Костером все благополучно... Билл разозлился:

— Это вас не трогает?

— Я знал это раньше: меня предупредил де Шомон из Москвы, потом сообщали из Праги. Я в свою очередь предупредил сенатора. Мы заготовили статейку... А вот насчет Праги это действительно непонятно. Де Шомон не мог с ним говорить о вас. Может быть, чешская полиция?.. Саблону хотят поручить радиопередачи для Франции, он пользуется полным доверием красных. За вами, наверно, следили. Или был провокатор...

— Теперь вы понимаете, что́ придумал рыжий? Я рисковал головой... Но оставим меня. Если Саблон заявит, что американский журналист причастен к убийству Ружички, это будет неслыханный скандал. Интересно, что́ тогда скажет ваш тесть... Покажите-ка,—что вы написали?

Прочитав статью Нивеля, Билл пренебрежительно усмехнулся:

— Стихи вам удаются лучше. Это не рыбка, здесь надо бить в глаз. Насчет сирены — ерунда. Кто помнит такие глупости? В Праге был один прохвост, он тоже ни к селу ни к городу говорил о Сатурне. А потом удрал... Из всей статьи мы оставим два факта: продажу краденых картин и работу в гестапо. Главное — опровергнуть все, что он может сказать...

Костер снял пиджак, развязал галстук и сел за работу. Он начал с фразы, которая должна была сразу привлечь внимание читателей: «Перейдет ли холодная война в горячую? Красные ведут кампанию за мир. Наш вашингтонский корреспондент сообщает, что президент Трумэн не клюнет на эту удочку. Политике умиротворения положен конец. Американцы не раз заявляли, что пока красные не подымут железного занавеса и не признают принципа свободы информации, никто с ними не станет

разговаривать. Кремль попал в трудное положение. Красные решили оправдаться перед общественным мнением и доказать, что американские журналисты якобы занимаются шпионажем и диверсиями. В качестве жертвы коммунисты облюбовали молодое агентство «Трансок». Это агентство основано группой независимых журналистов и преследует одну цель — правдивую информацию. Достаточно сказать, что «Трансок» распространяет статьи выдающихся деятелей культуры всех стран и всех политических окрасок, как, например, профессора Сиднея Хука, французского писателя Жюля Ромэна, автора романа «Бесконечность и нуль» Артура Кестлера, немецкого социалиста Шмидта и всемирного прославленного философа Бертрана Рассела. Кто же должен был выполнить коварный план красных? Выбор пал на французского журналиста Саблона, который пользовался репутацией честного и независимого человека. Никто не догадывался о подлинной деятельности агента Москвы № 1. Разоблачить его помогли два лица: блестящий американский журналист Билл Костер и красивая блондинка с глазами вампира, которую зовут Соня».

После этого вступления Билл описал жизнь Саблона, начиная с детских лет. Саблон связался с русской разведкой в 1936 году. Тогда он регулярно встречался в кафе «Клозери де лиля» с советским резидентом, известным под кличкой «Муром». Этот последний уплатил Саблону единовременно двести восемьдесят тысяч франков.

Описав поездку Саблона в Испанию, Костер переходил к событиям мая 1940 года: «Военные специалисты до последнего времени не понимали, каким образом один из мостов через Маас не был взорван, что облегчило неприятелю вторжение во Францию. Теперь мы знаем, что Саблон, работавший по указанию красных с германской разведкой, задержал приказ о взрыве моста. Об этом, как и многом другом, может подробно рассказать его сообщница, блондинка Соня, с которой он прожил семь лет и которую бросил ради звероподобной мулатки Зузу».

Подробно рассказав о работе Саблона в гестапо, Костер писал: «Когда Кремль решил взорвать агентство «Трансок», Саблон попросил директора европейского отдела агентства г-на Ниверя, известного поэта, автора

книги «Роза Миссисипи», послать его в Москву. Г-н Нивель, к которому мы обратились за разъяснениями, любезно ответил нам, что он долго колебался. Он знал Саблона как опытного газетного работника, но его смутили разговоры журналиста о том, что в Москве он предполагает связаться с оппозиционными кругами. Г-н Нивель указал Саблону, что корреспонденты агентства «Трансок» ни в коем случае не должны вмешиваться во внутренние дела стран, куда их направляют. Саблон обещал принять это к сведению. Г-н Нивель сказал нашему парижскому корреспонденту, что его удивило то, как быстро русские предоставили Саблону въездную визу. Саблон провел несколько месяцев в бывшем царском дворце на берегу Черного моря, где устраивал настоящие оргии. Туда же он выписал мулатку Зузу. Потом он вылетел в Прагу. Все знают, что происходит в несчастной Чехословакии после февральского переворота. Коммунисты не в силах справиться с чехами; то и дело возникают различные подпольные организации. Красные решили изобразить все это как происки американских журналистов. Саблон должен был заявить об этом, сославшись на то, что он работает в агентстве «Трансок» и знаком с его темными махинациями. Желая придать больший вес своему заявлению, Саблон попытался заручиться поддержкой пражского корреспондента агентства «Трансок» Билла Костера и предложил ему мерзкую сделку: Костер должен был подтвердить, что он снабжал средствами подпольную организацию «Крестоносцы свободы», которая недавно убила чешского коммунистического лидера Ружичку. Изумленный наглостью Саблона, Костер воскликнул: «Почему вы хотите, чтобы я лгал и чернил мою родину?» Саблон цинично ответил: «Вы получите за это восемьдесят тысяч долларов». Билл Костер одно время увлекался японской борьбой «джиу-джитсу», это жизнерадостный и бодрый американец, Саблону пришлось на себе ознакомиться с его спортивными возможностями».

В конце статьи Костер рассказывал, как в агентство «Трансок» явилась красавица Соня, дочь русского аристократа Т., которую Саблон заставлял выполнять различные темные поручения. «Может быть, эту женщину извела ревность, может быть в ней проснулась совесть, так или

иначе, она заявила, что согласна подтвердить свои показания перед органами юстиции, но просит не оглашать ее фамилии, так как опасается мести красных. Многие крупные журналисты во главе с редактором «Орор» потребовали исключения Саблона из Ассоциации прессы. По последним сведениям, делом Саблона заинтересовались следственные органы. Можно сказать, что карьера агента Москвы № 1 закончена».

Прочитав статью, Нивель улыбнулся:

— Это действительно в глаз. Вряд ли Саблон переживет такой удар.

Костер вытер рукавом рубашки мокрый лоб.

— А как, по-вашему,— переживет ли такой удар Билл Костер? Я год ничего не писал, испортил нервы с этими проклятыми чехами. Я сам не понимаю, как мне удалось убежать!.. Я спас от гибели ваше поганое агентство. Можете написать вашему тестю, что если он теперь не раскошелится, то Билл Костер рано или поздно выведет его на чистую воду. Это — мое последнее слово. А теперь я пойду — пить или спать...

47

Узнав, что Костер улетел, Саблон громко выругался. Наверно, боится, что его арестуют, доигрался... Доложит Нивелю, что я его вышвырнул. Нивель скажет: «А аванс?..» Прилипнут сразу, как только выйду из самолета... А это настоящая банда, засылают шпионов, убийц. Хотели и меня втянуть, это ясно. Нужно сейчас же что-то предпринять. Лучше всего пойти к чехам, сказать: «Я — журналист. Мне коммунизм не нравится, но не в этом дело. Меня хотели использовать для гнусных целей. У вас имеются какие-то «крестоносцы», они убивают своих политических врагов. Я тут абсолютно ни при чем, я не согласен, более того: возмущен...» Саблон решил: так и сделаю. Откладывать нельзя, может быть они сегодня собираются еще кого-нибудь убить. Он попросил портье позвонить в министерство информации и сказать сотруднику, который приходил позавчера, что он хочет с ним побеседовать.

Он поднялся в свой номер. Окно выходило на глухой двор. В полумраке уныло светилась настольная лампочка. Он лег на диван и вдруг вскочил. Что я собираюсь сделать! Из одной гадости лезу в другую... Конечно, Костер — негодяй. Но донос остается доносом... Я даже не знаю, на кого доношу. Может быть, эти «крестоносцы» — порядочные люди? Баннелье ненавидит коммунистов, а он — честный человек... Я не должен вмешиваться в их дела. Нужно написать об агентстве, сказать всю правду и напечатать — только не здесь, а в свободной стране, где мне могут ответить. Завтра я буду в Париже, сейчас же отнесу статью в «Монд» или в «Комба». Это мой долг. А доносами я не буду заниматься. Я еще в школе понял, что ябедничать подло, даже когда ты прав...

Постучали — пришел сотрудник министерства информации.

Саблон растерялся, долго его усаживал, хвалил Прагу, наконец сказал:

— Вы меня простите, что я вас потревожил, я думал, что мне удастся задержаться в Праге, и хотел попросить показать ваши школы, заводы. Но, к сожалению, только что я узнал, что завтра должен быть в Париже. Мне, право же, очень неудобно...

Когда чех ушел, Саблон сел к столу и начал писать, писал он быстро, крупным, размашистым почерком: «Я всегда был сторонником сближения между различными государствами и поэтому принял предложение агентства «Трансок» поехать в Москву. Я не знал, что это агентство прикрывает отвратительные преступления. В Москве секретарь французского посольства де Шомон хотел, чтобы я ему сообщал имена лиц, не согласных с политикой советского правительства. Это может показаться невинным занятием. Я приведу другие факты. Пражский корреспондент агентства «Трансок» г-н Костер сказал мне, что он связан с подпольной организацией...» Он тщательно зачеркнул написанное: тот же донос. Нужно говорить о тенденции, не касаясь людей: «Я боюсь, что в наше тревожное время некоторые газетные предприятия, в частности агентство «Трансок», отвлекаются от целей свободной журналистики и вмешиваются в политическую жизнь других стран». Он зачеркнул и это. Не убедительно, по-

детски. Что значит «боюсь»? Я ведь знаю, что они здесь убили какого-то человека. «Политические страсти, какими бы благородными мотивами они ни сопровождались, могут привести к отвратительным поступкам. Агентство «Трансок» не только не служит делу сближения между народами, а разжигает вражду. Его представители выполняют задания различных разведок...» Нет, и это плохо: говорю, что они мерзавцы, а в чем дело, не объясняю. Нужно назвать Костера, Ниveля, де Шомона, Лоу. Да, но разве у меня есть доказательства? Костер скажет, что он ничего не говорил. Нивель напишет, что я — жулик, что я вырвал большой аванс, ничего не написал, а теперь возвожу поклеп, чтобы избавиться от работы. Де Шомон ответит, что это выдумки, меня в Москве так настроили... А что́ я знаю насчет Лоу? Только что он — тесть Нивеля... Это — ребячество.

Он скомкал листы бумаги и снова лег на диван.

Промучившись весь день, вечером он составил короткое письмо в редакцию: «До меня дошли слухи о политической деятельности агентства «Трансок», выходящей за пределы задач обыкновенного газетного агентства. Считаю своим долгом заявить, что я согласился поехать от названного агентства в Москву, как журналист, и что я отвечаю только за мою работу. Я стою вне политических партий и желаю одного — мира. В Москву я поехал не для того, чтобы судить, хорош или плох советский строй, а для того, чтобы выяснить, есть ли возможность предотвратить войну. В ближайшем будущем я предполагаю осветить эту проблему и описать, что думают об этом сами русские».

Завтра, решил он, передам это Нивелю. Он, наверно, приедет на аэродром, можно будет сразу объясниться. В письме нет для него ничего обидного. Я ему прямо скажу, что коммунистом не стал и не стану, но русские хотят мира, нужно работать над сближением. Если он согласится опубликовать письмо, я напишу для них статьи. А если откажется, скажу, что верну аванс, пусть только повременит, у меня таких денег нет, нужно продать дом. С письмом пойду в «Монд». Пожалуй, лучше поговорить сначала с Бедье, он порядочный человек, участвовал в

сопротивлении, а если Бедье поддержит, все газеты напечатают.

В пути он волновался: сейчас увижу Нивеля. Он кисло улыбнется, спросит, как я доехал, я отвечу: «Прекрасно»,— наступит отвратительное молчание...

Никто, однако, Саблона не встречал. Он облегченно вздохнул, день начинается неплохо. Он поехал к себе. Квартира казалась нежилой: закрытые ставни, картины, прикрытые оберточной бумагой, мебель в чехлах. Он раскрыл ставни в кабинете, увидел стол, машинку — и огорчился: придется сесть писать. Ему захотелось сейчас же уехать в Кемперле. Ничего не случится, если он передаст Нивелю письмо через три дня. Нужно передохнуть. Он поехал на вокзал и обрадовался: через сорок минут скорый поезд на Кемперле... В купе никого не было, и Саблон подумал: сегодня мне действительно везет. Он ехал веселый: вечером увижу своих, а завтра, с утра, к морю...

В Анже он вышел проветриться, поезд стоял двадцать минут, он выпил кофе, купил в киоске десяток газет. Вернувшись в вагон, он отложил газеты, стал снова мечтать: жена, Мадлен, красные и синие анемоны, рыбацкий парусник... Высунувшись в окно, он почувствовал знакомую свежесть: недалеко море... Лениво он развернул «Самди суар» и удивился: кто это? Похож на меня... Да это я, только фотография странная — какой-то каторжник. Но почему они печатают мою фотографию?.. Только теперь он увидел огромный заголовок «Агент Москвы № 1». Будучи в Москве, он часто думал: если я напишу, что русские не хотят воевать, меня объявят коммунистом, найдутся такие, что скажут — подкуплен. Но сейчас газета его настигла врасплох. Он отшвырнул лист, высунулся в окно. Может быть, не читать?.. Он рассердился на себя, закрыл окно и подобрал газету.

Сначала он смеялся,— рассказ о том, как он продавал картины Веласкеса, его развеселил. Дойдя до истории с мостом и с работой в гестапо, он выругался, но сохранял спокойствие. Он вышел из себя, когда прочитал, что пытался подкупить Костера. Все понятно, ему хотят заткнуть рот. Недаром Костер бросил недопитую бутылку и помчался на аэродром. Настоящие гангстеры! Но это им не удастся, здесь не Америка, здесь нельзя надеть на чело-

века намордник. Теперь нужно написать все: шпионы, убийцы, он сорвет с них маску!

Он забыл, куда едет, забыл, что послал телеграмму жене, и растерялся, увидев в окно Мадлен. Да это же Кемперле!

— Что с тобой? — спросила жена.— Мы тебя едва нашли. Почему ты не выходил?

Он смутился:

— Прости, Люси, я очень устал. Потом случилась ужасная пакость. Я тебе после расскажу... Нужно спросить, когда поезд на Париж, мне придется сегодня же уехать.

С трудом жена уговорила его переночевать. Он не хотел говорить о статье при дочке. Они тихо посидели на маленькой веранде. Шел теплый дождик: пахло сырыми листьями, левкоями, морем. Саблон любовался Мадлен: она выросла и похорошела. Настоящая женщина... Он забыл об агентстве. Потом Мадлен ушла спать. Он показал жене газету:

— Прочти... Нам придется продать дом...

Он знал, что Люси — верный друг. Когда он порвал с редакцией, потому что написал правду о Франко, им пришлось пережить очень трудное время. Не было денег, двухлетняя Мадлен тяжело заболела, он ничего не делал, ходил, как тень,— так у него всегда бывало, после вспышки им овладевала апатия. Люси тогда выходила девочку, выходила и Саблона. В этой маленькой кокетливой женщине, обожавшей модные журналы и романы Бенуа, была необычайная крепость, умение в самые тяжелые минуты улыбаться и любую работу выполнять незаметно. Во время оккупации она помогала мужу. Его арестовали, она по ночам плакала, а днем работала, шила: нужно было прожить, спасти Мадлен. Когда случилось чудо и Саблон вернулся из Освенцима, она слегла. Врачи говорили: «Истощение нервной системы»,— она знала, что заболела от счастья.

— Кто это написал? — спросила она, отложив газету.

— Не знаю. Может быть, Костер. Он приходил ко мне в Праге. Ты понимаешь, они хотят заткнуть мне рот...

Он рассказал про разговор с Костером. Теперь он больше не связан, может назвать имена. Он скажет, чем

они занимаются. Завтра же он пойдет к Бедье. Этого не могут не напечатать...

Люси сказала:

— Я боюсь, что это будет очень трудно... Ты не огорчайся, я убеждена, что напечатают... А с деньгами не волнуйся, можно продать дом, вообще это устроится... Тебе нужно обязательно выспаться, у тебя глаза красные. Ложись. Поезд ведь в девять.

На следующее утро жена и Мадлен проводили его на станцию. Когда Мадлен на минуту отошла в сторону, Люси как бы невзначай спросила:

— Что это за Соня? Ты мне никогда не говорил...

Он вскипел:

— Значит, ты веришь?..

Напрасно она говорила, что сказала шутя, что смешно придавать этому значение, он холодно с нею простился, не выглянул из окна.

Он ехал мрачный. Даже Люси поверила!.. Люди окончательно поглупели. Вот этот толстяк меня рассматривает, наверно, читал статью, узнал по фотографии и прикидывает, не собираюсь ли я его зарезать. Пакость!

Потом он начал себя приободрять. На Люси нечего обращать внимание: когда женщина ревнует, она теряет здравый смысл. Они перегнули, такому не поверит даже идиот. Бедье поймет, что это нельзя оставить безнаказанным. Тень ложится на Францию. Он, наверно, не знает, чем занимаются некоторые дипломаты. Де Шомон играет с огнем. Неизвестно даже, на кого он работает, может быть ему приказывает Лоу. Такие вещи могут нас завести далеко...

В последнюю минуту он взволновался: вдруг Бедье нет в Париже? Потом он может не принять, ответит, что занят, он действительно очень занят. Тогда дело наполовину проиграно: второго Бедье нет...

Бедье оказался в Париже и сразу принял Саблона. Он дружески расспрашивал, как выглядит Москва, с кем Саблон там встречался. Саблону хотелось поскорее перейти к «Трансоку», но Бедье слушал с таким интересом, что Саблон невольно увлекся, рассказывал подробности, не забыл описать Крылова. Бедье спросил:

— Если подытожить, они, по-вашему, не собираются воевать? Вот видите, я там не был, но я все время говорю

то же самое. Ужасно, что они нам не доверяют и от этого иногда ведут себя так, как будто собираются воевать. Есть в этом и наша вина: газеты часто пишут лишнее. Я уж не говорю об американцах, там слишком много дураков, причем у каждого дурака своя газета, где он может напечатать все, что ему придет в голову. Хорошо будет, если вы опишете вашу поездку. Вы правы, нужно сделать все, чтобы разрядить атмосферу.

— Я-то напишу, не знаю только, где я смогу напечатать. Мне хотят зажать рот... Вы читали статью обо мне?

Бедье улыбнулся:

— Кто же это примет всерьез? Да и напечатано в самой низкопробной газетенке. Погоня за сенсациями, американизм... Чего стоит история с картинами, как будто холсты Веласкеса валяются на мостовой... Неужели вы этому придаете значение?

— Не статье, ее авторам...

Саблон рассказал Бедье о деятельности «Трансока».

Бедье внимательно выслушал, потом сказал:

— Я ваш старый друг. Не знаю, помните ли вы маленький эпизод. Во время сопротивления к вам приезжал доктор Лафосс, он был в звене «Жанна д'Арк». Он вам рассказал, что ваши статьи в Бриве люди знают чуть ли не наизусть. Помните? Я тогда просидел много ночей — у нас не было ротатора, и я их переписывал от руки. Это было прекрасное время, мы все тогда были романтиками. Вы и теперь говорите, как романтик, а мы, политики, осуждены на трезвость. Я понимаю ваши чувства, но я обязан быть сдержанным. Вы сказали, что русские хотят мира. Я с вами согласен. Но я считаю, что их миролюбие возрастает по мере того, как возрастают силы Запада. Если мы с вами здесь мирно беседуем, то этим мы обязаны в первую очередь Америке. Я буду с вами откровенен, у правительства трудное положение: коммунисты идут на все, чтобы поссорить нас с американцами. Вас здесь не было в августе, когда демонстранты пытались прорваться на площадь Конкорд к американскому посольству... Мы не можем лить воду на мельницу коммунистов... Вы возмущены закулисной стороной агентства «Трансок». Я думаю, что вы немного преувеличиваете, вы и в этом остаетесь романтиком. Вряд ли они действительно уби-

вают, скорее кричат, что убьют, и под это получают доллары. Погодите... Так или иначе «Трансок» — американское дело. Правда, есть Нивель. Но разве Нивель — политик? Он — прекрасный поэт, и только, нельзя к нему подходить с общей меркой. Когда мы с вами были в сопротивлении, он сидел в префектуре и писал стихи о Цирцее. Я его не обвиняю, это такой человек. Вы сами сказали, что всем в «Трансоке» управляет какой-то Робертс, я никогда не слышал этого имени, но допускаю... Я не был, кстати, в восторге, когда узнал, что вы поехали в Москву от них, но это — дело прошлое... Что вы хотите, в Америке много эксцентриков, это молодой народ, они еще не перебесились. Один предлагает в двадцать четыре часа уничтожить всех китайцев, другой разрабатывает план похода Тито на Москву, третий поручает Биллу Костеру устроить переворот в Праге. Все это неслыханно глупо, но вы сами понимаете, что мы не можем разругаться с американцами и остаться одни... Послушайте, Саблон, меня считают оптимистом, говорят, что я часто обещаю невыполнимое. Это правда, такая у меня профессия... Но я вам хочу помочь, и я сейчас все взвешиваю. Не будьте Дон Кихотом. Если вы вступите в бой с «Трансоком», погибнете вы, а не они. За их спиной слишком большая сила. Да и зачем вам, прекрасному журналисту, французу, то есть представителю культурной нации, тратить силы, здоровье, время на борьбу с каким-то подозрительным агентством?

— Что же, по-вашему, я должен молчать?

— Нет, я не хочу, чтобы вы молчали. Разберем по пунктам. Первое — ваши отношения с агентством. Я думаю, что это можно уладить. Вы рассказали, что получили аванс. Ничего в этом нет плохого, вы долго не работали, протратились. Возвращать аванс глупо. Пункт второй — статья, посвященная вам, вернее, пасквиль. Этого я не оставил бы без ответа. Если вы позволите, я набросаю черновик. Конечно, вы пишете в тысячу раз лучше, но в данном случае я думаю не о блеске пера, а о правильном политическом подходе — нужно обдумать каждое слово. Наконец вопрос о ваших статьях. Я убежден, что после того, как вы ответите письмом в редакцию, вы сможете легко устроить статьи о России в одной

из крупных газет. Если вы не возражаете, я поговорю с Дюмоном...

— Все это сейчас неважно — и аванс и статьи. Значит, вы тоже считаете, что я должен прямо сказать...

— Простите, дорогой друг, что я вас перебиваю, но через двадцать минут я должен быть у Рамадье. Завтра я вам пришлю черновик. Не обращайте внимания на стиль, я не Саблон, я пишу, как провинциальный нотариус... А теперь мне нужно с вами расстаться...

Он крепко пожал руку Саблону.

На следующий день один из секретарей Бедье привез Саблону проект письма в редакцию: «В некоторых газетах была опубликована статья «Агент Москвы № 1», содержащая ряд измышлений, касающихся меня. Вряд ли есть нужда их опровергать, настолько они далеки от истины. Однако я считаю необходимым заявить, что не только никогда не был агентом Москвы, но крайне отрицательно отношусь к советскому режиму, как противному принципам свободы Западного мира и считаю поведение французских коммунистов, поддерживающих Кремль, государственной изменой. Я принял предложение одного из газетных агентств поехать в Москву и описать, как протекает жизнь за железным занавесом. Пробыв полгода в Советском Союзе, я убедился, что твердая политика по отношению к Кремлю и создание Северо-Атлантического оборонительного союза принесли свои плоды. Русские поняли, что агрессия, о которой они мечтали, сопряжена с большим риском, и это сделало их куда более миролюбивыми. Я надеюсь, что, укрепляя наши дружеские связи с Америкой и с демократическими странами Западной Европы, мы сможем сохранить мир и приблизить эру мирных переговоров с Востоком».

Саблон в ярости скомкал листок.

— Передайте Бедье, что я не министерская шлюха, я — Саблон. Ясно? Скажите ему, что он мои статьи переписывал, если он не врет, а я его холуйское письмо не перепишу, напрасно он старался... Грязь у вас, молодой человек! Я говорю, что у вас грязь в министерстве, воняет, пора проветрить...

Секретарь доложил Бедье:

— Я был у Саблона, Он, видимо, эпилептик, у него сделался настоящий припадок, он растоптал письмо, что-то выкрикивал...

Бедье задумался. Как бы не упустить Саблона? Конечно, русские его смутили, но он — человек старой формации, обладает иммунитетом... Нельзя только на него наседать. Если они потребуют, чтобы он вернул аванс, он окажется в ужасном положении. А когда человек гибнет, он способен на любую глупость.

Бедье ужинал у Нильса. Зашел разговор о прессе, и Бедье, воспользовавшись этим, рассказал о злоключениях Саблона.

— Может быть, Костер и подходит для Чехословакии, но здесь другие нравы. Он напрасно разговаривал с Саблоном. Я уж не говорю о статье... Нельзя ставить Саблона в безвыходное положение. Это крупный журналист, у него есть имя.

Нильс усмехнулся:

— Вы сказали, что Костер годится для Чехословакии? Не думаю. Он вряд ли годится даже для Джорджии. Это бегемот в посудной лавке.

Нильс был суеверен и потом говорил себе, что, припомнив бегемота в посудной лавке, накликал беду. К нему пришел генерал Раджен. Нильс решил похвастать своей коллекцией, и генерал, разглядывая табакерки, одну уронил. Это была табакерка из севрского фарфора с портретом «богородицы термидора» Терезы Тальен. Увидев на лице Нильса ужас, Риджен сказал: «Склеят. Теперь артистически клеят. Мне поднесли в Нью-Йорке тарелку — мой портрет, а позади статуя Свободы — и жена грохнула. Склеили так, что не видно»...

Нильс сидел над разбитой табакеркой и думал: все-таки в Америке много дикарей. Для генерала Риджена дурацкая тарелка с его физиономией и шедевр искусства — одно и то же. Он даже не понял, что он сделал. Конечно, Европа — это огромный музей. Мы должны ею управлять. Тот же генерал Риджен на голову выше здешних военных. Все это так, но нужно уметь себя держать: музей не конюшня...

Он вспомнил о Саблоне и решил поговорить с Нивелем.

— Мне не нравится эта история. Саблон может нам повредить...

Нивель стал оправдываться:

— Я принял меры, как только получил первый сигнал. Вряд ли он теперь опасен. Ему осталась одна дорога — в «Юманите».

— Вот это и плохо,— раздраженно ответил Нильс.— Зачем делать такой подарок коммунистам? Я понимаю, что нужно было принять меры, но статья чересчур грубая. Костер думает, что газета — ринг. Он способен все перебить...

Он вспомнил табакерку и едва сдержал гримасу боли.

Нивель растерянно спросил:

— Что же, по-вашему, мы должны сделать?

— Поговорите с Саблоном, скажите, что статья — свинство, что вы ничего подобного не говорили, что Костер — бандит. Одним словом, успокойте его. Мне говорили, что у него плохо с деньгами. Попробуйте подойти к нему с этого края. Нельзя припирать его к стенке...

Ночью Нильс, вооружившись лупой, осмотрел осколки табакерки. Он подобрал все кусочки, но глаз Терезы Тальен не было. Это непоправимо...

Странно, что такой умный человек, как Робертс, делает глупости. Идея «Трансока» превосходная. Но как можно посылать Костера?.. От Лоу я другого не ожидал, это дурак. Но Робертс? А может быть, я отстал, начинаю рассуждать, как европеец? Генерал Риджен сказал мне: «Вы судите обо всем с европейской колокольни». Если так, это плохо. Европа обанкротилась, с каждым годом она падает все ниже и ниже. Французы пробовали протестовать против включения Западной Германии в нашу оборону. Их быстро поставили на место. Грубость иногда не мешает. Конечно, не с табакерками — с людьми...

Саблон удивился, получив письмо от Нивеля.

«Дорогой друг,

пишу вам с душевной робостью — боюсь, что вы считаете меня ответственным за некоторые высказывания, к которым я не имел и не мог иметь никакого отношения. С чувством отвращения я прочитал статью, где мне приписываются слова, которых я никогда не произносил. Мне нужно с вами о многом поговорить, всего на бумаге не

скажешь. Надеюсь, что вы не откажетесь меня принять в один из ближайших дней».

Саблон выругался: подлюга, умывает руки! Неужели он думает, что я ему поверю? Такого мерзавца нельзя впускать в дом... Потом он начал колебаться: человека не так-то легко понять. Если Нивель просит его выслушать, я не могу ему отказать. Может быть, он действительно многого не знал?.. Когда Нивель позвонил, Саблон ответил: «Хорошо. Приходите».

Увидев вежливого, улыбающегося Нивеля, Саблон сразу пожалел о своем решении: нужно было ему сказать, что аванс верну, а с негодяями не встречаюсь. Нивель начал издалека. Говорил о роли случайности в биографии и о свободе выбора. Человек все же выбирает свой путь, хотя бы в плане духовном; события могут быть навязаны, мысли и чувства — никогда. Осторожно он перешел к «Трансоку», сказал, что его не было в Париже, когда агентство обратилось к де Шомону с просьбой поторопить Саблона.

— Вы были в агентстве только раз. Это — целое государство, причем в одной комнате не знают, что делается в другой, ведь мы, французы, в глубине души анархисты... Мне говорили, что вас возмутили разговоры Костера. Я вас понимаю... Я долго жил в Америке, я связан с этой страной, и я имею право сказать, что некоторые американцы меня выводят из себя. Костер — газетный гангстер. Будь американцы умнее, они не давали бы таким субъектам заграничных паспортов... Во всяком случае наше агентство не имеет никакого отношения к этой статейке. Я думаю, вы сами поняли, что я никогда не мог сказать этого о вас, они приписали мне то, чего я не говорил. Я не выступил в печати, потому что опровержения только наруку клеветникам. Зачем приковывать внимание к пасквилю, который прошел незамеченным?..

Нивель время от времени останавливался: ждал, что скажет Саблон. Но Саблон молчал.

— Я хотел с вами выяснить вопрос об опубликовании ваших статей. Мне говорили, что у вас сложилось благоприятное впечатление от русских. Что же, в принципе я не возражаю, у нас ведь информационное агентство без всякой политической окраски. Тем более, что я верю в ваш

такт, вы не захотите оказаться вне нации... Если ваши статьи не подойдут, я вам откровенно скажу. Что касается материальной стороны, мне кажется справедливым такое решение: печатаем мы статьи или нет, все равно мы их оплачиваем, поскольку мы их заказали, а вы потратили время. Конечно, вы не должны их давать в другое место. Я боюсь, что вы истолкуете это превратно, но верьте мне, это только вопрос конкуренции...

Саблон встал. Нивель инстинктивно вздрогнул: говорят, что он сумасшедший, пускает в ход руки... Саблон спокойно сказал:

— Мне сорок четыре года. Оправдываться неопытностью глупо. Когда человек в таком возрасте впускает к себе в дом заведомого подлеца, виноват он, потому что подлец — это подлец. Не знаю, когда он становится подлецом. Вы говорите о роли случайности. Возможно. Во всяком случае с вами такая случайность произошла давно. Что касается денег, аванс я верну. Я понял, что вы хотите подарить мне эти деньги, или, вернее, купить мое молчание. Вот этого вы не добьетесь, я уж достаточно понаделал глупостей. Деньги вы получите до конца года. Если это вас не устраивает, можете подать в суд. Все.

Нивель понял, что больше говорить не о чем, встал, сухо поклонился и вышел. Когда за ним закрылась дверь, Саблон дал волю своим чувствам. Он схватил кипу газет, лежавших на столе, и начал их рвать.

Приехали из Кемперле жена и Мадлен. Саблон удивленно спросил: «Разве каникулы уже кончились?..» Люси знала, что он переживает период исступления, лучше его не трогать, и она старалась быть незаметной. Он с утра уходил, брал большой портфель, в котором лежала тоненькая рукопись — статья о «Трансоке». Он побывал в редакциях четырех газет; повсюду его любезно встречали, возмущались пасквилем, но, как только он заговаривал об агентстве, улыбки исчезали, лица вытягивались. Ему отвечали по-разному: неудобно затрагивать газетное предприятие, это будет воспринято, как нечестная конкуренция, нельзя основываться на частных разговорах, на догадках, это напоминает статью о нем самом, возмутившую всех порядочных людей.

Один из видных сотрудников газеты «Монд» пригласил Саблона с ним позавтракать. Когда Саблон рассказал ему о махинациях «Трансока», он не удивился:

— Я был в Америке прошлой осенью. Мне говорили о Робертсе. Видимо, это колоритная фигура. Он ладит и с республиканцами и с Гарриманом. Конечно, погоды он не делает — у них нет такого разброда, как у нас, все более или менее сконцентрировано... Напрасно вы с ними связались. Я делю французские газеты на две категории: одни служат американцам с рвением, а другие... Другие подчиняются. Возьмите Нивеля. Говорят, что он — хороший поэт. Не знаю, пробовал читать — скучно и не веришь ни слову. Его остроумно назвали «зять из Миссисипи». Да и что от него было ждать? При немцах он делал чорт знает что. Его счастье, что он был далеко в первые месяцы, его бы растерзали...

— Как вы думаете,— спросил Саблон,— есть шансы, что «Монд» напечатает о «Трансоке» хотя бы в виде письма в редакцию?

— Ни в коем случае. Нас и так упрекают, что мы ставим палки в колеса... Ни одна газета не напечатает. Конечно, кроме «Юманите». Поймите, мы теперь связаны с Америкой, а вы хотите выступить против. Это наивно. Я вам советую плюнуть на это дело...

Саблон не успокоился. Он разыскал своего давнего приятеля, журналиста Шомэ, который работал в газете «Франтирер». Саблон его знал со школьных лет. Во время оккупации Шомэ вел себя пристойно, не писал в газетах, бедствовал. Он выслушал рассказ Саблона и сердито сказал:

— Американцы — дураки, это все знают. Америки ты не открыл. Но ты понимаешь, чего ты добиваешься? Ведь это сейчас же подхватят коммунисты, для них такие разоблачения — клад. Я тебе в этом не помощник. Можешь меня считать «продавшимся», как пишут коммунисты...

Саблон решил пойти к товарищу по группе «Ля патри» Баннелье и сказал Люси:

— Баннелье ненавидит коммунистов, но он — честный человек. Я помню, как нас искали гестаповцы. Он тогда сказал Гаро и мне: «Уходите, я их запутаю»...

Баннелье слушал Саблона, усмехаясь, потом сказал:

— Не вижу в этом ничего плохого. Тебя возмущает, что Костер помогал честным чехам? Это с его стороны благородно, человек рисковал головой. Если они убили одного коммуниста, то единственно, в чем я могу их упрекнуть: мало. Нужно убить по меньшей мере десять тысяч. Если ты хочешь итти с коммунистами, пожалуйста. Я буду ждать первой оказии, чтобы приставить тебя к стенке. Гаро был с нами в сопротивлении, но можешь мне поверить, когда его посадят или пристрелят, я плакать не стану. Нечего разыгрывать барышню в белых перчатках. На войне как на войне. Нейтральных нет, это миф девятнадцатого века. Ты не дух святой, а человек, значит, ты должен быть или с нами или с ними.

Саблон улыбнулся:

— Может быть, при случае я тебя приставлю к стенке, но сейчас у меня такого желания нет. Могу с тобой проститься, даже пожать твою руку.

Люси спросила:

— Что сказал Баннелье?

— Что он сказал?.. Посоветовал пойти к коммунистам. Адрес я знал и без него. Нивель говорил о свободе выбора, он ведь поклонник Сартра. А получается, что свободы выбора нет: они меня женят. Мне так же хочется итти к коммунистам, как пьянице в общество трезвости...

— Что же ты решил?

— Решили они. А мне остается только ждать и пить.

Он налил себе рюмку кальвадоса и тоскливо зевнул. Люси отвернулась. Она поняла, что ее муж после нескольких месяцев подъема погружается в смутный тяжелый полусон.

48

Прочитав статью о Саблоне, Лоу удовлетворенно улыбнулся: хорошо написано, ярко, да и правдиво. Узнаю перо Билла Костера. Кроме него, никто не может так написать. Пожалуй, глупо было держать его год в Праге. Правда, они там кое-что сделали, Робертс доволен, но нельзя же скрипкой забивать гвозди... Я был несправедлив к Нивелю. Конечно, он — француз, а француз не

может быть серьезным человеком, но он нашел выход, теперь этому Саблону не удастся пролезть ни в одну порядочную газету, у него на лбу красное клеймо... Обидно, что Мэри связала свою судьбу с французом. Но так хотел бог. А для француза Нивель порядочный. Не всем дано быть американцами, есть много французов, тридцать или сорок миллионов. Это ужасно, но это так. Во Франции мы не можем обойтись без французов, значит Нивель — полезный человек. Я был с ним резок, намекал, что могу его прогнать. Это нехорошо. Нужно послать телеграмму, поздравить его с успешным завершением дела... Красные подослали этого Саблона, они хотят потопить «Трансок». Но господь меня не оставляет...

Сенатор за год сильно постарел, он хворал и начал думать о смерти, чуть ли не к каждой фразе добавлял, «если только бог позволит». Он тосковал по дочери, а Мэри все откладывала свой приезд. Собиралась в апреле, потом в июне, теперь уже сентябрь... Он часто думал, что все свои силы отдает Америке, а семьи у него нет: была одна дочь — и та уехала в Европу. Он утешал себя: может быть, бог меня вознаградит? Если бы кто-нибудь его спросил, верит ли он в бессмертие, он ответил бы «разумеется», возмутившись, что есть люди, которые могут в этом сомневаться. Однако никогда он не представлял себе рая, божья милость казалась ему более близкой: бог может помочь на выборах, поднять цены на хлопок, подарить еще пять, даже десять лет жизни. Он боялся смерти и говорил себе: лучше пусть меня не перевыберут в сенат, пусть разорюсь, лишь бы еще пять лет, хотя бы еще три года. Ему теперь часто становилось дурно; отмирали ноги; он стал плохо слышать; вдруг им овладевал беспричинный гнев, он кричал, топал ногами, а потом валился без сил. Врачи измеряли давление, прописывали лекарства. Он верил в медицину почти так же крепко, как в бога, и пунктуально выполнял все предписания докторов, но, принимая капли, думал: может быть, протяну, если бог позволит,— боялся, что хочет перехитрить провидение и что бог его за это накажет. Последние недели он совсем расхворался: его извела история с Саблоном, Нивель слал тревожные телеграммы, Робертс звонил в неурочное время, над «Трансоком» висела угроза скандала. После одного

из ночных припадков он написал Мэри, что очень по ней скучает, попросил ее ускорить приезд.

Только сейчас, прочитав статью Костера, он почувствовал облегчение. Конечно, красные не угомонятся, но мы им показали, что «Трансок» лучше не трогать. Он продиктовал поздравительную телеграмму Нивелю и начал работать. Он выступит в иностранной комиссии сената. Об его речи будет говорить вся Америка. Он скажет, что после событий в Китае медлить преступно. Господь бог с нами, и мы должны действовать.

Еще зимой Лоу спорил с полковником Робертсом, когда тот говорил, что следовало бы ударить по красным, пока у них нет атомной бомбы. Лоу возражал: красных можно взять измором, не потратив на это ни одного американца.

Однажды, это было в конце февраля, Робертс дал ему меморандум майора Эйде, только что вернувшегося из Москвы. Лоу решил почитать записку на сон, лег, уютно подобрал под себя одеяло и погрузился в чтение.

На следующий день он сказал Робертсу:

— Я вам скажу откровенно, вы меня чуть не убили, я провел ужасную ночь, не помогали никакие лекарства. Это чудовищный документ, у меня даже есть подозрение, что его составили красные.

Робертс улыбнулся:

— Я знаю майора Эйде десять лет. Это один из лучших офицеров нашего отдела.

Лоу растерянно развел руками:

— Говорят, что я упрям, но я умею признавать свои ошибки. Вы были правы. Пожалуйста, не обижайтесь, я думал, что вы романтик, всегда преувеличиваете, горячитесь. А вы были настоящим реалистом... Я рассчитывал, что если красные будут готовиться к войне, они на этом разорятся,— нужно все время их дразнить, как дразнят быка... Вы знаете, что лично я всегда выступал против превентивной войны, достаточно было других предупреждений — каждый месяц какой-нибудь сенатор требовал сбросить на них бомбу. Я уж не говорю о газетах... Мой расчет был таков: красные нервничают, разоряются, а с другой стороны, американцы видят, что я, сенатор Лоу, отстаиваю мир. Я делал это не для себя, а для нашей

партии, для Америки. Я вам скажу откровенно, романтиком был я. Ваш майор пишет, что они вовсе не разоряются, за два года они даже разбогатели. Но если это так, нужно их действительно уничтожить, и не через десять лет, а сейчас...

В его голосе проступили визгливые ноты, предвещавшие недоброе. Робертс стал его успокаивать:

— Я вас умоляю, не волнуйтесь, нам слишком дорого ваше здоровье. Всей Америке... Если вы разрешите, я вам дам совет: продолжайте ту же линию. Вы сами сказали, что в воинственных речах у нас нет недохватки. Красные стараются заполучить людей пропагандой мира: слезы матери, колыбель, голубка, одним словом, манная каша. Не нужно этим пренебрегать, особенно сейчас, ведь выборы на носу. Пусть все видят, что вы, сенатор Лоу, за мир. А когда придет час и вы скажете, что нужно действовать, вам поверят скорее, чем другим.

Совет Робертса показался сенатору мудрым, но чрезвычайно трудным для выполнения: Лоу привык говорить все, что он думает, а Робертс ему предложил в шестьдесят семь лет стать дипломатом. Поразмыслив, сенатор решил в ближайшие месяцы публично не выступать. Это, кстати, полезно и для здоровья. А летом, если бог позволит, он скажет свое слово. Да и обстановка к лету прояснится... Он отводил душу в кулуарах сената, говоря при каждом удобном случае: «Если президент применит бомбу, наши потомки скажут, что он спас Америку». Он теперь читал книги, статьи, посвященные атомной бомбе; чем ужасней были описания, тем спокойней он себя чувствовал. В упоении он рассказывал: ничто не может выстоять за десять миль; если даже не все погибнут при взрыве,— рвота, кровоизлияния, неминуемая смерть через неделю, самое позднее через две. Он добавлял: «Бог дал бомбу только Америке, это нас ко многому обязывает». Никогда он не говорил «атомная бомба», но просто «бомба» — в единственном числе, подчеркивая этим свое преклонение. Есть оружье: снаряды, мины, фугасные или зажигательные бомбы — это обыкновенная продукция, как автомобили, холодильники, утюги, и есть божий дар — бомба.

Пришло лето. Обстановка не прояснялась, а здоровье Лоу ухудшилось. Мэри не приехала. Смидл провел зиму

в Германии, приехал оттуда бодрый, говорил: «Красных проучили — из их затеи ничего не вышло...» Сенатор ему обрадовался, как родному сыну, но посетовал, что он оставил Германию. Смидл объяснил, что вернется в Берлин, как только сможет, а теперь должен съездить домой, там не все гладко. Лоу встревожился, хотел обязательно поехать на Юг, но его удерживали политические события. Все шло из рук вон плохо. Он в ужасе говорил Робертсу: «Китайцев неслыханно много, и мы их теряем с головокружительной быстротой. Я вам скажу откровенно, Китай сыплется, как песок между пальцами. Президент занят своим окружением, там один скандал за другим. Республиканцы хотят выиграть голоса и делают вид, что они не участвуют в игре. А Макартур решил, что он действительно «сын солнца» и попадет живым на небо. Если мы завтра потеряем Формозу, я не удивлюсь»... Начались большие забастовки. Это тоже выводило из себя сенатора, он кричал: «Почему их не арестовывают? Я вас спрашиваю: сколько с ними будут миндальничать? Нам нужен железный кулак, а не розовое желе»...

Он понял, что не может больше молчать. Он должен выступить перед богом и перед Америкой. Пусть это будет в комиссии сената, все равно его слова дойдут до каждого американца.

Если мы будем ждать еще пять или десять лет, красные не только разбогатеют, они научатся делать бомбу. Тогда Америке конец... У Мэри нет детей, род Лоу кончается, так было угодно богу, но все американские дети — потомки Лоу. Я должен спасти для них Америку. У нас один шанс — бомба. Не начинать же обыкновенную войну. Пока мы перебросим армии в Европу, красные дойдут до Пиренеев. Кто их остановит? Французов я теперь знаю, Нивель способен только писать стихи и тратить чужие деньги, а это еще лучший экземпляр... Да и на англичан трудно рассчитывать — говорят о какой-то дурацкой национализации, боятся выступить против китайских коммунистов — словом, выродились. Смидл говорил, что немцы настроены неплохо, но там нет настоящей армии, одни только проекты. Генералу Брэдли нравятся игрушечные солдатики, он счастлив, что командует войсками Люксембурга. Эта оперетка может кончиться трагично. Хорошо,

что есть бомба. Расщепление атома — самое потрясающее открытие во всей истории человечества. Когда-то мы в школе учили про яблоко Ньютона. Глупо. Что изменил закон тяготения? Ровно ничего. А вот бомба меняет все: мы становимся господами мира.

Он писал свою речь и время от времени поглядывал на карту. От Аляски до Москвы четыре тысячи сто миль. Робертс говорит, что это не проблема... Еще ближе из Исландии, а из Берлина вообще рукой подать. Из той же Аляски можно ударить по Уралу, а из Турции легко разнести Баку... Он был в приподнятом состоянии, ему казалось, что «летающие крепости» уже уничтожают красных.

Он пошел в сенат пешком: врачи говорили, что ему нужен моцион. Он увидел мальчика лет пяти или шести, который плакал. Лоу погладил малыша по голове, спросил, где его мама. Мальчик ответил, что мама работает; он играл и поскользнулся, ушиб колено. Лоу зашел в магазин и купил мальчишке плитку шоколада. Он подумал: бог продлевает мою жизнь потому, что есть на свете этот мальчуган, он сможет стать Вашингтоном, Эдисоном, Фордом, если только мы отстоим Америку.

На заседании комиссии первым выступил республиканец Джойс. Он говорил, что Соединенные Штаты слишком заботятся о других в ущерб себе. Волнуясь, Лоу глохнул; все же он кое-что расслышал и возмутился: Джойс думает не о судьбе Америки, а о выборах. Отвратительный эгоизм! Я тоже забочусь не о себе. Бог требует жертв от тех, кого он любит.

Лоу начал с общей картины. Потеря Китая чревата ужасными последствиями. В Европе тоже не все обстоит благополучно, генерал Брэдли мог в этом убедиться. Коммунисты пытаются помешать обороне. У красных наготове триста дивизий, по свидетельству компетентных лиц, побывавших недавно в Москве, Кремль готовится к прыжку на Запад. Есть только один способ предотвратить катастрофу. Мы обладаем оружьем, которого нет у красных...

Сенатор Кэйн что-то закричал. Лоу покраснел от возмущения: неужели и Кэйн вступается за красных? Это неслыханно! Сколько раз он говорил, что необходимо проучить Москву, и вдруг струсил... Лоу повысил голос:

— Мы должны проявить инициативу, пока у красных нет бомбы...

Раздались возгласы. Лоу в ужасе оглядел зал. Где он? Уж не у красных ли? И это американский сенат?..

— Вы меня не перекричите, я — американец, мой дед погиб у стен Ричмонда...

Он полиловел; казалось, еще минута — и он грохнется на пол. Сенатор Кэйн подбежал к нему. Лоу поднял папку, готовый отразить нападение. Но Кэйн крикнул ему в ухо:

— У них тоже есть бомба! Час назад официально подтвердили...

Лоу хотел ответить: «Вздор!» — но не смог, издал глухой стон. Сенатор Кэйн помог ему сойти с трибуны. Председатель объявил перерыв.

Лоу сказал, что откладывает продолжение своей речи до следующего заседания. Он молча выслушал рассказ о прессконференции в Белом Доме, а потом поехал к Робертсу. Войдя в кабинет, он сразу спросил:

— Это правда?

Робертс улыбнулся:

— Мы давно это предполагали, но теперь это бесспорно. Они производили испытания в Центральной Азии...

Лоу возмутился:

— Чего же вы улыбаетесь?

Напрасно Робертс пытался его успокоить: красные отстали, это — чрезвычайно сложное производство, каждая бомба требует невероятных затрат, а у нас есть большие запасы... Лоу всегда слепо верил Робертсу, но теперь он глядел на полковника недоверчиво, даже злобно: Робертс сошел с ума или он надо мной издевается.

— Что значит затраты! — крикнул он.— Вы сами говорили, что они не разоряются, а богатеют. И кто вообще пожалеет денег, когда речь идет о бомбе? Пожалуйста, не обижайтесь, но вы сейчас похожи на страуса. Четыре года подряд вы мне доказывали, что бомба решит все. Они могут завтра прилететь сюда, а вы сидите и улыбаетесь. Я думал, что в Пентагоне по крайней мере знают силы неприятеля, а вы подсчитывали их дивизии и проморгали бомбу. Я вам скажу откровенно, нам остается надеяться только на бога...

Он ушел от Робертса подавленный. Конечно, бог может спасти меня, другого, но если бог дал красным бомбу, почему им не налететь на Вашингтон? Я говорил, что Ачесон играет в дипломатию, он доигрался. Не сегодня завтра от Америки ничего не останется, как от Хиросимы.

Пришел врач, который каждый четверг навещал сенатора, хотел измерить давление. Лоу в ответ завопил:

— Бросьте эти глупости! Не все ли равно, какое у меня давление, когда мы можем сегодня ночью погибнуть?.. Как, вы еще не знаете? Но это уже подтверждено официально: у них есть бомба.

Оставшись один, он стал перечитывать книгу о действии атомной бомбы. Теперь он не восхищался, а в ужасе говорил себе: нельзя спастись даже в убежище. Это конец Америки. Конечно, они прежде всего налетят на Вашингтон. Если убить конгресс, президента, министров, Америка развалится. Они высадятся, где угодно, и профессор Адамс поднесет им букет красных гвоздик. В Миссисипи негры сейчас же перебьют всех белых. Спастись нельзя: через неделю, самое позднее через две, смерть...

Ночью он не смог спать, его одолел сухой, мучительный кашель. Он увидел на носовом платке кровь, и все помутилось: может быть, это кровоизлияние?.. Его тошнило, кашель перешел в рвоту. Пришлось вызвать врача, который прописал препарат брома и сказал: «Главное — спокойствие». Утром, однако, Лоу накинулся на газеты, переполненные рассказами о бомбе красных. Пренебрегая советами врача, Лоу пошел в сенат. Необходимо принять срочные меры. Нельзя подвергать страну риску лишиться лучших людей. Пусть специалисты скажут, можно ли вырыть убежище, достаточно глубокое. Если это неосуществимо, придется перенести конгресс в поезд. Красным трудно будет узнать, где он находится... Наконец можно поставить поезд в туннеле под высокой горой... Некоторые сенаторы говорили, что Лоу прав, другие уверяли, что он преувеличивает опасность, ссылались на Маршалла, который сказал, что от овладения секретом атомной бомбы до ее изготовления огромная дистанция. Лоу не успокоился, ночью с ним снова сделался припадок. Он слышал шум моторов, вскакивал с кровати и глядел в окно, потом ушел в кладовку, где не было окон.

На следующий день к нему приехал Робертс.

— Мне кажется, что вы должны поехать на Юг. Вы говорили, что майор Смидл собирается снова в Германию. Это очень хорошо, он оказал нам неоценимую помощь... Но нельзя оставить, да еще накануне выборов, Миссисипи без руководства. Это один из самых важных штатов, он — опора американского духа. Сейчас более чем когда-либо все американцы должны выполнить свою миссию. Кто же им подаст пример, если не вы?..

Слова Робертса подействовали на Лоу куда больше, чем наставления врачей или заверения Маршалла. Сенатор был пристыжен. Я забыл о своей миссии. Нужно до конца стоять на посту. Робертс прав: мое место сейчас в Миссисипи.

На вокзале Джексона он облегченно улыбнулся: вот я и дома. Насколько здесь лучше, чем в Вашингтоне. Спокойные, доверчивые лица, нет раздражающей спешки, люди не носятся взад и вперед. У них крепкие корни. С такой страной красные никогда не справятся...

Он глазами разыскивал Смидла, который должен был его встретить, и вдруг увидел надпись на стене: «Мы требуем мира!» Он видел такие надписи в Нью-Йорке. Конечно, это проделки красных. Все хотят мира, сенатор Лоу говорит об этом в каждой речи. Но есть мир и мир. Мы хотим, чтобы Америка спасла все народы. А красные пишут «мир», чтобы скрыть свои танки. В Нью-Йорке много красных, это не удивительно. Но здесь... Он был потрясен надписью не меньше, чем сообщением о бомбе красных. Не поддержи его Смидл, он, наверно, упал бы на перрон.

— Что это? — спросил он Смидла, показав на надпись.

— Безобразие! Какой-нибудь красный ночью намарал, а они до сих пор не соскребли. Может быть, начальник станции — тоже красный, надо будет проверить.

На перроне два молодых негра весело смеялись. Лоу показалось, что они смеются над ним.

— Вы не думаете, что эти черные — тоже красные? — спросил он Смидла.

— Вполне возможно. Здесь много красных. Пока я был в Германии, они распустили штат. Теперь мы начали чистить... Хорошо, что вы приехали, вы нам поможете...

Еще минуту назад Лоу едва плелся, выглядел глубоким стариком. Он неожиданно выпрямился, его глаза заблестели. Он понял, что он на войне. Как его дед, погибший у Ричмонда, он сражается за Америку. Это не игра генерала Брэдли в солдатики, здесь идет настоящая битва. Красные хотят захватить Миссисипи. Но есть Смидл, есть тысячи честных американцев, готовых пожертвовать собой. Лоу должен принять над ними командование. Бог даст ему сил. Он бодро сказал Смидлу:

— Мы с ними справимся. Им не поможет никакая бомба. Я вам скажу откровенно: Лоу родился в свободной Америке, и он умрет в свободной Америке. Я сейчас позавтракаю, а потом мы приступим к плану операции...

49

Майор Смидл был суеверен, он говорил себе: все началось с веревки, на которой повесился этот проклятый негр. Конечно, веревка повешенного приносит счастье. Когда в сороковом году Джим повесил негритенка на фонаре возле аптеки, он подарил мне кусочек веревки, и всю войну мне чертовски везло. Другое дело — веревка повесившегося. Один бог знает, как мы выпутаемся из этой пакости!

Уезжая в Германию, Смидл взял слово с судьи Гильмора, что тот выведет на чистую воду адвоката Кларка. Нельзя больше терпеть в Джексоне человека, который открыто говорит, что черные ничем не хуже белых. Такие разговоры могут плохо кончиться; негры и без того распустились. Кларк уверяет, что на конгрессе в Чикаго он говорил о борьбе с преступностью. Но ведь конгресс был созван красными. В Чикаго или в Нью-Йорке люди привыкли к красным; там, зайдя в ресторан или в бар, рискуешь очутиться рядом с бандитом, который преспокойно читает «Дейли уоркер». Ничего в этом нет хорошего, можно привыкнуть к самой поганой болезни, а потом от нее умереть. Север всегда был с гнильцой, теперь он смердит; если спасение придет, то только с Юга. В Миссисипи не должно быть места для красных.

Смидл уехал. Полгода он был занят чужими делами, договаривался с бывшими офицерами рейхсвера, твердил повсюду, что блокада красных будет прорвана, переправлял надежных людей в Восточную Германию. Ему было не до веревки негра.

А судья Гильмор не раз думал, что на Кларке он сломит себе шею. Смидл перед отъездом успел поговорить с несколькими журналистами. Газеты писали, что Кларк, которого они называли «красным адвокатом», передал негру шелковый шнур. «Миссисипи пост», сотрудником которой был майор Смидл, посвятила Кларку длинную статью, заканчивавшуюся словами: «Когда же этот выродок, опозоривший наш славный штат, займет камеру, пустующую после того, как его негр удавился?»

Судья Гильмор был человеком нерешительным. После отъезда Смидла он начал мечтать: как бы замять дело? Однако приятели майора были на-чеку. Судья заехал к Кларку, мялся, спрашивал, как здоровье госпожи Кларк, что поделывает Белла. Осторожно он завел разговор о самоубийстве негра. Кларк его прервал:

— Вы хотите знать, кто довел Гаррисона до веревки? Я вам отвечу: вы. Я знаю, что вы не злой человек, но на вас давили — майор Смидл, прокурор, губернатор...

К прокурору Броуну явился тюремный надзиратель Никольсон и рассказал, что однажды он видел, как Кларк сунул в руку негра небольшой предмет, может быть записку или яд. В другой раз Кларк сказал черному, что получил для него деньги, и большие. После этого прокурор Броун предъявил Кларку обвинение. Адвоката вызвал судья. Прокурор попросил Кларка объяснить, что именно он передал негру и о каких деньгах говорил.

— Ничего я Гаррисону не передавал,— ответил Кларк.— Я удивляюсь, как может тюремный надзиратель говорить такой вздор. Если бы он заметил, что я что-то передал заключенному, он бы его обыскал. Я не хочу утверждать, что Никольсон сознательно лжет, я понимаю, почему это ему пришло в голову. Уходя, я пожал Гаррисону руку, я это сделал, чтобы выразить ему сочувствие, обнадежить его. Никольсон спросил меня, как я могу подать руку черному, да еще убийце. Вероятно, теперь, когда газеты подняли шум, он решил, что я передал Гаррисону

шнур. Насчет денег я действительно говорил. Я сказал Гаррисону, что получил для него триста долларов.

— От кого же вы получили эти деньги? — спросил прокурор.

Кларк задумался и после длительного молчания ответил:

— Этого я не могу сказать. Но это не имеет никакого отношения к самоубийству Гаррисона. Ничего противозаконного я не сделал. Я ведь не передал ему денег, а при надзирателе спросил, как мне с ними быть: внести в тюремную кассу или сохранить у себя, пока его не освободят?

Судья был потрясен словами Кларка. До этой минуты он далеко не был уверен, что адвокат передал шнур негру. Теперь он понял, что перед ним действительно преступник. Он воскликнул:

— Вы передали ему шнур, вот что! Вы опытный адвокат, а ведете себя, как ребенок. Зачем вы нам рассказываете галиматью? Вы знали, какое преступление совершил этот негр, вы не могли ему сказать, что его освободят, он бы первый над вами посмеялся.

— Я был убежден, что Гаррисон не повинен, я и теперь так думаю. Конечно, я знал, что в нашем штате доказать невиновность негра невозможно, но я хотел его обнадежить, он был в очень тяжелом состоянии, наверно он уже думал о самоубийстве.

— Негр забирается в дом белого, в комнату, где находится беззащитная женщина, и, услышав гудки машины, выпрыгивает из окна. После этого вы говорите, что он не повинен...

— Да, я в этом убежден. Если он в чем-нибудь повинен, то только в том, что он негр и родился в Миссисипи.

— Довольно произносить речи! Вы не на собрании ваших единомышленников, вы в камере судьи. Я вам запрещаю оскорблять наш штат.

Прокурор усмехнулся:

— Может быть, господин Кларк захочет нам объяснить, кто ему передал деньги для Гаррисона.

— На этот вопрос я не желаю отвечать.

Судья не мог притти в себя: оказывается, майор Смидл не преувеличивал: Кларк — красный и крупного калибра. Ясно, что деньги он получил от какого-нибудь «коми-

тета» — на Севере таких «комитетов» сотни, и во всех заправляют коммунисты.

Прокурор занялся подготовкой процесса. Все газеты подхватили признание Кларка, они писали, что «красный адвокат» регулярно получал крупные суммы от неизвестной организации. На некоторое время Кларк вытеснил с первых страниц местных газет и «зверства венгров», и «злоупотребление правом «вето», и «летающие блюдечки». «Миссисипи пост» писала: «Кларк получил деньги от Коминформа, он сам наполовину в этом признался. Как же объяснить, что он свободно прогуливается по улицам Джексона? Некоторые утверждают, что судья Гильмор чувствует влечение к черной коже и к красной вывеске...»

Выяснилось, что на конгрессе в Чикаго Кларк, во-первых, сказал, что повышение преступности на Юге связано с тяжелым материальным положением арендаторов; во-вторых, заявил, что в Южных штатах суд часто не доверяет показаниям цветных свидетелей и опирается в своих приговорах на показания белых, не входя в оценку моральной ценности свидетеля.

Полиция сообщила прокурору, что за два месяца до самоубийства Гаррисона Кларк выписал из Нью-Йорка несколько книг предосудительного характера, среди которых была одна, озаглавленная «Россия без тайны».

Наконец к прокурору обратился владелец хлопковых плантаций Краутер, который показал: «Мой сын Люис был помолвлен с дочерью Кларка. Люис — еще мальчик, ему было тогда всего двадцать три года. Он поддался влиянию девушки, которая разделяет преступные идеи своего отца. Люис перестал меня слушаться, он говорил дома, что Миссисипи — отсталый штат, что сенаторы — жулики, что он не хочет воевать против русских, потому что русские — такие же люди, как мы. Однажды он даже сказал, что у красных есть чему поучиться. Мне удалось спасти сына, он порвал с дочерью Кларка, но я пришел сюда, как честный американец, чтобы подтвердить, какую опасность представляет деятельность Кларка. Я убежден, что он не только передал веревку негру, но совершил множество преступлений, еще не обнаруженных полицией». Прокурор после этого вызвал Люиса Краутера, но тот не явился, представив медицинское свидетельство о болезни.

Когда несколько недель спустя прокурор послал молодому человеку повторную повестку, оказалось, что Люис уехал по делам отца в Венецуэлу.

Кларк стойко переживал свалившуюся на него беду. Он был подготовлен к несчастью всей своей жизнью. Давно он понял, что кругом царит зло; бороться против зла он не хотел и потому, что это было противно его характеру, и потому, что не верил в разумность борьбы. Он чуждался общественной деятельности. Конгресс в Чикаго, который возмутил майора Смидла, был созван объединением юристов и не носил политической окраски. Кларк бегло просматривал газеты, его не интересовали ни соперничество двух партий, ни речи Трумэна, ни забастовки горняков, ни сенсационные сообщения о происках русских. Он старался облегчить участь своих подзащитных, а кончив работу, замыкался в себе. Его духовный мир был тесен, но ему он казался необозримым: голый, суровый и патетичный, как старая лютеранская кирха. Не раз он говорил жене: «Я ничего не могу изменить, иду, как все, на душевные сделки. Мое единственное утешение, что я никого в жизни не потопил». Огромная печаль жила в этом молчаливом человеке. Он не мог забыть своего сына, веселого, озорного Фреда, который не вернулся с войны. Прежде его отвлекал веселый смех дочки, но с тех пор, как Люис порвал с Беллой, она больше не смеялась. Маленький домик с верандой, обвитой глициниями, мог показаться прохожему раем, а в нем стояла тяжелая тишина горя. Особенно трудной стала жизнь для Кларка после того, как Смидл решил его уничтожить. Жена боялась показаться на улице; от нее отворачивались; некоторые громко говорили: «Это жена красного адвоката». Белла училась в музыкальной школе, она часто приходила заплаканная; один профессор ей сказал: «Вам не придется зарабатывать на жизнь, ваш отец получает из Москвы хорошие деньги...» Несколько коммерсантов, дела которых Кларк вел, отказались от его услуг. Сбережения были на исходе. Иногда Кларк спрашивал себя, правильно ли он поступает, отказываясь заявить, от кого он получал деньги для Гаррисона. Стоит ему сказать, что эти деньги послала дочь сенатора, и прокурору придется отказаться от обвинения. Но, вспоминая Мэри, он думал: это честная жен-

щина, я не могу поставить ее в тяжелое положение. Лучше пусть они губят меня...

К весне прокурору Броуну удалось собрать ряд данных, показывающих связь Кларка с красными.

Адвокат Кесседи заявил, что, когда он возмущался пародией на правосудие в Венгрии, где красные засудили невинного кардинала, Кларк цинично ответил: «Венгрия далеко, отсюда трудно понять, что там делается, но вот у нас несправедливо осудили шесть негров, и газеты не протестуют».

Служащий банка Блеккет сообщил, что Кларк в его присутствии восхвалял коммунистов и предлагал свергнуть правительство Соединенных Штатов. Когда Блеккета попросили точнее воспроизвести слова Кларка, он ответил: «Всего я не запомнил, но одну фразу хорошо помню. Он сказал: «Если бы был жив Рузвельт, он, наверно, смог бы договориться с русскими. Я потерял на войне сына, и мне не нравится, когда наши газеты все время пишут о войне».

Прокурор установил, что за последние четыре года Кларк выступал девятнадцать раз как защитник цветных, причем два раза протестовал против линчевания своих подзащитных.

Когда Смидл вернулся из Европы, судья Гильмор сказал ему:

— Я сделал все, что мог. Кларк признал, что получил для Гаррисона триста долларов, но не говорит от кого. Для меня ясно, что он передал негру веревку, а доказательств нет. Мы попытались подойти с другого края, установить его связь с красными. Показаний много, но все вокруг да около, нет главного. Газеты требуют процесса, им легко. Но у прокурора нет данных. Я судья, я должен считаться с проклятой буквой закона. Кларк не черный поденщик, это адвокат, он будет апеллировать. Я не хочу себе сломать на этом шею. Вероятно, придется поставить на всем крест...

Смидл вскипел:

— Вы с ума сошли! Он признал, что получил от кого-то деньги, и вы хотите прекратить дело? Вы видите, что̀ у нас творится? Не сегодня завтра негры начнут нас резать, а вы предлагаете реабилитировать их вожака! Если Броун собрал столько данных, за чем же остановка?

— Сейчас я вам объясню. Я считаю доказанным, что Кларк высказывал симпатии к красным. Возможно, что он принадлежал к тайной организации, но этого прокурор не мог установить. Я продолжаю... Можно предположить, что триста долларов он получил от какого-нибудь комитета. Эти деньги, видимо, предназначались для побега негра, но прямых улик нет. Наконец по поведению Кларка для меня ясно, что он передал шнур черному, но все упирается в тупик — никто этого не видел...

— Смешно, о чем вы думаете! — сказал Смидл.— Мы сейчас переворачиваем целый мир. В Германии я видел, как можно загнать в клетку красных. А вы робеете перед чистыми пустяками... Я буду скоро на Севере, может быть там имеются данные. Я убежден, что Кларк получал деньги из Нью-Йорка или из Чикаго.

Некоторое время спустя прокурор получил документ первостепенной важности, а именно копию письма, отправленного 6 сентября 1948 года адвокату Кларку нью-йоркской организацией «Друзья мира». Письмо было подписано Джозефом Эллиотом, арестованным в мае 1949 года за шпионаж в пользу красных. Джозеф Эллиот сообщал Кларку, что необходимо усилить в Миссисипи пропаганду идей мира и что он постарается из денег, полученных от Всемирного центра, выделить некоторую сумму. Далее Джозеф Эллиот писал, что Кларк должен немедленно принять меры для освобождения Дэвида Гаррисона. При письме прилагается тысяча долларов. Если освободить Дэвида Гаррисона невозможно, то Кларк должен ему помочь «молча уйти из жизни», так как его процесс может оттолкнуть от организации «Друзья мира» население Южных штатов.

Было назначено судебное разбирательство. На первом же заседании прокурор предъявил письмо Джозефа Эллиота Кларку. Адвокат вышел из себя, назвал прокурора «мошенником», сказал, что подлецы, составившие письмо,— идиоты, потому что Гаррисон был обыкновенным негром и никто в Нью-Йорке не мог им интересоваться.

Судья подождал, когда Кларк успокоится, и сказал:

— Я считаю необходимым взять вас под стражу за неуважение к суду. Документ, о котором вы так неосмотрительно отозвались, переслан прокурору судебными орга-

нами штата Нью-Джерси. Мне неясно одно: на что вы потратили семьсот долларов? Я знаю, что в денежных делах вы — честный человек, и не допускаю мысли, что вы присвоили эти деньги. Очевидно, вы их израсходовали, пытаясь подкупить тюремную стражу.

Кларк задумчиво ответил:

— Тридцать два года я был адвокатом здесь, в Джексоне. Я знаю, что в Миссисипи есть хлопок, есть арендаторы, есть майор Смидл. Но правосудия в Миссисипи нет. Вас я помню мальчишкой. Вы не мошенник, вы только слабохарактерный и неумный человек...

Прокурор предложил отложить судебное разбирательство: необходимо установить, на что именно потратил Кларк полученные им деньги.

В тот вечер судья пил виски с доктором Хеллицем. Рассказав, как Кларка отвели в тюрьму, судья полушопотом добавил:

— Теперь я понимаю, какая опасность грозит Америке!.. Я ведь знал Кларка, бывал у него. Он производил впечатление тихого человека, хорошего семьянина. Перед обедом читал молитву... Это дьявольская маскировка. Он оказался диким фанатиком. Именно из таких они формируют «пятую колонну».

Прочитав в газетах, что Кларк пытался подкупить тюремную стражу, надзиратель Никольсон ударил себя по лбу: теперь я понимаю!.. Он побежал к прокурору:

— Вы можете сказать, господин прокурор, что я дурак, я действительно очень медленно соображаю... Когда Кларк был у нас — в тот самый день, я хочу сказать, когда удавился черный,— было очень жарко. Он мне сказал, что очень жарко, я ответил, что очень жарко. Он посидел в приемной, там было не так жарко; он меня спросил, как я живу, я ему ответил, что трудно, у меня трое детей. Он начал расспрашивать, сколько я получаю, когда мне надбавят... Он намекал, что может мне дать доллары, я это только теперь понял. Я вас очень прошу записать, господин прокурор, что он хотел подкупить меня, Артура Никольсона, у вас уже записан год рождения, и что я ветеран войны...

Еще более ценным оказалось другое показание — служащего газовой компании Гарри Миллса. Он сообщил, что

осенью прошлого года, кажется в октябре, он был в квартале, где живут черные, и там увидел адвоката Кларка, который спрашивал, где проживает какая-то негритянка. Гарри Миллс не расслышал, кого именно искал Кларк, но он искал женщину и, конечно, черную, потому что белых там нет. Гарри Миллс не мог спутать: он хорошо знает Кларка, он не раз проверял у него счетчик.

Прокурор считал, что центр организации «Друзья мира» находится в негритянском квартале. Это не удивительно — почти каждый негр в душе сочувствует красным. Полиция начала разыскивать женщину, к которой приходил Кларк, но розыски ничего не дали. Начальник полиции жаловался прокурору:

— Эти бестии хитрят, никто из них будто бы в глаза не видел Кларка. Противно слушать... Их давно пора пугануть.

Найти сообщницу Кларка так и не удалось. Когда процесс возобновился, прокурор сказал подсудимому:

— Нам теперь известно, что вам помогала негритянка. Вы приходили к ней.

Судья заметил, что слова прокурора взволновали Кларка. Ага, значит, мы напали на верный след!..

Кларк, помолчав, ответил:

— Я прошу отложить заседание до завтра — желаю дать показания.

Судья был на седьмом небе. Год он провозился с этим делом, но не зря. Теперь он выйдет в люди. Ночью он прошел в каморку своей служанки и, засыпая, сказал ей:

— Я скоро выйду в люди, понимаешь? Я буду роскошно жить, но я тебя возьму с собой. Конечно, ты черная, но ты знаешь свое дело...

Утром он позвонил майору Смидлу:

— Приходите на заседание, у нас неслыханная удача. Кларк обещал сегодня признаться во всем...

Майор Смидл поздравил судью, но сказал, что притти не может: он собирается на вокзал — через час приезжает сенатор Лоу.

Всю ночь Кларк обдумывал положение. Гаррисон просил адвоката в случае нужды защитить Дженни: «Кто знает, что они еще придумают...» Когда Кларк получил от Мэри вторично деньги, еще двести долларов, она

писала: «Если у Дэвида остались близкие, передайте это им...» Бог знает, как они узнали, что он был у Дженни и передал ей пятьсот долларов. Они могут ее загубить. У Мэри есть защита: дочь Лоу никто не посмеет тронуть. Что ей грозит? Газетная травля. Но она далеко, в Европе. Нужно спасти негритянку.

— Я хочу вам объяснить, от кого я получил деньги для Гаррисона,— сказал Кларк на суде.— Эти деньги мне прислала госпожа Мэри Нивель, дочь сенатора Лоу. Я получил два чека на банк «Берклей энд Смитс». Вы можете проверить в банке. Я знаком с дочерью сенатора и не сомневаюсь...

Судья не дал Кларку договорить. Прокурор потребовал отложить судебное разбирательство: он докажет, что заявление Кларка — жалкая уловка.

Вернувшись домой, судья разнервничался. Бог знает, как теперь все повернется!.. Он вспомнил Мэри в кимоно, ее истерический смех: «А почему вы не думаете, что этот негр в меня влюблен?» Она прожила много лет в Европе, испортилась, а темперамент у нее бешеный. Кто знает, не была ли она действительно любовницей негра? Присяжные могут проболтаться. Да и журналисты. На беду, сенатор как раз сегодня приехал. Если он узнает, он мне этого не простит... Непонятно — что тут делать?

Он позвонил Смидлу, но того не было дома. Только под вечер он нашел майора. Смидл молча выслушал рассказ. Судья поглядел: боже, что с ним, он не похож на себя! Никогда прежде он не видел майора растерянным. А теперь Смидл сидел, закрыв лицо руками; именно в ту минуту он подумал, что веревка повесившегося приносит несчастье. Судья робко сказал:

— В общем обвинение не поколеблено: то, что он получил деньги от госпожи Нивель, юридически не имеет значения. Важно, что он получил тысячу долларов от организации «Друзья мира». Не правда ли?..

Смидл не ответил. Неужели он так ошеломлен, что не может даже ничего сказать? — подумал судья. Но Смидл быстро пришел в себя:

— Да, конечно, обвинение не отпадает... Но на меня поведение Кларка производит удручающее впечатление... Я знаю, что госпожа Нивель способна на эксцентричные

поступки, она могла пожалеть негра, который хотел ее убить. Дело в другом... Почему Кларк не говорил об этом раньше?.. Скажите, он, по-вашему, нормальный?

— Как вам сказать?..— Судья был смущен вопросом.— Я об этом не думал... Он фанатик, а фанатики, по-моему,— люди неуравновешенные...

— Бесспорно. Но Кларк не только фанатик, он душевнобольной. Задумайтесь на минуту, и вы со мной согласитесь. Конечно, он не был таким год назад. Джозеф Эллиот думал, что посылает деньги человеку деловому... Очевидно, на Кларка подействовал страх перед ответственностью. Я помню в моей судебной практике несколько случаев, когда приходилось прекращать дело, потому что обвиняемый лишался рассудка... Кларк на этом ничего не выиграл: судя по симптомам, такая болезнь неизлечима. На вашем месте я назначил бы экспертизу. Я могу сегодня же поговорить с доктором Хеллицем. Кларка нужно поместить в лечебницу. Это будет гуманно, а с другой стороны, мы будем чисты перед сенатором — никто не станет зря путать имя Лоу...

Судья умилился: никогда бы он этого не придумал. А ведь это действительно выход, и правильно сказал майор, гуманный выход...

Через два дня Кларка перевели из тюрьмы в специальное отделение психиатрической лечебницы. Так как он пытался оттолкнуть больничных служителей, это заболевание было определено, как буйное помешательство. «Миссисипи пост» писала: «Иногда господь бог карает строже, чем люди. Красный адвокат лишился рассудка, если можно назвать рассудком то, чем он обладал, замышляя свергнуть законно избранные органы власти и превратить штат Миссисипи в «народную демократию», подобную какой-нибудь Чехословакии. Ворота психиатрической больницы навсегда захлопнулись за незадачливым злодеем».

50

Лоу рассердился:

— Я вам скажу откровенно, вы проводите политику умиротворения. Красные могут в любой момент на нас напасть, вы ведь знаете, что у них бомба. Кто вам сказал,

что они не высадятся в Мексиканском заливе? Конечно, я верю, что бог нам пошлет победу, но мне стыдно за наш штат. Мы должны побить русских, а вы пасуете перед каким-то адвокатом. От вас я этого не ожидал. Кларк изобличен в сношениях со шпионами, он признал, что получал темные деньги. А его лечат холодными душами. Если что-нибудь может его вылечить, то только ток высокого напряжения. Я уж не говорю о моих чувствах. Негр хотел убить Мэри. Как-никак я отец... Сначала вы прозевали негра — Кларк ему помог удавиться. Кларка вы тоже прозевали. Врачи обсуждают, что ему дать на обед — курицу или бульон. Пожалуйста, не обижайтесь, но это — настоящее одичание. Можно подумать, что мы не в Джексоне, а в Москве.

— Кларку завидовать не приходится,— ответил Смидл.— Он в буйном отделении, мне рассказывали, что с него не снимают смирительной рубашки. По правде сказать, он был игрушкой в чужих руках. Но мы напали на след, скоро их всех накроют. Я озабочен другим... Вы видели надпись на вокзале, это нацарапал носильщик или кочегар. У красных здесь определенная клиентура; они науськивают на нас негров. Если мы не примем мер, черные завтра возьмутся за ножи. Две недели назад полиция задержала негра, который сознался, что хотел зарезать своего хозяина. Так больше не может продолжаться...

— Что вы хотите, у каждого свое горе. Бог поселил здесь очень много негров, конечно это тяжело, но приходится терпеть. Потом нельзя же остаться совсем без негров. У меня, например, все рабочие — черные...

— Я не предлагаю выселить негров, это утопия. Я только хочу сказать, что белые возмущены...

— Не забывайте, что скоро выборы, сейчас не время для эксцессов. Надвигаются грандиозные события. Америка должна быть сплоченной, полной решимости.

Смидл улыбнулся, лицо его стало добрым, доверчивым.

— Именно об этом я и говорю...

Лоу быстро успокоился. Родные места казались ему отдохновением. Он забыл и про бомбу и про Кларка. Несколько раз он выступал на собраниях, повсюду его тепло встречали, говорили, что он — гордость штата. Он чувствовал, что выздоравливает, припадки не повторялись, он

стал лучше слышать, появился аппетит, и он со вкусом ел свое любимое блюдо: ветчину под соусом из жженого сахара, которое мастерски приготовлял старый повар-негр.

Мэри написала, что скоро приедет. Лоу сказал Смидлу:

— Пусть она хоть немного подышит нашим воздухом. Я вам скажу откровенно, я не знаю, что она нашла хорошего в Европе, кроме своего Нивеля...

Однажды, когда он завтракал, ему подали городское письмо. Наверно, какое-нибудь приглашение, подумал он. Но в конверте лежала листовка, оттиснутая на ротаторе. Лоу вскрикнул от возмущения. Он отчеркнул красным карандашом места, показавшиеся ему самыми мерзкими:

«Линкольн говорил, что, когда белые хотят управлять собой, это право на самоопределение, но когда они хотят управлять другими, это деспотизм...

Бог создал всех равными — белых, черных и желтых...

Рузвельт пять лет назад сказал, что у американцев, у англичан, у русских, у китайцев, у французов общий идеал — прочный мир...

Пусть люди, которые предлагают сбросить на Россию атомные бомбы, не забывают, что тот, кто подымет меч,— от меча погибнет...»

Листовка была подписана «Друзья мира». Лоу вспомнил шпиона, который послал Кларку деньги... Значит, все продолжается. Он вызвал Смидла.

— Вы видели?..

— Это работа мулатки Гренхам и еще двух черных. Ничего, мы им выпишем хороший гонорар...— Смидл громко засмеялся.— Но надо урезонить и читателей таких листовок...

— Я уж это слышу три недели. Я вам скажу откровенно, вы стали нерешительным, как Трумэн. Может быть, вы тоже собираетесь бренчать на рояле? Сегодня я получил письмо от полковника Робертса, он настаивает, чтобы вы поскорее вернулись в Германию. В общем он прав — там фокус событий. Но, с другой стороны, вы не можете здесь оставить все в таком положении. Мы будем спасать жителей Западного Берлина, а негры тем временем вырежут жителей Джексона.

— Я надеюсь, что смогу выехать в ноябре. К тому времени здесь все успокоится. Эта пакостная писанина меня подхлестнула. Я вас уверяю, что ее авторам не поздоровится...

Начальник полиции сказал Смидлу, что Кларк, видимо, разыскивал мулатку Эллен Гренхам, два года назад приехавшую из Нью-Йорка. Она работает в маленькой негритянской газете. По данным начальника полиции, с ней дружат два негра: журналист Томсон и владелец кондитерской Банг.

Майор сидел и обдумывал план действий. Для вдохновения он прихлебывал белый ром. Наконец он взял трубку телефона и спросил начальника полиции, какие происшествия отмечены за последние сутки. Начальник полиции ответил, что неизвестные лица угнали машину «шевроле», что ночью ограблен магазин ювелира Хечессона, что у вдовы Моррис исчез девятилетний мальчик, что в негритянском квартале был пожар, сгорела столярная мастерская. Смидл повесил трубку и залпом выпил стакан рома.

Наверно, он изумился бы, узнав, что листовку написал белый человек, слывший добропорядочным, а именно преподаватель истории Франклин Мур. Конечно, Мура давно возмущало все происходившее вокруг, но об этом знали только его жена и сосед, мастер железнодорожного депо Джим О'Кеннель, с которым он частенько играл в шахматы. Дело Кларка вывело Мура из себя. Он знал адвоката—они встречались на завтраках в клубе «Ротари». Мур считал, что Кларк — честный человек, но мямля. «Почему мямля? — спрашивала госпожа Мур.— У него клиенты, он прилично зарабатывает». Мур сердился: «Я не об этом говорю, но он понимает, что мы идем к бездне, и ничего не делает».— «А что ты делаешь?» — спрашивала госпожа Мур. Он растерянно говорил: «Я? Ничего. Но я мелкая фигура, а Кларк — талантливый человек. По-моему, он сторонник Ганди». Жена злилась: «Перестань щеголять своими знаниями, ты не в школе, я не обязана знать, что делал какой-то Ганди...» Мур усмехался: «Ты не знаешь, что он делал? В общем ничего. Как Кларк. Постился... Когда Робби проказничает, ты его оставляешь без сладкого. Это чересчур грубо, дай ему сладкое, а сама не ешь...»

Прочитав, что Кларка арестовали, Мур пошел к соседу.

— Сыграем? — спросил О'Кеннель.

— Погоди. Здесь другая игра... Ты читал про Кларка? В Нью-Йорке люди что-то делают. «Друзья мира» — по-моему, это звучит хорошо. Конечно, майору Смидлу это не нравится, тем лучше. Слушай, Джим, мы тоже должны что-то сделать. Я видел журнал «Нью-Йоркер», они смеются над Миссисипи и правы. Нас судят по сенатору Бильбо или по романам Фолкнера, а там что ни человек, то сволочь. Ты знаешь в Джексоне всех. Нам нужно найти десяток хороших людей. Мы сложимся, оттиснем нашу декларацию, возьмем телефонный справочник и разошлем решительно всем, конечно сразу всем не удастся, будем рассылать по буквам...

О'Кеннель задумался:

— Десяток можно найти... Брэдли. Студент Кесседи. Владелец аптекарского магазина Уэллс, он, правда, ничего не будет делать, но он даст деньги. Рассел — ты его хорошо знаешь. Лебойс. Братья Кингзи. Смит. Конечно, Харди. Ну и нас двое. Но вот в чем трудность... Харди — замечательный парень, мы должны его обязательно взять. Только он коммунист. Конечно, он этого не говорит, он говорит, что он прогрессивный человек, точка. Но я у него был, у него на стене висит портрет Сталина.

— А почему тебе мешает, что он коммунист? Если мы друзья мира, мы должны брать всех...

— Да, но он захочет притянуть какого-нибудь негра, я его знаю, у него всегда принципы. Мне лично это не мешает, я негров не люблю, но в общем они такие же люди. Но если мы возьмем хотя бы одного черного, Уэллс ни за что не пойдет. Кесседи тоже не пойдет, вообще никто не пойдет, кроме Брэдли.

— А можно так — взять пятерку: мы с тобой, Харди, Брэдли и одного негра. Харди легко найдет одного негра, они все так настроены... А Уэллс может дать деньги, все равно ничего другого он не сделает...

На этом они остановились. Харди стал душой затеянного ими дела. К удивлению О'Кеннеля, он не привел негра, сказал:

— Я с ними договорился, они будут все делать у себя. А вам лучше с ними не встречаться — зачем их подводить

под удар? Полиция совсем взбесилась — ищут негритянку Кларка, допрашивают чуть ли не каждого...

— А ты знаешь парней в Нью-Йорке, с которыми Кларк переписывался? — спросил О'Кеннель.

Харди ухмыльнулся:

— Ни с кем он не переписывался, все это проделки Смидла. Я кое-что узнал... Мы сможем составить декларацию о деле Кларка, я тебя уверяю, что это будет бомба...

О том, что скрывалось за делом Кларка, Харди узнал от своего приятеля негра Бенча. Это был веселый толстяк лет пятидесяти, который работал на фабрике радио. Он смастерил себе великолепный приемник, знал все новости, посмеиваясь рассказывал: «Вчера Вышинский здорово отхлестал Даллеса..» Бенч высмеивал газету, в которой писала Эллен Гренхам: «Они стараются нам доказать, что Смидл — неплохой малый, он иногда перегибает, но это настоящий патриот. Если завтра куклуксклановцы меня повесят, Эллен Гренхам напишет, что это печально, но ничего в этом нет противозаконного, веревка была намылена вполне доброкачественным мылом». Старые негры его побаивались, говорили: «У него чересчур острый язык. Как бы нам не пришлось расплачиваться...» Молодые приходили к нему за советом, шутя его называли «черным губернатором». Когда полиция начала разыскивать таинственную негритянку, брат Дженни пришел к Бенчу.

Бенч весь вечер проговорил с Дженни; она рассказала, как дочь сенатора затащила к себе Дэвида, как потом она пришла к адвокату, из Нью-Йорка прислала деньги.

— Я денег не взяла. Кларк говорил, что она порядочная, я не верю. Дэвид мне сказал, что она его тащила силой, грозила — если не придет, будет хуже. Какая же это порядочная? Она, как отец. Они все такие, это и Дэвид говорил. Теперь они меня ищут, у всех спрашивают, к кому приходил Кларк. Я не верю, что он сумасшедший, он, наверно, не захотел плясать под их дудку. Он не сказал, что приходил ко мне, вот он белый, а порядочный. Я три ночи не ночевала дома...

— Боишься?

— Нет. Мне теперь нечего бояться. Дэвида они

убили... Он написал, что я должна быть гордой,— написал: «Ты им не прощай». Я хочу одного...

Бенч ласково спросил:

— Чего же ты хочешь, малютка?

Она тихо ответила:

— Рассчитаться за Дэвида.

Бенч спрятал ее в надежном месте, а несколько дней спустя сказал:

— Вот билет, ты сегодня поедешь в Нью-Йорк. Я тебе дам адрес, там наши люди, они помогут тебе устроиться, найти работу.

— А они мне помогут рассчитаться за Дэвида?

Бенч ничего не ответил, только погладил Дженни по голове.

Поезд уходил поздно вечером. Дженни успела сбегать в тот пригородный лес, который про себя продолжала называть «нашим». Она увидела деревья, покрытые мхом, полуразвалившийся домик. Те же два кактуса. Им некого больше стеречь... Ей показалось, что на ее груди рука Дэвида. Она вздрогнула и побежала в город. Нет, Дэвид не вернется. Нужно как-то жить. Он сказал, что я должна быть гордой. А как быть гордой, этого я не знаю. Где-то далеко мерцала звезда, то зеленая — любви и горя, то маленькая красная звездочка на ладони Дэвида — память о встрече с русскими.

На перроне было много народу, провожали, смеялись; высовывались из окон вагона, махали платочками. Когда поезд тронулся, Дженни тоже высунулась из окна и помахала рукой — ночи, звезде, Дэвиду.

Дженни уехала за неделю до того, как город облетела страшная весть: негры захотели отомстить покойному Моррису и убили его маленького сына. Морриса многие помнили, он умер вскоре после того, как вернулся из Европы. Негров он ненавидел, говорил: «Мне дали военную медаль за то, что я в Арденнах подстрелил немецкого офицера. А я поймал и повесил негра, который полез к дочке Стоуна, и никто мне медали не дал, еще таскали два раза на допрос. Какая же тут справедливость?..» Он был пьяницей и драчуном, первую жену загубил и за год до того, как умер, женился на легкомысленной особе, которая работала в баре. Соседки говорили, что сыну

Морриса живется плохо у мачехи. В общем никто о Моррисе не жалел, но убийство мальчика потрясло всех белых обитателей Джексона. Многие говорили: «Только негры способны на такое. Это не люди. Если их держать в строгости, они могут быть работящими, послушными. Но стоит их распустить, как они превращаются в диких зверей. Убить девятилетнего мальчика!.. И есть еще сумасшедшие, которые хотят, чтобы негры голосовали...»

— Ты переночуешь у меня,— сказал Харди Бенчу.— Никто не видел, как ты пришел. А сюда они не пойдут...

Уже начинало смеркаться, когда сотни людей двинулись с центральной площади в квартал, где жили негры. Здесь были люди постарше, например Райд, руководитель местного отделения «американского легиона», Готчис, театральный критик «Миссисипи пост», но большинство состояло из молодых людей. Обычно они в это время сидели в баре «Виктория» и под видом фруктовых соков пили коктейли или же мчались в машинах до кабака на границе соседнего «мокрого» штата. Впереди шел старший сын плантатора Ричмонда, известный задира; весной он избил бармэна Питера, а недавно жена доктора Хеллица при всех надавала ему пощечин за то, что он, напившись, изодрал ее шелковую блузку. Ричмонд кричал: «Расшибем чумазых, а?» Он повторял: «А?» Молодые люди одобрительно рычали. Позади ехали репортеры и фотографы трех газет штата.

В квартале, где жили негры, было темно: люди в страхе погасили свет. Ричмонд впотьмах наступил на ребенка. Раздался отчаянный крик. Ричмонд выругался: «Мерзавцы, вечно суют под ноги дрянь...» Толпа продвигалась к дому, где помещалась редакция негритянской газеты. Обыскали все, залезли даже под веранду, но Эллен Гренхам не было. (Потом рассказывали, будто ее предупредил начальник полиции.) Сотрудника газеты Томсона тоже не нашли. Зато владелец кондитерской Банг оказался у себя дома. Ричмонд первый вошел к нему. Он подошел к буфету и ловким ударом сбросил на пол посуду. Другие начали ломать мебель. Дочку Банга вытащили из постели и облили холодной водой.

Райд беспокоился: молодежь расшалилась, как бы они не выпустили птички? Он позвал Готчиса, они связали

Банга. Райд потащил его за собой на веревке. Все вернулись к дому, где помещалась газета, поломали машины в типографии, перебили все. Молодые люди заходили в соседние дома, колотили в темноте людей, выкидывали на улицу утварь. У жены лифтера Дэвидсона выбили зубы. Она громко плакала. Это рассмешило Ричмонда, он запел веселую песенку из фильма «Мой жених поросенок». Все начали хором хрюкать. Звенело стекло. Кричали дети. Райд сказал Готчису:

— Пора, пожалуй, заняться делом.

Все двинулись за город. Райд ехал в машине и волочил на веревке Банга. Они остановились возле пустыря, вытащили из машины бидоны, вбили столб. Банга привязали к столбу и облили бензином. Он очнулся, тихо сказал:

— Видит бог, я мальчика не трогал...

Все на минуту притихли, и Райд затянул псалом. Огонь быстро охватил Банга. Ричмонд впервые участвовал в таком деле, он невольно залюбовался картиной и сказал:

— Горит шикарно...

51

О происшедшем Лоу узнал за утренним завтраком. Он восхищался чайными розами, свисавшими на перила веранды, и вдруг заметил, что его старый повар еле волочит ноги.

— Чго с тобой, Джо? — участливо спросил Лоу.

Повар тихо ответил:

— Они убили мою племянницу, дочку Фреда. Ей было четыре года, и они ее убили...

Он рассказал сенатору о том, что произошло накануне в Джексоне. Лоу расстроился. Конечно, негры сами виноваты — нельзя писать на стенах чорт знает что или рассылать пакостные листовки. Но зачем убивать четырехлетнюю девочку? И еще накануне выборов... Нехорошо, очень нехорошо!..

Когда приехал Смидл, Лоу готов был разразиться упреками, но майор его опередил:

— Вы не можете себе представить, как это ужасно! Я знаю, что белые были доведены до отчаяния, но наси-

лие остается насилием. У нас есть закон, суд, мы могли бы их обуздать, не прибегая к таким эксцессам. Мы не красные...

Он долго возмущался:

— Я не могу понять, почему полиция во-время не вмешалась? Банг написал гнусную листовку, его могли арестовать, предать суду. Нельзя делать такие вещи самовольно. Особенно мне жалко девочку. Ваш Джо — это верный слуга. Могли бы во всяком случае ее не трогать... Безобразие! Единственное, что меня утешает,— это некоторые последствия. Правильно говорят, что во всяком несчастии скрыто немного счастья. Черные здорово перепуганы, так что листовок мы теперь не увидим,— никому не охота сгореть живьем. Да и надписей на стенах больше не будет: у всех этих кочегаров или носильщиков душа ушла в пятки...

Лоу задумался. В общем «мальчик» прав. Конечно, полиция должна была во-время урезонить молодежь. Но для негров это урок... Жалко Джо, «мальчик» хорошо сказал: это верный слуга... Лоу позвал повара и дал ему сто долларов:

— Это твоему брату. Мне жалко, что девочка погибла. Но ничего, у него ведь много детей. А тобой, Джо, я очень доволен — ты действительно верный слуга...

Вечером, наконец-то, приехала Мэри. Сенатор не выдержал и от радости всплакнул. Он все время повторял: «Моя девочка». Мэри была ласковой, старалась во всем угодить отцу. Сенатору только не понравилось, как она одета. Правда, он привык к тому, что у Мэри эксцентричные вкусы, но такого он еще не видел: на Мэри было платье ядовито-зеленого цвета, все испещренное оранжевыми рыбами и глазами с огромными синими ресницами.

— Откуда ты это взяла? — спросил Лоу.

— Это один художник сделал. Он американец, живет на юге Франции, он пишет изумительные картины, но этим прожить нельзя — приходится делать материи. Тебе нравится?

— Знаешь, мы здесь не привыкли... Глазам больно. А хомут?..

— Это тоже его работа. Простенькое ожерелье, видишь, оно сделано из грошового материала — солома,

ракушки, конский волос, жесть, но вот подпись художника — Кинг, с такой подписью оно стоит пятьсот долларов.

Лоу хотел побранить дочь: как можно на хомут, от которого отвернется даже деревенская кобыла, тратить такие деньги? Но он решил не омрачать первого вечера.

Два дня спустя он убедился, что Европа окончательно сбила с толку Мэри. Тяжелый разговор произошел после того, как она вернулась из города. Они мирно обедали, сенатор ел ветчину с жженым сахаром и радовался, что дочка с ним, когда Мэри вдруг сказала:

— Я была в черном квартале. Это ужас! Там приятели твоего Смидла устроили настоящий погром.

— Положим, Смидл здесь ни при чем. Он возмущался, как ты. Потом ты должна понять, что негры сами виноваты. Вот посмотри...

Он принес из кабинета листовку, которую хранил в сейфе. Мэри, прочитав, рассмеялась:

— Ну и что? Такие вещи в Европе говорят все... Ты знаешь, что меня не интересует политика, я не в тебя, мне абсолютно все равно, кто победит на выборах. Но они убили племянницу нашего Джо, и убийц не арестовали. В парикмахерской рассказывали, что Ричмонд-младший ходит, как павлин, и всем рассказывает, как он убил девочку. Это уж не политика, это — преступление. Самое возмутительное, что мальчика Морриса нашли. Так говорили в парикмахерской. Просто он сбежал от мачехи к своей тетке, и она не знала, что его ищут. Его нашли позавчера, и там говорили, что ни одна газета об этом не написала. Это проделки Смидла, что бы ты ни говорил. Он и тебя обманывает...

Сенатор покраснел и крикнул:

— Мэри!..

Он встал и прошел в кабинет. Мэри испугалась: может быть, ему стало дурно? Когда она ехала сюда, она все время думала: не буду его волновать, он очень болен, с этим нельзя шутить... Сейчас она укоряла себя за то, что не сдержалась. Она робко вошла в кабинет. Лоу стоял возле сейфа.

— Мэри, никогда не говори таких вещей при неграх. Я видел, как Джо тебя слушал... Пожалуйста, не

обижайся, но ты девчонка. Ты не понимаешь, что здесь работают красные, они хотят, чтобы негры нас вырезали. А ты им помогаешь...

Мэри дала себе слово больше не говорить о неграх. Она решила ни с кем не встречаться, посвятить три недели отцу. В доме воцарилось спокойствие. Смидл приезжал редко и, поговорив с сенатором, тотчас уезжал. Напрасно сенатор просил его провести вечер с Мэри, майор отвечал, что он готовится к отъезду и завален работой. На самом деле Смидл боялся, что Мэри заговорит о Кларке. Ему рассказали, что в парикмахерской она вела себя, как красная; не будь она дочерью сенатора, хозяин позвал бы полицию. Смидл решил ускорить свой отъезд. В городе спокойно, негры явно присмирели, а каждая встреча с Мэри ему стоит нервов.

Лоу сказал:

— Нет, нет, не отговаривайтесь, если вы решили ехать в среду, вы должны завтра пообедать с нами, иначе я вас не отпущу.

За обедом Лоу был весел, много ел, смеялся, а Смидл и Мэри сидели, как на иголках. Гроза разразилась в конце обеда, когда Джо принес замысловатое суфле. Лоу поднял бокал с шампанским:

— Вот вы скоро будете в Европе, вы едете в Берлин, а ты, Мэри, в Париж. Я хочу выпить за вас обоих. Я представляю себе, как трудно в Европе американцам,— ведь там на каждом шагу красные. Пусть бог даст вам сил!

Смидл поблагодарил и скромно добавил:

— Вы правы, в Европе нам очень трудно, на каждом шагу видишь дикость. Я никогда бы не согласился вернуться в Германию, если бы не просьбы немецких друзей. Мы должны помочь европейцам выбраться из моральной разрухи...

Может быть, Мэри выпила лишнее — на ее лице выступили яркокрасные пятна. Она вдруг очень громко рассмеялась. Нивель хорошо знал, что такой смех предвещает недоброе, но при отце Мэри обычно сдерживалась, и Лоу удивился:

— Что тебя так рассмешило?

— Одна моя знакомая недавно вернулась из Германии, она рассказывала, что там на каждом шагу надписи:

«Американцы, убирайтесь к себе домой!» Майор, наверно, считает, что это к нему не относится...

Лоу рассердился:

— Не говори глупостей. Мало ли что пишут на заборах! Когда я сюда приехал, я тоже увидал на вокзале чорт знает что... Я убежден, что европейцы ценят нашу помощь.— Он обратился к Смидлу: — Как вы полагаете?

— Конечно. Я уж не говорю о немцах, но я провел две недели в Париже и повсюду встречал настоящую признательность...

Мэри снова захохотала:

— Признательность? Может быть, от официантов в ресторане? Хотя вы, кажется, щедростью не отличаетесь. Я сейчас прожила во Франции год, и я много дала бы, чтобы не быть американкой. Прежде к нам хорошо относились, я себя чувствовала в Париже лучше, чем здесь. А теперь нас не любят. Минутами сгораешь от стыда...

Лоу закричал:

— Ты наслушалась красных! С кем ты встречаешься? Я не могу тебя строго судить, в этих вопросах ты девчонка. Но интересно, что думает твой муж? Он должен следить за твоими знакомствами...

Смидл примирительно сказал:

— Зачем вы принимаете это всерьез? Мэри всегда меня дразнит, я к этому привык. Она знает, что я не люблю, когда повторяют слова красных... Разрешите, Мэри, выпить за вашу вечную молодость?

Мэри хотелось выплеснуть вино на Смидла, наговорить ему дерзостей, но она вспомнила про болезнь отца и сдержалась.

Оставшись один, Лоу подумал: все-таки Мэри испортилась. Нельзя безнаказанно так долго жить в Европе. Она рассуждает, как красная, мне трудно представить себе, что это моя дочь...

Смидл уехал в Европу. Мэри больше не огорчала отца, и Лоу забыл о неудавшемся обеде. Он провел чудесную неделю, много гулял, кряхтя пересаживал цветы, шутил с Джо. Они должны были уехать в следующее воскресенье — Лоу торопился в Вашингтон, где его ожидало много работы, а Мэри хотела перед отъездом в

Париж провести несколько дней в Нью-Йорке — повидаться со своим художником.

Они сидели вечером в беседке и наслаждались спокойствием. Лоу философствовал:

— Когда я был маленьким, не было разных новшеств, никто не летал, не слушал радио, отсюда до Вашингтона ехали целую неделю. Да и нравы были проще. Говорят, что счастье в прогрессе. Не думаю. Может быть, лет двести назад люди были счастливее, а тогда не было даже железной дороги. Можно лететь в «констелешен» — триста миль в час и быть несчастнейшим человеком. Я лично дорожу одним — сознанием, что я чист перед богом и перед Америкой.

Джо принес на подносе вечернюю газету и несколько писем. Лоу занялся корреспонденцией, приговаривал:

— Видишь, нужно торопиться: республиканцы выдвигают контрпроект... Робертс хочет, чтобы послали когонибудь от «Трансока» в Бухарест, это резонно...

Вскрыв последнее письмо, он вскрикнул. Мэри всполошилась:

— Что с тобой?

Он побоялся, что она увидит листовку, и ушел в кабинет.

Листовка, как и первая, была подписана «Друзьями мира». Начиналась она с описания недавних событий, потом шли рассуждения:

«Позор лег на наш город. Майор Смидл устроил настоящий погром. Сожгли Банга, почтенного человека сорока восьми лет, убили четырехлетнюю девочку, многих ранили. Никто из убийц не задержан. Ричмонд-младший при всех в баре «Виктория» рассказывал, как он сжег Банга и убил ребенка. Сколько мы будем терпеть такие издевательства над заветами бога и над конституцией?

В нашем штате хозяйничает банда убийц, воров, мошенников, во главе ее стоят сенатор Лоу и его любимец майор Смидл. Пусть все жители нашего штата знают, на что способна эта банда. Вот правдивый рассказ о том, почему повесился невинный негр Дэвид Гаррисон и почему разбита жизнь известного адвоката Кларка.

У сенатора Лоу имеется дочь Мэри, уродливая женщина не первой молодости, которая считает, что ей все позволено. Этой разнузданной особе приглянулся скромный юноша негр, Дэвид Гаррисон, который, однако, отверг ее предложения. Тогда угрозами она заставила молодого негра притти к ней ночью. Он был застигнут майором Смидлом в саду сенатора. Негра жестоко избили и обвинили в покушении на драгоценную жизнь дочери сенатора. Блудливая дама, боясь публично признаться в неблаговидном поведении, решила облегчить свою совесть подачками. Она дважды посылала адвокату Кларку, защитнику юноши, деньги: первый раз для Дэвида Гаррисона, второй раз, после его самоубийства, для невесты Дэвида. Адвокат Кларк, не желая порочить честь женщины, которую мы назовем бесчестной, отказался сказать, от кого он получил деньги. Нас не удивляет с его стороны такой поступок, потому что он всегда был последователем Ганди. Опасаясь, что Кларк может одуматься и назвать дочь сенатора, банда упрятала его в психиатрическую больницу, а полиция, которая работает по указке банды, начала разыскивать невесту Дэвида. Она ее не найдет — Америка велика, и есть еще в Америке смелые люди.

Почему банда Лоу — Смидл погубила невинного Дэвида Гаррисона? Почему она арестовала адвоката Кларка и подделала документы, уверяя, что он получил деньги не от дочки сенатора, а от красных? Почему банда устроила погром, убила Банга и маленькую девочку? Мы дадим ответ на эти вопросы: банда Лоу — Смидл связана с другими бандами в разных городах Америки. Все они хотят вызвать в людях страх перед красными для того, чтобы начать поскорее войну. Но друзей мира больше, чем таких бандитов. Есть друзья мира и в Джексоне. Мы торжественно заявляем, что победят правда, мир и любовь к людям, о которой говорил президент Франклин Рузвельт перед своей смертью, а Лоу, Смидл и другие бандиты ответят за свои преступления перед судом».

Как ни пыталась Мэри выведать, что за страшное известие получил отец, это ей не удалось. Лоу сидел у себя в кабинете и думал о человеческой низости. Вот до чего доводят политические страсти! Эти люди способны

оклеветать беззащитную женщину. Трудно даже их назвать людьми. Все это ужасно... Он пытался молиться, хотел облегчить себя разговором с богом, но все время его мысли возвращались к листовке. Бедная Мэри!..

Он решил скрыть листовку от дочери. Он стал с ней еще ласковее: бедная девочка, эти негодяи посмели ее обидеть... С горечью он подумал о Смидле: недоделал и уехал. Конечно, он блестящий человек, но нельзя быть таким самонадеянным: решил, что сожгли одного негра — и ничего не осталось от красных.

Все обошлось бы, если бы сенатор не сказал как-то Мэри:

— Я все-таки надеюсь, что Кларка опять посадят на скамью подсудимых. О нем говорят, что он — последователь Ганди, а по-моему, он последователь русских террористов...

Мэри была в городе только раз — у парикмахера; газет она не читала и сейчас впервые узнала о том, что случилось с Кларком. Лоу рассказывал:

— Понимаешь, он передал шнур негру, а потом получил для него деньги из Нью-Йорка от красных и не сказал, от кого...

Мэри прервала отца:

— Боже мой!.. Но ведь это я послала... Это ошибка, нужно сейчас же заявить...

— Ты послала деньги?.. Но почему?..

— Мне было его жалко...

— Сейчас ты увидишь, как жалеть этих негодяев.— Лоу не выдержал и выкрикнул: — Ты идиотка, вот что!.. Читай, что они о тебе пишут.

Прочитав листовку, Мэри подумала: почему они говорят, что я старая уродка? Это неправда. Конечно, я немолодая, но я еще могу нравиться. Может быть, это Дэвид сказал своей невесте, чтобы она не ревновала? Тогда я его прощаю. Я его не тащила силой, просто позвала, ну, может быть, и сказала что-нибудь лишнее, но я не грозила, это тоже неправда. Я понимаю, почему они так написали,— им рассказала невеста Дэвида, она, наверно, ревновала, а он, бедный, оправдывался. Я ведь помню, как он вздыхал, когда мы шли и я взяла его за руку...

Мэри погрузилась в воспоминания, она забыла, что рядом отец. Лоу ждал, чтó она скажет, наконец спросил:

— Теперь ты понимаешь, что их нельзя жалеть?..

— В общем это правда. То есть я говорю, что обо мне они написали правду. Ужасно, что они обижают тебя... Насчет Смидла я согласна, но тебя они не смеют трогать...

— Что значит «правда»? Ты же не скажешь, что привела к себе негра?..

— Привела.

— Ты что, сумасшедшая?.. Я ничего не понимаю... Зачем ты его привела?

Мэри смутилась:

— Папа, ты знаешь, мне сорок четыре года, а ты спрашиваешь, как будто я девочка... Право же, я не могу тебе ответить, с отцом о таких вещах не говорят...

Лоу покачнулся, схватился за косяк двери и все же сполз на ковер.

Он пролежал почти месяц. Врач вначале хмурился, уклончиво отвечал Мэри. Потом сказал:

— У вашего отца могучее сложение. Он дешево отделался... Но это — предупреждение, необходим полный покой.

Мэри не отходила от отца; она ухаживала за ним с ожесточением, не давая себе ни часа отдыха. Лоу больше не говорил о происшедшем; вообще он мало разговаривал, был погружен в свои мысли. Он понял, что совершил преступление, когда одиннадцать лет назад позволил Мэри уехать в Европу. В тот день он погубил родную дочь. Разве можно ее винить? Из этих одиннадцати лет восемь она прожила в Европе... Она там сгнила заживо. Если мы не устоим перед красными, все сгниют. Думала ли покойная Агнесса, что ее дочь станет любовницей негра? Позор — так кончается род Лоу!.. Бог меня наказал за то, что я слишком долго был счастлив, разводил цветы, любовался Мэри. А бог любит жертвы... Если он теперь позволит мне стать на ноги, то только для того, чтобы я мог еще послужить Америке. Мы должны уничтожить красных, не то все женщины будут спать с неграми, а мерзавцы вроде Кларка выгонят нас из сената. От Америки останется только название...

Врач отговаривал Лоу: нельзя уезжать по меньшей мере еще месяц. Лоу и слушать не хотел об отдыхе:

— Вы знаете, какая на мне ответственность? Теперь не время думать о своем здоровье. У красных бомба... Они могут в любую минуту на нас напасть...

Перед отъездом сенатор поехал в город: он решил составить завещание. Адвокат Джонсон, ровесник Лоу и его старый приятель, улыбаясь, сказал:

— Правильно делаете — мы все-таки не зеленые юноши... Сейчас мы набросаем черновик. Имущество вы, конечно, оставляете Мэри?

— Пишите: все мое имущество, движимое и недвижимое, оставляю майору Смидлу с тем, чтобы он продолжал работу агентства «Трансок», а также выдавал ежегодно тридцать тысяч долларов жертвам красных. Моей дочери Мэри Нивель оставляю семейные реликвии и драгоценности, принадлежавшие ее матери. Оставляю пятьсот долларов моему повару Джо...

Он вдруг улыбнулся: представляю себе, как разозлится Нивель! Он ведь женился только ради наследства. Так ему и следует, Европу нужно учить — не сахаром, а кнутом, хорошим американским кнутом...

52

Полковник Коллинг встретил Смидла, как старого друга. Шутка ли сказать, они вместе пережили тревожные месяцы блокады!

— Как поживает полковник Робертс? — спросил Коллинг.

— Великолепно. Я перед отъездом остановился в Вашингтоне и нашел, что полковник даже помолодел.

— Говорили, что сенатор Лоу опасно болен, что-то вроде удара. Я боялся, что в связи с этим вы задержитесь.

— Я узнал о болезни сенатора уже в Париже, но это преувеличено, он поправился, работает. Я получил от него письмо из Вашингтона, он доволен обстановкой.

— А как вы расцениваете положение?..

— По-моему, все складывается не плохо. В общем

Трумэн сейчас — наименьшее зло, ему легче пришпорить рабочих, чем Дьюи. Хорошо, что Уоллес получил втрое меньше голосов, чем рассчитывали красные, теперь мы сможем настаивать на твердом курсе. Надо сказать, что предвыборная кампания спутала все карты: приходилось каждый день говорить о мире, а люди — это люди, такие разговоры расхолаживают. Но теперь все выровнялось.

— Ну, а как вы нашли Берлин?

— По правде сказать, я не восхищен. Мне кажется, что берлинцы раскисли. Может быть, это — только первое впечатление, но я сегодня утром стоял на Потсдамерплатц и с грустью вспоминал время блокады. Тогда эта площадь напоминала фронт, а теперь площадь, как площадь, снуют взад и вперед спекулянты. Я помню, как выключали свет, люди сидели впотьмах, а у красных все сверкало... И все-таки берлинцы тогда были лучше настроены. Когда над ними пролетали «летающие крепости», они на что-то надеялись, а теперь они смотрят не на небо, а на землю...

Смидл не мог жить в мирной обстановке, ему были нужны выстрелы, засады, сложные интриги. Жена доктора Хеллица, с которой он провел час в «бьюике», рассказывала подруге: «Я только в ту ночь узнала Смидла, это настоящий романтик. Он вдруг круто повернул и помчался в поле, мы могли разбиться. Я, конечно, закричала, он стал бешеным, чуть меня не задушил. А потом, когда я вскрикнула от счастья, он начал что-то насвистывать. Ты себе это представляешь?.. Я, когда мы прощались, спросила, что он насвистывает, он ответил: «Марш мертвых командоров». Нет, его нельзя понять! Никогда я не встречала такого мужчины...»

Полковник Коллинг ценил любовь Смидла к рискованным начинаниям и, говоря как-то о майоре, повторил слова госпожи Хеллиц: «Смидл вносит в наше дело поэзию. Другие взвешивают, а он буквально горит, всегда что-то придумывает, кого-то высматривает. Может быть, это потому, что он южанин, не знаю. У него романтическая натура».

Понятно, что в Смидла не могла не влюбиться Гильда Рихтер. Ни годы, ни пережитые волнения не остудили ее сердца; стоило ей увидеть привлекательного мужчину,

как она начинала говорить себе, что это ее идеал, что она поздно встретила свое счастье, нужно торопиться — ей тридцать шесть лет, скоро она станет старой дамой, которая вяжет жилет мужу и которой кондуктор предусмотрительно помогает войти в трамвай. Она все еще была хороша, с кудрявой головкой мальчика; круглые зеленые глаза, излучавшие фосфорический свет, сулили страсть и покорность зрелой женщины. Один из ее последних любовников, магистр философии Гольтц, недавно открывший меняльную контору на Потсдаммерштрассе, сказал ей: «Ты напоминаешь те южные цветы, которые у нас зацветают за несколько дней до заморозков...» Гольтц был исключением в длинном списке послевоенных увлечений Гильды — она сходилась только с иностранцами: они казались ей интересней немцев, притом она считала, что, поступая так, не изменяет мужу: глупо ревновать к существам из другого мира.

Со Смидлом она познакомилась вскоре после его первого приезда в Берлин. Он ее поразил своей внешностью: седой, медное лицо, суровые, властные глаза. Она сказала: «Вы похожи не на журналиста, а на золотоискателя или на дрессировщика тигров». Он сжал ее руку повыше локтя. «Я не люблю, когда мне делают больно»,— сказала Гильда. Он усмехнулся: «Когда я был ранен и бредил, мне все время мерещилась женщина, похожая на вас, такая же прелестная и глупая». Три дня спустя она стала его любовницей. Она пришла к нему, взволнованная и послушная, оправдывалась: «Я запоздала, не могла выбраться раньше, у меня ревнивый муж...» Она действительно задержалась из-за Курта: готовила ему ужин; он сердился, когда ужин бывал не во-время, но увлечениями Гильды он давно перестал интересоваться.

Когда Рихтер вспоминал довоенные годы, ему казалось, что тогда жил другой Рихтер; у него были положение, привычки, перспективы; он строил дома в большом неразрушенном городе, ходил в кафе «Прагер диле», читал Фрейда, бывал на вернисажах; он знал, что если будет откладывать двести марок в месяц, он сможет поехать с Гильдой во Францию — в Биариц или в Сен-Тропез. Конечно, некоторые назовут это мещанством, но это было жизнью того, довоенного Рихтера. Потом все завер-

телось, он попал в водоворот. Иногда Рихтер думал, что виноват Гитлер: нельзя было ставить на карту жизнь целого народа, люди живут только раз, и если у них отнять все, им безразлично, что о них напишет историк. Иногда он говорил себе: это было неизбежно, американцы теперь готовятся к войне, как Гитлер, значит иначе нельзя, в этом своя логика. Немцы проиграли сражение, а война продолжается. Мы заплатили так дорого, потому что были первыми. Но завтра Германия может стать арбитром положения. Конечно, лично для меня это — несчастье, я не солдат, я архитектор, я учился строить, а теперь главное — уметь разрушать. Но смешно спорить с эпохой...

Приходилось, однако, думать не только о ходе истории. Рихтер любил комфорт, тонкую кухню, рейнские вина, бразильские сигары. Гильда ему давно надоела, и каждую среду он бывал у маленькой Лотты, актрисы кабаре, а она любила нейлон, духи Герлена. Конечно, в годы войны он жил, как солдат, но ведь тогда не было ни витрин Курфюрстендамма, ни ресторанов, ни соблазнительных женщин. Пусть правы те, которые говорят, что все это — короткое перемирие между двумя войнами, но оно длится почти пять лет, а жизнь — вообще короткая история, неизвестно, сколько ему еще осталось... Эти горькие мысли заставили Рихтера взять работу в русском секторе. Правда, нашлись люди, которые говорили, что он плохой немец, что он поддался пропаганде и стал красным. Рихтер, до которого доходили такие разговоры, усмехался: кто-кто, а я знаю русских, я провоевал на Восточном фронте четыре года, это не шутка, я сражался до самого конца, до Тиргартена. Коммуниста из меня никто не сделает. Разве я виноват, что в западных секторах ничего не строят?..

Он не сразу согласился пойти к красным. Как раз в то время Гильда бегала к англичанину, приехавшему из Гамбурга; она говорила мужу: «Я познакомилась с одной дамой, ее муж — заместитель бургомистра Гамбурга. Она обещала поговорить насчет тебя — там очень много строят...» Англичанин вскоре уехал, и Гильда перестала говорить о даме из Гамбурга. Курт, подумав, начал строить школу для красных.

Рихтеры жили на Кайзераллее в английском секторе. Гильда говорила мужу: «Ты требуешь на обед деликатесы, а даешь мне гроши...» Он зарабатывал неплохо, но деньги, которые он получал, приходилось менять в конторе магистра философии или у спекулянтов, толпившихся вокруг развалин Гедехнискирке. Сначала за четыре восточные марки давали одну западную, потом за одну западную начали требовать шесть, даже семь восточных. Рихтер утешал себя: значит, мы крепнем, а красные слабеют; но в глубине души он мечтал: может быть, их марка немного поднимется... Гильда научилась быть бережливой. Она подыскала английский материал Курту на костюм в Шарлоттенбурге, а портного нашла на Александерплатц: «Ты ему заплатишь восточными марками, это огромная экономия». Апельсины она покупала на западе, овощи — на востоке, граница между секторами для нее была связана с одним: где что выгоднее купить. Рихтер этим возмущался, но как-то сам поймал себя на мысли: он стрижется у красных —намного дешевле. Он подумал: я очень низко пал, строю школу для коммунистов, каждый день перехожу из одного сектора в другой и даже не замечаю, что это граница двух миров. Ни в Нью-Йорке, ни в Москве люди не могут себе представить, как мы живем. По одной стороне улицы привычные рекламы, по другой — флаги, портреты, лозунги. Конечно, мне пришлось взять работу у красных, но они меня не купили. Я ненавижу их порядки. Ни одного кабаре с голыми девчонками, повсюду пропаганда: строительство, борьба с империалистами, защита мира. Каждый вечер заседания. А стоит спуститься в подземку — и через четверть часа ты в кафе на Курфюрстендамме, карточка вин, нарядные женщины, иностранцы... Я не такой уж эгоист, я ел сухари, давил на себе вшей, но тогда я сражался за идеал — была Германия. А для кого я строю эту школу? В ней будут учить, как завести у нас русские порядки.

Рихтер никогда не вспоминал о том, как он жег деревни Смоленщины, как Марабу убивал детей, как рыжий Карл повесил женщину, он помнил только, что он мерз, вяз в грязи, убегал, что русские убили и Марабу и рыжего Карла, а потом ворвались в Берлин. У Рихтера поселился русский архитектор, который хотел вежливостью

победителя унизить Курта, бандит — он сам рассказал, что участвовал в партизанском отряде...

Такие мысли приходили обычно по вечерам, когда Гильда убегала на свидания, а Рихтер, мрачный, читал газету. Потом он забывал про политику. Он не мог пожаловаться на коммунистов. В восточном секторе работало много архитекторов. Они такие же красные, как я, говорил себе Рихтер. Взять хотя бы профессора Вольфа, он начал работать еще при кайзере, его знают все, это прекрасный архитектор, наверно ему противно строить дома для красных.

Постепенно Рихтер привык и к своей работе, и к меняльным конторам, и к жизни в двух мирах. Проходя по улицам русского сектора, он больше не замечал ни портретов, ни лозунгов, а когда в коммунистической газете была напечатана заметка о новой школе с комплиментами по адресу Рихтера, он удовлетворенно подумал: это фанатики, но с ними можно работать...

Гильда никогда не знакомила своих любовников с Куртом: считала это безнравственным; но Смидл умел настоять на своем. Он захотел встретить Рихтера после того, как Гильда ему рассказала, что ее муж строит что-то у красных, хотя, конечно, их ненавидит.

Смидл сказал Рихтеру, что он журналист, представляет большое американское агентство и хочет посвятить статью работам берлинских архитекторов. Он держал себя сдержанно, подчеркивал свое глубокое уважение к госпоже Рихтер, которой был представлен на концерте госпожой Лангемюллер. Он просидел целый вечер и в конце сказал: «Почему бы вам не переехать во Франкфурт? Сейчас это очень оживленный город. Я могу поговорить с генералом Даусом. Для таких одаренных архитекторов, как вы, там всегда найдется работа. Вам смогут предоставить нечто интересное,— например, проект восстановления целого города. Потом я не думаю, чтобы вас очень привлекало общество красных...» Рихтер просиял, и Смидл обещал вернуться к этому разговору.

Он начал бывать у Рихтеров. Гильде он строго сказал: «Больше ко мне не приходи. Теперь я подружился с твоим мужем и не хочу его обманывать». Она поплакала, но подчинилась. Смидл часто говорил о политике,

ругал красных. Рихтер думал: я знаю, когда мы проиграли войну — летом сорок четвертого. Полковник Габлер был большим человеком,— он понимал, что нужно было убрать Гитлера и договориться с союзниками. Конечно, американцы — эгоисты, но нам выгодно итти с ними. Они подерутся с русскими годом раньше или годом позже. Война начнется здесь, так что никакой нейтралитет нас не спасет. А если мы возьмем сторону американцев, мы сможем вернуть Штеттин, Бреслау, Кенигсберг, вообще будем жить, как жили до войны.

Смидл сказал Рихтеру:

— Я говорил с друзьями... Их немного останавливает тот факт, что вы работаете у красных. Злые языки говорят, будто в молодости вы были коммунистом.

— Это вздор.

— Я так и думал. Но нужно заткнуть рот клеветникам. В Восточной Германии есть «Содружество приверженцев свободы», разумеется, тайное — красные таких вещей не любят. Я посоветовал бы вам войти с ним в контакт.

— В первый раз слышу...

— Это понятно, они действуют осторожно, один не знает другого. Вы смелый человек, но зачем зря рисковать? Я могу сказать им, что вы согласны, этого хватит.

— Может быть, лучше бросить работу? Школу я сдал. Теперь они хотят, чтобы я представил проект стадиона, я могу отказаться.

— Зачем спешить? Пока нет определенного ответа из Франкфурта, это неблагоразумно. Если вы спросите госпожу Рихтер, она, наверно, ответит, как я. Я человек идеи, но я первый говорю — жить как-то нужно...

Рихтер успокоился. А неделю спустя Смидл ему сказал:

— У «Приверженцев свободы», оказывается, правило: каждый новичок должен привлечь трех людей из своей корпорации. Они вас просят поговорить с архитекторами в восточном секторе.

— Зачем? Я ведь собираюсь уезжать...

— Поскольку вы хотите получить работу в американской зоне, нужно доказать свою лойяльность. Генерал

Даус мне ответил, что ваше имя значится в списке красных.

Рихтер взволновался. Может быть, это ловушка? Но Смидл — журналист, представитель большого агентства... Как я мог попасть в такой список? Конечно, я работаю у красных, но это по необходимости. Там работают миллионы... Они могли узнать, что я когда-то увлекался большевизмом, был в Кузнецке. Но ведь даже наци ко мне не придирались, а в Западной Германии свобода, там коммунисты открыто выступают... Я не хочу, чтобы меня считали красным... Может быть, поговорить с Вольфом, еще с двумя-тремя? Можно быть осторожным, завести разговор о политике и послушать, что они скажут. В общем это рискованно, но тогда мы поедем во Франкфурт. У меня идиотское положение: одной ногой стою в Европе, другой — в Азии, легко упасть...

Он вспомнил, как говорил Гильде, что немцы должны жить беспокойно, и усмехнулся. Кажется, с нас хватит беспокойства. Кругом одни развалины. А я все-таки хочу что-то подтолкнуть. Упадет ведь на меня... Может быть, это эпоха? Или у меня такой характер?..

Он решил поговорить с профессором Вольфом, с архитектором Крамером, человеком вежливым и молчаливым, наконец с Лемке, с которым он познакомился возле Минска,— Лемке тогда командовал ротой саперов.

Он начал с профессора Вольфа, сказал, что хочет с ним посоветоваться о проекте стадиона. Вольф позвал Рихтера к себе. Вольфу было шестьдесят семь лет, и Рихтер изумился, узнав, что профессор живет в том самом доме, где родился: этот дом чудом уцелел на улице, почти целиком разрушенной во время одной из бомбардировок. Все в квартире Вольфа дышало стариной. На стенах висели портреты с автографами, здесь были и Гауптман, и Моисси, и Ратенау. В гостиной стояла старомодная мебель. Профессор угостил Рихтера хорошей сигарой. Рихтер лукаво спросил:

— Неужели это делают в восточной зоне?

Вольф улыбнулся:

— Мне привезли коробочку из Голландии.

Рихтер рассказал о своих сомнениях, связанных с про-

ектом стадиона, и почтительно выслушал советы профессора. Потом он сказал:

— Не знаю, зачем стадион, когда людям негде жить.

— Молодежь теперь увлекается спортом, им стадион, пожалуй, важнее квартиры...

— Я не убежден, что это для футбола. Скорее для митингов. Так по крайней мере пишет «Телеграф»...

Вольф насупился:

— В «Телеграфе» была статья о том, что я строю какие-то засекреченные заводы, а я строю жилые дома, и только. Я старый человек, и для меня вся их система непонятна. Я сам вначале опасался разных новшеств, но теперь вижу, что результаты есть. Правы они или не правы, судить не берусь, могу сказать, что во главе стоят честные люди, это уже много. И потом они не хотят войны. Вы только подумайте, какое это преимущество! Вокруг моего дома развалины... Нацисты кинули страну на зеленое сукно. Ну, а мы не военные, мы с вами строим, для нас дом не стратегический пункт, а плод нашей работы... Я был недавно в Бремене у дочери. Все там говорят об одном: когда снова начнется? Безумие! И можете себе представить, выплыли нацисты. Уверяют, что скоро будет армия. Тогда погибнет и то немногое, что уцелело. Меня там соблазняли: западные марки, особняк, машина. А зачем мне это? Сколько мне еще осталось жить? Нужно подумать о том, что будет после... Вот видите, значит хорошо, что вам поручили строить стадион, поздравляю, уверен, что вы справитесь с трудностями.

Рихтер понял, что сделал ошибку: Вольф слишком стар, он боится перемен, хочет умереть в доме, где родился.

Несколько дней спустя Рихтер пригласил к себе Крамера. Он его мало знал, но ему казалось, что Крамер недоволен режимом. Однажды Крамер при нем сказал: «Такие дома я видел возле Перпиньяна...» Человек проводил каникулы во Франции, наверно хорошо зарабатывал, видно, что он привык к удобствам, а теперь он должен ходить на заседания и строить для красных какой-то «дворец культуры»...

Гильда принесла кофе и ушла. Рихтер сказал:

— Вы, кажется, часто бывали во Франции?

— Я прожил там в общем семь лет.

— Наверно, вам тяжело, что вы сейчас не можете туда поехать?

— Да, интересно бы посмотреть, как там сейчас. Особенно мне хотелось бы увидеть снова Испанию...

Рихтер удивился: он и в Испании был... Как его вызвать на разговор?

— А вы знаете Францию? — спросил Крамер.

— Немного. Я бывал в Сен-Тропезе, в Бидаре. Все это очень давно. Мне не повезло — я всю войну провоевал на Восточном фронте. А вы были во Франции и во время войны?

— Да. Я там провоевал все годы...

Рихтер вздохнул:

— Все мы ужасно намучились. Неужели придется снова воевать? Я ничего больше не понимаю — американцы обвиняют русских, русские американцев. Может быть, виноваты и те и другие, не знаю, но что нам делать?

— Строить, господин Рихтер, как можно больше строить. Педагоги воспитывают детей, агрономы выращивают сады, инженеры пускают заводы, а наше дело — строить.

— Зачем? Чтобы бомба уничтожила все?

— Бомбы сами не летают — нужны люди. Значит, следует бороться за каждого человека. Я не говорю, что это легко. Если заглянуть поглубже, еще много дряни. Но разве вы не видите, как все изменилось за четыре года?.. Когда мы сражались у Мадрида, там была горсточка немцев — «батальон Тельмана». Я с горечью думал: до чего нас мало, а у нацистов вся Германия. Утешался — все-таки кто-то есть... А теперь я вижу сотни тысяч молодых. Это уже не батальон Тельмана, это страна Тельмана. Это действительно новая Германия.

— Я не знал, что вам пришлось столько пережить,— поспешно сказал Рихтер.— Я с вами вполне согласен — мы должны строить. А войны не будет, правда? Позвольте, я вам налью еще кофе...

Рихтер долго ругал себя: хорош конспиратор — полез волку в пасть! Но как я мог подумать — в партии он не

состоит, человек образованный. Удивительно! Слава богу, что я не сказал ничего лишнего...

Он решил все же поговорить с Лемке. Он ничем не рискует: Лемке был нацистом, в России он не гладил жителей по головке...

Лемке, когда Рихтер заговорил с ним о политике, разозлился:

— Мне надоело жить для человечества, я хочу жить для Лемке. Четыре года я кормил собой вшей. У меня пуп прострелен, факт. Но тогда я по крайней мере знал: если мы победим, что-то нам будет. А эти хотят, чтобы мы воевали за них. Они будут изготовлять бомбы, а я буду получать осколки в мой простреленный пуп. Дудки! Я больше не игрок. Я коммунистов терпеть не могу, но они мне платят за работу. Если мне американцы предложат строить у них нужники для младшей собаки Макклоя, я поеду. А воевать за них я не собираюсь, даже если они меня объявят президентом земного шара. Пуп у меня один, а не два. Можешь разводить какую угодно метафизику, меня это не тронет. Лемке хочет жить.

Рихтер рассказал Смидлу о своих неудачах, он ждал, что тот будет настаивать, скажет — нужно еще поискать, но Смидл, выслушав его, сказал:

— Хорошо, что вы ничем себя не скомпрометировали. Меня вызывают в Америку. Вернусь через два-три месяца. Я надеюсь, что к этому сроку вопрос о вашем переезде выяснится. А вы постарайтесь получше работать — пусть у вас будет реноме хорошего архитектора.

Он вежливо простился с Гильдой. Все в ней всколыхнулось: страсть, возмущение, тоска. Она еле сдержалась, чтобы его не обнять. Потом она подумала: он со мной ужасно поступил. Я не верю в его дружбу с Куртом, просто он хотел от меня отделаться. Он не вернется, в этом я убеждена...

Она проходила все лето печальная и только поздней осенью, накануне возвращения Смидла, увлеклась молодым служащим «Эр-Франс».

Рихтер тоже не верил, что Смидл вернется. Оставив мечты о переезде на запад, он успокоился. Не было больше дурацких разговоров о каком-то тайном «содружестве». Рихтер много работал; он попрежнему горевал,

что родился в поганое время, но Лотта была мила, и каждую среду он на несколько часов забывал о трудностях эпохи.

Смидл, однако, вернулся. Гильда равнодушно на него поглядела: она была занята своим французом. А Рихтер взволновался: что он мне скажет? Все-таки Франкфурт во сто крат лучше, чем это барахтание между двумя мирами...

После истории с «содружеством» Рихтер побаивался Смидла: ждал от него всего. Но то, что преподнес ему американец, его ошеломило. Смидл сказал, что трибуны стадиона могут легко провалиться, все зависит от архитектора, доллары — это доллары, теперь настают решающие месяцы, а Рихтер связан — он вошел в организацию, отступников никто не терпит. Три часа подряд Смидл требовал, соблазнял, грозил: когда будет большое празднество, трибуны должны рухнуть. Рихтер получит три тысячи долларов и сможет улететь во Франкфурт.

Рихтер пытался протестовать: это — сумасшествие, только нацисты придумывали такого рода авантюры, он не мальчик, да и красные не так наивны. Смидл сказал:

— Подумайте о себе. Я ваш друг, я хочу вас спасти... На западе вас занесли в красный список. Для боннской полиции вы доверенное лицо Ульбрихта. Конечно, вы могли бы перебраться к русским. Я бы вас простил: человек должен жить. Но есть заминка... В архивах Риббентропа оказался рапорт какого-то полковника Вильке. Он пишет, что в тысяча девятьсот сороковом году вы ездили в Москву от нацистской разведки. Если это напечатают, красные с вами не поцеремонятся... Я попросил не печатать, сказал, что вы работаете с нами. Все теперь зависит от вас.

Первой мыслью Рихтера было: нужно найти в себе мужество и повеситься. Но он быстро понял, что это не выход: ему хочется жить. Он находился в таком волнении, что решил рассказать все Гильде, которую никогда в свои дела не посвящал.

Он думал, что она изумится, начнет кричать или плакать, но она спокойно сказала:

— Смидл — негодяй, я это давно знаю.

— Откуда ты это знаешь?

Она пожала плечами:

— Курт, это не имеет значения... Важно, что он негодяй. Ты ни за что не должен соглашаться. Достаточно ты рисковал своей жизнью. Помнишь, как ты мне говорил, что Гитлер прав, что нужно воевать, мучиться? Я и тогда в это не верила... Я тоже достаточно пережила. Когда я вспоминаю бомбежки, я дрожу, как помешанная. А потом они заставили нас строить баррикады. И зачем?.. Чтобы на Унтер ден Линден сидели русские, а на Потсдамерштрассе — американцы. Курт, я тебя умоляю, откажись. Ты знаешь, сколько мы женаты? Семнадцать лет. Это что-нибудь да значит, ты не можешь от меня отмахнуться... Если ты согласишься, тебя убьют коммунисты... К чему это?.. Конечно, мы жили раньше лучше, но ведь теперь нам не так плохо, ты работаешь... И потом, что он предлагает? На трибунах сидят обыкновенные люди, женщины, дети. Я тебе говорю, что он — негодяй. Я никого никогда не хотела убить, а его я бы с удовольствием зарезала...

— Если я не соглашусь, он напечатает рапорт полковника Вильке. На запад я не смогу убежать. Меня так или иначе убьют...

— Я тебе не говорю, что ты должен сказать: «Я отказываюсь». Скажи, что ты подумаешь. Пусть он надеется. Но ты не должен этого делать...

Гильда вдруг заплакала: она поняла, что Курт попал в мышеловку. Виновата она — это она привела Смидла. Они семнадцать лет вместе, но он может ее ударить, избить и будет прав.

Рихтер задумался: может быть, вправду тянуть? Сказать, что в принципе согласен, но все это очень сложно. Что если мне повезет, и он снова укатит в Америку?

Ночью он не спал: продолжал думать. Вдруг предложение Смидла показалось ему увлекательным. Конечно, трудно сделать так, чтобы не заметили. Но если подумать, это осуществимо... Гильда говорит глупости — при чем тут дети? Есть трибуна для правительства... Пусть знают, что значит брататься с русскими! Курт Рихтер — настоящий немец, он защищал Берлин до последней пули...

Утром он пошел на работу. Весь день он не думал о предложении Смидла. Дома его ждала Гильда, она сразу спросила:

— Что ты решил?

— Не знаю. Ничего не решил... Оставь меня в покое.

Гильда должна была пойти к французу и не пошла: ее мучали угрызения совести. Она лежала у себя и тихо плакала — оттого, что француз ждет и ей очень хочется к нему, оттого, что старость не за горами и старость будет неспокойной, страшной — с падающими трибунами, с раздавленными детьми, с бомбоубежищами...

Рихтер вдруг встрепенулся: ведь сегодня среда! Он пошел к Лотте. Она сидела на софе и чесала затылок жирного белого кота. Он хотел поцеловать ее, она показала на кота:

— Осторожно, ты его разбудишь.

— Скажи, Лотта, тебе хотелось бы жить беспокойно?

Лотта рассердилась:

— Старый дурак, кто этого может хотеть?

— Не знаю. Кажется, никто... А может быть, я...

53

Постоянство резчика Карла Бреннера было хорошо известно всем жителям как Нидервальда, так и Обервальда: четыре года он добивался руки Анны, молодой вдовы владельца гостиницы «Белый олень» Густава Шпейера. Карл влюбился в Анну давно, когда приехал в отпуск. Густав Шпейер был тогда жив, и, глядя на Анну, Карл молча вздыхал; на прощание он подарил ей медальон своей работы — сердечко из слоновой кости.

У Анны было много поклонников. Она была хороша собой, пухлая, но не толстая, с очень ясными бирюзовыми глазами, с косами цвета бледного золота, собранными на голове; вела она себя скромно; даже злые кумушки, а их в Обервальде было более чем достаточно, доходя до нее, прикусывали язык. Некоторых претендентов прельщала больше, чем сама Анна, гостиница «Белый олень» с маленьким рестораном, который по вечерам был всегда переполнен.

Бургомистр Обервальда нотариус Зейдлиц, в прошлом приверженец «Стального шлема», а теперь «умеренный демократ», как-то сказал своей жене:

— Все-таки Анне не повезло. Подумать только, что бедный Густав погиб буквально за несколько дней до конца войны...

Жена возразила:

— По-моему, ей неслыханно повезло. Ты помнишь, как Густав собирался построить свою гостиницу в Нидервальде, говорил, что там местность куда живописней? Что бы теперь делала Анна? Если рассуждать, как ты, можно сказать, что она спаслась буквально за несколько километров от катастрофы...

Почему Анна упорствовала? Карл Бреннер не был ни стар, ни уродлив. Он считался искусным резчиком; до войны его изделия из кости охотно раскупались туристами, да и теперь их можно было найти в магазинах не только Веймара или Иены, но и Берлина; за художественную резьбу он получил две медали. У него был дом с фруктовым садом. А главное, Анна не могла о нем спокойно думать; когда она на него глядела, ее ясные глаза тускнели. Она мечтала о нем еще девчонкой, но родители выдали ее за Шпейера потому, что у него была гостиница. Свадьбу отпраздновали накануне войны. Когда Карл приехал в отпуск, Анна взволновалась и в медальон, который он ей подарил, вставила его фотографию. Если теперь она заставляла его мучиться, то объяснялось это не ее сердечным холодом, а только тем, что Карл жил в Нидервальде, недалеко от того места, где покойный Густав собирался построить гостиницу. От Нидервальда до Обервальда было четырнадцать километров, но между ними прошла граница, отделявшая советскую зону от американской. Еще три года назад Карл часто приезжал в Обервальд; за последнее время положение, однако, обострилось, полицейские требовали пропуск. Правда, спекулянты продолжали сновать взад и вперед, перевозили медикаменты, чулки, сигары, но Карл был человеком нерасторопным; все реже и реже он видел Анну. Он говорил ей, что нужно повенчаться, тогда она переедет в Нидервальд. Анна не решалась. Отец ее умер в сорок пятом году, мать была больна и не хотела слышать

о Нидервальде, говорила: «Только сумасшедшая способна продать гостиницу и отправиться к красным...» Анна робко спрашивала Карла, почему бы ему не перебраться в Обервальд. Он отвечал: «У меня мое ремесло, я не хочу быть трактирщиком, я художник...» Он умалчивал о главной причине, удерживавшей его от переезда: почтенные люди Обервальда называли Бреннера не иначе, как «Карл красный».

Отец Карла был тоже резчиком по кости; он говорил о себе «я — социал-демократ», хотя ни в какой партии не состоял. Когда к власти пришел Гитлер, старик слег от огорчения, сказал сыну: «Тебе восемнадцать лет, в этом возрасте делают глупости. Если ты хочешь обязательно дурить, пей, путайся с девками, играй в карты, только не иди к этим негодяям...» Карл остался верен наставлению отца. Конечно, он не кричал на улице, что он против фюрера, но приятелям он говорил, что ему противны шелопаи, которые с утра до ночи вопят «зиг-хейль». Когда началась война, Карл сказал сестре: «Я знал, что эти горлодеры накликают беду...» Всю войну он провоевал, был на Балканах, в Африке, потом в России. В сорок четвертом он стал героем, сам того не подозревая; он сказал товарищам: «Это дурацкая затея — жечь русские деревни. Я уже вижу, как горит мой домик в Нидервальде...» Фельдфебель усмехнулся: «Мы тебе поможем не увидеть, как сгорит твой дворец» — Карла послали в штрафной батальон. Чудом он уцелел и, вернувшись в Нидервальд, увидел свой дом, которого никто не сжег. Карла ждали другие испытания: в маленьком городке все знали про его злоключения, и неожиданно для себя он стал бургомистром, как человек, боровшийся против нацистов. В отличие от своего покойного отца, Карл никогда не интересовался политикой. Свои новые обязанности он выполнял исправно, но без страсти. По правде сказать, он не понимал приключившегося, считал, что нацисты были подлецами, к счастью все это кончилось, можно резать из кости оленей или медвежат, а кричать не следует; лучше всего, если править страной будут социал-демократы, о которых ему говорил когда-то отец. Он удивился, когда, побывав впервые в Обервальде, узнал, что его зовут «Карлом красным»,— ведь в душе

он побаивался коммунистов. Окрестил Карла так бургомистр Зейдлиц, и кличка за ним укрепилась. Даже в Нидервальде люди, недовольные новыми порядками, шушукались: «Тише, идет «Карл красный»... Он обрадовался, когда выбрали нового бургомистра, молодого Шульца, вернувшегося из плена, который был и впрямь красным. Карл думал, что о нем теперь забудут. Но Анна сказала ему: «Зейдлиц говорит, что я не должна за вас выходить, потому что вы красный, и когда уйдут русские, вас посадят в тюрьму...» Карл ответил: «Какой же я красный? Это басни. Нехорошо только, что нацисты снова начинают горланить. Я ведь помню, как Зейдлиц кричал, что нужно смять в лепешку поляков. А смяли в лепешку нас...» Карл думал: коммунисты — очень неосторожные люди. Почему бы им не договориться с Америкой? У американцев много долларов и какая-то страшная бомба. Если русские договорятся с американцами, можно будет спокойно жить, я женюсь на Анне, она оставит гостиницу своей матери, будет к ней приезжать каждое воскресенье. Но коммунисты ругают американцев. Это — сумасшествие... К новым порядкам он привык. Его больше не смущали ни законы республики, которые Зейдлиц называл «преступными», ни портрет Тельмана на ратуше, ни русские, стоявшие в шести километрах от городка возле автострады. Встречая иногда русского майора, Карл вежливо говорил: «Здравствуйте, сегодня хорошая погода» или: «Здравствуйте, сегодня сильный ветер». При этом он с грустью смотрел на холм, поросший соснами, которые казались то зелеными, то оранжевыми, то черными; за холмом была Анна, и он думал, что пора бы коммунистам столковаться с американцами.

В тот день, когда Карл вторично стал героем не по своей вине, дул ледяной ветер, но Карл не сказал об этом русскому майору — он отправился в Обервальд лесом, чтобы не повстречать полицейских: у него не было пропуска. Конечно, для «Карла красного» это было опрометчивым поступком, но тоска внезапно сжала его сердце, он понял, что должен сейчас же увидеть Анну. Он захватил с собой подарки, над которыми просидел две недели; нож с затейливой рукояткой и маленький ларчик.

В ресторане «Белый олень» было людно. Увидев Карла, Анна вспыхнула и стала еще прелестней. Она попросила его посидеть внизу: сегодня много гостей, служанка одна не управится, но через час Анна освободится, они смогут пройти к ней наверх. Карл сидел один за столиком и пил холодное кислое вино. Чтобы убить время, он вынул из кармана газету, которую не успел прочитать утром.

За длинным столом возле буфета сидели американцы: офицер МП и двое штатских. Они громко разговаривали, то и дело подзывали служанку. Никто на них не обращал внимания: с тех пор как Обервальд стал контрольным пунктом, американцы облюбовали ресторан «Белый олень».

— У вас здесь слишком тихо,— сказал Смидл капитану Кеннелю.

Капитан виновато улыбнулся и ответил:

— Давайте выпьем еще кирша.

Смидл часто наезжал в Обервальд, шутя называл «Белый олень» своим командным пунктом. Его неизменно сопровождал немец Брауэр, в совершенстве владевший английским и русским языками. Смидл был неутомим. Рихтер наивно думал, что американец занят только им, а для Смидла история со стадионом была одной из бесчисленных его затей. Когда генерал Даус спросил его, не боится ли он так разбрасываться, майор ответил: «Главное — что-то делать. Конечно, переманить тюрингского министра важнее, чем укокошить «фольксполицая», но я доволен и тем и другим... Нужно все время напоминать немцам, что эта белиберда не может кончиться мирно». Журналисты удивлялись работоспособности и находчивости Смидла: среди прочих дел он не забывал и агентства, почти каждый день отправлял длинную телеграмму, говорил: «Важно найти зернышко, а из него мигом вырастет пятьсот слов...» Стоило, например, какому-нибудь немцу приехать из советской зоны в Обервальд, как Смидл отправлял сенсационную корреспонденцию о «массовом бегстве из красного ада».

Он выпил большую рюмку кирша и снова стал допекать капитана Кеннеля:

— У вас чертовски тихо. Я говорил с вашими парнями, они размякли, не помнят, что рядом красные...

— Красные не подают признаков жизни,— ответил капитан.— Давайте выпьем еще кирша.

Смидл воспаленными, злыми глазами оглядел зал.

— Вы говорите, что они не подают признаков жизни? Вы тоже размякли, капитан. Поглядите — сидит человек и преспокойно читает «Нейес Дейчланд». Если об этом узнает генерал Даус, вы никогда не станете майором.

Переводчик Брауэр сказал:

— Наверно, это кто-нибудь из Нидервальда. Я сейчас спрошу у местных...

Пять минут спустя он вернулся:

— Я был прав, это бывший бургомистр Нидервальда «Карл красный». Он волочится за хозяйкой «Белого оленя».

Смидл вскипел:

— Очень красиво. «Красный Карл» сидит в «Белом олене» и читает речь Пика. А капитан Кеннель в это время думает о том, какие замечательные бедра у Дженни Поуэл. Откуда вы знаете, что хозяйка гостиницы не красная? Тогда они в курсе всего... Я не удивлюсь, если русские завтра пройдут церемониальным маршем до Рейна...

— Он, наверно, пробрался лесом,— сказал капитан.— Здесь хороший лес, а у немцев длинные ноги. Но если он здесь, мы с ним поговорим, у нас есть время. Давайте выпьем еще кирша.

Осоловевшими глазами он поглядел на красного, который читает речь Пика, но никого за столиком не было. Лейтенант подумал: я, кажется, перехватил. Он огорчился и выпил еще рюмку.

Карл был наверху, в комнате Анны. Когда он шел лесом, он обдумывал, что скажет Анне. Он должен убедить ее повенчаться, нельзя столько ждать, коммунисты не хотят сговориться с американцами, а жизнь проходит. Он приготовил речь, как ему казалось, очень убедительную, Анна должна будет согласиться... Но теперь он ничего не говорил, а молча глядел на Анну. Почему он потерял голову? Уж, конечно, не от стакана слабенького мозельвейна. Вероятно, он сильно стосковался по Анне, а может быть, то, что он совершил незаконный поступок, придало ему смелости. Он неожиданно сел на диван рядом с Анной и начал ее целовать. Никогда прежде он

себе этого не позволял. Анна понимала, что нужно его образумить, она сказала: «Карл, сядьте в кресло»,— но, сказав это, сама поцеловала Карла.

Постучали. Анна не открыла: она должна была привести себя в порядок.

— Живее!..

В комнату вошел полицейский Розен; не глядя на Анну, он сказал Карлу:

— Покажите-ка ваш пропуск.

Вот прохвост, подумал Карл, я ведь помню, как он был в «гитлерюгенд», кричал, что мы придем в Индию.

— У меня нет пропуска,— ответил Карл.

Розен увел его. Анна подбирала рассыпавшиеся шпильки и тихо плакала.

Смидл был крепок: шутка ли сказать, он выпил поллитра кирша и не пошел спать — обдумывал, как поступить с «красным Карлом».

— Давно вы стали коммунистом?

— Боже меня сохрани,— ответил Карл,— никогда я не был коммунистом. Я резчик по кости, у меня две медали.

Карл рассказал о том, как он случайно оказался бургомистром. Ужасно, что коммунисты не хотят помириться с американцами, ведь ему давно пора обзавестись семьей.

— Ваши дела плохи,— сказал Смидл,— немецкие полицейские мне говорили, что вы пробрались сюда без пропуска да еще с оружием...

— Бог видит, никакого оружия у меня не было.

— На вас нашли нож...

Карл рассмеялся:

— Это старый солдатский нож, я сделал рукоятку, это художественная резьба...

— Вы можете сколько угодно говорить о рукоятке, но в ноже есть еще лезвие... Такой резьбой легко отправить человека к праотцам.

Карл закрыл лицо руками: ясно, что он пропал. Зейдлиц с ним расквитается за то, что он напомнил ему про «Стальной шлем»...

— Мы не вмешиваемся в дела немецкой полиции,— сказал Смидл.— Но у меня здесь есть знакомства, я попытаюсь вас выручить...

Он прошел в комнату, где сидел начальник полиции, и рассмеялся:

— Это не «Карл красный», это Карл глупый. Кажется, вам придется его выпустить. Не огорчайтесь, через несколько дней птичка сама к вам прилетит.

Вернувшись к Карлу, он сказал:

— Вот что я могу вам посоветовать: перебирайтесь сюда. Вам здесь никто плохого не сделает. Я получил гарантии. Когда мы, американцы, за кого-нибудь ручаемся, его уж не тронут. Вам нужно написать заявление, что вы убежали от красных. Вы были бургомистром и могли убедиться на своей шкуре, что такое русская палка.

— Зачем я буду врать! — воскликнул Карл.— Никто мне ничего плохого не сделал. Я и не думал оттуда убегать...

Смидл развел руками:

— Мое дело — сторона. Я здесь случайно, проездом, сам я не военный, а журналист. Мне стало вас жалко — и все... Я ведь слышал, как они составляли протокол. Они вас хотят упрятать в тюрьму. Я еле их уговорил... А если вам хочется посидеть, я не возражаю...

Он ушел в ресторан «Белый олень», выпил еще с капитаном и сказал:

— Пойду к моему Карлу, он, наверно, поспел...

Под утро Карл подписал заявление, составленное Смидлом, и его освободили.

Смидл принял холодный душ и, свежий, пришел к Кеннелю. Капитан лежал, голова его была обмотана мокрым полотенцем. Смидл пренебрежительно усмехнулся:

— Вы, кажется, пили не больше, чем я. Нельзя раскисать, капитан. Не забывайте, что рядом красные. Кстати о красных, мы возвращаемся сейчас в Берлин и по дороге заедем в Нидервальд...

Капитан привскочил, но почувствовал приступ тошноты и снова лег на спину.

— Они вас не пропустят.

— Кто знает, я ведь не военный, а безобидный журналист. Я хочу поглядеть на Нидервальд. Некоторые немцы жалуются, что там теперь нельзя жить. Может

быть, они преувеличивают, я хочу дать правдивую информацию...

— Я вам говорю, они вас никогда не пропустят.

Смидл рассмеялся:

— Вы думаете, что я ребенок? Конечно, они нас не пропустят. Но я с ними поговорю. У меня будет о чем написать. А потом мне сегодня нечего делать, это меня немного развлечет.

— У вас могут быть неприятности. Мы должны соблюдать правила...

— Есть одно правило, которое мы должны всегда соблюдать и о котором вы, кажется, позабыли: не оставлять красных в покое. Бросьте киснуть, капитан. Хотите кирша?

Смидл налил две рюмки. Кеннель застонал:

— Что вы!.. Меня мутит от одного запаха...

Переводчику Брауэру затея Смидла показалась глупой: как может серьезный человек пробираться в Нидервальд без визы да еще по шоссе? Но Брауэр знал, что его дело — подчиняться. При нацистах он работал в отделе прессы, и, когда ему давали дурацкие листовки для русских, он их переводил — приказ есть приказ.

Когда машина Смидла свернула с автострады на дорогу, которая вела в Нидервальд, русские попросили предъявить документы. Смидл долго рылся в карманах, наконец достал членский билет клуба «Неунывающие» и фыркнул от удовольствия. Он пьян, в ужасе подумал Брауэр, как я раньше этого не заметил, он не протрезвился с ночи...

— Вы ошиблись,— сказал русский.— У вас должно быть другое...

Смидл снова засмеялся:

— У меня много другого. Например, карточка прессы, я представитель агентства «Трансок». Вы не знаете? Я вам верю, вы очень многого не знаете. Проведите нас к вашему начальнику.

Брауэр пролепетал:

— Зачем вы это затеяли?..

— Вы тоже раскисли, Брауэр. Может быть, вы повяжете голову полотенцем, как капитан Кеннель?..

Их провели в небольшой дом. В первой комнате солдат что-то стучал на машинке, двое других играли в шахматы. Смидл заглянул в бумаги на столе. Солдат ничего не сказал, но убрал бумаги в ящик. Смидл толкнул Брауэра:

— Видали? Он спрятал от меня регистрацию проезжающих машин!

— Может быть, мы поедем в Берлин? — предложил Брауэр.— Вы всю ночь не спали, вам надо отдохнуть.

— Я не знал, Брауэр, что вы такой трус. Вы лишены чувства юмора. Человек не может все время заниматься делом, ему нужно и позабавиться. Узнайте лучше, как зовут их начальника.

— Пройдите,— сказал, наконец-то, солдат, показав на дверь во вторую комнату.

Смидл увидел русского майора не первой молодости, с хмурым, неприветливым лицом. Русский внимательно поглядел на Смидла, спросил:

— Что вам угодно?

— У нас маленькая авария: карбюратор не работает. Я хотел этим воспользоваться и передохнуть часок-другой в Нидервальде. Но ваши подчиненные привели меня к вам. Я журналист, мы жаждем установить дружеский контакт с русскими, а первое условие — это свобода информации...

Русский чуть заметно усмехнулся:

— Я не думал, что вы займетесь журналистикой, господин майор. Но если вы журналист, вы должны знать правила. У вас нет визы контрольной комиссии, так что вам придется продолжить путь в Берлин. Вашему водителю помогут исправить машину. Если вы устали, вас проведут в помещение, сможете там остаться, пока будут чинить...

Он показал рукой на дверь. Брауэр вышел первый, он был счастлив, что все кончилось хорошо. Смидл постоял минуту, разглядывая майора. Неприятное лицо, подумал он, жесткое, и волосы жесткие. Седой, мог бы подобреть, нет, они остаются фанатиками до смерти. Уходя, он повернулся и сказал:

— О машине не беспокойтесь, мы сами управимся. А кто вам успел доложить, что я был в армии майором?..

Русский не ответил.

В машине Смидл сразу уснул. Задремал и Брауэр, успокоенный: наконец-то они едут в Берлин. От толчка Смидл проснулся, потер рукой кончик носа и громко захохотал:

— Представляю, как этому «красному Карлу» жалко расставаться со своим барахлом. Довольно спать, Брауэр, вы можете проспать счастье или по крайней мере глоток кирша.

Он вынул из заднего кармана фляжку, выпил глоток, дал Брауэру.

— Конечно, бывший бургомистр Нидервальда не тюрингский министр, но нельзя ловить только щук. Окунь — тоже рыба... А этот русский майор — настоящий убийца. Я его опишу в первой же статейке. Вы записали, как его зовут?

— Это нетрудно запомнить, у него короткое имя — майор Альпер.

54

Осипа, которого Смидл ругал за плохой прием, товарищи и подчиненные знали, как человека отзывчивого. Жизнь небольшой советской части, стоявшей возле демаркационной линии, была трудной. Солдаты капитана Кенеля и боннские полицейские время от времени затевали пограничные инциденты. Месяц назад американцы открыли огонь по лесной просеке и убили двух немцев. Майора Альпера разбудили среди ночи, он поспешил на место происшествия, и только благодаря его хладнокровию дело не закончилось настоящим сражением.

Советские военные тосковали по семьям, по родине, многие давно не были в отпуску. Майор Альпер умел ласковым словом приободрить людей. Он поседел; глаза его, бывшие когда-то жесткими, приобрели новое выражение — сочувствия, снисходительности; только когда он думал о людях, подготовляющих новую войну, эти глаза становились суровыми, непримиримыми.

У Осипа была хорошая память. Рая когда-то шутя говорила, что он способен узнать продавщицу в ларьке, где год назад купил папиросы. Он сразу узнал в развяз-

ном журналисте майора, приезжавшего к нему, чтобы договориться о пропуске людей, освобожденных из немецкого лагеря. Это было давно, почти пять лет назад, в День Победы... Выпроводив Смидла, Осип сказал Быкову:

— Наглец. И ко всему пьян... Зачем его впустили ко мне? Вытрезвителя здесь нет...

Он вспомнил, как майор Смидл говорил о неграх. Они и тогда считали себя «высшей расой», нас ненавидели. Минаев писал, что мерзавец, который пришил ему бумажонку, говорил, будто он встречался со мной. Может быть, это был Смидл... Неужели им удастся убить миллионы людей, искалечить жизнь?.. Вчера лейтенант Дорохов показал фотографию своей дочки,— красотка, перешла в пятый класс, и одни пятерки. Аленька теперь тоже была бы в пятом классе, может быть в шестом. Негодяи вроде этого Смидла хотят убить дочку Дорохова. Пора бы порядочным американцам опомниться! Конечно, если они сунутся, мы их проучим, пусть не рассчитывают ни на какие океаны. Достаточно посмотреть на наших, все подтянуты, учатся хорошо, каждый понимает опасность, врасплох не застанешь. Но какое это горе — война! Разум не мирится с мыслью, что все может повториться, что оголтелая банда начнет разрушать города, заводы, построенные с таким трудом, превратит целые страны в пустыню, убьет миллионы чудесных людей. Да тот же Дорохов, как он хорошо рассказывает о своем Кашине, прямо роман, писатель лучше не напишет. И его может убить такой Смидл... У него и лицо пакостника, я убежден, что он за всю свою жизнь ничего путного не сделал, только мешал людям жить...

Прошлой весной Осип получил отпуск. Он взволновался: не знаю даже, к кому еду, никого не осталось... В вагоне отпускники шутили, смеялись, рассказывали о своих домашних делах, каждый торопился: кто к жене, кто к старикам, кто к девушке. Один молоденький лейтенант во сне бормотал: «Маша!.. А, Маша!..» Приехав в Брест, Осип сразу успокоился: говорят по-русски, все свое, знакомое — и лица девушек, и лозунги, и воробьи, и борщ в буфете. Он постыдил себя: тоже хорош, спрашивал, к кому еду. К родине, вот к кому...

Он поехал в Киев, разыскал бывших сослуживцев. Ященко ему рассказывал:

— Вы поглядите только на цифры, смешно вспомнить о довоенной продукции, масштабы другие...

Осип жадно слушал, как будто это — его дело. Он погоревал, узнав, что Игнатюк умер,— чудесный был работник! Хорошо, что Короткова повысили — член коллегии, шутка сказать, и правильно — у него огромная энергия.

Ему захотелось жить, как все кругом, окунуться в прошлое. Он вытащил из чемодана старый костюм. Немного узок, ну, ничего... Он с утра до поздней ночи бродил по Киеву. Большая печаль своей разоренной жизни смешивалась с радостью: родной город приподымался, оживал, рос. Вот здесь мы в последний раз гуляли с Раей, поспорили, и она вдруг сказала: «Лучше погляди, какой отсюда вид...» Прекрасную дорогу сделали. А Зеленый театр — красота! Обидно, что Рая этого не видит, она так любила Днепр... В саду очень много детей. Это всегда было гордостью Киева — сады, а в садах дети и птицы. Аленька здесь играла в песочек... Красивые фонари на Крещатике, тротуары широкие, хорошо, что каштаны посадили, без каштанов было бы не то. И все гуляют, хотя ни магазинов нет, ни домов. Удивительно, как киевляне любят Крещатик! Помню, мама говорила: «Пойду на Крещатик»,— это для нее было, как праздник... Гитлеровцы хотели все уничтожить, а Киев жив, хорошеет. У наших людей настоящая сила, другие махнули бы рукой, а наши отстраивают. В газетах каждый день пишут, что американцы готовятся: базы, бомбы — одним словом, безобразие. А народ у нас спокойный, работают, вечером ходят по Крещатику, смеются. Есть вера в Сталина, в народ. Американцы этого не видят. Может быть, не хотят видеть? Ведь есть у них посольство, ездят, смотрят. Достаточно пройти по улице, поговорить с тем, с другим, чтобы понять: лучше не лезть, если попробуют, поставим их на место... Хоть бы скорее Крещатик отстроили! Представляю себе, какая это будет улица!..

В хмурый, дождливый день он пошел к Бабьему яру: хотел еще раз побывать на месте, где погибли мать, Аля. Он шел по нескончаемой Лукьяновке и думал, как по

этой улице шли старая Хана и маленькая Аля, которая не понимала, куда идет.

Долго стоял он среди белого песка Бабьего яра, вспоминал мать, дочку, думал о судьбе Раи. Эти мысли уводили его далеко назад, приподымали: он видел подвиг Раи.

Когда он был счастлив, он не понимал своего счастья, считал, что все сложилось хорошо,— у него любящая жена, дочка. Силу любви по-настоящему он понял только, потеряв Раю. У капитана Чумакова жена умерла в сорок четвертом, в эвакуации. Год назад он нерешительно сказал Осипу: «Кажется, женюсь...» Осип обрадовался, стал говорить, что Чумаков замечательно надумал, одному трудно, теперь у него будет дом, дети... А сам Осип не мог себе представить, как бы он обзавелся новой семьей. Он носил в кармане маленькую фотографию Раи в военной форме. Рая, посылая ее, написала: «Не думай, что я такая, это фотограф постарался, а для тебя я все та же — киевская...» Он глядел на карточку, глаза Раи оживали, шевелились длинные ресницы, она шептала: «Глупый, ты ничего не понимаешь...» Это правда, он не понимал, что такое любовь. Этого не исправишь, другой Раи у него не будет. Но у него друзья, товарищи, большое дело, большая страна. А Рая с ним, никогда она его не оставит...

Вечером ему стало тоскливо, захотелось с кем-нибудь посидеть, поговорить. Он вспомнил, что обещал зайти к Ященко, и сразу подумал: нет, сегодня не пойду. Он начнет рассказывать о продукции. А сейчас хочется отойти душой... Пойду к лейтенанту Воробьеву, он мне писал, чтобы обязательно зашел. Все-таки три года вместе провоевали, есть что вспомнить.

Осип, думая о Воробьеве, невольно добавлял «лейтенант», но Воробьева давно демобилизовали; он работал на машиностроительном заводе. Осип помнил улицу, номер дома, вот только забыл, какая квартира. Дом он легко нашел. Четыре этажа, квартир много. В подворотне стоял человек низкого роста с длинными жидкими усами. Осип спросил:

— Не скажете ли, в какой квартире живет Воробьев, Александр Андреевич?..

Усач сплюнул и нехотя ответил:

— Во втором подъезде, направо... Папироски у вас не найдется?

Осип полез в карман, вытащил коробку. Пустая...

— К сожалению, нет ни одной.

— У вас для других никогда ничего нет... Чего вы в Палестину не едете? У вас теперь свое государство...

Осип не сразу понял, переспросил: «Что?..» Ах, мерзавец!.. Но усач успел исчезнуть.

Воробьев помогал дочке решить задачу, когда пришел Осип. Расцеловались, сразу начали вспоминать друзей. Девочка улыбалась гостю, потом жалобно сказала:

— Папа, а я сама не решу...

— Не могу,— ответил Воробьев,— видишь, кто пришел? Часто у меня такие гости бывают?..

Осип засмеялся:

— Дай мне, Машенька, попробую я...

Он наморщил лоб:

— Трудная... В пятом? Ну, это вы... математики... Нашел! Нужно шестнадцать помножить на три, ну да, на три часа, потом разделить на четыре, ведь бассейнов четыре. Двенадцать ведер... Держи...

Он подумал: хорошая девочка. Аленька тоже была бы в пятом... Это я чудесно сделал, что пришел к Воробьеву, сразу чувствуется, по-настоящему живет, жена симпатичная, Машенька, на окне цветы, работа у него интересная...

Жена Воробьева, полная хлопотливая женщина, готовила ужин, приговаривала: «Да если бы я знала, что вы придете... я бы вас варениками угостила...» Она говорила мягко, с киевским выговором, и Осип от удовольствия все время улыбался. Перекусили. Воробьев смеялся: «Нет, сто граммов вообще полагается, ну, а еще сто, если встретились мы с тобой, это нестрашно... Помнишь, возле Касторной я замерз, так ты мне чайный стакан отпустил...»

Они вспоминали годы войны, курганчик возле Сталинграда, Минаева, Зарубина, Шаповалова, Лину, живых и погибших, длинный путь до Эльбы, радости, неудачи, волнения, надежды. Жена Воробьева, слушая, вздыхала. Всю войну она проработала в Челябинске на

заводе, жила короткими письмами мужа. Теперь, слушая Осипа, она еще раз дивилась счастью: ведь вот что он делал, а вернулся...

Машеньку уложили. Воробьев рассказывал про себя, про завод: новый цех, а какое теперь оборудование!.. Осип восхищался. Ему нравилось, что его товарищ хорошо живет, что машины на заводе делают чудеса, что в пятом классе задают трудные задачи. Чужое счастье его согревало, он смеялся, шутил, и, погляди на него теперь человек, не знающий его судьбы, он сказал бы: вот кто счастлив...

Потом Осип рассказывал о военном учении, о жизни в Германии, об американцах.

— Я опомниться не мог, когда прочитал в газете про Минаева,— сказал Воробьев.—Представить себе трудно— среди белого дня... Вот бандиты!..

Осип улыбнулся:

— Я их теперь знаю. Возле нас стоит батальон военной полиции. Это ты правильно сказал, настоящие бандиты... Каждый день что-нибудь выкидывают...

— Что ж они, воевать надумали?

— И хочется, и колется, и мама не велит... Я по немцам вижу, как на свете все переменилось. Кажется, трудно больше засорить голову, чем это Гитлер сделал... А посмотри теперь Нидервальд. Маленький городок, промышленности никакой, коммерсанты, чиновники, ремесленники. Казалось бы, такие ничему не поддадутся. А молодежь растет хорошая. Работать хотят, восстановить Германию, жить по-новому. Конечно, у людей постарше в голове еще много мусора, но и эти кое-что поняли. Американцы по радио с утра до ночи подзуживают, а они усмехаются, говорят: «Мы навоевались, пускай американцы воюют, если им уж так хочется». Видишь, какие перемены, и все это за пять лет... О других странах и говорить нечего. Один немец вернулся прошлой осенью в Нидервальд из Франции, сначала в плену был, потом застрял, обыкновенный человек, столяр, так он рассказывал, что французы американцев видеть не могут, до этого дошло... Мне все кажется, что американцы опомнятся, уймут своих мошенников, ведь народ способный, с головой... А если нет...

— Если нет, стукнем. Немцы, наверно, не рады, что сунулись. Надо бы прямо сказать американцам: хватит трепаться с бомбой! Так у нас все рабочие говорят. Живите, как знаете, а нас оставьте в покое. Неужели они такие дураки, что не понимают? Никто их не собирается трогать, ну, а если полезут, пусть не обижаются — до них дойдем, доплывем, долетим...

— В том-то и дело, что они не задумываются. А мошенников у них много... Ко мне часто их офицеры приезжают. Один журналист был... Потом он написал в газете, мне полковник Сердюков рассказывал... Меня описал: «палач». Пишет, что у нас их ждут — не дождутся. Как Гитлер. Тот тоже надеялся, что его с цветами встретят...

Осип вдруг вспомнил человека в подворотне, усмехнулся:

— Я у тебя в доме одного встретил... Я его спросил, как к тебе пройти, так он мне вдогонку крикнул, чтобы я убирался в Палестину. Понимаешь?..

— Вот мерзавец!.. Это, наверно, Копаленко. Низенький, с усами?..

Осип кивнул головой. Он продолжал думать о своем:

— Нет, ты понимаешь, кому он это сказал? Я — на границе, рядом американцы, а он что мне предлагает — уехать в американскую колонию?..

— Да ты не волнуйся, я тебе говорю, это мерзавец. Его все в доме знают... Он здесь с немцами оставался, комиссионку открыл, ясно, что за личность. Такой с кем угодно пойдет, лишь бы ему выгодно. Но сколько таких? Сотни. Что это значит рядом с народом? Соринка... Помнишь, мы бургомистра возле Пакуля поймали? Вот и Копаленко такой...

Жена Воробьева расстроилась. Она знала, как муж любит майора, знала, что у Осипа погибла на войне вся семья, и вот Копаленко посмел его обидеть, да еще когда он шел к ним... Она разлила чай, поставила чашку перед Осипом:

— Вы покушайте... Нехороший он человек, он и про нас плохо говорит... А я так вам рада, Осип Наумович, вы даже не представляете, ведь мне Саша рассказывал, какой вы человек!.. Если не обидитесь, я вас хочу попро-

сить — погостите у нас. Тесно, но Машенька с нами будет, а комната светленькая, и будет кому приготовить что...

— Чудесная у вас девочка. Вот видите, как мне у вас хорошо! Отдохнул душой. Вспомнили прошлое... Спасибо за приглашение, Настасья Ивановна, только не могу — родственники у меня, дядя, племянницы...Ты ведь, Сашко, тоже киевлянин, правда?..

— Да нет, я родился в Бахмаче, только в Киеве я двадцать лет прожил...

— А я и родился в Киеве, на Подоле. Здесь жену встретил, здесь дочка родилась. Здесь мать убили, Алю... У меня с Киевом вся жизнь связана. Я его видел в страшное время, когда только освободили. Ты представить себе не можешь, как я теперь обрадовался!.. Хожу по улицам и глазам не верю. Ведь сколько за пять лет понастроили!.. Вернусь в часть другим человеком. Это большое дело — повидать родной город...

Он просидел у Воробьева до двух часов ночи. Потом пошел в гостиницу: никаких родных у него не было, просто он побоялся стеснить Воробьевых. Ночь была теплая, дождик перестал. Осип шел в глубокой задумчивости, он думал сразу и о песке Бабьего яра, и о розовом верблюжонке, которого брат привез Але, и о доброй улыбке Настасьи Ивановны. Потом он вдруг вздрогнул, остановился: на этом углу я простился с Раей. Это было тоже в мае, я тогда думал — на месяц... Милая моя Раечка!.. Он вдруг ее увидел, она шевелила длинными ресницами, шептала: «Ты ничего не понимаешь»... Теперь он все понял: любовь, родину, жизнь... Он стоял один на углу двух пустых улиц. Над ним каштан протягивал к черному небу цветы, похожие на свечи. И лицо Осипа было освещено изнутри большой человеческой любовью.

Вернувшись из отпуска, Осип рассказывал: «Страна растет, взять хотя бы цифры продукции, прямо роман... Киев восстанавливают, много уж сделали, я видел проект Крещатика, красота!.. Народу всюду — не пройти. В магазинах все теперь есть, говорят, что скоро опять цены понизят... Детей сколько! Я все время на детей смотрел... Нет, с такой страной никто не справится...»

Выходка Смидла не удивила Осипа: он знал, что американцы нервничают, ищут предлога для драки. Он успел позабыть о развязном американце, когда Быков доложил:

— Товарищ майор, вас один местный житель желает видеть, говорит, что он бывший бургомистр...

Карл сразу после того, как его выпустили, вернулся в Нидервальд. Он пережил самый страшный день своей жизни. Прежде он думал, что ничего нет страшнее войны. Вот в Тунисе было плохо, еще хуже у Минска. Все же тогда он не удрал. Как же он подписал эту бумажонку? Ведь никто его пальцем не тронул, только грозились, а он струсил. Этот журналист, видимо, большой подлец, глаза у него бегают, то сюсюкает, то кричит во всю глотку. А разило от него, как из бочки... Нельзя было соглашаться. Анна сказала: «Пойду с тобой, куда хочешь...» В первый раз сказала ему «ты», когда за ним пришел Розен. Они теперь, как повенчанные, хоть и не ходили к пастору... Он сделал неслыханную глупость. С этими бандитами нельзя жить. Что ни подпиши, Зейдлиц все равно его угробит. Они теперь задрали головы, завтра опять начнут горланить «зиг-хейль». Он отрезал себе все пути, подписал проклятую бумажку. Американец сказал, что, если Карл удерет в Нидервальд, они напечатают про все в газете. Его тогда посадят, и правильно сделают — он подписал поклеп, значит у него нет выхода.

Он пошел в мастерскую, посмотрел на инструменты и понял, что пропал. Никогда больше он не сможет работать, не увидит Анны. Никто не поверит, что его заставили подписать. Он хотел было пойти к бургомистру Шульцу, сказать: «Пусть меня посадят, но в Обервальд я не уеду». Потом он подумал, что Шульц — человек молодой, говорят, очень смелый, он скажет: «Нужно было подумать прежде, чем подписывать...» Он вспомнил русского майора, к которому приходил за советом, когда еще был бургомистром. Это спокойный человек, он всегда шел навстречу населению города, наверно у него семья, дети, такой сможет понять Карла.

Карл долго рассказывал майору Альперу о своей беде. Конечно, он не должен был итти без пропуска, он это знает, но ему дозарезу нужно было в Обервальд. Ему тридцать два года, а он влюбился, как мальчишка, ничего

здесь не поделаешь, бывает. Он заурядный человек, не герой. Правда, во время войны он стал героем, но это случилось не по его вине, накипело на сердце, он и сказал вслух то, что многие думали. Трусом он никогда не был, он сам не понимает, как он подписал эту поганую бумажонку. Пока с ним говорил Розен, он крепился, но в дело вмешался американский журналист, человек, видимо, хитрый. Карл боялся, что его посадят и два года он не увидит Анны. А она как раз в тот вечер согласилась переехать в Нидервальд. Вот он и подписал. Американец говорил, что это простая формальность, но он, видимо, большой пройдоха, такому ничего не стоит напечатать в газете...

— Не нужно было подписывать,— сказал Осип.— Они вас шантажировали, эта история с ножом — сплошная глупость. А какой он с виду, американский журналист?

— Роста среднего, седой, лицо красное, как медь...

Осип усмехнулся:

— Он потом сюда приезжал. Это разведчик, я его знаю.

— Что же мне теперь делать, господин майор? Лучше пусть меня здесь засудят, чем итти к ним в пасть.

— Сообщите вашей невесте, чтобы она взяла паспорт. С нашей стороны мы ей поможем. Вы успокойтесь, никто вас с ней не разлучит.

Осип ласково улыбнулся, и Карл расцвел.

Неделю спустя Анна приехала в Нидервальд. Карл ей говорил:

— Я прежде думал, что коммунисты не хотят договориться с американцами, от этого вся беда. А на самом деле это американцы не хотят. У них бандиты, как тот журналист. Не дай бог никому его встретить!.. Я понял их музыку. Отец когда-то говорил: «Карл медленно соображает, но когда схватит, не выпустит...» Теперь, если кто-нибудь скажет «Карл красный», я отвечу: правильно, красный, не возражаю, даже горжусь, я ведь хочу работать, хочу жить с моей Анной, а не воевать, будь они прокляты с их бумажонкой!..

Осип, когда Карл ушел, еще раз улыбнулся чужому счастью, потом вынул из карманчика фотографию Раи, посмотрел и сел за работу.

— Что значит «пропал»? — кричал в бешенстве Смидл.— Архитектор не пуговка на твоем бюстгальтере. Ты меня напрасно считаешь дураком. Он удрал к красным, вот что! Я его выведу на чистую воду...

Гильда молча плакала. Курт исчез четыре дня назад. Он не пришел к ужину. Гильда решила, что он отправился к какой-нибудь девчонке, и не стала волноваться. У нее в тот вечер было свидание с французом, она обрадовалась: придет во-время, Гастон не любит, когда она опаздывает. Она действительно пришла минута в минуту. Гастон ее сразу убил: сказал, что его переводят в Брюссель. Он даже не попробовал притвориться грустным, говорил, что в Брюсселе куда веселее, это город, а не развалины. Возвращаясь домой, Гильда держала платочек у глаз: слезы текли. Я потеряла Гастона, это была настоящая любовь, больше уж ничего не будет: с каждым днем я старею... Курта дома не оказалось. Гильда рассердилась: это — свинство, я всегда ночую дома, какие бы у меня ни были увлечения. Курт не пришел и утром. Взволновавшись, она поехала в архитектурную мастерскую. Ей сказали, что Рихтер ушел вчера в шесть часов вечера, а сегодня на работу не пришел. Гильда чуть не грохнулась на пол. Не поселится же он у какой-нибудь девчонки. Значит, его похитил Смидл. На прошлой неделе у них был крупный разговор. Курт ей сказал, что американец торопит, но он на это ни за что не пойдет, своя шкура дороже. Боже мой, какой ужас! Гильде показались смешными вчерашние слезы. Сколько она встречалась с Гастоном? Два месяца, и того меньше. А с Куртом она прожила семнадцать лет. Десять лет она была ему верна, ни с кем даже не целовалась. Это не случайная встреча, это муж, без него она погибнет. Да и не в ней дело — жалко Курта, ведь она его любит, никого другого она и не любила. Где же он может быть? Она бегала из одного сектора в другой, обошла все полицейские участки, все больницы. Никто ничего не знал. Пришел Смидл и так кричал на Гильду, что она подумала: какой он ни злодей, он не может так притворяться. Значит, не он похитил Курта. Может быть, красные что-то пронюхали?..

Две недели спустя, роясь в бумагах Курта, она нашла неотправленное письмо, адресованное какой-то фрейлейн Шеллер. Курт писал, что вместо среды придет в четверг. Гильда поняла: это его девчонка, может быть она знает, что стало с Куртом.

Лотта встретила ее полураздетая, хотя Гильда пришла днем, и сразу осыпала бранью:

— Ах, вы жена этого мерзавца? Я вам не завидую... Вы говорите, что он пропал? Я не стала бы его жалеть, но я жалею себя. Вы, может быть, думаете, что я зарабатываю большие деньги? Посмотрите, на мне рваная комбинация. Я нищая. А ваш муженек взял у меня триста марок, все, что у меня было. Он мне рассказывал, будто он архитектор, а он попросту рецидивист...

Несколько успокоившись, Лотта рассказала:

— Он всегда приходил по средам, а здесь без предупреждения прибежал в понедельник. Это — безобразие, у меня могли быть большие неприятности... Он начал болтать глупости, но я об этом не говорю, он вообще не отличается умом. Раньше он мне рассказывал, что должен жить неспокойно, потому что он «настоящий немец». Вы можете себе представить, каково мне было это слушать? У меня две сестры погибли в Дрездене от бомбы. Я вас уверяю, что, когда он начинал говорить такие глупости, я бросала в него все, что попадалось под руку. Из-за него я пролила полфлакона «Шипра»...

— Вы говорите, что он пришел в понедельник... Он пропал именно в понедельник, семнадцатого...

— Он взял у меня триста марок, мошенник!.. Сказал, что ему нужно уплатить большую сумму, а в кармане у него только восточные марки, он не хочет терять при обмене, завтра он обменяет у какого-то приятеля и чтобы я дала до завтра все, что у меня есть. Я, дура, поверила. Вы, может быть, считаете, что я скупая? Спросите всех, я нищая, потому что я дура. Мне его стало жалко... Он сказал, что придет, как всегда, в среду, и, конечно, не пришел. Плакали мои денежки...

Гильда вдруг рассвирепела:

— Вы разговаривайте потише. Мой муж — архитектор, он получал заказы на сто тысяч марок. Если он взял у вас мизерную сумму, то это потому, что он нервничал. Я себе

представляю, сколько он потратил на такую особу, как вы...

Лотта вскрикнула:

— «Мизерная сумма»? Ах ты, пава этакая!.. Ну, отдай мне эту «мизерную сумму»! Не хочешь? Вот что он мне подносил. Старая скупая крыса.

Она швырнула матерчатые туфли на деревянной подошве. Гильда поспешила уйти.

Она поняла, что Курт решил скрыться от Смидла. Но почему он не посвятил ее в свои планы? Ведь это она сказала, что он должен отказаться... Она его ждала, когда он был в России. В сорок пятом он ничего не зарабатывал, она продавала свои вещи, выпрашивала у военных банку консервов или пакет кофе, кормила Курта. А он с ней даже не простился...

Смидл пришел еще раз, спрашивал, где Рихтер. Он был пьян, грубил, а когда Гильда возмутилась, ударил ее по щеке. Она терпела, когда любовники порой ее били — у мужчин неожиданные проявления чувств, иногда они дерутся от сердечной страсти. Но она давно забыла, что Смидл был ее любовником, в гневе она бросилась на него; он ее оттолкнул и ушел.

Прошел месяц. Курт не показывался, Гильда решила: нужно зарабатывать, иначе она пропадет. Она попробовала найти работу в западном секторе, но это ей не удалось. Тогда она пошла к красным. Ее взяли продавщицей в универсальный магазин «ХО». Она подружилась с кассиром Краутом. Конечно, он не мог сравниться ни с Гастоном, ни с англичанином из Гамбурга; но Гильда говорила себе, что она уж не молода, муж ее бросил, нечего привередничать.

А Смидл не мог успокоиться: этот архитектор взял у меня аванс — две тысячи марок, теперь он у красных и смеется надо мной. Что сказал бы полковник Робертс, если бы узнал, как этот плюгавый нытик окрутил меня вокруг пальца?..

Смидл хотел опубликовать данные о связи Рихтера с нацистской разведкой, но в последнюю минуту передумал: вдруг архитектор — честный человек? Не исключено, что его арестовали красные... А если он перекинулся, что ни печатай, это делу не поможет.

Два месяца он носился с мечтой о катастрофе на стадионе. Это крупная игра. Не дразнить же все время красных офицеров. Забавляться можно, когда впереди перспективы. Мне решительно не везет, говорил он себе, все началось с веревки негра. Я здесь уже три месяца и сделал меньше, чем в прошлом году за одну неделю. Когда не везет, то во всем. Я помню такие периоды: если вечером ты должен проиграть сто долларов в карты, то утром, бреясь, обязательно порежешься. Есть черные серии, я напал на такую...

Он приехал в Obервальд настолько мрачный, что капитан Кеннель перепугался:

— Вы не больны?

— Бросьте глупости, мы с вами не пьем кирш, а говорим о деле. Что с «красным Карлом»? Мне сказали, что вы его проворонили...

Капитан удивился:

— Разве вы не знаете? Это было позавчера в красных газетах... Они устроили тарарам. Приплели вас... Сейчас я найду газету...

Смидл вышел из себя:

— Вы же знали, что он удрал. Почему вы не напечатали заявление с его подписью? Я не могу за всем уследить из Берлина. У меня другие заботы... Вам нельзя поручить даже плевого дела. Я должен буду поставить в известность генерала Дауса... Хозяйку гостиницы задержали? Ну, чего вы молчите?..

– Я не знал, что ее нужно задержать...

— Где она? У себя?

Губы Кеннеля дрожали. Он еле выговорил:

— В Нидервальде.

Он ожидал, что Смидл его обругает последними словами. Но Смидл вдруг глупо засмеялся:

— Здорово!.. Слушайте, капитан, дайте мне виски или хотя бы вашего паскудного кирша.

Он жадно пил виски, стараясь ни о чем не думать, но все время думал об одном: это веревка проклятого негра... А капитан, поглядывая на Смидла, ежился: он еще не знает главного. Как ему рассказать? Он вообще неуравновешенный, а сегодня прикатил в таком состоянии, что или напьется вдребезги, или выкинет что-нибудь похуже...

Вчера капитан Кеннель просидел весь вечер с Зейдлицем; они обсуждали, как справиться с Вольфом. Смешно сказать — в городе стоит батальон военной помощи, отряд полиции, до последнего времени все шло гладко, и вдруг какой-то маленький человечек поднял такую бурю. Зейдлиц, конечно, свалил все на американцев: глупо было вести разговоры с «Карлом красным», это хитрейшая бестия. Такого можно подстрелить, когда он шляется через границу, но зачем было предлагать ему подозрительную сделку?.. Анну знают все, Шпейер был хорошим человеком, вот ей и поверили... Капитан кричал, что это не стоит выеденного яйца и что Зейдлиц хочет оправдать безобразие: позволили коммунисту поселиться в пограничном городе, работать на заводе, связанном с безопасностью федеральной республики, мало того: он устраивает собрания, выступает. Где мы, в американской зоне или у красных?

— Если его теперь арестовать,— повторял Зейдлиц,— на заводе начнется забастовка... Вольф сумел себя поставить.

Кеннель даже зажал уши: опять Вольф!.. Он больше не может слышать, о чем ни заговори — сейчас же Вольф: Вольф сказал, Вольф возражает, Вольфу не нравится... Скажите пожалуйста, сорок восемь штатов должны считаться с капризами одного мерзавца, подосланного красными!.. Арестовать Вольфа капитан все же не решался: может действительно начаться забастовка, потом отчитывайся...

Вольф приехал в Обервальд год назад из Мюнхена. По специальности он был механиком и поступил на химический завод «Байерн ГМБХ». О его прошлом ходили разные слухи: одни говорили, что он был в плену у русских, другие, что перед войной он убежал в Южную Америку. Вольф, однако, рассказал, что он был арестован нацистами в 1938 году и семь лет просидел в концлагере. Полицейский Розен, усмехаясь, спросил:

— Наверно, здорово спекулировали?..

Вольф спокойно ответил:

— Я коммунист. Разве вы не знаете?..

(Розен потом возмущенно рассказывал: «Нахал, выкладывает, как будто он говорит: «Я шатен, вы разве не видите?..»)

Вольф был человеком на вид тщедушным, но обладавшим железной волей; он говорил, что выжил в «лагере медленной смерти» только потому, что хотел поглядеть, как будут вешать нацистов. Когда его спрашивали, почему он не едет к красным, он отвечал, что там обойдутся и без него, а здесь нужны люди, это граница временная, Германия будет единой. Вначале рабочие поглядывали на него с опаской, но он был хорошим товарищем, к нему все привыкли, когда же он критиковал порядки, говорили: «Это правильно, только русские не лучше американцев, а ты косишься на одну сторону. Воевать никому не охота, даже Трумэну. Конечно, в Бонне сидят не такие уж мудрецы, но чего-нибудь они добьются...»

Два происшествия изменили настроение рабочих. Зейдлиц не скрыл от капитана Кенneля, какое впечатление произвел на жителей Обервальда рассказ Карла Бреннера, напечатанный в «Нидервальдер цейтунг». Карла многие знали, и если Зейдлиц называл его «Карлом красным», то старые рабочие про себя усмехались: Бреннер, сидя в «Белом олене», не раз говорил, что побаивается красных. Прочитав газету, все поняли, что Розен из «гитлерюгенд» вместе с американцами ведет темную игру. Наверно, и Зейдлиц с ними... Кое-кто говорил: «Неужели придется снова мерзнуть в русских лесах и подыхать неизвестно зачем?..» Еще большее впечатление на рабочих произвел приезд директора концерна «Байерн ГМБХ» Гильдеринга. Много лет о нем никто ничего не слышал; уверяли, будто он находится под домашним арестом. Гильдеринг приехал из Мюнхена, свежий и бодрый, обошел цеха, а потом принял делегацию старейших рабочих, которой сказал: «Вместе со всеми истинными немцами вы трудитесь, укрепляя оборону Европы против красной опасности». Вольф давно уверял, что завод работает на войну, ему не верили, теперь это подтвердил Гильдеринг. Зейдлиц не рассказал капитану Кеннелю о декларации директора: лучше все свалить на Смидла, затеявшего глупую историю с «Карлом красным».

На собрании рабочих выступил Вольф:

— Американцы хозяйничают у нас, как дома. Уверяют, будто есть боннское правительство. А кто шантажи-

ровал Карла Бреннера? Американец. Конечно, с американцами вчерашние заправилы нацистов вроде Розена. Германия разорена, а мы должны работать не на то, чтобы восстановить страну, но на то, чтобы разрушить уцелевшее. Для Гильдеринга это барыши, он здорово заработал за годы войны, но, видимо, ему мало. А что это означает для нас? Неужели мы должны умереть, потому что американцам не нравятся русские порядки? Если им уж так хочется затеять драку, пусть воюют без нас.

Эта речь понравилась не только рабочим, о ней говорили и в городе, особенно часто повторяли последние слова: «без нас». Даже госпожа Зейдлиц сказала мужу: «В общем этот мерзавец прав. Мы достаточно натерпелись, когда воевали с красными. Ты подумай, если взять нашу семью, мы потеряли троих. Пусть теперь воюют американцы. И лучше всего, если это будет без нас...»

Смидл не знал о последних событиях, Кеннель порывался ему рассказать, но Смидл каждый раз отмахивался: и без того тошно, а здесь слушай этого слюнтяя... Выпив полбутылки виски, он вышел проветриться и, дойдя до ратуши, увидел на стене надпись: «Без нас!»

Кеннелю пришлось выдержать страшную сцену. Наконец капитан промолвил:

— Вы не хотели меня слушать... Это проделки Вольфа...

Он рассказал все, что знал от Зейдлица и полицейского Розена.

— И этот подлец на свободе? — взревел Смидл.

Капитан обрадовался: счастье, что Смидл нагрянул. Конечно, он позволяет себе лишнее, но я к нему привык. Говорят, что южане — вежливые люди, вздор, я подобного грубияна еще не встречал. В общем это неважно, от ругани я не умру. Он предлагает арестовать Вольфа. Если что-нибудь случится, я всегда смогу сказать: это Смидл решил...

Случилось именно то, что предсказывал Зейдлиц. Когда рабочие узнали, что Вольф арестован, они бросили работу. Смидл кричал, звонил куда-то по телефону, проклинал и Вольфа, и капитана Кеннеля, и веревку негра, но ничего от этого не переменилось. В изнеможении под вечер он решил написать статью для «Трансока» — вот уже пять дней он ничего им не посылал... А о чем, собственно,

писать? Нужно показать, как в Москве натаскивали Вольфа. Он начал: «Из русской зоны пробираются агитаторы, которые безуспешно пытаются помешать восстановлению Западной Германии...» Он отложил перо: мысли путались — от волнения или от виски. Услышав шум, он подошел к окну: по улице шла толпа рабочих. Они кричали: «Без нас! Без нас!» Смидл в злобе бросил на пол пепельницу. Он позвонил Кеннелю: «Где полиция? Это предел всего!.. Вряд ли вы останетесь на вашем посту до завтра. Сейчас же скажите Розену, чтобы их разогнали. И пусть не церемонятся — это не детский сад...»

Он наблюдал из окошка, как полицейские избивали рабочих. Один старик не хотел уходить, стоял и выкрикивал: «Без нас!» Полицейский ударил его палкой по голове. Старик опустился на мостовую, полицейский — рослый малый — приподнял его за шиворот. Смидл улыбнулся: смешно, был человек, а теперь кукла... Хорошо, если он его стукнул крепко. Подлец кричал «без нас», а мы обойдемся без него, он может беспрепятственно проследовать в рай...

Вернувшись к столу, Смидл взял перо и написал: «Немецкий народ ежечасно нас заверяет, что в дни решительной схватки он будет с нами».

56

Прошло пять месяцев со времени возвращения Саблона в Париж, и Лоу успокоился: Нивель так припугнул этого выродка, что он даже не пикнул. Плохо только, что в Праге нет представителя «Трансока», Робертс все время об этом напоминает; вчера он снова сказал: «Вы оголили самый важный участок». Грейзен ссобщает из Варшавы, что дела идут неплохо, ему удалось сколотить солидную организацию. Керк тоже не дремлет — за последний месяц в Венгрии убили двух красных. Правда, Робертс говорит, что положение обостряется, теперь нужно думать скорее о создании кадров, чем об эффектных убийствах, все же полковник доволен «Трансоком». А вот в Праге никого нет, это непростительно. Лоу запретил Костеру ругать чехословаков — зачем закрывать перед собой дверь? Убеждать

американцев, что в Праге ад, право же, не стоит: об этом достаточно писали. Лучше послать туда серьезного человека. Беда, что нет людей. Робертс рекомендует Дженкинса, но это молокосос, он работает у полковника без году неделя; потом, он не способен написать даже письма, красные сразу догадаются, что это за журналист, так легко потопить весь «Трансок».

Поразмыслив, Лоу решил попросить Смидла оставить на месяц-другой Берлин и съездить в Прагу. В Германии у «Трансока» четыре корреспондента. А «мальчик» за месяц сделает в Праге больше, чем сделал Костер за год: Смидл — серьезный человек, не пьянствует, не бегает за юбками, не ищет газетной славы.

Получив письмо сенатора, Смидл огорчился. Ему нравилась его работа: вылазки в русскую зону, переговоры с генералами, мелкие скандалы, превращавшиеся в крупные инциденты, угодливость властей, беспрекословно выполнявших его указания. Он жил азартно и весело, отнюдь не по-монашески, как думал Лоу, много пил, менял часто любовниц, швырял деньгами. Усмехаясь, он вспоминал последние события в Обервальде: забастовка провалилась; капитана Кеннеля отправили домой, пусть валяется с мокрым полотенцем на голове в своей Небраске; а бургомистр Зейдлиц перестал вилять, признал, что нечего немцам мечтать об отдельной армии, хорошо, если им позволят командовать своими полками; ко всему, Смидлу подвернулась прехорошенькая девушка, пожалуй не хуже Риты из Джексона, моложе ее, но не глупее, дочь Зейдлица, курносенькая Митци. Смидл вначале опасался: не обострит ли это отношения с бургомистром, но Митци сказала: «Ты не знаешь папы, у него болезненное самолюбие, он считает, что ты важная персона». Жалко оставлять Германию, сенатор, однако, прав: Чехословакия — сейчас самый важный сектор фронта красных. Костер — это та собака, которая громко лает, а укусить как следует не может, перо у него острое, но прикус плохой.

Лоу написал Смидлу, что хорошо бы съездить в Мюнхен: там теперь Зейда, который поможет найти уцелевших «крестоносцев». Смидл считал, что Зейда — прохвост или дурак: толковый человек не доверится Костеру. Все же

майор решил заехать в Мюнхен: крюк небольшой, да и не мешает расспросить Зейду, что делается в Праге.

Разыскать Зейду было не так-то просто: он боялся, что его могут застрелить, менял паспорта и квартиры. Вращался он в пестром обществе: здесь были словацкий священник, венгр, повторявший всем, что он бывший депутат, поляк, выпускавший при немцах газету, усатый седой украинец. Они собирались в крохотной кондитерской Меннера, где нельзя было повернуться без того, чтобы не разбить фарфоровую вазу или не примять торт со взбитыми сливками. Там Зейда с жаром доказывал, что спасение Европы — в федерации и что американцы — идеалисты, хотя они скуповаты и глуповаты. Раз в неделю Зейда по радио призывал чехов свергнуть «красную тиранию». Говорил он бодро, но настроен был отвратительно. Он часто думал: в какое паршивое время я родился! Я мог бы жить пятьдесят лет назад, писал бы в газете о театральных постановках или о венских модах. Тогда полагалось фрондировать, никого не тащили за шиворот. У меня была бы уютная квартира, жена, сидел бы в кафе и рассуждал бы, кто победит — англичане или буры. А вместо этого я должен орать в микрофон и нищенствовать. Я буквально погибаю от своего благородства. Ну зачем, когда пришли нацисты, я полез в подпольную организацию? Теперь я вижу, что это было донкихотством, того хуже — глупостью. Жили же люди и при немцах. Ясно, что, когда гестаповцы меня прижали, я должен был согласиться. Красные могут называть меня «извергом», я самый обыкновенный человек. Как будто мне нравилось топить людей, просто я попал в такое положение. Я помню, как я огорчался, когда мне пришлось назвать сына Ружички и немцы его расстреляли. Зачем они это сделали? Мне нравится умеренный режим, вот что. В итоге я оказался зачем-то в поганом Мюнхене. У меня нет семьи, даже пожаловаться некому. Какое мне дело до венгров? Я хочу спокойно жить, а приходится играть в высокую политику. Скучно...

Смидл, наконец-то, его разыскал. Зейда передал, что будет вечером в кондитерской Меннера. Смидл сразу увидел, что не ошибался: пустобрех. Зейда пытался изобразить из себя крупного политического деятеля, говорил об объединении всех эмигрантов из юго-восточной Европы,

подчеркивал сугубо важный характер своей работы. Смидл его осадил:

— Ругаться на расстоянии куда спокойней, не правда ли? А теперь поговорим о деле. Я вас не спрашиваю, на что вы ухлопали деньги,— я не историк. Но скажите мне прямо: есть ли среди «крестоносцев» люди посерьезней, чем вы?

Зейда имел дело с Костером, знал, что американцы — народ грубый, все же он обиделся, но не показал виду.

— Я Костеру говорил далеко не все. Он был связан со старым Гобзой. Это, конечно, рухлядь, хотя у него есть имя. Он может вам пригодиться, как приманка. На Гобзу многие клюнут. Но для настоящей работы нужны другие. Вы на меня производите впечатление делового человека. Я могу вам сразу сказать, что с нашей организацией связан генерал Доубек. Он, кстати, прекрасно говорит по-английски, войну он провел в Лондоне. Если вы придете сюда завтра утром, скажем, в десять часов, я дам вам еще несколько имен. Мне нужно подумать...

Всю ночь Зейда думал — не о «крестоносцах», а о своей злосчастной жизни. За стеной спит Шмидт с пышной супругой. Он был эсэсовцем, наверно вешал русских или поляков, может быть бесчинствовал в «протекторате». Если к нему пристать, он ответит, что война давно кончилась. Теперь он играет на рояле в кафе «Квиссисана», и никто его не трогает. Он просыпается в два часа, и жена приносит ему кофе с розанчиками. Он знает, что это его квартира, что он будет здесь завтра, через год. А я должен скитаться, как цыган. Где же справедливость? Красные хотят меня застрелить. А я боролся против нацистов. Меня заставили работать в гестапо, это не удовольствие. В общем я назвал человек двадцать, не больше. Но красных не убедишь: это оглашенные. Я связался с американцами, хотел с ними честно работать. Конечно, Ружичку я убрал потому, что он пронюхал насчет меня. Но разве это не было наруку американцам? Костер должен был меня благодарить, а он вместо этого хамил. Я человек с высшим образованием, и мне приходилось терпеть нотации этого неуча. Он никогда не слыхал про Сатурна. Смешно! В общем не смешно, я завишу от дикарей. Я рисковал головой, а они меня встретили отвратительно. Здесь можно было

бы шикарно одеться, это не Прага, но нет марок. Смидл, кажется, не лучше Костера. Почему он упомянул о деньгах? Это бестактно. Я могу послать его к чорту. Интересно, что он будет делать в Праге, если я не свяжу его с Фрейманом...

Потом он подумал: все-таки нужно связать Смидла с Фрейманом. Если они не будут в Праге скандалить, я здесь сдохну. Да и должна быть какая-то справедливость. Пусть их хватают, судят, вешают — не одному мне страдать. Хорошо, что американец прижмет к стенке Доубека, довольно сидеть между двумя стульями. Можно назвать доктора Светничку, инженера Фричека, профессора Валу. Когда я с ними говорил, они увиливали; посмотрим, что они скажут теперь. Американец, наверно, спросит, может ли он сослаться на меня. Газеты раздули историю с гестапо, но я убежден, что ни один порядочный человек не поверил: решили, что коммунисты стараются вывалять меня в грязи, потому что я с ними не согласен. Скажу Смидлу, что он может притти от моего имени. Может быть, Смидл приличней Костера? Я попрошу у него тысячу марок. Право же, для них это гроши, а мне необходимо одеться, я не случайный беженец, я до некоторой степени представляю Чехословакию...

На следующее утро Зейда сказал Смидлу:

— Прежде всего вы пойдете к Фрейману, это верный человек, душа организации. Потом вот вам маленький список...

Смидл записывал и удовлетворенно хмыкал.

Зейда, выпив чашку кофе, как бы мимоходом сказал:

— Вы вчера упомянули о деньгах. Все деньги давно израсходованы, Фрейман это вам подтвердит. Я здесь в отвратительном положении. Вы должны мне дать хотя бы тысячу марок, иначе я не продержусь.

Смидл не был скуп, но в Германии ему слишком часто приходилось иметь дело с попрошайками. Он говорил себе: европейцы решили жить на наш счет, это свинство. Зейда ему не нравится: галстук бантиком, пиджак, обсыпанный перхотью, мутные глазенки. Наверно, прохвост. Помолчав, Смидл ответил:

— Вы свое получили, хватит. Не думайте, что у нас мало нахлебников. На радио вам платят, значит вы

живете на наш счет. Я вам дам из своих собственных денег сто марок с условием, что вы больше об этом не заикнетесь. За ваше кофе я заплачу, так что можете итти.

Зейде очень хотелось сказать американцу, что он краснорожий хам, но Зейда сдержался; он спрятал кредитку в старый, потрепанный бумажник и миролюбиво сказал:

— Вы могли бы говорить со мной иначе, но оставим это,— я знаю, что в вопросах стиля вы скорее реалисты, нежели формалисты. Я вам не сказал самого главного. К нашей организации примкнул один очень видный деятель, он работает с красными. Вы понимаете, как это важно? Прозачка, Ян Прозачка, вы его найдете в «Руде право», его знают все. Только имейте в виду, что он строго засекречен, не говорите о нем ни Фрейману, ни другим — они не знают, что он вошел в нашу группу, сносился с ним только я. Когда вы останетесь с ним наедине, скажите: «У крестоносца красное яблоко»— это пароль. Желаю вам успеха.

Зейда хотел было на сто марок купить серые брюки и рубашку, но вместо этого пошел домой и начал писать очередную речь для радио. Он писал о славе древнего Пражского университета и стыдил профессоров, которые терпят красную тиранию. Потом он скромно пообедал. Вечером он собирался, как всегда, пойти в кондитерскую Меннера: украинец хочет, чтобы обсудили его план созыва европейской конференции; потом нужно сказать венгру, что на радио мизерно платят, они должны составить коллективный протест. Но Зейда пошел не в кондитерскую, а к маникюрше Люци. По дороге он купил бутылку ликера.

Увидев его, Люци удивилась, начала говорить, что обещала подруге пойти с ней в кино. Он сунул ей пятьдесят марок: «Купишь чулки».

Люци все время беспричинно смеялась, и это успокаивало Зейду. Он пил липкий, сладкий ликер и постепенно погружался в полусон. Ему казалось, что он в Праге, ничего не случилось, не было ни гестапо, ни «крестоносцев», ни бегства, перед ним белокурая Лида, на которой он собирался жениться. Потом он лениво обнял Люци и незаметно уснул.

Проснувшись среди ночи, он удивился: где я? Он поглядел на спящую Люци и вспомнил все. Ему стало обидно:

зачем я ей дал пятьдесят марок? Можно было дать двадцать. У меня осталась ерунда, о брюках нечего мечтать. Вдруг он представил себе, как Смидл придет к Прозачке и скажет: «У крестоносца красное яблоко». Я здорово придумал!.. Я знаю Прозачку, никогда он его не выпустит. Будет процесс. Американцы рассвирепеют. В общем это нам наруку. Но я представляю себе, как будет выглядеть этот красnúmрожий, когда его потащат в тюрьму!..

Зейда не выдержал и громко рассмеялся. Люци проснулась, испуганная, показала на стену:

— Тише! У меня ужасные соседи, они и так говорят бог знает что.

Зейда был в чудесном настроении, он ее ласково пощекотал:

— Не сердись, крошка, мне приснилось что-то очень смешное, не помню только что...

57

Перед тем, как попасть к Рудольфу Вейглю, Рихтер хлебнул горя. Боясь повстречать Смидла, он хотел обосноваться в английской зоне. У него был паспорт с визой, выданный уроженцу Кенигсберга Иоганну Заксу. За этот документ он дал двести марок из денег, которые взял у Лотты. В Гамбурге жил отец Гильды. Рихтер сказал ему, что Гильда тяжело больна, скрывает это от отца, необходима операция, но нет денег. Он говорил о Гильде с таким волнением, что не выдержал и заплакал,— ему стало жалко себя. Тесть дал ему восемьсот марок. Рихтер обещал еще раз зайти и, конечно, не пришел.

Он пытался найти работу, продавал галстуки, надписывал конверты для «Армии спасения», раздавал на улицах рекламные листки. Он жил в нужде и в страхе — ему казалось, что его потащат в полицию и начнут допрашивать, почему он работал на красных.

В маленькой пивной, измученный, иззябший, он встретил своего однополчанина Бенике. Рихтер пил пиво и тихо ругался. Бенике говорил:

— Ты прав — в общем невесело. Но нужно взять себя в руки. Помнишь ефрейтора Вейгля? Он стянул у фельдфебеля Энгеля гуся...

— Конечно, помню, я его вытащил из окружения.

— Он тебя устроит, у него потрясающие связи. Он звал меня во Франкфурт. Но у меня семья. Потом я не могу бросить мастерскую, а покупателя теперь не найти. Но если ты поедешь к Вейглю, он тебя сразу устроит. Я тебе дам деньги на дорогу, мы все-таки два года вместе провоевали, это что-нибудь да значит...

— Я не могу поехать во Франкфурт,— ответил Рихтер.— Если меня встретит американец, с которым я поругался в Берлине, он меня сотрет в порошок. Это страшный субъект, он кричал, что он меня уничтожит, потому что я работал в Восточной зоне.

Бенике рассмеялся:

— Если ты доберешься до Вейгля, ты можешь быть спокоен. Я тебе говорю, у него неслыханные связи. Помнишь майора Рамма? Он сидел в тюрьме, его засудили потому, что он пристрелил восемнадцать пленных англичан. Жена собиралась уже выйти за другого. Вейгль сказал, что он поговорит, и две недели спустя жена майора закричала, как зарезанная: Рамм прибыл из тюрьмы и дал жениху по уху. Если Вейгль скажет одно слово, никто тебя не тронет.

— А что он делает, Вейгль? Служит у американцев?

— Зачем? У него магазин. Он продает семена и голландские луковицы, он говорил мне, что у него самый богатый ассортимент гиацинтов.

Рихтер выругался, но записал адрес Вейгля.

Несколько дней спустя он решил поехать к Вейглю. Если Смидл захочет, он меня найдет и в Гамбурге. Лучше погибнуть, чем жить так.

Он приехал во Франкфурт вечером и с трудом разыскал Вейгля, который жил в маленьком доме на окраине. Вейгль его не узнал, зáхлопнул дверь перед его носом и вдруг вскрикнул: «Курт!»

Весь вечер они вспоминали военные годы. Жена Вейгля, слушая их рассказы, не выдержала и заплакала. Потом Вейгль провел Рихтера в ванную, дал ему красивую шелковую пижаму:

— Завтра мы все устроим, а теперь отдыхай.

Рихтер, сидя в голубой ванне, размечтался. Ему показалось, что он дома и что за спиной Гильда моет посуду.

Он разозлился: старая потаскуха! Если Вейгль меня устроит, я найду хорошенькую девочку. Гильда слишком много знает обо мне, я не хочу воспоминаний.

На следующее утро Вейгль повез его в центр города. Рихтер взволновался:

— Меня могут узнать...

— Не говори глупостей. Тебя примет майор Ширке. После этого ни один американец тебя не тронет. Ты строил школу для красных, экая важность! Да если бы ты командовал красными, и то тебя не тронули бы. Ты не знаешь, что значит одно слово Ширке...

Рихтер решил рассказать Ширке все: и как он безуспешно вербовал архитекторов в секретную организацию и как Смидл хотел, чтобы он строил стадион — словом, решительно все. Так он и сделал. Ширке внимательно слушал, наконец сказал:

— Не нужно переоценивать роль Смидла. Конечно, это энергичный человек, но он фантазер. Они хотят перенести в Германию нравы Майн-Рида. Все это несерьезно... Теперь вы на себе увидели, что значит оккупация. Наверно, вы не раз себя спрашивали: кто хуже — русские или американцы?

— Нет. Американцы — это плохо, но русские — это невозможно. Я три с лишним года провоевал в России, я их знаю. Я работал в русском секторе. Красные держали себя со мной корректно, лично я не могу пожаловаться. Но лучше получить пулю от американцев, чем медаль от коммунистов...

Ширке улыбнулся:

— Я вас понимаю — я ведь тоже воевал на Восточном фронте. Но и пуля от американцев не такая уж приманка... Вам, кстати, ничего не грозит. Я предупредил и генерала Дауса и полицию. Все очень рады, что вам удалось вырваться от красных. Если бы дело касалось только вас, мы могли бы на этом закончить разговор. Но я хочу поговорить с вами о другом... Вейгль рекомендовал вас, как умного человека и как хорошего немца. Я помню дома, построенные вами,— словом, я вас знал до того, как мы встретились. Посмотрите, господин Рихтер, на все, что делается вокруг. Нам очень тяжело... Хотите ли вы, чтобы Германия стала снова Германией?

Ширке сказал это с такой страстью, что Рихтер сразу помолодел, забыл страх, сделки с совестью, сомнения. Он был тем самым Рихтером, который в сороковом году говорил: «Буря — это мы». Он ответил:

— Ради этого я готов умереть. Я начал войну двадцать второго июня сорок первого года, а кончил в Тиргартене...

Вейгль успел предупредить Ширке о том, что Рихтер растерян, перепуган, не знает, что ему делать. Ширке не осудил архитектора: он сам много пережил, три года провел в русском плену, подписывал там обращения союза офицеров, клялся, что понял вину Германии, осуждал нацизм. Он говорил себе, что все это тактика, обычный камуфляж и судьба, проклятая судьба. Возвращаясь в Германию, он уверял, что жаждет участвовать в создании новой республики. Смеясь, он потом рассказывал друзьям: «Мне пришлось пересмотреть программу в метро. Когда я сел на станции «Фридрихштрассе», я был чуть ли не марксистом, десять минут спустя на «Банхгоф Цоо» вылез сторонник демократии или, как мы раньше говорили, «агент плутократов». Он уехал в Баварию к дальним родственникам, а потом перебрался во Франкфурт, где организовал союз бывших фронтовиков. Он узнал подробности о смерти своего сына, погибшего во Франции от пули партизана. Жена Ширке умерла, одинокая и несчастная. Ширке видел кругом развалины, и порой его собственная жизнь казалась ему похожей на разбомбленный дом. Он понимал смятение Рихтера, знал, что может приободрить, приручить, использовать этого человека. Он глядел на него пристально и в то же время снисходительно, как бы отпуская ему все его грехи; он и впрямь походил на старого пастора — седой, с глубокими голубыми глазами и с тонким, едва обозначенным ртом.

— Я буду говорить с вами, как немец с немцем. Теперь принято во всем винить фюрера. Люди — это люди, если бы Гитлер выиграл войну, его причислили бы к святым. Однако всем людям свойственно ошибаться. Каждый ребенок понимает, что нельзя было пойти на Россию, не договорившись с Западом. Вы правильно сказали, что если приходится выбирать между американцами и красными, нужно выбрать американцев. Гитлер этого не понимал.

В итоге мы проиграли войну. Враги Германии объединились. Они нам диктовали все, что хотели. Теперь этому подходит конец. Американцы поняли, что без нас им не остановить красных. Но Смидл не исключение — они еще не избавились от замашек победителей. Конечно, с ними нужно договориться, другого выхода нет, но договариваться могут только равные. Я знаю, господин Рихтер, что вы талантливый архитектор. В другое время вы смогли бы украсить нашу страну. Но скажите, можно ли строить дома, когда нет Германии?.. Выслушайте меня внимательно, многое сейчас зависит от вас. Вы можете стать одним из тех героев, которые спасут нашу родину. Вы должны сказать всем немцам, что мы требуем справедливости, что никогда мы не станем американскими наемниками...

Рихтер его перебил:

— Они и без того хотели меня угробить.

— Они не посмеют вас тронуть пальцем. Я знаю, что я говорю. Завтра в газетах будет сообщение о вашем приезде. Поймите — у вас есть имя, вы видели красную зону, вы бывший фронтовик, а главное, вы никогда не были нацистом. Сын генерала Габлера рассказывал, что вы дружили с его отцом. Генерал погиб после покушения на Гитлера. Я не стану сейчас судить, были ли правы заговорщики, но Габлер был хорошим солдатом и настоящим немцем... Вы не измените его памяти. Я вас уверяю, что за вами пойдут лучшие люди...

Рихтер был ошеломлен. После долгого молчания он сказал:

— Я никогда не занимался политикой... Потом я не понимаю, почему поручать мне то, что вы можете сами сделать и куда лучше?..

— Я связан прошлым. Я не хочу каяться — это унизительно. Конечно, я слишком доверял нацистам. Суд в Мюнхене меня оправдал, даже эти холопы не осмелились поставить мне в вину мою преданность родине... Но я не свободен. Я не могу говорить все, что думаю. Притом на мне союз бывших фронтовиков, а это не политическая организация. Как председатель я вынужден ежедневно разговаривать с американцами. Вы не можете себе представить, сколько вокруг низости! Порой генерал Даус дер-

жится приличней, чем наши бонзы... Настало время пришпорить немцев, напомнить им, что Германия не Люксембург и не Монако. Вы — крупный архитектор, человек, стоявший вне политики, представитель подлинной немецкой культуры, вы пережили славу и горе родины, вы видели красных, видите этих. Вы должны сказать свое слово. Старые партии обанкротились, должна родиться новая партия, действительно народная, она потребует от американцев, чтобы они признали если не первородство Германии, то по крайней мере ее право на равенство.

— А вы не думаете, что они запретят такую партию?

— Ни в коем случае. Теперь не сорок пятый, теперь мы им нужны. Вы только подумайте, они хотят, чтобы немецкие солдаты защищали их от красных, а немецкие генералы до сих пор в тюрьмах! Сколько боевых товарищей томятся в одной Ландсбергской тюрьме!.. Разве это не возмутительно? Важно реабилитировать не того или иного из несправедливо осужденных, а всю германскую армию. Довольно разговоров о зверствах! Война, которую мы вели против красных,— это гражданская война, мы не могли соблюдать китайские церемонии. Теперь американцы собираются осадить красных. Можете быть уверены, что в так называемых «зверствах» они нас переплюнут. Переговоры могут начаться только после того, как американцы откажутся от нюрнбергской комедии. Вы понимаете, что вы можете сделать? Реабилитировать Германию. Стоит вам обратиться ко всем честным немцам, и новая партия заставит иностранцев считаться с волей нации... Вы сказали, что готовы умереть за Германию. Я вам отвечу, господин Рихтер,— вы должны жить для Германии.

Ширке встал, подошел к Рихтеру и обнял его. На глазах Рихтера показались слезы: он понял, какая на него ложится ответственность.

Вернувшись в тихий домик Вейгля, он сел за работу: он написал страстное воззвание, вложив в него обиды долгих лет, страх, гнев, надежды. Вейгль, прочитав, сказал: «Это звучит, как песни Теодора Кернера»,— и куда-то увез рукопись.

Вернувшись, он нашел Рихтера подавленным. Желая его развеселить, он достал из шкапа бутылку кюммеля. Выпив рюмку, Рихтер сказал:

— Я дал слово Ширке, а я человек слова. Но я знаю, что мне крышка. Смидл тоже начал с поэзии, а кончил стадионом. Завтра Ширке скажет, что я должен взорвать американский штаб. В общем мне все равно. Я могу взорвать, что угодно, я ведь теперь авантюрист.

Час спустя он бубнил:

— Когда мы выбирались из «котла» возле Минска, я тебя спас, а ты меня за это погубил. Ты помнишь, как ты сидел на корточках и кричал, что не двинешься с места? Это я тебя вытащил. Тогда убили рыжего Карла. Ты помнишь, как он лежал у колодца и его рвало кровью? Я тебя вытащил, а ты хочешь, чтобы я сдох, как крыса.

— Ты с ума сошел, Курт! Ты только вспомни, в каком виде ты сюда явился. Ты был похож на бродягу, у тебя не было даже своего имени. А теперь каждый скажет, что ты — архитектор Курт Рихтер.

— Брось трепать языком! Я был похож на бродягу, это правда, но теперь я похож на утопленника. Это ты меня потопил в ведре с дерьмом. Я не архитектор, я авантюрист. А мне надоело делать историю, я хочу спать под периной. Налей мне еще этой пакости. «Таракан», когда пил, шевелил усами. Его убили на Десне. А мы с тобой выжили. Я думал, если я выживу, кончится свинство, а мир оказался хуже войны. Сейчас погибает замечательный архитектор Курт Рихтер, который мог бы построить новый Парфенон. Завтра проснется авантюрист. Точка. Не будем об этом говорить. Где твоя жена?

— У матери. Она скоро вернется. Я тебя прошу, Курт, не болтай при ней глупостей, она закатит истерику. Теперь ты можешь выписать твою жену, тебе будет веселее.

Рихтер удивленно прищурился:

— Ты, может быть, предложишь выписать сюда начальника фольксполицай? Если я пошел работать к красным, то только из-за Гильды. Я не знаю, где родилась эта женщина — в Шпандау или в Смоленске? У меня больше нет жены, так и запомни. Я теперь авантюрист, я женюсь на какой-нибудь блондинке. Женюсь, что называется, на прощание, как фюрер, а потом сдохну. Я хочу спать, это потому, что ты напоил меня неслыханной пакостью...

На следующее утро Рихтер проснулся с тяжелой головой. Ничего не поделаешь, придется попробовать себя на

новом поприще. Война, оказывается, не кончилась, в этом все дело... Хорошо, что Ширке не скуп. Можно найти девчонку вроде Лотты. Вейгль говорил, что рестораны здесь куда лучше, чем в Берлине... А Ширке прав: теперь глупо строить. Все равно не сегодня завтра шлепнется бомба. Тогда лучше писать глупости...

Для Ширке разговор с Рихтером был привычной будничной работой. Каждый день майор говорил бывшим фронтовикам, что нужно пробудить немцев. При негласном содействии Ширке родилось несколько новых партий, напоминавших нацистскую. Одна из них насчитывала десять тысяч приверженцев, другие оказались менее удачливыми. Ширке заботился о том, чтобы деятельность этих партий не ускользнула от американцев. Мало кто из жителей Франкфурта прочитал воззвание, подписанное Рихтером, но оно лежало на столе генерала Дауса.

Неделю спустя Ширке сказал генералу:

— Может быть, вы обратили внимание на листовку Рихтера? Психологически это ценный документ. Я Рихтера немного знаю, прекрасный архитектор, политикой он никогда не занимался. Да это и видно — только младенец мог написать такие глупости. Но я сразу подумал: почему Рихтер заговорил о какой-то новой партии? Это носится в воздухе. Устами младенца глаголет бог. Я боюсь, что в замаскированной форме рождается неонацизм. Такой Рихтер настроен не только против русских, он и вам не симпатизирует... Вы теперь понимаете, как мне трудно доказать офицерам, что нужно создать немецкие дивизии? В партию Рихтера многие уже записались, например майор Везель. А он никогда не был нацистом. Есть честь мундира... Офицеры мне говорят: «Как мы можем итти за генералом Гансом Шпейделем, когда его брат, генерал Вильгельм Шпейдель, сидит в тюрьме?» Я не знаю — отдают ли себе отчет американцы, что при таких условиях нельзя приобщить Германию к обороне Запада?..

Генерал Даус предпочел не ответить. Он начал говорить о внешних трудностях: французы все еще протестуют против создания немецких частей. Пора им объяснить, что немецкие дивизии не будут угрозой для Франции, напротив, немцы могут удержать линию Эльбы. Ширке хорошо

сделает, если съездит в Париж: у него там много друзей. Здесь все говорят, что майор — франкофил.

Генерал неожиданно засмеялся и, глядя на Ширке детскими, невинными глазами, сказал:

— Мне тоже нравится Франция, но главным образом вечером — для развлечений, там на каждом шагу кафе, музыка, цветы... Вы там долго пробыли?

— До сорок третьего.

— Представляю себе, как вы развлекались...

Ширке ответил сухо:

— Вы забываете, господин генерал, что у нас тогда была война. Мне приходилось во Франции воевать с красными. А красных там еще больше, чем цветов.

58

Вейгль не обманул Рихтера: рестораны во Франкфурте оказались первоклассными; там можно было получить и старый рейнвейн и бургундское. Рихтер заказал себе костюм из домотканной шотландской материи, шелковые рубашки, купил модные американские ботинки. Магазины в центре города соблазняли прохожих нарядными витринами. Цены были высокие, но Рихтера это не смущало: он получил на представительство изрядную сумму. Ширке он больше не видел: Вейгль объяснил, что майору, как лицу «до некоторой степени официальному», неудобно встречаться с председателем оппозиционной партии. Вейгль добавил, что может служить посредником: он ведь не вмешивается в политику. Рихтер часто гадал, какую роль играет Вейгль; ясно было, что владелец семенной лавки многое знает.

Однажды Рихтер сказал Вейглю:

— Удивительно, как союз фронтовиков решается субсидировать мою партию? Ширке мне сказал, что лично он ничего не зарабатывает...

Вейгль засмеялся:

— Когда американцы говорят, что они умнее всех, ты можешь пожать плечами, но когда они стараются доказать, что они богаче всех, ты вправе пригласить меня на ужин в «Энглишер хоф».

Рихтер хотел что-то сказать, но не сказал; он теперь старался поменьше говорить; он даже не улыбнулся, хотя ситуация показалась ему очень смешной: подумать только, он ругает американцев на американские деньги!

Если центр Франкфурта, с яркими рекламами, с новыми американскими машинами, с нарядной толпой, казался оживленным, то неприветливо выглядели рабочие окраины. Там чернели неразобранные развалины; окна лавок были скудно освещены; женщины с кошелками долго прицениваались к репе или к треске. Попав как-то на одну из окраинных улиц, Рихтер подумал: живут плохо, но люди одеты аккуратно, бедность не переходит в нищету. Наши женщины умеют штопать и латать, это, пожалуй, гений нации.

Молодой монтер Эрих Шеллер, поспорив с рабочими, говорил себе: до чего трудно их расшевелить! Они боятся додумать, ворчат и только. В сорок пятом я считал, что мы будем жить по-новому, ведь все оказалось гнилым, расползлось по ниточкам. Нет, ухитрились заштопать. Вчерашние нацисты задирают голову. Чего стоит одна листовка Рихтера!.. Говорят, что скоро восстановят армию. Мастер Краузе вчера кричал, что нужно отобрать Кенигсберг. Когда я говорю рабочим правду, они отвечают, что я преувеличиваю, не нужно доверять слухам, это — пропаганда.

Отца Эриха арестовали, когда мальчику было одиннадцать лет. Никогда он не забудет той ночи; распарывали подушки, рылись в печной золе, кричали на мать. Потом наступила тишина, соседи не заглядывали, старались даже не столкнуться на лестнице. Мать куда-то ходила, возвращалась заплаканная. С трудом она нашла работу в кукольной мастерской. Эриху говорили в школе: «Ты должен учиться лучше всех, чтобы искупить вину отца». Он не раз спрашивал мать, что же сделал отец. Мать молчала. Началась война. Сначала все ходили веселые, говорили, что немцы показали себя героями, что скоро будет мир, что выдают голландский сыр, сардинки, хорошее мыло. Эрих вместе с другими мальчишками кричал: «Смерть Англии!» Потом все изменилось, никто больше не пел, не радовался. Призвали стариков. Начались бомбежки. Отпускники рассказывали, что в России — ад. Вдруг мать не

выдержала и сказала Эриху: «Твой отец всегда говорил, что нацисты доведут нас до гибели». Эрих спросил: «А за что его посадили?» Всхлипывая, мать ответила: «За то, что он был коммунистом. Он уже тогда понимал, что с нами станет. Они его замучили, негодяи»... Эриху было шестнадцать лет, он работал на заводе. Он понял, что должен пойти по пути отца, но не знал, что ему делать. Он пробовал заговаривать с товарищами. Одни пугливо цыкали, другие уходили, считая, что Эрих подослан и хочет их потопить, третьи пытались вяло возражать, говорили, что нельзя предавать родину, что русские хотят уничтожить немцев.

Эриха призвали за два месяца до конца войны. Он не успел научиться военному делу; зато в полку он сдружился с одним пожилым солдатом, который оказался коммунистом. В дни капитуляции, когда все вывешивали куски простынь, салфетки, платки, Эрих повязал рукав куском красного кумача и сказал: «Теперь все будет по-новому»...

Он вспоминал надежды тех дней с горькой усмешкой. На заводе, где он работал, было всего восемнадцать коммунистов. Рабочие редко читали газеты, не хотели приходить на собрания, отмахивались, когда Эрих пытался их расшевелить: «Надоело... Опять пропаганда...» Они не слушали и мастера Краузе, который бывал на собраниях союза фронтовиков; с ужасом вспоминая недавнее прошлое, они повторяли: «Только бы не было войны, тогда все обойдется»...

Эриху было двадцать три года. Мать его умерла, когда он был в армии; он жил один. Он был охвачен той большой страстью, которая родилась в нем, когда он впервые задумался над судьбой отца. Рабочие не то с недоумением, не то с жалостью говорили: «Брось ты политику! Нашел себе занятие...» По вечерам они ходили в пивные или в танцульки. А он сидел над книгой: ему хотелось все узнать. Он не пропускал ни одного партийного собрания; выступал на митингах — говорил он хорошо. Как ребенок, он обрадовался, когда в газете была напечатана статья «Борьба за мир», под которой стояло «Эрих Шеллер».

Может быть, показать газету Анне? Нет, она подумает, что я хвастунишка... С Анной он познакомился осенью в

городской библиотеке, она ему сразу понравилась; он иногда к ней заходил, но не хотел себе признаться, что она его привлекает, что он слишком часто в мыслях к ней возвращается; он был неопытен в сердечных делах, хотя успел проглотить сотни романов.

Казалось, что могло быть у них общего? Анна была дочерью бухгалтера Рейсберга, члена нацистской партии, который погиб на Восточном фронте. С детских лет она слышала, что нужно перебить красных, что фюрер спас Германию. Фельдфебеля Рейсберга убили осенью 1944 года. Анна должна была прокормить парализованную мать и крохотного братишку. Она ничего не умела делать; отец, когда был жив, говорил: «Выйдешь замуж, и все»... Она пошла в мастерскую, где шили солдатское белье. Потом ее наняли в ателье мод, там она проработала три года; ателье закрыли. Ее спас Ширке: он взял ее в союз фронтовиков — она должна была записывать имена посетителей и докладывать майору. Ширке считал своим долгом помогать семьям погибших сослуживцев, а фельдфебеля Рейсберга он помнил по комендатуре города Ракова. Да и девушка показалась ему подходящей. Анна обладала привлекательной внешностью — тонкая, очень бледная, с темносиними глазами; держалась она скромно. Ширке был с нею предупредителен, не забывал спросить, как здоровье госпожи Рейсберг. Вскоре он убедился, что Анна не обманула его ожиданий: она работала хорошо, умела вести себя; иногда он ей поручал переговорить с посетителем, доверял секретные папки.

Как же могла девушка, работавшая в союзе фронтовиков, понравиться Эриху? Правда, когда они познакомились, он не знал, где служит Анна. Она тоже любила читать, и первое время, встречаясь, они говорили о книгах. Эрих сказал ей, что он — коммунист. Она, помолчав, ответила: «Мой отец был нацистом, я тогда была девчонкой, не задумывалась над этим. Но теперь мне кажется, что они поступали плохо. Я прочитала недавно русский роман, там рассказано про молодых, как они боролись против немцев... Я понимаю, что это — роман, но я верю, наши там вели себя ужасно. Дело не в том, добрый человек или злой, люди разные, но нельзя делать такого, тогда даже добрые звереют. Правда?..» Он улыбнулся и подумал:

кажется, я ее отвоюю. Он не понимал, что он уже завоеван ею, ждет встречи, не может от нее отвести глаз. Они никогда не говорили о том, что их притягивает друг к другу, но каждый, поглядев на них со стороны, сказал бы: «Это влюбленные...»

Он ее не спрашивал, где она служит,— как-то не приходило в голову, а когда она сказала, что работает в союзе фронтовиков, возмутился:

— Почему вы от меня это скрыли?

Она удивилась:

— Я не скрывала. Вы не спрашивали...

Он долго молчал. Впервые он подумал, что любит Анну и что потерять ее — это большое горе. Он сказал с отчаянием:

— Зачем вы там работаете? Это нацистское гнездо...

— Вы знаете, что на мне мама и брат. Он теперь может ходить в школу, наконец-то я его одела... Я вас уверяю, что я не делаю ничего плохого. Для меня это, как контора... Эрих, не нужно на меня сердиться, я буду искать работу, я согласна делать все, я ведь не избалована... Но погодите немного... Мама не переживет, если я опять останусь без работы...

Когда они снова встретились, Анна сказала:

— Я должна найти другую работу. Мне самой противно... Вначале я думала, что они помогают бывшим фронтовикам, это ведь неплохо, воевали все — тогда не спрашивали, согласен ли человек. Но теперь я вижу, что вы правы,— это настоящее нацистское гнездо. Они хотят устроить снова армию, опять воевать. Я теперь все знаю...

Она не могла говорить от волнения, а Эрих ее торопил. Наконец она рассказала:

— Я принесла майору бумаги на подпись. Генерал говорил, он, конечно, замолчал, но майор сказал, что он может продолжать... Я вас уверяю, что я не подслушивала, просто они при мне говорили. Генерал сказал, что он вернулся из Ландсбергской тюрьмы, там его брат, они разрабатывают план, но брат не согласен. Я не поняла, о чем они спорят, говорили «общее командование», «отдельное». Я только знаю, что они устраивают армию, значит снова война. Какой это ужас!..

Эрих, взволнованный, спросил:

— Кто этот генерал?

— Шпейдель. Потом он говорил, что приедет генерал Мальман. Я видела письмо от генерала Холлидта, он тоже в Ландсбергской тюрьме. Он пишет, что нужно сформировать резерв командования...

Когда она кончила, Эрих тихо сказал:

— Все это очень важно. Но как я могу об этом рассказать? Я вас подведу...

Она покачала головой:

— Я туда все равно больше не пойду. Не могу... Мне сказали, что в столовой для слепых нанимают подавальщиц...

Он, рассеянный, простился: был занят своими мыслями — нужно сейчас же передать это товарищам.

Ширке был в бешенстве: кто мог пронюхать о разговорах с Вильгельмом Шпейделем? Неслыханное безобразие!.. Приплели Холлидта, хотя это божья коровка. Насчет Мальмана ясно — он сам сболтнул, он прежде всего рекламист. Но в общем это удар. Американцы решат, что мы пошли на попятную. Представляю себе, какой тон возьмет генерал Даус. Да и здесь многие перепугаются: к таким вещам надо подготовить... Я уж не говорю о французах. Хорошенькая увертюра к моей поездке... Нужно сейчас же составить опровержение...

Он крикнул:

— Фрейлейн Рейсберг!

Вошел лейтенант Велау: фрейлейн Рейсберг третий день не приходит на работу, очевидно заболела, в городе грипп.

Когда Эрих принес в цех газету, рабочие всполошились: это начинает походить на правду. Неужели снова погонят воевать?.. Грязная история! Может быть, это выдумки? Нет, не решились бы — имена, даты... Цех взволнованно гудел. Люди кричали: «Пусть воюют без нас!..» Мастер Краузе подошел к Эриху, тихо сказал:

— Кончишь, как твой папаша. Понятно?

У телефонов, обливаясь пòтом, корреспонденты передавали сенсационные сообщения: «Переговоры в Ландсбергской тюрьме... Генерал Шпейдель... Из гестапо... Резервы командования... Генерал Даус категорически

опровергает...» Издалека — из Лондона, из Рима, из Стокгольма — доносились слабые голоса стенографисток: «Какой генерал?.. Передайте по буквам»...

Бедье уныло говорил Нильсу: «Вы переоцениваете выдержку среднего француза. Я боюсь, что заговорят чувства»... Нильс молчал и думал, что генерал Даус — хороший вояка, но дикарь, еще один бегемот в посудной лавке. На заводе «Гном э Рон» работа остановилась. Взобравшись на станок, Живэ кричал: «Они хотят, чтобы нами командовали эсэсовцы!»

Доктор Крылов, усмехаясь, отложил газету: каков Ананья, такова у него и Маланья. Видно, плохи их дела, если начали шарить по тюрьмам...

Эрих хотел вечером зайти к Анне и не зашел. Он думал о том, что не должен ее губить. Положение обостряется. Конечно, в итоге мы победим. Есть Россия. Есть Китай. Есть наша Германия. Но пока что здесь они — хозяева. Краузе не зря болтает. Могут арестовать. Могут и подстрелить. Я знаю, на что иду, но зачем причинять горе Анне? Она найдет другого, будет спокойно жить. Он решил написать ей письмо, написал сначала сухо, порвал листок, снова сел писать.

«Дорогая Анна,

я думаю, что нам лучше больше не встречаться. Вы как-то спросили меня, очень ли я привязан к моей политической работе, я тогда вам ответил «очень». Это сказано слишком слабо: я от этого никогда не отступлю. Я читал как-то про девушку и луну. Девушка глядела в ручей и спросила луну, что ее ждет. Луна ответила: «Сейчас придет человек, позовет тебя, ты пойдешь за ним, он даст тебе только горе, бросит тебя, ты станешь вот такой — посмотри в ручей». Девушка увидела в ручье старую седую женщину. В это время подошел человек, позвал ее, и она за ним пошла. Это, конечно, романтика, не знаю, почему я об этом сейчас вспомнил. Я хочу сказать, что у меня нет иллюзий насчет моего будущего. Я убежден, что наши победят, только это потребует больших жертв. Если мы будем встречаться, и вам и мне будет труднее перенести разлуку. Да и на вас это может навлечь подозрения. Лучше расстаться сейчас. Хорошо, что

вы бросили союз фронтовиков, я знаю, что вам самой это было противно. Но вы далеки от политики, значит вы можете спокойно жить. Я вас буду всегда помнить, и вы мне верьте, я хочу вам счастья, только поэтому и говорю: прощай, Анна!»

Он занес это письмо утром — до того, как пошел на завод. Весь день он не думал об Анне, работал, спорил с товарищами. Но вечером, когда он пришел к себе, им овладела тоска, острая, как зубная боль. Он не зажег света, сидел на кровати, сжав руками колени, и глядел в маленькое чердачное окно. Луна, круглая холодная луна... Может быть, он написал Анне про девушку над ручьем, потому что и вчера была луна? Он об этом не подумал. Глупо было писать про луну. Но он написал правду — им лучше не встречаться. Зачем ее подводить? Он хочет ей счастья. Почему?.. Не нужно бояться громких слов: он ее любит.

Постучали. Он вздрогнул: наверно, за мной...

В комнату вошла Анна. У нее были холодные руки. Они долго стояли молча. Потом она сказала:

— Это ты про меня написал. Вот тебе и луна и девушка. Можешь разлюбить, можешь измучить, все равно пойду за тобой.

Он поцеловал ее. Вдруг им овладело веселье, он не выдержал — закружил ее по комнате, смеялся, что-то говорил и целовал, целовал.

Зашла давно луна. Смутный рассвет разнял их руки. Он сказал:

— А может быть, все не так? И не разлюблю. И победим. И будет счастье...

59

Когда Нильсу сказали, что в Париж приезжает майор Ширке, который работал с Абетцом, он рассердился: трудно придумать бо́льшую глупость. Я стараюсь позолотить пилюлю, уверяю, что не может быть и речи о восстановлении вермахта, новые немецкие дивизии войдут в европейскую армию, весь командный состав будет состоять из офицеров, не скомпрометировавших себя при Гитлере, а генерал Даус посылает вчерашнего нациста,

да еще отличившегося здесь в годы оккупации. Можно ли в таких условиях работать?.. Он послал запрос в Вашингтон. Ответ его ошеломил. Полковник Доуневэн сообщал, что Ширке приезжает, как частное лицо, он не связан ни с американскими оккупационными властями, ни с боннским правительством; однако поездка его чрезвычайно полезна. Французы напрасно рассчитывают, что в Вашингтоне будут считаться с их необоснованными возражениями; вопрос о создании немецкой армии должен быть разрешен в самом близком будущем. Ширке — председатель союза фронтовиков, его приезд в Париж покажет как немцам, так и французам, что пора покончить с некоторыми пережитками и подумать об эффективной обороне Запада.

Нильс понял, что протестовать бесполезно. Он был в дурном настроении, не пошел на премьеру Сартра, хотя обещал автору обязательно притти, надел халат и, чтобы немного утешиться, занялся своей коллекцией. Он долго разглядывал табакерку эпохи директории — Юпитер, превратившись в быка, похищает красавицу Европу. Все-таки глупо, что бык может овладеть девушкой. Почему грекам приходила в голову такая несуразица?.. Впрочем, это только минутная метаморфоза. Сейчас мы исполняем роль быка, это, разумеется, неприятно. Придется, кстати, принять Ширке... Но потом с красавицей останется бог, тогда Европа забудет обиды, просветлеет, улыбнется.

Ширке приехал в Париж утром. Стояла теплая погода, начиналась ранняя парижская весна. С удивлением он глядел на город: ничто не изменилось, те же серые, печальные дома, так же официанты расставляют столики на верандах кафе, а цветочницы раскладывают крохотные букетики фиалок. Он не был здесь семь лет. Страшные годы! Германия распалась. Нет больше старой Европы, друг против друга стоят американцы и русские. Все готовятся к новой войне, говорят об атомной бомбе, описывают грядущую катастрофу. А здесь выбивают ковры и прогуливают собачонок, как будто ничего на свете не приключилось...

Он вдруг почувствовал, до чего он постарел. Знакомые говорят: «Вы мало изменились, у вас энергия юноши»... Вздор! Он уехал из Парижа семь лет назад

живым человеком. Конечно, это было после Сталинграда, он видел угрозу, но он не считал войну проигранной. У него была линия жизни — фюрер говорил, и он верил фюреру. У него был сын, он знал, что род Ширке будет продлен. Он разговаривал тогда с французами, как с малолетними,— иногда трепал по головке, иногда журил, иногда наказывал. Он вернулся в этот город душевно разоренным. Никто не подозревает, как трудно было ему прикидываться, лицемерить, топтать свое прошлое. Он сам не знает, что помогло ему выдержать плен: остатки прошлой веры или только живучесть? Он больше ни в чем не убежден. Немцы оказались не лучше французов, так же приспособляются, топят друг друга, каждый думает о своей шкуре. Вероятно, идеализм — роскошь, ее могут себе позволить только баловни судьбы. Ширке остался в строю, приободряет офицеров, торгуется с Даусом, приехал в Париж. А он мог бы на все наплевать, открыть табачную лавку или застрелиться. Что это? Сила воли или инерция? Слишком многие в него верят, он не может остановиться, как заводная игрушка, продолжает убеждать, требовать, обманывать, но это уже не его жизнь, это страница истории...

Приехав в гостиницу, Ширке долго, старательно мылся; он тер свое тело с таким ожесточением, как будто хотел освободиться не от дорожной пыли, а от груза лет.

Пино раздумывал: кого бы пригласить на завтрак с Ширке? От встречи с майором мне все равно не увернуться. Фон Мальтц тянет, говорит, что неблагоприятная атмосфера, что необходимо прежде всего разрешить вопрос об армии. А Нильс торопит. Все это дьявольски трудно. Может быть, рядовой француз и не хватает звезд с неба, но у него есть здравый смысл. Нового вермахта он боится больше, чем атомной бомбы. Два нашествия за четверть века не шутка. Не всем повезло, как мне, многие разорились. Последние сообщения взбудораживали даже самых уравновешенных. Ширке здесь помнят. Я могу подняться над личными обидами, но злопамятных сколько угодно. Коммунисты, как только они пронюхают, что приехал Ширке, подымут вой. Было бы куда лучше, если бы немцы послали другого. Но поскольку приехал Ширке, придется с ним встретиться. Пусть наши военные

обсудят с ним вопрос о командовании, я не выйду из рамок обычного разговора. В конечном счете организация немецкой армии — деталь, важно прощупать, как они настроены. Следует пригласить Бедье, это человек без шор. Хорошо бы позвать Фабра, не знаю, согласится ли он, а это — партнер для Ширке, они могут друг друга понять. Нужно принять Ширке любезно, но сухо, чувствам здесь не должно быть места. Генерал Даус может говорить все, что угодно, но Ширке нас стриг, как овец. Напоминать ему об этом не следует, но и забыть об этом было бы глупо.

Фабр сначала сказал, что придет, потом позвонил — не сможет — занят, и все-таки пришел. Пино представил его Ширке:

— Господин Фабр, директор фирмы «Экспортер реюни».

Бедье добавил:

— И один из героев сопротивления.

Ширке любезно улыбнулся:

— Я счастлив с вами познакомиться, господин Фабр.

Разговор не клеился, чувствовался холод, хотя Ширке делал все, чтобы расположить к себе французов. Он рассказал, как тяжело было в плену у большевиков: морозы, примитивные условия, пропаганда... О Франции он говорил с восхищением:

— Я старый солдат, но я едва сдержал слезы, увидев Париж. Это счастье для всего человечества, что ваша столица уцелела...

Пино про себя усмехался: кто его научил вежливости, уж не большевики ли?.. Ни несколько анекдотов, которые рассказал Бедье, ни шампанское не оживили атмосферы. Завтрак подходил к концу, когда Бедье завел разговор о вопросе, который интересовал Ширке:

— Мы делаем все, чтобы добиться действительного соглашения, мы — соседи, пора нам помириться. Но к вопросу о создании германской армии французы относятся особенно болезненно. Вы сами понимаете, господин Ширке, как трудно одним росчерком пера перечеркнуть несколько глав истории. Другое дело — создание европейской армии. Здесь можно было бы договориться...

— Я вас понимаю,— ответил Ширке.—Немцы — хорошие солдаты и плохие политики. Те главы истории, о

которых вы упомянули,— это список наших ошибок. Теперь мы за них расплачиваемся. Я вас уверяю, что расплата тяжелая, никогда Франция не знала ничего подобного. Это не упреки, не жалобы, я просто констатирую... Я повторяю, мне легко понять недоверие французов, но мне кажется, что настало время задуматься над будущим — народы не могут жить прошлым. Я приветствую создание европейской армии, но можно ли построить дом без кирпичей? Даже у Люксембурга есть своя армия. Вы не хотите признать этого права только за немцами.

— Люксембург не может никому угрожать...

— Неужели вы думаете, что германская армия опасна для кого-либо, кроме красных?

Пино высморкался и сказал:

— Сейчас нет... Но правительства меняются. Да и люди... Я человек немолодой, я помню, как мы радовались словам Штреземана. А три года спустя Гинденбург заговорил по-другому...

Ширке возразил:

— Дорогой господин Пино, я предпочел бы говорить о будущем, а не о прошлом. Но вы вспомнили Локарно... Штреземан уже тогда говорил, что если русские пойдут на Запад, обезоруженная Германия не сможет их остановить. Эти слова звучат, как будто они произнесены вчера. Разрешите мне спросить, на кого вы рассчитываете? Кто, по-вашему, остановит русских? Уж не бомба ли?..

Фабр, до того молчавший, раздраженно ответил:

— Нет, не бомба. Мы и наши союзники.

— Я далек от желания принизить качества французского солдата. Только наивные люди могли считать, что Франция капитулировала, потому что у нее нехватило смелости сражаться. Я не дипломат, я простой офицер, я буду говорить откровенно... Я знаю, что во время оккупации все честные французы нас ненавидели. Разрешите мне, господин Фабр, высказать мое преклонение перед героями, которые боролись против нас. Вы знаете, что я потом был в России. Полтора года мне пришлось ограждать наши тылы от партизан. Никогда во Франции я не пережил ничего подобного. В чем же дело? Конечно, не в том, что русские храбрее... Вы не могли развернуть боевые

операции, господин Фабр, потому что опасались, и совершенно справедливо, нанеся нам преждевременно удар, оказаться перед угрозой коммунистического путча. Я убежден, что капитуляция в сороковом году объясняется не недостатком танков, а чрезмерным числом коммунистов. Трудно воевать, имея в тылу партию Тореза, не правда ли?

Фабр молчал, он был согласен со словами Ширке, но не хотел этого признать. Ответил Бедье:

— Вы абсолютно правы. Я тоже считаю, что необходимо многое пересмотреть. Саарский бассейн, даже Страсбург, какая это мелочь по сравнению с красной опасностью! Я не понимаю одного, господин Ширке: почему вас не устраивает европейская армия?

— Меня она устраивает, но нужно считаться с настроением нации. Немцы морально контужены. Страшно не то, что Берлин разрушен, страшно, что развалины на одной стороне улицы ваши, а на другой стороне — русских. Нельзя послать людей на смерть, не приподняв их, не сказав им, что воскресли знамена, песни, флаги, армия...

— Вам не кажется, господин Ширке, что вы уделяете чересчур много внимания вопросу об армии? — спросил Пино.— Я понимаю, что вас лично он интересует, но вы ведь не только солдат, вы политик. Не думаете ли вы, что Германия может стать скорее арсеналом Европы, нежели ее гвардией?

— Если не будет немецкой армии, этот арсенал очень скоро попадет в руки русских. Кто сумеет его отстоять? Я высоко ставлю американскую технику, но, между нами говоря, я не в восторге от их армии. Это смелые ребята, но у них нет ни военных традиций, ни дисциплины, ни выдержки. Притом колониальные войны не создают героев, а для жителя Мичигана линия Эльбы или линия Рейна — это то же, что для немца Камерун.

— Вы действительно верите, что немцы пойдут воевать? — спросил Фабр.

— Да. Именно потому, что они проиграли войну, потеряли государство, потому что они несчастны. Мне приходится часто бывать в поселках, где ютятся жители Бреслау, Штеттина, Судетской области. Когда я их спрашиваю, согласны ли они с оружьем в руках проложить себе путь домой, они мне отвечают, что нужно торопиться. Да

и не только они... Офицеры и солдаты штурмовых дивизий, парашютисты, летчики, люди, побывавшие в России, эсэсовцы, среди которых были, конечно, негодяи, но которые в своем огромном большинстве честные и смелые люди,— все они пойдут на смерть, чтобы отомстить красным. Это они спасут Европу от коммунизма...

Ширке на минуту остановился, вытер шелковым платком лоб, выпил глоток воды и продолжал:

— Вы должны выбирать. Если вы откажетесь от создания немецкой армии, это будет капитуляцией перед большевиками. Забудем прошлое. Мы хотим сражаться за вас. Германия вам протягивает руку старого солдата...

Пино изумленно поглядел на Фабра, который встал, подошел к Ширке и пожал ему руку. Неужели он так сентиментален? — подумал Пино. А Фабр сказал:

— Мне нелегко с вами говорить — между нами слишком много крови. Но чтобы уничтожить красных, я согласен договориться даже с чортом. Если вы сможете выставить сорок крепких дивизий, я первый крикну: да здравствует немецкая армия!

Пино снова гулко высморкался и сказал:

— Я все же полагаю, что европейская армия, в которую войдут немецкие дивизии,— лучший выход.

Бедье понимал: он должен что-то сказать. А легко ошибиться, дело запутанное, нужно быть очень осторожным. И Бедье поднял бокал:

— Мы не военные, мы не можем решать вопросы, связанные с командованием. Но у нас есть чувства, мечты. Во время войны мне пришлось сражаться против Германии. Именно поэтому я особенно был счастлив провести несколько незабываемых часов с господином Ширке. Меня глубоко тронули его слова о настроениях немцев. Я предлагаю выпить за наших вчерашних противников и завтрашних союзников.

Вернувшись в свой номер, Ширке лег. Он чувствовал себя разбитым. Опять лгать, унижаться, а прежних сил нет. И даже нельзя застрелиться — коммунисты это используют; никто ведь не поверит, что Ширке мог покончить с собой только оттого, что ему надоело бриться, любезничать, организовывать... Глупо, неслыханно глупо!..

Вечером Бедье рассказал Нильсу о завтраке с немцем. Нильс чуть нахмурился:

— Конечно, я предпочел бы другую фигуру, но хорошо, что Ширке держит себя тактично... Может быть, Фабр прав? Я его знаю, это человек чувства. Но иногда сердце оказывается мудрее всех мудрецов. Я думаю, что нужно предоставить Ширке возможность ознакомить со своими доводами общественное мнение.

— А вы не считаете, что коммунисты используют это для своей пропаганды?

Нильс улыбнулся:

— Вы слишком часто на них оглядываетесь. Они умеют использовать решительно все. Если бояться дать им повод покричать, то мне придется завтра же улететь в Нью-Йорк. А я не хочу расстаться ни с вами, ни с Парижем, ни с антикварами, у которых столько еще не открытых мною табакерок...

На следующий день Нильс позвонил Нивелю: хорошо будет, если «Трансок» закажет Ширке статью. Нет, пожалуй, политическая статья покоробит читателей... Лучше пусть он напишет что-нибудь вроде мемуаров, ведь это любопытная личность. Конечно, не о том, как он работал во Франции. Война в России, годы плена, красная зона. А в конце он может изложить свою точку зрения на оборону Запада.

Нивелю было противно итти к Ширке: встали те годы, о которых он не любил вспоминать. Что за треклятая профессия!.. Все последнее время Нивель находился в подавленном состоянии. Его изводил Лоу: каждый день запросы, упреки, циркуляры с дурацкими затеями. Ко всему сенатор прислал какого-то ревизора, чтобы обследовать финансы агентства, фактически он перевел зятя на положение служащего. Нивель все чаще и чаще подумывал, как бы разделаться с «Трансоком». Он мог бы писать стихи, а должен заниматься пакостью. Не угодно ли итти к Ширке, который был в Париже маленьким Геббельсом!..

Ширке принял Нивеля в холодном пустом салоне старомодной гостиницы, где он остановился. Он заказал виски. Они поговорили о мемуарах. Наступило молчание. Нивель сказал:

— Вы мало изменились, несмотря на все пережитое. Можно вас поздравить...

— Мумии тоже не меняются,— ответил Ширке.

Они снова помолчали. В соседней зале кто-то разучивал на пианино гаммы. Нивель поежился: холодно, неужели они перестали топить?.. Ширке неожиданно сказал:

— Значит, и вы теперь работаете с американцами? Я вас не спрошу, как они вам нравятся, я помню ваши стихи, я все понимаю, я ведь тоже с ними работаю...

Фамильярность Ширке обидела Нивеля, он ответил:

— Я могу сказать, господин Ширке, что, когда мне пришлось поневоле работать с вами, я тоже не был счастлив...

Ширке улыбнулся:

— Конечно. Вы думаете, что я этого не понимаю?.. Для меня было нелегко теперь приехать в Париж... Но дело не в этом... Все остались в дураках, и все ходят оплеванные,— вот что главное... Я не имею в виду вас — у вас поэзия. Кстати, я заходил в книжный магазин, но не нашел ваших книг. Вы издали что-нибудь новое?

— Пишу,— ответил Нивель с наигранной веселостью и поспешил откланяться.

Ширке застрял в Париже: с ним хотели встретиться различные люди — депутаты, военные, журналисты. Агентство «Трансок» объявило, что Ширке предоставил ему исключительное право на свои мемуары. Беседуя с журналистом из «Орор», Ширке сказал: «В немецкой армии были преступные элементы, но, с другой стороны, теперь все видят, что нельзя воевать против красных в белых перчатках». В «Юманите» появилась статья, посвященная Ширке: вспоминали его деятельность в Париже накануне войны, Берти, Пино, гестапо. Статья кончалась так: «Французский народ никогда не примирится с мыслью, что фашисты, палачи Майданека и Освенцима, свободно приезжают в Париж и с ними беседуют, как с дипломатами. Вон из Франции, Ширке!» Прочитав эту статью, Ширке усмехнулся: я сам бы с удовольствием уехал из этой проклятой страны. А коммунистов у них чересчур много: мы в свое время плохо работали. Нечего кричать про гестапо, я там не служил, но теперь я вижу, что гестаповцы были разинями...

В один из свободных вечеров Ширке пошел на концерт. Исполняли Баха. Ширке любил музыку суровую и важную, похожую на своды готического собора; слушая ее, он переставал вспоминать, думать, волноваться.

Во время антракта он стоял в фойе. К нему подошел журналист. Ширке не сразу очнулся, а придя в себя, начал отвечать на вопросы. Он говорил громко, и некоторые, проходя, останавливались.

— Вы не представляете себе, чем была война в России. Красные натравливали на нас даже детей...

К нему подошла красивая высокая женщина. Знакомое лицо, подумал он, наверно я встречал ее в одном из салонов... Женщина его спросила:

— Вы майор Ширке?

Он любезно осклабился — теперь он вспомнил, кто эта дама.

— Я счастлив вас снова увидеть, госпожа Берти.

Мадо помнила Ширке. Он говорил, что Франция пасется там, где ее привязали. Жалко, что его не было здесь в августе сорок четвертого...

Она сурово глядела на Ширке. Их обступили любопытные. Мадо сказала:

— Вы говорите, что убивали русских детей? Вот вам от французской женщины...

Она ударила Ширке по щеке. Полицейский, повсюду сопровождавший Ширке, бросился к Мадо. Ее увели. Кругом шумели люди. Ширке стоял, прижав руку к щеке. Потом раздался звонок, публика ушла в зал. Оттуда доносились торжественные звуки, но Ширке их не слышал.

Вернулся полицейский:

— Там составляют протокол... Я вызвал машину — вам теперь нужно отдохнуть.

Ширке тихо ответил:

— Да. Мне теперь нужно отдохнуть.

60

Часовщик Франтишек Кристек, которого товарищи в маки́ звали «Чехом», прожил во Франции двадцать семь лет. Он уехал в Париж юношей, думал, что скоро вернется

к родителям; но жизнь на новом месте ему понравилась, три года он проработал учеником у часового мастера, потом открыл мастерскую и женился на француженке. В 1933 году он овдовел; детей у него не было, и он начал подумывать, не вернуться ли ему домой. Но его родители давно умерли, приятели о нем позабыли, и он боялся, что родина ему покажется чужбиной. Отвык я от всего, думал он, даже во сне говорю по-французски...

Когда немцы начали грозить Чехословакии, Франтишек пошел в консульство и сказал, что хочет защищать родину. Консул записал его имя, обещал вызвать. Неделю спустя Франтишек прочитал, что англичане и французы договорились с Гитлером. Соседи радовались, что не будет войны, а Франтишек сидел у себя и ругался.

Война все же началась год спустя. Франтишек пошел добровольцем. Он сказал офицеру: «Вы не хотели защищать чехов, а я, чех, хочу защищать Францию». Офицер усмехнулся: «Обошлись бы без вас»... Франтишек потом часто вспоминал эти слова: ясно, что они могли бы обойтись без меня, они могли бы обойтись вообще без солдат, раз они заранее решили не воевать...

В маки́ он поражал товарищей своим спокойствием. Когда партизаны напали на тюрьму, чтобы освободить заключенных, Франтишек, прикинувшись гестаповцем, долго беседовал с часовым, а потом рассказывал: «Дурак, он меня спросил, почему у меня такой выговор, уж не из Вены ли я. Я ему ответил, что ему выпала большая честь, потому что я земляк фюрера и моего двоюродного дядюшку звали Франц Шиккльгрубер».

Франтишек думал, что после победы уедет в Прагу; но кончилась война, а он не уезжал. Нужно посмотреть, как все повернется, говорил он себе. Повернулось все неожиданно: однажды ночью раздался настойчивый звонок; пришли полицейские, повыбрасывали из комода белье, вспороли подушки. В префектуре Франтишеку объявили, что его высылают; заспанный полицейский сердито добавил: «Понаделали вы дел»... Франтишек ответил: «Это сущая правда, я перед вами кругом виноват. Во-первых, я пошел в вашу армию — думал, что вы будете воевать против Гитлера, во-вторых, я был партизаном, в-третьих, я — чех, а у нас правительство не в вашем духе, так что вам

ничего не остается, как только выслать главного преступника Франтишека Кристека».

Когда Франтишек приехал в Прагу, его спрашивали: «Наверно, город нельзя узнать? У нас ведь большие перемены». Он не знал, что ответить: не помнил прежней Праги. Он сам над собой посмеивался: мосье Франтишек в Смихове, нечто вроде бургундского пива или пильзенского вина. Но прошло полгода, и он обжился, ему даже казалось, что он никуда из Праги не уезжал; только посылая Мадо открытки с видами Праги, он на несколько часов погружался в прошлое; а потом шел к приятелю — потолковать о мировых событиях, порадоваться, что жизнь налаживается, поругать Трумэна, лондонских эмигрантов и заодно магазины «Дарэкс».

После смерти жены Франтишек не знал сердечных увлечений. Стоило ему выпить бутылку вина, как все женщины начинали ему казаться восхитительными, но наутро он благодарил судьбу, что устоял перед соблазном. Когда он познакомился с молодой вдовой Кветой Елинековой, ему было сорок восемь лет и он не думал, что способен влюбиться. Познакомился он с нею у приятеля, и она сразу ему понравилась; он начал рассказывать о Париже, о маки́, чего обычно не делал,— ему хотелось чем-нибудь блеснуть. Потом он довел Квету до дома; дорогой он молчал. С того вечера все началось: Франтишек вздыхал, мялся, а объясниться не смел. Вот так история, думал он, человек я немолодой, мог бы, кажется, угомониться, а я просто с ума спятил...

Квета служила гардеробщицей в ресторане, это была веселая и добрая женщина лет тридцати. То, что Франтишек за нею ухаживает, ей льстило: соседки говорили, что он человек незаурядный, был партизаном, после его высылки из Франции о нем писали в газетах. Но Квета не верила, что она действительно нравится Франтишеку: наверно, в Париже он знавал женщин поинтересней, просто решил немного развлечься, добьется, чтобы я в него влюбилась, и потом бросит. А я вот возьму и не влюблюсь, гордость и у меня есть...

Франтишек продолжал встречаться с Кветой, но дело не двигалось с места. Ему хотелось заговорить с ней о чувствах, а говорил он главным образом о событиях —

восхищался русскими, доказывал, что план Маршалла — кабала, ругал Тито. Квета газет не читала и плохо разбиралась в политике. Иногда Франтишек сердился: «Вы ничего не знаете! Можно подумать, что вас не интересует судьба родины...» Квета обижалась: «Я здесь всю жизнь прожила, никуда не уезжала, а газеты читать мне скучно». Он глядел на нее с возмущением и с восторгом, ему хотелось сказать: «Да знай я, что вы существуете, я бы раньше вернулся». Но он вздыхал и начинал говорить про интриги американцев, которые, наверно, приложили руку к убийству Ружички.

Как-то он сказал ей:

— Зейда теперь выступает в Мюнхене с подлыми речами. Подумать только, что американцы не гнушаются услугами гестаповца!..

Он сам удивился, увидев, какое впечатление произвели его слова на Квету. Она вскрикнула:

— Что вы мне рассказываете? Зейда — коммунист, он пишет в «Руде право». Я его знаю — он прежде часто обедал в нашем ресторане...

Франтишек ей рассказал, что Зейда оказался провокатором и удрал за границу полгода назад, об этом было во всех газетах; нельзя не читать газет, тогда не знаешь, что делается на свете. Квета его не слушала, она была поглощена своими мыслями.

Ночью в постели она продолжала думать — не о Франтишеке и не о том, что необходимо читать газеты, а о портфеле, который ей дал Зейда. Хотя Франтишек упрекал ее в безразличии к политике, она и до знакомства с ним думала, что новые порядки справедливее прежних и что никто не просил американцев затевать темные дела в Праге. Именно поэтому, когда Зейда сказал, что она должна отнести портфель одного американского прихвостня в отделение Государственной безопасности, она сразу согласилась. Зейда предупредил, что об этом нужно помалкивать, пусть она скажет, что кто-то забыл портфель в гардеробе, вот и все. Как она могла не поверить Зейде? Покойный Ян говорил: «Не всем дано быть такими смельчаками, как Зейда. Я вот тоже против немцев. А что я делаю? Рассказываю анекдоты»... И вот оказалось, что Зейда служил в гестапо. Может быть, он втянул Квету в грязную

историю? Правда, никто ее не вызывал, значит все обошлось. Наверно, про нее забыли, у них много дел поважнее. Нечего ей волноваться.

Может быть, все-таки пойти и рассказать? Кто знает, что это за пакость?.. Такой негодяй способен нарочно запутать следы. Да, но тогда и меня притянут. Если я скажу, что я верила Зейде, они рассмеются. А ведь ему верили люди поумнее, чем я. Спросят, о чем я думала полгода. Никто меня не знает, скажут, что я с ним была в сговоре. Нет, не пойду. Я хочу жить... Вдруг она подумала: а что если Франтишек на мне женится? Вот будет хорошо!.. Она улыбнулась и уснула под утро успокоенная.

На следующий день она вспомнила про портфель и всполошилась. Все-таки это у меня на совести. Но итти туда глупо. Не знаю, право, как быть... Весь день она думала о портфеле, путала номера, подала одной даме мужское пальто; посетители ворчали. Вечером пришел Франтишек, рассказывал про Китай. Она его не слушала.

— Что с вами, Квета? Уж не больны ли вы? Такая теперь погода, что очень легко простудиться...

Она не выдержала и заплакала. Он робко ее утешал. Наконец она рассказала ему про этот проклятый портфель.

— Вы должны заявить,— сказал Франтишек.— Это не иначе, как американские штучки... Я вам говорю, Квета, вам нужно туда пойти хоть сейчас, там и ночью работают...

Она ответила всхлипывая:

— Я боюсь, Франтишек... Они скажут, что я с ним в сговоре... Я ведь одна на свете, за меня некому заступиться... Вот если бы вы пошли со мной...

— А что я им скажу? Они спросят, почему я с вами пришел...

Квета сказала так тихо, что он едва расслышал:

— Вы можете сказать, что вы мой жених...

Он встал:

— Хорошо, идем.

Все оказалось проще, чем Квета думала. Правда, ей сказали, что ее, может быть, вызовут для дополнительных показаний, но разговаривали вежливо, даже поблагодарили; только в конце капитан спросил:

— Почему вы так поздно надумали рассказать?

Квета молчала; ответил за нее Франтишек:

— Она пропустила известие о том, что Зейду разоблачили, она тогда хворала и не читала газет, а я ей вчера рассказал, какие штуки откалывает Зейда в Мюнхене. Вы можете и меня вызвать — Кристек Франтишек, член партии, был выслан из Франции...

Капитан дружески пожал руку Франтишеку, и Квета приободрилась: кажется, все обошлось.

Была сырая теплая ночь; чуть моросило. До весны еще добрый месяц, подумал Франтишек, а на дворе прямо-таки весна. Он ласково поглядел на Квету и сказал:

— А газеты нужно читать, иначе вот что получается...

Когда они дошли до ее дома, она его поблагодарила, но не сразу вошла в подъезд, хотя дождик стал сильнее. На Франтишека вдруг нашла смелость:

— А что, Квета, если я сейчас зайду к вам, прогоните вы меня или нет?

Она шепнула:

— Только не разговаривайте на лестнице, соседи могут услышать...

Она долго открывала дверь — волновалась; потом крепко обняла Франтишека.

Две недели спустя вся Прага говорила о том, что инженера Карела Гобзу освободили, он оказался неповинным: уверяли, будто оговорил его влиятельный человек, которого теперь уличили в связи с американской разведкой; толком никто ничего не знал. Франтишек рассказал об этом Квете. Она выслушала, как он обругал американцев, и спокойно сказала: «Хорошо, что человека выпустили»,— она и не подозревала, что помогла этому совершиться.

Узнав, что Карела Гобзу освободили, Смидл рассердился. Костер давно написал ему, что единственный честный человек среди «крестоносцев» — старик Юлиус Гобза; правда, он болтун и не хочет заниматься делом, предпочитает говорить о принципах Массарика, но красных он ненавидит, не может им простить, что они посадили его сына. Смидл чувствовал себя в Праге прескверно, он сразу понял, что ему негде развернуться, это не Берлин. Он не верил ни Костеру, ни Зейде: один горлодер,

другой пройдоха. Он собирался было пойти к старику Гобзе, когда узнал, что красные освободили его сына. Наверно, старик рассказал им, как путался с Костером. На этом можно было поскользнуться. Он разыскал Фреймана, тщедушного лысого человечка с темным прошлым, которого Зейда не решился даже показать Костеру. Фрейман юлил, говорил, что после разоблачения Зейды работать стало труднее; может быть, удастся одно дельце, но нужны деньги. Смидл ничего от него не добился, дал ему сто долларов и тут же подумал — кидаю деньги на ветер. Нужно встретиться или с генералом Доубеком, или с Прозачкой. Конечно, это — лотерея, Зейда мог выдумать — хотел выклянчить у меня тысячу марок. Пожалуй, лучше начать с Прозачки, генерал может струсить. Для Прозачки у меня есть пароль, сразу увижу, соврал Зейда или нет. Да и легче иностранному журналисту встретиться с человеком, который занимается пропагандой, чем с военным. Нужно пойти к Прозачке.

Смидл поехал в посольство и написал шифрованную телеграмму в Вашингтон, он сообщал Лоу, что намечаются некоторые операции местного значения; более крупные действия зависят от исхода разговора с одним видным политическим деятелем; разговор должен состояться в ближайшие дни. После этого Смидл выпил стакан виски и сказал секретарю посольства:

— У меня в номере микрофон, это бесспорно. Глупо то, что я никогда в жизни не спал ни с кем в одной комнате, разве что на фронте, а там мы дрыхли мертвецким сном. Я не знаю — вдруг я говорю во сне?.. Можете себе представить, с тех пор, как я здесь, я ни разу спокойно не засыпал, приходится только дремать. Сколько может просуществовать этакое пакостное государство?..

Узнав, что Карела освободили, старик Гобза тотчас поехал к сыну. «Два года назад я написал Карелу, что не хочу с ним больше встречаться. Теперь об этом смешно вспоминать. Теперь мы поймем друг друга. Карел увидел, что с ними нельзя иметь дело. Он был наивен, как мальчик. Конечно, на словах у коммунистов все выглядит красиво, а на деле другое. Да и не только у коммунистов. Я тоже вел себя, как ребенок. Я слушал по радио американцев и верил, что они хотят нам действительно помочь.

А они ведут нехорошую игру. Я уже не говорю о том, что они науськивают на нас судетских немцев. Но, по-моему, Костер — настоящий бандит. Таких когда-то показывали в кино, я помню. Только бандит мог позволить Зейде убить Ружичку. Я понимаю, что они могли ошибиться в Зейде. Я его тоже считал порядочным. Но после того, как выяснилось, что он работал в гестапо, ни один честный человек не подаст ему руки. А они не только его приютили, он у них говорит по радио. Разве это не мерзость? Словом, все хороши. Нужно наплевать на политику. Карела освободили, это главное, он сможет работать по своей специальности. Буду к нему приходить. Наверно, он скоро женится, говорили, что он повсюду бывает с дочкой доктора Пишека. Буду нянчить внуков...»

Увидев отца, Карел бросился навстречу; они обнялись. Юлиус Гобза, отдышавшись (он слишком быстро поднялся по лестнице), спросил:

— Ну как в тюрьме было, плохо?

Карел улыбнулся:

— По-моему, хорошо в тюрьме не бывает.

Юлиус Гобза решил, что не нужно мучить сына тяжелыми воспоминаниями, и начал рассказывать семейные новости: у дяди Вацлава сильная подагра, он не может даже работать, а Власта выходит замуж за какого-то губошлепа из Брно.

— Ты что теперь собираешься делать? Работать-то они тебе дадут или нет?

— Я возвращаюсь на прежнее место — буду снова директором.

— Вот это напрасно. Ты — инженер, можешь просуществовать и без директорского места. Зачем брать такую ответственность? Надеюсь, ты теперь убедился, что с коммунистами лучше иметь поменьше дела?

— Мне сегодня сказали, что меня восстановят в партии... Я от личных невзгод не могу переменить убеждения.

Юлиус Гобза вскипел:

— Значит, ты считаешь правильным, чтобы невинного человека сажали ни с того ни с сего в тюрьму?

— Нет, это, конечно, неправильно, хотя это мелочь по сравнению с тем, что делается в мире. Но я тебе рас-

скажу, почему так вышло... Ты слышал про Зейду? Теперь его разоблачили, он удрал в Мюнхен, там работает у американцев... Он выкрал мой портфель, вложил туда шпионские документы и подбросил. Ясно, что никто не мог догадаться. Он хитро сделал, фальшивка составлена была хорошо, и положил он ее вместе с моими личными письмами. Мне третьего дня все рассказали. Оказывается, пришла женщина и заявила, что портфель ей дал Зейда... Видишь, какая пакость! Американцы идут решительно на все...

Он долго говорил об американской политике. Юлиус Гобза его не слушал, он сидел согнувшись, закрыв лицо руками, и думал о человеческой низости. Зейда осмелился мне сказать, что Карела оговорил Ружичка. Негодяй! Они хотели запутать и меня. Теперь я вижу их игру. Если сказать Карелу про Костера, он обрадуется, это подтверждает все, что он говорит. Но он скажет, что я должен заявить, а этого я не могу. Я не сочувствую ни американцам, ни коммунистам. Почему я должен лить воду на их мельницу? Мне противны допросы, следствия, политические процессы. Никогда я этого не любил. Да и Карелу может повредить, если станет известным, что я работал с «крестоносцами». Никто об этом не знает. Зейда сбежал, Костер тоже уехал, наверно струсил, а мошенник Фрейман занялся спекуляцией, он не посмеет и пикнуть. Я должен схоронить это в себе. Удивительно, что Карел им все простил. Полгода мучился, а обвиняет только американцев. Не понимаю, откуда он этого набрался? Я старался его воспитать на принципах терпимости, гуманности, а он одержимый. Все-таки противно, что у меня такой сын...

Он прервал Карела:

— Можешь сколько угодно ругать американцев, картина от этого не меняется. Я не был в Америке, не знаю, что там делается. Погоди, дай мне сказать... Я с тобой согласен насчет Зейды, этот подлец умел маскироваться, твои же друзья его считали порядочным. Но то, что американцы дают ему говорить по радио, это безобразие. Погоди, я еще не досказал... Я не хочу оправдывать американцев, а вот ты оправдываешь коммунистов. Тебе все равно, что они посадили в тюрьму неповинного человека.

Ты меня не перекричишь... Я тебе скажу прямо — это идет вразрез с принципами Массарика, это бесчеловечно, на этом нельзя построить мораль общества...

— Виноваты американцы и негодяи, которые на них работают. Начинается с разговоров — то нехорошо, это плохо, а потом убивают Ружичку. Теперь тот, кто не с нами, тот с убийцами.

Юлиус Гобза побагровел от гнева:

— Замолчи! Когда ты сидел в тюрьме, у меня сердце обливалось кровью. А теперь мне тебя не жалко. Так тебе и следовало. Ты говоришь, как нацист, это нацисты кричали — кто не с ними, тот бандит. У меня нет больше сына...

Он в ярости ушел. Дома он опомнился. Карел намучился, изнервничался, а я еще его обругал. Нехорошо. Не знаю — почему я так рассердился? Наверно, на себя — за то, что верил Костеру. А выместил на Кареле. Ужасно, что я не могу ему сказать правду. Это всегда будет лежать между нами. Нет, я снова сбиваюсь... Неужели мне так важно, какое у нас правительство? Гораздо важнее, что у меня сын — честный, смелый, способный. А я с ним ссорюсь из-за политики... Американцев я теперь раскусил. Если этот Костер посмеет сюда вернуться, я его оскорблю при всех. Я не могу доносить, я — человек девятнадцатого века... Но что мне делать с Карелом?..

Он долго метался, тяжело дышал, пил воду. Потом раскрыл бювар и крупным размашистым почерком написал:

«Дорогой мой сын!

Я не хотел тебя обидеть. Мне в мае исполнится шестьдесят пять лет, я человек другого поколения. Я очень часто ошибался, поступал опрометчиво, это правда, но я всегда хотел добра моей родине. Теперь я мечтаю об одном — я хочу видеть тебя счастливым. Не будем больше говорить о том, что может нас разъединить. Прости мне слова, сказанные в запальчивости, ты в детстве тоже был вспыльчивым и делал глупости. Если ты на меня не сердишься, приходи ко мне завтра обедать, я припрятал бутылку старого моравского вина и загадал — может быть, мне выпадет счастье выпить ее с Карелом».

Франтишек шел с Кветой по набережной. Ночь была ясная, лунная. Вдали на горе виднелся Град, он казался легким, как облако. Пахло мокрой землей и весной. Часы пробили полночь. Квета сказала:

— Подумай, Франтишек, какая башня старая и часы старые! Наверно, они били, когда бабушка была маленькой — при Франце-Иосифе, да и раньше, я уж не знаю, при ком. Все переменилось. Раньше говорили «добрый день», а теперь «честь труду». А часам все равно, они свое знают — двадцать четыре часа в сутки, ни больше ни меньше, что ни придумывай...

Франтишек улыбнулся:

— Вот ты какой у меня философ... Часы-то бывают разные. У нас в отряде была француженка Мадо, я тебе про нее говорил. Она мне сказала, что у нее был один час, который стал всей ее жизнью. Я до тебя прожил сорок восемь лет. Если перевести на часы, я тебя встретил без четверти двенадцать. А теперь мне кажется, что ничего до тебя и не было. Понимаешь?.. Так и с народом, он теперь встретил свою судьбу...

— Войны, по-твоему, не будет? — спросила Квета.

Он снова улыбнулся:

— Я часовых дел мастер, а не пророк. Я тебе одно скажу, Квета, ничего они с нами не поделают. Вот теперь полночь, значит через пять часов начнет светать, это понятно каждому. Если даже крикнуть по радио, что через пять часов будет вечер, никто не поверит... Пять минут первого... Нехорошо только, что часы спешат на целую минуту, городские, им не полагается...

61

Люди, видавшие Саблона сразу после его возвращения из Москвы, гадали, почему он молчит. Бедье считал, что он убедил Саблона — погорячился, покапризничал, а потом понял, что перекинуться на сторону Москвы попросту глупо. Нивель, пережив несколько тревожных недель, успокоился, говорил Бедье: «Напрасно вы его называли Дон Кихотом. Аванс он вернул только потому, что боялся скандала, но я никогда не забуду, как он этот аванс взял — аппетит у него Санчо Пансы»... Нивель

написал Лоу, что Саблон перепуган; если он выступит, то не о «Трансоке», а о прогрессивном характере негритянского там-тама или о страданиях Сафо, оказавшейся в обществе Уайльда. Сенатор удовлетворенно хмыкнул: это хорошо. Но я не понимаю, почему французов сравнивают с петухами. Петух — боевая птица, недаром у нас на Юге обожают петушиные бои. А такой Саблон смахивает на каплуна...

Люси считала, что ее муж подавлен происшедшим, мучительно переживает свое одиночество, не может ни на что решиться. Правда, Саблон говорил ей, что он работает; но, заглядывая порой в его кабинет, она видела, как он играет с собакой, поливает чахлые бегонии или решает кроссворд. Люси знала своего мужа, но на этот раз и она ошибалась: Саблон действительно работал; он осознавал глубокую перемену всей своей жизни; думать быстро он не умел, только теперь все, что он увидел и перечувствовал, дошло до его сознания. Он редко выходил из дома — порой шагал под дождем по унылым улицам окраины, порой сидел в маленьком баре и слушал, как шоферы проклинали дороговизну, американцев и гнилую погоду. Ночью, когда Люси и Мадлен спали, он лихорадочно писал, а днем сидел и думал — над своей судьбой, над судьбой Франции, над судьбой века. Ему казались теперь ребячеством и те письма, которые он сочинял в Праге, и статья, которую он осенью тщетно пытался где-либо поместить. Разве в одном «Трансоке» дело? Почему объединились сенатор Лоу и Шомэ из «Фран-тирера», Бедье и загадочный Робертс, о котором говорил сотрудник «Монда»? Их спаяли злоба, глупость, животный страх. Лгут, пугают, науськивают. Это они не дали Саблону рассказать об агентстве, облили его грязью. Они на все готовы, лишь бы помешать людям жить. Перед ним вставали жадные дельцы, которых он встречал в Америке, мерзавцы, истязавшие в Конго негров, продажные болтуны и писаки, люди, прославлявшие Гитлера, а теперь ползающие на брюхе перед Нильсом, пестрая, темная партия войны. Они рвутся к России, им надо убить малышей в московских скверах, разрушить дома Минска, зажать рот доктору Крылову, а заодно скрутить своих, чтобы не бастовали, не требовали, не смели даже мечтать.

Так родилась идея книги, над которой Саблон трудился по ночам, порой до позднего зимнего рассвета. Он настолько был поглощен работой, что забыл рассказать о своем замысле жене. Как-то она проснулась ночью и, увидев свет в кабинете мужа, зашла к нему. Он стучал на машинке. Она удивилась: он давно ничего не писал.

— Ты работаешь?..

Он поглядел на нее невидящими глазами, потом сердито постучал трубкой, выбивая пепел, и сказал:

— Кончаю книгу.

— О Москве?

— Да нет, обо всем. Главным образом о мире. Ты меня прости, я сейчас не могу разговаривать — это очень важная глава...

Люси убежала к себе и долго плакала. Ей казалось, что муж ее не любит, что он скрыл от нее самое важное, что, наверно, у него есть другая женщина. А Саблон все стучал и стучал: он писал о том, что настало время раскрыть самый страшный заговор — заговор смерти.

На следующий день Люси его спросила:

— Кто, по-твоему, издаст эту книгу?

— Никто.

— Почему ты не позвонишь Гаро? Коммунисты могут взять...

— Тогда скажут, что это — книга коммуниста. К чему убеждать убежденных? Помнишь, как я был настроен до поездки в Москву?.. Я верил, что русские хотят на нас напасть. Многие так же думают. Я написал книгу именно для таких... Я ее сам издам. Не удивляйся, я уже все устроил, завтра заберут библиотеку, у меня будет чем заплатить типографии.

Он мастерил абажур для лампы, раскладывал старые газеты, чистил трубку; Люси казалось, что он решил передохнуть; но он обдумывал новую главу. Он расскажет о советских людях, как путник, заглянувший в освещенное окно, не о том, правильно ли они принимают иностранных журналистов, или хороши ли в Москве моды,— о главном, о том, что человек, который стоит на строительных лесах, не размахивает бомбой: и сердце и руки у него заняты другим.

В один из первых весенних дней, когда солнце вдруг

ворвалось в хмурую комнату, Саблон дописал последние слова книги. Он понес сейчас же рукопись в типографию. Он шел и улыбался шумливым школьникам, взъерошенным голубям, разбуженному теплым ветром Парижу.

Домой он вернулся счастливый, принес бутылку старого «шамбертена». Мадлен не было: она уехала к тетке в Медон. Они пообедали вдвоем с Люси; выпили за книгу. Саблон сказал:

— Я знаю, что ты мой верный друг. Нас ждет еще много испытаний. Мне этого не простят. Но ты понимаешь, что я должен был это написать?..

— Я радуюсь, как ты... Может быть, даже больше...

Он недоумевающе посмотрел на нее. Она подошла к нему, обняла его:

— Я не хотела тебе раньше говорить... Теперь можно. Ты знаешь, мне было очень тяжело, когда ты согласился поехать от этого агентства. Конечно, я понимаю куда меньше тебя, но я за тебя испугалась... У тебя есть своя линия — ты был за негров, потом против Франко, потом в сопротивлении. Я тобой восхищалась, как девчонка... А когда пришел Нивель, мне стало не по себе... Теперь это позади, со мной мой Саблон — настоящий... Ты прости, что я нескладно сказала,— я очень волнуюсь...

Он глядел на нее изумленный: сколько лет они прожили вместе, а он ее не знал. Вот она какая!.. Неправда, знал — видел и после Испании и в сопротивлении, просто не подумал. Он вспомнил почему-то архитектора в Минске. Интересно — какая у него жена? Может быть, он тоже о ней ничего не знает?.. Живешь, как в лесу. Я обо всем думал, а не подумал о самом близком. Что за наваждение!..

— Люси, любовь моя, слушай... Я этот день запомню — двадцать шестое февраля. И не думай — потому что кончил книгу, нет, потому что открыл тебя...

Он стал веселым, общительным, позвонил Гаро, повел дочку в Оперу, пошел на диспут о пьесе Камю. Кто-то рассказал Бедье: «Саблон начал повсюду бывать, он в прекрасном настроении». Бедье улыбнулся: «Я был убежден, что он перебесится».

Саблон прочитал в «Фигаро», что Нивель выступит с публичным докладом о миссии Запада. Он сказал Люси:

— Пойду. Интересно, что этот мерзавец может рассказать о миссии Запада? Ведь не станет он говорить, как они нанимают убийц в Праге...

— Лучше тебе не ходить, могут подумать, что ты хочешь с ними помириться.

— Никто этого не подумает. Я сяду где-нибудь подальше... Если придется, свистну, ты не слыхала — свищу я артистически... Нужно послушать, что они теперь говорят...

Нивель не хотел выступать, уговорил его Бедье: студенты сбиты с толку пропагандой за мир, у Нивеля большой авторитет, он может осветить проблему обороны Запада по-своему, поднявшись над вульгарными формулами газет. Нивель согласился,—хотел сохранить хорошие отношения с Бедье: кто знает, что может случиться, а Бедье ничего не стоит найти для поэта приятную синекуру.

Каждое утро Нивель попрежнему отправлялся на улицу Пирамид в агентство, но к своей работе он окончательно охладел: понял, что Лоу все равно не угодить. Хоть бы рыжий умер! Единственное, о чем Нивель теперь мечтал, это о наследстве. Как-никак сенатору шестьдесят восемь лет, врачи говорят, что с таким давлением нельзя жить. Но рыжий живуч, как кошка...

Нивелю досаждала мелочная экономия. Мэри проводила дни и ночи в обществе грязных, взлохмаченных людей, которые считали себя непризнанными гениями. Она спокойно объявляла мужу: «У Кроутера необычайный талант, но никто не покупает его картин. Я ему сняла мастерскую. Дай мне сто тысяч». Он едва сдерживался, чтобы не выкинуть ее из дому. Но тогда прощай наследство... И, морщась от отвращения, он швырял ей деньги.

После свидания с Ширке он еще больше помрачнел, в его голове застряли слова немца «все мы ходим оплеванные». Он презирал Ширке, возмущался, как тот посмел поставить рядом битого нациста и поэта, но в то же время говорил себе: хам сказал правду, я чувствую себя действительно оплеванным.

О чем бы Нивель ни думал, он неизменно думал о себе, часами он мог перебирать свои мельчайшие переживания. В счастливые периоды слава, любовные интриги, выпивки отвлекали его от самого себя; теперь же по целым дням

он размышлял о своей судьбе. Он писал в дневнике: «Есть амфибии, они могут жить в разных стихиях, Ламартин отдавался политике с увлечением. Я не таков, политику мне навязали. Я люблю слова, их первоначальное звучание, а мне приходится писать тривиальные статьи, выступать с докладами для лавочников. Страсти вообще искажают душу, это верно, что красота и движение несовместимы. Меня всегда сбивали с толку пустое любопытство, да и тщеславие, волновался, что книга не понравится Андре Жиду или что Полина скажет: «Ты умеешь лучше говорить, чем целоваться». Все это накипь. Все, что во мне настоящего, далеко позади среди розового тумана детства: мать купает пухлого ребенка — он покрыт мыльной пеной, похож на ангела. Могла ли она подумать, что этот невинный младенец станет директором «Трансока» и что Ширке ему скажет: «Мы все оплеванные»?.. Если для меня есть спасение, оно в одном: вернуться к младенчеству»...

Такие размышления не помешали Нивелю написать доклад. Он доказывал, что под угрозой находится величайшая ценность — человеческое достоинство. На страны древней цивилизации выпала миссия спасти мир от красных иконоборцев: «Коммунисты грозят мыслителям и поэтам, всем, кто в своих мыслях подымается над начальной арифметикой». Он цитировал Шатобриана, Гонкуров, Бергсона, а потом переходил к анализу Северо-Атлантического пакта: «Это союз мирных великанов духа, способных отстоять индивидуальную свободу. Высокие открытия ученых Нового Света и отвага юношей Европы остановят красный самум, раздавят безумцев, посягающих на душу нашей цивилизации».

Доклад устраивала группа «Либертэ». Председательствовал профессор Рише. Прежде чем предоставить слово Нивелю, он сказал, что он — не политик, и согласился представить аудитории выдающегося поэта только потому, что имеются проблемы, мимо которых не может пройти ни один мыслящий человек; именно к таким проблемам относится миссия Запада, этого хранителя великих традиций. В первом ряду сидел Бедье, он решил проскучать вечер, чтобы своим присутствием подчеркнуть значительность поставленного Нивелем вопроса. Публика была пестрая: нарядные дамы, посол Бразилии, старые

девы, не пропускающие ни одной лекции, журналисты, несколько сот студентов. У дверей стояли наготове полицейские: ходили слухи, будто коммунисты попытаются сорвать доклад.

Все, однако, проходило чинно. Нивель надтреснутым голосом монотонно читал длинную рукопись; после каждой страницы он пил воду и вытирал шелковым платочком лоб. Время от времени раздавались аплодисменты, не очень шумные. Профессор Рише кивал головой, подчеркивая свое согласие то с Франсуа Мориаком, то с Расселом, то с самим Нивелем. Все скучали, только Саблон, сидевший позади, волновался, мотал головой и ерзал на скамье.

Заканчивая, Нивель сказал: «При первом соприкосновении с проблемой величайшего открытия двадцатого века кажется, что перед нами ящик Пандоры, что ученые Нового Света привели человечество к гибели. Разумеется, это не так, мы должны отмести и пропаганду коммунистов и вульгарный страх обывателя. Только люди, лишенные совести, могут отрицать, что Москва решила подчинить восточному материализму весь мир. Нам остается благословить науку — если что-либо удерживает коммунистов от агрессии, это благодетельный страх перед атомной бомбой». Последние слова смутили профессора Рише, он недовольно приподнял брови и начал что-то рисовать на листе бумаги. Никто, однако, не запротестовал. Нивель сошел с трибуны, раздались аплодисменты, и профессор Рише подумал: я, пожалуй, чересчур щепетилен, в наше время трудно обойтись без газетных фраз... Он хотел поблагодарить докладчика, когда из глубины зала раздался громкий голос:

— Просит слова журналист Саблон.

Перед докладом профессор Рише говорил с Нивелем, они решили, что прения могут привести к эксцессам и лишить вечер строго академического характера. Услышав, что слово просит Саблон, профессор Рише растерялся. Это не коммунист и не случайный болтун, Саблона все знают, если не дать ему слова, скажут, что Рише затыкает рот оппонентам, что он пристрастен, ведет мелкую политическую игру. Многие в зале кричали: «Пусть говорит!», некоторые даже зааплодировали; все оживились. Нивель

сел рядом с председателем, а Саблон поднялся на кафедру.

— Я давно не был на таких докладах, работал над книгой...— начал Саблон.— Я мог бы здесь не выступать, моя книга скоро выйдет в свет, там я говорю и об атомной бомбе и о том, как от нее спастись. Если я все же попросил слова, то только потому, что иначе слушатели уйдут, не узнав правды ни о докладе, ни о докладчике.

Нервная гримаса на одну секунду скосила лицо Нивеля. Кто-то из зала крикнул: «Довольно!..» На него зацыкали. Профессор Рише сказал:

— Поскольку я предоставил слово господину Саблону, я попрошу аудиторию спокойно его выслушать, это будет в традициях Запада, о которых так хорошо говорил господин Нивель. В свою очередь я попрошу господина Саблона помнить, что мы собрались не на политический митинг и что господин Нивель рассмотрел вопрос о миссии Запада в плане культурном и гуманитарном.

Саблон улыбнулся:

— Я буду говорить в том же плане, что докладчик. Председатель, представив здесь господина Нивеля, забыл упомянуть, что он состоит директором европейского отделения агентства «Трансок». В качестве такового господин Нивель год назад предложил мне поехать в Москву и описать, как русские подготовляют агрессию. Я вам сейчас объясню, почему я согласился. Перед этим я слышал немало докладов, похожих на тот, что мы выслушали сегодня. Я читал «Фигаро», там иногда печатает свои статьи господин Нивель. Я верил, что русские действительно хотят на нас напасть и что мы должны защищаться. Я не был зеленым мальчишкой, но среди вас, наверно, имеются люди не первой молодости, которые до сих пор думают так же. Обмануть сорокачетырехлетнего журналиста, конечно, труднее, чем обмануть четырнадцатилетнюю девчонку, но это вопрос искусства, а я должен признать, что и господин Нивель и его коллеги — мастера своего дела. Итак, я поехал в Москву по поручению докладчика. Когда я вернулся, в одной газете написали, что русские меня подкупили и что я стал коммунистом. Это неправда. От русских я ничего не получил. Правда, в Москве меня кормили, и неплохо, но за все я платил деньгами, которые

получил от господина Нивеля и которые потом ему вернул. Коммунистом я не стал — я вырос на других идеях. Многое там мне понравилось, но далеко не все. Вот вам маленький пример, я мог бы привести десятки других — мне не нравится их живопись, мне по душе Манэ, Сислей, Ренуар, а они их отрицают, говорят, что это «формализм». Но разве в этом дело? Разве мы присутствуем на диспуте о живописи? Тогда никто не вспоминал бы про атомную бомбу... Я увидел в России людей, которые живут чище, скажу прямо, честнее, чем живут люди у нас, или в Англии, или в Америке. У них много недостатков, некоторые из этих недостатков они признают, некоторые отрицают. Об этом можно тоже спорить, но одно бесспорно: русские не хотят войны. Они не собираются доказать свое преимущество с помощью «ящика Пандоры», о котором говорил здесь докладчик. Почему же нас обманывают? Почему нам говорят, что русские собираются на нас напасть? Кто действительно готовит войну? Кто наживается на страхе и на злобе? Кто прославляет атомную бомбу, которая для Парижа еще страшнее, чем для Москвы? Я вам сказал, что я написал книгу, она называется «Заговор смерти»; это книга о том, как кучка американцев и людей, которых они наняли или припугнули, людей без совести да и без разума, толкает мир к страшной катастрофе...

Раздались крики, свистки, аплодисменты. Профессор Рише напрасно стучал ладонью по столу, аудитория не успокаивалась. Саблон терпеливо ждал. Нивель развел руками, как бы говоря: я здесь ни при чем, я делал доклад о культурной миссии, а началась перебранка, как на предвыборном собрании в Марселе. Наконец водворилось молчание. Профессор Рише сказал:

— Я еще раз попрошу господина Саблона не касаться чересчур острых злободневных тем, они приводят к возгласам, которые здесь, право же, неуместны.

Саблон продолжал:

— Всего сказать мне не удастся, прочитаете в книге, если вам интересно Но есть вопрос, который обязательно должен быть освещен здесь,— это вопрос о самом докладчике и об агентстве, во главе которого он стоит...

Нивель встал:

— Нельзя превращать эту кафедру в базар, где сплетничают торговки...

Профессор Рише растерянно оглядел зал и, не говоря ни слова, направился к выходу. Вслед за ним ушли Бедье, посол Бразилии и еще человек двадцать. Саблон продолжал стоять на кафедре. Из зала кричали: «Продолжайте!..» Многие люди, ненавидевшие коммунистов, хотели, чтобы Саблон рассказал о Нивеле: любопытство оказалось сильнее политических симпатий. Отдельные возгласы «довольно» терялись в хоре криков «продолжайте». Нивель понимал, что лучше уйти, но у него нехватило смелости спуститься и пройти через зал. Он чувствовал, что на него все смотрят. В его голове пронеслось: «Ходим оплеванные»... Он заставил себя улыбнуться, получилась гримаса, которая застыла на его лице.

Саблон сказал:

— Докладчик — поэт, хороший или плохой, мнения расходятся, но вот что бесспорно: он сотрудничал с немцами, а когда немцев приперли, удрал в Швейцарию и оттуда в Америку. Его тесть, сенатор Лоу, южный плантатор,— один из представителей партии войны. Это он организовал агентство «Трансок» и поручил дело господину Нивелю. Не думайте, что это — обыкновенное газетное агентство. Оно посылает корреспондентов в Советскую Россию, в разные страны Восточной Европы, чтобы они там организовывали поджоги и убийства. Представитель «Трансока» в Праге, американский журналист Костер, рассказал мне, что он подрядил там каких-то «крестоносцев», они убили коммуниста. Вот чем занимается докладчик, когда он не читает докладов о «ящике Пандоры» и не пишет стихов. Это директор европейского отделения американских убийц. Скажите, Нивель, куда вы удерете, когда французский народ прижмет к стенке ваших хозяев?..

Нивель вскочил и фальцетом крикнул:

— Замолчите!..

В зале началась потасовка. Погасили свет. Полицейские бросились на людей, которые аплодировали Саблону. Нивель незаметно исчез.

Саблон вышел. На углу улицы он увидел, как полицейские тащили человека с окровавленным лицом. Этот человек крикнул: «Вы хорошо сказали, Саблон!..» Поли-

цейские втолкнули его в тюремную машину. Саблон выругался: вот их свобода... Наверно, это — коммунист... Я сказал то, что думал: я не во всем согласен с коммунистами. Но это смелые люди, перед ними можно снять шляпу...

62

Смидл составил письмо, никак его не компрометирующее: просил Прозачку принять его для беседы о возможном улучшении экономических и культурных отношений между двумя странами. Ответ пришел быстро: Прозачка согласился его принять в ближайшую пятницу в одиннадцать часов утра в министерстве информации. Смидл долго обдумывал, как проверить, не соврал ли Зейда. Он решил, что спросит Прозачку о деятельности преступной организации «Крестоносцы свободы», высказав при этом осуждение террористам. Потом он расскажет, что начал изучать чешский язык, его словарь еще очень беден, и ему приходится составлять нелепые фразы из слов, которые он запомнил — например, «у доктора синий нос», «у крестоносца красное яблоко». Прозачка поймет, что можно перейти к делу. А если Зейда соврал, он не обратит внимания. Смидл ничем не рискует, но попробовать стоит: Прозачка не Зейда, секретарь посольства говорит, что это очень крупная фигура.

Накануне Смидлу передали в посольстве письмо Лоу. Сенатор писал, что чувствует себя плохо, может быть скоро уедет к себе в Миссисипи, в Вашингтоне его удерживает напряженная обстановка: «Приходится сражаться на различных фронтах — против примиренцев, которых мы почти раздавили, против изоляционистов, которые опять зашевелились, и против сторонников азиатского варианта, довольно многочисленных. Гарриман считает, как и Робертс, что необходима политика силы и что Европа по-прежнему должна рассматриваться как главный театр действий. «Трансок» — это один полк огромной армии, но им довольны. Робертс говорит, что, не прибегая фактически к помощи государственного департамента, мы сделали больше, чем многие посольства. Нельзя, однако, на этом успокоиться; красные не чувствуют себя побежден-

ными, напротив, они повсюду усиливают активность. Я уж не говорю о прогнившей Европе, но и здесь на каждом шагу видишь их происки. Иногда мне кажется, что всевышний испытует наше терпение. Можете себе представить, что эти негодяи в нашем Джексоне устроили тайный «комитет», который защищает Кларка! Мне написал об этом Ричмонд-младший, он мужественно борется против красных. Теперь он ищет зачинщиков. Я сообщаю вам и хорошие и дурные новости, знаю, что вас волнуют наши дела, хотя вы и далеко, на трудном, ответственном посту. Я хочу вам сказать, дорогой друг, что только вам я могу доверить судьбу «Трансока». Я сделаю все, чтобы вы могли продолжить нашу работу и после того, как господу будет угодно призвать меня к себе. Я не хочу сейчас говорить более откровенно, хотя отправляю это письмо с дипломатической почтой. Я надеюсь, что вскоре вы приедете в Джексон, там я вам расскажу о моем личном горе, как родному сыну, и поделюсь с вами моими планами. Если бог отпустит мне еще год или два, я рассчитываю кое-что сделать и, как говорит Робертс, перейти от разведки к разведке боем».

Письмо обрадовало Смидла: чувствуется, что сенатор мне действительно доверяет. Он хочет, чтобы я руководил «Трансоком» после его смерти. Естественно, нельзя поручить такое дело Нивелю. Я, слава богу, не француз и не сочиняю стихов. Интересно — какую «разведку боем» имеет в виду Лоу? На Балканах или все-таки в Азии?.. Нужно будет написать Ричмонду-младшему, он смелый парень, но неопытен. Кроме Кларка, в Джексоне есть десяток-другой сомнительных субъектов, хорошо бы их припугнуть...

Смидл сжег письмо Лоу и предложил секретарю посольства испробовать новый коктейль — сливовица, вермут и лимонный сок.

— Я назвал это пойло «пражская весна». Завтра возьму интервью у Прозачки. Мы стараемся улучшить отношения между двумя странами. Неплохо, а?

Он громко захохотал. Секретарь посольства не понимал, почему он смеется, но это было после третьего стакана «пражской весны», и секретарь, в свою очередь засмеявшись, ответил:

— Совсем неплохо.

Прозачка принял Смидла любезно, охотно отвечал на все вопросы. Когда Смидл сказал «кржижакма руде яблко», Прозачка не изменился в лице, он только заметил: «Вы хорошо произносите...» Смидл поспешил закончить интервью и, поблагодарив Прозачку, ушел.

У себя в номере он долго и яростно ругал Зейду: этакая скотина! Я дал ему сто марок из своего кармана, а он мне наврал. Хорошо еще, что я ничем себя не выдал! К Доубеку нечего соваться. Когда я вернусь в Германию, первым делом попрошу генерала Дауса посадить Зейду. Теперь мы ему напомним, что он работал в гестапо... Придется нажать на Фреймана. Рассчитывать на что-либо серьезное трудно, у них нет настоящего ядра, но они могут подстрелить кого-нибудь в провинции. Нельзя приехать к сенатору с пустыми руками. Костер напрасно давал этой шпане деньги вперед, рассчитываться нужно потом...

Немного успокоившись, он пообедал и пошел на свидание с Фрейманом. Разговор был долгим и неприятным: Фрейман говорил, что без денег ничего не может сделать. Есть возможность убрать секретаря партийного комитета в Будеевицах, но это — дело сложное, для начала нужно иметь по меньшей мере двадцать тысяч долларов. Один офицер почти согласился доставить сведения о военных аэродромах, но говорит, что у него семья, нужно ее обеспечить. Если дать ему пять тысяч долларов, он не устоит. Смидл злился, оскорблял Фреймана, даже попробовал его попугать: «Друзей мы выручаем, а мошенников выдаем...» Фрейман ответил, что подумает и завтра даст ответ.

Смидл вечером изрядно выпил с одним английским журналистом и наутро проснулся в прекрасном настроении. Он принимал холодный душ и бодро фыркал, когда постучали. Он решил, что это — горничная, не ответил. Постучали сильнее. Пришлось надеть халат и открыть дверь. Сотрудник государственной безопасности вежливо сказал Смидлу, что с ним хотят побеседовать.

Натягивая на себя штаны, Смидл, взволнованный, гадал: кто меня выдал — Прозачка или Фрейман? Вряд ли Прозачка. Что предосудительного в дурацкой фразе?

А «крестоносцев» я обозвал «бандитами». Скорей всего Фрейман. Этот негодяй решил, что ничего из меня больше не вытянет, и побежал к красным. В общем поганая история. Конечно, доказательств нет. Но у Фреймана мог стоять диктофон. Я этим босякам не верю. Наверно, Костер давал им гроши, а деньги прикарманивал. Это уж не политика, а свинство. Если они записали мой разговор с Фрейманом, выпутаться трудно, я ведь говорил, что за министра мы дадим пятьдесят тысяч. Могут устроить процесс — это дикое государство. А вдруг Прозачка знает пароль и донес? Ему поверят. Потом я мог сболтнуть со сна... Нет, скорей всего донес Фрейман, у него глаза бегали. Напрасно я его пугал, он обозлился. Если меня приговорят, в Америке подымут шум. Но теперь не такое положение, чтобы чехи уступили. Они способны сгноить меня в тюрьме. Можно просидеть день, ну, месяц. А если они мне дадут несколько лет? Я сдохну в тюрьме, очень просто. Одно дело — война, там идешь в бой и не думаешь, кругом свои. А здесь меня заживо похоронят, это медленная смерть.

Смидла знали как человека храброго, даже безрассудного; и Лоу, и члены клуба «Неунывающие», и полковник Коллинг изумились бы, увидев майора, который сидел на кончике стула и пугливо озирался. Он сам подумал: удивительно, я ведь не трус, а сейчас меня всего трясет. Самое страшное — неизвестность. Что они знают? Все или не все?.. Я попал к чорту в лапы, и никто мне не подскажет, как выкрутиться.

На полковника Кличку Смидл произвел впечатление больного: руки американца дрожали, а отвечал он так тихо, что Кличке приходилось переспрашивать.

— Я вас попрошу рассказать мне о деятельности пражского корреспондента агентства «Трансок» Костера,— сказал полковник.

Смидл понял: Фрейман! Нужно было ему дать пять тысяч...

— Я здесь очень мало времени, не успел оглядеться... Я взял интервью у господина Прозачки, написал две статьи...

— Простите, но я вас спрашиваю о деятельности Костера.

— Откуда я могу знать, что он здесь делал? Костер — известный журналист, но это не мой приятель, я за него не отвечаю...

— Хорошо, тогда я могу вам рассказать, чем занимался в Праге этот «известный журналист»,— он организовал банду убийц, которые называли себя «крестоносцами».

Смидл судорожно сглотнул слюну. Фрейман рассказал все. Значит, мне не выкрутиться...

А полковник продолжал:

— Эта банда убила Ружичку, готовила ряд других преступлений. Во главе ее стояли Костер и бывший гестаповец Зейда. Когда Зейду разоблачили и он убежал в Баварию, Костер сразу уехал. Я не могу допустить, что вы, будучи корреспондентом «Трансока», ничего об этом не знаете. Если вы действительно приехали сюда с честными намерениями, вы сами заинтересованы в разоблачении Костера.

— Я вам даю слово, что я приехал с честными намерениями. Я хочу улучшить отношения между нашими странами. Я так и сказал господину Прозачке... Может быть, Костер вел себя плохо, это несерьезный человек, но я ничего не знаю...

— Ваше молчание можно истолковать как соучастие, это вряд ли в ваших интересах. Костер далеко, а вы здесь... Вы напрасно пытаетесь его выгородить. Костер сам заявил, что он организовал «крестоносцев». Сегодня об этом напечатано во всех газетах — телеграмма из Парижа...

Смидл окончательно растерялся. Неужели Костер допился до того, что все выболтал? С него может статься — это ничтожество. В одном полковник прав: Костер далеко, а мне приходится расхлебывать. Что же мне ответить?..

— Я вам советую рассказать о деятельности Костера,— сказал полковник.— Это в ваших интересах.

— Я вам уже сказал — это не мой приятель. Костер — пьяница и человек низких моральных качеств. Я не хотел об этом говорить, потому что он — американец, неприятно показывать грязное белье чужим. Но вы говорите, что Костер сам признал, это меняет дело. Я не понимаю, как дирекция агентства могла послать такого авантюриста в

Прагу. В Америке все знают, что Билл Костер — грязная личность. А сенатор Лоу — олицетворение честности. Конечно, он человек консервативных взглядов, хотя я его подчиненный, я с ним часто спорю. Но в одном ему нельзя отказать — это моралист, пуританин. Беда, что он по-детски доверчив. Костер его обманул. Я вам расскажу, как это произошло... Костер получил крупную сумму на организацию пражского отделения агентства: сенатор хотел, чтобы здесь был персонал, способный освещать экономический и культурный рост вашей страны. Я об этом говорил господину Прозачке... Костер по-своему распорядился деньгами, дал их какой-то банде. Один из представителей этой банды, когда я приехал в Прагу, требовал с меня денег, говорил, что Костер ему не все заплатил. Я ему прямо сказал, что я — честный журналист и что поведение Костера дезавуировано дирекцией агентства. Я могу вам его назвать — это некто Фрейман... Когда Костер рассказал, что он здесь натворил, все возмутились. Сенатор Лоу писал мне, что его следует отдать под суд. Из агентства его, разумеется, выгнали. Меня прислали сюда, чтобы показать наше искреннее стремление к дружбе.

Полковник попросил Смидла подписать показания. Смидл сначала отказался: он не вправе осуждать своего коллегу. Кличка усмехнулся:

— Вы, может быть, хотите сказать, что вы — коллега Костера по организации банд?

— Я не так выразился,— ответил Смидл.— Если нужно, я подпишу.

Фреймана не нашли: он испугался, что Смидл может его выдать, и скрылся. Прямых улик против Смидла не было; его продержали неделю, а потом объявили ему, что он будет выслан из Чехословакии.

Увидев американских солдат, Смидл воспрянул духом. Скверный сон кончился. Он пил, дурачился, рассказывал о своих злоключениях. Вечером, когда он собирался лечь, пришел корреспондент «Юнайтед пресс» и показал Смидлу чешскую газету: там были напечатаны слова Смидла о Костере и воспроизведена его подпись. Корреспондент сказал:

— Из Праги это передавали вчера по радио — они записали ваш голос... Меня просили встретиться с вами,

как только вы перейдете границу... Американцы жаждут узнать, при каких обстоятельствах вам пришлось повторить версию красных?

Смидл не знал, что ответить. Оказывается, ничего не кончилось... Хорошо им, сидя в Нью-Йорке, разыгрывать неприступных! Попали бы в лапы красных... Но объяснить это нельзя. Он пробормотал:

— Я здорово измучен... Знаете, вы выбрали для интервью не вполне подходящее время.

— Это не интервью. Поймите, господин Смидл, все американцы потрясены тем, что вам пришлось пережить. Вы, конечно, не читали газет... В мире творилось невероятное. После ноты государственного департамента посыпались протесты, ООН буквально закидали телеграммами. Это был рекорд негодования, на сто очков больше, чем с венгерским кардиналом. Вся Америка вздохнула облегченно, узнав, что чехи вас выпускают... И вот вчера они передали по радио, что вы якобы подтвердили заявления Саблона...

— При чем тут Саблон?

— Саблона подкупили красные, он выступил в Париже с разоблачениями, будто Костер ему рассказал о «крестоносцах». Все это шито белыми нитками, но Коминформ подхватил, красные подняли шум...

— Погодите, а Костер сам ничего не заявлял?

— Костер, конечно, опроверг, он заявил, что Саблон — клеветник...

Смидл был потрясен: полковник здорово меня разыграл. Я попал в ловушку. Мне этого не простят... Они ведь не знают, что значит попасть чорту в лапы...

Заметив его волнение, корреспондент сказал:

— Вы меня простите, что я вас утомляю. Но это очень важно... Теперь красные треплют ваше имя, сегодня Москва передавала: «Смидл подтвердил, что Костер организовывал банды...» Только поэтому я решился вас потревожить. Важно уточнить, что́ именно они с вами сделали. Пытали или, может быть, что-нибудь впрыснули?..

Смидл просиял: великолепная идея!

— Пишите. Меня допрашивал чекист. Когда он увидел, что угрозы не действуют, он мне сказал, что я плохо выгляжу. Разумеется, я выглядел плохо — они морили

меня голодом, не давали уснуть. Чекист предложил прислать врача, я отказался. Час спустя пришел палач, сказал, что он — доктор, я очень ослаб, нужно впрыснуть лекарство. Я протестовал, отбивался. Меня связали, и палач что-то мне впрыснул в вену. Я был как в обмороке, плохо помню... Меня потащили к чекисту. Он читал, заставлял меня повторять, я был в полном оцепенении. Я пришел в себя только накануне высылки. Записали? Добавьте: пусть весь мир знает, на что способны эти изверги. Вот и все... Можете прибавить от себя, как вы меня нашли, как я счастлив, что говорю с американцем...

— Вы, наверно, поедете отдыхать?

— К сожалению, нет, буду продолжать работать как корреспондент «Трансока» в Германии. Сейчас не время для отдыха...

Узнав, что Смидл оговорил Костера, сенатор Лоу слег. Неужели на свете не осталось честных людей? Если уж Смидл юлит, чего ждать от остальных? Грех роптать, но господь слишком испытует мое терпение. Я себя чувствую, как Иов, у меня больше нет ни дочери, ни человека, которого я считал духовным сыном...

На следующий день сенатору позвонили: есть сообщение «Юнайтед пресс». Лоу был пристыжен: как я мог усомниться в Смидле? Бедный мальчик, сколько ему пришлось пережить! Он послал Смидлу телеграмму: «Пережитое вами будет напоминать мне до конца дней, что нужно уничтожить источник зла. Радуюсь вашему освобождению, как новому доказательству, что бог не оставляет своей милостью нашей любимой Америки».

В тот же вечер он говорил Робертсу:

— Я вам скажу откровенно, я не думал, что они на это способны. Оклеветать человека, арестовать его, а потом впрыснуть какую-то мерзость... Неслыханно! Если мы не начнем, начнут они, это будет во сто крат хуже и для Америки и для всего человечества. Мы должны их уничтожить, и чем скорее, тем лучше.

— Бесспорно,— ответил Робертс.— Но еще не все американцы это поняли. В военной комиссии сената вчера говорили, что невозможно ничего предпринять, пока не создана германская армия. В известной степени это правильно, но генерал Даус сообщает, что переговоры с

немцами приближаются к концу. Остановка будет не за Шпейделем. А вот без чего действительно нельзя начать — это без моральной мобилизации Америки. Если мы не внушим в самый короткий срок каждому американцу, что война неизбежна и что она будет победоносной, мы осуждены на гибель. Но я верю, как вы, что господь этого не допустит. Мы должны начать новую широкую кампанию... Я не говорю, что нужно бросить лозунг «за войну», это было бы глупо. Но мы должны начать кампанию за войну, даже если нам придется говорить о мире...

63

Прочитав о том, что приключилось с его однополчанином, Маккорн не мог притти в себя. Газета подробно описывала, как Смидла связали и притащили в «лабораторию, специально оборудованную для признаний», как «палач медленно отмерял таинственный яд», а злосчастный американец «тщетно призывал на помощь далеких соотечественников». Дрожь прошла по телу Маккорна: можно ли представить себе такой ужас?

Он недолюбливал Смидла, считал его заносчивым, называл за глаза «индюком». Однажды майор навестил Маккорна, они обнялись, выпили по стаканчику. Маккорн начал вспоминать годы войны. Смидл сказал: «Это дело прошлое, а вот скоро мы пойдем бить красных». Маккорн возразил: «Ну, уж не так скоро — люди хотят передохнуть...» Когда майор ушел, Маккорн выругался: дурак, не нашел ничего лучшего, чем заняться политикой! Мало, что ли, без него мошенников?

Это было давно, когда Маккорн еще портняжничал. Красный клиент, намеревавшийся взорвать не то завод, не то целый город, дорого ему обошелся. Хотя Дуббельт клялся, что никто Маккорна не тронет, в мастерскую начали шляться полицейские, шпики, фотографы, они изводили Маккорна расспросами, а настоящих клиентов не было. Пришлось за гроши продать мастерскую. После долгих поисков Маккорн устроился в бюро похоронных процессий. Он проклинал судьбу: лучше уж обшивать черных, даже красных, чем возиться с покойниками! Прихо-

дилось высматривать, кто где слег, вступать в сделку с врачами, чтобы они во-время позвонили Маккорну, совать проспекты и смету зареванным домочадцам. Не удивительно, что Маккорн стал частенько проводить вечера в питейных заведениях. Жена пробовала его образумить, но он отвечал: «Каждый развлекается, как может». Он знал, что Пегги путается с владельцем закусочной; иногда в досаде думал: не могла подыскать кого-нибудь получше, у него нос в угрях и одна нога короче другой; но потом говорил себе: все-таки ей с ним веселее, он занят сосисками, а не мертвецами. Маккорну казалось смешным, что он может приревновать жену: она была для него воспоминанием, как марка с изображением сирены на непромокаемых пальто его довоенной мастерской.

Иногда, подвыпив, он крепко ругал Минаева. Подумать, что из-за этого шутника полгода полицейские не давали ему проходу! Из-за Минаева пришлось продать мастерскую и заняться паскудным делом. А почему Маккорн поссорился с Гайрстоном? Все из-за того же Минаева. Маккорн говорил: «Если его посадят на электрический стул, честное слово, я не стану плакать». Прочитав, что русского освободили и отправили домой, Маккорн, однако, не рассердился. Бог его знает, может быть, он и не собирался ничего взрывать, а просто хотел, чтобы я сшил ему синий костюм с двумя парами брюк. Разве можно разобраться в такой истории? Судья—и тот восемь месяцев ломал себе голову, не знал, как поступить. Один говорит одно, другой — другое, в общем все они хороши, достаточно поглядеть на Фреда Дуббельта. Может быть, красные и хотят нас слопать, как говорит Смидл, но я не хотел бы, чтобы меня спасли мошенники вроде Фреда.

Не история с Минаевым перевернула всю жизнь Маккорна, а газета, в которой описывалось, как красные впрыснули таинственное вещество в жилу бедняги Смидла. Пожалуй, если бы красные убили майора, Маккорн отнесся бы к этому спокойно: Смидл не ребенок, он по доброй воле занялся политикой, полез к красным. Ясно, что так можно заработать или сто тысяч долларов, или пулю в затылок. Но то, что случилось с майором, было попросту невероятно. Маккорн пришел в ужас от мысли, что можно взять человека и впрыснуть ему одурманиваю-

щее вещество: газета рассказывала, что если кому-нибудь такое впрыснут, он будет делать все по указке. Вот так штуку изобрели красные, это почище нашей бомбы! Можно заставить меня, Джима Маккорна, перестрелять детишек в школе напротив моего дома или взорвать большой банк. Уж не впрыснули ли они чего-нибудь Гайрстону? Был человек как человек, а вдруг рехнулся, чорт знает что читает, говорит так, будто прилетел из Москвы. Нет, Минаева зря выпустили. Он производил впечатление порядочного, а собирался взорвать целый город, даже судья не мог этого объяснить, теперь я понимаю: впрыснули и сказали: «Взрывай...». Выходит, что Смидл рассуждал правильно: если красных не перебить, они доберутся до нас, тогда всем крышка. Конечно, я живу по-свински — жду, когда кто умрет, чтобы было на что пообедать, но по крайней мере я могу ругать кого хочу, и никто мне ничего не впрыскивает.

Он здорово выпил в тот вечер и, придя домой, не разделся, а начал кричать: напрасно красные считают, что в Америке нет хороших парней, мы били немцев, побьем и русских, конечно, война — свинство, но, видно, такое теперь время, что нельзя не воевать. Жена уговаривала: «Ложись». Он отвечал: «Вот впрыснут тебе, как Смидлу, ты и пырнешь твоего колченогого, очень просто...»

Жена считала, что он проспится и забудет про Смидла, но Маккорн весь следующий день думал о том, как красные одурманили майора. Правда, Маккорн пошел к адвокату Уинчеллу, у которого скончалась супруга, долго объяснял, сколько будет стоит церемония, уговаривал не жалеть денег на хороший, солидный гроб, но делал он это машинально: голова его была занята другим. Вечером он снова пил и снова буянил. Прошла неделя, а Маккорн продолжал думать о красных. Вдруг ему пришла в голову мысль: Смидл нес несуразицу, а потом пришел в себя, может быть и Гайрстон опомнился? Это не по-товарищески, Маккорн даже не попробовал его урезонить. Не станет же Гайрстон защищать красных после того, что они сделали с майором! Он знает Смидла, не сможет ответить, что это его не касается. И, выпив несколько стаканов виски, Маккорн отправился к Гайрстону.

Он сел верхом на стул и недоверчиво осмотрел ком-

нату. Книги на месте... А почему Гайрстон одет, как рабочий? Наверно, бедняга обносился — работу найти трудно. Я помню, он рассказывал, что ходил по домам, как я. Только я хороню, а он уговаривал страховаться от смерти... Смешно!

— У тебя что, работы нет? — спросил Маккорн.

— Есть. Полгода как работаю на заводе.

— В дирекции?

— Нет, зачем, стою у станка. Научился...

— Это плохо, вообще все плохо. Ты знаешь, почему я к тебе пришел?

— Нет.

— Ты читал про Смидла?

— Читал.

— Слушай, Джо, я не хотел к тебе итти, ты меня обидел. Почему ты мне ни разу не позвонил? Но я подумал — мы с ним не на улице встретились, год вместе провоевали. Я решил плюнуть на самолюбие. Есть вещи поважнее... Ты помнишь, как ты защищал красных? Теперь ты видишь, что это за музыка?..

— Я вижу, что у тебя голова не работает, если ты веришь такой ерунде. Ты знаешь, чем занимается Смидл? Его послали в Прагу, чтобы убивать людей. Это тоже было в газете, только не в той, которую ты читаешь. Ничего тут нет удивительного; еще когда мы ездили к русским, я подумал: а чем Смидл лучше нацистов?

— Я тебе не о Смидле говорю, мне все равно, чем он занимается. Я тебя спрашиваю, ты читал, что красные впрыснули ему в вену какую-то пакость?..

— Ничего ему не впрыскивали, просто он струсил и захотел выкрутиться. Он храбрый, когда вешает негров... Мне тебя жалко, Джим, если ты веришь таким глупостям. Они это придумывают, чтобы натравить людей на русских. Ты помнишь, что они писали про Минаева? Город хотел взорвать... А потом пришлось его выпустить...

— Очень плохо, что выпустили... Значит, ты не опомнился?.. А меня нечего жалеть, я не трус, я пойду воевать...

— Иди, если это тебе нравится.

— А ты не пойдешь?

— Нет, не пойду.

— А если тебя призовут?

— Все равно не пойду.

Маккорн вскочил:

— Я думал, что ты американец, а ты красный. Это в тебе кровь заговорила, не иначе... Вот я пойду и расскажу, что ты за птица...

Гайрстон открыл дверь:

— Это твое дело, а пока что уходи прочь.

Разговор с Гайрстоном еще больше рассердил Маккорна. Правда, он не донес на Гайрстона,— он терпеть не мог полицейских; но он рисовал себе картину: начинается война, Гайрстон пытается удрать, вот здесь-то Маккорн его пристрелит...

Он сказал жене:

— Когда начнется война, первым делом нужно будет расправиться с красными. От Гайрстона останется мокрое место.

— Ты с ума сошел, Джим! Ты понимаешь, что ты говоришь?.. Не дай бог, чтобы началась война! Красные первым делом сбросят на нас бомбу...

Маккорн задумался. Конечно, война — поганая вещь. Он помнит развалины Магдебурга. Ничего нет хорошего в том, что на Нью-Йорк упадет бомба, да еще не одна. Джека убили. Могут убить и меня, очень просто. Одно дело, когда человек умирает у себя дома, другое,— когда ему всаживают в живот кусок железа. Маккорн это понимает лучше, чем Пегги, воевал-то он. Но что тут поделаешь, когда красным наплевать на все? Если ты знаешь, что завтра они на тебя полезут, лучше уж сегодня полезть на них, легче будет справиться. Смидл — индюк, но он оказался прав.

Как-то Маккорн встретил Дуббельта, они зашли в бар, выпили. Маккорн, разумеется, завел разговор о Смидле. Дуббельт спокойно ответил:

— Они это часто делают.

— Это пакость. Придется, значит, воевать.

Дуббельт кивнул головой. Они посидели молча. Потом Дуббельт сказал:

— Я знаю, что ты — смелый парень, главное, ты — настоящий американец. Почему бы тебе не поговорить с Эндерсом? Ты — бывший фронтовик, офицер, если ты не пойдешь, на кого тогда рассчитывать? Я знаю, что мне ты

не веришь, ты думаешь, что я работаю в полиции, а я этих ищеек ненавижу. Но дело не во мне... Поговори с Эндерсом, он провоевал всю войну, два раза был ранен. Теперь ему приходится собирать объявления, он зарабатывает гроши и только потому, что он — честный человек. У него там хорошие ребята... Поговори с Эндерсом, в такое время хуже всего быть одному.

Маккорн ничего не ответил. Дуббельту он не верил: служит он в полиции или не служит, этого я не знаю, но он похож на матерого сыщика, как я похож на Джима Маккорна. Конечно, это мошенник, а сказал он правду: одному теперь невесело. Может быть, действительно пойти к Эндерсу? Про него говорят, что он скандалист, но смелый парень. Только что он мне сможет сказать? Что красные — звери? Это я и без него знаю. Лучше пойду в «Эльдорадо», выпью стаканчик.

Неделю спустя он все же пошел к Эндерсу. Они поговорили о том о сем, а потом Эндерс сказал:

— Вот вы хороните разных бездельников, это профессия как профессия. Мне приходится собирать объявления у таких мерзавцев, что я думаю — хоть бы вы их скорее похоронили. Но вы — капитан, это большое звание, вы знаете военное дело. Вам недолго ждать: война может начаться в любой день. Никто даже не заметит...

— Как же можно такое не заметить? Будут кричать в конгрессе, объявят в газетах, по радио, призовут...

— Почему вы считаете, что третья мировая война начнется, как начинались прежние войны? Все может произойти по-другому. Где-нибудь на Балканах или в Корее. Нужно быть готовым ко всему.

— А я уж давно готов...

— Скажите мне прямо — вы хотите оказаться среди первых?

Маккорн выругался:

— Вот подлецы, так и не дали передохнуть! А если вы меня спрашиваете, согласен ли я, я вам отвечу, что я не красный, не еврей, не негр, а настоящий американец. Если нужно, я пойду хоть сейчас...

Эндерс крепко пожал его руку.

Потом Маккорн подумал: почему я должен быть среди первых? Я понимаю, что откладывать глупо, будет еще

хуже, но если воевать, так уже всем... А впрочем, не все ли равно, когда меня стукнут — на месяц раньше или на месяц позже? Может быть, и выкарабкаюсь. Буду пить, танцовать с девчонками, кричать. На войне то хорошо, что, пока ты жив, кричи, сколько тебе вздумается...

Маккорн пошел в «Эльдорадо», там безногий тапер барабанил на пианино до трех часов ночи. Ноги он потерял на острове, когда воевал против японцев. Наверно, ему тоже тошно, думал Маккорн, поэтому он так лупит по клавишам, что кажется — лопнут струны. Это хорошо, когда много шуму,— не думаешь. Сегодня позвонил доктор Грин, сказал, что Смитс умирает. Завтра утром зайду — нужно составить смету. Смитса будут хоронить по первому разряду, это большой мошенник. Сейчас я выпью еще виски... Безногий играет песенку из фильма «Роковая ошибка». Глупо, но смешно...

Маккорн громко запел:

Говорит она ему:
«Ты целуешь почему?
Ты не тот, и я не та.
Тру-ту-ту и тра-та-та».

Меня похоронят без сметы, зароют где-нибудь у чорта на куличках — в Болгарии или в Корее. В общем пакость. Но я все-таки настоящий американец, я не позволю красным наводить свои порядки, я их разнесу!..

Тапер вдруг замолк. Маккорн крикнул:

— Играй, чорт бы тебя побрал! Я тебе дам десять долларов. Я сегодня выиграл кусок хорошего железа в пузо.

Он швырнул таперу деньги, тот полез подбирать и долго стучал деревяшками. А Маккорн пел:

Он себе стреляет в лоб,
Сам ложится в пышный гроб:
«Принимай меня, земля!
Тру-лю-лю и тра-ля-ля».

64

Рихтер наслаждался почетом, деньгами и ласками пухленькой модистки, которая говорила своим подругам: «Я предпочла бы обыкновенного коммерсанта, Курт не скуп, но у меня спокойная натура, а он — типичный аван-

тюрист». Рихтер понимал, что занимается рискованным делом; порой он тосковал о рабочем столе с карандашами, с линейками, о Гильде, о тихих, скучных вечерах, когда он, позевывая, разглядывал старые комплекты «Берлинер иллюстрирте», однако он вбил себе в голову, что он — авантюрист, и убедил в этом не только свою модистку, но и сотню неудачников, которые записались в созданную им «национал-трудовую имперскую партию». На собраниях Рихтер говорил путано, но с жаром призывал отомстить русским, вернуть потерянные земли, заставить американцев признать за Германией место великой державы. Его приверженцы прежде были нацистами, некоторые служили в эсэсовских частях; выступая перед ними, Рихтер невольно припоминал былые идеи, даже словечки, ругал «метисов», «плутократов», повторял афоризмы покойного Марабу о том, что «обреченное поколение обручилось со смертью», что «Германия была и будет единственной». С собрания он уходил пешком, а убедившись, что никого из его адептов поблизости нет, ехал в ночной ресторан, где среди грохота джаза и женского визга забывал про свою диковинную миссию.

Он сочинил манифест партии, хотел показать его Ширке, но майор был в Париже, пришлось взять ответственность на себя. Две недели спустя Вейгль сказал: «Майор вернулся, манифест он читал и очень тобой доволен». Рихтер почувствовал, что крепко стоит на земле, и крикнул бывшему лейтенанту, записавшемуся в партию: «Прошу помнить, что я — председатель»...

Когда Рихтеру объявили, что американцы запретили «национал-трудовую имперскую партию» и что полиции приказано расследовать, чем он занимается во Франкфурте, он подумал, что это — недоразумение. Он побежал к Вейглю; тот выругал американцев и полицию, успокоил Рихтера («майору достаточно сказать одно слово») и попросил подождать до завтра. Рихтер провел тревожную ночь, прислушиваясь к гудению лифта,— ему казалось, что его сейчас схватят. Утром он пошел в магазин Вейгля. Вейгль долго объяснял какой-то даме, что гладиолусы хороши для групповых посадок, а нарциссы выигрывают в рабатках. Наконец дама ушла.

— Что он сказал? — спросил Рихтер.

— Майор сказал, что не хочет вмешиваться. У американцев серьезные резоны... Кстати, я попрошу тебя сюда не ходить, это опасно. Да и на квартиру не приходи. Мне неприятно тебе это говорить, но таковы обстоятельства...

Рихтер понял: наверно, Смидл. Никогда он мне не простит, что я от него удрал. Значит, мне крышка.

Он напился, пошел к своей модистке и весь вечер проклинал Смидла. Девушка, зевая, спросила:

— Да кто он, этот Смидл?

Он мрачно на нее посмотрел:

— Ты хочешь знать, кто он? Злодей.

Рихтер пошел в «союз бывших фронтовиков», но к Ширке его не пропустили. Вейгль его выгнал. Дважды Рихтера вызывали в полицию, спрашивали, что он делал в красной зоне и при каких обстоятельствах оттуда выехал. Он больше не сомневался: его оговорил Смидл. Рихтер написал Ширке душераздирающее письмо, умолял защитить его от американского журналиста. Секретарь сказал, что письмо передано майору, но ответа Рихтер не получил.

Вскоре после возвращения из Парижа Ширке беседовал с генералом Даусом. Генерал был в отвратительном настроении: ему надоело торговаться с немцами, надоели протесты французов, лицемерие лейбористов, бесконечные дебаты в Бонне. Виноватым оказывается он, генерал Даус. В Вашингтоне не хотят понять, что за осиное гнездо эта поганая Европа...

Когда Ширке сказал, что во Франции многие саботируют план совместной обороны Западной Европы, генерал вдруг рассвирепел:

— Нечего кивать на французов! Вы забываете, что немцы восстановили против себя всех. Поглядите лучше, что делается здесь. «Союз бывших фронтовиков» прикрывает проходимцев, там натравливают людей на нас. Я оказал вам доверие, несмотря на ваше прошлое, и вы дали мне слово офицера, что будете честно работать. Хорошо ваше слово! Я убежден, что в вашем союзе немало красных. Мне осточертели разговоры о том, что генерал Шпейдель сидит в тюрьме. Да эта тюрьма — санаторий. Вы торгуетесь, как на базаре. Мы наберем солдат и без вас. А ваши генералы — недорогой товар, это битые генералы, господин Ширке.

Поглядев на побагровевшее лицо генерала, Ширке подумал: могут разогнать союз. Тогда и меня посадят... В общем хозяева здесь — они. Конечно, через год или два они заговорят по-другому: без немцев им не обойтись. Но пока что нужно лавировать. И Ширке примирительно сказал:

— Я слежу, чтобы «союз фронтовиков» лойяльно работал с вами. Мы знаем, что без Америки Германия никогда не возродится. Вы можете увидеть в зале союза ваш портрет... Вы правы в одном: среди бывших фронтовиков имеются люди, которые ничего не поняли. Скажите мне, господин генерал, почему вы терпите деятельность ничтожной группы, которая называет себя «национал-трудовой имперской партией»? Во главе ее стоит некто Рихтер. Он выдает себя за известного архитектора и так искусно врет, что вначале даже я ему поверил... Это человек с темным прошлым, четыре года он был у красных, швыряет деньгами, вполне возможно, что деньги он получил от Ульбрихта. А полиция смотрит на это сквозь пальцы. Вы не хотите освободить генерала Шпейделя. В чем его вина? Он воевал против красных, подчинялся военной дисциплине, и только. А такой прощелыга, как Рихтер, делает все, что хочет.

Генерал Даус успел несколько отойти, все же он ответил с досадой:

— Генерал Шпейдель осужден, как военный преступник. Он бесчинствовал, между прочим, не в России, а в Греции... Что касается Рихтера, то я этим займусь. А вам я советую подумать над тем, что я сказал. Мало повесить мой портрет, я не кинозвезда, этим меня вы не купите. Нужно честно с нами сотрудничать. Понятно?

Рихтер пропил остатки денег, полученных от Ширке. Его допрашивали, взяли подписку о невыезде. Он бросил свою квартиру, продал костюм из шотландского сукна, американские ботинки. В старом пиджаке он нашел документ, который купил в Берлине, и снова стал уроженцем Кенигсберга Иоганном Заксом. Он отогревался в маленьких пивных, спал в ночлежках и пугливо озирался, проходя по улицам: искал глазами Смидла. К политике он охладел, газет не читал и не знал о злоключениях американского журналиста в Праге. Жил он тем, что перепа-

дало: таскал кули, расклеивал афиши, иногда протягивал руку за милостыней; он упал так же быстро, как вознесся, и два месяца славы казались ему глупым сном. Наконец он нашел более или менее постоянную работу: разбирали развалины барского особняка на тихой улице. Рихтер с усмешкой думал: если бы кто-нибудь знал, что я — архитектор, что я построил дом для генерала Габлера.

Он уже перестал думать о Смидле и вдруг увидел его: Смидл стоял рядом. Рихтер поспешно отвернулся, но американец его узнал.

— Здравствуйте, господин Рихтер.

Рихтер в ужасе пробормотал:

— Вы ошиблись. Я Иоганн Закс. Я не знаю никакого Рихтера.

Смидл был в чудесном настроении: утром его принял генерал Даус; восхищался его смелостью, сказал, что после всего пережитого ему необходимо отдохнуть. Он решил, что поедет на месяц в Америку. Сенатор, видимо, долго не протянет, так сказал Даус. Нужно поговорить о «Трансоке». Да и неплохо после всего пережитого покейфовать немного в Джексоне... День был хороший, весенний. Смидл пообедал с одним французом, они изрядно выпили. Рихтер рассмешил Смидла: оделся, как рабочий, и таскает камни, наверно у красных так полагается — «демократия».... интересно, почему он все-таки удрал из Берлина? Никогда не поверю, чтобы он испугался меня. Скорей это любовная история, Гильда рассказывала, что он влюбчив, как мартовский кот...

Смидл дружелюбно сказал:

— Перестаньте дурить. Расскажите лучше, как поживает ваша супруга.

— У меня нет никакой супруги. Я же вам сказал, что я не Рихтер.

— А кто строит этот дом? Может быть, вы скажете, что вы не архитектор, а булочник? Бросьте ломать комедию! Знаете, что мне не нравится? Дурацкий маскарад. Почему вы сами таскаете камни? Здесь не красная зона... А как вы сюда попали?

Рихтер ничего не мог ответить. Он понимал, что погиб. Он стоял на тачке и казался на голову выше Смидла, но у него был настолько жалкий вид, что Смидл оконча-

тельно развеселился. Этот болван боится меня, как чумы. Смидл решил доконать Рихтера:

— А ну-ка, покажите ваши документы...

Он засмеялся. Рихтер поглядел кругом: никого нет. Тогда он схватил камень и ударил Смидла по голове. Он бросился бежать, ему казалось, что американец гонится за ним. Он добежал до набережной и залез в подвал разрушенного дома. Там он просидел на корточках до ночи. Пискнула крыса. Рихтер обхватил голову руками и громко заплакал.

Горничная, прогуливая собачонку, увидела на тротуаре человека: он лежал на спине; ей показалось, что у него голова в крови, и она вскрикнула. Прибежал рабочий, сказал: «Парень перехватил...» Он облил пьяницу водой. Горничная обрадовалась: «Морщится, значит живой...» Приехала карета скорой помощи, врач посмотрел на Смидла и сказал: «Это дело полиции...»

Час спустя генералу Даусу доложили о преступлении. Повидимому, Смидла убил строительный рабочий Иоганн Закс, который успел скрыться. Генерал был вне себя: что скажут в Вашингтоне? Такого здесь еще не было... Ясно, что Смидла убили красные, это месть за Прагу. Но какая наглость — в центре города, в пять часов дня!.. Жалко Смидла, еще утром он сидел в этом кабинете, смеялся, рассказывал о пражских застенках, строил планы. Это был на редкость приятный человек, общительный, смелый. И вот его нет... Так может случиться с каждым, выйду отсюда — и кто-нибудь выстрелит. Говорят, «холодная война». А Смидла все-таки убили...

Полиция напрасно обыскала все притоны: Иоганна Закса не нашли. Уверяли, что ему удалось перейти в красную зону. Какая-то проститутка рассказывала, что убийца приходил к ней, показывал пачку долларов. Бывший эсэсовец Штрумп говорил, будто Рихтер и Закс — одно и то же лицо; он как-то проходил по улице, где разбирали дом, и был поражен сходством между председателем «национал-трудовой партии» и одним из рабочих. Штрумп добавлял, что Рихтер хотел наказать американцев за то, что они запретили его партию, но никто не принимал этих слов всерьез — Штрумп любил фантазировать, два года назад он рассказывал, что встретил Гитлера

на пристани в Кобленце и фюрер спокойно пил минеральную воду. Газеты связывали убийство Смидла с его разоблачениями, «Франкфюртер алльгемейне цейтунг» писала: «Когда же будет положен конец попыткам красных расшатать основы федеральной республики?»

Сенатору Лоу осторожно сообщили о происшедшем: врач опасался нового удара. Сенатор молча прошел к себе и долго глядел на портрет Смидла. Бедный мальчик, он погиб, как герой, умер за Америку! Грех роптать, но это несправедливо: малодушные богатеют, веселятся, а такой кристально чистый человек, как Смидл, падает от руки красного... Теперь у меня никого нет. О Мэри я не хочу думать. Костер мне откровенно ответил, когда я спросил, чем она занимается,— сидит в кафе, ругает Америку и, не стесняясь, танцует с черными. Страшно подумать, что это моя дочь!.. Я вложил душу в Смидла, и вот всевышний призвал его к себе. Кому я смогу доверить «Трансок»? Мои силы на исходе, а Нивель — ничтожество и француз.

Несколько успокоившись, сенатор поехал к Робертсу. Он думал, что полковник убит известием, но Робертс равнодушно сказал:

— Да, жаль Смидла, он был способным человеком, хотя в Праге он струсил.

Лоу вышел из себя:

— Пожалуйста, не обижайтесь, но так может говорить только красный. Вы великолепно знаете, что его пытали. Ему впрыснули в вену...

Робертс поспешил его успокоить:

— Знаю, знаю. Не будем спорить, вам нельзя волноваться.

— Я боюсь, что мне недолго осталось волноваться,— сказал, помолчав, Лоу.— Кто же сможет руководить «Трансоком» после моей смерти?

— Почему вы так мрачно настроены? Вы еще переживете всех нас. А «Трансок» свое сделал. После пражской истории по ту сторону занавеса никого от агентства не впустят, а для Западной Европы у нас достаточно других каналов. Я вам советую — поезжайте в Миссисипи, приподымите людей, а то пропаганда красных проникает и туда... К тому же, если вы проведете месяц дома, вы выиграете десять лет жизни, я в этом убежден.

— Мое здоровье — неинтересный предмет для разговора. Но что я буду делать в Джексоне без Смидла? Ричмонд-младший — смелый парень, но ему нужно осмотреться, он слишком молод... Вы не можете себе представить, какое было сердце у майора! Я вам скажу откровенно, без Смидла нет Миссисипи...

— Да, это был способный человек,— вежливо подтвердил Робертс и заторопился: через час совещание представителей союзных разведок.

Мэри сидела в кафе «Дом» и пила коньяк. Ее приятели, художники, говорили о том, что торговцы картинами прогорают один за другим, на последнем аукционе даже Пикабия не дотянул до цены приличного костюма, любители перестали быть любителями, они набрасываются на американские акции, а живописью никто не интересуется. Один из художников, развернув вечернюю газету, зевнул:

— Каждый день одно и то же: переговоры, базы, забастовки, убийства. Убили американского журналиста Смидла, и об этом целая страница. Ну кому это интересно?.. Убили так убили. Надоело!..

Мэри вырвала из его рук газету. Ее лицо покрылось красными пятнами, она громко засмеялась:

— Дайте мне коньяку. Смидла все-таки хлопнули...

— Ну и что из этого?..

— Я сегодня буду пить до утра... Когда-то я хотела быть гениальной. Потом хотела, чтобы меня кто-нибудь полюбил. Все это глупости. В жизни очень мало хорошего, но сейчас я хочу выпить. Говорят, что есть справедливость, это тоже глупости. Но все-таки хорошо, что Смидла хлопнули. Дайте мне еще коньяку.

65

Вспомнив разговор с Лоу, Робертс усмехнулся: конечно, это честный человек, но большего дурака я не встречал. Подумать, что он поверил в басни Смидла! Майор был трусом и пьяницей. Вполне возможно, что он работал на две стороны и что красные его убрали, когда он засыпался. Все-таки Америка — страна чудес! Мне

приходится опираться или на мошенников, или на болванов. Люди с головой не хотят ничем поступиться. Они знают, что завтра война, но сегодня им некогда об этом подумать: они делают доллары. Я не возражаю — пусть пользуются, это естественно, только красные могут этим возмущаться. Но иногда нужно пойти на некоторые жертвы. Деловые люди подходят к нашей работе не по-деловому, забывают, что грошовая экономия может обойтись стране слишком дорого. Вчера Биндл мне доказывал, что бюджет неслыханно разбух, что мы изменяем принципам Америки, что государство превращается в «ненасытную пьявку». Это просвещенный человек, директор крупного банка, но он не понимает серьезности положения. Америка для него — дойная корова, и только. Если дать красным десять лет сроку, такой Биндл может проститься с банком, в лучшем случае он будет вахтером. А сколько беспринципных рвачей! Теперь, когда необходимо убедить среднего американца, что атомная бомба страшна не нам, а русским, один прохвост рисует развалины Нью-Йорка, другой рекламирует патентованное лекарство против иррадиации, третий строит бар-убежище и оповещает об этом сорок восемь штатов. Огромная страна, богатая талантами, ей недостает одного — руководящей идеи.

Мысли Робертса прервал телефонный звонок: его просит к себе начальник. Робертс захватил с собой югославскую папку. Он все больше и больше склонялся к балканскому варианту. Конечно, Германия — сила, но благоприятный момент упущен: во время блокады Берлина настроение было куда лучше. Потом немцы чересчур цивилизованы, они предпочитают свой мещанский уют лесам Польши или Белоруссии. Гитлеру удалось их так взвинтить, что они полезли к чорту на рога. Повторить это вряд ли удастся. Немцы будут воевать, и неплохо, у них традиции, дисциплина, но это второй эшелон. А для разведки лучше Тито: у него свои счеты с красными, он пойдет не за страх, а за совесть...

Робертс начал докладывать полковнику Доуневэну:

— Тайлер подошел к делу формально, как будто Югославия — это Португалия или Норвегия. На пограничные инциденты отпущена мизерная сумма, особенно если

учесть протяженность границ и огромные возможности. Ряд расходов вообще не указан: агитация среди населения, установка радиостанции, подарки руководству. Мы не можем ограничиться одной поставкой вооружения, нужно их политически направлять. Я полагаю...

Доуневэн прервал его:

— Вам не кажется, что вы злоупотребляете местоимением «я»? Право же, скромность — не последняя из добродетелей. Я проверю насчет Югославии, вероятно придется провести дополнительные ассигновки. Но я вас вызвал по другому поводу: вы совершенно забросили Азию. Конечно, Макартур смотрит на все со своей колокольни. У него, кстати, ваша слабость — он считает себя непогрешимым, правда ему это куда простительней... Но мы все-таки не собираемся уходить из Азии, даже если вы поднесете нам на блюде десять Югославий. Республиканцы нас обвиняют в бездействии, и на этот раз они правы. Я вас попрошу заняться Китаем и Кореей...

— Но мы не можем так разбрасываться,— попробовал возразить Робертс.— Нужно остановиться на чем-нибудь одном.

— Вы читали статью Доулиттла? Имейте в виду, что Джонсон с нею согласен.

— Я думал, что Джонсон против азиатского варианта...

— Вы вообще слишком много думаете, полковник. У вас есть ваши функции. Постарайтесь выполнять то, что вам говорят старшие...

Выйдя из кабинета Доуневэна, Робертс сохранял полное спокойствие, учтиво поздоровался с машинистками. Он был только очень бледен, и одна машинистка шепнула другой: «Я ему не завидую. Полковник Доуневэн сегодня в отвратительном настроении, он заставил меня дважды переписать письмо, хотя не было ни одной описки...»

Робертс долго сидел в оцепенении, не отвечал на звонки, не заметил, как секретарь принес ему бумаги на подпись. Никогда никто со мной так не разговаривал. Конечно, он мой начальник, но я не рядовой, я тоже полковник. Со мной советовались люди поважнее Доуневэна.

Несколько успокоившись, Робертс подумал: ясно, что Доуневэна разругал Джонсон. Вот он и выместил на мне... Робертс даже развеселился, представив себе, как Джон-

сон кричал на Доуневэна: «Вы слишком много рассуждаете, полковник...» Смешно, что и Джонсон не делает погоды. Кто же командует? Президент прислушивается к любому слову. Один говорит о Берлине, другой о Балканах, третий о Корее. Причем рассуждают люди, плохо осведомленные. Все построено на словечках, на догадках: Гарриман советует... Даллес возражает... Маршалл настаивает... Вчера говорили одно, сегодня другое, завтра скажут третье. Вылезает какой-нибудь Биндл и судит обо всем с точки зрения своего банка. Разве они способны заглянуть в будущее? Им важен баланс этого года...

Робертс заставил себя заняться текущими делами. Он был упрям и начал с Югославии. Скотт пишет, что работе сильно мешают предрассудки: люди с детства привыкли смотреть на русских как на освободителей. Робертс продиктовал ответ Скотту: он может использовать средства, обозначенные как «различные расходы». Нужно распространить следующую версию: русские во время последней войны палец о палец не ударили, чтобы помочь югославам, они пришли на все готовое, когда немцы уже не могли оказать серьезного сопротивления.

Потом Робертс перешел к Азии, он составил две телеграммы: вице-консулу Никольсону в Гонконг и майору Керзону в Сеул. Никольсону он рекомендовал подготовить переброску легкого вооружения самолетами. Лучше всего начать с юга. Необходимо связаться с людьми и наметить пункты. Майору Керзону Робертс сообщил, что пока следует ограничиться летучими группами. Переход через 38-ю параллель особых трудностей не представляет, красные легко переправляют на юг своих агитаторов. Летучие группы необходимо снабдить соответствующей техникой. Желательно в марте ликвидировать одного из членов северного правительства, это произведет благоприятное впечатление как в Сеуле, так и в Америке. Помимо этого он запросил майора Керзона, имеет ли смысл напечатать деньги северного правительства, и попросил срочно дать ответ.

Работая, он не думал о нанесенной ему обиде, но когда он вышел на улицу, он вспомнил полковника Доуневэна и снова побледнел. Мне сорок восемь лет, а я сидел перед ним, как провинившийся мальчишка...

Был конец февраля, но все уже говорило о весне: и теплый вечер, и куст, зазеленевший перед домом Робертса, и сладкий запах жонкилий в гостиной. За обедом Робертс молчал. Жена и Элла часто видели его озабоченным. Они перешептывались. Они всегда это делали, и Робертсу это казалось естественным, но сейчас ему стало обидно: почему они не говорят громко? Неужели он такой деспот, что его нужно бояться? Они могли бы его развлечь, а они шепчутся, как заговорщицы...

Элла после обеда ушла в свою комнату. Жена в гостиной вязала. Робертс развернул газету, но не читал: продолжал думать о разговоре с Доуневэном. Вдруг он громко засмеялся.

— Ты прочитал что-нибудь смешное? — спросила жена.

Он вздрогнул и не ответил. Засмеялся он своей мысли: семь лет как я этим занимаюсь, думал, что провожу свою линию. Ерунда! Я такая же пешка, как Лоу. Все мы пешки. А короля нет, или, вернее, королей много. Они богаче меня, значит сильнее. Если я повторяю то, что они сказали, они мне аплодируют: «Оригинальнейшая идея, вы всегда что-то придумаете...» А если попадаю впросак — секут. Вот сегодня высекли... С этим еще можно было бы примириться, если бы они действительно проводили свой план. Но у них нет ни руководящей идеи, ни решимости, ничего. Противно!..

Он отложил газету, сказал жене:

— Чудесный вечер сегодня... Где ты достала эти цветы? Приятно пахнут...

Госпожа Робертс удивилась: он никогда не разговаривал о погоде, о цветах.

— Я очень рада, что они тебе нравятся. Это жонкильи.

Он встал, подошел к окну, постоял, снова сел в кресло и непривычно ласково сказал жене:

— Знаешь, Элизабет, мне опостылела моя работа. Нервы не выдерживают... Что ты скажешь, если я переменю все?.. Чарли мне давно предлагал пост администратора «Колумбия бэнк». Это куда спокойней. Мне все-таки не тридцать лет... Потом я смогу больше бывать с тобой, с Эллочкой...

Он не понял, почему она заплакала, начал ее утешать:

— Ты не думай, что я болен. Просто устал. Да и надоело...

— Ты не представляешь себе, как я буду счастлива! Я ведь тебя очень мало вижу... Потом они доводят тебя до такого состояния, что ты не слышишь, когда с тобой разговаривают... Элла хотела за обедом спросить, не болит ли у тебя голова, и побоялась...

Он смутился:

— Это все оттого, что у меня много неприятностей... Видит бог, я хотел кое-что сделать. Не для себя — для Америки. Но один в поле не воин. Иногда мне кажется, что это не люди, а пауки в банке. Не хочу об этом думать... В воскресенье мы поедем на моторной лодке, возьмем Эллочку. Можно осмотреть дом Лонгфелло, она там еще не была. Красивые у него поэмы!.. Помнишь «Псалом жизни»?.. Зачем я искал счастья в больших идеях, когда у меня ты?..

Он ее поцеловал. Она давно забыла о ласках мужа и покраснела, как девушка.

Утром, как всегда, он поехал на работу. Вспомнив вчерашний вечер, он поморщился: можно подумать, что я выпил... Конечно, подать рапорт об увольнении — это самое легкое. А что дальше?.. Делать доллары или нежничать с Элизабет? Нет, я для этого не гожусь. Самое страшное — выпасть из игры. Со мной считаются, потому что я в Пентагоне. Доуневэн плохо воспитан, я это давно знаю. Но я служу не ему — Америке. Если мы не раздавим красных, мы все погибнем — и я, и Доуневэн, и Джонсон. Нужно было начать в сорок шестом, прежде чем они успели оправиться... Теперь, конечно, говорить об этом поздно, лучше подумать о будущем. Никто не спорит, Китай — большая гиря на весах, но решится все в Европе. Это понимает и Доулиттл, просто он хочет перетянуть миллион голосов к республиканцам. Глупости, что я одинок, со мной миллионы американцев. Но не все еще понимают серьезность положения. Я должен работать — терпеливо, изо дня в день. Есть люди, которые жаждут эффектных ролей: им нужно произносить красивые речи, прикидываться невинными. Они, как я, хотят

уничтожить красных, а говорят про «терпимость», про «соглашение». Что же, это полезно: пусть все видят, что мы хотим мира, а красные не соглашаются. Я понимаю, что Маршалл показывает белые перчатки. Но кто-нибудь должен проводить «теорию комариного укуса», подготовлять «балканский вариант», убирать красных в Праге или в Пхеньяне. Завтра этим займутся все, это будет называться патриотизмом, гражданским долгом, защитой свободы. А сегодня пусть этим занимается Робертс, и пусть его щелкают по носу, как приготовишку. Он это стерпит. И победит он.

Он просмотрел телеграммы и дополнительно сообщил майору Керзону в Сеул: желательно взорвать химический комбинат или университет в Пхеньяне. Это, конечно, не отменяет вчерашних указаний, касающихся ликвидации одного из министров.

66

Когда Минаев вернулся, ему не дали покоя: приходили друзья, соседи, сослуживцы, подруги Оли, всем хотелось посмотреть на человека, который просидел восемь месяцев в американской тюрьме. Его упросили выступить с докладом в клубе министерства. Потом пришли студенты юридического института: «Мы объявили вечер с вашим участием. Молодые поэты почитают стихи о мире, а вы поделитесь вашими впечатлениями...»

Мария Михайловна огорчалась:

— Митеньке отдохнуть нужно, а его все время теребят...

Минаев ее успокаивал:

— Да я, мамуля, не устал; сидеть в тюрьме — это скорее отдых, сплошной мертвый час. Скучновато, но врачи говорят, что от скуки толстеют. Ты лучше о себе подумай. Я вчера слышал, когда ты легла,— два часа было...

Мария Михайловна оправдывалась:

— Я у Анны Борисовны засиделась. Она Гришу вспомнила, расстроилась. Не могла же я ее одну оставить!..

Люди, приходившие к Минаеву, ожидали услышать

нечто потрясающее, а Минаев рассказывал обо всем шутливо, смешил рассказом о том, как в его пиджак зашили фальшивку:

— Портной, по-моему,— большой дурак. Ему что ни скажи, он на все восклицает: «О-о-о!..» Вот мастер у него, тот, что пуговку пришил,— это личность. Через пять лет сенатором станет... Длинный нос, на кончике капля, десять волосиков зачесаны через всю голову, чтобы лысина не блестела, а глаза бегают. Когда он сказал мне, чтобы я все из карманов вынул, я подумал: солидная фирма, понимает, что не сможет удержаться, вытащит из бумажника двадцать долларов, и сам от себя страхуется. А он, оказывается, совсем о другом думал... Я когда прокурору сказал, что портные у них — доки, он раздулся, как пузырь. Я перепугался — сейчас его удар хватит, скажут, новое преступление «красного»,— прокурора прикончил. Вы себе вообразите: большущий боров, но в рубашке, с галстуком, все, как полагается, весит по меньшей мере семь пудов, и вот кто действительно красный, даже пунцовый, губы огромные, он их выпячивает, а выйдет из себя — плюется...

Павликов, сотрудник министерства внешней торговли, спросил Минаева:

— Но ты сказал прокурору, что это политическая ошибка?

— Говорил... Это его не трогало — они ведь политграмоты не проходят. А вот чего он абсолютно не выносил — это когда я заговаривал о Федеральном бюро. Я ему сказал: «Все-таки сочинили ваши глупо, шить шьют, а писать не умеют...» Здесь-то он фиолетовым стал и начал извергать фонтаны... Да ты не смотри так... Я на судебном разбирательстве ясно сказал, что это грубая политическая махинация — хотят натравить американцев на нас. Громко сказал, чтобы вся публика слышала... Только, понимаешь, мне героизм противопоказан. Из министерства меня не отпустят... Врач, он летит ночью на самолете к умирающему, делает замечательную операцию — садись, пиши роман. Или инженер — спасает строительство от разбушевавшейся стихии, ливень, гроза, люди далеко, а он не теряется. Второй роман. Я уж не говорю о летчиках или о пограничниках, но возьми дипло-

мата: вручает ноты протеста, произносит речи в ООН, весь мир прислушивается. А что делает юрисконсульт торгпредства? Составляет договоры, никакой героики. Ты не думай, что я жалуюсь, напротив — это занятие по мне. У меня и характер такой... негероический.

Оля, присутствовавшая при разговоре, вмешалась:

— Про характер глупо... Я ведь тебя видала на фронте. Рассказывать про мужа как-то неудобно... но зачем ты говоришь неправду?

Павликов ее поддержал:

— Одно то, как ты держался на суде...

Минаев не дал ему договорить:

— А что тут особенного? Обвиняют не только меня, весь наш Союз, и я что, молчать буду? Да каждый советский человек поступил бы так же... Причем попал я случайно — подвела страсть к франтовству, идея синего костюма. Так что ничего здесь нет героического...

Только раз Минаев изменил привычному тону. Его пригласили на большой завод — рассказать рабочим об Америке. Вначале он говорил, как всегда; люди смеялись, охали: ну и мошенники!.. Потом что-то взволновало Минаева, может быть лица рабочих, может быть обстановка (он выступал в цехе во время обеденного перерыва), но вдруг он заговорил с несвойственным ему волнением:

— Черная ночь, такая ночь, что не скажешь! Огни реклам, свет — и темно, очень темно... Человек — всюду человек, есть там хорошие люди и плохие, но жизни там нет. Много вещей, вещи бросаются в глаза — машины, краны, холодильники, утюги, все вертится, движется, несется, а человеку не на кого поглядеть, некого обнять: он в пустом мире... Был я в театре на Бродвее, пели негры, замечательно пели, аплодировали им, вызывали. Публика — белые... Потом меня познакомили с одним певцом, я его хотел пригласить в кафе — выпить чашку кофе. Он покачал головой: «Мне нельзя — я ведь черный...» Ну что он должен чувствовать, когда поет перед белыми?.. Я нужду знаю, были у нас трудные годы. Но одно дело, когда всем плохо, а там не так... Роскошные магазины, дома с комфортом, люди не знают, на что еще потратить деньги. А мне показали ночлежку на Бауэри,

безработные спят сидя, перед ними веревка вместо стола, могут облокотиться... Прошло время, веревку спускают — и спящие падают на пол. Я вас спрашиваю: можно ли представить себе большее издевательство?.. Мне один американский инженер сказал: «У нас теперь изготовляют машины, которые думают, как человек. Мы вас опередили на сто лет». Я ему тогда ответил: «Может быть, вы и делаете машины, способные сойти за людей, но человека вы обобрали, отняли у него сознание, сердце, совесть, сделали из него машину. Десять тысяч лет назад у нас жили люди, еще не осознавшие, что такое человек. Значит, вы отстали от нас на десять тысяч лет». Вот и все, товарищи. Простите, что рассказал несвязно. Я обыкновенный советский человек, получил командировку в Америку, там случайно узнал неприятности, о которых я вам рассказал. А кончу другим: большое счастье — быть с настоящими людьми, я это знал и на курганчике возле Сталинграда и в американской тюрьме, когда меня навестил советник нашего посольства товарищ Данилевский, знаю и сейчас — с вами...

Хотя Минаев говорил, что тюрьма была для него домом отдыха, чувствовал он себя плохо, задыхался, ночью не спал. Заметила это Оля и повела его в лечебницу. Врач прописал отдых и ванны. В июле Минаев уехал с Олей в Кисловодск. Они узнали то счастье, о котором ничего нельзя сказать: такое оно полное и так мало в нем событий, даже слов. Минаев как-то сказал Оле:

— Ничего не делаем, а мне кажется, что мы очень заняты — все время глядим друг на друга и радуемся...

Когда Минаев вернулся в Москву, он узнал, что ему предоставляют отдельную квартиру в только что отстроенном доме на Песчаной. Он кинулся к матери:

— Мамуля, поздравляю!..

Мария Михайловна выслушала и сердито ответила:

— А я здесь останусь.

Все ее уговаривали. Анна Борисовна сказала:

— Отдельная квартира — вы подумайте, как вам повезло!.. Да неужели вы с вашими расстанетесь?..

Мария Михайловна отвечала, что переезд — дело трудное, она стара для этого; не хотела сказать, почему огорчена. Минаев сразу догадался:

— Мамуле трудно покинуть ковчег, она ведь капитан...

Мария Михайловна на него накинулась:

— А если и так, что тут плохого? Я в этой квартире всю жизнь прожила. С отцом твоим жила, понимаешь? Здесь меня все знают. Зайду к Шурочке или к Наташе, есть с кем поговорить... А ты подумал, как Анне Борисовне будет одной?.. Я с девочкой Шурочки сколько провозилась, она ходить начала, а я теперь уеду, да еще на Песчаную, за тридевять земель?.. У Лели с мужем ничего хорошего не будет. Нельзя так рано замуж выходить: жизнь вместе прожить — это не то, чтобы на бульваре поцеловаться. Он и стихи напечатал, и на барышень засматривается, и в рестораны ходит. Зачем ему жена, да еще в положении?.. Леля матери стесняется сказать, ко мне бегает... Прямо не знаю, как тут быть...

С большим трудом уговорили Марию Михайловну переехать. На новоселье она пригласила всех обитателей ковчега. Шурочка восхищалась:

— Две комнаты, ванна, кухня!..

Мария Михайловна приговаривала:

— Вы не думайте, что съехала, значит из сердца вон. Я к вам приезжать буду. Митенька мне показал — сначала на метро, потом троллейбусом, уж как-нибудь доберусь...

Это было в сентябре, а месяц спустя Минаев узнал о своем назначении в Пекин. Мария Михайловна руками всплеснула: опять отсылают! Да куда —в Китай... Митенька ходил веселый, говорил, что ему повезло,— с детства он мечтал повидать Китай, а теперь там особенно интересно — американцев прогнали, начинают жить посвоему. Мария Михайловна поехала на старую квартиру: хотела посоветоваться с людьми, которым доверяла, не случится ли с Митенькой плохого. Все ей объясняли, что китайцы победили, они — наши друзья, в Китае Минаеву будет хорошо. Мало-помалу Мария Михайловна успокоилась.

Тяжелее было Оле. Они прожили вместе полгода, и Оля еще сильнее полюбила мужа. Никогда в жизни она не была так счастлива. Когда она приехала из Кисловодска, Мария Михайловна сказала: «Что загорела, вижу...

А ты в зеркало посмотри — глаза у тебя сияют...» Оле трудно было себе представить, что через две недели Минаев уедет, может быть надолго, ей придется опять жить воспоминаниями, перечитывать письма, мечтать о далекой встрече. Минаев спросил ее, не хочет ли она с ним поехать. Она отказалась. Будь это во враждебную страну, поехала бы, чтобы не оставить мужа одного. А в Китае ему будет легко... Конечно, интересно поглядеть, два раза в жизни этого не предложат. Но уехать сейчас нельзя. Она первый год работает, ей оказали доверие — оставили в Москве, направили в хорошую школу — и вдруг она все бросит только потому, что муж уезжает? Нет, тогда она будет презирать себя... И Оля осталась с Марией Михайловной.

Минаев уехал в октябре, а первое письмо они получили перед Новым годом. Оля читала вслух, Мария Михайловна то вздыхала, то смеялась, то бормотала: «Вот сама не увидишь, не узнаешь...» Минаев описывал свои первые впечатления:

«Если в Америке мне казалось, что я попал к молокососам, то здесь вековая мудрость на каждом шагу. Они умеют делать множество диковинных вещей. Я видел дерево из десяти деревьев — они сплелись, вернее — их сплел терпеливый садовник. Был я в опере, играли чудесно, я влюбился в одну молоденькую актрису (Оленька, не ревнуй — она была на сцене, а я в ложе). Потом оказалось, что это старый актер, который исполнял роль девушки. Был в типографии, наборщик бегает вдоль большой стены — это касса, десять тысяч ящиков с различными знаками. Он безошибочно находит нужный ему иероглиф. Большие мастера, любят труд, ценят искусство. Первое впечатление, что ты попал в непонятный мир. Все как будто наоборот — траурный цвет не черный, а белый, суп едят не в начале обеда, а в конце, читают справа налево. В пагодах пьют чай, спят. Статуи святых такие свирепые, что можно ими пугать детей. Музыка очень странная, преобладают барабаны. Вообще странного много, а когда присмотришься, видишь, что люди душевно тебе близкие, сердечные, умные. Глазами я все время удивляюсь, а сердцем нет. Страна большая, но размерами нас не поразишь — я ведь летел от Москвы до

Иркутска, а вот что поражает — это множество людей, каждый вершок земли возделан, поля даже далеко от города — это крохотные садики, прилежно обработанные. В городах непрерывный поток людей, особенно в Шанхае. День и ночь движется человеческая река. Тысячи велосипедистов везут седоков в корзиночках — это местные извозчики. Огромные фабрики, и здесь же рядом делают кувшины, плетут корзины, в каждом доме мастерская и лавчонка. В Шанхае видишь, как вели себя иностранцы, там кварталы концессий отгораживались цепями, а на реке стояли военные корабли — грозили городу пушками. Легко себе представить радость китайцев, когда все это позади. Крестьяне получили землю, это — огромное событие. Я до приезда сюда не имел представления, как они жили. Опишу одну историю. Здесь в деревнях нет кладбищ, каждый должен хоронить на своей земле. Один крестьянин рассказал нашему переводчику, что у него три года назад умер отец, а похоронить негде — своей земли у него не было. Он пошел к помещику, на колени стал, умолял, чтобы тот позволил похоронить отца на своей земле. Помещик сначала отказал, потом продиктовал условия: сколько горемыка должен будет бесплатно на него работать. Теперь рабство кончилось: у крестьян своя земля. Кажется, то, что здесь произошло, после Октября,— самое значительное: изменилось лицо Азии. Я в начале письма писал, что внешне здесь все другое, но в каждом городишке можно увидеть портрет Сталина рядом с Мао Цзе-дуном и столько общего, нашего в разговорах, в дискуссиях, в мечтах, что порой кажется — я у себя дома. Американцев здесь не любят — свежа память, потом они сидят на Тайване, вообще награбили много, до сих пор не оставляют китайцев в покое, содержат банды, сбрасывают оружие с самолетов, посылают диверсантов — из Гонконга проехать просто, даже паспорта не требуется. На прошлой неделе задержали человека, связанного с каким-то американским полковником, он признался, что приехал из Гонконга, получил там две тысячи долларов, должен был организовать покушение на членов правительства. Все это удивительно глупо. Раз они не смогли удержать Китай, когда у них была армия Чан Кай-ши с превосход-

ной американской техникой, что же может сделать кучка людей, да притом наемников, которым вовсе не хочется жертвовать собой? Впрочем, ума от них я не жду. Автор фальшивки, которую мне подсунули, тоже не может похвастать мозгами. Только дураки способны рассчитывать сразить Китай булавочными уколами. Но пусть не удивляются, что их здесь ненавидят. Я был в университете, встретили меня очень хорошо — нас здесь любят, это не слова, а длинная история с подвигами, с жертвами, с кровью. Я разговаривал со студентами, когда приехал один профессор, который знал о моих злоключениях в Америке, он об этом рассказал. Что здесь началось,— этого не могу описать, обнимали, цветы принесли, вечером устроили банкет — тридцать блюд дали, оставили ночевать, а утром повезли в деревню, там крестьяне вышли с флагами, били в барабаны, кричали, что приехал советский человек, который сидел в американской тюрьме,— это двойной аттестат: во-первых, друг, во-вторых, пострадал от американцев. Если бы нью-йоркский прокурор увидел, как меня чествовали, умер бы — ведь посадить Китай он не может...»

В конце письма была приписка: «Оленька, все письмо прочти мамуле, а дальше только для тебя. Думал о тебе, когда летел. Дорога потрясающая — Урал, сибирские реки, осень, все в золоте, Байкал, потом горы, пустыня Гоби, чуть ли не каждый час переставляешь стрелку часов, все меняется, улетел осенью, перелетел через зиму, попал в лето, снег, пески Гоби и Китайская стена, а я все видел твои глаза, их свет, когда ты целуешь. Милая моя Оленька, ну почему я юрист, а не поэт? Я написал бы о тебе книгу, одно стихотворение лучше другого, конечно не напечатали бы, сказали бы — какой это Минаев? Был такой поэт, но давно умер. Потом — почему о любви, тема не ведущая. А любовь к тебе меня ведет, помогает жить, работать. Не придумаю, что еще сказать, слов у меня нет, но любовь есть, ты это помни. Не знаю, скоро ли, но будем вместе и будем снова глядеть друг на друга, молчать, радоваться, Оленька моя, Оля!..»

Оля не расставалась с этим письмом, а приписку перечитывала каждый вечер. Ей было радостно от любви Мити и тревожно. Она себя стыдила: почему нервничаю? На

фронте за него не боялась, а теперь боюсь. Ну, есть там бандиты... Его-то никто не тронет. Он пишет, как китайцы любят наших... Летом он получит отпуск. А если нет, я поеду туда. Но обязательно встретимся. Как он хорошо сказал: «...глядеть друг на друга, молчать и радоваться!»...

Мария Михайловна долго и подробно рассказывала обитателям ковчега, что китайцы — замечательные люди, так Митенька пишет, только суп едят не во-время, а силы у них много, нечего американцам там безобразничать, все равно, что с возу упало, то пропало.

Минаев телеграммой поздравил своих с Новым годом, а в конце февраля Оля получила письмо с корейской маркой:

«В моей жизни произошли изменения — в Пхеньяне юрисконсульт торгпредства заболел дизентерией, потом осложнилось, он человек немолодой, и его отправили в Москву, а меня перевели сюда. Жалко было расставаться с Китаем, я там пробыл всего три месяца, этого мало, чтобы осмотреться. Но там нас было двое, так что могли обойтись и без меня. Вот еще новая страна. Если бы я приехал сюда из Москвы, я бы всему дивился, но здесь есть общее с Китаем. Есть, конечно, и другое. Откровенно скажу — я ничего больше не воспринимаю: слишком много было впечатлений. Растет новый Пхеньян, построили большие дома, как у нас. Живу я в старом корейском доме. Комнаты очень светлые, как веранда, а топят своеобразно — нагревается пол. Работы у меня немного, и я отдыхаю, иногда хожу, смотрю, выезжал за город, иногда сижу у себя, мечтаю. Страна спокойная, приветливая, тихая, так ее и называли сами корейцы: «страна утреннего спокойствия». Соскучился по вас, мне твердо обещали в августе отпуск».

Оля осмотрела конверт, нашла маленькую записку: «Оленька, все время думаю о тебе. До нашей встречи еще шесть месяцев, это ужасно много — сто восемьдесят дней и ночей без тебя, но я просыпаюсь — ты рядом, и засыпаю, обнимая тебя. Даже не знал, что можно так любить. Вот и все».

Мария Михайловна всполошилась:

— Опять его к американцам послали?..

Оленька ее успокаивала:

— Да нет там никаких американцев, там народная республика.

— Оленька, а ты не путаешь? В газете было, что они там войска держат, не хотят к себе уходить...

— Это в Южной Корее, а Митя — в Северной.

— Тебе лучше знать... Только чтобы американцев там не было...

Ночью Оля старалась представить себе далекий город, в котором живет Митя. Ничего не написал, только что пол теплый... Может быть, там уже утро, он ушел на работу. А я хочу его обнять сонного, теплого... Лишь бы ничего с ним не случилось! Если может любовь защитить, пусть защитит...

67

Минаев написал своим правду: он жил теперь спокойно. Приходя с работы домой, он садился к столу, иногда писал, иногда часами сидел в глубокой задумчивости: к нему вернулось давнее желание написать книгу о годах войны. Все, пережитое им в Америке, потускнело, ушло далеко назад, а те дни, когда Осип угрюмо смотрел на карту, испещренную красным карандашом, и связистка Оля повторяла: «Ока, дай Розетку», казались живыми, близкими. Он так и не сказал Оле о задуманной книге: боялся, что если расскажет, не сможет снова писать. У него не было плана; он вспоминал людей, происшествия, свои переживания. Ящик стола был набит листочками с несвязными записями. Вот когда все запишу, тогда начну думать, что с этим делать, говорил себе Минаев. Порой он писал, не отрываясь, до рассвета, порой шагал по комнате и, то улыбаясь, то хмурясь, припоминал прошлое.

Сегодня он вернулся поздно: в клубе был доклад о международном положении, потом показывали фильм, потом он пил чай с Соболевым. Соболев рассказывал, что у корейцев огромные достижения — на хыннамском комбинате результаты поразительные; повсюду много строят; с января ввели всеобщее обучение. Американцы, конечно, не унимаются; недавно задержали группу бандитов, они рассказали, что американский майор приказал им взо-

рвать университет в Пхеньяне. «Конечно, они портят кровь,— сказал Соболев,— но все-таки это мелочь, а в общем жизнь налаживается...» Возвращаясь домой, Минаев думал о будущем: предстоит еще много испытаний. Может быть, это мертвая зыбь после бури, а может быть, поднимается новый шторм?..

Однако, придя к себе и увидев на столе исписанные листы, он сразу забыл все — вернулся в мир, которым жил. Он прочитал последнюю строчку, написанную вчера: «Майор сказал переводчику Кранцу: «Больше вопросов не имею». Тогда все обступили пленного...»

У Кранца была странная внешность — узкое смуглое лицо, большие глаза, очень темные, он походил на бедуина. Девушки на него заглядывались, а он не то был к ним равнодушен, не то прикидывался равнодушным. Мало разговаривал. Но мы с ним как-то просидели всю ночь; он тогда разошелся. Говорили о планах Гитлера, о том, как держатся пленные, потом разговор перешел на поэзию. Я сказал, что люблю Гейне. Он знал почти все его стихи наизусть — и по-немецки и в переводе. Смешно теперь представить себе: блиндаж, мины, снаряды, безобразие, все знают, что немцы на рассвете снова полезут, а Кранц стоит и вдохновенно декламирует «Лирическое интермеццо». Потом он стал читать Лермонтова:

Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, теченье века
Объемлет в краткий миг оно...

Лейтенант Рублев сказал: «Красиво читает, как актер». Позвонили: «Опять лезут...» Рублев выругался: «Паразиты! Послушать не дадут...» Рублева убили на Десне.

Минаев писал:

«Немцу принесли щей. Наверно, он давно не ел, глаза у него блестели, он взял миску несгибавшимися пальцами. Ел он поспешно и громко; все глядели на него, как будто никогда не видели, как человек ест. Потом Рублев сказал Кранцу: «Спроси его, почему они, дураки, сюда залезли? Я вот русский человек, и то я здесь никогда не был. Что у них, дома своего нет? Ты ему скажи, что он

маленький, а страна у нас большая. Я когда на карту смотрю, голова отказывает, там, где первое «С» проставлено, это я еще могу себе представить, в Белоруссии я не был, а возле Вязьмы воевали, но вот где «Р», этого я просто не воображаю. Жаров говорит, что там тигры ходят. А я тигра только на картинке видел... Переведи ему, что он последний дурак». Немец отставил пустую миску, робко поглядел на Рублева и, увидев, что Рублев смеется, нерешительно улыбнулся. Рублев сказал: «Спроси его — почему он молчит?» Немец перестал улыбаться, печально высморкался. Кранц дал ему папиросу, сказал Рублеву: «Ничего он тебе не скажет. Я его два часа допрашивал, он на все отвечает: «Это не моего ума дела, я таких вещей не понимаю...» Вот когда мы в Берлин придем, тогда поймет...» Пленного увели. Жаров сказал: «Блоха... А сколько от них люди мучаются!..»

Минаев вспомнил Жарова; высокий был человек, смелый, любил ругаться. Возле Донца он дополз до итальянцев... Это нужно записать...

«Жаров вернулся мрачный. Лейтенант спросил: «Ну?..» Жаров ответил: «Как приказали, в самую точку...» Ему дали водки. «Мрачный почему?» — спросил лейтенант. Тогда Жаров стал ругаться: «Вот гад!.. Дополз я, слышу — кто-то поет, так поет, что сил нет, душу выворачивает... Минут пять пролежал — слушал. Потом меня злоба взяла — почему он, гад, поет?.. Бросил я гранату... Очень он замечательно пел, товарищ лейтенант. Успокоиться не могу...»

Кранц привел как-то итальянца-перебежчика. Он тоже хорошо пел. Кранц говорил: «Крестьянин из Калабрии, подписаться не может, а ты послушай, как рассуждает. Это тебе не герр профессор — голова у него работает...»

Минаев снова в мыслях вернулся к Кранцу. Лина говорила: «Спокойный-то он спокойный, а никогда не знаешь, что он выкинет. Мы когда из Ростова отходили, он вдруг остановился, кричит: «Не пойду я дальше! Это последнее свинство! Бить их надо, а не удирать!..» Прямо бешеный...»

Минаев встал, начал шагать по комнате. Он вспомнил, как Кранца ранили. Майор послал лейтенанта Коваленко на КП дивизии. Это было возле Житомира, когда

немцы перешли в контрнаступление. Положение отвратительное, они собрали сильный кулак, ударили справа, полк оторвался, связи нет. Все кругом простреливают... Осип на что был выдержанный, и то из себя вышел. Вдруг является Кранц, докладывает: «Товарищ майор, разрешите отправиться на КП — должен передать немецкие письма». Осип ему говорит, чтобы он дал письма Коваленко. Кранц отвечает: он должен сам доложить — почерк неразборчивый, да и переводчик у генерала новый, не справится. Осип махнул рукой: ладно, иди. Кранц тогда говорит, что добраться до КП трудно — местность открытая, он может передать все генералу, незачем итти Коваленко. Майор согласился: действительно, зачем посылать двоих?.. Кранц благополучно добрался до генерала Зыкова. Ранили его на следующий день, когда он полз назад. Пуля в живот... У нас говорили: «Убит». Это Нестоянов его спас. Замечательный хирург! Он приговаривал: «А зачем резать? Чудес не бывает...» Но резал. И сколько людей он спас! Он не курил, но всегда держал в зубах мундштучок, смеялся: «Курю в мечтах...» Нужно описать Нестоянова...

Это было много спустя, мы уже вошли в Германию. Коваленко привез от Осипа карты, я его оставил ночевать, поужинали, водка была. Я ему, между прочим, говорю, что от Кранца было письмо, возвращается к нам. Он вскочил, рукавом стакан опрокинул, кричит: «Да ты не знаешь, что это за человек!..» Рассказал: «Я ведь тогда поверил, что он немецкие письма несет. Это мне потом адъютант Зыкова рассказал — никаких писем у него не было, явился к генералу, говорит: с поручением от майора Альпера. Все придумал, понимаешь? Мы с ним перед этим сидели, разговаривали, собственно говоря, он молчал, а на меня нашло — в философию пустился. Настроение паршивое... Помнишь, что там делалось? Шли, шли, казалось прямо в Берлин придем, а они неожиданно стукнули, чуть было до Киева не дошли. Кранц говорит: «Выдохнутся. Теперь скоро конец...» Я ему отвечаю: «А нас пока что угробят...» Не такой уж я трус, возле Сталинграда и в мыслях этого не было... А здесь именно потому, что скоро конец... Ну, и настроение сказалось. Четыре ночи не спали... Потом заговорили о другом, как

в тылу ждут, когда кончится. Я ему про жену рассказал, про дочку, что эвакуировались в Куйбышев, хотели было возвращаться в Киев, а здесь эта погань окрысилась... Он вдруг усмехается, говорит, что у него никого нет на свете, так что может умереть без особых последствий. Я внимания не обратил, мало ли люди болтают?.. А он, сумасшедший человек, вместо меня пошел... Да я когда узнал, просто в отчаянье впал, места себе не находил... Ты мне скажи, что это за человек?..»

Когда Кранц вернулся, я его как-то спросил, почему он придумал насчет немецких писем. Он вспыхнул и не ответил, заговорил о другом. Нужно обязательно описать Кранца.

Коваленко показывал фотографию жены — красивая женщина, чуть раскосые глаза. Крутая уличка идет к Волге, все обледенело, скользко, мальчишки слетают вниз. Жена Коваленко подышала на стекло, оттаял пятачок — ждет письма. Нужно описать письма: бумажки, сложенные треугольником.

Не знаю, правда ли, что у Кранца никого не было? Его демобилизовали еще до меня. Интересно, что он теперь делает? Лина верно говорила: бешеный... Лина часто улыбалась, зубы у нее были мелкие и блестели...

Минаев все шагал из угла в угол. Комната теперь ему казалась тесной, ее заполнили люди. Он долго разговаривал с Осипом. Все у него погибли — жена, мать, дочка, а он еще утешал других... Люди наши крепкие, американцы даже не представляют себе, до чего крепкие... Шаповалова ранило в руку, а он про сошки говорил. Когда мы еще от Россоши отходили, Зарубин мечтал: «В Берлин придем, я неделю спать буду, честное слово...»

Минаев видел Загвоздева, Магорадзе, Бутенко. Его окружали тени, он говорил, улыбался, жал руки — живым и мертвым. Мертвых не было, шел батальон, полк, большой народ шел с Волги на Запад, нежный и суровый, шел и шел, в дождь, в зной, в пургу.

Минаев написал: «У переводчика Кранца были черные жесткие волосы. Разговаривал он мало; связистка Катя его называла «барсуком». Это было возле Житомира. Батальон окопался на склоне холма. Мокрые листья, вскопанная земля пахли кладбищем...»

Он на минуту оторвался — взглянул в окно. Рассветало; все было серо-зеленым, призрачным. Он подумал: в Москве вечер, Оля, наверно, укладывается. Когда она сонная, она похожа на маленькую девочку... Он написал: «Кранц доложил майору...» — и отложил ручку. Кранц стоял у зеленоватого окна и декламировал. Минаев уснул; засыпая, он слышал:

Пространство без границ, теченье века
Объемлет в краткий миг оно...

68

Февраль был метельным, заносило дороги, земля обрастала сугробами; а любовь Кранца и Веры все еще напоминала грозовую ночь лёта.

В августе Вера спросила заведующего районо Семеркина, не может ли он ее перевести в школу при заводе сельскохозяйственных машин. Семеркин рассердился: «Вы бы еще в середине учебного года надумали... Весной подайте заявление, тогда разберем». Семеркин был человеком не злым, но он любил порядок. Замужество — не наводнение и не пожар. Как может Трубникова поддерживать в школе дисциплину, когда она сама не знает, что выкинет завтра?.. Нет, пусть подождет до лета. Если Горшкова выйдет на пенсию, тогда переведем... Вера не рассказала Кранцу о разговоре с Семеркиным; только раз, прощаясь, тихо выговорила: «Будем ли мы с тобой вместе?..»

Они встречались редко, и встречи были нечаянными: то из совхоза шла машина на завод и Веру кто-нибудь предупреждал об этом, то Кранцу удавалось добраться до Пеструшкина. Под Новый год Вера пошла пешком на станцию — тридцать километров, бежала в метель, чтобы поспеть на московский поезд, который останавливался недалеко от завода. Поезд опоздал; было два часа ночи, когда, иззябшая, взволнованная, она вбежала в комнату Кранца. На столе стояли бутылка вина, два стакана. Кранц работал. «С Новым годом,— сказала Вера и смутилась.— Но ты кого-то ждал?..» Он улыбнулся: «Тебя.

Я понимал, что ты не можешь приехать, а ждал...» Все их разлучало: работа Кранца (он теперь сидел днем и ночью над проектом молотилки), школа, распутица, заносы. Встречаясь, они часто мучали друг друга недомолвками, скрытыми укорами, сомнениями. Вряд ли их любовь была бы ровной, спокойной, даже если бы они жили вместе: оба были страстными, замкнутыми, душевно требовательными.

Кранц был на шесть лет старше Веры; он прошел школу войны; на заводе ему приходилось ладить и с директором, и с рабочими, и с инженерами; он умел владеть собой; улыбаясь, выслушивал директора, который всегда приводил множество примеров, показывающих, насколько осторожность лучше неосторожности; терпеливо объяснял токарю Дрожжину, что ему невыгодно портить станок — теряет на этом не только государство, а и Дрожжин. Но в своей работе Кранц был горячим и несговорчивым. Борьба шла вокруг проекта молотилки; то, что предлагал Кранц, во многом отличалось от неудачной модели Костицкого, причинившей директору столько огорчений; но Кошарев помнил, как его вызвали в Москву, и хотел, чтобы Кранц ограничился незначительными изменениями в существующей модели. Кранц не уступал; разговоры становились все более бурными; вернее, бушевал Кранц, а Николай Степанович либо молчал, либо говорил, что «одно дело перестраховка, трусам, конечно, у нас нет места, но страховаться должен каждый разумный работник, ничего в этом нет плохого». В спорах прошли декабрь, январь, и Кранц не мог добиться от Кошарева ответа.

В январе, вскоре после каникул, Кранцу удалось съездить в Пеструшкино. Стоял сильный мороз, он ехал в открытом грузовике и замерз. Всю дорогу он мечтал, как обнимет Веру. Он долго стучал в дверь, надрывалась собака; в окне был свет, но никто не открывал: хозяйка сидя задремала. Наконец он достучался, заспанная женщина ему сказала:

— Нет ее дома. Она к Георгию Алексеевичу пошла — это на другом конце села. Вы зайдите, обогрейтесь...

Он стоял возле печи, печальный, не решался спросить и, наконец, спросил:

— Это кто — Георгий Алексеевич? Приезжий?..

Хозяйка хитро усмехнулась:

— Сомов, учитель. Мария Ильинишна заболела, вот его и прислали. Вера Николаевна теперь к нему часто ходит...

Он вернулся на завод сам не свой.

Несколько дней спустя Вера приехала к Кранцу. Он был с нею нежен, целовал ее руки, говорил о любви, а потом вдруг начал дразнить, уверял, что больших чувств не бывает, на войне он видел не только, как рассыпались дома — люди теряли иллюзии. Вера вначале сердилась, в глазах ее был тревожный блеск; потом неожиданно она начала говорить в тон ему, сказала, что есть люди, которым нравятся громкие слова, а за ними у них пустота или мелкое самолюбие, вспомнила Печорина и вдруг заплакала. Он ее утешал и в минуту, когда она ему доверчиво улыбнулась, спросил:

— Почему ты мне не рассказала про Сомова?

Она нахмурилась:

— Я тебе расскажу, только не сегодня... Мне трудно об этом говорить...

Она любит этого человека, подумал он и холодно сказал:

— Хорошо, вернемся к литературе. Я не согласен с твоей оценкой Печорина...

Она поднялась:

— Мне нужно ехать. Водитель сказал, что будет ждать только до десяти.

Он даже не поцеловал ее. Всю ночь он не спал, думал о Вере с необычайной нежностью, укоряя себя, готовый сейчас же пойти через сугробы в Пеструшкино, вымолить прощение, и час спустя говорил себе: все кончено, я слишком легко поверил в счастье; нужно найти силы и вырвать ее из сердца.

Он не поехал в Пеструшкино, хотя была оказия, уверял себя, что Вера его не ждет, что он не хочет быть лишним. Это был трудный день. Модель молотилки, еще раз исправленная, проверенная, стояла перед Кошаревым. Кранц упрямо повторял:

— Если вы не пустите в производство, это преступление...

Николай Степанович сначала виновато улыбался, потом раздражился: Кранц хочет его подвести. А Кранц требовал ответа. Тогда Кошарев сказал:

— Вы посылали сеялку в Москву? Пожалуйста, никто вам не мешает представлять в центр проекты. Но я на себя ответственности не возьму. Молотилка — это дело серьезное, а у меня есть кое-какой опыт. Преступление пускать в серийное производство спорные модели, именно спорные. Я вам не раз говорил, что у вас недюжинные способности. Но знаете, чего вам нехватает? Самокритики...

В словах Кошарева для Кранца не было ничего нового, но, взволнованный вчерашним разговором с Верой, он не сдержался и наговорил директору дерзостей, потом нехотя, сухо принес извинения; весь день он нервничал, а среди ночи, проверяя снова чертежи, вдруг задумался. На этот раз не Вера встала перед его глазами, а беглые встречи военных лет, привалы в печальных, раздавленных войной селах, ночные беседы при тусклом свете коптилки, залитые рыжей водой окопы, небо, полное злого гудения, черные пятна на снегу, кровь. Он редко вспоминал те годы, и сейчас, оглянувшись назад, он видел перед собой не людей, не отдельные сцены, а войну; и он мучительно пытался заглянуть в будущее. Неужели снова?.. Нет, это невозможно! Когда-то война заставала народы врасплох. В королевских покоях, в дипломатических канцеляриях, в тишине министерских кабинетов хитрецы плели роковые сети. Честолюбцы нападали исподтишка. Но теперь люди предупреждены. Кто же допустит такое?.. Тут же он начал возражать самому себе. В годы войны я прочитал сотни немецких дневников. Вначале я удивлялся, как могут взрослые люди, да еще получившие образование, верить в подобную галиматью. Потом привык, меня даже поражало, когда попадались разумные мысли. А ведь это большая нация, со старой культурой, с традициями, с тягой к романтике, к сентиментализму. Я читал до войны их классиков, помнил тургеневских немцев и представления не имел, что с ними сделали фашисты. Разве я знаю, как воспитывают американцев, что им говорят, что от них скрывают? Может быть, их тоже натаскивают, прививают предрассудки, стараются одурманить?.. Тогда придется снова... Миражей

у нас не будет, ни напускного веселья, ни растерянности, ни страха. В сорок первом я был мальчишкой, но и люди постарше не понимали, что такое война. В мечтах мы сразу побеждали, а от первых неудач многие повесили нос. Теперь все знают, что война — тяжелое дело, знают и другое,— что нас не одолеть... Нельзя только хандрить, не такое время, нужно жить со сжатыми крепко зубами — и когда не клеится на работе, и когда перед тобой чересчур осторожный Кошарев, и когда Вера уходит, не на день, не на месяц — навсегда.

Так думал Кранц. А в Пеструшкине терзалась Вера: как он легко от меня отступился! Он мог меня заподозрить, значит не понимает, как я его люблю. Не приехал... Конечно, я могу ему рассказать. Но зачем?.. Если он способен из-за этого рассориться, лучше сразу порвать, пока еще есть гордость...

Сомову было двадцать три года. Он родился в Минске, отец его был врачом, мать учительницей. В детстве он страдал оттого, что он маленького роста — самый маленький в классе, не умел драться, плохо видел — товарищи смеялись над его очками. Отца призвали на третий день войны. Мать была больна, говорила: «Не могу ехать...» Когда немцы подошли к городу, мальчик взял мать за руку, сказал: «Идем». Дорогу бомбили. Он ухаживал за матерью и мечтал: хорошо бы взорвать немецкий танк... Их направили в Пензу. Он хотел пойти на завод, но отец написал: «Пусть Жора обязательно учится». Отец погиб возле Варшавы. Мальчик пристрастился к чтению. Ему казалось, что он — Базаров, или Андрей Болконский, или Григорий из «Тихого Дона». Умерла мать. На военную службу его не взяли, он это пережил мучительно: хочу летать, а я крот... Он учился в том же пединституте, что Вера. Она помнила худого близорукого юношу, который никогда не ухаживал за девушками, не играл в волейбол. Товарищи над ним посмеивались. Крапивников сочинил стишки:

Жора Сомов не нашел искомого,
А нашел того же Жору Сомова.

Сомов обиделся, сказал Крапивникову: «Напрасно ты думаешь, что я индивидуалист, я такой же комсомолец,

как ты...» Он влюбился в одну студентку, писал ей длинные письма и тотчас их рвал. Однажды девушка, оставшись с ним наедине, взяла его за руку: «Расскажи мне что-нибудь». Он покраснел и отдернул руку: «Не умею... Попроси Крапивникова — он расскажет».

Когда Сомова прислали в Пеструшкино, Вера обрадовалась: учились вместе, старые товарищи. Но Сомов, увидав ее, угрюмо сказал:

— И ты здесь? Вот совпадение...

(Он помнил, что Вера часто гуляла в парке с Крапивниковым, и ему казалось, что она над ним смеется.)

Неделю спустя он все же пожаловался Вере:

— Седьмой класс — это нечто страшное. Они абсолютно ничего не знают. А у меня нет никакого опыта, боюсь, что не справлюсь...

Вера попыталась его успокоить:

— Я знаю — они сильно отстали, это потому, что Мария Ильинишна все время болела. Догонят... Ты не огорчайся, я сперва тоже боялась, через месяц освоишься...

Сомов ни с кем из учителей не подружился; он был очень застенчив и от этого казался надменным; из школы он сразу шел к себе, вечерами читал. Директор Павел Григорьевич Пастухов был человеком покладистым, редко кого-либо осуждал, но Сомов ухитрился рассердить и его: начал критиковать программу по литературе — много произведений, мало часов, ученики не успевают как следует усвоить. Павел Григорьевич ответил, что Сомов только начинает работать, а программу составляли опытные педагоги. Сомов сказал:

— Иногда свежий глаз видит лучше...

Он сразу смутился: я не прав, у меня действительно нет опыта, потом смешно мне говорить о хорошем зрении... (Он плохо видел даже в очках и очень страдал от этого.) Он густо покраснел и, вместо того чтобы выслушать возражение директора, убежал. Павел Григорьевич сказал завучу: «Уж лучше никого бы не присылали, чем этакого выскочку...»

Вскоре после этого с Сомовым случилась неприятность. При совхозе 816 была десятилетка, и там в девятом классе училась племянница агронома — Катя Головко,

Она приехала в совхоз летом после того, как умерла ее мать. Это была девушка болезненная и гордая, мечтавшая совершить подвиг, как Зоя, учившаяся то очень хорошо, то из рук вон плохо; с девочками она не дружила и страдала от одиночества. Она как-то пропустила воскресник: пролежала весь день (у нее часто бывали приступы жестокой головной боли, которые она скрывала и от дяди и от товарищей). Группорг Лукашов спросил ее, почему она не пришла на воскресник. Она угрюмо ответила: «Значит, не могла...» На собрании комсомольской организации Лукашов сказал:

— Мы должны обсудить поступок Кати Головко. Почему она не вышла на воскресник? Пусть она объяснит такое свое поведение...

Катя побледнела, на ее лбу показались капли пота, она тихо выговорила:

— Если вы меня подозреваете, мне и говорить нечего...

Долго обсуждали, как поступить с Катей Головко. Она молчала. Наконец приняли предложение Лукашова: исключить из комсомола.

Вскоре после этого было собрание районного актива. Лукашов рассказал о Кате Головко. Секретарь райкома Челищев нахмурился:

— Что ж, она план сорвать хочет?..

Тогда попросил слова Сомов. Он никогда не видел Кати Головко и не знал, почему она не вышла на воскресник, но его возмутила суровость наказания: исключить — просто, а может быть, это девушке всю жизнь сломает? Он начал говорить о том, как легко оттолкнуть человека, о важности воспитания. Челищев прервал его:

— Говорите о Головко, а не вообще.

Когда Сомов терялся, он всегда делал глупости; так случилось и теперь; он крикнул:

— Почему вы меня прерываете? Не могу я в таких условиях говорить!

Челищев пожал плечами:

— Ладно, говорите, только покороче.

— Не буду я говорить, если вы мне рот зажимаете...

Челищев сказал:

— Капризничать — не комсомольское дело. Не хотите говорить, не нужно. Я теперь выскажусь насчет Головко.

По-моему, ребята перехватили, нельзя сразу исключать. Объявить ей выговор, девушка может исправиться...

Сомов обрадовался: значит, он хорошо сделал, что выступил. Но у Челищева остался неприятный осадок: Сомов зазнается, не умеет даже сформулировать свою мысль, а хочет, чтобы его слушали. Интересно — каков он на работе?..

Челищев был в совхозе и заехал в Пеструшкино. Он спросил директора школы:

— Ну, как Сомов? Справляется?

Павел Григорьевич развел руками:

— Ничего не могу сказать утешительного. Сочинение писали, из тридцати семи четырнадцать двоек. Можно сказать, поставил рекорд неуспеваемости. Причем не выносит критики, а сам критикует все и всех...

Две недели спустя на районном бюро комсомола был поставлен отчет о работе Сомова; Челищев спросил его, почему он не прислушивается к справедливой критике. Это недостойно комсомольца. Сомов ответил, что Челищев не знает положения. Сомову объявили строгий выговор с предупреждением.

Когда Вера узнала об этом, она сейчас же написала Челищеву; потом пошла к Пастухову:

— Сомова несправедливо обвиняют. Класс очень отстал, Мария Ильинишна с ними почти не занималась. А Сомов относится к работе добросовестно. Конечно, за три месяца он не мог все нагнать, но успехи есть — сравните последнюю работу с прежними...

Директор рассердился:

— Вы за Сомова не заступайтесь. Мне сорок два года, но в жизни я не встречал более самоуверенного человека. Поглядите — он всех восстановил против себя. Секретарь райкома комсомола мне сказал, что он возмутительно вел себя на собрании. Педагог должен быть скромным, это — первое условие, а он себя считает гением...

Заведующий районо приехал в Пеструшкино, просидел час в классе Сомова. Обычно Сомов объяснял хорошо, увлекался, и школьники его внимательно слушали. Но когда он увидал Семеркина, он растерялся, говорил сбивчиво и так тихо, что даже на передней скамье трудно было расслышать. Ученики ерзали, пересмеивались.

Семеркин сказал Сомову:

— Не умеете вы объяснять... Нужно критически к себе относиться, а вы, говорят, только других критикуете...

Сомов чувствовал, как кольцо вокруг него сжимается. Добродушная учительница математики, и та с ним сухо поздоровалась. Может быть, это ему показалось? Он считал, что все его презирают: ему вынесли выговор с предупреждением. Почему такая несправедливость? Разве он виноват, что ученики отстали? Он занимается с ними больше положенного, объясняет, старается приподнять. А теперь на нем пятно, никто не поверит, что он — честный советский человек. Семеркин напишет в облоно. Могут снять с работы. А он так мечтал быть учителем, передать ученикам свою любовь к языку, к книге!..

Выл ветер в трубе, тоскливо перекликались продрогшие сторожевые собаки, зимняя ночь была долгой, и отчаянье переполняло сердце Сомова.

На следующий день во время перемены Вера ему сказала:

— Неправильно с тобой поступили. Я написала заявление...

Он сухо ответил:

— Напрасно. На мне пятно. Тебе лучше обо мне не заикаться.

— Погоди...

Но он не стал слушать, ушел.

Вечером он сидел у себя; не зажег света. Люди спорят, работают, смеются. А он один, как прокаженный... Теперь и ученики не будут его слушать. Они смеялись, когда приезжал Семеркин... Кажется, таким, как я, нет места в жизни. Хорошо, что я одинок, некому будет огорчаться...

Беспокойство вдруг овладело Верой. Она отбросила книгу, накинула на себя шубку, платок и побежала через все село к Сомову. Он зажег свет, щурился, потом сказал:

— Зачем ты пришла?..

Она не знала, что ответить, хотела утешить и боялась его обидеть. Она начала рассказывать о себе, о годах одиночества, потом вспомнила дом Лермонтова, спросила:

— Ты любишь стихи?

Он кивнул головой. Она стала читать «Мцыри», поспешно, забывая строки.

— Я не понимаю, как Мартынов мог выстрелить? Говорят, будто он жалел потом... Это все равно... Я стараюсь себе это представить. И знаешь, каждый раз я вижу, как ведут на виселицу Зою... Ты скажешь, что нет связи, по-моему, есть... Я читала, как американцы говорят об атомной бомбе, это — то же самое... Если есть большое сердце, все равно — девушки, поэта, народа,— кто-то непременно целится, хочет убить. Только народ нельзя убить...

— Нельзя. Знаешь, когда я это понял,— мы с матерью уходили из Минска. Я мальчишкой был... У немцев был тогда огромный перевес. Но наши так говорили, так смотрели, что я понял — никто нас не завоюет...

Он забыл про свою беду, говорил с Верой о неграх в Америке, о том, что есть чилийский поэт, который теперь прячется в горах и пишет чудесные стихи, что во Франции молоденькая женщина легла на рельсы, чтобы задержать поезд с оружьем. Он был с людьми, волновался, надеялся, мечтал. Потом сразу осекся. Вера это почувствовала, взяла его за руку:

— Подумай, какая идет борьба! И какой у нас народ!.. Нельзя, Жора, отъединяться...— Она задумалась и другим голосом, будто говоря вслух с собой, сказала: — Ты не думай, что я утешаю, я сама знаю горе. Но жизнь больше... Ты не суди по мелочи. Мы жить должны, Жора, много жить, нам ведь еще столько шагать, столько мучиться, столько радоваться!..

У нее задрожал голос. Сомов снял очки и заморгал детскими растерянными глазами:

— Спасибо тебе, Вера. Ты даже не знаешь, что ты сегодня сделала...

Сомов хорошо держался на уроках, читал, старался не думать о происшедшем. После памятного вечера, встречая Веру, он ей улыбался, как близкому другу.

Челищев ответил, что не видит оснований для пересмотра решения бюро. Сомов спокойно сказал Вере:

— Я в этом был убежден...

Он не жаловался, казался спокойным, но Вера понимала, что ответ Челищева его доконал. У нее у самой

после разговора с Кранцем был на сердце камень, но она старалась отвлечь Сомова от его мыслей, шутила, говорила о стихах, о работе, о том, что дни длиннее — скоро весна.

Прошел месяц, класс Сомова занимался куда лучше, но уже трудно было изменить установившуюся репутацию; директор, например, был искренне убежден, что Сомов не умеет преподавать. Говорили, что облоно к августу пришлет нового учителя. Эти разговоры дошли до Сомова. Улыбаясь, он сказал Вере:

— После конца экзаменов я буду самым свободным человеком на свете...

Она поняла, что он погибает, и решилась на поступок, который ей самой казался безрассудным: воспользовавшись санитарным осмотром, поехала в город к секретарю обкома.

Гусев сначала принял ее плохо — у него было много дел, и он не мог понять, почему молодая учительница рассказывает ему о каких-то обидах своего мужа или приятеля: ну, плохо работал, зазнавался, дали выговор, естественно. Но Вера говорила настолько убежденно, что он прислушался.

— Вы подумайте, как это несправедливо! Не выслушали, не поговорили с учительницей математики, не приняли во внимание моего заявления... Я этот класс хорошо знаю, а директор не знает, он только видит, что плохие отметки... Сомов — честный комсомолец, поэтому он и переживает так мучительно... А теперь говорят, что его снимут с работы. Но ведь класс нагнал потерянное...

Гусев подумал: может быть, правда. В партии, конечно, призадумаются, а это молодежь... Челищев — энергичный парень, но в людях он вряд ли разбирается... Бережем каждую деталь машины, и правильно. Но людьми разве можно швыряться?.. Пастухова я помню, неплохой работник, только поддается настроению... Нужно разобраться. Кстати, посмотрю, что в школах делается. Я с осени не заглядывал. Понятно — строительство... А разве школы — не то же строительство? Поколение строим. И для каких дел!.. Девушка хорошая, чувствуется, что честная и с характером...

Он стал расспрашивать Веру о школе, как происходят занятия, достаточно ли учебников. Она отвечала коротко, но живо и по-своему. Гусеву позвонили: он обещал приехать на завод сельскохозяйственных машин. Он сказал Вере.

— Хорошо, разберемся...— Чуть усмехаясь, Гусев спросил: — Муж? Или собираетесь?..

Вера вспыхнула:

— Просто товарищ, мы вместе учились... У меня есть муж, он на заводе работает, куда вы едете, а меня туда не перевели. Инженер Кранц...

— Знаю Кранца. Передам ему от вас поклон. А весной уж как-нибудь вас соединим...

Он засмеялся и протянул Вере широкую, большую руку.

Выйдя из здания обкома, Вера остановилась в ужасе: зачем я это сказала? Он и знать меня не хочет. Гусев скажет: «Жена кланяется». А он ответит: «Нет у меня жены...» Стыдно как!.. Она еле сдерживала слезы.

Гусев, однако, не передал Кранцу привета от Веры: сначала он увлекся моделью молотилки, а потом Кранца вызвали в цех. Гусев говорил Кошареву:

— Молотилку нужно пустить в производство. Модель-то хорошая. А в Москве говорят, что мы отстаем...

На столе Гусева стоял календарь за прошлый год, он его сохранил потому, что там были записаны фамилии, номера московских телефонов. Он записал еще при Вере: «Сомов. Челищев. Пастухов. Трубникова». На следующий день он позвонил секретарю райкома Щукину, попросил его при случае заехать в Пеструшкино посмотреть, какая там школа, в частности как работает Сомов. «Только не полагайтесь на одного Пастухова, поговорите с преподавателями, с учениками». Щукин побывал в школе и сообщил Гусеву, что успеваемость неплохая, летом нужно будет произвести ремонт здания, Сомовым довольны, но директор жалуется на характер. Гусев вызвал заведующего облоно. Тот обещал проверить и неделю спустя дал хорошую характеристику Сомову. Тогда Гусев сказал секретарю обкома комсомола: «Проверь, почему Челищев закатил ему выговор? Выходит, что он людьми швыряется...» При проверке один из членов райкома заявил,

что Челищев зажимает критику, он и на Сомова рассердился за то, что тот выступил на активе. Выплыло дело Кати Головко. Намылили голову Лукашову. Клубок медленно распутывался.

Вера не рассказала Сомову о том, что была у Гусева,— боялась, что он рассердится: «Кто тебе дал право?..» Наконец Сомова вызвали. Он вернулся на следующий день, рассказал, что обком комсомола снял с него выговор. Все его поздравляли, а Павел Григорьевич говорил: «Конечно, характер у него трудный, но работает совсем неплохо. За последнюю четверть всего две двойки и семь отличников...»

Вера страдала: не приехал даже после того, как Гусев ему рассказал! Значит, не любит, рассердился, что назвала его мужем. Теперь уж никогда не приедет...

Была оттепель; все сразу зашумело; звенела капель, кричали дети. Не понимая, что она делает, Вера вскочила на грузовую машину. Всю дорогу она думала, как сказать Кранцу про Сомова. Он должен понять...

Нерешительно она вошла в его комнату. Ее глаза выражали тоску, страсть, испуг. Он подбежал, обнял ее:

— Прости! Если можешь, прости!..

Она начала:

— Ты меня тогда не понял. Сомов...

Он не дал ей досказать:

— Молчи!.. Я кругом виноват, потерял голову — думал, не любишь. Я мог тебя приревновать к дереву, к слову, к звезде... Вера!..

У нее пронеслось в голове: наверно, Гусев ему рассказал про Сомова.

— Ты говорил с Гусевым?

— Конечно. Молотилку пустили в производство...

Она засмеялась, хотя ее еще душили слезы волнения.

— Я не про молотилку. Он тебе сказал, зачем я к нему приходила?

— Нет. А зачем?..

— Неважно... Ты знаешь, почему я приехала? Потому что не могу без тебя. Пыталась — и не могу...

Он целовал ее, смущенно улыбался, не думал ни о чем и думал о чем-то очень важном — о большом мире, о туманных глазах Веры, о счастье. Давно уже стемнело,

застыли струйки воды, спадавшие с крыш, небо зашевелилось множеством звезд. Он вдруг вспомнил стихи, которые любил с детства:

Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, теченье века
Объемлет в краткий миг оно...

Вера, задумавшись, сказала:

— Теченье века... Мне кажется, что мы сейчас на огромном море. Все шумит, поет, несется... Почему так широко, так необычайно широко, а у души нет слов? Что ты видишь, скажи?..

— Жизнь. Любовь. Тебя.

69

Пьер Годэ после печального объяснения на набережной никогда больше не говорил Мадо о своем чувстве. Любовь в нем не погасла, но он умел владеть собой. Они попрежнему часто встречались, их объединяли и память о маки́ и повседневная работа — оба организовывали комитеты защиты мира. Пьер видел, что Мадо одинока, чересчур много работает, плохо живет, и уговорил ее провести две недели в Ницце: «Там моя мать, у нее две комнаты, а она одна, она тебе обрадуется. Мама у меня молодец — участвовала в сопротивлении, работает среди женщин. Живет она в Старом городе, из окон виден цветочный рынок. Да и море рядом... А в Ницце теперь тепло...» Мадо улыбнулась: был холодный сумрачный день, падал мокрый снег, тускло мерцали фонари, прохожие ежились. Неужели там весна?..

В Ницце ее сразу ослепило солнце; тепло, пришлось снять плащ. В Старом городе было шумно; пахло чесноком, оливковым маслом; торговки рыбой шутливо переругивались; Мадо рассмешил южный выговор; сверкала серебряная чешуя; на веревках сушилось белье.

Мать Пьера ей понравилась; это была толстая хлопотливая женщина лет пятидесяти; все ее изумляло, а изумляясь, она забавно приподымала верхнюю губу, над которой чернели маленькие усики. Она объявила Мадо:

«Я восемь лет в партии, так что изволь говорить мне «ты» и зови Жозефиной. Мадам Годэ — это только на службе. Я работаю на почте, у нас начальник фашист, он мне говорит: «Мадам Годэ, перестаньте рассуждать, я терпеть не могу политики...»

По вечерам к Жозефине приходили товарищи. Мадо сразу узнала все местные дела. Ей объясняли: говорят, будто Ницца полна американцами, ничего подобного, туристов вообще очень мало, все гостиницы прогорают. Не помогают никакие карнавалы. Только представить себе, что вчера, по данным префектуры, в гостиницах проживало всего восемьсот человек! И это в начале февраля, в самый сезон. Мелкие коммерсанты буквально обнищали. Ницца не та, что прежде. Американцы приезжают по делу: осматривают порт, аэродром, они думают о военных базах. Вот и теперь здесь Нильс. Каждый день он заходит в их консульство. Журналистам он сказал, что его прельщают только хорошая погода и старинные табакерки. Почему же он встречается с префектом? О префекте можно сказать, что он больше американец, чем сами американцы. Он, например, хотел запретить генеральному совету высказаться против атомной бомбы. Ясно?.. Табакерок Нильс у него не найдет, префект не антиквар, да и погоды он не делает — он за войну, а Ницца против. Людям живется плохо, впрочем это повсюду, ничего нет удивительного: вооружение — бездонная бочка. А карманы депутатов, замешанных в афере с чеками?.. Но климат здесь чудесный, Мадо сможет хорошо отдохнуть.

Так говорила Жозефина, так говорили гости: секретарь союза докеров, учительница, железнодорожник. Все они жали руку Мадо: они читали о ней в «Юма», для них огромная радость, что она приехала в Ниццу. Жозефина сияла. За последний год у нее было несколько удач. Пьер написал книгу о Сен-Жюсте, теперь ее печатают. Голлисты попробовали поджечь щит с плакатами Женского комитета, но она залепила одному сопляку такую оплеуху, что они мигом удрали. А теперь к ней приехала Мадо, о которой Пьер писал: «героиня сопротивления». Ложась, Жозефина подумала: не сглазить бы, но все идет

хорошо. Интересно только, зачем приехал Нильс? От них можно ждать всякой пакости...

Мадо много гуляла, подымалась в горы; город сверху казался игрушечным. Море было синим, как на картинке. Среди камней зеленела трава; прыгали козы; иногда проходила девушка с большим глиняным кувшином. Сидя на солнце, Мадо подолгу глядела на камни, на маленькие домики, белые или розовые, на петлистую тропинку; тогда в ней оживала художница, впервые за многие годы ей хотелось писать. Она как-то подумала: я здесь живу глазами... Иногда она переставала видеть; ее глаза были широко раскрыты, казалось, что она попрежнему любуется пейзажем, но она уходила в прошлое, и это прошлое было настолько живым, теплым, осязаемым, что потом она вздрагивала: Сергея нет, он не сидел с ней рядом, не говорил о Москве, о том, что скоро уедет, о любви, которую ничто не может одолеть — ни разлука, ни время, ни сама смерть. Медленно она спускалась в город. Вспыхивали в голубоватых сумерках золотые огни, похожие на светляков. Пахло мимозой, лавандой, дымом от еловых шишек. Она шла в комнату с белеными стенами, на которых висели портреты Сталина и Тореза, фотография Пьера, когда он был ребенком, большая, яркая олеография — корабль среди бушующего моря.

А потом приходили товарищи и начинали говорить о событиях. Вся Франция охвачена волнением. В Сен-Назере, в Гавре, в Ля Паллис, в соседнем Марселе докеры отказываются грузить вооружение. Поезд с боеприпасами для Индокитая мечется по Франции. Его направили в Дюнкерк, докеры сказали: «Нет». Поезд пришел в Гавр, повторилось то же самое. Теперь он идет в Марсель, но марсельцы не осрамятся. А судно «Эмпайр Маршалл» заходит во все порты, ищет блуждающий поезд...

Перед отъездом из Парижа Мадо получила письмо от Лежана. Еще осенью он уехал в Ля Рошелль: получил там работу на большом заводе. Он писал, что в городе назревают события, рабочие хотят поддержать докеров Ля Паллис, не сегодня завтра вспыхнет забастовка. Мадо подумала: до чего он скромный, ни слова не написал о себе, как будто его и нет. Так было и в сопротивлении: он все делал незаметно. Не будь парижского восстания,

люди не узнали бы, что есть на свете Лежан. Сколько он пережил, трудно себе представить, потерял Жозетт, Поля, Мими и ни разу не пожаловался, заботится о других — у Жака нет теплого пальто, Пьера следует разгрузить от работы: пусть кончит книгу. Написал, что мне нужно отдохнуть. Вот я и отдыхаю. А он на самом трудном посту, милый Люк...

Товарищи рассказали Мадо, что на заводе в Ля Бокка изготовляют установки для «фау-2». Рабочие возмущены: «Почему мы должны готовить гибель для самих себя?..» Жозефина говорила: «Увидишь, и здесь начнется...» Но Ницца попрежнему была солнечной и веселой. Продавали мимозу, нарциссы, фиалки. Приехал на день один из руководителей союза докеров Марселя; захотел обязательно повидать Мадо; его привели к Жозефине. Он говорил страстно, руками показывал, как народ высыпал на Канебьер, как жандармы разгоняли толпу.

— Префект приказал экипажу «Пастер» немедленно выйти в море, объявил их военнообязанными, грозил военным судом. Но матросы, конечно, не такие ребята, чтобы их можно было запугать. Они говорят — еще неизвестно, кто кого будет судить. А оружье решили задержать, точка. О докерах я не говорю, наши себя давно показали. Лучше сдохнуть с голоду, чем помогать этим бандитам. Но здесь и население возмутилось, все вышли на центральную улицу. «CRS»—настоящие эсэсовцы, у них и морды такие. «CRS» кидаются на толпу, толпа, естественно, растет. Ты не знаешь, что за народ марсельцы! Он, может быть, ни о чем не думает — пьет в кафе пастис, или сидит с удочкой, или мечтает о девчонке, но стоит ему увидеть драку, лезет без разговоров. Тридцать тысяч было — не меньше, что бы они ни писали. Наверно, ты слышала про Фаита, это герой сопротивления, немцы его гильотинировали. Так вот, его сестра Жаклин была с нами. «CRS» ее повалили, начали топтать, я тебе говорю, хуже, чем эсэсовцы. Прибежали ребята... Настоящий бой, кровь на улице, я не преувеличиваю... Теперь спрашивается, чего американцы добились? Матросы сказали, что задержат «Пастер», и задержали. Докеры сказали, что не будут грузить оружье, и не грузят. Марсельцы сказали, что не будут воевать за американцев, и не будут, точка.

Жозефина восторженно выпячивала губу, а когда докер ушел, сказала Мадо:

— Наверно, и у нас что-нибудь начнется. Сегодня на почте были снова письма для Нильса. Зачем-то он здесь торчит...

13 февраля, вечером, к Жозефине пришел Мартэн, который работал в Ля Бокка. Он торопился, попросил сейчас же передать докерам, что в порт везут раму для «фау-2». Мадо побежала в порт. Секретарь союза докеров не удивился:

— Понятно... Хотят погрузить на «Жан Доло». Думаю, не погрузят.

Погадали о том, куда должен итти «Жан Доло»: одни говорили — на Корсику, другие — в Оран, третьи — в Югославию.

— Главное, чтобы он не взял рамы,— сказал секретарь.— Думаю, не возьмет.

В семь часов утра грузовик, который сопровождали тридцать «CRS» доставил раму в порт. Докеры его встретили криками: «Грузить не будем...» К докерам сразу присоединились рабочие вагоноремонтного завода, расположенного поблизости, и трамвайные служащие. «CRS» попытались оттеснить толпу от набережной, но их смяли. Офицер вызвал подкрепление.

Было девять часов утра, когда раздался тревожный вой сирены — сигнал дали докеры. Сразу опустели фабрики, мастерские, школы — Ницца ринулась в порт; здесь были старые седоусые рабочие и веселые мастерицы, рыбаки и служащие, железнодорожники и цветочницы, инвалиды и школьники. Это было не шествием, а стремительным штурмом, как будто к морю неслась горная река. Впереди женщины, некоторые с детьми.

Раму охраняли «CRS». Когда толпа приблизилась, офицер рявкнул:

— Стой! Будем стрелять...

Мадо вышла вперед; ветер приподымал ее волосы; она раскинула широко руки, как будто хотела заслонить детей:

— Не посмеете!

Один из «CRS» дубинкой ударил ее по руке, Она крикнула:

— Раму в море!..

«CRS» бросили гранаты со слезоточивыми газами. Толпа на минуту дрогнула, но Мадо метнулась вперед, за нею бросились другие женщины. Они заставили «CRS» отойти. Крики покрыли голос Мадо:

— Раму!..

Докеры подхватили раму и швырнули ее в воду.

Все произошло настолько быстро, что восемь грузовиков с «CRS» приехали, когда толпа начала расходиться. Префекту доложили, что люди идут к порту уже после того, как раму сбросили в море. А Нильс спокойно брился, ни о чем не подозревая.

Город праздновал победу; люди ходили по улицам, кричали, пели; молодежь кое-где танцовала. Жозефина вдруг всполошилась:

— Ты с ума сошла! У тебя вся рука распухла, а ты молчишь? Сейчас же нужно положить компресс...

Мадо улыбнулась:

— Никогда я не забуду Ниццы. Говорили — туристы, американцы, гиды, казино. А Ницца другая... Я ее сегодня видела. Нет, сегодня я была с нею...

Нильс был расстроен. Дело, конечно, не в раме, это мелочь, но с французами трудно что-либо сделать. Поглядеть — приятный город, мне нравится его старомодность. Кажется, сейчас войдут в казино королева Виктория, франты в цилиндрах, какой-нибудь русский князь... Но сколько здесь вульгарной черни! Бедье уверял, что Марсель — исключение, но чем Ницца лучше? У них повсюду одно и то же. Когда мы устроим базы, нужно будет хорошенько защитить наших от французов. Конечно, благоразумные люди понимают, что мы хотим Франции добра, но они сидят дома, читают «Фигаро», иногда ходят в театр. А кто заправляет на улице? Сброд... Все-таки это неслыханное разгильдяйство — полиции на грузовиках потребовалось вдвое больше времени, чем толпе!.. Рассказывают, что там было много женщин. Во Франции это естественно. Я помню, на одной табакерке было изображено, как такие фурии вытаскивают Людовика XVI из кареты. Жалко, что я ее не купил, думал, что антиквар уступит, а ее перехватил какой-то болван из Чикаго, наверно он и не знает, что такое французская

революция... Вроде Костера. Журналист, кажется, мог бы знать, а он меня спросил: «Почему Наполеона называют корсиканцем?..» Я думаю, что Корсика куда важнее, чем это побережье. Там меньше людей, легче организовать. Корсика, Северная Африка плюс Испания—и французы призадумаются, никакой «нейтралитет» их не спасет... Если бы «CRS» раньше применили слезоточивые газы, толпу бы разогнали. Бедье как-то сказал: «Хорошо, когда этот сброд плачет...» Говорят, что Бедье замешан в истории с чеками. Никогда не подумал бы. Зачем ему столько денег? Он не собирает ни картин, ни книг, ни фарфора... Впрочем, жалеть нечего, Бедье не редкость, таких здесь тысячи... Интересно поговорить с префектом—о чем он думает? Может быть, о том, как разводить зеленый горошек или как наставить рога своей супруге? Они удивительно легкомысленны. Зато у них вкус. В общем все лучшие табакерки я приобрел во Франции...

Вечером Нильс сидел в кабинете консула и писал доклад полковнику Доуневэну: он побывал в Марселе, в Тулоне, в Ницце, политическая обстановка сложная, французы не умеют совладать с красными — недавние события в Марселе и сегодняшний инцидент с рамой для «фау-2» наглядно это показывают. Необходимы энергичные меры...

Пение, крики оторвали его от работы. Наверно, дурачатся, репетируют карнавал, подумал он и хотел поглядеть в окно. В комнату вбежал секретарь:

— Ради бога, не подходите!.. Могут бросить камень...

Только теперь Нильс разобрал, что толпа кричит, скандируя: «Уби-райся в А-ме-рику! Уби-райся в А-мерику!..»

— Сейчас их прогонят,— сказал секретарь.— Я вызвал полицию.

Нильс сел за прерванную работу, зачеркнул слово «энергичные» и поставил «драконовы» — одними слезоточивыми газами не обойтись, это ясно...

Неделю спустя он уехал в Париж. Перед отъездом префект ему рассказал, что с рамой пришлось повозиться. Глубина небольшая — шесть метров, но рабочие, умевшие обращаться с краном, наотрез отказались поднять. Пришлось вызвать солдат. Порт перевели на военное

положение. Различные части для установки «фау-2» доставили из Ля Бокка под сильной охраной.

— Теперь мы проучены. Впереди пустили десять танкеток, столько же позади. Приказ был — в случае чего стрелять из пулеметов. Ящики с частями закамуфлировали — покрыли ветками мимозы, так что нельзя было догадаться...

Вспомнив в поезде слова префекта, Нильс улыбнулся: «mimosa pudica» по-латыни — «стыдливая мимоза». Вот они и нашли, чем прикрыть части для «фау-2». Чудаки эти французы, они в самые критические минуты способны острить.

Секретарь союза докеров рассказывал Мадо и Жозефине:

—«Жан Доло» ушел в Оран, мы предупредили товарищей, там готовят шумную встречу... Непонятно — почему они хотят установить эту штуку в Алжире?..

Мадо ответила:

— Чтобы держать Францию под ударом. Они ведь теперь увидели, что с нами не так-то просто справиться.

Жозефина засмеялась:

— В «Провансаль» пишут: неудобно — Нильс приехал, как гость, а его обидели...

Докер усмехнулся:

— Он сказал, что хочет еще приехать. За табакерками... Думаю, не приедет.

Это было за день до отъезда Мадо. В последний раз она поднялась по знакомой тропинке на гору, долго шла, остановилась у большого широкого дерева. Голубое небо с одним пушистым облаком. Тихо, очень тихо. Вон там вдали маленький парусник... Если глядеть сверху, какой ясной кажется жизнь: все расставлено по своим местам, даже странности, даже беспорядок. А на самом деле не так—запутано, трудно, хочешь распутать, и больно, как рана... Одиннадцать лет... Страшно подумать, как это было давно!.. А все живое — и слова, и ласки, и то, чего не сказали, не сделали... Может быть, потому, что казалось мечтой, а стало жизнью? Но это рассуждения. Просто люблю, обнимаю, оторваться не могу, и разум здесь ни при чем...

На вокзале было много народу: все теперь считали Мадо своей, рассказывали тем, кто не попал в порт, как

она кинулась вперед, крикнула: «Не посмеете!..» Принесли цветы; розы, гвоздики закрывали лицо Мадо. Жозефина всхлипывала: «Вот как я к тебе привыкла...» У Мадо были широко раскрытые глаза, она глядела и как будто ничего не видела. Старый докер ее обнял:

— Спасибо от Ниццы...

И вскрикнул паровоз, все замелькало. Будут еще города, люди, цветы, жандармы, кровь — это жизнь — не сверху — плотная, трудная, живая...

70

В троллейбусе, возвращаясь домой из школы, Нина Георгиевна перечитала письмо Ольги: «У меня много нового, главное — я теперь работаю в управлении строительства. Это исключительно интересно. Строят не только завод, но и рабочий поселок, все делается так быстро, что мне самой не верится. Вообще в связи со сланцами у нас невероятное оживление. Начальник доволен мной, говорит, что я «толковая»,— это у него высшая похвала. Скучать мне некогда, так что ты напрасно меня жалеешь. Мамочка, береги себя, ты живешь, как студентка, это невозможно. В мае я получу отпуск, тогда приеду и наведу порядок...» Нина Георгиевна спрятала письмо в сумочку и улыбнулась: Оленька любит изображать себя практичной, смеется, когда я говорю о чувствах, а у нее большое сердце. Хорошо, что она приедет в мае. Конечно, она увлекается работой, но минутами она себя чувствует одинокой, я это знаю. Может быть, я сумею ее немного пригреть... И потом увижу Мусеньку. Наверно, выросла, поумнела, ей шестой год пошел... Нина Георгиевна посмотрела сквозь потное стекло на улицу. Мальчишка скользил по льду. Сегодня мороз, но на солнце тепло, да и дни длиннее, скоро весна.

Дома Нина Георгиевна приготовила себе кофе, потом села за работу. Десятый класс хороший. Миша Рогов прекрасно написал, вот только не дается ему сослагательное наклонение. Он вообще развитой мальчик, много читает. Вчера он сказал мне, что прочитал «Отверженных», Жан Вальжан его не тронул, это понятно—трудно теперь

поверить в такую фигуру, но идея романа его увлекла, он признался, что читал не отрываясь, не может забыть Козетту. Нужно будет почитать в классе стихи Гюго... У него есть чудесные строчки, как будто он вчера написал:

Старый мир

Есть у меня права. Не сменишь ты
Закона горя, войн и нищеты.
Уймись, уйди, пади, высокий вал!
Я устою, как я века стоял,
Но ты растешь, сметая все с пути.
Но ты идешь Я не хочу уйти.
Остановись — есть и тебе предел!
Смирись, как то господь тебе велел!
Побушевал, и хватит! Полно! Стоп!

Вал

Ты думал, я — прилив, а я — потоп.

От стихов Гюго Нина Георгиевна невольно перешла в мыслях к событиям, которые ее волновали. Она часто старалась представить себе страну, которую знала в дни своей молодости. Сейчас она вспомнила, как после года, проведенного в Бутырской тюрьме, она попала впервые в Париж. Растерялась: чужой язык, все непонятно, люди сидят на улице и пьют какие-то странные напитки. Наконец разыскала Егора, он едва успел поздороваться, как говорит: «Если ты не очень устала, пойдем сейчас на демонстрацию — протестуют против расстрела стачечников...» Огромная толпа, поют что-то... Вдруг из боковой улицы выскочили жандармы. Но толпа не дрогнула. Никогда я не забуду, как молоденькая женщина защищала крохотный флажок. Теперь она — старуха, как я, может быть умерла... И вот сегодня в газете напечатана большая корреспонденция: в Ницце потопили установку для самолетов. Впереди шла молодая женщина и так геройски вела себя, что жандармы ничего не смогли сделать... Я ее вижу и толпу вижу. Битва, которую я застала, когда приехала в Париж, продолжается. Только теперь все по-другому. Нас теперь не сломить. Китай, половина Европы... Поэтому они и хотят воевать, подымают новую бурю. А разве буря может их спасти?.. Больно только, что опять пойдут на смерть молодые. Как Сережа...

Прошло больше пяти лет с того дня, как Нина Георгиевна узнала о смерти Сергея. Горя она не изжила и не могла изжить: Сергей был для нее не только сыном, он был единственным другом, с которым она делилась своими радостями, сомнениями, мечтами. Он всегда ее понимал с полуслова. После войны она разглядела, оценила Васю. Он больше не казался ей спокойным, она открыла в нем страстность, дерзость замыслов, волю. Она им гордилась, знала, что он — талантливый архитектор, смелый человек. Порой она думала о нем, как о маленьком, огорчалась, что он слишком много работает, что ему тяжело в Минске без Наташи; порой он ей представлялся чересчур строгим. Никогда она не решилась бы ему признаться, что в шестьдесят четыре года сохранила способность удивляться, не спать всю ночь, потому что напала на увлекательную книгу, восторгаться, когда Миша Рогов или Вершинин хорошо прочитают стихи, мечтать о задушевной беседе. Однажды она поймала себя на мысли: вот с Дмитрием Алексеевичем мы понимаем друг друга, значит я состарилась, мне трудно с молодыми. Тотчас она возразила себе: когда я разговаривала с Сережей, я забывала, что я его мать. Да и с Валей мне легко. Значит, дело не в возрасте, просто у нас разные характеры. Вася за последнее время очень изменился, я теперь его лучше понимаю, мы могли бы о многом поговорить, глупо, что я его стесняюсь, нужно это преодолеть... Валя скоро не приедет, перекочевала в Орел, пишет, что обрела душевный покой, удовлетворение — удается работа, товарищи хорошие. Все-таки мне за нее неспокойно. У Оли Мусенька. Конечно, минутами ей тоскливо с мужем, но Синяков — порядочный человек, и он любит Олю. А у Вали никого нет... После письма Воронова я многое поняла. Сережа полюбил ту француженку большой любовью. Даже мне не сказал... Он хотел подавить в себе чувство и, кажется, не смог. Я по себе знаю, что значит разлад между мечтой и жизнью... Валю он ослепил, а согреть по-настоящему не согрел. Ужасно, что она не встретила человека, который ее увлек бы! Я одного хочу, чтобы она кого-нибудь полюбила...

Нина Георгиевна посмотрела на фотографию: Сергей стоял, откинув голову назад и чуть прищурясь. Так, на-

верно, он смотрел на ту девушку... Воронов не написал даже, как ее зовут, только — что он с нею сражался в одном отряде, что она, как он выразился, «смелая, красивая и такая, что ею нельзя не увлечься...» Почему Сережу убили? В каком-то сербском городке... Ведь столько вернулось... Воронов был в плену, убежал к французским партизанам, все его считали погибшим, он сам это рассказывал. Я утешала Наташу, а сама боялась, что Васю убили в первые же дни... Почему должен был погибнуть Сережа? Ведь он был необычайным, мне это может казаться, потому что я — мать, но это говорит и доктор Крылов, хотя он с ним мало встречался, Сережа его сразу поразил... Теперь в Югославии нехорошо, могила Сережи среди чужих, никто не положит весной цветов...

Она выкурила подряд несколько папирос и села снова за тетрадки.

Постучала соседка:

— Нина Георгиевна, вас к телефону просят из райкома.

Нина Георгиевна подумала: это насчет партсобрания, что же, доклад у меня готов... Но секретарь райкома сказал ей, что ее разыскивает один товарищ, недавно выбравшийся из Югославии. Сможет ли она его принять и когда? Нина Георгиевна, взволнованная, ответила: «Непременно... Если он у вас, пусть придет сейчас же...»

Она не могла больше работать: разнервничалась; говорила себе — почему я так волнуюсь, ведь Сережу никто не воскресит, и все-таки не могла успокоиться.

Наконец в комнату вошел высокий, очень смуглый человек, он хромал, опирался на палку. Он долго жал руку Нины Георгиевны, а потом поспешно, несвязно, путая русские слова с сербскими, начал рассказывать:

— Я оттуда... Вы знаете, что сделал Тито? Он всех предал. У нас теперь американцы... Я вас уверяю — в наш город приезжали два американца, привезли сгущенное молоко и грязные листовки, пишут, что советские войска нас не освобождали, что они хотели нас оккупировать. Страшная грязь, противно повторять! Конечно, предатели теперь говорят то же самое. Вукманович не постыдился вслух сказать: «Русские нас не освободили, мы им помогли войти в Венгрию...» Вы меня простите, что я

говорю так громко — у меня сердце наболело... Они меня схватили, я убежал, меня пять месяцев прятали честные люди. Когда я переходил границу, один негодяй прострелил мне ногу... Я — простой человек, я был учителем в начальной школе, три года воевал в партизанской армии, потом вернулся домой. Я, конечно, многого не понимаю, дипломатия не моего ума дело. Но я знаю, что нельзя жить без верности... Я к вам пришел, потому что вы мать нашего героя, у нас в городе так и говорят «наш Сергей». Если бы я только затем выжил в тюрьме, только затем перешел границу, чтобы пожать вашу руку, я сказал бы — стоило все это пережить. Вы меня простите, я даже не знаю, как вас зовут... Нина Георгиевна? Я должен вам сказать, Нина Георгиевна, не верьте, если говорят, что наш народ с изменниками. Народ не забыл, что сделали русские... У нас маленький город, всего двадцать тысяч жителей, но это хороший город, очень старый, он стоял еще при короле Лазаре, до турок... Когда были немцы, от нас много ушло к партизанам... Сергея похоронили на главной площади под большим кленом. Вы думаете, народ его забыл? Никогда! На его могиле всегда цветы, и женщины ставят свечи... Но я хочу вам сказать больше...

Он вдруг остановился, попросил стакан воды.

— Вы меня простите — я очень волнуюсь... Я хочу вам сказать, что Сергей победил американцев. Когда они привезли свои листовки, изменники устроили большое собрание, согнали чуть ли не всех. Это было на главной площади... Конечно, американцы стояли в стороне, их выдавали за журналистов. Предатели начали повторять все, что было в американских листовках. Тогда люди закричали: «Неправда!.. Наш город спас русский...» Ваш сын как будто встал из могилы... Им не дали говорить, люди ушли, не хотели слушать такую грязь. А на следующий день все принесли на могилу Сергея цветы. Один американец сфотографировал — гора цветов. Сергея у нас многие видели. Одна девушка, ее зовут Вида, с ним ехала в машине. Она теперь в тюрьме. Она мне рассказывала, как русские саперы строили мост. Потом начался бой... Сергей командовал, пока немцы не капитулировали. У нас часто рассказывают, как он стоял на площади, когда танцевали коло... Он два раза спас наш город:

второй раз, когда поднял людей против предателей. У нас в тюрьме теперь восемьсот человек. Могут посадить всех без исключения, потому что все помнят вашего сына... Нина Георгиевна, если что-нибудь есть у человека, ради чего стоит жить, это верность!..

Нина Георгиевна подошла к нему и поцеловала его в лоб; на его лицо скатились ее слезы.

Он смущался, хотел сразу уйти. Она взяла себя в руки, угостила его кофе, спрашивала, как он себя чувствует в Москве, слушала, что он рассказывал о жизни сербского городка.

Когда он ушел, она не сразу собралась с мыслями. То, что она узнала, казалось ей таким большим и важным, что она подумала: это как вторая жизнь... Сколько раз в минуты слабости и малодушья она спрашивала себя: почему Сережа погиб, да еще в стране, которая теперь чужая? Сколько раз отвечала себе, что память о Сергее должна многих стыдить, говорила об этом и Васе и Дмитрию Алексеевичу. Но сейчас она видела старый город у подножия горы,— турецкая крепость, монастырь, горная речка, каштаны, клены, дома ярусами... Ее уши наполнял гул голосов: толпа стояла на большой площади. Под кленом трепетали тоненькие свечи среди первых цветов весны — фиалок, подснежников. Изменники жались к стенам, отворачивались. А два американца удивлялись: что случилось? Только они не видели того, что видели все: рядом с кленом стоял Сергей, откинув назад голову, и смутно улыбался. Сереженька!..

Она выплакалась, потом села к столу, взяла тетрадки и еще раз вспомнила: «Если есть что-нибудь, ради чего стоит жить, это верность!..» Я могу оглянуться назад: длинная жизнь, мало что удалось сделать — это не пламя, а тонюсенькая свечка... Но таких свечей очень много, и все вместе они светят...

71

Газеты каждый день сообщали об убийствах, взрывах, кровавых стычках, и читатели давно позабыли «драму в Шантийи», волновавшую их год назад. Иногда следователь Пюшар вспоминал Рене Морило и морщился,

как будто проглотил стакан уксуса: ему казалось, что его подвели не те, кто подбросил ему «мертвое дело», а коммунисты, они попытались испортить его карьеру, он все-таки уцелел, а вот коммунистам не уцелеть, пусть только попадутся!..

Если «драма в Шантийи» снова заставила о себе говорить, то повинен в этом был Гастон, хотя никто его не называл. Получив от Люшера тридцать тысяч, Гастон, разумеется, не уехал в Алжир, а вернулся к прежним промыслам: торговал кокаином, иногда грабил. Некто Жюль, поставщик кокаина, как-то привел с собой репортера Френе, который писал очерки о парижских бандитах: «Это порядочный парень, я с ним два года проработал, но бедняга теперь на мели. Расскажи ему что-нибудь посмешнее...» Гастон был осторожен, ничего ни о себе, ни о своих партнерах не рассказал; но знал он множество историй, и Френе был в восторге: «Сенсация одна за другой — по меньшей мере на десять статей...» Гастон, польщенный вниманием, сказал: «Есть еще одна банда — «Василек», командует ею Фабр из «Экспортер реюни», но это вам не подойдет — политика... А работают они шикарно. Помните — хотели взорвать поезд у Шантийи и подстрелили дамочку? Это «Василек». Френе был человеком общительным и любил подносить собеседнику сногсшибательные новости; две недели спустя история о связи Фабра с бандой «Василек» обошла город. Гарси удивился: оказывается, правда... Что же, Фабр — смелый человек. Когда имеешь дело с коммунистами, смешно придерживаться буквы закона. Конечно, это — грязное дело, я за него не взялся бы, но, говоря откровенно, можно только поблагодарить Фабра... Пино сказал: «Я не думал, что Фабр такой ребенок. Ну, сколько коммунистов они могут убрать? Скажем, сотню. А убрать нужно по меньшей мере сто тысяч. Игра не стоит свеч».

В газете «Се суар» появилась статья «Ученики Геринга», посвященная банде «Василек», которая хотела взорвать поезд близ Шантийи и ранила Ивонн Дешелле. «Это преступление,— писала газета,— судебные органы попытались свалить на коммунистов, арестовали доктора Рене Морило, но вскоре были вынуждены его освободить. Преступников так и не нашли. Теперь мы знаем, что

это — дело Фабра. Посмотрим, сделают ли судебные органы соответствующие выводы». Прочитав статью, Фабр отправился к Гарси за советом. Гарси сказал: «Я буду вашим адвокатом. Мы выиграем процесс — это типичная клевета...»

Фабр давно слил группу «Василек» с группой «Лютеция»; работы было много, и он разбил чересчур большую организацию на восемь номерных групп, которые попрежнему про себя называл «босяцкими». За последние полгода эти группы произвели в Париже и в пригородах свыше тридцати операций. Фабр был удовлетворен результатами. Пусть Бидо или Кэй болтают о вреде красной пропаганды, мы поджигаем типографии, книжные лавки, убираем подстрекателей, это куда серьезней. Если правительство теперь вносит законопроект о борьбе против коммунистов, то заслуга прежде всего принадлежит «босяцким» группам...

Когда Рене показал Ивонн «Се суар», она удивилась: «Почему «Василек»?..» Рене засмеялся: «Гитлер любил незабудки...» Больше они об этом не говорили. Они редко вспоминали недели испытаний, с которых началось их счастье: были поглощены работой, борьбой, той большой драмой, в которой приключившееся с ними казалось коротким эпизодом. Ивонн продолжала работать в архитектурной мастерской. Рене каждое утро принимал в диспансере, оттуда шел в лабораторию. Профессор Брюннель был с ним сух, но вежлив; стоило, однако, Рене отойти в сторону, как профессор говорил сотрудникам, что работа Морило не имеет ничего общего с наукой и наносит ущерб авторитету института. Рене надеялся к лету закончить опыты и сесть за книгу.

Был ветреный вечер февраля. Вернувшись из лаборатории, Рене работал дома. Поглядев на часы, он взволновался: почему Ивонн запаздывает? И сразу вспомнил — забастовка, нет метро. Он взял газету, прислушивался, не идет ли Ивонн. Наконец-то! Он снял с Ивонн пальто и начал кружить ее по комнате. Они прожили вместе почти год, а им все казалось, что они встречаются украдкой и что через минуту им придется расстаться. Чем больше была любовь, тем труднее было ее выразить. Ивонн

как-то сказала: «Не спрашивай, кажется сердце разорвется... Да нет, ты не понял — от счастья...»

Ивонн убежала на кухню:

— Если будешь целовать, я ничего не смогу приготовить. А ты позвал Самба...

Он все-таки не выдержал:

— Пришел тебе мешать.

Позвонили — доктора просят на третий этаж к госпоже Лемоннье, там заболел ребенок.

Ивонн готовила обед. Ее мысли были поспешными и туманными. Ей почему-то казалось, что она с Рене в Савойе, хотя они никуда не уезжали из Парижа. Высокие горы, река, она с шумом несется вниз, срывает деревья. Что с ней станет? Потеряется летом, впадет в другую или сделается широкой, медленной?.. Когда слабое течение, все отражается, как в зеркале,— листья, облака, черепица дома. Почему в воде все красивей, чем на самом деле?.. Вчера я спросила Рене, встречал ли Стендаль таких женщин, как описывал. Он ответил: «Конечно,— у себя в кабинете, в Чивитта-Веккья, когда писал...» Я никогда не смогла бы ничего придумать. А если описать, как я люблю Рене, никто не поверит, даже Рене скажет «мелодрама», а ведь это на самом деле. Никогда я об этом не скажу — слов нехватит...

Рене привел с собой Самба — они встретились на лестнице. Самба потолстел; широкоплечий, неуклюжий, с непомерно большой головой, поросшей седыми жесткими волосами, которых не брала ни одна щетка, он походил на диковинного зверя. Он молча поздоровался с Ивонн, сел за стол, постучал трубкой о каблук, вытряхнул пепел и смутился.

— Вы меня простите, госпожа Морило. И за то, что опоздал, простите. Автобусы тоже забастовали, еле нашел такси...

Нечего было приходить, подумал он. Ясно, что она сердится: напачкал, жаркое пережарилось, а ничего интересного я не расскажу...

Самба часто бывал у покойного доктора Морило, и Рене он знал, когда тот был еще школьником. Ивонн он видел впервые, и она его стесняла. Он жил нелюдимо,

сидел в своей мастерской, иногда отправлялся в маленькие бары и пил там с незнакомыми людьми.

— Все бастуют,— сказал он,— как в сорок седьмом, здесь кончат, там начинается...

— Не удивительно,— сказал Рене.— Достаточно поглядеть на детей в моем диспансере... Бедье недавно заявил: «Коммунисты сгущают картину». Может быть, он не знает, как зимой люди мерзли? А если его посадить на суп из вонючей трески?..

Самба усмехнулся:

— Я его раз видел — он приходил на выставку. Этот сожрет любую гадость, лишь бы сорвать аплодисменты... Я не читаю газет, но недавно зашел в бар — напротив моей мастерской, там говорили, что Бедье влип с каким-то чеком...

Рене развернул газету:

— Пожалуйста... Вот он в ресторане Лаперуз. Завтрак, разговоры, сколько кому дать за Индокитай. А вот на трибуне, говорит о «честности»...

— Все-таки удивительно — как такой жулик вышел в люди?

— А разве другие лучше? Продают страну американцам, как за прилавком: «Хотите Ля Рошелль? Пожалуйста. Шербург? Можно. Аэродром Орли? Ну, это мелочь, впридачу. Может быть, Бордо или Гавр?» Перестали стесняться. Ты, наверно, не знаешь... В Париж приезжал недавно приятель Абеца Ширке. Нивель издает его «мемуары»...

Самба снова усмехнулся:

— Мне рассказывали, что Мадо его проучила... Я при немцах как-то выпил и вижу — Нивель. Это было на набережной. Ничего я ему не сделал, только пригрозил, что его повесят. А его не повесили... Слова вообще ничего не стоят, я поэтому не читаю газет. А вот что Мадо дала Ширке по морде, это хорошо.

Он покосился на Ивонн: наверно, считает, что я дурно воспитан. Ивонн улыбалась: Самба ей понравился. Рене прав — сразу чувствуется, что он — настоящий...

Самба, помолчав, сказал:

— Я знаю, что она в Ницце сделала, мне в булочной рассказали. Чудесно!.. Только что это даст? Бросили

в море, а те вытащили. Другая девушка, забыл имя, легла на рельсы. А поезд прошел...

Рене возмутился:

— Если весь народ ляжет на рельсы, кончено. Не Бедье же пойдет воевать. Вчера мать одной больной девочки сказала: «Если американцы сами не уйдут, мы их всех скинем в море, как в Ницце...» А ты спрашиваешь, что это может дать...

— Таких, как Мадо, мало,— сказал Самба.

Ивонн, которая все время молчала, тихо, но убежденно ответила:

— Конечно, таких, как Мадо, мало... Но вы не думайте, что другие будут терпеть. Я вас уверяю, каждая француженка...

Она смутилась и не кончила. Самба поглядел на нее с удивлением. Лицо Ивонн было напряжено и казалось еще бледнее обычного, на нем светились большие темные глаза. Он проворчал:

— Женщине проще, у нее сердца больше...

Он повернулся к Рене:

— Где Лежан?

— В Ля Рошелли. Там теперь неспокойно...

— А где теперь спокойно?

Он задумался, потом снова заговорил:

— Чуть-чуть не задал тебе дурацкий вопрос — будет ли война. Как будто ты можешь знать, что думает Трумэн. Да он, может быть, сам не знает. Но все решительно спрашивают: «Будет, не будет?» Помню, в тридцать девятом, нет, раньше — в тридцать восьмом, летом, не уезжали из Парижа, тоже гадали: будет, не будет. Говорят, что кошка — живучая тварь. А по-моему, человек... Я вчера сидел в том самом баре, напротив мастерской, это дешевенький темный бар. Рядом сидели двое, весь вечер они спорили, что действительней: атомная бомба или какой-то яд, не помню названия — американцы придумали. Один говорил: если скинут бомбу на Лувр, ничего не останется даже от Версаля. Другой возражал: дома им нужны, они будут травить... А слева от меня сидел какой-то человек, я его не разглядел — там всегда темно. Пришла женщина. Он на нее напустился: «Почему ты опоздала?» Она отвечает: «Ты же знаешь, что я не могу

выйти из дому, пока не уйдет Клод, а он как назло не уходил...» Начали шептаться, потом целуются. Мне вдруг стало смешно: а может быть, этот Клод вовсе ее не ревнует, просто сидел и думал: куда мне торопиться? Я стараюсь побольше заработать, откладываю пятьсот франков в месяц на холодильник, а через год шлепнется бомба и на холодильник, и на ее любовника, и на меня. Ничего нельзя понять: с одной стороны, люди потеряли голову, боятся, нервничают, а посмотришь — живут. Куда тут кошкам, кошки давно бы сдохли!.. Мадо замечательно сделала... Только я не знаю, поможет ли... Ну, скажи мне, пожалуйста, ты можешь спокойно работать? Ты мне говорил, что занят опытами в лаборатории. Хорошо, а вот это безобразие тебе не мешает?

Рене засмеялся:

— Конечно, мешает. Только я знаю, что с этим можно справиться. В сороковом, когда немцы начали наступать, говорили: «У них танки, самолеты, ничего не сделаешь, зачем зря лезть на рожон...» Вот они и прошагали до Бордо. А русские показали, что справиться можно, если есть воля. Так и с войной... Войну можно предотвратить, я в этом убежден... А работать — работаю. Конечно, уничтожить рахит в данных условиях невозможно, но мы можем его оттеснить...

Позвонили. Рене вышел в переднюю и тотчас вернулся:

— Просят к больному. Это недалеко. Ты посиди с Ивонн, я скоро приду, будем вместе пить кофе.

Самба мрачно посмотрел на Ивонн. Совсем глупо, не нужно было приходить... Ивонн понимала, что должна занять Самба разговором, но не знала, что ей сказать. Вспомнив недавние свои мысли, она вдруг спросила:

— По-вашему, Стендаль встречал таких женщин, как описывал?

Самба сердито ответил:

— А как же? Без натуры ничего нельзя сделать. Вы думаете, Рафаэль придумывал? Ничего подобного — он глядел. Только глаза не у каждого. Так и с книгами. Вам Мадо нравится?

Ивонн еле выговорила от смущения:

— Она... необыкновенная...

— Я ее еще девочкой помню. Она тоже живописью занималась. Жалко, что бросила — у нее большие способности... Я ее когда-то часто писал — бывало лучше, бывало хуже, в общем ничего особенного. И вот я ее написал прошлым летом у себя в мастерской... Я теперь отвратительно работаю, критики пишут, что хорошо, но я-то вижу, что отвратительно. Это потому, что я не знаю, как нужно работать. Никто теперь этого не знает. Если пойдете в Салон, увидите прекрасные вещи, но чьи? Боннар, Матисс, Руо — глубокие старики. А на молодых и смотреть не хочется. Я не люблю условной живописи, когда художник ничего не видит — ни света, ни цвета, все придумано... Но я не об этом хотел сказать... Одним словом, я теперь отвратительно работаю. А вот портрет Мадо у меня вышел, все это говорят, да я и сам вижу. А почему он вышел?.. Не только потому, что я видел, этого мало. Сердце, кстати, тоже участвует, без сердца нет искусства. Нужно пережить самому, понимаете? Я вам сейчас отвечу на ваш вопрос. Стендаль, во-первых, встречал замечательных женщин, во-вторых, это еще важнее, он их любил, ну а в-третьих, он знал, что такое искусство, это, конечно, главное... А я вот ничего не знаю...

Он сидел, опустив большую взлохмаченную голову. Ивонн почему-то стало жаль его, захотелось утешить. Но вместо этого она сказала:

— Я не знаю, кого вы встречали и любили ли, а что искусство вы понимаете — это я чувствую...

Рене пришел через час, весело сказал:

— Ну что, будем пить кофе?

— Тебя часто так вызывают? — спросил Самба.

— Да не очень... Это не к больному... Товарищ забежал — здесь рядом отделение «франко-советской дружбы». Они хотели поджечь...

— Погоди... Кто?..

— «Васильки». Те, что в Ивонн стреляли... Конечно, не те самые, но из той же банды. Все обошлось. Одному из наших камень попал в плечо, ушиб... Их быстро прогнали. В прошлое воскресенье было хуже — они напали на товарищей, которые продавали «Юма», ранили девушку. А в январе гранату бросили...

— И ты вот так пошел, даже не сказал?..

Рене улыбнулся:

— А зачем говорить? Пустяки... Это чуть ли не каждый день...

Он был весел, рассказывал много смешных историй, показал, как гримасничал Нивель, когда Саблон заговорил про агентство. Самба громко смеялся и вдруг встал:

— Пойду. Мне ведь через весь город.

Он ушел, большой, печальный; шел в ветреную, тревожную ночь от северной заставы к южной; мерял шагами длину города; и грусть его была длинной: он думал о своей любви; никогда он не расскажет о Мадо, как рассказал Стендаль о женщинах, которых любил; думал о том, какие были глаза у Ивонн, когда она ответила, что каждая француженка может пойти на смерть, и как спокойно, буднично говорил Рене «бросили гранату»... У них своя жизнь. Своя жизнь и у Мадо — вера, борьба, горение. А он один, с его сомнениями, со смутной памятью о том, как он дрался на баррикадах и потом заблудился среди трех сосен искусства.

— Ты знаешь, Рене,— сказала Ивонн, когда они остались вдвоем,— я сразу поняла, что ты идешь не к больному... Теперь, когда что-нибудь случится, ты меня возьмешь с собой, хорошо?

Он ее обнял.

— В тюрьме я думал только об одном, спрашивал следователя, что с тобой... Я не понимаю,— как бы я мог жить без тебя? Ну, скажи, что это?..

— Не знаю... Но так и со мной.

72

Бедье родился в Ля Рошелли, где у его матери был магазин готового платья; учился он в Париже, а каникулы проводил дома. Ему нравился родной город — старинными башнями, улицами с аркадами, матросами, приходившими из соседней Ля Паллис, рыбаками, туристами, свежим, морским ветром. Потом мать умерла, и связь Бедье с Ля Рошеллью порвалась. Когда невеста спросила его, не хочет ли он провести медовый месяц в городе, где родился, он ответил, что предпочитает Швейцарию.

Однажды, выступая в парламенте, Бедье помянул родной город: «Господа коммунисты пытаются опорочить своих противников, я им отвечу, что я участвовал в сопротивлении, я был верен заветам четырех сержантов из Ля Рошелли, восставших против Бурбонов, которые были навязаны Франции чужеземцами». Это было риторическим приемом: Бедье не думал о Ля Рошелли до прошлой осени, когда Нильс при нем сказал Плевену: «По-моему, Ля Паллис — идеальный порт для снабжения европейской армии. Придется, конечно, поработать, в частности над подъездными путями... Одно плохо — там много красных». Бедье улыбнулся: «Я хорошо знаю Ля Рошелль — это моя родина. Право же, там коммунистов куда меньше, чем в Париже. Их может стать еще меньше — в известной степени это зависит от энергии префекта...»

С того разговора прошло четыре месяца, а положение в Ля Рошелли обострилось. Когда в январе докеры Ля Паллис отказались погрузить оружие для Индокитая, Нильс рассмеялся: «С каких пор грузчики решают дипломатические проблемы? Наборщик набирает, никто его не спрашивает, нравится ли ему текст. Надо посадить этих наглецов на голодную диету...» Нильс уехал на юг, там у него были новые огорчения, новые заботы. Бедье, однако, внимательно следил за событиями в Ля Рошелли. Докеры не сдавались; их поддерживали не только рабочие, но и значительная часть населения. Префект попросил прислать новые части «CRS».

Бедье чувствовал, что за последнее время Нильс к нему охладел; перед отъездом в Марсель он пригласил Бидо, Бастида, Гарси, Пино, а Бедье обошел. Это не только грубо, но и глупо, говорил себе Бедье. Теперь, когда коммунисты пытаются меня оклеветать, Нильс мог бы подчеркнуть свое внимание. Впрочем, смешно ждать от американца такта... Бедье помнил слова Нильса о важности Ля Рошелли и, желая снова заслужить его доверие, начал внимательно читать сводки. Невольно он вспоминал молодость — мелькали знакомые названия улиц, имена людей, которых он когда-то встречал. Он удивился, прочитав, что владелица мебельной мастерской, госпожа Бержере, пожертвовала десять тысяч в пользу докеров. Она считалась хорошей католичкой, ходила в церковь.

Бедье когда-то ухаживал за ее дочкой, и Жаннета просила: «Не говори при маме, что ты ни во что не веришь, она запретит мне с тобой встречаться...» Это было пятнадцать лет назад. Жаннета, наверно, давно замужем, Бедье — депутат католической партии, а госпожа Бержере помогает коммунистам...

Однажды Бедье, проглядывая сводку, увидал, что на собрании выступал Лежан. Оказывается, он работает на верфи. Бедье вышел из себя, что с ним случалось очень редко. Можно ли себе представить большее безобразие? Зачем им понадобился Лежан? Как будто во Франции мало инженеров!..

Бедье не забыл своей встречи с Лежаном. Никогда, думал он, я не видел такого фанатика. Я с ним проговорил, наверно, час, и он ни разу не улыбнулся. Они кидают спичку в бак с бензином, а потом удивляются, что горит... Он позвонил министру внутренних дел, тот повздыхал («действительно глупо»), обещал принять меры. Это было восемнадцатого февраля; два дня спустя о Ля Рошелли заговорили все газеты. Нильс, вернувшийся накануне из Ниццы, в досаде сказал своему секретарю: «Франция — это трухлявая юбка, только сумасшедший может верить, что он ее залатает, она расползается под пальцами. Я начинаю думать, что генерал Даус прав. Двадцать немецких дивизий лучше, чем все улыбки Гарси или Бедье. Это печально, но это так... Остается география: Гамбург не заменит Ля Рошелли, мы можем обойтись без французов, но не без Франции».

Лежан, как только он приехал в Ля Рошелль, встретился с докером Ру; это был молчаливый коренастый человек лет сорока с большим шрамом на щеке (в сорок первом он не выдержал, крикнул: «А Москва-то держится!», эсэсовец ударил его по лицу нагайкой). Ру сказал Лежану: «Это хорошо, что ты приехал. Здесь теперь передний край». На глухой стене при входе в порт Лежан увидел большую надпись: «Никогда Ля Рошелль не станет американской!» Населению жилось плохо. Рыбаки рассказывали, что порой приходится кидать улов в море: рыбу привозят отовсюду — из Исландии, Голландии, Марокко. Фабрики консервов позакрывались. Старый рыбак усмехался: «Вот ты говоришь, что американцы не помогут,

а по-моему, помогут — поскорее отправиться на тот свет...» Среди строительных рабочих было много безработных. Город пострадал от войны, но домов не отстраивали; огромные семьи ютились в полусгнивших бараках. Трудней всего было докерам: они работали десять дней в месяц, заработка нехватало, чтобы прокормить семью. Ру как-то сказал: «Все говорят, что они за мир, что пора кончать с «грязной войной», а докерам приходится не говорить, но действовать...»

По городу шли слухи, что в порту нацистские офицеры производят засекреченные опыты с подводными лодками. То и дело приезжали американцы, осматривали портовые сооружения, арсенал, пути. Докеры и рабочие понимали, что готовится новая оккупация; но были и среди них колеблющиеся. А ремесленники, лавочники, служащие читали «Сюд-уэст» или «Ля Шарант либр», там говорилось, что русские хотят захватить Францию, не будь американцев, они давно бы заняли Ля Рошелль; докеры терроризированы кучкой коммунистов; Ру недавно получил из Москвы большие деньги и перевел их в Швейцарию; Лежан — изверг, после освобождения Парижа он убивал на улице школьников. Нужно было доказать наивным, что это — выдумки, объяснить мастеру Бобино, что русские предлагают запретить атомное оружье не потому, что они слабее, бомба и у них есть; успокоить рыбака Феликса — никто не собирается отобрать у него лодку; сказать Брие, что, если Ля Рошелль станет американской базой, прощай его домик. Бедье удивлялся, как могла госпожа Бержере поддержать докеров, он не знал, что, прочитав в газете о ста тоннах мелинита, привезенных в Ля Рошелль, она прижала к себе внучку и закричала: «Они сошли с ума! Совести у них нет...» Она дала деньги после того, как Лежан объяснил ей, что докеры против войны.

Лежану приходилось выступать почти каждый вечер, он говорил об атомной бомбе, о связи между грязной аферой с чеками и «грязной войной» в Индокитае, рассказывал, как Бедье помог задушить французскую авиапромышленность, как американцы вооружают эсэсовцев.

Оглядев его пустую, печальную комнату, в которой не было ни одной безделушки, ничего способного создать уют, Ру спросил: «Ты что, один живешь?..» И сразу

спохватился: товарищи рассказывали, что Лежан в годы войны потерял семью. А Лежан спокойно ответил: «Я здесь мало бываю — только когда сплю...» Он не мог никому признаться, как мучительно переживает одиночество в те редкие часы отдыха, когда люди болтают о пустяках, мечтают, нянчатся с детьми. Он страдал бессонницей от переутомления: сразу засыпал, а час спустя просыпался и уже не мог уснуть; пробовал читать, но усталость мешала сосредоточиться; перед ним проходили несвязные картины прошлого. Иногда он отчетливо слышал, как Жозет играет ноктюрн Шопена, иногда раздавался детский смех Мими. Чаще всего он вспоминал Поля; хотел представить себе, как застенчивый мальчик превратился в человека, своей стойкостью поразившего гестаповцев, понять, что он перечувствовал, передумал, когда лежал тяжело раненный и ждал, что его поведут на расстрел. Лежан знал одно — строчки стихов, которые Поль повторял перед смертью:

И розы вдоль всего пути
опровергали ветер смерти...

Значит, он умер любя, слышал запах роз в горячий июльский вечер, знал, что ветер смерти бессилен перед жизнью. Как это просто и как недоступно в обычной, будничной суете, когда смерть играет в прятки, когда мелькают часы, буквы, лица и не успеваешь сосредоточиться, ощутить полноту, тепло жизни! Почему Поль погиб и я не могу сейчас его обнять, услышать, как он опровергает смерть?..

А утром Лежан шел на завод, работал, спокойно, терпеливо разговаривал с инженерами, с рабочими, потом отправлялся в городской комитет или к докерам в Ля Паллис, жил тем, что у него осталось: товарищами, партией, Францией.

После того как в январе докеры отказались погрузить ящики с оружием на «Ла Фалез», их решили взять измором. Порт превратился в военный лагерь. Страшно было заглянуть в трущобы Ля Паллис — голодные дети глядели на картофелины, как на пирожное. Изо дня в день Лежан повторял: «Помощь докерам или американцы и гибель». Собирали деньги на заводах, обходили лавки, привозили из деревень живность. Лежан получил теле-

грамму от Мадо: женщины Парижа шлют детям докеров муку и сгущенное молоко. Солдаты, которых заставляли грузить оружье, отдавали докерам жалованье, табак.

Двадцатого февраля в порту стояли суда: «Альфа» — на нее грузили маис, «Сэн» — с удобрениями и «Орэ», которое должно было взять оружье для Индокитая. Еще не рассвело, когда тридцать грузовиков с «CRS» подъехали к набережной. Утром к докерам пришла женская делегация. «Матери и женщины вас благодарят»,— взволнованно сказала молодая женщина и обняла Ру. Офицер «CRS» крикнул: «Мы их тоже поблагодарим!..» Экипаж «Орэ», собравшись, решил поддержать докеров. Привезли солдат, приказали им грузить ящики. «CRS» избивали рабочих, пытавшихся подойти к порту.

Вечером был митинг, выступали докеры, рабочие, женщины. Когда собрание кончилось, люди двинулись по широкому бульвару Эмиль-Дельмас. Ру разыскал в толпе Лежана:

— Скажи им несколько слов...

Рабочие подняли Лежана на плечи.

— Мой сын был с партизанами и погиб, ему было восемнадцать лет, группа, в которой он сражался, называлась «Сталинград». Против наших докеров вывели настоящую армию. Но докеры держатся. Американцы сошли с ума, если думают, что мы пойдем воевать против людей Сталинграда. Никогда Ля Рошелль не будет американской! Никогда французы не станут наемниками! Никогда смерть не победит!..

Толпа запела «Марсельезу»:

Вперед, отечества сыны!

«CRS» кинулись на женщин, били дубинками, прикладами; повалили тетку Кюфо, которую знали все в городе,— ее троих сыновей замучили немцы. Ру поднял женщину, крикнул:

— Меня бей, подлец! Одну щеку разбил эсэсовец. Вторая что, для тебя? А ну подойди, задушу!..

Полицейский подкрался к нему сзади, ударил по голове. Ру упал.

На Лежана надели наручники.

Настала ночь, полная ветра и криков. Ля Рошелль

не засыпала; люди ходили по улицам; горе и гордость ширили сердца.

Лежан в камере вздрогнул: под окном звенела «Марсельеза». Песня смешивалась с ветром, который крепчал. Толпа долго пела возле тюрьмы. А вдалеке бушевал океан.

Потом все стихло. Тюремная ночь была черной и пустой. Но Лежан слышал музыку, смех, шопот. Он шевелил губами:

И розы вдоль всего пути
опровергали ветер смерти...

73

Бедье был прекрасным семьянином, это знали все, кроме его супруги. Дочь нантского домовладельца, разоренного войной, госпожа Полина Бедье получила воспитание в католическом пансионе. Замужество было для нее освобождением. Бедье ее очаровал, как он очаровывал сотни людей, с которыми встречался; он не скупился на комплименты молодой жене, рассказывал ей забавные истории, приносил подарки. Она считала себя счастливой до того дня, когда случайно нашла в пиджаке мужа записку: какая-то Клодина писала «своему цыпленку», что ее выгнали из мастерской, он должен понять почему, и теперь ей дозарезу нужны двадцать тысяч франков. Полина подумала, что это шантаж; но когда она показала записку мужу, тот рассердился, сказал, что стыдно рыться в чужих карманах и что жизнь не пансион для девиц. Полина пролежала весь день с лицом, распухшим от слез. Это было два года назад; Бедье давно позабыл про Клодину, ее сменила Мари, потом Фернанда, потом Люси. Он часто менял любовниц, но Полину он обожал и считал себя примерным мужем.

Он часто задумывался: что станется с его семьей, если начнется война? А война обязательно начнется, и скоро. Нильс занят организацией баз, значит Франции не отвертеться... Будущее Бедье рисовал в самых мрачных красках... Первым делом американцы сбросят бомбу на Москву. Нам от этого легче не будет. Русские займут Францию. Потом американцы начнут нас освобождать. Гарси хорошо сострил: «Может быть, я и переживу оккупацию,

но освобождения никто не переживет». Можно отослать Полину и девочку в Бразилию или в Аргентину, но на что они будут существовать?.. Гарси не глуп: он вложил деньги в «Мексикен игл», его семья обеспечена.

Узнав, что некоторые депутаты замешаны в аферу с чеками, Бедье поморщился: это прежде всего глупо, нельзя давать коммунистам такой козырь. У Бедье чистые руки. Один раз Ван Ко угостил его завтраком. Завтрак был чудесный, но это не преступление. Он не получил ни одного франка...

Он изумился, когда Лаглан ему сказал:

— Коммунисты собираются припутать и тебя к делу Пейре — Ван Ко. Это, конечно, по секрету — у нас есть информатор...

— Меня?.. Но я ни разу не разговаривал с Пейре...

— Что ты хочешь, когда коммунистам надо очернить противника, они не брезгуют ничем...

Бедье задумался. Что они могли сочинить?.. Правда, его дела за последний год поправились, он может немного обеспечить семью. Но он не крал, не обманывал, он честно работал. Когда он восемь месяцев просидел без министерского портфеля, ему пришлось заняться журналистикой. Нильс попросил его написать несколько статей для американской печати. Мог ли он отказаться? Конечно, он обрадовался, получив от Нивеля чек на сорок тысяч долларов, ну и в этом нет ничего плохого. Американцы хорошо платят, конечно не всем, но когда под статьей стоит «Бедье, бывший министр», это что-нибудь да значит... Вообще глупо об этом думать: «Трансок» не имеет никакого отношения к афере Пейре — Ван Ко. Может быть, коммунисты ухватились за статью в «Ревю азиатик»? Но что тут преступного? Бедье по образованию — экономист, он всегда интересовался колониями. Файяр попросил написать... Заплатили хорошо, Бедье не вульгарный газетчик, а крупный специалист. Связь здесь только внешняя: Индокитай... Они могут спросить, почему он в комиссии предлагал усилить экспедиционный корпус. Он руководствовался патриотическими мотивами: если красные свергнут правительство Бао Дая, Франции придется проститься со всеми колониями. Никто ему за речи не платит... Коммунисты зарываются, это плохо для них кончится.

Бедье все же не успокоился. Может быть, не следовало давать статью Файяру? Это скользкий тип... Препротивная история! Почему коммунисты ополчились именно на меня? Я понимаю, что им не нравится вся линия правительства, но, откровенно говоря, я в кабинете самый левый, я стараюсь сгладить углы. Они могли бы понять, как это трудно...

Подумав, Бедье решил, что нужно выиграть время. Комиссия, которая занимается аферой, скоро кончит работу. Коммунисты покричат и уймутся. Главное, сейчас их успокоить... Конечно, с американцами глупо ссориться, но это вопрос дозировки... Три года назад Бедье произнес речь о борьбе с дороговизной, одной фразе аплодировал центр, другой — коммунисты. Почему бы теперь не попробовать?.. Обмана здесь нет, это политика.

Бедье выступил с речью о германской проблеме. Он сказал, что у Франции есть испытанные друзья — Америка, Англия. Он не возражает против привлечения Западной Германии к более тесному сотрудничеству, но он относится отрицательно к возрождению прусской военщины: «Я говорю, как француз. Кровь леденеет в жилах, когда я думаю, что может быть восстановлена армия, за короткий срок трижды вытоптавшая нашу страну. Я знаю, что коммунисты пользуются пугалом вермахта для своей пропаганды. Но есть и среди коммунистов люди, которые протестуют против создания немецкой армии не потому, что таковы директивы Коминформа, а потому, что они — французы. Недавно нашу страну посетил господин Ширке. Я против той кампании, которую вели коммунисты, она привела к эксцессам, бросающим тень на гостеприимство Франции. Я с удовольствием прочитал интервью господина Ширке в «Фигаро». Но я помню, что, когда я был в сопротивлении, он был советником Абеца...»

Бедье кончил. Раздались жидкие хлопки: аплодировали, да и то нехотя, его личные друзья.

В буфете Бедье попробовал заговорить с коммунистом Дюраном, которого считал наименее твердокаменным:

— Помните, как в сорок четвертом мы выступали вместе на митингах?.. Неужели теперь мы не можем найти общую платформу хотя бы в германском вопросе?..

Дюран усмехнулся:

— Вы не поделили чего-нибудь с Бидо?..

День спустя Нильс сказал Бедье:

— Вы льете воду на мельницу красных. Мобилизовать шовинизм на службу Москвы — плохая услуга и нам и Франции.

Напрасно Бедье пытался объяснить, что он вынужден считаться с настроением рядовых французов.

— Вы должны воспитывать, а не угождать низким инстинктам,— сказал Нильс и дал понять, что разговор закончен.

Именно с этого дня Бедье почувствовал, что Нильс к нему охладел. Стараясь исправить допущенную им ошибку, Бедье на завтраке американской прессы произнес громовую речь против Москвы, которую обвинил в захватнических планах и в намерении взорвать ООН. Попутно Бедье (правда, не впервые) обозвал коммунистов «пятой колонной». Он послал Нильсу длинную записку о том, какие меры необходимы для оздоровления портов.

Он очень много работал: участвовал в разработке законопроекта «о пресечении посягательств на внешнюю безопасность государства», который называли также «законом № 9295». Пора зажать рот коммунистам! Забастовки, беспорядки в портах, уличные демонстрации — все это мешает нам в переговорах с Америкой...

Правительство торопило свое большинство в парламенте, и заседания затягивались до утра. Когда в конце второго дня Бедье приехал домой пообедать, Полина сказала: «Ты отвратительно выглядишь...» Он посмотрел на себя в зеркало. Правда, мне сейчас можно дать шестьдесят, а мне будет в июне сорок пять. Вот что значит политика! Этот «9295» способен сократить жизнь. Не понимаю, как Эррио держится?.. Коммунисты выступают один за другим, и о чем только они не говорят! План Маршалла, молочный порошок, Эйнштейн, атомная бомба, Лысенко, Даладье, Ширке, ставки рабочих... Один прочитал весь декрет о снижении цен в Советском Союзе... Какое это имеет отношение к законопроекту?.. Они стараются оттянуть голосование. Все равно — большинство обеспечено: двести девяносто пять против ста восьмидесяти двух...

Заседания были бурными; ораторов то и дело прерывали. Бедье тоже время от времени восклицал: «Уезжайте

в Москву» или: «Здесь не Польша». Он был в буфете, когда ему сказали, что выступает депутат Ля Рошелли Кона. Бедье вернулся в зал: надо послушать.

Кона говорил:

— Докеры отказались грузить оружие, они выразили волю народа... Войну можно предотвратить, для этого нужно обуздать тех, кто ее подготовляет... Докеры повторяют вслед за Торезом: «Нет, французский народ никогда не будет воевать против Советского Союза!..» Напрасно вы рассчитываете запугать народ. В Ля Рошелли ваши «CRS» избивали людей, как эсэсовцы. Вы держите в тюрьме честных тружеников, а мошенники на свободе... Вся страна поддерживает докеров... В Шаранте за одну неделю было собрано двести тысяч франков...

Бедье спросил:

— Почему не двести миллионов?

Кто-то слева крикнул ему:

— Где деньги Ван Ко?..

Бедье пожал плечами: при чем тут Ван Ко?.. Когда Кона кончил, Бедье счел нужным коротко ему возразить:

— Коммунисты не могут навязывать свою волю демократическому большинству страны. Напрасно нам говорили о докерах. Докеры запуганы кучкой коммунистов. Достаточно сказать, что беспорядками в Ля Рошелли руководил небезызвестный Лежан, который способствовал развалу нашей авиапромышленности. Он хотел превратить цветущий порт юго-запада в пустыню. Судебные органы заняты теперь его делом. Вряд ли у господина Лежана были бескорыстные мотивы...

Бедье прервали крики:

— Расскажите лучше, чем вас угощал Ван Ко?..

— Венесуэльские акции!..

— «Трансок»!..

Когда председатель восстановил порядок, Бедье продолжал:

— Наши солдаты в Индокитае подвергаются смертельной опасности, а господа коммунисты уговаривают докеров не грузить оружия. Можно ли говорить о безопасности страны, когда ежедневно отмечаются случаи саботажа? Я напомню о том, что произошло недавно в Ницце,

где разъяренная толпа сбросила в море установку для «фау-2»...

Депутат Ниццы Барель прервал Бедье:

— Население Ниццы действовало в интересах безопасности страны. Я предлагаю поправку к законопроекту «9295». Параграф шестьдесят седьмой уголовного кодекса будет дополнен словами: «Не рассматривается, как препятствующее транспорту военного материала, потопление населением «рам» для «фау-2»...

На левых скамьях раздались смех, аплодисменты. Бедье закусил губу: ну что тут остроумного?.. Он продолжал:

— Я не понимаю, почему господин Барель говорит о населении Ниццы? Во главе наэлектризованной толпы шла госпожа Мадлен Лансье или, если вам это больше нравится, госпожа Мадлен Берти, которую мы знаем как профессиональную подстрекательницу...

С правых скамей раздалось:

— И как убийцу!..

— Кстати, где деньги Берти?..

Коммунисты закричали:

— Долой!.. Клеветник!..

Раздался сухой треск пощечины: ее получил маленький вертлявый адвокат, депутат РПФ, который крикнул про деньги Берти.

— Вы смеете оскорблять героиню сопротивления!..

— Сколько вы получили от Ван Ко?..

Председатель напрасно пытался успокоить депутатов. Бедье сошел с трибуны.

Страсти разгорались. Председатель предложил исключить на одно заседание депутата Дюпра, выступившего с резкой речью. Согласно регламенту председатель предоставил Дюпра слово:

— Вы можете оправдаться.

— Я не собираюсь оправдываться, я буду обвинять... Вы хотите укротить народ, это вам не удастся... Мы приветствуем докеров Ля Паллис и Сен-Назэра. Мы приветствуем население Ниццы... Нам хотят зажать рот люди, замешанные в афере с чеками. Но мы не будем молчать..

Дюпра начал читать записку, найденную осенью у Ван Ко. Бедье насторожился.

— Общая сумма расходов 2 859 000... Завтрак с Жакоби 12 000... Завтрак с консулом Аргентины и дамой 15 000... Завтрак с депутатом Брюссе 12 000... На поездку Бастида 600 000... Завтрак с Бедье 12 000...

Слева засмеялись:

— Расскажите, какое было меню?

Бедье сделал вид, что читает газету. Дюпра продолжал:

— Тряпье 25 000... Автомобиль генералу 850 000... Шоколад к Новому году 81 000... Во время завтрака в «Лютеции» из рук в руки 200 000... Журналистам 137 000... Бедье через Файяра 250 000...

Бедье не выдержал, крикнул:

— Это ложь!

Он сам удивился: не мой голос. Нельзя так волноваться, нужно взять себя в руки... Этот болван Ван Ко вел приходо-расходную книгу, как будто он занимался не политикой, а галантереей... Теперь я понимаю, почему Файяр говорил мне о генерале Ревере... В общем я — невинно пострадавший. К счастью, не я один. В списке много депутатов, есть среди них действительно неосторожные... Но при чем тут я?..

Председатель поставил на голосование исключение депутата Дюпра:

— Кто за, прошу встать.

Бедье вскочил и с удовлетворением увидел, что сидят только коммунисты.

— Прошу господина Дюпра покинуть зал.

Дюпра не сошел с трибуны:

— Меня послал народ, и я отсюда не уйду.

Он простоял на том же месте восемь часов. Привели две сотни жандармов. Коммунисты обступили Дюпра. Началась свалка. Жандармы накинулись на Мари-Клод Вайян-Кутюрье. Коммунисты ее защищали. Летели пюпитры, куски перил. Бедье стоял в стороне: он — министр, да и опасно, среди коммунистов есть силачи; но зрелище отвечало его душевному состоянию, и он не мог от него оторваться.

Поздно вечером заседание возобновилось. Выступал еще один коммунист, говорил о возрождении вермахта, а потом сказал:

— Мы слышали господина Бедье, который пытался опорочить героев. Вся Франция знает Лежана, или «Люка», одного из руководителей парижского восстания. Народ любит Мадлен Лансье, «Франс» времен маки́, которую пытали гестаповцы и которая участвовала в освобождении Лиможа. Не лучше ли заняться малоизвестным господином Бедье? Я хочу поставить несколько вопросов. Почему господин Бедье после завтрака с Ван Ко предложил усилить экспедиционный корпус? Что представляет собой «Ревю азиатик» и какую роль играл Файяр — был ли он сводней, или только посыльным? При каких обстоятельствах господин Бедье приобрел пакет акций «Венесуэла ойл»? Почему, выступив здесь против восстановления вермахта, он писал в американской печати, что против восстановления вермахта выступают только коммунисты? Наконец последний вопрос: журналист Саблон разоблачил агентство «Трансок», которое содержит убийц и провокаторов. Сколько получил от «Трансока» господин Бедье и за какие именно услуги?.. Вы можете мне не отвечать, господин Бедье, если вам нечего ответить, но знайте, что народ вас презирает. Вы не только клеветник, вы нечисты на руку...

Бедье вскочил, хотел ответить; его удержали — выступит Бидо, он скажет стране, что следствие по делу Пейре — Ван Ко прекращено ввиду отсутствия состава преступления. Бидо объяснит, что коммунисты пытались оклеветать невинных.

Бедье все же выкрикнул:

— Я считаю ниже своего достоинства отвечать на подобные измышления!

Наконец проклятый «9295» был принят. Бедье поехал домой, принял горячую ванну и уснул. На следующее утро, когда он пришел в столовую, Полина держала «Юманите».

— Почему ты читаешь эту пакостную газету?

Полина, еле сдерживая слезы, рассказала, что горничная потребовала прибавить ей жалованья. Полина ответила, что теперь всем приходится соблюдать экономию. Тогда горничная нагло сказала: «Только не вам. Вы почитайте, сколько нахватал ваш супруг...» Это она дала Полине газету...

— Надеюсь, ты ее прогнала?.. Не стоит, милая, из-за этого нервничать. Коммунисты попытались меня оклеветать, но Бидо заявил, что вся история с чеками не стоит выеденного яйца... Были, конечно, среди депутатов неосторожные вроде Брюссе... Но я абсолютно ни при чем...

Полина расплакалась.

— Почему ты плачешь?.. Я тебя уверяю, что теперь им зажмут рот...

Она тихо сказала:

— Я давно знаю, что ты мне изменяешь. Я с этим примирилась... Но теперь мне страшно за тебя... Неужели тебе нужно столько денег на твоих девок?..

Он хотел ей сказать, что она неблагодарная тварь, он работает, как вол, чтобы обеспечить ее и дочку. Но он ничего не сказал — почувствовал страшную усталость. Сколько же можно бороться с несправедливостью?.. Полина ушла к себе. Наверно, ревет. Да если бы я мог, я тоже заплакал бы, у меня нервы в худшем состоянии...

Он долго сидел один в столовой. Потом бонна привела девочку. Он немного поиграл с нею, но девочка убежала к матери. А он все сидел на том же месте.

Пришла Полина, она успела выплакаться, привести себя в порядок. Бедье миролюбиво сказал:

— Видишь, наслаждаюсь отдыхом. Ты не можешь себе представить, что это был за кошмар! Крики, драка. Буквально разгромили зал... Теперь можно передохнуть — закон принят...

— Какой закон? — равнодушно спросила Полина. (Она упрекала себя за сцену,— конечно, муж тратит деньги на непорядочных женщин, но нельзя устраивать дома ад, нужно беречь семью для дочки.)

— Против коммунистов... Ты же знаешь, что делается — забастовки, саботаж. Пора с этим кончать!.. Кстати, что сегодня в газете, кроме дебатов? Не хочется читать...

Полина развернула газету:

— Всеобщая забастовка... Странно, у нас газ еще работает... Хочешь, я тебе приготовлю чашечку черного кофе? Ты отвратительно выглядишь...

74

Двенадцатого марта профессору Дюма исполнилось семьдесят пять лет. Он позабыл о дне своего рождения и удивился, увидев на столе огромный пирог, который Мари украсила семьюдесятью пятью свечами. С утра приносили телеграммы, подарки, цветы. Дюма поздравляли не только его друзья или ученые, но и неизвестные ему люди.

Среди поздравительных телеграмм он нашел одну, подписанную профессором Рише, и рассердился: бесстыдник, никто его об этом не просил, вел себя позорно, прославлял Нивеля, а теперь страхуется. Он швырнул листок в корзину: нечего втираться в порядочное общество! Из Нью-Йорка пришло письмо от профессора Адамса, который, поздравив Дюма, добавлял: «Вы, наверно, с горечью вспоминаете Ваше пребывание в Америке и, в частности, вечер у меня. Я хочу Вам сказать, что мы живем в очень трудное время, иногда приходится делать то, что несвойственно и неприятно». Дюма вспомнил умное сухое лицо Адамса, его печальную улыбку и про себя проворчал: трусит. А что можно сберечь, если юлишь или, как он пишет, «делаешь несвойственное»? Положение, комфорт, мишуру? Разве это важно человеку, да еще ученому, да еще когда ему перевалило за шестьдесят? Ничего он не сбережет, только себя потеряет, останется, что называется, в дураках. Обидно, это не Рише, мог бы жить иначе...

Женщина из Фижака прислала теплый жилет, написала, что связала сама,— профессору нужно остерегаться простуды, он дорог всем, он ведь борется за мир, а у нее погиб в маки́ единственный сын, она знает, какое горе — война.

Бургундский винодел прислал бутылку, которую берег для семейного торжества: «Сегодня праздник у нашей большой семьи, у всех французов, поэтому и посылаю Вам бутылочку, а мы здесь выпьем за то, чтобы Вы дожили до победы мира и счастья, до победы простых людей, Вы — необыкновенный человек, Вы — наш товарищ, которого мы между собой называем «наш Дюма».

Резчик-савояр прислал палку с замысловатым рисунком. «Ее хотели взять на выставку, когда-то я просидел

над ней месяц. С нею я ходил прежде в горы, теперь не могу ходить — я старше Вас на два года. Но Вы повсюду бываете, много ездите. Вам она пригодится. Вы подымаетесь очень высоко, на вершины, откуда видны и наука и жизнь обыкновенных людей. Живите долго, помните: Вы не на палку опираетесь, а на любовь народа».

Дюма вытащил из кармана большой платок, протер очки. Ведь вот что люди чувствуют... Конечно, мои заслуги они преувеличивают, молодые делают куда больше, да и не такой я уже ученый, тоже преувеличено, в общем обыкновенный человек. Но разве есть обыкновенные люди? Эти письма нельзя читать без волнения... Посмотришь иногда — бегут по улице, машины мчатся, в магазинах толкотня, газеты пишут вздор, можно подумать, что народу безразлично... Нет, народ все видит, понимает, он еще не сказал последнего слова.

Под вечер пришла Мадо, принесла большие пунцовые розы. Дюма ее расцеловал и сразу спросил:

— Когда Лежана судят?

— Еще неизвестно. Вчера приехал товарищ из Ля Рошелли, говорил — там все возмущены. Боятся назначить суд, оттягивают...

— Еще бы! Лежан не растеряется, он их как следует отхлещет... Замечательный народ, Мадо! Когда ты приехала из Ниццы, я тебе сказал, что это — только начало. Помнишь? Ты погляди: всюду бастуют, все кипит. А в парламенте?.. Ведь это нужно придумать — привести жандармов в парламент! Наши держались удивительно... Два года назад можно было подумать, что народ устал, сдает. А теперь — как в годы сопротивления... Знаешь, в сороковом и я приуныл, больно сознавать, что твоя страна выдохлась. Глупости это! Теперь весь мир видит, что такое Франция...

Мадо глядела на него с восхищением и с тревогой. Никто не скажет, что ему семьдесят пять лет. Все время в напряжении — работает, выступает, беседует с людьми... А врачи предупреждают: сердце никуда не годится, два инфаркта; если он не откажется от поездки в Стокгольм, может кончиться плохо. Именно так сказал профессор Дювилье.

Дюма не отпустил Мадо: она должна с ним пообедать.

— Вино, видишь, какое? «Нюи» и тысяча девятьсот двадцать первый год, наверно чудесное. А пирог?.. Будешь за мою внучку, а то даже неприлично: семьдесят пять свечей — и ни одного приглашенного...

За обедом Дюма вспоминал прошлое, как он приходил к Лансье и разглядывал детские рисунки Мадо; она вырывала из его рук тетрадку, говорила: «Это я пачкала, завтра я нарисую хорошо — мама, дерево и луна, на луне две птички...» Потом она тяжело заболела, у нее была скарлатина, Дюма просидел всю ночь, успокаивал Марселину, утром доктор Морило вдруг улыбнулся: «Выздоровеет...»

Он очень редко улыбался, доктор Морило, хмурился или смеялся, громко, но невесело. А улыбаться он стыдился, иногда даже отворачивался. Ему нужно было обязательно язвить. Добрейшим был человеком... Что-то в Рене от него. Может быть, стыдливость или как это назвать?.. Ты знаешь, что Рене выгнали из лаборатории? С первого марта... Можешь себе представить, он даже не подумал мне рассказать, прибежал, просил подписать протест против исключения двух студентов, а о себе ни слова. Это я вчера узнал от профессора Дювилье. Безобразие какое, человек работает, и вдруг, пожалуйста!.. Это профессор Брюннель постарался, я его знаю, старая лисица, вроде Рише. «Я не занимаюсь политикой», а чуть что — бежит, спрашивает, какие будут указания... Хорошо, что Рене успел кое-что сделать, наблюдения у него есть, сможет написать... Жалко, старика Морило нет, вот бы обрадовался! Конечно, не показал бы виду, что счастлив, наоборот — проворчал бы: «Представляю себе, что Рене может сочинить...» Как он твоего отца изводил! А он его любил, я это знаю, огорчался, когда Морис делал глупости... Морис — добрый человек, только очень легкомысленный, доктор Морило говорил — «двуногий мотылек». Я ведь с ним познакомился лет сорок назад, он тогда еще был холостой, стихи писал, орхидеи ему нравились. А ты думаешь, он изменился? Такой же. Я как-то зашел его проведать, он поправился, даже гулять ходит, сидит, читает Виргилия, объяснил мне, что спасенье в сельской простоте, нужно всем помириться, доказывал, что Бедье — честный человек, только Нивеля ругал; «Он изменил поэ-

зии...» Я тебе говорю — настоящий ребенок. Помнишь, как он готовил обеды в «Корбей», надевал поварской колпак, волновался: а вдруг Дюма не понравится раковый соус?.. Там бывало много проходимцев, Морис ведь всем верил, помню, он носился с каким-то аргентинцем: «Гениальный композитор», а потом оказалось, что это попросту ловкий карманник, он во время обеда вытащил у Мориса бумажник... А иногда приходили интересные люди. Я сейчас вспомнил, как пришел русский инженер, поспорили, Нивель даже позеленел. Помнишь? Меня этот русский тогда поразил — скромный, а какая душевная сила!.. Ты что загрустила, Мадо? Тебе рано жалеть о прошлом, это я, старик, вспомню и вдруг растрогаюсь... Обидно, что я никогда не был в России. Недавно приглашали — либо в апреле поехать, либо в ноябре. В апреле не смогу — нужно кончить книгу, а осенью обязательно поеду. Если только сердце не подведет...

Мари принесла кофе для Мадо. Дюма вздохнул:

— Очень хочется чашечку. Нельзя. Вообще ничего нельзя, даже скучно... Скажи, ты увидишь в ближайшие дни Пьера? Они просили статью для «Юма», ты ему скажи, что непременно напишу, только уж после возвращения, а теперь не успею — я ведь в пятницу вылетаю.

Мадо подошла к нему, ласково погладила его руку:

— Ты мне позволь сказать... Я ведь на сегодня твоя внучка. Ты должен себя беречь. Для всех нас... Тебе нельзя ехать в Стокгольм.

— Опять «нельзя»? Насчет кофе согласен, подчиняюсь. А в Стокгольм обязательно поеду. Жолио-Кюри говорил, что поставит вопрос об атомной бомбе. Ты понимаешь, как это важно?

— Но тебе не дают транзитной визы, а лететь ты не можешь, это каждый понимает. Не сердись, ты должен себя беречь. Для тех, кто тебя сегодня поздравляет...

— Потому и еду, что есть люди, которые мне верят. Нужно им сказать... Да и другим... Я получил письмо от профессора Адамса, это американский ученый, антрополог, шоры у него, как полагается, но порядочный, я говорю «порядочный», если заглянуть внутрь, ведет он себя совсем непорядочно, трусит, может быть и не понимает. Нужно таких пристыдить... Вообще нужно очень много

сделать, движение слишком узкое, с одной стороны, все клокочет, люди возмущены, а посмотришь на собрании — те же лица. Нужно прорваться к народу... Я от Стокгольма многого жду... Потом там будут советские, сказали, что приедет один биолог, хочется порасспросить, что они думают. Нет, обязательно поеду. Можно себя беречь, только не слишком, тогда и жить не к чему. Лежану теперь не легко. Тоже не мальчик... А ты?.. Ты думаешь, я тебе поверил, что в Ницце это было вроде карнавала? Рука-то у тебя до сих пор перевязана... Что ж, я один стеклянным колпаком накроюсь?

Так и не удалось Мадо его отговорить. На следующий день пришел Рене. Дюма его расспрашивал, как работа: он должен обязательно написать книгу. Но как только Рене заговорил о здоровье Дюма, тот замахал руками:

— И не пробуй! Во-первых, ты детский врач, а я еще не впал в детство. Потом, раз твоему отцу не удавалось, куда уж тебе! А вопрос огромной важности, сам понимаешь... Расскажи лучше, как у вас прошла подготовка к национальному конгрессу...

Он поехал в Стокгольм. После Парижа город ему показался холодным, равнодушным к тем волнениям, которые переживали люди, собравшиеся на сессию Постоянного комитета. Заседания происходили в помещении ресторана под землей (Дюма, шутя, говорил: «в катакомбах»). По улицам не спеша шли высокие шведы, светлоглазые, спокойные, как бы убежденные в незыблемости своего мира. А под землей делегаты говорили о жизни большой и хрупкой, которой грозит война; среди них были негры, миссионер из Канады, русские писатели, американский художник, итальянцы, китайцы, немцы.

Волнуясь, Фредерик Жолио-Кюри прочитал: «Мы требуем безусловного запрещения атомного оружия, как оружия устрашения и массового уничтожения людей».

Для Дюма вопрос о запрещении атомной бомбы был тесно связан с теми мыслями, которые мучили его все последние годы. Некогда простые люди благословляли науку, верили, что она облегчит их жизнь. Бывали, правда, холерные бунты, несчастные вымещали гнев на врачах; или ткачи громили первые фабрики, считая, что в нищете повинны не хозяева, а машины; но туман быстро рассеи-

вался. Конечно, большие открытия и тогда становились источником обогащения немногих; все же люди видели, что детская смертность падает, работа становится легче, передвижение из города в город доступней. Людям свойственно запоминать скорей хорошее, чем дурное, они помнили, что дифтерию победил Ру, а водобоязнь — Пастер. С каким восторгом парижане глядели на небо, когда поднялся первый самолет! А теперь все чаще и чаще слышишь, как люди проклинают ученых, им кажется, что в ужасах войны повинна наука, что каждое новое открытие грозит им новыми бедствиями. Может быть, виноваты и сами ученые, среди них оказалось много карьеристов, шарлатанов, готовых обслуживать любое скверное дело, отрицать прогресс, поддерживать вздорные суеверия. Достаточно вспомнить, как некоторые антропологи доказывали, что суть в группах крови или в форме черепа, и все это для того, чтобы невежественному ефрейтору было легче удушить миллионы невинных. А чего сто́ит одно название «геополитика» или писания какого-нибудь Фогта, который всерьез доказывает, что земля перенаселена и что необходимо новое кровопускание! Но дело не только в проходимцах. Над проблемой атомной энергии работали замечательные люди. Кто видел Фредерика, знает, сколько в нем человеческой доброты. Миклей говорил, что среди американских физиков есть благороднейшие люди. А Эйнштейн?.. Я с ним не встречался, но я убежден, что у него большое сердце. Им не дают работать так, как они хотят, их открытия направили на одно: на уничтожение. Разве Жолио-Кюри может продолжать свои работы над мирным использованием атомной энергии? В Бельгии ученые мне говорили, что у них нет для опытов ни одного грамма урана, весь уран из Бельгийского Конго идет в Америку на бомбы. Если бы величайшее открытие века было применено для мирных целей, оно перевернуло бы жизнь человечества куда больше, чем это сделали паровой двигатель или электричество. А примененное для уничтожения, оно грозит отбросить человечество далеко назад. Для ученого запрет атомной бомбы — это и спасение цивилизации и реабилитация науки.

Об этом и сказал Дюма, выступив на одном из заседаний. Он рассказал, как преследуют ученых, которые

не захотели служить низкому делу вражды и разрушения — от Жолио-Кюри, чьи труды известны всему просвещенному миру, до молодого доцента Морило, которому не дали закончить его первую работу. (О себе Дюма не упомянул, хотя он никак не мог свыкнуться с мыслью, что одним росчерком пера его уволили из института, им же созданного.) Дюма говорил о больших чувствах народа, о мужестве докеров, горняков, металлистов, о французских женщинах — о Раймонде, которая кинулась на рельсы, чтобы остановить поезд, о Мадо в ниццском порту. «Возможно ли, что люди мысли, ученые, литераторы отвернутся в такой час от народа?» Он обратился к ученым Америки: «Может быть, мои слова дойдут до вас. Я знаю ваши трудности, я вам говорю это, как ваш товарищ по работе. На нас лежит огромная ответственность. Сейчас еще можно предотвратить войну, спасти наше общее достояние. Молчание не поможет, и никто его не простит, нельзя дольше молчать. Здесь речь идет не о политике, а о людях, спорить здесь не о чем — каждый должен решить сам, у себя, ночью — человек он или нет, и громко это сказать...»

Когда один из выступавших предложил собирать подписи под принятым обращением, Дюма встал и громко зааплодировал. Вот это правильно, именно собирать подписи! Нужно обратиться ко всем, к людям, которые не ходят на собрания, даже не читают газет, сказать: атомная бомба не спорщик, не критик, она не разбирает, она уничтожает всех, но от вас, от обыкновенных людей, зависит, осмелятся ли ее применить. Подписывая, вы делаете важнейшее дело — предотвращаете катастрофу, спасаете и ваших детей и будущее мира. Нужно принести лист Рише. Конечно, он не подпишет, но тогда все увидят, что он за атомную бомбу, а это многим раскроет глаза. Миллионы подпишут, я убежден, сотни миллионов. Наверно, даже горничная в Нью-Йорке, которая испугалась, что я на нее кинусь, и она подпишет, если только придут к ней и как следует объяснят. Плохо, что у нас еще мало людей, нужно сломать перегородки, выйти на улицу, сказать: сторонники мира — не партия, вас не вербуют в армию, вам говорят одно: если вы хотите жить, отгоните войну.

Дюма ревностно следил за работой сессии, не пропустил ни одного выступления. Он присутствовал на заседании комиссии, когда молодой швед сказал:

— Мы должны в постановлении указать, что сторонники мира под руководством Советского Союза победят силы войны.

Ему возразил высокий седой человек, говоривший по-английски:

— Я не согласен с предложением нашего шведского друга. Советский народ борется за мир вместе со всеми сторонниками мира. Слова о руководстве Советского Союза могут сузить наше движение, а мы хотим его расширить. Мы должны привлечь к борьбе за мир не только коммунистов, но всех, кто действительно не хочет войны, в том числе и тех, которые стоят за мир, но которым не нравится советский строй.

Дюма тихо спросил соседа:

— Кто это?

— Один из советских делегатов, биолог Шебаршин.

В перерыве между двумя заседаниями Дюма три часа проговорил с Шебаршиным; говорили они обо всем: о лесонасаждениях и о сборе подписей под воззванием, о борьбе французских докеров и о восстановлении разрушенных городов.

Улыбаясь, Дюма сказал:

— Правильно вы сегодня выступили в комиссии. Я коммунист, я смотрю на Москву с надеждой, поговорите с нашими докерами или шахтерами, они скажут то же самое. Наша партия теперь во Франции самая сильная. Дело не только в числе голосов. Есть много людей, которые голосуют за радикалов или за социалистов. Но разве они двинутся с места, откажутся хоть раз пообедать, чтобы защитить свои идеалы? Нет у них идеалов, это хорошие люди, но их духовный мир тесен, их обобрали, приучили их жить не страстью, а расчетом, воспитали в них с детства скепсис. Их депутаты занимались теперь тем, как бы прикрыть аферу с чеками. А наши боролись против фашистского закона. Коммунисты на смерть пойдут. Вы почитайте про Ля Рошелль или про Ниццу... Но нельзя сбрасывать со счетов малодушных, колеблющихся, скептиков. Жить им тоже хочется, только они ничего

не понимают. Им говорят, что вы хотите на них напасть, что мы, коммунисты, хотим отобрать у них домик, или пенсию, или какое-нибудь местечко, даже не теплое, полутеплое. Они боятся и вас и нас. А движение за мир должно быть очень широким, только тогда оно сможет победить. Я об этом часто думал. Замечательно, что сказали об этом именно вы — советский делегат. Конечно, Советский Союз впереди, мы это понимаем. Но вы протягиваете руку не только нам, а всем, кто хочет мира... Вот и получается: руководит тот, кто не хочет верховодить... Я ведь присматриваюсь к работе, вижу, как вы или ваши товарищи держатся — скромно: если поспорят, то дружески, иногда убедят, иногда уступят. Почему вас так слушают? Понятно — у вас огромный опыт, широта мысли, другой масштаб...

Шебаршин рассказал о том, что сделали за последние годы советские агрономы, о новых больших строительствах, о том, как полегчала жизнь для простых людей:

— Я вам расскажу, что у нас было две недели назад. Есть в Москве диктор, никто его, кажется, не видел, но все знают его голос: во время войны он объявлял о победах. Так вот этот диктор объявил о снижении цен. Тогда освобождали города. А теперь он говорил о том, что у всех людей будут чай с сахаром, масло, ботинки, ткани. Это тоже сводка победы: воевал каждый наш человек, с развалинами воевал, с нуждой, со всем, что оставила война. И люди победили...

— Понимаю, понимаю,— Дюма взволновался.— Вы даже не представляете себе, что вы мне рассказали! Мотор нуждается в горючем, а вы мне сегодня его отпустили. До конца хватит... Я каждое ваше слово запомню. Я давно уже понял, что вы выстоите — в двадцатом, когда у нас говорили: «Месяц, больше не продержатся...» В концлагере я твердо знал, что вы придете. Вот выживу ли я, этого я не знал, а что придете — ни на минуту не усомнился. Но хорошо, что вам теперь лучше, что вы сможете посмеяться, побаловать детей, приодеть девушек. Уж если кто-нибудь заслужил счастья, так это советский народ. Теперь мне и умереть не страшно...

Когда кончилось вечернее заседание, Дюма поднялся наверх. Он был спокоен, весел: принято большое реше-

ние... Стокгольм как будто и не подозревает об этом. Правда, люди здесь не испытали войны, им повезло, но ведь это только дурак может думать, что если он вчера выиграл в лотерее, значит и завтра выиграет. Могут швырнуть и на них бомбу, даже случайно, по ошибке... Они не знают — газеты молчат, а народ северный, спокойный, здесь и зевак нет, это не Марсель...

Он пошел пешком. Ему нравился город, холодный, светлый, с морем, которое врезается в жизнь, разделяет две площади, со скалами, проступающими между домов, с острым режущим ветром. Он дошел до порта. Печально прокричал пароходик. Взметнулись чайки. Дюма зашел в маленькую пивную, попросил, чтобы ему дали стакан пива. За соседним столиком сидел матрос. Он заговорил с Дюма по-английски. Узнав, что старый француз приехал на какое-то совещание о мире, матрос поглядел на него светлыми, прозрачными глазами и сказал:

— Это хорошо. Я был в Нарвике, когда Нарвик бомбили. Я не хочу, чтобы бомбили Люлео. Что же вы решили на вашем совещании?

Дюма вынул из кармана листок и начал читать: «Мы требуем безусловного запрещения атомной бомбы... Мы призываем всех людей доброй воли всего мира подписать это воззвание...»

Матрос внимательно слушал.

— Это хорошо. Когда бомбили Нарвик, убили девочку, это была дочь служащего нашей конторы. Ее мать ничего не понимала, говорили, что она сошла с ума. Я не хочу снова увидеть такое...

Он помолчал, потом спросил:

— А вы думаете, вас послушаются?

— Это зависит от вас.

— От меня? От меня ничего не зависит, я маленький человек, меня никто не знает даже в Люлео, я уехал мальчишкой, все время плаваю.

— Я вам говорю, это зависит и от вас, это зависит от каждого человека.

Дюма дал ему ручку и строго сказал:

— Подпишите, если вы хотите, чтобы этого не было в Люлео.

— Мне нужно подумать,— ответил матрос.

Он несколько раз прочитал текст вслух, отложил бумажку, снова ее взял, внимательно осмотрел:

— Я не очень-то быстро соображаю... Но я это подпишу. Я не хочу, чтобы убивали детей. Не думайте, что я подписываю только за Люлео. Я был в Бордо, я не хочу, чтобы бомбили Бордо,— там тоже люди...

Дюма шел в гостиницу и думал: вот первая подпись из тех, которые мы должны собрать. Случайно получил ее я... Мы выйдем из катакомб, прорвемся к сердцу народа. Жители этого города не подозревают, что здесь совершилось, а через несколько месяцев весь мир будет поминать Стокгольм... У русского биолога хорошее лицо, что-то в нем приподнятое, если говорить по старинке, вдохновенное. А ведь это не поэт — биолог, занимается лесонасаждениями. Советский инженер, который приходил к Морису накануне войны, тоже мне показался поэтом, а он приезжал, чтобы заказать машины... Тот был молодой, а Шебаршину, наверно, за пятьдесят, но есть в нем молодость — его или страны, не знаю... А какой размах! Чувствуется государственный человек... Первым после нас подписался матрос из Люлео. Скажут — странно... Но мать в Нарвике потеряла рассудок, он это видел. Люди видели, они не допустят. И потом — есть Москва...

75

После Праги Билл Костер разлюбил рискованные предприятия, он прямо сказал Нивелю: «Имейте в виду, что охота на тигров кончена, я предпочитаю слушать ваши стишки...» Денег, однако, не было, Виктория слала душераздирающие письма, и Костер согласился поехать на месяц в Хельсинки. Он выполнил там несколько поручений Робертса, написал статью под заголовком «Черная тень с Востока», а в общем, скучал и, ругаясь, пил скверную финскую водку. Наконец настал долгожданный день отъезда. В Стокгольме Билл задержался не потому, что ему понравилась шведская водка,— он узнал, что в этом городе заседает какой-то красный комитет. Значит, можно дать пятьсот слов. На заседания он не пошел: в Стокгольме от «Трансока» Фред Джонсон, славный парень,

но ничтожество. Пусть он ходит. Скучно слушать, как красные собираются спасти мир. Зато Костер обошел гостиницы, где остановились делегаты, расспрашивал портье, официантов, горничных; интересовался, когда возвращается домой Дюма, не видели ли его с дамами, много ли чемоданов у советских представителей. Ему нехватало изюминки, и он обрадовался, узнав, что после конца заседаний профессор Шебаршин примет журналистов.

На пресс-конференцию Билл пошел с Фредом Джонсоном. Народу было много. Вначале шведские журналисты ставили вопросы о резолюциях сессии. Билл про себя посмеивался: ну и дураки эти красные, если они думают справиться с бомбой резолюциями! Пускай подписывают свою бумажонку, в итоге распишемся мы, и не чернилами... Он внимательно разглядывал советского делегата. Наверно, его послали, потому что у него представительная внешность: высокий, держится очень прямо, седой, отвечает спокойно, приветливо улыбается, только глаза выдают, что это не шведский пастор, а красный, который инструктирует «пятую колонну». Скорее всего он военный или политический комиссар. Красные называют его «ученым», чтобы поймать на удочку простачков вроде нашего Адамса...

Билл встал и, добродушно ухмыляясь, сказал:

— Я с большим вниманием слушал советского делегата. Мне это особенно интересно, потому что в сорок первом году я был в Москве, я написал ряд статей о геройстве русских солдат. Да, тогда все американцы сочувствовали русским, а теперь в Америке нет человека, которого не пугали бы военные приготовления Москвы. Я убежден, что советский делегат может нам рассказать много интересного об этой стороне деятельности своих соотечественников. Если русские действительно не хотят напасть на Запад, почему они к этому готовятся?

Костер впился глазами в русского, ждал, что тот смутится. Но Шебаршин улыбнулся. Билл подумал: это опытный разведчик. Шебаршин сказал:

— Вы знаете не хуже, чем я, кто готовится к нападению. Американские военные базы имеются в Норвегии, в Турции, от этих стран очень далеко до Соединенных Штатов, но они граничат с Советским Союзом. Вряд ли вы

сочли бы признаком нашего миролюбия, если бы мы устроили наши военные базы в Канаде или в Мексике. Вам безусловно известно, что мы предлагали не раз сокращение вооруженных сил, не наша вина, если эти предложения были отвергнуты. Конечно, Советская Армия озабочена обороной...

Костер прервал его:

— Я вижу, что вы знаток... Может быть, вы нам расскажете о передвижении ваших армий на юг, вообще о том, что вы называете вашими заботами об «обороне»?..

В зале зашумели: все поняли, что корреспондент «Трансока» хочет сорвать пресс-конференцию. Шебаршин, однако, сохранял спокойствие.

— Лично я действительно теперь занят крупными оборонительными работами: мы воздвигаем стену лесонасаждений, она нас защитит не от американцев, а от суховея. Я мог бы вам рассказать не о передвижении советских армий на юг, а о передвижении советской пшеницы, помидоров, винограда и многих других растений на север. Они продвинулись на тысячи километров. Моя специальность — агробиология. Но у нас есть и военные специалисты. Если правители Америки, пренебрегая интересами своего народа, от неразумных слов перейдут к неразумным действиям и нападут на Советский Союз, им придется ознакомиться с достижениями наших военных специалистов.

Костер вежливо поблагодарил Шебаршина. Один французский журналист спросил, осуществляется ли план лесонасаждений. Шебаршин подробно ответил. Тогда снова встал Костер:

— Если вы стоите за мир, может быть вы нам объясните, почему вы придумали «железный занавес»? Вы никого к себе не впускаете. Мы, журналисты, знаем, что без свободы информации нет мира. Можете ли вы мне гарантировать, что меня впустят в Россию и что я там буду пользоваться свободой?

— На вашем месте,— ответил Шебаршин,— я не стал бы об этом спрашивать. В доме повешенного избегают разговоров о веревке. Неужели вы думаете, что все забыли, как вы приняли крупного ученого, профессора Дюма? Неделю назад вы не впустили в Америку Пабло

Пикассо и настоятеля Кентерберийского собора. Что касается вашего агентства, то один из его представителей провел у нас полгода. Он не жалуется, что мы его стесняли... Мне нужно объяснить всем присутствующим, что господин Костер представляет агентство «Трансок». Бывший корреспондент этого агентства в Москве недавно опубликовал интересную книгу, в которой рассказывает, чем именно занимается «Трансок». Я боюсь, господин Костер, что вы чересчур скромный человек, вы считаете, что никто не знает о вашей разносторонней деятельности. Между тем Саблон рассказал, как вы в Праге нанимали убийц и диверсантов...

— Саблон написал то, что вы ему продиктовали. Интересно — сколько вы ему за это заплатили?

Раздались крики протеста. Вскочил француз:

— Я корреспондент газеты, которая резко осуждает коммунистов. Но мой долг — заявить, что Саблон — честнейший журналист...

Шебаршин поглядел на Костера, чуть улыбнулся и сказал:

— Слова Саблона подтвердил ваш коллега и соотечественник Смидл.

Костер закричал:

— Его пытали красные... Здесь вам не Прага, здесь свободная страна... Вам не удастся зажать рот независимым журналистам... Мы не хотим слушать вашу пропаганду...

Он шумно встал, опрокинув стул, и направился к выходу. Его догнал Фред Джонсон. Корреспондент «Ассошиэйтед пресс» поднялся, но не ушел: может быть, произойдет что-нибудь интересное?..

Шебаршин спросил, какие еще будут вопросы. Англичанин сказал:

— Видите ли вы что-нибудь положительное в американской науке?

Шебаршин сказал, что он высоко ставит труды Бербанка, что, будучи в Америке, он познакомился со многими биологами и что некоторые из них произвели на него благоприятное впечатление.

— Мне кажется, что так же, как американский народ не отвечает за политику своих правителей, американские

ученые не отвечают за тех своих коллег, которые стараются оправдать идею расизма или превосходства одного народа над другими. Когда я был в Америке, профессор Адамс выступил против искусственных барьеров, препятствующих культурному сближению. Я убежден, что всех вас возмутила высылка из Америки профессора Дюма, которого вы могли видеть и слышать на заседаниях нашей сессии, но еще сильнее эта мера должна была возмутить американских ученых и прежде всего профессора Адамса. Назначение людей науки — способствовать облегчению жизни, прогрессу, миру, именно поэтому мы видим среди нас таких замечательных ученых, как Жолио-Кюри и Дюма...

Билл пошел с Фредом Джонсоном в ресторан, он пил тминную водку и ругал на чем свет стоит красных, особенно Шебаршина.

— Он нас принимает за дурачков. Я сразу увидел, что это старый разведчик. Он ездил в Америку, чтобы выкрасть секрет бомбы, я в этом убежден. А почему он заговорил о Норвегии? Или он там был, или он туда собирается. Нечего рассказывать о каких-то лесах!..

— Ты напрасно заговорил про агентство,— сказал Фред Джонсон.— После Саблона меня здесь замучили вопросами...

— Саблон — редкий подлец. Я жалею об одном — я с ним пил в Праге, почему я тогда не смял его в лепешку?.. Он нам здорово нагадил. А Смидл?.. Говорят, что мертвых нельзя ругать. Глупости! Мертвые способны портить жизнь живым. Смидл — дерьмо, он струсил, как девчонка. Нужно быть болваном вроде рыжего, чтобы поверить в его басни...

— Да, но ты напрасно заговорил о «Трансоке»,— повторил Фред Джонсон,— это было неосторожно.

— Я не думал, что он знает, кого я представляю...

— Ты забыл, что мы расписались при входе, а шведка дала ему список...

Костер вдруг рассмеялся:

— Отвечал он здорово. Я люблю честную игру, в общем он меня положил на обе лопатки. Давай выпьем еще этой тминной... Когда противник выигрывает, я первый

готов это признать... Кто он, по-твоему, военный или комиссар?..

— Биолог, это факт.

— Брось, Фред, я не ребенок. Это опытный разведчик.

— Я собрал все сведения. Его книга переведена на английский язык... Конечно, они все разведчики, но он — биолог, это факт.

— Чорт с ним, пусть биолог!.. Им, наверно, здорово платят. Да на такого не жалко денег, это не Смидл...

Костер взял блокнот и набросал план статьи: «Советский делегат пробовал выдать себя за ученого, но под огнем вопросов растерялся. Это — полковник советской разведки, он был в Соединенных Штатах, сейчас направляется в Норвегию. Конечно, он умеет куда лучше подготовлять диверсии, чем отвечать на вопросы независимых журналистов. Когда его попросили рассказать о военных приготовлениях Кремля, он сначала залепетал, что красные заняты садоводством, а потом косвенно признал, что военные специалисты красных готовятся к агрессии. На вопрос о «железном занавесе» он не смог ничего ответить, стал жаловаться, что Соединенные Штаты не разрешают иностранным коммунистам организовывать заговоры, а потом обвинил независимых журналистов в том, что они выступают против тоталитарного режима. Присутствовавшие журналисты возмутились, некоторые даже ушли, оставив «ученого» с десятком местных красных. Теперь мы можем рассказать о том, чем занимался в Стокгольме этот разведчик. У него чемодан из свиной кожи, купленный в Нью-Йорке, который в Москве снабдили двойным дном...»

Билл зевнул.

— Слушай, Фред, у тебя есть кому продиктовать? Я не люблю писать — голова еще работает, а рука устает... Ну, что ты скажешь о нашем ремесле? Разве не дерьмо? Рыжий решил меня угробить. Но через месяц я уеду в Нью-Йорк, буду писать исключительно о семейных скандалах. Политика — вообще грязное дело. Если я описываю, как муж накрыл парочку в Центральном парке, это занятно, и потом в этом есть нечто порядочное. Мне надоели разговоры о том, кто осчастливит человечество,— мы или красные. Меня может осчастливить домик

во Флориде. Я буду пить виски и лежать на веранде без штанов. В этом есть нечто порядочное... Рыбе нужна вода, а рыжий меня держит на веревке, как вяленую треску. Я могу сдохнуть, но я не сдохну. Давай выпьем еще этой тминной...

76

Самолет шел низко. Шебаршин глядел в оконце: море и сотни крохотных островов. Вот островок, еще прикрытый снегом, на нем один темнокрасный домик; человек волочит лодку. Странно так жить — никого кругом... Когда-то поэты воспевали одиночество, а ведь это — смерть. Когда я говорил с Дюма, ни на минуту я не подумал, что ему семьдесят пять лет; все его интересует — и муниципальные выборы, и позиция Адамса, и стихи Неруды, и наши лесонасаждения, потому и молод...

А что в мире творится! У нас трудно себе это представить...

Когда Шебаршину сказали, что его посылают на сессию Постоянного комитета, он огорчился: март месяц, до весны считанные недели, если не провести хорошо посева сопутствующих пород, год потерян. Конечно, борьба за за мир — теперь главное, но что я смогу там сделать? Оратор я плохой, а такими вещами я никогда не занимался...

Приехав в Стокгольм и увидев, как люди прислушиваются к его словам, Шебаршин понял, что ошибался.

Когда началась революция, Шебаршин был студентом-второкурсником; он не сразу разобрался в программах, тезисах, но сердцем он был с народом, пошел в Красную гвардию; два года провоевал, потом вернулся в университет. Коммунистом он стал в 1928 году, задумавшись и над жизнью государства и над проблемами биологии; то, что в двадцать лет было неосознанной страстью, в тридцать стало мировоззрением.

В Стокгольм он приехал с опытом человека, которому не раз приходилось и сражаться, и убеждать, и организовывать. Ночи напролет разговаривал он с различными людьми: с Дюма и с молоденьким негром, с норвежским ученым и с итальянскими социалистами, с аббатом Булье

и с квакером из Ливерпуля. Он почувствовал лихорадочный пульс мира.

Кажется, все на месте; торгуют, развлекаются, выставки, спортивные состязания, распродажи, и это не только в Стокгольме — в Лондоне, в Монреале, в Каире, в Париже. Обманчивая видимость: за внешним спокойствием скрыты тревога, возмущение, гнев. Правители Америки разбудили силы, о которых не думали. В мире, оглушенном едва закончившейся страшной войной, они почувствовали себя господами. Они рассчитывали уничтожить коммунизм атомной бомбой, техникой; один так и писал: «Достаточно будет нажать кнопку...» Было бы смешно недооценивать их возможностей: передовая техника Америки и ее отсталое сознание, нищета разоренной Европы, которую пробуют прельстить подачками, страх крестьянина за клок скудной, иногда заложенной и перезаложенной земли, страх сапожника или портного за лавчонку, за иллюзию того, что он в ней хозяин, страх интеллигенции за пестроту жизни, за возможность поспорить, за малую веру и великое неверие. Они начали волновать человеческое море — страхом, обманом, посулами. И море разыгралось... В чем их ошибка? Они забыли, что люди, которые готовы были пойти за ними, хотят жить, а не умереть. Может быть, им и удалось бы навязать различным странам «американский образ жизни». Но они проговорились, разоткровенничались, все поняли, что они прочат американский образ смерти, а это уже никого не прельщает. Из самых глубин сознания, совести, сердца подымается встречная волна. Люди, помышлявшие о новой буре, больше не управляют ветрами...

Спокойствия нет. Даже в невоевавшем, сонном Стокгольме один спрашивает другого, будет ли война. Непонятно, как люди могут жить в таком состоянии и еще работать... Помню, в Париже пятнадцать лет назад я обедал у профессора Менье, он мне выложил свои планы: через пять лет закончит наблюдения и напечатает книгу, через десять младшая дочка выйдет замуж, через пятнадцать он переедет в свой домик на побережье возле Биарица. Ему тогда было за пятьдесят... У всех были сберегательные книжки или рента, перспективы, расчеты, завещания... А теперь Дюма рассказывал, что каждое

лето начинаются разговоры — можно ли уехать и куда, что сказал Трумэн, что ответят русские, где начнется — в Азии или под боком... Сила движения за мир в том, что оно притягивает всех, здесь дело не только в идее — люди хотят жить...

Шебаршин прилетел в Москву вечером. На следующее утро он поехал в институт. Мамонов обрадовался:

— Наконец-то! Ну, как съездили?..

И, не дожидаясь ответа, начал рассказывать:

— Умер профессор Рогозин, но об этом вы, наверно, знаете... Димитерко не верит в результаты, говорит про «искусственно созданные условия»,— словом, как всегда, при особом мнении. Сегодня в шесть заседание — ждали вас... Директор Саратовской станции пишет, что породы, перечисленные в инструкции, не подходят. Я думаю, что они ищут предлога, хотят оправдаться на тот случай, если не справятся. Ведь это ерунда...

— Не такая уж ерунда,— ответил Шебаршин.— Мне сейчас нужно в министерство, а насчет инструкции поговорим на заседании, дело не только в Саратовской станции, это вообще серьезный вопрос...

Обедал он с Лелей. Она расспрашивала, как было в Стокгольме; что говорили американские делегаты; будут ли подписывать воззвание. Он начал рассказывать, увлекся и вдруг задумался; помолчав, он сказал:

— Трудно это передать. Воздух другой... Меня там спрашивали, как у нас борются за мир, я рассказывал — строительства, восстановление городов, успехи промышленности, снижение цен, полезащитные полосы. Конечно, они понимают, восхищаются. Но им тоже трудно передать наше спокойствие... Там борьба за мир — вроде сопротивления в годы войны, все освещено огнем романтики. Дюма мне рассказывал, как одна женщина легла на рельсы, чтобы поезд не прошел, другая повела рабочих порта, и они бросили в море оружие. Раньше я об этом читал в газетах, но только там я понял, что для них это будни, они этим дышат. Каждый рискует жизнью. Я тебе говорю — как на войне... Будь я поэтом, я, пожалуй, выбрал бы девушку, которая кидается под поезд, а не Мамонова: эффектней. Но что бы они сделали без нас?.. Я там пошутил, сказал Дюма, что каждый дуб, который мы

выращиваем,— это солдат мира. А в общем это не шутка... Дюма мне рассказал про события в Ницце — он хорошо знает женщину, которая шла впереди толпы. Интересная история. Это дочка разорившегося фабриканта...

Шебаршин посмотрел на часы:

— Опаздываю на заседание, нужно бежать...

Он сразу забыл аббата с умным лицом, поправки к резолюции, шведку, делавшую ему книксен, сотни островков; ему казалось, что он никуда не уезжал: его захватило любимое дело.

Свои опыты над дубами он начал давно — в 1934 году; даже во время войны не забывал о проблеме насаждений. Когда Сталин сказал: «Пятнадцать лет — срок достаточный», Шебаршину стало как-то неловко за дубы. Огромный срок! Если бы все зависело от людей, можно было бы сократить его вдвое. Разве не делают у нас люди за год того, что по трезвому подсчету требует двух, иногда трех лет? Но то люди, их можно зажечь, убедить. А дереву не расскажешь, что против нас идет скрытая война, что в сорок шестом нас рассчитывали взять голодом, что засуха — союзник Америки, что каждый пуд зерна — гиря на чаше весов...

Когда он только познакомился с Лелей, они шли лесом. Леля сказала: «Дуб всех перерос, смотрите...» Шебаршин сердито усмехнулся: «Он сначала «сидит», вот в чем горе! Не понимаете? Молодой дубок растет очень медленно, первые годы он как будто сомневается, стоит ли поднять голову. Растет каких-нибудь три недели в год, редко вскочит вторично в июне, тогда говорят: «Иванов побег»,— словом, не торопится. Да, пожалуй, ему нечего торопиться: живет он долго, успеет наглядеться... А люди торопятся: хотят своими глазами увидеть то, за что страдали, за что теперь воюют, во имя чего отказывают себе во всем. Вот если бы нам удалось поторопить деревья!..»

Изучив насаждения дубов и в Каменной Степи, и на Украине, и в Приволжье, Шебаршин решил окружить дубки цилиндрами. Недаром старые лесники говорят: «Дубу хорошо в шубе и без шапки». Опыты дали прекрасные результаты: обычно дубок за первый год вырастал не больше чем на двадцать — тридцать сантимет-

ров — кустился, а вверх не шел; окруженный цилиндром, он достиг шестидесяти сантиметров. Значит, можно создать дубравы в восемь лет, нужно только окружить дубы подходящим подгоном, выбрать деревья и кустарники, которые будут «шубой», а не «шапкой».

Улыбаясь, Шебаршин говорил Леле:

— Мы и дубы перевоспитаем — заставим их выполнить пятнадцатилетний план в восемь лет.

Заседание началось спокойно. Правда, Димитерко сказал, что на подгон нельзя положиться; опыты производились в исключительно благоприятных условиях, а на полосах, где был подгон, за сорок девятый дубки не превзошли двадцати пяти сантиметров; поэтому все внимание нужно направить на гибридные формы — дуб Высоцкого и дуб Тимирязева растут значительно быстрее обыкновенного. Шебаршин не отрицал значения пород, достигнутых путем скрещивания («будущее, конечно, за ними»), но сказал, что сейчас в большом масштабе это неосуществимо, а с помощью подгона можно добиться, чтобы кроны сомкнулись через восемь, самое позднее через десять лет. Димитерко иронически улыбнулся, не стал спорить. Страсти разгорелись, когда перешли к докладу Саратовской станции. Димитерко говорил:

— Инструкция продумана, составляли ее люди, знакомые с различными условиями. Нельзя допустить анархию...

Шебаршин возражал:

— Нужно, чтобы люди сами подумали и придумали. Им не только дают рубленые котлеты, за них жуют и потом удивляются, что они едят без аппетита. Конечно, инструкция составлена хорошо, но условия меняются не только от области к области — от района к району. Люди на месте видят, что́ там растет, учитывают характер почвы, у них не доктринерские выкладки, а живой опыт. Пока мы не предоставим им инициативы, мы не добьемся настоящего подъема, в лучшем случае они будут механически выполнять предписанное. А для такого дела этого мало, мы должны увлечь десятки тысяч работников...

Димитерко спорил, говорил, что так легко подорвать самый принцип; на местах много людей несведущих, если не обязать их следовать инструкции, «начнется фантази-

рование». Миклашевский поддержал Шебаршина. Мамонов развел руками:

— Попробуем... Только я далеко не убежден в успехе.

Шебаршин улыбнулся:

— Возьмите ту же Влахову. Вы сами сказали осенью, что ее нужно назначить директором, и правильно. Она два года со мной работала. Она не только быстро схватывает — придумывает. Вспомните вопрос о хранении желудей в совхозах — это ее идея. А разве мало у нас таких?

Заседание кончилось поздно. Потом Шебаршину пришлось просмотреть кипу докладов. В кабинет пришел Мамонов:

— Насчет Влаховой вы правы, снимаю все возражения. Действительно, в инструкции стоит липа, а там почва засоленная, естественно, что она пишет о татарском клене. Она предлагает скумпию, это неплохо... Завтра хоронят Рогозина. Вы придете?

Шебаршин кивнул головой.

Леля его ждала, заставила рассказать все — и про Дюма, и про Жолио-Кюри, и про ту необыкновенную женщину из Ниццы. Она слушала внимательно, чуть приоткрыв рот.

— Трудно себе это представить,— сказал Шебаршин.— Ты о чем задумалась?

— Вспомнила почему-то Ленинград...

Потом она стала рассказывать, как жила, пока он был в Стокгольме: на работе все хорошо, она поспорила с Демчинским — он безразличный, как только живое дело, вытирает ладонью лицо и хмыкает: «Давайте не будем», впрочем, это пустяки, в лаборатории работают и другие, кроме Демчинского; Кукса сам научился читать, требует, чтобы ему купили книгу, «только толстющую, как у папы на столе»; два раза она была в театре — снова посмотрела «Трех сестер» («каждый раз трогает») и в Кукольном — смеялась, как маленькая; младшая сестренка, Катя, влюбилась в студента-химика, они все время ссорятся и мирятся; отпуск обещали на май, хорошо будет, если Алеша тоже освободится, они поедут к морю — ей так хочется поглядеть юг!..

В словах Лели было столько любви, столько силы жизни, что Шебаршин забыл про все. Конечно, он знал,

что в мае сессия, нельзя будет выбраться даже на неделю, но он весело ответил:

— Обязательно освобожусь. Поедем в Сухум, там все в цвету. А море...

Ему было легко и спокойно.

Утром он пошел на похороны Рогозина. Гроб был выставлен в большом зале института. Шебаршин подумал: здесь его и прорабатывали, и чествовали, когда он справлял свое шестидесятилетие, и сюда принесли мертвым... Рогозин был человеком нелюдимым, всю жизнь отдал работе; друзей у него не было, но его уважали как ценного работника и хорошего, отзывчивого товарища. Он болел с осени, а в декабре еще сделал доклад о вегетативной гибридизации дуба. У него тогда от волнения подпрыгивали на носу очки. Теперь он лежал в гробу спокойный, как будто спал или слушал что-то неинтересное, закрыл глаза, думал о своем. Мимо гроба проходили сотрудники института, студенты, рабочие. Прошла уборщица Глаша с ребенком на руках; она плакала, а малыш удивленно глядел на большие венки с лентами. В почетном карауле Шебаршин стоял с Димитерко, Мамоновым, Николаевским. Потом они прошли в соседнюю комнату; машинистка Клава сняла с рукавов траурные повязки. Николаевский сказал:

— Обидно, что он не кончил своей работы, ведь он этим жил... А знаете, Алексей Петрович, над пробковым дубом работают и в Грузии, говорят, результаты изумительные...

Они вернулись в зал. У гроба сидела маленькая иссохшая женщина — вдова Рогозина; она, не отрываясь, глядела на покойника. Шебаршин хотел ей сказать, что ее горе разделяют все, но слова застряли в горле, он крепко пожал ее руку. Рядом стояли две сотрудницы института; они плакали.

Потом были речи. Димитерко сказал: «Мы обязуемся продолжить дело, которому отдал все свои силы незабвенный Семен Андреевич...»

На кладбище снег таял; было очень тихо; только когда начали забивать гроб, вдова заплакала.

У ворот кладбища Мамонов нагнал Шебаршина. Они поехали вместе. Оба молчали. Потом Мамонов сказал:

— Рогозин правильно говорил, что мы уделяем недостаточно внимания техническим кустарникам, в частности бересклету...

Шебаршин ответил:

— Да.

Когда они доехали до Садовой, Шебаршин сказал, что хочет немного пройти пешком. Вначале он шел и ни о чем не думал, глядел, как неслись машины, как девочка подбирала выпавшие из кошелки яблоки, как таяли сосульки. Потом он вспомнил вечер с Лелей. До чего она молодая! Ну да, ей тридцать два, а мне пятьдесят три, в мае будет пятьдесят четыре... Никогда он так мучительно не ощущал этой разницы в возрасте, как сейчас, даже когда, влюбившись, решил с ней не встречаться. Может быть, происходило это от того, что он плохо себя чувствовал, припадки болезни, которую он попрежнему скрывал от жены, участились. Сердце сжалось, когда он подумал о Леле: ужасно, что она полюбила старого человека, ведь у нее жизнь впереди, а я долго не протяну...

Он вдруг остановился на углу переулка, оглянулся назад, как будто что-то обронил, все это было машинальным — ему стало страшно. Он вспомнил лицо Рогозина в гробу, яркие искусственные цветы, как Димитерко читал речь по бумажке, как Николаевский, выйдя в соседнюю комнату, вынул из кармана портсигар и жадно затянулся, а потом начал говорить о гибридизации. Бессмыслица...

Минуту спустя он спохватился: а ведь так лучше... Если и живем зачем-нибудь, то только для этого: чтобы твою мысль продлили, чтобы опыты, начатые Рогозиным, удались в Грузии, чтобы росли дубы «в шубах». Разве кто-нибудь скажет, что Дюма зря прожил жизнь? Да он первый попросит: если умру, собирайте на похоронах подписи под Стокгольмским воззванием. Свои обиды и своя радость быстро забываются, не болят потом и не вдохновляют, а когда знаешь, что ты дал хотя бы толику счастья другим, на крупицу облегчил чужое бремя, то и умереть не страшно. Николаевский молодой, ему и сорока нет, умру — он займется дубами, или Влахова, или те, что теперь учатся, смехом, криком, весельем заполняют аллеи Тимирязевки. Леса будут расти. Кукса будет расти. И жизнь будет расти. А Леля моей любви не забудет, оста-

нется след, моя нежность через года согреет ее, утешит — это то, что переступает через смерть.

Он быстро зашагал к институту и полчаса спустя говорил Мамонову:

— Это вы правильно давеча сказали насчет бересклета. Нужно заняться вплотную. А скумпия? А смородина золотистая? Нужно еще многое сделать...

77

Утром к Наташе пришел Никитин, сам не свой, лицо его, обычно ничего не выражавшее, с застывшими складками серо-зеленой кожи, с бесцветными, остановившимися глазами, выдавало волнение. Наташа встревожилась:

— Что-нибудь случилось, Александр Егорович?

Он шевелил губами, но ничего не говорил; потом вынул из кармана спичечную коробку, приоткрыл ее и тихо сказал:

— Беда!

В коробке лежали две гусеницы непарного шелкопряда. Наташа побелела:

— Как же вы не заметили?..

— Да не было ничего. Их, Наталья Дмитриевна, ветром принесло. Не иначе, как из Боровицкого урочья, я там в позапрошлом году был — все изглодано. Я говорил тогда Тетеркину, а он мне сказал, что в нашей области только край леса, значит это не его дело...

— Нет, вы погодите... Их... много?..

— Полно. Весь мой участок, да и у Зорина. Словом, беда...

— Чтó же мы будем делать?

— Уже начали опылять ДДТ. Плохо, что у меня тридцать га больших деревьев. Да вы не огорчайтесь — гусеницы месячные, халявые. Выведем...

Наташа поехала на участок Никитина. Лес, насаженный еще в 1934 году, был полон гусеницами. Наташа сказала:

— Так вы с ними не справитесь. Нужно достать самолет.

Никитин до этой минуты чувствовал себя виноватым и держался приниженно, но от слова «самолет» он рассвирепел:

— Вы, Наталья Дмитриевна, шелкопряда только в академии видали, а я с этой пакостью четыре года воевал. Вы уж меня простите, это у вас дамская истерика. Смотрите, вот вам гусеницы на земле, дергаются... Вы что, хотите, чтобы они скоропостижно скончались? Это только в академии бывает. Погодите до завтра.

Горленко, Зорин, Имханицкий — все успокаивали Наташу. Она разыскала книжку о борьбе с вредителями, там было сказано, что при шестипроцентном растворе ДДТ отпад гусениц первого возраста начинается через несколько часов, а полное уничтожение происходит в течение трех-четырех дней. На следующее утро она снова поехала в лес. На земле валялось много мертвых гусениц, но еще больше было живых на деревьях. Никитин успокоился, усмехаясь приговаривал, что умирать никому не охота, гусеницы тоже не торопятся.

Наташа прождала еще день. Зорин, который сначала уверял, что все обойдется, вдруг помрачнел: «Пространство слишком большое...» Под вечер прибежал Имханицкий и сказал, что и на его участке замечены гусеницы. Наташа поняла: если не достать самолета, все погибнет. Она решила поехать сама, боялась, что Горленко, натолкнувшись на отказ, успокоится и вернется с пустыми руками. Она поспеет к ночному поезду, значит утром попадет к Тетеркину или к Глыбачеву.

Узнав о том, что Наташа едет за самолетом, Никитин всердцах сказал:

— Конечно, поскольку вы теперь директор, я не могу возражать. Но, вы меня простите, это попросту смешно. Здесь люди дело делают, а вам представления захотелось — боевую эскадрилью!..

До станции было сорок километров. Наташа выехала рано — в половине девятого: лучше просидеть на станции два часа, чем опоздать на поезд. Ночь была темной, начал накрапывать дождь. Когда они проехали полпути, машина остановилась. Водитель долго возился с мотором, потом выругался.

— Говорил я Александру Егоровичу, что, если не поставить на ремонт, обязательно посереди дороги станем... Вы только поглядите!..

Наташа спросила:

— Поправите или до утра?

— Как светло станет, дойду до Куракина, позвоню, чтобы прислали трехтонку...

Он долго ругался, но Наташа его не слышала. Она пошла по дороге лесом. До станции двадцать четыре или двадцать пять километров. На почтовый я, конечно, опоздаю, но, наверно, проходят товарные... Чем скорее доберусь до станции, тем больше шансов попасть завтра к Теткину. Сейчас десять. Если пойду быстро, к двум приду...

Дождь усилился; глинистая дорога была скользкой, Наташа несколько раз падала и, вскакивая, шла еще быстрее. Ей было очень жарко, она удивилась: ведь день был прохладный... Началась степь. Дождь все лил. Наташа подумала: ужасно, что и погода против, в дождь никто не полетит... Она теперь бежала. Перед ее глазами были светлая, весенняя зелень леса и один лист, объеденный шелкопрядом. Лист рос. Изгрызанным было все небо; дождь перестал, и на минуту среди разодранных туч показалась желтая, мутная луна. Наташа остановилась, ей стало беспричинно страшно. Хоть бы увидеть один огонек!

Когда она прибежала на станцию, часы показывали половину второго. Почтовый поезд прошел час назад. Начальник станции говорил:

— Да вы разденьтесь, обувь посушите...

Она глядела на него, не понимая, что он говорит, повторяла:

— Посадите на товарный!..

Она поняла, как легко было итти: тогда она что-то делала, а теперь нужно смотреть на стрелку часов, которая едва ползет. Кажется, что я сижу здесь сутки, а прошло всего сорок минут...

В девять часов утра Наташа была в приемной, но Теркина не было. Напрасно она просила, чтобы ей дали его домашний адрес. Девушка с яркокровавыми ногтями читала какой-то роман и не хотела слышать о шелкопряде:

— Никита Иванович вчера поздно работал... Адресов мы никому не даем... Вы посидите, он скоро придет... Не вы одна дожидаетесь...

Тетеркин пришел в половине одиннадцатого. Наташа кинулась в кабинет. Какой-то человек попробовал ее удержать, говоря, что он пришел раньше, но Наташа с таким отчаянием шепнула: «Да вы поймите — непарный шелкопряд, решительно все погибнет»,— что он махнул рукой.

Труднее всего было убедить Никиту Ивановича действовать поспешно. Это был флегматичный полный человек. Его выводили из себя клякса на докладе или поломанный карандаш. Он терпеть не мог, когда люди суетились. Он заставил Наташу подробно рассказать о происшедшем, а потом спокойно, даже добродушно стал упрекать ее в халатности:

— Что же вы раньше делали? Нужно было во-время провести нефтевание...

— Три дня назад заметили. Может быть, это моя вина, меня могут снять с работы, отдать под суд.. Я понимаю... Только сейчас нужно послать самолет, это не терпит ни минуты...

Тетеркин посмотрел на Наташу: ее платье от дождя полиняло, смялось: лицо было измученное, глаза блестели. Он вспомнил, как она приезжала осенью, когда распределяли машины, тогда он подумал: красавица — и в такую глушь забралась... Ему стало жалко Наташу.

— Вы пойдите отдохните, не спали, наверное, а после обеда поговорим.

Наташа вышла из себя:

— Нельзя терять ни минуты, вы понимаете, какая это угроза — от Безыменки до Чурасовской!.. Нужно сейчас же послать самолет!

Тетеркин нахмурился:

— Что значит «сейчас же»? Откуда вы знаете, где сейчас самолеты? Сами прозевали, а теперь паникуете... Есть задания в порядке очереди...

Наташа вскочила:

— Вы меня простите, я пойду...

Она побежала в обком ко второму секретарю Самарину, с которым однажды разговаривала насчет лекций для колхозников. Самарин молча ее выслушал, потом

постучал карандашом по столу и несколько раз повторил: «ясно». Наташе показалось, что сейчас он скажет, как Тетеркин: «Ясно, проморгали, а теперь паникуете». Но Самарин взял трубку телефона:

— Слушай, Никита Иванович, где твои самолеты? Ясно... А второй? Так вот что — нужно послать на станцию... Собирался?.. Так вот, нужно сегодня. С этой пакостью нельзя ждать... Да, ничего, она успокоилась...

Он посмотрел на Наташу:

— Вы действительно хоть в столовую пойдите, позавтракайте. Через час самолет приготовят... А то не спали, не ели, это не годится...

— Погода, по-вашему, позволит?..

Ей хотелось убедить Самарина, что нельзя откладывать, как будто в его власти было прогнать густые, низкие облака. Самарин посмотрел в окошко:

— Это вы у летчиков спросите.

Летчик был немолодой, он дня три не брился, на лице выступила седая щетина. Поглядев сводку и покрутив головой, он сказал:

— Пока машину заправят, разойдется... До ночи поработаем, дни теперь длинные...

Наташа не выдержала и обняла его. Он растерялся:

— Ну, чего вы?..

Она хотела ему объяснить, какое это счастье, что они сейчас полетят, но не смогла.

Это было двадцать первого мая, а двадцать шестого ни у Никитина, ни на других участках не осталось ни одной живой гусеницы. Наташа пришла домой, не слышала даже, что говорил Васенька, не поужинала, сразу легла и проспала с девяти вечера до девяти утра.

День был блистательный, яркий, с множеством цветов; начиналось лето после дождливой, мягкой весны. Наташа улыбалась дубкам: они теперь были ей вдвойне дороги: она их отвоевала у смерти. Она не забыла посмотреть на новые всходы; они шли хорошо. Она чувствовала страшную усталость — кажется, могла бы еще весь день проспать, и вместе с усталостью ее тело наполняла радость — тяжелая и густая.

Вечером привезли почту; Наташе было письмо от отца. Дмитрий Алексеевич писал: «Весна у нас ранняя. Первого

мая было жарко. Москва хорошеет, посадили всюду липы, разбили новые скверы, даже дома кое-где покрасили. Позавчера я был на интереснейшем докладе, хирургия делает воистину чудеса. Я не стану тебя утомлять названиями болезней, ты в этом мало что смыслишь, но представь себе, что вскоре смогут «ремонтировать» ноги, руки — отрезать и наново пришить, это не сказки, произвели опыт над собакой, она перед нами прыгала, не видно даже, какая лапа у нее подверглась операции. Ты понимаешь, какие это открывает возможности при различных заболеваниях, опухолях, увечьях,— словом, всех человеческих бедах! Был я на лекции, которая, наверно, заинтересовала бы и тебя: о рисовых плантациях на Украине, слушаешь и не веришь ушам.

Работаю я много, доктор Пашков ушел в отпуск, так что у меня двойная нагрузка. Ты спрашивала, как с депутатскими делами. Избиратели пишут каждый день: то нужно отремонтировать крышу педтехникума, то неправильно отказали в пенсии, то просят комнату, то гражданка разыскивает папашу своего ребенка, который не платит алиментов. Меня уже знают во всех министерствах — надоедаю им порядочно.

По ночам удается иногда почитать. Беда, что книг мало, то есть выходит много, а почитать порой нечего: уж очень некоторые авторы скользят по жизни, описывают большие дела, а людей, которые эти дела делают, не показывают. Получается, что я куда лучше знаю Базарова, Обломова или Андрея Болконского, чем современников,— это обидно.

Внимательно слежу за газетами и не могу понять, что стало с американцами. Конечно, делячества и подлости у них всегда было много, Горький об этом хорошо написал, но я не о совести говорю и не о разуме в высоком значении, а о простом здравом смысле. Газеты каждый день сообщают про волнения в Европе. На кого же американцы рассчитывают? Вчера в «Новом времени» была статья о том, что они пытаются воскресить армию Гитлера. А как воскресить мертвых? Дело не в том, что Гитлер разбросал кости своих приверженцев по всему свету, главным образом по нашей стране, но в уцелевших умерла охота завоевывать. К нам их калачом не заманишь, знают,

чем это кончается. Горько только, что такой ажиотаж мешает людям жить. Человек, который мог бы сделать открытие или написать хороший роман, не чувствует почвы под ногами, мысль задерживается на какой-нибудь паскудной речи или на провокационной выходке. Жду не дождусь часа, когда все порядочные люди рассердятся и положат конец этому безобразию. Посылаю тебе брошюрку — стенограмму доклада профессора Шебаршина о Стокгольмском совещании, исключительно интересно, может быть до тебя не дошло.

От Васи недавно получил коротенькое письмо, он радуется, что ты приедешь в июне. Я тоже радуюсь — и за вас и за себя: к счастью, дорога в Минск проходит через Москву, так что смогу скоро обнять тебя и поглядеть на внука. Васеньке скажи, что я приготовил для него подводную лодку, смастерил один знакомый механик, мы ее пускали в ванне, плавает, как настоящая.

Ну, будь здорова, дорогая Наташенька, сообщи заранее о дне приезда, ты ведь, наверно, больше чем на один день здесь не задержишься, и я хочу разгрузиться от всех дел».

Наташа с грустью подумала: ни слова не написал о своем здоровье. Я ведь знаю, что энергия ничего не доказывает — он скорее умрет, чем не похлопочет за кого-нибудь...

В ноябре Наташу вызвал Шебаршин: тогда ее назначили директором станции. Она провела в Москве четыре дня, почти все время заняли разговоры, совещания. С отцом ей удалось провести только последний вечер. Дмитрий Алексеевич был весел, много рассказывал, потом вдруг замолк. Наташа заметила, что он изменился в лице. Она спросила, что с ним, он не ответил, вынул из кармана флакончик, лизнул пробку; полчаса он просидел молча, а потом встал: «Видишь, еще танцовать могу...» — «Что с тобой было?» — спрашивала с тревогой Наташа. Он отвечал: «Ничего, просто задумался...»

Она уехала с неспокойным сердцем. Когда к Марфе Игнатьевне приехал врач из больницы, Наташа спросила: «Есть такое лекарство, которое не принимают, только лижут пробку?..» Врач ответил: «Наверно, нитроглицерин. При грудной жабе...» Наташа не спала всю ночь, хотела

послать отцу телеграмму, а утром написала, умоляла взять отпуск, полечиться. Дмитрий Алексеевич ответил, что он вполне здоров, его дело — не лечиться, а лечить, отпуск он, конечно, возьмет, но не раньше августа.

Перечитывая письмо отца, Наташа вспомнила московскую квартиру. Ужасно, что она оставила его одного! Но он ни за что не расстанется со своей больницей, а ей теперь нельзя бросить станцию. Получается заколдованный круг — живем все врозь. Мы с Васей крепкие, если нашли друг друга после войны, значит не страшна никакая разлука. Я боюсь за папу. Он не говорит, сколько ему лет, но, по-моему, шестьдесят три или шестьдесят четыре...

— Дедушка приготовил для тебя подводную лодку,— сказала она Васе.

— Настоящую?

— Ну да, он пишет, что она в ванне плавала...

Вася, разочарованный, протянул:

— В ван-не?.. Так она ненастоящая. Я хочу такую, чтобы в пруду пускать...

Ночью Наташа читала стенограмму доклада Шебаршина. Наверно, Шебаршин, когда выступал, вспомнил «катакомбы» Стокгольма, Дюма, молоденького негра, итальянцев, американского пастора, он сумел передать в непривычных, взволнованных словах их тревогу, гнев, мечты. Наташа читала не отрываясь; потом задумалась: как они там живут?.. Она вспомнила ночь, скользкую дорогу, дождь, тоску — хоть бы скорее добежать до станции... А у них так каждый день... Почему-то вспомнился Сергей в тот вечер, когда они были у Нины Георгиевны. Он проводил Наташу. Они говорили о войне, о том, как освобождали Вильно, о том, что в Париже молоденькая женщина подожгла фашистский танк. Сергей был возбужден, мечтал, как будет после победы. Они расстались возле ее дома, Наташа сказала: «Сережа, ты скоро вернешься, тебя и Валя ждет и мама, все...» Его убили полтора месяца спустя. Почему она о нем подумала? Может быть, потому что Шебаршин рассказывает, как одна француженка в Ницце кинулась на жандармов?.. Нет, не только потому... Сергей перед тем, как они расстались, сказал: «Утро будет хмурое... А все-таки это наш день...» Сегодня был замечательный день, я такого не помню: сверкающий, горячий и

свежий. С шелкопрядом кончено... Разве можно отдать дубки?.. Никитин радовался, чуть меня не задушил. Почему он был против самолета? Наверно, потому, что об этом заговорила я. Он хороший, только у него в голове перегородки... Нужно папе написать, как уничтожили гусениц, ему это понравится. Да не стоит писать — через три недели буду в Москве, расскажу. Только бы он отдохнул, поправился!.. И Васю скоро увижу...

Засыпая, она охватила горячей рукой подушку. Ей показалось, что она целует Васю, но это было уже во сне.

78

Наташа взмолилась:

— Посидим немного, я больше не могу...

Весь день Вася водил ее по Минску, хотел показать ей все: каждая мелочь казалась ему необычайно важной. Вот здесь убрали домишко и открылась перспектива, а там пришлось выровнять улицу, которая горбилась...

— Я недавно видел в музее рукопись Лермонтова, чуть ли не каждое слово перечеркнуто, написал «мучить», перечеркнул — «наказывать», потом снова поставил «мучить». Конечно, когда читаешь «Героя нашего времени», этого не замечаешь, но роман сделан из слов... Ты не представляешь себе, с чем приходится возиться,— ларек не на месте, забор плохо покрасили, двери есть, а ручек нет... До революции города не было, существовало огромное местечко — ни плана, ни идеи, ни своего лица. Если Минск тогда выражал что-нибудь, то только приниженность, скуку захолустья. Потом начали строить. Помнишь, когда ты приехала?.. И война. Бомбили. Немцы, отступая, закладывали мины, взрывали целые улицы... Не думай, что я от всего в восторге, с точки зрения искусства можно многое поругать, и справедливо: есть и дешевое украшательство и эклектизм. Но рождается город, это — главное... Я както смотрел заграничные журналы: много талантливых архитекторов, интересные проекты, фотографии чудесных коттеджей. Но там архитектор строит дом и не оглядывается по сторонам, знает, что все равно рядом построят что-нибудь несуразное — полный разнобой. Города растут, как придется,— кому что нравится, кто какой участок

купил.. Весь смысл того, что мы делаем, не в отдельных домах, а в идее города. Посмотри: разве это прежний Минск? Сразу чувствуется, столица...

Наташа подумала: и Вася теперь не прежний. Минутами я перед ним робею. Он очень вырос, смотрит далеко...

Вася не рассказал ей, сколько ему пришлось пережить за полтора года (они не видались с осени сорок восьмого). То Сусликов обязательно хотел налепить на фасад крашеные гербы, то Шервинский дурил — собирался повернуть дома спиной к скверу, то работа замирала — не было рабочих рук, задерживали строительный материал. Вокруг Минска росли заводы, они переманивали рабочих. Васе приходилось драться за каждого человека. Работа была тяжелой, будничной — перед ними были не планы, а большое строительство, с перебоями, с недочетами, с распрями. Набоков — лентяй; Бубенцов оказался склочником; Шепелевич обижается, кричит, что уедет в Москву. Однако ни на минуту Вася не забывал о главном; он умел увидеть идею города не только в каждом доме — в каждой детали дома.

Два месяца он прожил в тревоге: Одинцова неожиданно перевели в Москву, заместивший его Савченко объявил, что строительство придется сворачивать, выравнивание улиц, например, обойдется слишком дорого, пора пересмотреть план. Вася два раза ездил в Москву, объяснял, писал, настаивал и вдруг узнал, что вместо Савченко назначили Обуховича. Лучше это или хуже, спрашивал себя Вася. Неделю спустя Обухович его вызвал и сказал: «Правильно вы протестовали, что столица республики...»

— Наверно, ты так смотришь на свои дубки,— сказал он Наташе.

— Нет, Вася, это — другое... Что ни говори, а это — искусство. Я помню, я разговаривала с Сережей. Это было в день твоего рождения, мы перед тем узнали, что ты жив и в армии, отпраздновали... Сережа говорил, что когда кончится война, он будет строить мосты, и потом сказал: «Я завидую Васе, архитектор может вложить в строительство не только расчет — сердце. А мне так хочется передать мечту!..» Когда я гляжу на Минск и слушаю тебя, мне кажется, что ты вкладываешь в город себя, товарищей, всех... взять меня, я обыкновенная женщина, научилась

кое-как своему делу, смотрю за деревьями, спорю с Никитиным, но ты думаешь, я не мечтаю? Не умею сказать, это — другое дело... А ты и за меня говоришь...

Они пошли домой. Прибежал Васенька — он был с пионерами на речке, рассказывал отцу:

— Мама боится, что я потону, это потому, что она женщина. А вот ты, папа, поймешь — я не могу потонуть, я хорошо плаваю и на спине и на боку. Дедушкина лодка необыкновенная! Все ребята сбежались. Милиционер подошел, хотел потрогать, а я ему не дал. Она вот как ныряет!.. Папа, я тоже могу нырять...

Наташа его накормила, и он уснул, счастливый.

Была короткая июньская ночь. Как могла Наташа не вспомнить такую же светлую ночь в том же Минске, ночь, с которой началась ее жизнь, счастье, горе, Васенька? Прошло девять лет... Иногда кажется, что все это приснилось. Она приехала к Васе девчонкой, придумала глупую историю о том, что возле Минска опыляют с самолета деревья, зараженные вредителями. Ничего она тогда себе не представляла, даже шелкопряда... Она узнала в ту ночь такое счастье, что жила им годы. Утром они вышли веселые, был сильный ветер, Вася показал дома, которые строил... И вдруг все оборвалось: по радио передавали речь Молотова — война. Город горел. Она шла по шоссе. Бомбили. Тогда она впервые увидела, как умирает человек... А от Васи не было вестей. Три года она не знала, жив ли он. Нет, этого не забыть!..

Она его обняла, целовала поспешно, лихорадочно, как будто боялась, что кто-то их разлучит надолго, может быть навсегда.

Светало. Комната стала голубой; все казалось смутным, похожим на театральную декорацию. Вася любовался Наташей: страстная скрытная женщина и робкая девчонка, о которой он мечтал в белорусских пущах, сливались в одну — усталую, милую, горячую, как жизнь.

Наташа теперь не могла отвязаться от воспоминаний. Тогда тоже рано рассвело, она вскочила, подбежала к окну. Все спали. Никто не думал, что через час начнется война... Она видела госпиталь, в котором проработала два года, окровавленные бинты, лихорадочные глаза раненых.

— Неужели снова?..

Вася не понял:

— Что?..

С трудом она выговорила:

— Война.

Он задумался; глядел то на Наташу, то в просветлевшее окно — напротив синел недостроенный корпус.

— Ты сказала «война»? Нет, Наташа, нет! Я не могу этого доказать, но это так... Ты знаешь, как растет Вася, как растет дерево... Разве можно сеять дубы с расчетом на мотыльковый век? Я часто думаю о Минске. Город строят очень долго, его строит не одно поколение. О нас давно забудут, а Минск все еще будут строить... Народ шагает, у него длинные шаги... Мы не зря воевали, Наташа, теперь мы не дети, нас не запугать... Здесь работает Шелега, мы были в одном отряде. Он один из лучших строителей. Както Харитонов ему говорит: «Шелега, будет собрание за мир, так ты выступи...» Он ответил: «Я кирпичами выступаю, за один час кладем две с половиной тысячи. Пусть они выступят, вот тогда мы их стукнем...» Никогда они не посмеют! Это правда, Наташа, как то, что сейчас утро, как то, что я люблю тебя, так люблю, что сердце разрывается...

Он вдруг засмеялся:

— Сейчас проснется Вася и начнет пускать свою лодку в тазу.

Засмеялась и Наташа. Васенька еще спал. Над его головой прыгал солнечный зайчик. В окно донеслись голоса с улицы. Вася вскочил:

— Столяры... Надо им сказать, что рамы никуда не годятся.

Он быстро оделся; уходя, поцеловал Наташу, еще сонную, полную густоты ночи, и неожиданно, чуть улыбаясь, сказал:

— Ты знаешь, что делал Фауст, изведав счастье? Он строил город.

79

Биндла сенатор Лоу знал как человека хладнокровного. Двадцать лет назад, когда «черные среды» сменялись «черными пятницами», когда каждый день приносил

новые драмы: король пленки Джордж Истмэн застрелился, король стали Дональд Пирсон покончил с собой, король консервов Свифт выбросился из окна, финансист Леммле отравился,— директор «Америка бэнк» спокойно подстригал газон в своем саду или играл в пинг-понг, говоря: «Акции могут понижаться, но я не хочу, чтобы у меня повысилось давление». Лоу часто возмущался его спокойствием, говорил, что нельзя быть слепым, опасность слишком велика; но всякий раз после беседы с директором банка он испытывал облегчение: Биндл заражал его своим оптимизмом.

Он заехал к директору по делу; Биндл спросил, как здоровье сенатора. Лоу ответил:

— При чем тут мое здоровье? Я вам скажу откровенно, мы приближаемся к развязке. Красные собираются захватить западные секторы Берлина. Конечно, они маскируются, это называется «встреча молодежи». Но полковник Робертс сказал мне, что наши войска приведены в боевую готовность. Я далеко не убежден, что мы сможем отстоять Берлин. Покойный майор Смидл рассказывал, что у красных там крупные силы. Пожалуйста, не обижайтесь, но вы удивительно беспечны.

Обычно, когда Лоу передавал Биндлу тревожные новости, тот возражал: «Зачем преувеличивать? Русские не так страшны, как их изображает ваш Робертс. Все обойдется». Теперь он только усмехнулся:

— Все может быть. Но я не хочу портить себе кровь из-за трех уличек Берлина, да и вам не советую. Меня куда больше интересует, что станется с нами. Конечно, самое остроумное — забраться в глушь. Но не могу же я бросить дела! Я прикован к столице...

— Вы считаете, что они могут налететь на Вашингтон? — спросил Лоу, смутно надеясь, что Биндл его успокоит.

Биндл пожал плечами:

— Откуда я знаю? Красные со мной не советуются. Но вы поступите благоразумно, если не будете чересчур рассчитывать на папки вашего Робертса или на танки генерала Дауса. Вы знаете Грина? Если нет, я вас с ним познакомлю. Это гениальный архитектор, он строит для меня дом под землей. Не убежище, а настоящий дом с полным

комфортом. Профессор Райнер — лучший специалист по атомным вопросам, и он подтвердил, что даже если бомба упадет на город, я смогу спокойно играть в пинг-понг. Конечно, у вас поместье в Миссисипи, это рай: туда они никогда не залетят. Но вам приходится бо̀льшую часть года проводить в Вашингтоне. Почему бы вам не построить подземный домик? Достаточно вы заботились о других, пора подумать о себе.

Биндл потом упрекал себя за эти слова. Лоу побагровел, начал кричать:

— Я не спрячусь под землю! Мой дед погиб за Америку у стен Ричмонда. Пожалуйста, не обижайтесь, но вы ведете себя, как крыса...

Он ушел от Биндла в ярости. Дома он задумался: если Биндл струсил, значит красные очень сильны. Конечно, залезать под землю недостойно, но нужно смотреть правде в глаза. Врачи говорят, что я себя убиваю, нельзя волноваться — от этого повышается давление, может быть они и правы, но, как я ни болен, я, кажется, умру не от болезни, а от бомбы. Неужели всевышний решил погубить Америку?..

Сенатор поехал к Робертсу.

— Вы знаете, чем занят Биндл? Строит подземный дом. Это симптоматично... Я вам скажу откровенно, я не могу свыкнуться с мыслью, что у красных бомба...

Робертс начал его успокаивать:

— Биндл всегда был трусом. Конечно, у красных десяток-другой бомб, но они сильно отстали.

— Я думаю, что для Вашингтона хватит одной бомбы.

— Они никогда не решатся... Вы читали их «Стокгольмское воззвание»? Если они так протестуют против бомбы, то это не случайно...

Полковник рассказал Лоу, что дела идут неплохо: в Берлине красные струсили и отказались от штурма западных секторов; на совещании в Лондоне решено создать европейскую армию; президент начинает понимать, что без крутых мер в самой Америке не обойтись,— так называемым «сторонникам мира» придется скоро перебраться в тюрьмы.

— Я к вам приехал по делу,— сказал Лоу.—Вы правы, после истории с Саблоном «Трансок» ничего не может

делать. Я решил создать новое агентство, мы назовем его «Пакс» — это красиво звучит, и потом это откроет многие двери. Конечно, придется расстаться с Нивелем. Я вам скажу откровенно, я об этом не буду жалеть, он мой зять, но он француз, на него нельзя положиться. Другое дело — майор Смидл, это непоправимая потеря. Но сейчас нужно не горевать, а действовать. Мы сможем сделать куда больше, чем с «Трансоком»,— у меня есть опыт, да и время другое: два года назад мы еще щадили красных. Я помню первые инструкции Нивелю — оппозиция, листовки, знакомства. Теперь все поняли, что с красными незачем разговаривать, их надо уничтожать... У меня есть хорошие сотрудники, но я не знаю, кого поставить во главе.

Робертс задумался.

— Вот вам прекрасная кандидатура,— наконец сказал он.— В государственном департаменте работал Бернсон. В связи с делом русского шпиона ему пришлось уйти в отставку. В свое время я на него рассердился: он выставил свидетелей, не посоветовавшись со мной. Но потом я с ним познакомился, он не раз помогал мне в работе. Это не чистоплюй, а энергичный человек, готовый выполнить любое поручение, притом он действительно воодушевлен идеей. У него много достоинств, он был в Советском Союзе, знает русский язык. А теперь Россия — главное... Три года он занимался «перемещенными лицами», знает всех эмигрантов из Восточной Европы. Вы правильно отметили, что положение радикально изменилось: нужны не журналисты, а смелые люди, способные действовать. Если вы хотите, я пришлю к вам Бернсона, вы увидите, что я прав.

Бернсон понравился сенатору: он держался скромно, сказал, что сможет подобрать людей для Москвы, Будапешта, Праги; добавил, что будет счастлив работать под руководством Лоу.

Несколько дней спустя в газетах появились заметки о новом газетном агентстве «Пакс», которое стремится улучшить отношения между Западом и Востоком и во главе которого стоит профессор славянских языков г-н Бернсон.

После многих унижений Бернсон узнал торжество. Жаль, что он не может заехать к Бойджу, угостить его хорошей гаванской сигарой и мимоходом сказать: «Я теперь зарабатываю вдвое больше, чем вы. Хорошо смеется тот, кто смеется последним...» Зато Бернсон отомстил своей супруге, которая целый год попрекала его историей с Минаевым. Когда госпожа Бернсон принесла ему чашечку черного кофе, он визгливо закричал:

— Опять ты даешь мне холодный кофе? Когда человек занят ответственной работой, жена обязана создавать подходящую обстановку. Интересно — о чем ты думаешь?.. Если это еще раз повторится, я выкину из дому все твои романы и в кино ты не будешь шляться — я не дам тебе ни одного цента...

Обычно, когда муж устраивал сцену, госпожа Бернсон насмешливо отвечала: «Крошка, не надувайся, ты можешь лопнуть». Но теперь перед ней был директор крупного агентства, и она виновато пролепетала:

— Крошка, это больше не повторится. Будь милым, поцелуй твою глупую Ненси...

Лоу решил не ликвидировать «Трансока» — подождать два-три месяца, чтобы никто не догадался о связи «Пакса» с прежним агентством. Он лихорадочно работал, и это его успокаивало. Но когда Бернсон водворился в новом прекрасном кабинете и сказал сенатору: «Теперь все пойдет как по маслу», Лоу снова отдался мучительным раздумьям. Америке грозит гибель. Даже если Робертс прав и у нас в десять раз больше бомб, чем у красных, это нас не спасет. Как мог всевышний дать им бомбу?..

Лоу спросил об этом своего друга, пастора Синга, человека начитанного и пользовавшегося всеобщим уважением. Пастор Синг вместо ответа открыл библию:

— В писании сказано о нашем времени: «Беда за бедою, земля опустошена, разорены шатры мои. Это оттого, что народ мой глуп и не знает меня. Неразумны мои дети, они умны на зло, но они не умеют делать добро. Смотрю на землю — и вот она разорена, на небеса — нет в них света. Смотрю на горы — и вот они дрожат, все холмы содрогаются. Смотрю — и нет больше человека и земля превращена в пустыню».

— Что же делать? — в томлении спросил Лоу.

— То, что вы делаете, дорогой мистер Лоу. Я считаю ваше новое начинание превосходным. Всевышний хочет, чтобы мы не жалели ни сил, ни средств на борьбу против красного материализма.

Лоу не мог забыть майора Смидла. По десять раз в день он говорил себе: у меня теперь нет ни рук, ни ног, ни головы. Смидл был бескорыстным, скромным, смелым. Будь у нас побольше таких людей, всевышний, наверно, пощадил бы Америку...

Вскоре после убийства Смидла Лоу написал Мэри: ему было так тяжело, что он решился поделиться своей скорбью с дочерью, хотя и считал ее потерянной. Он часто писал Нивелю по делам «Трансока», но это было первым письмом Мэри после ее отъезда; оно было посвящено Смидлу. Мэри не ответила, но к очередному посланию Нивеля приписала, что благодарит отца за внимание и заклинает его беречь себя.

Лоу написал Костеру, просил его устроить в Париже траурный вечер памяти Смидла, пригласить видных представителей американской колонии, французов (по указанию Нивеля) и, разумеется, Мэри: «Я знаю, что Европа ее сильно испортила, но у нее доброе сердце, она, наверно, испытывает угрызения совести, вспоминая, как обижала Смидла. А на траурном вечере она будет представлять нашу семью».

Билл рассердился: рыжий окончательно выжил из ума! Мало того, что он меня посылает в Финляндию, где люди слепнут от древесной водки, он хочет, чтобы я служил панихиду по мерзавцу, который меня опорочил! Ссориться с сенатором Костер, однако, не хотел: у старика водятся деньги; поэтому он свалил все на Нивеля — написал, что директор агентства не отпустил средств на организацию траурного вечера, а в Париже такие церемонии стоят очень дорого. Билл вспомнил, что ему мало заплатили за сенсационную статью о красных в Стокгольме, еще больше рассердился и приписал: «Я пытался увлечь Вашей благородной идеей госпожу Нивель, которую нашел в ее любимом кафе на Монпарнасе, но она мне ответила, что не хочет оплакивать майора Смидла, так как он получил по заслугам».

Билл знал, какой удар наносит сенатору. Прочитав его письмо, Лоу просидел весь вечер в оцепенении. Я привык к мысли, что моя дочь кривляется, повторяет глупости, что она способна развратничать с цветными, но никогда я не думал, что она станет красной. Кто знает, не причастна ли она к убийству бедного Смидла?

Ричмонд-младший написал Лоу, что в Джексоне ждут сенатора: красные окончательно обнаглели, губернатор мямлит, если не принять энергичных мер, негры взбунтуются. Лоу понимал, что необходимо съездить в Миссисипи. Напрасно Робертс считает, что это отдых, это — битва: Лоу должен уничтожить красных, очистить тыл для предстоящей войны. Если он откладывал отъезд со дня на день, то только потому, что боялся оставить столицу на целый месяц: могут начаться решающие события.

Сенатор Уорнер как-то сказал Лоу: «Я не верю гадалкам, вообще презираю суеверия, но астрология — наука. Меня переизбрали только потому, что доктор Гардинг составил мне гороскоп: я мог учесть все шансы — и свои и противника...» Может быть, пойти к доктору Гардингу? Конечно, пастор Синг скажет, что это грех, нельзя пытаться разгадать помыслы всевышнего. Но я ведь забочусь не о себе, а о судьбе Америки...

Доктор Гардинг жил в комфортабельном особняке. Лоу думал, что у него на стенах должны висеть какие-то магические таблицы, а кабинет знаменитого астролога ничем не отличался от кабинета Райта или самого Лоу. Усадив сенатора в удобное кресло, доктор Гардинг спросил:

— Не говорила ли вам ваша покойная матушка, в котором часу вы появились на свет? Ко мне приходят обычно только с датами, а между тем многое зависит от часа.

Лоу покачал головой:

— Мне пора думать не о дне моего рождения, а о дне моей смерти. Всевышний дал мне жизнь, и он ее возьмет, когда захочет. Я пришел к вам, потому что меня тревожит мировая ситуация. Можете ли вы сказать, что ждет Америку?

— Есть пределы и у науки,— ответил доктор Гардинг.— Я не шарлатан и не возьмусь составить гороскоп

нации. Я могу вам сказать только о событиях самого близкого будущего, и то в общих чертах. Нам предстоят несколько спокойных недель: Венера находится в исключительно благоприятном положении. Однако в конце месяца картина переменится, двадцать первого июня ожидается пагубное сближение Венеры и Сатурна, такие феномены обычно сопровождаются массовой паникой, разрывом переговоров, иногда массовыми самоубийствами. В течение довольно долгого времени Скорпион будет оказывать возбуждающее действие на всю Азию. Надо опасаться роли Плутона, который способен омрачить наши отношения с союзными державами. Однако самым опасным мне представляется двадцать девятое июня, когда Нептун, определяющий поведение красных, будет находиться в близости от Весов. Я не убежден, что мы гарантированы от серьезных потрясений.

— Вы имеете в виду бомбу?

Доктор Гардинг улыбнулся:

— Я не хочу выходить за пределы научных прогнозов. Конечно, серьезные потрясения могут привести и к этому, но вы сами понимаете, что трудно, даже зная положение планет, сделать точные выводы о применении того или иного вида оружия. А если говорить по-житейски, то я не думаю, чтобы красные решились на такой шаг. Я получил вчера анонимный листок, мне предлагают подписать воззвание красных против атомной бомбы. Ну, если они ищут защиты у меня,— значит, они здорово струсили. Они не начнут... Конечно, мы можем сбросить бомбу на них, это — другое дело, но тогда ни вы, ни я не будем протестовать, не правда ли?

Лоу ушел от доктора Гардинга успокоенный. Он может уехать в Миссисипи на три недели, а этого вполне достаточно, чтобы очистить там атмосферу. Вот только нет Смидла, и никто его не заменит...

Накануне отъезда Лоу вызвал Бернсона; тот сказал, что в Будапешт уже выехал корреспондент, американец мадьярского происхождения. Ему поручено организовать ликвидацию крупных деятелей. Вероятно, скоро агентство получит визу для корреспондента в Москве; это человек, который слывет красным, но который помогал Бернсону при работе в государственном департаменте. Бернсон

показался Лоу деловитым и рассудительным. Я, кажется, нашел то, что нужно...

В Джексоне сенатора встретила большая делегация с цветами: были и губернатор, и судья, и Райд из «американского легиона», и владелец «Миссисипи пост», и доктор Хеллиц. Лоу, любезно поздоровавшись со всеми, сказал Ричмонду-младшему:

— Вы поедете сейчас со мной, мы не можем терять время на светские разговоры — нужно действовать...

Судья Гильмор шепнул доктору Хеллицу:

— Очевидно, Ричмонд-младший заменит Смидла. Мальчишка на седьмом небе. Посмотрите, как все мельчает! Можно говорить что угодно о майоре Смидле, но это была фигура. А что такое Ричмонд-младший? Он может только бить стекла и пугать негритянок. Пусть мне не говорят о прогрессе — человечество идет вспять.

Ричмонд-младший действительно не производил солидного впечатления. Ему было двадцать восемь лет; с трудом он получил университетский диплом, ничем не занимался и жил на деньги отца, крупного плантатора. Еще два года назад Ричмонд-младший проводил вечера в баре «Виктория» и не интересовался мировыми событиями. У доктора Хеллица он познакомился с майором Смидлом, который его потряс своими рассказами о борьбе против красных. Ричмонд-младший решил заняться политикой; он работал в комитете демократической партии, выступал на собраниях, даже написал статейку в «Миссисипи пост». Он понравился Смидлу, и майор сказал сенатору: «Ричмонд-младший подает большие надежды». Именно поэтому Лоу решил приблизить к себе человека, который еще ничем себя не зарекомендовал и чья внешность его скорее раздражала: у Ричмонда-младшего были выпуклые светлые глаза, большой кадык; держался он самоуверенно; носил яркие пиджаки, рыжие или зеленые, стянутые в талии, и неимоверно пестрые галстуки.

— Что же у вас делается? — спросил сенатор Ричмонда-младшего.

— Неслыханное безобразие! Я даже не знаю, с чего начать... Кларк ухитрился переслать письмо из больницы в Нью-Йорк. Вы сами понимаете, что́ он мог написать,— это ведь старый агент Москвы. А судья Гильмор раскис,

говорит, что Кларка придется рано или поздно освободить и что лучше это сделать до того, как вмешаются федеральные власти. В Нью-Йорке чумазые устроили «комитет защиты Кларка», ну и здесь, как я вам писал, есть тайный филиал. «Друзья мира» стали еще нахальней: до февраля они печатали свои пакости на ротаторе, а теперь у них типография... Начальник полиции говорит, что они печатают листовки в Нью-Йорке, но я в этом далеко не убежден. Недавно мы узнали, что эти листовки читает владелец аптекарского магазина Уэллс. Мы его припугнули, разбили стекла и послали извещение, что, если он еще раз возьмет в руку листовку красных, его вздернут на дерево, как черного. Конечно, это мелочь... Вы должны выступить с громовой речью, все этого ждут,— сказать, что красным у нас не поздоровится. Они совершенно распустились. Возьмите адвоката Киглея. Когда убили майора Смидла, он сказал: «Типичный конец авантюриста». И можете себе представить, это ему сошло с рук!..

— Адвокат Киглей — красный? Не может быть!

— Конечно. И не он один... Вот список...

Лоу читал и содрогался: в списке были имена уважаемых людей: адвокатов, врачей, инженеров, журналистов, коммерсантов. Многие из них бывали в доме Лоу... Неужели все это красные?..

— А вы не погорячились? — спросил Лоу.— Пожалуйста, не обижайтесь, но вы еще очень молоды...

Ричмонд-младший усмехнулся:

— Я уважаю ваш опыт. Но, право, возраст тут ни при чем. Я показывал этот список и Райду, и Гочису, и в комитете, никто не вычеркнул ни одного имени, напротив — мне добавили несколько имен.

Лоу погрузился в мучительные раздумия: почему всевышний оставил Америку? Ричмонд-младший нетерпеливо шуршал листами бумаги. Наконец Лоу сказал:

— Я передам этот список в «Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности». Мы проверим в отдельности каждого... Доктор Хеллиц сказал мне, что послезавтра демократы устраивают банкет в мою честь. Я воспользуюсь этим случаем, чтобы выступить. Вы должны позаботиться, чтобы мою речь напечатали во всех газетах и передали по радио.

Давно в Джексоне не было такого вечера; люди пришли поглядеть на гордость штата — ведь к голосу сенатора Лоу прислушивается весь мир; пришли и за тем, чтобы узнать, каковы перспективы: некоторые говорили, что президент хочет договориться с красными, тогда цены на хлопок сразу упадут и тощие коровы пожрут тучных. Но сенатор Лоу представляет в Вашингтоне наш штат, он не допустит такого безобразия!..

Когда председатель, постучав по столу деревянным молотком, предоставил слово сенатору, в зале воцарилась тишина.

— Миссисипи, земля, за свободу которой умирали наши деды и прадеды, ты никогда не будешь красной! — так начал свою речь Лоу.

Он с возмущением рассказал о кознях врагов, о планах захвата Америки с юга — после высадки на берегу Мексиканского залива, о том, что русские рассчитывают найти в Миссисипи «пятую колонну».

— Наши враги умело маскируются. Кто мог подумать, встречая на улицах нашего любимого города адвоката Кларка, что перед ним агент Москвы, шпион, убийца? Всевышний покарал Кларка. Я торжественно заявляю, что, пока я жив, правосудие будет соблюдено. Никогда Кларк не выйдет на свободу. Напрасно хлопочут красные в Нью-Йорке. Напрасно здесь интригуют платные шпионы. Мы будем твердыми, как то предписывали нашим дедам и прадедам Джефферсон Девис, генерал Ли, другие герои Юга. Я знаю, что в нашем городе есть осиное гнездо. Некоторые почтенные люди идут за красными, одни — потому, что их подкупили, другие — потому, что их запугали. У меня есть список презренных. Я его сейчас не оглашу — я даю время малодушным одуматься. Мы простим каждого, кто чистосердечно покается и обещает честно служить Америке. Но горе другим! Всевышний пошлет их души в геенну, а до этого они ознакомятся с правосудием нашего штата.

Лоу коснулся негритянского вопроса: он сторонник гуманного обращения с цветными, негры — люди, господь их создал также по своему подобию, заповедь «не убий» относится ко всем людям.

— Скажите неграм, что, если они будут скромно тру-

диться, им обеспечено спокойствие. Но только сумасшедшие или заведомые негодяи могут говорить об участии цветных в политической жизни нашего штата. Нельзя допустить, чтобы судьбы граждан решали люди, которые духовно недоразвиты. Для красных негры — оружие, это понятно. Но что выиграют черные, если они прислушаются к мерзким нашептываниям агентов Москвы вроде Кларка? Граждане нашего штата будут вынуждены защищаться от цветных, и в первую очередь пострадают сами негры.

В конце речи Лоу рассказал о международном положении. Политике умиротворения положен конец. Крепнет коалиция против красных. Русские не посмели захватить Западный Берлин: побоялись бомбы.

— Некоторые из вас, может быть, слышали о новой затее красных: они теперь собирают подписи под требованием запрета бомбы. Я могу вас успокоить—эти подписи никого не испугают. Пусть красные составляют списки своих сторонников, это нам полезно. Если они не угомонятся в Америке, мы их посадим — по спискам. Если они не угомонятся в Москве, мы сбросим на них бомбу, и мы их уничтожим — без списков.

Шумная овация покрыла последние слова. Лоу вытер платком лицо. Его поздравляли. После видных людей подошел Ричмонд-младший, сказал:

— Жаль, что вас не слышал майор Смидл, он бы обрадовался...

Лоу закрыл глаза: вспомнил незабвенного «мальчика».

На следующий день к сенатору приехал адвокат Джонсон:

— Я вместе с вами оплакивал Смидла. Это был один из последних могикан Юга... Вы простите, что я вас потревожил, но после кончины майора ваше завещание потеряло силу. Вы, конечно, теперь намереваетесь оставить ваше состояние дочери. Можно обойтись и без завещания, но лучше закрепить вашу волю, вы ведь знаете наших крючкотворцев, они обожают формальности...

Лоу вскипел:

— Вы не понимаете, что говорите!.. Это все равно, что оставить деньги Кларку!.. Я никому не рассказываю о своем несчастье, но вы должны это знать: Мэри теперь с красными... Я не хочу о ней слышать...

Когда Лоу успокоился, адвокат спросил:

— Кому же вы хотите отказать ваше состояние?

— Америке. Тому делу, которое я начал: агентству «Пакс». Составьте завещание так, чтобы деньги получил директор агентства «Пакс» Бернсон, но чтобы он не мог их расходовать по своей прихоти. Я оставляю ему мое состояние только на агентство «Пакс». Если по непредвиденным обстоятельствам Бернсон не захочет или не сможет продолжить работу, все мое состояние должно быть передано правительству нашего штата.

Когда адвокат уходил, Лоу вспомнил:

— Не забудьте указать, что я оставляю пятьсот долларов моему повару Джо. Вы не можете себе представить, как он мне предан! Он угадывает любое мое желание. Что ни говорите, в наш век это редкость. Завтра я заеду к вам и подпишу завещание.

В течение недели Лоу выступил еще два раза, был на завтраке «Неунывающих», где сказал прочувствованное слово о майоре Смидле, посетил сиротский дом, новые казармы. Повсюду его приветствовали, и он начал думать, что Ричмонд-младший сгустил краски. Тогда пришла по почте листовка, подписанная «Друзья мира»:

«Сенатор Лоу приехал на этот раз один — его верный адъютант Смидл, который занимался тем, что убивал неповинных людей, сам убит. Так еще раз подтвердились слова писания: поднявший меч от меча погибнет. Пусть над этим задумается сенатор Лоу. В своей речи он грозил посадить в тюрьму сотни граждан, устроить резню негров, а под конец, потеряв последние крохи рассудка, кричал, что с помощью атомной бомбы уничтожит миллионы человеческих существ. Под Стокгольмским воззванием в городе Джексоне уже подписались сотни граждан. Эти подписи не будут опубликованы, пока у нас царит произвол. Но если безумцы вроде сенатора Лоу попытаются перейти от угроз к действиям, они найдут в нашем городе не солдат для своей преступной затеи, а судей, которые покарают зачинщиков войны.

Граждане Джексона, подписывайте Стокгольмское воззвание! Вот его текст:

«Мы требуем безусловного запрещения атомного оружия, как оружия устрашения и массового уничтожения людей...»

Лоу тотчас позвонил Ричмонду-младшему: нужно прислать в поместье охрану.

— Я не дорожу своей жизнью, всевышний может призвать меня в любую минуту, но я еще нужен Америке...

Весь день он сидел, запершись, у себя и прислушивался, не идут ли красные. За ужином, увидав добрые глаза старого Джо, он несколько успокоился. Вот моя лучшая охрана. Этот негр скорее умрет, чем позволит тронуть меня пальцем.

— Ты очень хорошо делаешь омлет с ромом, Джо. Приятно, что ты стараешься мне угодить.

— Я рад, сэр, что омлет пришелся вам по вкусу.

Лоу не мог уснуть. Пошел дождь, и ему казалось, что стучат не капли, а чьи-то шаги. Он встал, надел халат и прошел в столовую. Вдруг красные забрались в дом?.. Он хотел позвонить Джо, но ему стало стыдно. Я не Биндл, мой дед погиб у стен Ричмонда, в роду Лоу не было трусов... Он взял газету, пробовал почитать, но буквы прыгали перед глазами. Он решил: пойду к старику Джо, разбужу его, я ведь не видел, как он устроился в комнате, которую я ему дал.

В комнате Джо горел свет. Негр сидел на табуретке и что-то читал. Он не услышал, как сенатор вошел.

— Ты что читаешь? — спросил Лоу.

Он увидел ту самую листовку, которую получил утром. Он вырвал ее из рук Джо. Внизу было приписано карандашом: «Подпиши и передай Джиму».

— Ты хотел подписать эту?..

Лоу не договорил — грохнулся на пол.

Вызвали врача, который сказал: «Инсульт. Кровоизлияние в мозг».

Лоу умер на рассвете, не приходя в сознание.

80

Мэри ходила заплаканная. Конечно, она знала, что отец тяжело болен, и все же известие о его смерти застало ее врасплох. Всю ночь она пила с художниками на Монпарнасе, а утром, вернувшись домой, нашла телеграмму. Она упрекала себя, что веселилась, когда отец лежал

мертвый в далеком пустом доме на берегу желтой реки. Она вспоминала детство, как отец играл с ней в прятки, рассказывал сказки. Почему я ему не написала? Конечно, Смидл был мерзавцем, но отец этого не видел. Я была дурной дочерью... А теперь я одна, как щепка в море, ничего не умею делать, да и не нужна я никому...

Никогда Нивель не был с нею так нежен, как в эти дни. Он часто заговаривал о покойном тесте, причем его голос выражал глубокую скорбь. Он проводил вечера дома, говорил всем, что у него большое горе. Его лицо, обычно унылое, выражало теперь невыразимую печаль. Это давалось ему с трудом: в душе он ликовал. Наконец-то рыжий умер! Мэри, к счастью, не интересуется политикой. Кончатся «Трансок», интриги, отчеты, шпионы. Нивель сможет заняться поэзией, тратить деньги, не боясь ревизий, жить по-человечески. Есть идиоты, которые считают, что счастье — жить в бурную эпоху, творить историю. Вздор! История творит с человеком все, что ей вздумается. Когда началась война, я еще был относительно молод, я считался одним из лучших поэтов. Одиннадцать лет у меня украли, и самые лучшие; пришлось сносить оскорбления Ширке или полковника фон Галленберга, жениться на уродке, терпеть дурь рыжего, выслушивать наставления Нильса. Дело не в том, что я полысел, обрюзг. Что стало с моей музой? Состарилась и она... Теперь, когда пришло освобождение, когда мне хочется смеяться, пить шампанское, я должен делать постную мину и восхвалять сенатора. Ничего не поделаешь — деньги у Мэри, а она истеричка, никогда нельзя знать, что она выкинет.

Две недели спустя Мэри получила письмо от адвоката Джонсона, он сообщал, что сенатор отказал все свое состояние директору агентства «Пакс» Бернсону, а ей оставил драгоценности, принадлежавшие ее матери. Мэри улыбнулась: значит, он до самой смерти увлекался политикой. Она не испытала ни обиды, ни огорчения и поехала к своим художникам: она теперь увлекалась пожилым шведом, который говорил, что «кубизм был бесчеловечным», но что если изображать зигзаги, они выразят «разнообразие человеческих страстей».

Письмо адвоката она оставила на столике в гостиной. Она вернулась домой в четыре часа утра. Нивель не спал. Она поглядела на него и перепугалась:

— Ты болен?

В ответ он скверно выругался.

Увидев, что он держит в руке письмо Джонсона, она сказала:

— Вот тебе сюрприз... Можешь кончать со своим агентством, ты ведь говорил, что это тебе опротивело...

Он закричал:

— Идиотка! Дочь своего отца! А на что мы будем жить?..

Она удивилась:

— Почему ты расстраиваешься? Ты ведь жил до меня и говорил, что неплохо. Конечно, мы бросим эту квартиру, вообще будем жить нормально. Ты можешь найти службу. А я сейчас говорила с друзьями, они мне предлагают разносить по магазинам клипсы, ожерелья, кольца, говорят, что можно заработать на жизнь. Так даже веселее...

— Перестань говорить глупости! Это не жизнь, а каторга... Я поэт, я не хочу бедствовать, мне нужны досуги... Ты должна подать в суд. Я не знаю законов твоей поганой Америки, но во Франции ты получила бы по крайней мере часть его денег. Завтра я позвоню адвокату...

— Я не буду судиться. Это — деньги отца, он имел право ими распорядиться.

— То есть, как это ты не будешь? Единственный выход — выиграть процесс...

— Я тебе сказала, что не буду.

Он окончательно вышел из себя:

— Паскудная тварь! Ты думаешь, что я тебя хоть минуту любил? Меня тошнило, когда я на тебе женился. Я предпочитаю любую уличную девку. Уродка!..

Мэри ушла к себе. На следующее утро она собрала свои вещи и переехала в дешевую гостиницу возле улицы Гэте. Вечером она сидела, как всегда, в кафе, пила коньяк и говорила шведу:

— Ты сможешь со мной спать, если тебе захочется. А если не захочется, попробуй уломать Люси... Имей в виду, что у меня денег нет, это — единственное приятное. Я буду разносить по магазинам клипсы, которые делает

Сюзанна. Но если ты захочешь со мною спать, ты сможешь это сделать. Имей в виду, что мне сорок пять лет. Сегодня я ушла от мужа. Он подлец, я это давно знала. Он работал с немцами, потом тоже занимался гадостями. Кстати, он поэт, хочет писать стихи, которые ничего не значат. Как твои зигзаги... Имей в виду, что мне наплевать на твои картины, я просто привыкла шляться с художниками, они все-таки лучше, чем деловые люди... Кстати, я никогда в жизни ничего не делала. Ни хорошего, ни плохого. Нет, плохое делала... Погубила одного негра. Имей в виду, что я с ним хотела спать, а он не хотел. Если будет война, это все равно, тогда всех убьют, а если войны не будет, я подумаю, может быть стоит отравиться, как отравилась Шушу. Кстати, ты не знаешь врача, который мне пропишет гарденал?.. Но если будет война, тогда мне этого не нужно...

Бедье знал, что сенатор Лоу оставил наследство директору нового агентства «Пакс», что жена бросила Нивеля, и поэт оказался в дурацком положении — об этом ему рассказал Нильс, об этом говорили и супруга Бедье и другие дамы, посещавшие прежде салон Мэри. Среди грозных слухов о войне, среди политических интриг, разоблачений, взаимных нападок история о Нивеле, женившемся ради денег и не получившем в итоге ни одного доллара, казалась всем веселой и добродетельной, как классическая басня. Конечно, все делали различные выводы; госпожа Бедье, например, сказала: «Плохо быть падким на деньги» (она вспомнила скандалы в парламенте и таинственные траты ее супруга); Гарси, посмеявшись, заметил: «Можно верить в карман американцев, но не в их сердце»; Нильс, рассказав Бедье про завещание Лоу, кончил несколько обидной сентенцией: «Покойный сенатор был человеком своеобразным, южане — темпераментные люди... Но у него был здравый смысл. Напрасно некоторые европейцы принимают наше добродушие за простодушие. Они могут оказаться в положении бедняги Нивеля...» Все над Нивелем посмеивались, и никто его не жалел. А Билл Костер, который, узнав о ликвидации «Трансока», пришел, чтобы вырвать у Нивеля немного денег, сказал: «Вот вы и оказались на

песочке. Нечем промочить жабры. Пожалуй, я напишу о вас трогательные стишки».

Бедье долго не принимал Нивеля, говорил, что он перегружен работой. Все последнее время он был в скверном настроении: у правительства шаткое положение, Бедье оставили на месте, чтобы не дать коммунистам протрубить о победе, но при новой комбинации вряд ли он получит министерский портфель. Клевета всегда оставляет следы...

Он любезно принял Нивеля, приготовился к жалобам. Но Нивель держал себя независимо, как будто ничего с ним не приключилось.

— Вы, наверно, слыхали о ликвидации «Трансока»? Откровенно говоря, у меня гора свалилась с плеч. Я не журналист, работа, которой я занимался, мешала мне отдаться моей стихии — поэзии. До войны я служил в префектуре. Разумеется, государственная служба не мой идеал, но я понимаю, что есть долг гражданина... Я надеюсь, господин Бедье, вы предоставите мне такую работу, чтобы я мог творить...

Перед тем как принять Нивеля, Бедье обдумал все: он пообещает выполнить просьбу поэта, скажет, что он почитатель его таланта, заведет разговор о поэзии, а потом сообщит, что, к сожалению, вакантных должностей не оказалось — ведь не может он предложить духовному наследнику Поля Валери место делопроизводителя в акцизном ведомстве. Но, выслушав Нивеля, Бедье рассердился. Почему этот кривляка пыжится? Он продулся в прах. Разве он на меня работал? Он работал на Нильса. Американцы ему дали по шее, а он пробует охорашиваться.

Улыбаясь, Бедье сказал:

— Беда в одном, дорогой друг... Вы напомнили, что вы работали в префектуре до войны. Это прекрасно. Но вы забыли, что вы работали в той же префектуре и при немцах. Я тогда был в сопротивлении, рисковал жизнью, а вы выполняли приказы фон Галленберга... Я вас не хочу упрекать, вы поэт. Но не все это понимают... У вас будут серьезные трудности, я это говорю вам как друг. Все же я постараюсь вас устроить. Зайдите в понедельник к моему секретарю, он вам сообщит о результатах...

Когда Нивель пришел за ответом, секретарь начал рыться в папке, потом сказал:

— Господин министр вас устроил в управлении парижской таможни. За более точными справками обратитесь к господину Перешону.

Нивель быстро опустился. Он походил теперь на своих сослуживцев; тусклый, раздражительный, он уныло повторял, что нет накладной, что Лабеле неправильно проставил три вагона из Льежа в рубрику «возврат», что Жарэ слишком много курит. Он снял комнату на чердаке и по вечерам пытался писать стихи. Все слова его раздражали: они были грубы, весомы, а ему хотелось освободиться от мыслей. Он неизменно возвращался к своему раннему детству: только тогда он был близок к счастью, не знал ни уловок разума, ни лживых речей, ни того дурацкого фарса, который идет веками, тысячелетиями без смысла, без подъема, даже без соли. Зачем он писал о Персефоне, о Марсии, о Цирцее? Бутафория, хлам, ложь! Теперь он, кажется, нашел живой ключ поэзии. Слова не должны ничего выражать, кроме изумления, боли, счастья, как крик новорожденного. И Нивель писал на тоненьких листках бумаги поэмы, составленные из придуманных им слов. А утром в управление таможни шел пожилой чиновник, больной катаром печени и артритом, получающий скудное жалованье, глубоко возмущенный всем и всеми.

Начальник управления Дюпле знал, что новый служащий — незаурядная личность: об этом ему рассказал Перешон. Нивель заведовал паспортным отделом в префектуре, работал с немцами, женился на богатой американке, стоял во главе «Трансока», ко всему он поэт, выпустил две или три книжки; теперь он оказался на мели, его устроил Бедье. Все это интриговало Дюпле; он жил скучно и утешался только великосветскими скандалами, о которых писали газеты.

Дюпле предложил Нивелю зайти в кафе, выпить аперитив.

— Мне рассказывали,— сказал Дюпле,— что вы знаменитый поэт. Вы меня простите, но я в этих делах профан. Когда-то в школе мы читали Гюго, Ламартина, но столько времени прошло, я и это забыл... А для меня большая честь — поговорить с настоящим поэтом.

Нивель улыбнулся:

— Я вам подарю «Маску Цирцеи», у меня остался нумерованный экземпляр на японской бумаге. Эта книга принесла мне славу, но мне она не нравится. Я теперь пишу иначе...

Дюпле глядел на него с восхищением. Они выпили по второму стакану, потом по третьему. Нивель, который давно не пил, порозовел, оживился. Дюпле попросил:

— Если бы вы прочитали мне одно ваше стихотворение; это было бы для меня большой честью.

Нивель еще никому не показывал своих новых стихов. Он усмехнулся: вот идеальный читатель, его голова не засорена мнимой поэзией, Гюго и Ламартина он давно забыл, помнит только грузы, задержанные товары, объявленную стоимость. Такого человека должно тронуть волнение младенчества. И Нивель сказал:

— Хорошо, я вам прочту крохотную поэму. Это восторг души, почуявшей свое освобождение. Не пытайтесь понять смысл слов: все слова созданы мною. Окунитесь в стихию эмоций.

Старческим, надтреснутым голосом он декламировал:

Артеле нали блюн дебе
Муму абелан абелю катала
Муму ателю
Жеар дор марю.

Дюпле испугался: сумасшедший... Почему прислали такого? Ведь он может кого-нибудь задушить. У него и руки убийцы...

Когда Нивель кончил читать, Дюпле поспешно его поблагодарил:

— Удивительно!.. Чувствуется, что вы очень много пережили. Просто беда, в какое время мы живем!.. Вы думаете, я спокойный человек? У меня тоже нервы никуда не годятся, чуть что — отнимаются ноги...

Он подозвал официанта и еще раз поблагодарил Нивеля:

— Такая честь для меня!.. Вы меня простите, я обещал теще пообедать у нее, сегодня день ее рождения.

Нивель пошел в дешевый ресторан, где он обычно обедал; он должен был соблюдать диету и уныло ел пюре из

овощей. Кругом сидели одинокие, печальные люди, читали газеты, зевали, тоскливо стучали ножиком о стаканы, подзывая заспанных, мрачных официантов. Нивель подумал: я жил нехорошо, вот и расплата. Муза не может взлететь, она ползает под столиками, ее может отшвырнуть носком ботинка какой-нибудь Дюпле... Вдруг он улыбнулся: не о чем жалеть, скоро упадет бомба и на таможню, и на город, и на мир; тогда ничего не останется, кроме синей пыли, эфира, небытия.

81

Хотя Робертс и сказал Лоу, что дела идут хорошо, он считал, что дела идут плохо: мировые события опережают сознание не только рядового американца, но и политических деятелей. Подготовка к войне создала благоприятные материальные условия; миллионы людей хотят одного: чтобы «холодная война» длилась вечно. Они равно боятся и мира и настоящей войны. Никто не хочет взять на себя ответственность за меры, связанные с новыми жертвами. Президент ни на что не может решиться: боится республиканцев, боится красных, боится скандалов. Будущий историк с удивлением отметит, что в годы, когда решалась судьба Америки, страной руководили слабовольные, упрямые, недальновидные люди, окруженные интриганами, крупными дельцами и мелкими политиканами. Республиканцы возлагают надежды на Макартура, а это самодур и честолюбец, он возомнил себя императором Азии. В любой момент он может начать локальную войну в Корее или в Китае. Красные этого ждут: им выгодно распылить наши силы, отвлечь наше внимание от солнечного сплетения. Естественно, что в союзных странах растет недовольство. Мы слишком много кричим об европейской армии, признаемся, что рассчитываем на других. Демагоги чуть ли не каждый день предлагают уменьшить помощь союзникам, они апеллируют к глупости налогоплательщиков, которые не хотят тратить деньги на Европу и которые не понимают, что эти деньги они заработали только благодаря Европе. Движение «сторонников мира» взволновало европейцев. Напрасно мы смеялись над голубкой Пикассо,

над речами Жолио-Кюри или Дюма, над сбором подписей. Красные оказались лучшими психологами. Европа на подготовке войны не выигрывает, а теряет. Притом европейцы знают, что такое война. Красным удалось собрать под Стокгольмским воззванием подписи многих честных людей, которые хотят жить в капиталистическом обществе, но не умереть в нем. Да и у нас идет откровенная пропаганда мира. Чем больше люди зарабатывают на подготовке войны, тем больше они боятся катастрофы. А как мы боремся против пропаганды красных? Пугаем обывателей. Почему дети должны залезать под парты, якобы укрываясь от атомных бомб? Это похоже на провокацию. Можно ли удивляться, когда потрясенные родители заявляют, что нужно договориться с Москвой. Если Биндл строит подземный дом, то это потому, что мы разрекламировали бомбу красных. Конечно, Лоу хворал, но не будь дурацкой паники, он прожил бы еще пять или десять лет. Мне его не жалко: это был неумный и крикливый южанин, я всегда считал, что дело не в нем, а в его деньгах. Но ведь газеты запугали не только Лоу или Биндла, они запугали всю нацию. Нужно было успокоить людей, сказать им, что мы сильнее России, что, несмотря на трудности, победа обеспечена. Вместо этого мы создаем панику или говорим, что все обойдется, войны не будет. Тогда люди раскисают, погружаются в семейный уют, делают доллары, перестают интересоваться тем, что происходит по ту сторону Атлантической лужи. Мы ругаем красных, а принять радикальные меры не решаемся. Конечно, в Америке коммунистов не так много, но это люди энергичные и, главное, преданные своей идее. Если их нельзя перебить, нужно их посадить под замок. С величайшим трудом жрецы Немезиды согласились устроить процесс одиннадцати. Коммунисты превратят суд в митинг; даже если их приговорят к нескольким годам тюремного заключения, они на этом выиграют. «Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности» занимается пустяками: допрашивает голливудских актрис, публикует отчеты, которые показывают нас в самом неприглядном свете. Вместо того чтобы поручить Федеральному бюро облаву на коммунистов, выжившие из ума сенаторы устраивают диспуты о киносценариях. Гарриман сказал, что наша политика по отноше-

нию к России «нелогична». А разве у нас есть политика по отношению к России? Мы превратились в собаку, которая громко лает и боится укусить. Сколько раз полковник Доуневэн докладывал, что необходимо организовать выходцев из Восточной Европы, создать летучие группы, начать в широком масштабе боевую разведку — убивать не случайно, а обдуманно, организованно, и все упирается в букву закона: президент трусит, бюрократы сочиняют проекты полумер. Что такое «Трансок» или «Пакс»? Частные предприятия, мелочь. Пора покончить с этой кустарщиной, ведь против красных воюют не Лоу, не Бернсон, даже не я,— против них воюет государство. Беда в том, что у нас нет того «треста мозгов», о котором столько писали. Есть техника, есть деньги, есть смелые люди, а головы нет...

Раздумья Робертса прервал телефонный звонок: профессор Хенусси сказал, что может встретиться с полковником завтра. Хорошо будет, если Робертс придет к нему в пять часов на чашку чая. Он пригласит профессора Богарта, который приедет из Принстона.

Робертс давно помышлял о том, чтобы привлечь крупных ученых к подготовке войны. Конечно, тот же Богарт великолепно работает над усовершенствованием бомбы, это крупный физик и настоящий американец. Но разве он что-нибудь сделал для моральной мобилизации страны? Мы должны противопоставить пропаганде красных нашу пропаганду. Мало прогнать профессора Миклея: он теперь еще опасней, украшенный терниями мученичества. Нужно заручиться активной поддержкой корифеев науки. Они могут повлиять на студенчество, то есть на наших завтрашних солдат. Право же, профессор Адамс может скорее разоблачить пропаганду «сторонников мира», чем Билл Костер! К таким людям, как Адамс, прислушиваются и в Европе. Мы слишком часто показываемся в Англии или во Франции в военной форме, посылаем туда неуклюжих дипломатов, бессовестных дельцов, развязных журналистов. А между тем у нас имеются люди с огромным авторитетом. Они молчат, потому что никто их не просит высказаться. Если удастся собрать совещание и объединить крупных ученых, это сыграет большую роль и у нас и в Европе.

На следующий день Робертс, Хенусси и Богарт обсуждали, как организовать выступление ученых. В приглашении не нужно подчеркивать политический характер совещания: некоторых это испугает. На совещании следует как можно больше говорить о миролюбии Америки: мы должны спасти индивидуальную свободу и цивилизацию от тоталитарного режима. Потом собравшиеся обратятся ко всему мыслящему человечеству с манифестом, разоблачающим красную пропаганду, в частности Стокгольмское воззвание.

— Руководящей фигурой может быть профессор Райнер,— сказал Хенусси.— Это крупный физик, его знают. В отличие от своих коллег, тоже работавших над расщеплением атомного ядра, он настроен превосходно. Профессор Богарт может подтвердить — наши физики растерялись. Как ни парадоксально это звучит, многие из них готовы потребовать запрета атомной бомбы. Другое дело — Райнер. Когда мы с ним в последний раз встретились, он мне сказал, что испытания новой бомбы лучше произвести не на козах Бикини, а на жителях Москвы.

Профессор Богарт возразил:

— Бесспорно Райнер — талантливый физик. Он ненавидит красных, это к его чести. Но работники науки знают его как дельца. За деньги он готов на все. Недавно он заявил, что дом, построенный для Биндла, гарантирован от иррадиации. Согласитесь, что это пристало ярмарочному шарлатану, а не крупному ученому. Студенты смеются над его жадностью. А в Европе его попросту не знают. Нет, уж если говорить об авторитете, то, кроме Адамса, мы никого не найдем. Эйнштейн ни за что не согласится, это европеец с головы до ног, в душе он сочувствует красным; я буду рад, если он не подпишет Стокгольмского воззвания. Что касается Адамса, я убежден, что он придет. Я понимаю, что у него узкая специальность, но все знают его имя. Он представлял Америку на многих международных конгрессах, неоднократно писал о назначении науки. Студенты его уважают. Это фигура...

Хенусси пробовал спорить:

— Адамс — человек прошлого. У него множество предрассудков. Он всю жизнь просидел у себя запершись, динамики нашей эпохи он не понимает. Когда приезжал

Дюма, он устроил в его честь прием. Я его отговаривал, но это упрямый старик. Я ему не доверяю.

— Напрасно,—сказал Робертс.— Адамс принял Дюма, но когда Дюма попытался заступиться за красных, он поставил его на место, вы сами мне об этом рассказывали. Адамс года три назад выступил с пацифистской декларацией, значит никто не сможет сказать, что он человек с шорами. Я вполне согласен с профессором Богартом: без Адамса мы мало чего достигнем. Конечно, не нужно от него требовать, чтобы он был застрельщиком, это не его роль. Он может не выступить на совещании, если не захочет. Но под манифестом первой должна стоять его подпись. Я уж не говорю о нашей стране, но в Англии, во Франции это произведет огромное впечатление.

— А кто может убедить Адамса притти на совещание? — спросил Богарт.

Хенусси ответил:

— Гайнса он послушался бы, но я не знаю, придет ли Гайнс. Это двойник Адамса: благородные слова и стыдливость мимозы. Тем более что он ездил в Москву... Барта Адамс не послушается. Я уж не говорю о себе... Пожалуй, самая подходящая фигура — Кремер. Адамс с ним дружит. Кремер никогда не говорит о политике, но я знаю, что он морганист и после московской «дискуссии» возмущался красными. Завтра я с ним переговорю.

Кремер, выслушав Хенусси, поморщился:

— Я не люблю собраний... Откуда мне знать, какая система лучше — наша или русская? Да это меня и не интересует. По-моему, наша программа может быть сформулирована так: мир, свобода и независимость науки, развитие культурных взаимоотношений между различными нациями.

Хенусси улыбнулся:

— Вы сказали именно то, что мы хотим провозгласить. Во-первых, мир, а это значит ООН, где все решения принимаются большинством голосов, право «вето» — культ грубой силы; нельзя навязывать другим свои порядки — вспомните судьбу Праги; производство атомной энергии должно быть поручено международному органу. Во-вторых, свобода науки — недопустимы попытки объявить одну гипотезу непогрешимой, как то имело место в Москве,

когда обсуждались проблемы, которыми вы занимаетесь. В-третьих, свобода научной информации, мы против «железного занавеса».

Кремер сказал:

— Что ж, в таком случае я приду. Но за профессора Адамса не отвечаю. Я ему скажу, что лично я согласен, повторю ваши слова о свободе научной дискуссии — это совпадает и с его мыслями, но если он откажется, настаивать я не буду, его дружба мне дороже всех ваших затей.

Профессора Адамса в городе не оказалось: он отдыхал на побережье. Кремер вызвал его по телефону, коротко рассказал о совещании.

— Политика? — спросил Адамс.

— Нет, вопросы мира и свободы научной мысли.

— Подумаю,— ответил Адамс и повесил трубку.

Еще недавно Адамс был убежден в миролюбии всех своих соотечественников; он считал, что даже полковник Робертс, как он ни увлечен политикой, старается предотвратить катастрофу. Адамс говорил себе: у нас множество пороков, мы заражены предрассудками, культ доллара, пожалуй,— самая распространенная религия. Но никто не упрекнет американцев в воинственности. В Европе любой мальчишка обожает военную музыку, мундиры, парады. А мы страна фермеров, рабочих, торговцев. Нас можно назвать дельцами, но не завоевателями. Коммунисты потеряли чувство смешного: заурядного человека, который торговал подтяжками, а теперь корпит над балансом государства, они пытаются изобразить Наполеоном или Гитлером.

Однако сомнения начали мало-помалу вкрадываться в голову профессора.

Райнер заявил репортерам: «С русскими будет куда легче договориться после того, как они получат на свою голову десяток наших бомб». Когда так говорили некоторые политики вроде Лоу или Макмагона, я объяснял их слова недомыслием. Но Райнер лучше других знает, что такое атомная бомба. Я его встречал, он производит впечатление человека циничного, но рассудительного. Что же это означает?..

Дочь Адамса пришла заплаканная: во время учебной тревоги Джо надели на руку опознавательный значок.

Мальчик, взволнованный, рассказывал: «Скоро мы бросим бомбу на красных, они на нас, а у нас бомб в пятьдесят раз больше, мы их всех убьем! Дедушка, если меня убьют, тебе скажут, потому что у меня теперь номер». Адамс, возмущенный, сказал внуку: «Это глупые игры, ты не солдат, тебе восемь лет».

Он начал внимательно читать газеты; изо дня в день они писали про предстоящую войну, про водородные бомбы, про опустошение целых стран. Все это оскорбляло Адамса. Однажды он сказал профессору Барту: «Вы не находите, что такие призывы заражают воздух опасными миазмами?» Профессор Барт ответил: «Единственный способ очистить атмосферу — покончить с красными. Мне жалко наших юношей, и я надеюсь, что мы сможем добиться результата одними бомбами, как с Японией».

Адамс прочитал в журнале описание последних часов Хиросимы. Нет человека, который не содрогнулся бы при мысли, что это может повториться!.. Профессор спросил ассистента Хемблина, читал ли он этот репортаж. Хемблин ответил: «Конечно. Очень живо написано. Но теперь мы шагнули вперед: новые бомбы куда эффективней. Интересно, когда, наконец, их сбросят на Москву?..»

До войны Адамс часто бывал в Англии, во Франции, в Италии; он восхищался там старым искусством, беседовал с интересными людьми и все же тосковал по Америке. Ему казалось, что в Европе и природа и люди мельче. Однако, читая теперь в газетах, что другие народы должны перенять американский образ жизни, Адамс хмурился; он вспоминал чинный Кембридж, профессора Дюма, шумливую итальянскую толпу. Разве можно заставить европейцев жить по-нашему?.. Гитлер говорил о превосходстве немцев, и тогда все возмущались. Тот же профессор Барт...

Особенно сильное впечатление произвел на Адамса случай с профессором Миклеем. Конечно, Миклей наивен: он поверил, что коммунисты защищают мир. Но это превосходный химик и вполне порядочный человек. Кстати, коммунистом он не стал. Когда выслали Дюма, Миклей говорил: «Я с ним во многом расхожусь, но это большой ученый и благороднейшая фигура. С ним поступили недостойно...» Адамс тогда не возражал. Он сердился на

Дюма: как может ученый такого калибра заниматься политической пропагандой? Но еще больше он сердился на людей, которые осмелились выслать крупнейшего антрополога, как бродягу. Миклей имел право ходить на собрания красных, если это ему нравилось. Газеты уверяют, что мы отстаиваем свободу от режима тирании и произвола. Почему же профессора Миклея вызвали в какую-то комиссию, задавали дурацкие вопросы, а потом лишили кафедры? Разве это не произвол?

Президент говорит, что атомная бомба защищает наши демократические свободы. А что от них осталось? Я отвергаю коммунистический режим именно потому, что мне нравится свобода суждений. Но какая же это свобода, если людей судят только за то, что они коммунисты...

Об этом и о многом другом думал Адамс в горячие майские дни, яркие и шумные от гроз, от ливней, от сердечного волнения. Иногда профессору казалось, что он отстал; ему шестьдесят четыре года, он воспитан на других идеях. Но потом он возражал себе: разве атомная бомба — это идея? Конечно, Райнер или Барт моложе меня, но карьеристы существовали и сто лет назад, корысть не может рассматриваться как мировоззрение.

Адамс колебался: должен ли я пойти на совещание ученых? Конечно, придут Райнер, Барт, Грай, люди, привыкшие к сделкам с совестью. Может быть, это затея Робертса? Я ему больше не верю. Он мне клялся, что русский юрист хотел взорвать город, что на нем нашли инструкцию. А полгода спустя этого русского освободили за отсутствием улик. Когда я спросил Робертса, что это значит, он перевел разговор на другую тему. Игра, притом нечестная!.. Да, но придут и другие. Кремер сказал, что будет профессор Годвин, а он не только блестящий математик, он настоящий человек, я с ним говорил осенью, он мучительно переживает попрание моральных ценностей. Может быть, придет и профессор Потьерс. Я не могу остаться в стороне.

На совещании присутствовало свыше сорока человек: были здесь и знаменитые ученые — Адамс, Годвин, Ричардсон; были и люди, которых Адамс про себя называл «окрестностями науки». Все напоминало научный доклад:

и зал с бюстом Франклина, и разговоры шопотом, и папки на длинном столе.

Первым выступил профессор Богарт. Он долго говорил об опасности войны, о том, что ученые обязаны оградить дело мира, что «путь Адамса — лучшее доказательство чистоты и человечности американской науки»; в конце речи он заявил: «Пропаганда за мир, организованная коммунистами,— камуфляж, красные хотят внести смятение в страны западной культуры, чтобы облегчить их захват». Потом на трибуну поднялся физик Грай, который сказал: «Происходит поединок между прогрессом и красным догматизмом. Различные философские системы, морганизм, экзистенциализм, фрейдианство, анализ эстетической эволюции, даже научная организация труда или педология — все это преследуется в странах коммунистической диктатуры. Если мы не отстоим наших свобод, завтра нам придется каяться в мнимых заблуждениях, принимать или отвергать научные концепции по указке разных комитетов,— словом, проститься с самим понятием независимой мысли». Профессора Грая сменил Хенусси. Он тоже говорил о значении свободных дискуссий, об обмене опытом, о поездках за границу, а потом перешел к тому, что Адамс называл «политикой». «Единственная сила, способная остановить красных,— это наша страна. Конечно, мы за мир, но не за любой мир. Коммунисты нападают на атомное оружие, потому что их сила в множестве, а не в высокой технике. Они пытаются соблазнить людей сентиментальными разговорами об уничтожении женщин или детей. Наш долг — раскрыть глаза наивным людям, сказать им, что атомное оружие в наших руках защищает женщин и детей. Мы должны принять обращение, или, если хотите, манифест, направленный против так называемого «Стокгольмского воззвания», под которым красные собирают теперь подписи. Мы скажем, что мы за мир, за свободу, за культуру, против красной экспансии. Мы не собираемся отказаться от того оружия, которое способно устрашить коммунистов. Мы не будем собирать подписи под нашим манифестом, к нам присоединятся мысленно все честные люди: они увидят, что наше обращение подписано лучшими умами человечества и прежде всего профессором Адамсом, которого мы счастливы видеть среди нас».

Адамс не собирался выступать, но после речи Хенусси он понял, что промолчать не сможет. Говоря, он волновался, пил воду, останавливался и мучительно вглядывался в лица, как будто старался понять, что думают люди, привыкшие к научным докладам и смущенные характером совещания.

— Профессор Хенусси — способный палеонтолог,— так начал свою речь Адамс.— Я не согласен с некоторыми его заключениями о раскопках четвертичного периода, но в его работе бесспорно имеются достоинства. Меня искренне огорчает его увлечение политикой. Здесь говорили много о вещах, в которых мы разбираемся, право, не больше, чем студенты-первокурсники. Я откровенно скажу, что в вопросах дипломатии я круглый невежда. Может быть, коммунистический режим деспотичен, я этого не знаю — я никогда не был в России. Бесспорно, что русские живут иначе, чем мы. Профессор Гайнс, который посетил Москву, говорил, что огромное большинство русского населения одобряет советский режим, не приемлемый для нас. Я не понимаю, почему мы, американцы, должны заниматься теневыми сторонами общества, которого мы не знаем? Вполне возможно, что в России много плохого. Я все же предпочел бы остановиться на предмете, нам более близком. Я здесь не вижу профессора Миклея, и у меня есть все основания предполагать, что инициаторы нашей встречи его не пригласили. Может быть, мне будет позволено спросить, почему профессора Миклея подвергли в высшей степени неприятным допросам и лишили кафедры? Я не вижу в этом утверждения свободы и независимости мысли, о которых говорили уважаемые коллеги. Разумеется, самым существенным является вопрос о сохранении мира, с этим я согласен. Я не знаю, кто виновен в создавшемся положении — русские или мы, может быть виновны обе стороны, как то часто бывает при конфликтах. Судить об этом нам трудно, ведь никого из нас не посвящают в секреты переговоров. Но профессор Хенусси поступает чрезвычайно необдуманно, защищая атомную бомбу. Читая описание конца Хиросимы, я содрогался. Если даже русские виноваты, нельзя им грозить подобной карой. Это, господа, бесчеловечно, другого термина я не подберу! Я получил несколько дней назад письмо от профессора

Дюма. Когда он был здесь, наши отношения омрачила политика. Как вы знаете, он коммунист, а я к таким концепциям не испытываю никакой симпатии. Все же я должен сказать, что высылка профессора Дюма из нашей страны была недостойным актом. Если я молчал об этом до сегодняшнего дня, то только потому, что не хотел быть втянутым в политические споры. Но я вижу, что здесь говорят о предметах, далеких от науки, а профессор Хенусси даже поставил вопрос о моей подписи под документом, носящим явно политический характер. В таком случае я вынужден сказать, что высылка профессора Дюма опозорила нашу страну и нашу науку. Профессор Дюма прислал мне текст воззвания, направленного против атомной бомбы, и предложил мне его подписать. С присланным мне текстом я вполне согласен, да я и не представляю себе порядочного человека, который оправдал бы применение атомной бомбы. Правда, профессор Хенусси говорил здесь так, что его слова могут быть истолкованы, как защита атомной бомбы, но я надеюсь, что это было им сказано в запальчивости, как я надеюсь, что слова профессора Райнера были искажены репортерами. У меня есть только одно возражение против текста, присланного профессором Дюма,— подписи, которые под ним стоят; почти все они принадлежат людям, придерживающимся коммунистических воззрений. Именно поэтому и только поэтому я решил не подписывать Стокгольмского воззвания. Но после речи профессора Хенусси я должен сказать, что я сторонник полного запрещения атомных бомб. Я об этом напишу в одну из нью-йоркских газет. Возможно, что к моим словам присоединятся некоторые коллеги. Никто не сможет сказать, что мы поддерживаем пропаганду коммунистов.

Профессор Годвин встал:

— Я вполне согласен с профессором Адамсом, мы должны выступить против атомной бомбы, не смешивая наши подписи с подписями коммунистов.

Профессор Райнер возмутился:

— Но этим вы окажете незаменимую услугу русским. Вы требуете запрещения именно того оружия, которое выгодно нам и невыгодно красным.

Адамс ответил:

— Мне все равно, кому атомная бомба выгодна, я знаю, что она губительна для цивилизации и неприемлема для совести каждого из нас.

Профессор Ричардсон сказал, что лично он ничего не собирается подписывать, заседание затянулось, а он соблюдает режим, он просит прощения и должен уйти.

Профессору Хенусси удалось собрать под своим манифестом подписи двадцати восьми присутствовавших.

Адамс пошел домой пешком: у него болела голова, он хотел проветриться. Он глядел на освещенные окна высоких домов, и его сердце сжималось от жалости: неужели все должны погибнуть — и мой внук, и русские дети, и какой-нибудь озорной мальчишка Неаполя? До чего это нелепо!.. Профессор Хенусси по своей формации не ученый, он мог бы быть политиком. А Годвин, как я и думал,— настоящий человек... Завтра утром сяду за работу и забуду об этом кошмаре...

На следующее утро он написал профессору Дюма, объяснил, почему не может подписать Стокгольмское воззвание, и одновременно послал текст, составленный им вместе с профессорами Годвином и Кремером: «Мы считаем необходимым заявить, что являемся сторонниками категорического запрещения атомных бомб и приветствуем всех людей, которые, руководствуясь человеколюбивыми побуждениями, настаивают на том, чтобы применение атомной бомбы было провозглашено преступным».

Робертс рассердился: Хенусси, наверно, действовал неуклюже — выскочил, как всегда, вперед и разозлил Адамса. Потом Робертс задумался: нет, дело серьезней — Адамс поддался пропаганде красных. Это ужасный яд. Пора кончать с игрой в прятки! Надо принять такие меры против красных, чтобы колеблющиеся действительно испугались. Конечно, Адамса испугать трудно: он стар, и у него чересчур большое имя. Но для людей помоложе, да и поменьше нужны примеры... Стоит посадить под замок десять тысяч красных — и все пойдет как по маслу. Когда же наши хозяева, наконец, поймут, что эпоха проповедей кончилась — начинается эпоха действий?

Никогда Адамс не чувствовал так остро своего одиночества, как в дни, последовавшие за совещанием ученых.

Он встречал людей, разговаривал с ними, но не видел поддержки. Профессор Гайнс сказал ему:

— В общем я с вами согласен, но на вашем месте я не стал бы выступать... Помимо своей воли, вы оказались втянутым в политическую игру.

Кремер рассказал Адамсу:

— Не думайте, что на этом дело кончилось... Вас они пока что боятся трогать, но меня вчера допрашивали, уверяют, будто я связан с профессором Миклеем...

Ассистент Хемблин признался:

— Я вас не понимаю, господин Адамс. Многие студенты спрашивают: «Неужели профессор Адамс осуждает бомбу?..» Трудно плыть против течения...

Разговоры о том, что ее муж примкнул к красным, дошли до госпожи Адамс. Взволнованная, она спросила:

— Это правда, что ты против бомбы?

— Да.

— Значит, ты хочешь, чтобы тебя выгнали из института, как Миклея? А ты подумал обо мне, о Дженни, о Джо?

— Подумал. Именно поэтому я и против бомбы. Оставь меня, я работаю...

Когда она ушла, он долго шагал по большому пустому кабинету и думал о своей судьбе. Ему хотелось вспомнить что-либо, способное его утешить. Прожитая жизнь казалась бесконечно длинной и в то же время незаполненной. Правда, он написал шесть книг, из них одна, кажется, останется. Он кое-что изменил в морфологической классификации... Что же еще было в жизни? Может быть, вечер в Неаполе: синело море, лодочник пел, и Адамсу казалось, что он счастлив... Когда он женился, он думал, что влюблен, потом он привык к жене. Она раздражала его своими рассуждениями, мелочностью, злословием, но он понимал, что и это входит в жизнь. Он смутно помнит детство дочери; девочка много болела, а он как раз в те годы писал свою основную работу. Он как-то не успел во-время побаловать Дженни. Теперь у него внук; Адамс хочет порой с ним поиграть, но мальчику скучно со стариком, он берет конфету и убегает... Друзей у Адамса нет. Иногда приходят коллеги, говорят о научных заседаниях, о лекциях,

о диссертациях. Как-то пусто... А ведь конец не за горами. Странно, чем старее человек, тем больше ему хочется тепла, участия ласки. Горько сознавать, что ты один, что тебя осуждают жена, друзья...

В тот вечер Адамс получил короткую телеграмму от профессора Дюма: «Приветствую, крепко жму руку». Адамс машинально посмотрел на свою руку и улыбнулся: до него дошло тепло другой руки.

82

За полтора года изменилась жизнь Гайрстона, изменился и он сам. Он не был юношей, когда познакомился с Бетти; но, вспоминая, как он разговаривал с ней о биологии, как ходил на собрания сторонников «всемирного правительства» или квакеров, как писал рассказы из жизни выдр и мечтал о литературной карьере, Гайрстон снисходительно улыбался: право же, в тридцать два года он оставался мальчишкой. Наверно, поэтому он и потерял счастье: вместо того чтобы сказать Бетти о своих чувствах, он пересказывал ей содержание различных романов, растерянно молчал или прикидывался равнодушным Его сковывало сознание, что у Бетти своя жизнь, муж-искусствовед, квартира, в которой он никогда не был, а он, Гайрстон, неудачник, без работы, да и без перспектив. Он пропустил свидание, потом не позвонил Бетти, хотя это ему стоило больших усилий, месяц спустя позвонил, спросил с наигранной беспечностью· «Как поживаете?..» Она ответила раздраженно, даже неприязненно (может быть, так ему показалось); он говорил из кабинки в аптекарском магазине, его торопили; он переспрашивал: «Вы меня слушаете?» Бетти глухо отвечала «да»; паузы были невыносимыми; он вдруг положил трубку и усмехнулся: зачем я ей нужен? Пора с этим кончать!

Он бродил с утра до вечера в поисках работы. Все куда-то спешили; сверкали на фасадах домов замысловатые рекламы; повсюду была толчея; лифты взносились на сороковые этажи, где помещались конторы; стучали пишущие машинки; запыхавшись, люди подписывали чеки, хватали и отбрасывали папки, набирали номера телефо-

нов; девушки одевали в витринах магазинов картонных франтов, жонглировали чашками с кофе, полировали фиолетовые ногти супруги короля алюминия или биржевого маклера; да, все были заняты, все торопились; и в этом городе, охваченном лихорадкой, для Гайрстона не было места. Поспешно, даже не пытаясь понять, что он говорит, ему отвечали «нет». Он узнал голод, раздражающие запахи закусочных, бахрому на брюках, окрики швейцаров, которые отгоняли от подъездов оборванца. Иногда ему становилось смешно: стоило ли пятнадцать лет учиться, отвечать на экзаменах, в чем достоинства кодекса Юстиниана и каковы законы о наследстве в штате Орегон, чтобы потом мыть оконные стекла трактиров или раздавать на улицах листочки с адресом жуликоватого венеролога?

Его спас однополчанин Марк Джеймс:

— Я тебя устрою на заводе. Конечно, у тебя университетский диплом, но об этом лучше не рассказывать: таких, как ты, не очень-то охотно нанимают. Ты здоровый парень, а работа не тяжелая — наш завод изготовляет авиамоторы, теперь оживление, расширяют все цеха. Тебя возьмут чернорабочим, но подучишься и сможешь работать на сборке, как я. Во всяком случае будешь сыт.

Помолчав, Марк Джеймс добавил:

— Я лично не могу пожаловаться, зарабатываю неплохо. Но в общем это — свинство. Когда мы с тобой дошли до Эльбы, мы не думали, что через десять лет будет снова война. А у нас все инженеры говорят, что обязательно будет, поэтому и работа есть... Получается, что сегодня меня кормят, а завтра меня за это распотрошат. Я тебе говорю: свинство...

Гайрстон стал рабочим. На заводе, как повсюду, часто заговаривали о предстоящей войне и, как повсюду, одни говорили, что это биржевая спекуляция, газетам нельзя верить, никому не охота умирать, другие возражали: если не через год, то через пять лет война обязательно начнется, отношения с русскими обостряются, оружья понаделали столько, что трудно себе представить, не дадут же ему зря ржаветь. Марк Джеймс, когда Гайрстон спросил его, кто хочет новой войны, сердито ответил:

— В частности, мало кто, а в общем примерно все. Ты подумай, кому не улыбается побольше заработать? Ясно,

что Морган или Рокфеллер загребают миллионы. Но крохи перепадают и нам... Не будь русских, закрыли бы завод, и мы с тобой валялись бы под мостом... Я тебе говорю: сначала нам набивают брюхо солониной с бобами, а потом это брюхо вспорют осколком снаряда или бомбы. Свинство!..

Были среди рабочих и такие, которые повторяли слова газет. Шлифовальщик Виппер, один из секретарей профсоюза, говорил:

— Мы не хотим воевать, это красные нас провоцируют. У нас демократия, сегодня я рабочий, а если мне повезет и я что-нибудь придумаю, завтра я стану миллионером. Разве можно сравнить, как мы живем и как живут рабочие в Европе? Конечно, дирекция хочет выжать из нас побольше, но все-таки лучше сидеть на самом низком месте за свадебным столом, чем на главном месте, когда перед тобою пустые тарелки.

Были и коммунисты. Гайрстон их сразу распознал: они говорили, как говорил русский майор, как говорила Бетти. С одним из них, с токарем Алисоном, Гайрстон подружился. Это был сутулый человек лет сорока, с задумчивым, мягким лицом. Он казался безобидным мечтателем, но когда зимой вспыхнула забастовка, он сразу стал ее руководителем. Дирекция, пойдя на мелкие уступки, попыталась восстановить высококвалифицированных рабочих, заменить которых было трудно, против рабочей массы. На собрании Виппер от имени профсоюза советовал принять предложения дирекции. Алисон на него обрушился:

— Я уже давно думаю: почему профсоюз называет себя рабочим? На самом деле он как был хозяйской конторой, так и остался. Почему мы должны итти на попятную? У дирекции уйма заказов. Значит, если мы продержимся несколько дней, уступят они.

Забастовку рабочие действительно выиграли.

Гайрстон настолько освоился со своей новой жизнью, с обстановкой, с товарищами, что годы, когда он терзался над книгами, казались ему далекими, как воспоминания детства. Три года назад он спрашивал себя: может ли мыслящий человек стать коммунистом? Ведь красные хотят, чтобы не было больше отдельных судеб, чтобы все поглотил коллектив. Он жил тогда в своей норе и, даже проходя по людным улицам, посещая лекции или дис-

путы, встречаясь с приятелями, ощущал вокруг себя пустоту. На заводе он понял, что̀ значит общее дело: когда была забастовка, все почувствовали себя связанными друг с другом — и рыжий Эди, который не выносит негров, и негр Якобсон, и коммунисты, и богобоязненные ирландцы, и Аллен, который бегает к гадалке, и степенный Рейтер, откладывающий деньги на черный день. Человеческую спаянность Гайрстон чувствовал и работая: если во-время Чарли не вставит винтик, Вирлей стоит и ждет; от точности токаря Дэвиса зависит работа Марка Джеймса. Гайрстон больше не спрашивал себя, в чем коммунисты правы, а в чем нет, не искал десяти ответов на каждый вопрос, не ломал себе головы над Бергсоном или над экзистенционализмом; жизнь оказалась сложнее и проще. Он стал коммунистом, потому что работал на заводе, который принадлежал одному из крупнейших трестов Америки; потому что принимал участие в сборке авиамоторов и знал, для чего их изготовляют; потому что вместе с другими стоял у станка, ругал косого Ральфа, бастовал; потому что коммунисты были смелыми людьми, хорошими товарищами и, когда он с ними говорил, он понимал, что за ними будущее.

Он стал жестче, строже. Когда к нему пришел пьяный Маккорн и начал нести чепуху о Смидле, он его выкинул прочь и тотчас о нем забыл. Будь это раньше, он отдался бы воспоминаниям, пережил бы заново годы войны, долго старался бы понять, почему Смидл решил убивать чехов, почему Маккорн верит газетным небылицам, почему в жизни столько дикости, неразберихи, взаимных обид и так мало человеческого участия. А теперь для него было ясно: Смидл — фашист, негодяев не мало, с ними рано или поздно придется столкнуться — не на диспуте, а на улице. Маккорн — дурак, таких еще больше, пока жизнь не даст им дубиной по голове, они не поймут, отчего они мытарятся, будут верить, что Минаев взрывает города, что Смидлу впрыснули в вену таинственное зелье, что коммунисты хотят отобрать у них часы, даже что в Москве распределяют женщин по карточкам.

Гайрстон порой с огорчением думал о тех годах, которые провел над книгами: ему казалось, что он промотал половину жизни. Но когда он говорил с товарищами или

выступал на собраниях, он невольно подкреплял свои мысли тенями, выплывавшими из прошлого: книжные полки оживали. Алисон говорил: «Ты для нас находка, у нас стало не только на одного человека больше, у нас мозгов прибавилось». Гайрстона заметили руководители городской организации коммунистов: оказалось, что он может хорошо написать статейку, выступить на митинге. Гайрстон с жаром отдался работе: он боролся против той лжи, несправедливости, бессердечия, которые узнал не по одним книгам.

Он был бы счастлив, не будь одной раны, так и не зарубцевавшейся: он не мог забыть Бетти. Любовь к ней он принес из своей прежней жизни; обычно оживленный, подвижный, он порой как бы замирал, переставал слышать разговоры, видеть лица — перед ним были беседка с яркими бликами солнца, лиловые анемоны и чуть приоткрытый рот Бетти. Можно все продумать, говорил он себе, распланировать, привести в порядок, вот только сердце не поддается...

Он увидел Бетти на митинге. Он выступал, когда он ее заметил,— она сидела в глубине зала. Он чуть было не сбился, с трудом договорил, бросился в зал. Но Бетти больше не было. Весь следующий день он думал только о ней; вечером он ей позвонил: ответила женщина: «Ошибка — такой здесь нет». Он снова ее потерял, после того как увидел, после того как решился пренебречь всем, позвонить, вымолить встречу. Она пришла на митинг, значит она попрежнему с нами... Он улыбнулся: она и тогда была коммунисткой, это я блуждал в стороне. Она первая мне раскрыла глаза — до завода, до Алисона. И вот я ее упустил, теперь, может быть, навсегда...

Три недели спустя на городском партийном собрании он снова увидел Бетти. Он сразу прошел к ней, ничего не сказал, пожал ей руку. Она тихо шепнула:

— Джо, если вы хотите, после собрания мы выйдем вместе.

Он кивнул.

Шел весенний дождь, и прохожие пережидали в подъездах, под навесами, в метро. А они шли. Он ее взял под руку и сразу почувствовал, что ничего не изменилось. Они должны были встретиться полтора года

назад, когда была демонстрация против Дюма; Гайрстона тогда избили, свиданье не состоялось. Потом?.. Потом они ждали друг друга.

Огромная радость мешала им говорить. Они шли быстро, но не потому, что боялись дождя. Все кругом сверкало, звенело. Они шли, прижимаясь друг к другу, через длинный город и, наконец, пришли к дому, где жил Гайрстон. Они поднялись наверх в угрюмую, длинную комнату, похожую на коридор, и эта комната показалась им такой прекрасной, что, войдя, они замерли от счастья.

Он снял с нее плащ.

— Бедная, да ты вся промокла!..

Она улыбалась. Он ни о чем не стал спрашивать.

Светало. Они глядели друг на друга, счастливые, тихие, тяжелые от необычайного душевного покоя. Она рассказала, как была недавно у моря; кричали чайки, она подобрала камешек, похожий на сердце. Он вспомнил горный перевал, горячее облако и снова ее обнял.

— Почему ты мне ни разу не позвонил — тогда осенью?..

— Не знаю... А ты?.. Ты была на митинге и ушла...

Они оба улыбались, пристыженные и счастливые.

— Я тебе позвонил сразу после митинга, но мне ответили, что ты там не живешь. Это правда?

— Правда. Я живу далеко отсюда, на Шестнадцатой улице.

Она помолчала, потом спросила:

— Ты хочешь, чтобы я жила здесь?

Он как будто очнулся, вспомнил: муж-искусствовед, квартира, в которой он никогда не был...

— А муж?..

— Мужа давно нет. Я разошлась с ним вскоре после того, как мы с тобой в последний раз встретились. Когда поняла, что люблю тебя... Все это было трудно. Денег у меня не было. Муж не хотел слышать о разводе. Отец мне написал, что я его позорю... Я все время думала о тебе. А тебя не было... Я нашла работу, сняла маленькую комнату... Джо, если ты хочешь, я сегодня же перевезу свои вещи сюда. Попрошу в конторе, чтобы меня пораньше отпустили...

— В какой конторе?..

— Я работаю в конторе «Смайлс энд Брайт». Они продают электрические приборы... Господин Брайт совершенно лысый, он шепелявит, и это самый галантный мужчина на свете. Он все еще не потерял надежды расположить меня к себе. Каждую субботу он предлагает мне пойти с ним в театр, и так далее, и каждую субботу я ему отвечаю, что у меня болит голова, и так далее. А вот Смайлс смотрит на меня с отвращением. Кто-то ему донес, что я коммунистка. Позавчера он мне сказал: «Я советую вам образумиться, пока не поздно. Мне рассказывали, что ваш отец — один из лучших инженеров «Дженерал моторс». Вряд ли ему будет приятно, если его дочь окажется на скамье подсудимых». Видишь, какой изысканный стиль!..

Она задумалась, начала говорить другим голосом:

— Как все изменилось за эти полтора года, бог ты мой, как изменилось! Я не про любовь говорю, любовь осталась, нет, любовь выросла. Но как все вокруг изменилось! Помнишь, тогда еще устраивали диспуты, спорили, были молодые люди из хороших семейств, которые говорили, что они «почти коммунисты», им в салонах аплодировали. Когда Эндерс привел своих босяков к гостинице, где жил Дюма, все смутились: большой ученый, как-то неприлично. Даже Робертс дал интервью, что он ни при чем. Да и я тогда не понимала главного, думала, что быть коммунисткой — это значит только осмыслить происходящее и отстаивать правоту своих идей. А теперь я знаю — это значит бороться каждый день, каждую минуту. Они больше не прикидываются, откровенно кричат «ату». Ты сказал, что работаешь на заводе, значит ты теперь меньше с ними сталкиваешься. А я их вижу все время. Ты не можешь себе представить, как они нас ненавидят!.. Я тебе говорила, что отец порвал со мной после того, как я уехала от мужа. Но мама мне часто писала, волновалась, как я живу одна. А месяц назад она прислала ужасное письмо, пишет, что узнала, что я красная, а мой брат — летчик, скоро будет война, значит я хочу убить родного брата... Они готовятся к войне, это чувствуется на каждом шагу...

— Еще бы! У нас делают моторы для тяжелых бомбардировщиков. Инженер Линдл все время прикидывает:

Гренландия, Москва, Аляска, Сибирь, Турция, Баку... Они-то готовятся, только я не думаю, чтобы решились...

— Они не решились бы, если бы могли взвешивать, рассуждать. Но они обезумели — от страха, от жадности, от злобы, все перемешалось... Знаешь, Джо, мы с тобой в огненном кольце, нужно его прорвать, выйти к людям. Еще столько обманутых!.. Они боятся, что люди могут понять. Начали арестовывать... В доме, где я работаю, арестовали девушку, машинистку, обвиняют в раскрытии государственных тайн, а она служила в конторе парфюмерной фирмы, ну, какие тайны она знала? Разве то, что хотела жить, а не умереть... Теперь, Джо, наступает страшное время, теперь мы должны быть готовыми ко всему — к подполью, к тюрьме, может быть к смерти...

Солнечный луч коснулся верхней полки у потолка: на ней стояли старые книги в кожаных переплетах; луч солнца их оживил, и почтенные авторы — Франклин и Пэйн, Ирвинг и Мелвилл — заулыбались, как снисходительные соглядатаи чужого беспокойного счастья. Слово «смерть» прозвучало так неожиданно, что Бетти сама ему удивилась. Гайрстон запрокинул ее голову, поцеловал.

— Нет, Бетти, мы будем жить. Даже если...

Он не договорил, и она не спросила, что он хотел сказать.

Они вместе вышли на улицу, быстро пошли к метро: Гайрстону далеко ехать. Газетчики сидели над кипами свежих листов, еще дышавших печатной краской. Гайрстон прочитал вслух заголовок, набранный большими буквами:

«Президент на прессконференции сказал, что одобряет энергичные меры против «пятой колонны». Федеральное бюро обещает в ближайшие недели очистить страну от красных. На заводе «Крайслер» арестованы один инженер и восемь рабочих, составлявших узел шпионской организации».

Бетти засмеялась:

— Вот видишь — они не хотят, чтобы мы были счастливы. А мы будем счастливы — им назло.

Мадо обошла четыре дома, остановилась возле пятого. Вчера был хороший день — она собрала сорок три подписи. Сегодня только семнадцать... С каждым днем труднее: во всех газетах были статьи о том, что Стокгольмское воззвание — «маневр коммунистов», «игра Москвы». Некоторые кюре сказали своим прихожанам, что церковь не одобряет воззвания. Потом люди сбиты с толку сообщениями из Кореи — газеты пишут: «агрессия красных», «репетиция захвата Западной Европы». Скоро каникулы, многие мечтают о море или о деревушке, не хотят слышать про войну... Какой это дом? Сегодня пятый. А если подсчитать сначала, может быть сотый...

Дом номер 9, возле которого Мадо стояла, нельзя было назвать ни богатым, ни бедным. Он находился на маленькой улице возле бульвара Пастер; по одну его сторону белел недавно построенный комфортабельный дом, заселенный зажиточными людьми, по другую помещалась грязная гостиница, в которой ютились одинокие служащие, бедные студенты и девицы легкого поведения. Дом номер 9 когда-то считался солидным, но за шестьдесят или семьдесят лет своего существования он обветшал: фасад был испещрен темносерыми морщинами; ступени узкой винтовой лестницы покосились.

Мадо увидела в швейцарской бледную тучную консьержку, но не сказала ей, к кому идет: иногда консьержки не впускают. На улице дощечка: «Доктор Марэ. Внутренние болезни». Если консьержка спросит, скажу, что иду к доктору.

Доктор Марэ занимал просторную квартиру на первом этаже. Горничная провела Мадо в гостиную. Мебель в чехлах. На столике старые номера иллюстрированных журналов, альбом с видами Ниццы. Мадо машинально раскрыла альбом и улыбнулась: вот здесь скинули «раму» в море...

Доктор Марэ завтракал, он вышел, подвязанный салфеткой. Это был худой человек лет пятидесяти с лицом оливкового цвета. Раздраженно он спросил:

— Кто еще болен?..

Узнав, зачем пришла посетительница, он рассердился. Кажется, можно отдохнуть хотя бы в воскресенье!

— Вы ошиблись, сударыня, я не занимаюсь политикой. Мое дело — лечить.

— Ваше дело — спасти людей от бомбы.

— Вздор! Почему я должен их спасать от бомбы, а не от снарядов? Я читал в «Фигаро», что это трюк Москвы. Имейте в виду, что это мне все равно. Москва для меня не лучше и не хуже Вашингтона. Но я хочу, чтобы меня оставили в покое. Я не занимаюсь политикой.

— У вас есть дети, доктор?

Этот вопрос вывел Марэ из себя. Он закричал:

— А какое вам дело?

В гостиную вошла жена доктора, полная, сильно нарумяненная дама; за ее юбку пряталась маленькая девочка, с любопытством разглядывавшая гостью.

— Почему ты кричишь, Гастон?

Марэ объяснил: господам коммунистам не нравится атомная бомба, и они не придумали ничего лучшего, как беспокоить людей, да еще в воскресенье.

Мадо обратилась к госпоже Марэ:

— Это неправда, что атомная бомба не нравится только коммунистам, она возмущает всех. Вы меня поймете, ведь вы мать...

Госпожа Марэ, выслушав Мадо, сказала мужу:

— Я согласна с этой дамой. Ты мне сам говорил, что от атомной бомбы нельзя спастись ни в каком убежище. Может быть, тебе все равно, что Тони убьют, но я — мать, ты это понимаешь? Я подпишу вашу петицию...

Доктор, хлопнув дверью, ушел в столовую, а госпожа Марэ расписалась: «Также за дочь Антуанетту Марэ шести лет».

Напротив доктора жил владелец москательного магазина Летурнер. Дверь открыла худая женщина с подвязанной щекой. Летурнер, узнав, в чем дело, рассвирепел:

— Какая наглость! Вы думаете, я не знаю, чья это затея? Я, сударыня, француз, а не московская содержанка. Хотите, я вам напишу, что я за бомбу, если только она разнесет ваших коммунистов в пух и прах. А ну-ка, убирайтесь отсюда!

Раскрыв дверь, он крикнул очень громко, чтобы все слышали:

— Госпожа Кремье, здесь по квартирам шляется коммунистка. Вы бы предупредили съемщиков, а то она может стянуть пальто!..

Когда Летурнер закрыл дверь, консьержка, прибежавшая на крик, сказала Мадо:

— Не обращайте внимания, это неслыханный грубиян. Я не понимаю, как он еще не растерял всех своих клиентов. Вы думаете, он подарил мне что-нибудь на Новый год? Он даже меня не поздравил...

Мадо объяснила консьержке, зачем она обходит квартиры. Она говорила об ужасах войны. Госпожа Кремье пригласила Мадо в швейцарскую. На единственном кресле спал белый жирный кот; хозяйка долго уговаривала его уступить место даме, но он не согласился. Госпожа Кремье, выслушав Мадо, заплакала:

— Это такой ужас!.. Я перестала читать газеты, у меня делаются нервные припадки. Доктор мне прописывал сто лекарств, и ни одно не действует. Нужно подмести лестницу, разнести почту,— шесть этажей, а у меня ноги подкашиваются. Мой покойный муж любил читать газеты, он садился вечером и начинал рассуждать, почему приехал английский король, к войне это или к миру. Он умер во время оккупации, у него был деликатный желудок, а разве можно было соблюдать диету, когда ничего не было?.. Я теперь часто думаю, почему умер он, а не я? Все-таки мужчинам легче, они не так нервничают... Когда слышишь все, что говорят, кровь стынет в жилах. Господин Дюфур рассказывал, что если русские бросят бомбу на Елисейские поля, в нашем районе не останется ни одного дома. Ну, скажите, разве можно играть такими вещами? Конечно, я подпишу. Мне все равно, кто это придумал. Если русские придумают такое лекарство, чтобы у меня не подкашивались ноги, я не откажусь. Как будто среди коммунистов нет порядочных людей? На третьем этаже живет господин Фоше, я убеждена, что он коммунист, но он всегда вежливо со мной здоровается, вытирает ноги, чтобы не запачкать лестницы, на Новый год делает мне подарки. А господин Летурнер не коммунист, он хорошо рассуждает, но вы же видели, что̀ это за человек! Мой покойный муж говорил, что в общем все хороши, а в частности много подлецов... На втором этаже налево

живет госпожа Жакемэ, стучите сильнее: она глуховата и не слышит звонка...

На втором этаже Мадо позвонила в квартиру направо. Там жил Севестр, преподаватель французского языка. Он любезно принял Мадо:

— Я, сударыня, ценю ваши благородные побуждения. Каждое свидетельство преданности идее вызывает во мне уважение, даже если я считаю идею порочной. Верьте мне, я ненавижу войну. Во времена Вольтера человечество еще не знало многих смертоносных изобретений, но войны были, и Вольтер писал:

Грохочут бомбы грозные над Фландрией злосчастной...

Поглядите, что делается в Корее. Коммунисты напали без атомных бомб...

— Почему вы верите газетам? В Северной Корее люди строили города, крестьяне получили землю, работали. Им не нужно было воевать. Начали не они...

Севестр иронически улыбнулся:

— Я восхищаюсь вами, сударыня, вы защищаете вашу идею, даже когда факты против вас. Но я не фанатик, я картезианец, я не хочу бросить гирю на одну чашу весов. Атомная бомба выгодна американцам и страшна русским...

— Она страшна всем. И французам...

— Я не спорю, война — ужасное испытание. Руссо был прав, когда говорил о «сладких плодах мира...» Я не подпишу этой бумаги, сударыня, вы меня растрогали, но я не принадлежу к категории людей, которых можно обмануть красивыми словами.

С трудом Мадо достучалась к госпоже Жакемэ. Ее муж, капитан артиллерии, погиб на Марне, сын Реми умер в немецком плену. Все стены были завешаны фотографиями Реми: он был снят младенцем, потом — в коротких штанишках, потом — угловатым подростком с книгой в руке, потом — юношей.

— Ему было двадцать лет, когда началась война,— сказала госпожа Жакемэ и навзрыд заплакала.

Мадо пыталась ее успокоить, но госпожа Жакемэ или не слышала, или не хотела слушать; сквозь слезы она повторяла:

— Я думала, что Реми женится, я буду нянчить внуков... Ведь у меня никого нет... Мужчины все-таки сумасшедшие. Женщина мучается, рожает, выхаживает ребенка, а потом они устраивают войну...

Она заставила Мадо посмотреть все фотографии Реми, рассказала, как он в детстве болел ангиной, как влюбился в девушку, которая была старше его на четыре года, и госпожа Жакемэ боялась, не выкинет ли он глупости.

— Лучше бы он тогда женился!

Когда она немного успокоилась, Мадо рассказала ей про воззвание. Госпожа Жакемэ покачала головой:

— Я ничего не понимаю в политике.

— Это не политика, нужно спасти детей. Кто-кто, а вы это понимаете...

Мадо долго говорила; наконец госпожа Жакемэ надела очки, недоверчиво посмотрела на бумажку и расписалась: «Вдова Мари Жакемэ». Рядом с подписью упала слеза.

Третий этаж. Дюфур. Это молодой человек. Жена, годовалый ребенок. Он служит в мэрии пятнадцатого округа. Новенькая мебель с чересчур яркой обивкой. На диване большие матерчатые куклы. Пестрые обои. Ширмочка с цаплями. При разговоре присутствует и молодая жена Дюфура. Говорит Мадо, хозяева молчат. Мадо останавливается; может быть, они возразят или зададут вопрос? Нет, оба молчат. Мадо говорит целых четверть часа, наконец протягивает текст воззвания. Дюфур смотрит на жену не то вопросительно, не то умоляюще. Мадо спрашивает его:

— Вы подпишете?

Он молчит. Наконец раскрывает рот госпожа Дюфур:

— Вы должны войти в наше положение... Мой муж недавно устроился. Мы с трудом нашли эту квартиру. У нас ребенок... Нельзя же все поставить на карту ради какой-то подписи! У вас и без нас достаточно подписей. А мы не можем подписать... Американцы не испугаются от того, что Амедэ Дюфур поставит свою подпись на вашей бумаге. А муж может лишиться работы. Кто нас будет содержать? Не вы... Он не может подписать...

Осмелев, Дюфур громко сказал:

— Вот именно, не могу. И жена не может...

Он встал, показывая, что дальнейшие разговоры бесполезны.

Напротив квартиры Дюфуров жил аптекарь Фоше, которого консьержка считала коммунистом. В его квартире было очень много книг.

— Стараюсь не отстать от времени, только книги теперь дорого стоят...

Он сказал Мадо, что он ни одной партии не верит. Не будь столько мошенников, можно было бы всем договориться.

— Почему мы должны вмешиваться в спор между Америкой и Россией? Это два титана. Я сейчас не стану разбирать, кто из них прав. Лично я предпочитаю русских, хотя я далеко не коммунист, я скорее идеалист. Но я предпочитаю русских, потому что среди рабочих меньше мошенников, чем среди финансистов. Я понимаю, что можно предпочитать американцев. Я ничего не имел бы против, если бы Бидо или Шуман подносили американцам букеты роз, но они собираются преподнести им наших детей. Это — неслыханное мошенничество! Моему сыну семнадцать лет. Почему он должен умирать за Америку?.. Когда читаешь, какую роль играл Бедье в афере с чеками, становится страшно!..

Фоше еще долго негодовал; потом подписали все: он, его жена, сын, дочка. Когда Мадо уходила, Фоше сказал:

— Хорошо будет, если в следующий раз вы принесете мне воззвание не только против атомной бомбы, но и против войны. Я знаю, что среди лекарств, которые я продаю, много недейственных, но все-таки я предпочитаю сомнительные пилюли хорошим снарядам.

На четвертом этаже жили фотограф Бушерон и кассир «Лионского кредита» Эрве. Мадо зашла раньше к фотографу. Квартира была темной и неприветливой. Высокая костлявая женщина в черном платье входила и выходила из комнаты, подозрительно поглядывая на посетительницу, иногда она кричала: «Жан, закрой окно — опять сквозняк!» или: «Жан, перестань курить». Бушерон носил темные очки, нельзя было разглядеть его глаза. Он усадил Мадо в старое кресло, из которого вылезли пружины.

— Соблаговолите объяснить, в чем сущность вашего воззвания.

Мадо долго говорила. Бушерон иногда прерывал ее короткими репликами: «Да... Бесспорно... Нельзя не согласиться...» Наконец она дала ему лист. Он покачал головой:

— Я этого не подпишу.

— Почему?

Он молчал. Вошла костлявая женщина, сказала:

— Он этого не подпишет.

Больше Мадо ничего от них не добилась.

Эрве после Бушерона показался ей весельчаком. Он приветливо улыбался, у него было круглое розовое лицо и очки на носу смешно подпрыгивали. Он сразу сказал Мадо, что он провинциал, в Париже всего третий год, перебрался, потому что дочка вышла замуж за парижанина и жена не хотела жить далеко от молодых. В Париже ему не нравится: толкотня, нечем дышать, мало знакомых, холодно. Не будь дочки, он сейчас же вернулся бы в Перпиньян.

— Подписать?.. Пожалуйста! Я на войне был, там было пострашнее... Я ничего не имею против американцев. По-моему, каждый народ хорош у себя дома... Не думайте, что я противник туризма, напротив, я считаю, что если у человека есть деньги, он должен путешествовать. У меня было мало денег, но двадцать лет назад я провел две недели в Барселоне. Мне только не нравится, что американцы расположились здесь, как у себя дома. Мы как-никак старая нация, можем обойтись и без них... Недавно был такой случай: я сказал одному американцу, что у него аккредитив не в порядке. Он начал кричать, что его знают в Америке, я ему ответил, что здесь не Америка, он в меня бросил чернильницу. И, представьте, дирекция взяла его сторону... Нет, нужно, чтобы они уехали к себе... Сейчас мы с женой подпишем. А вы пойдите к дочери, я вам дам адрес. За ее мужа я не отвечаю, у него какие-то дела с американцами, но Дениз вы скажете, что пришли от меня, она сразу подпишет.

На следующем этаже четыре квартиры. Корректор Гарнье пожимает плечами:

— Ну вы наберете миллион, десять миллионов, сто миллионов подписей, а что дальше? Жермен, ты слышишь, что говорит эта дама? Она думает, что президент Трумэн

послушается корректора Гарнье. Я не понимаю, как могут взрослые люди играть в такие дурацкие игры? Жермен, эта дама хочет, чтобы я запретил атомную бомбу. Скажи ей, что у нас дома нет бомб, а президент Трумэн с нами не советуется.

Жена кивает головой.

В следующей квартире жил мастер заводов Берти Моризэ. Он справлял день рождения своей дочки. За обеденным столом сидела семья Моризэ и гости, пили кофе, коньяк. Когда Мадо пришла, кто-то рассказывал смешную историю, Моризэ долго салфеткой вытирал глаза. Он заставил Мадо сесть за стол, выпить чашечку кофе.

— Знаю, у нас на заводе рассказывали... Слушай, Пьер, ты уже подписал?.. Вот видите — сразу все подпишем, семья Моризэ и семья Фонтэн, с детьми одиннадцать душ... Вы видите этого парня? Сейчас он рассказал замечательный анекдот, как Олив встретил Мариуса. Но поглядели бы вы на него, когда были немцы!.. Он за словом в карман не полезет. Его немцы в концлагерь отправили...

Пьер, о котором шла речь, сказал:

— Когда нас освободили американцы, я не понимал, почему они так любезничали с гестаповцами. А теперь все понятно: сегодня в «Юма» описывают, как американцы восстанавливают гитлеровскую армию.

Моризэ выругался:

— Подлецы!.. И находятся французы, которым это нравится! А впрочем, что тут удивительного? Я помню, как Берти выслуживался перед немцами, пока его не пристрелили... Я не злой человек, пробовал охотиться на зайца — не могу, жалко мне зайцев. А вот этих предателей я не пожалею... У меня на первой войне отец погиб, на этой брата искалечили... Неужели нехватит?..

Мадо улыбалась. Перед ее глазами пронеслось: немцы, ночь, она идет с Берти к реке, стреляет, гестапо, сюсюкающий немецкий майор, маки́, Медведь. И хотя было много печали в этих картинах, она улыбалась: ей было хорошо с незнакомыми, но близкими людьми.

Моризэ понял, почему она улыбается.

— А вы, товарищ, не из наших?.. Я сразу догадался.

Нет, ты с нами выпей рюмочку. Это Пьер из Шаранты привез, аромат потрясающий.

Он налил всем коньяку, окунул в свою рюмку кусочек сахара и дал его младшей дочке, встал и торжественно произнес·

— За Мориса за Францию, за русских, за мир!

Он долго полоскал рот коньяком, наслаждаясь его вкусом, потом сказал:

— А теперь будем подписывать.

Мадо идет дальше. Лаборант Лепренс. Он то и дело вскакивает, убегает в соседнюю комнату, оттуда доносится его голос: «Скажи, куда ты идешь?» Женский голос отвечает: «Оставь, ты мне мешаешь причесываться...» Из соседней комнаты выходит молодая нарядная женщина. Лепренс кидается к ней: «Я тебя в последний раз спрашиваю!..» Женщина улыбается и уходит. Лепренс старается совладать с собой. Он слушает Мадо, потом начинает расспрашивать: правда ли, что советские биологи отрицают наследственность, как объяснить, что коммунисты в свое время защищали германо-советский пакт, почему устроили в Праге переворот, как совместить принципы демократии с правом «вето», верно ли, что у русских самая сильная армия, зачем коммунисты вторглись в Южную Корею? Мадо отвечает. У ее собеседника добрые близорукие глаза, а рука с сигаретой дрожит. Он понимает, что Мадо права. Он уж не спрашивает, он говорит, что ничего нет страшнее новой войны. Наконец Мадо протягивает ему лист с подписями. Он отворачивается, долго молчит.

— Я вас попрошу, дайте мне ваш адрес или зайдите через неделю. Вы мне многое объяснили, ведь в газетах пишут иначе... Теперь мне нужно подумать. Жена говорит, что я никогда ни на что не могу решиться... Может быть, она права, но мне нужно подумать...

Он крепко жмет руку Мадо. Она уходит и на лестнице слышит, как он говорит сам с собой: «Я могу быть решительным...» Мадо вспоминает молодую нарядную женщину, и на минуту ее охватывает забытый мир — ревности, слез, клятв, размолвок...

В четвертой квартире жил электромонтер Шеналь. Это был человек лет сорока, страдавший болезнью печени. Он сразу сказал:

— Не думайте, что я пескарь и что я могу легко клюнуть. Я голосую за социалистов, потому что я ненавижу кюре. Но коммунистов я тоже не люблю. У меня своя голова... Почему вы только против атомной бомбы? Может быть, потому, что русские рассчитывают на танки или на артиллерию?

— Мы стоим за общее разоружение. Мы начали с атомной бомбы, потому что она страшнее всего для мирного населения. Это первый шаг. А ведь нельзя пройти путь, не сделав первого шага...

Шеналь удивленно оглядел Мадо:

— А вы умеете рассуждать... Ну, хорошо, а почему русские против плана Баруха?..

Мадо ему объяснила, что международный контроль не должен нарушать национального суверенитета. Он все время возражал, сердился, принял лекарство. Мадо просидела у него больше часа. Наконец он сказал:

— Признаю — в этом есть логика... Я не пескарь... «Попюлер» предостерегал, что не нужно подписывать. Но у меня своя голова. Я подпишу...

Мадо поднялась на чердачный этаж; там было шесть комнат, которые прежде называли «комнатами для прислуги». Давно переменился характер дома; съемщики были скромными; только у доктора Марэ и Летурнера была приходящая прислуга. Чердачные комнаты сдавались, как и квартиры, по договору.

Звонка не было. Мадо постучала. Открыл дверь заспанный человек с лохматой головой, художник Грегуар. Комната была загромождена холстами. Мадо оглядела работы, один пейзаж ей понравился. Грегуар спросил:

— А вы не художница?

— Когда-то писала...

Он начал поспешно переставлять картины лицом к стенке.

— Я художникам своих работ не показываю.

Мадо рассказала, зачем пришла. Он слушал рассеянно.

— Мне на это наплевать,— сказал он.— По-моему, атомная бомба не хуже и не лучше остального. Искусство подыхает. Какие-то жулики закрашивают квадраты. Ваши приятели делают зализанную академическую живопись, но вместо торговца бриллиантами изображают торговку

рыбами. Скучно!.. А главное, искусство никому не нужно, кроме тех, кто им занимается.

Он долго и уныло обличал эпоху.

— Самба — чудесный художник, и он тоже не знает, что делать...

Мадо улыбнулась:

— Но Самба подписал воззвание.

Грегуар развел руками:

— Зачем ему это? Чудак!.. Ну, раз Самба подписал, я тоже подпишу... Не думайте, что мне нравится война... Мне просто все осточертело...

Жюли Ронсере в окрестных барах звали «Жюли с челкой», потому что в соседней гостинице жила другая Жюли, без челки. Жюли лежала на кровати и курила. Дверь была приоткрыта. Увидав Мадо, Жюли смутилась, накинула на себя изодранный шелковый капот.

— Я не боюсь смерти,— сказала она,— но это гадость. В городе есть дети. Как же можно убивать всех без разбора? Обо мне никто не станет плакать, но мне тоже противно умереть так... Я хочу перед смертью причаститься, вспомнить мамашу...

Только теперь Мадо заметила на стене, среди портретов киноактеров, большое гипсовое распятие.

— Неужели снова будут ночные тревоги? — спросила Жюли.— Выбегаешь голая на улицу, в метро тесно, дети плачут, хочется, чтобы скорее на тебя упала бомба... Я вам говорю, это гадость... Дайте мне ваш документ, я его сейчас же подпишу.

Старуха Дусэ жила одна. Продавленный стул, заштопанное платье, миска с чечевицей. Старуха Дусэ начала жаловаться: разве можно прожить на гроши, которые она получает? Ее муж был чертежником. Когда-то они неплохо жили. Муж умер в 1936 году. Сына увезли в Германию, и он оттуда не вернулся. Зять скупой: он запрещает своей жене отнести матери немного кофе или кусок сыра.

— Почему они тратят деньги на бомбы? — вздыхала старуха Дусэ.— Лучше бы они помогли старым людям. Разве это жизнь?.. Вот я подписываю: вдова Жюльетта Дусэ, тысяча восемьсот восьмидесятого года рождения. Я прожила семьдесят лет, а теперь никому до меня нет дела... Все думают об одном: как убить друг друга...

Мадо зашла к студенту Лекоку. Он стеснялся, краснел, хотел не глядеть на нее и все же глядел: никогда он не разговаривал с такой красивой женщиной. Он подписал бы сразу, но ему было обидно, что тогда она уйдет, а впереди пустой воскресный день. У него нет ни друзей, ни девушки, ни денег, чтобы напиться. Он начал ее расспрашивать о событиях в Корее: неужели американцы вмешаются? Потом неожиданно сказал:

— Я вам завидую. Вот вы собираете подписи, значит вы знаете, что̀ нужно делать. А я не знаю... Мой отец — сельский учитель, он верит в прогресс, в то, что людям становится с каждым годом лучше, верит в науку. Голосует за социалистов... Для него Мок — наследник Жореса. Я изучаю медицину. Говорят, это — благородное дело: исцелять страдания людей, продлить жизнь. Но вы посмотрите — изобрели пенициллин и атомную бомбу. Разве можно пенициллином помочь жителям Хиросимы? Теперь пишут про водородную бомбу, про какой-то «смертоносный песок...» Прогресс не касается души, он внешний... Я бывал на собраниях коммунистов, они меня не убедили, мне не нравятся истины, которые носят временный, преходящий характер. За них трудно умереть... Можно отдать жизнь, если веришь в бога, это понятно. Ну а если ты убежден только в правоте политической идеи?..

Мадо поглядела ему в глаза и тихо спросила:

— Вы видали, как умирают коммунисты?

Он не ответил и почему-то тоже очень тихо сказал:

— Простите...

Последняя дверь. Рабочий химического завода Николя, его жена Селестина и младенец, который, не замолкая, кричит. Николя в восторге, как будто на его долю выпало необыкновенное счастье:

— Ты видишь, Селестина, пришли ко мне! Подумай, на шестой этаж!.. Я уже подписал на заводе, но я так рад, что вы пришли! Посидите минутку, отдохните. Селестина, приготовь кофе. Да нет, вы даже не представляете себе, как я рад! На заводе не знали — одному подписывать или за всю семью, я там только за себя подписался, а потом товарищи говорили, что нужно было за всю семью. Селестина, подпиши за себя и за Дуду. Он у нас первый... Четыре месяца, начинает понемногу соображать... Ну, как

наш дом? Здесь фашистов много. Внизу живет Летурнер, этот при немцах дела делал... Ясно, что от такого ждать... А вообще замечательно, наверно уже миллион набрали!.. У нас на заводе только шестеро отказались, и то одного нельзя считать — он шизофреник. Нет, вы кофе обязательно выпейте. Это не шутка — обойти такой дом!.. Селестина, ты слышишь, это пятый дом!.. А как консьержка — подписала? Молодец! Нет, я вам говорю — вся Франция подпишет! Весь мир!..

Он вдруг замолк — глядел на Мадо и ерзал от волнения. Наконец он сказал:

— В газете была фотография... Очень похожая на вас — это после событий в Ницце... Удивительное сходство!..

Мадо улыбнулась, но не ответила. Николя продолжал на нее глядеть:

— А может быть, это вы?

Она засмеялась:

— Может быть.

— Ты видишь, Селестина, кто к нам пришел? Я про тебя все читал: и как ты в сопротивлении была, и на севере, и в Ницце. Ну, мог я подумать, что ты придешь сюда?.. Я в партии с сорок четвертого...

Мадо выпила кофе и хотела распрощаться, когда Николя показал на стенку, там висела фотография Кремля:

— Это я из «Регар» вырезал... Вот, понимаешь, что человеку снится: мне раз приснилось, что я попал в Кремль, хожу, холодно, а мне не холодно. И проснулся... Контролер газа, проклятый, разбудил. Хотелось бы мне туда съездить хоть на день, понимаешь?..

— Понимаю. И мне хотелось бы...

Мадо идет по улице.

Незаметно пришло лето, потемнела листва каштанов, поздно темнеет, возле домов сидят люди, как на даче. Сколько у нее подписей? В этом доме двадцать семь... Она вдруг задумалась: как будто я сейчас прожила много жизней. Реми не вернется к матери. Старуха Дусэ умрет одна. Через пять лет Жюли с челкой будет ходить возле мусорных ящиков, собирать отбросы. Чужое горе, какое оно прилипчивое, неотвязное! У художника хороший пейзаж — река, дерево, лодка, а в ней женщина с голубой

шалью. Может быть, это его любовь? Или проплыло чужое счастье?.. Жена Лепренса знает, чего хочет, у нее были такие глаза, что я отвернулась. А он ни на что не может решиться. Даже не подписал, попросил подождать неделю... Студент запутался. Как я в «Корбей». Но я встретила Сергея... У Николя смешной мальчик. Вот он, наверно, увидит Москву — через двадцать лет, и дочка Моризэ тоже увидит... Теперь в Москве еще позже темнеет, чем здесь, Сергей рассказывал: большое, ясное небо, как опрокинутая хрустальная чаша, и немного розового отсвета. Вероятно, это и есть тот мир, о котором мы столько говорим,— большой, ясный и немного розового отсвета... До чего я устала!..

84

Памятник погибшим партизанам Лимузэна должны были открыть в день национального праздника, четырнадцатого июля. Учитель Фернан Вуазэн, бывший командир отряда FTP, которого все знали по прозвищу Деде, задолго начал готовиться к торжественной церемонии. Он отправил приглашения бывшим партизанам и среди них двум, находившимся вне Франции: Воронову и Франтишеку Кристеку. Одновременно он написал в Париж адвокату Перрэ, которого партизаны во время оккупации прятали от гестаповцев, попросил его сделать все необходимое для того, чтобы Воронов и Кристек получили въездные визы. Деде знал, что адвокат, сохраняя дружеские отношения с некоторыми партизанами, вращается в кругах, близких к правительству.

Письмо Деде привело адвоката Перрэ в дурное настроение. В нем давно боролись два чувства: привязанность к людям, которые спасли его от смерти, и неприязнь к коммунистам. Воспоминания понемногу тускнели, росло раздражение против людей, которых он про себя называл «полумосквичами». Все же он решил выполнить просьбу Деде; идея памятника его тронула, он даже заколебался: не поехать ли ему на торжество? Раздумывая, к кому обратиться насчет виз, Перрэ остановился на Бедье: он участвовал в сопротивлении и лучше других поймет, что

нельзя запретить людям, которые сражались за Францию, почтить память их погибших друзей.

Выслушав Перрэ, Бедье воскликнул:

— Как я понимаю ваши чувства! Есть область, которая выше политики, это — преклонение перед людьми, погибшими за Францию. Мне все равно, были они коммунистами или католиками, для меня они прежде всего национальные герои.

Бедье сказал, что наведет необходимые справки и через неделю даст ответ. Действительно, в указанный день он принял адвоката, стал расспрашивать, как его здоровье, говорил, что слышал на концерте свояченицу Перрэ госпожу Соважо, у нее восхитительное сопрано. Потом Бедье перешел на мировые события: американцы не могли отнестись безучастно к судьбе Кореи, бесспорно их поддержат все цивилизованные нации.

Наконец Перрэ спросил:

— Вам удалось выяснить вопрос о визах?

— Не думайте, что я мог забыть вашу просьбу. Вы не подозреваете, дорогой друг, как вы меня тронули своей верностью годам сопротивления... Насчет виз я запрашивал. Имеются некоторые помехи... С чехом все более или менее ясно: оказывается, он выслан из Франции за вмешательство в наши дела. Сложнее обстоит дело с русским... Лично против него ничего не имеется. Он уехал еще до конца войны и, судя по данным Кэ д'Орсэ, у себя на родине не выступал против Франции. Если я не ошибаюсь, это инженер, политикой он занимается только в той мере, в которой все советские этим занимаются...

— Значит, можно рассчитывать на получение визы Воронову?..

— Нет... Наоборот... Имеются серьезнейшие препятствия... Вы понимаете, какое теперь обостренное положение. Американцы хотят, чтобы мы приняли участие в корейской экспедиции. А у нас на плечах этот проклятый Индокитай... Нильс поддерживает план восстановления вермахта. Вы, наверно, помните, что я выступил решительно против. Я ведь не забыл, как мы боролись против немцев... В больших вопросах наш долг — отстаивать национальные интересы Франции. Но глупо ссориться с американцами из-за пустяков. Они болезненно реагируют на любую коммуни-

стическую затею... А вы представляете себе, что̀ будет, если мы впустим Воронова?.. Нильс мне прямо сказал, что в Вашингтоне это воспримут как вызов... В общем нужно согласиться, что приезд такого человека не может пройти незамеченным. Он сражался за Францию, значит в некотором отношении это герой... Возможно, он говорит по-французски...

— Да, и неплохо. Я его видел, когда партизаны подошли к Лиможу, я тогда скрывался в деревушке у жены одного учителя. Мне сразу показали русского. Фактически он руководил операцией...

— Вот видите... Я вовсе не считаю, что мы должны обострять наши отношения с Москвой, они и так из рук вон плохи. Нельзя автоматически отказывать всем советским в визах, как предлагает Дюмон. Нужно разбираться... Воронов — фигура скорее одиозная. Он знает Францию. Его отношение к нашей стране...

Перрэ перебил:

— Все партизаны мне говорили, что он полюбил Францию, так что насчет этого вы можете быть спокойны.

Бедье вздохнул. Конечно, Перрэ — прекрасный адвокат, но с ним трудно разговаривать: он не понимает простейших истин. Он, например, считает, что любовь Воронова к Франции — плюс, а это минус. Дайте мне русского, который ненавидит Францию, и я в двадцать четыре часа получу для него визу. Но Перрэ этого не объяснишь... Бедье сказал:

— Я вам охотно верю, дорогой друг. Будь это в моей власти, я сейчас же выдал бы этому человеку визу. Но решаю не я... По правде сказать, я теперь вообще мало что решаю: я слишком независимый человек для нашей эпохи... Насчет Воронова я сделал все, что мог. Мне категорически заявили, что он не въедет во Францию...

Перрэ хотел откланяться, Бедье его удержал:

— Вы мне сказали в прошлый раз, что собираетесь поехать на открытие памятника. Я понимаю, что вами руководят благородные побуждения, но позвольте мне, как вашему старому другу, сказать: коммунисты хотят вас использовать для своих целей. Вы знаете, кто̀ стоит во главе комитета?..

— Деде... То есть, простите, Вуазэн.

— Именно. А это фанатик. Он дошел до того, что призывает солдат к неповиновению. Вполне возможно, что его привлекут к ответственности... Право же, нашей гордости, адвокату Перрэ, не стоит поддерживать антинациональную игру!..

Перрэ ушел от Бедье раздраженный. Насчет виз это — их дело. Но кто ему дал право давать мне советы? Как будто я сам не знаю, что Деде — коммунист! Но он мне спас жизнь, это что-нибудь да значит. Никогда я не видел столько отзывчивости, как в те месяцы... Если я послушаюсь Бедье, я предам погибших, это не в моем характере. Я против коммунизма, но я за верность.

Секретарь горкома рассказал Воронову, что его пригласили французские партизаны:

— Звонили из Москвы... Визы вам не дали. Но из Франции просят, чтобы вы произнесли небольшую речь, здесь ее запишут на пластинку. Они не указывают, о чем говорить, да вы и без них придумаете. Но вот, как вы это скажете?.. Они ведь просят, чтобы было по-французски. Нужно поискать хорошего переводчика...

— Как-нибудь скажу. Когда я там был, понимали... Я только не знаю, о чем говорить. Голова у меня другим занята — я с вами собирался поговорить о корпусе «Б»...

Стояли белые ночи; все от них становилось призрачным: и гора Кукисвумчорр, и город, и лицо Лены.

У Воронова было много горя позади; в первое время он никогда не говорил с женой о своем прошлом. Как поздно — в июне — оттаивает промерзшая насквозь земля севера, так и на третий год совместной жизни оттаяло сердце Воронова. Лена стала для него настоящим другом, которому он поверял все душевные тайны. Он научился угадывать ее мысли по неприметному движению руки, по блеску больших серых глаз, по едва наметившейся улыбке. Мусеньку он обожал; этот седой широкоплечий великан, играя с девочкой, превращался в ребенка. Он как-то признался Лене: «Я думал, что у меня все в прошлом, а какое счастье мне выпало, не умею сказать!..»

Он радовался тому, что растет город, с которым он связал свою судьбу, радовался каждому новому дому, компрессорам в рудниках и кустикам смородины. Сейчас он глядел в окно и думал о судьбе Кировска. Что здесь

было четверть века назад? Стойбища, олени, болота, валуны да гора с запечатанным сердцем. И вот пришел народ, разбудил гору. Теперь она живая, в ее груди горит свет, снуют электровозы. Куски чудесного камня становятся золотом Кубани или Украины. Рассказывают, что, когда сюда приезжал профессор Крюгель, он развел руками: «Богатства исключительные, но в таком климате невозможно их разработать...» Он не знал наших людей. Всего двадцать лет, как Киров заложил город, а кажется, что Кировск всегда стоял. Есть даже свои традиции... Большие улицы, кино, магазины, суета... Паренек вчера говорил, я случайно услышал: «Выйдешь вечером, полно народу, и все незнакомые, я одну девушку зимой в кино встретил, с тех пор не могу разыскать...»

Воронов взял Мусю на руки, поднял вверх. Она засмеялась: «Папа, а я теперь выше тебя!.. Знаешь что, в воскресенье пойдем в кукольный театр. Там показывают слоника, это тебе будет интересно». Воронов ответил: «Слоника? Конечно, интересно. Мы и маму возьмем...»

Потом Муся уснула. Воронов еще долго сидел с Леной: в такие ночи не хочется спать. Они сидели молча, сжимали друг другу руки, как будто только что встретились или сейчас расстанутся, и думали о том, что теперь они вместе на всю жизнь.

Солнце было уже высоко, когда Воронов сел к столу. Что мне им сказать? Ведь это так далеко! Я не могу себе представить, кто меня будет слушать, не знаю, как они теперь живут... Он долго грыз карандаш и хмурился. Потом вспомнил Мики и начал писать, не отрываясь.

Был горячий летний день; только порой налетал ветер, и тогда вздрагивали старые друзья партизан — вековые дубы Лимузэна. На открытие памятника собралось свыше десяти тысяч человек; пришли крестьяне из окрестных сел, приехали люди из Лиможа, из Брив, из Тюлли, даже из Парижа. Памятник поставили посередине большой лесной поляны, с которой открывался вид на холмы, поля. Имена героев были вырезаны на двух мраморных плитах.

На трибуну поднялся Деде. Волнуясь, он сказал:

— Мы собрались, чтобы почтить память погибших франтиреров и партизан. Среди них были люди разных убеждений, но все они любили Францию и за Францию

погибли. Все они хотели, чтобы Франция, выйдя из огня испытаний, была смелой, сильной и чистой. Пусть мертвые напомнят живым, каков их долг перед родиной. Пусть мертвые напомнят чужестранцам, что французы не были и не будут рабами.

Зааплодировали все, в том числе и адвокат Перрэ, стоявший неподалеку от трибуны; он смутился, но все же не выдержал и зааплодировал.

Оркестр исполнил «Марсельезу». Впереди стояли уцелевшие бойцы партизанских отрядов. Мать одного из погибших сняла с памятника покрывало. Памятник был сделан скульптором Гравэ, другом Самба; он представлял собой глыбу розоватого мрамора, из которой как бы выплывало лицо женщины, строгое и задумчивое.

Деде сказал:

— Двое из наших друзей, которые сражались с нами за освобождение Лимузэна, живут теперь далеко, у себя на родине. Мы их пригласили на это торжество. Они согласились приехать. Но французское правительство, которое недавно впустило палача Ширке, отказало в въездных визах героям, сражавшимся за свободу Франции.

Раздались свист, крики; налетел ветер, и казалось, закричал возмущенный лес.

Деде продолжал:

— Франтишек Кристек, которого мы звали в отряде Чехом, прислал нам письмо! Я его сейчас прочитаю: «Дорогой командир Деде! Дорогие товарищи! Когда я пришел в ваш отряд и сказал, что хочу драться против нацистов, вы меня приняли, как брата. Никто не говорил мне, что я вмешиваюсь в чужие дела. Я никогда не забуду, как мы взорвали мост, как освободили товарищей из тюрьмы, как нас встречали в Лиможе. Я благословляю судьбу за то, что она позволила мне, немолодому человеку, ничем не примечательному, принять участие в таких великих событиях. Может быть, некоторые из вас слыхали о том, что меня в тысячу девятьсот сорок восьмом году выслали из Франции. В префектуре мне сказали, что я вмешивался не в свои дела. Я знаю, что вы, мои боевые товарищи, можете скорее говорить от имени Франции, чем этот сударь из префектуры с маленькими усиками и с большим самомнением. Вчера он был немецкой овчаркой, а сегодня

это американская обезьяна. В общем теперь меня не впустили, и я не могу обнять ни тебя, Деде, ни других товарищей. Я не удивился — теперь в Париж свободно приезжают генералы Гитлера. Как же можно впустить во Францию нахального Франтишека Кристека, который пошел добровольцем во французскую армию, а потом вместе с вами бил нацистов и предателей? Я хочу вам сказать, что товарищи, с которыми я вместе работаю, соседи по дому и, конечно, моя жена Квета, мы все соберемся и отпразднуем с вами четырнадцатое июля. Я расскажу еще раз о партизанах. Положите на памятник от моего имени цветы, которые цветут на лугах Лимузэна. С боевым приветом и с глубоким почтением ко всем порядочным французам остаюсь Франтишек Кристек, или, выражаясь по-военному, партизан Чех».

Люди смеялись; потом, растроганные, зааплодировали. Товарищи вспоминали, как Чех шутил, какой он был храбрый и невозмутимый. Когда аплодисменты смолкли, Деде сказал:

— Партизаны помнят Медведя. Он участвовал с нами во всех операциях. Он был советским офицером и многому нас научил. Я предоставляю слово нашему другу Николаю Воронову.

Все с изумлением переглянулись. Водворилась тишина, и вдруг раздался голос Воронова:

— Говорит Медведь. Говорит Медведь. Я не могу быть сегодня с вами. Но я с вами. Я говорю издалека. Город, где я живу,— за Полярным кругом. Слушайте меня, старые мои товарищи! Я вспомнил сейчас Мики, и хотя я видел в жизни много горя, мое сердце сжалось. Мики погиб, взрывая мост. Я никогда не забуду, как он пел перед смертью:

Другие встретят солнце
И будут петь и пить.
И, может быть, не вспомнят,
Как нам хотелось жить.

Нет, Мики, нет, дорогой друг, мы тебя помним! Ты был веселым, умел шутить, и ты был смелым. Когда я рассказываю о тебе, дорогой Мики, мои друзья, советские люди, восхищаются и говорят: «Настоящий француз!..» Разве мы можем забыть старого Дезире? Умирая, он сказал мне:

«Медведь, передай Сталину, что старик Дезире бросил свой виноградник, пошел воевать, погиб и шлет Сталину привет». Боевые товарищи, Сталин знает, что старик Дезире послал ему привет. Советский народ понимает горе Франции, он желает ей силы, победы, счастья. Накануне боев за Лимож погиб барселонский каменщик Хосе. Он так мечтал увидеть снова свою родину!.. Еще в цепях Барселона, но настанет день, когда по ее улицам вместе с живыми пройдет вереница героев, погибших за свободу, и чужая испанская женщина помянет Хосе, как своего сына. Мы помним погибших, и мы радуемся живым. Привет тебе, Деде, и тебе, Мадо, привет Андре, Чеху, Пьеро, Огюсту, Маноло, Жаннете, Раймону, всем вам, любимые мои друзья! Я знаю, что у вас тревожно, люди говорят о новой войне. Но не верю я, что французы пойдут воевать против нас, знаю Францию, видел ее в самые горькие дни и не допускаю мысли, что удастся обмануть такой большой и хороший народ. В моей стране люди не только хотят мира, они верят, что мир можно отстоять. У старика Дезире были два внука, он мне о них рассказывал. Если они придут на открытие памятника, пусть знают — Сталин говорит: можно отстоять мир, можно спасти все города, все виноградники от горя войны. В моей стране люди работают. Они работают потому, что без работы человек — это дерево без земли, его душа сохнет. Городу, в котором я живу, недавно исполнилось двадцать лет, мы его строим в зимнюю пургу, среди вечной ночи, строим теперь, когда солнце не сходит с неба. Я рассказывал нашим горнякам о вас, все здесь вас любят, как близких людей. В нашем городе живет старый партизан Галактион Павлов. Он сражался тридцать лет назад против англичан, когда они захватили наш Север, получил тяжелое ранение. Он просил передать тебе, Мадо, свой партизанский привет. Будьте счастливы, друзья! Шумите, тихие дубравы Лимузэна! Живи мирно, милая Франция! Кровью лучших оплачена победа, мы это помним. Привет вам, франтиреры и партизаны, от солдат Сталинграда, от строителей городов и сел Советского Союза! А седой Медведь прижимает к сердцу своих старых друзей.

Деде почувствовал, как слезы подступают к горлу, он закрыл глаза рукой. Когда он поглядел на толпу, он уви-

дел, что многие плачут. Зааплодировали не сразу — слишком сильным было волнение; а потом руки напрасно пытались передать любовь, гнев, надежду.

На трибуну взошла Мадо. Ее большие глаза казались еще больше обычного; они были устремлены вдаль. Лицо передавало такую страсть, такое напряжение, что все притихли.

— Я хочу ответить нашему товарищу,— сказала Мадо.— Дорогой Медведь, ты сегодня был с нами. Ты был с нами, как в те дни, когда мы взрывали мосты, нападали на вражеские посты, освобождали Лимож. Ты стоял на поляне, окруженный деревьями Лимузэна. Тебе не дали визы. А ты без визы пришел к нам. У них жандармы, гранаты, бомбы, базы, но что они могут сделать с душой народа? Дорогой Медведь, Франции трудно, она все еще воюет за свою свободу. Ты нас знаешь, мы не отступим. Мы верим, как и советские люди, что мир можно отстоять. Мы отвечаем делами товарищу Сталину: мы боремся за мир. Дорогой Медведь, ты написал мне, что у тебя теперь дочка. Скажи ей, что мы ее любим, как дочь нашего боевого товарища. Когда она подрастет и приедет с тобой во Францию, она увидит леса, где мы воевали. Мы скажем тебе и ей: теперь мы свободные люди. Да, Нильсу придется уехать в Америку! Франция будет французской! Слушай, Медведь, в этот торжественный для нас час, вспоминая погибших, мы клянемся: никогда наш народ не пойдет воевать против народа Сталинграда! Это говорила Мадо. Слушай — теперь говорят все: мы клянемся!..

С поляны, из леса раздалось: «Клянемся!..» Налетел ветер, и слова людей долго повторяли на свой лад зеленые высокие деревья. А Мадо все стояла с неподвижными глазами; она глядела в прошлое, видела Сергея, маки́, Медведя и видела будущее, зеленое, горячее, густое, как этот июльский день.

85

Робертс был обижен: события застали его врасплох. Правда, Доуневэн еще в феврале говорил, что нужно обратить внимание на Корею, но Робертс отнесся недостаточно серьезно к его словам. Узнав, что Даллес отправился

в Корею, Робертс усмехнулся: вряд ли он наведет там порядок. Только теперь полковник понял, что означали слова Бойджа: «Сеульское правительство — банда мелких воришек. Если в Корее ничего не произойдет, то там все развалится...» Почему же Робертса не посвятили в план кампании?.. Ясно, что это идея Макартура, он хочет потрясти мир. За Кореей может последовать Китай. Но ведь Ачесон был сторонником европейского варианта. Да и Джонсон... Трудно понять, кто решает. Может быть, и Доуневэн, и Ачесон, и президент — только куклы, а ниточки у фокусников с Уолл-стрита?..

Неудачи, постигшие американцев в первые недели кампании, огорчали Робертса, в то же время он злорадствовал. Что за дурацкая затея — начать колониальную войну и вести ее руками наших юнцов! Я еще понял бы, если бы на Пхеньян сбросили атомную бомбу. На это не решаются. Одни говорят, что нужно считаться с Европой: красным удалось настроить самые различные круги против бомбы. Другие шепчут, что бомба может оказаться недостаточно эффективной: зачем разрушать миф? На кого же мы рассчитываем? Газеты пишут о международном корпусе. Вздор! О таких вещах договариваются без свидетелей. Мы получим кучу приветствий и несколько тысяч мародеров, завербованных в притонах. А у наших солдат нет боевого духа. Триста моряков целый час не трогались с места, потому что у противника было два пулемета. Это невероятно, но это так. Где же американский задор? Мы расплачиваемся за то, что воспитывали не солдат, а спекулянтов или неврастеников. Я помню, как «Нью-йорк таймс» рекламировал роман Мейлера, где расписаны ужасы войны. А кто позволил красным кричать о преимуществах мира? Кто умилялся свободомыслием Америки? В итоге нас бьют на первой репетиции.

Робертс понимал, что критиковать не время. Нужно ограничить убытки, постараться извлечь из происходящего уроки. Он работал не отдыхая. Семью он отослал к морю и остался в душном, раскаленном городе. Он похудел; его глаза блестели от усталости и ожесточения.

Всю страну лихорадило. Биндл торопил своего архитектора: мировая война может начаться до того, как он достроит подземный дом. Друг покойного Лоу сенатор

Уокер каждый день требовал, чтобы сбросили бомбу на Москву; он говорил: «Нельзя жить в таком напряжении...» Бойдж кричал, что дипломаты не могут отвечать за ошибки военных, генералы проматывают престиж Америки, теперь даже люксембуржцы задерут нос. Набрав пяток журналистов, Бернсон ежедневно составлял красочные описания «красных зверств». Он плохо спал, его мучали кошмары. Он кричал: «Напалм — и тот не действует!..» Жена пыталась его успокоить: «Крошка, ты должен посоветоваться с хорошим невропатологом. Теперь есть замечательные лекарства...» В Джексоне Ричмонд-младший пошел к доктору Хеллицу и сказал: «Если меня призовут, вы подтвердите, что я с детства страдаю эпилепсией. А?..» Судья Гильмор говорил, что красные обязательно высадятся в Мексиканском заливе, тогда-то ему припомнят дело Кларка.

Эндерс вызвал Маккорна.

— Красные начали,— сказал он.— Они перешли тридцать восьмую параллель. Если мы их не проучим, они доберутся до Америки.

Маккорн вздохнул:

— Что красные начали, меня не удивляет, я всегда говорил, что это мошенники. Плохо, что придется начать мне. Не думайте, что я струсил, мне только обидно, что я должен уехать в эту проклятую Корею, а по Бродвею будут шляться бездельники, которые и не нюхали пороха.

— Вы должны подать пример, вы ветеран, свою медаль вы не так-то легко заработали...

— Боюсь, что теперь я довольно легко заработаю кусок железа в пузо. А впрочем, о чем тут говорить! Раз я записался, я поеду, я не негр и не еврей, я настоящий американец. Но вот вам мое предложение — напротив чудесный бар, давайте выпьем с вами по стаканчику, это куда приятней, чем говорить о тридцать восьмой параллели. В общем параллель я скоро увижу, а вот удастся ли там спокойно выпить стаканчик, этого я не знаю.

Биллу Костеру так и не пришлось привести свои мечты в исполнение. Он вернулся из Европы в июле, собирался отдохнуть, а потом писать раз или два в неделю о светских скандалах. Оказалось, что Виктория залезла в долги. Ей понадобилось заказать какому-то шарлатану кресла

в виде треугольников, которые вращались, подпрыгивали и при этом издавали зловещий звон, переходивший в гудки сирен. Она объяснила, что это — «последнее слово синтетического искусства» и что ей стыдно было уплатить всего-навсего десять тысяч долларов за подобный шедевр. Билл сердито сказал, что никогда не сядет на этакую пакость, денег у него нет, вообще все ему надоело, включая госпожу Костер. Вечером, однако, он уже диктовал статью: «Передо мной фотоснимки красных танкистов, убитых в Корее. Это, разумеется, русские, загримированные корейцами. Началась битва за Америку. Наши храбрые летчики уничтожают орды красных, которые намеревались захватить всю Корею, Японию и даже Филиппины».

Госпожа Дора Адамс возмущенно сказала мужу:

— Теперь ты видишь, как тебя окрутил Миклей? Ты подписал бумажку против бомбы, а красные напали на Корею. Хорошо ты теперь выглядишь!..

В тот же вечер на заседании научного общества Адамс встретил профессора Годвина.

— Мне кажется, мы с вами поступили опрометчиво,— сказал Годвин.— Конечно, я остаюсь противником атомной бомбы. Но мы выступили не во-время... После нападения на Южную Корею все возмущены коммунистами. У профессора Хенусси теперь прекрасный довод, он может сказать, что красных удерживает только страх перед атомной бомбой.

Адамс нахмурился и ничего не ответил.

Он сидел в своем угрюмом кабинете на узком, неудобном стуле, пробовал работать. Мысли его, однако, возвращались к событиям в Корее. Годвин не Дора, это умный человек... Может быть, он прав, не знаю. Да и никто не знает, что там происходит. Все правы, и все виноваты. А пока что горят города, мечутся потерявшие родителей дети. Я не хочу больше ничего слушать, в руки не возьму газет. Мы тонем в крови, задыхаемся от лжи, от ненависти. Зачем я сорок лет изучал строение человека? Царь природы? Полноте, ящерицы, и те лучше!.. В ярости он бросил на пол номер «Таймс» и долго топтал газетные листы.

К профессору Миклею пришел секретарь союза скорняков, один из членов Комитета «Друзей мира».

— Мы хотим устроить большое собрание против войны в Корее. Там творится нечто страшное, вы только посмотрите на эти фотографии... Мы вас просим выступить. Реверенд Макгил отказался, он говорит, что разделяет наше возмущение, но момент слишком неблагоприятный — газетам удалось сбить с толку честных людей.

Миклей ответил:

— Обстановка, конечно, тяжелая... Но если мы теперь не выступим, мы вряд ли будем уважать самих себя.

На собрание пришли две тысячи человек. Миклей выступил с речью:

— Я не знаю, кто первый перешел тридцать восьмую параллель, это далеко, показания противоречивы, и разобраться в этом нельзя. Пограничные инциденты — обычное явление при напряженной ситуации. Но я знаю, что корейцы не высадились в Сан-Франциско, они не бомбят ни Вашингтона, ни Нью Йорка. Наши дети сейчас безмятежно спят. А дети Кореи мечутся в агонии — их убивают американские летчики...

В зал ворвались парни Эндерса. Началась драка. Собрание было сорвано. Когда Миклей выходил из помещения, к нему подбежал какой-то человек и ударил его палкой.

— Вот тебе за американских летчиков!..

Профессора Миклея увезли в госпиталь.

Понемногу люди успокоились. Война оживила дела. Давно магазины не видали столько покупательниц. Биндл рассказывал сенатору Уокеру:

— Деловые люди довольны, это главное. Дело ведь не в куске какой-то Кореи. Там, говорят, и до войны ничего не было, а теперь это пустыня... Но здесь все завертелось. Обычно в это время года промышленники жаловались на застой, а вчера у меня был Грайсен, говорил, что они не могут справиться с заказами. Посмотрите биржевой бюллетень. Ни разу после тысячи девятьсот двадцать восьмого года каучук не взлетал так высоко. А шерсть?.. Можно сказать, что мы вступаем в эру благоденствия. Я даже перестал нервничать...

Доуневэн, усмехаясь, сказал Робертсу:

— Вы помните, как вы возражали против азиатского варианта? А это неправильно — мировая война может

начаться только после локальной... Как говорили древние римляне, все дороги ведут в Москву. Корейская кампания — это первая примерка...

Робертс с удовлетворением думал, что события расшевелили страну. Даже президент взял более решительный тон. Три месяца назад газеты возмутились бы случаем с профессором Миклеем, а теперь никому не пришло в голову за него заступиться. В Чикаго недавно избили трех красных, и полиция не вмешалась. Легионеры Филадельфии требуют ареста всех коммунистов. Говорят, что даже профессор Годвин образумился. Южане, как всегда, горячатся: в Джексоне повесили негра, который посмел заикнуться о нашем отступлении. Не знаю, удастся ли справиться с красными в Корее, но по крайней мере мы очистим тыл.

На заводе, где работал Гайрстон, рабочие вначале ругали красных. Марк Джеймс говорил: «Я понимаю, что в Южной Корее было хуже, чем в Северной, но это не резон, чтобы затевать войну». Виппер кричал, что «коммунисты сбросили маску» и что «Америка в опасности». На собрании Алисону не дали говорить. Люди охотно пересказывали газетные сообщения о «зверствах красных». Коммунистов поддерживали немногие. Гайрстон, однако, не падал духом. Он вырезывал из «Таймс», из «Герольд» корреспонденции, где говорилось о враждебном отношении населения Кореи к американским солдатам, и показывал товарищам, наклеил на щит фотографии сожженных корейских городов и, подписав «Зачем это?», выставил в цехе. Каждый вечер он где-нибудь выступал, писал статьи, составлял воззвания. Иногда, вернувшись поздно вечером домой, он не заставал Бетти. Ее посылали в пригороды; она выступала от «женского комитета», уговаривала матерей и жен протестовать против войны, которая грозит гибелью их близким.

Прошел месяц, и настроение рабочих заметно изменилось. Военные неудачи подействовали на всех. Марк Джеймс посмеивался: «Они хотели поставить на колени русских, а не могут справиться даже с половинкой Кореи». Теперь, когда Виппер говорил, что начали красные, ему отвечали: «Это — дело темное, нас там не было, да в общем и не важно, кто начал, важно другое — зачем наши

туда полезли?..» Правда, многие рабочие еще думали, что нет худа без добра: дирекция перегружена заказами, значит ставки повысят, можно будет раскошелиться. Вскоре, однако, поползли слухи, что промышленность мобилизуют, рабочих прикрепят к заводам и запретят повышение заработной платы. Рабочие теперь охотно прислушивались к словам Алисона или Гайрстона. Напрасно Виппер доказывал, что общее оживление наруку рабочим, его все чаще и чаще прерывали вопросом: «А если ставки заморозят?..»

На собрании профсоюза четверть делегатов поддержала резолюцию, внесенную Гайрстоном, с требованием перемирия в Корее и с протестом против бомбардировок городов.

Робертс усмехнулся: дураки, подкапываются под самих себя! Делегат завода, изготовляющего моторы для бомбардировщиков, требует запрещения бомбардировок. Никогда я не думал, что американские рабочие окажутся такими простофилями.

Джойс из Федерального бюро рассказал Робертсу, что Гайрстон — активный коммунист; против него порядочно материала. Можно его предать суду за антинациональную деятельность. Робертс, подумав, ответил:

— Для такого процесса это не фигура. Куда эффектней посадить на скамью подсудимых профессора Миклея, для этого есть все данные... Конечно, заводы нужно очистить от красных. Но если вы не возражаете, Гайрстоном займемся мы...

Профессор Миклей пришел на суд с перевязанной рукой. Он объяснил судье, что повиновался совести.

— Я не коммунист. Я был горячим сторонником президента Рузвельта... Я считаю, что наши действия в Корее преступны, они подпадают под то понятие «геноцида», которое после Нюрнбергского процесса вошло в международное право...

Прокурор восклицал:

— Перед вами не горемыка, сбитый с толку красными, а профессор Иельского университета, человек с ученой степенью. Он пытался здесь рассуждать о международном праве. Может быть, вы ему напомните об американском праве? Во время войны, ибо мы теперь ведем войну за цивилизацию, он не только осмеливался требовать мира,

он одобрял действия людей, которые убивают юношей Америки. Это попрание порядка, более того — это вызов нации!

Миклея приговорили к четырем месяцам тюремного заключения.

Билл Костер продиктовал статью, полную негодования: «Вчера жена красного профессора приобрела изумрудное ожерелье, уплатив за него двадцать тысяч долларов, полученных от русских. До каких пор мы будем церемониться с заклятыми врагами Америки? Наши дети гибнут на полях Кореи, а мы предоставляем преступнику, который помогал убийцам, четырехмесячный отдых в комфортабельной тюремной камере».

Вскоре и Костер и другие журналисты занялись очередной сенсацией: в Центральном парке арестован некто Гайрстон, который пытался передать русскому Шибалову чертежи нового мотора для тяжелых бомбардировщиков. Газеты сообщали, что Гайрстон — видный коммунист, превосходно говорит по-русски и выполняет особо важные поручения Москвы. Он юрист по образованию, но поступил чернорабочим на завод, где, расположив к себе многих, похитил чертежи нового мотора. Его задержали в ту самую минуту, когда он вручил Шибалову конверт с чертежами.

Шибалова нашел Бернсон. Это был немолодой человек; до войны он жил в Вильно, потом служил в немецкой полиции, два года просидел в Западной Германии, пока не получил разрешения на въезд в Америку. В Нью-Йорке он бедствовал, и Бернсону не стоило большого труда добиться от него согласия. Шибалов только сказал: «Больше года я сидеть не согласен, а деньги вы внесете в банк на мое имя до всей катавасии...»

Адвокат сказал Бетти:

— Дело серьезное. Шибалов держится умело. Он сказал, что познакомился с Гайрстоном на собрании «Друзей мира». Гайрстон это подтвердил. Гайрстон объяснил, что Шибалов попросил у него материалы о Корее для своих товарищей. Он принес ему в Центральный парк вырезки из газет. Шибалов говорит, что в конверте были чертежи. Гайрстон известен, как коммунист, он этого и не отрицает. Распутать трудно...

Бетти держалась стойко. Только раз она заплакала — у себя, вспомнив улицу, шумный дождь, узкую, длинную комнату. Она теперь знала, что любит Гайрстона большой любовью. Они прожили вместе всего два месяца, а ей казалось, что до этого она не жила. Она не получала писем, не могла мечтать о свидании: для всех она была только знакомой Гайрстона.

Смайлс сказал ей:

— Ваше место не в американской конторе. Такие голубки выкалывают глаза у наших солдат. Я хотел сообщить о вас полиции, но у моего компаньона слишком доброе сердце. Так что убирайтесь!..

Бетти получила письмо от матери, которая сообщала, что брат Бетти направлен в Корею: «Ты теперь не посмеешь защищать красных. Прочитай, что они делают, и проси прощения у отца. Если, не дай бог, с Джимом что-нибудь случится, его кровь будет на тебе».

Бетти работала машинисткой в Комитете «Друзей мира». Она стучала: «Мы предлагаем вам поддержать нижепоименованных священнослужителей, которые призывают прекратить кровопролитие в Корее...» Днем и ночью перед ней был Гайрстон. Солнечный зайчик бегал по стене, все было залито розовым утренним светом, Джо ее целовал...

Кончив работу, она шла по различным адресам к незнакомым женщинам, приветливо улыбалась, предлагала присоединиться к воззванию. Заглянув как-то в газету, она прочитала слова Костера: «Началась битва за Америку...» Бетти усмехнулась: да, битва за Америку началась — за ее честь, свободу. Еще можно спасти все... Джо, мы победим в этой битве! Мы снова войдем в твою длинную, узкую комнату. Ты говорил, что она похожа на коридор. Нет, она похожа на тропинку к счастью...

86

Еще накануне все казалось спокойным, по-летнему беспечным. В сотнях маленьких лавчонок торговали снедью, цветами, пестрыми тканями. На мостовой играли дети. Большой корпус на углу двух улиц был обнесен лесами:

дом достраивали, и в обеденный перерыв рабочие спали под лесами. Висел плакат: «Подписал ли ты Стокгольмское воззвание?» Под ним на корточках сидела молодая женщина и кормила грудью ребенка. Гончар, обливаясь потом, водил, как кудесник, рукой по комку глины, и глина становилась кувшином.

Соболев сказал Минаеву, что нужно подготовить договор: корейцы покупают оборудование для новых текстильных фабрик. Минаев проработал до обеда. Принесли почту, оказалось коротенькое письмо от Оли. Она писала: «Минутами я тебе завидую, сколько необычайного ты видишь! У нас все по-старому, мама здорова, каждое воскресенье отправляется в гости на нашу старую квартиру. Через две недели кончаю работу. Жду от тебя телеграммы: если ты не сможешь провести отпуск здесь, поеду к тебе. Теперь, когда наша встреча близка, я потеряла спокойствие, считаю дни, с этим просыпаюсь и засыпаю. Хотела написать «крепко целую», и нет, не могу больше целовать на бумаге. Мы скоро встретимся, ничего другого сказать не умею...» Минаев еще раз перечёл письмо, посмотрел на конверт: Оля никогда не ставит даты... Письмо она отправила за четыре дня до того, как я послал телеграмму... Он подумал, что пятнадцатого июля вылетит в Москву, и улыбнулся. Оленька права: самое трудное — последние дни... Потом он прочитал от доски до доски «Правду», была интересная корреспонденция из Парижа об открытии памятника партизанам, статья о новом фильме, очерк о строительстве на Волге.

Вечером, как всегда, Минаев сел за работу. Он теперь записывал главные события тех месяцев, которые хотел изобразить в книге. Он вспомнил страшную ночь на курганчике. Едва рассвело, как немцы начали бомбить. Такого ни разу не было ни до, ни после. Видимо, они считали, что никто не уцелеет. Меня засыпало землей. Я выполз. Осипа нет. Думал, что его убили. Оказалось, он прополз на батарею. У меня все ходило перед глазами, говорю Оле: «Где майор?» — и не слышу, что она отвечает. Потом я крикнул в телефон: «Осип? Как там?.. Ничего, держимся...»

Минаев писал до рассвета.

Все это было накануне. На следующий день Пхеньян облетела короткая весть: войска Ли Сын Мана перешли

тридцать восьмую параллель. Жизнь каждого была рассечена надвое. Еще стояли на лесах рабочие, еще торговали в лавчонках фруктами, еще играли дети, еще Минаев отнес Соболеву проект договора, но все это казалось призрачным. По радио передавали сообщения о первых боях. Женщины в тревоге глядели на сыновей, на мужей. Люди со свертками, с узелками спешили к вокзалу. Вечером город был черным, и Минаев не мог больше думать ни о своей книге, ни о близкой встрече с Олей; он думал о судьбе народа, среди которого оказался в дни испытаний. Все, что еще вчера оставляло его спокойным, теперь ранило сердце: девушка с книгой, цифры продукции химического комбината, недостроенный корпус на углу двух улиц. Как они хорошо работали, как радовались, что много настроили, что студенты учатся, что жизнь стала увлекательной! И вот все идет насмарку, потому что каким-то американцам хочется заработать, все равно на чем, лишь бы заработать... Лучше многих других Минаев понимал, что ждет Корею: он вспоминал небоскребы Америки, яркий и мертвенный свет неона, ужасающую темноту сознания; эта ночь как бы неслась над океаном, застилала небо.

Три дня спустя радио передало, что американские войска высаживаются в Корее. Еще через несколько дней «Б-29» начали бомбить города. После первой бомбежки Минаев увидел развалины домов, щебень, воронки. Под ногами звенело стекло. Пожарные боролись с огнем. На носилках несли молодую женщину, ее рот был приоткрыт, она хотела кричать и не могла, осколок бомбы оторвал ноги. Минаеву казалось, что все это он уже видел. Еще недавно Корея ему представлялась загадочной страной, с непонятными традициями и обычаями, с певучим языком, похожим на щебет, с буддийскими храмами и диковинной азбукой. Теперь все стало знакомым. Он подумал: как не похожи страны в дни мира, каждая живет по-своему, и как они похожи одна на другую после первой бомбы!

По радио сообщали, что американцы отступают. Привезли первого пленного, это был краснощекий рослый парень, шофер из Атланты. Он говорил: «Дерьмо!.. Разве я знал, зачем меня привезли из Японии?.. Я вам говорю,

что все это — дерьмо...» Настроение приподнялось. На улицах бодрее звучали песни. Люди говорили: «Они с нами не справятся...»

— Ну, что ты думаешь обо всем этом? — спросил Минаева Соболев.

Минаев усмехнулся:

— Американцам здесь не понравится. Они любят воевать с комфортом. В Германии были хорошие гостиницы, загородные виллы, потом немцы их прекрасно встретили: эсэсовцы не такие уж дураки, понимали, что им легче будет столковаться с американцами, чем с нами. А здесь картина другая... Вместо душа — дождь, вместо загородных вилл — партизаны, ужасные дороги, и никто не собирается украшать дома белыми тряпками. Нет, Корею они не завоюют. А разрушить могут. У корейцев мало истребителей, негодяи чувствуют себя безнаказанными. Макартуру нужны трофеи: он сможет похвастать, сколько домов они разрушили, сколько детей убили...

Дни стояли жаркие и дождливые. Горячая сырость томила Минаева. Ночью раздавался привычный шум моторов. Все внезапно озарялось злым светом. Люди неслись в убежище, и одна за другой рвались бомбы.

Это было во время третьей бомбежки. Минаев вылез из щели. Дома вокруг горели. Огонь был настолько сильным, что никто не пытался с ним справиться. Рядом с Минаевым стояла женщина, она кричала, и, хотя ее крика не было слышно среди свиста, треска, грохота, Минаев понял, что она кричит. Он понял также, почему она рвется к дому, охваченному огнем,— ее удерживали две другие женщины. Минаев вбежал в дом, поднялся по лесенке; густой едкий дым мешал видеть. В комнате кричала маленькая девочка. Минаев высунулся из окна. Одна женщина взлезла на плечи другой. Минаев передал ей девочку. Он хотел выпрыгнуть в окно, но ему показалось, что в комнате кто-то плачет. Он повернулся, никого не было, хотел спуститься, но лестница горела. Загорелся на нем пиджак. Он метнулся к окну и грохнулся на землю.

Женщины побежали за санитарами. Минаев лежал без сознания на горячей сырой земле. Час спустя его увезли в госпиталь.

На рассвете разыскали Соболева. Врач сказал:

— Сильные ожоги... Температура тридцать девять и семь...

У госпиталя весь день простояла женщина с девочкой. Каждого, кто входил в госпиталь или выходил оттуда, она робко спрашивала: «Как русский?..» Это была молодая телефонистка Ли Ок Ён. Ее вызвали на ночное дежурство. Она оставила дочку дома, думала, что присмотрит соседка, а соседка пошла проводить мужа — он уезжал на фронт. Ли Ок Ён стояла молча и ждала: что с человеком, который спас ее дочку? Девочке было четыре года, она смутно понимала, что с ней произошло, но мать говорила, показывая на окно госпиталя: «Он там»,— и девочка не сводила глаз с окна. Под вечер начали приходить люди, они не заходили в госпиталь, боялись громко разговаривать, шептались: все уже знали, что русский вынес из огня корейскую девочку.

Вечером снова пришел Соболев. Врач сказал:

— Час назад он пришел в сознание, попросил пить... А теперь снова в забытьи... Мы впрыснули камфару... Я не теряю надежды...

Соболев вошел на цыпочках в палату. Лицо Минаева не было обожжено, казалось, что он спокойно спит.

Ночью опять бомбили. Одна бомба разорвалась недалеко от госпиталя. Зазвенели оконные стекла. Кто-то крикнул, потом все стихло.

Под утро, когда начало светать, Минаев очнулся. Койки, раненый мальчик, сестра... Он мучительно думал: когда меня ранили? А Осипа нет... Кто же командует батальоном?..

Вдруг он приподнялся, сказал:

— Осип, мы-то держимся...

Сестра подошла к нему. Он снова лежал спокойный, тихо дышал. Она доложила врачу:

— Бредит. Кого-то звал. Может быть, брата...

87

После возвращения из Стокгольма профессор Дюма два раза выступил на митингах, а потом слег и около месяца пролежал. «Это со мной в первый раз,— сказал он Мадо,— противно, что я больше себе не хозяин...» Книга,

над которой Дюма проработал три года, была почти закончена, и он в тоске думал: что за безобразие, не знаю даже — успею ли дописать?.. А когда приходил врач, он с ним говорил обо всем, только не о своем здоровье. Профессор Дювилье сказал Мадо: «Его лечить — мука. Человек не хочет себя беречь. Как только ему становится чуть лучше, он вскакивает, переутомляется. А организм исключительный. Вы только подумайте, что он просидел два года в Бухенвальде, а ему тогда было под семьдесят...» Мадо робко сказала Дюма, что он должен поменьше работать. Он неожиданно согласился: «Это правильно, иначе ничего не получится...»

Мадо приходила к нему каждый день, старалась его развлечь. Уезжая из Парижа, она всякий раз волновалась: как Дюма?.. В начале августа ее послали на неделю в Дижон. Вернувшись, она сейчас же побежала к Дюма. Он был прекрасно настроен, расспрашивал, как проходит в Дижоне кампания по сбору подписей:

— Это правильный путь — именно звонить, стучать в каждую дверь. Одними газетами ничего не сделаешь, важен человеческий голос. Я вчера тоже одну подпись получил — профессора Дювилье. Он два месяца упирался, говорил, что он — врач, а это — политика. У меня с ним был серьезный разговор. Я ему сказал, что дела мои плохи, он это сам знает, так что приходится подводить итоги, оказывается, главное — почувствовать себя напоследок человеком... Он внимательно слушал, а потом сказал: «Дайте мне ваше воззвание...»

Когда Мадо собиралась уходить, Дюма сказал:

— Можешь меня поздравить — пока ты в Дижон ездила, я здесь кончил книгу. Конечно, это не бог весть какое событие, но некоторую роль она сыграет — важно было окончательно разбить все попытки научно обосновать расизм...

На следующий день Мадо спросила профессора Дювилье:

— Ему не лучше? Он хорошо выглядит...

Дювилье покачал головой:

— Ему не может быть лучше. Но воля у него железная.

Был жаркий августовский вечер. Дюма сидел в своем кабинете. Он весь день прекрасно себя чувствовал, и Мадо,

которая забежала на минуту, несмотря на слова профессора Дювилье, повеселела.

Мари спросила, не нужно ли чего. Дюма сказал, что он выписывается из больницы. Мари подумала: не напрасно я молилась пресвятой деве — профессору много лучше...

Дюма решил, что напишет статью для газеты; он давно ее задумал, но все откладывал — кончал книгу. Он собирался сесть за рабочий стол и вдруг задумался, начал вспоминать прошлое. Он теперь часто в мыслях возвращался к своей молодости; сверстников не было, и вспоминать он мог только молча. Сейчас он видел перед собой ту любовь, которая когда-то его радовала и терзала. Ему было тридцать лет, когда он встретил Габриэль. Это было в ложе театра. Муне-Сюлли играл Эдипа и, подымая руки, восклицал: «Как мрачна наша жизнь!...» Из глаз Габриэли исходили лучи... Она не хотела уйти от мужа, говорила: «Он не отдаст Дуду, а без мальчика я не выдержу...» Они встречались украдкой, как преступники. Это длилось четыре года... Был такой же жаркий августовский день, они встретились в маленьком кафе «Фрегат» на набережной. Никого не было. Париж опустел... Он умолял ее решиться. Она сказала: «Я с этим пришла... Завтра я уезжаю в Дьепп, Гастон там. Я ему все скажу, вернусь свободная. Я не могу без тебя...» Больше он ее не видел. Он так и не знает, правда ли, что она умерла от приступа сердечной болезни, как рассказывал ее муж, или покончила с собой. Дюма она не написала, ушла молча... Никого он не смог полюбить, как любил ее... Это было давно, больше сорока лет назад, но он ее сейчас видит, как будто она рядом — синее платье с кружевным воротничком, широкая шляпа, из-под которой вырываются золотые пряди, глаза синие и туманные...

Пять лет спустя началась война. Дюма призвали на второй день. Летняя ночь. Темный Париж. Богатые кварталы опустели — люди поудирали в Бордо. А на улицах народ. Солдаты проходят от Порт д'Орлеан к Порт де Клиньякур. Дюма шагает со всеми; на нем длинная синяя шинель, красные штаны. В темноте какая-то женщина обнимает его, шепчет: «Спасите Париж!..» Она его поцеловала, он почувствовал на своей щеке ее слезы, а лица

не разглядел. Все тогда думали, что немцы придут в Париж...

Дюма ранили неделю спустя — на Марне. Он лежал в полевом госпитале. Рядом умирал художник Вернье; он кричал: «Чепуха!.. Что за чепуха!..» На рассвете его вынесли...

У Вернье были хорошие иллюстрации к «Красной лилии». Вскоре после войны профессор Гремье повез Дюма к Анатолю Франсу. Он жил недалеко от Тура, дом походил на музей — он привозил отовсюду чудесные вещи, особенно хороши были греческие вазы... Гремье заговорил о политике. Анатоль Франс сказал, что верит в русскую революцию, она многое изменит... Он показал Дюма фигурную амфору изумительной красоты — танец нимф — и сказал: «Только бы нить не порвалась...» Перед его домом было много роз — желтые и темнокрасные, почти черные...

Дюма поглядел на стену, там висел натюрморт, написанный Мадо накануне войны: цветы в глиняном кувшине. Дюма залюбовался. Самба прав — у Мадо большой талант, жаль, что она бросила живопись... Время такое... А живет она необычайно — отрешенно и в то же время сердечно, по-человечески... Деде мне рассказывал, как она в сопротивлении утешала товарищей, иногда смешила. Ее тогда звали Франс, имя подходит, что-то в ней от Франции...

Удивительная страна! Сколько раз ее хоронили, говорили, что сгнила, распадается, не может ничего больше создать. А это неправда. Верхушка сгнила. Зато какой народ! Веселый, печальный, отчаянный. Есть легкая улыбка с примесью грусти, по ней узнаешь повсюду француза... Конечно, на виду кучка людей, достойных презрения. Но стоит пойти в Бельвилль, или в Иври, или в Сюренн, какие там лица, сколько остроумия, задора, сколько простого человеческого участия!..

В Бухенвальде был один коммунист из Иври, молоденький рабочий. Он часто рассказывал о своей невесте, чувствовалось, что ему очень хочется жить. Он умер весной сорок четвертого, сказал мне: «Русские сюда придут, это как дважды два четыре, так ты посмотри на них и за меня...»

Я думал поехать осенью в Москву. Не выйдет... Обидно, так и не увидел... Весной я не мог, нужно было поехать в Стокгольм. Так и раньше — всегда что-нибудь мешало. Может быть, у них все люди такие, как Шебаршин, а может быть, он выше многих на голову. Важно, что он думает и чувствует по-новому, из ничего люди не рождаются, значит там имеются для этого данные... Если бы я умер в четырнадцатом году, когда меня ранило, я ничего не знал бы. В Бухенвальде я знал, но слишком ужасно было все вокруг... Теперь я верю, что нить, о которой говорил Анатоль Франс, не порвется. Я могу себе представить мир разума и справедливости, где влюбленные будут целоваться, а художники изображать цветы, мир, в котором будут существовать не только подвиги, но и счастье.

Хорошо, что я кончил книгу. Профессор Адамс считает, что расизм развенчан. А это не так — он принял другие формы, нашел ученых, готовых его подкрепить. В той же Америке... Нужно было доказать с абсолютной точностью несостоятельность их концепции расы... В конечном счете, это то же, что делает Мадо, когда собирает подписи,— битва за человека. Конечно, еще многое остается сделать, но силы уходят, нечего себя обманывать.

Он подумал о том, что смерть близка, подумал без страха, без горечи, спокойно и сосредоточенно, как о важном событии своей жизни. В голове мелькнули полузабытые строки:

Смерть, старый капитан, не медлим доле!
Подымем якорь, нам отплыть пора.
Пусть небо и вода чернее смоли,
В сердечной глубине лучей игра...

Бодлер писал, что мир тесен, что жизнь ему надоела. Я долго жил, но я привязан к жизни. Тот свет в сердце, о котором он говорит, это привязанность к жизни, к людям. Образ чудесный: «Смерть, старый капитан...» Он думал, что отвергает жизнь, а он ее превозносил. Ведь слова — это тоже жизнь...

Нужно написать статью, а то снова отложу. Неизвестно, смогу ли завтра написать, я теперь ничего не знаю — расклеился... А статью давно обещал... Можно еще многое сделать. Я неправильно осуждал профессора Адамса, он

медленно идет, озирается — привык не доверять, но все-таки он идет. После Кореи многие поймут. Страшно себе представить — спокойно жгут города!.. Нужно и об этом сказать...

Дюма аккуратно выписывал буквы, его статьи обычно не переписывали на машинке, прямо давали в набор. Работал он, сидя на детском табурете и низко согнувшись над столом — плохо видел. Он начал статью с рассказа о Стокгольмском воззвании, описал, что чувствует, читая телеграфные сообщения из Кореи: «Стыдно и страшно! Нужно этому положить конец...» «Я прочитал недавно меморандум «Комитета по изучению европейских проблем», в нем идет речь об использовании атомных бомб, отравляющих веществ, микробов, разносящих эпидемии, все для того, чтобы уничтожить целые народы. Я удивляюсь, как могли подписать такой документ некоторые ученые и писатели. Ведь это не только отвратительно, это глупо. Кучка людей, чтобы воспрепятствовать прогрессу, мечтает о чуме, о новом потопе, о море человеческой крови, в которой потонет будущее. Но люди отвечают: «Никогда!» Возмущенная совесть человечества напоминает вал, может быть еще невиданный в истории. Советский ученый, с которым я встретился в Стокгольме, рассказал мне, что, по народному поверью русских, девятая волна самая большая...» Он отложил перо — почувствовал острую боль в груди и в плече, дурноту. Он хотел позвать Мари, но не позвал: превозмогая боль, он попытался писать дальше: «Я хочу сказать, что человеческое счастье...» Перо выпало из руки. Дюма еще ниже склонился над листами бумаги.

Мари часто вставала среди ночи, глядела, есть ли свет в кабинете, ушел ли профессор в спальню, не нужно ли ему чего-нибудь. Заглянув в кабинет, она увидела, что профессор, работая, уснул. Нужно его разбудить, ведь это не отдых — спит сидя... Она подошла к столу и вдруг вскрикнула.

Мадо разбудили на рассвете. Когда она пришла, Дюма лежал на кровати со скрещенными руками. Лицо у него было спокойное, задумчивое. Мари стояла на коленях и молилась. Мадо увидала листок. Слова о счастье были написаны другим почерком, большие неровные буквы

взлетали вверх. «Не дописал»,— машинально подумала она, и заплакала.

Позвонили. Мадо открыла дверь. Это пришел Рене. Мадо шопотом сказала:

— Нет Дюма...

88

Бедье попросил профессора Рише заехать к нему.

— Коммунисты хотят превратить похороны Дюма в политическую демонстрацию,— сказал Бедье,— это отвратительно. Конечно, Дюма последние годы увлекался политикой — он был очень стар, потом на нем отразилось пребывание в Бухенвальде; людей, которые пережили такие ужасы, трудно назвать психически полноценными. Но не будем поминать слабости покойного. Дюма для нас — прежде всего крупный французский ученый. Его потеря — национальный траур. Я считаю, это и мнение моих коллег, что похороны должен организовать институт, во главе которого профессор Дюма стоял свыше двадцати лет.

— Я с вами вполне согласен,— ответил Рише,— но что мы можем сделать? Насколько я знаю, родственников у Дюма нет, а его друзья — на подбор коммунисты. Для них похороны — это оказия еще раз погорланить... В утренние газеты сообщение о кончине Дюма не попало, но в «Се суар» мы, наверно, прочитаем призыв к очередной демонстрации. Я не вижу, как можно этому помешать.

— Я вам позвонил после того, как мне сообщили, что в Нейи проживает племянница профессора Дюма. Это вдова архивариуса Брикара. По данным, которые мне представили, госпожа Брикар вполне добропорядочная особа, живет замкнуто, посещает церковь, это дочь старшей сестры профессора, ей пятьдесят шесть лет... Вы понимаете, что никакое официальное вмешательство недопустимо. Другое дело, если вы, как видный ученый и как друг Дюма, укажете госпоже Брикар, что профессора надлежит похоронить пристойно. Могут быть речи крупных деятелей науки... Если госпожа Брикар пожелает, чтобы погребение было совершено по католическому обряду, это — ее дело. Достаточно ей заявить, что она поручает

организацию похорон своего дяди институту, и затея коммунистов провалится. Я убежден, что вдова архивариуса Брикара ставит науку выше демагогии... А наш долг перед покойником — оградить его память, не правда ли?..

Рише нашел поручение чрезвычайно щекотливым. Но Бедье говорил не только от своего имени; наверно, похоронами Дюма озабочен и министр просвещения, так что уклониться нельзя. И, поворчав про себя, Рише направился к госпоже Брикар.

Вдова архивариуса жила на маленькой, тихой улице, напоминавшей провинциальный городок. Когда пришел Рише, она вынимала из сундука шерстяное траурное платье, и в квартире пахло нафталином. Рише сказал, что весь ученый мир оплакивает профессора Дюма. Госпожа Брикар поднесла к глазам платочек и закусила верхнюю губу.

— Я очень редко бывала у профессора,— сказала она,— он был всегда занят. До войны, когда еще был жив мой муж, мы всегда поздравляли дядюшку с днем рождения, иногда он нас приглашал к обеду. Мой покойный муж очень уважал профессора, он говорил, что мы должны гордиться таким родственником. Когда дядюшку арестовали немцы, я всю ночь проплакала. Удивительно, как он выжил в таком аду!.. В последний раз я была у него, когда он вернулся из Германии. Я все время хвораю, редко выхожу... Потом я не знала, о чем мне с ним разговаривать, не хотела его беспокоить, собиралась навестить и все откладывала... Но на похороны я обязательно приду. Мне все равно, какие у него были идеи, он был очень добрым человеком, это я знаю.

Она всплакнула. Рише вздохнул, а потом приступил к делу, сказал, что похороны хочет организовать институт; она, как единственная законная наследница, может не допустить позора: коммунисты собираются превратить торжественную церемонию в вульгарную политическую демонстрацию. Госпожа Брикар, всхлипывая, кивала головой, и Рише был уверен, что он ее убедил. Однако, когда он замолк, она сказала:

— Нет, я в это дело не хочу вмешиваться. Я себя упрекаю за то, что не пошла ни разу его проведать... Если он был коммунистом, пускай его хоронят коммунисты.

Я все равно приду на похороны. А в церкви я за него помолюсь, это никого не может обидеть. Он был очень хорошим человеком, я убеждена, что если даже он не верил в бога, бог ему это простит... Если бы дядюшку спросили, он, наверно, сказал бы, что поручает все коммунистам, он ведь последние годы этим жил. Как же вы хотите, чтобы я пошла против его воли?..

Бедье, узнав об ответе госпожи Брикар, позвонил профессору Брюану, которого он остерегался особенно после того, как Брюан подписал Стокгольмское воззвание.

— Ужасная потеря,— сказал Бедье.— Перед ней бледнеют политические разногласия, не правда ли?.. Скажите, дорогой господин Брюан, не знаете ли вы, кто хоронит профессора Дюма?

Профессор Брюан угрюмо ответил:

— Народ.

Было знойное воскресенье августа. Обычно в такие дни Париж пустеет: все уезжают в пригородные леса, на берега Сены или Марны. Однако похороны Дюма удержали людей. Похоронная процессия казалась нескончаемой; катафалк уже приближался к кладбищу Пер-Лашез, когда хвост шествия еще был на площади Репюблик. Вдоль всего пути стояли люди. Многие женщины плакали. Мало кто был знаком с книгами Дюма, но все знали, что он был большим ученым и большим человеком, любил Францию, страдал за нее, хотел для людей мира и счастья. Скорбь о большом, добром человеке объединяла госпожу Брикар, которая шла за гробом рядом с Мадо, и рабочих заводов Берти, профессора Брюана и Мари, Самба и десятки тысяч людей, никогда не видавших Дюма.

Шли бывшие узники Бухенвальда и других «лагерей смерти». На цветочных носилках лежал полосатый костюм каторжника, который Дюма проносил два года. Венок из белых роз был переплетен красной лентой со словами Паскаля, которые Дюма часто повторял своим товарищам по заключению: «Наше достоинство в мысли».

Шли сотрудники института, директором которого Дюма состоял до 1949 года, и студенты. Они несли на щитах книги Дюма.

Шли негры, арабы, рабочие из далеких колоний, они несли венок «Борцу против расизма».

Шли дети, взявшись за руки, девочки в белых платьицах, мальчики с красными галстуками. Среди вороха цветов было написано: «Наука нас защитит. Спасибо Дюма».

Представители докеров Ля Рошелли, Гавра, Марселя, Сен-Назера, других портов несли два венка: от Союза докеров и от Лежана. На венке Лежана было написано: «Человеку, товарищу, другу»; на венке докеров — «Борцу за мир». Когда проходили докеры, толпа, стоявшая вдоль тротуаров, кричала: «Да здравствует мир! Да здравствуют докеры!»

Шли бывшие партизаны, участники сопротивления, герои парижского восстания. Они несли большой венок из ромашек, васильков, маков — цветы Франции; на ленте стояло: «Великому французу».

Шли представители Постоянного комитета сторонников мира, работавшие с Дюма на Парижском конгрессе, потом на Стокгольмской сессии, они несли венки от Постоянного комитета, от различных национальных организаций, и голубки, сделанные из белых гвоздик, реяли над их рядами. Был венок от Шебаршина и от Советского комитета мира, от Американского комитета, от профессора Миклея, от чешских ученых, от итальянцев, от китайцев, от Союза скорняков Америки, от писателей Бразилии, от Жолио-Кюри, от рабочих Дортмунда, от города Орадура.

Самба шел рядом с Рене и Ивонн. Он думал о прошлом, о вечерах в «Корбей», о той далекой поре, когда можно было писать пейзажи, встречаться с друзьями, немного спорить, много смеяться и не ломать себе головы над тем, что творится в мире. Потом он оглянулся назад, посмотрел по сторонам и удивился: сколько народу!.. Это не зеваки, всем горько, что нет Дюма. Некоторые плачут... Как это случилось? Дюма сидел у себя, писал о группах крови, о форме черепов и вдруг оказался с народом... Здесь именно народ, как был народ, когда освобождали Париж... Дюма нашел путь к людям, у него было большое сердце. Я не думаю, что он пришел ко всему сознанием, хотя он всегда говорил о силе мысли. Ему помогло сердце. Он любил жизнь. Я помню, как мы с ним ходили по ярмарке, он смеялся, когда девушки взвизгивали на карусели. Ему нравились цветы, он мог стоять у дерева и долго объяснять, что это — самый старый каштан Парижа,

а цветет замечательно. Он разбирался и в живописи и в стихах, даже в вине он разбирался и все любил. Вот он и нашел путь от своего сердца к сердцу народа... Самба поглядел на Ивонн. Ее лицо было напряжено, выражало печаль и в то же время вдохновение. На минуту Самба забыл и о Дюма, и о том тупике, в который зашел: если обладать гением и написать такую женщину, можно поднять тысячи людей... Но нужно обладать гением...

Мадо едва удерживала слезы. Она любила Дюма, чувствовала, что хоронит близкого человека, может быть самого близкого. Ей было легко с ним, он знал ее девочкой, потом девушкой в «Корбей», знал ее мечты, причуды, первые сомнения. Он все понимал, был сам крепким, но снисходительным к чужой слабости, заражал душевным весельем. Это большое счастье — встретить в жизни такого человека. Он шутя называл меня внучкой, а я никогда не чувствовала, что он старый... Милый Дюма, он рассказывал, как приносил мне когда-то переводные картинки. Это была, наверно, моя первая радость... А потом, когда уехал Сергей, когда я растерялась, пала духом, достаточно было услышать, как он ласково ворчит, и сразу становилось легче...

Когда гроб внесли в ворота кладбища, Мари перекрестилась. Весь путь она проплакала. Она поступила к Дюма четырнадцать лет назад. Она тогда ничего не понимала ни в жизни, ни в людях. Бог ей послал счастье: ведь она могла попасть к злым людям, а профессор никогда никого не обидел, он с ней разговаривал, утешал ее. Она даже поумнела. Конечно, профессор не верил в бога. Когда она ему сказала, что бог создал человека по своему образу и подобию, он долго ей рассказывал про скелеты, про раскопки, про первобытных людей. Понятно, если он столько книг прочитал, он и знал много. Кюре говорит, что самый большой грех — не верить в бога, а я думаю, что профессор обязательно попадет в рай: уж если кто-нибудь создан по образу и подобию бога, так это он. Разве лучше, когда верят в бога и делают зло? Я такого человека, как профессор, не видела и не увижу. Вот люди и пришли на похороны, детей у него не было, а за гробом идет чуть ли не весь город.

Дюма похоронили недалеко от Стены коммунаров. Кругом были могилы людей, которые жили мыслями и

чувствами Дюма. Мадо вспомнила, как во время последней демонстрации у Стены коммунаров Дюма сказал: «Здесь и не похоже на кладбище — каждое имя воюет...»

Мадо должна была выступить, она с трудом говорила — слезы стояли в горле.

— Дюма умер, как жил. Он писал статью и не дописал... Его последние слова были: «Я хочу сказать о человеческом счастье...» Он об этом говорил при жизни, за это боролся, за это страдал, с этим умер. Франция его не забудет. Франция завоюет счастье, человеческое счастье... Прощай, Дюма!..

Лансье стоял в стороне, позади одного из памятников. Ему хотелось подойти ближе: ведь хоронят его старого друга. Дюма пришел к нему на прощальный ужин... Здесь тысячи посторонних, а Лансье не смеет подойти к гробу... Опять политика! Я должен скрываться, как вор. А что я сделал плохого? Я был другом Дюма в течение сорока лет. Когда я впервые его увидал, он еще не был знаменитым ученым. Я тогда писал стихи. Нас познакомил художник Вернье. Его убили на Марне... Дюма тогда получил тяжелое ранение. Я помню, как я пришел к нему в госпиталь. Дюма очень любил Марселину, говорил мне: «Это замечательная женщина». Он и со мной всегда был добрым, понимал, что я не герой... Какие чудесные вечера были в «Корбей»! Я говорю не о больших приемах, нет, семейные вечера — приходил Дюма, доктор Морило, Лео... Я надевал поварской колпак, старался приготовить что-нибудь вкусное. Дюма любил зразы с трюфелями по-перигорски... О чем я сейчас думаю? Ведь его хоронят... Невозможно себе представить, что его нет! Я не знал более жизнерадостного человека. Дело не в годах. Мне шестьдесят пять, но я в полном смысле слова развалина. Не только потому, что был удар, у меня внутри пусто, я пережил себя... Не понимаю,— почему я так боюсь смерти? Кажется, ничего нет в жизни, и все-таки боюсь умереть. Дюма умер легко. Впрочем, говорили, что он последнее время болел, у него были два инфаркта. Значит, он тоже думал о смерти. Но он был смелым. При немцах он говорил все, что думал... Почему он стал коммунистом? Наверно, что-то нашел в этом... Он был умным и любил справедливость, это все должны признать. А поступили с ним отврати-

тельно. Как можно отстранить от института человека, который его создал? Низкий поступок! Впрочем, от людей, которые управляют страной, я не жду ничего другого, они делают все, что им говорят американцы... Я никогда не думал, что будут такие похороны. Я горжусь тем, что был его другом. Оказывается, его действительно все знали и любили... Может быть, он был прав?.. Вот идут рабочие «Рош-энэ». Хорошо, что они меня не видят... Пино мог сожрать завод, а с людьми он ничего не может сделать: они любили Дюма потому, что он стоял за рабочих. Это все-таки удивительно!..

Когда Мадо говорила, Лансье не выдержал и заплакал; может быть, его поразили слова, которых он не ожидал, может быть потряс голос дочери — он давно его не слышал. Он побрел к воротам, зашел в маленькое кафе напротив кладбища, где обычно после похорон справляют скромные поминки, попросил, чтобы ему дали кружку пива и лист бумаги. Он написал:

«Дорогая Мадо,

прочти это письмо, оно не будет чересчур длинным, это тебе пишет отец. Я присутствовал на похоронах Дюма. Я не хочу говорить о политике. Дюма, когда он был жив, разрешал мне называть его своим другом. Я был убит известием об его кончине. Меня утешило, если что-нибудь может в такие минуты утешить, то, что мои чувства разделяют все. Ты знаешь, насколько я далек от тех идей, которые воодушевляли покойного Дюма и которые ты исповедуешь, но я понимаю, что это большие идеи, раз они могут привлечь к себе и такого мыслителя, как Дюма, и простой народ, пришедший на похороны. По сравнению с тобой, со всеми этими людьми я очень беден. Когда я сражался возле Вердена, я чувствовал себя уверенным, но это было давно. Я не герой, во время оккупации я не мог пойти на жертву, как Дюма, я молча страдал. Может быть, я делал глупости, даже наверно, но я люблю Францию, и мне больно за нее. Я не скрою от тебя, что я боюсь смерти, это — человеческое чувство. Но еще больше я боюсь, что не станет Франции. Можно потерять состояние, «Корбей», даже жизнь, но ужасно умереть, сознавая, что после тебя на земле не останется ничего, что тебе было

мило. Вот почему Дюма был трижды прав, защищая мир, в этом с ним должен согласиться каждый человек, это не политика, это так же просто, как то, что мы привязаны к близким людям и к земле, на которой родились. Я слышал, как ты сегодня говорила, и не мог сдержать слезы. Ты напомнила всем, что Дюма хотел людям счастья, это самое большое, что ты могла о нем сказать. Когда я умру, за моим гробом пойдет только Марта, но верь мне, Мадо, я очень глупо жил, а в душе я тоже хотел счастья не только себе — всем. Прости, что занимаю твое время такими признаниями, и не суди меня слишком строго».

Пока Лансье писал свое письмо, над раскрытой могилой произносили речи. Профессор Брюан сказал, как много сделал Дюма для науки. Рабочий с завода Берти волновался, повторял: «Наш Дюма...»

От бывших узников «лагерей смерти» выступил Дюбарри:

— До войны я был студентом, слушал лекции профессора Дюма. Потом я примкнул к организации сопротивления. Меня взяли гестаповцы. Пытали. Вот что они со мной сделали...

Он поднял руки, на них не было пальцев.

— Я сидел в тюрьме Френ, когда привезли профессора Дюма. Мы перекликались через окна. Я передал профессору Дюма, что ему шлет привет студент Жорж — так меня звали в нашей группе. Не знаю, дошло ли это до него... В Бухенвальде меня должны были удушить газами — я не мог работать. Меня спас один немецкий коммунист. Я ему говорил, что лучше спасти человека с руками. Я тогда не хотел жить. В наш барак перевели голландца, он мне рассказал: «Эсэсовец бил профессора Дюма резиновой дубинкой, а он молчал. Он сказал мне, что он сильнее эсэсовца, потому что человек мыслит»... Если я выжил, то только потому, что услышал эти слова. Когда война кончилась, мне хотелось пойти к профессору Дюма, рассказать, что он меня спас. Но я живу в Тулузе. Когда я приехал в Париж, профессор был в отъезде... Вчера я узнал, что Дюма скончался, и вот я приехал, чтобы ему сказать... У меня нет рук, но у меня есть сознание. Мы обещам вам, большой человек, что мы будем

жить, мыслить, бороться за счастье, о котором вы писали в ту минуту, когда покидали нас...

Уже смеркалось, когда десятки тысяч людей ринулись по узким улицам от кладбища к сердцу города.

Поток людей задерживал машины, и Нильс волновался. Он приехал в полдень из Довилля, где отдыхал, и торопился на аэродром: его вызвал во Франкфурт генерал Даус.

Прочитав накануне о смерти Дюма, Нильс вздохнул: конечно, Дюма был коммунистом, но, нужно признать, это крупная фигура. Для меня он представляет Францию прошлого. Это не Бедье и не Нивель...

Сейчас, однако, Нильс сердился. Коммунисты готовы использовать все, даже смерть старика, чтобы еще раз выступить против Америки. Прежде я спокойно относился к демонстрациям, считал, что от громких фраз ничего не изменится. А теперь ясно, что коммунистам удается сбить людей с толку. Что же это за тыл, когда половина населения настроена враждебно? Немцы в свое время испытали нечто подобное. Опухоль нужно удалить, без хирургии здесь не обойдешься... Если мы будем так ползти, я опоздаю на самолет. Безобразие!..

Машина остановилась перед колонной бывших заключенных. Годы, прошедшие после конца войны, не смогли стереть с лиц людей то выражение сосредоточенности и суровости, которое остается после больших страданий.

Нильс ехал в посольской машине: он думал, что так скорее доберется до аэродрома. Один из демонстрантов, увидев на машине американский флажок, запел:

Вперед, отечества сыны!..

Другие подхватили. Нильс закрыл окно машины. Он был возмущен. Вы еще пойдете вперед, господа французы! Может быть, даже с этой песней, если она вам так нравится. Но под нашим командованием... Генерал Даус прав: чем скорее мы восстановим немецкую армию, тем здесь будет спокойней...

Машина, наконец-то, прорвалась сквозь толпу, помчалась к заставе.

А люди, возвращавшиеся с похорон, пели. «Марсельеза» неслась по старым, узким улицам, врывалась в прокопченные дома, кружилась по темным винтовым лестницам, отдавалась в сердцах:

...День славы наступил...

89

Лейтенант Велау подал Ширке почту. Прочитав несколько писем бывших фронтовиков с однообразными просьбами о помощи, Ширке вскрыл измятый, запачканный конверт. Подписи не было, но он сразу догадался, кто ему пишет.

«Майор Ширке,

ты был последним человеком, которому я поверил. Ты говорил мне о величии Германии, а потом предал меня американцам. Когда-то я был известным архитектором, теперь я — бродяга. Я не знаю, как я проживу завтрашний день, но я тебя презираю: ты — холоп, а я свободный рыцарь. Я ненавижу и американцев и красных, архитектора Вольфа, который строит красным «Дворец культуры», и мошенника Вейгля, но больше всего я ненавижу тебя. Я остался верен Германии: ее нет, как и меня, мы — два призрака. Смидл уже узнал, что призраки могут карать, очередь за тобой. Сейчас я далеко, но завтра или через месяц правосудие свершится. Со мной в полку служил студент Клитче, его называли Марабу, он погиб в битве за Курск. Он говорил, что обручился со смертью. Теперь смерть — моя невеста. Но я перейду через твой труп. Да здравствует небытие!»

Ширке усмехнулся: значит Штрумп был прав — Смидла убил Рихтер. Я не думал, что он на это способен... У немцев все-таки огромный запас динамизма... Рихтер не знает, какую услугу он нам оказал. Генерал Даус убежден, что Смидла убили красные, а это нам наруку... Почему Рихтер ополчился на меня? Он не понимает правил игры. Даус хочет показать себя либералом и в то же время держать вожжи натянутыми. В нужный момент он должен был успокоить американцев, лейбористов, наших социал-демократов, он им швырнул Рихтера. Это есте-

ственно... Шесть лет, как я веду игру. В ноябре 1944 года, в плену, я подписал обращение красных, прославлял русских, клялся, что буду строить «новую Германию». Два года спустя мне пришлось прославлять генерала Дауса. Теперь мы доигрываем, это последний тур: американцы поняли, что без немецкой армии им не обойтись. Союз бывших фронтовиков завтра станет кадрами воскресшей армии. Тогда все поймут, что майор Ширке выполнил свой долг перед Германией...

А Рихтер хитер: послал письмо без марки, чтобы не было штемпеля отправления. Надо все-таки передать это в полицию, пусть поищут.

Ширке не ошибался: генерал Даус пригласил к себе Нильса после того, как Вашингтон ему сообщил, что вопрос о восстановлении немецкой армии принципиально решен, необходимо только создать благоприятные условия.

Даус написал фон Мальтцу, что просит его приехать в Бад Гомбург; это крупная фигура; не только промышленники, но и многие военные, которые были в свое время связаны со «Стальным шлемом», доверяют ему больше, чем боннским министрам.

Фон Мальтц все последнее время хворал: его измучила подагра. Он еще больше похудел; на запавшем лице посвечивали свинцовые глаза, а едва заметные выцветшие губы уныло усмехались. Он понимал, почему его вызвал Даус: многое изменилось за два года, эпоха диктатов кончена.

Генерал встретил его радушно:

— Я так рад, что вы смогли выбраться!.. Вы для меня олицетворяете душу Германии, ее традиции, выдержку, благородство...

Они пили кофе на веранде. Садовник стриг зеленый газон. Чирикали птицы. Даус сказал:

— Надеюсь, вы теперь убедились в нашей искренности? Создание европейской армии ничуть не противоречит восстановлению вооруженных сил Германии.

— Вы хорошо говорите,— ответил фон Мальтц,— к сожалению, не всегда действия американских оккупационных властей соответствуют великодушным словам. Если ничего не произошло за те несколько часов, которые я потратил на дорогу, Крупп попрежнему в тюрьме...

— Вы забываете, что имеется судебный приговор. Нужно подготовить общественное мнение, одним росчерком пера этого не сделаешь. Но я вас могу заверить, что вопрос об освобождении господина Круппа и ряда генералов принципиально решен.

Тонкие губы фон Мальтца едва дрогнули.

— Я могу вас поздравить, вы начинаете понимать немцев.

— Надеюсь, теперь все ваши возражения отпали?

— Напротив... Теперь, когда я вижу с вашей стороны добрую волю, я должен вам прямо сказать, что для настоящего соглашения мало освободить Круппа или генерала Шпейделя, нужно освободить Германию.

— Я вас не понимаю...

— Между тем это очень просто. Вы хотите, чтобы мы стали вашими союзниками, но с союзниками не обращаются, как с врагами...

— Господин фон Мальтц, разве вы можете рассматривать мое отношение к вам, как враждебное?

— Дело не во мне. Ваша страна до сих пор находится в состоянии войны с Германией.

— Это формальность. Мы можем объявить о прекращении состояния войны...

— Этого недостаточно. Вы должны положить конец режиму оккупации.

Генерал готовился к тому, что фон Мальтц начнет запрашивать, все же он изумился. Этот чванливый пруссак думает, что живет во времена Бисмарка. Он нам предлагает убраться во-свояси. Это неслыханная наглость!..

Ссориться с фон Мальтцем генерал, однако, не хотел. Он улыбнулся:

— Мне нравится Бад Гомбург, я его предпочитаю Висбадену... Может быть, вы задержитесь здесь на денек-другой? Я хочу еще вернуться к нашей беседе... Завтра приезжает Пино. Хорошо будет, если вы сможете устранить все препятствия для экономического соглашения. Личное общение лучше переписки...

Вслед за фон Мальтцем генерал принял Мейера. Даус знал, что социал-демократы возражают против восстановления армии, а у них есть некоторый престиж среди рабочих. Притом если социал-демократы нас поддержат,

отпадут возражения болтунов вроде Моррисона, никто не сможет сказать, что мы возрождаем нацистскую армию.

Мейер понравился генералу: он был приветлив, понимал все с полуслова, назвал фон Мальтца «привидением прошлого», об Америке говорил восхищенно: «Это действительно Новый Свет...» Когда Даус поставил вопрос о восстановлении армии, Мейер сказал:

— У нас, социал-демократов, имеются основания не доверять многим генералам и офицерам, которые остались нацистами. Но мы понимаем, что нельзя руководствоваться личными антипатиями. Главный враг демократии — это коммунизм... Если германская армия может стать вкладом в дело борьбы против экспансии красных, мы поддержим это начинание. Тем более что присутствие ваших вооруженных сил на нашей территории — залог того, что нацистам вроде майора Ширке не удастся посягнуть на принципы демократии...

Нильс осмотрел Франкфурт: он нашел у одного антиквара пошлую, но милую табакерку эпохи «бидермайер».

Даус думал, что Нильс огорчен решениями Вашингтона, но тот сказал:

— Это единственный выход. Конечно, французы будут кричать, но они и без того кричат. Серьезные люди вроде Пино примирились... Я только боюсь неосторожных жестов. Приезд Ширке в Париж был ошибкой.

— Вы находите?.. Ширке слывет здесь сторонником франко-немецкого сближения. Мне приходится с ним часто встречаться, это умный человек. Он любит Францию...

Нильс улыбнулся:

— Кот любит мышей. А вот любят ли мыши кота, в этом я сомневаюсь... Поговорим о серьезных вещах — сколько дивизий смогут для начала выставить немцы?

— Не менее двенадцати.

— Что ж, игра стоит свеч. Но дело не только в числе... По-вашему, на них можно положиться?

— Все относительно... Фон Мальтц, как всегда, упрямится, набивает цену. Военные настроены неплохо. С социал-демократами мне удалось договориться... Конечно, здесь есть красные — убили Смидла, пишут на заборах пакости, но это небольшие группы... Я недавно прочитал интересную книгу одного психиатра, он доказывает, что

Гитлер был душевнобольным. Возможно... Следует, однако, признать, что у него были здравые мысли. Если здесь красных меньше, чем во Франции, то этим мы обязаны прежде всего ему...

Пино просидел весь день с фон Мальтцем над проектом соглашения и к Даусу приехал с тяжелой головой. Генерал предложил перед ужином погулять по саду, Нильс говорил, что ему французские цветники нравятся больше, чем английские. Даус соглашался и приговаривал: «Понюхайте розы, какой аромат!..» Пино шел по дорожке, грузный, краснолицый, он часто останавливался, тяжело дышал, но когда Даус спросил, не устал ли он, ответил: «Мне врач прописал моцион...»

За ужином заговорили о немецкой армии. Пино вдруг меланхолично высморкался и сказал:

— Не нужно было посылать в Париж Ширке. Это подарок коммунистам, они до сих пор при каждом случае его поминают.

— Он настолько одиозная фигура? — спросил Даус.

— Увы, да... Я уж не говорю про коммунистов, с ними нечего считаться, но даже Бедье, выступая в ассамблее, протестовал против приезда Ширке...

Нильс был доволен: может быть, Даус думал, что это моя фантазия, но вот и Пино говорит то же самое, а у Пино слоновья шкура, его нелегко уколоть...

Даус задумался, потом сказал Пино:

— Вы знаете, что мы, американцы,— верные друзья. Мы стараемся теперь помириться с немцами, это понятно. Но французы — наши старые союзники... Мы сделаем все, чтобы успокоить общественное мнение Франции. Если Ширке снискал себе у вас такую печальную репутацию, я думаю, хорошо будет показать на нем наши подлинные намерения...

— Простите, я не расслышал,— сказал Пино. (Он не понял Дауса, но решил, что так будет вежливее.)

— Я говорю, что мы можем показать на Ширке, как мы щепетильны во всем, что связано с чувствами французов. Ширке стоит во главе союза фронтовиков — это кадры будущей армии. Но вы говорите, что он не внушает французам доверия. В таком случае мы его отстраним. Я надеюсь, это успокоит ваших соотечественников...

Пино долго не мог уснуть, укорял себя: врач говорил, что я не должен ужинать... День был в общем удачным. Правда, фон Мальтц добился некоторых уступок, это можно было предвидеть. Зато Даус прогонит Ширке. Вернувшись в Париж, я смогу сказать: «Ширке отстранен, как фигура, не внушающая французам доверия...» Посмотрим, что скажут господа коммунисты?.. Может быть, принять соду?.. Интересно, есть ли у Ширке деньги? Я хотел бы, чтобы он оказался на улице без гроша. Пусть продает спички, я у него куплю коробок... Приму все-таки соду...

Даус давно хотел освободиться от Ширке: этот нацист, с грехом пополам оправданный своими соотечественниками, слишком много себе позволяет. Он был полезен, пока приходилось договариваться со Шпейделем или с Холлидтом. Теперь это позади. Генералы скоро переедут из Ландсбергской тюрьмы в штаб. Нужда в Ширке миновала. А положиться на него нельзя: он хитер и ведет свою линию.

Даус обрадовался словам Нильса и Пино: есть хороший предлог... Три дня спустя он сказал Ширке:

— Мне неприятно это говорить... Мы с вами прекрасно работали... Но французы, оказывается, имеют против вас зуб. Мы должны заручиться согласием Франции на восстановление немецкой армии. Ни для кого не секрет, что союз фронтовиков — это кадры. Французы заявляют, что ваше присутствие в такой важной организации внушает им опасения... Я повторяю, мне очень обидно расстаться с вами... Надеюсь, вы сами сделаете выводы.

Ширке молча вышел из кабинета, прошел по аллее, обсаженной шиповником. Вдруг он остановился и громко сказал: «Позор!..» Кто входит в наш союз? Люди, которые с оружием в руках дошли до Нордкапа, до Египта, до Кавказа. И вот этот бездарный хам, не выигравший ни одной битвы, вмешивается в дела фронтовиков! Он меня отсылает, как лакея, который не понравился его капризной содержанке. Самое ужасное, что никто не возмутится. Тот же генерал Холлидт найдет это вполне естественным. Где же немецкая гордость?..

Немного успокоившись, уже у себя дома, он усмехнулся: в общем Даус поступил со мной так же, как я

поступил с Рихтером. Конечно, Рихтер — ничтожество. Но напрасно я считал себя крупной фигурой, для американцев я — игральная карта, и только. Они угождают фон Мальтцу — у него заводы, деньги, положение. А что у меня, кроме преданности Германии?..

Может быть, я сам виноват: слишком извилисто шел, уступал, лавировал. Я приучил других лгать, маскироваться, низко кланяться. Конечно, я мог бы сказать «ныне отпущаеши» — вопрос о создании армии решен, военные вскоре выйдут из тюрем. Если я проживу еще несколько лет, я увижу старые полки с их боевыми знаменами. Армия будет. Но будет ли она действительно немецкой?.. Разве можно положиться на американцев? Они способны швырнуть за борт Германию, как Даус швырнул за борт меня... Когда я пережил самый ужасный день моей жизни — я шел вместе с другими военнопленными по улицам Москвы, я утешал себя мыслью: через десять или через двадцать лет по этим улицам Ганс пройдет победителем. Ганса нет, он погиб за ту Германию, которая исчезла. Американцы хотят воевать против русских, но они рассчитывают, что мы им проложим путь: мы будем умирать на Рейне, на Эльбе, на Одере, на Висле, а потом они прикатят в Москву... Даже если мой племянник Густав Ширке когда-нибудь пройдет по московским улицам, он будет выглядеть не как рыцарь Ливонии, а как денщик американского выскочки. Все это отвратительно! Рихтер в одном прав: Германии нет, Германия только призрак...

Что же мне делать? Торговать сигарами? Сидеть в конторе и писать накладные? Нет, майор Ширке не может кончить мирно. Конечно, я не дурак, как Рихтер, я не стану убивать из-за угла или писать анонимные письма, это ребячество. Я пойду в армию. Ни Шпейдель, ни Холлидт не посмеют мне в этом отказать. Буду командовать ротой, взводом. Я готов пойти простым солдатом. Когда нужно будет, я сумею отомстить... Немцы вспомнят, чем они были... Ганс в одном из последних писем прислал мне песенку, не знаю, он ли сочинил, или его товарищи, там хорошие слова:

Если бить, то бить уж с толком,
А другого мне не надо.
Обернусь я черным волком
И зарежу ваше стадо...

Даус с нетерпением поглядывал на часы: фон Мальтц опаздывал. Даус решил, что будет маневрировать: заключить мирный договор сейчас нельзя — это значит узаконить расчленение Германии, отказаться от Бреслау, Кенигсберга. Другое дело режим оккупации, его можно еще раз пересмотреть...

Фон Мальтц опаздывал не по своей вине, он был человеком аккуратным. К беседе с Даусом он давно подготовился, знал, что уступать нельзя: единственный способ получить от американцев грош — это потребовать миллион. Задержали его непредвиденные обстоятельства: два часа назад ему позвонили из Дортмунда — на его заводах началась забастовка. Рабочие предъявили ряд требований; на большинство из них дирекция не может пойти. Однако не это встревожило фон Мальтца: забастовки бывали и при кайзере. Правда, Гитлеру удалось покончить с этой отвратительной привычкой, но Гитлера больше нет. Хуже другое: директор Краус сказал, что забастовка носит наполовину политический характер, рабочие протестуют против милитаризации промышленности, против восстановления армии. На собрании выступил коммунист, и рабочие охотно его слушали. Полиция ищет этого субъекта, настроение тревожное.

Фон Мальтц, перед тем как отправиться к Даусу, снова позвонил Краусу. Пришлось прождать полчаса: линия была занята. Краус сказал, что положение без перемен. Фон Мальтц решил поехать к генералу.

Он вошел, чуть усмехаясь. Даус не мог догадаться, что его собеседник взволнован. Генерал начал излагать свои соображения об оккупационном статуте. Фон Мальтц молча слушал. Он понимал, что должен возразить, потребовать радикального решения; но все время он думал о событиях в Дортмунде, и это ему мешало. Он решил затянуть разговор, тем более что Даус попросил его с ним пообедать.

Когда они сели за стол, генералу Даусу подали телеграмму. Он прочитал ее и положил под тарелочку. Они говорили о франко-немецком концерне. В конце обеда Даус как бы невзначай сказал:

— Кстати, что у вас там делается?.. Мне сообщают, что в Дортмунде началась большая забастовка.

— Да, это так... Что вы хотите, забастовки неизбежны, как весенний или осенний грипп. Когда я в последний раз посетил вашу страну, я присутствовал при грандиозной забастовке шахтеров...

Больше они не говорили о событиях в Дортмунде. Фон Мальтц, перед тем как распрощаться, сказал:

— Мне хочется, чтобы вы поставили в известность ваше правительство, что деловые круги Германии считают необходимым отказ от оккупационного режима. Конечно, пока в Восточной Германии сидят красные, мы не вправе рассчитывать только на свою армию. Мы можем заключить с вами союзный договор, предоставить вам базы. Это будет наилучшим выходом.

Возвращаясь в Дортмунд, фон Мальтц морщился: болела нога, да и мысли были невеселыми. Я должен был сказать это Даусу, но ясно — без союзных войск мы не удержимся. Дело не только в русских: ржа разъела души немцев. Это началось давно, в проклятом восемнадцатом году, когда нашу армию встретили пением «Интернационала». Я помню, как мерзавцы сорвали с меня погоны... Гитлеру удалось чудо: он оглушил немцев и повел их дорогой славы. Все думали, что идут убежденные, а шли оглушенные. Кончилось это пробуждением среди развалин и позора. Имперской Германии не вернешь. Значит, придется ворчать на американцев и прятаться за их спину. Может быть, молодым легче, но я воспитан на других традициях. Когда я умру, скажут, что фон Мальтц умер от неправильного обмена веществ, от склероза. А я умру от того, что немецкий орел не может жить в американском птичнике... Боюсь, что полиция не поймает того коммуниста. Впрочем, если даже поймает, найдутся другие... Все это скучно и противно. Если бы можно было уснуть и не проснуться; а умирать, как умирают люди, отвратительно, пускай поэты не врут, это не сон, это судороги...

Нильс перед отъездом заехал к Даусу. Генерал рассказал, что Пино договорился с фон Мальтцем. При последней беседе фон Мальтц не отступил от своих прежних требований, но держался несколько скромнее,— может быть, на него подействовали сообщения из Дортмунда.

— Да, вот вам приятная новость: Ширке вчера подал заявление, он болен и слагает с себя обязанности предсе-

дателя, вообще решил отказаться от общественной деятельности. Вы сможете обрадовать ваших французов...

Нильс улыбнулся:

— Почему французы «мои»? Я могу ответить, что ваши немцы не намного лучше... Посмотрите, что происходит в Дортмунде.

— Видимо, их распустили англичане, здесь не может быть ничего подобного... Но я вам не говорю, что на немцев можно положиться. Пока существует Москва, мы не можем чувствовать себя спокойными нигде. Даже в Америке... Все же я предпочитаю немцев французам.

Нильс снова улыбнулся:

— Как в чем... Немцы — хорошие солдаты, это бесспорно. Если только они пойдут воевать. Ведь сегодняшние забастовщики — это завтрашние солдаты... Я не скажу, что во Франции все идет гладко, но там остроумие, блеск, вкус... Я сегодня купил неплохую табакерку. Саксонский фарфор... Но посмотрите — этот юноша играет на свирели, а можно подумать, что он жрет сосиски. У меня есть французская табакерка с портретом Сансона, который отрезал голову Марии-Антуанетте. Я вас уверяю, что палач выглядит куда более одухотворенным, чем этот пастушок. Все же немцы грубоваты...

Даус громко рассмеялся:

— Мне рассказывали, что у вас настоящая мания коллекционера. По правде сказать, я не очень разбираюсь в искусстве. Мне Париж тоже нравится: там шикарные женщины... Но я вас уверяю, что с грубыми немцами мне во сто раз спокойней, чем вам с вашими «одухотворенными» прощелыгами...

90

Генерал Даус не усложнял жизнь раздумьями. По большим праздникам нужно посещать церковь: раз есть мир, значит кто-то его создал; похож ли творец сущего на бога, о котором говорят священники, никто не знает, но помолиться время от времени полезно — это освежает душу. Всем людям хочется лучше жить. Одни стремятся побольше заработать; и Форд и скромный фермер заслуживают уважения. Другие пытаются разбогатеть

случайно, их можно пожалеть: сегодня человек выиграл, завтра продуется. Есть и такие, что хотят все перевернуть вверх дном, это красные, их следует истребить.

Даус считал жизнь в Америке идеалом и, будучи по природе добродушным, мечтал о том времени, когда Европа научится уму-разуму, говорил своим офицерам: «Наши предки были европейцами. Попади я в Африку, я смеялся бы над туземцами, а здесь смеяться грех, нужно их пожалеть...» В Германии он провел свыше пяти лет, старался расположить к себе население, с людьми влиятельными, вроде фон Мальтца, был предупредителен. Он считал, что в Европе можно иметь дело только с англичанами и с немцами, но англичане надменны, немцы куда проще, сердечней. Он не раз писал в Вашингтон, что Германия будет самым надежным союзником. Оптимизм Дауса объяснялся также его темпераментом. Он любил хорошо поесть и выпить, а смеялся так громко, что люди, видавшие его впервые, пугались. В пятьдесят шесть лет он сохранил подвижность юноши, а его светлоголубые глаза выражали восхищение жизнью и собой.

Даус считал, что самое трудное позади. Никто не знает, сколько усилий потребовалось, чтобы добиться от Вашингтона ясного ответа, преодолеть оппозицию Франции, обойти рогатки, расставленные чересчур щепетильными лейбористами. Даус чувствовал себя рождественским дедом: он преподнес немцам восстановление армии, военные заказы, которые подымут дела промышленников, освобождение в самом близком будущем так называемых «военных преступников». Менее всего он мог ожидать сопротивления самих немцев. Забастовка на заводах фон Мальтца, хотя и быстро закончившаяся, несколько его озадачила. Но он говорил себе: вольно англичанам разыгрывать джентльменов и смотреть сквозь пальцы на происки красных, в американской зоне не может произойти ничего подобного.

Зарядили дожди, позолотели сады Бад Гомбурга. Даус вернулся во Франкфурт. Хотя полковник Сноуден и говорил, что среди немцев много недовольных, Даус продолжал считать положение блестящим; именно так он написал в Вашингтон. Сноудену он сказал: «Вы слишком чувствительны, полковник, вы принимаете крики неболь-

шой кучки агитаторов за настроение страны. Сейсмограф должен показывать любое сотрясение почвы, как бы далеко оно ни произошло, но что же это за сейсмограф, если он реагирует на шум в соседней квартире, где человек, выпив, бросил на пол тарелку?..»

Сноуден не пытался возражать; он гадал: действительно ли генерал спокоен или хитрит? Полковник знал, что в городе настроение отвратительное. После Кореи все только и говорят что о войне. Обыватели закупают продукты. Нельзя пройти по улице, не увидев надписи: «Без нас!» Но Даус не видит или не хочет видеть...

Помрачнели люди и на химическом заводе, где работал Эрих Шеллер. Ни для кого больше не было тайной, что нацистские офицеры получают назначения; формируются дивизии. Еще год назад, когда Эрих говорил, что история может повториться и, если народ не вмешается, парней снова погонят на восток, ему не верили, отвечали: «Это пропаганда». А теперь все поняли, что американцы решили воевать, немцев готовят для первого эшелона. Были среди рабочих люди, говорившие, что шуметь все-таки незачем, есть работа, значит можно прокормить семью; такие равно побаивались и коммунистов и мастера Краузе, который кричал: «Да если нам дать их бомбу, от красных ничего не останется, второй раз они не выкрутятся...» Большинство рабочих, однако, склонялось на сторону Эриха. Особенно всех встревожило известие, что с первого ноября завод будет работать на военные нужды.

В жизни Эриха как будто ничто не изменилось: он работал на том же заводе, жил в той же чердачной комнате. Все, однако, изменилось в его жизни. Анна не смогла оставить больную мать и братишку, но в чердачную комнату заглядывала теперь не только луна — в ясные и в дождливые ночи туда приходила Анна. Он не мог привыкнуть к счастью и, говоря «моя жена», смущался, иногда даже краснел. Он многое перечувствовал, передумал за год, повзрослел, научился понимать людей, их скрытые страсти, слабости, колебания. Его знали не только на заводе; он часто выступал на собраниях и в списках полиции числился «опасным агитатором». Летом его послали на партийную конференцию; он вернулся, довольный и озабоченный ответственностью. Народ только-только

начинает просыпаться от долгого скверного сна. Успеет ли он помешать войне?..

Собрание рабочих химического завода было бурным. Мастер Краузе показал себя неплохим психологом. Он как будто забыл все свои рассуждения, не говорил больше, что нужно побить русских, не восхвалял американской бомбы, твердил одно: нам, рабочим, незачем вмешиваться в споры дипломатов. Достаточно мы натерпелись! Вчера Геббельс, сегодня пропаганда красных, скучно слушать... А жить нужно. Конечно, плохо, что американцы не могут договориться с русскими, но войны не будет: теперь силы равные, никто не захочет рисковать. Немецкая армия будет небольшой, и назначение ее одно: оградить страну от случайностей. Нельзя верить любому слуху... Политика нам надоела, мы хотим жить.

Мастер Краузе знал, что эти слова способны тронуть многих. Все же он прогадал: один из рабочих ему ответил: «Политика — это газеты, выборы, это действительно меня мало интересует. А вот бомбы — дело другое... Один раз я случайно уцелел, я не хочу проверять, уцелею ли вторично...»

Эрих выступил с большой речью. Он рассказывал о Корее, говорил, что завтра американцы могут затеять то же самое в Германии. Ничего нет опасней, чем восстановление нацистской армии. Неужели нам придется расплачиваться за Трумэна? Хватит с нас того, что нам оставил Гитлер!.. Конечно, плохо, что американцы не хотят договориться с русскими, но немцы могут договориться друг с другом. Пока Германия рассечена надвое, нельзя вечером поручиться, что на следующее утро не узнаешь о начале войны. Нам нужны не военные заказы, а мирный договор...

После долгих споров огромным большинством была принята резолюция, которую внес Эрих; в ней говорилось, что рабочие завода протестуют против восстановления немецкой армии, против милитаризации промышленности и требуют всенародного референдума: «Только мирный договор вчерашних противников с объединенной Германией может предотвратить катастрофу».

Генерал Даус редко терял спокойствие, но припадки гнева у него были столь же бурными и громкими, как

вспышки веселья. Когда Сноуден показал ему резолюцию рабочих химического завода, он вышел из себя.

— То есть как они «требуют»? Мы им дали правительство, у них есть законы... При чем тут референдум?.. Это диверсия Москвы, вот что!.. Вызовите начальника полиции...

Начальник полиции, увидев Дауса, испугался. Генерал стоял — огромный, краснолицый — и зловеще стучал ладонью по столу.

— Что это значит? — спросил Даус, показав на листок.

Начальник полиции начал сбивчиво рассказывать, что «на заводе имеются нездоровые настроения», что рабочих одурачил агитатор, некто Эрих Шеллер, но, бесспорно, они одумаются, дальше хлесткой резолюции дело не пойдет. Никто им, конечно, не позволит организовать «референдум»...

— Где он? — прервал его Даус.

Начальник полиции растерялся и сказал:

— Арестован...

Конечно, это было опрометчиво: он приказал арестовать Эриха Шеллера только после разговора с Даусом. Коммуниста не нашли. Когда вечером Даус позвонил и спросил, как держится красный, начальник полиции выпалил: «Он удрал...» Даус грубо выругался, и начальник полиции понял, что он напрасно мечтал купить дочке рояль и поехать зимой в Сен-Мортриц,— его карьера кончена.

Эриха во-время предупредили, что за ним пришла полиция. Он перелез через забор и пошел к Роту. Тот сказал: «Я тебя устрою у пастора Хауга. Нужно переждать неделю, потом поедешь в Эссен».

Пастор Хауг был тишайшим человеком, он любил жену, семейный уют, цветы, особенно незабудки. Однако и ему пришлось пережить бурю. Его младший брат погиб возле Сталинграда. Пастор два года провел на фронте. Правда, в боях ему не привелось участвовать, но на его глазах солдаты сожгли русскую деревню и убили двух девушек. Пастор понимал, что должен был попытаться их остановить, но у него нехватило мужества. Он часто думал, что на его совести пятно.

Эриха он принял радушно, попросил жену приготовить кофе, сказал:

— Вы можете здесь оставаться, сколько захотите. Я не занимаюсь политикой, но я согласен с пастором Нимеллером — мы не должны допустить новой войны.

Эрих не знал, о чем ему говорить с Хаугом, но тот сам заговорил о последних событиях, возмущался бомбардировками корейских городов, одобрил идею референдума.

Они мирно беседовали, когда раздался звонок: пришла Анна.

— Рот мне сказал, что ты здесь...

Пастор, узнав, что к Эриху пришла жена, ушел: пусть поворкуют, сразу видно — молодожены...

Госпожа Хауг сказала:

— А ты обратил внимание? У нее нет обручального кольца. Все-таки, в твоем доме...

Пастор улыбнулся:

— Это их дело.

На стенах висели портреты предков Хауга и вышитая на полотне сентенция: «Глаза соблазняют, сердце обманывает, спасет только молитва». Эрих и Анна целовались. Смеясь, Эрих сказал:

— Про глаза верно. Но сердце не обманывает...

У генерала Дауса был отвратительный вечер. Едва он успел отойти после телефонного разговора с начальником полиции, как принесли телеграмму об отставке Хейнемана. Даус захохотал: нет, это нужно придумать! Сторонники красных оказались даже в правительстве! Хейнеман не первый встречный, это министр внутренних дел, человек, еще вчера отвечавший за общественный порядок... Теперь понятно, почему бандиты распоясались. Рабочие требуют «референдума». Среди белого дня их вожак удирает... А Хейнеман заявляет, что он «против участия Германии в обороне Запада». Да это черная неблагодарность! Мы протягиваем немцам руку, как рыцари, возвращаем им оружие. А они еще недовольны... Я напрасно винил англичан, мы тоже либеральничали. Нужно их скрутить!..

Он вызвал полковника Сноудена:

— Намекните начальнику полиции, что он может последовать примеру Хейнемана... Вообще, полковник, нужно действовать, а не созерцать. Завтра я поеду в

Бонн... Аденауэр повторяет: «Двенадцать дивизий...» Хорошо, но это кот в мешке... Проверьте, кстати, поймали ли того мерзавца с химического завода? Если нет, скажите, что они должны его поймать. Вы меня поняли? Именно должны...

Эрих говорил:

— Вот мы и расстаемся... Меня отсылают в Эссен. Я тебя долго не увижу. Месяц... Может быть, больше...

— Я буду ждать, Эрих. Я приду, как в ту ночь... Я хочу тебе сказать столько большого, важного и не умею — нет слов. Я тебя люблю, Эрих!

91

В ноябре госпожа Маккорн получила письмо от мужа из Кореи:

«Дорогая Пегги,

пока что я жив и здоров, чему удивляюсь, в этой проклятой стране не умирают только мертвые. Говорят, что к Рождеству мы будем дома. Дай бог! Конечно, в Америке мне жилось не сладко, но там я хоронил других, а здесь собираются похоронить меня.

Бансер мне недодал 120 долларов, взыщи с него. Лучше, чтобы ты их потратила, чем чтобы этот мошенник думал, как ловко он провел Маккорна.

Будь здорова!

Твой герой поневоле Джим Маккорн».

Пегги огорчилась. Могла ли она подумать, выходя замуж, что ее жизнь сложится так неудачно? Недавно Джули рассказала ей, что жена Грайтона купила новенький «кадиллак» и шубу из выдры. Пегги еле сдержалась, чтобы не заплакать: ведь Грайтон добивался ее руки, а она предпочла ему никчемного Маккорна. Да, пока муж был рядом, он ее раздражал. Уже если она стала любовницей колченогого владельца закусочной, то не от сладкой жизни. Но теперь ей стало жалко Джима. Его могут и вправду убить. Он свое отвоевал, зачем ему понадобилось снова пытать судьбу? Бог видит, она пробовала его отговорить, но он упрям, как осел, на все отвечал, что он не

негр и не еврей, что красные — мошенники и что вообще не о чем разговаривать — это дело решенное.

Встретившись вечером со своим колченогим, Пегги сказала:

— У меня неспокойно на душе. Вот мы сейчас пойдем в кино, будем смеяться, а Джима, может быть, убили.

— Не придумывай ужасов,— ответил владелец закусочной.— Твой Джим, слава богу, не кореец, а там убивают только корейцев. Вообще через месяц все кончится. Конечно, я не думаю, чтобы Макартур остановился на границе, он, наверно, пойдет бить китайцев, но это уже другая музыка. В газете писали, что, как только наши дойдут до границы, всех участников корейской кампании вернут домой. Так что ты получишь своего Джима. А для того, чтобы бить китайцев, наберут других.

Его беспечный тон разозлил госпожу Маккорн, она с насмешкой спросила:

— Уж не тебя ли?..

— Нет, меня не возьмут даже, когда начнется третья мировая. Я всю жизнь страдал от того, что у меня правая нога короче левой, а теперь я вижу, что это большая удача.

На следующий день Пегги получила от Бансера сто двадцать долларов и купила себе очаровательное вечернее платье: через полтора месяца Рождество, а Джули в конце ноября устраивает вечеринку, значит платье имело смысл купить теперь. Она глядела на себя в зеркало и думала: все уже готовятся к праздникам, магазины переполнены, видно, что у людей завелись деньжата. Повсюду веселая суматоха. В общем мне сейчас лучше, чем год назад, я не только расплатилась с долгами, я купила чудесный радиоприемник, вот это платьице. Лишь бы с Джимом ничего не случилось!..

Администратор Стального треста Грайзен рассказывал Робертсу:

— Мы буквально изнемогаем от заказов. Да и не только мы... Вы посмотрите на Пятое авеню — люди ожили. В деловых кругах боятся одного...

Он не досказал. Робёртс спросил, чуть улыбаясь:

— Вы хотите сказать, что деловые круги боятся, как бы пьеса не окончилась слишком быстро?..

— Вот именно. Дипломаты говорят, будто наши остановятся, дойдя до границы Маньчжурии. Это будет катастрофой... Даллес позавчера сказал Муру, что Макартур не собирается останавливаться, но президент и Ачесон колеблются. А почему?.. Деловые круги за то, чтобы двигаться вперед. После истории с тридцать восьмой параллелью все понимают, что границы — это иллюзия...

Робертс не возразил: не хотел портить отношения с Грайзеном. В душе он, однако, сомневался, выгодно ли начать большую войну против Китая. Если мы прогоним из Кореи красных, наш престиж будет восстановлен. А силы лучше приберечь для Европы. Есть два фокуса: Берлин и Югославия. Всех китайцев мы не перебьем,— это слишком длинная история, а красные в Европе обнаглеют. Конечно, Нильс — скептик, но теперь жалуется даже генерал Даус. А немцы — это не французы... Мы плохо ведем психологическую войну. Корея испугала европейцев. Пропаганда красных падает на подготовленную почву. Нужно было противопоставить ей нечто, способное увлечь людей, или запретить ее, а мы, как страусы, закрывали глаза, пытались уверить друг друга, что ничего нет глупее голубок, подписей под воззванием и разговоров о мире. Можно ли удивляться, что европейцы, несмотря на наши успехи в Корее, настроены отвратительно? А от Кореи до Москвы очень далеко, куда ближе от Эльбы до Парижа...

Когда заместитель государственного секретаря Бойдж пригласил Робертса на небольшое совещание, посвященное предстоящему конгрессу в Шеффилде, полковник удовлетворенно подумал: наконец-то эти ротозеи спохватились.

Кроме Бойджа и Робертса на совещании присутствовали полковник Доуневэн и Джойс из Федерального бюро.

Бойдж сказал:

— Надо признать, что корейские события помогли красным. Я уж не говорю о Франции или об Италии, но даже в Бразилии идея «конгресса мира» пользуется успехом. Привлекает вывеска... Москва или Прага отпугнули бы, а Шеффилд всех устраивает, в этом беда... Правда, Эттли еще в августе нас заверил, что мы можем быть спокойны, но я никогда не бываю спокоен, когда в дело замешаны лейбористы.

Полковник Доуневэн усмехнулся:

— Я сказал бы, что нельзя быть спокойным, когда в дело замешаны англичане. Конечно, у консерваторов нет тех предрассудков, которые мешают Эттли, но они кичатся, шантажируют, пытаются изобразить из себя господ положения. Вообще плохо, что красные остановились на Англии. Было бы куда лучше, если бы они выбрали Париж. С Шуманом легче договориться...

Джойс предложил арестовать американских делегатов, но Бойдж возразил:

— Это совсем глупо: соберутся люди отовсюду и будут вдвойне шуметь против нас.

— Нужно добиться, чтобы англичане запретили конгресс,— сказал полковник Доуневэн.— У вас есть возможности на них нажать.

— Это нелегко,— ответил Бойдж.— Они носятся со своими «традициями»... Русским или китайцам они могут не дать виз. А для французов или итальянцев визы не нужны. Значит, придется задерживать людей в портах. Англичане говорят, что задержать такого человека, как Жолио-Кюри, не просто, у них, видите ли, «не подготовлено общественное мнение». Конечно, если нажать, они пойдут и на это. Но тогда красные соберут конгресс у себя. Прага лучше, чем Шеффилд, однако и это не идеальное решение. По нашим сведениям, интерес к конгрессу большой. Даже если он соберется за «железным занавесом», резонанс будет...

— Я не вижу, как мы можем помешать красным собрать конгресс в Праге,— сказал полковник Доуневэн.

Робертс вмешался в разговор:

— Это осуществимо. Англичане не запрещают конгресса, они затягивают ответ советским или полякам. Накануне назначенной даты они дают сотню виз. В каждой делегации имеются статисты, нужно только не попасть впросак и впустить одних статистов. Красные окажутся в затруднительном положении: конгресс не запрещен, даже китайцы получили несколько виз, французы, итальянцы едут в полном составе. И вот в последнюю минуту полиция в портах задерживает лидеров.

— Это им не помешает собрать конгресс в одной из своих стран,— сказал Бойдж.

— Помешает. Представьте себе эту картину. Канун конгресса. Итальянцы пересекают Францию. Здесь же арабы, египтяне, западные немцы. Французы садятся в Кале на пароход. А в Лондоне уже находятся американцы, индийцы, скандинавы. Тут английская полиция не впускает лидеров итальянцев и французов. Что смогут сделать красные? Если они даже объявят в последнюю минуту, что переносят конгресс, это останется на бумаге. Из Лондона и Парижа нельзя проехать на восток, минуя Западную Германию или Австрию. Транзитных виз они, разумеется, не получат. Значит, восточные делегаты окажутся по одну сторону «железного занавеса», западные — по другую. Мы рассечем конгресс на две части.

— Но есть воздушные пути...

— Для того чтобы перебросить тысячу человек, им придется потратить три недели, а если мы заблаговременно забронируем места на рейсовых самолетах,— три месяца. Огромное большинство делегатов — люди, которые не могут отлучиться надолго, я изучил некоторые списки: это члены парламентов, профессора, учителя, врачи, муниципальные служащие, рабочие. Вторично выехать им не удастся. Конгресс будет сорван.

Бойдж, обычно сдержанный, воскликнул:

— Остроумно!.. Помимо всего прочего этот план спасает Эттли, а нам сейчас невыгодно чересчур нажимать на англичан. Я только боюсь, что они наделают глупостей. Хорошо будет, если полковник Робертс съездит на несколько дней в Англию, конечно не теперь — в начале ноября.

Робертс молчал: этот вопрос должен решать не он.

Доуневэн одобрил:

— Можно действительно послать полковника Робертса. Кстати, он посмотрит поближе красных...

Бойдж в заключение сказал:

— Итак, конгресс собирается в назначенный срок. Англичане верны своим традициям. Мы уважаем традиции англичан. Полковник Робертс едет по своим служебным делам в Лондон. А голубки мира садятся на крыши Шеффилда... Кстати о мире,— вы читали последнее коммюнике Макартура? Конечно, можно только приветствовать, что линкор «Миссури» удачно провел операцию, но зачем в

официальном документе подчеркивать, что Чонджин рядом с Владивостоком? Такие вопросы должен решать государственный департамент, а не военное командование...

Робертс промолчал: он был согласен с Бойджем, но не хотел при Доуневэне осуждать Макартура. А Доуневэн ответил уклончиво:

— Трудно теперь провести границу между дипломатической нотой и артиллерийским обстрелом.

Приглашение принять участие в Шеффилдском конгрессе Адамс получил через два дня после того, как узнал о смерти профессора Дюма. Он посмотрел на подпись и увидел: «Дюма». Очевидно, они приготовили приглашения заранее... Все же это взволновало Адамса: ему показалось, что Дюма подумал о нем накануне смерти. Он вспомнил телеграмму: со стороны Дюма это было проявлением большой внимательности. Конечно, он придерживался крайних взглядов, но он был крупным ученым и человеком необычайной душевной чистоты,— это чувствовалось в каждом слове. Обидно, что политика помешала нам принять его как следует. Вероятно, в его памяти наша страна олицетворялась теми босяками, которые ворвались в гостиницу, где он жил, статьей Костера, вызывающими словечками профессора Хенусси. Почему он все-таки пригласил меня в Шеффилд?.. Адамс еще раз перечитал письмо. «Вы высказались против атомного оружия,— писал Дюма,— но не захотели подписать Стокгольмское воззвание, опасаясь, что оно — дело одной партии. С тех пор положение обострилось. Корея показывает, что ждет всех, если не удастся предотвратить войну. Конгресс в Шеффилде будет широкой и убедительной встречей людей разных лагерей с Запада и с Востока. То, что он соберется в Англии, думаю, устранит ваши опасения...» Письмо смутило Адамса. Будь Дюма жив, Адамс рассердился бы, а теперь он находился в смятении; не хотел согласиться и не знал, как отказать. Он успокоил себя мыслью, что до срока, указанного в письме, еще далеко, есть время подумать.

Подошел ноябрь. Адамс вспомнил про Шеффилд и снова расстроился. Дюма был прав: в Корее разыгрываются ужасные сцены, я пробовал не читать газет, но об этом все говорят, профессора, студенты, Дора, Дженни. Даже если начали красные, это ничего не меняет. Почему

мы отклонили предложение начать переговоры? Все лучше, чем такая жестокая и бессмысленная война! Президент говорит, что мы «спасли Корею». Не думаю. Кремер мне показывал корреспонденцию в «Таймс»; это пишет не красный; там сказано, что в Корее после наших бомбардировок не осталось ни одного города. Убить не значит спасти. Приходится признать, что многие предсказания профессора Миклея сбылись. Позорно, что его держат в тюрьме, как вора или как убийцу! Годвин сказал, что это «акт, не достойный Америки». Я скажу сильнее: это акт, достойный Гитлера... Дюма правильно думал, что выбор Англии сможет многих успокоить; Англия — традиционная страна свободы. Там невозможны такие эксцессы, как у нас с Миклеем. О коммунистах я не говорю: у них вообще нет концепции индивидуальной свободы. Конгресс в Шеффилде может разрядить атмосферу. Но я не хочу туда ехать, я знаю только свое дело; когда начинаются разговоры о политике, я чувствую себя ребенком. Каждый может меня обмануть...

Адамс решил посоветоваться с профессорами Годвином и Кремером. Годвин сказал, что получил письмо от Жолио-Кюри. Он ответил, что, подписав вместе с Адамсом и Кремером заявление против использования атомного оружия, он сделал все, что мог; приехать на конгресс он, к сожалению, не сможет, так как решил воздерживаться от какой-либо политической деятельности; он бесконечно тронут обращением Жолио-Кюри и спешит его заверить, что административные меры, принятые против него французскими властями, не могут поколебать его авторитет в мире науки.

Профессор Кремер был озабочен, как и Адамс: он получил приглашение и не знал, что ответить. Адамс пробеседовал с ним весь вечер; они разговаривали о Корее, о судьбе профессора Миклея, о статье, которую профессор Хенусси напечатал в одной из чикагских газет. (Адамс поморщился: «Это недостойно ученого! Неужели профессора Хенусси соблазняют лавры Билла Костера?») В конце вечера Кремер сказал:

— Хорошо, что английское правительство покровительствует конгрессу. Защита мира тем самым перестает быть монополией коммунистов. Мне говорили, что из Америки

в Шеффилд поедут самые различные люди, священники, квакеры, даже профессор Кеннет. В Англии обстановка такая, что вряд ли крайним элементам удастся придать конгрессу характер митинга. Это, конечно, не исключено, именно поэтому я не хочу туда ехать... Но, может быть, мы с вами пошлем приветствие...

— Конгрессу?

— Нет, это было бы одобрением всего, что конгресс сделает, а ни вы, ни я не знаем, как далеко пойдут его инициаторы,— среди них слишком много коммунистов... Я думаю о приветствии Эттли. Мы можем его поздравить с тем, что в наше смутное время Англия остается страной свободы. Этим мы осудим поведение наших властей, в частности расправу с профессором Миклеем. Потом мы одобрим встречу представителей Востока и Запада. Никто нас не причислит к коммунистам: для красных Эттли не лучше Трумэна. Но мы выполним наш долг, подтвердим, что приветствуем любую попытку устранить взаимное недоверие.

Предложение Кремера понравилось Адамсу, и они составили короткое приветствие, которое отправили на имя премьер-министра Англии.

Кремер не ошибся, сказав профессору Адамсу, что многие американцы, которых нельзя было причислить к коммунистам, встретили с симпатией известие о созыве Шеффилдского конгресса. В разных городах происходили собрания, на которых выбирали делегатов. Джойс из Федерального бюро говорил: «Нет худа без добра — теперь мы сможем пополнить наши списки».

Бетти приходилось много работать. Глядя на эту бодрую, веселую женщину, никто не сказал бы, что у нее отняли радость. Она теперь знала, что Гайрстона не выпустят. Ночью она отдавалась горю, видела перед собой Гайрстона, беседовала с ним, обнимала его, засыпая, повторяла: «Джо!..» А днем она доказывала чужим и зачастую враждебным людям, что Шеффилдский конгресс может их спасти.

Коммюнике Макартура, обидевшее Бойджа вмешательством военных в сферу дипломатии, возволновало многих. А тут еще четыре сенатора заявили, что нужно сбросить атомные бомбы на Харбин и Шанхай. Начали поговари-

вать о том, что война будет долгой. Правда, Билл Костер написал: «Наши герои, освободившие Корею, будут кушать рождественских индюшек среди своих близких». Но не все ему поверили; женщины с тревогой спрашивали, не пошлют ли солдат из Кореи в Китай.

Бетти часто беседовала с владелицей фруктовой лавки госпожой Браулер, сына которой отправили в Корею. Браулер еще два месяца назад говорила: «Конечно, я волнуюсь за Тома, но мы должны были защитить маленькую страну...» Потом она во многом усомнилась, начала прислушиваться к словам Бетти. В начале октября было собрание женщин. Браулер выступила с короткой речью: «Я не занимаюсь политикой, но я хочу, чтобы кончилась эта ужасная война. У меня сердце болит не только потому, что мой мальчик подвергается смертельной опасности. Никто мне не может объяснить, почему наши дети должны умирать в Корее...» Браулер выбрали делегатом на Шеффилдский конгресс.

Обратившись к реверенду Макгилу, Бетти ждала отказа: с начала войны в Корее он избегал «друзей мира»; говорили, что он не считает возможным выступать против политики правительства, поскольку нация оказалась вовлеченной в войну. Реверенд Макгил, однако, сказал Бетти, что согласен поехать в Шеффилд.

— Когда началась война в Корее,— добавил он,— все растерялись. Лично я и тогда осуждал наше вмешательство, но среди моих друзей многие говорили, что нельзя поощрять агрессию и что президент прав. Конечно, никто из нас в точности не знал и не знает, кто первый перешел тридцать восьмую параллель. Но когда войска северян начали стремительно продвигаться на юг, даже я усомнился в намерениях коммунистов. А меня ведь после того, как я выступил на митинге вместе с профессором Дюма, прозвали «красным реверендом». Что же сказать о других?.. Потом военное положение изменилось. Я думал, что наши войска, дойдя до тридцать восьмой параллели, остановятся, но они вторглись в Северную Корею. Теперь все видят, к чему это ведет. Вмешались китайцы... Если нам не удастся объединить всех друзей мира, мы окажемся перед катастрофой.

Биолог Кеннет, которого Бетти знала со своих студенческих лет, сказал ей:

— Во-первых, я морганист, во-вторых, я вообще не люблю коммунистов,— они догматики, а я человек без шор. Но в одном они правы: нужно остановить эту опасную игру. Я не знаю, кто ее ведет — Трумэн, Макартур или бизнесмены,— да это и все равно. Важно, что она доведет нас до гибели. Я поеду в Шеффилд.

На заводе, где прежде работал Гайрстон, арест его вызвал немало толков. Виппер доказывал, что Гайрстон — крупный шпион. Рабочие говорили: «Может быть, он и наговорил лишнего, он горячий парень, но на шпиона он не похож. Это дело скверно пахнет...» Особенно возмущался Марк Джеймс, который знал Гайрстона по военной службе. Марк Джеймс прилично зарабатывал, никогда не посещал собраний красных и был на хорошем счету у дирекции. Рабочие его считали человеком осторожным и рассудительным. Вот почему на всех подействовало, когда он прямо сказал, что не верит ни прокурору, ни газетам:

— Даже если президент поклянется на библии, что Джо — шпион, я ему не поверю. Придумать — дело нетрудное, им за то деньги платят. А я Джо знаю... Я ему говорил, что против войны ничего не поделаешь, сначала нам набьют брюхо жратвой, а потом подставят под снаряды. Почему у нас пускаются на такие проделки? Я видел, что Гитлер сделал с немцами, там все изолгались, каждый покрывал свинство. А в итоге они получили развалины. Я сначала поверил, что наши хотят защитить Южную Корею. А это такое же мошенничество, как с Джо...

Марк Джеймс припоминал теперь слова Гайрстона. Конечно, Джо перегибал — он слишком верил книгам, но он правильно говорил: готовится большое свинство. Я не красный, но я не хочу, чтобы меня распотрошили... Марк Джеймс примкнул к друзьям мира, и его выбрали делегатом на Всемирный конгресс.

В ту ночь Бетти не выдержала, заплакала: почему нет Джо?.. Это и его победа...

Среди делегатов была негритянка, мастерица Дженни Кембер, год назад приехавшая в Гарлем из Джексона.

Джойс спросил Робертса, не упрятать ли ее под замок. Полковник отсоветовал:

— Я понимаю, что нельзя выпустить из Америки Робсона. Даже, если нам удастся сорвать конгресс, его присутствие в Европе нежелательно. Другое дело эта негритянка... Если она вам действительно мешает, посадите ее, когда она вернется. Сейчас главное — не вспугнуть птичек...

Узнав, что профессор Кеннет едет в Шеффилд, Робертс рассердился: еще один клюнул, причем это не благодушный слюнтяй вроде Миклея, у Кеннета есть зубы. Встретив Билла Костера, Робертс сказал:

— Вот вам тема в вашем духе — можете отшлепать профессора Кеннета. Только поосторожней: если начать кампанию против конгресса, люди подумают, что мы боимся пропаганды красных, а это не так... Но, пожалуй, стоит напомнить читателям, что «сторонники мира» — агентура Москвы, они должны помочь своим хозяевам выпутаться из корейской истории, а потом попытать счастья в Германии или в Югославии.

Билл Костер написал: «Напрасно я посыпал перед моим домом крошки хлеба — шеффилдская голубка ко мне не прилетела, она клюет только московское золото. Красные не жалеют долларов, когда дело идет о пропаганде: всем делегатам обеспечены бесплатный проезд, комнаты в первоклассных гостиницах и обеды с шампанским. А вожакам в случае успеха обещаны крупные денежные награды. В Шеффилде, как мы узнали, небольшая группа вожаков, так называемое «узкое бюро», предполагает обсудить различные мероприятия: организацию шпионажа, разложение западноевропейских армий, саботаж военной промышленности, распространение ложных слухов, способных породить панику, захват западных секторов Берлина, вторжение в Югославию и т. д. Тем временем в большом зале будут выступать наивные люди, обманутые красными, или кандидаты в вожаки, жаждущие дорваться до «узкого бюро». Именно в большом зале реверенд Макгил произнесет проповедь о близости директив Коминформа к пятой заповеди, а профессор биологии Кеннет, задыхаясь от восторга, расскажет, что сделали красные с его русскими коллегами».

Статью Билла Костера Робертс прочитал, уже будучи в Лондоне. Он подумал: иногда этот прохвост попадает в точку, профессора Кеннета он ловко поддел...

Робертс изучил списки делегаций. Отказать всем глупо, это поставит в неловкое положение англичан, да и красные тогда сразу объявят, что конгресс переносится в Варшаву. Сообщают, что они к этому готовы. Мы их перехитрим. Пусть они думают, что англичане впустят всех западных делегатов и треть или четверть восточных. Дело не в числе, а в отсеве.

Робертс работал с Пойнтсом из Скотланд Ярда. Полковник долго объяснял англичанину, что есть фигуры и пешки. Людей чем-либо примечательных нельзя впустить, а рядовым интеллигентам или рабочим следует выдать визы, это даже эффектно, лейбористы тем самым скажут: пусть мир отстаивают простые люди...

Пойнтс соображал не очень быстро, а когда соображал, громко смеялся. Это был высокий белобрысый англичанин; он любил верховую езду и умел подобрать галстук к рубашке. Он нашел, что Робертс не только безвкусно одет, но и плохо воспитан. Пойнтс, в свою очередь, не понравился Робертсу: лентяй и дурак. Полковник вообще недолюбливал англичан: эти попрошайки, протягивая руку за милостыней, корчат из себя аристократов. Ну на что годен такой Пойнтс?.. Приходится следить за каждой мелочью. Стоило Робертсу отлучиться на несколько часов — и англичане дали визы трем советским вожакам, которые уже не раз выступали на различных конгрессах. Почему? Да потому, что один сотрудник Пойнтса взял список с буквы А до О, а другой с Q до Z. Про букву Р они забыли. Не проверили, как обстоит дело с морским транспортом; Робертс во-время спохватился, польских пароходов, к счастью, в портах не оказалось.

Лондон раздражал Робертса. Что может нравиться в таком городе? Нужно быть Нильсом, чтобы любить старый хлам. Полковник уныло глядел на старые черные дома, на замшелые башни, на каменные стрелы церквей; даже Темза постарела; даже собачонки на улицах корчат из себя солидных джентльменов и презрительно обнюхивают древние фонари. Хорошо, что через несколько дней Ро-

бертс вернется в Америку: Англию стоит держать на привязи, жить в ней, право же, не стоит...

Пойнтс неторопливо излагал Робертсу новости. Делегаты Квебека задержаны канадскими властями. Делегаты Порто-Рико арестованы и преданы суду. Коммерсанты Шеффилда надеются расторговаться и неожиданно стали сторонниками мира. В Италии происходят бурные митинги, целые толпы провожают делегатов, правительство говорит, что нельзя раздражать народ. Из Сирии выехал крупный шейх. Удалось схватить еще восемь греков. Во Франции конгресс очень популярен, а в Новой Зеландии значительно менее популярен...

Робертс злился: такого болвана я еще не встречал! Ничего не делает и ничего не понимает, только портит мне нервы своими разговорами...

— Вот вам еще одна новость,— сказал Пойнтс.— Двое ваших ученых послали телеграмму Эттли, благодарят его за то, что он разрешил конгресс в Шеффилде. Фамилия одного — Адамс, а другую — я забыл... Мне говорили, что премьер был очень доволен; он сказал, что у Адамса крупное имя и что лестно получить такую телеграмму.

Робертс молчал. Пойнтс спросил:

— А в какой области прославился этот Адамс?

Полковник нехотя ответил:

— Он краниолог, изучает черепа. Может быть, он представляет себе череп вашего премьера, но вот о том, что в этом черепе, он не догадывается...

Пойнтс удивленно поглядел на Робертса и потом громко рассмеялся:

— Вы юморист, господин полковник, у нас в Англии это очень ценится.

92

Саблон с нетерпением ждал открытия конгресса. Его книгу «Заговор смерти» попытались замолчать. Бедье сказал Дюмону: «Самое лучшее, что мы можем сделать, это забыть про существование Саблона». Все же о «Заговоре смерти» много говорили: читатели знали автора, да и книга была написана увлекательно. Бедье, проглотив ее залпом, подумал: в одном Саблон прав, если начнется

война, от Франции ничего не останется. Может быть, Нильс и увезет свои табакерки, но Парижа в чемодан он не положит... Однако, увидев «Заговор смерти» на ночном столике своей жены, Бедье рассердился:

— Зачем ты читаешь такую пакость?

Госпожа Бедье спокойно ответила:

— Но это безумно увлекательно. Я думала, что такие вещи происходят только в детективных романах, оказывается это на самом деле... Я, кстати, не знала, что ты тоже замешан...

Бедье не счел нужным ответить.

О книге Саблона говорили и на рабочих собраниях и в Национальной ассамблее. Саблон, однако, не был этим удовлетворен: он знал, что битва только начинается. Уже после выхода книги он занялся изучением кулис «Трансока»; ему удалось выяснить, кто тот таинственный полковник Робертс, о котором говорил Билл Костер. От Робертса нити шли к Доуневэну, от Доуневэна к Гарриману, к Моргану, к Дюпону, к королю алюминия, к «Группе АБ», занятой импортом урана. Ни смерть сенатора Лоу, ни закат Нивеля не могли успокоить Саблона: он знал, что одних марионеток сменили другие. Просматривая старые комплекты «Дейли уоркер», он напал на заметку о Бернсоне, который выставил свидетелей против Минаева. Этот Бернсон назначен теперь директором нового агентства «Пакс»,— значит, «Трансок» переменил вывеску... Саблон готовился выступить в Шеффилде против тех темных сил, с которыми ему лично пришлось столкнуться.

Была туманная осенняя ночь. Пароход спокойно пересекал Ламанш. В курительном салоне работал Жолио-Кюри, склонившись над грудой тонких листков. Другие делегаты разговаривали или спали. Саблон стоял на верхней палубе и жадно дышал влажным, соленым воздухом. Он с детства любил море, ветра, приливы и отливы, веселье и тревогу огромных темных валов. Он думал: все в моей жизни перевернулось; спокойствия больше не будет; завтра или послезавтра в Шеффилде я увижу незнакомых друзей, расскажу им все, что я пережил...

Паспорта проверяли на пароходе. Высокий белобрысый полицейский со светлыми неморгающими глазами взял у Саблона паспорт. Саблон спросил, скоро ли спустят на

берег. Полицейский посмотрел на него стеклянными глазами и ничего не ответил.

Робертс с вечера сидел в полицейском управлении порта. В холодной комнате пахло приторным запахом английского табака. Робертс в сотый раз спрашивал сонного Пойнтса, усвоили ли все полицейские инструкцию. Пойнтс флегматично отвечал: «Все в порядке». Робертс настаивал: Саблон — номер семь, крайне опасная фигура, Жюстен Годар — номер одиннадцать, бывший министр...

Только узнав, что Жолио-Кюри и шесть других делегатов возвращаются в Дюнкерк, Робертс несколько успокоился. Нужно почитать речь сирийца, которого во-время обыскали. Но у Пойнтса нет переводчика... Четырех датчан посадили в кутузку. Это неплохо: пусть знают, что за такие вещи не гладят по головке. Пойнтс говорил, что среди них одна дама, которая боится красных. Тем лучше, может быть это ее образумит. Жалко, что англичане не задержали профессора Кеннета...

Саблон стоял на палубе. Показались светлые песчаные холмы Дюнкерка. На набережной было людно. Докеры, рабочие кричали: «Да здравствует мир!» Девушка поднесла Жолио-Кюри цветы. Капитан, возмущенный, говорил: «Я не коммунист, но это пощечина Франции. Как они посмели не впустить Жолио-Кюри?..» Саблон ему сказал: «Знаете что, и вы к нам придете. Я сам полгода упирался... Но что же делать, когда они хотят войны? Приходится бороться...»

В Праге всю ночь шло заседание части комитета: здесь были и французы, и американцы, и советские делегаты. Ждали известий от Жолио-Кюри: нужно было решить, где состоится конгресс. Утром позвонили из Лондона: полиция не впустила в Англию Жолио-Кюри и других делегатов, которые с ним ехали. Нельзя было терять времени; однако постановление о переносе конгресса в Варшаву мог принять только комитет, а часть его членов находилась где-то между Англией и Францией.

Фарж попытался связаться по телефону с Жолио-Кюри. Неизвестно, куда возвращается пароход: в Кале, в Булонь или в Дюнкерк? Телефонистка повторяла: «Мадмуазель Париж, дайте мне Кале...» Другой голос отвечал: «Мадмуазель Прага, здесь Булонь. Какой номер вы

хотите?..» Фарж сказал: «Мы ищем Фредерика Жолио-Кюри». Десять минут спустя третий голос ответил: «Мадмуазель Прага, господин Жолио-Кюри находится в Дюнкерке». Телефонистка Дюнкерка, узнав, что из Праги просят к телефону Жолио-Кюри, обрадовалась. Она была влюблена в служащего таможни Жоржа Ано, а он не обращал на нее внимания. Жорж Ано выступал на собрании в защиту мира, он должен знать, где Жолио-Кюри. Вот у нее и есть повод позвонить ему... Жорж Ано ответил: «У нас в порту была демонстрация, мы его встречали. Спасибо, Клодин, вы очень милая, я давно вам это хотел сказать... Сейчас я его найду».

Четверть часа спустя началось заседание комитета. Одна половина его находилась в Праге; другая — заседала за деревянным столом в маленьком портовом кафе Дюнкерка.

В четыре часа пополудни различные радиостанции передали: «Всемирный конгресс мира откроется шестнадцатого ноября в Варшаве».

Узнав о переносе конгресса, Робертс развеселился: он пригласил Пойнтса пообедать с ним. Они пили херес. Робертс говорил:

— Все получилось как нельзя лучше. Это хорошо, что красные упрямы и не отложили конгресса. В их распоряжении всего два рейсовых самолета, причем треть мест мы забронировали. В лучшем случае им удастся перебросить двадцать — тридцать человек. В Варшаве несколько десятков людей из западных стран затеряются среди славян и китайцев. Мы сможем сказать, что «сторонники мира» сняли маску... Я хочу выпить, дорогой господин Пойнтс, за ваше здоровье. Если мы добились успеха, то только благодаря вашей энергии.

Робертс дружески распрощался с Пойнтсом и поехал на аэродром. Он слишком долго засиделся в Англии, а дела не ждут... Он был в прекрасном настроении, даже подумал: Пойнтс — честный человек, только медленно соображает... Бойдж мне скажет: «Вы действительно нашли выход. Впредь я буду советоваться непосредственно с вами...»

В Париже на Северном вокзале Саблона окружили репортеры.

— Разрешите задать вам несколько вопросов. Мы узнали, что англичане вас не впустили. Вы выступали против Англии?

— Нет. Но я выступал против войны.

— Поедете ли вы на конгресс в Варшаву?

— Само собою разумеется.

— Вы надеетесь получить транзитную визу?

— Нет, не надеюсь.

— Может быть, вы забронировали место на самолете?

— Нет, не забронировал.

— Каким же образом вы рассчитываете добраться до Варшавы?

Саблон улыбнулся, вытряхнул пепел из трубки и спросил журналиста, задавшего ему последний вопрос:

— Простите, какую газету вы представляете?

— Агентство «Пакс».

— Вот как... Ну, что же, можете написать, что я поеду на «летающем блюдечке», специально изготовленном в Сибири для уничтожения грудных младенцев штата Оклахомы. Подробности вы узнаете у вашего директора или у полковника Робертса. Эти господа знают решительно все. А мне пора...

Репортер, который щелкал «лейкой», спросил:

— Господин Саблон, одну минуточку... Вы торопитесь домой?

— Нет. В Варшаву.

Небо над Прагой гудело. Каждые четверть часа приземлялся на аэродроме самолет. Среди осенней ночи дорожки, освещенные прожекторами, казались огненными реками. Слышалась чужестранная речь. Чешка Власта отмечала: двадцать египтян, семь голландцев, сорок девять французов, шесть боливийцев... Приезжавших делегатов встречали с цветами, приветствовали, обнимали.

Ночью прилетел самолет с американцами. Дженни казалось, что она спит и Дэвид рассказывает ей чудесную сказку. Почему ей принесли розы? Почему все ее обнимают? Почему так легко и весело, люди смеются, кричат, поют?..

Среди чехов, встречавших на аэродроме делегатов, был Франтишек Кристек. Он принимал французов; по дороге на вокзал он расспрашивал их, что нового в Париже, как

там идет жизнь, радовался, что они веселые и задорные, вместе с ними пел французские песенки.

На следующий день снова приземлился самолет с французами. Франтишек глазам не поверил: Деде! Он кинулся к старому товарищу. Деде тоже изумился, выпятил нижнюю губу:

— Да это же Чех!..

— Конечно, а где Чеху быть, как не в Праге? Здесь я просто Франтишек, но ты уж, пожалуйста, зови меня, как в маки́, Чехом. А ты молодец, Деде! Потолстел, но не слишком, можешь еще полазить по горам в случае чего...

Франтишек посмотрел на часы: поезд через три часа, значит есть время. Он колебался: ему хотелось показать Деде и Прагу, и Квету. Пожалуй, так он и сделает: сначала они посмотрят с набережной на Градчаны, а потом у Франтишека выпьют стаканчик вина. Однако по дороге Франтишеку захотелось показать Деде еще много другого: государственную мастерскую, где он работает, два новых дома, рабочий клуб. Он с гордостью объяснял:

— Видишь, кое-что мы сделали. А это не так-то легко: есть и здесь люди, у которых вместо мозгов старая газетная бумага. Американцы никак не могут успокоиться: почему это вдруг чехи не пожелали жить по-американски, что за непорядок? Вот они и бесятся. Ну, а мы работаем. Это новая школа, здесь учится дочка соседа, он бондарь, а она хочет стать учительницей, вроде тебя, детишек мучить. Ты посмотри отсюда на Градчаны. Красиво, а? Город у нас очень старый. А вот жена у меня молодая, мне даже неловко... Конечно, при тебе она будет молчать, она даже со мной не очень-то разговорчива, но ты мне поверь — умница...

Квета оказалась дома. Франтишек позвал соседей, принес две бутылки старого «мельника». Он торжественно представил всем Деде:

— Командир партизанского отряда, освободившего город Лимож, и делегат Франции на Всемирный конгресс мира.

Улыбнувшись, он добавил:

— Ты надо мной, Квета, смеялась, что я люблю французов, а меня из Франции выкинули. Ну, а кто меня выкинул? Какой-то министр. Он сам не знает, что делает,

просто у американцев на побегушках. А теперь ты видишь настоящего француза, он пришел ко мне, и мы с ним сейчас выпьем по стаканчику. Это, конечно, Деде, не бургундское — солнца у нас нехватает, но вино неплохое. Выпьем за настоящую Францию!

Времени было мало, но Франтишек перед тем, как увести гостя, налил еще вина:

— За партизан, а прежде всего за наших старых друзей — за Мадо и за Медведя, чтобы были они так счастливы, как может быть счастлив человек на земле!

На вокзале играл оркестр; итальянцы пели «Бандьера росса»; девушки кидали в окна вагонов цветы. Еще один поезд уходил в Варшаву.

Полковник Доуневэн, усмехаясь, спросил Робертса:

— Как вам на этот раз понравился Лондон? Надеюсь, вы там хорошо отдохнули.

Робертс сдержался и не ответил. Тогда Доуневэн раскрыл папку и начал скрипучим голосом распекать Робертса:

— Скажите мне, пожалуйста, зачем вы ездили? И главное, где ваш знаменитый «план»? Тринадцатого ноября у красных было пять самолетов, четырнадцатого — девятнадцать, вчера — восемь. Они уже переправили около девятисот человек... Я вам давно говорил, что вы чересчур самонадеянны. Неделю назад вы мне сообщили, что в Варшаве будет не более пятидесяти делегатов из западных стран. А вы знаете, сколько там одних англичан? Двести тридцать один. Двести шестьдесят шесть французов... Вы обычно не даете другим сказать слово, что же вы теперь молчите?..

— Я не понимаю, как Рузен прозевал?.. Я его предупреждал, что нужно следить за брюссельским аэродромом. Да и Смитс с итальянцами... Получилось, конечно, отвратительно. Они буквально устроили воздушный мост над Западной Германией.

— То, что они устроили, я знаю. Интересно — что вы устроили? Они вас провели, как мальчишку. Разве можно было полагаться на ваш знаменитый «план»? Я, например, говорил вам, что нужно послать на конгресс десяток дельных людей, чтобы они создали атмосферу раскола. А кого вы послали? Рогге. Это попросту смешно. Может

быть, он вам импонирует своим ростом или весом? Насколько я знаю, умом он не блещет. Конгресс завтра открывается. Шума будет много... Не думаю, чтобы Джонсон вас поздравил...

Специальный поезд пришел в Варшаву вечером. Молодая женщина протянула Саблону букет темнокрасных гвоздик. Он снял шляпу и растерянно улыбнулся. Когда делегаты вышли на площадь, он увидел огромную толпу, белых голубок Пикассо, развалины домов, леса. Он смутно подумал о своей жизни. Полтора года назад я проезжал через Варшаву, и у меня в кармане был корреспондентский билет «Трансока». Прошлое разрушено, сожжено. А я все-таки живу, думаю, строю... Сорвать конгресс им не удалось. Завтра мы встретим друг друга, люди земли, и я верю, что мы договоримся...

А толпа повторяла:

— Мир! Мир! Мир!

93

Дженни Кембер знали в большом людном Гарлеме, хотя она всего год назад приехала с Юга. Как и в Джексоне, она шила голубые и розовые блузки, но это была не прежняя Дженни: она многое поняла. Давно ли она наивно спрашивала «черного губернатора», толстяка Бенча, сможет ли она в Нью-Йорке рассчитаться за Дэвида. Она тогда не знала, кто повинен в ее горе: Смидл, Лоу или все белые. В Джексоне старые негры уверяли, что Нью-Йорк — это рай, там нет погромов, и черные могут делать все, что им вздумается. Дженни, приехав в Нью-Йорк, сразу увидела, что это не так. Правда, она могла сесть в автобусе рядом с белым, но жить вне Гарлема неграм не разрешали, белые не пускали их ни в свои театры, ни в свои церкви, давали им только тяжелую, неприглядную работу.

Бенч написал о Дженни Брустеру; она не знала, что было в письме, но Брустер принял ее ласково и сразу устроил на работу. Вскоре после приезда она сказала ему: «Вся беда в том, что нас меньше, чем белых». Он покачал головой: «Нет, Дженни, есть и плохие негры. А я тебя

познакомлю с хорошими белыми». Дженни начала ходить на собрания. Два раза она слышала профессора Миклея. В комитете «Друзей мира» она познакомилась с Бетти. С Брустером она не говорила о своем горе, а Бетти она рассказала, как любила Дэвида, показала его предсмертное письмо: «Видишь — он написал, чтобы я была гордой...» Бетти ей многое объяснила. Прежде Дженни знала только любовь, ужас и возмущение, зеленую звезду в небе, сулившую горе, и красную звездочку на ладони Дэвида. Теперь она увидела людей, которые борются, она поняла, что значит быть гордой.

Джойс не случайно заговорил с Робертсом о Дженни Кембер: она значилась в его списках. Джойс знал, что эта негритянка собирает подписи под воззванием красных. То, что цветная набрала семь тысяч подписей, его не удивило, он часто говорил: «У нас в Америке своя палитра: черные — это красные». Но как сумела Дженни Кембер раздобыть несколько подписей белых? Это хитрая бестия, нужно будет ее схватить, как только она вернется.

На людей действовала убежденность Дженни: за каждым ее словом чувствовались горе, страсть, вера. Когда она узнала, что полиция арестовала друга Бетти, она вспомнила лес возле Джексона, кактусы, зеленую звезду. Разве спасет друга Бетти, что он — белый? Они не хотят, чтобы люди были счастливы. Если с ними не справиться, все женщины будут плакать — черные и белые.

С изумлением глядела Дженни на развалины Варшавы. Дэвид рассказывал ей о войне, но никогда она не могла себе этого представить. Я понимаю, что люди отовсюду приехали на конгресс!..

Войдя в огромный зал, она остановилась, потрясенная: здесь люди со всех концов света, и все они — ее друзья. Она села за стол американской делегации; по одну сторону был Марк Джеймс, по другую — реверенд Макгил. Марк Джеймс ей сразу сказал: «Людей-то сколько! А знаете почему? Людей вообще больше, чем мошенников. Они задумали свинство, но люди им не позволят». Глаза Дженни разбегались: китайцы, индийцы в пестрых одеждах, польская крестьянка, арабы, епископ в высокой шляпе. А вон там негры из Африки. Она попробовала с ними заговорить, но они не понимают по-английски. Один

ее обнял, все-таки они поняли друг друга... Много знаменитых людей, их все знают. А рядом простые, как она. Наверно, есть и мастерица, которая шьет блузки... Все стоят и аплодируют. На трибуне человек застенчиво улыбается, пробует рукой успокоить зал. Это — Жолио-Кюри, Дженни его узнала — в комнате, где работает Бетти, висит его портрет.

Она надела наушники. Зал сразу раздвинулся: перед нею был весь мир. Докеры Ля Рошелли стояли гордые в порту, говорили, что не будут выгружать пушки. Шли по полям Сицилии крестьяне, клялись, что отстоят землю, и пели чудесную песню. Среди высокого гаоляна бежали вперед китайцы, они торопились спасти корейцев. Боливийские горняки отвечали жандармам: «Мы не хотим помогать убийцам». На берегу Волги, как в сказке, рос новый Сталинград. Феллахи, изнывая от зноя, собирали подписи. Старый индиец читал стихи о счастье.

— Я скажу о себе,— так начал свою речь Саблон,— потому что есть еще много людей, которые думают, как я думал два года назад. Человеку не первой молодости трудно себе представить, что его обманывают, что он игрушка в чужих руках. Особенно трудно с этим примириться нам, французам, ведь у нас каждый желторотый птенец считает себя стреляным воробьем. Даже когда человек начинает сомневаться, не обманывают ли его, он цепляется за ложь, ему кажется, что этим он ограждает свою независимость. Меня убедили, что русские хотят войны, об этом писали газеты, это говорили все кругом. Некоторые из тех, кто так говорил или писал, были честными людьми, их тоже обманывали. Другие, может быть, потому поверили, что боялись коммунизма. Я не коммунист, многое из того, что говорят и делают коммунисты, мне чуждо. Возможно, что я к этому еще приду, не знаю. Коммунисты хотят перестроить жизнь, поэтому они защищают мир. Я не дорожу ни старыми привилегиями, ни предрассудками, но я откровенно скажу — я до сих пор по-настоящему не подумал над тем, как нужно построить жизнь. Но я давно понял — это я знал и тогда, когда во многом ошибался,— что если будет снова война, никто ничего не сможет построить, да и просто нельзя будет жить. Среди тех, кто защищает мир,

много коммунистов, и я их называю моими товарищами, как я называл их в сопротивлении, а потом в Освенциме. Теперь самое важное — спасти мир. Это было всего два года назад, даже меньше; мне кажется, что это было очень давно, я поехал в Москву как корреспондент «Трансока». Я ходил по Москве встревоженный. Минутами я сомневался — прав ли я? Но я еще ничего не видел, вернее не понимал. Мне хочется сейчас, в эту большую для меня минуту, поблагодарить одного русского человека. Это скромный врач, его зовут доктор Крылов. Он сказал мне, что лечит от болезней уха и носа. Но меня он вылечил от самой страшной болезни — от слепоты. Он первый открыл мне глаза. Я еще долго искал, путался, сомневался. Я узнал, чем занимались люди, которых посылал в Прагу и в другие города «Трансок» — Костер или майор Смидл: они убивали неповинных. Они и сейчас убивают. Пока мы здесь говорим о братстве, они стреляют из-за угла, бросают бомбы на города Кореи, готовятся начать войну в Европе. Неужели мы, люди всей земли, не сможем их остановить?..

Саблон рассказал о полковнике Робертсе, о новом агентстве «Пакс», о том, как Доуневэн организует группы убийц.

Среди журналистов находился корреспондент «Пакса» Демпси. Он писал не отрываясь. Корреспондент «Юнайтед пресс» шепнул: «Вы слышали, что он сказал о вашем агентстве?» Демпси кивнул головой и продолжал писать. Весь день он думал, что послать Бернсону, и внезапно на него сошло вдохновение. Он вспомнил, как утром возле гостиницы «Бристоль» школьники приняли его за делегата и выпросили автограф. Статью он начал так: «Конгресс проходит бесцветно. Ораторы, изнемогая от скуки, читают по бумажке однообразные речи — восхваляют русских и поносят американцев. Население мобилизовано: шеренги несчастных жителей должны приветствовать делегатов. Они это делают с нескрываемой ненавистью, у них ведь не только реквизировали квартиры, комнаты, даже кровати, их обрекли буквально на голод, потому что все продовольствие поглощается упитанными «сторонниками мира». Когда я утром вышел из гостиницы, меня обступили голодные дети, умоляли дать им

кусочек хлеба. Я сунул им несколько плиток американского шоколада, и я был единственным приезжим, которого здесь от души приветствовали».

Вдруг в зал внесли корзины с большими звездчатыми гвоздиками. Они расцвели на длинных столах, и красная звезда прижалась к щеке Дженни. На трибуну поднялась Жозефина Годэ:

— Ницца посылает свои цветы защитникам мира...

Ее верхняя губа с маленькими черными усиками дрожала от волнения. Жозефина рассказала, как борются против войны женщины Франции:

— Раймонда Дьен бросилась на рельсы, чтобы остановить поезд с боеприпасами. В моей родной Ницце, когда люди скинули в море раму для «фау-2», впереди шла героиня сопротивления Мадо Лансье, или, как мы зовем ее, Мадо...

Дженни представила себе маленькую женщину. Ей двадцать лет, она только что вышла замуж. Ее ждет любимый. Она знает, что поезд несет другим смерть. Поезд мчится навстречу. Тогда она кидается на рельсы. Ее сажают в тюрьму, судят. И другая — возле синего моря. Ее схватил жандарм, она вырвалась, и вот какая-то гадкая «рама» летит в воду... Дженни так зааплодировала, что Марк Джеймс добродушно усмехнулся: «Я, пожалуй, оглохну...»

Говорила кореянка Пак Ден Ай, хрупкая женщина в длинном белом платье. Никого так не слушали, как ее. Рядом с Дженни плакала пожилая американка, это была владелица фруктовой лавки, Браулер, сына которой послали в Корею. Пак Ден Ай рассказывала, какое горе принесли американцы тихой, светлой стране. Дженни все понимала. Вот так врывались в дома негров Райд или Ричмонд-младший, убивали детей. Одна кореянка несла на спине ребенка, потом хотела накормить его грудью и увидела, что дитя не дышит: его убил осколок бомбы. Но корейцы не сдались, не сдадутся, они гордые, они спасут свою страну...

Когда Пак Ден Ай кончила говорить, все встали, многие подбежали к ней, жали руку, обнимали. Реверенд Макгил тоже поспешил к кореянке, сказал: «Простите простых американцев, они не ведают, что творят. А зло-

деи, затеявшие эту войну, ответят перед богом и перед людьми». Браулер продолжала плакать, сквозь слезы она попросила переводчицу: «Скажите ей, что мне очень стыдно — у меня там сын...» Дженни стояла в стороне; потом она робко подошла к кореянке — не знала, как выразить свои чувства. Пак Ден Ай ее обняла; тогда Дженни заплакала от горя и счастья.

Профессор Кеннет вернулся довольный с заседания комиссии, сказал, что идет большая работа — составляют настоящую программу мира. Он боялся, что советские делегаты будут на все говорить «нет», но они внимательно выслушивают других, вносят умеренные предложения, соглашаются с поправками. «Теперь я вижу, что с ними можно договориться»,— сказал Кеннет.

А на трибуне стоял делегат Парагвая.

— Студент Мариано Алонсо боролся за мир. Они его арестовали, подвергли страшным пыткам, потом убили. Вот его окровавленная рубашка — я ее привез на Конгресс мира...

Дженни вспомнила Дэвида и закрыла руками лицо.

Ораторы сменяли один другого; среди них были и строгие юристы, и священники, и краснощекие крестьяне, привыкшие говорить только со своими домочадцами. Бирманец выступал после норвежца; после английского консерватора — негр с Антильских островов. Переводчики в стеклянных будках обливались потом; каждая фраза тотчас переводилась на разные языки. Журналисты толпились возле телефонных кабинок, передавали отчеты в Буэнос-Айрес, в Калькутту, в Каир. Заседания шли и по ночам. Делегаты то смеялись, то негодовали, то аплодировали. Конгресс жил лихорадочной поспешной жизнью, и Дженни понимала, что она тоже делает большое трудное дело: воздвигает плотину против войны.

В перерыве между двумя заседаниями Марк Джеймс с группой делегатов поехал осматривать Варшаву. Вернувшись, он сказал: «Вот что значит, когда нет мошенников! Город нацисты разрушили дотла. А вы посмотрите, что поляки сделали!.. У нас хвастают, что быстро строят, а здесь, пожалуй, строят еще быстрее: люди понимают, что строят для себя. Когда мы приедем, будет что расска-

зать. Конечно, нам могут заткнуть рот, потому что в Америке готовится неслыханное свинство...»

Корреспондент «Пакса» Демпси скучал: что за проклятая работа! Писать не о чем, и приходится сидеть в клетке с красными хищниками. Кто знает, что они могут выкинуть? Но надо остаться до выступления Рогге: он обещал, что будет скандал. Конечно, больше десяти — двадцати человек с ним не уйдут, но это можно расписать...

Когда делегаты встали, приветствуя Пак Ден Ай, Демпси, испуганный, тоже вскочил. Потом он оправдывался перед своими коллегами: «У меня особенно трудное положение, вы ведь слышали, как они ополчились на мое агентство. В общем принято вставать, когда здороваются с дамой, так что с моей стороны это было простой вежливостью...»

Эрих Шеллер приехал на третий день конгресса. Ему пришлось пробираться тайком; он перешел границу ночью. В своей речи он сказал:

— Напрасно генерал Даус надеется на немецкие дивизии. Он сговорился с Аденауэром и с фон Мальтцем, но не с народом. Нацисты разрушили Варшаву, а вот Варшава воскресла. Герои бессмертны, герои, но не убийцы. Никто не воскресит армии нацистов. Мы этого не позволим, мы это говорим здесь — в Варшаве...

В буфете к Эриху подошел Деде.

— Наш Пино не лучше вашего фон Мальтца,— сказал Деде.— Они прекрасно уживались в сорок втором, почему же им теперь не сговориться? Только мы вмешаемся в их переговоры, правда?

Эрих весело рассмеялся и ответил:

— Обязательно. Конечно, вы теперь впереди, но мы постараемся вас догнать.

Слово предоставили Дженни Кембер.

— Я никогда не выступала на таком большом собрании,— начала она,— и очень волнуюсь. Я обыкновенная негритянка, мастерица. До прошлого года я жила в Джексоне, это в штате Миссисипи. Я еле сдержалась, чтобы не крикнуть, когда говорил французский журналист Саблон,— он ведь назвал людей, которых я знаю. Майор Смидл устроил в Джексоне страшный погром.

Сожгли кондитера Банга, убили четырехлетнюю девочку. Смидл и раньше натравливал своих людей, каждый год они вешали негров или обливали бензином и сжигали. Вот откуда взялись убийцы, о которых говорил Саблон, они учились у себя дома, а потом начали убивать повсюду. Может быть, Ричмонда-младшего не послали в Корею, но послали таких, как он. Почему люди, которые управляют нашей страной, хотят войны? Они жадные и злые. У меня был друг, он работал на плантации сенатора Лоу. Его схватили, хотели посадить на электрический стул, он повесился. Он написал мне, что я должна быть гордой. Я стараюсь быть гордой; теперь, когда я вернусь в Америку, я буду бороться лучше, чем раньше,— я увидела, сколько нас во всем мире, у меня за спиной крылья. Мой друг был на войне, он мне рассказывал, как офицеры насмехались над черными солдатами. А ведь у нас тогда говорили, что мы воюем против Гитлера, потому что он притесняет другие народы, убивает евреев. Вчера одна полька мне показывала Варшаву. Я увидела, что здесь понаделали убийцы. Какое счастье, что теперь Польша свободна, что здесь нет ни немцев, ни американцев вроде Смидла! Поэтому поляки и строят город, день и ночь строят. Когда мы возвращались вчера с ночного заседания, я видела: работали при свете прожекторов. Мне так радостно, как будто эти дома мои. Ведь не радовалась я, когда Ричмонд строил дом в Джексоне, а здесь радуюсь. Полька повела меня в бывшее гетто, там до сих пор развалины, страшно глядеть. Она рассказала мне, что немцы держали в гетто евреев. Я это поняла: у нас в Джексоне тоже есть часть города для негров. Полька мне рассказала, как люди в гетто восстали, умерли в неравном бою. Я, женщина из Джексона, низко поклонилась памятнику,— эти люди погибли, потому что в них проснулась гордость. Нам теперь очень трудно в Америке,— я не только о неграх говорю,— трудно всем честным людям. Вы, может быть, знаете, что профессора Миклея недавно посадили в тюрьму, как Говарда Фаста, собираются судить Гайрстона за шпионаж. А он виноват только в том, что хотел мира, собирал подписи под Стокгольмским воззванием. У него есть любовь, я ее не назову. Она очень смелая, как те француженки, о кото-

рых здесь говорили. Таких, как она, в Америке много, я вас очень прошу, не судите о нашем народе по негодяям. Вы еще увидите Америку, ее сердце... У нас газеты пишут, что русские — наши враги. Мой друг, которого убили люди Смидла, рассказал мне, что русский полковник на Эльбе пожал ему руку. Мой друг вспоминал об этом перед смертью, написал мне. Я знаю, что советский народ хочет мира. У меня в комнате висит портрет Сталина. Когда здесь выступал советский делегат Шебаршин, я боялась пропустить слово. Я все записала, смогу рассказать в Америке... Моего друга здесь нет, его замучили, но я хочу пожать руку советскому делегату — и за моего друга и за многих других — черных и белых... Я здесь увидела новый мир. Никто меня не сторонится, оттого что я черная. Полька меня спросила, не хочу ли я остаться в Варшаве, я ответила, что хочу вернуться домой. Конечно, здесь мне было бы куда легче. Но я люблю Америку. Человек раз в жизни рождается, раз в жизни умирает, и родина у него одна. Мой отец работал на плантации возле Джексона, и мать там работала, там я родилась, на берегу желтой реки, там в лесах деревья обвиты мхом, а кактусы выше человека, там много, очень много горя. Человек, если нужно, должен умереть за родину, как умирают корейцы, как умер студент Парагвая, как умерли герои Сталинграда. Я кончила начальную школу, стараюсь побольше читать, но я еще очень мало знаю: в нашей делегации есть ученые, и все наши делегаты старше меня. Я могу только одно вам обещать: что бы со мной ни случилось, я буду бороться за человека, за братство, за мир. Я даю вам в этом клятву, я — Дженни Кембер, мастерица из Гарлема.

Когда она сошла с трибуны, к ней подошел Шебаршин. Взволнованная, она едва выговорила:

— Его звали Дэвид Гаррисон... Русские подарили ему маленькую красную звезду...

Она обняла Шебаршина и, улыбаясь, утирала слезы.

Две последние ночи Шебаршин не ложился: сидел над проектами резолюций, сверял переводы, беседовал с делегатами. Нужно было объяснить профессору Кеннету, что споры биологов не мешают мирному сотрудничеству. Француз Лекруа требовал уточнения понятия междуна-

родного контроля. Англичанка Линдс доказывала, что, хотя Макартур и допустил зверства в Корее, нельзя его публично в этом обвинять, поскольку не было международного судебного разбирательства. Шебаршин отвечал спокойно, дружески; он понимал, что в Варшаву приехали разные люди, их объединяет только одно: желание предотвратить войну. Они должны считаться со множеством предрассудков и предубеждений, разделяемых их соотечественниками, часто они сами от них не свободны— Саблон хорошо об этом рассказал. На советских делегатов смотрят по-особому — либо с безграничным доверием, либо с опаской; им нельзя ни погорячиться, ни отдаться своим чувствам.

Все последнее время Шебаршин плохо себя чувствовал; отдохнуть летом так и не удалось. Шли споры вокруг его предложения о дубах; как всегда, нашлись противники, они ссылались на отдельные неудачи. Приходилось писать, говорить, доказывать. И сразу (пять часов в самолете) от споров о выборе сопутствующих пород он перешел к дискуссии о том, каким должен быть международный контроль: периодическим или постоянным.

Шебаршин вспоминал Стокгольм: там мы заседали в «катакомбах», жители нами не интересовались, журналисты посмеивались над идеей сбора подписей. И вот Варшава... Такого, кажется, еще не было. Мы обратились через головы правителей к простым людям, и простые люди приободрились, почувствовали, что их голос может многое решить, торжественно они ставили свои подписи. Расписывались четко по-канцелярски клерки Лондона; китайцы привезли версты шелковых лент, испещренных иероглифами; негр в дебрях Африки вместо подписи ставил зазубрину на дереве. Заговорило человечество. Профессор Дюма в Стокгольме сказал, что нужно прорваться к людям. Жалко, что он умер, не видит этого зала...

Когда Шебаршина обняла Дженни, он увидел ее глаза, полные любви и печали; все в них было: и память об ее погибшем друге, и большая надежда. Шебаршину показалось, что это глаза Лели. Так она смотрела на Куксу, когда они проговорили вечер о войне. Белая и

черная, а как все люди похожи друг на друга, и в очень сложной, очень запутанной жизни есть нечто простое, понятное каждому: человеческая любовь.

От раздумий Шебаршина отвлек Пьер Кот: он хочет посоветоваться об определении агрессии.

Советских делегатов не оставляли в покое: Марку Джеймсу нужно было поговорить с русскими рабочими; Деде беседовал с московской учительницей; кубинский поэт искал Фадеева.

Эрих стоял перед картой с молодым китайцем; они не могли понять друг друга, а переводчика рядом не было. Эрих показал одной рукой на Шанхай, другой на Эльбу и улыбнулся: вот сколько нас! Улыбнулся и китаец той легкой, почти невидимой улыбкой, которая передает большое спокойствие.

Демпси злился: Рогге его подвел; никакого скандала не было. Когда во время речи Рогге несколько молодых итальянцев засвистели, Демпси оживился: начинается... Но председатель схватился за звоночек. А Рогге вместо того, чтобы демонстративно уйти, продолжал что-то читать. Ничего об этом не напишешь...

Демпси пошел в посольство: наверно, есть телеграмма, в Вашингтоне виднее, что мне писать. Секретарь посольства сказал:

— Бернсон сообщил, чтобы вы больше не писали о конгрессе. Он просит вас поговорить с некоторыми поляками — нужно использовать ваше пребывание здесь...

Демпси тоскливо зевнул: ему не улыбалось проторчать в Варшаве еще неделю и договариваться с какими-то подозрительными типами. Он уныло ответил:

— Хорошо, поговорю... Ну, как вам понравился красный балаган?

Секретарь усмехнулся:

— Конечно, этого следовало ожидать. Но, пожалуй, они превзошли себя... Посол вчера сказал, что даже если нам удастся до Рождества закончить корейскую кампанию, в Европе это не сбалансирует впечатления от Варшавы...

Демпси поглядел на часы: можно пойти в «Бристоль», поужинать, там неплохая водка, а мне просто необходимо приободриться.

В последний вечер делегаты стояли на трибунах; мимо них шли жители Варшавы. Факелы трепетали в ночи, казалось, они сейчас погаснут, а они вспыхивали еще ярче. Их живой, взволнованный свет передавал ту надежду, которая жила в сердцах людей.

Потом ракеты осветили город: ужасающие развалины и высокие новые дома, леса строек, заводы, Вислу, пепел гетто, трагедию народа, его торжество. Сотни тысяч людей глядели на небо. Огромный огненный сноп рассыпался, и одна красная звезда как будто повисла среди косматых дымчатых облаков. Дженни смотрела на нее и шептала: «Моя любовь! Моя жизнь!..»

94

Когда Дмитрий Алексеевич закончил обход палат, доктор Ракитин, улыбаясь, сказал:

— Вас поздравить следует, на конгрессе о вас говорили...

Крылов не понял:

— На конгрессе?..

— Сегодня во всех газетах. Один француз сказал...

Крылов смутился:

— Проспал я сегодня, понимаете, Евгений Владимирович. Сплю я теперь плохо, всю ночь ворочался, а под утро, как назло, уснул, просыпаюсь — восемь часов. Порезался, когда брился. Газеты не успел посмотреть...

Доктор Ракитин дал ему «Правду». Дмитрий Алексеевич прочитал речь Саблона и закричал:

— Это, знаете, удивительно!.. Ведь он здесь, в этой самой комнате, такое нес... А теперь прекрасно сказал... Насчет меня это, конечно, вздор, просто он имя запомнил. Я ему и тогда говорил, что его жизнь вылечит. Вот видите, Евгений Владимирович, какие дела делаются! Приехал он сюда от паршивого агентства, настроили его против нас, ничему человек не верил, и все-таки правда свое взяла. Я сразу подумал: что-то в нем человеческое. У нас ведь некоторые так рассуждают: раз ты не наш, значит враг. Забывают, как их там воспитывают, что говорят. Дело не в одном этом Саблоне, колеблющихся

миллионы, я не преувеличиваю, за них теперь идет битва: если удастся им раскрыть глаза, войны, пожалуй, не будет. Это неважно, что у американцев бомбы, важно, чтобы люди не пошли. Вот я читаю и думаю, как это замечательно, что такой Саблон опомнился! К нему многие прислушаются... Напрасно он только насчет меня сказал, ребячество, мне даже неприятно...

Крылов вдруг нахмурился:

— Нужно к Фоминой пойти. Что-то она мне не нравится. Как бы осложнений не было...

Из больницы Крылов поехал в министерство социального обеспечения, потом в прокуратуру, потом на научное заседание. Все время он думал о том, что за обедом увидит внука.

Жизнь Дмитрия Алексеевича с осени переменилась; он, шутя, говорил: «Меня судьба премировала». Летом Шебаршин побывал на Саратовской лесостанции; его внимание привлекли наблюдения Наташи над наиболее засухоустойчивыми формами дубов. Работа Влаховой показалась ему интересной, и он поставил вопрос об ее переводе в Москву, где она смогла бы в благоприятных условиях продолжить свои опыты.

Наташа с Васенькой приехали в октябре. Все перевернулось в квартире Крылова. Даже старый Томка походил теперь на щенка. Особенно радовал Дмитрия Алексеевича внук: он был озорным, бесстрашным, не мог ни минуты усидеть на месте и портил все, что ему попадалось в руки. (Крылов, стараясь его оправдать, говорил: «Это в нем дух изобретений».) Дмитрий Алексеевич только теперь понял, что хотя он никогда не скучал, ему нехватало веселой суеты, детского смеха, ласки; все это пришло с Наташей и с внуком. Этакая удача, думал он, помолодел, как Фауст, лет на сорок!..

Он рассчитывал попасть домой к семи, на девять назначили комиссию при МК; но заседание в академии затянулось, зато комиссию отложили — значит весь вечер свободный.

Дверь открыла работница: Наташу вызвали в институт. Вася был занят рисованием. Он обрадовался дедушке и сразу начал его засыпать вопросами: «Дедушка, а реактивный самолет, он, как ракета, летит или—

как самолет?.. А можно пустить такую ракету, чтобы она улетела очень, очень далеко, отсюда до Безыменки, нет, еще дальше?..» Дмитрий Алексеевич посмотрел на внука и засмеялся:

— Ты что, кисточку о нос вытирал? Посмотри, нос у тебя зеленый и красный, как у попугая. Пойди умойся...

— Я потом умоюсь... А почему у нас попугаев нет?

— Зима холодная.

— Нужно так сделать, чтобы зима была теплая... Дедушка, а скоро реактивные самолеты будут летать до луны?

— Наверно, скоро. Тебе что, на луну захотелось?

— Угу.

— Что же ты будешь делать на луне?

— Построю очень большой город.

— Ну, брат, для этого не нужно на луну лететь, город сможешь построить на земле.

— Нет, на земле это теперь строят, а когда я буду большой, на земле уже все построят. Я буду строить на луне высотные здания... Дедушка, ты очень старый?

— Для тебя очень.

— У Лени был папа не очень старый и умер. А когда человек умирает, от него ничего, ничего не остается?

— Почему? Вот я умру, ты останешься.

— Так это потому, что ты — мой дедушка. У нас в Безыменке был мальчик, Шура Никитин, он мне сказал, что у него никогда не было ни папы, ни мамы, значит он ни от кого не остался. В Безыменке был дедушка Череватых, у него восемнадцать внуков. А от тебя только я останусь...

— Нет, погоди, не только ты. Я вот учу студентов, после меня доктора останутся. Ты мне вчера про дубки рассказывал. Когда ты будешь взрослым, дубы вырастут, они останутся от мамы. Понимаешь?

— А что тут понимать? Это нам на уроке объясняли... Только я не буду сеять деревья, мне это не нравится, надо ждать, а у меня нет такого терпения. Я лучше буду строить, как папа; построю дом в тысячу этажей... Дедушка, а как по-твоему, на луне есть попугаи?

Он начал зевать, тер кулаком глаза. Дмитрий Алексеевич его уложил, потом прошел к себе. Нужно почитать газеты...

Он задумался. Трудно заглянуть в будущее, слишком быстро все меняется. Когда я теперь вспоминаю прошлое, мне странно, что это был я... Адвоката Щеглова в Липецке считали «неблагонадежным», потому что он читал романы Гарина и Шпильгагена. Люди бегали к юродивому Яшке, который лечил щипками; он садился возле собора и квакал. На Масляной возле дома купца Яхонтова с утра толпились люди, им выносили блины, Яхонтов приговаривал: «Хороший блин пойдет только к обеду, не раньше...» Ваське теперь интересней; у нас детство было озорное, но печальное.

В пятом году в Москве все приподнялись; потом приехали семеновцы, горела Пресня. Ужасный был Новый год! Я тогда был в восьмом классе, спорили, кто прав — эсдеки или эсеры. Я был влюблен в гимназистку Мусю, читал ей стихи «Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает...»

Наверно, иностранцам трудно понять, почему Россия вдруг вышла вперед. А люди у нас были необыкновенные. Я встречался с немецкими врачами, были среди них серьезные, знающие, но для всех медицина была профессией. А если вспомнить доктора Голованова... Он ведь ехал в распутицу за сто верст, чтобы спасти ребенка. Умер от тифа. Вообще, что за люди были земские врачи! Для них медицина была служением народу, идеалам. А сельские учителя?.. Студенты, курсистки жадно учились, спорили до утра, шли в подпольные кружки, их сажали в Бутырки, ссылали в Нарым или в Туруханск, юноши отдавали жизнь без позы, без громких слов... На Западе даже такого понятия не было — «интеллигенция». У нас много смеялись над дореволюционной жизнью, понятно — вспоминали купца Яхонтова, Распутина, глупых дамочек, которые корчили из себя парижанок. А было и другое: люди любили, страдали, боролись...

Что-то я философствую... Нужно посмотреть газету.

Крылов прочитал все выступления на Варшавском конгрессе. Один из делегатов говорил о том, что в Америке готовятся к бактериологической войне. Дмитрий Алексеевич, рассердившись, отбросил газету. Неужели медики способны на такую пакость?.. Я читал биографию Пастера давно, до войны, а запомнил каждый эпизод:

благороднейшая личность... Когда Пастер умер, мне было семь лет... И вот приходят мерзавцы, обладающие учеными степенями, разводят чумных блох. Неслыханно!.. Хорошо, что их разоблачили, они не посмеют начать: ведь все порядочные люди возмущены.

Помню, в первую мировую войну умирал Горшенин. Это было в Карпатах. Я его два дня пробовал спасти... Он говорил: «Скоро все будет по-другому...» Бредил, ему мерещились цветы... Через год началась революция.

Наташа родилась в девятнадцатом, это был очень трудный год, в Москве было темно, холодно, голодно. По тротуарам нельзя было пройти — каток, шли гуськом по мостовой, с портфелями, с кошелками, с котомками. А на Театральной площади, как раз на углу Дмитровки, сверкали электрические буквы: «Дети — цветы жизни». Я тогда шел и думал: как сложится жизнь Наташи? Много было страшного, не хочется вспоминать, но все-таки выстояли...

Крылов заглянул в соседнюю комнату. Васенька мирно спал. Дмитрию Алексеевичу показалось, что он улыбается. Наверно, на луну летит...

Наташи что-то долго нет. Заседания у нас длинные, вот беда...

Крылов взял томик стихов и, забыв про все, погрузился в стихию образов, слов, звуков.

Наташа пришла в час ночи, пила чай, рассказывала про заседание: Мамонов снова ворчал, что Шебаршин идет наобум. О Шебаршине Наташа говорила восторженно:

— Представь — вчера вернулся из Варшавы и сразу все перетряхнул, другая атмосфера. Когда он здесь, люди не отписываются, а работают. У него всегда смелые идеи... Он меня сейчас довез в своей машине, рассказывал про Варшаву. Он говорит, что Саблон произвел на всех огромное впечатление. Мне было очень приятно, что он так хорошо сказал о тебе...

Крылов смутился:

— Вот уж ничего здесь нет приятного. Обо мне он зря сказал. Но хорошо, что он нас понял. Знаешь, Наташа, он мне сразу понравился — глаза у него были живые, печальные и растерянные... А Шебаршин превосходно вы-

ступил. Я думаю, что Варшава подействует на американцев, от них начинают отворачиваться даже те, кто им верил. Ну, а на чумных блохах далеко они не ускачут...

Наташа спросила:

— Ты что читал?..

— Да так... случайно книга попалась...

Он вдруг оживился:

— Стихи читал. Замечательные!.. Ты только послушай:

Полнеба охватила тень,
Лишь там на западе бродит сиянье —
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье!

Он добавил, чуть усмехнувшись:

— Может быть, мне потому нравится, что к возрасту подходит... Но какой ритм и звучание какое!..

Наташа поглядела на него с восхищением. Почему он говорит о возрасте? Да он моложе молодых. Право, я не знаю другого такого. У него страсть в каждом слове и всегда что-то скрыто за словами. Завтра с утра побежит в больницу, потом добудет кому-нибудь комнату или пенсию, переубедит еще одного Саблона... А ночью сидит, читает Тютчева. Это не потому, что он мой отец, но он вправду удивительный...

А Крылов загрохотал:

— Ты знаешь, куда Васька метит? На луну, не иначе...

95

Марии Михайловны не было дома, когда к Оле приехал сотрудник министерства; он рассказал, что Минаев во время воздушной бомбардировки получил тяжелые ожоги; жизнь его вне опасности; как только спадет температура, его перевезут во Владивосток. Оля сказала Марии Михайловне, что решила провести отпуск вместе с Митей во Владивостоке. Мария Михайловна огорчилась, но не проронила ни слова.

Неделю спустя Оля вылетела во Владивосток. В самолете она еле сдерживалась, чтобы не расплакаться; рисовала себе страшные картины, видела мужа искале-

ченным, терзалась, что не поехала с ним. Было нестерпимо жарко; у Оли болели уши; мелькали аэродромы; громоздились облака, показывались и пропадали леса, города, реки; а она видела огонь, госпиталь, кровь, бинты, смерть, белую и тихую, как снег.

Она не помнит, как вошла в госпиталь, как взглянула на Митю, помнит только, что он сказал: «Глупо вышло... Вот тебе и твои каникулы...» Она хотела крикнуть, что это неслыханное счастье — он жив, врач сказал — выздоровеет, и не могла ничего вымолвить: ее душили слезы.

Несколько дней спустя, когда Минаеву стало лучше, она спросила:

— Как это случилось?

Он улыбнулся:

— Жгут они, понимаешь... Ну, вот и я попал. Выскочил в окошко... В общем ничего особенного. Но ты, Оля, не можешь себе представить, что они творят! Бомбят город, как курганчик, помнишь? Корейцы молодцы, население держится удивительно...

Он начал рассказывать о войне, пока Оля его не прервала:

— Хватит, тебе нельзя утомляться.

Потом он ей часто рассказывал про первые дни войны в Пхеньяне, но о том, как очутился в горящем доме, не сказал.

В начале октября Минаев с Олей предстали перед Марией Михайловной. Пришлось рассказать, что Митя получил тяжелые ожоги; они не хотели ее волновать, поэтому писали, что во Владивостоке его удерживает работа.

Мария Михайловна заплакала.

— Мамуля, что же ты плачешь? Теперь все в порядке. Видишь, я как с курорта приехал, даже растолстел.

— Да ведь тебя убить могли,— всхлипывая, повторяла Мария Михайловна.

Потом она стала оправдываться:

— Ты, Митя, не сердись. Старая стала твоя мамуля. Когда ты на войне был, я других утешала, сил было больше. Мне ведь семьдесят третий пошел, вот беда...

На следующее утро Минаев увидел, что мать снова плачет. Он стал ее успокаивать: ожоги поверхностные,

врачи говорят, даже следов не останется. Мария Михайловна продолжала плакать:

— Мне людей жалко, Митя. Ведь что они с людьми делают! Разве это можно?.. Когда Гитлер отравился, я думала, теперь все вздохнут. А что получается? Одних угомонили, другие начали. Ужас какой! Людям-то нужно опомниться... Ненавижу я этих американцев! Как они тебя засадили, я сразу поняла, что у них нет совести. Людей жгут... Так если он не американец, что, ему жить не хочется? Кто им право дал убивать народ? Доиграются они... Я помню, как немцев по улицам водили. Я с покойным Давидом Григорьевичем глядела... И на американцев управа найдется. Только людей жалко. Пока эти душегубы сами не отравятся, сколько они невинных загубят? Наверно, и в Корее есть такие, как Гриша, родители плачут, может и родителей пожгли... А жизнь у человека одна...

Минаев уже ходил на службу, жил московскими интересами, редко вспоминал о происшедшем; по ночам сидел и писал про курганчик. А Мария Михайловна все не могла успокоиться, чуть ли не каждый день спрашивала Олю: «Митеньку никуда не отошлют?..» Ей казалось, что американцы задумали погубить ее сына.

Шестого декабря Мария Михайловна решила отпраздновать день рождения Мити: испекла пирог, купила бутылку шампанского. Митя, увидав обеденный стол, удивился: «Ну, чему здесь радоваться? Тридцать пять лет человеку, а он еще ничего не сделал...»

Сели обедать. Вдруг раздался звонок. Вошел кореец. Минаев растерянно щурился: не мог вспомнить, где он видел этого человека. Кореец напомнил: они встречались несколько раз в Пхеньяне, в советском посольстве, он — литератор, возвращается из Варшавы, был на Конгрессе мира. У него есть поручение к Минаеву...

Мария Михайловна всполошилась:

— Нет, вы уж с нами пообедайте. Да вы не стесняйтесь, на всех хватит... Вот сюда садитесь, рядом со мной...

Гость сказал, что торопится. Мария Михайловна не сдавалась:

— Хоть пирога покушайте... Сегодня день рождения Митеньки...

Закусили, чокнулись. Потом кореец сказал:

— Я не стал бы вас беспокоить, но я обещал Ли Ок Ён. Она теперь героиня, на фронт пошла, зенитчица, два самолета сбила... Девочку она своей матери оставила. Я перед отъездом в Варшаву встретился с ней, она и попросила обязательно вас разыскать, сказать, что никогда не забудет, чем вам обязана. Фотографию просила передать...

Мария Михайловна долго искала очки, разглядывала фотографию. Она ничего не понимала и, наконец, решилась спросить:

— Это кто же такая?..

— Ли Ок Ён. Ее девочку спас ваш сын, она прислала на память...

Он оживился:

— У нас, товарищ Минаев, вас часто вспоминают. Конечно, имя не все знают, говорят: «Русский, который спас девочку...» Вы понимаете, что это для нас значит? Американцы каждый день убивают детей, а вот советский человек, рискуя жизнью, вынес из огня корейскую девочку... Я расскажу в Пхеньяне, что вы поправились, что я присутствовал на семейном торжестве,— это для меня большая честь...

Мария Михайловна и Оля сидели потрясенные. Минаев был сконфужен, он быстро заговорил о событиях на севере Кореи, о Варшавском конгрессе.

Кореец встал:

— Вы меня простите, но мы сегодня уезжаем...

Когда гость ушел, Мария Михайловна расплакалась. Минаев наклонился над тарелкой, как будто был поглощен пирогом.

— Да как же ты матери не сказал? Скрой дурное, это я понимаю. А ты дитя спас... Ну что ты молчишь? Ненормальный ты человек! Отец у тебя был простой и я, кажется, как все, в кого только ты уродился?

Минаев забормотал:

— Что ты целую историю подымаешь? Ничего тут нет особенного... Загорелся дом, я и подал ее в окно...

— А почему матери не сказал?..

— Да о чем тут рассказывать? Ведь когда со стороны, это иначе выглядит, можно подумать другое, а на

самом деле не так... Я и Оле не сказал. Ты, мамуля, не обижайся. Я тебе правду говорю — это не то, чтобы я решил спасти, просто само собой вышло...

Мария Михайловна еще долго плакала, ругала Митеньку, восхищалась им; потом надела валенки, шубу.

— Ты куда это собралась на ночь глядя? — спросил Минаев.

— На старую квартиру. Да ты за меня не бойся, я сегодня разорюсь — в такси поеду. Анна Борисовна болеет, я давно собиралась ее проведать. Расскажу, как тебя на чистую воду вывели... Ей, бедняжке, скучно одной, она всегда о тебе спрашивает, вот я ее и обрадую. Ведь не все с фокусами, как ты, она загордится, что ты корейскую девочку спас, понимаешь? Она тебя помнит, когда ты под столом ходил, это она тебя читать учила.. Не думала я, что ты такой вырастешь...

Она снова заплакала, обняла сына:

— Хороший ты мой!.. А матери не сказал...

Мария Михайловна ушла. Минаев с опаской поглядел на Олю:

— Теперь ты накинешься?

Оля засмеялась:

— Нет, я ведь тебя знаю. Ты и на фронте таким был... А как ты меня мучил! Не мог сказать... Зачем-то придумал, что у тебя невеста...

Она подошла, обняла его:

— Вот такого люблю...

— Ну, какого «такого»? Обыкновенного... Я понимаю, что вышло глупо, можно подумать, что я нарочно скрыл, из кокетства. Просто как-то не получилось, поэтому и не рассказал... Я мамуле правду сказал — ничего тут нет особенного, на моем месте каждый поступил бы так же...

Оля задумалась.

— Знаешь, Митя, ты невозможный человек, но я тебя понимаю... Газету возьмешь, все слова исключительные. А люди у нас скромные, они и не говорят так. Если говорят, то только на собраниях... Наверно, чем больше чувства, тем проще должны быть слова. А барабанить легко...

— Я об этом часто думаю. Я тебе расскажу, только не сейчас... Я мечтаю найти простые слова... Впрочем,

дело не во мне, я юрисконсульт, у нас свой лексикон...

Он улыбнулся и другим голосом, очень тихо сказал:

— Ну, вот подумай, что я могу тебе сказать? Что ты — Оленька, что у тебя серые глаза, а когда ты со мной, они зеленые, что мне очень повезло — я тебя нашел. Все не то. Хочется сказать два или три слова таких, чтобы вместо потолка были звезды...

Он ее прижал к себе и поцеловал, так поцеловал, что серые глаза сразу позеленели. Больше они ни о чем не говорили; в комнате было тихо, только упрямо тикали ходики Марии Михайловны, но ни Минаев, ни Оля их не слышали.

96

Маккорну не повезло. Потом, вспоминая все приключившееся, он думал: в общем мне повезло, потому что мне удивительно не повезло. Шестого декабря, проснувшись, он сразу понял, что будут крупные неприятности. Он основывался больше на своей примете, чем на словах лейтенанта Беркли или на оценке общего положения. Еще в Германии он заметил, что можно великолепно уцелеть, когда дела идут из рук вон плохо, а вот лейтенанта Льюиса убили за день до капитуляции немцев. Зато приметы редко обманывали Маккорна. К общепринятым суевериям он относился равнодушно. Почему-то люди боятся цифры «тринадцать», а Маккорн получил военную медаль 13 апреля 1945 года. Дело не в цифрах, плохо, когда утром наденешь носок наизнанку, это всегда связано с какой-нибудь дерьмовой историей. Так приключилось в тот день, когда к нему пришел русский и заказал синий костюм. Казалось бы, что тут особенного — надеть носок наизнанку, а Маккорна начали мучить — зачастили Дуббельт, полицейские, пришлось продать мастерскую. Шестого декабря на рассвете Маккорна разбудил лейтенант Беркли, он был сам не свой, кричал о каких-то китайцах. Маккорн послал его к чорту: лейтенанта Беркли все знают как трусишку, о китайцах говорят уже добрый месяц, незачем было будить меня в этакую рань. Он натянул одеяло на голову и поспал еще часок. Потом он встал и, поглядев в окно, поморщился:

ветер, видно, хуже вчерашнего, холодно от одной мысли, что сейчас придется высунуть нос за дверь. Он начал одеваться и тут-то в ужасе заметил, что надел левый носок наизнанку. Чорт его знает, может быть Беркли и прав? Конечно, Макартур говорит, что никаких китайцев нет, но почему я должен ему верить? Наверно, он большой мошенник.

Маккорн и в Нью-Йорке не строил себе иллюзий, он сразу раскусил Эндерса. Почему этот мошенник послал Маккорна в Корею, а сам остался дома? Может быть, он думает, что Маккорн ему поверил, когда он сказал, что его удерживает «гражданский долг»? Уж не такой Маккорн дурак! Он знал, что его втянули в дерьмовую историю. Это проклятая страна, незачем было американцам сюда соваться. Один чорт разберет, кто из них прав и кто виноват. Маккорну это во всяком случае неинтересно.

Первое время он все же крепился. Погода стояла хорошая. Американцы бомбили корейцев, а корейцы не бомбили американцев, так что можно было жить. Конечно, и тогда Маккорн злился. У него, например, болело ухо, потом его измучил понос. Он часто думал, что зря поехал в Корею. Противно проходить мимо сожженных городов, плачут детишки, а люди смотрят исподлобья, как звери. Конечно, на то война... Парни Маккорна хватали девушек, били корейцев — не до смерти, но изрядно; одни отводили душу, другие просто забавлялись. В Сеуле Маккорн нашел девчонку, отец ее был американцем, а мать японкой, она служила в столовой. Он ее не насиловал, избави бог, он не солдат, да и возраст у него не тот. Две недели он развлекался, а потом они двинулись на север. Маккорну в общем везло: он почти не встречал красных. Один только раз они окружили полсотни корейцев. Это был поганый денек: ранили лейтенанта Нельсона, убили четырех солдат. Красных уничтожили. Трое сдались, но парни сказали, что красные убивают всех, так что незачем с ними возиться; пленных прикончили. Другой раз напали бандиты, застрелили сержанта. Конечно, не все в деревне были виноваты, но кто тут разберется, а сержанта убили, пришлось перестрелять всех.

Началась осень. В горах было холодно, пусто, неприглядно. Кормили, по правде сказать, скверно, каждый

день консервы. Долго простояли в полусожженном городке. Солдаты тосковали, безобразничали; один парень проломил нос другому. Начали поговаривать о каких-то китайцах. Наконец пришел приказ Макартура. Все приободрились. Война опостылела, хорошо бы к Рождеству вернуться домой. Кончать так кончать!

Три дня все шло, как по-писанному. Батальон Маккорна продвинулся на сорок километров. Маккорн, глядя на карту, думал, что уже недалеко до реки Ялунцзян, а там конец этой треклятой Кореи. Лейтенант Беркли нервничал, говорил, что китайцы еще могут выкинуть фортель. Лейтенант Пратт ворчал: стоит дойти до реки Ялунцзян, как Трумэну захочется установить демократию в Китае, и никого домой не отпустят. Маккорн, однако, сохранял оптимизм. Накануне того дня, когда произошло нечто невообразимое, он нашел теплый дом, выпил полбутылки виски и чудесно выспался бы, не разбуди его лейтенант Беркли. И вот эта препротивная история с носком...

Одевшись, он вышел и сразу увидел: что-то приключилось. Часовых нигде не было. Пронеслись четыре джипа, Маккорн не успел разглядеть, кто едет. Он пошел в соседний домик, где ночевал лейтенант Беркли, но лейтенанта не было. Вообще никого не было. Вдруг он увидел капитана Олдвика, который сидел в переполненном людьми джипе. Водитель копался в моторе. Маккорн спросил, что приключилось. Капитан Олдвик не мог говорить, у него ходуном ходила нижняя челюсть. Лейтенант (Маккорн видел его впервые) сказал:

— А то происходит, что в десяти милях китайцы.

— Не может быть! — воскликнул Маккорн.

Никто с ним не стал спорить. Лейтенант торопил водителя. В джипе, кроме двух офицеров, было семь солдат. Маккорн, подумав, сказал:

— Если действительно красные в десяти милях, я тоже поеду.

Конечно, машина была переполнена, но раз поместились девять человек, может поместиться и десятый, уж не говоря о том, что солдат обязан уступить место офицеру. Никто, однако, и с места не двинулся, а незнакомый лейтенант сказал:

— Полковник говорил, что вам послали четыре машины. А у нас штабные документы...

Джип унесся. Маккорн побрел дальше. На дороге он увидел лейтенанта Пратта и два десятка солдат. Они шли и громко ругались. Никто не поздоровался с Маккорном, только лейтенант Пратт сказал:

— Вот и доигрались...

Маккорн подумал: дело действительно дерьмовое. Не верю я в эти четыре машины. Да и насчет штабных документов вранье, просто никто не хотел уступить место. Беркли удрал, это не по-товарищески, будь я на его месте, я бы его вывез. Почему люди такие мошенники?..

— Что же мы будем делать? — спросил Маккорн лейтенанта Пратта.

— Ясно что — подыхать. Эти сволочи нас бросили. Я пробовал остановить машину. Даже не смотрят...

Один солдат сказал:

— Ничего другого не остается, как поднять руки. Наверно, к вечеру прикатят красные. Уж не думаете ли вы, что мы сможем их остановить?

— Нет, этого я не думаю,— ответил Маккорн.— Но сдаться красным глупо. Вы же знаете, что они всех убивают. Почему они должны пощадить именно нас?

— Я не говорю, что они нас пощадят, я говорю, что у нас нет другого выхода. Если мы подымем руки, скорей всего нас убьют. А может быть, и не убьют. Но если мы будем в них стрелять, нас обязательно убьют.

Маккорн подумал: в этом есть логика. Он выпил из фляжки виски, немного согрелся, начал даже насвистывать. Чорт их знает, может быть нет никаких китайцев, а просто парни струсили? Возле Магдебурга прибежал лейтенант, кричал, что навстречу идут две дивизии эсэсовцев, а оказалось, что шли солдаты, побросавшие оружие.

В полдень они решили перекусить и отдохнуть. Дом был нежилой, но все-таки в доме нет проклятого ветра, который так и залезает под рубашку. Маккорн даже всхрапнул: его слишком рано разбудил лейтенант Беркли.

Два часа спустя солдаты Народной армии посадили Маккорна в джип и повезли на север. Он понимал, что его сейчас убьют, и хотел на прощание вспомнить что-

нибудь приятное. Но в голову лезли дурацкие мысли. Вот я написал Пегги, чтобы она взяла у Бансера сто двадцать долларов, а интересно, что она сделает с этими деньгами? Наверно, купит рождественский подарок своему колченогому. В общем не он за ней волочится, а она за ним. Противно, лучше бы эти деньги остались у Бансера... Он вспомнил, что доживает последние минуты, и начал про себя читать «отче наш». Он решил считать, сколько раз он успеет повторить молитву до того, как его прикончат. Когда в двадцать восьмой раз он сказал «аминь», машина остановилась у небольшого белого дома.

Маккорна допросили, потом провели в соседнюю комнату, принесли обед. Он глядел в тарелку и не верил глазам: почему они вздумали меня на прощание накормить? Он замерз в машине и с наслаждением глотал горячий суп. Стемнело, и он уснул на скамейке. Утром его отвезли в лагерь. Там он увидел лейтенанта Беркли. Мошенник, он хотел меня перехитрить, а красные его нагнали, все-таки есть справедливость.

Маккорна допрашивал кореец, который прекрасно говорил по-английски; он угостил Маккорна сигаретами, буквы на коробке были китайские, а по вкусу сигареты напоминали «кемел».

— Почему вы поехали в Корею?

— Это длинная история. До войны — не до этой, до настоящей — у меня была мастерская непромокаемых пальто. Лучше моих не было. Может быть, вы случайно видели, на них была марка с изображением сирены. Потом я воевал в Германии, получил даже медаль — мне здорово повезло,— немцы нас окружили, как вы теперь, но тогда мы выкарабкались. А вот в Америке мне не повезло. У нас там такая жизнь, что нельзя зевать. Я воевал, а другие делали непромокаемые пальто, и когда я вернулся, мне нечего было делать. Я открыл портновскую мастерскую. Ко мне пришел один русский, заказал синий костюм, дал задаток, а за ним прибежал Фред Дуббельт. Вы его, конечно, не знаете, но это большой мошенник, я даже подозреваю, что он служит в полиции. Он мне сказал, что ему обязательно надо вспороть пиджак русского, потому что красные решили взорвать завод в Теннесси.

Что он нашел в пиджаке, я не знаю,— он с ним возился за перегородкой, я только знаю, что на этом я потерял здоровье. Русского они посадили и выпустили, а расплачиваться пришлось мне. Они так мне надоели с этим красным, что я продал за гроши мастерскую. Я работал в бюро похоронных процессий, это дерьмовое занятие — нужно стоять над живым человеком и ждать, пока он не окочурится. Конечно, это все-таки лучше, чем воевать в Корее, потому что здесь я ждал, что я окочурюсь. Я даже не понимаю, как я уцелел? Я неглупый человек и не вчера родился, но у нас решительно все говорили, что красные хотят напасть на Америку. Газеты каждый день об этом писали, рассказывали такие страшные вещи, что я не спал по ночам. Дуббельт меня отправил к другому мошеннику. Зовут его Эндерс, он из «Американского легиона», может быть вы о нем слышали. Он мне сказал, что я должен спасать Америку. Когда человеку говорят такие вещи, это, знаете, действует. Конечно, теперь я вижу, что он меня провел, я и тогда подозревал, что он мошенник, но я уже записался, а у каждого человека есть гордость, вот я и оказался в Корее. В Нью-Йорке говорили, что это будет плевая война, а жить станет легче — у всех будет работа. Насчет работы я сомневаюсь: после той, настоящей войны многие разбогатели, а я, например, остался без цента. Одним хорошо, другим плохо, у нас всегда так. Ну, а насчет плевой войны — это ерунда. Моему батальону до последнего дня везло, а есть такие части, где мертвых больше, чем живых. В общем хорошо, что вы меня не убили. Не такой уж я счастливый, но жить каждому хочется. А если вы меня спросите, кому нужна эта война, я вам отвечу: не Джиму Маккорну. Поговорите с Трумэном, он-то, наверно, знает. По-моему, это большое мошенничество. Я, например, не понимаю ни одного слова на вашем языке, откуда же мне знать, кто у вас прав, а кто виноват. Я только видел, что наши парни здорово безобразничали, а летчики пожгли решительно все. Я думаю, что нас теперь одинаково не любят и северные корейцы и южные. А за что нас любить? Ведь сколько мы ехали, я не видел ни одного целого города. Я уж не говорю, как наши парни обходились с красными. Вот вам и вся моя история. Можете меня судить,

даже повесить, если у вас так полагается. Радоваться я, конечно, не буду, но я понимаю, что вы должны иметь против меня зуб,— в общем не вы пришли ко мне, а я к вам. У меня тоже зуб — не против вас, а против мошенников. Если случится такое чудо, и я попаду в Нью-Йорк, я уж поговорю с Эндерсом...

Кореец сказал Маккорну, чтобы он успокоился, никто его не собирается вешать.

Ночью Маккорн задумался: а я ведь говорил, как Гайрстон. Может быть, они мне что-нибудь впрыснули в вену? Да нет, когда впрыскивают, это больно, а я ночью спал, никто меня не будил. Наверно, Смидл придумал, что ему впрыснули, он тоже был изрядным мошенником. Я неглупый человек, почему я верю всему, что пишут? Удивительно!..

Он посмотрел в окно. Ночь была ясная, лунная. На дворе, наверно, мороз. Он поежился. Чего только не делают с людьми? А ведь живешь один раз, двух жизней не бывает, и живешь, по правде сказать, отвратительно... С этими печальными мыслями он и уснул.

97

Еще несколько дней назад Робертс мучительно переживал свою неудачу. Конечно, Доуневэн, как всегда, показал себя грубияном, но на этот раз он был прав. Я действительно увлекся абстрактной схемой, красные меня перехитрили. В Америке газеты оказались на высоте, никто в погоне за сенсацией не стал расписывать Варшаву, но в Европе убытки большие. Вряд ли Бойдж высокого мнения о моих дипломатических способностях. Вообще Варшава сильно подорвала мой престиж. Даже Бернсон, разговаривая со мной, позволил себе неуместную шутку. Я не ищу ни славы, ни благодарности, но нельзя меня ставить в угол, как провинившегося мальчишку...

С усмешкой Робертс вспоминал свою обиду: теперь удар нанесен престижу всей Америки. Я никогда не был сторонником азиатского варианта, но когда война идет, поздно спорить, стоило ли ее начинать. Восьмая армия

поспешно отступает, возможно, что ей не удастся выйти из окружения. Конечно, виноват Макартур. Как он мог утверждать, что китайцы не двинутся с места? Это попросту глупо. Никто, однако, не примет нашего поражения за провал одного Макартура. Европа расценит это как слабость нашей армии. Многие еще не представляют себе размеров катастрофы, им кажется, что мы потеряли кусок территории и несколько тысяч солдат, отсрочили на неопределенный срок объединение Кореи, а на самом деле трещит Атлантический союз. Зачем обвинять одних французов? Я видел, с каким недоверием англичане относились к нашим планам, легко себе представить, что они говорят теперь.

Полковник Доуневэн считал, что в происшедшем виноват государственный департамент. Наши дипломаты не хотят понять, что мы живем в эпоху войн. Нужно было нажать на союзников. В конечном счете мы им даем доллары не для того, чтобы какой-нибудь Бедье кутил с барышнями у «Максима». Несчастье, что страной правит партия, которая сама состоит из десяти партий! Один демократ требует, чтобы мы завтра сбросили бомбу на Москву, а другой в это время лопочет об умиротворении. У них слишком много слюнтяев, воспитанных на манной каше Рузвельта. Ачесон хочет представить все происшедшее, как поединок между Макартуром и президентом, это смешно. Теперь нужно спасать положение. Если мы не уничтожим несколько китайских городов, над нами будут смеяться не только китайцы, но и французы.

Сколько раз я повторял, что Макартур доведет страну до катастрофы, говорил себе Бойдж. Все это — проделки республиканцев. Никто никогда не отрицал, что у нас есть интересы в Азии, но ребенок — и тот поймет, что мы не можем удержать Корею, пока существует Москва. Человеку, у которого рак, не дают аппетитных капель. Война в Корее никого не увлекает. Мы добились того, что пятьдесят государств обещали оказать военную помощь Южной Корее. Все вместе они дали сорок тысяч человек. Разве это не фарс? Я не обвиняю англичан или французов, им кажется безумием посылать людей в Корею. Они и вчера не верили, что мы можем их оградить от красных, теперь они окончательно скиснут. Подымут голову

сторонники нейтралитета. Какой-нибудь лионский фабрикант боится, что он лишится состояния, с этим нельзя не считаться. Может быть, после корейской истории наши деловые круги образумятся? Нет худа без добра: я надеюсь, что Макартуру придется уйти, а самодурам из Пентагона прикрутят хвост.

В сенате давно не было такого волнения. Сенатор Брюстер потребовал, чтобы Макартур тотчас сбросил бомбу на Харбин или на Мукден. Сенатор Морзе говорил, что лучше ударить по голове и сбросить бомбу на Москву. Друг покойного Лоу, сенатор Кэйн примирительно сказал:

— У нас по меньшей мере двести бомб, мы можем их сбросить и на Китай, и на Москву. Внешняя политика должна быть двухпартийной. Главное — это решиться и сбросить первую бомбу...

Узнав о том, что произошло на севере Кореи, Пегги Маккорн сразу подумала: Джим не вернется. Она одна на свете. Правда, у нее Чарльз, но владелец закусочной — черствый человек, к тому же он засматривается на каждую смазливую девчонку, а Пегги тридцать четыре года, на ее лице появились противные морщинки, не помогают ни кремы, ни массаж.

Вечером Пегги пошла с Чарльзом в театр. Показывали новую оперетку: началась война против красных, все убежали в убежище, и жена в темноте приняла своего мужа за любовника, начала с ним нежничать, он тоже ее не узнал, решил, что это хорошенькая соседка, и вдруг зажгли свет. Пегги смеялась. Вдруг она вспомнила про Джима. Он сейчас лежит мертвый, а вокруг прыгают китайцы. Она одна, Чарльз ее скоро бросит. Из ее глаз потекли слезы. Когда кончилось первое действие, владелец закусочной сказал:

— Пойдем в бар, я хочу промочить горло.

Заметив, что Пегги плачет, он удивился:

— Кого тебе жалко? Может быть, обманутого мужа?

Она покачала головой:

— Это очень смешно... Но Джима убили, я в этом убеждена.

— Брось хныкать! Почему его должны убить?.. В «Ньюс» сегодня напечатано, что президент изучает

вопрос о бомбе. Ты понимаешь, что это значит? Через несколько дней все красные сварятся, я в этом не сомневаюсь. А твой Джим вернется с новой медалью.

На заводе Марк Джеймс говорил рабочим:

— «Президент изучает»... Скажите пожалуйста! Лучше бы он изучил, сколько миллионов подписалось под Стокгольмским воззванием. Я после Варшавы знаю, что весь мир против бомбы. Я уж не говорю о рабочих, но «Красный крест» против, епископы, даже бельгийская королева... Корейцы правильно сделали, что дали Макартуру по зубам. Пусть мошенники мне ответят, почему они полезли в Корею?..

Виппер попробовал возразить:

— Нужно было навести порядок.

— Лучше бы они здесь навели порядок. Я помню, как они расписывали, что мы все разбогатеем. Пока что разбогатели одни мошенники. Может быть, нам повысили ставки? Ничего подобного. А вот цены в магазинах повысили. Мы так разбогатели, что еще год-другой и станем нищими. Теперь им мало Кореи, они хотят налететь на Китай. Это — очень большое свинство, потому что расплачиваться придется нам...

Бойдж, встревоженный, сидел над телеграммами. Конечно, он предвидел, что реакция на слова президента будет сильной, но такого и он не ожидал. Бойдж мог бы радоваться: он говорил, что нельзя играть с огнем; пытаясь спасти кусок земли в Азии, легко потерять всю Европу. Сейчас, однако, не время сводить счеты с республиканцами, положение слишком серьезное, на карту поставлено будущее нации. Стоило выступить президенту, как в Париже начались забастовки, в итальянских городах происходят демонстрации перед посольством и консульствами, сто депутатов-лейбористов подписали протест. Нужно признать, что красные добились своего: атомная бомба стала жупелом. Они столько вокруг этого шумели, собирали подписи, взывали к женщинам, что теперь сбросить бомбу на какой-нибудь Харбин — это значит восстановить против себя всю Европу. Положение отвратительное, не знаю, кто будет расхлебывать...

Вернувшись из Варшавы, госпожа Браулер нашла извещение: ее сын убит в Корее. Фруктовая лавка была

заперта. Браулер сидела в комнате с опущенными шторами и беззвучно плакала. Она вспоминала Тома: как он начал ходить и упал возле кресла, как у него была корь, как он обрадовался, когда она повезла его к морю. Она видела его маленьким, с пухлыми щеками и с очень светлыми волосиками. Потом волосы у Тома потемнели, он был шатеном, да и лицо изменилось, вытянулось, говорили, что он красивый мальчик, но Браулер представляла его себе младенцем. Она вспомнила рассказ кореянки: шла женщина и вдруг увидела, что ребенок за ее спиной мертвый... Том не был летчиком, и он был добрым мальчиком, но на войне все убивают. Может быть, и он убил кого-нибудь, и теперь плачет вместе с нею женщина в Корее.

Она проплакала у себя четыре дня, потом, осунувшаяся, вся в черном, открыла лавочку, разложила апельсины, яблоки, бананы. Кругом все знали про ее горе, заходили, высказывали соболезнования. Под вечер пришел владелец магазина электрических приборов Броун. Он тоже вздыхал, жал руку Браулер, а потом сказал:

— Президент изучает вопрос о бомбе, значит убийцы вашего сына получат свою Хиросиму.

Браулер не сразу собралась с мыслями, она ходила как в полусне. Она завернула апельсины Броуну, а когда он уже простился, сказала:

— Моего мальчика убил президент.

Броун выбежал из лавки, красный от гнева. Ну да, я забыл, что она красная, она даже ездила на их конгресс. Мне жалко ее сына, но не ее. Из-за таких ведьм все разваливается. Рассуждая трезво, можно сказать, что это она повинна в смерти своего сына. Я не буду Франком Броуном, если я сегодня не заявлю в полицию, какие разговоры она себе позволяет.

Директор банка Биндл говорил Робертсу:

— Я имею право на нервы, но не президент. Что значит «он изучает»?.. Война в Корее — это кадриль: то мы идем на север, то красные идут на юг. Если так будет продолжаться еще два года, никто не станет протестовать. Это локальная полицейская операция... Я не спорю — дела оживились, но нужно знать меру. Начинать сейчас мировую войну слишком рискованно.

Робертс ничего не ответил. В душе он был согласен с Биндлом. Президент погорячился, такие слова могут испугать европейцев. Когда хотят сбросить бомбу, об этом не предупреждают на прессконференциях. Сейчас действительно не время начинать: слишком поздно или слишком рано. Европейская армия пока что существует только на бумаге. Даус пишет, что раньше, чем через два-три года, на немцев нечего рассчитывать. Наши чистоплюи не договорились даже с Франко. Даже с Тито они что-то тянут... Все это так, но Биндл — трус. Недаром он построил себе подземный дом. Ему все равно, что престижу нации нанесен удар, война в Корее для него — доллары, и только. Ужасное время, когда голос такого рвача значит куда больше, чем мой голос! Где же честь? Где простая честность?

Вечером Робертс узнал, что будет опубликовано официальное опровержение: слова Трумэна неправильно переданы в печати. Робертс усмехнулся: в угол ставят не только меня... Что же, лучше дезавуировать президента, чем проиграть войну. Печальная история, она многим раскроет глаза. Бойдж прямо говорит, что применить бомбу помешала пропаганда красных. Из этого следует сделать выводы. На холодной войне, как и на всякой другой, нельзя оставаться в обороне. Давно пора перейти в наступление. Через месяц все забудут про неудачи в Корее, Биндл прав — это небольшая полицейская операция. Мы должны сосредоточить все внимание на Европе, раздавить коммунистов во Франции и в Италии, создать в красных странах нашу пятую колонну, договориться с Франко, дать Тито деньги — ведь это тридцать дивизий с солдатами, не избалованными комфортом. Нужно организовать летучие отряды для работы в тылу противника: эпоха дилетантизма кончилась вместе с дураком Лоу, за дело должны взяться государство, Пентагон, я.

Приехав в Нью-Йорк, Дженни тотчас пошла к Бетти.

— Что с Гайрстоном?

— Процесс опять отложили. Адвокат говорит, что один шанс на сто... Ему удалось переслать мне записку, пишет, что бодр, спрашивает, как прошел конгресс. Вот если бы ты могла ему описать!.. Ну, как там было?..

В самолете Дженни припоминала все, что должна рассказать Бетти: про Саблона, как слушали голос Робсона, как носили на руках кореянку, что сказал Шебаршин. Но сейчас, взволнованная, охваченная воспоминаниями, она вдруг сказала:

— В последний вечер был фейерверк, ракеты с красными звездами...

Бетти засмеялась: Дженни минутами казалась маленькой девочкой. Потом Бетти спросила:

— Ты читала сегодня газеты? Трумэн пошел на попятную с бомбой. Они могут говорить что угодно, но подписи подействовали...

Дженни радостно всплеснула ладонями и начала рассказывать про конгресс. Когда она уходила, Бетти сказала:

— Чуть не забыла... Освободили адвоката Кларка. Он приехал в Нью-Йорк, был здесь и спрашивал про тебя.

— Я должна обязательно его увидеть. Ты знаешь, до того, как я его узнала, я думала, что все белые нас ненавидят. А он защищал Дэвида, пришел ко мне... Ты даже не представляешь себе, что это за человек! Как мне его найти?

— Он будет здесь завтра в пять часов — мы готовим митинг, посвященный Варшаве. Ты тоже должна выступить.

Дженни не выступила на митинге, она и не увидела Кларка: ее арестовали в тот же вечер.

Полицейский записывал: «Кембер Дженни, родилась в городе Джексон (Миссисипи), 27 января 1931 года»... Он вдруг засмеялся: подумать, что эта чумазая занимается политикой! Ей бы спать с каким-нибудь чистильщиком сапог, а не собирать подписи под петициями красных. Ну, ничего, посидит в клетке, опомнится...

Судья Гильмор давно понимал, что Кларка придется освободить: это не негр, опасно держать в сумасшедшем доме известного адвоката. Но пока был жив сенатор Лоу, судья не решался поставить вопрос прямо. Кто знает, что может выкинуть Кларк? Если он вытащит на свет историю с Мэри, сенатор уничтожит судью. С тех пор многое изменилось, сенатор умер и в завещании обошел родную

дочь. Все в Джексоне говорили: это неспроста, старик обожал Мэри, значит Кларк не соврал — она путалась с черным. Когда Мэри сообщила душеприказчику Лоу, адвокату Джонсону, что возвращаться в Америку она не собирается, судья Гильмор расхрабрился и подписал приказ об освобождении Кларка.

Анна Кларк и Белла не могли притти в себя от счастья, а Кларк казался озабоченным, молчал. На следующий день он сказал жене:

— Я должен поехать на неделю в Нью-Йорк.

— Ты думаешь найти там работу?

Он покачал головой:

— Нет. Но мне нужно повидать тех самых «друзей мира», о которых говорил прокурор. Ты помнишь, они придумали, что я получил деньги от красных? Все это, конечно, чепуха. До того, как со мной случилось несчастье, я считал, что можно быть честным, оставаясь в стороне. Я много за это время передумал... Анна, теперь каждый честный человек должен вмешаться, не то эти негодяи погубят все. Посмотри, что они делают в Корее.

Анна заплакала:

— Я думала, что теперь все кончится, мы сможем жить, как раньше. Я тебя умоляю — не занимайся политикой. Они тебя убьют... Подумай о Белле... Нийл говорил, что он может тебя устроить в банке.

Кларк не возражал. Ей показалось, что она его убедила, но вечером, перед тем как итти спать, он нежно обнял ее и сказал:

— Анна, ты всегда была верным другом. Я знаю, как ты измучилась... Но пойми, если я этого не сделаю, у меня будет нечистая совесть. Нам они исковеркали жизнь, но Белла еще может быть счастлива. Есть молодые. Товарищи Фреда... Мы не можем позволить этим негодяям арестовывать, жечь, убивать...

Он ждал возражений, просьб, слез, но она тихо ответила:

— Делай, как знаешь... А я тебя не покину. Что бы ни случилось...

Ричмонд-младший был возмущен событиями. Одна катастрофа за другой. Во-первых, судья Гильмор освободил красного шпиона Кларка. Во-вторых, негры

радуются, что у нас в Корее неудачи. В-третьих, жена доктора Хеллица в присутствии губернатора и Райда сказала, что Смидл ей нравился, потому что он был «крупным гангстером», а Ричмонд-младший — «вульгарный хам». В четвертых, после того как полиция арестовала железнодорожника О'Кеннеля, красные выпустили наглую листовку, в которой утверждали, что вскоре Райд и Ричмонд-младший сядут на скамью подсудимых. Ричмонд-младший обдумывал, какие меры принять для спасения Америки. Джексон пережил бурные дни. Завсегдатаи бара «Виктория» сожгли школу для черных, а учителя Эммерсона повесили (говорили, будто он сделал непристойные предложения дочери Райда). Жену доктора Хеллица три часа допрашивали, какие книги она читает; она уверяла, что вообще ничего не читает, но ей не поверили. Тогда доктор Хеллиц представил удостоверение, что его супруга больна тяжелой формой психостении и нуждается в длительном отдыхе под наблюдением врача. Он сказал жене: «Сиди дома, или тебя посадят...» Делом железнодорожника О'Кеннеля занялся судья Гильмор, но Ричмонд-младший ему не доверял; он заявил «комиссии по расследованию антиамериканской деятельности», что судья, у которого любовница — негритянка, присвоил часть денег, посланных красными Кларку. Судья от огорчений слег. Ричмонд-младший сидел в баре «Виктория», пил виски и кричал:

— Вот сбросят бомбу на желтомордых, они мигом побелеют!.. Напалм — тоже неплохая штучка, я видел в кино — горит шикарно...

Бармен Питер, глядя на него, уныло думал: зачем я все-таки женился? Когда начнется война, кого пошлют на убой? Не этого сопляка — меня...

«Таймс» опубликовала телеграмму, отправленную профессорами Адамсом и Кремером английскому премьеру, и, узнав о финале Шеффилдского конгресса, профессор Адамс испытал острое чувство стыда. Он так и сказал профессору Кремеру:

— Нам с вами вместе сто двадцать лет, а выглядим мы двумя глупыми девчонками.

— Кто мог это предвидеть,— вздохнул Кремер.— Я считал, что Эттли покажет себя куда шире...

— Я не знаю, кто узок и кто широк. Конечно, смешно отказывать в визе русскому митрополиту или Шостаковичу. Но, с другой стороны, «сторонники мира» связаны с коммунистами. Во всяком случае мы с вами сглупили, нужно было или одобрить конгресс, или промолчать. Я всегда думал, что ученые — плохие политики. Больше я ничего в жизни не подпишу, кроме своих работ.

Адамс снова дал себе слово, что не будет читать газет, и снова не выдержал: когда лаборант рассказал, что приключилось в Корее, схватил «Таймс». Весь вечер он думал о прочитанном: какая это бессмысленная и бездарная война!.. Он считал, что американцы не должны были вмешиваться в корейские дела, но поражение восьмой армии его огорчило. Осуждая Макартура, он все же смутно надеялся, что газетные сообщения преувеличены, ничего трагического не произошло.

Он хандрил, хворал: участились припадки астмы. Профессор Кеннет застал его печальным и больным. Адамс выслушал подробный рассказ о Варшавском конгрессе, сказал, что рад за профессора Кеннета,— хорошо, помимо научной деятельности, иметь другие страсти, а потом вдруг спросил:

— Так как вы не женщина, скажите мне: сколько вам лет?

— Сорок два.

— Вот видите, а мне шестьдесят четыре. Я воспитан на идеях терпимости. Когда-то мой отец, простой сельский фельдшер, говорил мне: «Ты можешь верить в бога или не верить, но помни, что неверующие распинали верующих, а верующие жгли неверующих». Конечно, с профессором Миклеем поступили отвратительно. Если кто-нибудь осмелится вам зажать рот, я первый скажу, что это недостойный поступок. Но лично я не хочу итти ни с вами, ни с вашими противниками. Я доверяю человеку, когда он один. Стоит людям объединиться, все равно во имя чего — философской идеи или национальных интересов, как сразу выступают все отрицательные стороны человеческой природы.

Когда Кеннет ушел, профессор Адамс задумался. Вот и Кеннет нашел дорогу. Он в одном лагере, Хенусси — в другом. А где я?.. Для тех, кто не хочет шагать в ногу,

больше нет места. Две враждующие армии так тесно подошли одна к другой, что «ничьей земли» не осталось. Нужно подняться, взглянуть сверху... Но до чего холодно! Это уже не земля, это стратосфера... Нечем дышать...

Он задыхался: начался припадок астмы.

Давно уж Нью-Йорк не видал такого людного и шумного митинга, как тот, на котором выступили делегаты, вернувшиеся из Варшавы. В огромном зале было жарко и дымно, далекие лица людей, заполнивших верхние ярусы, едва проступали в тумане, а профессору Кеннету хотелось разглядеть, кто пришел. Он волновался: не привык говорить на таких собраниях; в Варшаве он выступал только на заседаниях комиссий. Кеннет понимал, что люди ждут слов, способных тронуть сердце, всех всполошили события в Корее, растерянность политических деятелей и прессы. Но он не искал успеха, он хотел сухо изложить свои идеи: кто знает, не сидят ли где-нибудь на верхнем ярусе скептики, считающие, что красные провели Кеннета? Именно поэтому он начал так:

— Многое отделяет меня от коммунистов, в частности биологические концепции — это та область, в которой я работаю. От того, что я был в Варшаве, я не стал последователем профессора Лысенко, хотя я не отрицаю и никогда не отрицал его заслуг, как крупного практика. Здесь не ученое заседание, и я не буду на этом останавливаться. Скажу только, что централизованный и унифицированный мир русских меня не прельщает. Я сказал это в Варшаве советскому делегату, профессору Шебаршину, и он мне вполне резонно ответил, что если бы русские хотели договориться только со своими единомышленниками, им не нужно было бы приезжать на подобного рода конгрессы. Я не знаю, сколько было в Варшаве сторонников коммунизма. Если судить по аплодисментам, подчеркивающим отдельные фразы ораторов,— много. Но так судить нельзя, я заметил, что коммунисты, особенно молодые, реагируют быстрее и громче, чем люди с умеренными взглядами, это естественно. В Варшаве я беседовал со многими делегатами, которые относятся отрицательно к теории и практике коммунизма. Сколько было таких, не знаю: нас не спрашивали, каких мнений мы придерживаемся, и статистики у меня нет. Да это и несущественно, важнее другое: я уви-

дел со стороны советских представителей искреннее желание договориться, найти приемлемый для всех модус вивенди. Профессор Шебаршин, в частности, мне сказал, что советский строй не продукт экспорта и что у разных стран разные пути. До Варшавского конгресса я думал, что русские отказываются от международного контроля над использованием атомной энергии. Однако именно один из советских делегатов предложил, чтобы контрольный орган мог в любой стране обследовать как объявленные, так и предполагаемые объекты. Я увидел добрую волю и буду говорить об этом повсюду. Журналист Костер уже успел меня причислить к красным, это меня мало трогает. Я не русский, я американец, я страдаю от того, что происходит в Корее. Именно поэтому я пришел сюда и твердо решил вместе со всеми людьми доброй воли, будь они коммунистами или антикоммунистами, бороться за мир.

Профессор Кеннет думал, что его слова многих рассердят: ведь здесь большинство симпатизирует коммунистам, но его проводили дружными аплодисментами.

Вслед за ним выступил Марк Джеймс. Он тоже начал с того, что он не коммунист и до сорока лет не интересовался политикой. Если он все же поехал в Варшаву, то его до этого довели не слова красных, а дела мошенников.

— Давайте посмотрим по-деловому. Кому выгодна корейская война? Мы, рабочие, на ней не разбогатели. А вот Грейзен, тот разбогател, да и Биндл. Наши газеты здорово нас обманывают. Они, например, писали, что поляки живут, как на каторге, а в Варшаве, по-моему, веселее, чем у нас. Я ходил по городу, зашел в пивную, посидел в парке. Парни бегают за девушками, мамаши нянчатся с потомством. А построили столько, что даже удивительно. Вот и скажите: зачем им война? Хорошо, посмотрим дальше, тоже по-деловому. Наши газеты пишут, что русским очень плохо, я там не был, не знаю. Но я прочитал в «Таймс», что в России нет ни одного частного завода. Значит, на войне там разбогатеть некому,— это может понять даже ребенок. Конечно, мне интересно, как русские живут, в Варшаве я поговорил с одной женщиной из Москвы, женщины в таких вопросах лучше разбираются, я ей сказал: давайте оставим идеи, какие там заработки и что

сколько стоит? Вышло, что одежда дешевле у нас, а квартира и транспорт у них. Но вот у них, когда меняются цены, это значит — понижают, а у нас повышают. Почему? Да потому, что у нас много мошенников. Я скажу прямо: мошенники у нас занимаются не только торговлей. Вот вам живой пример. Я с Гайрстоном воевал в одном полку. Конечно, ему не повезло: у человека университетский диплом, а пришлось пойти на завод. Но ведь это не преступление. Гайрстон — порядочный человек, дай бог, чтобы все наши сенаторы были такими честными, как он. А ему пришили, что он продал русским секретные чертежи. Ну, скажите, разве это не мошенничество? С нами ездила в Варшаву одна девушка. Как только мы вернулись, ее арестовали. Наверно, напишут, что она виновата в разгроме восьмой армии. Я вам скажу по-деловому: это — неслыханное свинство, потому что плакать будем мы, можете не сомневаться...

Адвокат Кларк рассказал, как его держали в лечебнице для душевнобольных; свою речь он кончил словами:

— Я читал, что сказала Дженни Кембер в Варшаве. Это правда. Начинается с погрома в Джексоне, с преступлений Смидла, или Райда, или Ричмонда-младшего, а потом идет Корея. Что же дальше? Неужели десятки миллионов загубленных?.. Они сошли с ума. Может быть, поэтому они меня объявили сумасшедшим. Я больше не могу шутить, смеяться, играть с детьми — они растоптали мою старость. Но я не хочу, чтобы они загубили молодых...

Последней выступала Браулер. Она боялась, что не сможет ничего сказать, и написала речь. Но когда она взошла на трибуну и оглядела толпу, она забыла про бумажку.

— Я, Элеонора Браулер, вдова, воспитавшая сына. Я никогда не занималась политикой. У меня фруктовая лавка возле Вашингтон-скуэр. Мой сын убит в Корее. Туда не я его послала, и поехал он не по своей воле. Том был добрый мальчик, а наши солдаты в Корее делают злое дело. Нет, мой сын не защищал Америку, у меня нет и этого утешения. Я смотрю на его фотографию, когда он был маленьким, и все время думаю: почему они его послали на смерть? Если здесь есть матери, они меня поймут. Пока не поздно, спасите живых!

Люди кинулись на арену, окружили Браулер, обнимали ее. Глаза Бетти, стоявшей неподалеку от трибуны, затуманились.

Билл Костер посвятил очередную статью описанию митинга красных. Он пил виски и, громко позевывая, диктовал: «Агенты Москвы приволокли на собрание душевнобольного, по оплошности недавно освобожденного из клиники. Этот несчастный изложил последние директивы Коминформа. Впрочем, речи других ораторов мало чем отличались от бреда сумасшедшего. Москва швыряет деньги на ветер, думая такими цирковыми приемами сбить с толку американцев...» Он еще раз зевнул и подумал: хорошо было бы, если бы кто-нибудь швырнул деньги мне...

На следующий день его пригласил к себе по срочному делу директор агентства «Пакс».

Бернсон говорил вкрадчиво, поглаживая рукой кожаный бювар на письменном столе:

— Эйзенхауэру поручено проинспектировать Западную Европу. Это — событие мирового значения. Я не вижу, кто лучше вас опишет поездку главнокомандующего. А мы постараемся сделать все, чтобы облегчить вам работу.

Билл Костер оглядел низкорослого толстенького Бернсона — этакое ничтожество! Конечно, рыжий был редким дураком, но даже он выглядел приличней. Потом у сенатора были порывы, как ни скуп он был, он мог расчувствоваться и отвалить за одну статью пять тысяч. А это типичный бухгалтер со среднего Запада.

Костер, однако, не отказался. Из мечтаний о тихой, спокойной жизни ничего не получилось: чертовски нужны деньги. У Виктории это болезнь: она не может прожить дня, не потратив хотя бы двести долларов. Я пробовал ее урезонить, получилось еще хуже: какие-то спазмы сосудов, вегетативная система, обмороки, а врачи должны быть обязательно с мировым именем — других она не впускает. Неизвестно, что дороже: абстрактная живопись или шарлатаны, которые ее лечат психоанализом? Конечно, противно шататься по Европе, но и здесь теперь невесело. Сколько он даст — вот вопрос. Говорит, что «облегчит работу», а когда дело дойдет до цифры, начнет прижимать. Второго такого скряги нет. Кажется, получил денежки

рыжего, мог бы и сам хорошо жить и других не мучить, нет, считает каждый цент...

Билл снял пиджак и начал выписывать на листочке, сколько он потеряет, если поедет в Европу. Бернсон гладил бювар и не сдавался. Наконец Костер сказал:

— Чорт с вами, поеду. Не ради вас, ради Эйзенхауэра. Я с ним встречался во Франции... А почему у вас руки дрожат?

Бернсон знал, что Костер — нахал, и все же растерялся, сказал, как будто оправдываясь:

— Это на нервной почве.

Билл захохотал:

— Ах, у вас тоже нервы? Как у госпожи Костер... Имейте в виду, что доктора вас общиплют, как цыпленка. Я только одного не понимаю: моя супруга на нервной почве должна обязательно швырять деньгами, а у вас наоборот... Ну, желаю вам выздороветь. А я пойду пить — мне сегодня необходимо промочить жабры.

Новый год мы встречаем в форме, думал Робертс. Корея — мелочь. Сеул может еще десять раз переходить из рук в руки, это никого не интересует. Наконец-то все поняли, что решает дело Европа. Может быть, Эйзенхауэр подхлестнет англичан и французов. Конечно, начать теперь войну было бы глупо, но еще глупее отложить ее на десять лет. Два-три года, и мы будем готовы. Настроения в Белом Доме изменились. Поручили Доуневэну подготовить законопроект об ассигновании ста миллионов на организацию пятых колонн. Я помню, как все смеялись над «комариными укусами», теперь это — государственное мероприятие. Конечно, убивать красных можно и без публичных заявлений, на это достаточно секретных фондов, но такой закон полезен: он сжигает мосты. Мы долго говорили об обороне. Никто в Европе больше не верит, что русские собираются на нас напасть. Да и в Америке начинают сомневаться. Нужно открыто сказать, что мы не можем жить на земле, пока существуют красные. Нечего бояться слов: мы готовимся к великому крестовому походу. Я, маленький человек, могу гордиться, что Америка идет по пути, который я увидел семь лет назад, когда все кругом восхищались русскими. Война неизбежна, теперь это поняли все.

Задумавшись, он видел картины будущего, ужасные и в то же время увлекательные: воздушный флот, который заполняет все небо, падающие небоскребы, битву народов где-нибудь возле Рейна, бациллы в хрустальных пробирках, лихорадочные ночи штаба, карту двух полушарий, испещренную цветными карандашами, пустыню, где больше нет ни дерева, ни птицы, ни мошки, знамена со звездами, пепел, кровь. Он сидит бледный, измученный, входит офицер связи и докладывает: «Наши передовые части вступили в Москву».

Накануне Рождества тяжело заболела дочка Робертса; началось с обычного гриппа, потом было осложнение, и хирург сказал, что необходимо сделать трепанацию черепа. Робертс просидел в клинике всю ночь. Он думал: если Элла умрет, у меня ничего не останется, пустая, страшная жизнь. Он помягчел, разговаривал ласково с женой, лицо его утратило то выражение суровости и превосходства, которое пугало домашних.

Эллу спасли. Робертс ехал с женой и тихо улыбался. Войдя в дом, он поглядел на большую фотографию дочки и вспомнил: позавчера, увидев эту фотографию, он отвернулся. Какое счастье, что она будет жить!..

Ему захотелось говорить — громко, радостно. Он заговорил о том, что его занимало накануне болезни Эллы, рассказывал жене, как американцы подготовятся к своей миссии, какой тяжелой будет схватка, как придет победа. Вдруг он увидел, что Элизабет плачет. Он смутился: не нужно было об этом говорить,— у нее и так издерганы нервы...

Госпожа Робертс сказала:

— Неужели нельзя этого избежать? Для чего тогда спасли Эллу? Девочка так мучилась... Я ничего не понимаю...

Он сидел в темном углу гостиной, подавленный, растерянный. Да, Элле будет нелегко. Она может погибнуть. Но что же делать?..

— Ты думаешь, я не понимаю, что это ужасно? Но назад путей нет. Мы можем победить или погибнуть. Я маленький человек, но я сделаю все, чтобы мы победили.

Госпожа Робертс никогда не смела противоречить своему мужу. Но сейчас у нее не выдержали нервы, судорожно плача, она крикнула:

— Ты не человек!.. Ты хочешь убить Эллу!..

Робертс молча прошел в свой кабинет. Он ни о чем не думал: ни о дочери, ни о словах Элизабет, ни о войне. Он был в каком-то оцепенении. Вдруг с улицы донеслись крики, смех. Он вздрогнул: сегодня Новый год. Странно я его встречаю... А впрочем, дело не в этом: Элизабет — наседка. Обстановка неплохая, так что я могу спокойно смотреть вперед.

В Нью-Йорке новогодняя ночь была шумной. Звуки джаза, песни, смех врывались в комнату Бетти. Она ничего не слышала — писала Гайрстону: ей обещали передать письмо в тюрьму.

«Мой Джо,

с Новым годом! Он, может быть, еще не будет нашим, но он будет годом борьбы — за все, что мы любим, и за тебя, Джо. Когда на митинге называли твое имя, раздавались крики, аплодисменты, свистки, все возмущались подлостью прокурора, говорили, что тебя отстоят. Я хотела, чтобы случилось чудо, чтобы по невидимой антенне ты смог принять тот митинг. Я никогда такого не видала. Это был настоящий Нью-Йорк, сердце его. Джо, мне рассказала Дженни Кембер, что в Варшаве тоже вспоминали тебя, все возмущались, а твоему имени аплодировали. Там были и советские делегаты, один из них спросил Марка Джеймса, нет ли у него твоей фотографии. У него не было, но я теперь пересняла ту, что всегда ношу,— помнишь, ты снялся у моря, когда мы поехали отпраздновать нашу вторую встречу и вторую, нет, первую, настоящую жизнь. Я пошлю эту фотографию в Москву, когда туда поедет наша делегация, мне хочется, чтобы русские посмотрели на нее. Дженни арестовали сразу, как только делегаты вернулись, ее обвиняют в «помощи иностранному центру». Других пока не тронули. Полиции становится все труднее, ведь нельзя арестовать всех людей, которые пришли на митинг, а все возмущались, даже профессор Кеннет. Мы издали брошюрой статью адвоката Кларка. Ты, наверно, помнишь скандальную историю в Миссисипи, в которой был замешан сенатор Лоу. Они продержали Кларка больше года в сумасшедшем доме. Он был в Нью-Йорке, а вчера уехал назад в Джексон, сказал, что хочет бороться

в родном городе. Брошюру читают нарасхват, это действительно потрясающая история. Ты видишь: мы стали сильнее, больше никто над нами не смеется, в газетах злобные статьи, а обыкновенные люди задумываются. Недалеко время, когда мы подымем за тебя миллионы американцев. Я знаю, что ты тверд, ты и меня научил быть крепкой. Я не была девушкой, когда мы встретились, но ты мне поверь, ты не только моя первая любовь — ты меня сделал человеком. Ведь одних идей мало, нужно, чтобы они вошли в тебя, стали жизнью. Любимый Джо, моя первая и вечная любовь, если бы у тебя была антенна, я все ночи говорила бы с тобой, обнимала бы тебя, ты слышал бы, как бьется мое сердце под твоей рукой! Все берегу для тебя — улыбку, шутки, дыхание и губы, и глаза, все, все, что тебя радовало. Джо, мы победим и будем вместе, я тебе клянусь — твоя жена, твоя любовница, твоя девчонка, твоя, всегда твоя

Бетти».

98

За последний год Нильс охладел к французам. Конечно, попрежнему он восхищался их вкусом и остроумием: любой парижский школьник, который пишет сальности на стене общественной уборной, во сто раз тоньше Билла Костера, а в маленькой французской харчевне кормят куда вкуснее, чем в дорогих ресторанах Вашингтона; да не будь Франции, не было бы в коллекции Нильса самых замечательных табакерок. Все это так, но Нильс не француз, он не может относиться к жизни только как к удовольствию, у него есть идеи, долг, обязанности. А в серьезных делах французы — отвратительные партнеры. Здесь не на кого положиться. Нильс вытащил Бедье из поганой истории с чеками, помог этому политическому донжуану сохранить портфель в новой министерской комбинации. Но разве он может рассчитывать на Бедье?

Нильс вдруг рассмеялся: вспомнил смешную историю, которую ему рассказал Гарси. Госпожа Бедье призналась госпоже Гарси: «То, что мой муж обманывает меня, это естественно,— все мужчины таковы, но можете себе представить, у него теперь две любовницы, и он их тоже обма-

нывает...» Да, французы не подходят ни для нашей эпохи, ни для тех больших целей, которые поставила перед собой Америка.

Но, охладев к французам, Нильс продолжал считать, что ничего нет важнее Франции. Англия в стороне, притом это остров, Италия — окраина, настоящий сапог на ноге, Испания за Пиренеями, а Западная Германия слишком близко от красных, ее легко потерять в первые же недели войны. Вряд ли мы сможем использовать Гамбург. Другое дело — порты Франции, особенно ее юго-запада.

Пристрастие Нильса к Ля Рошелли почувствовал на себе Лежан. Процесс, затеянный против него после февральских событий, кончился для префекта неудачей. Лежана, докера Ру и рабочего Броссэ обвинили в уличных беспорядках и в нанесении побоев представителям общественной безопасности. Полицейский, в которого попал камень, брошенный одним из демонстрантов, уверял, что он пострадал от руки Лежана; другой полицейский говорил, что его ударил по спине Ру; третий показал, что схватил Броссэ в ту самую минуту, когда он занес палку над головой офицера.

Выступили несколько свидетелей защиты: они рассказали, что «CRS» и полицейские напали на безоружных людей, повалили тетку Кюфо, избили до потери сознания двух докеров, сломали руку телефонистке мадмуазель Ленен. Большое впечатление произвели на всех слова тетки Кюфо:

— Трех моих сыновей убили немцы. Когда я принесла младшему смену белья, гестаповец ударил меня прикладом в грудь... Но, видит бог, никогда я не думала, что французы могут ударить старую женщину! Мне, господин председатель, шестьдесят четыре года...

Полицейский, который показывал против Лежана, был рослым краснолицым парнем; он умел зычно разгонять толпу, а непослушных подгонять дубинкой; но умом он не отличался. Адвокат измучил его вопросами, он обливался пóтом и под конец сказал:

— Конечно, поручиться, что камень бросил Лежан, я не могу, но он стоял на том месте, откуда бросили камень, и когда я поглядел, у него рука была впереди... А что в меня бросили камень, этого никто не станет отрицать —

я целый месяц проходил с синяком. Все-таки это — дело Лежана.

Обвинение против Ру на судебном разбирательстве также не подтвердилось. Суд оправдал Лежана и Ру, а Броссэ приговорил к одному месяцу тюремного заключения.

Приговор рассердил Бедье. Лучше бы они не затевали процесса, подумал он в раздражении, забыв, что сам посоветовал префекту возбудить дело против Лежана. Пока Лежан в Ля Рошелли, там не будет порядка,— это фанатик, второго такого нет. Конечно, проще всего было бы добиться увольнения инженера. Но Бедье знал, что владелец завода, на котором работал Лежан,— человек своеобразный и непокладистый. От Бодри можно ожидать всего...

Бодри было шестьдесят восемь лет. Он мог бы давно уйти на покой, жить в своем поместье и нянчить внуков, но он каждое утро вставал в шесть часов, выпивал чашку черного кофе с ромом и отправлялся на завод. Он любил свою работу, и когда одна из дочерей, заглянув в цех, спросила отца, как он может выносить такой адский шум, ответил: «Для меня это музыка». Завод он унаследовал от отца, расширил его и гордился тем, что его семья издавна связана с Ля Рошеллью. В первую мировую войну он был ранен на Шмэн де Дам; в мыслях он часто возвращался к прошлому, говорил дочерям, старой кухарке, иногда вслух самому себе: «Да, судари, Франция тогда была Францией...» Разгром 1940 года он пережил мучительно, уехал в свое поместье и ни с кем не хотел встречаться. Немцы предложили ему возобновить работы на заводе, но он отказался, сославшись на болезнь. Узнав, что немцы назначили директором Картье, он сказал дочери: «Мне хочется дожить до того дня, когда Картье поставят к стенке». Война кончилась. Картье получил пост в одном из министерств. Бодри рассердился: если Франция существует, Картье нужно расстрелять, а если Франции больше нет, незачем писать на мэриях «Французская республика» и праздновать одиннадцатое ноября.

Все теперь раздражало Бодри, особенно американцы. Конечно, коммунисты распустились, из-за них мы теряем наши колонии. Будь сейчас жив Клемансо, он бы прибрал

коммунистов к рукам. Но разве Клемансо позволил бы американцам распоряжаться во Франции, как будто это их колония? Мы когда-то им продали Нью-Орлеан. Орлеана им никто не продавал. Все это унизительно, да и глупо. У Франции есть своя история, свои традиции, свои интересы. Можем ли мы спокойно отнестись к тому, что американцы восстанавливают немецкую армию? Ведь это смертный приговор Франции. В свое время мы заключили союз с русским царем, и это было разумно. Не все ли равно, какой режим у русских? Это их дело. Между нами Германия, которая издавна грозит и нам, и русским. Я наследственный капиталист, я этим горжусь, никто не скажет, что я красный, но я скорей договорюсь с русскими, чем с немцами. У американцев своя линия, правы они или нет в своих расчетах, это покажет будущее, но почему мы должны пренебрегать своими жизненными интересами во имя интересов Америки? Я до 1938 года имел дело с русскими, они платят аккуратно. Я хочу с ними торговать, воевать против них нам незачем...

Узнав, что Лежан защищает Вьетнам, Бодри нахмурился: коммунисты любят говорить о своем патриотизме, но без колоний нет Франции. Лежан — прекрасный инженер; в годы оккупации он вел себя лучше многих министров, но ради марксистских схем он готов развалить Францию.

Может быть, Бодри и уволил бы Лежана, не вмешайся в дело префект. Бодри терпеть не мог, чтобы его заводом занимались посторонние. Когда префект ему сказал, что Лежан представляет опасность для Ля Рошелли, Бодри покраснел и, злобно дергая свои желтые, насквозь прокуренные усы, ответил: «Я, знаете, сам могу разобраться... По-моему, для Ля Рошелли опасность представляют американцы, да, да, именно американцы! Они хотят превратить торговый порт в военную базу, а для города это гибель. Так что вам лучше бы заняться делами покрупнее. А с моим персоналом я уж как-нибудь справлюсь». Когда префект ушел, Бодри долго негодовал. Что за манера совать нос в чужие дела? А может быть, Лежан мне нужен, как образованный инженер? У меня есть свои интересы. Если они отдают Ля Рошелль американцам, то я, Франсуа Бодри, вовсе не собираюсь отдать префекту мой завод...

Когда префект приезжал в Париж, Бедье долго с ним говорил о положении в Ля Рошелли: у нас есть обязательства перед союзниками. Мы не можем допустить беспорядки в самом важном порту юго-запада. Если Лежан действительно пользуется такой популярностью, его следует убрать.

Летом против Лежана возбудили новое дело: его обвиняли в нанесении ущерба безопасности Франции, в распространении ложных слухов, способных вызвать панику, в призывах военнообязанных к неповиновению. Обвинение было построено на статье, опубликованной во время февральских событий, в которой Лежан подчеркивал солидарность солдат с докерами, говорил, что «народ не допустит американской оккупации Ля Рошелли» и что «французская армия никогда не станет воевать против народа Сталинграда».

Бедье не читал статьи, опубликованной в местной газете, но, узнав, что Лежан привлечен к ответственности, облегченно вздохнул: Нильс надоел ему непрестанными расспросами о положении в Ля Рошелли. Теперь Лежана упрячут в тюрьму, можно не сомневаться. Первый процесс был глупо построен: действительно, когда происходит уличная драка, трудно разобраться, кто кого ударил. А призыв солдат к неповиновению — это явное преступление. Исправительный суд не присяжные, которых может разжалобить любой краснобай. Коммунисты у всех стоят поперек горла, так что Лежану нечего рассчитывать на симпатии судей. А какой Бодри ни самодур, он не захочет держать у себя человека с судимостью.

Судебное разбирательство дважды откладывали; наконец оно было назначено на 18 августа. Лежан огорчился: в этот день хоронили профессора Дюма, и он не смог поехать на похороны. Незадолго перед смертью Дюма написал Лежану, спрашивал, как его здоровье, возмущался известием о новом процессе, желал успеха. Направляясь в суд, Лежан думал о Дюма. Вот человек! Если когда-нибудь люди будут, как он, значит не зря мы мытаримся...

Председатель суда Вилльмон был человеком сухим и раздражительным. Люди его возмущали своим непониманием кодекса. Свод законов — величественная симфония, а ее безжалостно перевирают не только свидетели или

защитники, но даже прокурор. Повсюду Вилльмон сталкивался с беспорядком. Менялись министры юстиции, но все они были неопрятными дельцами или разинями. Никто не ценит эрудиции, пунктуальности, честности Вилльмона; он так и застрял на своем посту; ему даже не дали розетки Почетного легиона, он умрет с ленточкой, которую получил шестнадцать лет назад. Жена изводила его своей суетливостью; а сын, вместо того чтобы стать честным юристом, недоучившись, женился на женщине с темным прошлым и занялся спекуляцией, за что ему следовало бы дать не меньше трех лет тюремного заключения.

Судья Гозье ненавидел коммунистов и, узнав, что, наконец-то, назначено к слушанию дело Лежана, сказал жене: «Этот мерзавец получит свое». Перед началом заседания он рассказывал Вилльмону, что за Кореей обязательно последует Германия, что Стокгольмское воззвание должно облегчить русским захват западных секторов Берлина, что все французские коммунисты состоят на учете Москвы. Вилльмон кивал головой. Политика никогда его не увлекала; он так и не понял, почему западные немцы лучше восточных. Он был озабочен другим: предстоит неприятное заседание. Обвинение слабо мотивировано. Призывов к нарушению воинской дисциплины нет. Что касается закона о пресечении посягательств на внешнюю безопасность государства, то он был принят в марте, а статья, инкриминируемая Лежану, опубликована в феврале. Удивительное у этих господ легкомыслие!

Второй судья, Дени, был человеком жизнерадостным, любил хорошо поесть; несмотря на свои пятьдесят восемь лет, увлекался женщинами, интересовался мировой политикой и неизменно подчеркивал свою независимость. Он ругал и американцев и русских. Почему Францию перевели на положение второстепенной державы? Атлантический союз — это западня. Нельзя всерьез утверждать, что Соединенные Штаты и Люксембург — равные партнеры только потому, что их подписи стоят рядом. При одних обстоятельствах Франции будет выгодно пойти вместе с Америкой, при других здравый смысл должен ее от этого удержать. Нужно сохранить свободу маневрирования. К процессу Лежана Дени отнесся кисло: среди коммунистов немало людей, которых можно образумить. Зачем

создавать из Лежана мученика? Это усилит антинациональные настроения.

В зал суда допустили только десяток журналистов. Они сидели вперемежку с полицейскими, которые должны были изображать публику. Несколько сот докеров пытались выйти на площадь, где находилось здание суда, но полицейские их задержали. Они толпились на узкой улице и кричали: «Оправдайте Лежана!»

Лежан отвечал спокойно, сдержанно; в своей статье он изложил то, что говорят и пишут многие; заявление Тореза, что французы не будут воевать против Советского Союза, получило одобрение миллионов граждан. Вряд ли можно назвать такие слова противозаконными, поскольку Франция связана с Советским Союзом пактом дружбы, заключенным в 1944 году. С другой стороны, многие журналисты поддерживают идею, что Франция должна будет воевать совместно с Германией против России. Между тем юридически Франция до сих пор находится в состоянии войны с Германией. Авторы таких призывов, однако, не подвергаются судебным преследованиям...

Вилльмон прервал подсудимого и предложил ему не уклоняться от поставленных вопросов: это не митинг. Лежан ответил, что считает процесс политическим актом. Он убежден в глубоком патриотизме французских солдат, в их готовности защитить национальный суверенитет, именно поэтому их, как и всех французов, оскорбляет присутствие на французской территории иностранных войск и стремление превратить порты Франции, в частности Ля Рошелль, в базы иностранной державы.

Прокурор доказывал, что статья Лежана заключает в себе призыв солдат к дезертирству. Подсудимый хотел подорвать моральное единство нации. «Необходимо покончить с той гангреной, которой являются коммунистическая партия и различные близкие к ней организации».

Защитник Лежана, адвокат Файяр, сказал, что обвинение юридически не обосновано. Газеты не раз печатали резолюции, принятые на собраниях солдат, сходные с той статьей, которая дала повод для преследования Лежана. Прокурор сам признал, что данный процесс носит сугубо политический характер, поскольку сравнил коммунистическую партию с гангреной. Адвокат не хочет утомлять суд

неуместной дискуссией, он только просит господ судей не забывать, что коммунистическая партия — законная организация, обладающая наибольшим числом представителей в Национальной ассамблее. Далее Файяр напомнил о поведении Лежана в годы войны. Заключенный в тюрьму людьми, которые несут моральную ответственность за разгром Франции, он тотчас после своего освобождения начал бороться против немецких оккупантов и был одним из героев парижского восстания.

В совещательной комнате Гозье сразу сказал:

— Ему нужно дать по меньшей мере шесть месяцев.

Он вопрошающе посмотрел на Виллььмона; тот морщился и молчал. Дени покачал головой:

— Почему нас ставят в нелепое положение? Я согласен, что коммунисты чересчур много себе позволяют. Но пусть начнут с «Юманите», а не с маленькой провинциальной газеты. Получается, что граждане Ля Рошелли не имеют права говорить то, что преспокойно говорят парижане. Это абсурд. Мы должны подумать об авторитете суда. Что вы думаете, господин Вилльмон?

Председатель еще сильнее поморщился и нехотя ответил:

— Я согласен, что обвинение плохо мотивировано. Можно сказать, что прокурор выступил с пустыми руками...

Гозье возмутился:

— Но ведь Лежан — явный негодяй. Его недаром выгнали с заводов Берти. Об этом даже говорили в Ассамблее...

— Бесспорно,— сказал Вилльмон,— Лежан — подозрительная личность. Я вообще ничего не имел бы против запрещения коммунистической партии. Но пока что она не запрещена... Файяр резонно указал, что есть сотни аналогичных статей...

Дени улыбнулся:

— Я испугался, что он их начнет читать, это было бы до ночи...

Вилльмон расстегнул воротничок; он тяжело дышал и пил минеральную воду. Дени мечтал, как он завтра отправится на рыбную ловлю. Гозье сердился, курил сигарету за сигаретой и громко, отрывисто кашлял. Он

спорил для приличия: Вилльмон упрям, как старый мул, его не переубедишь.

На улице толпа возросла: подошли рабочие с завода Бодри, служащие, женщины. Полицейские теперь с трудом сдерживали людей. Докеры продолжали выкрикивать: «Оправдайте Лежана!» Полицейский офицер, вытирая потный затылок, подумал: как им не надоест кричать? Ведь жарко...

— Суд идет!

Все встали. Вилльмон скороговоркой прочитал приговор — «считать по суду оправданным»... Лежан удивленно оглядел зал. Журналисты бросились к выходу. Полицейские, сидевшие вместо публики, равнодушно смотрели на Лежана: им было жарко.

Когда Лежан вышел на улицу, несколько девушек, прорвавшись сквозь цепь полицейских, протянули ему полуувядшие от зноя розы. Лежан посмотрел на цветы и подумал: сейчас, наверно, опустили гроб в могилу... Обидно, что Дюма не узнает о приговоре: это наша победа.

Узнав, что Лежана снова оправдали, Бодри усмехнулся. Конечно, Лежан пишет бог знает что. Живи Клемансо, он быстро обуздал бы его. Но у Клемансо было моральное право... Все-таки приятно, что суд отхлестал по щекам префекта! Да и не только префекта... Довольно им ходить на задних лапках перед американцами! Мой дед открыл мастерскую в Ля Рошелли при Луи-Филиппе. Да, судари, Франция тогда была Францией! Американский Колумб нас не открыл. Мы существовали и до того, как к ним поехал Лафайет...

Бедье негодовал: право же, можно было найти что-нибудь более остроумное, чем старая статейка в провинциальной газете! Самое противное, что Нильс прочитал о процессе; вчера он сказал мне: «У вас в Ля Рошелли даже судьи красные». Как ему объяснить, что Франция не Техас? Лежан всем мешает, но убрать его не так-то просто...

С тех пор прошло пять месяцев. Нильс, казалось, забыл о Ля Рошелли: его занимали переговоры, связанные с созданием немецкой армии. На конференции в Брюсселе вопрос был, наконец-то, более или менее улажен. Эйзенхауэра назначили главнокомандующим европейской

армией. Генерал собирается осмотреть Европу; начнет он, конечно, с Франции. Я всегда говорил, что здесь ключевые позиции. Наши неудачи в Корее взволновали французов — это естественно, они южане, быстро загораются и быстро гаснут. Но Вашингтон напрасно так болезненно реагирует на статьи в некоторых французских газетах. Положение несколько улучшилось. Правда, коммунистов подбодрила Варшава, но у меня впечатление, что они начинают выдыхаться. Давно уж не было уличных демонстраций. Да и в портах стало спокойней. Мы можем встретить Эйзенхауэра с легким сердцем: самое трудное позади.

За пять месяцев Бедье дважды пережил угрозу правительственного кризиса. Он волновался больше всех: если правительство полетит, ему не видать министерского портфеля. Бидо и Шуман никогда его не любили. А Нильс злится. Вооружение немцев не нравится французам, ничего с этим не поделаешь. Американцы могут оккупировать всю Францию, но французы и тогда не начнут рассуждать по-американски. Я говорил Нильсу, что американцы ведут себя бестактно, их теперь не любят даже такие люди, как Пино или Гарси. Эйзенхауэра встретят без восторга. Хорошо, что полиция научилась справляться с коммунистами. Даже в Ля Рошелли стало тише. Конечно, болезнь продолжается, но ее загнали внутрь, нет по крайней мере красной сыпи...

Ру говорил Лежану:

— Докеры изголодались, измучились, но ты не думай, что они сдались. Напротив... Если теперь что-нибудь начнется, придут и те, кто в феврале прятался. Американцы всем осточертели.

Лежан продолжал писать, выступать на собраниях, беседовать с жителями города. Его голова совсем побелела, глаза стали печальней и мягче, но голос звучал, как прежде, чисто, звонко, когда, выступая перед рабочими «Завода Бодри», он повторял: «Ля Рошелль никогда не будет американской!»

Был холодный зимний день. Ветер срывал шляпы с прохожих, кружил столбы пыли, врывался в бараки. Рыбацкие лодки спешно возвращались в порт; задержали два парохода — начиналась буря.

С утра город облетела весть: сегодня причалит транспорт с американскими солдатами. Люди двинулись в Ля Паллис; здесь были и докеры, и рабочие «Завода Бодри», и тетка Кюфо, и школьники, и старые женщины, потерявшие на войне сыновей, и бухгалтер «Лионского кредита», который вернулся из немецкого плена, и господин Фурье, владелец посудной лавки, дочку которого убили в гестапо, и коммунисты, и люди, обычно избегавшие шумных демонстраций.

Ру шел с докерами впереди; они выкрикивали: «Мир! Мир! Мир!» Увидев Лежана, докеры его подняли на плечи: после двух процессов Лежана знали все; тетка Кюфо ему говорила: «Ты теперь уже не уедешь из Ля Рошелли, тебя город не отпустит...» Докер поднес ко рту Лежана рупор, и он звонко, как юноша, крикнул:

— Ля Рошелль не будет американской!

Тысячи людей ответили:

— Никогда!

А ветер крепчал.

99

Бедье, узнав, что Бодри приехал в Париж по делам, решил с ним встретиться: нужно приобщить упрямого старика к задачам, которые стоят перед Францией. Дело не только в Лежане. Мы слишком мало уделяем внимания провинции. Бодри — крупная фигура, его уважают промышленники всего юго-запада. Пора понять, что Франция не Париж. Разве можно пренебречь Лионом? А Дюмон рассказывает, что лионские фабриканты фрондируют; там растут настроения в пользу нейтралитета. Бодри — умный человек, он патриот, я помню, как он возмущался коммунистами во время войны в Марокко. Если он теперь держится в стороне, то только потому, что никто с ним как следует не поговорил. Нельзя же полагаться на такт префекта...

Бедье устроил завтрак в отдельном кабинете одного из старейших ресторанов Парижа: он знал, что Бодри не любит новшеств. В модных ресторанах могут подать коктейль или положить на утку ломтик ананаса: даже в гастрономии французы теряют традиции. Но здесь все, как было сто лет назад.

Кроме Бодри, Бедье пригласил Пино, Гарси и Фабра. В лице Пино Бодри может познакомиться с настроениями той группы промышленников, которая считает, что лучше уж договориться с немцами, чем поссориться из-за немцев с американцами. Гарси знает парламентские настроения, он свой человек и среди радикалов, и среди голлистов. Фабр должен понравиться Бодри: они оба националисты. А я смогу рассказать Бодри, как настроены передовые католики, которые отстаивают соглашение с социалистами.

Бедье не ошибся в выборе ресторана. После угря в вине Бодри вдруг улыбнулся и сказал:

— В этом кабинете мы праздновали окончание политехнической школы. Кажется, даже эти самые гравюры висели... Это было в тысячу девятьсот восьмом году. Я поздно кончил — мой отец был практиком, а мне захотелось изучить металлургию... Тогда была революция в Турции, товарищи шутя меня называли «младотурком», потому что я был сторонником радикальных реформ. Помню, мы пригласили старого профессора Дюше, он выпил много шампанского и пел смешные куплеты про президента Фальера...

— У вас удивительная память,— сказал Бедье.

— Да, память у меня неплохая. В этом мое несчастье... Я помню время, когда Франция была Францией...

Пино печально высморкался:

— Приходится считаться с обстоятельствами. После первой мировой войны тон задавала Франция, Клемансо мог возражать Вильсону. А теперь диктуют американцы... Я вижу фон Мальтца насквозь. Он очень любезен, но он уже ставит вопрос о Саарском бассейне. Я убежден, что он не расстался с мыслями об Эльзасе. Если мы с ним договорились, то только потому, что из двух зол выбирают меньшее...

— По-моему, из двух зол вы выбрали большее,— возразил Бодри.— В молодости я часто проходил по площади Конкорд мимо статуи Страсбурга, завешенной траурным крепом. Я был капралом на войне, я знаю, как трудно было остановить немцев. Но тогда был Клемансо... Вы говорите, что мы можем снова потерять Эльзас? А я вам скажу, что теперь вы можете завесить крепом статую Франции.

Гарси чуть было не начал спорить: ведь этот старик повторяет доводы красных. Но он подумал, что не стоит портить хороший завтрак, и миролюбиво заметил:

— Все это так, но в четырнадцатом году не было красной опасности. Мы связаны по рукам и по ногам. Стоит нам отвернуться от Америки, как в этом ресторане окажутся красные казаки.

— Самое страшное — это не русские, а их французские приверженцы,— добавил Фабр.— Не забывайте, что из троих избирателей у нас один голосует за Москву.

— Наш друг Фабр несколько сгущает картину.— Бедье улыбнулся.— Среди людей, которые голосуют за коммунистов, немало порядочных французов, встревоженных немецкой угрозой. Но слов нет, мы должны обороняться на двух фронтах — на рубежах страны и внутри...

Бодри молча ел рагу из зайца, изредка поглядывал на собеседников. Пино снова заговорил:

— Поймите, господин Бодри, никто из нас не в восторге от американцев, но у нас нет другого выхода. Мы должны подумать о будущем Франции. У нас есть, наконец, свои интересы...

Бодри отхлебнул бургундского и, подергав усы, ответил:

— Почему вы думаете, что я пренебрегаю своими интересами? Напротив... Я владелец «Завода Бодри», и я француз. На той, первой войне я был дважды ранен. Так вот мои интересы совпадают с интересами Франции. Да, судари, да! Америка и Россия — два гиганта. А у нас всего сорок миллионов жителей и, как вы знаете, народонаселение не возрастает. Мы не можем пускаться на авантюры. Допустим, что американцам необходимо воевать против русских,— американцам, но не нам. Все понимают, что война развернется на нашей территории. Даже если Америка победит, нам от этого легче не будет: мы попросту не доживем до победы, то есть отдельные люди могут спастись, но французская нация такой катастрофы не переживет.

— Вы не боитесь, дорогой господин Бодри, что если мы окажемся вне двух группировок, нас растопчут? — спросил Бедье.

— Мы все-таки не Люксембург и даже не Бельгия. Если начнется война между Америкой и Россией, ни одна из сторон не захочет получить дополнительного врага в лице Франции. Но мы должны порвать военный союз, который нам навязан, очистить национальную территорию от иностранных войск. Тогда мы сможем пережить войну между Америкой и Россией, если этому несчастью суждено случиться. Есть, господа, эгоизм, право же не постыдный: думать прежде всего о своем отечестве.

Гарси иронически улыбнулся:

— Вы идеализируете красных. Никогда они не будут считаться с нашим нейтралитетом.

— Вздор! — Бодри сердито дернул свои усы.— Зачем русским итти на Францию, если здесь не будет американских баз? Вам могут не нравиться их идеи. Мне они тоже не нравятся. Я, господин Гарси, промышленник, а не пролетарий. Но никто меня не убедит, что русские — сумасшедшие. Напротив, они очень осторожны в своей политике. А вот если Ля Рошелль будет военной гаванью Америки, если на аэродроме Орли будут «летающие крепости», если мы вступим в войну, которую начнет Вашингтон, можете не сомневаться: сначала русские нас разбомбят, а потом займут всю Францию. Мне эта перспектива не улыбается.

— Неужели вы считаете американцев такими слабыми?

— Нет. Американцы могут причинить много ущерба России. Я не военный и не берусь предсказать, кто победит... Но вы представляете себе, что останется от Франции, если американцы будут отсюда выбивать русских? А они сами пишут, что вряд ли им удастся задержать красных на Рейне... Я мог бы вам сказать, что я говорю, как владелец «Завода Бодри», и что я не хочу бросать на ветер добро, полученное мною от отца и деда. Но это не так; я говорю с вами, судари, как француз. Мы получили Францию от наших прадедов. Нельзя швырнуть ее на зеленое сукно. Игру ведете не вы. А вы подумали, чем вы рискуете? Отечеством.

Слова Бодри смутили всех. Наступило молчание. К счастью, принесли перигорский паштет с трюфелями, и все занялись едой.

Бедье был человеком чрезвычайно впечатлительным, он легко увлекался и миловидной женщиной и красивой фразой. То, что говорил Бодри, было направлено против него; он понимал, что должен возразить. А он молча восхищался: ну и старик!.. Когда Бедье был подростком, он часто слышал, как в Ля Рошелли говорили: «У Бодри львиная хватка». Бодри действительно похож на старого льва. Ему под семьдесят, а он крепче меня, продолжает работать на заводе. А как он пьет! Ведь он сейчас выпил бутылку шамбертена. Доктор говорит, что для меня вино — яд, только минеральная вода... Скучно!.. Префект рассказывал, что у Бодри в прошлом году родилась дочка; я пробовал пошутить, но он засмеялся: «Этот старик может наставить всем рога...» Удивительно, почему он так сохранился? Я мог бы быть его сыном, а я сдаю, еще год-два, и настанет время монашеской добродетели... Конечно, он не понимает, что значит управлять страной, он судит со стороны. Но во многом он прав. Главное, чувствуется, что он любит Францию. Это придает ему силу. Он рассуждает, как рассуждал когда-то мой отец. Другое поколение... Но ведь Франция та же...

Пино сердито отодвинул тарелку. Он страдал печенью, и ему запретили есть паштет, но он все-таки съел кусок и подумал: обязательно расплачýсь припадком. Разговоры Бодри его злили: этот захолустный резонер не понимает положения. Его легко высечь. Но Бедье обидится... Лучше мирно закончить завтрак. И Пино сказал:

— Оставим большие вопросы... Я все же считаю, господин Бодри, что лучше пойти на включение в европейскую армию десятка немецких дивизий, чем допустить восстановление вермахта.

— Чума не лучше холеры. Неужели вы не видите, господин Пино, их игры? Через два-три года мы получим немецкую армию, и она будет сильнее нашей.

Фабр спросил:

— Что же, вы предпочитаете Москву?

— Если пришлось бы выбирать, предпочитаю. Внешняя политика, господин Фабр, определяется географией, а не идеологией. Возьмите англичан, они всегда хотели, чтобы на континенте сохранялось равновесие, только тогда они чувствуют себя вполне спокойно. Именно поэтому они под-

держивали Германию после Версаля, а пятнадцать лет спустя объявили ей войну. Они на острове и более или менее обеспечены от нашествия... Все настоящие политики Третьей республики — и Барту, и Мандель — стояли за соглашение с большевиками против германской угрозы...

— Но вы же не скажете, что вы и теперь за союз с Москвой? — воскликнул Гарси.

— У нас есть с Москвой договор, направленный против попыток немецкого реванша. Мы его нарушаем, соглашаясь на создание немецких дивизий... Другое дело — спор между Америкой и Россией. Я вам не предлагаю заключить договор с Москвой против Америки, я только считаю, что мы не должны быть связаны договором с Америкой против России.

Фабр слушал Бодри то с восхищением, то с негодованием. Он любил старую Францию, ее традиции, мощь. Но как может Бодри предлагать меры, которые наруку красным? Лучше пойти с Ширке, чем поддержать партию Тореза. И Фабр, возмущенный, сказал:

— В общем вы защищаете коммунистов.

Бодри весело рассмеялся:

— Вот уж нет! Как я могу защищать людей, которые хотят отобрать у меня завод, лишить моих внуков не только наследства, но и возможности инициативы? А вы думаете, что мне нравится, когда коммунисты швыряются нашими колониями? Совсем не нравится. Но скажите мне: разве наше правительство ведет войну в Индокитае, чтобы сохранить его для нас? Да мы его давно потеряли. Индокитай будет американским или аннамитским, как коммунисты говорят, «вьетнамским», французским он все равно не будет. Может ли иметь колонии страна, которую американцы третируют, как колонию? Я лично не чувствую себя больше хозяином. Сегодня я еще могу не пустить их на завод, не знаю, что будет завтра, но в Ля Рошелли хозяева теперь они, а не мы. Да и во всей Франции... Я вспоминаю тысячу девятьсот пятнадцатый год в Шампани. Из моего батальона уцелели шесть человек. Люди умирали, чтобы не отдать ста метров французской земли... А что теперь происходит? Отдают Францию... Нехорошо, судари, очень нехорошо!..

Эти слова как бы повисли над концом завтрака. Правда, все еще посидели полчаса за кофе с коньяком, и Бодри, не возвращаясь больше к политике, говорил о достоинствах виноградников Шаранты, с которыми не могут потягаться виноградники соседних департаментов:

— Коньяк делают повсюду: в Америке, в Италии, в Венгрии, в России, даже в Австралии; имя стало нарицательным, но настоящий коньяк — только в городе Коньяке. Это, кстати, родина Бодри: оттуда мой прадед приехал в Ля Рошелль...

Фабр вышел вместе с Гарси; он сказал адвокату:

— Бодри прав — мы унижаемся перед американцами, но он не понимает, что такое красные. Он застыл в прошлом. Все лучше, чем попасть под пяту коммунистов!..

Гарси слушал его рассеянно, был занят своими мыслями.

— Конечно,— сказал он,— вы правы. Интересно — получит ли правительство вотум доверия? Среди радикалов полный разброд. Отпадет не меньше тридцати голосов...

Пино уехал в скверном настроении. Завтрак был хороший, но напрасно он ел паштет, и потом Бодри невыносим со своими патриотическими тирадами. Это годилось для прошлого века. Теперь люди стали более гибкими. Легко ему рассуждать! Пусть поговорит с Нильсом... Американцы нам навязали соглашение с немцами, это все знают. Но что тут можно поделать? Бодри способен только испортить мне пищеварение, осадить американцев он не может. Нильс с ним не станет даже разговаривать...

Пино печально высморкался и принял лекарство.

Бедье проводил Бодри до гостиницы. В машине Бодри спросил, не был ли он чересчур резок. Бедье запротестовал:

— Вы на всех произвели огромное впечатление. Что касается меня, то вы меня тем более тронули, что все последнее время я думаю, в какой тупик мы зашли. Вы правы — нужно спасти Францию от катастрофы. Немецкая угроза налицо, и никому не улыбается, чтобы наша страна стала полем битвы между американцами и русскими. Вы поставили все точки над «и». Верьте мне, я немного могу сделать, я слишком независимый человек, чтобы со мною всегда считались, но я потребую пересмотра

нашей внешней политики, а если не смогу ничего добиться, уйду, займусь частной работой. Я не хочу помогать тому, что считаю преступлением...

Оставшись у себя в номере, Бодри прилег: он любил поспать днем. Но сон не шел: разговор его взволновал. Он сел в кресло возле окна. Напротив, в парке Тюильри, играли дети. Он тоскливо подумал: вот завтрашняя Франция... Что ее ждет? Стыдно подумать, что Бедье может что-то решать. Ведь это шелопай и ничтожество, я помню его мальчишкой, он и тогда старался всем понравиться, и никому он не нравился. От Клемансо до Бедье... Бодри подергал усы и сел к столу: нужно проверить счета. Аргентина еще покупает, может быть завтра перестанет. С Варшавой дураки, вроде Бедье, помешали мне договориться. Не знаю, сколько я проживу и сколько проживет «Завод Бодри»?..

Госпожа Бедье не преувеличила, рассказав госпоже Гарси, что у Бедье теперь две любовницы. Он попрежнему был неравнодушен к прелести молоденьких наивных модисток, но сошелся с актрисой, мадмуазель Тилье: почти у всех министров были любовницы актрисы, а Бедье хотел даже в мелочах интимной жизни подчеркнуть, что он был, есть и будет министром. Сначала мадмуазель Тилье ему не очень нравилась, он изменял ей с веселой пухленькой Нини. Но за последнее время он как-то отяжелел и начал предпочитать болтовню объятьям. Мадмуазель Тилье сплетничает, рассказывает анекдоты. А с Нини не о чем говорить, она умеет только целоваться и взвизгивать.

После завтрака с Бодри Бедье поехал в министерство. Вечер он обещал провести с Нини, но он ее обманул: позвонил мадмуазель Тилье, сказал, что приедет к ней. Она была очень мила в голубом кимоно, рассказала несколько смешных историй о Бидо. Бедье посмеялся и вдруг сказал:

— Бидо и в политике не знает меры. Мы должны осадить американцев, это теперь понимают все. Даже Гарси... Конечно, американцы нам во многом помогли, но они слишком зазнались, считают, что им все позволено...

— Ты абсолютно прав,—ответила мадмуазель Тилье.— Мне рассказывала Аньес Дюваль, ты ее, наверно, не знаешь, ей дают маленькие роли инженю, у нее был роман с одним американским дипломатом, и, можешь себе пред-

ставить, он однажды поехал с ней на Монмартр, они поужинали, потом ему приглянулась какая-то девка, и он с нею укатил. Аньес осталась одна в ночном ресторане. Это все-таки актриса «Комеди франсез», так не поступают...

На следующее утро Бедье прочитал телеграмму, которая его вывела из себя: Макклой освободил Круппа и группу нацистских генералов, осужденных за военные преступления. Что за бестактность! Французы и без того возмущены, а эти господа провоцируют... Хорошо, что сегодня я обедаю у Нильса, я ему прямо скажу,— это недопустимо. Мы слишком легко на все соглашаемся, они перестали с нами считаться. Бодри прав: нельзя забывать о национальных интересах. Нужно поставить американцев на место...

За обедом Нильс первый заговорил о политике, начал обличать французов:

— Поведение вашей печати попросту неприлично. Я беру такую солидную газету, как «Монд». Когда нас в Корее потеснили китайцы, они буквально ликовали, как будто это газета «китайских добровольцев», а не французских промышленников. Теперь они печатают паскудные статьи о «нейтралитете». Вы знаете, как настроены в Америке некоторые республиканцы? Они давно говорят, что нужно бросить Европу на произвол судьбы. Такие статьи им наруку, они теперь говорят о «черной неблагодарности» Франции.

Бедье стал оправдываться:

— За границей придают чересчур много значения статьям в «Монд». Право же, за этой газетой никого нет, кроме выживших из ума стариков, которые не могут забыть прошлого. Да и они ворчат скорее от привычки ворчать, чем от оценки положения. Всякий здравомыслящий француз понимает, что, если американцы нас оставят, мы сделаемся легкой добычей красных.

— Кстати о красных,— продолжал распекать Бедье Нильс.— В Ля Рошелли опять была скандальная демонстрация. Хорошо встречают французы наших солдат, нечего сказать! Им кричали «Go home!». Знаете, господин Бедье, такие шутки опасны. Парню из Огайо или из Флориды совсем не улыбается умереть за свободу Франции.

Он оставил своих, переплыл океан во имя нашей дружбы, а ваша чернь его встречает криками «убирайтесь домой». Он может взять и действительно убраться к себе. У него есть свой дом, и неплохой, это не бродяга. Гувер или Тафт именно хотят, чтобы американские солдаты убрались назад в Америку. Интересно, что вы тогда скажете? Я уж не говорю о русских, но как вы справитесь с вашей красной чернью?

— Эта демонстрация меня самого ошеломила. Префект заверял, что наступило успокоение. Я вас уверяю, господин Нильс, что мы достаточно озабочены выходками красных. Накануне приезда генерала Эйзенхауэра это настоящая провокация. Коммунистов нужно поставить на место...

Бедье поехал к Нини: ему хотелось немного простой ласки, глупого визга, животного тепла. Никогда он не заговаривал с Нини о политике: разве может такая дурочка разбираться в серьезных делах? Он изумился, когда она сказала:

— У нас в мастерской говорят, что скоро приедет много американцев, офицеры, солдаты...

— Ну и что же?..

— Мадам Шарпантье очень довольна, она говорила, что будут покупатели — американцы захотят привезти сумочки своим женам. А мастерицы сегодня очень смеялись... Ты знаешь, что кричат американцам? Go home! Смешно, правда?

Она поглядела на Бедье. Он лежал с открытыми глазами и не улыбался. Нини притихла.

— Ты должен немного поспать, а то ты, бедненький, устал. Представляю, сколько у тебя работы!..

100

Нильс за последний месяц осунулся. Новый год он еще встретил весело, пил, смеялся; а потом наступили отвратительные дни; достаточно сказать, что он ни разу не посмотрел на свои табакерки.

Он рассчитывал, что Эйзенхауэр пробудет в Париже по меньшей мере неделю, а генерал прилетел в воскре-

сенье и сразу сказал, что уедет во вторник. На аэродром Орли пропустили только официальных лиц и десяток журналистов. Нильс вспомнил, как Эйзенхауэр приехал в Париж вскоре после победы, тогда его встречали сотни тысяч парижан, а теперь машины неслись, выбирая пустынные улицы. Полковник Стоун, сопровождавший генерала, пугливо ежился. Нильс подумал: так, наверно, себя чувствовал в Париже Ширке, но ведь Ширке был сотрудником фон Штюльпнагеля, а Эйзенхауэр — освободитель Франции...

Генерала отвезли в комфортабельную гостиницу на авеню Клебер; штаб поместился в «Астории». Понедельник Нильс провел в томительном ожидании. Позвонил Бедье: он надеялся встретиться с Эйзенхауэром на приеме, но поскольку все церемонии отменены, он просит, чтобы генерал его принял. Нильс сердито ответил: «У генерала нет времени...»

Эйзенхауэр посетил Плевена, Шумана, Мока. Мок ему сказал: «Вы увидите, что мы справимся с коммунистами». Эйзенхауэр вежливо улыбнулся. Вечером полковник Стоун говорил Нильсу: «Допустим, что они действительно заткнут глотку своим красным, все равно я не верю в их армию — кого они смогут мобилизовать, если не этих же горлодеров? Мок просит увеличить поставки вооружения... Я боюсь, что мы даем оружие нашим завтрашним врагам».

Вторник был шумным. Утром зимнее красное солнце пробилось сквозь туман. Нильс в «Астории» разговаривал с полковником Стоуном, когда дежурный офицер доложил: «Красные явились с петициями...» Разумеется, Стоун приказал никого не впускать. Нильс, поглядев в окно, разозлился: префект опять прозевал. Интересно, что у французов в голове? Вызвали командира МП, тот позвонил префекту. Прибыли грузовики с полицейскими. Толпа на Елисейских полях не редела; шли все новые и новые делегации, они несли листы, скрепленные подписями: «Генерал Эйзенхауэр, уезжайте домой!» Нильс злился. Нечего сказать «петиции»! Где же хваленая французская вежливость? У них не осталось даже этого...

С полудня начались забастовки. Нильсу непрерывно докладывали: «Забастовали телеграфисты... Ситроэн... рабочие Берти... газ... студенты... депо... муниципальные слу-

жащие... Гочкис...» Нильс наблюдал, как полицейские разгоняли толпу. Потом он отошел от окна: волокли молодую женщину, лицо ее было в крови. Нильс поморщился: конечно, эксцессы неизбежны, все же они могли бы бить женщину не по лицу: для француженки внешность — это все...

Под вечер стало несколько спокойней. Префект доложил, что арестовали двести красных. Нильс снова подошел к окну. Красивая улица — Елисейские поля... А французы верны себе: драка, крики, кровь, и тут же дети пускают шарики — розовые, изумрудные, голубые. Нильс залюбовался шарами в сизосинем небе. Один шарик несся прямо к «Астории». Нильс вдруг увидел, что на нем написано: «Генерал Эйзенхауэр, уезжайте домой!» Что за проклятая страна! Все французы, как Бедье, считают себя неотразимыми, а на самом деле они вызывают отвращение. У них наглость сутенеров. Может быть, когда-то они были нацией, теперь это уличный сброд. Я долго защищал их, но они опротивели даже мне.

Ну, что тут написать? — уныло думал Билл Костер. Наверно, Бернсон считал, что парижане закидают Эйзенхауэра цветами. Это пакостный город; только такой потаскухе, как дочка рыжего, может здесь нравиться...

Билл решил заглянуть в «Асторию»: может быть, Стоун расскажет что-нибудь о переговорах. Полицейские отгоняли французов от подъезда, некоторых волокли в тюремные фургоны. Костер подумал: все-таки французы — глупый народ, не понимаю, почему их считают остроумными. Молодой парень, кажется, мог бы пойти на матч бокса или выпить с приятелем, нет, он подписывает дурацкие резолюции. Политикой стоит заниматься, если за это платят, а для французов политика — страсть...

Вдруг Костер увидел хорошенькую, элегантно одетую девушку, которая тщетно пыталась проникнуть в «Асторию». Полицейские у них тоже дураки, подумал Билл, не могут отличить порядочных людей от красных. Он любезно спросил девушку:

— Вы кого-нибудь ищете, мадмуазель?

Девчонки здесь, что ни говори, восхитительные...

Девушка протянула карточку: «Генерал Эйзенхауэр, уезжайте домой!» Билл ее недоуменно оглядел:

— Слушайте, зачем вы занимаетесь такой ерундой? Мордочка у вас приятная. При других обстоятельствах я бы вас, пожалуй, пригласил поужинать...

Девушка вспыхнула:

— Вы, кажется, хотите получить впридачу пощечину?

Билл рассердился и подозвал полицейского:

— А ну, уберите эту красную!

Полковник Стоун не рассказал ничего интересного, и Билл, громко позевывая, диктовал статью: «Французы дали отпор кучке московских агентов...»

На следующий день он скучал и злился в Брюсселе, потом в Гааге, в Копенгагене, в Осло, в Риме. Повсюду министры прибеднялись, говорили, что нет солдат, нет средств, и повсюду красные повторяли: «Генерал Эйзенхауэр, уезжайте домой!» Европейцы еще смеют говорить об однообразии Америки. Вздор, у нас что ни человек, то другая судьба. А здесь скучища, никакой романтики. Я мечтал об охоте на тигров, а должен выслушивать каждый день те же жалобы или ругань. Конечно, в Гааге чисто, а в Риме грязные развалины, которыми итальянцы почему-то гордятся, но все они клянчат деньги или поносят американцев, воевать никто не хочет, это трусы и дармоеды. Хорошо, что скоро я буду дома! Правда, в Нью-Йорке меня не ждет ничего утешительного. Наверно, Виктория успела приобрести мумию фараона или найти нового специалиста по лечению вегетативной системы, так что денежки Бернсона плакали. Но в Нью-Йорке по крайней мере можно выпить с Джимом, это славный парень...

Костер страдал от отсутствия собутыльников. Журналисты, сопровождавшие Эйзенхауэра, были мелкими карьеристами, старались угодить полковнику Стоуну, подсмотреть в щелку, улыбается ли генерал после беседы с голландским премьером. Билл их презирал. В Париже его обидел Нильс. Костер говорил себе: этот дурак с табакерками задается. Он не сумел прибрать к рукам французов, а с независимым журналистом разговаривает, как с подчиненным. Препротивная личность!

Зато Билл расцвел во Франкфурте: генерал Даус сказал, что Костер не просто журналист, он отличился в Праге, нужно пригласить его к обеду. Даус понравился Биллу: генерал обругал французов, сказал, что с немцами

дело на мази, много пил, потом перешел на веселые анекдоты, а под конец показал фокус — дал полковнику Стоуну крохотную салфеточку и вытащил у него из кармана большую простыню. Все смеялись, особенно сам генерал Даус и Билл. Костер был в восторге: вот это настоящий американец! Он делает мировые дела, а за столом — простой парень. В таких людях наша сила, можно изъездить всю протухшую Европу, ничего похожего не найдешь.

Костер подробно описал успехи Эйзенхауэра в Германии. Генерал показал себя настоящим рыцарем: он великодушно обещал вчерашним противникам забыть прошлое, говорил о чести вермахта. Один немецкий генерал, слушая, даже прослезился. Билл сказал Стоуну: «Это Эйзенхауэр здорово отмочил. Конечно, немцы тоже дураки, но они куда порядочнее французов. Если они скажут, что пойдут воевать, то они пойдут».

Как ни приятно было у Дауса, Костер с облегчением подумал: в среду — Париж, там продиктую последнюю статью и домой...

Бедье злился: зачем Эйзенхауэру понадобилось объясняться в любви нацистским генералам? Атмосфера здесь и без того накаленная. Многие рассуждают, как Бодри. А коммунисты назначили на среду демонстрацию, хотят освистать Эйзенхауэра. Боюсь, что им удастся поднять людей: Нильс не понимает, что немцев у нас слишком хорошо помнят.

Нильс не положился на префекта и спросил Бедье, какие меры приняты, чтобы не допустить беспорядков. Бедье поспешил его успокоить: десять тысяч полицейских приведены в боевую готовность, демонстрации не будет.

Бедье повеселел: все-таки Нильс мне доверяет. Пожалуй, есть шансы сохранить портфель... Хорошо бы повидать Эйзенхауэра. Нильс сказал, что постарается это устроить. Надо надеяться, что коммунистов теперь не подпустят близко к Елисейским полям...

Наступали серо-голубые сумерки. Самба возвращался с выставки молодого художника, которая его рассердила: немного от Матисса, немного от Брака, и ничего своего. Он медленно шел с улицы Ля Боэси к Елисейским полям; он больше не думал о живописи — любовался Парижем,

Пожалуй, это самый удивительный час. Некоторые окна чуть светятся; холодок; пепельные дома еще печальней обычного; ветки голых каштанов как будто нарисованы бледной тушью; легкий туман обволакивает и лица встревоженных женщин, и груды апельсинов на ручных тележках, и лиловатый мокрый асфальт. Я много писал Париж, а вот этого волнения так и не передал, это похоже на сборы в далекий путь или на последнюю страсть уже немолодого человека...

На одной из улиц, выходящих к Елисейским полям, Самба увидел толпу, которую теснили полицейские. Самба любил уличные сборища, рабочих в кепках, озорных девушек, крики, песни — это напоминало ему дни августовского восстания, короткое счастье, когда он был со всеми. Он и теперь об этом подумал и вдруг увидел Ивонн. Ее лицо давно его привлекало необычайным напряжением, вдохновенностью, нежностью, переходившей в суровость; именно такой он увидел ее, когда был у Рене и разговор зашел о событиях в Ницце, потом на похоронах Дюма. Такой она была и теперь; казалось, она сейчас прорвется сквозь цепи полицейских — столько было в ней сосредоточенности, огня, воли.

Самба не заметил Рене, который, смеясь, сказал:

— Ты что удивляешься? Не пускают. Боятся, что Эйзенхауэр обидится.

Только теперь Самба вспомнил: вчера в баре говорили, что будет демонстрация против Эйзенхауэра. Он подумал: коммунисты правы — все-таки противно, что снова говорят про немецкие дивизии. Зачем я лежал на крыше и стрелял в нацистов? Зачем погибла Леонтина?.. Он сказал Рене:

— Пойду с вами...

Рабочие заводов Берти шли к площади Конкорд. Впереди шагал механик Габэн. Неделю назад он получил коротенькое письмо от Лежана, который писал, что в Ля Рошелли настроение хорошее, докеры держатся геройски — не хотят выгружать американское вооружение; против него префект возбудил третье дело — процесс будет в феврале. Габэн прочитал письмо Лежана рабочим; все говорили, что докеры подают пример. Рабочие шли вдоль набережной. Сена тоскливо светилась змеиной

чешуей. Прокричал буксир. Вспыхнули воспаленные глаза завода. Рабочие дошли до площади Конкорд, она была оцеплена полицейскими и, пустынная, казалась огромным бальным залом с натертым паркетом и таинственными канделябрами. Здесь произошла первая стычка с полицейскими. Габэн увидел, как токарь Реми упал на землю. Тоненькая струйка крови поползла по каменной плите. Габэн крикнул: «Ах, вот как!..» Он побежал вперед, за ним ринулись другие. Площадь Конкорд ожила, зашевелилась.

Люси записывала в мэрии гражданские акты. Перед нею стоял молодой рабочий, объяснял: он не женат, а дочка — его, так и надо записать: Мари-Клод Дюваль. Он теребил в руке кепку и поглядывал на часы. Люси подумала: до чего он похож на Пепе (вспомнила фотографию, которую ей показала Мари). Рабочий сказал:

— Вот было бы хорошо, если бы вы меня поскорей отпустили... А то наши идут к «Астории»...

Люси улыбнулась:

— Сейчас кончу. Я туда тоже пойду...

Ее начальник Бонье предупредил служащих, что демонстрация запрещена и что он не потерпит участия в уличных беспорядках сотрудников мэрии.

— Это вопрос не только политических убеждений, но и такта.

Люси поправила волосы, провела по губам помадой и насмешливо ответила:

— Когда говорят об американцах, лучше не вспоминать о такте... Вы напрасно думаете меня испугать увольнением, господин Бонье, немцы меня приговорили к десяти годам, из них три года я отсидела...

Она пошла со служащими мэрии. Когда-то были листовки, минута счастья в квартире Формиже, тюрьма, тревога, смерть Робера. Много лет прошло, она уж не наивная девочка... Кругом люди, они идут с работы, пьют аперитивы, покупают вечерние газеты, смеются или хмурятся. Все устроились, а у нее своей жизни так и нет: склеенная чашка на полке...

Она увидала на фасаде дома мраморную дощечку: «Здесь 22 августа 1944 года пал смертью храбрых Жан Шоле». Несколько засохших цветов. Нет, ничего еще не

кончилось! Жан Шоле погиб, а сейчас идут другие. Есть среди них и наивная девушка, какой я была, и у нее свой Робер, может быть сегодня его арестуют или застрелят... Карты теперь раскрыты: американцы договорились с немцами. Я не удивлюсь, если Эйзенхауэр любезничал с гестаповцем Грейзером, который пытал Робера, Пепе, меня...

Люси вдруг очень звонко крикнула: «Эйзенхауэр, убирайтесь!..» Ее голос затерялся среди гудков машин, шума людной улицы.

Когда профессор Брюан, закончив лекцию, сошел с кафедры, один из студентов сказал:

— Мы должны сейчас пойти на Елисейские поля. Пусть Эйзенхауэр знает, что молодежь Франции не продается...

Профессор Брюан смутился:

— Зачем вы вносите в эти стены политику?

— Это не политика. Это — дело совести каждого француза. Мы знаем, что вы отказались работать с немцами. Вы были другом Дюма. Неужели вы нас осудите?..

Профессор Брюан, помолчав, сказал:

— Может быть, вы правы, не знаю...

Профессор Брюан пошел домой; он поднял воротник пальто — дул холодный ветер. Он подумал: Дюма, наверное, пошел бы на Елисейские поля. В общем они правы: зачем нам воевать против русских да еще рука об руку с вермахтом? Теперь все политика... Когда я был студентом, мы горланили, потому что нужно было освистать профессора или потому что была масленица, надевали маски, бросали конфетти... Жизнь стала очень суровой. А может быть, я, как все старики, дуюсь на новые времена? Ведь им весело — поют, будут драться с полицией... Дюма обязательно пошел бы с ними...

Студенты шли по бульвару Сен-Мишель и пели. На террасах кафе сидели другие студенты. Некоторые из них ругались: «Когда же генерал де Голль заткнет глотку коммунистам?..» Другие равнодушно усмехались: охота лезть в драку! Лучше посидеть в кафе, посмеяться, полюбезничать с Нини или с Марго — ведь это годы счастья, за ними — служба, катар желудка, налоги, старость...

Возле Сены полицейские разогнали демонстрантов, арестовали десяток студентов; остальные исчезли. Шли

мирно автобусы. Девушка продавала букетики фиалок. Четверть часа спустя на другом берегу Сены студенты снова собрались и затянули «Марсельезу».

Мари шла с рабочими типографии по горбатой улице Бельвилля. Здесь не было ни сверкающих кафе, ни нарядных витрин, ни модниц. Старые дома казались покрытыми морщинами, ссадинами, сыпью. Иззябшая женщина несла ведерко с углем. У цинковой стойки рабочий пил красное вино. Крохотная девочка плакала на мостовой, похожая на брошенную куклу. Глядя на демонстрантов, прохожие сочувственно ухмылялись, некоторые кричали: «Передайте ему, чтобы он убрался в свою Америку...»

Шоме сказал Мари:

— Я тридцать два года работаю. Чего только не приходилось набирать! А вот при немцах я пошел копать картошку, душа не выдержала. И что же ты думаешь? Эти подлецы теперь договорились с немцами. Нет, уж лучше пусть меня пристрелят, чем еще раз пережить такое...

Рабочих останавливали, рассеивали; но когда они подошли к набережной, все вокруг было черно от народа. Мари подумала: вот где Париж! Пусть они видят, какая у нас сила. Пепе погиб не для того, чтобы Жано шагал по команде какого-нибудь фашиста. Нет, Жано будет счастлив; если не верить в это, страшно жить, ведь другого у меня не осталось. Неправда, есть партия. Пепе написал перед казнью: «Дорогая моя Партия» — так он прощался с Францией... Американцам все-таки придется убраться, ничего они с нами не поделают...

Саблон стоял на площади Этуаль возле Могилы неизвестного солдата. Он думал о Франции: сколько раз она падала и снова подымалась! Если поглядеть на карту, это — маленький кусок Европы, а все-таки это — Франция. Ее не вычеркнешь. Культура не платье, она не может выйти из моды. Забыть про Расина, про Вольтера, про конвент, про Бальзака, про Гюго? Глупости! Конечно, есть выродки, которым нравится «кока-кола», но сколько таких? Почему мы, французы, должны жить по-американски? Может быть потому, что американцев больше, что они богаче? Так способен рассуждать только Бедье, и то сомневаюсь. Они забыли, сколько у нас за спиной веков. Неправда, что сердце народа одряхлело, есть еще задор,

достаточно посмотреть на этих людей; у каждого из них семья, трудности, заботы, и все-таки они пришли. Никогда я не видал столько полиции. А разогнать не могут... Кто опишет мужество Парижа? Его нелегко рассмотреть, оно спрятано за шуткой, за усмешкой — люди стыдятся походить на героев... На могиле, как всегда, пламя. Кто здесь похоронен? Парижский рабочий? Или бургундский винодел? Или лавочник из Тулузы? Может быть, он не знал, почему умирает. Мне было тогда десять лет, в школе говорили, что это война против кайзера. Наверно, воевали не потому... Откровенно говоря, я ничего не понимаю в политике, не берусь сказать, правильно ли рассуждают коммунисты, но сейчас они отстаивают Францию, это бесспорно. А Франция — не то или иное правительство, это целый мир, это дерево на берегу Луары и стихи Бодлера, шутка, печаль, такой человек, как Дюма, и маленький петушок на шпиле колокольни среди бледной лазури. Можно спорить о принципах, но когда речь идет о Франции, споры кончаются. Здесь нужно стоять насмерть. Сороковой год не повторится: это был обморок, напрасно многие его приняли за смерть. У нас сейчас — Верден; за границей, кажется, этого не понимают. Францию мы не отдадим...

Саблон повернул к Елисейским полям. На углу авеню Клебер его остановил полицейский. В это время сотня демонстрантов прорвалась сквозь цепь. Полицейские били людей дубинками. Саблон хотел было показать остановившему его полицейскому удостоверение журналиста, но вместо этого бросился в свалку. Он вырвал дубинку из руки полицейского и закричал:

— А теперь к Эйзенхауэру!..

Мадо шла в толпе рабочих. На площади Итали она вспомнила: кружилась карусель, печально вздыхала старая шарманка, ее руку сжимала рука Сергея. Как мог этот жар сохраниться? Ведь до сих пор она чувствует тепло его руки. Он идет рядом. Тогда сорока ей вытащила билетик: «Пусть успокоится твое сердце, предмет любви тебя не оставит». На следующий день Сергей сказал, что уезжает. Она плакала, говорила себе: оставил. А это неправда; может быть, хотел оставить, но не смог — любовь оказалась сильней. Он и сейчас с нею...

Она улыбалась: ей было легко среди незнакомых и близких людей. Подросток весело крикнул: «Пусть они катят к себе!» Мадо засмеялась. На площади Репюблик полиция начала разгонять демонстрантов; они разбегались и снова собирались; шли по улице Риволи к Конкорд. Площадь Конкорд оцепили и потому, что она ведет к Елисейским полям, и потому, что на ней помещается американское посольство.

Полицейский оттолкнул Мадо; она чуть было не упала, ее поддержал рабочий. Она побежала вперед и увидела, что все бегут. Вот и посольство... Мадо крикнула: «Уезжайте!..» Тысячи голосов подхватили: «В Америку!..» А мальчуган в чересчур большой кепке хлопал в ладоши и повторял: «Go home! Go home!»

Костер шел из «Астории» в свою гостиницу. Улица была забита людьми. Билл нервничал: как сюда пустили сброд с окраин? Разгильдяи, тунеядцы! Нет, нужно прямо сказать, что мы кормим свору дармоедов.

Билл начал расталкивать людей. Кто-то сказал ему:

— Вы потише...

Костер, разумеется, выругался. Тогда этот наглец завопил:

— Американец!..

Костера окружили. Он показал корреспондентский билет. Все начали кричать:

— Уезжайте домой!

Он хотел уйти, но какие-то девчонки, взявшись за руки, прыгали вокруг него. Костер испугался: у француженок бешеный темперамент, они могут буквально растерзать. Ни одного полицейского. Вот разини! Нужно было пережидать в «Астории», пока не разгонят... Могут убить, это настоящие фурии. Он в отчаянии крикнул:

— Я не такой... Я против Эйзенхауэра...

Это ни на кого не подействовало. Девчонки продолжали визжать:

— Уезжайте домой!

Костер еще громче крикнул:

— Да я завтра уезжаю, это абсолютно точно.

Все зааплодировали. Одна из девушек, смеясь, сказала:

— Вы не представляете себе, как мы вам благодарны! Только, пожалуйста, больше не возвращайтесь. Хорошо?

— Не вернусь, это так же точно, как то, что я Билл Костер.

Он, наконец-то, выбрался из толпы и нашел такси. Он чувствовал себя замученным, как будто его долго колотили; во рту было сухо, пришлось выпить залпом два стакана виски с содовой. Я не соврал этим босякам: больше я сюда ногой не ступлю. Лучше валяться в Нью-Йорке под мостом, честное слово! Бернсон сидит у себя дома, почему же я должен рисковать своей шкурой? Пошлю к чорту Викторию с ее вегетативной системой, в общем она мне смертельно надоела. А на «миссию Америки» мне наплевать. Билл Костер хочет спокойно пить виски. Точка.

Нильс думал, что генерал нервничает, но тот не подал виду, что демонстрация его интересует. Когда Нильс стал рассказывать, что арестованы две тысячи семьсот красных, Эйзенхауэр его перебил:

— Это — дело полиции... Я хотел вас предупредить, что нужно подготовиться к совещанию о европейской армии. Шестого февраля в Париж прибудут генерал Шпейдель и генерал Рамке.

Нильс не вытерпел:

— Я понимаю всю важность вопроса, но, может быть, не следует сейчас раздражать французов? Я говорю, конечно, не о коммунистах, но и те круги, которые поддерживают нашу политику, болезненно воспримут приезд двух нацистских генералов. Здесь очень сложная обстановка...

(Нильс потом упрекал себя за эти слова. Конечно, мне пришлось вести работу, которую иначе, как дипломатической, не назовешь, но для генерала я только военный, подчиненный Доуневэна. Лучше было бы промолчать, тем более после демонстрации.)

Эйзенхауэр сухо ответил, что о политической стороне дела Плевен договорится в Вашингтоне; смешно считаться с локальными предрассудками, когда речь идет о создании западного вала против коммунизма.

— У вас болезнь, присущая дипломатам, — сказал Эйзенхауэр. — Когда они слишком долго остаются в чужой стране, они начинают думать об интересах этой страны, забывая про национальные интересы.

Нильс молчал, ошеломленный. Генерал добавил:

— Я думаю, что вам полезно поработать дома... А теперь вернемся к совещанию. Вы, наверно, знаете, почему голландский военный министр подал в отставку...

Нильс потом негодовал: вот благодарность за все, что я сделал! Кто меня поддержит? Уж, конечно, не Доуневэн. Даусу повезло: его лошадка пришла первой. А меня отсылают, потому что французы протухли. Это глупо, но это именно так.

С отвращением подумал он о жизни в Вашингтоне. Скучно, пошло, нет ничего ни для ума, ни для сердца. Доуневэн, Робертс, интриги, сонный провинциальный город. Слов нет, я привязался к Франции, здесь все радует глаз: картины, женщины, пейзажи. Можно поехать в маленький ресторан на берегу Марны, забыть про политику, оказаться хоть на час в раю...

Он грустно разглядывал табакерки: это — все, что у меня останется от Франции. Он положил перед собой свою последнюю находку: крохотную серебряную табакерку, на которой были выгравированы фригийский колпак, меч и девиз: «Свобода или смерть!» Он задумался. Разве я не свободен? Никого не люблю, семьи у меня, к счастью, нет. Может быть, я связан службой? Нет, я могу ее бросить в любую минуту, пакет акций «АЛКОА» меня обеспечит. Скажут, что меня сковывают идеи. Это неправда, я не Робертс. Конечно, я честно выполнял задание, но никогда я не был ослеплен той «миссией Америки», о которой говорит президент. Я понимаю, что американцы должны стремиться к мировому господству, но это — правило игры, а не символ веры. Если бы я был владельцем того восхитительного ресторанчика на Марне, куда меня часто возил Бедье, я считал бы, что мировая политика должна вращаться вокруг туризма, винного погреба и жареных окуней. Я действительно свободный человек, вероятно поэтому мне сейчас так скучно. Якобинцы были наивными: что значит «Свобода или смерть!»? Ведь свобода — та же смерть...

Он вдруг усмехнулся: нет, я не свободен, у меня есть страсть — табакерки. Если не будет войны, я поселюсь в Париже, как рантье. Я должен разыскать табакерку доминиканца Фревиля, о которой писали в «Плезир де

Франс»; она из слоновой кости, и на ней надпись: «Я счастлив, что открыл не Америку, но твое сердце, Люси!»

Позвонил Бедье, заикался от волнения:

— Простите, что я еще раз вам напоминаю... Вы говорили, что генерал сможет меня принять. Он, кажется, завтра улетает в Исландию?..

Нильс возмутился: этакая наглость! Бедье не сумел даже помешать демонстрации, хотя клялся мне, что «все будет замечательно». Шелопай и бабник! Он еще хочет, чтобы его принял Эйзенхауэр... Нет, французы окончательно выродились.

— У генерала дела поважнее... Кстати, он знает, какую ответственность вы несете за демонстрацию... Красные до сих пор беснуются... Я вас могу только поздравить с таким успехом...

Нильс немного повеселел: Бедье сегодня не пойдет к девкам. Пусть знает, что значит зря есть наш хлеб!

Бедье был подавлен словами Нильса. Этот американец слишком много себе позволяет. Коммунисты в одном правы: такие господа, как Нильс, ведут себя неприлично. Все-таки мы не Бенилюкс... Как я мог помешать демонстрации? Это вообще не мое дело. А Мок сделал все, что было в его силах. Американцы не знают французов, наш народ любит свободу. Им придется еще познакомиться с французским сопротивлением... Все это так, но моя песенка спета. Американцы от меня отворачиваются. У Бидо свои любимчики, это иезуит, а Шуман — сухарь. Хотя коммунисты кричали, что я разбогател, я нищ. Сбережений хватит самое большее на два года. Правда, потом может быть война. Но если ее не будет? Конечно, я могу найти работу в каком-нибудь банке, но это скучно: тот, кто привык пить вино, от минеральной воды погибает. Кстати, врачи хотят мне запретить вино, это тоже скучно. Я теперь не могу жить вне политики. Получилось ужасно глупо — я продулся...

Бедье громко зевнул. А с улицы доносились крики, пенье — демонстрация все еще продолжалась.

Самба был добродушным, казался неповоротливым, а когда дело доходило до драки, оживлялся, входил в азарт, удивлял всех не только силой, но и ловкостью; именно

таким его видели участники парижского восстания. Полицейские хотели разогнать демонстрантов; один схватил Ивонн. Самба его повалил. Демонстранты бросились вперед. Ивонн отстояли; но на Елисейские поля они так и не прошли, попрежнему стояли на боковой улице.

Самба набил трубку, злобно в нее пыхтел; он сказал Рене:

— Обидно... Уж если кричать, так там — перед «Асторией».

Рене ответил:

— Другие прорвутся — с Конкорд или с Этуаль.

Они стояли друг против друга — демонстранты и полицейские. Стемнело. Вспыхнули шары фонарей. Засветились дома.

Вдруг Ивонн молча бросилась вперед. Все побежали за нею. Полицейские думали, что демонстранты давно успокоились, и не ждали натиска. Воспользовавшись их замешательством, толпа прорвалась на Елисейские поля.

Здесь были люди из Бельвилля, из Менильмонтана, из Иври, из Плезанс, из Сюренн, из Монружа, жители окраин и пригородов, редкие гости этого нарядного квартала, где в витринах выставлены последние модели «кадиллака» и где в кафе сидят американцы или клиенты адвоката Гарси. Рабочие принесли с собой тоску, гнев, веселье Парижа. Слышались шутки, обрывки песен, проклятья, смех.

Ивонн вскочила на каменную ограду у спуска в метро. Ее глаза были шире обычного, а лицо, освещенное двойным светом умирающего заката и еще не яркого фонаря, было строгим и прекрасным. Самба не мог оторвать от нее глаз; на минуту он забыл об Эйзенхауэре, о полицейских, о демонстрации.

Ивонн вытянула руку и громко крикнула:

— Мир!..

Несколько полицейских кинулись к ней и сбросили ее вниз на лестницу метро. Толпа в ужасе застонала.

Самба, расталкивая всех, подбежал к Ивонн; она лежала на каменной ступени; ему показалось, что она мертва, и он вскрикнул. Но Ивонн раскрыла глаза, слабо улыбнулась.

Ее унесли к машине. Рене сказал: «Домой...»

Самба оглянулся. Толпа увеличилась. Возмущение происшедшим придало силы демонстрантам. Напрасно полицейские били дубинками — людей нельзя было оторвать от фонарей, от балюстрад, от деревьев. Кто-то выбросил маленький флажок, и он мелькнул, освещенный тонким лучом прожектора. Лица тысяч людей смутно проступали в черно-розовом тумане. Там, внизу, Конкорд, Сена, Париж...

Песня росла:

Вперед, отечества сыны!..

101

Рене говорил, что Ивонн легко отделалась: перелом бедренной кости; придется пролежать месяц. Когда он уходил в диспансер, Мадо или Мари ухаживали за Ивонн.

Пришел Самба, сказал: «Я тихо посижу, а вы отдыхайте». Он просидел полдня, молчал, только вдруг сказал: «Стендаль встречал необыкновенных женщин, я в этом убежден...»

Вечером Ивонн рассказала Рене:

— Самба очень милый, но он какой-то странный... Он у меня долго был, почти не разговаривал, сидел в углу, что-то писал. Мне показалось, что он рисует, я спросила, он рассердился, ответил, что давно этим не занимается.

Рене рассмеялся:

— Это он тебя рисовал. Я заметил — на похоронах Дюма он все время на тебя смотрел. Будь кто другой, я подумал бы, что влюбился, а он — художник с головы до ног, только об этом и думает...

Был один из первых дней весны, когда Ивонн встала и дошла до окна. Они жили на седьмом этаже, недалеко от Бютт Шомон; из окошка открывался вид на город: черепица крыш, сборища труб, похожих на гномов, готическая башня, паутина узких запутанных улиц, ранняя, робкая зелень сквера, небо голубое с перистыми облаками. Ивонн глядела на Париж, как будто впервые его увидела.

— Вот наше счастье, Рене... Помнишь, как мы встретились — случайно в темном поезде... Сколько лет этой башне? Нет, погоди, я не то хотела сказать... Сколько еще

минут счастья?.. У меня кружится голова. Это от воздуха... И от тебя, Рене. Почему я так ослабла? Нужно скорее поправиться, я запустила все: работу, дом. Знаешь, это звучит глупо, но когда я очнулась — еще там, на ступени, — мне показалось, что я умираю. Я тебе улыбнулась, не знаю, заметил ли ты. Боль была ужасная, но я решила, что умираю, поэтому и не крикнула. И вот тогда я подумала, — пожалуйста, не смейся, — что они действительно уедут, что будет мир, счастье, ты будешь работать в лаборатории, играть в теннис, смеяться. Как-то сразу пронеслось в голове, а потом я ничего не помню... Это очень глупо, правда?

Он ее обнял, тихо сказал:

— Ты больше, чем любовь, ты — Ивонн... Я не знаю, как это выразить, это такое длинное, такое запутанное... как Париж.

Рене не ошибся: когда Самба был у Ивонн, он ее все время рисовал. Он пришел ее проведать и вдруг начал рисовать, не понимал, зачем он это делает, злился на себя, а когда Ивонн спросила, не рисует ли он, вспыхнул, как будто его уличили в чем-то нехорошем.

Он не мог забыть, как Ивонн стояла на ограде метро; с этим просыпался, шел в бар, выпивал рюмочку, бродил по улицам и неизменно видел холодный зимний вечер, толпу, мерцание первых фонарей, розоватый туман, тонкую высокую женщину с поднятой рукой. Чем больше он глядел на дома, на деревья, на лица прохожих, тем сильней становилась тревога, Ивонн сливалась с Парижем, а демонстрация на Елисейских полях становилась большим событием жизни Самба.

Он часто думал, почему он не работает, ругает других художников, не находит себе покоя. Что сталось с искусством? Почему оно заблудилось? Почему к нему охладели люди, способные любить, мучиться, бороться? Разрыв и в самом Самба, он не смог связать участника восстания с живописцем. Он пытался себя успокоить: это невозможно. Курбе был коммунаром, об этом можно прочитать в книгах, по картинам его этого не узнаешь; он был революционером в видении, в мастерстве, но того, что его волновало в дни гражданских бурь, своим искусством он не передал. Может быть, это невозможно? Да, но Гойя...

Это великий художник, а его расстрел партизан написан со страстью; такое полотно могло поднять народ против захватчиков; оно и теперь потрясает. Гойя нашел язык, понятный всем, передал то, что его волновало и как живописца и как человека. Почему сейчас нет Гойи?..

Вероятно, потеряно искусство сюжетной композиции. Наш глаз требует реальности, а художники, которые увлечены сюжетом, хотя они и называют себя реалистами, изображают условный мир. Один из них, Марэн, недавно сказал мне, что мои пейзажи не реалистичны, потому что «цвет вытесняет рисунок», «деревья не дорисованы», «вообще все не закончено». Когда я пишу клен в саду, я не вижу рисунка листа, если я подойду вплотную, я, разумеется, увижу листья, но тогда я перестану видеть дерево. На картинах Перуджино выписаны все листики деревца, все волосы девушки, а вот Рафаэль — это уже подлинный мир... Сто лет назад появились художники, которые по-новому передали реальность мира, это замечательные мастера. Беда в том, что одновременно исчезла композиция: художники могли писать только с натуры. Значит, одни дают подлинный мир без той идеи, которая способна довести живопись до сердца простого человека, сделать ее необходимой частью жизни; другие излагают идею вне зримого мира, с условностью домысла, — получается дурная живопись. Я никогда не приму опись мира за его изображение. Я вижу душу тех людей, которых изображал Рембрандт, но когда я гляжу на зализанные портреты современников, где нет ни цвета, ни света, — человек исчезает. Даже кошмары Гойи — реальность, но я не знаю ничего более спорного, условного, порой неправдоподобного, нежели фотография. Как же соединить сюжет с живописью?

Он думал об этом все последние годы. Только раз на короткий срок он испытал удовлетворение: когда писал Мадо. Он понимал, что вкладывает в этот портрет себя, свою давнюю несчастную любовь, и он писал Мадо, чувствуя, что она думает о русском инженере, с которым встретилась в мастерской незадолго до начала войны. Это был не просто портрет (ведь он писал Мадо и прежде), но утверждение длинного, печального, страстного чувства.

Если бы он мог так написать Париж — его волнение, гнев, надежду!..

Никогда еще он не переживал такого смятения, как после январской демонстрации; плохо ел, стал даже реже заглядывать в свой бар, часами бродил по улицам. Как-то утром он вскочил, подошел к мольберту и начал писать.

Когда стучали в дверь, он не отвечал. Две недели он работал, как одержимый. Потом свалился на кровать не то счастливый, не то очень несчастный. Начались дни оцепенения. Он боялся взглянуть на законченную работу. Может быть, это жалкая мазня?.. Как-то он захотел переписать верхний угол справа — дом показался ему чересчур темным и тяжелым. Он начал работать и тотчас бросил кисти: он уже ничего не мог сделать, холст жил отдельной жизнью.

В таком состоянии тревоги, недоверия к себе, душевной слабости нашла его Мадо. Вероятно, он не показал бы ей своей работы, но она застала его врасплох: он решил, что это столяр Карно, который должен был принести подрамник. Мадо сразу увидела новый холст, Самба не успел его спрятать, отвернулся: сейчас она рассмеется или, жалея его, заговорит о другом. Мадо молчала.

Самба удалось передать тревогу тем смешением дневного света с искусственным, которое бывает в начале зимних сумерек. Именно этот свет выражал волнение людей — лица были едва намечены, исчезая в серо-розовом тумане. Позади скорее чувствовались, чем виднелись, сизобурые и сизосиние дома — Самба взял не Елисейские поля, но одну из старых улиц, может быть бульвар Опиталь или бульвар Сен-Марсель. Тот же двойной свет падал на лицо женщины, и он казался идущим изнутри, лицо Ивонн выдавало такую страсть, что нельзя было на него спокойно глядеть.

Мадо все еще молчала. Самба стоял в углу мастерской, огромный, с тяжелой седой головой, пристыженный, похожий на диковинного зверя. Мадо подошла, обняла его; из ее глаз катились слезы.

— Ну, что это? — спросил он растерянный.

— Не знаю... Искусство...

Постучали. На этот раз пришел действительно столяр Карно, веселый, поджарый человек лет пятидесяти. Всю

свою жизнь он работал на художников и никогда не смотрел, что они делают: картины для него были номерами. С Самба он иногда разговаривал о событиях, жаловался на дороговизну или ругал американцев. Он поставил подрамник и собирался уходить, когда увидел картину. Он долго на нее глядел, потом сказал:

— Им все-таки придется убраться... Я вам говорю, господин Самба. что такая женщина может поднять Париж, будьте спокойны...

Он пожал руку Самба и, уходя, сказал не то ему, не то самому себе:

— Я и не думал, что это можно... Все сердце переворачивает... Удивительно!..

Мадо продолжала глядеть на Ивонн, на розовый туман, на дома. Давно ушел столяр. Она вдруг сказала:

— Вы знаете, Самба, как я люблю живопись. Почему я ее бросила? Я живу теперь другим... И вот сегодня две Мадо встретились. Понимаете?.. Мне хочется плакать, это потому, что вы — большой художник. И человек...

102

В апрельскую теплую и тревожную ночь, вернувшись из театра, еще взволнованная последним своим монологом, тишиной темного зала, аплодисментами, внезапным дождем, крохотным букетиком фиалок, который кто-то ей сунул в темноте, Валя писала Нине Георгиевне:

«Не сердись, что я долго молчала, было много работы, две новых постановки, потом неожиданно к прежней хозяйке вернулась невестка, пришлось искать комнату, но, конечно, дело не в этом, я тебе признаюсь — я снова металась, настроение было плохое и не хотела тебя огорчать. Теперь все это позади.

Я начну с того, чем следовало бы кончить, мне не терпится тебе сказать самое главное: я вдруг поняла, что я счастлива, что мое бытовое одиночество, частые неудачи, терзания входят в жизнь и что есть в этой жизни что-то очень большое и важное. Как бы я хотела тебе все сказать, ведь на бумаге не получится, может быть летом удастся приехать на месяц в Москву, тогда постараюсь

передать по-настоящему. Дорогой мой, большой друг, не думай, что я влюбилась или вышла замуж, пробовала и не получается — слишком большой была любовь к Сереже, теперь все мне кажется подделкой, а одиночество перестало тяготить. Я помню, ты давно, когда я еще была в Москве, спросила, что мне дал Сергей, я тогда не сумела ответить, хотела сказать «все», но это неправда. Мы слишком мало с ним были вдвоем. Если взять длинную жизнь, в которой столько тяжестей, блужданий, то месяцы с Сергеем могут показаться минутой счастья и только, почти сном. Но теперь я знаю — он дал мне самое важное, то, что меня спасло, когда его не стало. Я понимаю, что это может показаться другим невероятным, но ты меня поймешь: он дал мне веру в искусство. Я говорю, что другие этого не поймут, потому что он не был ни актером, ни поэтом, ни художником, но в нем были тот подъем, то напряжение, которое иначе чем искусством не назовешь. Однажды он мне сказал, что в Париже встретил мечту, я тогда приревновала, мне показалось, что он говорит о женщине. Может быть, это и так, теперь мелким чувствам нет больше места, все равно, была это женщина или вымысел, он это сохранил, научил меня ревниво лелеять мечту. С мечтой он строил мосты, с мечтой воевал, с нею и погиб. Я потом не раз говорила себе, что, если он и любил другую женщину, он меня приподнял, вдохновил, сделал меня человеком. Что бы я делала, если бы он не оставил мне искры от своего большого огня? Ведь для актрисы, притом небольшой и некрепкой, как я, нужна опора. Я читала недавно биографию Ермоловой, она могла сама поддержать других, в личной жизни она была несчастна, да и в театре у нее было много горького вплоть до черной неблагодарности, но такой талант, такая душевная сила побеждают все. Не то со мной. А быть актрисой — это значит не только загораться на час, это значит работать десять, двадцать, тридцать лет, играть роли хорошие и плохие, пытаться вытащить бездарную пьесу, смеяться, когда у тебя на сердце камень, приспособляться к игре других, ладить с актерами, подчиняться режиссеру — один что-то придумывает, другой, наоборот, боится выдумки, третий сам не знает, чего хочет, это похоже на цех завода, но на очень бестолковый цех, это не

только вдохновение, это и ремесло и служба, и вот в этом надо найти огонь, потому что зрителям все равно, что за кулисами, они смотрят, слушают, хотят смеяться или плакать, ищут той большой правды, которую не могут выразить. Если я теперь после долгих лет мытарств в четырех разных театрах, после провалов, отчаяния — словом, всего неизбежного в нашей судьбе, говорю, что я счастлива, то только потому, что люблю искусство, верю в него, без него не могу жить.

Не подумай, что я жалуюсь на режиссера или на труппу, сейчас все более или менее хорошо. Играем самые разные пьесы, играла недавно Ларису в «Бесприданнице», это у меня получилось. Обидно, что нет хорошей современной пьесы. Один молодой драматург прошлой осенью читал нам свою пьесу, там все происходит вокруг вопроса, как лучше обслуживать десять станков. У нас есть возле города большая текстильная фабрика, мы туда повезли этот спектакль, работницы обиделись, говорили, что они знают все это и без нас. Действительно, в пьесе ни одного живого человека, только разговоры, как на производственном совещании. Я говорила этому драматургу, что нельзя так оскоплять жизнь, он на меня напустился — я отстала, не понимаю духа советского общества и т. д. Он меня не убедил, трагедии ведь остаются, есть борьба за новое, есть разлад между идеалом и выполнением, есть любовь, есть косность природы, смерть, нельзя вдруг все скинуть со счетов. Играли мы одну колхозную пьесу. Как раз тогда к моей бывшей хозяйке приехала племянница, бригадир колхоза, чудесная девушка. Она пошла в театр и призналась, что уснула на втором акте, оправдывалась, что устала с дороги, а потом сказала, что в первом акте все поняла — одна звеньевая правильно рассуждает, другая нет, тогда она не выдержала и уснула. Нет, еще напишут настоящие советские пьесы, я убеждена, потому что теперь зачастую зрители умнее драматурга.

Зрители необыкновенные — у нас три института, большой металлургический завод, город вообще живой. В некотором отношении здесь лучше, чем в Москве, — люди больше читают, есть время подумать над книгой, пойти в театр для них не развлечение, а событие, долго потом спорят о пьесе. Я здесь со многими подружилась, так что

город для меня не чужой, вижу, как замечательно работают, сколько хороших и талантливых людей. Прежде я как-то была в стороне от всего, повсюду чувствовала себя чужой, а когда я вырвалась из стен театра, мне стало и в театре легче. Я поняла, что зрители благодарные, им нужна наша работа. Прежде я часто упрекала себя за то, что не бросила театра, вспоминала с сожалением те годы, когда работала на заводе, завидовала людям других профессий, инженерам или врачам. А теперь я чувствую себя полноправной: ведь если нельзя прожить без крыши или без платья, то нельзя жить и без мечты. Краснеешь, когда люди, иногда суровые, совсем не сентиментальные, благодарят за спектакль, такие минуты придают силу. Когда теперь я читаю, как отстраивают Сталинград или как Вышинский требует мира, я чувствую и себя участницей общего дела, это большая радость.

От Наташи я получила коротенькое письмецо. Замечательно, что ее перевели в Москву, я радуюсь и за нее, и за тебя, и за Дмитрия Алексеевича. Я с Наташей подружилась, когда она была девочкой, но и тогда чувствовалась сила характера. Меня в ней прельщает цельность натуры, непосредственность. Я не очень-то поняла, какие ей опыты поручили, она написала термины, которых я не знаю, но ясно, что это — успех, и большой. Тебе теперь легче, я ведь терзалась, когда думала, как ты живешь одна. Наверно, Наташа к тебе часто приходит. А для Дмитрия Алексеевича это — спасение. Ты знаешь, я влюблена в него, не будь это смешным, я сказала бы, что он настоящий герой романа. Он считает, что я к нему хорошо отношусь, потому что благодаря ему познакомилась с Сережей. Но он меня потрясает и большим сердцем, и кипучей энергией, и весельем, и той страстной, сильной, мужественной грустью, которая порой проступает в слове или во взгляде. При его болезни переезд Наташи — это счастье. Я теперь мечтаю, чтобы перевели в Москву и Васю; он, конечно, рассердился бы, ведь он влюблен в свой Минск, но я все-таки этого желаю — и для Наташи и для него. Я знаю, что значит разлука. Недавно я перечитала «Человек, который смеется», там есть замечательные слова: «Если бы можно было покинуть горе, как покидают город...»

Напиши мне про твоего внука, такой ли он все шалун, как прежде? Ты мне хорошо описала Мусеньку, я ее вижу, как живую, и вот хочется поближе познакомиться с Васей.

Хотя ты пишешь, что хорошо себя чувствуешь, я боюсь, что ты себя не бережешь и переутомляешься. Не делай этого, подумай, как ты нужна и твоим ученикам и близким, я уж не говорю о себе: для меня ты — единственный друг. Разве я могла бы написать кому-нибудь такое письмо, никогда! Ты знаешь, Сережа походил на тебя не только внешне, он часто говорил мне то, что потом я слышала от тебя, никогда я не видела, чтобы мать и сын были так похожи друг на друга. Когда я была еще в Москве, меня останавливала разница в возрасте — старой ты мне никогда не казалась, но тогда я думала о тебе, как о старшей, — теперь и этого нет, вероятно оттого, что пришлось много пережить, поближе присмотреться к людям. Ты напрасно пишешь, что я должна кем-нибудь увлечься, я пробовала, уговаривала себя, что увлекаюсь. Я узнала не только лицо, — изнанку — и других и свою. Теперь я вправе сказать, что ты мне кажешься молодой, горячей, прекрасной. Кажется, у нас собираются поставить «Овечий источник», я должна буду играть Лауренсию, я прочитала пьесу и, если поставят, работая над ролью, буду думать о тебе.

У нас началась весна, фиалки цветут, в городском парке влюбленные парочки, воздух какой-то беспокойный. Я такая счастливая, что встретила Сережу, что удостоилась твоей дружбы, что служу искусству, такая счастливая, ты себе не можешь представить! Мечта у меня, большая мечта! Вот и все, дорогая. Береги себя!

Твоя Валя».

103

Весна была ранней; в середине апреля Наташа высадила дубки, посеяла жолуди. Она знала, что лето будет полным волнений: подтвердятся ли ее наблюдения над некоторыми формами дубов, которые лучше других переносят отсутствие осадков? Шебаршин сказал: «Как будто все правильно, но нужно еще раз проверить».

Кончив работу, Наташа шла по саду; обычно она смотрела только на те растения, которые ее интересовали, но сейчас она залюбовалась нежнозелеными верхушками тополей, доверчивыми, еще не испытавшими ни бурь, ни зноя. Чудесная весна в Москве! Никто ее не торопит; природе дают пережить девичество: не спеша распускаются почки смородины, робко зацветает розовая медуница. Может быть, мне это мило, потому что я здесь родилась, выросла? В такие же весенние дни ездила с мамой на Истру. Готовилась к экзаменам на Гоголевском бульваре. Нужно читать про феодальный строй, а здесь весна, все цветет, Лида рассказывает, как они с Гришей целовались в Измайловском парке... Помню, лил дождь, яркий, с пузырями, с первым громом, я прибежала домой вся промокшая и вдруг решила: поеду в Минск, скажу Васе, что меня послали, будь что будет...

Да о чем я думаю? Ведь послезавтра приезжает Вася!..

Она вдруг закружилась на площадке. Навстречу шел старый садовник Егор Ильич. Наташа, сконфуженная, сказала:

— Погода какая! Не верится даже, что апрель. И ночи теплые...

Егор Ильич понюхал воздух, недоверчиво посмотрел по сторонам:

— Еще заморозки будут, Наталья Дмитриевна, погода обманчивая.

Наташа сидела на скамейке и бранила себя: ну что он обо мне думает? Научный работник, а веду себя, как девчонка. Пускай думает... Главное — Вася приезжает! Позавчера я и не мечтала об этом... Трудно без него, очень трудно! Конечно, я ему ни за что не скажу, самолюбие не позволит, только он сам увидит. Я так и не научилась скрывать свои чувства, понимаю, что нужно, а ничего не получается. Когда я утром забежала к Нине Георгиевне, чтобы показать телеграмму, она сразу догадалась: «Вася приезжает?» Горе скрыть легче. Когда я считала, что Васю убили, я никому не говорила, напротив, доказывала, что он жив, вернется. Правда, Нина Георгиевна потом мне сказала, что видела, как я извожусь, но от нее вообще не упрячешься: кажется, не смотрит, а все замечает... Она

мне сказала сегодня: «Я от твоего счастья молодею». А разве я счастливая?..

Работа у меня интересная, это правда. Могла бы сидеть в совхозе, не такая уж я умная. Мне необычайно повезло, что Шебаршин меня заметил еще в академии, он мне буквально раскрыл глаза. Теперь мне поручили серьезное дело. Не знаю, справлюсь ли. Может быть, я увлеклась, преждевременно сделала выводы? Никитин с самого начала говорил, что это случайность. С Никитиным, конечно, можно не считаться, но Мамонов тоже относится критически, наверно жалеет, что меня перевели в Москву. Хорошо, что я теперь с папой, могу за ним присмотреть. Ему надо серьезно лечиться, а он меня не слушает, говорит, что он сам доктор, что я ничего не понимаю в медицине. Конечно, не понимаю, я только вижу, что он работает через силу. Он слишком балует Васеньку. У мальчика все пятерки, но он отчаянный сорванец, проказничает, подбивает других, вчера учительница снова жаловалась. Что из него выйдет? Он слушается только отца. Вася приедет, наверно на день, самое большее — на два. От Минска его не оторвать. Я бы туда переехала, но теперь нельзя: мне доверили ответственную работу. Здесь все приспособлено для лабораторных наблюдений, и я смогу выезжать на Саратовскую станцию. Значит, жить будем врозь. А я старею, мне пошел четвертый десяток, страшно подумать...

Да, все выглядит довольно мрачно. А мне почему-то весело. Хорошо, что весна, что поет зяблик... Не знаю почему, но весело.

Когда Васе сказали, что его вызывают в Москву, он обрадовался. Никогда он так не тосковал по Наташе, как в последние месяцы. Что за наваждение? Работы по горло, прихожу ночью измученный, а уснуть не могу — все время думаю о Наташе. Замечательно, что вызывают, я ведь не рассчитывал ее повидать до июля...

Час спустя он спохватился: ужасно, — теперь самая горячая пора, а Набоков один не справится...

Вася чувствовал, как он связан с Минском: здесь он узнал и любовь, и войну, и вдохновение; в проект этого города вложил мечту, которая родилась среди боев, когда он с партизанами пересекал глухие пущи Белоруссии. Он говорил себе: может быть, через год, когда будет

сделано главное, я смогу перебраться в Москву, взяться за что-либо другое, но сейчас нельзя оторваться даже на неделю...

Он телеграфировал Наташе, что выедет скорым поездом, но вдруг разволновался и решил лететь. В самолете он гадал, почему его вызывают. Может быть, не понравился дополнительный проект? Или устраивают какое-нибудь совещание? Только бы не начали канителить! Боюсь, что Набоков подведет, голова у него есть, но это лентяй, каких мало, его нужно каждый день подталкивать.

День был пасмурный, в Минске накрапывал дождик. Самолет набрал высоту и прорезал тучи. Вася зажмурился от солнца. Ему показалось, что рядом Наташа. Больше он не думал ни о Набокове, ни о совещании.

Наташа ждала его на следующий день и, открыв дверь, вскрикнула от удивления. Он ее молча обнял и, как в самолете, зажмурился.

— Зачем тебя вызвали?

Он ответил робко и в то же время дерзко, будто решил впервые признаться в любви:

— Это ты меня вызвала.

Позвонил бывший сослуживец Васи, архитектор Колесников, сказал, что хочет зайти: у него срочное дело.

Вася, смеясь, спросил Наташу:

— Как, по-твоему, я могу сейчас разговаривать о деле?

— Вполне. Вот только глаза у тебя... неделовые.

Колесников таинственно ухмылялся, спросил, как идет работа в Минске, что построили нового, и, наконец, выпалил:

— Поздравляю! Тебе хотят дать ответственную работу, и не где-нибудь на периферии, нет, здесь, в Москве. Высотное здание... Ильменцев, да и другие тебя затирали, но один из руководящих товарищей заинтересовался, как идет реконструкция Минска. Затребовали чертежи, фотографии. Одним словом, тебя похвалили... Ильменцев объявил: «Безобразие, что Влахова маринуют на периферии! Это один из ведущих архитекторов. Надо его сейчас же вызвать». Ну, и завертелось, как бывает в таких случаях. Ты видел «Советское искусство»? О тебе большущая статья. Не говори Ильменцеву, что я тебе рассказал, но завтра он тебе предложит два задания на выбор. Ты

понимаешь, какая это удача! Ведь здесь ты будешь работать у всех на виду. Почему ты не радуешься? Наверно, устал с дороги? Отдыхай. Я на минуту забежал — предупредить. У меня в восемь заседание...

Пока Колесников говорил, Наташа смотрела на Васю. Он чуть заметно улыбался. До чего он похож на Сережу, подумала Наташа, Нина Георгиевна часто это говорит, но я прежде не находила. Он похудел. Но не от этого... Выражение Сережи, и так же улыбается. Странная улыбка, как будто он не слышит, что ему говорят, думает о своем...

Колесников ушел, в душе возмущенный Васей. Наташа обняла мужа, тихо сказала:

— У меня к тебе просьба. Послезавтра день моего рождения. Помнишь, в сороковом ты был у нас? Мне тогда исполнилось двадцать лет, и папа всем гадал... Останься на два дня, хорошо?

— Я на неделю останусь, я так и сказал уезжая. Меня замещает Набоков... Наташенька, через год мы будем вместе. Я об этом в самолете подумал. Ты не знаешь, сколько я о тебе думаю! Все время... Это — такое счастье!..

Наташа вспомнила, как вчера, сидя на скамейке, она старалась понять, счастлива ли она, и неожиданно для себя спросила:

— Вася, а в чем счастье?..

— Не знаю... Может быть, совсем не в счастье. Нужно, чтобы было и горе, чтобы находила ночь, чтобы узнать потери. Никогда я не забуду Аванесова! Как не вернулась из разведки его Наташа... Вообще ничего нельзя забыть. Счастье, наверно, в клубке, в том, как все срастается, а нож проходит по сердцу... Это такая мука — проверять страсть линейкой! Но без этого нельзя... Я не умею говорить, Наташа. Но я буду строить...

104

Шебаршин был поглощен своей работой, когда ему неожиданно позвонили: в Италию направляется делегация, просят поехать его.

Усмехаясь, он сказал Леле:

— Я, как радиоприемник: доклад о международном положении, повернешь — беседа о лесонасаждениях, еще повернешь — Козловский поет «Куда, куда вы удалились...» Послезавтра вылетаю в Рим.

Четыре дня назад он еще говорил Наташе: «В Воронежской области много интереснейших форм дуба...» А сейчас он едет в маленький городок возле Рима. Он мучительно думает: о чем мне говорить? Завидую таким людям, как Димитерко: разбуди его среди ночи, он сразу заговорит, все равно, о чем — о бересклете, об электросварке или об акулах Уолл-стрита. А я не могу привыкнуть, каждый раз волнуюсь, как школьник.

Дорога подымается. Кругом виноградники; иногда чернеют кипарисы. Развалины храма Весты; мраморная богиня стыдливо улыбается. Вдали едва видны горы, голубоватые и смутные. Смеркается; замерцали ярусы огоньков. Во всем необычайная тишина и печаль.

Что теперь делает Леля? Он старается ее представить и не может: Леля грустная и туманная, как эти сумерки. Уехал ли Николаевский в Казанджик?..

Право, я не знаю, о чем мне говорить на собрании... Опять болит сердце. Глупо здесь расхвораться...

Площадь была черна от народа. В городке жили виноделы, они и одеты были по-крестьянски. Пахло оливковым маслом, дегтем, дешевым табаком. С соседних улиц доносился детский гам; скрипели повозки, кричали ослы.

Шебаршин говорил о стройках, о каналах, которые меняют лицо земли; сказал, что русские издавна любят Италию, верят в ее народ; напрасно американцы пытаются посеять вражду: простые люди понимают друг друга, им нужен мир.

Ему аплодировали так бурно, что он засмеялся: ну и темперамент! На севере такого не увидишь...

После него выступал смуглый седой крестьянин, мэр города. Он сказал, что Италия ищет свой путь, крестьяне запахивают пустовавшие земли помещиков, в городах бастуют, все хотят счастья. Хорошо, что сюда приехал советский делегат; они будут долго вспоминать этот вечер, расскажут детям и внукам. Ученый, которого знает весь мир, согласился посетить этот маленький городок; вот как

относятся русские к простым людям. Здесь любят Россию. Пусть Шебаршин передаст Сталину, что, когда праздновали его семидесятилетие, все пришли; даже Пьетро Луиджи пришел, а ему тогда было девяносто два года. Они послали Сталину бочонок местного вина; это — легкое белое вино Альбанских гор. Конечно, у Сталина вина получше, но они послали бочонок от чистого сердца. На прошлой неделе здесь подписывали обращение о Пакте Мира; подписали все; один Росси отказался, это не удивительно — он при дуче жил припеваючи, купил гостиницу и кинотеатр. Люди здесь умеют не только подписывать воззвания; прошлой весной, когда Шельба прислал сюда своих жандармов, все вышли на эту площадь, кричали: «Долой войну!..» Негодяи убили Беппо. Ему было всего девятнадцать лет... Но Шебаршин может сказать русским, что жители города не испугались. Если нужно будет, они умрут, как Беппо, но никогда не пойдут против Советского Союза.

Когда собрание кончилось, Шебаршина провели в мэрию. На длинных столах стояли бутылки с вином. Женщины подводили детей к русскому гостю.

— У меня шестеро. Старший уже работает на винограднике, а это младшая — ей три года. Ее зовут Биче...

Глаза девочки были черными и теплыми, как ночь Рима.

— А у тебя много детей? — спросила мать Биче.

Шебаршин показал фотографию Куксы.

— Внук?

— Нет, сын.

Все добродушно засмеялись.

Когда Шебаршин уходил, к нему подошла высокая женщина; в ее черных волосах были серебряные пряди; лицо, обожженное солнцем, выдавало былую красоту. Она тихо сказала:

— Я мать Беппо. Они его убили, отсекли кусок моего сердца. Разве я могу забыть Беппо? Но если они снова приедут, я первая выйду на площадь. Я с ними рассчитаюсь за моего мальчика...

Она исчезла в темноте.

В машину Шебаршина поставили корзину с бутылками. Мэр сказал:

— Это для твоей жены. Она должна обязательно попробовать, какое у нас вино...

Петлистая дорога. Ночь. Огоньки это или звезды?.. Шебаршин думает о маленьком городке, куда его занесла судьба. Мне кажется, что я давно знаком с этими людьми, столько в них простоты и сердечности. Я в Италии всего два дня, я уже увидел много прекрасного — фрески Рафаэля, Пинчио, статуи, фонтаны, священные камни Европы, о которых писал Герцен, но всего прекрасней — народ. В Стокгольме, в Варшаве, в Берлине я разговаривал с вдохновителями движения, там были ученые, общественные деятели, писатели. Я часто спрашивал себя: не поддаюсь ли я иллюзии? Может быть, мысли и чувства передовых людей я принимаю за голос миллионов?.. Сейчас я был в маленьком городке, я даже не знал прежде, что он существует, со мной разговаривали крестьяне, ремесленники, учитель, телеграфистка — самые что ни есть обыкновенные люди. Я убежден, что они не пойдут воевать, ни один... Кукса когда-нибудь встретится с Биче, они возьмут друг друга за руки и рассмеются от мысли, что их отцы должны были защищать мир... За мир погиб Беппо, за мир погибли брат Лели у Керчи, профессор Лобов в Ленинграде, миллионы замечательных людей. Столько еще горя, страданий, крови! Да, теперь мир — идея, борьба, а завтра это будет воздухом, человеческим теплом, жизнью.

Он вернулся в гостиницу поздно, сразу разделся и погасил свет. Тогда начался припадок. С трудом он приподнялся; долго искал рукой лекарство. Нестерпимая тяжесть давила грудь, он хотел вздохнуть и не мог, чувствовал, что умирает.

Потом немного полегчало; острая боль стала нудной, как от раны. Он полулежал, подложив под спину подушку.

Большая чужая комната, бронзовая статуэтка, ширма, пестрые обои... Пять часов. В Москве семь. Кукса просыпается... Кукса спросил меня: «Ты опять летишь в Берлин?..» В развалинах Берлина что-то гнетущее, а здесь развалины прекрасны. Время скрашивает и смерть...

Я читал в «Дэйли уоркер», что Дюма умер за работой. Это — счастье. Он его заслужил. Странно, я разговаривал с ним всего один раз, а думаю о нем, как о близком человеке... Николаевский плохо переносит жару, у него астма, в Казанджике, может быть, уже жарко... Прекрасное лицо у матери Беппо, мягкое и в то же время строгое. Я видел в Орловской области колхозницу, похожую на нее. У нее тоже было большое горе... Итальянцы — добрый народ, а борются они отчаянно...

На этот раз обошлось. Сколько еще таких репетиций?.. Хорошо, что Лели нет, она бы разволновалась...

Он попробовал уснуть, но сон не шел. Тогда он взял книгу, это был томик Данте. Прочитав несколько страниц, он задумался. Что нам борьба гвельфов с гиббелинами, Генрих VII, добродетели богословов? Все это остыло, померкло, никого не трогает. А стихи до сих пор потрясают...

Любовь, что движет солнце и светила...

Не знаю, как случилось, что я встретил Лелю? Это — чудо. Да и вся жизнь — чудо. Я люблю Лелю до ревности, до сумасбродства, до немоты — хочу сказать и не могу...

Вот уж утро...

Окно выходило во двор. Напротив был старый, закопченный дом. Женщина у окна вытряхивала одеяла. В другом окне показалась маленькая девочка. Она с любопытством смотрела на Шебаршина. Он улыбнулся и помахал ей рукой. Девочка тоже улыбнулась и, сконфуженная, спряталась. Воздух был теплым, но свежим. Шебаршин радостно подумал: живу! Сегодня встреча с учеными. В субботу большой митинг; нужно подумать, о чем говорить. Двадцать шестого вылетаем; значит, сразу после праздников смогу поехать в Туркмению. Через неделю увижу Лелю...

105

Мария Михайловна поехала покупать куклу для дочки Шуры, она приговаривала:

— Вот говорят «успехи, успехи», а хорошей куклы не достать, такие уродки, что только девочку напугаешь...

Оля сказала, что после школы заедет к Марусе Данилевской: она часто ее навещала — об этом попросил Минаева отец.

Минаев был один дома. Он хотел было сесть за работу, когда вспомнил, что не ответил Осипу, и перечитал его письмо. Осип писал:

«Очень хорошо, что ты окончательно поправился, я за тебя волновался. Наверно, тебе дадут двухмесячный отпуск, сможешь с Олей поехать на Кавказ или в Крым. Я себе представляю, что ты видел и пережил в Корее, настоящий роман! Ты должен об этом написать.

От американцев я ничего другого не ждал, вижу чуть ли не каждый день их проделки. Теперь они послали в Западный Берлин танковую дивизию «особого назначения». Позавчера задержали одного разведчика, который фотографировал аэродром; разумеется, американский комендант возмутился: как можно обижать фотолюбителей! Возле демаркационной линии есть городок Обервальд, там гитлеровец Розен недавно устроил собрание, кричал: «Эйзенхауэр нам обещал возвратить Бреслау и Кенигсберг». Многие немцы надеялись, что парижское совещание к чему-нибудь приведет, но теперь все потеряли надежду.

Напиши мне, как ты, как Оля, что делается в Москве. В марте сюда приезжали московские актеры, показали два спектакля, а так живем, как зимовщики в Заполярье. Я мечтаю об отпуске, меня пригласила к себе подруга Раи, она живет с мужем в Брянской области, на фабрике стандартных домов. Если удастся, заеду в Киев, мне написал Воробьев, что отстраивают Крещатик, сгораю от нетерпения увидеть, как это выглядит.

Крепко тебя обнимаю».

Минаев ответил:

«У нас все в порядке, Оля усердно учительствует, мамуля вчера огорчалась, что у нее не получилось тесто. Через две недели праздники, и в Москве весело. Мы живем в районе, который строится, недавно сдали в эксплоатацию несколько больших корпусов, так что кругом сплошное новоселье. Погода чудесная, в скверах высаживают цветы.

Конечно, четвертая страница газет являет собой попрежнему мрачное зрелище и никак не может быть приравнена к цветочной клумбе, но я заметил, что ее теперь читают с несколько меньшим интересом, чем зимой, это хороший признак. Когда у нас четвертую страницу будут читать после первых трех, можно будет сказать, что мир победил.

Я хочу тебе признаться в одном покушении на преступление: я действительно пишу настоящий роман, написал почти половину. Ты — первый человек, которому я это говорю, даже Оля не знает, я тебе раскрыл тайну потому, что ты — один из главных героев моего романа. Пишу я не о Корее и не об Америке, но о курганчике. Мне кажется, что все решилось именно там: если американцы не смеют начать войну, то потому, что был Сталинград. Я хочу рассказать о погибших друзьях: о Зарубине, Шаповалове, Лине, Магарадзе, Бродском, Бутенко и о тех, кто выжил, показать Воробьева, Кранца, Леонидзе, Полищука и, конечно, тебя. Не сердись, если ты будешь изображен без исторических фраз, без «огня в очах» и даже небритым. Когда я напишу эту книгу, я смогу с легким сердцем отдаться моему прямому назначению, а именно составлять торговые договоры, как то подобает штатному юрисконсульту.

Я тебя поздравляю с Первым мая, желаю получить поскорее отпуск. Если ты поедешь из Берлина в Брянск через Киев, то на обратном пути ты должен заехать в Москву. Это освежит твой политический горизонт и обрадует как меня, так и Олю. Кроме того, я смогу, наконец-то, показать тебя мамуле. Я часто ей говорю про тебя, но к моим словам она относится с некоторым недоверием, и я начинаю думать, что она сомневается в реальности твоего существования. Право же, приезжай и будь здоров!»

Карл Бреннер, или, как его продолжали называть в Нидервальде, «Карл красный», попросил майора Альпера притти к нему на семейное торжество:

— Я решил отпраздновать крестины дочки. Будут бургомистр Шульц, доктор Мюллер, профессор Вайсман. Все вас просят притти. Это вы помогли моей Анне выбраться из Обервальда. Не будь вас, не было бы у меня и дочки.

Гостей было много. Анна, сияя от счастья, потчевала всех кофе, ликером, домашним печеньем.

Карл сказал:

— Американец Смидл хотел меня погубить. Это не случайно, все знают, что они теперь делают в Обервальде. Они хотят погубить Германию. А вот русский майор помог мне соединиться с моей Анной. Я воевал на Восточном фронте, я знаю, сколько страданий причинила русским наша армия. Но у русских большое сердце... Я не очень-то разбираюсь в мировой политике, мне легче вырезать из кости самый замысловатый цветок, чем понять, куда клонят разные дипломаты, но даже я вижу, что русские хотят нам счастья. Они хотят, чтобы Восточная Германия соединилась с Западной, как я соединился с моей Анной. Наверно, так и будет. Тогда моя дочурка не узнает того горя, которое узнали мы. Я предлагаю выпить за здоровье советского майора и за весь советский народ!

Анна принесла дочку. Девочка улыбалась, тянулась ручкой к пестрым ленточкам на груди Осипа.

Осип вспомнил: так и Рая принесла Аленьку. Было много гостей: Ященко, Валя, Галочка, Борис. Мама взволновалась: девочка простудится. Пили шампанское: за счастье... Страшно подумать, что сделали с Аленькой! А забыть нельзя... Это он правду сказал: его дочке будет лучше. Как американцы ни бесятся, ничего им не удастся сделать: люди хотят свадеб, детей, мира.

Он посидел за праздничным столом, потом поехал к себе. Его поджидал лейтенант Кругликов:

— Американца задержали. Он с дороги свернул к Шнееваль. Фотографировал зенитки. Показал билет — корреспондент какого-то агентства «Пакс». Визы, конечно, нет, а ведет себя исключительно нахально.

— Запросим генерала. Что-то у них слишком много фотолюбителей...

Он задумался. Может быть, и не избежать войны? Ведь они с каждым днем становятся наглее... Галочка написала, что ждет ребенка, что, конечно, ей страшновато — возраст не тот, но ей и мужу очень захотелось. Я их понимаю — с детьми веселее... Неужели снова война?.. Нет, не посмеют!..

Вечером пришло письмо от Минаева. Осип читал и улыбался. Минаев напишет... Когда он рассказывает, все выглядит по-другому, кажется, ничего не сочинил, а куда интересней, чем на самом деле. Напрасно только он обо мне пишет, я ведь самая неинтересная фигура. Другое дело — он сам, или Кранц, или Зарубин, о них можно написать настоящий роман. Хотел бы я прочитать о курганчике!..

Это правда, что все решилось в годы войны, я сам так думал, только не умел сформулировать... Где-то возле Ржева могила Раи. Она любила танцовать, упрекала меня, что я не понимаю музыки, волновалась, идет ли ей синее платье. У нее были необыкновенные глаза, ресницы длинные-длинные... Ну кто бы мог подумать, что она станет снайпером?.. А если американцы еще не полезли, то только потому, что боятся. Какие они ни сумасшедшие, они понимают, что у нас любая девчонка поступит, как Рая. Али она не спасла. Но, может быть, она спасла и ребенка, который будет у Галочки, и детей Воробьева, и дочку Карла?..

Он вынул из кармана фотографию, долго глядел на нее. Рая ласково улыбалась. Он сидел за столом, тяжелый, седой, неподвижный, и были в нем печаль, покой, человеческая надежда.

106

Жизнь Веры и Кранца была бурной; они ревновали друг друга, скрывали свои сомнения, шумно мирились, обменивались страстными клятвами.

Зимой они побывали в Пензе. Вера привела Кранца к своей матери. Антонина Платоновна была очарована зятем, а когда он ушел, сказала дочери:

— Откуда ты такого взяла?

— Он тебе не понравился?

— Почему?.. Понравился... Тебе под пару. Оба вы...

Она долго подыскивала слово, наконец сказала:

— Неуемы.

Вера перебралась на завод перед началом учебного года. Директор школы был самодуром, он невзлюбил новой учительницы: гордячка; изводил ее мелкими придир-

ками, делал оскорбительные замечания перед другими педагогами.

Среди рабочих было немало случайных людей, кочевавших с одного места на другое; их дети часто меняли школу, иногда пропускали месяц, даже четверть. Были родители, посылавшие детей на базар, чтобы сбыть мануфактуру. После Пеструшкина Вера растерялась; потом она поняла, что одними уроками здесь ничего не добьешься, звала учеников к себе, подолгу с ними беседовала. Иногда, оставаясь одна, она плакала, но Кранцу говорила, что все идет хорошо: считала унизительным жаловаться. Да у него и без этого достаточно забот...

Кранцу действительно пришлось пережить много неприятностей. Прошлым летом он поехал на неделю к сестре, которая жила в Сумской области. Там в совхозе он увидел кок-сагыз и сразу им заинтересовался: с виду обыкновенный одуванчик, а из корня делают каучук. Он узнал, что это ценнейшее растение найдено пятнадцать лет назад в горах Тянь-Шаня. Прежде кок-сагыз сеяли рядами, а теперь установили, что его лучше сеять гнездами по сто — двести семян. Сеют вручную.

Вернувшись на завод, Кранц начал проектировать сеялку для кок-сагыза. Работать приходилось по ночам.

Вера, прикидываясь спящей, украдкой на него поглядывала, думала: как будто стихи пишет... В декабре модель была готова, Кранц показал ее директору, и тут-то разразилась буря. Николай Степанович вышел из себя, обозвал Кранца «авантюристом», а потом возмущенно всем рассказывал: «Нет, вы подумайте — кок-сагыз! Слово ему понравилось... Типичный авантюрист. А может быть, сумасшедший...» Кошарев стал преследовать Кранца, этот добродушный слабовольный человек разъярился: ему казалось, что «игрец» решил его погубить.

Кранц отправил модель в Москву перед Новым годом; ответа долго не было, и он не находил себе места. Кошарев говорил всем, что Кранца скоро уберут: такому проходимцу не место на заводе. Шестого апреля (Кранц запомнил этот день, было уже тепло, и Вера нашла первый подснежник) пришла телеграмма: его вызывали в Москву. Николай Степанович сказал жене: «Он, ко всему, склочник, едет, чтобы на меня накапать. Не выйдет — меня в

министерстве хорошо знают. А кто он? Мальчишка. Самозванец...»

Кранц вернулся в конце месяца, измученный и счастливый: модель одобрили. Он не предупредил Веру, нагрянул внезапно. Это было под вечер. У Веры сидели ее ученики, десятиклассники: Саша Волков, Саблин, Женя Рашевская. Вера выбежала в сени, молча обняла Кранца. Женя сказала: «Ну, мы пойдем...» Но Саблин ни за что не хотел уходить: он увлекался механикой, и ему не терпелось расспросить Кранца, что сказали в Москве о сеялке.

Кранц шагал из угла в угол. От пережитых волнений, от успеха, от усталости, от близости Веры кружилась голова; хотелось ходить, спорить, декламировать; усмехнувшись, он подумал: как будто я выпил...

Разговор давно перешел с сеялки на Москву, на высотные здания, на метро, на театры. Потом Кранц стал рассказывать, как он нашел Минаева. Он глядел на Веру. Может быть, он говорил только ей? Но Саше казалось, что Кранц говорит ему. А Женя думала: хорошо, что мы не ушли! В первый раз со мной разговаривает настоящий человек.

Кранц рассказывал:

— У Минаева до сих пор следы сильных ожогов... Он говорит об этом просто, как будто уступил место в трамвае. Он и на фронте так себя вел. Когда контратаковали на Донце, он побежал вперед первый, потом шутил, чуть ли не оправдывался: «Потренироваться хочется, я ведь спортом увлекался...» За ним тогда побежали все... Так всегда бывает: кто-нибудь должен кинуться первым. Американцы любят отчаянные похождения на экране, смотрят, как люди гибнут, а потом спокойно идут домой. Им трудно нас понять: ведь мы привыкли жить опасно... Со мной в поезде ехала девушка. Все уж разговорились, а она молчала. Кто-то спросил ее, куда она едет. Она коротко ответила: «В Туркмению». Девчонка, а глаза отчаянные. Ей предлагали остаться в Москве, нет, тянет туда, где труднее...

— Я тоже туда поеду, — сказал Саша, — как экзамены сдам, сейчас же...

— Эта девушка сказала, — продолжал Кранц, — что ненавидит таких, которые ни рыба ни мясо... Самое

страшное — равнодушие, когда человек боится отступить от заведенного порядка, боится оказаться впереди. Мы перекинули мост к завтрашнему дню, но пока существует другой мир, этот мост под обстрелом. Не время устраивать на нем чаепития... Противно, когда сидит человек, смотрит на тебя мутными глазищами, чешет отвисшую щеку и повторяет: «А к чему это?.. Давайте не будем...» Я был в девятом классе, когда началась война в Испании. Как я мечтал туда уехать! Каждый день смотрел на карту: Гвадаррама, Каса дель Кампо... С этого все пошло... Пять лет спустя я попал в первый бой — у Вязьмы... Мы сейчас мирно разговариваем, а кто-то стреляет в Барселоне. Корейцы держатся. Возле Сайгона бои. Ведут на казнь молодого грека, и он поет о свободе. Как при Байроне... Зимой в «Правде» была корреспонденция из Парижа, я запомнил: молодая француженка повела за собой людей, они прорвали цепь жандармов... У Лермонтова есть стихи:

Ты помнишь ли, как мы с тобою
Прощались позднею порою?
Вечерний выстрел загремел,
И мы с волнением внимали...
Тогда лучи уж догорали,
И на море туман густел;
Удар с усилием промчался
И вдруг за бездною скончался.

Было заполночь, когда молодые гости, завороженные речами Кранца, ушли домой.

На улице Саблин сказал Саше:

— Нам чертовски повезло! Кранц — настоящий изобретатель. Он придумает и не отступит, это — главное... Я хочу быть, как он. И как Минаев...

Саша пошел провожать Женю. Они молчали. Ночь была теплая и звездная. Где-то одиноко лаяла собака. Женя остановилась, спросила:

— Это правда, что ты после экзаменов уедешь в Туркмению?

Голос ее выдал. Саша обнял Женю, робко ее поцеловал. Она ему ответила. В первый раз она так поцеловала, ей стало стыдно и весело. Она побежала, Саша ее нагнал. Он говорил, что они не расстанутся; он давно хотел ей

все сказать, но не решался; через полтора месяца они кончат школу и станут взрослыми; они вместе уедут — на большую стройку или еще дальше, может быть в Корею. Они будут жить опасно, как сказал Кранц.

Женя снова остановилась; ее глаза так блестели, что Саша их видел в темноте. Она тихо сказала:

— Ты знаешь, это страшно — так поцеловать. Я не думала, что смогу... Но это потому, что люблю...

Вера говорила Кранцу:

— Первого мая поедем в Лермонтово.

— Ты помнишь грозу?..

— Все помню... Возле Чембара есть роща, там он часто бывал...

— Кого он там видел? Бэлу? Княжну Мери?..

— Может быть, Мартынова, выстрел в горах, цинковый гроб...

— Это не страшно, когда в тебя стреляют. Можно выдержать. А когда любишь, — страшно. Кажется, еще минута — и сердце остановится...

— Ты слышишь, как сердце бьется?

— Вера, мы с тобой никогда не успокоимся, я это знаю. Дай нам рай, уйдем из рая — в наше смятение... Почему ты печальная? Ты задумалась — о чем?..

— Сама не знаю... Я слушала тебя, и мне казалось, что я слышу весь мир:

Вечерний выстрел загремел,
И мы с волнением внимали...

107

Получив от Шервинского письмо с вызовом, Воронов пришел в смятение. Ему вдруг показалось, что он жив только потому, что прикрепился к Кировску, здесь он нашел Лену и залечил свои раны.

Шервинский не знает, что со мной случилось. Мы с ним проработали два года в Ленинграде. Но я теперь не тот, что до войны. Мне сорок один год, не так уж много, а минутами кажется, что все позади. Конечно, это неверно: я увлекаюсь работой, у меня Лена, Мусенька; но чего-то мне нехватает, боюсь сдвинуться с места... Здесь главное

сделано. А проект гидроузла потрясает масштабами. Я об этом и мечтать не смел... Шервинский пишет, что решили не строить бараков, начинают прямо с жилых домов и с дорог. Ремонтно-механический завод строят так, чтобы использовать его потом как судоремонтный. Все это бесконечно увлекательно. Но справлюсь ли я?..

Он просидел всю ночь в глубоком раздумье: вспоминал маленькие ручки Нины, проказника Мишку, длинную дорогу отступления, Сергея, розовое утро и мост через Дон, Шуляпова, а потом «кельнскую яму», побег, маки́, Мадо. Прошлое казалось ему необозримой ужасающей пустыней, среди которой возникали и гасли прекрасные видения.

Он не сказал Лене о полученном им предложении. Она тихо спала, подложив руку под щеку. Сколько внутренней силы у этой маленькой женщины! Никогда она не падает духом, а ведь она тоже много пережила. Один только раз она при нем заплакала: когда рассказала, как умирал ее муж. Необычайно, что Воронов ее встретил, что они оба, израненные, ожили, узнали счастье!..

Светало. Воронов стоял у окна. Хотя был апрель, все еще выглядело по-зимнему: сугробы, черная гора. Может быть, приезжему этот вид показался бы суровым, неприветным, а Воронов глядел на Кировск как на город, где нашел счастье — с любовью и с печалью.

Почему я прощаюсь с Кировском? — удивленно подумал он и тотчас себе ответил: — понятно, ведь я уезжаю. Разве могу я отказаться от такой работы?

Когда он понял, что едет на строительство гидроузла, им овладело необычайное веселье. С улыбкой подумал он о своих недавних опасениях. Что значит «не справлюсь»? Сил у меня достаточно. Он вспомнил, как старик отец, когда валил большое дерево или таскал кули, приговаривал: «Нас ничто не возьмет, народ мы архангельский, а характер у нас дьявольский». Он не выдержал и громко рассмеялся. Лена проснулась, изумленно на него поглядела. Он бросился к ней, начал целовать ее, заспанную и растерянную.

— Ты прости, что я тебя разбудил. У меня большая новость: мы уезжаем на строительство. Ты понимаешь, какое это счастье? Гидроузел!.. Мне Шервинский написал, все оформлено, можем хоть завтра двинуться.

Он с жаром рассказывал Лене: огромные пространства, где свирепствует засуха, превратятся в цветущий сад — пять с половиной миллионов га, да это как вся Франция; будет искусственное озеро длиной в шестьсот километров; миллиарды киловатт энергии, таких мощных станций нет ни в Европе, ни в Америке...

Лене давно хотелось уехать на юг, но она никогда об этом не говорила мужу, знала, как он привязался к Кировску. Поглядев на его счастливое лицо, она улыбнулась:

— Ты похож на Мусю, когда ее берут в театр...

— Знаешь, почему я так радуюсь?.. Пока я сидел на месте, я не знал, что я еще молод. А теперь Николай Воронов зашагал...

Огромный, широкоплечий, он казался Лене гигантом, сродни тем цифрам, которые он повторял, необъятным просторам. Конечно, он молод, думала она, седые волосы его не старят, от них еще моложе смешливые синие глаза...

Прибежала Муся. Воронов затеял с ней игру; она расшалилась, потом неожиданно сказала:

— Папа, а разве тебе можно бегать? Ты — главный инженер.

Он рассмеялся:

— Сегодня можно. У меня большой праздник... Через неделю ты сядешь в самолет, и мы полетим далеко, далеко.

— В Москву?

— Нет, еще дальше — в Сталинград.

Товарищи уговаривали Воронова остаться на праздники, но он торопился; его била лихорадка нетерпения, как студента-выпускника.

Он сказал Лене:

— Первое мая встретим в Сталинграде, вот будет праздник!

Они летели навстречу весне. В Кировске еще стояли морозы, а когда они вышли в Москве из самолета, было совсем тепло, встречавшие выглядели по-летнему, женщина держала букетик фиалок.

Самолет на Сталинград отлетал через два часа, так что съездить в город не удалось. Муся глядела на поле, на рощицу и обиженно спрашивала: «Папа, а где Кремль?»

Громкоговоритель объявлял: «Самолет, следующий по маршруту Минск — Варшава... прибывает из Ташкента... на Казань — Свердловск — Омск... из Сочи... по маршруту Киев — Львов... на Алма-Ату...»

— Какая огромная страна! — сказал Воронов Лене.— С нами летел химик, он сидел рядом с Мусей, все время спал, помнишь? Его направляют на Сахалин. А Дмитриев едет в Ашхабад...— Точно отвечая себе, он, улыбаясь, добавил: — Конечно, можно быть маленьким и потрясти мир, но хорошо, когда большое сердце у великана...

Прилетел самолет из Иркутска; приехала делегация китайских ученых. Их встречали с цветами. Китайцы загадочно улыбались; они выглядели подростками, но было в них что-то очень древнее. Муся к ним подбежала, потом рассказывала: «Папа, у них тоже красные звездочки...»

Двое американцев громко зевали, то и дело спрашивали: «Когда самолет на Хельсинки?» Женщина, хмурясь, отвечала: «Ленинград не принимает. Вот объявят, тогда и полетите...»

Девушка провожала молодого человека, он улетал в Караганду. Она все время держала обеими руками его большую широкую руку. Он уговаривал не то ее, не то самого себя: «Да я скоро вернусь...» Он улыбался, а глаза у него были грустные.

«Производится посадка на самолет, следующий по маршруту Сталинград — Астрахань...»

Уже захлопнули дверцу, а сигнала к отправке не давали. Воронов поглядел в окошко. Провожающие махали руками. Вдруг ему показалось, что вдалеке идет Мадо, окруженная людьми. Он чуть не вскрикнул. Неужели Мадо?.. Самолет понесся по дорожке. Нет, наверно, мне показалось, я ведь и лица не разглядел. Осенью она думала приехать в Москву, спрашивала адрес Нины Георгиевны. А теперь ничего не написала. Значит, мне померещилось. Наверно, она в Париже. Трудно себе представить, как она живет? Почему-то кажется, что она прежняя, воюет, мечтает о Сергее, как на поляне, когда она узнала, что мы с ним были в одном батальоне.

Они летели на юго-восток. Вот и степь. Воронов невольно вспоминал проклятое лето сорок второго. Рядом

идет Сергей, то сумрачный, то вдохновенный; на его лице смутная, блуждающая улыбка. Я понимаю, что Мадо не может его забыть. Я с ним провел всего несколько месяцев, но, кажется, ни один человек не оставил во мне такого глубокого следа. В самые страшные дни он говорил, что мы победим, шел на восток так, как будто знал, что будет Сталинград. Была в нем легкая горечь, неуловимая, как запах полыни...

Дон... Здесь кусочек железа перевернул всю мою жизнь. Товарищи удивляются, как я попал в маки́, а иначе нельзя было... Почему французы прозвали меня Медведем? Это Мики придумал. Вероятно, я похож на медведя — косолапый. И вот медведь встал, идет...

Как замечательно, что электростанция строится возле Тракторного завода! Я помню немецкие сводки, в них часто упоминался Тракторный. Там они расшибли себе лоб. Американцы могут кричать, грозиться, подсчитывать, сколько миль до Москвы, до Баку, до Волги. А в Сталинграде строят гидроузел. Этот город снова на переднем крае. Урал шлет машины, Сибирь — лес, люди приезжают отовсюду. Идет большая битва — за энергию, за свет, за жизнь.

Три часа спустя он шел по улицам Сталинграда и молчаливо улыбался. Здесь сражался Сергей. Здесь люди спасли будущее. Об этом трудно сказать: столько в сердце чувств, волнения, восторга; хочется поцеловать землю — она не просто земля...

До чего быстро отстроили город! Улицы, магазины, автобусы. Нежнозеленые аллеи. Мусенька восхищается: «Папа, ты видишь?..» Она выросла на севере, никогда не видала ни высоких деревьев, ни ярких цветов.

А люди все строят и строят; куда ни погляди — леса, краны. Красные полотнища горят на солнце: «Да здравствует Первое мая!»

Мусенька остановилась на углу и старательно по складам читает: «У-ли-ца Ми-ра». Она смеется, смеется и Воронов.

Он взял под руку Лену, несвязно говорит:

— Любовь моя, видишь — мы в Сталинграде... Спасибо тебе, что ты меня воскресила! Здесь случилось са-

мое важное... Когда нам было нестерпимо плохо, Сталин сказал, что будет праздник и на нашей улице. Вот он — Первое мая на улице Мира...

Муся спрашивает:

— Папа, а ты видишь на дереве цветочки? Как свечка. Что это?

— Каштан. Я тебя сейчас подыму, тогда ты лучше увидишь...

108

Дело Гайрстона продолжало занимать американские газеты. Шибалов представил инструкцию, якобы полученную им от сотрудника советского посольства. Прочитав в газете перевод «инструкции», Данилевский рассмеялся: Богарт считается у них специалистом по советским делам, а это круглый неуч. Они так и не научились составлять фальшивки. Право же, сочинение Богарта ничуть не лучше той бумажонки, которую они когда-то зашили в пиджак Минаева.

Он написал в Москву о новой провокации полковника Робертса, а потом принял сенатора Кэйна, друга покойного Лоу.

Кэйн говорил:

— Когда происходит наводнение, никого не интересует, с какой стороны нашли тучи. Потоп страшен всем. Я никогда не поверю в неизбежность войны, пока люди разговаривают. Конечно, на парижском совещании выступили противоречия, но переговоры лучше бомбардировок.

— Вы совершенно правы,— ответил Данилевский и улыбнулся хорошо затверженной улыбкой.

Он думал: интересно, зачем ко мне пришел Кэйн? Ведь это один из самых пакостных. В январе он требовал, чтобы бросили бомбу на Москву...

— Обмен информацией, работа журналистов — все это помогает взаимному пониманию. Я очень огорчен, господин Данилевский, что вы до сих пор не предоставили визы Богарту, корреспонденту агентства «Пакс». Богарт посвятил всю жизнь идее дружбы между американцами и русскими. Что касается агентства «Пакс», то одно его

название — программа. Я знаком с директором агентства, он мне неоднократно говорил, что нельзя решить вопрос силой оружия, нужно итти на уступки, договориться...

Вот что! Робертс попросил сенатора пощупать почву: как мы реагируем на его очередную выходку. Нужно намекнуть Кэйну, что о Богарте мы кое-что знаем...

Сенатор продолжал расхваливать корреспондента «Пакса»:

— Хотя он провел в России всего два месяца, он великолепно знает советскую жизнь.

Данилевский сказал все с той же улыбкой:

— Вопрос о визе господину Богарту рассматривается... Кстати, о знании советской жизни. Может быть, вы читали в газетах «инструкцию», якобы составленную сотрудником нашего посольства? Там множество курьезов, особенно для человека, знакомого с предметом, как, например, для господина Богарта... Мне было очень приятно с вами побеседовать, господин Кэйн. Я надеюсь, что настанет время искренних переговоров...

Когда сенатор ушел, Данилевский перестал улыбаться. Ну и наглецы! Все шито белыми нитками...

Завтра праздник, постараюсь о них не думать.

Данилевский заказал телефонный разговор с Москвой. Он волновался: от Маруси пришло письмо необычно грустное. Правда, она писала, что у нее плохое настроение, потому что приближается время экзаменов (она училась на филологическом факультете МГУ). Но Данилевский сразу понял, что дело не в экзаменах. Прошлым летом он прожил месяц с дочкой на даче под Москвой. Маруся была веселой, увлекалась книгами, театром, спортом, смешила отца, показывая профессоров и товарищей. Он называл ее шутя «чертенком». А теперь она вдруг написала: «Минутами не хочется жить...» Что с ней приключилось, в тревоге думал Данилевский. Он знал, что по телефону она не сможет ему ничего сказать, и все же с нетерпением ожидал разговора. Хоть голос услышать!..

Слышимость была плохая, и Данилевский долго повторял:

— Маруся, ты меня слышишь?

В ответ едва доносилось, среди гудения, свиста, мяукания:

— Ничего не слышно...

Телефонистка сказала:

— Говорите громче.

Данилевский крикнул:

— Маруся, как твое здоровье?

Вдруг стало лучше слышно. Он просиял, услышав веселый голос Маруси:

— У меня все хорошо. А у тебя?

— Я здоров... Грустное письмо ты написала...

— Я потом жалела, что отправила, но теперь все замечательно.

— Я тебя поздравляю с праздником.

— И тебя... У нас в Москве чудная погода, я в летнем платье... Ты меня слышишь?

— Теперь хорошо слышно. Какое у тебя настроение?

— Замечательное! Ты меня слышишь? Папа, у меня новость. Только не удивляйся... Я выхожу замуж. За Павлика... Ты не сердишься?

Данилевский был настолько поражен, что ничего не ответил.

— Папа, ты меня слышишь?

— Слышу... Маруся!..

— Ты сердишься?..

— Нет, просто я удивился. Как-то сразу... Ну, я тебя поздравляю. Павлику скажи, что поздравляю...

— У меня была Оля Минаева. Ей очень нравится Павлик... Ты наверно не сердишься?

— Да что ты!.. Я тебя обнимаю. Летом увидимся...

Он услышал, как Маруся вздохнула:

— Только бы экзамены сдать... До свидания!

Данилевский улыбнулся: вот в чем дело! Наверно, поссорилась с Павликом и написала, что не хочется жить... Смешно, что Маруся выходит замуж... Впрочем, ничего тут нет смешного, это мне кажется, что она девочка, а ей в июле исполнится двадцать один год... Я заметил, что она неравнодушна к Павлику. Когда он приходил, она сразу становилась серьезной, не шутила, молчала или, наоборот, начинала его дразнить, раз убежала к себе, просидела весь вечер запершись. Две недели доказывала мне, что необходимо пойти на «Динамо», там будет самый интересный матч; потом Павлик сказал, что не любит

футбола, и она ни за что не хотела итти... Он, кажется, славный. Геолог. Увлекается театром. В общем мальчик. Может быть, и это мне кажется, потому что я состарился? Ведь в двадцать четыре года я вторично влюбился — в Веру... Хорошо, что Маруся весело разговаривала, чувствуется, что счастлива.

Он сел за газеты, и снова его обступила Америка. Химический институт считает наиболее разумной биологическую войну, поскольку она не разрушает экономики вражеской страны. В Западном Берлине на уличных маневрах американские войска успешно применили слезоточивые газы. Переговоры с генералом Симамура о создании двадцати японских дивизий подвигаются вперед. В Атланте повешен старый негр, обвиненный в том, что оскорбил белую женщину. В Чикаго арестованы четырнадцать человек, занимавшихся пропагандой мира. Матчи «кэтча» принесли за год пятнадцать миллионов долларов; наиболее удачным был вечер, когда «Золотой сверхчеловек» на семнадцатой минуте повалил «Красного призрака»; публика требовала: «Прикончи его!» В Олбэни тринадцатилетний мальчуган задушил старуху ради двадцати долларов.

Данилевский подошел к окну. Прямые нумерованные улицы, пусто, скучно. Он не мог привыкнуть к этому городу: захолустье, настоящий чиновничий рай. В Нью-Йорке порой видишь живых людей, которые негодуют, борются. А здесь тупое самодовольство, интриги обезумевших сенаторов, «холодная война» между Макартуром и Ачесоном, между Доуневэном и Робертсом. Впрочем, и в Нью-Йорке страшно: сделки, обороты, люди торопятся, несутся, и ни мысли, ни раскаяния... Когда же встанет день над Америкой? Широчайшие пространства, гигантские города, горы, водопады, океан, крепкие, смелые люди — потомки колонистов, и ночь, долгая черная ночь...

Он посмотрел на часы. В Москве уже выстраиваются колонны; молодежь танцует. Маруся, наверное, еще спит, ведь когда я с ней разговаривал, по-московски было два часа ночи. Нет, не спит: с улицы доносятся песни, смех... Наверно, она наденет голубое платье и замшевые туфли, которые я ей подарил. Интересно, принесет ли ей Павлик

цветы? Не знаю, как теперь принято. Я носил Вере, но стеснялся, заворачивал букет в газету, чтобы не видели...

Он закрыл глаза и увидел Москву. Памятник Пушкину, киоск с цветами, продают мороженое. Мальчишка ест и облизывается. Да ведь это я, подумал Данилевский, и уснул.

109

Тридцатого апреля, под вечер, Нина Георгиевна сидела возле раскрытого окна. Ей было необычайно спокойно. Окна напротив розовели, освещаемые поздним солнцем; с улицы едва доносились голоса разыгравшихся ребятишек. Нина Георгиевна только что ответила Вале на письмо: «Я над ним плакала от счастья...» Валя и прежде не раз писала, что ей хорошо живется, что она удовлетворена работой, но Нина Георгиевна чувствовала за бодрыми словами тоску, порой отчаяние. Только получив последнее письмо, она поняла, что Валя выстрадала счастье, что ее связь с театром не случайна, что она действительно живет мечтой, способной и возвысить и придать силы.

Нина Георгиевна подумала сейчас, что ее дети и те, кого она привыкла считать своими детьми, вышли на верную дорогу, душевно окрепли.

В январе она прожила две недели у Ольги. Мусенька — развитая девочка, добрая и большая фантазерка, сама придумывает чудесные сказки. Оля довольна работой, она теперь секретарь начальника строительства. Нина Георгиевна вспомнила злополучный вечер в клубе. Приехали артисты из Ленинграда, из Таллина. Ольга говорила, что танцовать будут до утра. Она замучила мать разговорами о туалетах, сшила для этого вечера длинное платье из темнозеленого шелка. От Нины Георгиевны не ускользнуло, что Оля часто упоминает об инженере Тамме; а примеряя новое платье, прямо призналась: «Не знаю, понравится ли Тамму?..» Нина Георгиевна простудилась и не смогла пойти на концерт. Она глядела на часы: где же Оля? Синяков давно ушел в клуб. Так она не успеет переодеться... Ольга пришла после одиннадцати, замерзшая, но довольная. «А в клуб?» — спросила Нина Георгиевна. Ольга рассмеялась: «Мне теперь не до танцев... Поздно,

и главное, устала. Знаешь, пришлось пройти двенадцать километров, а снегу намело — ужас...» Она рассказала матери, что случайно застряла на работе — разбирала письма. Все ушли, дежурил бухгалтер Соколов. Позвонили: нужно срочно разыскать начальника. Соколов ничего не понимает в строительстве, он преспокойно ответил: «Никого нет, придут в понедельник утром...» Хорошо, что он сказал Ольге, она сразу поняла: это грозит аварией; побежала к начальнику, работница сказала, что он уехал на дачу до понедельника. С трудом она нашла машину; шофер оказался бестолковый, поехал не той дорогой, ну и застряли,— очень много снега. Шофер один не хотел итти, говорил, что не знает дороги. С дачи начальник довез ее на своей машине. В общем все обошлось... Нина Георгиевна думала, что Оля расстроилась: она ведь так ждала этого вечера. Но Оля выпила наливки, чтобы согреться, смеялась и только, ложась спать, сказала: «Я надену это платье на первомайский вечер...» Нине Георгиевне очень хотелось сказать: «Ты в нем понравишься Тамму, я убеждена»,— но она молча поцеловала дочь. Нет, за Олю не страшно...

После того как в «Правде» похвалили архитектора Влахова, все поздравляли Нину Георгиевну; а ее особенно обрадовал рассказ Наташи: Вася равнодушно отнесся к тому, что ему предложили повышение, не захотел оставить Минск. Хорошо, что у него настоящая страсть. Есть люди, для которых искусство — служба или карьера, они прикидывают, что́ ко времени, изучают вкус начальства. А Вася горит, для него Минск — все, это чувствуется в каждом слове. До войны он мне казался чересчур прямолинейным, у него на все был ответ. Я не понимала, что это — ребячество. Теперь видно, какая у него сложная натура: сочетание вдохновения с трезвым расчетом. Он не принижает искусства и не пренебрегает жизнью, ищет гармонии. Наташа восторженно рассказывает о том, что он сделал в Минске. Она влюблена в него, как девчонка. А ведь она не девочка, у нее большие успехи в работе, с нею считаются; характер у нее сильный, умеет поставить на своем. Я прежде огорчалась, что они живут врозь, думала, что любовь не выдержит, а они любят друг друга еще сильнее, разлука только придала их отношениям

романтический оттенок. Для меня большая радость, что Наташа теперь здесь. В моем возрасте трудно жить будущим... Васенька — талантливый мальчик; напрасно Наташа за него боится, Сережа тоже был отчаянным шалуном... Васенька — полная противоположность Мусеньке. Сказок он не любит, но когда я рассказываю, как борются корейцы или как Раймонда Дьен бросилась на рельсы, он слушает, раскрыв рот. Оля сокрушается, что Мусенька чересчур мягкая, говорит: «Она не приспособлена для нашего времени». Она в восторге от Васеньки. Вот Сережа в детстве проказничал, но любил и пофантазировать. Таким он был и потом: смелым, но нежным... Больно, что от него ничего не осталось. Вася строит город, а у Сережи была другая специальность. Мост, который он построил перед заграничной командировкой, взорвали в сорок первом. Да он и не мог в такие сооружения вложить себя...

Нина Георгиевна подошла к столу, посмотрела на фотографию Сергея. Он стоял, слегка откинув голову назад. Днем Нина Георгиевна поставила перед фотографией букетик подснежников. Когда только могла, она приносила Сереже цветы. Он очень любил цветы; вернувшись из Парижа, рассказывал: «Мне понравилось, что там цветы — предмет первой необходимости. Помнишь — повсюду ручные тележки, женщины продают букеты ландышей или левкоев, или анемонов, выкрикивают: «Fleurissez vous» — по-русски нельзя даже перевести, ведь нет такого глагола «оцветляться»... Он мне рассказывал про все. А про нее не сказал... Не напиши Воронов, так бы я и не знала...

Она не зажгла света, хотя уже стемнело; сидела в кресле, ни о чем больше не думала, только отдавалась ощущению, что Сережа с ней, смотрит на маленькие белые цветочки...

Постучали. Нина Георгиевна открыла дверь и увидела молодую женщину в плаще. Лицо ее сразу поразило Нину Георгиевну необычной красотой, особенно глаза — большие и как бы невидящие. Посетительница сказала, коверкая слова, с сильным иностранным акцентом: «Я ищу Нину Георгиевну Влахову...» Нина Георгиевна вдруг поняла, кто к ней пришел, вскрикнула: «Это вы?..» Тогда Мадо ее обняла.

Они сидели друг против друга, не смея нарушить молчание, столько было чувств, и не вмещались эти чувства в привычные слова.

Мадо глядела на Нину Георгиевну: Сергей был очень похож на нее: глаза, овал, рот. Только нос у него был другой... На стене висела большая фотография Сергея: десятилетний мальчик с еще по-детски припухшим лицом, и Мадо узнала того, кто на скамейке под каштаном говорил ей о счастье...

Мне казалось, что мать Сергея гораздо старше. У нее молодые глаза, да и весь облик... Маленькая комната, вся заставленная книгами. На стене пейзаж: белый домик с черепичной крышей и зелеными ставнями; может быть, Франция?.. Большая фотография Ленина, он в кепке; стоит; тень падает...

Нина Георгиевна украдкой поглядывала на Мадо. Я думала, что она должна быть именно такой, в ней все, что любил Сережа: порыв, нежность и душевная сила; теперь я понимаю, что она была в партизанском отряде...

Наконец Нина Георгиевна робко спросила:

— Вы давно в Москве?

— Я прилетела позавчера с делегацией. Нас пригласили на Первое мая... Я хотела вчера к вам притти, но нас повезли на завод. Мне Воронов давно дал ваш адрес...

— Вы знаете, это очень странно, но я думала о вас перед тем, как вы пришли. Я о вас часто думала... И вот сегодня снова...

Она смутилась, стала расспрашивать, как теперь во Франции. Мадо рассказывала: все кипит, американцы устраивают свои базы, это настоящая оккупация, но народ против.

— Зимой, когда приезжал Эйзенхауэр, были повсюду демонстрации. Если бы вы видели докеров! Их нельзя сломить ни голодом, ни пулями. В Париже прорвались к «Астории», там американский штаб. У одного нашего товарища молоденькая жена. Она взобралась на перила метро. Ее сбросили вниз, сломали ногу... Недавно снова была демонстрация, стреляли, убили девушку, она работала на заводе Берти...

— Давно, когда я была молодой, я видела в Париже замечательную демонстрацию — девушка защищала флаг

от жандармов. Поэтому мне легко себе представить... Я знаю Францию... Сережа, когда приехал, рассказывал.

Ее голос дрогнул. Взволновалась и Мадо: впервые было произнесено имя Сергея. Нина Георгиевна собралась с силами:

— Он рассказывал про молодого рабочего, с которым познакомился. С завода «Рош-энэ». Это было в сороковом — после падения Парижа...

— Наверно, он говорил о Миле. Его звали в сопротивлении Пепе. Он застрелил гестаповца в декабре сорок первого. Гитлеровцы его расстреляли. Он перед смертью написал товарищам, что верит в победу, верит в Красную Армию... Мне Воронов рассказывал, как они отступали. Он был с Сергеем. Может быть, именно тогда сказалась вся сила советского духа... Это похоже на сказку, что я встретила Воронова. Не знаю, говорил ли он вам — он участвовал в нападении на тюрьму, партизаны освободили много товарищей, среди них и меня... Мы его называли Медведем. Он нас научил воевать...

— Я сегодня получила от него открытку — он проехал через Москву, не смог остановиться: спешил в Сталинград. Он там будет строить...

— У нас много пишут о том, как строят Сталинград... Может быть, нас повезут туда. Я так хотела бы увидеть!.. Воронов мне писал, что Сергей сражался в Сталинграде...

Из глаз Нины Георгиевны катились слезы. Заплакала и Мадо; потом тихо сказала:

— Он не умер. Вы это знаете... Он мне рассказал, как девушкой вы уезжали из Парижа в Россию. Вы знали, что вас ждет тюрьма. Вас отговаривали, а вы все-таки уехали, ответили, что для вас в этом счастье...

(Мадо еле говорила, ее душили слезы. Скамья под каштаном, Сергей разворачивает газету, и кто-то гнусаво поет: «Все благополучно, госпожа маркиза...» Сергей уже знал тогда, что уедет, а меня не возьмет...)

— Вы узнали большое счастье,— сказала Нина Георгиевна.— У меня его не было...

Она вспомнила далекую молодость, поэта, карнавал, поцелуи на темной узенькой улице. Нет, так я и не испытала настоящей любви!..

— Я много мечтала, когда была молодой. Теперь об этом смешно вспомнить... Мне кажется, что я все вложила в Сережу...

Мадо ее обняла, начала быстро, шопотом говорить:

— Если бы вы знали, как я его люблю! Он для меня живой. Я с ним хожу, разговариваю... Никого я не смогла после него полюбить. Да и не смогу... Не думайте, что я жалуюсь, я счастливая, я так горжусь его любовью! Тем, что он меня заметил, пришел, когда я его позвала... Позавчера мы ехали с аэродрома. Знаете ли вы, что значит для нас увидеть Москву? Ведь нас травят за то, что мы в это верим, сажают в тюрьмы, убивают. И вот я увидела огромный город, строят университет, мы ехали по широкой улице, большие новые дома, много народу, веселые девушки... Это — необыкновенное счастье, понимаешь, что не напрасно погибло столько товарищей... Я всю дорогу улыбалась, и рядом был Сергей, я его держала за руку. Он дал мне веру, спас меня... Ночью я глядела на улицу, из моего окна видны кремлевские звезды, и я обнимала его, говорила ему: «Сергей, теперь ты взял меня с собой, привел в твой город...»

Когда Мадо ушла от Нины Георгиевны, косые лучи солнца уже золотили башни, крыши. На улицах еще было пусто. Мадо шла и улыбалась, улыбка не сходила с ее лица, как будто она только что встретилась с Сергеем — на зеленом московском бульваре...

Нина Георгиевна непременно хотела пойти на демонстрацию со своей школой. Директор пытался ее отговорить: «Поберегите себя, ведь столько часов простоять...» Она отвечала: «Я себя весь последний год прекрасно чувствую. Даже про возраст иногда забываю...»

Они долго стояли на Гоголевском бульваре; пели песни, некоторые танцевали. Погода была переменчивой: то шел дождь, то показывалось солнце, и мокрые улицы сияли.

Нина Георгиевна рассказала мальчикам про молодую француженку, которая прорвалась к «Астории», про докеров. Ее любимец, Миша Рогов, пробасил: «Они молодцы. Я убежден, что они выгонят американцев...»

Когда они шли по Красной площади, Нина Георгиевна увидала на трибуне Мадо, махнула ей рукой и улыбнулась.

Она улыбается, как Сергей, подумала Мадо. Счастливая Мадо глядела на демонстрацию. Вот сила!.. Если бы привести сюда рабочих Берти, Жозефину, марсельских докеров! Мы не одиноки, с нами такой народ!.. Я понимаю, что Нильс или Бедье теряют голову; они еще только тасуют карты, а игру они уже проиграли... Нина Георгиевна идет со своими учениками. Они несут транспарант: «Мир победит войну». И много, очень много цветов... Хорошие лица у мальчиков. Один похож на Сергея. Когда Сергей был мальчиком, он тоже шел по этой площади... Нет, то, во что мы верим, за что боремся,— не отвлеченная идея, не призрак, это жизнь — большая, сложная, кипучая... Вот идут рабочие. Хочется им крикнуть: «С вами товарищи с заводов Гочкис, Берти, Гном э Рон!..» Их очень много, но на самом деле их еще больше: с ними теперь весь мир.

Проходя мимо мавзолея, Нина Георгиевна глядела на Сталина; он улыбался; улыбнулась и Нина Георгиевна; она улыбнулась человеку, который знал старый мир, был с Лениным, боролся, сидел в тюрьмах и взял на себя тяжелое бремя: укрепил Советское государство, провел народ через страшную бурю, а теперь ограждает мир, дыхание, жизнь...

На минуту солнце пробилось сквозь темнолиловые тучи.

— Да здравствует знаменосец мира!

Все глядели на Сталина, и в голове Нины Георгиевны пронеслось: на него весь мир смотрит...

Колонна спускалась к мосту. Миша Рогов увидел группу иностранных гостей и крикнул:

— Да здравствует мир во всем мире!

У него ломался голос, и он кончил фальцетом. Товарищи рассмеялись. Он сконфузился, а потом начал насвистывать: «Прощай, любимый город». Девушки, которые шли рядом, зааплодировали. Всем было весело. Смеялась и Нина Георгиевна. Даже дождь никого не смутил, а дождь полил сильный, громкий и очень светлый.

1950—1952

Оформление художника
А. Коджака

*

Редактор А. Воинов
Художеств. редактор Н. Мухин
Технический редактор Г. Каунина
Корректор В. Знаменская

*

Подписано к печати 27/I 1953 г. А-00208. Бумага 84×108 1/32 = 13,62 бум. л.—44,7 печ. л. Уч.-изд. л. 44,66. Тираж 75000. Заказ № 607. Цена 12 руб.

Отпечатано во 2-й типографии «Печатный Двор» им. А. М. Горького Союзполиграфпрома Главиздата Министерства культуры СССР. Ленинград, Гатчинская, 26, с матриц, изготовленных Первой Образцовой типографией им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома Главиздата Министерства культуры СССР. Москва, Валовая, 28.